

66.1(0)

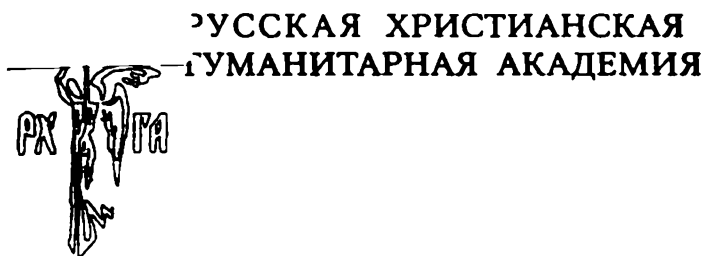
Ч-722



Б. Н. Чичерин

**ИСТОРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
УЧЕНИЙ**





РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Б. Н. ЧИЧЕРИН

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Том 3



Издательство
Русской христианской гуманитарной академии
Санкт-Петербург
2010

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Чичерин Б. Н.

Ч78 История политических учений. Т. 3 / Подготовка текста, вступ. ст. и коммент. И. И. Евлампиева. — 2-е изд., испр. — СПб.: Издательство РХГА, 2010. — 784 с.

ISBN 978-5-88812-240-2

В книге представлена третья (и последняя) часть классического труда Б. Н. Чичерина, посвященного капитальному анализу развития политической мысли в Европе XIX века. Чичерин дает детальную картину интеллектуального развития европейской цивилизации. Его изложение охватывает не только собственно политические учения, но и весь спектр связанных с ними философских и общественных концепций. Книга не утратила своего значения и в наши дни; она может служить основой для исследования истории политических учений, а также для развития современных представлений об обществе.

Книга Чичерина не переиздавалась с 1872 года и давно стала библиографической редкостью.

На фронтисписе:

Б. Н. Чичерин.

С портрета В. А. Серова. 1903 год

ISBN 978-5-88812-240-2



© И. И. Евлампиев, подготовка текста,
вступ. статья, комментарии, 2010
© Издательство РХГА, 2010

Главный труд Б. Н. Чичерина: достижения и неудачи

1

Чичерин не был ученым-теоретиком, чистым историком, думающим только прошлым. Проблемы истории его интересовали в перспективе современности; историческое исследование он рассматривал как основание для правильного подхода к наиболее важным задачам современного дня. Это объясняет существенную непропорциональность распределения материала в «Истории политических учений». Огромной античной эпохе, породившей большое количество разнообразных политических систем, Чичерин уделяет совсем немного места; когда же он доходит до момента рождения немецкой классической философии, его изложение становится чрезвычайно детальным и объемным, причем в круг внимательного анализа попадают даже те мыслители, которые по собственному признанию Чичерина очень мало внимания уделяли политической сфере (например, Шеллинг и Шопенгауэр).

Философская мысль первой половины XIX века представлялась Чичерину высшей точкой развития всей европейской философской традиции, во всех ее разделах (в том числе и в области политических идей), поэтому период, начатый философией Канта, является главной частью всего труда. Ему посвящено завершение третьей части, где излагается философия Канта, и две последние части. В таком построении есть и достоинства, и недостатки. Достоинство, собственно говоря, одно — это оригинальная, самостоятельная интерпретация Чичериным всего историко-философского процесса, ясное выделение в истории политических учений нескольких ключевых проблем, в том числе главной из них — проблемы свободы. Но нужно признать, что недостатков здесь также немало, особенно если рассматривать труд Чичерина как попытку исчерпывающего изложения всей истории политической мысли, даже в качестве учебного пособия для изучающих эту историю. Дело в том, что, как уже говорилось ранее, жесткая схема исторического развития, принятая Чичериным, искажала реальное значение идей отдельных мыслителей, часто помещая их в неестественный контекст, обусловленный необходимостью доказать принадлежность к совершенно определенной тенденции.

Кроме того, по отношению к мыслителям середины и конца XIX века, по сути, к своим современникам, Чичерин выказывает гораздо более критичное отношение, чем к мыслителям прошлого. Это приводит к тому, что вместо нейтрального анализа их идей мы часто находим

ряд критических возражений, далеко не всегда обоснованных, а иногда и просто непонятных, при отсутствии достаточно ясного позитивного изложения этих идей. Чрезмерный критический настрой, господствующий в последних частях труда Чичерина, был бы обоснован, если бы в заключение он показал те концепции и учения, которые наиболее соответствуют его собственным представлениям об обществе и государстве и ради которых велась критика всего остального. Однако таких учений, кроме системы Гегеля, мы не видим (возможно, это связано с незавершенностью всего труда). Но в связи с этим радикальный критицизм по отношению к большинству концепций XIX века выглядит не очень обоснованным. Нужно признать, что перспективы развития политической мысли в новом XX веке для Чичерина остались закрытыми, его представления о грядущем господстве «универсализма» как высшей формы понимания политической сферы, хотя и содержат ряд очень ценных и верных элементов, в целом ничего общего не имеют с тем реальным развитием, которое проделали и политическая теория, и политическая практика в XX веке.

Итак, как утверждает Чичерин, вместе с Кантом в истории европейской философии и европейской политической мысли началась совершенно новая эпоха — эпоха *идеализма*. Напомним, что этот термин в данном случае необходимо понимать не в его общепринятом смысле, а в том особом значении, которое Чичерин придает ему в своей схеме исторического развития философской мысли: идеализм — это философские и политические учения, полагающие в основу представление об идеальной цели развития отдельного человека и общества. По отношению к Канту применить такое понимание «идеализма» не так-то просто, поэтому Чичерин начинает не с этого понятия, а с изложения главных новшеств, которые Кант внес в теорию познания и этику. Последнее особенно важно, поскольку теория морали Канта напрямую связана с его политическими идеями.

Заслугу Канта Чичерин видит прежде всего в том, что он дал ясный анализ того смысла, который содержится в понятии нравственного деяния. Если до Канта философы основное внимание уделяли содержательной цели деяния, из «возвышенности» этой цели выводили обязательность совершения соответствующего поступка, то Кант порывает с этой традицией, утверждая, что в структуре нравственности самое главное — это именно *обязательность*, необходимость действия, выражаемая понятием долга. В свою очередь сама эта обязательность проистекает из уважения к закону, который нравственный поступок должен исполнить, независимо от содержаний закона.

Такое обоснование нравственности Кант противопоставляет традиционным формам обоснования, объясняющим ее либо как инстинктивное преследование каждым человеком универсальной цели — счастья, либо как стремление к максимуму удовольствия, либо как форму удовлетворения особого нравственного чувства. Первые две формы обоснования неудовлетворительны, поскольку из того, что указанные стремления, как *правило*, свойственны всем людям, вовсе не следует, что они *обязательны всегда и везде*. Похожее возражение выдвигается и против

третьего способа обоснования. «И здесь все окончательно сводится на личное удовлетворение, т.е. на счастье; и здесь нет возможности установить какое бы то ни было общее мерило, ибо между чувствами нет ничего, что бы давало одному преимущество перед другими. Все тут зависит от личного, бесконечно разнообразного ощущения, которое не может быть обязательным для кого бы то ни было»¹

Очень важно, что Кант возражает не только против эмпиризма в понимании нравственности, но и против рациональной формы ее обоснования, которая была принята в школе Х. Вольфа. Кант сам вышел из этой школы, но его совершенно не удовлетворяло стремление Вольфа построить рациональную психологию, т.е. науку о человеческом духе, по схеме, принятой в естествознании того времени. Применение естественнонаучного (механистического) метода было совершенно не способно схватить особенности человеческого духовного бытия, низводило человека до объектов природы. Новаторство Канта заключалось в том, что он различил *форму* и *содержание* морального закона. Вольф считал сутью нравственности определенное содержание, на которое направлен закон, Кант же отрицает значимость целей для обоснования морального закона, поскольку эти цели имеют эмпирический характер, связаны с ситуацией в эмпирическом мире. «Остается, следовательно, чистая форма закона; она одна происходит от чистого разума, а потому одна может быть источником обязанности. Вытекающее отсюда правило может быть сформулировано следующим образом: "действуй так, чтобы правило твоих действий могло быть общим законом для всякого разумного существа"»²

Чичерин совершенно правильно подчеркивает, что такое понимание нравственности, связанное с резким отмежеванием от рациональной психологии Вольфа и от «научного» понимания человека, нужно Канту именно для того, чтобы подчеркнуть особый характер человеческой личности, которую невозможно поставить в один ряд с объектами природы и которая должна пониматься как нечто абсолютно самодостаточное, а не подчиненное каким-то высшим инстанциям бытия; личность сама выступает в качестве такой высшей инстанции, порождающей особую сферу закономерности для всей эмпирической реальности. «В этой идее разумной воли как общей законодательной воли,— пишет Чичерин,— заключается *достоинство* человека, то есть не относительная только, а безусловная, внутренняя его цена. Разумное существо возвышается над другими тварями именно своею способностью быть участником общего законодательства. Достоинство же внушает к себе *уважение*, чувство, которое имеет место единственно в приложении к нравственному порядку; все остальное может возбуждать сочувствие, любовь, но не уважение. Это общее законодательное значение воли вместе с тем связывает между собою все разумные существа. Каждое из них может быть для других только целью, а не средством; каждое дает закон

¹ Чичерин Б.Н. История политических учений. В 3 т. СПб., 2006-2008. Т. 2. С. 374.

² Там же. С. 375.

всем другим. Отсюда возникает *царство целей*, которого все разумные существа являются членами»³

Именно у Канта внутренняя свобода человека впервые получает свое подлинное раскрытие. В отличие от других философов, у которых свобода признавалась только в качестве некоторой формы согласования поведения человека с мировой закономерностью, некоторой формой его включения в мировой порядок, Кант делает свободу по-настоящему абсолютной ценностью и абсолютной характеристикой человека, потому что она означает изъятие человеческой личности из мировой закономерности, она становится источником *высшей закономерности*, превосходящей и отменяющей закономерности природного мира.

При этом Кант демонстрирует, что форма закона безразлична к содержанию моральных норм. Например, утверждение о полезности в определенных ситуациях лжи несовместимо с формой всеобщего закона, который мог бы быть принят всеми. А вот норма «никогда не лги» обладает такой совместимостью и может претендовать на всеобщую законодательность. Тем не менее Чичерин подчеркивает, что главная проблема нравственной теории Канта — все-таки слишком малый учет содержательной стороны нравственных требований. Это связано с еще более общим недостатком — чрезмерным противопоставлением в философии Канта умопостигаемой и эмпирической сфер и, соответственно, с чрезмерным противопоставлением ноуменальной сущности человека и его феноменальной жизни. Как известно, Кант в конце концов признал эту проблему и в своих поздних трудах попытался сгладить указанное противопоставление. Наиболее глубокие подходы в этом направлении были намечены Кантом в «Критике способности суждения». Применительно к этической теории это происходит, как констатирует Чичерин, в работе «Метафизические основания учения о добродетели», которая представляет собой вторую часть труда «Метафизика нравов».

Здесь Кант различает нравственность и право как раз тем, что право «ограничивается чисто формальным законом, предоставляя содержание действий человеческому произволу, тогда как первая, напротив, определяет самые цели, которые должен ставить себе человек»⁴ При этом в качестве целей, определяющих нравственность, Кант называет собственное совершенство человека и чужое счастье (свое собственное счастье не может войти сюда по упомянутым выше причинам — как частная и эмпирически обусловленная цель). Тем самым Кант частично возвращается к позиции Вольфа, у которого именно стремление к совершенству определяло суть нравственности.

Такой подход к различению нравственности и права Чичерин считает в принципе правильным, но на этом пути оказывается необходимым четко разделить внутреннюю и внешнюю свободу человека, а это для Канта оказывается затруднительным. По Канту, внутренняя свобода не подчинена никакому закону и в этом смысле обладает автономией,

³ Там же. С. 377.

Там же. С. 383-384.

сама определяет себя. Но внешняя свобода связана с действиями человека в эмпирическом мире и поэтому должна считаться с его законами, она радикально ограничена этими законами. Осознавая это, Кант дает ряд достаточно удачных определений права. С одной стороны, «право есть совокупность условий, при которых произвол одного может сочетаться с произволом других под общим законом свободы», с другой стороны, «внешнее право может быть выражено как взаимное принуждение, охраняющее всеобщую свободу», наконец, «право есть совместность внешней свободы под внешним же законом»⁵ Признавая эти определения достаточно конструктивными, Чичерин подчеркивает заключенное в них радикальное противоречие. Ведь в системе Канта невозможно обосновать внешнюю свободу как реальный *произвольный* выбор действий, поскольку в эмпирическом мире все подчинено непреодолимому в своей необходимости закону причинности.

Наиболее критично Чичерин относится к кантовской теории государства. «Кант определяет государство как соединение известного количества людей под юридическими законами»⁶ Сводя таким образом все функции государства к одной главной — поддержанию, правового порядка, т.е. порядка взаимной внешней свободы личностей, Кант, по существу, возвращается к пониманию государства в индивидуальной школе, о которой Чичерин подробно говорил в предшествующих разделах своего труда. Далее, при объяснении механизма формирования и функционирования законодательной власти Кант вводит понятие «соединенной воли всех» и определяет политическую свободу граждан как «право лица подчиняться только тому закону, на который оно дало свое согласие»⁷ Это означает, что Кант совершенно определенно воспроизводит в своей теории основные контуры теории государства Ж.-Ж. Руссо.

К этой констатации можно добавить, что Канта сближает с представителями индивидуальной школы также явное тяготение к теории общественного договора. Как известно, в статье «Предполагаемое начало человеческой истории» он утверждает, что отдельные человеческие существа обрели все главные свои способности, в том числе и способность к разумному мышлению, еще находясь в разделенном, индивидуальном состоянии, и только затем именно *разумные соображения* заставили их объединиться в общество, перейти в государственное состояние.

В связи со всем сказанным кажется совершенно естественным причислить Канта именно к индивидуальной школе, более того, нужно признать, что он стал ее завершителем, поскольку дал наиболее глубокое философское обоснование абсолютному значению человеческой личности, что и является главным принципом этой школы в понимании государства и права. Отметим, что именно так оценивают политическую теорию Канта многие современные исследователи.

⁵ Там же. С. 388-389.

⁶ Там же. С. 396.

Там же. С. 397.

Чичерин же пытается доказать, что Кант является родоначальником совершенно новой, *идеальной* школы; и это не выглядит убедительным. Доказывая это, он подчеркивает еще одну важную черту политических взглядов немецкого философа. Кант проводит существенное различие между *идеалом* государственного устройства как формой реализации свободы каждой личности и реальными государствами, в которых главным становится беспрекословное подчинение граждан существующей власти при почти полной утрате свободы. По мнению Чичерина, Кант разрешает возникающее здесь противоречие через идею исторического развития государства: ...идея правомерного государства является конечной целью исторического движения народов, постепенное приближение к которой возлагается как обязанность на существующие правительства. Поэтому всякое устройство, отклоняющееся от истинных начал, может иметь притязание лишь на *временное* значение; *окончательную* или безусловную силу может иметь только порядок, основанный на чистых требованиях юридического закона»⁸

Это, действительно, оказывается очень важным. Кант открывает дорогу совершенно новому представлению об обществе и государстве, основанному на идее исторического развития. «В этих мыслях Канта,— пишет Чичерин,— заключаются истинные начала философии истории. Он понял всемирную историю как разумное движение, направляемое внутреннею целью, стремлением к полному и согласному развитию всех способностей человека посредством борьбы противоположных начал»⁹

Тем не менее нужно заметить, что сама идея развития все-таки не была абсолютно новой в политической философии. В своем труде Чичерин еще раньше подчеркивал новаторский характер учения Дж. Вико, который впервые стал рассматривать государственное устройство отдельных народов не с абстрактной, вневременной точки зрения, а исходя из особенностей становления и развития общественных структур, из исторического развития культуры¹⁰. Некоторые намеки на идею развития общества и государства отмечались им и при изложении учения Руссо¹¹. Кроме того, напомним, что мысль о расхождении идеала государственного устройства и реальных государств, которую Чичерин считает основой исторического подхода у Канта, была ранее зафиксирована Чичериным применительно ко *всей* философии Нового времени (как он пишет, здесь «основанием выводов постоянно служат *требования разума*, а не наблюдения над явлениями жизни»¹²). Поэтому присутствие этой мысли у Канта вряд ли можно признать такой уж новой и характерной особенностью.

Наконец, нужно заметить, что одной из характернейших особенностей *идеальной* школы Чичерин признает принятие *органической*

⁸ Там же. С. 401.

⁹ Там же. С. 409.

¹⁰ Там же. Т. 1. С. 661-662.

¹¹ Там же. Т. 2. С. 207-210.

¹² Там же. Т. 1. С. 402.

концепции государства, совершенно противоположной индивидуалистическим представлениям Канта. В связи с этим можно констатировать, что признание Канта родоначальником особой идеальной школы в труде Чичерина выглядит малообоснованным и сделано только ради большей стройности принятой схемы исторического генезиса политических идей.

По существу, именно Руссо и Кант дали окончательное выражение либеральной политической идеологии, основанной на абсолютном приоритете отдельной личности и ее свободы (что соответствует понятию индивидуальной школы у Чичерина). В варианте Канта главным принципом этой идеологии оказывается идея права, гарантом которого и выступает государство. Не случайно Чичерин уделяет большое внимание теории государства, созданной Вильгельмом Гумбольдом, поскольку в ней еще более последовательно, чем в теории Канта, обосновалось именно такое понимание государства. Значительную часть своей ранней работы на эту тему Гумбольдт посвящает критике всех возможных функций государства, выходящих за рамки обеспечения строгой правовой системы. При этом он, точно так же как и Кант, полагает, что изображаемое им государственное устройство является идеалом, к которому необходимо приближаться постепенно, через все большее раскрытие и раскрепощение присущей каждой личности свободы.

2

Кант впервые дал философское обоснование идее человеческой свободы. Ради этого он «изъял» человека (в его подлинной, скрытой сущности) из мировой закономерности и вообще из всего эмпирического мира и поместил в особую ноуменальную сферу. Однако при этом у Канта возник разрыв между внутренней свободой личности и полным подчинением человека мировой необходимости в эмпирической, феноменальной жизни. Это превращало свободу в чистый идеал, а в реальной жизни человек оказывался зависимым от законов природы, как это полагали многие философы до Канта. Нужно было сделать свободу реальной и в эмпирической жизни, нужно было понять ее как важнейший фактор, определяющий и поведение человека, и устройство общества. Такое окончательное выдвижение свободы на первый план в понимании человека и общества стало важнейшим достижением прямого идейного наследника Канта — Иоганна Готлиба Фихте.

Кант задал единственно возможную логику метафизического обоснования свободы: чтобы избежать полного подчинения человека природной закономерности, нужно найти в нем сферу, *не подчиненную этой природной закономерности* и обладающую более высоким метафизическим статусом, чем все мировое бытие. Фихте довел эту логику до конца: чтобы свобода человека была реальной в его мировом, эмпирическом бытии, нужно не просто признать отделенность указанной сферы от этого бытия, нужно объявить эту сферу *источником всех закономерностей мирового бытия*. Человек обладает определенной свободой даже внутри мировой закономерности потому, что сама эта мировая закономерность не является для него такой же непреодолимой, как для объектов природного

мира. Имея доступ к той инстанции бытия, из которой истекает эта закономерность, человек способен действовать вопреки ей и, возможно, даже изменять ее.

Это обуславливает основные принципы субъективного идеализма Фихте. Первоначалом бытия оказывается абсолютный субъект, абсолютное *я*, которое является неким «обобщением» конечного человеческого субъекта, а конечный субъект, относительное *я* является «частью», «преломлением» абсолютного *я*. Поскольку абсолютное *я* обладает абсолютной свободой, выражающейся в созидании всех конкретных форм бытия (по сути — разных форм представления, существующих в нем самом), то и относительное *я* через акт своего единства с абсолютным *я* может возвыситься над своей подчиненностью мировой необходимости и обрести подлинную свободу. Именно этот акт «высхождения» относительного *я* до абсолютного *я*, преодоление конечности и осознание своей свободы, своего «господства» над объектами эмпирического мира и составляет главное в содержании практического разума, т.е. основу нравственности.

Однако полное подчинение объектов ограниченному субъекту невозможно, поэтому в практической сфере отдельная личность создает себе *идеал, идеальный мир*, в котором эта цель и полное раскрытие свободы представляются полностью осуществимыми. Противоречие между идеалом и реальностью Фихте решает точно так же, как и Кант: «...требуется соответствие этого мира с идеальным, и хотя полное осуществление этой цели лежит в бесконечности, но все же предполагается постепенное к ней приближение, без чего невысказана практическая деятельность субъекта, следовательно, и самое его существование»¹³

Мы не будем вдаваться во все детали анализа философской системы Фихте, который проводит Чичерин, однако отметим, что этот анализ хорошо демонстрирует и достоинства, и недостатки идей немецкого мыслителя. Учитывая, что Фихте был очень популярен в России во второй половине XIX века и оказал большое влияние на системы многих русских философов (например, идея Богочеловечества в варианте Вл. Соловьева явно соотносится с идеями Фихте), можно утверждать, что Чичерин сделал важное дело, показав глубокий смысл субъективного идеализма Фихте, его нацеленность на обоснование абсолютной ценности человеческой личности и ее свободы. Отметим также, что чуть позже эту линию в интерпретации философии Фихте как новаторского антропологического учения продолжил Иван Ильин в нескольких статьях 1912-1915 гг.

Таким образом, Фихте довел до логического завершения то метафизическое обоснование свободы и нравственности, которое задал Кант. По Фихте, нравственность — это реализация абсолютности человеческой личности, поэтому нравственность, в отличие от того, что утверждал Кант, не может быть формальной, она направлена на постепенное раскрытие в мире творческой свободы человека, раскрытие

¹³ Там же. Т. 2. С. 438.

его центрального положения в мире. Еще одно важное расхождение с Кантом заключается в том, что Фихте окончательно разрывает связь нравственности и права. Право в его теории понимается как существенно независимое от нравственности. Он, как и Кант, полагает, что право есть форма конституирования и регулирования *внешней* свободы человека, которая в отличие от внутренней свободы является ограниченной. • Но причины этой ограниченности Фихте понимает совершенно иначе, чем Кант. Эта ограниченность связана вовсе не с тем, что субъект действует в независимом от него мире. В Фихте мир зависим от субъекта, поэтому он не может принципиально ограничить его свободу. Но Фихте признает, что субъект действует в координации и столкновении с *другими субъектами*, и именно это приводит к ограничению внешней свободы: «...взаимное признание разумных существ выражается в том, что каждое ограничивает свою свободу свободой другого, приписывая себе известную сферу деятельности и предоставляя такую же сферу другому. Такое отношение называется *юридическим*, и управляющий им закон есть *право*»¹⁴

Такое определение права резко отделяет его от нравственности. «Нравственный закон имеет абсолютную обязательную силу во всех обстоятельствах, даже в полном одиночестве; юридический же закон имеет силу относительную: он обуславливается взаимностью. Если я хочу жить в общении с разумно-свободными существами, я необходимо должен ему следовать; иначе они не будут признавать моей свободы. Но это общение для меня не обязательно; я могу от них удалиться и прекратить всякие юридические отношения»¹⁵

Положительный момент такого понимания права, как считает Чичерин, состоит в подчеркивании самостоятельного значения внешней свободы и права. Но здесь есть и большой недостаток, который связан с тем, что право выводится из отношения разумных существ, «санкционируется» актом взаимного признания чужой свободы. Но тогда получается, что сама свобода подчинена этому акту, и если акт признания не осуществляется, она утрачивается по строгим юридическим основаниям. Это ведет, по мнению Чичерина, к нелепым выводам. «Тот, кто держит другого в оковах, имеет, по этой теории, полное право не признавать чужой свободы, ибо он не требует признания своей: он действует физическою силою и страхом, следовательно, юридически прав»¹⁶ В данном случае Чичерин настаивает на невозможности полностью разделить право и нравственность, внешнюю и внутреннюю свободу, иначе внешняя свобода становится чем-то условным и необязательным, не выражающим абсолютного значения человеческой личности. «Люди не потому свободны, что они признают друг друга таковыми,— констатирует Чичерин,— но они признают друг друга таковыми, потому что они по природе своей свободны»¹⁷

¹⁴ Там же. С. 449.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. С. 450.

Там же.

Понимание права как взаимного признания свободы определяет особенности понимания государства у Фихте. С одной стороны, отсюда вытекает сама необходимость государства: если акт взаимного признания свободы заканчивается неудачей, необходимо обратиться к кому-то третьему, кто способен разрешить возникшее противоречие и гарантировать свободу. Таким третьим может быть только общая воля, в которой участвуют все конфликтующие субъекты. Здесь Фихте встает на путь Руссо и всей индивидуальной школы. Однако, с другой стороны, в отличие от Руссо и Канта, Фихте не признает право *первичным* по отношению к государству. Только благодаря государству право формируется и становится действенным. Это означает, что государство перестает быть простым гарантом объективно существующего права, оно должно само *формировать* право, т.е. конкретные права личностей, путем закрепления *отдельных сфер деятельности* за определенными лицами.

Распределяя сферы свободы, т.е. сферы свободного действия граждан, государство вынуждено заняться и распределением собственности, от которой эти действия зависят. Последовательно развивая эту точку зрения, Фихте приходит к известному определению государства как «замкнутого торгового союза». «Через это оно достигает истинного своего значения,— так излагает Чичерин выводы Фихте.— Оно перестает быть внешним собранием лиц, но получает характер *организма*, в котором каждый член занимает свойственное ему место, и все находится в постоянном взаимодействии и в постоянной зависимости друг от друга, подобно органическим произведениям природы. <...> Главный источник зла в современных нам обществах <...> заключается в беспорядке и в невозможности установить настоящий порядок; в предположенном же устройстве все должно подчиняться порядку, *все должно ходить по струнке*. Поэтому здесь нарушение права почти немислимо. Государство устраняет от граждан все неудобства и обеспечивает каждому получение всех тех жизненных благ, на которые он может иметь право как человек»¹⁶ В результате Фихте от индивидуалистической концепции в духе Руссо и Канта переходит к социалистической утопии, в которой личности гарантируются все содержательные права и блага, но сама она утрачивает значительную долю внешней свободы и подчиняется государству как органическому целому. Одновременно Фихте восстанавливает жесткую связь права и нравственности: существенное сокращение сферы внешней свободы, т.е. свободы выбора личностью собственных целей, оправдывается тем, что деятельность личности должна быть направлена на реализацию общей (государственной) цели, заданной нравственностью,— подчинение всей природы, всего эмпирического мира человеческому обществу.

Ошибки теории государства Фихте, по мнению Чичерина, обусловлены прежде всего неправильным пониманием права, под правом он подразумевает не только свободу действий, но и определенные *цели* этих действий. «Под влиянием этих начал,— констатирует Чичерин,—

¹⁶ Там же. С. 460.

изменяется и самое понятие о собственности. Под именем собственности Фихте разумеет не право на вещь, т. е. на известный предмет деятельности, исключительно предоставленный лицу, а исключительное право на известное действие, ведущее к достижению цели. Право собственности подводится, таким образом, под понятие о монополии. Но через это оно перестает быть проявлением свободы. Другие отрекаются от действий этого рода, не с тем только, чтобы монополист мог удовлетворять собственные свои нужды, но и с тем, чтобы он обязался удовлетворять чужие. Вследствие этого работа делается принудительно; она ставится в юридическую зависимость от чужих требований. Вся промышленность отдается в руки государства, которое определяет и количество рабочих в каждой отрасли, и количество и качество работы, и цену произведений. Всякая свобода исчезает; граждане ходят по струнке в руках общественной власти. Иначе и быть не может, как скоро человек для достижения личных своих целей не полагается на свою свободу, а требует обеспечения от других»¹⁹

В противоположность этому Чичерин считает, что право должно быть «формальным», а не содержательным, оно должно обозначать только границы свободы личности без какой-либо регламентации тех действий, которые считаются допустимыми в указанной сфере.

Значение Фихте в истории политической мысли Чичерин определяет как переход от индивидуалистической модели государства к органической модели, в которой государство понимается как некое органическое целое, соединяющее людей ради высших нравственных целей. Последовательное развитие этого нового понимания государства было осуществлено Шеллингом и его учениками. Сам Шеллинг достаточно мало писал о политической сфере, но он оказал огромное влияние на всю философию Германии в XIX веке, и это оправдывает достаточно подробное рассмотрение Чичериным его философских воззрений. Впрочем, из его изложения можно сделать вывод, что философские взгляды Шеллинга очень близки взглядам Фихте, по крайней мере в понимании нравственности и права.

Главным отличием метафизической системы Шеллинга от системы Фихте Чичерин считает иное понимание Абсолюта, своим действием творящего все бытие. Фихте полагал в качестве такового абсолютного субъекта, но субъект по определению представляет собой нечто относительное, поскольку субъект мыслим только в противопоставлении объекту. Критикуя такое понимание Абсолюта, Шеллинг считает, что в качестве Абсолюта можно брать только тождество субъекта и объекта. «Безусловным может быть только то, что не зависит от другого, что само себе начало, в чем мысль и бытие непосредственно следуют друг из друга. Это и есть абсолютное я, которое составляет вместе и субъект и объект, которое есть, потому что оно себя сознает, и сознает себя, потому что оно есть. Иными словами, абсолютное есть дух, лежащий в основе всех вещей»²⁰

¹⁹ Там же. С. 461.

²⁰ Там же. С. 473.

Дальнейшее метафизическое обоснование свободы и нравственности мало чем отличается от того, как это делал Фихте. «Человек не что иное, как проявление абсолютного я в ограниченной сфере. Поэтому высший для него закон есть тождество с абсолютным духом, или, что то же самое, тождество с собою, с своею внутреннею сущностью»²¹ Таким образом, в метафизическом смысле нравственность — это реализация своей абсолютной творческой свободы, и возможна она благодаря «возвышению» отдельной эмпирической личности до Абсолюта, в акте «совпадения» с Абсолютом.

Право Шеллинг, точно так же как и Фихте, выводит из столкновения ограниченных воль отдельных разумных существ (людей). Именно в объяснении правовой системы Шеллингом Чичерин находит особенно ясное выражение той системы идей, которая позволяет ему называть всю рассмотренную линию развития *идеализмом*. Шеллинг считает, что ради обеспечения сферы свободы для каждой личности нужно установить определенную систему ограничений, некий порядок. Этот порядок оказывается системой принуждения, он выступает как некая «вторая природа», подчиненная непреложным законам. «Тут, по-видимому, является противоречие, — продолжает Чичерин, — с одной стороны, юридический закон должен представлять объективный порядок, господствующий над свободой, с другой стороны, он может быть установлен единственно свободой, следовательно, всегда остается от нее в зависимости. Это противоречие разрушается тем, что правомерный порядок осуществляется постепенно, в историческом развитии, где свобода, будучи деятелем, сама подчиняется высшей, объективной необходимости. Правомерный порядок является здесь *идеалом*, который осуществляется не отдельным лицом, а целым родом. Первоначально учреждения возникают случайно, в силу произвола и обстоятельств; но так как в этом виде они не соответствуют требованиям, то они постепенно изменяются. И здесь свобода является движущей пружиной развития, но действия ее, помимо человеческой воли, направляются к высшей цели»²²

История есть процесс развития Абсолюта (Божества), диалектически сочетающий в себе свободу и необходимость, сознательное и бессознательное. Уточнение деталей этого процесса приводит Шеллинга к известной концепции всеединства, оказавшей большое влияние на философские воззрения Вл. Соловьева и некоторых других русских мыслителей. В начальной точке своего метафизического развития Абсолют является полным единством, целостностью всех своих определений; затем происходит процесс распада этого единства (всеединства) на относительно самостоятельные элементы, причем причиной этого процесса является реализация человеком, низшей «ипостатью» Абсолюта, своей свободы. В силу этого катастрофического процесса в мире появляется зло и нецелостные, неорганические формы бытия. От этой же причины происходят и все недостатки человеческого

²¹ Там же. С. 473-474.

²² Там же. С. 486.

существования. Утратив связь с Богом, человечество становится нецельным, распадается на враждующие элементы — личности, поэтому оно вынуждено искать внешнего, вторичного единства, его и дает государство в форме власти, т.е. в форме, которая не в состоянии дать подлинного единения в свободе.

Однако в конце концов неорганичное, несовершенное существование человека должно быть преодолено, исправлено, жизнь человека должна возвратиться к подлинной целостности и единству с Богом. Это может быть осуществлено только через религию и церковь, которые должны стать главными факторами перехода человечества в новую, органическую форму своего существования. «Одно лишь высшее развитие религиозного познания способно если не совершенно устранить государство, сделавши его ненужным, то по крайней мере освободить его от слепой силы, в нем владывающей. Не церковь должна господствовать над государством и не государство над церковью, но государство должно в себе самом развить религиозное начало, так, чтобы великий союз народов на земле покоился на крепком основании всеобщих верований и убеждений»²³

Выраженная здесь идея Шеллинга оказала огромное влияние на русскую философскую мысль. Наиболее очевидно ее преломление в творчестве А. Хомякова и Вл. Соловьева, у последнего — в известной идее грядущей «свободной теократии». Влияние этих представлений можно обнаружить и в творчестве Ф. Достоевского. В характеристике Ивана Карамазова, одного из главных героев-идеологов Достоевского, очень важную роль играет факт опубликования им статьи по «церковному вопросу». Из дискуссии вокруг этой статьи, которую ведут герои романа (в сцене встречи братьев Карамазовых в келье старца Зосимы), можно уверенно заключить, что в указанной статье Иван очень точно воспроизводит именно идею Шеллинга о грядущем «перерождении» государства в церковь (конечно, Достоевский мог воспринять эту идею не непосредственно от Шеллинга, а из сочинений Хомякова или Соловьева).

Для Чичерина эта идея Шеллинга важна тем, что в ней он видит «переход от натуралистического идеализма к идеализму нравственному»²⁴ Здесь вновь проявляется стремление подогнать реальную историю мысли под априорную схему. Канта и Фихте Чичерин причисляет к «субъективному идеализму», поскольку они по-прежнему выдвигают на первый план личность, понятую в первую очередь как субъект познания. Шеллинг и его последователи оказываются «натуралистическими идеалистами», поскольку у них человеческое общество и государство есть такая же земная реализация Божества, как сама вселенная. Поэтому некоторые из этих мыслителей (например, Йохан Баптист Ниблер), выводят государство прямо из «организма вселенной», предполагают, что государственное целое есть развитие и высшая форма органического единства вселенной. Хотя это частично оправдывает термин

²³ Там же. С. 498.

²⁴ Там же.

«натуралистический идеализм», применяемый Чичериным, кажется гораздо более естественным назвать это направление «пантеистическим идеализмом».

3

Как уже говорилось, самым главным в новом понимании государства является отрицание идеи первичности личности по отношению к общественному целому, государство понимается как органическое целое, в котором все люди связаны между собой нерасторжимыми связями (по большей части не осознаваемыми), эти связи делают иллюзорной их самостоятельность, лишают возможности существовать в обособленности от общества. В целом достаточно высоко оценивая эту идею и признавая, что в ней заключается существенное значение всего этого направления политической мысли, Чичерин тем не менее считает, что последователи Шеллинга проводят эту идею слишком радикально. Поэтому он в основном критикует их, не признавая возникающие здесь концепции государства достаточно правильными и перспективными. Это место в труде Чичерина можно считать одним из важнейших для понимания его собственных взглядов и для оценки не только достоинств его труда, но также упущений и недостатков, поэтому рассмотрим смысл критики Чичерина более внимательно.

Казалось бы, критика Чичерина совершенно справедлива: он считает, что в своем *органическом* понимании государства «натурфилософы» переходят разумную грань, утверждая не только духовное, опосредованное единство людей, обеспечиваемое их духовным общением, но и единство *материальное, физическое*, каковым является единство любого организма природы. Вот как, например, Чичерин излагает воззрения Ниблера: «Отдельный член всякого организма, говорит он (Ниблер.— И.Е.), есть *только* член этого организма, а вне этого он ничто. Деятельность частей имеет здесь лишь кажущуюся самостоятельность. Часть действует в целом, а целое в части. Это прилагается и к политическому союзу. Государство производит через промышленников, мыслит через ученых, защищается посредством воинов и т.д. И наоборот, все что делают отдельные лица, они делают не для себя и через себя, а для государства и через государство. Поэтому государство не только простирает свою власть на все человеческие отношения, но и связывает всех своих членов в одно органическое целое, распределяя между ними занятия и изыскивая для каждой отрасли наиболее способных к ней людей. Через это лица становятся вполне зависимыми друг от друга; они принуждены образовать из себя одно замкнутое целое»²⁵

Можно признать справедливым утверждение Чичерина, что при таком буквальном сравнении государства с живым организмом ставятся под сомнение свобода и самостоятельность отдельной личности. Здесь во всей силе проявляются либеральные убеждения Чичерина, он не может признать единство людей в рамках общественного целого

²⁵ Там же. С. 504-505.

настолько существенным, чтобы оно делало их зависимыми частями этого целого. Но в том-то и дело, что указанное единство людей можно понимать не только через достаточно грубую аналогию с биологическим организмом, но и более тонко, в рамках сложной системы метафизических идей. Именно так этот принцип понимался и разрабатывался в русской философии XIX-XX веков. В рамках прямолинейной биологической аналогии теорию общества развивал только Н. Данилевский. Но в те десятилетия, когда Чичерин писал последние тома своего труда, уже существовали примеры глубокой метафизической реализации этой идеи. Прежде всего это концепция соборности А. Хомякова, непосредственно развивающая изложенные выше философские воззрения Шеллинга. Самым талантливым и известным примером теории общества и государства, построенной на том же принципе органической целостности, который критикует Чичерин, дает философия Вл. Соловьева. Не вдаваясь в подробное изложение взглядов Соловьева, напомним только одну очень известную его мысль, высказанную со ссылкой на Огюста Конта. «С гениальной смелостью,— пишет о Конте Соловьев,— он <...> утверждает, что единичный человек сам по себе или в отдельности взятый есть лишь абстракция, что такого человека в действительности не бывает и быть не может. И конечно, Конт прав»²⁶ И далее развивает эту мысль: «Социологическая точка — единичное лицо, линия — семейство, площадь — народ, трехмерная фигура, или геометрическое тело,— раса, но вполне действительное, физическое тело — только человечество»²⁷ Эта идея осталась очень популярной и в начале XX века, причем примеры ее последовательного проведения показывают, что она не обязательно сопровождается полным отрицанием свободы личности, возможно здоровое диалектическое сочетание этих принципов.

Хотя во второй половине XX века началось новое наступление либеральных идей, та концепция общества и государства, которая зародилась в трудах западных и русских мыслителей «органического» направления, представляется очень перспективной и в наши дни; она представляет собой вполне обоснованную и эффективную альтернативу современному либерализму, испытывающему явный кризис. Однако Чичерин не признает это направление правильным, в нем он позитивно оценивает только отдельные идеи, которые могли бы, по его мнению, дополнить либеральную идеологию.

Особенно ярким мыслителем рассматриваемой школы является Карл Краузе; многие его идеи предвосхитили те новации, которые вошли в европейскую философию в конце XIX века. Чичерин, будучи сторонником классического рационализма, не видит этих новых идей и не оценивает их по достоинству. Он признает Краузе «эклектиком» и «добросовестным тружеником», но не «глубоким мыслителем»; все ключевые идеи философской и политической системы Краузе Чичерин подвергает безжалостной и не всегда оправданной критике.

944417.

²⁶ Соловьев В. С. Идея человечества у Августа Конта // Соловьев В. С. Собр. соч.: В 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 568.

²⁷ Там же. С. 570.

Из органического понимания государства Краузе выводит необычное определение права, в котором главным оказывается не *обеспечение свободы личности*, как в либеральных теориях индивидуалистического толка, а *обеспечение разумной* (т.е. совершенной, достойной) *жизни*. Чичерин критикует это определение за то, что в нем понятие свободы отходит на второй план, свобода только способствует осуществлению права как совокупности условий достойной жизни. Одно из возражений Чичерина заключается в том, что содержащееся здесь понятие «условий» слишком широко, и сюда может попасть все что угодно. Соглашаясь с этим, можно тем не менее заметить, что развитие *социальных* государств во второй половине XIX века шло именно по пути обогащения системы права за счет все большего и большего количества условий, гарантирующих каждой личности достойную жизнь; наглядным примером здесь могут служить известные всем ныне «права потребителя». В этом смысле можно признать, что определение Краузе, несмотря на свою широту, отражает тенденцию к превращению права из чисто формальной системы (на чем настаивает Чичерин) в систему содержательную, непосредственно регулирующую жизнь каждого человека, обеспечивающую качество этой жизни.

Впрочем, правота Чичерина становится более определенной, если мы учтем политическую практику его эпохи. Во второй половине XIX века содержательное понимание права вело к чрезмерной регламентации жизни, т.е. выливалось в социалистическую утопию. «Определение права не свободой, а высшею целью человека неизбежно ведет к абсолютным, идеальным требованиям, которые, в свою очередь, влекут за собою не ограждение самостоятельности лица, а, напротив, полное подчинение личного начала общему. <...> Праву соответствует обязанность, и то, что один может требовать, то другой обязан давать. По учению Краузе, в силу органической связи между всеми частями права, самое требование перестает быть личным делом человека: его право есть вместе с тем и его обязанность, ибо оно составляет существенную часть общего организма всех прав. На этом основании каждый может требовать от другого, чтобы он не только пользовался своим правом, но и пользовался как следует. Так как личная область, предоставленная деятельности каждого, определяется не свободой, а целью, то человек имеет право делать единственно то, что само по себе правомерно и что согласно с органическим единством всей человеческой деятельности»²⁸

В данном случае Чичерин безусловно прав: если в праве будут господствовать *только* содержательные мотивы, в нем полностью исчезнет элемент свободы. Но он почему-то не учитывает, что правовую систему можно организовать через синтез формально-абстрактных норм, свойственных классическому либерализму, и содержательных норм, направленных на «улучшение» жизни каждого гражданина. В этом смысле критика Чичериным теории Краузе, являющейся больше метафизической, чем чисто юридической, не вполне корректна.

²⁸ Чичерин Б.Н. История политических учений. Т. 2. С. 552-553.

Содержательное понимание права естественно ведет Краузе к сближению права с нравственностью. Это вновь вызывает критику Чичерина. Поскольку об этом уже шла речь выше, мы не будем повторять аргументы Чичерина. Отметим только, что его собственная точка зрения — признание права гарантией суверенной сферы внешней свободы личности — все-таки слишком разводит право и нравственность. Здесь вновь уместно вспомнить Вл. Соловьева, который понимал право близко к тому, как это делал Краузе. Соловьев определял его как «минимум добра», реализуемого в материальном мире²⁹. Как известно, Чичерин вступил в резкую полемику с Соловьевым после выхода в свет его капитального труда «Оправдание добра», и одним из главных пунктов этой полемики было как раз чрезмерное сближение Соловьевым права и нравственности³⁰. С дистанции исторического времени нужно признать, что истина в споре двух выдающихся русских мыслителей лежит где-то посередине; повторим, право должно гарантировать определенную меру свободы личности, но оно может и должно одновременно ставить содержательные задачи для этой свободы ради реализации «минимума добра».

Упомянем еще одну интересную идею Краузе, о которой говорит Чичерин. Краузе признает самостоятельным органическим единством не только собственно человечество, но и различные частные общественные союзы, объединяющие людей, — от семьи и круга друзей до народа, населения одного континента, человечества и даже, возможно, вселенского единства всех разумных цивилизаций. Каждый из этих союзов должен пониматься как целостность, аналогичная отдельной личности. Чичерин с негодованием отвергает это построение, но нам кажется, что оно не настолько нелепо, как это может показаться на первый взгляд. Достаточно сказать, что все это очень напоминает систему Льва Карсавина с ее центральным понятием «симфонической личности» (отметим интересный факт: сочинение Карсавина, в котором изложена эта система, называется точно так же, как и труд Краузе — «Философия истории»). В философии Карсавина все критикуемые Чичериным идеи, на наш взгляд, получают капитальное философское обоснование и доказывают свою плодотворность для объяснения общества и его исторического развития.

Следующие фрагменты 4-й части «Истории политических учений» оставляют двойственное впечатление. Сначала Чичерин подробно излагает и критикует философское учение Артура Шопенгауэра, а затем

²⁹ Как пишет Соловьев, «право есть принудительное требование реализации определенного минимального добра, или такого порядка, который не допускает известных крайних проявлений зла» (Соловьев В. С. Право и нравственность. Минск, 2001. С. 35).

³⁰ См.: Чичерин Б.Н. О началах этики (по поводу книги Вл. С. Соловьева «Оправдание добра») // Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 39. С. 587-701; Соловьев В.С. Минимая критика (ответ Б.Н. Чичерину) // Там же. С. 645-694; Чичерин Б. Н. Несколько слов по поводу ответа г. Соловьева // Там же. Кн. 40. С. 772-779; Соловьев В. С. Необходимые замечания на несколько слов Б. Н. Чичерина // Там же. С. 779-783.

возвращается к Фихте и рассматривает его позднее учение, которое, согласно Чичерину, существенно отличается от его ранних представлений. Раздел, посвященный Шопенгауэру, вызывает недоумение. На первый взгляд, совершенно непонятно, зачем вообще Чичерин обращается к учению Шопенгауэра, ведь в нем общественно-политическая составляющая минимальна и, кроме того, по утверждению самого Чичерина, настолько неоригинальна, что проигрывает даже учению Гоббса («Если мы сравним его теорию с учением Гоббса, то увидим, до какой степени последнее стоит выше по силе и последовательности мысли»³¹). Но нужно вспомнить, что 4-я часть труда Чичерина создавался в 70-е гг. XIX века, когда Шопенгауэр становился чрезвычайно популярным мыслителем, в том числе и в России. Чичерин не мог пройти мимо этого явного сдвига философской «моды» в сторону иррационализма, и он подверг уничтожающей (как он сам полагал) критике нового кумира. С точки зрения современных представлений о путях развития европейской философии критика Чичерина выглядит совершенно неубедительной и вообще проходящей мимо самого главного в философии немецкого мыслителя. Являясь непоколебимым приверженцем классического рационализма, Чичерин видит в учении Шопенгауэра только череду нелепых заблуждений, которые, как ему кажется, легко опровергаются строгой рациональной аргументацией. Он совершенно не замечает, что в своих самых глубоких идеях Шопенгауэр достаточно убедительно показывает ложность самих *оснований* европейского рационализма и тем самым делает неубедительной всю эту критику. Еще раз отметим, что, к сожалению, Чичерин был совершенно нечувствителен к тем поистине революционным изменениям, которые происходили в европейской философии во второй половине XIX века и которые привели к рождению ее совершенно новой, *неклассической* формы³².

Именно для того чтобы принизить значение Шопенгауэра до некоего исторического «курьеза», Чичерин разрывает философию Фихте на два периода и вопреки всякой логике помещает изложение учения Шопенгауэра между разделами, посвященными Шеллингу и позднему Фихте. Для Чичерина Шопенгауэр ни в коем случае не является «новым словом» по отношению ко всей классической немецкой философии. Вершиной развития философии в Европе, по мнению Чичерина, стала система Гегеля, поэтому именно ее изложение завершает 4-я часть «Истории политических учений».

Что касается Фихте, то выделение его поздних взглядов в особый раздел также не выглядит достаточно логичным. Чичерин с увлечением пересказывает все тонкости поздней метафизики Фихте, подчеркивая, что он отходит от субъективного идеализма и движется к абсолютному идеализму, в котором Абсолютом, истоком всей реальности выступает Мировой Разум. Тем самым Чичерин делает позднего Фихте предтечей абсолютного идеализма Гегеля. В принципе с такой трактовкой развития

³¹ Чичерин Б. Н. История политических учений. Т. 2. С. 600.

Подробнее об этом см. в книге: Евлампиев И. И. Становление европейской неклассической философии во второй половине XIX — начале XX века. СПб., 2008.

взглядов Фихте можно согласиться. Однако в контексте труда, посвященного истории политических учений, детальное изложение сложных метафизических идей Фихте выглядит явно избыточным. Читатель, которому удастся пройти через лабиринт тонких построений Фихте, подробно изложенных Чичериным, вряд ли поймет, зачем ему это нужно. Ведь переходя к моральной и политической системе позднего Фихте, Чичерин констатирует, что в ее основе лежат те же принципы, которые излагались в связи с более ранними взглядами Фихте.

Человек, по Фихте, причастен одновременно и высшему началу всего, Разуму, и чувственному миру, который является творческим произведением Разума. Связь между двумя слатаемыми человека, между двумя «мирами» осуществляет воля, она призвана реализовывать в чувственном мире законы свехчувственного (Разума), т.е. нравственные законы.

При всей возвышенности такого представления о человеке Чичерин справедливо видит здесь тенденцию к подчинению личности тем общностям, в которых воплощен свехчувственный разум и которые решают в мире нравственные задачи; такими общностями являются прежде всего церковь и государство. «Нравственность заключается для него (Фихте.— И. Е.) только в полном исчезновении личной жизни; всякое же, даже ничтожнейшее отступление от нравственных требований указывает на то, что сохранилась еще самостоятельность лица; следовательно, тут является личная жизнь, а не общая»³³

Абсолютный акцент на нравственности в понимании отдельной личности приводит в учении о государстве к тому, что право (которое Фихте понимает, так же как и раньше, как форму согласования свободы отдельных личностей) окончательно подчиняется нравственным задачам и становится второстепенным, «искусственным» образованием, допустимым только временно, до существенной реализации нравственных задач. В связи с этим главной целью государства в поздний период своей творческой деятельности Фихте признает нравственное воспитание народа, и этой цели подчиняется все. Даже правление в правильном государстве, согласно Фихте, должно быть прерогативой сословия учителей, осуществляющих нравственное воспитание народа.

Нравственный идеал, который постепенно воплощается в человечестве, по Фихте, исходно присутствует в нем, но в «бессознательной» форме, не будучи принятым свободно. Суть мировой истории и заключается в постепенной реализации этого идеала уже в свободной и осознанной форме.

Чичерин очень высоко оценивает пафос нравственного обновления человечества, который несет в себе учение Фихте. Он констатирует, что деятельность Фихте во многом способствовала духовно-нравственному возрождению немецкой нации, преодолению разногласий между немецкими княжествами и в конечном счете объединению Германии, ставшей великим государством с великой культурой. Но вполне справедлива и критика, которую Чичерин направляет в сторону Фихте. Все-таки в его учении недостаточное место было оставлено свободе отдельной личности.

³³ Чичерин Б. Н. *История политических учений*. Т. 2. С. 621.

Именно в силу этого недостатка учение Фихте после его смерти оказалось орудием в руках достаточно реакционного политического течения, которое Чичерин называет «богословской школой».

«Фихте искал осуществление своего идеала впереди, а не позади,— пишет Чичерин,— он стремился к освобождению человечества от исторических уз. У означенных писателей, напротив, исторические предания становятся на первый план; является недоверие к личному разуму. Поэтому вместе с революцією осуждается и предвестница ее — Реформация»³⁴ Представители этого направления (самые яркие из них были Карл Людвиг Галлер, Адам Мюллер и Фридрих Шлегель) перешли из протестантизма в католицизм и стали выразителями того реакционного направления в европейской политике, которое обозначил Венский конгресс, попытавшийся остановить революционные процессы в Европе.

Резко выступая против теории общественного договора, эти писатели утверждали, что государство невозможно понимать как установление самих людей, оно есть порядок, заданный на земле Богом ради нравственного совершенства человека. Основой власти они считали естественное превосходство сильных, способных властвовать, над слабыми, способными только подчиняться. Понимая, что возведение государства на праве силы способно открыть дорогу откровенному деспотизму, они добавляли, что злоупотребление властью ограничивается нравственным духом властителей, который в свою очередь опирается на религию. «Религия <...> должна служить связью между сильным и слабым, между порядком и свободой; поэтому церковь как высший нравственный союз должна властвовать в гражданском обществе»³⁵ Это и оправдывает определение всего этого течения как «богословской школы».

Особо нужно отметить, что Чичерин видит сходство между «богословской школой» в немецкой общественной мысли и движением славянофилов, более того, он констатирует, что указанная школа оказала влияние на взгляды славянофилов. «Мы встречаем у них те же неопределенные толки о "жизни", о "цельности человека", то же подчинение науки религии и стремление примирить жизненные противоположности положительной догмой, наконец, то же фантастическое построение истории и поклонение прошедшему. То, что выдавалось за самобытное произведение русской мысли, в сущности, было только бледным отражением философских учений Запада»³⁶

Признавая правоту Чичерина в его утверждении о несомненной зависимости учения славянофилов от западных (немецких) влияний, все-таки выскажем решительное несогласие с признанием в качестве главного из таких влияний указанной «богословской школы». Чичерин с явной иронией относится к известному течению русской философской и общественной мысли и, стремясь принизить его значение, настаивает

³⁴ Там же. С. 640.

³⁵ Там же. С. 662.

³⁶ Там же. С. 686.

на его зависимости от совершенно вторичной и эпигонской школы немецкой философии. На самом деле славянофилы были гораздо более образованными людьми, чем полагает Чичерин; они ориентировались не на вторичные и примитивные версии известных концепций, а на их первоисточники, в данном случае такими первоисточниками являются системы Шеллинга, Фихте и, возможно, Краузе.

Завершением нравственной школы в идеализме Чичерин считает учение Фридриха Шлейермахера. Здесь органическая теория общества получает более сложную разработку, в связи с тем, что Шлейермахер гораздо большее значение придает личному началу. И хотя в конечном счете и у него «лицо является только орудием высшего начала»³⁷ т.е. личность целиком подчинена нравственному идеалу, выражающему полное согласование мира с высшим Разумом, все-таки при объяснении общества он пытается вывести его органическую целостность из взаимодействия отдельных личностей, преследующих не только общие, но и частные цели.

В основе понимания государства у Шлейермахера лежит понятие деятельности. «Общая организующая деятельность, которую Шлейермахер называет оборотом (*Verkehr*), а также и культурой или устройением природы, определяется правом»³⁸ Таким образом, «организация» природы осуществляется деятельностью отдельных субъектов; поскольку происходит естественная специализация деятельности (разделение труда), то возникает необходимость координации деятельности путем обмена ее продуктами. «Обмен произведений превращает юридический порядок в договорный; договор же обеспечивается государством; следовательно, промышленный оборот завершается установлением государства. Однако один оборот не в состоянии дать ему бытие. Мена не имеет определенных границ; она уменьшается постепенно, с увеличением расстояния. Если государство не должно быть союзом, произвольно выделенным из общей массы, нужно присутствие другого начала, начала особенности, разграничивающего общую организующую деятельность. Оно дается народностью»³⁹ Для самой народности, как отмечает Чичерин, Шлейермахер не находит естественного объяснения, он не видит, что она сама формируется под влиянием различных форм обмена.

Эта концепция в целом правильно фиксирует значение материальной деятельности людей и связанного с этим обмена для формирования целостности общества и государства, однако она обладает одним существенным недостатком, который заключается в том, что здесь для деятельности заранее полагается общая цель, полностью подчиняющая ее себе. В результате вновь правовое регулирование деятельности и всей жизни подчиняется нравственному, основные цели становятся обязательными для исполнения; свобода и личный произвол подавляются, все подпадает под управление государством. Это, в частности,

³⁷ Там же. С. 697.

³⁸ Там же. С. 703-704.

³⁹ Там же. С. 705.

проявляется в том, что обмен оказывается возможным только при двух условиях: 1) должна быть обеспечена нравственная цель совершающейся мены; 2) каждый должен получить обратно столько же, сколько он дал: иначе ухудшается его положение как известного органа разума, а это противоречит нравственности»⁴⁰

Помимо «общей организующей деятельности», которая выражается в промышленности и праве и жестко контролируется государством ради реализации предполагаемого идеала, Шлейермахер выделяет «частную деятельность», связанную с частной сферой бытия личности, и «символическую деятельность», обуславливающую познание и науку. Кроме того, он особо выделяет значение религии как личной формы осознания личностью своей подчиненности высшему началу бытия. В сферу религии Шлейермахер помещает также и искусство. Все эти формы деятельности и сферы бытия личности и общества хотя и не столь жестко определяются государством, но в силу подчинения нравственному идеалу также должны регламентироваться.

Достоинством общественно-политической теории Шлейермахера Чичерин считает его стремление увидеть в основе всех общественных явлений противоречия, обуславливающие постепенный переход от низших форм к высшим. Это прежде всего противоречие между нравственным идеалом и личным сознанием, затем между правителями государства, сознающими идеал и работающими ради него, и подданными, имеющими ограниченное нравственное сознание. Здравая оценка значимости этих противоречий приводит Шлейермахера к обоснованному выводу о том, что наибольший успех обществу обеспечен в том случае, когда правительство не пытается навязать гражданам формы их деятельности, а сообразуется с состоянием народного сознания и пытается стимулировать самих граждан к служению общественным, нравственным целям. Тем не менее этот вывод, как констатирует Чичерин, приходит в противоречие с главной тенденцией нравственного идеализма — полному подчинению личности государству ради реализации идеала.

В качестве реакции на указанную тенденцию, по мнению Чичерина, появляется новая разновидность общественно-политического идеализма — *индивидуалистический* идеализм, в котором, в духе Канта, на первый план выдвигается отдельная личность и ее права и свободы. Собственно говоря, основное содержание процесса развития политических воззрений в начале XIX века Чичерин сводит к диалектическому противостоянию этих двух направлений — нравственного и индивидуалистического идеализма. Исходя из идеи органического единства государства, первое направление делает акцент на системе высших нравственных требований, которые задают общую цель исторического развития общества. Второе направление также признает это органическое единство, но оно выступает здесь уже не как исходно заданное, а как формирующееся в процессе взаимодействия независимых правовых субъектов. В этом случае главное внимание обращается на право как форму регулирования указанного взаимодействия, в то время как нравственность приобретает

⁴⁰ Там же. С. 704.

более абстрактный и формальный характер. Например, у одного из представителей этого направления, Якоба Фридриха Фриса, она сводится просто к идее абсолютной ценности отдельной личности, в связи с чем «весь <...> нравственный закон ограничивается уважением к личному достоинству единичного человека»⁴¹

Все, что Чичерин указывает в качестве характерных черт индивидуалистического идеализма, подчеркивает его сходство с идеологией Канта, Гумбольта и раннего Фихте, т.е. с направлением, которое ранее Чичерин обозначил в качестве особой школы — «субъективного идеализма». Создается впечатление, что и в данном случае, как во многих случаях ранее, выделение особого направления — индивидуалистического идеализма — это скорее дань априорно принятой схеме, чем отражение существенных различий в воззрениях мыслителей начала XIX века. Чичерину нужно противостояние нравственного и индивидуалистического идеализма, чтобы показать, как оно «снимается» в высшей точке развития новоевропейской политической мысли — в системе Гегеля.

Тем не менее Чичерину удается зафиксировать некоторые реальные и достаточно значимые различия между представлениями Канта и взглядами его последователей из лагеря индивидуалистического идеализма. Прежде всего это перенесение внимания с идеи абсолютной независимости личности (что было характерно для Канта и что вообще делало сомнительным его отнесение к течению «идеализма» в его понимании Чичериным) на идею *отношения и взаимодействия* личностей, через которую обосновывалось органическое единство государства. Это выражается, например, в том, что Фрис главным принципом правовой системы считает не свободу личности (как Кант), а юридическое равенство личностей. Кроме того, Фрис не ограничивает значение государства только обеспечением правового порядка, он видит и другие его цели: заботу о благосостоянии и просвещении народа и др. Чичерин признает в этих элементах перспективу перехода к *реализму*, к реалистической теории государства, отталкивающейся не от идеальных требований, а от самой жизни, от конкретной практики социальных отношений.

Однако ни у Фриса, ни у других представителей индивидуалистической школы, считает Чичерин, две эти тенденции — собственно идеалистическая, полагающая для государства идеальную нравственную цель, и реалистическая, учитывающая конкретный опыт взаимоотношения людей, не приведены в должное единство, что порождает ряд очевидных противоречий. Самое явное из них — это невозможность дать естественное определение полномочиям правительства, т.е. самого государства; как пишет Чичерин, «верховная власть приписывается, с одной стороны, чистому разуму, устанавливающему безусловный юридический закон, с другой стороны — общественному мнению, которое выражает собою сумму фактических, существующих в обществе сил, но лишено всякого юридического значения. Правитель же, который по теории призван осуществить юридический закон, остается, в сущности, ни при чем»⁴²

⁴¹ Наст. изд. С. 58.

⁴² Там же. С. 68.

Стремление понять целое общества как соединение отдельных элементов (личностей) приводит к тому, что в индивидуалистическом идеализме само это целое оказывается недостаточно обоснованным, а значит, недостаточно обоснованным выглядит и цель общественного развития, которую предполагает любая форма политического идеализма — достижение обществом состояния нравственного идеала.

В еще большей степени все указанные противоречия свойственны *исторической школе права*, которая была популярна в XIX веке. Ее представители противопоставляли идеал государственного устройства, который проистекал из высших нравственных требований разума, и реальные государства, устройство которых определялось конкретной историей развития данного народа. «Окончательные или идеальные требования основаны на чистых доводах разума, независимо от каких бы то ни было существующих данных или условий; временные же требования соотносятся с действительным положением вещей. Здесь главное правило состоит в том, что надобно держаться установленных обычаев, которые имеют за себя авторитет времени и жизни. То, что признано или признавалось множеством людей, не может быть совершенно неразумно, хотя бы оно не отвечало высшим требованиям разума»⁴³

Как констатируют представители исторической школы, идеальное государство понимается как подчинение всего человечества общему юридическому порядку, обеспечивающему абсолютный приоритет органического единства людей над их раздробленностью. Но в реальности в человеческом обществе господствует раздробленность, и отдельные личности могут руководствоваться только собственными частными интересами, не считаясь с целым, именно поэтому, чтобы избежать полного распада общества и анархии, нужно признать оправданным любой исторически возникший правовой порядок и стремиться к его упрочению.

Чичерин справедливо видит главный недостаток этой теории в невозможности дать конструктивный критерий, в соответствии с которым должно совершенствоваться реальное, позитивное право. Чрезмерное противопоставление идеала и реальности приводит к тому, что представители исторической школы, по сути, отрицают возможность радикального изменения правовых норм ради приближения к идеалу. В этом смысле государство оказывается вторичным по отношению к исторически сложившейся юридической системе.

В итоге Чичерин признает позитивными моментами исторической школы только признание нерасторжимой связи права и личной свободы (что, впрочем, было уже у Канта) и, самое главное, понимание исторического формирования права как выражения особенностей народного духа. Однако все это перевешивает отрицательный момент, заключающийся в том, что государство понимается здесь только как средство для охранения права. «Высшее значение политического союза как органического единства народной жизни не было понято историческою школою»⁴⁴ Но если так, то вновь можно высказать сомнение в обоснованности отнесения этой школы к идеалистическому направлению политической мысли.

⁴³ Там же. С. 125.

⁴⁴ Там же. С. 140.

4

Изложение философских и политических взглядов Гегеля занимает в труде Чичерина относительно небольшое место в сравнении с материалом, посвященным некоторым другим мыслителям. Но это объясняется тем, что система Гегеля является для Чичерина высшей точкой развития философской мысли и полным выражением всех главных истин о человеке и обществе. Поэтому в критическом анализе предшествовавших систем Чичерин не раз обращался к идеям Гегеля, и различные аспекты его учения уже были представлены «между строк» всего предшествующего изложения. В конце 4-й части своего труда, где речь идет о системе Гегеля, Чичерин только сводит воедино все эти идеи, уже звучавшие ранее. Кроме того, Гегелю были посвящены многие страницы других сочинений Чичерина, в частности политические взгляды Гегеля достаточно подробно рассматривались в книге «Собственность и государство».

Справедливо полагая, что главное достижение Гегеля — это диалектическое понимание мира и человека, Чичерин считает особенно важным фиксацию Гегелем главного противоречия, определяющего развитие общества — противоречия между духовной целостностью государства, с одной стороны, и безусловным значением личности и ее свободы — с другой. Как мы помним, Чичерин критиковал большую часть новоевропейских политических учений именно за непонимание этого диалектического (т.е. плодотворного) противоречия, за перекося либо в сторону органической целостности общества, либо в сторону свободы и независимости личности. Гегелевскую интерпретацию сочетания этих полюсов общественной жизни Чичерин считает наиболее плодотворной. Гегель точно определяет тот полюс общественной жизни, который реально конкурирует с целостностью государства, составляет ему диалектическую противоположность. Отдельная личность как таковая не может быть такой противоположностью, поскольку в своей отдельности она оказывается только «абстрактным» элементом общества, лишенным какого-либо влияния. Таким полюсом является *гражданское общество* как осуществление свободы личности именно в сфере общественной жизни. «Гражданское общество есть союз людей как самостоятельных единиц. Основным его элементом является отдельная личность с ее потребностями и интересами. Общее начало служит здесь только средством для удовлетворения личных целей. Отсюда возникает сложная сеть частных отношений, составляющих существо этого союза. Прежде всего, в силу взаимных потребностей люди вступают в экономические отношения друг к другу. Образуется общая *система потребностей*, которая ведет к систематическому распределению самых способов удовлетворения, т. е. к *разделению труда*; последнее же, в свою очередь, влечет за собою *различие состояний*»⁴⁵

По отношению к гражданскому обществу во всей полноте реализуется значение права, оно есть «положительный закон», охраняющий сложившуюся систему гражданских отношений и способствующий ее развитию.

⁴⁵ Там же. С. 256.

Высшие нравственные цели, которые составляют идеал общественного развития, реализуются через противоположный полюс — через государство. «Государство представляет полное осуществление нравственной идеи, действительность нравственного духа или объективного разума. Оно не составляет уже средства для достижения других целей: оно само есть абсолютная цель. Поэтому оно имеет верховное право над человеком, который в нем достигает высшего своего назначения»⁴⁶

Соответственно история человечества рассматривается Гегелем как двудеиная задача все более полного раскрытия личной свободы и движения ко всеобщему нравственному идеалу. Но именно в понимании истории, считает Чичерин, наиболее заметны ошибки Гегеля. Выделяя в диалектическом процессе три стадии — тезис, антитезис и их синтез, Гегель считает Древний Восток «тезисом» единого деспотического государства, античность — «антитезисом» личной свободы, а христианскую Европу последовательным синтезом того и другого. Чичерин поправляет Гегеля, и эта поправка выглядит вполне убедительной. Исходным пунктом развития Чичерин полагает неразвитое единство «тезиса» и «антитезиса», нравственного идеала, реализуемого государством, и свободы личности. Действительно, древние общества, и восточные и западные, не имели соответствующих принципов в достаточно развитой форме. Только в Средние века достигается развитие и обособление этих принципов, что приводит к тому, что средневековое общество и государство оказываются в состоянии резкого раздвоения между светским и духовным мирами, гражданским обществом и церковью. «Между этими двумя мирами возгорается борьба, которая ведет, наконец, к потребности примирения. Последнее составляет содержание новой истории. Над двумя противоположными союзами воздвигается третий, высший, государство, которое, являясь носителем идей Нового времени, вместе с тем составляет возвращение к началам, господствовавшим в древности. Тот же самый путь мы можем проследить и в искусстве, и в философии»⁴⁷

Еще одну серьезную ошибку Гегеля Чичерин видит в утверждении, что только один народ в каждую эпоху мировой истории выполняет замысел Мирового Духа, реализует тенденцию, гарантирующую прогресс всего человечества. Если это частично справедливо по отношению к древней истории, то в Новое время движение истории совершается иначе. «Здесь, при более сложных отношениях, в одно и то же время, различные стороны духа находят свое выражение в различных народах, а общее движение совершается их взаимодействием»⁴⁸

Как и положено западнику и либералу, Чичерин оказывается резким противником метафизического национализма, который был популярен в немецкой философии (особенно у Фихте и Гегеля) и стал важной тенденцией в русской философии второй половины XIX века (прежде всего у славянофилов). Чичерин выступает как сторонник представле-

⁴⁶ Там же. С. 257.

Там же. С. 270.

⁴⁸ Там же. С. 269-270.

ния о грядущем всеедином состоянии человечества — той тенденции, которая в русской философии особенно ярко и последовательно развивалась (хотя очень по-разному) двумя величайшими мыслителями, Ф. Достоевским и Вл. Соловьевым.

5

Послегегелевское развитие европейской политической мысли, составляющее содержание последней, 5-й части «Истории политических учений», изображается Чичериным в основном как упадок, отход от правильной модели общества, очерченной Гегелем, и как новая эпоха господства односторонних точек зрения. Только некоторые из построений, созданные после Гегеля, Чичерин оценивает положительно и только за отдельные глубокие идеи. Например, Лоренц Штейн удостаивается очень высокой оценки за представление о том, что государственная власть должна быть полностью независимой от интересов отдельных классов и групп, чтобы быть способной разрешить все возникающие в обществе противоречия и вести государство к общей цели. Это совпадает с важнейшей идеей самого Чичерина о том, что государство устойчиво только в том случае, когда власть основана на союзе всех социальных групп.

Весьма позитивно Чичерин оценивает идеи французского либерального мыслителя Бенжамена Констан за его убеждение в необходимости гибкого сочетания полновластия народа в форме государства с охранением прав отдельной личности через гарантию различных политических свобод (печати, собраний и т.п.). Хотя Чичерин считает, что Констан не дает описания эффективного механизма, который обеспечил бы соединение этих принципов политической жизни (впрочем, Констан высказывает важную в этом аспекте идею о необходимости иметь независимую судебную власть для гарантии личной свободы и личных прав), Чичерин полностью солидарен с ним в итоговом выводе, что указанное сочетание наиболее естественно и просто можно гарантировать в конституционной монархии.

Принципиальную идею о содействии и сочетании различных социальных и политических структур Чичерин находит в качестве самого ценного в трудах известного либерального теоретика Сисмонди. Хотя он не разделяет республиканские убеждения Сисмонди, он согласен с ним в признании наиболее плодотворными не чистые, а смешанные формы правления: «...только в смешанных правлениях возможно не предоставлять правителям полновластия. Но это делается не вследствие взаимного равновесия власти, которое может вести только к неподвижности. В государстве необходимо не разделение властей, а их содействие общей цели, не равновесие их, а их соединение. Надобно, чтобы из столкновения и сочетания различных волей вышла единая воля, но так, чтобы все интересы были выслушаны, чтобы все права имели защиту и все вопросы подлежали бы наконец верховному решению высшей добродетели, освященной высшим разумением... В этих мыслях Сисмонди весьма ярко выражается конституционная идея XIX века, в противоположность теории разделения властей, господствовавшей

в XVIII веке»⁴⁹ Таким образом, идея органического единства общества, вырастающего из системы диалектических противоречий между разными общественными силами и преодолевающего эти противоречия, представляется Чичерину наиболее характерной для политической философии XIX века. Самым эффективным путем к такому соединению всех сил и групп является народное представительство как способ учета всех мнений и выработки общего, устраивающего всех решения по важнейшим политическим вопросам.

Плодотворную разработку механизма представительного правления Чичерин отмечает в качестве позитивного аспекта политического учения известного историка и общественного деятеля Франсуа Гизо. В своих трудах Гизо осуществляет абсолютно точную критику того понимания демократии, которая была характерна для XVIII века, особенно в индивидуалистических теориях (Локк, Руссо и др.). Даже самые крайние индивидуалисты, констатирует Гизо, не доходят до признания того, что человек настолько свободен, что сам дает себе закон. Все согласны с тем, что общество может существовать только при наличии обязательных для всех законов. Но признание равенства людей ведет к тому, что в качестве источника законов выступает принцип большинства. Это означает, что общество строится на превосходстве силы, а не рассудительности и знания, ведь мнение арифметического большинства, как правило, не является хорошо обоснованным, построенным на разумных соображениях. Такое устройство, утверждает Гизо, противоречит естественному неравенству людей (особенно неравенству способностей) и устанавливает «владычество низших над высшими, неспособных над способными, т.е. самую несправедливую и возмутительную тиранию»⁵⁰

Совсем иной смысл имеет разумное представительное правление в изображении Гизо. Здесь главным является распределение власти не по различию, заданному от рождения (как в аристократии), и не по преобладанию формального большинства (как в демократии), «а сообразно с способностью людей действовать по указаниям разума и правды: фактическая власть полагается там, где может быть предположено законное полномочие. Оно также устанавливает право большинства, но большинства способных, притом так, что это право должно постоянно доказываться на деле. Вследствие этого, правление обставляется гарантиями, которые дают меньшинству возможность возвышать свой голос, доказывать, что оно право, и через это самому сделаться, наконец, большинством. Призывая к правлению большинство способных, представительное начало все-таки не считает их непогрешимыми, а потому и не вверяет им власти безусловно, а ставит им разумные границы»⁵¹

Гизо подробно анализирует главные элементы так понятого представительного правления: принцип разделения и взаимодополнения властей, механизм выборности государственной власти, необходимость публичности действий власти. Можно согласиться с Чичериным, что суж-

⁴⁹ Там же. С. 560-561.

⁵⁰ Там же. С. 578.

Там же.

дения Гизо демонстрируют чрезвычайно глубокое понимание конкретных деталей работы государственного механизма, они выглядят вполне современными и актуальными даже в начале XXI века. Вот, например, как Гизо понимает суть выборов: «Цель выборов очевидно состоит в том, чтобы выдвинуть способнейших людей общества, обнаружить законную аристократию, основанную на свободном признании масс»⁵² В одной этой фразе заключен целый спектр проблем, актуальных для современного политического развития Европы не в меньшей степени, чем для XIX века: возможность существования различных форм демократии, роль властных элит, недостаточная ответственность избирателей, возможность манипулирования общественным мнением и т.п. Нужно полностью согласиться с итоговой оценкой, которую Чичерин выносит в отношении взглядов Гизо на избирательную систему: «...едва ли можно где-нибудь найти в такой точной форме более светлых мыслей по этому предмету»⁵³

Однако приведенные примеры фактически исчерпывают все случаи положительного отношения Чичерина к излагаемым концепциям. В подавляющем числе случаев его настрой предельно критичен, и он не церемонится с персонажами своего повествования, часто давая им очень резкие характеристики.

Как и в предшествующих трудах, самым главным объектом критики Чичерина становится традиция утопического социализма и политико-экономическая теория Карла Маркса как ее завершение. Этой теме посвящено более трети (!) всей 5-й части труда Чичерина, а ведь его целью было изложение всей послегегелевской политической философии. Здесь наглядно проступает один из главных недостатков последних разделов «Истории политических учений» — непропорциональное преобладание критики различного рода ложных теорий над изложением новых позитивных идей; таких новых идей в современной ему литературе Чичерин, по существу, не видел (за указанными выше исключениями).

Критика «научного» социализма и марксизма ведется Чичериным столь же основательно, что и раньше (см. книгу «Собственность и государство»). Он даже углубляет и развивает эту критику, вдаваясь в такие тонкие детали экономической теории К. Маркса, которые кажутся не совсем уместными в труде, посвященном политической философии. Но Чичерин справедливо считает, что популярность марксизма — это слишком значимый и опасный феномен общественного развития, с которым необходимо бороться всеми посильными средствами. Именно поэтому он явно нарушает теоретическую стройность своего труда ради «практической» цели — своей аргументированной и авторитетной критикой повлиять на общественное мнение России, воспрепятствовать дальнейшему распространению ложных и политически опасных идей. Мы знаем, насколько обоснованными оказались опасения Чичерина в отношении марксизма, с этой точки зрения можно признать оправданным чрезмерное внимание к критике политической и экономической теории Маркса. Однако возвращаясь все-таки на чисто теоретическую позицию, мы вынуждены будем

⁵² Там же. С. 580.

⁵³ Там же. С. 582.

констатировать, что в споре с известной идейной традицией Чичерин сам впадает в некую крайность; в определенном отношении нужно признать большую долю истины в позиции социалистов и коммунистов, чем в позиции Чичерина. Это касается важнейшей проблемы, о которой уже говорилось выше,— проблемы сочетания принципа свободы и самостоятельности личности с принципом духовной целостности общества.

Ключевым моментом, поясняющим суть расхождений Чичерина с теорией социалистов и Маркса, мы находим с самого начала его критики взглядов основателя «научного» социализма Карла Родбертуса-Ягцеова. «Родбертус,— излагает суть его теории Чичерин,— восстает против существующей науки политической экономии за то, что она исходит от единиц и от них возвышается к общему, слагая их математическим способом, между тем как надобно исходить от экономического целого и из него уже развивать и объяснять частные элементы. Общественное хозяйство не есть только сумма частных хозяйств, а цельный организм, которым определяются и значение частей. Поэтому наука должна начинать не с личного труда, не с частного капитала и частного производства, а с *национального* или *общественного* труда как совокупной деятельности всех связанных между собою единиц, с *национального* капитала как совокупности средств производства, находящихся в чьих бы то ни было руках, наконец, с *национального* продукта как результата этой совокупной деятельности»⁵⁴ В ответ на это положение Чичерин формулирует свое понимание проблемы: «В действительности работает лицо, а не общество, которое есть только общий термин для обозначения совокупности лиц. Единичному лицу принадлежат и разум и воля, направляющие труд, и физическая сила, которая служит им орудием; общество же как целое всего этого лишено. Поэтому, говоря о труде, непременно надобно начать с лица и затем выяснить взаимодействие лиц; это единственный научный путь. Начинать же с национального труда, который не что иное, как метафора, значит пробавляться риторикой. Это — не наука, а извращение науки»⁵⁵ Совершенно очевидно, что возражая против чрезмерного акцента на целостности экономической жизни общества, Чичерин впадает в противоположную крайность (в экономический «сингуляризм»), которая сточки зрения современного понимания общественных процессов выглядит еще более неверной, чем критикуемая им позиция. Процессы, которые протекали в мировой экономике в XX веке, привели ее к такому интегрированному состоянию (причем не только в национальном, но и в мировом масштабе), что теоретическое понимание экономической жизни оказывается возможным только при использовании принципов, подобных тем, что высказывал Родбертус. Тот путь объяснения, который предлагает Чичерин, является оправданным только по отношению к эпохе классического капитализма, завершившейся в начале XX века, но он не может считаться адекватным по отношению к современной ситуации.

Позиция Чичерина становится еще менее убедительной, если подходить к обществу не с экономической, а с философской точки зрения.

⁵⁴ Там же. С. 318-319.

⁵⁵ Там же. С. 319.

Об этом мы уже говорили выше. Формально Чичерин не согласен с индивидуализмом, в котором общество сводится к совокупности взаимодействующих личностей. Он подчеркивает правоту Гегеля, который понимал государство как форму первичного духовного единства людей. Но отстаивая принцип нравственно-духовного единства общества, Чичерин остается «индивидуалистом» в понимании материальной сферы, тем самым он резко противопоставляет духовную и материальную сферы общества. Нужно признать такую позицию ошибочной. Социальная философия конца XIX и XX веков одной из важнейших идей сделала представление о переплетенности, слитности материального и духовного в обществе. По сути, общество — это особая форма бытия, в которой духовное и материальное слиты до неразличимости. В связи с этим принцип целостности духовной сферы общества, который стал почти аксиомой после Гегеля, в новаторских социальных концепциях конца XIX и XX веков переносится на все сферы общественной жизни, не исключая и материальную. Особенно настойчиво соответствующие представления развивались в русской философии; в качестве наиболее выдающегося примера можно назвать труд Семена Франка «Духовные основы общества» (1930). Чтобы понять главную тенденцию этой книги, достаточно привести только один выразительный тезис Франка: «Общество есть <...> подлинная целостная реальность, а не производное объединение отдельных индивидов; более того, оно есть единственная реальность, в которой нам конкретно дан человек. Изолированно мыслимый индивид есть лишь абстракция; лишь в соборном бытии, в единстве общества подлинно реально то, что мы называем человеком»⁵⁶ В противовес этой тенденции Чичерин защищает позицию, характерную для классического рационализма, которая уже в конце XIX века выглядела устаревшей.

Не менее резко, чем марксизм, Чичерин критикует клерикальное направление политической мысли. В последней части своего труда он рассматривает идеи французских клерикалов, во многом похожие на излагавшиеся ранее взгляды представителей немецкой богословской школы. Здесь вновь нетрудно увидеть искусственность той схемы, с помощью которой Чичерин объясняет развитие европейской политической теории. Прочитав убедительную критику этого направления, естественно задаться вопросом: почему Чичерин относит его к идеалистической школе? Напомним, что двумя главными признаками этой школы он признал наличие представления об идеальной цели общественного развития, определяющей ход истории, и органическую теорию государства. Но, согласно учению главного представителя клерикалов Жозефа де Местра, в правильно устроенном обществе закон не является результатом человеческого установления, а происходит из божественного Провидения и, значит, должен считаться неприкосновенным и неизменным. «И нравственные, и политические обязанности имеют своим источником власть, стоящую выше человека, ибо она одна способна связать его совесть. Поэтому здравый смысл всех народов всегда признавал или что власть исходит от Бога, или что есть

⁵⁶ Франк С.Л. *Духовные основы общества*. М., 1992. С. 53.

неписанные законы, от него истекающие»⁵⁷ Это буквально совпадает с тем описанием, которое Чичерин ранее давал нравственной школе. В трудах представителей клерикального направления нет ничего похожего и на органическое представление о государстве. В итоге невозможно понять, почему французских клерикалов нужно полагать одной из разновидностей идеализма, а не считать рудиментом нравственной традиции, характерной для политической философии XVIII века.

Точно такое же недоумение можно высказать в отношении либерального направления французской политической мысли (Бенжамен Констан, Десютт де Траси, Шарль Конт, Сисмонди). Здесь еще более очевидно отсутствие органического представления об обществе и государстве; изложение Чичерина ясно показывает, что этих мыслителей скорее нужно считать продолжателями индивидуальной школы, чем «идеалистами».

Наконец, отметим, что, пообещав в начале раздела, посвященного французской политической мысли, осветить развитие всех основных направлений XIX века, Чичерин не выполняет этого обещания. За пределами его изложения остается французский утопический социализм (т.е. такие известные идеологи, как К. Сен-Симон и П. Прудон) и родившийся в XIX веке «реализм»; последний термин Чичерина, видимо, должен относиться к влиятельнейшему направлению философской и общественно-политической мысли — позитивизму.

В результате содержание последней части «Истории политических учений» особенно наглядно свидетельствует против схемы развития политической мысли, выстроенной Чичериным. Материал, который представлял исследователю XIX век, оказался слишком богатым и многосторонним, он не желал укладываться в умозрительную конструкцию, вышедшую из недр гегелевского абсолютного идеализма. Отсюда очевидные недочеты и пробелы финальных разделов гигантского труда Чичерина. Видимо, не случайным является и тот факт, что пятый том вышел в свет через 25 лет после предыдущего (в 1902 г. за два года до смерти автора), в то время как первые четыре выходили из печати в течении 8 лет, с 1869 по 1877 г. Впрочем, Чичерин, безусловно, предполагал продолжить свою работу — в существующем варианте она явно не имеет логического завершения; другое дело, насколько, в итоге ему удалось бы достичь всех целей, которые он себе ставил.

Чичерин был великолепным знатоком собственно *истории* философской мысли, особенно того периода, который был связан с рационалистической традицией, но вот новейшие, *неклассические* (во многом даже *антирационалистические*) концепции второй половины XIX века остались для него закрытыми. Именно поэтому последние разделы труда, которые успел написать Чичерин, выглядят фрагментарно, не вполне логично на фоне всего предшествующего материала. В этом смысле значение «Истории политической мысли» — в великолепном изложении классических политических теорий, в то время как тенденции и перспективы новейшего развития философской и общественно-политической мысли из этого сочинения понять невозможно.

⁵⁷ Наст. изд. С. 459.

Б.Н.ЧИЧЕРИН

**ИСТОРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
УЧЕНИЙ**



XIX BEK



Идеализм в Германии (продолжение)

г) Индивидуалистический идеализм

В противоположность нравственному идеализму развивается индивидуалистический идеализм. Мы можем проследить его в различных областях человеческого знания: в философии, в правоведении и в политике. В философии он является как новая попытка построить идеальный мир из частных начал бытия, в правоведении — как развитие начал права в противоположность нравственности, в политике — как борьба либерализма против реакции. Но, несмотря на различие сфер и взглядов, во всех этих учениях господствует существенно тождественное направление мысли. Везде точкою исхода служит опыт, видоизмененный идеальными воззрениями; везде частное преобладает над общим. В приложении к политике в особенности мы находим у писателей, принадлежащих к этому разряду, более или менее последовательное развитие идущей от Канта теории юридического государства¹.

1. Фрис²

К субъективному идеализму примыкает Фрис (Fries), которого обыкновенно причисляют к так называемым полукантианцам. Он пытался сочетать воззрение Канта с субъективным эмпиризмом Якоби³. От Канта он заимствовал все основные черты его системы, от Якоби — теорию непосредственного чувства, лежащего в основании всякого знания. Вообще, он учение Канта хотел свести на опытную психологию. Это была задача, которую он предположил себе в главном своем сочинении, в «Новой или антропологической критике разума» («*Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft*»), вышедшей в 1807 г.

Фрис признает все существенные результаты критики Канта, как относительно чистого эмпиризма, выработанного Локком, так и относительно чистого рационализма, развитого школою Лейбница. Кант, говорит Фрис, так основательно опроверг воззрения Локка, что ни один образованный человек не может уже более впасть в подобную ошибку. Чистый опыт дает нам только мимолетные явления, то, что существует в настоящую минуту; всякое общее и необходимое познание выходит из его пределов. Присутствие этого последнего элемента в человеческом разуме

служит поэтому неопровержимым доводом против системы, которая во всяком познании видит лишь видоизменение ощущений. Познание начинается с ощущения, но не вытекает из него всецело, а производится отчасти самим разумом по поводу ощущений. С другой стороны, Кант опроверг и односторонний рационализм, доказавши, что все истекающие из разума определения имеют чисто формальный характер, а потому настоящего знания не дают. Не только всякое отвлеченное знание берет начало от опытных представлений, но многие представления никогда не могут быть превращены в понятия*.

Но, опровергнув односторонние воззрения, Кант сам впал в существенную ошибку, смешав непосредственное знание, которое дается нам представлениями, с рефлексированным знанием, которое развивается в понятиях, суждениях и умозаклчениях. Непосредственное знание заключает в себе в живом единстве и содержание, которое дается чувствами, и форму, истекающую из чистого разума; оно составляет основание всякого знания. Рефлексированное же знание есть только повторение первого посредством самонаблюдения. Оно имеет второстепенное, производное значение**. Между тем в нем-то именно Кант полагает всю сущность истинного познания. Несмотря на то, что он в антиномиях чистого разума доказал неспособность рефлексии к познанию вещей, он считает возможным из трансцендентальных начал вывести систему умозрительного знания***. В непосредственных же представлениях он видит только субъективные ощущения, не дающие нам никакого понятия о предметах. Поэтому он и пространство, и время считает чисто умственными формами, которым ничего не соответствует в действительности. Но доказательств этому положению он не представил. Если субъективный мир и объективный составляют две разные области, то еще не следует, что нет третьего начала, согласующего познание с предметом. Понятие о внешнем предмете дается нам не рефлексией, не умозаключением от субъективного ощущения к производящей его внешней причине, а прямо, непосредственным чувством. Разум, конечно, не в состоянии фактически проверить свое чувство, ибо куда бы он ни обращался, он все-таки может сравнивать только представления с представлениями, а никак не представление с предметами. Но в нем есть внутренняя самоуверенность, которая дает ему непосредственное убеждение; она составляет необходимое предположение всякого познания. Рефлексия ничего не может к этому прибавить, ибо она сама является произведением той же силы разума, которая выражается и в непосредственном чувстве.

* Fries J. F. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Bd I. Einleitung. S. 18-20; § 52. S. 241-242. Цитирую 2-е издание 1828-1831 гг.

** Ibid. Bd II. § 93. S. 64, 66.

*** Ibid. Bd I. Einleitung. S. 28-30.

Последнее поэтому составляет основание, от которого мы должны отправляться*.

Эта ошибка Канта была еще преувеличена его последователями, которые, идя по указанному им пути, снова впали во все заблуждения рационализма. Они вообразили себе, что можно вывести всю систему человеческого знания из чисто формального единства. Но это противоречит свойству человеческого познания, которое связано с опытом и без опыта ничего не дает. Формальное единство составляет необходимый элемент непосредственного познания; это — связь, соединяющая многообразие представлений. Отвлеченное же единство, сознаваемое рефлексией, есть только отражение первого; само по себе оно не что иное, как пустая форма, из которой ничего нельзя вывести. Самосознание, составляющее исходную точку системы Фихте, в действительности есть не более как неопределенное чувство, которого содержание дается внутренним опытом. Чистое же тождество Шеллинга основано на смешении человеческого разума, воспроизводящего только данное, с божественным разумом, который все из себя производит, но о котором мы не можем иметь никакого понятия **.

Эти ошибки, продолжает Фрис, находятся в связи с весьма распространенным рационалистическим предубеждением, будто вся наука должна быть выведена из одного начала. Этому противоречит уже самое существо всякого умозаключения, которое требует двух посылок, следовательно, по крайней мере двух самостоятельных начал. Научное познание основано на доказательствах; доказательство же как посредствующее звено окончательно приходит непременно к какому-нибудь непосредственному положению, которое уже не может быть доказано. Всякая научная система имеет свои непосредственные положения, от которых она отправляется и которые никак не могут быть сведены к одному началу***. В области опыта в особенности всякое качество составляет нечто самостоятельное, которое не может быть объяснено ничем другим. Все объяснения касаются единственно количественных отношений****.

Избегнуть всех этих ошибок возможно только приведением всего человеческого познания к его психологическим или антропологическим основам. Трансцендентальные начала мышления объясняются свойствами нашего познания, а для определения этих свойств необходимо прежде всего наблюдение над внутренними явлениями души. Таким образом, в основании философии должна лежать внутренняя опытная физика или естественная история духа, из которой потом, путем наведения, можно построить философскую

* Ibid. Vorrede. XXIV, XXVIII; § 8. S. 58-59; § 15. S. 89-90.

** Ibid. Bd I. Einleitung. S. 17; § 53. S. 243-247.

*** Ibid. S. 22-25.

**** Ibid. § 1. S. 47, 48; § 11. S. 75; § 72. S. 358.

антропологию, представляющую полную теорию познания и деятельности человека *.

Орудием этих наблюдений служит внутренний опыт, который играет такую же роль относительно душевных явлений, какую внешний опыт играет относительно физического мира. Хотя в человеке телесные и душевные явления находятся в тесной связи, однако одни никак не могут объясняться другими, ибо материя и дух, движение и сознание, составляют разные качества, которые не могут быть сведены одно на другое. Поэтому необходимо, прежде всего, самостоятельное исследование каждой стороны, и только при достаточном развитии как физиологии, так и психологии возможно сравнительное их изучение **. При этом надобно заметить, что внутренний опыт по необходимости должен производиться каждым над самим собою, то есть над отдельным лицом, тогда как внешний опыт, напротив, указывает на взаимные отношения предметов. Вследствие этого опытная антропология неизбежно имеет индивидуалистический характер ***.

Отправляясь от этих начал, Фрис предпосылает своей теории описание внутреннего процесса познания, из которого он затем выводит и самые его законы. Внутренний опыт не открывает нам в душе ничего, кроме чистой деятельности, состоящей в представлениях. Объяснить эту деятельность чем-либо другим мы не можем; это — самостоятельное качество, которое непосредственно дается нам опытом. Но тот же опыт показывает нам, что внутренняя деятельность, для того чтобы проявиться, нуждается во внешних возбуждениях. Следовательно, мы должны представить себе нашу познавательную способность, или разум, как возбуждаемую силу. Отсюда две противоположные стороны этой способности: восприимчивость и самодеятельность, чувство (Sinn) и чистый разум (Vernunft). Одно дает познанию материал, проистекающий от внешнего возбуждения; другой сообщает этому материалу форму, проистекающую из законов внутренней самодеятельности. Но обе стороны связаны неразрывно: в каждом непосредственном представлении к данному чувством материалу присоединяется чисто, разумная форма. И то и другое вместе составляет чувственную область (Sinnlichkeit) ****.

Чувственность, в свою очередь, распадается на два отдела: на внешние и внутренние чувства. Первые раскрывают нам весь объективный мир в непосредственных представлениях. Но и здесь уже мы различаем содержание и форму. Содержание составляют различные чувственные качества, представляющие отношение внешних предметов в нашему духу, как то: цвет, вкус и т.д. Форма же

Ibid. Vorrede. S. XVII, XXI; Einleitung. S. 26, 30, 31-34.

Ibid. Bd I. Einleitung. S. 34-36, 39, 41, 47-49.

Ibid. S. 46, 47.

Ibid. §§ 11, 12.

проистекает из сопоставления всех этих качеств в пространстве и времени*. Пространство и время не даются нам чувственными впечатлениями. Это очевидно из того, что они идут за пределы всякого частного впечатления, составляя между тем необходимую форму их совокупности. Эти формы суть чистые представления, источник которых лежит в производительном воображении. Но непосредственно мы сознаем их только в сочетании с впечатлениями; в чистом же виде мы получаем их лишь посредством отвлечения **. Производительное воображение совершает и построение чувственных качеств в пространстве и времени. Это дает нам взаимные от ношения внешних предметов, к чему сводится все наше знание природы. Чувственные качества остаются необъяснимыми, самостоятельными определениями: всякое объяснение касается только механического построения в пространстве и времени, которого законы выводятся математикою ***.

С своей стороны, внутреннее чувство точно так же имеет содержание и форму. Содержание дается наблюдением внутренних движений души, которых сознание непременно предполагает в наблюдающем субъекте известную восприимчивую способность или чувство. Форму же дает непосредственное самосознание, которое в этой области заменяет пространство, составляя средоточие, к которому примыкают все частные ощущения. Но и это непосредственное самосознание, которое можно назвать гист ою апперцепциею, проявляется только при отдельных ощущениях; последние же всегда имеют чувственный характер. Отсюда следует, что все наше самопознание проистекает от ощущений, которые притом должны иметь известную степень силы, чтобы действовать на внутреннее чувство ****.

Все это составляет эмпирическое состояние человека, единственный источник всякого познания. Однако разум на этом не останавливается. Если бы все наше познание ограничивалось чувственною областью, мы имели бы только беспрерывно изменяющееся течение минутных впечатлений. Но познание заключает в себе постоянство и единство. Чувственные впечатления сохраняются, воспроизводятся и связываются между собою. Это совершается высшими способностями разума: воображением и умом. Первое производит воспоминающее движ ение мыслей, последний — логическое движ ение или рефлексию. Первое действует произвольно, последний — произвольно*****.

Воображение заключает в себе память, воспроизводительное воображение и производительное воображение. Первая сохраняет

* Ibid. § 20.

** Ibid. §§ 38, 39.

*** Ibid. § 20; Bd II. §§114-119.

**** Ibid. Bd I. §§ 22-27.

***** Ibid. § 29.

представления, второе воспроизводит их по законам сочетания представлений, третье вносит в них математическое построение. Воспроизводительное воображение и производительное составляют, таким образом, две совершенно различные способности; но они тесно связаны между собою. Связующим началом служит способность к отвлечению. По законам сочетания представлений сходные признаки, подкрепляясь взаимно, делаются постояннее, а различные, напротив, друг друга ослабляют. Вследствие этого воспроизводительное воображение приходит к отвлеченным представлениям, которые заключают в себе сходные признаки многих других. На эти представления производительное воображение налагает свои формы. Из них образуются отвлеченные схемы, которые, в свою очередь, составляют материал и точку отправления для рефлексии. Последняя превращает схемы в понятия и посредством сложения и разложения строит из них систему общего и необходимого знания*.

Рефлексия не дает нам, однако, непосредственного познания вещей. Ее не следует смешивать с первоначальной самодеятельностью разума, составляющею источник всякого знания. Рефлексия служит единственно к тому, чтобы посредством самонаблюдения привести в сознание то, что уже лежит в первоначальной самодеятельности. Внутренний опыт дает нам только случайные и преходящие ощущения; рефлексия же раскрывает их связь и единство. Этим восполняется и завершается процесс внутреннего самопознания**. В отличие от непосредственной самодеятельности, которая следует внутренним, необходимым своим законам, эта новая деятельность является произвольною. Но участие воли заключается здесь единственно в направлении внимания. Истина раскрывается нам все-таки по необходимым законам; свобода выражается только в руководстве наблюдающим инструментом. Результат этого руководства состоит в выяснении произвольно выбираемых представлений, ибо по закону сочетания представлений те, на которые устремляется внимание, становятся более ясными. Несмотря, однако, на эту, по-видимому, ограниченную роль, которую играет здесь воля, в этой области впервые проявляется владычество человека над самим собою. Способностью к произвольной рефлексии человек отличается от животных. Над миром непосредственного, инстинктивного знания воздвигается другой, искусственный мир, в котором человек является властителем и возвышается к познанию собственного своего естества***.

Орудиями этого высшего познания служат логические формы, понятия, суждения, умозаключения, в основании которых лежат умственные категории. Но эти чисто субъективные формы отнюдь

* Ibid. §§ 30-41.

** Ibid. §§ 51-54.

*** Ibid. § 55.

не следует принимать за выражение истинной сущности вещей. Большая часть заблуждений философии проистекает из этого смешения. Логические формы не что иное, как орудия рефлексии, то есть самонаблюдения. Они раскрывают нам единство и связь, лежащие в основании непосредственного знания, но ничего не говорят нам относительно объективных свойств этого единства. Вся задача их заключается в том, чтобы возвести отрывочные данные внутреннего чувства к общим и необходимым законам*. Это делается посредством отвлечения и сравнения. Отвлечение, как сказано выше, производится воображением, которое частные впечатления превращает в общую схему. Рефлексия, с своей стороны, посредством отрицательных признаков отличает неопределенную схему от других, с нею смежных, и таким образом делает из нее общедоступное понятие. Вследствие этого частное представление, отрываясь от случайности впечатления, становится общим; но вместе с тем оно теряет характер действительности и делается только возможным. Понятие есть проблематическое представление, которое, по этому самому, относится уже не к известному предмету, а ко всем возможным. Оно, с положительной или с отрицательной стороны, может служить для определения всей области знания. Отсюда общий закон определяемости: всякий предмет есть или А, или не А** Эти взаимные отношения понятий раскрываются нам сравнением. Сопоставляя различные понятия, мы усматриваем их тождество или различие, их согласие или противоречие, отношения внутренние или внешние, материю или форму. Основанием сравнения служат логические категории, которые и дают нам различные формы суждений***. Этим способом мы получаем общие законы, выражающие связь понятий. Но закон не есть еще знание. Для того чтобы суждение сделалось знанием, нужно, чтобы законом определялся какой-нибудь действительный предмет. Это определение совершается посредством умозаключения. Система умозаключений, исходящих от общих начал, дает нам науку****

Таким образом, посредством рефлексии, мы, вместо случайных и отрывочных впечатлений, получаем общее и необходимое знание. Эти свойства проистекают из самой формы нашего мышления как возбуждаемой силы. Обще и необходимо для нас то, что всеми мыслится одинаково, что мы не можем мыслить иначе, потому что такова сущность нашего мышления. Материал, который дается нам чувствами, может быть разный, но способ действия разума в приложении к этому материалу везде один. Эта вытекающая из формы необходимость лежит уже в непосредственном представлении; она присуща всякому знанию. Но здесь она сливается с объективным

* Ibid. § 57. S. 278-280; § 64.

** Ibid. §§ 58-62.

*** Ibid. § 57.

**** Ibid. §§ 46, 47.

представлением, а потому остается для нас скрытою. Задача рефлексии состоит в том, чтобы возвести ее в сознание посредством самонаблюдения. Путем отвлечения она отделяется от содержания и является как система общих и необходимых законов, лежащих в основании всякого знания. Через это мы не получаем ничего нового; мы узнаем лишь то, что уже лежит в непосредственном знании как необходимое его условие. Философия выясняет только то, что уже знают все. Ее дело заключается единственно в том, чтобы указать присутствие известных начал в нашем разуме. В этом состоит вывод всех философских истин. Всякое доказательство, как бы оно ни было сложно, окончательно сводится к чему-нибудь такому, что ясно само по себе, то есть что составляет непосредственное данное нашего разума, будь это опытное представление или логический закон. Посредствующее знание, или рефлексия, служит только орудием для раскрытия непосредственных истин. Поэтому всякая трансцендентальная истина, указывающая на отношение мысли к предмету, окончательно опирается на эмпирическую истину, раскрываемую нам внутренним опытом *.

Из всего этого ясно, что все человеческое знание может быть разделено на три разряда: историческое знание дает нам чувственный материал, философское знание — логическую форму, наконец, математическое знание, которого содержание дается проистекающими из воображения чистыми формами пространства и времени, стоит посередине между обоими. Посредством этих форм разнообразие опытного знания сводится к общим законам. Поэтому математика служит связью между опытом и логикою; все научные объяснения внешнего мира могут быть только математические. Данные опытом качества, как сказано выше, не могут быть сведены друг к другу; каждое из них составляет самостоятельную точку отправления для знания. Объяснения могут касаться единственно количественных отношений, а это и есть дело математики **. Эти три рода познания соответствуют трем способностям разума: чувственности, уму и стоящему между обоими рассудку. Задача последнего состоит в возведении частного к общему или в приложении общего к частному. Он воспроизводит путем рефлексии то, что воображение дает непосредственно. Поэтому в основании своем они составляют одну и ту же способность ***.

Очевидно, однако, что подобное знание представляется разуму недостаточным. Чувственность дает нам только случайные и отрывочные явления. Математика сопоставляет эти явления в пространстве и времени; но выводимые ею количественные определения неизбежно страдают неполнотою. Количество, с одной стороны, идет в бесконечность, следовательно, никогда не завершается; с другой

Ibid. §§63, 70. 71.

Ibid. §72.

*** Ibid. §76; Bd II. S. 114.

стороны, оно делимо до бесконечности, следовательно, никогда не доходит до простых начал. Между тем логическая форма требует полноты и единства. Всякий логический закон имеет характер безусловно общий и необходимый. Это вытекает из самого существа разума как единой деятельной силы. Он образует одну всецелую область знания, в которой все связано внутренними законами. Все, что в нем возбуждается, составляет только видоизменение собственной его деятельности; всякое определение входит в него как часть в целое. Но так как эти возбуждения отрывочны и случайны, то они никогда не могут наполнить форму. Если бы разум был независимою, самодеятельною силою, знание имело бы характер органического единства и всецелости. Но внешняя ограниченность разума и проистекающая отсюда потребность внешнего возбуждения для его деятельности ведут к тому, что содержание не соответствует форме *.

Вследствие этого разум, по самому существу своему, идет за пределы всякого опыта. Он стремится к познанию безусловно общего и необходимого. Здесь лежит область идей истины, красоты и добра, в которых разум выражает свои понятия о безусловном бытии. Эти идеи не даются нам опытом; им ничего не соответствует в действительности. Они не даются нам и рефлексиею, которая сама ничего не производит, а наблюдает только то, что уже заключается в опытном представлении. Источником их является опять непосредственное чувство, вера, идущая за пределы всякого знания. Рефлексия же приходит к ним чисто отрицательным путем, противопоставляя безусловное условному и бесконечное конечному. По самому свойству разума она отправляется от чувственных определений, и только отрицанием присущих этим определениям границ она возвышается к сверхчувственным идеям. А так как граница есть уже отрицание, то здесь происходит двойное отрицание. Поэтому все определения абсолютного, которые дает нам логика, имеют чисто отрицательный характер, вследствие чего они неприменимы к действительности и не могут служить нам орудиями какого бы то ни было знания **. Вера убеждает нас в существовании безусловного бытия; с другой стороны, недостаточность опытных представлений доказывает нам, что вещи сами по себе не могут быть такими, какими они нам являются: мы видим в них не самостоятельные сущности, а только явления того абсолютного бытия, в которое мы верим. Но при всем том мы познаем это абсолютное бытие единственно чрез посредство явлений. Положительного понятия о нем мы не имеем, и если бы вместо того, чтобы противопоставлять идеи действительности, мы захотели путем разума приложить их к действительности, мы впали бы в неразрешимые противоречия***.

* Ibid. Bd II. S. 33-35, 59-61, 152-155, 172, 176.

** Ibid. S. 12, 27-28, 173, 183-185.

*** Ibid. § 128-131, 132. S. 215.

Верховные идеи, к которым приходит разум, суть идеи души, свободы и Божества. Основанием их служат три логические категории субстанции, причинности и взаимодействия. Под именем души мы разумеем невещественную субстанцию. Это понятие получается через отрицание всяких количественных определений, составляющих существо материи. Остаются только разум и воля как непосредственные и необъяснимые друг другом качества, которые даются нам внутренним опытом; но и те мы должны представить себе состоящими вне времени. Человеческому разуму присуща вера в душу как вечную субстанцию, лежащую в основании всех пространственных и временных определений; но если бы мы вздумали приложить эту идею к действительному познанию человека, мы пришли бы в столкновение с законами как физики, так и логики, ибо то, что состоит вне пространства и времени, не прилагается к тому, что подчиняется этим формам *. То же самое имеет место относительно свободы. Под этим именем мы разумеем причинность, изъятую от законов физической необходимости. Это составляет опять всеобщее убеждение человечества; но к действительности эта идея неприменима, ибо она противоречит законам физики, по которым всякая действующая сила имеет ограниченный размер. В физическом мире все совершается взаимодействием сил, причем всегда побеждает большая; безусловного требования здесь не может быть. Идея свободы противоречит и необходимым законам, которыми, по убеждению нашего разума, должен управляться чисто умственный мир. И тут мы принуждены ограничиться сознанием своего неведения **. Наконец, всего менее мы можем иметь понятие о Божестве. Эта идея необходимо вытекает из понятия о мире как всецелости, управляемой единым началом, следовательно, имеющей единую основу. Но если бы, разумея под именем Божества совокупность всего реального, мы захотели соединить в нем все положительные качества, мы пришли бы только к сочетанию противоречащих определений. Следовательно, и здесь мы должны ограничиться одними отрицаниями, признав, что никакого положительного понятия о Божестве мы иметь не можем ***.

Таким образом, для логики идеи остаются непроницаемой тайною. Мы можем только указать присутствие их в человеческом разуме и доказать их необходимость в связи с остальными способностями человека; но мы не в состоянии раскрыть их содержания, ибо не можем указать ничего, соответствующего им в действительности. Теории идей быть не может. Они остаются достоянием веры ****. в приложении же к действительности разум должен ограничиться гаянием (*Ahndung*). Рассудок, связывающий

Ibid. § 135-141.

Ibid. § 142-145.

Ibid. § 146-149.

Ibid. § 155, 158, 160, 162.

общее с частным, не имеет здесь никакого способного быть формулированным закона, который бы он мог приложить к опытным явлениям. Он может только смутно предчувствовать присутствие идей в действительности. Отсюда проистекает понятие о красоте. Следуя непосредственному чувству, рассудок строит внешние явления на основании неизъяснимых начал гармонии и единства. С этим связано и религиозное созерцание, которое чувствует присутствие вечных начал в природе и жизни. Наконец, эти же смутные идеи служат человеку для определения цены или достоинства вещей; через это разум становится источником нравственной деятельности. Здесь теоретический разум переходит в практический *.

Такова теория познания Фриса. Главное ее основание заключается в воззрении на рефлексию как на произведение внутреннего опыта, раскрывающего нам только то, что уже лежит в непосредственных действиях разума. Но это-то и составляет слабую сторону этой теории. Если разум, как признает Фрис, есть чистая деятельность, то рефлексия не может быть только страдательным наблюдением данного извне содержания: это — новая деятельность, воспроизводящая первую, но уже отрешенная от внешнего условия возбуждаемости и сознающая каждый свой шаг. Разум наблюдает себя, только сознательно воспроизводя вновь свои действия. Но эта новая деятельность имеет уже совершенно иной характер, нежели прежняя. Точкою отправления служит здесь уже не внешнее ограничение, а внутренняя самодеятельность. Там форма скрывалась в содержании; здесь, напротив, на первом плане является сознание формы. Отделить форму от содержания разум может, только воспроизводя первую в ее чистоте, то есть новую, чистою самодеятельностью, а никак не путем бессознательного отвлечения, вытекающего из законов сочетания представлений. Когда Фрис основанием рефлексии считает схему, начертанную воспроизводительным воображением, он очевидно смешивает представление с понятием, образ с мыслью. Отвлеченные схемы воображения вращаются все-таки в области содержания; форма и здесь остается скрытою. Чтобы сознать чистую форму, надобно представить ее в ее чистоте, то есть нужно новое, чистое действие разума, отрешенное от всякого содержания.

Эта сознательная самодеятельность разума, идущая чисто изнутри его, одна может сообщить знанию тот характер всеобщности, единства и необходимости, которого не в состоянии дать никакое наблюдение. Все наблюдения, как признает сам Фрис, имеют частный характер. Они отрывочны и случайны; за пределами их лежит бесконечная возможность других фактов. Поэтому сколько бы мы тут ни отвлекали, мы никогда не получим понятия, которое имело бы безусловно общее значение. Всякий логический закон является здесь в частном приложении, и ничего другого,

* Ibid. Bd I. § 85; Bd II. § 162.

кроме элементов частного представления, отвлечение нам не дает. Чтобы получить закон в его всеобщности, надобно воспроизвести его путем умозрения как чистое требование разума. Возьмем, например, первый логический закон, приводимый Фрисом,— закон определяемоеTM: всякий предмет есть или А, или не А. Очевидно, что мы этого закона никогда не получим из наблюдения, ибо как подлежащее, так и сказуемое выходят из пределов всякого наблюдения. Чтобы получить этот закон путем отвлечения, надобно пройти бесконечность предметов и бесконечность признаков. Между тем он ясен для нас сам по себе, ибо он означает только способность разума сравнивать все лежащие в нем не только действительные, но и возможные представления и определять одно другим, положительно или отрицательно. В нем выражается не свойство того или другого частного представления, а чистое единство разума при бесконечности его объема. Поэтому разум непосредственно сознает его в себе как закон безусловно общий.

Еще менее может наблюдение дать нам какое бы то ни было понятие о необходимости. За пределами всякого частного случая лежит бесконечная возможность других случаев; следовательно, для того чтобы путем опыта прийти к заключению, что то или другое необходимо, то есть иначе быть не может, надобно опять же пройти всю эту бесконечность. И все-таки через это мы получим только факт, указывающий на закон, а не самый закон как безусловную связь представлений. Необходимость как разумный закон означает, что иное не мыслимо, а это понятие получается только чистым самосознанием разума. Воспроизводя чистую форму, одинаково прилагающуюся ко всякому содержанию, разум непосредственно создает и внутреннюю связь формальных определений, то есть тот способ действия, которому он следует при их произведении. При каждом шаге, который он делает на этом пути, он сознает, что не может ступить иначе. Отсюда и рождается у него понятие о необходимости, которое прилагается ко всему мыслимому миру. Необходимость в содержании проистекает единственно из необходимости формы.

Сам Фрис это сознает. Против Локка и его последователей он приводит, что даже пустое понятие о необходимости невозможно при чисто опытном познании*. Он прямо говорит, что единство и необходимость мы сознаем непосредственно, а не только как форму при данном чувством материале **. Но производя, с другой стороны, всю рефлексию из внутреннего опыта, имеющего чувственный характер, он впадает в безвыходное противоречие с самим собою. Вследствие этого его теория познания страдает внутреннею несообразностью. Исходную точку составляет опытное представление, которое дает нам сознание действительности. Затем,

* Ibid. Bd II. § 95. S. 74.

** Ibid. § 115. S. 150.

путем отвлечения, мы получаем общее понятие, которое является только возможным или проблематическим. Но так как возможное понятие не есть еще действительное знание, то нужно, наконец, приложение добытого таким образом понятия к действительному предмету. В этом, по теории Фриса, состоит последнее действие разума, умозаключение, которое дает нам познание необходимое или аподиктическое. Вся сущность знания Фрис полагает в этом движении от действительного, через возможное, к необходимому*. Но спрашивается, какого рода необходимость можно получить из приложения возможного к действительному? Очевидно, что кроме некоторого сходства признаков между данным предметом и отвлеченным представлением мы ничего не обретаем. Поэтому сам Фрис, в других местах, понимает умозаключение совершенно иначе. Большую посылку, говорит он, составляет общий и необходимый закон, получаемый отвлечением, меньшую посылку — подведение факта под закон, наконец, заключение — определение факта законом**. Таким образом, вместо проблематического понятия в большей посылке неожиданно является аподиктическое суждение. Необходимость, которая признавалась только в заключении, теперь оказывается в самом начале. Но откуда же она там взялась? Из возможного никак нельзя вывести необходимого, ибо возможно то, что может быть и не быть, а необходимо то, что не может не быть. Фрис определяет необходимость как связь или отношение понятий***. Но если она есть в связи, то она должна быть и в том, что связывается. Необходимые отношения могут быть только между необходимыми понятиями. Здесь обнаруживается проистекающее из теории Фриса смешение возможных или материальных понятий, получаемых путем опытного отвлечения, с необходимыми или формальными понятиями, проистекающими из существа самого разума, из чистой его самостоятельности. При своем старании основать всю теорию познания на опытной психологии и вывести рефлексию из внутреннего опыта он неизбежно должен был последние свести на первые; но это самое сделало всякий правильный вывод невозможным и вовлекло его в очевидные противоречия с самим собою.

Отсюда противоречия и в понимании идей. Фрис выводит их, с одной стороны, из непосредственного чувства, лежащего в основании всякой рефлексии, с другой стороны, из отрицательного противоположения их чувственному миру путем рефлексии. Но почему же рефлексия не может на этот раз сознательно воспроизвести те положительные определения, которые заключаются в непосредственном чувстве? Вера, очевидно, не ограничивается одними отрицаниями, ибо в таком случае идеи не служили бы нам

* Ibid. Bd I. § 63. S. 299-300; Bd II. S. 120.

** Ibid. Bd I. § 63. S. 309.

*** Ibid. Bd II. S. 129.

ни к чему. Если же мы можем определить их только отрицательно, то для этого не нужно непосредственного чувства; достаточно одной рефлексии. Мало того: из собственного учения Фриса мы можем видеть, что рефлексия должна дать нам и положительные определения. Фрис совершенно верно указал на несоответствие содержания и формы в познании чувственного мира. Форма имеет характер безусловной общности и необходимости; содержание же ограничено. Поэтому разум в силу своей формы идет за пределы всякого опыта и требует содержания, ей соответствующего. Отсюда понятие о безусловном, самосущем бытии, которое сам Фрис выводит из отношения содержания к безусловному единству формы, следовательно, помимо всякого непосредственного чувства *. Фрис утверждает, что определить это бытие мы можем только отрицанием границ, то есть двойным отрицанием; но отрицание отрицания, как известно, дает положение. Кроме того, опять же по признанию самого Фриса, к понятию о безусловном бытии непосредственно прилагаются общие категории разума, которыми определяется и чувственное бытие **. Отсюда выводимые Фрисом идеи души, свободы, Божества — идеи положительные, а вовсе не отрицательные. Затруднение заключается здесь в том, чтобы уразуметь связь полученных таким образом понятий с представлениями чувственного мира. Эта задача разрешается диалектикою, которая понимает безусловное и условное, общее и частное как две противоположные, но относящиеся друг к другу и необходимо связанные между собою стороны всемирного бытия. Фрис остановился на одном противоположении начал, которых он не умел примирить. Отвергая диалектику и вообще всякое умозрение, видя в рефлексии лишь отражение чувственного познания, он последовательно признал, что рефлектирующий разум может иметь только отрицательное понятие о безусловном через противоположение его условному. Но так как одно отрицательное понятие, очевидно, ни к чему не служит, то надобно было, сверх того, прибегнуть и к непосредственному чувству веры, которое не дает, однако, никакого определенного содержания. Таким образом, безусловное бытие определяется с двух разных сторон: положительно, верою, и отрицательно, рефлексиею. Ясно, что это — две стороны одного и того же разумного начала. Но у Фриса эти стороны не только распадаются, но и приписываются двум совершенно различным способностям, вследствие чего рефлексия дает одно отрицание, а вера остается без всякого определения. В этом выводе высказывается вся недостаточность теории, которая хочет умозрение произвести из опыта. Она бессильна вывести общие законы разума и связать разумные определения между собою. У Фриса эти недостатки выступают особенно ярко вслед-

* Ibid. § 130. S. 205-208.

** Ibid. § 134. S. 219-221.

ствие того, что он отступает уже от чистой эмпирии. Отправляясь от критики Канта, он реальному знанию противопоставил идеальное; но лишив последнее необходимой его разумной основы, заключающейся в умозрении, видя в рефлексии лишь отражение опытных представлений, он в идеальном мире обрел только пустое место, которое и принужден был наполнить совершенно неопределенным непосредственным чувством. В приложении же к действительности сознание идеального мира является у него в виде смутного предчувствия, в котором смешиваются нравственность, религия и искусство.

Отсюда проистекают коренные недостатки и в практическом учении Фриса. Главную задачу практической философии он полагает в приложении вечного порядка идей к человеческой жизни. Основным началом является здесь понятие о достоинстве (Würde), или о безусловной стоимости (Werth) вещей*. Откуда же получаем мы это понятие? Фрис утверждает, с одной стороны, что оно проистекает непосредственно из разума, помимо всяких чувственных впечатлений, вследствие чего мы приобретаем здесь чисто умозрительное познание**; с другой стороны, он говорит, что понятие о достоинстве, как и всякая другая безусловная идея, получается только отрицанием условного понятия о стоимости через противоположение последнему, а потому в исследовании его значения мы должны начать с опытного определения понятия о стоимости вообще***.

Это понятие, по мнению Фриса, дается нам не теоретическим разумом, который познает только вещи, но не определяет их стоимости, также и не практическим разумом, который действует на основании понятий о стоимости, но сам их не производит, а третьего, отличную от других способностью, которую Фрис называет сердцем (Herz, Gemüth). Независимо от познания, сердце принимает известный интерес в вещах, и этим интересом определяется их стоимость для нас. Эта способность составляет источник влечений и выражается в чувствах удовольствия и неудовольствия (Lust und Unlust)****.

Фрис не думает, однако, сводить все практические понятия человека к тем непосредственным ощущениям, которые обыкновенно называются чувствами удовольствия и неудовольствия. Он очень хорошо видел, что подобная теория ведет к уничтожению всякой эстетики и всякой нравственности. Эстетические и нравственные понятия становятся через это делом личного вкуса*****. Фрис упрекает даже Канта за то, что он чувства удовольствия

* Ibid. Bd III. Einleitung. S. 5.

** Ibid. S. 6.

*** Ibid. S. 5, 7.

Ibid. Bd III. S. 7-12.

**** Ibid. § 165. S. 18-19.

и неудовольствия принимал в обыкновенном значении и на этом основании отрицал возможность вывести из них какие бы то ни было умозрительные начала *. По мнению Фриса, чувства удовольствия и неудовольствия должны быть поняты в гораздо более обширном смысле. Они означают не столько непосредственное ощущение, сколько непосредственное суждение рассудка, что то или другое ему нравится или не нравится. Основание же для этих суждений дается влечением или сердцем. Таким образом, под именем чувств удовольствия и неудовольствия мы должны разуметь теоретическую способность, определяющую стоимость вещей на основании закона, который дается ей влечением**.

Уже в этих первых определениях Фриса мы можем видеть смешение разнородных начал. С одной стороны, он прямо, вслед за Кантом, отличает чувства удовольствия и неудовольствия от познавательной способности ***; с другой стороны, видя невозможность свести все практические понятия к непосредственному ощущению, он опять превращает эти чувства в теоретические суждения. Но тогда в чем же выражаются влечения сердца? В интересе, который мы принимаем в вещах, говорит Фрис. Но этот интерес определяется именно чувствами удовольствия и неудовольствия, следовательно, по учению Фриса, теоретическою способностью, а не влечением. Для последнего остается только пустое место.

Это смешение понятий и предметов еще яснее обнаруживается из анализа содержания этих чувств. Удовольствие, говорит Фрис, может быть двоякое: созерцательное (*intuitiv*), или эстетическое, и умственное (*intellectuell*). К первому относятся чувства приятного и прекрасного, ко второму — чувство благого. Приятное нравится прежде суждения, прекрасное — при суждении, благое — после суждения. В последнем случае удовольствие определяется предварительным суждением, которое приписывает известную стоимость предмету****. Из этого Фрис выводит, что чувство удовольствия, собственно говоря, раскрывает нам только источник приятного; относительно же благого оно получает правило, которым оно руководится, из другой области — из понятия о цели *****. Что касается до третьего начала, до прекрасного, то оно отличается от двух первых тем, что оно бескорыстно. В приятном и благом стоимость предмета определяется целесообразным отношением его к субъекту, то есть интересом; стоимость же прекрасного определяется помимо всякого интереса, внутреннею целесообразностью предмета. Приятное нравится вследствие

* Ibid. § 201. S. 147-148.

** Ibid. § 165.

*** Ibid. § 164. S. 7.

**** Ibid. § 166. S. 20-21.

***** Ibid. § 171; cp. § 170.

наклонност и, благое — вследствие уваж ения, прекрасное — вследствие благоволения (Gunst) *.

Оказывается, следовательно, в противоречии с изложенным выше, что стоимость предметов определяется отнюдь не одним интересом. Фрис утверждает, с одной стороны, что начало цели составляет только частное приложение начала стоимости вследствие возведения интереса в понятие **, с другой стороны — что интерес составляет только частное приложение начала цели, означающее целесообразность в от ношении к нам самим*** Мы видели уже, что в теории познания он производил эстетические суждения вовсе не из влечений или сердца, а из рефлектирующего рассудка, чающего присутствие идей в действительном мире. Из трех видов стоимости мы должны, следовательно, исключить один — как имеющий совершенно другой источник, нежели остальные. Но и два других, очевидно, имеют не одно происхождение. По собственной теории Фриса выходит, что в приятном суждении определяется ощущением, а в благом, напротив, ощущение определяется суждением. В одном случае мы придаем стоимость предмету, потому что он нам приятен: тут определяющим началом, очевидно, является интерес. В другом случае, прежде нежели мы ощущаем какой бы то ни было интерес, стоимость уже определена разумом на основании общего и необходимого закона, которому интерес подчиняется в силу обязанности.

Эту двойственность начал Фрис прямо признает как в чувстве удовольствия и неудовольствия, так и в самой деятельности человека. Следуя Канту, он в деятельной способности различает побуждения двоякого рода: чувственные и разумные. Первые даются инстинктивным влечением, вторые — рефлексией. В последних человек сам себе полагает цели и действует по правилам или по представлению закона. Решение принимает здесь форму умозаключения, а так как в правильном умозаключении большая посылка имеет характер всеобщности и необходимости, то истинно разумное решение будет то, которое отправляется от всеобщего и необходимого закона. Поэтому закон принимает здесь форму безусловного предписания; он требует, чтобы при столкновении с другими побуждениями необходимое побуждение, или обязанность, всегда имело перевес. В этом состоит автономия, или самоопределение, воли, в отличие от гетерономии, проявляющейся в подчинении воли чувственным влечениям. Непременное условие автономии заключается в способности разума отрешаться от всякого чувственного определения, способности, противоречащей законам природы и возможной только под идеей свободы. По естественным законам каждое побуждение имеет известную силу, и при столкновении их

* Ibid. § 166. S. 21-22.

Ibid. § 164. S. 10-11.

Ibid. § 166. S. 21-22.

всегда побеждает сильнейшее; автономия же воли требует, чтобы разумное побуждение было, безусловно, выше всех *.

Все это — не что иное, как учение Канта. Но, развивая эти определения, которые очевидно ведут к чистому законодательству разума, Фрис, согласно с общим направлением своей системы, все-таки окончательно сводит их к непосредственному чувству, вытекающему из сердца. Чувственному влечению, выражающемуся в стремлении к счастью, он противопоставляет другое, чистое влечение, которое выражается в совести. Оно имеет характер всеобщего и необходимого предписания; им налагается на человека обязанность. Оба эти влечения проистекают из одного основного влечения, из интереса, который разум принимает в самом разуме. Но первое относится к восприимчивости, второе — к самодетельности; первым определяется содержание, вторым — форма. Чистое влечение составляет первоначальное, непосредственное определение формального единства разума: оно этому единству непосредственно дает содержание, заключающееся в идее абсолютного достоинства разума или разумного лица. Через это получается чисто умозрительное знание, помимо всяких чувственных определений, и притом знание, имеющее отношение к деятельности. Вследствие этого разум становится практическим. Эта данная чистым влечением идея абсолютного достоинства делается верховною посылкою, под которую подводятся все действия человека. Побуждение к действию может быть двоякое: чувственное и чисто разумное. Формальное требование разума состоит в том, чтобы разумное побуждение всегда имело перевес, ибо оно одно имеет характер всеобщности и необходимости. Содержание же этому требованию дает идея абсолютного достоинства, принадлежащего разумному лицу **.

Нетрудно видеть, что в этом выводе смешиваются чисто разумное определение и истекающий из чувства интерес. Разум приписывает абсолютное достоинство разуму в его всеобщности не потому, что он ощущает к нему интерес, а потому, что он видит в нем явление абсолютного. Иначе это определение не имело бы характера всеобщности и необходимости; оно не могло бы быть безусловным предписанием. Фрис восстает против всех выводов нравственного начала из ощущений; он отвергает не только теорию счастья, но и систему нравственного чувства, ссылаясь на то, что ощущение не заключает в себе ничего необходимого, следовательно, не может быть источником понятия об обязанности ***. Но этот довод обращается и против собственного его учения. Влечение есть факт, который как таковой не заключает в себе ничего общего и необходимого. То, что Фрис называет чистым влечением,

* Ibid. § 173-177.

** Ibid. § 182-183, 186.

*** Ibid. § 197.

есть не более как односторонний факт, который приходит в столкновение с другим, противоположным влечением. Фактическая необходимость вовсе не ведет к победе первого над последним. Напротив, человеку в силу начала свободы приписывается способность выбирать между тем и другим. Нередко в нем перевешивает чувственное влечение. Следовательно, необходимость тут чисто теоретическая; разум усматривает здесь идеальное требование. Но действительный интерес может с этим не сообразоваться и увлечь человека в другую сторону.

Сам Фрис это признает, когда он над двумя противоположными влечениями ставит третье, которое должно быть между ними судьей. Это третье влечение, которое Фрис называет собственно человеческим, проистекает из интереса, который человек принимает уже не в мимолетных явлениях своей жизни и не в разуме вообще, а в сочетании того и другого, то есть в совокупности своей личной жизни или в опытном познании жизни разума. Руководящее им начало есть стремление к совершенству *. Это влечение возбуждается рефлексией, которая, возводя к сознанию различные интересы, движущие человеком, определяет значение каждого из них. При этом сравнении оказывается, что чувственное влечение не может быть руководящим началом деятельности, ибо все вещи, составляющие предметы наших желаний, являются только средством для личного удовлетворения; следовательно, цель, во всяком случае, заключается в собственной жизни и деятельности лица. С другой стороны, влечение, проистекающее из чистой самодеятельности, точно так же недостаточно: оно руководится идеею, а идеи имеют отрицательный характер. Уважение к достоинству лица указывает нам то, чего мы не должны делать, но не дает нам никаких положительных правил. Положительное приложение идей производится только эстетическим чувством, проистекающим из рефлектирующего рассудка. К нему-то и примыкает практическое влечение к совершенству. Оно представляет нам идеал красоты человеческой жизни, идеал, в котором отвлеченное уважение к закону связывается с личными стремлениями человека высшим началом любви **. Таким образом, заключает Фрис, между двумя противоположными влечениями, выражающими восприимчивость и самодеятельность разума, «становится еще чисто теоретическое развитие рефлексии, которая своим способом высказывает приговор основного влечения и, как мы видим, одна раскрывает нам закон стоимости вполне» ***. Рефлектированное влечение не только является «решающим судьей» в борьбе добра и зла, но в способности определять стоимость предметов оно «играет роль хозяина» ****. Если мы вспомним при этом,

* Ibid. § 180-181.

** Ibid. § 187-189.

*** Ibid. § 189. S. 104.

**** Ibid. § 189. S. 105.

что эстетическое чувство отличается от других чувств удовольствия именно тем, что оно чуждо интереса, то на основании собственных выводов Фриса мы должны будем заключить, что верховное решение о достоинстве вещей принадлежит не инстинктивному влечению, а теоретическому суждению разума, хотя и не всегда ясно сознаваемому. Противоречие, лежащее в основании всей практической философии Фриса, обнаруживается здесь вполне.

Последствием этого взгляда является чисто личный характер основного нравственного начала. Инстинктивное влечение — всегда личное; только в чистой мусли разум возвышается к всеобщим началам. Поэтому Фрис свое чистое влечение называет влечением лигност и (*Trieb der Persönlichkeit*) и полагает абсолютную стоимость разума единственно в достоинстве лица. Хотя он говорит об умственном мире целей, связывающем отдельные особи, но весь его нравственный закон ограничивается уважением к личному достоинству единичного человека.

К этому присоединяется другой существенный недостаток, касающийся содержания нравственного закона, недостаток, который коренится в изложенной выше теории происхождения идей. Если познающий разум непосредственно определяется чистым влечением и из этого проистекает умозрительное познание, как говорит Фрис, то содержание этого познания должно быть положительное. Между тем Фрис, верный своему взгляду, утверждает и тут, что достоинство не что иное, как безграничная стоимость, то есть отрицательная идея, вследствие чего все вытекающие из этого начала требования имеют чисто отрицательный характер. Нравственная обязанность, по этой теории, состоит исключительно в ненарушении достоинства лиц. Всякое же положительное приложение идей относится не к этике, а к религиозно-эстетическому миросозерцанию, составляющему предмет философского учения о религии*.

Этот личный и отрицательный характер нравственного начала ведет к тому, что нравственность у Фриса сводится к праву. Нравственный закон безусловно требует, чтобы мы следовали предписанию обязанности; в этом состоит добродетель. Но когда спрашивается, в чем же заключается это предписание или что составляет содержание нравственного закона, то Фрис отвечает: закон права, воспрещающий нарушение достоинства лица **. Поэтому вместо идеи добра он нередко ставит просто идею права, сопоставляя ее с идеями истины и красоты ***. Если религиозно-эстетическое воззрение выставляет, сверх того, еще идеал душевной красоты,

* Ibid. § 202. S. 163-165; § 205. S. 173-174, 176, 178-179; § 215. S. 230-231.

** Fries J.F. Handbuch der psychischen Philosophie. Bd I. § 24. S. 77, 171; Idem. Philosophische Rechtslehre oder Kritik aller positiven Gesetzgebung. Vorrede. S. XIX-XX.

*** Fries J.F. Handbuch der psychischen Philosophie. Bd I. S. 296, 373.

выражающийся преимущественно в чувстве любви, то в этом идеале, по мнению Фриса, нет ничего обязательного; он выходит из пределов собственно нравственного закона *.

Несмотря, однако, на такое поглощение нравственности правом, Фрис старается разделить эти две области; но он поставлен при этом в значительное затруднение. Он указывает на то, что нравственность поддерживается внутренней силою, добродетелью, а право внешним принуждением; но затем он сам же отвергает различие, основанное на этом признаке, как несущественное, ибо закон права действует и помимо принуждения: последним обеспечивается только исполнение **. Точно так же он отвергает и принятое Кантом разделение, основанное на приложении закона, с одной стороны, к внутренним помыслам, с другой стороны, к внешним действиям. Содержание закона, говорит Фрис, в обоих случаях одинаково; внутренние обязанности, так же как и внешние, истекают из юридического закона ***. Сам Фрис, однако, в другом своем сочинении, в «Руководстве к практической философии», приходит к тому же началу, с тем только отличием от Канта, что он все внутренние обязанности считает вместе и внешними, не признавая никаких других обязанностей, кроме юридических ****. Но рядом с этим, и в означенном сочинении, и в «Новой критике разума», различие между нравственностью и правом сводится к различию между нравственным учением и политикою: первое прилагает общее учение об обязанностях к отдельному лицу, вторая — к совокупности лиц. Метафизическое правоведение, говорит Фрис, составляет чисто философскую часть политики *****. Но если не существует иных обязанностей, кроме юридических, а юриспруденция сливается с политикою, то что же остается собственно для нравственности, кроме чисто формального предписания? Да и самое формальное предписание, относясь к взаимным отношениям лиц, следовательно, к обществу, входит в учение о праве как основное его начало. Очевидно, что с этой точки зрения нет возможности разграничить эти две области.

С другой стороны, поглощение нравственности правом ведет к смешению права с обязанностью. Фрис восстает против сделанного Кантом вывода права из свободы и вытекающего отсюда

* Fries J.F. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Bd III. S. 178-179, 186, 190-191, 205, 211-212, 230-231; Fries J.F. Handbuch der psychischen Philosophie. Bd I. S. 80, 171, 246-247.

** Fries J.F. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Bd III. § 207. S. 185; Idem. Handbuch der psychischen Philosophie. Bd I. S. 160.

*** Fries J. F. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Bd III. § 207. S. 182-184.

**** Fries J.F. Handbuch der psychischen Philosophie. Bd I. § 41. S. 166, 168, примеч.

***** Fries J.F. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Bd III. § 207. S. 185; Idem. Handbuch der psychischen Philosophie. Bd I. § 6. S. 19.

определения права как дозволения. По его мнению, понятие о дозволенном совершенно неприменимо к науке и не дает никаких точных определений. Вместо разумной общительности мы получаем здесь только закон мыслимого разобщения, ибо каждое лицо рассматривается как совершенно независимое от других. Истинное понятие о праве, говорит Фрис, состоит в том, что я могу чего-либо требовать от другого во имя закона. Вся сила этого требования заключается в обязанности, возложенной законом на другое лицо. Поэтому всякому праву соответствует обязанность. Коренным началом является здесь не разобщение, а взаимодействие лиц, взаимодействие, которое определяется высшим, безусловным предписанием закона*. Фрис прямо даже производит право из обязанности; вся этика, по его мнению, не что иное, как учение об обязанностях **. Но мы видели уже, что по его теории обязанности человека заключаются единственно в уважении к достоинству лица, достоинство же выражается именно в том, что лицо является самостоятельной целью и причиной своих действий, независимо от кого-либо другого***. Следовательно, коренное начало здесь все-таки — вытекающая из достоинства свобода, а обязанность является только последствием этого начала. Поэтому сам Фрис называет юридический закон законом свободы; он говорит даже, что все юридическое законодательство выводится из верховного закона свободы ****. Но, не отличая нравственности от права, он, с одной стороны, видит в нравственном законе только юридическое содержание, с другой стороны, он самому юридическому закону придает нравственный характер.

Вследствие этого основным началом права Фрис считает не свободу, а равенство. Прилагая к этике общие категории субстанции, причинности и взаимодействия, он выводит отсюда троякий закон. Первый есть закон личной самостоятельности. Он гласит, что каждое разумное лицо имеет абсолютное достоинство, временным же состояниям лица в природе присваивается относительная стоимость, которая может быть больше или меньше. Второй закон, основанный на категории причинности, есть закон личной независимости, или внешней свободы: каждое разумное лицо — само себе цель; всякая же вещь для него — только средство. Наконец, третий закон, основанный на категории взаимодействия, есть закон правды, или личного равенства: каждое разумное лицо имеет

Fries J.F. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Bd III. § 214. S. 223-224; Idem. Philosophische Rechtslehre oder Kritik aller positiven Gesetzgebung (1803). S. 8-9, 23-25.

Fries J.F. Philosophische Rechtslehre oder Kritik aller positiven Gesetzgebung. S. 9.

Fries J.F. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Bd III. § 204. S. 170.

Fries J.F. Philosophische Rechtslehre oder Kritik aller positiven Gesetzgebung. S. 2, 3, 63; Idem. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Bd III. S. 171.

одинаковое с другими личное достоинство, вследствие чего оно никогда не может быть употреблено как средство *. Если мы сравним эти три закона между собою, то увидим, что последний основан на первых двух. Взаимодействие лиц состоит именно во взаимном признании личного достоинства и вытекающей из него свободы. Следовательно, по правилам логики, равенство вытекает из свободы, а не наоборот. Между тем Фрис уверяет, что первые два закона не могут быть побуждениями к деятельности, ибо в этом виде они неприложимы в жизни. Приложение они находят только во взаимных отношениях разумных существ, а потому закон равенства должен быть признан единственным верховным началом права **. Такой вывод составляет естественный результат принятой Фрисом точки зрения. В действительности в юридической области, по самому ее существу, личное начало является основным. Поэтому здесь обязанность составляет следствие права и равенство — следствие свободы. Но так как Фрис возвел юридический закон на степень безусловно нравственного предписания, то у него вышло наоборот. Воззрение все-таки остается индивидуалистическим, ибо равенство, так же как и свобода, составляет требование личности; кроме чисто отрицательного юридического закона, тут нет ничего. Но отношения различных сторон и требований индивидуализма извращены вследствие превращения права в обязанность.

На чистом начале равенства Фрис построил свое «Философское учение о праве» («*Philosophische Rechtslehre*»), которое он издал еще в 1803 г. прежде «Новой критики разума». Юридический закон выставляется здесь верховным мерилom всякого законодательства, но это не более как идеал, к которому действительные государства приближаются мало-помалу. Идеи не прилагаются прямо к жизни; кроме чистых требований разума, тут действуют отношения естественных сил. Эти два противоположных начала связываются законом развития, который постепенно видоизменяет существующие отношения сил, приближая их к идеальным требованиям. Поэтому все действительно существующие законодательства могут считаться только временными (*provisorisch*). Окончательное же состояние (*peremptorisch*) является целью развития***.

Фрис в этих положениях очевидно повторяет учение Канта; но вследствие смешения прав с нравственностью тут оказывается противоречие. Если юридический закон равенства есть безусловное повеление, вытекающее из чистых требований разума, как утверждает Фрис ****, то как же может он оставаться идеалом, к которому

* Fries J. F. *Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft*. Bd III. § 204. S. 170; Idem. *Handbuch der psychischen Philosophie*. Bd I. § 39. S. 156.

** Fries J. F. *Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft*. Bd III. § 206. S. 180.

*** Fries J. F. *Philosophische Rechtslehre oder Kritik aller positiven Gesetzgebung*. S. 15-16, 27-28.

**** Ibid. S. XVI, XVII, 5, 8, 18.

следует только постепенно приближаться? Безусловное повеление должно одинаково прилагаться всегда и везде. Таков именно характер нравственного закона, обязательного для совести, то есть для внутренней свободы человека. Тут нет временных постановлений, а есть только уклонения, которые всегда осуждаются как зло. Если мы ту же безусловную точку зрения станем прилагать и к юридическому закону, то мы должны будем точно так же отвергнуть всякое от него отступление. Вследствие этого сам Фрис признает, что как скоро начало равенства относительно меня нарушено, так юридический закон перестает быть для меня обязательным*. Очевидно, что такое правило уничтожает силу всех положительных законодательств, то есть всего существующего в человечестве права. В действительности юридический закон не имеет этого безусловного характера. Определяя внешнюю свободу человека, его деятельность в физическом мире, он необходимо соотносится с местными и временными условиями. Фактические отношения, дающие содержание праву, воздействуют и на самую его форму. Наконец, личная свобода входит как подчиненный элемент в состав высшего, органического целого и вместе с последним подлежит развитию. Поэтому идеал человеческого общежития составляет не чистое осуществление начал права, а сочетание этих начал с другими общественными элементами.

С другой стороны, однако, право, по теории Фриса, совпадает с нравственностью только в отрицательном ее значении. Положительные нравственные определения относятся к другой области — к религиозно-эстетическому миросозерцанию, которое не заключает в себе ничего обязательного. Поэтому Фрис предостерегает от смешения юридического идеала с нравственным идеалом, из которого выводят всеобщее братство, общение имущих и т. п. Дружба, связывающая людей, может быть предметом только внутреннего чувства, а никак не внешнего законодательства**. Юридический же закон развивает исключительно начало равенства, и то в самых скудных очертаниях, как чисто отрицательное мерило. Кодекса естественного права из него вывести невозможно; для определения положительного существа различных юридических отношений требуется опытное их изучение. Всякое определенное право, говорит Фрис, есть положительное право. Отсюда несостоятельность большей части существующих доселе теорий естественного закона. Истинная теория, по мнению Фриса, ограничивается установлением общего начала равенства и выводом необходимых условий для его приложения***.

Эти условия — отчасти физические, отчасти умственные. Деятельность человека направлена на физический мир; она состоит

Ibid. S. 35.

Ibid. S. 29-30.

Ibid. S. 13-14; Fries J.F. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Bd III. S. 218-220; Idem. Politik oder philosophische Staatslehre. S. 267, 269.

в употреблении вещей. А так как эта деятельность руководится целями, следовательно, простирается на будущее, то употребление вещей связано с исключительным их присвоением. Через это люди приходят в столкновение друг с другом; отсюда рождаются и юридические отношения: надобно определить, что именно принадлежит каждому. Для установления этих отношений необходимо, чтобы люди могли сообщать друг другу свои мысли. Это совершается посредством языка, который составляет, таким образом, первое условие человеческого общения. Выражение воли насчет будущего называется обещанием, взаимные же обещания называются соглашением. Следовательно, установление юридических отношений между людьми требует взаимного соглашения насчет собственности на основании начала равенства. Отсюда проистекают основные юридические законы*.

Первый закон состоит в предписании исполнять свои обещания. Фрис выводит это положение из того, что всякая лож противоречит юридическому закону как нарушающая необходимое условие разумного общения между людьми **. Но очевидно, что это доказательство идет слишком далеко. Не всякая лож составляет нарушение юридического закона, а только та, которая противоречит юридической обязанности. Смешение права с нравственностью ведет к тому, что значение права слишком расширяется и теряет свои специфические признаки.

Второй закон состоит в том, что собственность должна быть распределена между членами общества на основании начала равенства. Фрис отвергает принятый школою Канта вывод права собственности из одностороннего занятия. По его мнению, личная воля не может быть обязательною для других; нужно взаимодействие, то есть соглашение. Соглашение же, на основании юридического закона, не может руководиться иным началом, кроме равенства ***. Фрис не думает, однако, устанавливать полное равенство состояний. Это было бы возможно только при распределении собственности государством; но подобный порядок ведет к самому невыносимому деспотизму. Частная собственность необходима, а как скоро она признается, так неизбежно является и различие между богатством и бедностью ****. В действительности, говорит Фрис, юридический закон, требуя равенства в распределении жизненных благ, имеет в виду не равенство имущества, а равенство наслаждений, ибо наслаждение составляет цель всякой собственности. Наслаждение же зависит от потребностей, которые весьма разнообразны. Всякий

* Fries J. F. Philosophische Rechtslehre oder Kritik aller positiven Gesetzgebung. Erste Teil. §§ 4-6.

** Ibid. § 7.

*** Ibid. § 8.

**** Ibid. Dritte Teil. S. 127-128.

руководится тут личным вкусом. Поэтому юридический закон требует только возможно большого равенства в удовлетворении потребностей и для каждого возможно большей свободы жить и наслаждаться, как ему угодно. А так как необходимое условие для удовлетворения потребностей заключается в работе, то задача законодательства сводится к установлению равновесия между работою и наслаждением. Каждый должен пользоваться плодами своего труда, и в этом отношении закон должен оказывать ему защиту. Определение же цены произведений предоставляется свободному обороту *. Закон требует только, чтобы всякому была обеспечена низшая степень благосостояния, которой он не может лишиться без вины. Для этого необходимы учреждение для доставления работы бедным и оказание помощи тем, которые сами не в состоянии трудиться. Ибо никто, замечает Фрис, не может быть обязан уважать чужую собственность, если при общем ее распределении он не получает своей доли или остается в нужде, когда другие имеют избыток **.

Мы видим здесь то самое положение, которое мы встретили уже у Фихте в первую эпоху его деятельности ***. Так же как Фрис, Фихте выводил право из взаимодействия разумных существ; но, последовательно развивая это начало, он пришел к замкнутому торговому государству. Фрис же, держась чисто индивидуалистической почвы, старается избежать этих последствий, заменяя равное распределение благ защитой труда. Очевидно, однако, что этим равенство не достигается. Между свободой и равенством оказывается коренное противоречие, а вместе с тем обнаруживается вся недостаточность принятых Фрисом начал для определения юридических отношений. В сущности, из теории Фриса следует только, что люди равны между собою в своем нравственном достоинстве, но отнюдь не следует, чтобы они были равны и в пользовании внешними благами. Такое расширение начала равенства ничем не оправдывается и противоречит действительному существу юридических отношений. Чтобы исправить проистекающие отсюда несообразности, Фрис принужден ввести в свою аргументацию отвергнутое им начало свободы. Ясно, что в распределении собственности, как оно понимается в этой теории, свобода, а не равенство является основным началом.

Третий выводимый Фрисом закон заключается в требовании, чтобы всякое общество устанавливало у себя гражданский порядок с общественным законом и общественным судом. Это требование вытекает из того, что юридический закон исполняется свободными

Ibid. S. 121-126; cp. Fries J.F. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Bd III. S. 224-226.

Fries J.F. Philosophische Rechtslehre oder Kritik aller positiven Gesetzgebung. S. 135.

См.: [Чигерин Б.Н.] История политических учений. Ч 3. С. 432-433.

лицами; следовательно, в применении его к жизни могут выйти столкновения и нарушения. Устранить их можно только общественным судом, действующим на основании общего закона *.

Наконец, четвертый закон и пятый составляют только приложения третьего. Требуется введение гражданского кодекса, определяющего начала собственности и договоров, и уголовного кодекса, определяющего наказание за преступления на основании начала воздаяния**.

Этим ограничивается философия права в собственном смысле. Затем следует политика, которая должна указать средства для осуществления этих начал. Она заключает в себе общие основания государственного устройства ***.

Первое условие для приложения юридического закона состоит в установлении власти. Действительная жизнь управляется не отвлеченными идеями, а борьбою естественных сил. Следовательно, закон, чтобы действовать, должен сам быть вооружен силою. Здесь находит свое приложение понятие о принуждении. Оно относится не к отвлеченному началу права, а к приложению этого начала к действительности ****.

Для установления власти необходимо соединение людей в гражданское общество, то есть в союз, имеющий целью охранение права. Этим гражданское общество отличается от всех других обществ, преследующих иные цели. Поэтому оно одно составляет юридически необходимое общество. Такой союз образует нравственное лицо и называется государством. В чистоте своей государство существует, впрочем, только в идее; в действительности к юридической цели всегда присоединяются и другие *****.

Государство должно иметь определенное устройство. В нем должна быть 1) законодательная воля; 2) суд, прилагающий закон к отдельным случаям; наконец, 3) правительство, облеченное верховною властью, для того чтобы дать действительную силу закону. Но эти три отрасли власти не составляют трех различных властей. Вся государственная власть сосредоточивается в руках правителя, ибо он один дает силу закону и решениям суда. Если бы законодательная власть и судебная существовали отдельно, то им приходилось бы принуждать правительство к исполнению их решений; а в таком случае им принадлежала бы верховная власть. Если же различные власти остаются независимыми друг от друга и над ними нет высшего судьи, то между ними нет и юридических отношений; все здесь основано на их доброй воле. Единство

* Fries J. F. Philosophische Rechtslehre oder Kritik aller positiven Gesetzgebung. Erste Teil. § 9.

** Ibid. §§ 10, 11.

*** Ibid. S. 19-20, 67-68.

**** Ibid. Zweite Teil. § 12.

***** Ibid. § 13.

государственного устройства требует и единства власти, которая поэтому должна сосредоточиваться в одних руках *.

Кому же принадлежит эта власть по праву? Те, которые производят государство из договора, говорит Фрис, приписывают ее народу или его уполномоченным. Но если государство основано на необходимых началах, то оно не может возникнуть из договора. Договором устанавливаются произвольно составляемые общества, в которых цели и вступление зависят от доброй воли лиц. Здесь же цель предписывается высшим законом, а вступление принудительно; следовательно, о договоре не может быть речи. Однако необходимым является только общее требование; способы же исполнения зависят от фактических обстоятельств. По естественному закону преобладающая в обществе сила должна получить власть в свои руки, и она будет вполне правомерна, если только она исполняет юридический закон **.

Из этого можно видеть, продолжает Фрис, что вопрос о принадлежности верховной власти в государстве может быть двоякий: кому эта власть присваивается в идее и кому она принадлежит в действительности? В идее она может принадлежать только разуму. Невозможно приписывать ее народу на том будто бы основании, что каждый сам себе судья и никто себе зла не желает: здесь речь идет не об ограждении целого народа от насилия, а об ограждении отдельных лиц от неправды. Большинство народа может управлять так же несправедливо, как и всякий деспот. Следовательно, в идее мы должны признать неправомерную всякую власть, которая нарушает требование юридического закона. В действительности же верховная власть всегда принадлежит преобладающей силе в обществе. Но такую преобладающую силу не может быть единое лицо, которое само по себе бессильно. Правитель держится только тем, что он находит опору в соединенной воле общества. Эта соединенная воля не есть простое собрание единичных волей; она не получается подачею голосов и не выражает собою какого бы то ни было большинства. Соединенная воля общества является результатом исторического развития и взаимодействия всех существующих в обществе сил, преданий, привычек, господствующего образа мыслей. Она составляет то, что называется общественным мнением, которое и есть властвующая сила в государстве. Если правитель должен быть облечен достаточною властью, чтобы подчинить себе всякое отдельное лицо, то в свою очередь он должен подчиняться общественному мнению, которое может действовать на него страхом или даже принуждением. Но это отношение — вовсе не юридическое; общественное мнение составляет чисто политическую силу. Закон права не дает нам никаких норм для определения взаимных отношений правительства и народа, ибо между ними нет

* Ibid. §§ 14, 15.

** Ibid. § 16.

судьи; все здесь держится взаимным доверием. Государственное устройство должно, следовательно, рассматриваться чисто как историческое явление, которое обсуждается на основании идей, но не определяется юридическими началами. Поэтому и не может быть речи о том, какой образ правления более правомерен или лучше сам по себе. Ни один из них не имеет преимуществ перед другими. Каждый настолько хорош, насколько исполняется закон права. Формы играют здесь второстепенную роль; главное заключается в духе, их оживляющем, а этот дух зависит от общественного мнения *.

Из этого можно извлечь и значение революций. Если отношения между правительством и народом определяются не юридическими началами, а единственно взаимным доверием, то о праве тут не может быть речи. Подданные столь же мало имеют право возмущаться, как и правительство — подавлять восстания. Вопрос решается здесь силою. При обсуждении же его надобно смотреть на результат. Никто не станет осуждать переворот, которым дурное правительство заменилось лучшим. А так как, вообще говоря, всякое общественное движение возводит историю на высшую ступень, то почти никогда не приходится сожалеть об удаче какого бы то ни было восстания. Даже ужасы Французской революции возбуждают в нас отвращение потому только, что они слишком к нам близки. «Через пятьдесят лет,— говорит Фрис,— спокойный наблюдатель увидит во всех этих страшных сценах только великодушную, но трудную борьбу пробудившегося, но еще сильно тронутого предшествовавшим деспотизмом народа» **.

Фрис уверяет при этом, что подобная теория нисколько не опасна для правительств. Народы всегда более склонны держаться установившихся привычек, нежели пускаться в неведомые предприятия. Правительства же должны рассчитывать не столько на добрую волю подданных, сколько на собственную свою силу, а для поддержания этой силы у них в руках всегда есть достаточные средства. Изобретение пушек и постоянное войско дают им возможность легко подавлять всякое восстание. Нужно очень плохое управление, чтобы возбудить против правительства большинство народа. Власть, которая во всех своих действиях держится гласности и показывает, что она имеет в виду не собственные выгоды, а пользу народа, нечего бояться. Она всегда будет иметь за себя общественное мнение ***.

Таково учение Фриса о государственном устройстве, учение, в котором странным образом перемешиваются революционные и противореволюционные начала. Коренной его недостаток заключается в той неопределенности выводов, которою вообще страдает

* Ibid. § 17.

** Ibid. § 18. S. 94-96.

*** Ibid. § 18. S. 96-97.

система Фриса, не умевшего сочетать общее с частным. Как в теории познания чистые идеи связываются с опытом только неопределенным религиозно-эстетическим чувством, так и здесь идея права связывается с действительностью только неопределенным общественным мнением. Поэтому верховная власть приписывается, с одной стороны, чистому разуму, устанавливающему безусловный юридический закон, с другой стороны — общественному мнению, которое выражает собою сумму фактических, существующих в обществе сил, но лишено всякого юридического значения. Правитель же, который по теории призван осуществить юридический закон, остается, в сущности, ни при чем. В основных положениях государство являлось как необходимое требование юридического закона, а в результате оказывается, что оно в самых существенных своих отношениях остается вне всякого юридического определения. Такой вывод сам себя опровергает.

Это несоответствие между идеальными требованиями и данными опыта является у Фриса и в учении о государственной цели. До сих пор государство представлялось нам как чисто юридический союз. Но в третьей части своего «Философского учения о праве», в «Критике всех положительных законодательств», Фрис к юридической цели государства присоединяет и другие, именно заботу о благосостоянии и о просвещении народа. Эти три цели соответствуют трем основным влечениям человека: влечению к счастью, к совершенству и к осуществлению нравственных требований. Но одна последняя юридически необходима; первые же две необходимы только физически. Люди, говорит Фрис, соединяются в государства не исключительно для обеспечения собственности, но и вообще для разумной жизни. Общежитие само для них является целью. В особенности опыт показывает им, что при соединении сил многое делается успешнее, нежели при их раздроблении*.

Очевидно, что такое совокупление всех человеческих целей в государственном организме ведет к совершенно иному понятию о государстве, нежели то, которое вытекает из чисто юридических требований; но у Фриса эти различные цели стоят рядом, без всякой внутренней связи. Он прямо говорит, что только требования права могут быть предметом философского исследования; об остальном надобно допросить опыт**. В политическом отношении все три задачи равно предъявляют свои требования, но соединение их следует предоставить мудрости правительства***. Практически Фрис приходит к тому заключению, что относительно благосостояния и просвещения всего лучше давать гражданам полную

Ibid. S. 106-108.

Fries J.F. Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Bd III. § 213. S. 215.

Fries J.F. Philosophische Rechtslehre oder Kritik aller positiven Gesetzgebung. S. 108.

свободу, ибо каждый устраивает свои собственные дела успешнее, когда он сам ими заведует, нежели когда другие за него действуют. Поэтому все положительные предписания и запрещения, а равно и все общественные учреждения для содействия благосостоянию и просвещению должны иметь значение только временных мер. Правительство должно по возможности ограничиваться покровительством частным предприятиям и сохранением общего над ними надзора. Как же скоро народные силы достаточно возбуждены, так все эти законы и учреждения должны исчезнуть *.

Несколько иначе решает Фрис этот вопрос в другом сочинении, изданном после его смерти учеником его Апельтом под заглавием «Политика, или философское учение о государстве» («Politik oder philosophische Staatslehre»). Это сочинение составляет, впрочем, только собрание писанных в разные времена отрывков. Цельной и последовательной мысли мы тут не найдем. Фрис старался дать своему политическому учению большую полноту, но внутренняя связь не только от этого не выигрывала, но, напротив, еще более слабела.

Фактическая сторона государственной жизни развивается здесь подробнее, нежели в «Философском учении о праве». В основание полагаются общие законы психической антропологии, определяющие цели человеческой жизни и способы их осуществления. Сообразно с тремя основными способностями души — чувством удовольствия, познанием и волею — является у человека тройная задача: техническая, состоящая в покорении природы в видах благосостояния; политическая, заключающаяся в установлении разумного общежития; и, наконец, литературная, которая имеет в виду образование духа посредством языка и обмена мыслей. Все эти цели даются нам опытом; но кроме того, для духовного образования соответственно тем же трем способностям полагаются высшие цели в идеях истины, красоты и правды, которые осуществляются в науке, в религии и в государстве. Эти последние цели представляются как требование или как нравственная необходимость; но для достижения их фактически необходимо предварительное усвоение выгод технических, политических и литературных **.

В этом изложении мы замечаем, 1) что в отличие от прежнего взгляда, наука и религия, наравне с государством, признаются нравственными требованиями; 2) что государство выводится двумя различными путями: с одной стороны — как осуществление идеи правды, с другой стороны — как фактическое выражение человеческого общежития. В обоих случаях, однако, политическая задача ставится в ряду других, а не заключает последние в себе. Между тем Фрис, ссылаясь на тот же параграф, выдает государство за единство всей народной жизни и приписывает ему совокупность

* Ibid. S. 115.

** Fries J.F. Politik oder philosophische Staatslehre (1848). § 11. S. 36-39.

всех человеческих целей: оно должно водворить благосостояние, просвещение и правду, и кроме того, имеет еще две специально ему принадлежащие задачи — охранение самостоятельности общества и внутреннего порядка*. Он восстает не только против односторонних воззрений, приписывающих государству исключительно ту или другую цель, но и против теорий, которые главной целью государства считают право, а остальное выдают за придаток. Этот взгляд, говорит Фрис, имеет за себя то, что правда составляет единственную цель, которая предписывается нравственным законом; в ней мы можем видеть философскую идею государственной цели, высшую руководящую мысль. К этому присоединяется и то, что весь общественный порядок определяется правом. Но все-таки это только форма, которой содержание дается извне, и мы должны обратиться к жизни, чтобы определить, в чем должно состоять право. Другие цели не подчиняются праву, а сопоставляются с ним и часто даже становятся выше **. С другой стороны, однако, Фрис прямо признает, что нравственное начало правды должно быть поставлено выше законов человеческого общежития, указанных нам опытом***. Положительное право должно служить правде; высшую задачу разумного общежития составляет введение закона правды в положительные законодательства ****. Во всем этом, очевидно, выражается колебание между противоположными направлениями, идеальным и реальным, при полном неумении их соединить.

Те же противоречия мы находим и в дальнейшем приложении этих начал. Следуя указаниям антропологии, Фрис признает три ступени развития духа: чувственное возбуждение, привычку и ум. Материал для первого дают нам природа и естественные формы общежития — семейство, народность, расы. Последние же две ступени являются собственно произведением человека: в привычке выражается бессознательная деятельность, в уме — сознательная. Главный интерес развития заключается в отношении этих двух начал. Основной его закон состоит в борьбе самомыслящего ума, или собственного духа (*eigener Geist*), с механизмом привычек. Ум должен овладеть привычными формами жизни и преобразовать их, развивая; в нем одном лежит сила народной жизни. Но он может преобразовать только то, что уже дается ему привычкой. Последняя составляет для общества историческую основу; она дает прочность учреждениям. Ум связан этим материалом; он может изменять его только постепенно, а не внезапными переворотами, которые никогда не приводят к добру *****. Отсюда Фрис выводит двойкий способ развития права: посредством общественного со-

* Ibid. § 20. S. 65-66.

** Ibid. § 20. S. 68-70.

*** Ibid. § 49. S. 218.

**** Ibid. § 51. S. 230, 232.

Ibid. § 12.

глашения, выражающегося в обычае, и посредством издаваемого правительством закона. Первый есть способ республиканский, второй — повелительный, или самодержавный (*imperatorisch, autokratisch*). В первом выражается естественное движение жизни, во втором — искусственное ее направление посредством власти и разума^{*}.

Если ум составляет высшую ступень развития, то очевидно, что повелительная форма должна быть господствующею в государстве. Действительно, Фрис говорит, что привычка слепа и не может дать надежной опоры^{**}. Само по себе то, что устанавливается обычаем, не имеет цены и служит только материалом для высших целей. Разумное сознание сохраняет все, что в нем есть хорошего^{***}, но оно не связывается случайными капризами истории, а руководствуется высшими требованиями ума. Естественное движение жизни должно подчиняться искусственному ее направлению^{****}. Поэтому Фрис не требует уже, как прежде, чтобы правительство предоставляло жизнь собственному ее ходу. Напротив, он полагает основным правилом, что правительство, во имя общественных целей, должно вмешиваться в естественное движение оборота. Вредна только излишняя и бесполезная регламентация: где привычная деятельность сама достигает своих целей, там государству нечего вступаться. Но невозможно запретить науке наблюдать за всеми движениями народной жизни, исследовать встречающиеся препятствия и недостатки и предлагать улучшения. И всякий раз как эти улучшения оказываются приложимыми в какой бы то ни было области, руководящее вмешательство власти всегда уместно. Правители должны только помнить, что они могут лишь направлять, а не создавать что-либо новое^{*****}.

Рядом с этим возвеличением правительственной деятельности мы встречаем, однако, и воззрения совершенно другого рода. Выражением привычного течения жизни является опять общественное мнение, которое, когда оно получает значительную силу, становится общим духом народа. Оно из рассеянной жизни отдельных единиц образует духовную личность народа; оно составляет душу государства^{6*}. Без этого общественного духа все политические формы ничего не значат; он один в состоянии дать и отнять всякую форму. Поэтому основное различие образов правления следует полагать в том, какое начало в них господствует: общественное ли мнение или самовластие правительства. Живой общественный дух, говорит Фрис, составляет единственную гарантию самостоятельности

^{*} Ibid. § 17, § 19. S. 64.

^{**} Ibid. § 60. S. 273.

^{***} Ibid. § 23. S. 78.

^{****} Ibid. § 19. S. 64.

^{*****} Ibid. § 20. S. 67; § 81. S. 351.

^{6*} Ibid. § 15. S. 55-56; § 75. S. 328.

и свободы народа как в отношении к другим народам, так и в отношении к собственному правительству*. Фрис буквально повторяет здесь всю прежнюю свою теорию, по которой общественному мнению принадлежит истинная верховная власть в государстве **. Он утверждает даже, что правительственное устройство подчиняется законам народного устройства, то есть частной жизни, ибо состояние правителей есть только одно из состояний, которые образуются в народе вследствие разделения труда. Сильнейшее из них самым естественным ходом жизни становится во главе государства***.

Ясно, что во всем этом высказываются противоречащие начала, не приведенные к соглашению: с одной стороны, идеальные требования, с другой стороны — движение естественных сил. В прежней теории, как мы видели, эта противоположность выражалась в противопоставлении чисто юридических начал опытным; здесь же она вводится и в самое юридическое учение. В отличие от прежнего своего взгляда, Фрис к философскому учению о праве присоединяет ест. ест. венное право, определяющее общие формы положительного закона. Первое руководится чистою идеею личности; второе выводит естественные права из естественных законов человеческой жизни на основании начал семейства, господства и наследства ****. Но тут всего яснее обнаруживается, что между обоими учениями нет ничего общего. Основное начало философского права есть равенство; учреждения же естественного права представляют полное отрицание равенства. В семействе устанавливается власть мужа над женою и родителей над детьми. Фрис объявляет себя совершенно довольным существующими юридическими отношениями между мужем и женою. Требование эмансипации и самостоятельности для женщин он считает признаком грубых нравов *****. Затем, наследство, которое Фрис признает необходимым условием общественного быта, основанием всего обычного порядка народной жизни^{6*}, ведет к неравенству имущества. Наконец, занятия, в которых всего более выражается личная самостоятельность, порождают отношения повелевающих и повинующихся, господство одних и зависимость других^{7*}, и эти отношения сохраняются и в государственном устройстве. Оказывается, следовательно, что идеальное начало неприменимо ни к каким человеческим установлениям. Доказательство несостоятельности теории Фриса предъявляется им самим.

Ibid. § 93. S. 370, 372-373.

Ibid. § 79. S. 342-343.

Ibid. § 18. S. 60-61; § 75. S. 330.

**** Ibid. § 60. S. 272.

***!>** Ibid. § 62. S. 285.

^{6*} Ibid. § 68. S. 301.

Ibid. § 69. S. 302.

Эта несостоятельность вытекала, как мы видели, из самой основной точки зрения Фриса. Как скоро было отвергнуто чисто умозрительное развитие мысли, так научное определение идей становилось невозможным. Стоя на почве, завоеванной Кантом, Фрис не мог ограничиваться одним опытом; он эмпирическому знанию противопоставляет идеальное. Но так как идеи имели у него чисто отрицательный характер, то они не могли служить руководящими началами для познания жизненных явлений. Возможность положительного созерцания идей в действительности Фрис видел только в ускользающем от всякого определения чувстве красоты. Таким образом, вместо гармонического сочетания противоположностей мы имеем здесь только противоположение положительных, но частных начал безусловно-общим, но отрицательным. Для возведения противоположностей к высшему единству в системе Фриса нет никаких оснований. Опытная психология и внутреннее самонаблюдение, которые составляют для него точку отправления, их не представляют. Они даются только отвергнутою им диалектикою.

2. Гербарт⁴

На гораздо более объективную точку зрения, нежели Фрис, становится Гербарт. Так же как Фрис, он отправляется от опытных данных и восходит от частного к общему. Но объяснения опыта он ищет не в психологии, а в метафизике, которая, по его теории, раскрывает нам частные силы, лежащие в основании видимого бытия. Если систему Фриса можно характеризовать как идеалистический сенсуализм, то Гербарта можно назвать идеалистическим атомистом. Как философ он стоит выше Фриса. Едва ли он не был замечательнейшим из мыслителей, пытавшихся вывести общее из частного. Одаренный ясным умом и тонким критическим тактом, обладая обширными сведениями по разным отраслям науки, он метко указывал на недостатки других систем и с большим остроумием развивал собственные воззрения. При всем том совершенная несостоятельность его учения еще раз убедительнейшим образом доказывает невозможность воздвигнуть какое бы то ни было здание на подобных основаниях.

Гербарт еще в 1808 г. изложил существенные черты своей системы в «Главных пунктах метафизики» («Hauptpunkte der Metaphysik»), изданных для руководства слушателей. Полное изложение его метафизики вышло гораздо позднее, в 1828 г.; но оно содержит в себе только дальнейшую разработку положенных в прежнем сочинении начал. В 1808 г. появилась и его «Общая практическая философия» («Allgemeine praktische Philosophie»), имевшая впоследствии несколько изданий. Здесь излагаются главные основания нравственности и права. Наконец, необходимым дополнением к предыдущим сочинениям служит «Психология», вышедшая в 1824 и 1825 гг.

Исходя от вопроса, поставленного Кантом, насчет отношения умственного мира к действительному, Герbart отверг субъективный идеализм как неспособный объяснить внешние явления. В самом деле, между произведениями внутренней деятельности разума и получаемыми извне впечатлениями существует глубокое различие. Над умственными действиями мы властны; явления же внешнего мира как по содержанию, так и по форме независимы от нашей воли. Мы не можем изменить не только качеств, но и связи представляющихся нам предметов. И если явления как личные ощущения имеют субъективный характер, то все же их причина лежит вне нас. «Насколько есть явлений,— говорит Герbart,— настолько есть указаний на бытие» (*so viel Schein, so viel Hindeutung auf Seyn*): таково основное правило философии. Задача метафизики заключается, следовательно, в том, чтобы определить реальное бытие, от которого зависят явления *.

Этим бытием не может быть та единая сущность, которую Шеллинг, вслед за Спинозой, полагает в основание всех вещей. Из единого нет возможности вывести многое, не впадая в явные противоречия. Производя из себя многое, единое перестает быть единым; оно становится неравным самому себе. Притом многое заключается в нем только как возможность, из которой должна произойти действительность. Но действительность не составляет одного лишь придатка к возможности; это — самостоятельная область, законченная в себе и представляющаяся как нечто данное. Для определения реального бытия мысль должна поэтому отправляться не от возможности, а от действительности как данного многообразия сущего. Опыт должен составлять исходную точку всякого знания **.

С другой стороны, однако, нет возможности останавливаться на опыте. Эмпиристы не замечают, что опытные представления заключают в себе субъективные и противоречащие определения, которые необходимо разъяснить и дополнить умственными операциями, чтобы дойти до связных понятий о вещах. В действительности мы видим вещи с разнообразными признаками; спрашивается, как согласить тут единое и многое, единство вещи с различием ее свойств? Далее, опыт представляет нам изменяющиеся предметы: спрашивается, как возможен переход чего бы то ни было от бытия к небытию и от небытия к бытию? Наконец, все опытные данные являются нам в формах пространства и времени: и тут оказываются противоречия между непрерывностью и раздельностью, противоречия, ведущие к бесконечной делимости и к совершенно неразрешимым задачам ***.

* Herbart J.F. Hauptpunkte der Metaphysik. Vorfragen. II // Werke. Bd III. S. 12-14; Idem. Allgemeine Metaphysik. § 118 // Werke. Bd III. S. 342-347.

** Herbart J.F. Allgemeine Metaphysik. §§ 40-48, 71, 104, 110 (Werke. Bd III).

*** Ibid. §§ 60-69, 168-172 (Werke. Bd III, IV); cp.: Herbart J.F. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. §§ 116-131 // Werke. Bd I. S. 173 и след.

То же самое мы встречаем и во внутреннем опыте. Здесь исходною точкою служит представление о собственном нашем Я¹ но когда мы станем разбирать, что содержит в себе это представление, мы увидим, что оно состоит из противоречащих определений, которые обличают полную его несостоятельность. Не говоря о повторяющемся и здесь противоречии между единством и множеством, тут является различие между субъектом и объектом, которые зараз полагаются и тождественными, и противоположными друг другу. Если же, определив это Я как субъект и объект вместе, мы захотим далее определить самые эти определения, мы неизбежно должны будем идти в бесконечность; ибо объект не что иное, как сам субъект, но этот субъект, сделавшийся для нас объектом, опять же немислим иначе как полагающим объект, вследствие чего мы этот новый объект опять должны будем определить как субъект, полагающий объект, и т. д. С своей стороны, субъект, который мы хотим определить, тем самым становится для нас объектом, а потому ему противопоставляется новый, сознающий его субъект и т. д. в бесконечность *.

Необходимо, следовательно, прибегнуть к метафизике, чтобы определить, какого рода бытие скрывается за данным многообрази-ем явлений. Каким же путем можно произвести это исследование? Противоречие заключается здесь в предполагаемом тождестве между исключаящими друг друга определениями, между единым и многим. Это противоречие разрешается только предположением, что кажущееся единство в себе самом — не единство, а множество, но не раздельное, а совокупное, чем оно отличается от чистого множества. Приняв это начало, мы должны будем искать тех отношений между многим, которые способны объяснить различные его сочетания, а вследствие того и различие явлений. В этом состоит метод от от ношений (*die Methode der Beziehungen*), составляющая главное орудие метафизики. Посредством нее данный опытом материал разлагается на простые, единичные сущности, из сочетания и разделения которых образуется весь видимый мир **.

Таким образом, прежде всего надобно найти то неизменное сущее, которое лежит в основании явлений. Сущим мы называем то, что полагается само по себе, независимо от нашей мысли. Бытие — не что иное, как простое или абсолютное положение, без всякого отрицания или отношения к другому; чему же может быть присвоено подобное положение? Очевидно, только простой сущности, не заключающей в себе никакого различия или множества, ибо всякое различие и множество разрешаются опять же на простые положения. Следовательно, сущим мы можем назвать единственно простое сущее, без всякого количественного определения и без всякого отношения к чему-либо

* Herbart J. F. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. S. 192-193 (Werke. Bd I); ср.: Idem. Psychologie als Wissenschaft. § 27 // Werke. Bd V. S. 274 и след.

** Herbart J. F. Hauptpunkte der Metaphysik. Vorrufen; Idem. Allgemeine Metaphysik. §§ 184-186.

другому. Если качества, при сравнении с другими, представляются нам с отрицательными признаками как отличные друг от друга или противоположные одно другому, то это сравнение принадлежит лишь связывающему их уму, а не им самим. Сами по себе они представляют лишь простые, единичные сущности *.

Такое определение бытия, по мнению Гербарта, не составляет, однако, возвращения к атомистике, которая, как бы мы ее ни построили, неспособна объяснить взаимное отношение первоначальных единиц. Материалистическая атомистика, <привнесшая> в атомы количественное определение, никогда не достигает понятия о простой сущности и не может объяснить связи многого. Качественная же атомистика, каковую представляет система Лейбница, сопоставляет только единицы, но отрицает всякое между нами взаимодействие, вследствие чего она принуждена прибегнуть к несостоятельной гипотезе предустановленной гармонии. Простое сопоставление единичных сущностей не может породить между ними никакого отношения. Для того чтобы они действовали друг на друга, необходимо, чтобы они действительно были вместе, то есть чтобы они проникали друг друга **. Но это взаимодействие не может касаться самих сущностей, которые вечно остаются неизменными; оно является для них только случайным. Это — область случайных воззрений (*zufällige Ansichten*), то есть чуждое истинному бытию совпадение и распадение единичных сущностей ***.

В чем же, по этой теории, состоят взаимные отношения этих единиц? Простые качества могут быть, в большей или меньшей степени и в разных отношениях, противоположны друг другу. При совпадении это противоположение становится отрицанием или нарушением сущности. Но так как истинного нарушения сущего быть не может, то сущность сохраняет себя в своем бытии. Ряду нарушений соответствует ряд самосохранений, которых свойство и степень определяются свойством и степенью нарушений ****. Этим объясняются все явления как физического, так и умственного мира. Материя не что иное, как собрание простых сущностей, которых связь определяется внутренними отношениями нарушений и самосохранений. Эти сущности соединяются умом под формою пространства, вследствие чего является возможность полного и неполного их совпадения, следовательно, полного и неполного нарушения. Но так как самосохранение, проистекая из простой сущности, всегда составляет цельный акт, а нарушение должно ему соответствовать, то при отношении двух единиц случайное частное совпадение стремится перейти в полное; наблюдателю же,

Herbart J. F. Hauptpunkte der Metaphysik. §§ 1-2; Idem. Allgemeine Metaphysik. §§ 195-210.

Herbart J. F. Allgemeine Metaphysik. §§ 129, 212, 267, 298 (Werke. Bd III, IV).

Ibid. §§ 212, 232.

**** Ibid. §§ 234-236.

которому это действие представляется под формою пространства, оно является в виде притяжения. Наоборот, там, где несколько единичных сущностей стремятся проникнуть в одну, оказывается избыток нарушений против самосохранения, но так как последнее должно уравнивать первые, то полное совпадение заменяется частным; с точки же зрения пространства частицы как будто отталкиваются. Из равновесия этих двух противоположных стремлений образуется то сцепление сопоставленных друг с другом частиц, которое мы называем материею. Различная противоположность элементов порождает между ними различные отношения, которые мы называем свойствами материи*.

Те же начала дают нам ключ и к пониманию духовного мира. Душа — не что иное, как простая сущность, которая при столкновении с другими элементами производит различные акты самосохранения. Эти акты мы называем ощущениями. Принадлежа единой сущности, ощущения находятся друг к другу в различных отношениях: они, с одной стороны, оказывают друг другу препятствие или производят друг на друга давление (*Hemmung*); с другой стороны, они в большей или меньшей степени связываются и сливаются друг с другом. Этим объясняются все душевные процессы. Тут не нужно прибегать к различию душевных способностей, которое дробит на части единую душу, и еще менее — к воображаемому Я, которое представляет только нескончаемую цепь противоречий, ибо единая сущность является здесь и субъектом и объектом, и равною себе и неравною, или не-Я в совокупности. Механика духа устраняет все эти мечты, доказывая, что наше Я — не что иное, как представление общего места, в котором происходят различные ощущения. Та же механика объясняет и свойство нашего знания. Материал его, без сомнения, субъективный; он состоит из ощущений, которые как акты самосохранения души не дают нам никакого понятия об истинной сущности вещей. Но взаимные отношения наших ощущений определяются не самим субъектом, а действительными отношениями его к внешнему миру. Эти отношения могут быть предметом истинного знания. Отсюда ясно, что наше знание вещей всегда остается чисто формальным. Простые качества, лежащие в основании явлений, для нас совершенно недоступны. Разум может только определить возможные отношения между этими неизвестными единицами; опыт же служит нам руководством в познании действительного разнообразия этих отношений. Но как скоро мы выступаем из этих границ, мы вовлекаемся в неразрешимые противоречия. Те общие начала, на которых думают основать философию, не имеют в себе ничего реального. То, что мы называем общим, — не что иное, как сокращенный способ умственного исследования; само по себе оно значения не имеет**.

* Ibid. §§ 267- 277 (Werke. Bd IV).

** Ibid. §§ 320-330.

Такова в существенных чертах метафизика Гербарта. Несостоятельность ее кидается в глаза. Исходною точкою служат здесь опытные данные, внешняя действительность, которой одной Гербарт присваивает название реального бытия, или вообще сущего, в противоположность мысли, или пустому отвлечению. Но оказывается, что в опыте мы находим только чисто субъективные ощущения и противоречащие друг другу формы; представляющимся нам явлениям мы не можем присвоить название сущего. Поэтому приходится все-таки прибегнуть к метафизике, от внешних явлений возвыситься к лежащим в основе их началам, от опытных данных — к указанным мыслью определениям. Каким же путем совершается этот процесс? Путем чистого анализа, разложением сложных явлений на простые элементы. Так как единое не может вместе быть многим, то оно должно быть понято лишь как совместность (*das Zusammen*) многого. Чтобы дойти до истинно сущего, надобно, следовательно, искать простых единиц, из сложения и разложения которых образуется весь действительный мир. И на этом пути разум принужден идти до крайних пределов. Отвергается всякое количественное определение, которое очевидно не что иное, как замаскированное многое; отвергается также всякое отношение единичной сущности к постороннему бытию, а вместе с тем и всякое отрицательное определение, ибо этим опять-таки вносится различие в чисто единое. Затем остается одно простое качество, о котором, однако, мы не можем иметь никакого понятия, ибо все известные нам качества, каковы звук, краска и т.п., представляют уже не простые свойства, а от ношения, вследствие чего сам Гербарт видит в них только символы настоящих качеств *. Таким образом, мы приходим к понятию о неизвестных единицах, для которых мы не можем придумать никакого другого определения, кроме чистого бытия. Спрашивается, что же это такое, как не пустое логическое отвлечение, то самое, что отвергалось в начале? В старании уловить реальное мысль обрела только совершенную пустоту.

К такому результату неизбежно приводит чисто аналитическая логика. Опыт представляет нам единое и многое в совокупности, то есть вещи с количественными определениями и разнообразными признаками. Высшая, диалектическая логика, сочетающая синтез с анализом, с своей стороны доказывает, что единое не может не быть вместе и многим, а многое не может не быть единым. И в действительности, и логически истинно сущее образуется только из сочетания противоположностей. Но как скоро мы берем лишь одно из определений, откинув другое, так мы неизбежно впадаем в односторонний умственный процесс, результатом которого является вовсе не сущее, а чистое отрицание. Разложивши целый предмет на составные части, мы получим единицы, которые опять-таки заключают в себе различия. То же самое повторится и при новом анализе. Если же мы, наконец, отвергнем всякое

* Ibid. § 335.

различие, то не останется ровно ничего. Простое качество, к которому прибегает Гербарт, спасается единственно тем, что оно остается совершенно неизвестным; это не что иное, как пустое место. В действительности, так же как и в логике, всякое качество непременно заключает в себе отрицание другого, следовательно, и отношение к другому. Качество есть качество именно потому, что оно определено, следовательно, имеет предел; предел же одного есть вместе и предел другого: тут является совпадение, а потому и отношение двух разных элементов. В сущности, это признает и сам Гербарт, когда он простым качествам приписывает различного рода и степени противоположность к другим, противоположность, которая, несмотря на его уверение, имеет значение не для одного сравнивающего наблюдателя, а присуща самим предметам, ибо ею определяются их реальные отношения. Но откиньте предел, то есть отрицание и отношение к другому, и что останется от качества? С отрицанием предела очевидно отрицается и самое качество, которое через это превращается в неопределенное бытие, то есть в пустое положение без всякого содержания. Диалектическая логика и здесь разбивает односторонность аналитической мысли. Все дело в том, что чистое бытие без отрицания совершенно немыслимо. Только сочетанием положения с отрицанием объясняется существование в мире различий отношений и процесса, которые, при единстве неподвижного и неизменного бытия, были бы невозможны. Всего менее позволительно какому бы то ни было частному бытию приписать абсолютное положение, как делает Гербарт. Тут есть коренное противоречие, заключающееся в том, что частное, то есть относительное и условное, признается безотносительным и безусловным. Можно принять частное за точку исхода, но никогда нельзя признать его абсолютным началом. Абсолютное положение приложимо единственно к абсолютной сущности.

Затруднения, порождаемые чисто аналитической логикой, не ограничиваются этою бесконечною погонкою за началами, которые ускользают от мысли, как скоро она старается их уловить; они возникают еще в большей степени при обратном ходе, когда приходится из начал выводить явления. Разложивши элементы, надобно опять их сложить. Но каким образом произвести это сложение, когда точкою исхода было отрицание связи? В силу чего могут простые, безотносительные сущности вступать в отношения друг к другу и произвести что-нибудь сложное? Для объяснения этого процесса Гербарт прибегает к тому, что он называет слугайными воззрениями, утверждая, что весь этот видимый процесс не касается самих сущностей, которые остаются неподвижными и неизменными. Но слугайное воззрение не что иное, как известный способ действия сравнивающего ума *; между тем Гербарт признает,

* Ibid. § 236; cp.: Theor. de attract, element. § 12 (Werke. Bd IV). S. 535; modum quondam cogitandi (eine zufällige Ansicht) absque omni reali compositione.

что за явлением скрывается действительное событие (das wirkliche Geschehen), то есть действительное совпадение и распадение сущностей, которым и вызывается сравнение. Спрашивается, откуда же берутся эти столкновения, если они не вытекают из самих сущностей? Ибо мы согласились, что кроме простых сущностей, в мире нет ничего. Сказать, что эти столкновения случайны, ровно ничего не значит: надобно показать причину. В сущности, слово случайный служит здесь только прикрытием для того, чтобы ввести заднюю дверь отвергнутую прежде относительность реальных качеств. Оказывается, что простые сущности противоположны друг другу, притом в различных отношениях и в разной степени; оказывается далее, что одна сущность может произвести нарушение в другой, причем последняя противодействует ей в виде самосохранения. Спрашивается, каким образом все это вяжется с простотою и безотносительностью качеств? и какое может быть нарушение абсолютного, вечно самому себе равного бытия? Если происходящие в мире перемены представляют только случайную игру событий, не касающуюся самих сущностей, то от последних не требуется никаких особенных актов самосохранения. Наконец, самосохранение простого качества может быть лишь таким же простым актом, как и самое качество, что мимоходом признает и сам Гербарт*. Между тем для объяснения явлений необходимо допустить различие и даже противоположность самых актов самосохранения; необходимо, далее, допустить частное нарушение, ибо полное нарушение было бы полным отрицанием самой сущности, что немыслимо. Приходится, следовательно, отличить в простой сущности то, что находится в противоположении, и то, что не находится в противоположении, что может быть отрицаемо и что не может быть отрицаемо**. Соответственно этому Гербарт признает и различные степени самосохранения, причем он говорит даже о миллионной части самосохранения!!! *** Что же это, как не признание частей и различий в самих сущностях и введение заднюю дверь изгнанных прежде количественных определений? С своим тонким умом, Гербарт не мог всего этого не заметить; но он вынужден был допустить отношения в безотносительном, как он сам говорит, по предписанию явления****. Нельзя было яснее сказать, что явления не соответствуют принятым началам.

Еще более количественных определений приходится вводить при построении материи. Для объяснения ее Гербарт принужден признать частное совпадение элементов, хотя он тут же сознает, что это — совершенно немыслимая гипотеза, ибо между элементами, не имеющими никакого пространственного протяжения

* Herbart J.F. Allgemeine Metaphysik. § 277. S. 222.

** Ibid. § 234.

*** Ibid. § 339. S. 344.

**** Ibid. § 234. S. 137.

и представляющими только геометрические точки, не может быть частного совпадения. На вопрос, зачем же он вводит такую нелепую гипотезу, Гербарт отвечает: «Потому что мы не можем запретить простым сущностям образовать из себя материю» *. Казалось бы, напротив, что с признанием простых, безотносительных сущностей нет никакой возможности допустить образование материи.

Наконец, в области духа единая, простая сущность производит из себя разнообразнейшие акты самосохранения, которые как самостоятельные элементы вступают в различные отношения друг к другу, производят друга на друга давление, связываются, разделяются, причем сознание лежащего в основе их единства превращается в пустое место, где происходят все эти механические столкновения. Понятно, что теория, отправляющаяся от частных начал, старается постигнуть душу как сложный результат частных отношений: это — точка зрения материализма. Но непонятно, каким образом вся эта сложная и чисто внешняя механика может быть приписана единой, простой, всегда себе равной сущности. Здесь, очевидно, конец не вяжется с началом. Гербарт хотел соединить внутреннее единство души с разнообразием ее действий; но отвергнув диалектический закон сочетания противоположностей и усвоив себе одну аналитическую логику, он мог только сопоставить два противоречащих друг другу начала: единство, лишенное различия, и различия, не сводящиеся к единству.

При таком взгляде на человеческую душу как же понимает Гербарт нравственные требования человека, с которыми он связывает и право, и политику?

Мы видели, что нравственная отрасль Локковой школы двояким образом объясняла нравственный закон: одни выводили его из необходимого отношения вещей, другие сводили его к непосредственным изречениям нравственного чувства. У Гербарта соединяется то и другое. Нравственные начала, по его воззрению, происходят от непосредственных суждений, одобряющих или осуждающих известные движения воли, но это одобрение или неодобрение касается не простых элементов, которые сами по себе не имеют цены, а от ношений воли. Отвергая вообще существование отдельных душевных способностей, Гербарт не признает и отдельного нравственного чувства, но все суждения этого рода он сводит к общему понятию о нравственном вкусе, который он, так же как Хатчесон и Фрис, сопоставляет с эстетикой. Он прямо относит нравственность к разряду эстетических предметов **. Общий их признак состоит в том, что они представляют не какие-либо стремления или требования, а просто спокойные суждения о достоинстве предмета. Поэтому Гербарт считает совершенно

* Ibid. § 278. S. 224.

** Herbart J. F. Allgemeine praktische Philosophie. Einleitung. I: Vom sittlichen Geschmack // Werke. Bd VIII. S. 11 и след.

невозможным выводить нравственные начала из тех или других побуждений воли. Те, которые хотят произвести нравственность из понятия о каком-либо благе, составляющем цель для воли, говорит он, впадают в логический круг, ибо благо определяется волею, а не наоборот. Благом называется то, что составляет предмет желания; следовательно, надобно спросить: чем определяется доброта самого желания? Очевидно, что для определения доброты воли мы должны возвыситься над волею; иначе мы будем вращаться в круге. С другой стороны, те, которые выводят нравственность из обязанности, должны признать, что воля чем-либо связывается; но чем именно? Если другою, высшею волею, то оказывается немислимое раздвоение в самой воле, признается воля подчиненная и воля влаждующая, и тогда спрашивается опять, чем же связана последняя? Очевидно и тут, что для определения достоинства воли необходимо прибегнуть к спокойному суждению, которое само не имеет характера воли, которое не предписывает и не налагает закона, а только одобряет или не одобряет*. Это суждение не может быть выведено из каких-либо общих начал и соображений; оно дается непосредственно и присуще всякому человеку. Как скоро сопоставляются элементы какого-либо нравственного отношения, так у всякого беспристрастного зрителя непосредственно является над ним приговор: оно ему нравится или не нравится. Таково свойство всех эстетических суждений**.

Однако для того чтобы эстетическое суждение было не мимолетным выражением личного вкуса, а постоянным приговором о достоинстве предмета, что одно дает ему общее значение, необходимо очистить его от всех субъективных примесей. Эстетическое суждение существенно отличается от чувств удовольствия и неудовольствия, которые принадлежат лицу, а не предмету; оно имеет характер не субъективный, а объективный, и тем вернее, чем менее оно сопровождается каким-либо возбуждением чувства***. Точно так же не должно смешивать его с ощущениями приятного и неприятного, хотя последние близко к нему подходят. И тут элементы суждения до такой степени сливаются с личным чувством, что разделить их невозможно: приятен собственно не предмет, а ощущение. В эстетических же отношениях все элементы могут быть разъяты, вследствие чего и является возможность произнести объективное суждение об их связи или о форме, в которой они представляются****. Будучи очищены от всякой личной и случайной примеси, эти суждения повторяются одинаковым образом, всякий

* Ibid. S. 5-11.

** Ibid. S. 20, 22, 25; Herbart J.F. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. S. 124, 129.

*** Herbart J. F. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. §§ 84-86.

**** Ibid. § 82. S. 125-128; Herbart J.F. Allgemeine praktische Philosophie. S. 16-17; cp.; Idem. Psychologie als Wissenschaft. II. § 108 // Werke. Bd VI. S. 107 и след.

раз как представляются одинаковые отношения. Вследствие этого они получают значение вечного авторитета, которого основание заключается в совершенном представлении вещей. Отсюда возникают постоянные образцы, составляющие предмет высшего одобрения. С ними человек сравнивает все остальное; их он принимает за руководство в своей деятельности *.

Собственно нравственные суждения, по мнению Гербарта, отличаются от других эстетических суждений, касающихся искусств, тем, что они относятся не к внешним предметам, а к побуждениям собственной нашей воли. Поэтому при всяком неодобрительном суждении в нас самый является чувство внутреннего раздвоения, и воля естественно стремится стать в согласие с суждением**. Другая особенность нравственных суждений заключается в том, что элементами тех отношений, над которыми они произносятся, являются не действительные движения воли, а общие понятия об этих движениях, вследствие чего эти суждения получают характер общих правил. В искусстве, наоборот, требуется не отвлеченное отношение, а живое представление действительности. А так как действительность сама по себе многообразна и отрывочна, то искусство не стремится к совокуплению всех эстетических элементов в их полноте; оно довольствуется отдельными, отрывочными изображениями, между тем как нравственный вкус, напротив, удовлетворяется лишь полнотою всех подлежащих его суждению элементов. Он сводит все возможные нравственные отношения к некоторым общим, образцовым понятиям, которые называются нравственными идеями, и дает полное одобрение только соединению всех этих идей в деятельности человека***. Поэтому нравственность представляет цельную систему отношений, систему, которая не может, однако, быть выведена из одного начала, ибо различные отношения имеют каждое свой индивидуальный характер, и различные идеи, восполняясь друг другом, не могут быть сведены к единой, отвлеченной формуле****.

Таков взгляд Гербарта на нравственные отношения. Если мы сравним его с учением шотландских философов⁵, то, несмотря на сходство выводов, мы увидим между ними существенную разницу. Герbart хорошо понимал, что нравственность невозможно вывести из опыта; на этот счет он выражается весьма категорически****. С другой стороны, он так же хорошо видел невозможность вывести постоянный закон из чисто субъективных желаний и ощущений. В нравственных суждениях требуется отсутствие всякого личного возбуждения; все субъективное должно быть устранено.

* Herbart J. F. Allgemeine praktische Philosophie. S. 21, 27.

** Ibid. S. 23.

*** Herbart J. F. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. Cap. 3. S. 147.

**** Herbart J. F. Allgemeine praktische Philosophie. Einleitung. II. S. 27.

***** Ibid. S. 30; Herbart J. F. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. S. 148.

Не только личное чувство, но и воля не может быть началом нравственности; для определения доброты воли надобно возвыситься над нею. Поэтому Герbart источником нравственного закона признает абсолютные суждения, которых элементами служат общие понятия. Самый процесс происходит в мысли* и результатом его являются идеи. Все это указывает на присутствие идеализма. Критика Канта очистила нравственность от всяких субъективных и опытных начал, и Герbart своим тонким анализом еще более подтверждает этот вывод. Но эти идеалистические определения тем яснее обнаруживают внутреннее противоречие всей теории. Собственная система Гербарта вела к отрицанию идеалистического происхождения нравственных требований. Он отверг чистое умозрение и проистекающий из него категорический императив; опыт был признан единственной точкою отправления разума, которого вся задача должна заключаться в выводе общего из частного. Для самостоятельного и безусловного значения идей тут не было места, а потому, волею или неволею, приходилось возвратиться к непосредственному чувству. Несмотря на чисто идеалистические положения, несмотря на то, что Герbart в некоторых местах прямо приписывает нравственные суждения разуму** и предостерегает от господствующего у шотландских моралистов смешения самих практических суждений с чувством этих суждений***, он все-таки источником их окончательно признает возбуждение известного чувства****. Но если так, то каким образом возможно уничтожить субъективный их характер и придать им безусловное, объективное значение? Герbart не признает, как Фрис, присущего человеку непосредственного чувства абсолютного. Он предполагает только, что за вычетом изменяющихся, субъективных элементов совершенное представление одинаковых отношений всегда должно возбуждать одинаковое чувство в представляющем существе*****. Но это значит произвольно признавать, что чувствительность всех представляющих существ в основании своем одинакова,— положение, которое не находит оправдания ни в теории, ни в опыте. Отчего же и говорят, что о вкусах спорить нельзя, если не потому, что вкусы у людей бывают разные. Во всяком случае, кроме субъективного возбуждения тут нет ничего, ибо что такое чувство, как не субъективное возбуждение? А оно-то, по теории Гербарта, должно быть устранено. Ясно, что идя этим путем, мы из субъективной сферы не выйдем, а потому постоянно будем вращаться в круге. Чтобы прийти к каким-либо объективным началам, необходимо возвыситься над непосредственным вкусом и признать общие,

Herbart J. F. Allgemeine praktische Philosophie. S. 20.

Ibid. S. 101.

Ibid. S. 211.

Herbart J. F. Psychologie als Wissenschaft. II. § 16. S. 94-97.

***** n_σ } art _p. Allgemeine praktische Philosophie. S. 27.

разумные основания для одобрительных или неодобрительных суждений.

Совершенно неверно и сопоставление нравственности с эстетикой. В искусстве, по признанию самого Гербарта, эстетическое чувство изрекает свои приговоры не над отвлеченными понятиями, а над изображениями живой действительности в конкретной форме, в звуках, в красках, в образах, носящих в себе полноту жизни и часто ускользающих от всякого определения. Произведение искусства, построенное на нравственных сентенциях, может быть весьма почтено, но в художественном отношении оно никуда не годится: явный признак глубокого различия между обоими началами. Очевидно, что если один и тот же предмет в одном отношении нравится, а в другом не нравится, то источник одобрения и неодобрения в обоих случаях должен быть разный. Стараясь втеснить нравственность в круг эстетических представлений, Герbart постоянно впадает в противоречие с собою. С одной стороны, он утверждает, что всякое эстетическое, а потому и нравственное суждение имеет чисто единый характер, ибо таковое только заключает в себе всю полноту, необходимую для совершенного представления предмета; общие же понятия, будучи чистыми отвлечениями, представляют одни обломки, не имеющие никакой цены. На этом основании он считает невозможным отдельные нравственные суждения возвести к более общим началам *. С другой стороны, он признает, что нравственные суждения относятся не к действительной воле, а лишь к отвлеченному образу воли; элементами их являются понятия, которых чистые отношения, отрешенные от всего действительного и случайного, дают нам практические идеи**. Таким образом, нравственность, в противоположность эстетике, строится на общих началах, с которыми должна сообразоваться действительность; но так как для подобных начал нет оснований в системе Гербарта, то они остаются как бы висящими на воздухе: за представляющим существом, неизвестно почему, признается способность произносить абсолютные приговоры и над самим собою, и над другими и над всякого рода предметами.

Но спрашивается далее, все ли эти суждения имеют одинаковое значение? Если все они представляют единичные выражения непосредственного чувства, если каждое из них абсолютно в своей сфере, то все они должны иметь одинаковое значение, и тогда все, что нравится, имеет одинаковое достоинство. Или мы станем различать то, что нравится более и что нравится менее, что нравится одним способом и что нравится другим? Но где мерило для подобного сравнения? Чем определяется относительная сила и достоинство внутреннего чувства, выражающегося в суждении? Нам не нравится, что человек украл или убил другого; нам не нравится и то, что он

* Ibid. S. 26, 27.

** Ibid. S. 10, 11, 29-30.

написал плохое стихотворение; наконец, нам не нравится и простая неловкость. Все это — суждения самостоятельные, объективные, постоянные; следует ли из этого, что ими одинаково определяется достоинство человека? Этого не признает и Гербарт*. Но в таком случае нельзя считать эти приговоры абсолютными; надобно определить относительную цену самих приговоров, воздвигнуть над ними нового судью, каким не может уже быть непосредственное чувство, ибо этот новый судья должен определить значение и достоинство самого чувства.

Затруднение увеличивается, если мы взглянем на то психологическое объяснение, которое дает Гербарт эстетическим приговорам. По его теории, вся душевная механика объясняется совпадением или несовпадением различных рядов представлений. Совпадая, ряды производят в нас чувство согласия или удовлетворения, которое и выражается в абсолютном приговоре: нравит ся. Напротив, несовпадение вызывает чувство неудовлетворения, которое выражается в суждении: не нравит ся. Между тем, как замечает сам Гербарт, эти чувства возбуждаются в нас не только нравственными и художественными отношениями, но и простыми занятиями, например, танцами под музыку или играми, которых вся занимательность основана на совпадении различных рядов представлений. «Этим я не хочу сказать,— продолжает он,— что все эстетическое есть только игра, как многие, по-видимому, воображают. Слово игра выражает лишь отсутствие серьезной, постоянной, необходимой цели. Но эстетическая природа даже самой игры не заключается в этом отрицании; она чисто положительного свойства и совместна точно так же с самою глубокою, строгою и свяшенною серьезностью, как и с тем устранением забот, на которое художник рассчитывает у своих слушателей» **. Но если так, то относительное достоинство игры и строгого долга, а потому и лиц, преданных тому или другому, определяется высшею, разумною целью, а отнюдь не приговорами эстетического чувства, для которого легкомысленная игра имеет одинаковое значение с исполнением священной обязанности. Яснее нельзя было сказать, что нравственные вопросы отнюдь не эстетического свойства и что не в этой области следует искать оснований для определения человеческого достоинства.

Это обнаруживается еще более при столкновении приговоров вкуса с другими представлениями. Проводя свою теорию, Гербарт ставит в этом отношении чисто эстетические требования и нравственные на одну доску. «Эстетика,— говорит он,— обрекает своих учеников на такую же борьбу, как и нравственность. Всякий раз, как неодобрение приходит в столкновение с каким-либо желанием или влечением, последнее должно быть ограничено, ибо абсолютное суждение по своей природе не может сделать уступки.

* Herbart J. F. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. S. 142.

** Herbart J. F. Psychologie als Wissenschaft. II. S. 89.

Разница состоит лишь в том, что искусство может сказать плохому поэту, что он не должен писать стихов, тогда как дурному человеку нельзя сказать, что он не должен хотеть» *. Отчего же нельзя? Очевидно, оттого, что одно для человека существенно, а другое случайно. Но именно поэтому и значение проступков совершенно разное: плохой поэт может писать сколько ему угодно дурных стихов, не теряя своего человеческого достоинства, тогда как безнравственный поступок роняет достоинство человека. А отсюда, наконец, и коренное различие требований: в одном случае есть обязанность, в другом ее нет.

Вообще столь существенное для нравственности начало обязанности плохо клеится с системою Гербарта. Смешение понятий приводит его в этом отношении к весьма колеблющимся взглядам. С одной стороны, он говорит, что нравственное суждение не может иметь характера повеления, ибо повелевает одна воля. Для того чтобы суждение превратилось в повеление, надобно, чтобы новая воля решилась ему следовать**. С другой стороны, он признает, что эстетическая критика, если она не разрушается противоречием, принимает повелительную форму: человек должен ей следовать, как скоро она отправляется от достаточных оснований***. Логические выводы из практических правил он называет мот ивами, выражающими решение ****. Он говорит о предписаниях идей*****. В сущности, по системе Гербарта, нет причины, почему бы нравственное суждение не явилось как требование воли. Между разумом и волею он не полагает существенного различия: воля не что иное, как представление, стремящееся побороть другое. Следовательно, нравственное суждение, как скоро оно приходит в столкновение с противоречащим ему влечением, непременно становится стремлением воли. Но непонятно, почему подобное стремление должно иметь преимущество перед тем, с которым оно вступает в борьбу. Суждение нравственного вкуса, говорит Герbart, абсолютно и неизменно; оно не может сделать уступки; следовательно, должно уступить противоположное ему влечение^{6*}. Между тем в действительности нравственное суждение вовсе не оказывается непреложным; нередко оно побеждается влечением. Вся механика души, по воззрению Гербарта, состоит в борьбе и сочетании разнородных представлений, причем одолевает сильнейшее. Победенному нравственному вкусу может не нравиться его поражение; но точно так же не нравится человеку поражение преобладающей склонности. Если он уступает страсти, значит, это нравится ему

* Herbart J. F. Allgemeine praktische Philosophie. Einleitung. S. 21.

** Ibid. S. 11.

Herbart J. F. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. § 88. S. 135.

Herbart J. F. Allgemeine praktische Philosophie. Einleitung. S. 114.

***** Ibid. S. 75.

^{6*} Ibid. S. 21.

более, нежели исполнение нравственного правила. В силу психологического закона сильнейшее представление всегда имеет перевес, а другого закона для него нет. Ибо никто, конечно, не остановится перед мыслью, что это может не понравиться воображаемому беспристрастному и безличному зрителю: такое соображение никогда не может сделаться мотивом человеческой деятельности. Обязанность и, во всяком случае, тут нет никакой. Поэтому когда Гербарт выставляет нравственные идеи абсолютными и неизменными руководителями человеческой жизни, то подобный вывод не только не находит основания в его системе, но противоречит всей его механике духа. Как скоро мы отправляемся от отношения частных сил, так мы последовательно должны отвергнуть нравственный закон, который одной из этих сил присваивает абсолютное значение. Чтобы объяснить этот закон, необходимо перейти в высшую область и понять разум как самостоятельный источник идей. С одним вкусом тут ничего не сделаешь.

Несостоятельность практического учения Гербарта открывается еще яснее из разбора отдельных нравственных идей. Каждая из них, как мы видели, составляет самостоятельное выражение нравственного вкуса. Поэтому все они стоят рядом, без всякой внутренней связи, но вместе с тем и без всякого внутреннего различия. Гербарт безусловно отвергает противоположение права нравственности. Право, как и все другие нравственные идеи, выражает собою не более как известное суждение вкуса об известных отношениях воли. Целый же ряд идей образуется совокупностью отношений воли, как внутренних, так и внешних. Посмотрим, как они определяются.

Первая идея касается чисто внутренних отношений; это — идея внутренней свободы. Не признавая так называемой трансцендентальной свободы воли, которая, по его мнению, противоречит механике духа, Гербарт совершенно произвольно дает это название согласию действий с суждением. Такое согласие нравится. Поэтому воля должна следовать приговору нравственного вкуса *. Но спрашивается, действительно ли нравится всякое согласие действий с суждением? Очевидно, нет: надобно, чтобы суждение было правильно. В противном случае нам более нравится противоречие. Как замечает сам Гербарт в одном месте, про человека иногда говорят, что он лучше своих правил **. Следовательно, доброта отношения зависит не от согласия двух элементов, из которых каждый, отдельно взятый, не имеет цены, как утверждает Гербарт, а единственно от доброты одного из них, именно суждения. Воля должна сообразоваться с суждением только тогда, когда оно правильно. Последовательно проводя свою мысль, Гербарт принужден буквально признать, что даже нравственное воззрение в своей со-

* Ibid. Bd I. Cap. I. S. 33-36.

** Ibid. S. 258.

вокупности само по себе не имеет цены, ибо оно составляет только один из элементов внутренней свободы, а одобрение дается единственно отношению обоих*. Но в таком случае, зачем следовать этому воззрению? И если идеи, составляющие его сущность, сами по себе цены не имеют, то это относится и к самой идее внутренней свободы. И она, вместе с другими, не что иное, как нравственное суждение, которое, будучи опять-таки лишь одним из элементов отношения, вызывает над собою новое суждение и т. д. в бесконечность. Противоречий тут не оберешься.

Еще менее удачно развитие второй идеи, которую Гербарт называет совершенством. Он выводит ее из сравнения различных стремлений воли. В сущности, тут объективного отношения нет: различные хотения не связываются внутренне, а только сопоставляются в представлении зрителя, который решает, какое из них ему более нравится. Чем же определяется это суждение? Казалось бы, что доброта, или совершенство воли, зависит прежде всего от тех целей, которые она себе полагает. Мы называем доброю ту волю, которая стремится к добру. Но Гербарт утверждает, что предмет хотения должен быть устранен из суждения, ибо иначе мы будем судить не о самой воле, а об ее предмете. Что же остается затем? Пустые стремления, которые могут быть сравнены только относительно большего или меньшего их напряжения. К этому Гербарт и сводит понятие о совершенстве: при сравнении сильнейшего стремления со слабейшим, говорит он, нам нравится сильнейшее**. Недостаточность этого определения кидается в глаза. Это все равно что если бы мы совершенство картины стали полагать в величине полотна и яркости красок. В действительности сила стремлений отнюдь не нравится нам безусловно. В женщине, например, мы нередко предпочитаем слабость, которую считаем признаком женственности. Сила дикой страсти иногда поражает нас, но она способна возбудить и отвращение. Эстетическому вкусу сила нравится, только когда она проявляется в изящной форме. Само же по себе количество не имеет ни эстетического, ни еще менее нравственного значения. Сам Гербарт в ближайшем определении совершенства принужден уклониться от чисто количественного признака: «В отдельных стремлениях,— говорит он,— нам нравится энергия, в их сумме — разнообразие, в системе — согласное действие»***. Но разнообразие составляет уже качественное определение, а согласное действие невозможно при одинаковой силе всех стремлений. Справедливо, что стремления, «взятые вместе, должны наполнять сферу понятий, на которые они указывают»; но эти понятия суть именно те цели, которые ими достигаются и которыми определяется требование большего или

* Ibid. S. 34, 109.

Ibid. Cap. 2. S. 37-40.

*** Ibid. S. 38.

меньшего их напряжения. Сильное стремление к ничтожной цели есть безобразие. Если бы, как утверждает Гербарт, совершенство человека должно было состоять в том, чтобы поднять все стремления до уровня сильнейшего, то из этого произошел бы только нравственный урод. Одним словом, отвлеченно количественный признак не дает никакого понятия о совершенстве. Во всяком случае, он не может быть поставлен в ряду нравственных идей. Это было признано даже самими последователями Гербарта. Гартенштейн⁶ прямо говорит, что величина может быть только коэффициентом при других идеях, а никак не самостоятельным началом. Это мы увидим еще далее.

Третье место занимает идея *доброй воли* (*Wohlwollen*). Гербарт и ее причисляет к внутренним отношениям воли, устраняя доброжелательные действия, которые, по его мнению, имеют цену только как последствия внутреннего расположения. Доброжелательство не что иное, как представление чужой воли с чувством расположения. Оно отличается, однако, от простого сочувствия, которое выражает лишь преходящее повторение чужого состояния, а не отношение воли, а потому нравственного значения не имеет. Наконец, доброжелательство независимо и от достоинства чужой воли, ибо сами по себе элементы отношения не имеют цены; одобряется только их связь. Доброжелательство нравится, недоброжелательство не нравится *.

Из предыдущего мы знаем уже, что мы не должны разыскивать оснований подобного приговора. Утверждается как абсолютный факт, что отвлеченное представление доброжелательства нравится независимо от достоинства чужой воли, а потому эта идея должна сделаться руководительницею человеческой жизни. Но если так, то расположение к животным должно иметь совершенно одинаковую цену с расположением к человеку; а между тем мы животных убиваем и едим, не считая это нарушением требований доброжелательства, тогда как людоедство возбуждает всеобщее отвращение. Ясно, что доброжелательство имеет различную цену, смотря по достоинству предмета, на который оно обращено. Кроме того, доброжелательство, как выражает самое слово, есть желание удовлетворения чужой воли; это признает и Гербарт**. Но нам точно так же нравится и представление об удовлетворении собственной нашей воли; почему же мы самолюбие не возводим на степень нравственной идеи? И когда мы в мысли представляем себе такое отношение двух воли, при котором является необходимость либо удовлетворить свою на счет чужой, либо чужую на счет своей, то к чему побуждает нас нравственный вкус? Что нам более понравится? На это с точки зрения вкуса, очевидно, нет возможности дать положительный ответ, ибо одному понравится

Ibid. S. 39.

Ibid. Cap. 3. S. 41-45.

одно, другому другое, смотря по тому, к чему влечет его личное чувство. Поэтому Гербарт и не пытается решить этот вопрос; он говорит только, что столкновения различных приговоров нравственного вкуса должны предупреждаться угением о нравственном благоразумии (*die sittliche Klugheitslehre*) *. Но благоразумие, как известно, действует по расчету, то есть менее всего руководится самоотвержением. Доброжелательство тут часто останется внакладе. Наконец, если мы вспомним основания метафизического учения Гербарта, то увидим, что доброжелательство совершенно с ними несовместно. Отношения различных единичных существ приводятся у него к нарушениям и самосохранениям. Всякое представление есть акт самосохранения, отрицающий происходящее от другого нарушение. Следовательно, я не могу представить себе чужую волю иначе как нарушающую мою собственную, и самое мое представление как акт самосохранения в существе своем не что иное, как стремление оттолкнуть от себя этот чуждый элемент. А из этого очевидно следует, что представление чужой воли непременно сопровождается нерасположением. Поэтому, когда Гербарт утверждает, что доброжелательство нравится, то он этим самым признает нравственный факт, который коренным образом противоречит основным началам его системы. В учении об обществе мы увидим еще более поразительные уклонения от принятых оснований.

Затем Гербарт, считая область внутренних отношений воли исчерпанною, переходит к отношениям внешним. И здесь, забывая теорию нарушений и самосохранений, он начинает с того, что приписывает человеку стремление изобразить себя или распространиться в окружающем его чувственном мире (*Darstellungstrieb*). Но так как чувственная сфера — общая всем, то может случиться, что две воли хотят присвоить себе один и тот же предмет. Из этого возникают столкновения и споры; каждая сторона отрицает стремление другой. Нравственный вкус не одобряет такого отношения: спор не нравится. Отсюда необходимость предупреждать столкновения. Это совершается посредством уступок и соглашений. Уговор может быть разный: один из спорящих может уступить вещь другому, или оба могут ее поделить между собою. Во всяком случае, тут устанавливается известное правило, которое становится законом для обоих. Это правило есть право, которое, следовательно, не что иное, как соглашение воли для предупреждения спора. Когда соглашение состоялось, нарушитель права является уже зачинщиком, а потому действие его подвергается нравственному осуждению, между тем как прежде уговора он не был связан ничем. Таким образом, идея права имеет характер чисто отрицательный и формальный; она вытекает из неодобрения спора. Содержание же ее определяется произвольным соглашением. Из этого ясно, что

естественного права вовсе нет: существует только положительное право. Нет и прав на вещи: право есть отношение лиц. Наконец, неверно и присвоение праву принудительного характера. Принуждение вытекает из других начал; право же получает свою силу от неодобрения спора нравственным вкусом *.

Такова юридическая теория Гербарта. Трудно сказать, что в ней перевешивает — недостаточность оснований или неприменимость выводов. Невозможно выставить в виде абсолютного правила, что всякий спор не нравится. Ученая полемика, политические прения, состязательный процесс представляют примеры споров, необходимых для выяснений истины и нередко привлекательных. Даже физическая борьба, при известных условиях, нравится как участвующим, так и зрителям, потому что в ней проявляется сила, ловкость, отвага. В художественных произведениях изображение спора составляет предмет эстетического наслаждения; достаточно вспомнить о героических поэмах и трагедиях. Все дело в том, о каком споре идет речь. Далее, из того, что спор не нравится, все еще не вытекает никакого юридического начала; на этом основании ничего нельзя построить. Юридическим можно назвать только тот спор, в котором происходит столкновение права. Эт от спор должен по возможности быть решен не физическою силою, а приговором, ибо иначе может произойти нарушение права. Но очевидно, что тут спор предполагает уже существование права, а не служит ему основанием. Выводить право из неодобрения спора — значит принимать внешнее последствие за начало, придавая ему притом такую всеобщность, которая лишает его всякого определенного значения.

Ясно, что из подобной посылки нельзя сделать сколько-нибудь применимых выводов. Если принять буквально, что спор, каков бы он ни был, не нравится, а потому должен быть предупрежден, то следует запретить, как нарушения права, всякую задорную полемику, судебные и политические прения и так далее, чего, конечно, Гербарт не имеет в виду. Затем спрашивается, как же предупредить или решить спор? на основании каких начал? Изречение нравственного вкуса, что спор не нравится, не заключает в себе на этот счет никаких указаний. Все предоставляется здесь полнейшему произволу. Надобно, чтобы состоялось какое-нибудь соглашение, а какое именно, это зависит чисто от воли сторон или от взаимной их силы. Гербарт последовательно признает одно лишь положительное право, отвергая право естественное. Он идет в этом отношении так далеко, что прежде установления соглашения, он не признает за человеком даже права на собственное тело. Последнее, подобно всякой другой вещи, может быть предметом чужого присвоения. Однако он тут же замечает, что естественная потребность не дозволяет нам отдавать свои члены во власть дру-

* Ibid. Bd I. Cap. 4. S. 45-52.

гого. Эта потребность указывает нам, что именно должно сделаться правом для того, чтобы могло установиться постоянное согласие воли *. Но если так, то кроме общего начала предупреждения спора мы должны принять в соображение и кое-что другое, именно те существенные требования, которые вытекают из человеческой свободы и которые составляют истинное основание права. Иначе мы должны будем сказать, что всякое положительное право одинаково хорошо. Разрешится ли столкновение справедливым разделом, или слабый из страха уступит сильному приобретенную трудом кроху, нравственное одобрение должно одинаково последовать. В обоих случаях спор решен, и в последнем есть даже более надежды на прочность соглашения, ибо со стороны слабого труднее ожидать возобновления пререканий. В сущности, для решения и предупреждения спора нет даже необходимости в соглашении; победа сильного достигает той же цели и с гораздо большим успехом. По теории Гербарта, рабство отвергается единственно на том основании, что право, идущее наперекор естественному закону, всегда подает повод к спору и возбуждает опасения беспокойного будущего **. Но в действительности рабство гораздо покойнее свободы; в нем несравненно менее поводов к столкновениям, нежели в свободных отношениях независимых лиц. Поэтому Гоббс был совершенно прав, когда он во имя всеобщей безопасности требовал, чтобы все сдали свою волю в руки одного лица. Идя последовательным путем, из начала предупреждения спора ничего нельзя вывести, кроме всеобщего рабства. О праве тут не может быть речи.

Наконец, последнее место в ряду нравственных идей занимает справедливость (Billigkeit). Отличие ее от права, по определению Гербарта, заключается в том, что право возникает из ненамеренного столкновения воли, справедливость же из намеренного действия одной воли на другую,— отличие, мимоходом сказать, совершенно произвольное и вовсе не отвечающее существу этих понятий. Начало справедливости Гербарт полагает в том, что всякое намеренное действие требует воздаяния, поэтому следующие за действиями награды и наказания считаются заслуженными. В чем же заключается основание подобного требования? Почему действие без воздаяния не нравится, а с воздаянием нравится? Сослаться на непосредственное чувство в этом случае нет возможности, ибо тут является сложное отношение, в котором надобно разьять отдельные элементы, чтобы показать их взаимную связь. Гербарт так и делает; но при этом он впадает в такие искусственные и противоречивые объяснения, которые ярко обличают всю несостоятельность его взгляда. Прежде всего, говорит он, необходимо отвлечься от всех побочных обстоятельств, как то: от внутреннего

* Ibid. Cap. 6. S. 71.

** Ibid. S. 72.

расположения лиц, от проявляющейся в действии силы: надобно рассматривать действие чисто как действие. В таком виде оно является нарушением предшествующего состояния. Как нарушение действия не нравится, и чем больше нарушение, тем менее оно нравится. Между тем неодобряющее суждение не есть сила; оно не может остановить действия. Но когда действие уже совершено, остается понятие о том, что оно должно бы быть отрицаемо. Это понятие и порождает требование обратного действия, идущего от получателя к совершителю, действия одинакового с первым качества и напряжения, но с противоположным направлением и потому превращающего первое в ничто. Это и есть воздаяние*

Нетрудно видеть несостоятельность этого объяснения. Из него прямо следует, что благодеяние не нравится как нарушающее предшествующее состояние нужды, и чем больше совершенное добро, тем более оно подвергается осуждению. Все значение благодарности и наград заключается таким образом в уничтожении оказанного добра. С другой стороны, при таком воззрении месть должна быть последовательно возведена на степень нравственной обязанности, а так как отрицающее действие должно идти в обратном направлении, от получателя к деятелю, то личная месть становится единственною приличною формою воздаяния. Между тем Гербарт не решается на подобные выводы. Изложивши свое учение о воздаянии, он тут же замечает, что вовсе нет нужды, чтобы сам получатель давал толчок обратному действию, лишь бы оно возвратилось к деятелю. Справедливость, говорит он, удовлетворена, если Бог награждает добрых или Эвмениды наказывают злых; то есть не требуется ни обратное направление действия, ни уничтожение происшедшего нарушения **. Исключение делается только для благодарности, которая непременно должна исходить от получателя***. Мало того: Гербарт утверждает далее, что благодетель обязан смотреть на свое дело как на достаточное вознаграждение, ибо иначе оказанное благодеяние может повести к неприятным отношениям между ним и облагодетельствованным; последний же, с своей стороны, не должен оскорблять доброжелательства отплатою, которая убивает благодеяние****. Что касается до возмездия за совершенное зло, то и здесь Гербарт признает, что намеренное произведение нового зла, в отплату за прежнее, отнюдь не должно быть целью для человека, ибо это — признак зложелательства. Поэтому наказание никогда не может иметь самостоятельного значения; оно является только средством для других целей *****. Оказывается, следовательно, что идея справедливости не приложима

Ibid. Cap. 5. S. 53-60.

Ibid. S. 58.

Ibid. Cap. 6. S. 61.

Ibid. S. 83.

Ibid. S. 84-85.

ни к добрым, ни к дурным делам. О противоречивости всех этих положений нечего распространяться; она ясна сама собою.

Посмотрим теперь, каким образом Гербарт прилагает свою систему практических идей к учению об обществе. И тут забывается теория нарушений и самосохранений. В противоречии с принятыми метафизическими началами, Гербарт, при самом установлении понятия об обществе, требует для него полнейшего единства. Чтобы связать людей в общественном союзе, говорит он, недостаточно обмена, основанного на взаимности потребностей и услуг, ибо при этом каждый преследует свою личную цель и смотрит на другого как на средство. Недостаточно и того более тесного сближения, которое образуется вследствие того, что человек, для избежания духовной пустоты, стремится к сообществу с другими. Истинного общения нет, пока каждый ищет чего-нибудь своего, оно усыновляется лишь там, где всеми управляет единая мысль, и все воли сливаются в одну, так что никто не выделяет своей частной воли из общей*.

Такое объединение совершается не вдруг, а постепенно, по мере развития в обществе практических идей. Оно начинается с внешних отношений и мало-помалу переходит к внутренним. Поэтому движение идей происходит здесь в обратном порядке против изложенного выше. Точкою отправления служат чисто внешние отношения права; из них образуется юридическое общество (*Rechtsgesellschaft*). Затем из идеи справедливости возникает система воздаяния (*Lohnsystem*), из идеи доброжелательства — система управления (*Verwaltungssystem*), из идеи совершенства — система культуры (*Cultursystem*); наконец, идея внутренней свободы, завершая весь процесс, делает из устроенного таким образом союза одушевленное общество (*beseelte Gesellschaft*). Рассмотрим каждую из этих сфер.

Юридическое общество Гербарт ограничивает распределением собственности, хотя начало предупреждения спора далеко этим не исчерпывается. Согласно с общими основаниями своей теории, он производит установление собственности из договора; но здесь этот договор получает особенный характер. Между тем как по идее соглашение должно состоять единственно в предоставлении спорного предмета одной из сторон тут эти отрицательные уступки превращаются в совокупное распоряжение общества, которое распределяет вещи между своими членами. Вследствие этого нарушитель договора оскорбляет не только обиженного, но и всех других **. Далее, для того чтобы это распределение имуществ не подавало повода в дальнейшем пререкании, присвоение устанавливается полное; вещи делаются собственностью лиц. При этом, однако, допускаются изъятия, в виде права пользования, прав на чужую

* Ibid. Cap. 5. S. 127-128.

** Ibid. Cap. 8. S. 78-83.

вещь и т.д. *, изъятия, которые, в сущности, противоречат требованиям права, ибо они опять-таки подают поводы к спорам. При всем том юридическое начало, будучи чисто формальным и отрицательным, оставляет неопределенными те основания, на которых происходит раздел **. Если строго держаться этого правила, то слабые, очевидно, останутся внакладе. Но Гербарт вводит сюда соображения совершенно иного рода, которые существенно видоизменяют эти отношения. Несмотря на то, что юридическое общество, по его теории, зиждется исключительно на началах права, он подчиняет его вместе с тем и требованиям других идей, которые вследствие того оказывают влияние и на распределение собственности. Таким образом, предоставление вещи другому должно рассматриваться как намеренное действие, которое в силу идеи справедливости требует воздаяния. А так как здесь уступка одинакова со стороны всех, то отсюда проистекает начало всеобщего равенства в распределении жизненных благ. Что право оставляло неопределенным, то определяется справедливостью ***. Но и на этом дело не останавливается. Справедливость, в свою очередь, должна подчиниться высшей идее доброжелательства, которое стремится к удовлетворению всех нужд, а потому требует, чтобы раздел совершался сообразно с потребностями каждого****. Такое начало последовательно ведет к коммунизму; но Гербарт не идет так далеко. Он говорит только, что полного осуществления идей можно ожидать лишь от всеобщего прилива доброжелательства, а пока этого нет, надобно довольствоваться справедливостью, за недостатком же справедливости следует держаться существующего права *****. Таким образом, собственность является выражением совершенно разнородных и противоречащих друг другу начал.

Еще большая солидарность между членами общества водворяется в системе воздаяния. Как мы уже видели выше, по теории Гербарта, никакое отдельное лицо не может взять на себя проистекающих из этой идеи обязанностей, чтобы, с одной стороны, при воздаянии за добро, не оскорбить благодетеля отплатою, а с другой стороны, при воздаянии за зло, самому не заразиться зложелательством. Между тем все понимают необходимость воздаяния; поэтому, заключает Гербарт, эта забота ложится на всех^{6*}. Такое начало очевидно ведет к полнейшему смешению частной сферы с общественною: на общество возлагается обязанность вознаграждать за все частные благодеяния. Но Гербарт и тут не решает

Ibid. S. 78-79.

Ibid. S. 81.

*** Ibid. Cap. 9. S. 89-90.

**** Ibid. Cap. 10. S. 93.

***** Ibid. S. 95.

Ibid. Cap. 9. S. 83.

сделать подобный вывод; он даже совершенно обходит этот вопрос, а распространяется единственно о затруднениях, возникающих из потребности наказания. С одной стороны, опасение зложелательства запрещает смотреть на наказание как на самостоятельную цель; оно может быть лишь орудием других идей. С другой стороны, в действительности приходится наказывать не только намеренные нарушения чужого права, но и просто опасные действия, запрещенные законом, хотя в них и не заключается намерения нанести другому вред. Наконец, самое наказание, вторгаясь в юридическую сферу лица, составляет известное нарушение права, а потому может быть поводом к спору. Для избежания последнего затруднения необходимо, по мнению Гербарта, чтобы все предварительно согласилось не смотреть на наказание как на повод к столкновениям. Общий вывод состоит в том, что наказание всегда уместно, как скоро оно требуется общим благом, и можно предполагать, что все согласилось не видеть в нем повода к спору *,— начало, очевидно, столь широкое, что под него легко подвести все что угодно. Менее всего тут может быть речи о справедливости.

Еще выше стоит система управления. Лежащая в основании ее идея доброжелательства ограничивается, как мы видели, внутренним расположением воли; но тут она неожиданно превращается в учреждения, имеющие в виду удовлетворение по возможности всех потребностей. А так как здесь приходится иметь дело с природою вещей, с естественными условиями, и притом в виду будущего, то отсюда возникает необходимость общего управления. По самому своему характеру эта система должна соотноситься с существующими обстоятельствами; общее начало, которым она руководится, состоит в распределении приобретенных благ согласно с потребностями лиц. При этом она неизменно приходит в столкновение как с правом, так и со справедливостью. Но право, эластическое по своему существу, должно подчиняться требованиям общего блага. Что же касается до справедливости, то и тут нет основания предполагать, что взаимное доброжелательство не в состоянии побудить людей предпочесть общую выгоду частной и пожертвовать требованиями равенства удовлетворению чужих потребностей. Таким образом, по крайней мере, в идее устраняются поводы к столкновениям**. Гербарт ограничивается этими общими началами, которые, последовательно проведенные, ведут, как уже замечено выше, к коммунизму. Нравственное движение сердца превращается здесь в общественную деятельность, удовлетворяющую одних на счет других, без всякого притом различия между частною сферою и общественною.

Наконец, еще в большей степени слияние лиц происходит в системе культа уры, имеющей в виду развитие сил и способностей

* Ibid. S. 84-87.

** Ibid. Cap. 10. S. 90-95.

человека. Из идеи личного совершенства вытекало требование энергии и многосторонности личных стремлений. Здесь тот же самый взгляд переносится на общество; но так как общественные силы состояются из слияния частных, то требуется такая группировка последних, которая способствовала бы этому соединению. Отсюда возникает общий порядок, который, однако, не только не соответствует началу личного совершенства, но, напротив, идет с ним прямо вразрез. Между тем как последнее ведет к равномерному развитию всех сил в отдельном лице, здесь, наоборот, необходимо, чтобы каждый член общества представлял собою преобладающее развитие какой-либо одной способности, причем все лица с однородными стремлениями должны быть связаны так, чтобы они выражали собою одну силу или одну сторону общественного быта. Потребность такой группировки Гербарт выводит из того, что наблюдающий взор может удовлетвориться лишь созерцанием общества как цельного представления; поэтому на членов обществ и возлагается задача соединиться так, чтобы они представляли собою одно целое. Лицо должно исчезать здесь перед массой, ибо всякая личная сила, как бы она ни была совершенна, кажется зрителю ничтожною в сравнении с силою общественною *.

Таково объяснение, которое дает Гербарт разделению занятий в обществе, объяснение, можно сказать, более чем неверное. В действительном обществе никогда никому не приходило в голову группироваться известным образом для удовольствия наблюдателя. Разделение занятий устанавливается вследствие практических нужд и целей, а отнюдь не в силу эстетических требований. Ложные последствия, проистекающие из смешения эстетических, нравственных и политических начал, проявляются здесь вполне.

Устроенный таким образом союз людей движется единым духом, которого никто не признает лично своим, но которого, однако, никто не считает себе чуждым. Гербарт не решается назвать это связующее начало душою; но он говорит, что общий дух может представляться как бы единою душою, живущею во всех. Это нечто большее, нежели одинаковый образ мыслей: чтобы двигать обществом как единым целым, говорит Гербарт, этот дух должен стоять выше отдельных личностей. Поэтому источник его не следует искать в желаниях и стремлениях воли, исходящих всегда от личного возбуждения. Корень его лежит там, где является только пустой образ воли, именно в глазе, созерцающем явление и вместе обсуждающем его достоинство, то есть в разуме вообще, который один и тот же во всех внутренне свободных существах. Результат же суждений разума выражается в идеях; поэтому одни идеи могут одушевлять общество. Притом все идеи в совокупности, ибо взятые в отдельности, они многое оставляют мертвым. Общественные права совокупно с системою воздаяния должны представлять

* Ibid. Cap. 11. S. 96-101.

внешний очерк порядка, который затем определяется до мельчайших подробностей заботой об управлении и о культуре. Тогда только в союзе является душа, живущая совершенною жизнью; тогда в обществе водворяется цельное мирозерцание, которым определяется и общественная совесть. Общая же покорность нравственным суждениям, осуществляя идею внутренней свободы, одинаковой для всех, уничтожает мертвую и пустую противоположность между одним лицом и другим и таким образом делает из союза одно одушевленное общество *

Итак, вместо отдельных лиц и их взаимных отношений является новый элемент, возвышающийся над лицами и связывающий их в одно целое. Этот элемент имеет свое начало не в действительном мире, а в нравственных идеях, которые, как прямо говорит Гербарт, не истекают из лиц **. Между тем как в психологии эстетические суждения производились из известного возбуждения чувства, здесь они приписываются общему разуму. Между тем как выше первым условием общения выставлялось слияние воли ***, здесь источником общественного единения является начало, отрешенное от всякой воли и представляющее лишь пустой ее образ. Между тем как в общем учении утверждалось, что идеи не имеют силы ****, здесь они становятся духом, который движет обществом, притом с устранением всякого личного произвола *****. Наконец, между тем как в развитии нравственной теории отдельные идеи выдавались за выражение самостоятельных суждений, которые никоим образом не могут быть сведены к единству^{6*}, здесь, напротив, они сливаются в общее движущее начало, представляющее для взора как бы единую душу. Одним словом, все это учение заключает в себе нескончаемую цепь противоречий. Из метафизической теории Гербарта невозможно было вывести ни нравственных начал, ни общественного единства. Приходилось или отказаться от того и другого, или восполнить недостаток новыми элементами, противоположными первым. Отсюда непрерывные колебания между противоречащими точками зрения; отсюда крайняя искусственность объяснений и чисто произвольные построения. Проводя последовательно свою метафизику, Гербарт должен был прийти к чистому индивидуализму; он мог бы на почве идеализма отстаивать права лица, и это было бы заслугой в науке. Вместо того он движется между противоположными началами, которые он не в силах примирить. Исходя в метафизике от разрозненных сущностей, отрицающих всякое общение с другими, он в учении

* Ibid. Cap. 12. S. 101-103; ср.: Cap. 7. S. 77.

** Ibid. S. 102.

*** Ibid. S. 128.

* Ibid. S. 77.

**** Ibid. S. 132.

^{6*} Ibid. S. 27.

об обществе приходит к полному поглощению личной сферы общественной. Особь исчезает перед родом, и самое различие лиц объявляется пустою и мертвою противоположностью.

Свою теорию общества Гербарт прилагает не только к государству, но и ко всякому союзу, домашнему и гражданскому. Всякий союз, говорит он, получает нравственное значение единственно от тех идей, которые он в себе осуществляет *. С другой стороны, однако, идеальному обществу противопоставляются действительные общества, которых существование определяется тою целью, которую они сами себе ставят. В одушевленном обществе цели полагаются идеями независимо от лиц; последние только подчиняются им. В обыкновенных же обществах, не достигших идеального совершенства, цель устанавливается произволом членов, вследствие чего она неизбежно является шаткою, ибо самая эта воля изменчива. Недостаточна и та опора, которую дают ей интересы, ибо в преследовании интересов каждый имеет в виду свою собственную выгоду, следовательно, общее начало исчезает. Поэтому для того чтобы человеческое общество имело прочность, необходима внешняя связь. Люди должны подчиниться власт и или устроить у себя власть. Через это общество превращается в государство, которое может быть определено как общество, охраняемое властью **.

Эта власть, говорит Гербарт, может быть только одна в пределах данной территории. Совместное существование нескольких властей ведет к столкновениям. Поэтому необходимо, чтобы все частные союзы, возникающие на известном пространстве, подчинялись единой государственной власти. Государство все их заключает в себе и всем дает защиту. И если кто спросит, какова не идеальная, а действительная цель государства, то следует отвечать, что она состоит в совокупности целей всех существующих на его территории обществ. Как самые цели, так и взаимное их подчинение определяются произволом членов. Власть присоединяется к общению единственно для защиты ***.

Итак, с этой точки зрения собственная цель государства состоит исключительно в защите частных интересов всех заключающихся в нем общественных союзов. Эти интересы определяются не им, а волею отдельных союзов; оно призвано только служить им, устраняя могущие возникнуть между ними столкновения. Если мы эту задачу сравним с принятыми Гербартом общественными идеями, то увидим, что она заключается собственно в охранении права. Но здесь дело идет не об идеях, а о фактических потребностях и отношениях. С этой точки зрения государство представляется только произведением естественного развития общественных сил. Если же мы взглянем на него как на орудие осуществления идей, то оно по-

Ibid. Cap. 7. S. 77.

Ibid. Bd II. Cap. 5. S. 128-130.

Ibid. S. 128-130.

лучает совершенно иное значение: оно является тождественным с одушевленным обществом. Тут все частные союзы должны в нем разрешиться, подчиняясь общей организации; власть же принимает в свои руки управление всеми задачами общественной жизни *.

Герbart сопоставил эти две точки зрения, идеальную и реальную, но не пытался их согласить. Отсюда два противоположных течения мысли, которые порождают противоречащие взгляды как на устройство, так и на развитие государства.

Что касается до устройства, то общественная защита требует, как мы видели, прежде всего единства власти. Это составляет характеристический признак государства. Однако Герbart присоединяет к власти и два других элемента, именно частные воли, которые, сливаясь, образуют союз, и формы или учреждения, которые определяются полагаемою обществом целью. Герbart замечает при этом, что под именем форм он разумеет учреждения, которые существовали бы в обществе и помимо государства**, следовательно, они собственно не принадлежат к последнему. Частные же воли составляют подчиненный элемент, ибо власть устанавливается именно для восполнения недостающего им постоянства. Герbart соглашается с Галлером, что в действительном государстве власть, перенесенная от народа, никогда не может быть прочна, а потому не будет настоящею властью. С точки зрения практической философии, говорит он, все равно, откуда происходит власть, лишь бы она действовала правильно. Гражданин должен повиноваться правительству, а не обсуждать его права***. Таким образом, власть, призванная служить общественным целям, восполняя доверие, по выражению Гербарта, становится в положение совершенно независимое от общества. Ее задачи полагаются не ею, а волею граждан, но охранение этих задач изъимается от действия частных волей. Противоречие тут очевидно.

Следуя этим началам, Герbart восстает и против разделения властей. На одной почве, говорит он, может быть только одна власть; это самое ясное положение во всей политике. Иначе различные власти будут бороться друг с другом, и в обществе не будет искомого обеспечения. Единство же власти не допускает и разделения. Политическая теория, основанная на этом начале, столь же искусственна и несостоятельна, как в психологии теория разделения душевных способностей. Она не может ни вывести полного разделения властей, как требуется ее задачею, ни установить между ними границ, ни определить взаимной их связи. Тут происходит разрыв, а не разделение. Ибо ясно, что одна законодательная власть, у которой отнимается всякое исполнение, вовсе не власть, так как она не действует. С своей стороны чисто исполнительная

* Ibid. S. 132.

** Ibid. S. 130.

Herbart J.F. Psychologie als Wissenschaft. II. Einleitung. S. 25-26.

власть, находясь в зависимости от чуждого ей законодателя, представляет войско без предводителя, следовательно, точно так же не составляет настоящей власти. Наконец, судья зависит и от того, кто его определяет, и от того, кто исполняет его решения. Истинная власть должна находиться нераздельно в одних руках *.

Но если власть едина, нераздельна и независима от граждан, то какое обеспечение доставляет она обществу? Сам Герbart замечает, что определение государства как общества, защищаемого властью, заключает в себе противоречие, ибо чем ограждается общество от самой власти? Если мы над этою властью установим другую, ее контролирующую, то над последнею надобно будет воздвигнуть новую власть и т. д. в бесконечность, причем противоречие будет идти увеличиваясь, ибо всякая новая власть становится сильнее предыдущей, следовательно, против нее будет менее защиты. Как же выйти из этого затруднения? Следуя общей методе восполнения противоречащих понятий, говорит Герbart, надобно искать разрешения задачи не в самой власти, а в ее от ношениях к другим элементам. Власть не может быть сдержана властью; это противоречит ее существу; но она может быть сдержана нравами и необходимостью ведения дел. Сила правителя зависит прежде всего от мнения подчиненных; повеления его исполняются, только если последние хотят повиноваться. Если они повинуются лишь повелениям, сообразным с требованиями закона, то в этом заключается сдержка."Но такой задачи нельзя возложить на непосредственных слуг правителя; слуги — простые исполнители, а тут требуется обсуждение. Иное дело — беспристрастные зрители из среды самого общества; они одним своим присутствием могут сдерживать злоупотребления власти. Крепкое общественное мнение составляет поэтому лучшую гарантию для граждан. Но такой гарантии нельзя установить по произволу; она дается жизнью, а не бумажными конституциями. Отсюда ясно, что не всякое общество способно быть ограждено от злоупотреблений. Всего менее эта цель достигается путем писанных хартий. Если общественное мнение вместо того, чтобы довольствоваться ролью наблюдателя и советника, хочет само иметь участие в правительственной власти, то неизбежным последствием этих притязаний являются слабость и внутренние раздоры. Недоверие растет, и дух целого растлевается в самом корне**.

Нельзя не заметить значительного сходства этого воззрения с учением Фриса. Но здесь, как и там, предлагаемые гарантии, в сущности, вовсе не гарантии. Отношениями к другим элементам государственной власти полагаются только нравственные, а не юридические сдержки; между тем гарантии против нарушения права

* Ibid. S. 27; Herbart J.F. Allgemeine praktische Philosophie. S. 141.

** Herbart J.F. Allgemeine praktische Philosophie. Bd II. Cap. 6. S. 142-143; Herbart J. F. Psychologie als Wissenschaft. II. Einleitung. S. 27-29.

могут заключаться единственно в правах. В действительности нравственные и юридические гарантии тесно связаны друг с другом. Там, где общественное мнение достигает такой степени зрелости, что оно способно быть и советником, и сдержкою, оно неизбежно получает влияние на самое управление делами и становится одним из элементов государственной власти.

Это признает и сам Герbart в заметке, найденной в его бумагах и напечатанной после его смерти *. Здесь государственное устройство обсуждается уже с точки зрения отношения власти к идее. Это начало принимается за основание для разделения образов правления. Где власть с идеею не совпадают, там господствует произвол; такой образ правления называется деспотизмом. Где, напротив, совпадение существует, там может быть различное устройство, смотря по тому, насколько граждане сами понимают требования идей. Если в обществе нет собственного понимания и правительство является его наставником, то власть естественно сосредоточивается в руках последнего; тут водворяется гистая монархия, или самодержавие. То же самое может дать и аристократия, хотя здесь труднее сохранить необходимое единство власти. Если же граждане сами в себе носят понимание правомерного и полезного, то они непременно будут требовать, чтобы власть с ними совещалась. Когда при этом признается, что правительство имеет, по крайней мере, столько же разума, сколько и общество, тогда сила его еще не колеблется. Таково положение конституционной монархии. Но когда доверие к правителям исчезает, правление более и более становится республиканским, причем власть неизбежно слабеет. Этот недостаток обнаруживается тем более, чем менее частные союзы, которыми держится в этом случае правительство, способны сливаться в одну общую волю. Поэтому чем обширнее территория, чем разнороднее ее части, чем разнообразнее цели частных союзов, чем менее они способны действовать сообща, чем более столкновений между партиями, тем менее шансов на сохранение республики.

Отсюда, казалось бы, следует заключить, что чем выше общественное развитие, тем более оно склоняется к республике. Однако Герbart далек от подобного вывода. Сравнивая свое разделение образов правления с тем, которое принимал Монтескье, он находит их весьма сходными и упрекает знаменитого французского публициста главным образом в том, что он начало чести, господствующее в монархии, ставил слишком низко, придавая ему значение внешнего блеска. Истинная честь, говорит Герbart, состоит в правильном разумении. Где монарх окружает себя разумнейшими людьми, там водворяется устройство, в котором власть и идея возможно близко подходят друг к другу. Изредка может быть допущено и совещание с лицами, взятыми из среды народа; это служит пробой общественного мнения, причем сохраняется и сила власти.

* Herbart J.F. Allgemeine praktische Philosophie. Anhang. III. S. 197-199.

Но ослабление власти противно как теории, так и практике, ибо самое теоретическое понятие государства через это перестает быть приложимым.

Итак, в конце концов идеальное устройство достигается не там, где высшее разумение распространено между всеми членами общества, а там, где оно сосредоточивается в правительстве. Как скоро граждане начинают считать себя понимающими дело, так является опасность ослабления власти. В своей «Практической философии» Герbart прямо изгоняет политическую свободу из идеального государства. В одушевленном обществе, говорит он, та свобода, которая состоит в предоставлении всем права участвовать своим произволом в установлении общей воли, не только не может быть дарована одним в большей, другим в меньшей степени, но она совершенно должна быть изгнана из союза, который должен руководиться единственно идеями *.

Спрашивается, кто же является непогрешимым органом идей? и где гарантии правильного разумения? Тут остается без ответа поставленный самим Герbartом вопрос: кто защитит общество от самих защитников? *Quis custodiet ipsos custodes?* Справедливо, что там, где в обществе не распространено политическое разумение, остается место только для чистой монархии; но иное дело жизненная необходимость, иное дело — идеальное устройство. И тут, как и во всем своем учении, Герbart не умел сочетать единства с различием. Его критика, направленная против теории абсолютного разделения властей, без сомнения, верна; но из нее следует только необходимость связи, а никак не отрицание какого бы то ни было распределения власти между отдельными органами.

Мы можем видеть здесь существенное различие между воззрениями Герbartа и учением Монтескье. По-видимому, теория от ношений должна была привести немецкого философа, так же как она привела французского публициста, к необходимости взаимных сдержек и ограничений между различными элементами государства. Но у Герbartа над фактическими отношениями возвышаются требования идей, которых органом является правительство, призванное осуществить идеал одушевленного общества. Как в общем нравственном учении механике духа противопоставляются чистые идеи, висящие как бы на воздухе, так и здесь частным общественным силам противопоставляется идеальная власть, получающая свое вдохновение неизвестно откуда. Оба противоположные воззрения стоят рядом, без всякой попытки не только внутреннего, но и внешнего соглашения.

Такое же неумение связывать противоположности обнаруживается и во взглядах Герbartа на внутреннее развитие государства. И здесь является двоякая точка зрения. В теоретическом отношении государственное устройство представляется произведением

* Ibid. Bd II. Cap. 5. S. 132.

взаимного отношения естественных или психологических сил. Нравственное суждение и отношение государства к идеям совершенно устраняются. Напротив, с точки зрения практической или нравственной государство является орудием осуществления идей. Гербарт не развил, впрочем, ни того, ни другого взгляда в цельную систему. Последний в особенности вовсе им не разработан. Первому же он посвятил несколько отрывков.

Общие основания этого воззрения излагаются в небольшой статье «О некоторых отношениях между психологиею и политическою наукою» («Über einige Beziehungen zwischen Psychologie und Staatswissenschaft»). Точка отправления тут чисто индивидуалистическая. «Общая жизнь,— говорит Гербарт,— не существует вне отдельных лиц; она заключается именно в том, что последние, взятые каждое особо, производят в себе вследствие взаимного возбуждения... Цельная ткань общественного быта не только состоит из тех нитей, которые ткуются особями, но она связана именно тем способом, каким эти особи связывают свои собственные мысли, настроения и решения, ибо она ими готовится, и вне их духа и чувствилищ она вовсе не существует»*. «Целое,— говорит он в другом месте,— никогда не может отречься от природы первоначальных, простых своих составных частей». Поэтому психология должна составлять, по крайней мере, часть фундамента, на котором строится политическая наука**. Взаимная борьба и слияние различных мнений и интересов в государстве, от которых зависит главным образом политическая жизнь, объясняются только учением о взаимном давлении и сочетании представлений в отдельной душе***. Как в последней слабейшие представления вытесняются сильнейшими из сознания, так и в государстве масса слабейших сил всегда остается в тени, уступая политическое поприще немногим выдающимся элементам. Поэтому никогда не может существовать чистая демократия в смысле равного всех участия в общественных делах. Государство может устранить только излишнее преобладание рождения и богатства, причем, однако, не надобно забывать, что именно эти элементы дают устойчивость общественному союзу. Они государству необходимы, как балласт для корабля. С другой стороны, слабейшие элементы могут, так же как слабейшие представления в душе, при благоприятных обстоятельствах, получить подкрепление и связь. Тогда они всплывают наружу, и государство внезапно получает новое направление. Но все это совершается только в силу естественного развития жизни. Каждое новое движение примыкает к предыдущим, обнаруживая ту почву, из которой оно возникло. Даже всякое выдающееся явление, как, например,

* Herbart J.F. Über einige Beziehungen zwischen Psychologie und Staatswissenschaft // Werke IX. S. 204.

** Ibid. S. 217.

*** Ibid. S. 206.

великий человек, получает свое значение единственно от своего отношения к общей массе. Из нее он почерпает свои мысли, и только вследствие этого он может на нее действовать. Иначе он обречен на бесплодие. Одним словом, та механика представлений, на которой зиждется жизнь души, господствует и в государстве *.

Общий закон этой механики, как и всякой системы сил, состоит в том, что силы стремятся к равновесию. Но в государстве, так же как и в отдельной душе, это равновесие никогда не может быть полным, ибо здесь постоянно являются новые возбуждения, которые изменяют прежние отношения и дают им иное направление **. Поэтому государство, так же как и душу, нельзя уподоблять физическому организму. Последний составляет нечто определенное как в своем строении, так и в своем развитии. Государство же приближается к определенности, но никогда ее не достигает. Всякое усвоение внешнего элемента изменяет здесь и самый усваивающий субъект. Отсюда возможность воспитания, которое для человека и народа имеет совершенно иное значение, нежели в приложении к растению. Государство уподобляется организму разве только в совместности, а не в последовательности отправления. В последовательном же развитии его можно сравнить не с отдельною органическою формою, а скорее с совокупностью развивающихся в природе органических форм, ибо оно никогда не организовано окончательно, а всегда только организуется. Она не есть, а становится, переходя из одной формы в другую ***.

В означенной статье Герbart ограничился этими указаниями. Но в свою «Психологию» он включил в виде примера отрывки «Статики и механики государства». Здесь представляется самый процесс взаимного давления и слияния элементов при первоначальном образовании государств. Этот процесс начинается с того, что вследствие столкновения неравных сил слабейшие теряют всякое общественное значение. Низшие классы обращаются в рабство, а высшие соединяются в свободные общины. Такова первая ступень государственного развития. Затем возгорается та же борьба между свободными лицами. В силу того же закона образуется различие между благородными и простолюдинами. Наконец, из среды благородных выдвигается один, могущественнейший из всех. Около него естественно группируются остальные, ибо каждый, стараясь возвыситься над другими, тянется к общему центру вместо того, чтобы сливаться с окружающею средою. Так устанавливается различие между князем, дворянством и народом. Дворяне стоят ближе других к князю; вследствие этого они являются естественными его соперниками. Чтобы противодействовать им, он старается придать более силы простолюдинам и привязать последних к себе. С этою

Ibid. S. 207-211.

Ibid. S. 206-207.

Ibid. S. 212-214.

целью он образует из них сословия или корпорации. Но с этим вместе является новая опасность со стороны демократии. Тогда князь начинает опираться уже на дворянство, которое также смыкается в сословие, хотя менее тесно связанное, нежели низшее, ибо здесь отдельные личности имеют более значения, нежели там. Когда же дворянство и народ, поочередно поддерживаемые князем, окрепли внутри себя, тогда княжеская власть естественно слабеет. Наконец, она может даже совершенно исчезнуть, как и было в древних республиках*.

Этот общий ход развития государственной жизни может, впрочем, видоизменяться вследствие внешних войн, которые, производя столкновения с посторонними силами, ведут к новым комбинациям. Но там, где нет постороннего вмешательства, общий закон, управляющий политическим движением, состоит в том, что неравенство, предоставленное себе, идет увеличиваясь. Ибо слабейшие элементы, при постоянном давлении, более и более лишаются значения, сильнейшие же, напротив, с уменьшением сопротивления становятся все могущественнее. Но так как с исчезновением слабейших уменьшается общая сила государства, то задача правительства заключается в том, чтобы противодействовать этому процессу. Этого нельзя сделать ни понижением сильнейших к уровню слабейших, ибо это повело бы к еще большему ослаблению государства, ни возвышением слабейших к уровню сильнейших, ибо это противоречит их природе. Остается, следовательно, связать их друг с другом, так чтобы одни держались другими, и все вместе составляли бы непрерывные ряды, подобно тому как в душе образуются ряды представлений. В устройстве этих рядов заключается все искусство государственных людей. Но, действуя в этом смысле, законодатель не должен противиться естественному движению механических сил и нарушать их непрерывность. Поток, который насильно задерживается плотиною, наконец ее уносит. Политическое искусство должно только давать водам правильное направление, не препятствуя свободному их течению**.

Этим ограничиваются набросанные Гербартом отрывки. Он имел в виду представить здесь не более как пример психологических отношений, проявляющихся в обществе. С этою целью он отвлекся от выработанных уже общественных форм, от влияния идей. Как он сам говорит, эта чисто теоретическая попытка должна была служить лишь пособием для постижения общественных отношений в первобытные времена. Но такое отвлеченное изображение воображаемого общественного развития не может иметь настоящей цены в науке. Исследовать взаимное отношение частных сил в обществе и влияние их борьбы на общественное устройство — это

* Herbart J. F. Psychologie als Wissenschaft. II. Einleitung. A. Bruchstücke der Statik des Staats.

Ibid. I. Einleitung. B. Bruchstücke der Mechanik des Staats.

мысль, которая имеет свое значение: она представляет известную сторону государственной жизни. Индивидуалистическая система Гербарта прямо вела к такому взгляду. Но провести эту мысль можно только в связи с действительною историею, причем необходимо принимать во внимание совокупность общественных элементов, как реальных, так и идеальных. К борьбе частных сил в государстве всегда присоединяется влияние идей. Действительная жизнь политических союзов складывается из этих двух элементов, и главная задача политического мыслителя заключается в постижении их взаимного отношения. Гербарт и не думает этого отвергать, но здесь, как и везде, одностороннее воззрение развивается у него отдельно, без всякой живой связи с противоположным началом. Вследствие этого оно не соответствует той действительности, которую он хочет изобразить.

Независимо от этого недостатка невозможно одобрить сопоставление общественных сил с отношением представлений в единичной душе. Элементы тут совершенно разные, а потому и отношения несходны. В собственной системе Гербарта всего Менее можно найти основание для подобного сравнения. Вся его психология строится на понятии о единстве души как неделимого существа. Из этого выводится происходящее в ней слияние представлений, причем остается только непонятым, каким образом представления, которые не что иное, как акты самосохранения простой сущности, могут производить давление друг на друга. В обществе, напротив, не видеть, в силу чего отдельные лица могут друг с другом сливаться. Где связующий их элемент? В том, что Гербарт называет одушевленным обществом, идеи являются живою связью воли. Но в политической механике нет речи ни об идеях, ни об одушевленном обществе: все ограничивается отношениями первобытных единичных сил. Понятно, что они могут друг другу противодействовать; но что заставляет их соединяться? Очевидно, что тут есть пробел, который Гербарт не в состоянии был восполнить.

Гораздо лучше то, что он говорит об отношении государства к организму. Он хорошо подметил различие между физическим организмом и общественным: первый является постоянно определенным, второй изменяется в своем развитии. Но и тут нельзя не сказать, что система Гербарта не представляет никаких данных для определения самого понятия об организме. Собственные его изречения не оставляют никакого сомнения на этот счет. Так, он предостерегает от весьма распространенного заблуждения, будто в организме целое предшествует частям. Истинная наука поймет, говорит он, что одни и те же законы механики духа, которые объясняют отношения представлений в единичной душе, делают понятными и органическую жизнь как сочетание простых сущностей, и живую силу государства как сочетания лиц *. Очевидно,

что при таком взгляде понятие об организме исчезает; все тут сводится к внешнему, механическому отношению частей. Всего менее можно согласить это воззрение с единством души. Неужели и тут отдельные акты самосохранения предшествуют существованию целого?

В результате в разобранном нами отрывке задача государственного человека полагается в том, что он должен исследовать движения частных сил и устраивать взаимные их отношения. Совсем другое мы находим в «Практической философии». Здесь политика является отраслью нравственности; задача ее состоит в осуществлении идей*. И тут Гербарт указывает на необходимость соотноситься с состоянием общества: кто прямо, во имя добродетели, касается общественного быта, говорит он, тот рискует наткнуться на народные чувства и нравы, с которыми надобно обращаться осторожно. Но с другой стороны, кто следует только общественному духу и является более органом, нежели образователем общества, тот делает дурное еще худшим, вследствие чего характер общества более и более искажается **. Гербарт не осуществил, впрочем, плана своей политики; у него встречаются на этот счет только рассеянные намеки. Отношение государства как оно есть к государству как оно должно быть *** остается у него неопределенным. Но он в нескольких чертах набрасывает картину государства в том виде, как оно представляется, когда оно становится одушевленным обществом. Здесь должны исчезнуть все частные, основанные на произволе союзы. Все частные цели должны подчиниться общим идеям. Члены общества должны отказать себе во всем, что противоречит последним, дабы общая воля не состояла только в соединении произвольных хотений, а представляла бы действительно единую душу, живущую во всех. Формы, установленные для целого и частей, должны истекать из существующих внешних условий для осуществления идей; их непоколебимость и верность в достижении цели не должны быть подвержены ни малейшему сомнению. Что касается до власти, то она должна представлять такое расчленение и такое единство, какие только возможны при данной организации общества. Действуя на частные воли, она должна руководиться идеями права и справедливости; а так как на одной почве может существовать только одна власть, то она же должна взять на себя все, что сосредоточенная сила может сделать для управления и культуры ****. Ясно, что этот, довольно, впрочем, смутный, идеал имеет мало сходства с тем, что представляют нам явления жизни. Можно спросить: существует ли на деле то, что Гербарт называет

* «Analyt. Beleucht. d. Naturr. und d. Moral» // Werke. Bd VIII. S. 362-372; Herbart J.F. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. S. 158.

Herbart J.F. Allgemeine praktische Philosophie. Bd II. Cap. 6. S. 138.

*** Ibid. Cap. 5. S. 130.

**** Ibid. S. 133.

одушевленным обществом, или это только теоретическое построение, не имеющее приложения во внешнем мире?

Отношения общественных сил и влияние идей действительно составляют две стороны жизни, которыми определяется все общественное развитие; но в философии Гербарта нет настоящих оснований ни для того, ни для другого, и всего менее для их сочетания. Здесь обнаруживается тот же коренной недостаток, которым страдает вся его система. Одаренный тонким аналитическим умом, он нередко выказывает значительную силу в разложении понятий; но синтез у него всегда крайне слабый. Как метафизик он является представителем единичных начал на почве идеализма, и в этом отношении он занимает видное место в развитии немецкой философии. Но совершенная недостаточность этих начал для объяснения нравственных и общественных явлений заставляла его восполнять их другими, а для этого у него не было данных. Крепко держась нравственных требований, он принужден был прибегнуть к выработанной шотландцами теории нравственного чувства, но эта попытка послужила единственно к тому, чтобы еще раз доказать всю несостоятельность этого воззрения. Колеблемый между противоположными стремлениями, которые он не в силах был примирить, Гербарт впадал в постоянные противоречия с собою. Поэтому, при всем старании стать на реальную почву, он мог построить только чисто искусственное здание, не имеющее никакого отношения к действительности.

<3. Гартенштейн>

В более либеральном направлении развили учение Гербарта его последователи. Замечательнейший из них — Гартенштейн, который в «Основных понятиях нравственных наук» («Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften»), изданных в 1844 г., представил цельный очерк не только нравственной, но и политической теории, основанной на началах, положенных Гербартом. Этим он восполнил существенный недостаток в системе учителя. В нравственных своих воззрениях Гартенштейн составляет мало самостоятельного. Единственное отличие его от Гербарта состоит в том, что он, как мы видели уже выше, не признает особой идеи совершенства, а потому и отдельной системы культуры. Культура, по мнению Гартенштейна, коренится в совокупности общественных идей*. За этим исключением, нравственная теория Гартенштейна составляет только повторение взглядов Гербарта. В учении же об обществе у него есть особенности, которые заслуживают внимания. Притом, вследствие большей полноты изложения, мы здесь можем яснее, нежели у самого Гербарта, раскрыть все вытекающие из этой системы последствия.

Так же как Гербарт, Гартенштейн противопоставляет фактические отношения идеальным. Идеи, являясь как нравственные требования, должны быть осуществлены в действительном мире. Возможность их осуществления определяется свойствами и условиями действительности. Поэтому прежде нежели говорить о приложении идей к человеческим обществам, надобно исследовать законы, управляющие этими обществами *. Что же мы здесь находим?

Общества, или соединения людей для общих целей, образуются первоначально из бессознательного слияния воли в силу взаимных потребностей и влечений. Но эта бессознательная связь не рождает еще понятия о единой общественной лигностии. Последнее является только там, где есть сознание совокупной воли, сознание, которое выражается в слове: мы. Это мы соответствует единичному я; в нем еще яснее проявляется истинное существо обоих понятий. Действительное я есть не более как пустое, формальное единство, вытекающее из взаимного отношения различных представлений. Следовательно, основным началом является в нем многообразие представлений; но здесь это основание затемняется кажущимся единством самосознания. Слово мы, напротив, уже по прямому своему смыслу не выражает никакого действительного единства. Реальны только отдельные лица; совокупность же их представляет лишь общую точку, в которой встречаются частные воли. Поэтому выражение мы может быть столь же разнообразно, как разнообразны цели, для которых соединяются лица. Сколько существует отдельных целей, столько может быть и отдельных обществ. Через это самое лицо разлагается на части, ибо оно различными своими сторонами может принадлежать к совершенно разнородным союзам **.

В подстрочной выноске Гартенштейн делает оговорку, что хотя и могло бы казаться, на основании изложенного выше, что мы образуется из единичных я, но такое заключение было бы неверно, ибо мы может точно так же произойти одновременно с я. «Для нравственного общения,— говорит Гартенштейн,— в высшей степени важно определить, мы ли привходит к я, или я первоначально находит себя в мы или отрывается от мы» ***.

Этою выноскою, можно сказать, опровергается все предшествующее изложение. Если мы не что иное, как пустое место, в котором встречаются единичные воли, то очевидно, что оно предполагает последние и образуется из них. Но Гартенштейн очень хорошо понимает, что в таком случае всякое нравственное требование должно исчезнуть. Поэтому он сам тут же устраняет свое собственное положение. Противоречие, лежащее в основании системы, обнаруживается здесь с полною очевидностью.

* Ibid. S. 300-303, 387.

Ibid. S. 387-391.

*** Ibid. S. 391, примеч.

И несмотря на то, Гартенштейн, развивая свою первоначальную мысль, утверждает, что действительное общество составляет исключительно из частных волей, независимо от которых оно остается пустым отвлечением. Общая воля существует только в отдельных лицах, и общий дух не что иное, как совокупное выражение для духа всех единиц, насколько они действуют согласно. А так как эти единицы не только соединяются в общих целях, но и оказывают друг другу препятствие, то в обществе, кроме слияний, являются и взаимные давления (*Nemungen*), которые ведут к столкновениям. В сочетании этих слияний и давлений состоит жизнь всякого общества. Если бы, говорит Гартенштейн, когда-нибудь удалось, под руководством психологии, раскрыть точные законы этой внутренней динамики общественных сил, то эти законы прилагались бы к шайке разбойников или к увеселительному обществу, точно так же как и к юридическому и к одушевленному обществу, ибо все эти общества отличаются друг от друга не тем, что они образуют общественную личность, а единственно своим содержанием или тою целью, которую они преследуют *.

Оказывается, следовательно, в противоречии с усвоенным автором воззрением Гербарта, что нравственная доброта общества определяется не формальным отношением элементов, а полагаемою целью. Нетрудно видеть, что целью определяется и самое отношение членов к целому, ибо это отношение будет совершенно иное, смотря по тому, состоит ли цель в личном удовлетворении членов или в осуществлении общих идей, которым лицо призвано служить. В первом случае я будет исходною точкою, а мы — восполнением, во втором случае мы будет исходною точкою, а я только орудием.

Гартенштейн признает, однако, вслед за Гербертом, что одних частных волей недостаточно для образования общества. Нужны еще два фактора, именно формы, которые определяются целью, и, наконец, власть, необходимая для того, чтобы общество имело прочность и не разрушилось вследствие изменения частных волей. Где общественный дух достаточно окреп, чтобы хотеть поддержания общественной цели помимо частного произвола, там он или признает существующую власть, или сам устанавливает таковую. Власть должна восполнить доверие, по выражению Гербарта, и заменит доверие там, где оно нарушается уклонениями частных волей от общей цели **.

Таким образом, между тем как, по признанию Гартенштейна, действительное общество состоит исключительно из частных волей, здесь мы встречаемся с двумя элементами, которые, по крайней мере, не вполне зависят от этих волей. Формы определяются целью, причем естественно возникает вопрос: зависят ли все общественные

* Ibid. S. 392-393.

** Ibid. S. 393-394.

цели исключительно от произвола членов или есть цели необходимые? Но ответа на этот вопрос мы у Гартенштейна не находим. Начало цели совершенно устраняется из области исследования: общество представляется единственно как известное отношение частных сил, а потому для нас остается неизвестным, какое значение имеют определяемые целью формы.

Еще более недоразумений возбуждает начало власти. Если общество должно иметь постоянство, говорит Гартенштейн, то власть необходима. Но зачем же общество должно иметь постоянство помимо воли членов? В силу чего власть может уничтожить уклонения частных волей от общей цели? Одним словом, на каком основании естественное и добровольное слияние волей превращается в искусственное и принудительное отношение? Заметим притом, что Гартенштейн отступает от учения Гербарта, признавая власть существенною принадлежностью всякого общества, а не одного только государства. Отсюда следует, что сколько обществ, столько должно быть и властей, и если, несмотря на то, Гартенштейн в пределах известной территории признает необходимость единой верховной власти, то это опять вывод, который не оправдывается послылками.

Таковы общественные элементы. К чему же приводит механика, вытекающая из их взаимодействия? Гартенштейн признает, что она не дает ручательства за правильное развитие общества. Если мы взглянем прежде всего на отношение частных волей, то увидим, что они соединяются настолько, насколько этого требуют их частные интересы; последние же совпадают всегда случайно и в ограниченном размере. «Только цели, которые, независимо от субъективных наклонностей и влечений, дают хотению непосредственное достоинство,— говорит Гартенштейн,— были бы способны служить общею связью для постоянно возрастающего количества лиц». Но идеи являются здесь только частными силами наряду с другими; преобладающего значения они не имеют*. Точно так же случайна и степень слияния волей. Раздробляясь на множество мелких отношений и приходя в столкновения друг с другом, они теряют внутреннюю связь. Всякая противоположность частных сил составляет потерю для общества; подавление же слабейших опаснее, что они только сдерживаются, а не исчезают и при благоприятных условиях могут произвести реакции, разрушительные для существующего порядка. К этому присоединяется и то обстоятельство, что внешние средства, возвышающие могущество общественных элементов, именно богатство и положение, распределяются также случайно, а потому часто вовсе не соответствуют внутреннему значению этих элементов. Вследствие этого естественное отношение последних искажается; в обществе являются мнимые силы, которые служат помехою правильному развитию. Наконец, всего менее можно

* Ibid. S. 394.

ожидать сохранения непрерывности союза в течение нескольких поколений. Прочность общественной связи зависит исключительно от общего сознания членов, что эта связь служит необходимым средством для достижения их целей, но именно за исполнение этого условия нет никакого ручательства при неизбежной изменчивости частных волей *.

Такие же затруднения представляют и другие элементы общества. Формы тогда только способны служить общественной связью, когда они определяются не произволом лиц, а сознанием цели и средств. Между тем при господстве частных отношений они устанавливаются вовсе *à l'aveugle* в силу этого сознания, а вследствие фактического преобладания тех или других сил; поэтому они часто вовсе не соответствуют общественным потребностям. Кроме того, формы, для того чтобы быть связующим элементом, должны иметь прочность, а потребности, с которыми они должны соотноситься, изменяются. Отсюда новый источник угнетения, раздоров и столкновений, разрешающихся обыкновенно внутреннею борьбою**.

Что же касается до власти, то охранение общественной цели против изменчивости воли требует установления единой власти на известной территории. Между тем взаимное отношение действительных общественных сил вовсе не ведет к подчинению их единому центру. Напротив, вследствие разнообразия отношений возникают различные центры власти и влияния. И если предоставленные себе, при отсутствии постороннего действия, эти силы, следуя общему механическому закону, стремятся к равновесию, а потому приходят наконец к сосредоточению власти, то в этом для общества заключается новая опасность. Сила, получившая преобладание над остальными, может иметь в виду вовсе не общественную цель, а свою частную пользу. Формы не в состоянии ее сдержать, ибо они прилагаются ею же, следовательно, сами от нее зависят. Единственную действительную сдержку представляет еще отношение к частным волям, которых противодействие может вести к падению власти, как скоро гнет становится слишком невыносимым. Но и тут все зависит от частных и случайных отношений***.

Все эти препятствия правильному развитию общества еще в большей степени относятся к государству. Так же как Герbart, Гартенштейн выводит государство из потребности защиты общественных интересов. Несмотря на то, что он власть признает принадлежностью всякого общества, он делает ее вместе с тем характеристическим признаком государства, которое он, следуя Герbartу, определяет как общество, охраняемое властью. Таким,

Ibid. S. 395-399.

Ibid. S. 400-402.

Ibid. S. 402-406.

по крайней мере, оно представляется, когда мы рассматриваем его чисто с физиологической точки зрения как произведение природы, и таким, по мнению Гартенштейна, оно является на низших ступенях своего развития. Только на высших ступенях идеи становятся господствующими в нем силами. Отсюда следует, что государство образуется отнюдь не из непосредственного слияния всех волей во имя общей цели, а из частных соединений мелких союзов, которых существование предшествует ему и которые оно призвано только охранять. В строгом смысле, государство не есть отдельное общество, а система обществ*. Но по этому самому оно стоит дальше от частных интересов, нежели другие союзы, следовательно, менее способно их связывать и заключает в себе более поводов к разложению. По природе вещей, каждый заботится прежде всего о себе самом и о том, что ближе к нему стоит. Для частных лиц требования государства обыкновенно представляются только как тяжести, а если препятствия, которые они встречают в своей деятельности, заставляют их иногда принимать участие в общем деле, то это участие все-таки является не более как видоизменением частного интереса**.

Из этого ясно, говорит Гартенштейн, что жизнь государства объясняется прежде всего отношением частных, действующих в нем сил. Неравенство их порождает различные степени общественного влияния и значения лиц. Отсюда возникают политические сословия. Сначала граждане разделяются на несвободных и свободных, на клиентов и патронов; затем свободные, в свою очередь, разделяются на простолюдинов и знатных; наконец, из аристократии естественным образом выдвигается монарх. Но хотя всякая система сил, предоставленная себе, стремится к равновесию, здесь это стремление встречает сильное противодействие — как в изменении потребностей и отношений, так и в смене поколений, в развитии знания и мыслей, одним словом, во всем, что имеет влияние на волю входящих в состав государства лиц. И если, несмотря на все многочисленные поводы к раздорам и расстройству, в государстве сохраняется постоянный порядок, то истинной причины этого явления следует искать не в подчинении различных сил друг другу и всех их единой верховной власти, а в том, что, несмотря на внутреннее противоборство сил, между ними есть еще достаточно слияния, чтобы не допустить общество разлететься в прах при малейшем дуновении ветра. Это не слияние всех со всеми, ибо частный интерес все-таки остается преобладающим началом; соединение образуется рядами, как сеть, сотканная из множества перекрещивающихся нитей. Эти же частные отношения сил служат единственной сдержкою власти. Из них же, наконец, возникают и формы, вследствие

Ibid. S. 408-410, 420.

** Ibid. S. 411.

чего государство имеет более вид собрания частных хозяйств, нежели цельного союза. Такое устройство, во всяком случае, представляется гораздо более естественным, нежели насильственная централизация, которая обыкновенно является произведением случайных обстоятельств*.

Из всего этого Гартенштейн выводит, что идеал одушевленного общества к действительной жизни неприложим, ибо никогда нельзя ожидать необходимого для исполнения этой задачи взаимного проникновения общественных элементов. Но вместе с тем нельзя и безусловно утверждать, что движение к лучшему невозможно. Остается, следовательно¹, пробовать, насколько идеи могут прилагаться. А так как осуществление идей составляет нравственное требование, то эта проба становится обязанностью для всякого нравственного существа. Таким образом, здесь возникает вопрос: насколько возможно, по крайней мере, приблизительное превращение действительного общества в нравственный союз? **

Таков результат, к которому приводит нас физиология общества, результат, как видно, ограничивающийся одним сомнением: осуществление идей, может быть, возможно, а может быть, и нет; надобно пробовать. Но если мы примем выведенные Гартенштейном механические законы, то и пробовать нечего. Из собственного его, во многих отношениях весьма меткого изложения следует, очевидно, что нравственные идеи совершенно неприложимы к действительному обществу. Все здесь основано на частных интересах, а существо нравственных идей состоит именно в подчинении частных интересов общим началам. Для последних тут нет места. Но, устранивши последовательно возможность приложения идей, мы должны вместе с тем признать, что общество, в котором господствуют одни частные отношения, не имеет в себе никакой прочности. Оно представляет не более как случайное совпадение лиц. В этом опять убеждают нас собственные доводы Гартенштейна. Там, где каждая сила тянет к себе и считает себя центром, никогда не может образоваться цельное тело, ибо разлагающее стремление преобладает над соединяющим. Недостаточность частных отношений для установления прочного общежития именно и ведет к необходимости единой, сдерживающей власти; но так как власть, в свою очередь, держится только сетью частных отношений, то здесь оказывается логический круг, в который Гартенштейн впадает вслед за Гербартом. Механическая теория сил неизбежно ведет к этому кругу. По этой теории при господстве частных отношений неравенство идет увеличиваясь, вследствие чего сила все более и более сосредоточивается; но когда система частных отношений завершается наконец единичным лицом, оказывается, что это лицо само по себе совершенно бессильно

* Ibid. S. 413-423.

** Ibid. S. 429-430.

и принуждено искать опоры в подчиненной массе. Механическое отношение само, следовательно, обнаруживает свою несостоятельность. Оно же указывает нам на господство идей. Ибо на чем основана сила общественных элементов? Очевидно, на прочности внутренней связи, то есть на соединяющих их идеях. Таким образом, разобрав доводы Гартенштейна, мы должны вместе с ним признать, что «только цели, которые, независимо от субъективных наклонностей и влечений, дают хотению непосредственное достоинство», то есть идеи, способны служить постоянной связью человеческих обществ.

В действительности никогда ни одно человеческое общество не держалось исключительно частными отношениями. Даже в тех формах, где они всего более преобладают, в так называемом гражданском обществе, эти отношения управляются правом, то есть опять же нравственной идеею. Сам Гартенштейн принужден признать, что потребность защиты, на которой зиждется власть, удовлетворяется не иначе как установлением известного правомерного порядка. Но он утверждает, что здесь право является не в виде идеи, то есть не как цель, а единственно как средство для удовлетворенья частных интересов *. Такое различие ни на чем не основано. Право все-таки остается правом, то есть идеею, которая, прилагаясь в жизни, удовлетворяет вместе с тем и частным интересам. Всего менее такое различие уместно в системе, которая понимает право только как разрешение столкновений и не признает иного права, кроме положительного. Точно так же ни одно общество не обходится без идеи воздаяния. Наконец, там, где нет еще государства, осуществляющего идею общего блага, там место его заступает религия, которая служит общественной связью. Чем менее развито государство, тем более гражданские отношения восполняются религиозными. Поэтому на низших ступенях общежития естественно господствуют теократические начала. И тут, следовательно, действительная жизнь указывает на присутствие идей, которые руководят обществом и сплочают его в одно целое.

Из всего этого ясно, что так называемая физиология общества, основанная на механическом отношении сил, не что иное, как отвлеченное представление, изображающее только одну сторону действительности. Она служит единственно к тому, чтобы доказать всю внутреннюю несостоятельность этой системы и необходимость восполнения ее другими, высшими началами. Гербарт и его последователи сами чувствуют эту необходимость. Механике сил они противопоставляют идеи. Но идеи являются у них не как жизненные начала, руководящие человеческими обществами, а как отвлеченные нравственные требования, которых осуществление остается проблематическим. Вследствие

* Ibid. S. 412.

этого общественная деятельность ставится у них в один разряд с частною нравственностью, что совершенно искажает ее характер. Нравственность составляет отвлеченно общее начало человеческой жизни, начало, которого приложение зависит от личной совести; общественные же союзы представляют живое сочетание нравственных требований с фактическими отношениями. Это — высшее единство, связывающее противоположные определения. Система Гербарта и его последователей ограничивается противоположностями; высшее единство остается ей недоступным.

Держась этой точки зрения, Гартенштейн сводит все учение об осуществлении идей к понятию о нравственных обязанностях. Вместо политической теории мы находим главу под заглавием «Общество как объект и субъект обязанности». В противоположность господствующей в действительности механике здесь является идеал одушевленного общества, которое Гартенштейн прямо называет нравственным организмом, разумея под этим такое целое, в котором части не сопоставляются только в виде внешнего сочетания, но относятся друг к другу как цель и средство. Господствующее здесь начало есть внутренняя цель, которая связывает все члены в единое тело *. Здесь требуется безусловное взаимное проникновение общественных элементов в соединении с величайшею энергиею общественной воли**. Но все это представляется только в идее. Это не факт, а задача. Как же скоро дело идет об осуществлении этой задачи, так понятие о нравственном организме теряет свою приложимость, ибо в действительности не целое предшествует частям, а части целому. Поэтому первым предметом обязанности является единичное существо. Приближение к идеалу может быть только постепенное, и вообще, ввиду изложенных выше препятствий, ожидания наши никогда не должны быть слишком высоки ***.

Таким образом, с одной стороны является неосуществимой идеал, с другой стороны — противоречащая ему действительность. В одном личное начало исчезает в общем, в другом — общее в личном. Теория не говорит нам, каким способом могут быть согласены эти противоположные элементы: все тут зависит от случайных обстоятельств, от фактического состояния общества. Во имя идей на общество возлагаются задачи, несогласные с действительною природою человека, а затем эта природа сопротивляется, как может.

Первую обязанность общества Гартенштейн полагает в устранении всех препятствий взаимному проникновению общественных элементов и в содействии свободному их движению. Всякая подавленная сила составляет потерю для общества. Поэтому оно должно избегать всяких излишних стеснений. Но с другой стороны,

Ibid. S. 290-292.

Ibid. S. 488.

Ibid. S. 433-435, 488.

оно не должно оставлять свободное поприще тем силам, которых деятельность несовместна с общественными идеями. Цена свободы определяется ее употреблением; для чистого же произвола нет места в одушевленном обществе. С людьми, которых воля в большей или меньшей степени противоречит идеям права, общего блага и т.д., общество находится в постоянной борьбе. Отсюда необходимость принуждения, необходимость, которая идет так далеко, что на практике часто не представляется иного исхода, как превращение всякого требования, исходящего от какой бы то ни было идеи, в юридическое предписание, сопровождаемое принудительными мерами *.

Ясно, что при таких правилах свобода превращается в призрак. Всякое нравственное требование становится юридическою обязанностью. Лицо поглощается обществом.

Гартенштейн признает, однако, что одного принуждения недостаточно для осуществления идей. Принуждение касается только внешних действий, но не исправляет воли. Для достижения последней цели общество должно заботиться о всеобщем и равномерном распространении нравственной культуры. Одушевленное общество через это становится системою культуры. Главными средствами для исполнения этой задачи служат наука, искусство и религия. Общество должно заботиться о них, стараясь в особенности направить науку и искусство к нравственным целям. Обязанность общества прямо и положительно вступаться в эту область тем больше, чем менее оно может надеяться на собственную деятельность лиц. Поэтому оно должно иметь в своих руках и воспитание, не только во имя идеи доброжелательства, но и в видах заботы о собственном своем достоинстве. Чем крепче внутреннее слияние общественных элементов, тем более лицо исчезает как единичное существо и тем настойчивее является требование, чтобы общество с самого начала исключительно и вполне овладело им и воспитало его по-своему. С другой стороны, однако, нельзя не признать, что нравственное воспитание всего лучше дается семейством. Общество не может заменить последнее. Поэтому оно принуждено ограничиться только частью воспитания, именно заботою о преподавании, которому оно должно, однако, сообщить воспитательный характер, так чтобы оно не зависело от выбора, но связывало бы воспитанника **.

Гартенштейн не объясняет, почему семейство в действительности имеет более нравственного влияния, нежели общество, тогда как общество, по идее, представляет высшее нравственное начало. Тут обнаруживаются последствия ложного смешения нравственности с общжитием. Гартенштейн является гораздо более последовательным, когда он говорит, что общество должно с самого рождения

* Ibid. S. 497-500.

Ibid. S. 501-511.

овладеть лицом и воспитать его по-своему. Проводя далее ту же мысль, он требует, чтобы общество не только признавало и допускало различные занятия, но чтобы оно каждому лицу назначало подобающее ему место, смотря по способностям. Против каст он восстает единственно на том основании, что здесь начало способности заменяется случайностью рождения*. Насколько, однако, все эти требования приложимы, теория сказать не может. Все здесь зависит от фактических условий данного общества **.

Система культуры дает обществу средства для достижения высших целей. Самые же цели определяются идеями права, воздаяния и доброжелательства. Осуществление их возлагается на государство, опять же не как факт, а как нравственная задача, к которой действительность может приближаться в большей или меньшей степени***. В чем состоит отличие государства от общества как системы культуры, Гартенштейн не объясняет. Исключив совершенство из числа нравственных идей, он вместе с тем принужден был выкинуть и соответствующую этой идее систему культуры из числа государственных задач. Не зная, что с нею делать, он возложил ее на общество, но из этого произошло только неопределенное отличие общества от государства. Ясной мысли тут нет.

Первую, низшую обязанность государства составляет установление права. Последнее является здесь как идея или самобытная цель, а не только как средство для охранения частных интересов. Но так как идея права, по системе Гербарта, вовсе не определяет его содержания, а требует лишь устранения столкновений, то изменение, происходящее в фактическом порядке вследствие влияния идеи, заключается единственно в том, что существующие юридические нормы превращаются в установленный государством закон****. Таким образом, все различие между фактическим состоянием и идеальным ограничивается тем, что в одном случае господствует обычай, а в другом закон, различие, которое в действительности не имеет никакого существенного значения. Обе формы могут совершенно одинаково выражать собою идею права.

Такое безразличие в содержании права ведет далее к смешению частного права с государственным. Гартенштейн видит и в этом разделении только отношение фактического состояния к идеальному. Чем более преобладает первое, тем более весь общественный быт строится по началам частного права; напротив, с перевесом второго ее юридические постановления более и более становятся определениями государственного права. Различие необходимо

Ibid. S. 515.

Ibid. S. 517-518.

Ibid. S. 518-519.

Ibid. S. 520-521.

для того, чтобы государство не производило насильственного объединения, пока оно не совершилось еще в умах; но оно исчезает по мере того, как общественные элементы проникают друг друга. При полном внутреннем объединении такое поглощение частного права государственным, по уверению Гартенштейна, не чувствуется уже как тягостная опека над отдельными лицами*. Нечего объяснять читателю, что такое смешение сфер противоречит самым коренным юридическим понятиям и ведет к полному отрицанию личного начала.

Но лишив таким образом личность существенно принадлежащей ей области деятельности, Гартенштейн взамен того уделяет ей место в государственных учреждениях. Идея права требует единства власти, но эта власть не должна быть частным достоянием облеченных ею лиц. Она является общественной должностью и должна руководиться идеей права, а не произволом. Поэтому здесь необходимы гарантии **. Неограниченная власть, говорит Гартенштейн, противоречит юридическому порядку. Будучи основано на понятии о взаимных уступках, право требует, строго говоря, согласия тех, для которых оно устанавливается. Только через это государство становится настоящим обществом, то есть внутренне объединенным порядком общения волей ***. Там, где господствует идея права, не только отношения между подданными, но и отношения власти к подданным должны быть юридические. Хотя в действительности обыкновенно признается фактически установившаяся власть, хотя историческое происхождение дает правительству особенную крепость, но в силу идеи права фактические отношения должны быть переведены в ясный и положительный закон. Поэтому на высших ступенях государственной жизни требуется установление закона, определяющего взаимные права правительства и подданных ****.

Формы, в которых проявляется участие подданных в общественной власти, могут быть, впрочем, весьма различны. Общих правил тут нет; все зависит от фактических отношений. Демократия, аристократия и монархия равно могут быть правомерны. Чистая демократия, в смысле абсолютного участия всех в правлении, конечно, немыслима. Тут всегда является множество исключений; необходимо, кроме того, подчинение меньшинства большинству. Вообще, демократия, где голоса не взвешиваются, а считаются, всего скорее ведет к атомистическому разложению общества; поэтому ее следует признать низшим образом правления. Аристократия и монархия имеют за себя и более естественное происхождение, ибо, предоставленные себе, силы

* Ibid. S. 523-524.

Ibid. S. 525-527.

*** Ibid. S. 537, 540, 521.

Ibid. S. 531-532.

естественно стремятся к сосредоточению *. Наследственная монархия в особенности имеет ту огромную выгоду, что она изъе­млет власть от притязаний честолюбия и ставит монарха выше всяких частных интересов. Она дает идее государства особенный блеск и устанавливает связь любви между правителем и подданными. В европейских обществах она имеет, сверх того, и самые глубокие исторические корни. Поэтому ее надобно держаться**. Но для того чтобы монархия была сообразна с идеею права, она должна допустить участие народа в общественной власти. Это участие не может ограничиваться присутствием спокойных зрителей, как требовал Гербарт. Общественное мнение, которое не в состоянии ни предупредить зло, ни его исправить, ни к чему не служит. Самое участие к общественным делам исчезает в гражданах там, где обществу не предоставлено законного пути для проведения своих мыслей. Единственная форма, сообразная с требованиями права, есть народное представительство. Наименьшее, что можно дать народу,— это то, чтобы никакой закон не устанавливался без его согласия ***. Затем ближайшее определение народных прав, а равно и взаимных отношений различных органов власти должно быть предоставлено жизни. Каждое государство имеет свои условия и свои особенности; пригодное одному не может быть перенесено на другое****.

Точно так же, как для законодательства требуются гарантии и для исполнения. Здесь главное обеспечение заключается в ответственности исполнителей. Но это не может относиться к монарху, над которым нет высшего судьи. Ответственность его заменяется ответственностью министров, которые берут на себя исполнение. И это начало приложимо единственно к представительному правлению*****.

Развивая таким образом идею права в приложении к обществу, Гартенштейн признает, однако, что одна эта идея не в состоянии установить сколько-нибудь сносный общественный порядок. Право требует только принятия какой бы то ни было системы для устранения спора; значение его чисто отрицательное. Всякое положительное объединение общества основано, следовательно, на других идеях. С развитием государства к системе права присоединяются системы воздаяния и доброжелательства^{6*}.

Система воздаяния имеет две стороны: отрицательную и положительную, наказания и награды. Первая требует соответствия наказаний с преступлениями. Но в этом отношении преграды, по-

Ibid. S. 533-536.

Ibid. S. 539-540.

Ibid. S. 540-543.

Ibid. S. 538-539, 547.

Ibid. S. 547-552.

Ibid. S. 553-554.

лагаемые действительностью осуществлению этой идеи, так велики, что приходится прибегать к понятию о нравственном порядке, выходящем за пределы земного бытия, чтобы найти какое-нибудь соответствие между воздаянием и виною. В жизни же система наказаний является более средством для охранения порядка, нежели самостоятельной целью. Что касается до системы наград, то она, по идее, включает в себе не только вознаграждение государственных служителей и равное распределение тяжестей между гражданами, но и определение взаимных отношений частных лиц между собою. Есть, говорит Гартенштейн, по крайней мере, возможность представить себе такой общественный порядок, в котором право предупреждает и устраняет всякие несправедливости между частными лицами и заботится о том, чтобы их взаимные услуги уравнивались. Но эта задача тесно связана с системой управления, в которую она входит как подчиненная часть *.

Система управления основана на идее доброжелательства, полное осуществление которой требует на всех пунктах общества духа любви и самоотвержения. Но если этого трудно достигнуть даже в небольших кружках, то тем менее возможно ожидать этого в государстве. Здесь более, нежели где-либо, оказывается, что общество основано не на всеобщем доброжелательстве, а на сочетании весьма разнообразных частных интересов. Ввиду этого вопрос об идеальном устройстве общества на началах доброжелательства остается совершенно праздным, и система управления принуждена ограничиться приложением идеи доброжелательства к одной государственной деятельности в противоположность частной **. Эта деятельность полагает себе целью возбуждение чувства довольства во всех, доставлением гражданам всего, что может быть предметом или средством внешнего наслаждения. Но она не ограничивается материальными благами. Избыток материальных наслаждений может даже извратить нравственный дух общества и вследствие умножения потребностей породить в нем внутреннее недовольство. Поэтому государство, рядом с попечением о материальном благосостоянии, должно воспитать в обществе дух умеренности и нравственную силу. Руководящее начало системы управления есть воспитывающая любовь, которая, направляя граждан к нравственным целям, должна, однако, избегать ненужных стеснений, всегда имея в виду, что высшая задача государства состоит в установлении внутренней гармонии свободно действующих сил. Здесь система управления указывает на систему культуры, которая одна доставляет средства для исполнения этой задачи ***.

Оказывается, следовательно, что государство не в состоянии исполнить возложенную на него обязанность. Идеи неприменимы

* Ibid. S. 554-560.

** Ibid. S. 560-561.

Ibid. S. 561-569.

к действительному обществу. Право лишено всякого положительного содержания; воздаяние указывает на будущую жизнь, а добродетельность предполагает несуществующий в людях общий дух любви и самоотвержения. Тем не менее государство должно делать, что может; но при этом оно принуждено руководиться только своими собственными практическими соображениями. Правил ему не дается никаких; границ его деятельности не полагается. Право и нравственность, частная сфера и общественная — все здесь перемешивается. В теории государство является воспитателем общества, не только в общественной жизни, но и в частных отношениях; на практике же оно повсюду встречает неодолимые преграды и само находится в полной зависимости от тех частных отношений, которые оно призвано пересоздать.

Такой результат, не дающий никаких твердых точек опоры ни для теории, ни для практики, составляет неизбежное последствие смешения личной нравственности с государственною деятельностью. Государство представляется здесь с двух противоположных сторон, но эти стороны не приведены к соглашению. Корень всех этих противоречий лежит в самых основных началах учения Гербарта. Развитие этих начал в цельную систему общественных отношений у его последователей послужило единственно к тому, чтобы еще яснее обличить их несостоятельность. Если, несмотря на то, школа Гербарта до сих пор имеет некоторый вес и значение в Германии, то в этом опять же можно видеть только признак упадка философского смысла. Воззрения этой школы смахивают на реализм; оттого она и пользуется известною популярностью.

4. Историческая школа⁷

В совершенно другой области, нежели предыдущие мыслители, вращается историческая школа немецких юристов. Она не исследует метафизических начал, а держится чисто юридической почвы. Тем не менее и на ней отразилось общее развитие немецкой философии. На различных ее представителях лежит отпечаток следовавших друг за другом систем. В общем итоге она представляет, в противоположность нравственному идеализму, одностороннее развитие юридической теории Канта в приложении к действительности. Точкою отправления для нее служат данные юридические отношения, в которых она усматривает присущий им закон развития. Ее теория, по собственному ее признанию, не что иное, как философия положительного права. В этом отношении нельзя не заметить сходства этого учения с предыдущими системами, которые мы обозначали названием индивидуалистического идеализма. Мы увидим и другие, ближайшие черты, указывающие на родственное направление этих воззрений, хотя настоящего влияния их друг на друга никогда не было. Входя в общее движение идей, историческая школа развивается самобытно, в своей специальной сфере.

<а) Гуго⁸>

Основателем исторической школы был геттингенский профессор Гуго. Он изложил свои философские взгляды в «Учебнике естественного права», имевшем много изданий *. В самом заглавии этого сочинения он называет свое учение философией положительного права. «К бесчисленным парам противоположных друг другу сил и воззрений,— говорит он,— которых совокупное действие производит что-либо в природе или в умственной сфере, принадлежат также философия и положительное право. Между тем как всякое философствование основано на исследовании, на самостоятельной мысли, на независимости от чужих предписаний, все юридическое является делом изучения и приспособления к существующему. Соединение того и другого, философия положительного права, есть разумное, основанное на понятиях познание того, что может быть правомерно, в особенности в области частного права, составляющего собственный предмет юриспруденции»**. Гуго относит философию права к этике в обширном смысле, которую он разделяет на этику в тесном смысле, или учение о нравственности, и на политику в обширном смысле. Учение о нравственности занимается внутренними помыслами, а отчасти и внешними действиями, насколько они не подлежат влиянию власти. Политика же касается именно действий, определяемых властью, причем политика в тесном смысле обращает более внимания на публичное право, а юриспруденция более на частное ***.

Способ сочетания положительного права с умозрительной философией, на котором Гуго строит свою теорию, состоит главным образом в приложении установленного Кантом различия между требованиями окончательными (*peremptorisch*) и временными (*provisorisch*). Окончательные, или идеальные, требования основаны на чистых доводах разума, независимо от каких бы то ни было существующих данных или условий; временные же требования соотнобщаются с действительным положением вещей ****. Здесь главное правило состоит в том, что надобно держаться установленных обычаев, которые имеют за себя авторитет времени и жизни. То, что признано или признавалось множеством людей, не может быть совершенно неразумно, хотя бы оно не отвечало высшим требованиям разума *****. С этой точки зрения Гуго подвергает критике все юридические учреждения, с одной стороны, разбирая их безусловную

* Hugo G. Lehrbuch des Naturrechts, als einer Philosophie des positiven Rechts, besonders des Privatrechts. Пользуюсь четвертым изданием (Berlin, 1891), составляющим вторую часть «Учебника гражданского курса» («Lehrbuch eines civilis-tischen Cursus»).

** Ibid. Einleitung. § 1.

*** Ibid. § 5.

**** Ibid. § 91 и др.

***** Ibid. §§ 37, 148 и др.

разумность, с другой стороны — объясняя историческое их происхождение и временную их необходимость.

Основанием для философской оценки явлений права служит понятие о цели. Признавая разум отличительным свойством человека, возвышающим его над животными, и принимая Кантово деление разума на способность познавательную, имеющую предмет истину, способность желательную, обращенную на свободные действия, и, наконец, рассудок (*Urtheilskraft*), соображающий цели со средствами и проявляющийся в разумном чувстве удовольствия и неудовольствия (*Lust und Unlust*), Гуго к последнему разряду, вместе с искусством, относит неположительное право *. Мы видим здесь явное совпадение с учением как Фриса, так и Гербарта. Отношение цели к средствам, говорит Гуго, определяется у человека не одними только естественными влечениями, как у животных, и не одним только опытом, но главным образом принадлежащею человеку телеологическою способностью рассудка, в силу которой он собственное свое развитие представляет себе целью природы**.

Между тем цели, полагаемые отдельными лицами, могут часто противоречить одна другой как в существе своем, так и в выборе средств. Отсюда столкновения, которые, при отсутствии высшего судьи, могут быть разрешены только силою. Но такой способ решения противоречит разуму. Следовательно, необходимо установление порядка, в котором возникающие споры разрешались бы третьим лицом. Этот порядок называется юридическим. Люди соединяются в общества под управлением власти, которой предоставляется решение споров. Подчинение юридическому порядку составляет, следовательно, требование разума***.

И тут очевидно совпадение с теориею Гербарта: право возникает из потребности устранения спора. С другой стороны, так же как чистые кантианцы, Гуго считает существенным признаком права принуждение, признавая, впрочем, что оно не ограничивается одним употреблением физической силы. Этим признаком юридические обязанности отличаются от нравственных, хотя из этого еще не следует, что первые важнее последних. Какие действия принадлежат к тому или другому разряду, на этот счет, говорит Гуго, нет никакого общего правила; все решается частными обстоятельствами. Между юридическими обязанностями и нравственными могут быть и столкновения; но власть, во всяком случае, требует от подчиненных безусловного повиновения, признавая нравственные возражения против своих предписаний только за внушения заблуждающейся совести. Иначе юридический порядок немыслим****.

* Ibid. § 63. Cp.: Kant I. Kritik der Urtheilskraft. Einleitung. S. 58.

** Hugo G. Lehrbuch des Naturrechts... § 77. Cp.: Kant I. Kritik der Urtheilskraft. Einleitung. S. 388 и след.

*** Hugo G. Lehrbuch des Naturrechts... § 78.

**** Ibid. §§ 79-84.

Вместе с Кантом Гуго считает подчинение всего человеческого рода общему юридическому порядку под управлением единой власти высшим требованием разума. Это одно может уничтожить состояние бесправия между людьми, состояние, которого неразумность ясно обнаруживается в печальных последствиях войны. Те возражения, которые делаются против всемирного государства с точки зрения различия народностей и дальности расстояний, не имеют существенного значения. Опыт показывает, что различные племена и страны, разделенные океанами, могут подчиняться единому правительству; успехи же просвещения более и более устраняют неудобство дальних расстояний. С другой стороны, однако, существование отдельных государств объясняется исторически как независимым их друг от друга возникновением, так и завоеваниями, разделами и другими событиями, которые вели к разъединению обществ. А так как народы привыкли к этому порядку и не хотят перемены, то остается признать его правомерным. То, что не может быть оправдано с точки зрения безусловных требований разума, узаконяется ввиду временной необходимости как средство против полного бесправия *.

С той же точки зрения Гуго смотрит и на устройство отдельных государств. Политические учреждения происходят или случайно, или в силу свободного решения, предоставленного одному лицу, нескольким или всем. Но каково бы ни было их происхождение, везде есть возможность заблуждения, несправедливости, нецелесообразности, и нет такого устройства, которое избегло бы этих недостатков. Их думают устранить передачею власти в руки многих, введением выборного начала, наконец, всего более системою разделения властей. Но всякое разделение власти потому уже противоречит разуму, что при разногласии может вовсе не состояться решение, когда решение нужно. В случае столкновений и борьбы необходимо, чтобы над препирающимися властями воздвигалась третья, высшая, которой принадлежало бы решение; или, по крайней мере, надобно, чтобы одна из них была настолько сильнее других, чтобы она могла заставить их тем или другим путем подчиняться ее воле. В особенности против разделения, предложенного Монтескье, можно сказать, что хотя и требуется предоставление законодательства, исполнения и суда различным органам власти, но из этого отнюдь не следует, что эти органы должны быть совершенно независимы друг от друга и не могли бы подчиняться единой, высшей власти. Вообще, каково бы ни было государственное устройство, всегда необходимо предоставление абсолютной власти какому-нибудь физическому или нравственному лицу, ибо иначе столкновения могут перейти в междоусобную войну; как же скоро существует абсолютная власть, так является возможность произвола **.

* Ibid. §§ 85-92.

** Ibid. §§ 138-143, 384.

Таким образом, нет государственного устройства, которое было бы безусловно правомерно (*peremptorisch rechtlich*); но временно правомерным может быть всякое, как бы власть в нем ни была разделена или соединена*. Закон и совесть требуют от каждого гражданина подчинения существующим учреждениям и установленной власти, хотя бы он считал другие учреждения лучшими и хотя бы он думал, что власть приобретена случайно, без законных оснований. Это требование вытекает из первых начал нравственности и права, из необходимости поддерживать правомерный порядок; ибо если бы каждый следовал собственному мнению, то водворилось бы полное бесправие. И в этом заключается единственное основание повиновения. Другие начала, на которых думают утвердить отношения власти к подчиненным, лишены всякого значения. Так, обыкновенно основывают государство на договоре и выводят повиновение из обязанности держать данное слово. Но 1) таких договоров никогда не было; все действительные учреждения возникали и изменялись другими путями. 2) Они невозможны, ибо они не содержат в себе необходимых условий всякого договора: миллионы людей, друг друга не знающих, не могут вступить в соглашение с обязательством держаться друг за друга на вечные времена, подчиняться учреждениям, о пользе которых они не в состоянии судить, и повиноваться людям, которые им большею частью совершенно неизвестны. 3) Подобные договоры не только не нужны, но даже и вредны, ибо правительства были бы слишком шатки, если бы обязанность повиновения зависела от исследования исторического происхождения их из договора. Все, что можно сказать, это то, что в основании всякого разумного общежития лежит разумная идея, именно идея договора; но юридического приложения эта идея иметь не может, и вывести из нее юридических обязанностей нельзя**. С другой стороны, столь же несостоятельно и учение Галлера, который хочет вывести государственное устройство из частных отношений и смотрит на власть как на частное право князей***. Те же начала права, на которых зиждется обязанность повиновения подданных, требуют и от князя, чтобы он имел в виду не частные свои выгоды, а общее благо и охранение правомерного порядка****.

Выводя таким образом политическое устройство из охранения права, Гуго не думает, однако, ограничивать этим цель государства. Если бы правительства существовали единственно для безопасности, говорит он, то им не следовало бы делать множества вещей, которые каждое из них делает без всякого возражения насчет

* Ibid. § 384.

** Ibid. §§ 378-382.

*** Ibid. § 383.

**** Ibid. § 378.

принадлежащего ей к тому права. Еще менее можно признать, что правительство, будучи призвано только для охранения права, не должно касаться приобретенных прав; ибо в таком случае оно не могло бы даже взимать податей *. На этом основании Гуго возлагает на государство заботу о развитии просвещения. Он дает ему безусловное право ограничивать свободу мыслей и вообще налагать на свободу всякого рода стеснения во имя общественного блага. Во всем этом оно является единственным судьей; частные суждения в общественных делах должны безусловно подчиняться решениям власти **.

В этом расширении ведомства государства нельзя не заметить некоторого противоречия с положенными в основание началами. Если правом называется то, что предписывается властью, а необходимость власти зиждется исключительно на предупреждении столкновений, то очевидно, что она не должна идти далее охранения права. Государство как союз, обнимающий всю народную жизнь и имеющий в виду общее благо, не может быть выведено из этих начал. Но здесь опыт становится вразрез с теориею, и Гуго ссылается именно на опыт в подтверждение своего взгляда.

Наконец, Гуго обсуждает и начала частного права, с одной стороны, с точки зрения безусловной разумности, с другой стороны — с точки зрения временной правомерности. Частное право представляет обособление лиц в пределах отдельных государств, так же как публичное право представляет обособление государств внутри человечества. Одно тесно связано с другим. И тут разъединение противоречит чистым требованиям разума. Как семейство, так и собственность имеют свои, присущие им недостатки, вследствие которых они никак не могут быть оправданы в чистой теории. Семейные отношения 1) связывают человека в бесчисленном множестве его действий, почти в совокупности его жизни; 2) часто идут наперекор самым сильным его наклонностям; 3) остаются постоянными, несмотря на все совершающиеся с лицами перемены. Что касается до собственности, то последствием ее является бедность одних при богатстве других; бедность же, как физически, так и нравственно, гнетет человека, а богатство нередко его развращает. Для государства такое распределение имущества, при котором у одних является избыток, а у других недостаток, составляет источник бесчисленных затруднений. И когда утверждают, что без собственности нет побуждений к труду, то это опровергается опытом, который показывает примеры деятельности на общую пользу без всякого иного вознаграждения, кроме почета. Несправедливо также мнение, будто без частного права должен установиться невыносимый деспотизм, под которым будет подавлена человеческая личность, и человек превратится

* Ibid. § 144.

** Ibid. §§ 391, 393, 402.

в чистую машину. Зависимость от общественной власти не уничтожает ни внутренней, ни внешней свободы; нередко она даже менее тягостна, нежели устанавливаемая частным правом зависимость от отдельных лиц. Скорее против семейства и собственности как юридических учреждений можно сделать то возражение, что они представляют излишние стеснения свободы, такого же рода отношения могли бы установиться и добровольно, без всякого принуждения*.

Несмотря, однако, на то, что частное право не вполне соответствует требованиям разума, легко объяснить, каким образом оно возникло и почему Оно держится. Каждый человек имеет природенное стремление как можно менее зависеть от других. Отношения, из которых образуется частное право, возникли прежде, нежели установились правительства, а когда водворились последние, люди вовсе не расположены были отказаться от прежних своих прав. С дальнейшим же развитием общества, при всяком злоупотреблении власти, казалось выгодным отнять у нее часть ее ведомства и присоединить его к частному праву. И здесь, как и везде, главный довод в пользу устанавливаемого частным правом разъединения лиц состоит в том, что люди к этому привыкли, причем оказывается и та выгода, что перемены правления и злоупотребления власти гораздо менее ощутительны, когда частное право отделено от государственного**.

Таким образом, и частное право должно быть признано не безусловно, а только временно правомерным. С этой точки зрения Гуго оправдывает самое рабство. Он ссылается прежде всего на то, что оно существовало в течение тысячелетий у самых образованных народов и мудрейшие и лучшие люди не находили в нем ничего незаконного. Из этого одного уже видно, что оно не только физически возможно, но и сообразно с разумом, а потому всякое исследование, которое утверждает противное, должно быть основано на недоразумении. Конечно, рабство нельзя признать безусловно правомерным, ибо оно не истекает ни из животной, ни из разумной, ни из общественной природы человека. Но временно правомерным оно может быть совершенно на том же основании, как и всякое другое учреждение. Если мы сравним состояние рабов с вытекающим из частной собственности положением бедных, то увидим, что выгода часто на стороне первых. Есть даже обстоятельства, при которых рабство как временное право лучше свободы, именно, когда оно входит как составная часть в положительное право известного народа. В таком случае разум предписывает нам мало-помалу смягчать его суровость, но не уничтожать его разом***.

Ibid. §§ 93-108.

Ibid. §§ 110-112.

Ibid. §§ 189-195.

Итак, в результате раздельность лиц, на которой основано положительное право, противоречит высшим требованиям разума, но получает временную правомерность вследствие естественного развития человеческих отношений. Гуго не объясняет, в силу чего устанавливаются подобные отношения и каким образом привычка может сделать разумным то, что само по себе неразумно. Недостаточность его теории, в которой, с одной стороны, являются идеальные требования, несогласные с человеческою природою, а с другой стороны, противоречащий этим требованиям опыт, обнаруживается на каждом шагу. Самые основания ее крайне односторонни. В сущности, вся его философия положительного права сводится к необходимости подчиняться каким бы то ни было предписаниям власти, ибо ей одной принадлежит верховное решение насчет того, что должно считаться правомерным или неправомерным. Между тем сам Гуго не считает издаваемый правительством закон единственным источником положительного права. Напротив, он прямо восстает против подобного ограничения, утверждая, что обычай и юриспруденция точно так же могут быть источниками права, как и закон. За это говорит как естественная история развития всякого положительного права, так и пример всех образованных народов, наконец, даже невозможность все определить положительным законом и большее вероятно, что добровольно принятое народом право будет удобно и приложимо *. Но если так, то исходящее от власти предписание не составляет существенного признака права. Ясно, что и с этой стороны теория Гуго нуждалась в дальнейшем развитии. Она получила его у другого знаменитого представителя исторической школы, у Савиньи⁹, который понял положительное право не как предписание власти, а как органическое произведение народной жизни.

Поводом к развитию этого взгляда был вопрос о необходимости общего гражданского кодекса для Германии. Этот вопрос был возбужден известным юристом Тибо¹⁰ (Thibaut), в брошюре, изданной в 1814 г. ** После освобождения от французского владычества в Германии пробудилось сильное стремление к национальному объединению. Тибо в своем сочинении высказывался против политического единства, но требовал общих гражданских законов для всего союза. «Состояние больших государств,— говорит он,— всегда представляет вид неестественного напряжения или истощения. Живая жизнь, сосредоточенная в одном пункте, однообразное стремление к единой цели, постоянное подавление индивидуального и разнообразного ввиду единого общего дела, и в основании всего — отсутствие истинно тесной связи между правителем и подданными! Вот что мы здесь видим. В союзе мелких государств,

* Ibid. § 153.

** Thibaut J. Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland. <Heidelberg, 1814>.

напротив, особенность каждого получает полный простор, разнообразие может вырабатываться до бесконечности, и связь между народом и правителем гораздо теснее и живее. Не следует притом давать слишком большое значение тому, что большие единичные государства поднимают воинственный дух граждан. Там, где маленький народ был нравственно воспитан, состоял под мудрым управлением и получил привязанность к своим учреждениям, он всегда особенно отличался воинственною доблестью и силою, так что перевес больших государств заключался единственно в численном превосходстве войска. Кроме того, немцы не должны забывать, до какой степени это раздробление приспособлено к их характеру, по крайней мере в том виде, как он выработался доселе. Везде мы видим противоборствующие элементы, которые, будучи насильственно связаны, могут друг друга уничтожить, но которые, поставленные рядом, при взаимном соревновании будут подвигать друг друга на высшие задачи, пробуждая и питая бесконечное разнообразие и особенности. С этим богатством разнообразия немцы всегда сохраняют видное место среди народов, между тем как все у них легко могло бы упасть до самого пошлого и тупого уровня, если бы всемогущей руке единого лица удалось склонить германские народы к полному политическому единению» *.

С другой стороны, однако, Тибо не считал возможным возвращение к старому порядку, в котором каждое маленькое государство организовалось особо, как будто оно ничем не было связано с целым. Если не желательно политическое единство, то возможно объединение гражданское и духовное. Настоящие гражданские законы германских государств представляют хаос безобразных и не связанных между собою постановлений, в основании которых лежит чуждое немецкому духу римское право. Вместо этого Тибо предлагал составить общий германский кодекс, призвав к содействию все лучшие силы страны **.

<P> Савины>

Против этого предложения восстал Савиньи в ответной брошюре, изданной также в 1814 г. под заглавием «О призвании нашего времени к законодательству и правоведению» («Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft»). Он утверждал, что нельзя по произволу составить общий гражданский кодекс; на это нужны особенные условия. Право, подобно языку, правам и политическим учреждениям, есть органическое проявление народной жизни. Все эти области связаны между собою и вытекают из единого народного духа, развиваясь органически, вместе с самою жизнью. Первоначально право является в виде обычаев, которые

Ibid. 3 Ausg. (1840). S. 2-9.

Ibid. S. 5-8, 17 и др.

внешним образом выражаются в символических действиях; затем, с дальнейшим развитием, с разделением труда и осложнением отношений, то, что лежало в общем сознании, становится предметом деятельности особого сословия юристов. Право получает через это научную обработку; но корень его остается тот же, и развитие его не подлежит произвольному ускорению или замедлению *.

Пример такого чисто органического развития представляет римское право, которое поэтому отличается особенною стройностью. В нем все новое является продолжением старого, и все старое уступает место новому, по мере того, как оно вымирает в народной жизни. Корни этого развития лежат в республиканском периоде, который характеризуется живым и свободным движением элементов. В императорское время развитие политических учреждений замирает, но в гражданской области сохраняется еще прежний дух, вследствие чего и возможно было составление стройного гражданского кодекса **. У новых народов мы не видим такого органического развития жизни. Вследствие завоеваний германских племен различные народности перемешались, а впоследствии государственная жизнь подвергалась переворотам, которые прерывали последовательность внутреннего движения. В Германии преобладающее развитие получило местное право; сознание же единства сохранялось только в римском праве, равно усвоенном всеми. И это гораздо лучше, нежели искусственное подавление местных прав во имя общего права. Во всяком организме целое и части должны находиться в стройном соотношении, и ни один из этих элементов не должен быть принесен в жертву другому***.

При таких исторических условиях, заключает Савиньи, составление общего гражданского кодекса в настоящее время представляется совершенно неуместным. Объединения в юридической жизни Германии можно ожидать только от общего развития юриспруденции, а не от законодательных работ. Наше время менее всего способно к такой кодификации. Теперь едва только зарождается необходимый для этого исторический дух, состоящий, с одной стороны, в постижении особенности каждого времени и места, с другой стороны — в исследовании исторического происхождения и развития каждого учреждения. Настоящая юриспруденция представляет хаос разноречащих мнений, а не органическую науку, которая одна была бы в состоянии выработать стройное уложение ****.

Савиньи ограничился этими мыслями, в которых влияние органического воззрения Шеллинга очевидно. Занятый исключительно

Savigny F. K. Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. <Heidelberg>, 1814. S. 8-12.

** Ibid. S. 29-34.

*** Ibid. S. 37-44.

**** Ibid. S. 45-53, 117, 161.

римским правом, он не выработал цельного теоретического учения. Завершение теории исторической школы принадлежит ученику его Пухта¹¹, который своему курсу римских институций¹² предпослал энциклопедическое изложение оснований права *.

<у) Пухт а>

Так же как и его предшественники, Пухта отвергает различие естественного права и положительного. Естественное право как чистое порождение философии представляет только фантастический идеал без действительности. Истинная задача философии заключается не в этих умозрительных выводах, а в исследовании связи права с остальными частями мирового организма и происхождения его в человеке. Такое исследование выходит из пределов частной науки. Поэтому юриспруденция получает от философии готовое уже понятие о праве, которое составляет для нее исходную точку**.

Философия доказывает, что источник права есть человеческая свобода. В человеке соединяются два элемента: как физическое существо он составляет часть природы и подлежит закону необходимости; как духовное существо он одарен свободой, то есть способностью самоопределения или выбора. Связью между обоими элементами служит разум, или способность познавать необходимое. Свобода и разум составляют, таким образом, два различных начала: первое — высшее, второе — низшее; первое включает в себе возможность зла, второе исключает зло, ибо злое есть неразумное. Следовательно, если право вытекает из свободы, то оно не может быть произведением разума. С другой стороны, однако, свобода не может быть неразумна, ибо она проявляется во внешнем мире, который подчиняется закону необходимости. Но разум составляет для нее только внешнюю границу, а не внутреннее определение. Содержание свое свобода получает не из внешнего мира, а из высшего начала, из воли Божьей. Истинная свобода состоит в подчинении воле Божьей. Но это подчинение должно быть свободное; поэтому здесь лежит и возможность отклонения от истинного пути, то есть возможность зла. Человеческая свобода состоит в выборе между добром и злом ***.

Из этих положений можно бы заключить, что Пухта примыкает к нравственно-религиозной школе; но все эти начала, определяющие содержание свободы, он относит не к праву, а исключительно к нравственности. Право же имеет в виду совсем другое. В противоположность нравственности, оно рассматривает

Puchta G. F. Kursus der Institutionen. 1 Band, Erstes Buch: Encyclopadie. Пользуясь пятым изданием 1856 г.

Ibid. Cap. 5. § 32.

Ibid. Cap. 1. §§ 1-3.

свободу не со стороны содержания действия, а как чистую способность или возможность. Хорош человек или дурен, он одинаково является субъектом права. С этой точки зрения все люди равны. Содержание же эта способность получает из отношения человека к внешнему миру: внешние предметы подчиняются человеческой воле. И тут опять для права все равно, согласно ли употребление этой власти с нравственными требованиями или нет: действие вполне правомерное может быть безнравственным. Однако через это право не становится в противоречие с нравственностью. Столкновения между ними устраняются тем, что области их различны: право имеет дело с одними внешними действиями, нравственность — с одними внутренними побуждениями. Поэтому присвоение жизненных благ не касается нравственности, которая имеет совершенно иные задачи *.

Оказывается, следовательно, что содержание свободы двоякое: внутреннее и внешнее, духовное и материальное. Положив в основание односторонние начала нравственной школы, Пухта, переходя к юридическому учению, становится на совершенно иную точку зрения, противоречащую первой. Как юрист он принужден был отмежевать для права особую область, на которую нравственные начала не имеют влияния. На этой почве он и держится; нравственная его теория остается неудачным введением, которое не имеет у него дальнейшего приложения. Хотя он, вместе с нравственною школою, видит в праве Богом установленный порядок человеческих отношений, но так как естественным путем этот порядок осуществляется посредством человеческой воли, то он признает, что юрист, которому нет дела до откровения, должен рассматривать его чисто как произведение человека **.

Итак, право, по определению Пухта, есть признание свободы, выражающейся в человеческой личности и в воле человека, направленной на внешние предметы. В этом признании является двоякий элемент, откуда проистекает двоякое значение права. С одной стороны, оно является выражением личной воли и как таковое присваивается лицу. С другой стороны, как признание личного права оно выражает собою общую волю и порядок, господствующий над лицами. Первое обыкновенно, хотя и не совсем точно, называется правом в субъективном смысле, второе — правом в объективном смысле***. Последним определяются как права лиц, так и взаимные их юридические отношения. Права служат основанием всей системы; юридические отношения представляют только разнообразные сочетания прав. Во всем этом проходит одно общее начало, начало личности, на котором строится все право ****.

* Ibid. §§ 4, 5, 7.

** Ibid. Cap. 2. § 10. S. 23-24.

*** Ibid. Cap. 1. § 6.

**** Ibid. § 6. S. 13; § 21. S. 53; § 27. S. 77.

Но лицо, само по себе взятое, имеет стремление к бесконечному обособлению и неравенству. Предоставленные себе отдельные лица уничтожили бы друг друга. Поэтому необходимо общее, связующее их начало, которое полагало бы пределы присущему человеку желанию подчинить себе все окружающее. Такою связью служит, с одной стороны, любовь, соединяющая людей в более или менее обширные общества, с другой стороны — объективное сознание права, которое бесконечное неравенство частных определений подводит под общее, равное для всех начало личности *.

Это стремление права к уравниванию лиц не уничтожает, однако, разнообразия отношений. Право не отрицает фактического неравенства, а только подчиняет его высшему началу. Равная для всех юридическая личность составляет форму, которая наполняется бесконечно разнообразным содержанием. С одной стороны, самые лица, смотря по различному своему положению, как члены того или другого союза получают различную правоспособность; с другой стороны, при равной правоспособности осуществление прав разнообразится до бесконечности вследствие различной деятельности человека и различия условий, которыми он окружен. Таким образом, холодная и неподвижная форма прикрывает и охраняет неисчерпаемое богатство и разнообразие жизни. Право представляет собою живое, органическое начало, которое заключает в себе стремления двоякого рода: с одной стороны, к уравниванию лиц, к подчинению разнообразия отношений общему, равному для всех свойству человеческой личности, с другой стороны, к охранению личных особенностей каждого и бесконечного разнообразия отношений, которым в пределах общего начала предоставляется должный простор **. Право есть равенство, сопряженное с неравенством***.

Этою двоякою задачею определяется развитие права в истории человечества. Сознание права присуще человеку с самых первых времен его существования. Но пока люди живут еще семьями, оно является весьма смутным. В семействе связь любви заслоняет собою юридические отношения. Только с появлением народов на историческом поприще юридическое начало выступает на первый план. Народ представляет собою естественное соединение людей, связанных общим происхождением, языком, местопребыванием. И между членами народа устанавливается союз любви; но он относится не к отдельным лицам, а к общему отечеству. Лица же связываются взаимным признанием прав, вследствие чего юридическое сознание становится господствующим в народе. Так же как язык и нравы, оно вытекает из народного духа и является выражением его особенностей. Вместе с тем оно получает и свой

* Ibid. § 8.

** Ibid. § 8.9.

*** Ibid. § 15. S. 36.

самостоятельный орган. Воля народная, выражающаяся в праве, должна быть осуществлена на деле; право должно быть ограждено от нарушения: поэтому оно нуждается в особом органе. Таким является правительство; народ образует из себя государство. Та же самая сила, которая порождает право, производит и государство, без которого право осталось бы без приложения *.

Отсюда ясно отношение между народом и государством. Народность есть основа, на которой зиждется политическое тело; она составляет душу или жизнь, проникающую государственный организм. Поэтому соединение нескольких народностей в одно государство противоречит природе вещей. Оно возможно только там, где преобладающая народность довольно сильна, чтобы превратить в себя остальные; иначе союз может держаться только внешним образом, посредством насилия или обмана. Точно так же неестественно и распадение единой народности на совершенно независимые друга от друга государства. С народным единством совместно лишь такое союзное устройство, в котором относительная самостоятельность частей сочетается со связью целого. Где этой связи нет, должно произойти одно из двух: или народное сознание затмится, или возникнет государственное единство. Несмотря, однако, на это тесное отношение народности к государству, они существенно отличаются друг от друга. Политический союз не представляет естественного соединения людей, как народ. Так же как право, он зиждется на человеческой воле. В первоначальном своем источнике и право, и государство истекают из божественной воли. Государство — не человеческое изобретение, а порядок, установленный самим Творцом для человеческих обществ, вследствие чего и власть считается исходящею от Бога. Но осуществление этого порядка предоставлено человеческой свободе: не свободе отдельных лиц, как думали прежние публицисты, а свободной воле народа. Народная воля как выражение народного духа составляет истинный источник государства и его учреждений.

Этот теорию, говорит Пухта, устраняются, с одной стороны, воззрения философов XVIII века, которые производили государство из договора отдельных лиц, с другой стороны, новейшие учения, которые видят в государстве органическое произведение природы, образующееся помимо человеческой воли. Обе эти теории равно односторонни; истина каждой лежит только в отрицании другой **.

Из сказанного понятно и отношение права к государству. Право не устанавливается государством, а напротив, предполагается им. Оно исходит не от правительства, как думают некоторые, и не из воли народа как составной части государства, а из воли народа

* Ibid. § 9; 2 Cap. § 11.

** Ibid. Cap. 2. § 11.

как естественного союза; государство же, истекая из того же источника, составляет необходимое его восполнение *.

Отсюда ясно, что первоначальная форма права есть обычай, вытекающий из народного сознания. Правительство призвано применять его к жизни. Но так как с движением жизни и с осложнением отношений обычай может сделаться шатким или неясным, то является необходимость выразить его в твердой форме: надобно определить, чего именно требует общая воля. Эти определения исходят от правительства, которое через это становится органом права в новой его форме, в форме законодательства. Закон не должен противоречить общей воле; но так как правительство есть законный орган этой воли, то им изданный закон должен считаться ее выражением, а потому требует повиновения. Наконец, с дальнейшим развитием жизни сознание права становится достоянием особого сословия юристов. Им принадлежит и изучение права в систематическом порядке, в органической связи всех его частей между собою. При этом обнаруживаются такие юридические положения, которые хотя и лежали в глубине народного духа, но не были ясно высказаны ни общим сознанием, ни законом: они высказываются юриспруденцией. Таким образом, право юристов становится третьим и последним источников права **.

Эта органическая природа права выражается не только во взаимной связи его частей, но также и в последовательном его развитии. Там, где означенные источники права сохраняют свободное движение и находятся в правильном отношении друг к другу, право развивается органически, как и самая народная жизнь. Внешняя сторона этого движения состоит в переходе от простоты к сложности. К этому присоединяется большее и большее обобщение начал, ибо сущность исторического развития народов заключается в том, что народная особенность раскрывается к восприятию общечеловеческих элементов. Наконец, каждый исторический народ призван занять известное место и исполнить известную задачу в общем историческом движении человечества. К этой цели он идет через различные ступени развития, которые проходит в нем и право***.

Так же как право, развивается и государство. Первоначально оно образуется из семьи, а потому первое его устройство носит на себе патриархальный характер. Глава старейшего рода является главою государства. С затемнением этой связи, или с распадением старшего рода, это патриархально-монархическое устройство превращается в аристократически-республиканское. Если старшие роды умеют сдерживать свои притязания и подчиняются единому главе, то некоторое время сохраняется еще монархическая форма. Но рано или поздно между обоими элементами власти возгорается

* Ibid. § 11. S. 29.

** Ibid. §§ 12-15.

*** Ibid. § 19.

борьба, которая кончается торжеством аристократии. Тогда ярче обозначается расстояние между властвующим сословием и остальными гражданами. Между теми и другими, в свою очередь, возгорается борьба, которая ведет или к смешанному устройству, или к победе демократии. Последняя, наконец, вследствие внутреннего неустройства либо передает государство в руки иноземного победителя, либо открывает путь единовластия, в лице тирана насильно захватывающего правление*.

Таково было историческое движение древних государств. Новое время отличается тем, что в нем преобладает монархическое начало, без примеси патриархальных элементов и без тиранического происхождения. Выгода этого образа правления заключается в том, что здесь устраняется вопрос о субъекте власти и является гораздо более важный вопрос об ее устройстве и способе действия. Существо монархии состоит в том, что общественная власть является здесь правом, присвоенным известному лицу. Она основана на взаимном признании правителя и подданных как общественных лиц или на взаимной верности. Но формы, в которых выражается это начало, могут быть различны. В феодальном мире оно являлось под покровом частного права и соединялось с отношениями собственности. Для современного человечества эта форма стала уже недостаточною. Настоящая задача государственной жизни состоит в установлении чисто политического отношения между князем и народом с устранением всяких патриархальных и частных элементов. С одной стороны, власть монарха должна рассматриваться не как собственность, а как общественная должность, с другой стороны, права граждан должны быть присвоены им не как отдельным, частным лицам, а как членам единого целого. Поэтому всего важнее сохранение в них общественного духа, который один может воздерживать стремление их к обособлению. Лучшим для этого средством служат корпорации, которые, соединяя граждан в мелкие союзы, приучают их к общественной жизни **. И в устройстве корпораций следует избегать двоякой опасности: с одной стороны, излишней самостоятельности, которая ведет к разложению государства, с другой стороны — подавлению всякой самостоятельности, которое ослабляет целое, убивая в нем разнообразие жизни. Первого рода опасность угрожала государству в прежнее время, вторая угрожает ему в настоящем ***.

В качестве относительно самостоятельных союзов корпорациям принадлежит независимое от государства развитие права, или автономия. Она выражается в обычаях и статутах, которые, однако, должны держаться в пределах государственного закона ****. Еще

* Ibid. Cap. 3. § 25. S. 62-64.

** Ibid. § 25. S. 64-67.

*** Ibid. Cap. 2. § 14. S. 34.

Ibid.

большая законодательная независимость принадлежит церкви, которая составляет совершенно отдельный от государств союз, имеющий свое особое происхождение, свою самостоятельную область и облекающийся также в формы права. Церковным законодательством определяются устройство и деятельность органов церкви и права ее членов. Государство же призвано охранять этот юридический порядок, взамен чего оно получает от церкви воспитание граждан в духе повиновения закону и верности власти *.

Таким образом, развитие права не ограничивается одним политическим союзом. А с другой стороны, задача государства не исчерпывается охранением права. Крепость юридического порядка зависит от народного сознания. Без этого бессильны суд и наказания. Следовательно, правительство должно поддерживать в народе этот дух посредством воспитания. Кроме того, оно обязано заботиться и о материальном благосостоянии граждан, не только потому, что последнее служит некоторою гарантией против нарушения права, но и ввиду умножения государственных средств, от которых зависит самое существование политического тела. Это попечение о материальных и духовных интересах народа называется полицейскою деятельностью государства. Она простирается не только на устранение препятствий, но и на положительное содействие общественным целям, хотя трудно сказать, где лежат границы этой деятельности. Излишнее попущение может быть также вредно, как и излишнее вмешательство. Гарантией против последнего зла может служить требование, чтобы правительство всегда имело в виду свою настоящую задачу, охранение права, а в остальном видело только средство косвенным путем идти к той же цели. Напротив, при таком взгляде на государство, по которому оно заключает в себе все земное назначение человека, взгляду, разделяемому многими политиками, деятельность правительства не имела бы иной границы, кроме самой невозможности исполнить эту задачу. Человек в этой системе является членом государства всеми сторонами своего существа. Но в этом именно и заключается фактическое опровержение этой теории, от которой народное чувство отвращается самым решительным образом **.

Итак, в конце концов, государство все-таки является только средством для охранения права. Высшее значение политического союза как органического единства народной жизни не было понято историческою школою. Держась чисто юридической почвы, она осталась верна своим началам. Если мы захотим общими чертами характеризовать ее учение, мы должны сказать, что это — Кантова теория права, видоизмененная органическим воззрением Шеллинга. Мы замечаем, особенно у Пухта, некоторую примесь посторонних начал, а иногда и непоследовательность мысли.

* Ibid. § 14. S. 35; § 25. S. 74; § 26.

** Ibid. Cap. 3. § 25. S. 71-73.

Вообще, историческая школа немецких юристов не отличалась глубиной философского понимания; но, специально изучая право-ведение, она заимствовала у философии то, что соответствовало ее предмету. В существе своем ее воззрение совершенно верно. Право как проявление и признание личной свободы, историческое сознание права как выражение особенностей народного духа — эти начала должны остаться в науке; они составляют прочное ее достояние. Но только в чисто юридической области они вполне применимы. Право по своему происхождению и характеру — начало индивидуалистическое; поэтому им одним не объясняется государственный быт. Сильная в исследовании частного права, где она была на своей почве, историческая школа оказывается слабою в развитии политических понятий. Тем не менее и здесь историческое воззрение имеет существенное значение. Право составляет один из важнейших элементов государственной жизни; проведенное историческою школою понятие об органическом его развитии в значительной степени приложимо и к государству. Если мы прибавим к этому, что историческая школа не только указала на потребность исследования положительных учреждений вместо отвлеченных начал, но и сама проложила к тому путь, представив замечательнейшие образцы ученой работы, то мы поймем, какой плодотворный толчок дан был ею историческому изучению политической жизни народов.

5. Ансильон¹³

Ансильон примыкает к исторической школе. Так же как последняя, он отправляется от данных отношений и держится теории органического развития, полагая целью государства охранение свободы и права. Но вместе с тем на него имело огромное влияние учение Montesquieu. В своих исследованиях Ансильон поставил себе задачею не столько изучение истории или построение теории права, сколько определение условий правильного устройства и развития государств. В этом отношении Montesquieu представлялся ему высшим образцом. Можно сказать, что все его политическое воззрение не что иное, как теория Montesquieu, видоизмененная началом органического развития и приспособленная к идеям и потребностям XIX века.

Ансильон был одним из главных представителей умеренного либерализма первой четверти нынешнего столетия в Германии. Из многочисленных его произведений по части философии, истории и политики для нас имеют значение два: вышедшая в 1815 г. небольшая книжка «О верховенстве и государственных учреждениях» («Ueber Souveränität und Staatsverfassungen») и более обширное сочинение «О духе государственных учреждений» («Ueber den Geist der Slaatsverfassungen»), изданное в 1825 г. Первая заключает в себе всю сущность его взглядов.

Ансильон начинает с опровержения теории договора, на которой философы XVIII века строили государство. Эта теория, говорит он, предполагает человека первоначально в так называемом состоянии природы, то есть чисто животной жизни. Но такое состояние противоречит человеческому естеству. Человек специфически отличается от животных. Это — не просто органическое существо, вечно остающееся на одной ступени, а разум, одаренный органами и имеющий способность к бесконечному совершенствованию. Нет такого состояния человека, которое бы преимущественно перед другими можно было назвать естественным. Всего естественнее для него то, что всего более подходит к его назначению. Предполагать же его первоначально в состоянии животном — значит отрицать в нем человечность. Человека с самого начала, как и впоследствии, можно представить только в состоянии общежития, ибо оно одно соответствует его природе *.

Отсюда следует, что нет и так называемого естественного права. Есть только право, вытекающее из понятий, и право, вытекающее из фактов. Как скоро мы представляем себе человека, действующего во внешнем мире и находящегося в отношениях к другим людям, так из взаимодействия свободы вытекают и взаимные ограничения свободы, следовательно, права и соответствующие им обязанности. Но для того чтобы этот закон был признан и перешел в действительность, необходимо, чтобы человек находился в состоянии общежития**.

Это состояние, развиваясь, принимает различные формы. Оно начинается с семейной жизни и через племя переходит в государство. Из этого, однако, не следует, что семейство составляет естественную, а государство искусственную форму общежития. Государство столь же необходимо вытекает из человеческой природы, как и семейство. Человек для того, чтобы сделаться вполне человеком, должен вступить в государство. Это не простая необходимость природы, а необходимая целесообразность разума, которая сознается человеком, как скоро он обдумывает свои отношения к другим. Поэтому нет нужды прибегать к вымышленному договору, чтобы объяснить правомерность государства. Такой договор не только не может быть указан в истории, но он противоречит человеческой природе, ибо он предполагает, что государство есть дело произвола, тогда как оно составляет первое и необходимое условие сохранения и развития разума и свободы. Как скоро мы умозрительно представляем себе цель человечества — всестороннее развитие человечности, так из этого вытекает необходимость гражданского порядка как правомерного принуждения для охранения внешней свободы, ибо это одно может содействовать развитию свободы внутренней. Или же

Andillon J. P. F. Ueber Souveränität und Staatsverfassungen. S. 1-4.

Ibid. S. 5-6.

гражданский порядок можно представить как сопоставление многих сил, которые, с одной стороны, противопоставляясь друг другу, с другой стороны — действуя совокупно, вырабатываются во всем своем разнообразии *.

Государство есть, следовательно, приведение множества к единству, совокупление отдельных физических лиц в единое нравственное лицо, или в одно органическое целое. Это единение совершается верховною властью, которая таким образом составляет жизненное начало и источник бытия всякого гражданского союза. Пока ее нет, нет и государства, а существуют только рассеянные единицы; через нее народ из сборной толпы становится народом. Поэтому нельзя утверждать, что верховная власть принадлежит народу или от него исходит, ибо народ именно ей одолжен своим бытием. Но, с другой стороны, она существует только для народа; народ есть цель, а верховная власть средство. Поэтому она не составляет собственности облеченного ею лица, а налагается на него как обязанность. Подданные имеют неотчуждаемые права, которым в государе соответствуют ненарушимые обязанности. Права князя основаны единственно на его обязанностях **.

Существо верховной власти состоит в том, что она дает обществу законы и тем подчиняет рассеянные единичные воли единству общей воли. Закон есть, следовательно, выражение общей воли, как определял его Руссо. С другой стороны, закон, по определению Монтескье, есть человеческий разум, обращенный на исследование свойств и отношений известного народа. Оба эти определения верны, если понять их надлежащим образом. Общая воля, когда она не увлекается страстями и частными интересами, хочет того, чего требует разум; разум же с своей стороны рано или поздно непременно переходит в общую волю. Но гораздо лучше производить общую волю из разума, нежели разум из общей воли. Если мы общею волею будем считать не то, что требуется разумом, а то, чего хочет масса, мы придем к ложному смешению общей воли с волею всех, или же, вместе с Руссо, мы должны будем прибегнуть к совершенно несостоятельным способам извлечения общей воли из бесконечного разнообразия частных мнений. Воля толпы редко совпадает с требованиями разума***.

Разум указывает общую цель государства, так же как он указывает и все цели, определяемые общими, безусловными идеями. Эта цель состоит в гармоническом развитии человека посредством свободы и правды. Средства же к достижению этой цели в приложении к отдельному государству определяются умом, который исследует частные отношения и согласует их с общими понятиями. Разумность положительных законов заключается в высшей их

* Ibid. S. 8-11.

Ibid. S. 11-14.

Ibid. S. 14-15.

относительности. Законы вытекают из состояния данного народа и определяются всеми существующими в нем отношениями. Они в некотором смысле должны вырабатываться сами собою; законодатель только высказывает их, подмечая существующие отношения и соображая последние с общою целью государства*. Никто не понял этой истины так ясно, как Монтескье; для него философия законодательства не что иное, как наука отношений**. А так как некоторые отношения остаются постоянно, между тем как другие изменяются, то законодательство должно заключать в себе оба элемента: постоянство и подвижность. Соображая настоящее, законодатель Должен иметь в виду как прошедшее, так и будущее. Без постоянства он ежеминутно разрывает связь с прошедшим; без подвижности он закрывает путь для будущего. Закон относительности должен прилагаться к отношениям обоого рода, и к постоянным, и к изменчивым***.

Устройством законодательной власти, которая вместе с тем есть и верховная, определяется различие образов правления. Разделение властей по отраслям на законодательную, исполнительную и судебную составляет вопрос второстепенный, хотя и оно имеет свое значение. Верховная власть может быть нераздельная или разделенная, простая или сложная. Первая форма, в свою очередь, подразделяется на монархию, аристократию и демократию, смотря по тому, кому присваивается власть. Хотя в действительности каждый из этих элементов всегда является с примесью других, однако разделение по основному началу власти имеет достаточно определенности. Деспотия же, так же как и анархия, вовсе не могут быть причислены к образам правления, ибо в обеих нет верховной власти, то есть общей воли, выражающейся в законе. В деспотии решает произвол единого лица, в анархии — частная воля рассеянных единиц. В обеих можно видеть только болезни, а не органическое состояние государства. Различные политические формы имеют именно в виду предупредить проистекающее из них зло. Всего скорее эта цель может быть достигнута разделением власти или сложным государственным устройством****.

Не всякое, впрочем, разделение власти способно дать надлежащую гарантию, а потому, как общее правило, невозможно поставить сложные формы выше простых. Вообще, вопрос о наилучшем государственном устройстве принадлежит к числу тех, на которые нельзя отвечать безусловно. Разум полагает непрременную цель, единую для всех времен и народов; но средства для достижения этой цели могут быть самые разнообразные. Все здесь зависит от существующих отношений. Наилучшее устройство то, которое

Ibid. S. 16.

Ibid. S. 48.

Ibid. S. 16-49.

Ibid. S. 18-25.

вытекает из всей истории и из особенностей народа до такой степени, что никакие другие учреждения не могли бы быть к нему применимы. Нет единого идеала государственного устройства для всех стран, так же как нет единого идеала плотины или моста для всех вод. При всем том руководствуясь опытом и историею, можно вообще сказать, что там, где верховная власть разделена сообразно с истинными началами политики, народы получают высшее понятие о своем достоинстве и о своей свободе и вследствие того развивают в себе высшую нравственную силу. В них возбуждается общественный дух через то, что большее число лиц привлекается к общему делу; взаимное ограничение властей предупреждает многие заблуждения, противодействует эгоизму и устраняет известного рода деспотизм, наконец, этим открывается почетное поприще политическим добродетелям и талантам, которые здесь скорее всего могут выказываться и действовать на пользу общества*.

Опыт указывает нам и то устройство властей, которое в сложных государственных формах способствует возбуждению истинной политической жизни. Прежде всего, в основании должны лежать представительные учреждения, которые дают народу участие в правлении, устраняя вместе с тем анархию и деспотизм толпы. В настоящее время никому уже не приходит в голову искать свободы в народном собрании. Но все ли граждане без различия должны быть призваны к представительству? И достигается ли государственная цель возможно большим политическим влиянием массы? Вот вопросы, от решения которых зависит доброта государственного устройства. Если цель государства состоит в гармоническом развитии человечности в народе, а первые для этого условия — свобода и безопасность (разумая под именем последней правомерное принуждение, охраняющее свободу), то представителями народа могут быть только те, которые, обладая наибольшею свободою, всего более ею дорожат, а вместе с тем имеют наиболее интереса в твердости общественного порядка. Таковы собственники. Собственность составляет истинную связь политического тела. Поэтому политические права граждан должны быть соразмерны с их состоянием; значительное имущество составляет первое условие, необходимое для представителя. Конечно, оно не обеспечивает ни таланта и познаний, ни бескорыстия и общественного духа. Оно не исключает даже продажности, но все-таки оно представляет против нее некоторое ручательство, и во всяком случае, оно дает наиболее средств для образования. Этим не устанавливается аристократия богатства, худшая из всех, ибо собственность находится в вечном движении и доступна всем. Если же иногда случится, что человеку с высшими дарованиями, по недостатку имущества, будет прегражден доступ

* Ibid. S. 25-28.

в представительство, то это зло значительно перевешивается выгодами, проистекающими от исключения тех, которые ни перед чем не останавливаются, потому что им нечего терять *.

С представительными учреждениями связано разделение властей, которых взаимное ограничение обеспечивает свободу и безопасность. В особенности разделение законодательной власти ведет к всестороннему обсуждению законов, устраняет исключительность и поспешность в решениях, наконец, делает безвредными своекорыстие и страсти. Но спрашивается, как же следует разделить законодательную власть, чтобы достигнуть этих целей? Природа государства, как и всякого органического тела, заключает в себе элементы двоякого рода: постоянные и изменяющиеся. Без первых оно теряет свою личность, без вторых оно не может совершенствоваться. Охранительное и прогрессивное начало должны, следовательно, быть равно приняты во внимание законодательством; оба должны быть представлены в учреждениях соответствующими им элементами. Первому соответствуют наследственные представители, второму — выборные, первому — недвижимая и неотчуждаемая собственность, второму — движимая и отчуждаемая. Отсюда ясно, что в монархическом государстве нельзя лучше разделить власть, как между королем и дворянством, с одной стороны, и выборными от народа — с другой**.

Характер и положение дворянства делают его особенно способным служить посредствующим звеном между королем и народом. Поземельная собственность ставит его в постоянное соприкосновение с народом. Интересы их совпадают. Дворянство как таковое не находит выгоды в поддержании произвола; напротив, оно должно ему противодействовать, в особенности там, где оно наравне со всеми несет государственные тяжести и подчиняется равному для всех закону. С другой стороны, как наследственное сословие оно сродно монархической власти, которая стоит тверже, когда в народе существуют еще и другие наследственные элементы. Таким образом, дворянство ближе к народу, нежели король, и ближе к королю, нежели народ. Поэтому оно и может служить посредником между ними. Такая посредствующая власть необходима. Где существуют только две власти, цель разделения не достигается. Если они однородны, правление склоняется к деспотизму; если они разнородны, между ними возгорается борьба, которая опять же кончается победою одной стороны. Для того чтобы противоположные власти могли составить одно гармоническое целое, надобно, чтобы их связывала третья, которая не должна быть ни совершенно однородна с двумя первыми, ибо в таком случае она с ними совпадает, ни совершенно разнородна, ибо тогда невозможно гармоническое их взаимодействие. Такова именно роль дворянства. Но для этого

* Ibid. S. 28-31.

** Ibid. S. 31-34.

дворяне непременно должны быть крупными землевладельцами. Иначе они потеряют свою независимость и будут жить на счет государства или же станут предаваться промыслам и торговле и тогда смешаются с народом. А для того чтобы дворяне постоянно оставались крупными землевладельцами, необходимо, в свою очередь, чтобы гражданские законы воспрещали отчуждение их поместий. Устройство ленов и майоратов¹⁴ тесно связано с существованием дворянства. Эти учреждения могут быть в некоторых отношениях вредны, особенно если они простираются на значительное количество земель; но они имеют огромные политические выгоды, особенно когда они сдерживаются в надлежащих пределах *.

Наконец, в сложном политическом устройстве весьма важно то, что три существенные части законодательства — предложение, обсуждение и решение могут быть разделены. Окончательное решение принадлежит здесь монарху, который изъявляет на закон свое согласие или несогласие. Обсуждение, требующее всесторонности взглядов, естественно присваивается как аристократическому, так и демократическому элементам. Что касается до предложения, то по правилу оно должно принадлежать прогрессивному элементу, то есть народному представительству; но так как правительству, прилагающему законы, всего скорее могут быть известны их недостатки, то и ему нельзя отказать в этом праве. Поэтому всего лучше предоставить инициативу всем трем элементам. Через это всем им равно доставляется возможность показать свое попечение об общем благе**.

Таковы указанные опытом основания правильного разделения властей. Но, как сказано, эти начала не могут иметь притязания на безусловное значение. Они представляют лишь относительные истины и могут найти только частное приложение. Политика в этом отношении существенно отличается от нравственности. В последней то, что должно быть, служит мерилom того, что есть. Чтобы построить теорию обязанностей, вовсе не нужно смотреть на то, что совершается в мире. Обязанность связывала бы совесть, если бы даже в действительности нельзя было указать ни одного нравственного поступка. В политике, напротив, все зависит от фактических условий и отношений. Каждый народ имеет свой характер, свои особенности, свою историю, с которыми должны сообразоваться его учреждения. Теория все приводит к общим точкам зрения; в действительности же нет ничего общего, а есть только особи. Каждая отдельная жизнь непохожа на другую жизнь. Иногда в теории известное политическое устройство кажется превосходным, а при соприкосновении с действительностью эти воздушные замки исчезают как тень. И наоборот, учреждения, которые на бумаге имеют безобразный вид, приносят иногда великолепные

* Ibid. S. 35-38.

** Ibid. S. 39-41.

и воздвигнуть новое. Полновластному народу все считалось дозволенным. Отсюда разнузданность всех страстей, которая и повела к страшным явлениям террора. Не страсти испортили дело революции, как утверждают некоторые, но страсти были вызваны учениями революции. Везде, где будет провозглашено начало народного полновластия, оно будет иметь те же последствия, ибо в существе своем оно представляет отрицание государственного единства и уничтожение истинной верховной власти *.

Из всего этого ясно, что введение известного политического устройства может быть трюком делом времени. Никому еще не приходило в голову внезапно вдохнуть в человека новое Я, заставить его разом отрешиться от своей личности и воспринять новые правила, понятия, наклонности и привычки. Личность человека противится такого рода предприятиям. Как органическое существо постепенно растет и изменяет свой состав, так и государство в своем росте подвергается медленному процессу внутренних изменений. В нем охранительное начало и прогрессивное всегда должны находиться в равновесии. Внезапные перемены грозят опасностью всему государственному строю. В политической жизни, так же как и в физической природе, господствует закон постепенности. Кто нарушает этот закон, тот разрушает невидимую нить, связывающую прошедшее с будущим, тот сеет на ветер и пожнет одну пыль**. Время, с своим часто незаметным ходом,— единственная сила, которая может всякому нововведению дать рост и успех. Кто хочет, забегая вперед, предупредить его движение и в данный момент искусственным путем заменить дело столетий, тот произведет одни недоноски, обреченные на раннюю смерть. Государству всего менее следует торопиться в своих предприятиях. Государство вечно, а потому может спокойно ожидать движения времен, доверяя будущему и охраняя права прошедшего ***.

Отсюда следует, что делом истинной политики должно быть не введение новых конституций, а постепенное улучшение существующих учреждений. В Германии доселе сохраняются остатки сословного представительства, которое играло значительную роль в истории и может служить началом новой жизни. Оно все было основано на представительстве собственности. Сначала в нем принимали участие только духовенство и дворянство; затем, когда поднялись города, и они были приобщены к собранию чинов. В настоящее время эти формы обветшали; движимая собственность разрослась, недвижимая перешла в другие руки. Необходимы значительные перемены для того, чтобы эти учреждения могли действовать сообразно с духом и потребностями нового времени. Но надобно твердо держаться лежащего в основании их начала.

* Ibid. S. 76 и след.

** Ibid. S. 51-54.

*** Ibid. S. 67-68.

Их следует улучшить, а не уничтожить. Новое должно выйти из старого. Этим путем, без рабского подражания, без внезапных переворотов, без рискованных нововведений, держась чисто народного жизненного хода, Германия соединит единство власти с многосторонностью в обсуждении вопросов и с требованиями общественного духа; этим сохранится и полнейшее согласие между князьями и народом *.

Таково содержание сочинения Ансильона. Касаясь животрепещущих вопросов времени, оно имело в Германии значительный успех. С либеральным направлением соединялись здесь дух умеренности и внимание к Истории. Даже преувеличенные нападения на начала Французской революции совпадали с тогдашним настроением умов в Германии.

С большею подробностью автор развил свои взгляды в позднейшем сочинении «О духе государственных учреждений», но оно заключает в себе мало нового. Подражание Монтескье доходит здесь до усвоения самой его манеры писать, хотя, конечно, без той тонкости и блеска, которыми отличался знаменитый французский публицист. Общая мысль теряется среди отрывочных замечаний. Ансильон и здесь восстает против демократического правления как неспособного оградить свободу и требующего невозможного равенства**. Он ищет обеспечения свободы в таком политическом устройстве, где власти разделяются без резкого разобщения и связываются без совпадения. Как органическое тело государство не должно быть только агрегатом различных частей, но эти части должны проникать друг друга для того, чтобы возможна была общая жизнь. И здесь он главное обеспечение свободы видит в прохождении законодательной деятельности по различным инстанциям***. Затем в отдельных замечаниях насчет разных частей государственного устройства есть много верного, много и одностороннего, но нет ничего такого, что бы могло иметь существенное значение в общем движении политической мысли. Поэтому мы считаем излишним подробный разбор этой книги.

6. Круг¹⁵

Ансильону отвечал Круг, философ, так же как Фрис, принадлежащий к полукантианцам и вместе с тем один из ревностных поборников либерализма. После изгнания французов и падения Наполеона в Германии обозначилось двоякое течение мысли: реакционное и либеральное. Эти два направления соответствуют в политической области тому, что мы в философии называли нравственным и индивидуалистическим идеализмом. В противопо-

Ibid. S. 63-67.

Ancillon J. P. F. Ueber den Geist der Staatsverfassungen. S. 28, 40.

Ibid. S. 29, 32-33.

ложность реакционной политике, центром которой была Австрия, в германском обществе, особенно в мелких государствах, появилось сильное стремление к представительным учреждениям. Сочинение Ансильона было знаменем времени. Со своей стороны Круг издал брошюру под заглавием «Князья и народы в их взаимных требованиях» («Die Fürsten und die Völker in ihren gegenseitigen Forderungen»). К этой брошюре, вышедшей в 1816 г., он приложил разбор книги Ансильона.

Признавая вполне достоинства автора и сходясь с ним во многих существенных пунктах, Круг находит, однако, что он слишком ярко освещает требования князей, оставляя в тени требования народов. Он не согласен с самыми основаниями теории Ансильона. Последний начинает с того, что отвергает состояние природы, утверждая, что человек никогда не может стоять на степени животного. Но никто и не говорит, что человек в первоначальном своем состоянии совершенно уподоблялся животному, так что в нем не было даже зачатков разума и высшего развития. Говорят только, что человек первоначально находился в состоянии, подобном животному, в каком мы и поныне видим дикие народы, и это мнение имеет за себя сильные доводы. Оно опирается на господствующий во всей органической природе закон развития. Везде высшие формы вырабатываются из незаметных зачатков. По аналогии мы можем думать, что тот же закон управляет и человеком, что и последний вышел из грубого и несовершенного состояния и постепенно, действием разума, выработал в себе высшие начала жизни. Поэтому и язык и общежитие мы должны рассматривать не как формы, первоначально вложенные в человека, а как жизненные явления, постепенно развившиеся из приращенных ему способностей*.

Отвергнув состояние природы, Ансильон отрицает и связанное с ним естественное право, заменяя его правом, вытекающим из понятий, и правом, вытекающим из фактов. Если под именем естества разуместь материальную природу, то нет сомнения, что она не может быть источником права; но если под этим словом разуместь, как и следует, природу разумную, составляющую принадлежность человека, то мы должны сказать, что из нее именно и вытекает идея права и неправды. Это и есть то, что Ансильон называет правом, вытекающим из понятий, и самое право, исходящее из фактов, не имеет другого основания, ибо что же дает правомерность фактическим постановлениям, как не согласие их сидеею права?*

В силу той же односторонности воззрения Ансильон отвергает происхождение государства из договора как не имеющее исторического основания и противоречащее человеческой природе.

* Krug W. T. Die Fürsten und die Völker in ihren gegenseitigen Forderungen // Krug's gesammelte Schriften. Bd III. S. 204-208.

** Ibid. S. 208-211.

Ансильон смешивает тут две разные вещи, именно историческое и рациональное происхождение государств. Как возникли первоначальные государства, мы не знаем; вероятно, различными способами. Но вопрос не в том, каково их фактическое происхождение, а в том, что этому факту дает правомерность? Голая, слепая сила не может быть основанием права. Следовательно, фактическая власть может сделаться правомерной только в силу согласия подчиняющихся ей лиц. Это — единственное основание, почему какой бы то ни было человек может приобрести право над другими людьми, которые от него не родились. Что добровольное подчинение власти совершается в том предположении, что эта власть будет полезна тому, кто ей подчиняется. Тут является взаимность прав и обязанностей. Следовательно, рациональное основание государства, то, что дает ему правомерность, есть договор, тайный или явный. Не только такой договор не противоречит человеческой природе, но это единственное, что соответствует разумной природе человека. Если бы даже в истории нельзя было указать ни единого примера подобных договоров, то идея все-таки осталась бы верна. Между тем такие примеры есть: достаточно сослаться на капитуляции¹⁶ германских императоров, на возведение на престол Вильгельма Оранского¹⁷ или, в новейшее время, Бернадотта¹⁸. Все они приобретали власть на известных условиях в силу договора с народом. Если же верховная власть первоначально приобретает не иначе как согласием народа, то она в источнике своем лежит в народе. Ансильон прав, когда он в устроенных уже государствах отрицает народное полновластие: здесь, очевидно, власть принадлежит законом установленному главе государства. Но он не прав, когда он утверждает, что народ получает свое бытие единственно от верховной власти. Народ есть соединенная общим происхождением толпа. Он существует и помимо государства, и наоборот, государство может заключать в себе несколько народов. Когда же несвязанная прежде толпа соединяется под единою верховною властью, или когда за превращением законной власти устанавливается новая, то возникает вопрос: откуда эта власть получает свою силу? Иного ответа быть не может, как то, что она переносится на известное лицо или лица волею народа; следовательно, она первоначально лежала в народе*.

Эти возражения Круга очевидно не что иное, как старая, погретая теория договора, смягченная в своих последствиях, но в сущности страдающая теми же недостатками. Несправедливо, что человек может приобрести власть над другими людьми, которые от него не родились, не иначе как в силу свободного договора. Если государство, по верному замечанию Ансильона, составляет необходимое требование человеческого духа, то подчинение государственной власти есть не только право, но и обязанность.

Человек рождается членом государства, следовательно, подчиненным власти, так же, как он рождается членом семьи. В теории договора верно то, что по идее государства власть должна покоиться не на одной только фактической силе, но и на добровольном признании, по крайней мере, большинства граждан. Государство, в идее, есть союз свободных людей, а не рабов. Но между добровольным признанием фактически установившейся власти и договором — огромная разница. Договор есть выражение свободной воли лиц ничем не связанных, которые сами определяют условия своих взаимных отношений. В признании же власти господствует идея обязанности; дно совершается во имя требований общего блага. Меньшинство должно подчиняться здесь большинству. Это признание может даже вовсе не быть явно выраженным; как признает и сам Круг, достаточно молчаливого подчинения. А потому невозможно видеть в этом согласии акт перенесения власти и выводить отсюда, что первоначально эта власть лежала в народе. Фактически установившаяся власть есть уже власть; признание подчиненных дает ей новую силу, но не создает ее, ибо она уже существует. Подчиненные не могут ее переносить, ибо ее у них нет. Власть есть господство, а не свобода. Она принадлежит целому над частями, а никак не рассеянными единицам, которые, напротив, обязаны подчиняться целому. Она может принадлежать и народу, но для этого необходимо, чтобы народ составлял уже одно целое, то есть чтобы в нем была уже установленная власть. Когда Ансильон говорит, что народ создается верховною властью, то это справедливо в том смысле, что силою власти рассеянные единицы сплавиваются в одно тело. Возражения Круга против этого положения основаны на смешении двух различных значений слова народ — юридического и физиологического. Существование этого различия явствует из того, что разные народности могут составлять одно государство, следовательно, один народ в юридическом смысле, и наоборот, одна и та же народность может входить в состав нескольких государств. Физиологическое единство еще не влечет за собою единства юридического. Последнее устанавливается именно тем, что толпа подчиняется единой власти, которая связывает ее в одно целое. Каким образом устанавливается эта власть, свободною ли волею народа, насилем одних над другими или, наконец, внешним завоеванием, это — вопрос фактический. Во всех этих случаях власть может быть правомерною, если она соединяет в себе все требования государственной жизни, то есть если она соответствует идее государства. Тогда признание ее становится обязанностью. Дело в том, что государство не есть чисто юридическое установление; оно слагается из разных элементов. Свобода и вытекающее из нее личное право составляют один из них, но, как мы уже не раз имели случай заметить, это не только не единственный, но и не главный, а напротив, по существу своему, подчиненный, ибо личная свобода подчиняется

требованиям целого. Поэтому свобода не есть источник власти, а может только при случае быть ее органом и представителем.

Дальнейшие возражения Круга касаются главным образом способов введения конституций. С учением Ансильона о смешанных правлениях он вполне согласен. Только взгляд на значение дворянства кажется ему преувеличенным. Он отвергает неотчуждаемость дворянских имений и находит полезным рядом с наследственным дворянством поставить и дворянство, приобретаемое заслугами*. Что же касается до теории постепенного развития учреждений, то об этом, говорит Круг, можно многое сказать. Ансильон дает слишком обширное место охранительным началам и привязанности к старине, когда он утверждает в виде общего правила, что в старом доме, даже неправильном, лучше жить, нежели в новом. Если старый дом совсем обветшал и грозит падением, неужели мы станем ожидать, чтобы он обрушился на голову жителей? Не лучше ли заранее приготовить себе новое жилище? При этом, конечно, придется составить план; придется прибегнуть к тому, что в насмешку называют бумажными конституциями, хотя нередко эти бумажные конституции могут быть гораздо лучше небумажных. Придется руководствоваться и теориею, что опять гораздо лучше, нежели следовать слепой практике. Правильная теория сама не что иное, как возведенная в сознание практика. Такая теория говорит нам, что в государственной жизни иногда бывают необходимы глубокие преобразования, равносильные переворотам, ибо они устанавливают новый порядок вещей. Если же мы станем медлить с этими преобразованиями, то вместо сознательной деятельности явятся на сцену слепые, инстинктивные влечения народа, и тогда могут произойти катастрофы, в которых погибнет многое хорошее, что следовало бы удержать. Поэтому Ансильон совершенно прав, когда он говорит, что в каждом государстве должны действовать и охранительное начало, и прогрессивное; но он не прав, когда он утверждает, что эти начала всегда должны находиться в равновесии, ибо в результате вышел бы только нуль. Есть времена, когда охранительное начало должно перевешивать, например, вслед за введением нового порядка вещей; но есть другие, в которых требуется обновление, именно когда старое уже отжило свой век. Это не значит разом дать органическому существу новое тело или вдохнуть в человека новое я, оторвав его от всего прошедшего. И отдельный человек возрождается к новой жизни, как свидетельствует Писание¹⁹; точно то же может быть и с государством. Этим не нарушается и закон постепенности, ибо этот закон не определяет, как быстро или медленно должны совершаться преобразования и много или мало следует из старого пожертвовать новому. Все здесь зависит от политической мудрости, которая не довольствуется общими соображениями, а принимает во внимание

настоящее положение дела. Наконец, нет причины пренебрегать и опытом других народов. То, что Ансильон говорит об английской конституции, превосходно; но он идет слишком далеко, когда он отрицает возможность перенести на другой народ даже какую-либо часть английской конституции на том основании, что целое приспособлено только к характеру и положению англичан. История доказывает, что государства с успехом заимствовали друг у друга известные учреждения. Народы в своем развитии проходят через сходные положения и обстоятельства, а чем более они приходят в соприкосновение друг с другом, тем более они имеют между собою общего. Здравый смысл, конечно, не позволяет переносить чужие учреждения совершенно в том же виде, как они существуют на родине, но ничто не мешает приравнивать их к новым условиям. Так, во Франции есть две палаты, но не такие, как в Англии²⁰. Если и в Пруссии учредятся две палаты, то и они будут иметь свои особенности*.

Круг соглашается и с суждениями Ансильона о Французской революции, но делает при этом ту существенную оговорку, что за всеми ужасами революции не следует забывать одушевлявшую ее идею, около которой все вертелось, именно идею свободного политического устройства, обеспечивающего права народа. Осуществление этой идеи не удалось главным образом вследствие испорченности французского общества, развращенного материалистическою философиею XVIII века; но из этого не следует еще, чтобы вообще введение новой конституции было невозможно. Нет причины, почему бы народ, достигший до такой степени зрелости, что ему становится тесно и душно под неограниченным правлением, не мог бы получить представительного устройства, наравне с соседями, стоящими на одинаковой с ним степени развития, с теми притом видоизменениями, которые требуются его положением. И когда сами князья признают эту потребность народа и сами вводят новые учреждения, то это лучшее, чего можно желать. Юридические требования совпадают тут с общественными **.

Все эти возражения Круга нельзя не признать вполне основательными. Они делают честь как его уму, так и его таланту.

В брошюре, к которой была приложена эта критика, Круг излагает те требования, которые современные образованные европейские народы, в особенности немецкого племени, вправе предъявлять своим князьям. Первое требование состоит в водворении правомерных учреждений (*rechtliche Verfassungen*). В настоящее время, говорит Круг, все образованные люди согласны в том, что человек по природе своей — разумное и свободное существо; что ему как таковому принадлежат известные права, которые в общественном

* Ibid. S. 223-229.

** Ibid. S. 229-232.

союзе могут быть ограничены, но не уничтожены; что в особенности государство призвано к тому, чтобы определить их законом и крепко их охранять, вследствие чего оно должно покоиться на твердом основании правомерного устройства. Но правомерного устройства нет там, где верховная власть может неограниченно распоряжаться жизнью, свободой и собственностью подданных. Здесь граждане нисходят на степень бесправных существ, как стадо животных. Правомерное государственное устройство существует только там, где верховная власть ограничена в своих действиях, где народные представители совокупно с князем решают все, что касается прав и благосостояния народа, где суд отправляется во имя и под надзором князя, но на основании признанных народом законов и через независимые органы, где, наконец, первые слуги короля ответственны за данные ему советы. Низвергнув, совокупно с законными князьями, того человека, который с неограниченною властью господствовал над Европою, народы вправе требовать политического устройства, которое открывало бы свободное поприще всем человеческим силам и давало гражданам деятельное участие в общественных делах. И сами князья признали это требование законным, обещав введение повсюду земских чинов (Landstände) как истинных представителей народа*.

Второе требование состоит в полной свободе вероисповеданий. Из всех несправедливостей, которые совершались на земле, стеснение совести — величайшее и самое гнетущее, ибо оно поражает человека в его внутреннем существе, в том чувстве, которое из всех самое благородное и возвышенное, ибо оно относится к самому высшему и святому, что может постигнуть человеческий дух. Эта свобода требуется не только для христианских сект, но и для всех, в особенности для угнетенных ныне евреев. Она должна состоять не только в свободном отправлении богослужения, но и в полноте гражданских прав, ибо умаление какого-либо гражданского права единственно за исповедание или неискповедание известной религии — не что иное, как наказание, наложенное на гражданина за то, что он поклоняется Божеству не так, как хочет владывающая религиозная партия. Ограничение этого правила можно допустить единственно для тех сект, которые имеют какой-либо интерес, прямо противоположный общественному благу, или уклоняются от исполнения каких-либо гражданских обязанностей**.

Со свободой вероисповедания тесно связана, в-третьих, свобода мыслей, или, лучше сказать, свобода речи и печати. Не требуется свобода неограниченная. Возмутительные воззвания и клеветы должны подлежать ответственности и наказанию. Но затем, всякий гражданин должен иметь право свободно высказывать свои

Ibid. S. 178-181.

Ibid. S. 182-185.

мысли обо всех предметах науки, искусства, государства и церкви. При столкновении мнений, все, что здесь может быть вредного, исчезнет само собою. Гораздо опаснее подчинение человеческого духа личному произволу. Только страх, возбуждаемый в правительствах общественным мнением, заставлял доселе подавлять свободное движение мысли. Такой порядок приличен деспотизму. В правомерном же государственном устройстве свобода печати и общественное мнение составляют необходимые элементы. Они нужны не только для поддержания учреждений, но и для того, чтобы раскрывать князьям истинные нужды народа, устранять всякие вредные меры и вообще возвышать могущество и процветание государства. Это доказывается примером Англии*.

Свобода мысли принесет, однако, мало пользы, если правительство не будет, в-четвертых, заботиться об улучшении и расширении существующих учебных заведений. В них необходимо вдохнуть новую жизнь, соединив классическое образование с общечеловеческим и гражданским. Кроме развития души, надобно иметь в виду и развитие тела, так чтобы юноши могли сделаться полезными гражданами и мужественными защитниками отечества. Последнее достигается также, в-пятых, преобразованием военного устройства. Основанием государственной безопасности должно быть не постоянное войско, а совокупность лежащих в народе военных сил. Для этого необходима система защиты, основанная на всеобщей участии народа. Всякий гражданин должен быть воином, приготавливаясь к этому с малолетства и по достижении известного возраста вступая в ополчение. Это одно, что может обеспечить самостоятельность государства**.

Затем, в-шестых, народы могут требовать от князей содействия искреннему примирению различных общественных классов или состояний. Главные из них два: дворянство и горожане. Естественное основание различия состояний заключается в том, что хотя природа и создала людей с равными зачатками развития, но некоторые из них возвышаются над другими способностями, имуществом, делами. Через это они приобретают высшее общественное положение, которое передается потомкам. Уничтожить этот класс, как сделала Французская революция,— значит отрезать существенный член от органического тела. Это столь же нелепо, как и попытка создать новое дворянство по примеру Наполеона²¹, ибо легче залечить рану, нежели на место отнятого члена представить новый. Где дворянство есть, оно должно быть сохранено; но необходимо вместе с тем, чтобы оно изменялось сообразно с движением народной жизни. Нынешнее дворянство не то, что средневековое; оно подчинилось князьям наравне с остальными подданными. С своей стороны мещанство сделалось богаче,

* Ibid. S. 185-188.

Ibid. S. 188-192.

образование и получило больший вес в государстве. Для того чтобы дворянство сохранило свое высокое положение, оно должно к заслугам предков прибавить и свои. Кроме того, необходимо уничтожить те семена раздора, которые с течением времени закрались между этими двумя сословиями. Для этого представляются два средства: ограничение наследственного достоинства одними старшими сыновьями знатных родов и признание личного дворянского достоинства во всяком, кто оказывает отличные услуги государству. Через это уменьшится расстояние между сословиями и между ними образуется крепкая связь. Разумеется, необходимое для этого условие состоит в том, чтобы поприще государственной службы было равно открыто для всех *.

Наконец, ко всем предыдущим требованиям немецкий народ может прибавить то, которое ему всего нужнее, именно требование единства в разнообразии. Немецкий народ издавна распался на множество отдельных племен и государств, представляющих удивительное разнообразие нравов, законов и учреждений. Внести сюда некоторое единство составляет, может быть, одну из самых трудных задач политического искусства. Многие поэтому, отчаиваясь в ее разрешении, думают устранить зло подчинением всех единой власти. Но такая насильственная мера лишила бы Германию своего характера, своих особенностей, своего многостороннего образования и могла бы держаться только мечом. Не государственное единство потребно немецкому народу, а союзное единство, которое одно ему свойственно. Союзное же единство невозможно без главы союза. Поэтому необходимо восстановление императорской власти. Круг предлагает вручить ее Австрийскому Дому²², которому она издавна принадлежала; прусского же короля сделать эрцканцлером²³, а возможные между ними столкновения разрушать союзным судом²⁴. К этому надобно прибавить введение однородных учреждений в союзных государствах, одинаковых мер, весов и монеты, уничтожение всяких застав и преград, наконец, содействие правительств к устранению всего чужеземного, вкравшегося в язык, в нравы, в одежду, в воспитание. Тогда, говорит Круг, самое пламенное желание немецкого народа, желание достигнуть истинного национального единства, сохранив свое разнообразие, перестанет принадлежать к области филантропических мечтаний и станет живою действительностью. Осуществление этой мысли, которая в темные времена нужды являлась зарею лучшего будущего и которая, внезапно прорвавшись, поборола общего врага, составляет священнейшее призвание всех князей и государственных людей Германии, искренно желающих добра своему отечеству**.

Таковы требования народов. С своей стороны князья могут требовать прежде всего доверия к их доброй воле и мудрости, затем

* Ibid. S. 192-196.

** Ibid. S. 196-200.

терпения, так как нельзя всего сделать разом, наконец, привязанности к их лицу и семейству. Последнее требование может с полным правом быть предъявлено там, где княжеский дом сросся со всею историею народа, так что народная жизнь в своей совокупности составляет одно живое целое с жизнью этого дома. Народ, который самого себя честит в своем прирожденном князе, не откажет и его семейству в той привязанности, без которой общественная связь может легко разорваться, уступая место полному состоянию бесправия — величайшему злу для государства *.

В этих начертанных Кругом началах можно видеть программу либеральной партии в Германии, программу, которой полное осуществление предоставлено было нашему времени, разумеется, с теми видоизменениями, которые оказались необходимыми в силу обстоятельств. В эпоху, следовавшую за изгнанием французов, не могло еще быть речи о великонемецкой и малонемецкой партиях. Вместо междоусобной войны в виду имелось только дружное действие держав во имя блага единого отечества. Это был период идеализма, в котором писались программы; практические затруднения наступили впоследствии. Но источник движения лежал все-таки в идеальных требованиях того времени. Один идеализм может указывать цель; реализм дает только средства.

В другой брошюре, изданной в том же 1816 г. под заглавием «Представительная система» («Das Repräsentativsystem»), Круг излагает существенный характер и устройство представительных учреждений. Он разделяет образы правления на автократические, или самодержавные, и синкретические, или смешанные, а с другой стороны — на монархию и полиархию. Последняя, в свою очередь, разделяется на аристократию и демократию. Как монархии, так и полиархии могут быть автократические и синкретические. Древние знали только первую форму. Самые их республики представляли неограниченное господство одного элемента, а там, где власть делилась между аристократиею и демократиею, мы видим только бесконечную борьбу**.

Истинно синкретические формы возникли из феодализма. Королевская власть была ограничена прежде всего дворянством, которое, подчиняясь королю, сохраняло, однако, свою самостоятельность и участвовало в важнейших правительственных решениях. Скоро к нему присоединилось духовенство и, наконец, города. Таким образом, значительная часть народа получила участие в верховной власти через право содействия в различных делах управления. Земские чины сделались представителями народа. Этому развитию синкретизма способствовало, с одной стороны, христианство, которое, проповедуя братство всех людей,

* Ibid. S. 200-204.

** Krug W. T. Das Repräsentativsystem // Krug's gesammelt Schriften. Bd III. S. 281-283.

возбудило в своих последователях сознание высшего человеческого достоинства, с другой стороны — просветленная христианством философия, которая разумными доводами доказала, что у граждан есть не только обязанности, но и неотчуждаемые права, данные им как бы самим Богом и столь же священные, как и права князей в отношении к народу. Вследствие этого автократическое начало потеряло свой вес в общественном мнении. Как скоро народы становятся совершеннолетними, ими нельзя уже управлять, как малолетними. Они не хотят подчиняться произволу лиц, которые, как бы они ни были высоко поставлены, все же остаются слабыми людьми. Горький опыт научил их, что не только злая, но и добрая воля при дурной обстановке может заблуждаться и наносить страшный вред. Поэтому они для охранения своих прав требуют гарантий, не временных только, а постоянных. Таковые могут дать лишь представительные учреждения, которые сделались ныне насущною потребностью всех народов, проникнутых новоевропейским, христианско-философским образованием. Этих учреждений не следует смешивать с демократиею, которая не что иное, как замаскированный автократизм, и притом самый страшный из всех. Французы впали в эту ошибку; потому-то революция и привела их к господству демагогов и, наконец, к деспотизму. Немцы же не предаются такого рода увлечениям, но спокойно ожидают от своих князей исполнения данного им обещания *.

Каково же должно быть устройство представительства? В нем можно различить две формы: математическую и динамическую. Первая основана на статистическом начале чистого количества: представительство определяется по числу душ. Невыгода этой системы состоит в том, что все голоса имеют здесь равный вес; ничтожный и недостойный человек пользуется точно таким же влиянием, как разумный и достойный. Здесь масса подавляет интеллигенцию. Вторая система, напротив, основана на политическом начале вескости: представительство распределяется между различными классами сообразно с их политическим значением и весом. Невыгода этой системы состоит в том, что разряды избирателей могут быть установлены произвольно; целые классы граждан могут быть исключены из представительства. Даже при самом рациональном устройстве общие схемы не могут вмещать в себе всего разнообразия жизни. Всегда встретятся лица, которые не найдут себе надлежащего места. Но эти недостатки далеко перевешиваются тем, что при сколько-нибудь разумной классификации интеллигенция получает решительный перевес над массою. Притом такое устройство всего ближе подходит к существующей в Германии организации земских чинов, а здравая политика всегда должна стремиться к тому, чтоб сохранить по возможности

* Ibid. S. 286-294.

существующее, преобразуя его только там, где нужно, без всякого революционного насилия*.

Средневековое представительство не может, однако, остаться в прежнем виде. С тех пор в судьбе сословий произошли существенные перемены. Необходимо, прежде всего, дать некоторое участие в представительстве и крестьянскому сословию, которое вышло из крепостной зависимости и заключает в среде своей многих людей, способных обсуждать общественные вопросы. Затем значительная часть дворянских земель перешла в другие руки. Право представлять дворянское сословие должно быть распространено на всех владельцев рыцарских имений, ибо иначе дворянство, как по имуществу, так и по количеству членов, будет иметь значение, далеко не соответствующее его положению. Наконец, духовенство, которое в Средние века обладало обширными поместьями и было исключительным представителем образования, в обоих отношениях потеряло свое прежнее значение. К нему необходимо присоединить ученых. Из всех сословий только горожане остались без существенных изменений **.

Какого же рода устройство следует дать представительству земских чинов? Должно ли оно образовать одну палату или две? За две палаты говорит пример английской конституции. Но не все, что пригодно одному народу, может пригодиться и другому. В самой Англии польза, истекающая от двух палат, не слишком велика. Опыт показывает, что почти все вопросы решаются нижнею палатою, которая имеет значительный перевес над верхнею. В Германии же нет аристократии с таким устройством, как в Англии, а потому и не видать, каким образом учреждение двух палат может быть здесь приложимо. Соединение же всех представителей в одной палате доставляет ту выгоду, что сословия не разрозниваются, как касты, но привыкают смотреть на себя как на членов единой семьи. При всестороннем обсуждении вопросов исчезают исключительно сословные точки зрения и общий интерес естественно получает перевес над частными***.

Наконец, самый существенный вопрос состоит в том, какими правами должны пользоваться представители? Если ограничить их одним совещанием, то представительство превращается в призрак. Правительство может делать все, что ему угодно, и государство, в сущности, остается автократическим. Но призрачные учреждения в политике всегда вредны. Кроме общего недовольствия и разочарования, из этого ничего не может выйти. Если народные представители не должны оставаться простыми фигурантами, они должны быть облечены правами. Какие же это права? В исполнении и суде они, конечно, не могут принимать участия. Тут им

Ibid. S. 296-298.

Ibid. S. 298-303.

Ibid. S. 305-306.

принадлежит только право жалобы и прошения. Существенным их правом должно быть участие в законодательстве. Закон должен быть плодом свободного соглашения монарха и представителей, причем инициативу следует предоставить обеим сторонам. К законодательству относится и финансовая система. Народ нельзя облагать податями без его согласия. А с правом согласия на подати связано и право контроля над приходами и расходами государства. Что касается до войны и мира, то здесь участие представительства может быть только косвенное. Решение этих вопросов должно быть предоставлено правительству *.

Таковы учреждения, которые Круг считал насущною потребностью своего отечества. Здесь общие либеральные начала более или менее удачно применяются к условиям времени и места.

Ратуя, таким образом, во имя либерализма, Круг естественно должен был вступить в борьбу с реакционным направлением. Учение Галлера в особенности сделалось предметом его нападений. В статье, вышедшей в 1817 г. под заглавием «Политическая наука, рассмотренная в процессе реставрации господ Галлера, Адама Мюллера и товарищи» **, он подверг это учение обстоятельному разбору.

Революция, конституция, реставрация, говорит Круг: таковы три главные направления нашего времени. Одни хотят низвергнуть все старое, чтобы на развалинах его воздвигнуть новое; другие, наоборот, пытаются совершившееся сделать как бы не совершившимся и возвратить мир на ту точку, на которой он стоял Бог знает сколько времени тому назад. Между теми и другими стоят конституционалисты, которые для властителей, равно как и для подвластных, требуют законных границ, внутри которых могли бы свободно двигаться силы, так чтобы права всех были обеспечены***.

Ко второму разряду принадлежит Галлер, один из главных корифеев реакции. Корень всего зла он видит в ложных учениях, распространившихся в последние двести лет в политической науке и приведших, наконец, к Французской революции. Как будто революции производятся теоретическими учениями; как будто несколько ложных выводов способны выбросить мир из колен, в которой он движется! Наука сама — произведение жизни. Теория возводит в сознание то, что совершается на практике, и если она, в свою очередь, воздействует на жизнь, то она не может ее создать, так же как зеркало не создает света, который оно отражает. Прежде, нежели существовала политическая наука, были государства, была политическая жизнь. Не учения произвели Французскую революцию, а известное состояние общества. Первоначальная ее

Ibid. S. 307-317.

Krug W. T. Die Staatswissenschaft im Restaurationsprozesse der Herren Haller, Adam Müller und Konsorten betrachten // Krug's gesammelt Schriften. Bd III. Ibid. S. 324.

причина лежала в полной испорченности французского общества и в нестерпимом чувстве этой порчи. От этого она получила такой страшный оборот. Нужна была гроза, чтобы очистить воздух от испарений. И гроза действительно очистила воздух. Несмотря на все ужасы революции, нельзя не сознаться, что вышедший из нее порядок лучше прежнего, ибо высшая Мудрость умеет извлекать добро из самого зла, которое творится человеком. Французская революция была, следовательно, плодом жизни, а не новейших учений. Самые же учения, против которых ополчается Галлер, были плодом прежних революций. Если мы проследим их корни, то мы дойдем до Реформации, как справедливо замечает Адам Мюллер. Реформация потрясла слепую веру в религиозный авторитет, а вместе с тем и в авторитет гражданский. Испытывая основания церковной власти, человеческий разум естественно обратился и к испытанию основ государства. И тут он, отвергнув слепое подчинение, пришел к более либеральным началам. Но откуда произошла сама Реформация? История отвечает: от совершенной испорченности католической церкви и духовенства. Всеобщее сознание этой испорченности именно и дало Реформации неотразимую силу. Начало, следовательно, и здесь лежит в самой жизни. И это произошло не случайно. Слепая вера пригодна детскому возрасту, а потому должна исчезнуть с наступлением совершеннолетия. Давши человеку разум, Бог предназначил его к зрелости. Как скоро человек с развитием сознания задает себе вопрос «почему?», так он должен дать на него ответ, и нет власти в мире, которая была бы вправе ему это воспретить, ибо такова воля Божия*.

Заметим, что Круг идет слишком далеко, когда он отвергает значение теорий как одной из причин Французской революции. Без сомнения, жизнь накопила материалы для переворота, но 1) самая испорченность французского общества, как признает и Круг, была в значительной степени плодом господствовавшего в философии материализма. 2) Никогда преобразование государства не могло бы принять такой оборот, если бы этот оборот не был дан ему именно теориями XVIII века. Таким образом, не жизнь произвела учения, а учения двинули жизнь. Состояние общества дало только повод и материал для приложения революционных идей. То же можно сказать и о Реформации. Конечно, не разврат католического духовенства был причиной того, что человек, как говорит Круг, вступил в совершеннолетие и начал испытывать основания своей веры. И в этом испытании, так же как и в политических теориях, он, конечно, руководствовался не фактами, которые он подвергал критике, а требованиями разума. Поэтому Галлер был совершенно прав, когда он в революционных теориях видел источник переворотов. Опровержение этих теорий составляет существенную его

* Ibid. S. 329-339.

заслугу в науке, и сам Круг, возражая ему, отнюдь не выступает их защитником, а напротив, значительно смягчает их выводы.

Так, Галлер отвергал состояние природы в том виде, как оно понималось философами XVII и XVIII столетий. Круг возражает, что это вовсе не состояние полного разобщения людей, а только состояние внегражданское. Он соглашается с Галлером, что гражданское состояние может быть тоже названо естественным, ибо оно вытекает из природы человека; но вопрос заключается в том, как возникло гражданское состояние из негражданского? Галлер прав, когда он говорит, что мы не имеем об этом никаких фактических данных; но за недостатком исторических сведений остается прибегнуть к рациональному объяснению. Когда Галлер отвергает все такого рода гипотезы как вымыслы, он противоречит сам себе, ибо он сам прибегает к подобному же предположению, выводя государство из отдельных договоров, заключаемых частными лицами *.

Точно так же, продолжает Круг, несостоятельны возражения Галлера против свободы и равенства. Он признает эти начала опасными, потому что они подают повод к злоупотреблениям; но на этом основании можно считать все опасным. Свобода составляет необходимую принадлежность человека как разумно-нравственного существа. Без свободы воли нет нравственности, а без внешней свободы внутренняя ни к чему не служит. Никто, однако, не считает внешнюю свободу неограниченной и безусловной, ибо в таком случае она сама себя бы уничтожила. Необходимо взаимное ограничение свободы отдельных лиц, определение области, предоставленной каждому; в этом состоят права, присвоенные человеку. Как велики эти права? Отвлеченно все эти области равны, но в действительности они по необходимости становятся неравными, ибо природа, внося разнообразие в единство, одарила людей различными способностями и поставила их в разные положения. Однако это эмпирическое неравенство опять уравнивается в государстве, которое всем дает равную защиту и не допускает сильного уничтожить слабого. Неравные в действительности становятся равными перед законом. Когда учителя государственного права говорят о свободе и равенстве, они имеют в виду именно эту свободу, подлежащую взаимным ограничениям, и это равенство перед законом, без которого слабый лишается всякого права. Что же есть опасного в подобном учении? Отнимает ли оно у отца власть над детьми, у хозяина — над слугою, у правительства — над подданными? Берет ли оно имущество у богатого, чтобы раздать его бедным? Сам Галлер в конце концов принужден сознаться, что у человека есть прирожденные права и что в этом отношении все равны, а потому все свободны. Но он хочет хранить это учение в тайне от толпы, чтобы предупредить злоупотребления! **

* Ibid. S. 342-351.

** Ibid. S. 351-356.

Наконец, последнее и опаснейшее заблуждение, которое старается опровергнуть Галлер, это — учение о полновластии народа и связанная с ним теория происхождения государства из договора. Галлер утверждает, что князья существуют прежде народа, а потому властвуют не по перенесенному, а по собственному праву. Вместо общего гражданского договора он выводит государства из множества отдельных договоров между князьями и подданными. Но подобный взгляд противоречит существу государства. Сам Мюллер, усматривая в государстве живой организм, сравнивает его с человеческим телом, сравнение во всяком случае гораздо более верное, нежели сравнение с машиною. Что же бы мы сказали, если бы какой-нибудь физик стал утверждать, что сначала существовали отдельные члены, а затем Бог знает откуда пришла голова, собрала эти члены и сама села на них? Подобная политическая теория нисколько не ограждает самого княжеского права, ибо кто нам ручается, что не придет другая голова и точно так же собственною властью не прогонит первую? А наконец, и сам народ, который сильнее князя, может, опираясь на собственную власть, сменить его и посадить другого. Теория договора, напротив, нисколько не умаляет прав князей, ибо договоры должны соблюдаться, а не нарушаться волею одной стороны. Если власть князя перенесена на него народом, то из этого еще не следует, что она может быть произвольно у него отнята. Частные люди заключают договоры и дают полномочия на время; государство же имеет цель постоянную, а потому и данное князю полномочие никогда не должно прекращаться. Конечно, в этой теории народу приписывается известное полновластие, но совсем не то, которое принадлежит главе государства. Первое — не что иное, как первоначальное полновластие, принадлежащее той сумме сил, которые соединены в государстве как целом; второе же происходит от первого и принадлежит известному физическому или нравственному лицу. Первое есть идея, второе — выражение этой идеи в действительности. Через это князь не становится слугою народа, разве в том смысле, что он действует на пользу народа; но в этом смысле и отец служит детям. Все в мире князья видят в этом священнейшую свою обязанность и единственное свое призвание, отнюдь не разделяя мнения Галлера, который утверждает, что они властвуют по собственному праву, а потому могут распоряжаться государством, как своею частною собственностью *.

Итак, Круг теории Галлера противопоставляет учение о первоначальном полновластии народа. Как уже сказано выше, мы не можем назвать эту критику основательною. Если бы она ограничивалась доказательством, что князья властвуют не по собственному праву, а как представители государства, а потому должны иметь в виду

* Ibid. S. 356-370.

общее благо, а не частное, то против этого ничего нельзя было бы возразить. Но когда на место частной власти князя ставится первоначальное полновластие народа, то здесь опять смешиваются два различных значения слова народ. Как собрание единиц народ не составляет единого целого, а потому в нем не может быть и полновластия; как же скоро он образует одно целое, он становится государством и имеет уже правительство. По идее, власть принадлежит не народу как собранию единиц, а государству как целому над частями. Вопрос состоит только в том, каким образом происходит это целое? Центральное ли ядро собирает вокруг себя рассеянные частицы, или, наоборот, частицы, собираясь, образуют из себя центральное ядро? Сравнение, которым Круг думает опровергнуть Галлера, может быть обращено и против него самого. Немыслимо, чтобы организм произошел из собрания рассеянных рук и ног, которые, сплотившись, наконец поставили бы над собою голову. В действительности процесс может начаться с того или другого конца, а потому считать правомерным исключительно тот или другой способ будет равно односторонне.

Круг восстает далее против положения Галлера, что сильнейший всегда есть вместе и благороднейший. Он указывает, с одной стороны, на римских императоров, которых власть не знала границ, с другой стороны — на Христа и апостолов, вышедших из самых низких общественных слоев *. В заключение он признает достоинство отдельных замечаний Галлера, например того, что он говорит о страсти правительств всем управлять и вмешиваться во все частные дела, о преувеличениях и непоследовательности многих из новейших писателей, о пагубном стремлении уничтожить все старое и заменять его новым, о недостаточности чисто юридических начал в общественных отношениях и о необходимости повсюду вводить нравственные и религиозные мотивы и т.д. Но все это, говорит Круг, перлы, затерянные в грязи. В основании книги лежит ложная мысль и вредное направление **.

Сам Круг, несмотря на то, что он признавал иногда необходимость введения нравственных и религиозных начал в политическую жизнь, отнюдь не выходил из пределов чисто юридической теории государства. Лучшим доказательством служит его «Дикеополитика», т. е. политика, основанная на праве. Это сочинение в популярной форме содержит в себе полное изложение его учения. Издавая его, Круг именно имел в виду противопоставить свое воззрение теории Галлера, почему и озаглавил его: «Новое восстановление политической науки посредством юридического закона» ***. Оно вышло в 1824 г.

* Ibid. S. 383-385.

** Ibid. S. 390.

*** Krug W. T. Dikäopolitik oder neue Restauration der Staatswissenschaft mittels des Rechtsgesetzes // Krug's gesammelte Schriften. Bd VI.

Круг прямо начинает здесь с отношения политики к нравственности. Одни говорят, что первая должна быть основана на последней; другие, напротив, утверждают, что между ними нет ничего общего. Политику первого рода можно бы назвать ангельскою, вторую дьявольскою. Но между обеими есть нечто среднее, именно политика правомерная, которая закон права считает высшим мериллом государственной деятельности. Наименьшее, чего можно требовать от разумно-нравственного существа, это то, чтобы оно соблюдало этот закон в отношении к другим. То же требование можно предъявить и государству. Оно должно быть правомерно в своей цели и в средствах, в своем устройстве и в управлении, в своих внутренних и внешних отношениях. Политика настолько связана с нравственностью, насколько нравственность в обширном смысле заключает в себе учение о праве. Учение же о добродетели, или нравственность в тесном смысле, прилагается только к отдельному человеку. Оно не может составлять задачи политической науки, ибо иначе пришлось бы в политику включить педагогику, аскетику, казуистику, катехетику и т. д. *

Что же такое юридический закон? Откуда он вытекает и чем он отличается от закона нравственного?

Источник его — разумно-свободная природа человека. Разум стремится к полному согласию всех жизненных проявлений человеческой души, с одной стороны — представлений и знаний, с другой стороны — стремлений и действий. Первое составляет область разума теоретического, второе — разума практического. Последний, в свою очередь, дает законы двоякого рода: для внутренней и для внешней деятельности человека. И тот и другой закон имеет предметом человеческую свободу, которая, так же как и деятельность, разделяется на внутреннюю и внешнюю. Первая состоит в свободе воли, то есть в самоопределении, независимом от влечений, вторая — в независимости внешних действий от чужой воли. Обе составляют необходимую принадлежность разумно-нравственного существа, ибо без них оно не могло бы следовать нравственному закону. Если бы человек не был внутренне свободен, он, как животное, необходимо подчинялся бы господству чувственных влечений. Если бы он не имел внешней свободы, он не мог бы ни к чему прилагать своей внутренней свободы, ибо как цели, так и средства были бы ему навязаны извне. Закон внутренней свободы есть закон нравственный. Он относится к помыслам, а потому не сопровождается принуждением. Закон внешней свободы, напротив, требует согласия внешних действий различных разумных существ, а так как эти действия сталкиваются в физическом мире, то приложение его влечет за собою физическое принуждение. Если бы внешняя свобода каждого была неограниченна, она становилась бы в противоречие с внешнею свободою других.

* Ibid. 1 Absch. S. 301-303.

Из этого произошла бы взаимная борьба и уничтожение людей друг другом. Для установления согласия разум требует взаимного ограничения свободы. Каждый волен выбирать цели и средства своей деятельности, но с тем чтобы он уважал личное достоинство всех других, то есть чтобы он ограничивал свою свободу условием совместного существования с другими. В популярной форме этот закон выражается известными изречениями: не обижай никого (*neminem laede*) и воздавай каждому свое (*suum cuique tribue*), изречениями, выражающими в сущности тождественную мысль, одно в отрицательной, другое в положительной форме, ибо обида состоит именно в посягательстве на чужое. Таким образом, каждому лицу присваивается известная область свободы, в пределах которой ему дозволяется действовать, как ему угодно. Эта область есть область права, и определяющий ее закон есть закон юридический *.

Отсюда ясно, что права неразрывно связаны с обязанностями. Когда я приписываю себе право, я тем самым налагаю на других обязанность его уважать, и наоборот, приписывая права другим, я признаю за собою обязанность уважать эти права. Следовательно, юридический закон не только дозволяет, но и воспрещает. Но право есть условие, а обязанность — обусловленное; право составляет основание, а обязанность — последствие. Чтобы юридически доказать чужую обязанность, я должен прежде доказать свое право. Те, которые выводят права из обязанностей, извращают истинное отношение этих двух начал. Есть обязанности независимые от права, но это — обязанности нравственные. Только последние имеют положительный характер; юридические же обязанности — первоначально отрицательные, и только впоследствии, при известных условиях, они могут перейти в положительные **.

Из всего этого следует, 1) что тот, кто в отношении к другим хочет иметь права, должен признать за собою и обязанности, и наоборот, кто хочет на других наложить обязанности, тот должен признать за ними и права. 2) Отсюда следует, что между людьми нет таких общественных отношений, в силу которых один член общества имел бы только права, а другой только обязанности, ибо человек, который не имел бы прав или обязанностей, не был бы разумно-нравственным существом. Поэтому муж имеет как права, так и обязанности в отношении к жене, родители — к детям, господа — к слугам, правители — к подданным и наоборот. Из этого ясно, 3) что между людьми, по юридическому закону, не может существовать неограниченной власти: деспотия и рабство одинаково противоречат праву. Поэтому 4) не может быть и безусловного повиновения, а есть только повиновение законное, обусловленное взаимными правами и обязанностями. Человек может требовать повиновения от другого только во имя закона, а закон как проявление

* Ibid. S. 304-308.

** Ibid. 2 Absch. S. 309-312.

ние разума не может предписывать ничего, что бы противоречило праву и нравственности *.

Заметим, что в этом последнем заключении Круг делает логический скачок. Все выведенные им начала права, в существе своем непоколебимые, относятся единственно к отношениям отдельных лиц между собою. Какого рода видоизменения они могут потерпеть в приложении к отношениям отдельного лица к обществу как целому, остается пока неизвестным. А что те и другие отношения не одинаковы, в этом нельзя сомневаться. Право сопровождается принуждением; но возможно ли принуждение в отношении к высшему судье, которому в обществе вверено решение юридических вопросов? Очевидно, нет. В обществе непременно должна существовать какая-нибудь верховная власть, которой решения не подлежат дальнейшему спору, которая по этому самому юридически неограниченна. Чтобы показать свое положение, Круг вынужден снова смешать разделенные им области права и нравственности. «Хотя в теории,— говорит он,— эти два рода обязательств справедливо различаются, однако человек в жизни постоянно должен иметь в виду все свои обязанности, когда вопрос идет о том, должен ли он оказать повиновение данному извне повелению. Если предписывается что-нибудь недоброе, то это явное доказательство, что повеление дано не во имя закона, а потому оно не вправе требовать себе повиновения» **. Спрашивается, какого закона: юридического, нравственного, естественного, положительного? и которому из них следует дать перевес в случае столкновения? Ясно, что тут происходит полное смешение понятий. Как скоро вопрос переносится на нравственную почву, так о правомерном повиновении не может уже быть речи. Личная совесть должна решать, насколько нравственные обязанности должны быть поставлены выше юридических; правительство же с своей стороны не может не требовать безусловного повиновения, ибо в общественном деле личная совесть не может быть решающим началом.

Этот вопрос приводит Круга к исследованию оснований общежития. И здесь, как и в прежних своих сочинениях, он отвергает состояние природы в смысле состояния внеобщественного. Такое состояние не может быть названо естественным, ибо оно противоречит природе человека. Но можно и должно признать естественное состояние в противоположность гражданскому. Последнее есть сложное явление; оно предполагает уже существование языка, семейства, домашних учреждений, племенного сродства, общих нравов и обычаев. Следовательно, фактически так же, как и умозрительно, мы должны предполагать гражданское состояние вышедшим из другого ***.

* Ibid. S. 312-316.

** Ibid. S. 314-315.

Ibid. S. 316-324.

С этим можно было бы согласиться, если бы Круг остановился на том, что гражданскому состоянию предшествует семейный или родовой быт. Но вместо того, придерживаясь старой фикции, он признаком естественного состояния считает господство частной воли и частной силы, тогда как в гражданском водворяются общая воля и общая сила. Отсюда он выводит, что в естественном состоянии охранение права предоставляется доброй воле каждого, а потому если это состояние не может быть названо неправомерным, то оно во всяком случае бесправно. Мир составляет здесь случайность, и в каждую минуту есть возможность нарушения права и возникновения войны. В таком положении человек оставаться не может. Охранение права требует от него вступления в гражданское состояние. Как разумное существо он не может хотеть жить иначе как в государстве. Какого рода эта обязанность — нравственная или юридическая, это, в сущности, все равно, ибо гражданское состояние возникает не вдруг, а постепенно и почти бессознательно; как же скоро оно утвердилось, оно не может не считать преступником всякого, кто захотел бы его уничтожить и возвратиться к естественному состоянию *.

Из этих начал Круг выводит существо и цель государственного союза. Существо всякого общества определяется его целью, а если целей несколько, то главную из них. Какова же цель государства? Публицисты на этот счет приходят к совершенно различным мнениям. Одни ставят целью государства охранение права, другие — общественное благо, третьи — вечное спасение. Опыт с своей стороны не представляет нам никакого исхода из этой путаницы воззрений. Если мы взглянем на действительно существовавшие в истории государства, то увидим такую смесь бесправия, страданий, пороков и безбожия, что мы усомнимся, подходит ли которая-нибудь из означенных целей к действительному государству. Руководящую нить в этом лабиринте могут дать нам только изложенные выше начала. Разум требует осуществления юридического закона. Этот закон должен быть как бы духом, управляющим всяким человеческим обществом. Следовательно, необходимо установление такого порядка, в котором область свободы каждого была бы определена общею волею и охраняема общею силою. Это и есть государство. Главную цель его составляет, следовательно, охранение права или господство юридического закона. Но это не мешает ему преследовать и другие сообразные с разумом цели. Человек естественно стремится к благосостоянию и изыскивает для этого средства. Государство тем более должно этому содействовать, что бедность и страдания ведут к нарушению права. То же следует сказать и о духовных благах. Государство не было бы истинно человеческим учреждением, если бы оно исключало из себя эти высшие задачи разума. Содействуя науке, искусству, религии, по-

* Ibid. 3 Absch. S. 324-326.

кровительствовавшим школам и церкви, государство тем вернее достигает и собственной своей цели — охранения права. Но вводя все эти предметы в круг деятельности государства, не следует забывать, что все это — цели побочные и отдаленные. Ставить их, отдельно или в совокупности, непосредственною целью государства не только неправильно, но и опасно. Это побуждает государственных людей преступать юридический закон во имя общественного блага, тогда как юридический закон должен быть первою основою государственной деятельности, а все остальное должно с ним сообразоваться. Еще менее можно согласиться с мнением тех, которые вследствие ложной философии или иерархических притязаний сливают в одно церковь и государство. По существу своему, это — два различных союза, которые могут быть или сопоставлены, или подчинены один другому. А так как сопоставление ведет к постоянной борьбе, то необходимо подчинение. Который же из них должен подчиняться другому? Так как непереносимое требование разума заключается в господстве юридического закона, а осуществление этого закона предоставляется государству, то очевидно, что церковь должна подчиняться государству, а не наоборот. Хотя бы она идеально стояла выше, в действительности она, как и всякое другое общество, не может быть изъята от господства юридического закона, который составляет первое и необходимое условие всякого общежития *.

Нельзя не заметить, что главная и второстепенная цели государства весьма плохо связаны у Круга. Он вывел необходимость государства как юридического союза; но почему же сюда должны присоединяться другие цели? Видеть в них только средства для охранения права — значило бы низвести самые высокие стремления человеческого духа на степень орудия практических требований. Недостаточно также сказать, что государство как истинно человеческое учреждение не может исключить их из себя. Если оно составляет специальное учреждение для охранения права, то нет для него причины задаваться еще и другими задачами. Почему же церковь, которая тоже истинно человеческое учреждение, не должна ставить себе целью охранение права? Ясно, что только практические требования заставили Круга выйти из пределов выработанной им теории. Очерченная им для государства область оказывалась слишком тесною; жизнь ставила и другие задачи, которые не могли быть устранены. Но так как в пределах теории им не было места, то оставалось прилепить их с боку без всякой внутренней связи с существом политического союза.

Из чисто юридической теории государства следует далее, что если оно основано на охранении права, то нет необходимости, чтобы оно было связано с известною народностью. Действительно, Круг признает это только полезным, но не необходимым. Опыт показывает, что один народ может составлять несколько разных

* Ibid. 4 Absch. S. 330-339.

государств, и наоборот, одно государство может заключать в себе несколько народностей. Государство может даже просто возникнуть из всякого сброда. Лишь бы господствовал юридический закон, разуму все равно, из кого составляется союз*. Таким образом, национальные требования немцев, которые сам Круг так горячо защищал, теряют существенное свое значение вследствие одностороннего построения государства.

Но если состав государства безразличен для юридического закона, то не безразличен способ его происхождения. Круг рассматривает различные мнения писателей на этот счет. Одни видят в политическом союзе создание Божие; это — мнение богословов. Но Бог непосредственно не устанавливал ни одного государства. Если в религиозном смысле все есть создание Божие, то это не исключает ближайших причин, которые и должны исследоваться наукою. Другие, именно натуралистические политики, смотрят на государство как на создание природы. По их мнению, природа вложила в человека общежительный инстинкт, который действует так же, как силы физические или химические, соединяя сродные элементы и образуя из них одно органическое целое. Эта теория, заманчивая с первого взгляда, грешит тем, что она человека и государство низводит на степень орудия слепых сил. Между тем человек есть разумно-нравственное существо, которое не руководствуется одним инстинктом, но полагает себе разумные цели и исполняет их посредством свободной воли. Учение, которое не принимает в расчет этого самого существенного элемента человеческой природы, не может быть одобрено. Третьи ищут оснований государства в превосходстве силы. Но в таком случае атаман разбойников был бы правомерным государем. Если сила дает право, то всякий, у кого сила в руках, имеет право низвергнуть правителя и сесть на его место. Очевидно, что этим способом можно установить только временную власть. Если государство должно быть постоянным учреждением, то к силе необходимо присоединить и право. Вследствие этого четвертое мнение, мнение философствующих политиков, выводит государство из договора. Если эта теория хочет иметь притязание на историческое значение, то она окажется несостоятельною, ибо история не представляет нам примера подобных договоров. Но несостоятельна ли она и сама по себе? Правомерное государство непременно должно представляться основанным на договоре, ибо таково требование юридического закона. Не следует только воображать себе этот договор явным и формальным. Большая часть договоров не имеет этого характера. Когда мы видим союз людей, подчиненных единой власти, мы должны в основании предположить добровольное их согласие. Природа могла их к этому привлечь; превосходная сила могла их понудить, но все-таки их воля должна была изъявить свое согласие.

Ибо воля человека может противостоять природному влечению, и нет человека такого сильного, что он мог бы властвовать, не опираясь на согласие подчиненных.

В результате можно сказать, что все означенные выше четыре мнения заключают в себе долю правды. Справедливо, что Бог создал человека для государственной жизни и руководит его на этом пути; но исполнение божественного закона предоставлено человеческой свободе. Справедливо и то, что природа влечет человека к гражданственности; но эти природные инстинкты прилагаются опять же не иначе как при посредстве свободы. Справедливо и то, что нередко превосходная сила соединяет людей и таким образом подает повод к образованию государства; но без содействия свободы никакая сила не могла бы упрочить политический порядок и распространить его по всей земле. Наконец, понятно, что и свобода одна недостаточна, чтобы дать бытие государству; но она составляет по крайней мере одно из главных условий его существования *.

В этом последнем выводе Круг, по-видимому, отступает от исключительной теории договора, или во всяком случае значительно ее смягчает. Но вслед за тем он все-таки на ней останавливается и доказывает даже, что она может быть оправдана исторически, между тем как за несколько страниц он сам же утверждал, что история не представляет примеров подобных договоров **. Ясно, что у него происходит значительное колебание понятий, которое указывает на недостаточность самого учения.

При таком взгляде на цель и происхождение государства основным элементом последнего является не власть, а личное право. Государство не что иное, как средство для охранения права; поэтому личные права ему предшествуют. Права граждан суть только видоизмененные гражданским порядком права человека. Однако Круг весьма далек от теории неприкосновенных и неотчуждаемых прав человека и гражданина, провозглашенной французским Учредительным собранием. У него это учение является опять-таки в весьма смягченном виде. Права человека, говорит он, заключают в себе право на жизнь и право на свободную деятельность. Первое сохраняется и в государстве, которое берет его только под свою защиту, а потому воспрещает самоуправство, иначе как в случаях необходимой обороны. Круг не упоминает о том, что государство имеет право требовать от граждан, чтобы они рисковали своею жизнью для защиты интересов отечества. Второе право человека, право на свободную деятельность, заключает в себе право на свободное движение тела и духа и на свободное употребление телесных предметов для целей духовного мира. Здесь по необходимости в государстве устанавливаются ограничения; но какие? Они не должны простирались до уничтожения самого

* Ibid. 6 Absch. S. 346-360.

** Ibid. S. 360-364; cp.: S. 357.

права, ибо через это государство уничтожило бы собственную свою сущность; жизнь в нем перестала бы быть человеческою жизнью. Они не должны также представляться делом произвола, ибо это опять ведет к уничтожению свободы. Ограничения, говорит Круг, должны быть такого рода, что всякий человек, если бы он поступал разумно, должен бы был сам себя ограничить таким образом *. Заметим, что вопрос состоит именно в том, какого рода ограничения требуются разумом: можно ли тут поставить ясные и непреложные границы или эти границы должны изменяться, смотря по обстоятельствам? И кто в этом судья? Наконец, во имя чего требуются ограничения: во имя чужого права или также во имя общего блага? Если мы примем последнее, то, по неопределенности этого начала, тут нельзя положить никакой границы. Между тем Круг признает правомерность ограничений этого рода. Разбирая права духовной свободы, он прямо дает государству право запрещать оскорбительные или опасные для него речи и сочинения и подвергать виновных наказанию. Только в приложении к цензуре, говорит он, нельзя утверждать это столь же безусловно, ибо тут дается слишком большой простор произволу, и это легко может повести к подавлению даже истинных и полезных мыслей. Поэтому он допускает цензуру только в виде наказания, когда писатель уже раз провинился **. Ясно, что этим путем можно идти далеко.

Точно так же смягчаются и требования равенства. Круг совершенно основательно признает равенство права и неравенство прав. Все равны перед законом, но права лиц различны, ибо они зависят от способностей, деятельности, обстоятельств ***. Спрашивается, совместны ли привилегии с этим началом? На этот вопрос, говорит Круг, нельзя отвечать вообще, но надобно спросить: о каких привилегиях идет речь? Есть привилегии необходимые, полезные или, по крайней мере, безвредные, а другие — чисто случайные или даже противоречащие праву. Так, например, правители и вообще должностные лица по необходимости пользуются некоторыми преимуществами перед другими. Точно так же могут быть установлены некоторые изъятия или освобождения от тяжестей в пользу лиц, находящихся в особенном положении или посвящающих себя известной деятельности, полезной обществу. Но есть привилегии, которые не имеют подобного основания, которые произошли чисто случайно. Сюда относятся, например, преимущества, которые даются лицам, исповедующим известную веру. Господство того или другого вероисповедания составляет нечто случайное, изменяющееся по времени, месту и обстоятельствам. Унижение других в этом отношении есть нарушение права. Точно так же случайны

* Ibid. 7 Absch. S. 365-369.

** Ibid. S. 372-373.

*** Ibid. S. 377-380.

преимущества, которые даются рождению. Законность рождения или знатность породы отнюдь не составляют условия высшего образования. Поэтому наследственные привилегии дворянства, когда они состоят не в простом почете, в котором никто не откажет старинным именам, а в преимущественном праве на известные должности, противоречат требованиям права. Но всего вреднее те привилегии, которые создают государство в государстве, например права, которыми во многих странах пользуется римско-католическое духовенство. Вообще можно сказать, что общественному благу противоречат все те преимущества, которые какую-нибудь часть общества превращают в касту, ибо этим развивается дух обособления, и частный интерес получает перевес над общим. Против всех привилегий подобного рода надобно восставать и требовать их отмены, хотя и тут часто приходится действовать крайне осторожно и идти постепенно, чтобы не усилить зла, вместо того чтобы его устранить. Полезные же преимущества необходимо сохранять. Так, невозможно, чтобы в государстве все равным способом и в равной степени принимали участие в общественных делах. Для этого требуются условия, которые существуют не у всех. Везде исключаются женщины, которые по своей природе предназначены к семейной жизни. Исключаются несовершеннолетние, так как они не в состоянии еще иметь зрелого суждения. Наконец, устраняются и неимущие, которые в государстве только числятся, а не весят; находясь в зависимости от других, они не могут иметь свободного голоса в общественных делах. Конечно, и здесь слишком далеко идут те, которые для участия в общественных делах требуют значительного имущества или поземельной собственности; но благоразумный законодатель вправе требовать от действительного гражданина, чтобы он честно и прилично содержался от своего ремесла *.

В результате вся эта аргументация Круга сводится к требованиям умеренного либерализма. Но поставленный в таком виде вопрос с юридической почвы переносится на политическую, и тут нет причины принимать одно и отвергать другое. Если во имя государственной пользы могут быть установлены привилегии, то почему же не наследственное дворянство и не господствующее вероисповедание? Считать то и другое чистою случайностью — слишком поверхностно. Как скоро эти учреждения истекают из народной жизни, они могут быть точно так же правомерны, как и всякие другие.

Согласно с прежним своим учением, Круг первоначальное полновластие приписывает народу. Но эта покоящаяся в народе сумма сил, говорит он, есть, в сущности, только идея. Отдельные силы, которые совокупляются мысленно, в действительности разобщены и рассеяны по всему пространству государства. Без

* Ibid. Absch. 8. S. 381-395.

соединяющего их средоточия, без личности их связывающей, они не составляют живого целого. Это не более как тело без головы. Отсюда необходимость живого представителя власти, главы государства, или правителя, в отношении к которому остальные являются подданными *.

Круг мог бы вывести отсюда, что рассеянными единицам нельзя приписать никакой власти, ибо тело без головы не может иметь притязания на господство. Но, как мы уже видели, тут в его теории оказывается существенный недостаток, недостаток, впрочем, чисто отвлеченный, ибо полновластие народа остается у него идеею без приложения. Как скоро власть перенесена на известное лицо, так народ теряет уже право брать ее назад. Если перенесение наследственно, то власть остается принадлежностью рода, пока он не прекратится. Круг признает, что и фактически установившаяся власть, как показывают бесчисленные примеры, может с течением времени сделаться правомерною. Основание здесь — опять-таки молчаливое согласие народа. Не следует только под именем народа разуместь одну чернь, и не надобно спрашивать, сколько требуется времени, чтобы неправомерная власть превратилась в правомерную. Это совершается постепенно и незаметно, так что никто не может указать тут границы **.

Если же, продолжает Круг, оставив точку зрения права, мы с точки зрения пользы спросим, какого рода перенесение власти лучше для государства, наследственное или выборное, то на этот вопрос нельзя дать безусловного ответа. Защитники выбора ссылаются на то, что при наследственном правлении власть подвержена случайностям и может попасть в дурные руки; но они забывают, что и выбор нередко возводит недостойных и притом сам сопряжен с большими опасностями, ибо он дает простор всем страстям и козням. С другой стороны, друзья наследственности утверждают, что это начало одно в состоянии установить в государстве прочный порядок; но и они забывают, что многие наследственные правительства падали и превращались в выборные. Тут все зависит от условий и отношений. Вообще, нет такого устройства, которое бы обеспечивало государству всегда наилучших правителей. Эта задача неразрешима, ибо способность зависит от личности, и случайность играет в человеческих делах слишком большую роль ***.

Это не значит, однако, что нельзя поставить вопроса: каков наилучший образ правления? Но надобно различать просто лучший и относительно лучший. Не все, что теория признает совершенным, везде приложимо. Тут необходимо принять во внимание бесчисленное множество условий, временных и местных. Это — дело не теории, а практики. Поэтому вопрос об относительно лучшем

Ibid. Absch. 10. S. 408-409.

Ibid. S. 411-414.

Ibid. S. 416-419.

государственном устройстве выходит из пределов науки. Вопрос же о наилучшем устройстве вообще сводится к тем условиям, которыми всего более обеспечивается господство юридического закона, ибо в этом состоит существенная цель государства. Наилучший образ правления тот, который наиболее правомерен, то есть тот, который всего более содействует охранению права.

С этой точки зрения автократическая монархия не может быть признана идеалом государственного устройства. Ибо если неограниченный властитель не превосходит всех подчиненных способностями и добродетелью, что вообще составляет весьма редкий случай, то злоупотребления власти, по вине ли самого правителя или его окружающих, почти неизбежны. Поэтому опыт показывает, что подобные монархии легко склоняются к деспотии. Они пригодны только для грубых народов, которые нуждаются в строгой дисциплине.

Еще менее соответствует идеальным требованиям автократическая полиархия²⁵, ибо здесь зло только усиливается. Если правители действуют заодно, то увеличивается общий гнет и вместо одного деспота являются многие. Если же они между собою враждуют, то государству грозит распадение.

Таким образом, при определении наилучшего образа правления автократизм вообще должен быть устранен. Остается синкретизм²⁶; но который: монархический или полиархический? Несомненно, первый, ибо полиархия, в какой бы форме она ни являлась, непременно влечет за собою двойное зло: она уменьшает значение власти и погружает государство в раздор. Поэтому всего лучше, когда во главе государства стоит единое лицо. Но так как неограниченная власть опасна для права, то требуются ограничения. Следовательно, синкретическая, или ограниченная, монархия должна быть признана за идеально лучший образ правления для образованных народов *.

Как же должна быть устроена эта монархия, чтобы она могла соответствовать требованиям права? Круг излагает здесь известное уже нам учение о конституционной монархии, присовокупляя только, что относительно подробностей надобно сообразоваться с особенностями каждого государства. Общая форма для всех народов принадлежит, так же как и панацея от всех болезней, к области химер. Сама природа, установляя разнообразие в единстве, позаботилась о том, чтобы проекты такого рода оставались неприложимыми. Хотя в устройстве государств участвует свобода, но так как они всегда находятся под влиянием естественных условий, то каждое непременно имеет свои особенности**.

Отсюда ясно, что наилучшее государственное устройство составляет только идеал, к которому можно приближаться, но которого

* Ibid. Absch. 14. S. 467-472.

** Ibid. S. 483.

никогда нельзя достигнуть. Таков удел человечества. Притом самые совершенные учреждения остаются мертвою формою, если нет оживляющего их духа. Надобно, чтобы устройству соответствовало управление, а оно главным образом зависит от людей. Итак, в конце концов мы вступаем в область свободы, которая лежит вне всяких расчетов.

Предполагая, однако, существование доброй воли в правителях и гражданах, мы должны сказать, что непременное от нее требование состоит в постепенном усовершенствовании учреждений, то есть в приближении к такому порядку вещей, в котором возможно большая свобода граждан сочетается с возможно сильною деятельностью власти. Это и есть то, что следует разуметь под именем реформ. В них выражается не беспокойный дух новизны и еще менее страсть — к разрушению, а разумное убеждение, что при несовершенстве человеческих дел необходимо постепенное движение к лучшему и что в государственных учреждениях с постоянством должен соединяться и прогресс. Сильное и разумное правительство само всегда будет начинателем этого движения. Усматривая недостатки существующих учреждений, оно само позаботится об их устранении и о введении лучшего порядка. Поэтому и говорят, что преобразования должны совершаться сверху. Побуждение может исходить и снизу; проникательные граждане могут обращать внимание правительства на существующие недостатки. Но законный путь всегда предполагает инициативу правительства. Если же правительство не исполняет своей задачи, то обыкновенным результатом бывает движение снизу. Вместо реформ наступает революция.

В этих переворотах невозможно видеть только проявление дурных сторон человеческой природы. Революции бывали во все времена; но история не представляет примера народа, который, имея хорошее правительство, стал бы без всякого повода предаваться духу возмущения. Нельзя приписывать эти перевороты и ложным учениям. Демократические учения существовали опять-таки во все времена, но не везде они находили восприимчивую почву. Истинная причина революций заключается в невыносимом гнете, который производит, наконец, взрыв. Там, где есть справедливое и доброжелательное правительство, нечего опасаться революции.

Нужно ли при этом ставить еще вопрос о праве народа производить революции? Теоретически этот вопрос неразрешим, ибо он заключает в себе противоречие. Без правительства нет правомерного порядка вещей, а потому не может быть и права уничтожить этот порядок. Если рассматривать это как право необходимой обороны, что делает и сам Галлер, то и здесь никогда нельзя решить, действительно ли такая оборона была необходима? Практически же этот вопрос тысячу раз разрешался сам собою. Когда гнет достигал такой степени, что для большинства граждан он становился невы-

носим, то, доведенные до отчаяния, они хватались за всякое средство, чтобы выйти из этого положения. Но горе народу, которому приходится ставить себе такого рода вопрос! *

Мы видим, что в результате Круг становится на точку зрения весьма умеренного либерализма. Он начал с опровержения Ансильона, но чем более он жил, тем более он приближался к воззрениям последнего. К концу своего поприща ему пришлось ратовать против ложных либералов, так же как он в начале ратовал против реакционеров. Июльская революция²⁷ дала сильный толчок европейскому либерализму и многих кинула в крайность, не только во Франции, но и в Германии. Круга это возмущало. «Всякая крайность,— говорит он,— противна моей природе, где бы и как бы она ни являлась» **. В обличение этих стремлений он в 1832 г. написал статью под заглавием «Ложный либерализм нашего времени» («Der falsche Liberalismus unserer Zeit»).

Он противопоставляет здесь начала истинного либерализма ложному. Истинный либерал всегда опирается на право, которое есть свобода в законных пределах. Поэтому он никогда не требует для себя большего, нежели для других. Ложный либерал, напротив, исходит от произвола и, не обинуясь, нарушает чужое право, как скоро оно ему мешает. Для противников он требует всей строгости закона, а для себя и своих единомышленников — полнейшего снисхождения. Держась в пределах права, истинный либерал уважает законный порядок, зная, что он составляет лучшую охрану свободы. Ложный же либерал под именем свободы разумеет необузданность и всегда готов ниспровергнуть законный порядок. Истинный либерал прежде всего — друг мира; он желает, чтобы каждый народ управлялся так, как ему приходится по его нравам и понятиям. Ложный либерал, напротив, хочет навязывать всем свои мнения и всегда готов затеять войну во имя так называемых принципов. Истинный либерал не льстит ни князьям, ни народам, но тем и другим открыто говорит то, что он считает правдою. Ложный либерал бранит князей и льстит народу, доходя до пределов самого низкого раболепства. При этом под именем народа он отнюдь не разумеет все классы общества в совокупности. Аристократы выставляются врагами народа, а потому исключаются из его среды; аристократиею же называется не только наследственное дворянство, но и все, что возвышается над толпою, богатством, правами, образованием. Таким образом, для понятия о народе остается одна чернь, которой и поклоняются в погоне за популярностью. Далее, истинный либерал становится в оппозицию только для защиты истины и права. Ложный же либерал всегда находится в оппозиции; он

* Ibid. Absch. 15. S. 484-494.

** Krug W. T. Der falsche Liberalismus unserer Zeit. Vorrede // Krug's gesammelte Schriften. Bd V.

восстает против всего, что только исходит от правительства. Единственная его цель — ослабить правительство или поставить его в затруднение, а на средства он неразборчив. Истинный либерал хочет законной свободы печати, без предварительной цензуры, но с ответственностью перед судом. Ложный либерал возмущается против всякой ответственности; он требует для себя неограниченной свободы печатать все, что ему угодно, бранить всех сколько угодно, и только сочинения противников он готов уничтожать всеми средствами. Истинный либерал желает реформ, ложный либерал стремится к революции. Все преобразования кажутся ему слишком медленными; он все хочет перевернуть зараз. Наконец, истинный либерал во всем знает меру; ложный же либерализм всегда бросается в крайности. Всего противнее ему середина, между тем как истинная середина, как ни трудно ее держаться, всегда должна составлять цель разумного человека, в особенности государственного. Ложные либералы выдают себя за людей движения; но движение — не все: нужна и устойчивость. Самое движение должно иметь цель и меру. Кто не умеет их соблюдать, кто всегда делает, или слишком много, или слишком мало, тот, по немецкой пословице, всегда останется дураком.

Все эти антитезы Круг подкрепляет многочисленными примерами из современных политических нравов. Нельзя не сказать, что эта меткая характеристика пригодна и для нашего времени.

В том же духе написана и другая брошюра «Об оппозиционных партиях в Германии и вне ее и об их отношениях к правительствам» *. Но эта последняя обличает весьма слабое развитие политической мысли. Круг восстает здесь против оппозиционных партий вообще и требует, чтобы критика касалась отдельных вопросов, а не смыкалась в систематическую оппозицию. Он в борьбе партий видит главное зло современных обществ. Между тем история конституционных учреждений доказывает, что правильное их действие возможно только с помощью этой борьбы. Партии составляют не только естественное последствие, но и необходимое условие свободной политической жизни.

Круг сам принимал участие в прениях саксонских палат, установленных конституцией 1831 г.²⁸ Но эта поздняя политическая деятельность в тесной среде не могла развить в нем государственного смысла. Он остался литератором, и на этом поприще играл в Германии значительную роль. С своею живою натурою он принимал участие во всем и писал статьи по разнообразным политическим вопросам, занимавшим умы того времени. В итоге он является одним из талантливых представителей немецкого либерализма десятых и двадцатых годов. Исходя из школы Канта, он внешнюю свободу связывал с внутреннею и в праве видел

* Krug W. T. Ueber Oppositionspartien in und ausser Deutschland und ihr Verhältniss zu den Regierungen // Krug's gesammelte Schtitten. Bd VI.

нравственное начало в обширном смысле. Поэтому крайности либерализма были ему чужды. Тем не менее одностороннее развитие юридической теории невыгодно отозвалось на его политическом учении: государство все-таки остается у него чисто юридическим установлением. Оттого в его воззрениях индивидуалистические начала преобладают, особенно в теоретическом построении первоначальных основ политической жизни. Это самая слабая сторона его учения. И если эти начала смягчаются у него в выводах, то смягчение нередко происходит в ущерб последовательности. Вообще, можно сказать, что Круг более замечателен как талантливый популяризатор либеральных идей, нежели как чистый теоретик. Во всяком случае, ему принадлежит почетное место в немецкой политической литературе.

7. Роттек²⁹

В еще более либеральном направлении, нежели Круг, развивал теорию права главный представитель немецкого либерализма в двадцатых годах нынешнего столетия Карл Роттек. Он откидывает уже все сдержки, проистекающие из законов органического развития обществ. Индивидуалистические начала выставляются им как безусловные требования разума. Главное его сочинение «Учебник рационального права и политических наук» («Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften»), вышедшее в 1829 г., писано именно с целью противопоставить идеальные требования права историческому его развитию. Фактическое существование известной юридической нормы, говорит Роттек, не означает еще, что она справедлива. Невежество, насилие, случайность, закоренелые привычки нередко устанавливают юридические отношения, которые отнюдь не соответствуют истинным требованиям права. В действительности мы встречаем противоречащие друг другу законы; надобно знать, которые из них хороши и которые дурны, а для этого необходимо возвыситься над фактическими данными. Для обсуждения существующего нужно высшее мерило, которое мы можем найти только в разуме. Он один дает нам начала права в их чистоте; из него только мы можем узнать, что в существующих учреждениях правомерно и что неправомерно. Право есть разумная идея, а не произведение физических сил. Правомерным должно считаться не то, что совершается по законам природы, а то, что должно совершаться по законам разума. Притеснение, как бы оно ни объяснялось естественными условиями, никогда не может быть правомерным и всегда возмущает человеческую душу. Уважение можно оказывать только тому, что само по себе достойно уважения, а не случайному сбору человеческих постановлений. Поэтому равно следует отвергнуть как учение исторической школы, которая слепо придерживается существующего, так и фантастические построения натурфилософов, которые в праве и государстве видят

органические проявления природы, а не произведения свободы и разума*.

Для вывода начал права Роттек не считает нужным отправляться от какой-нибудь готовой философской системы. Если бы, говорит он, для определения тех правил, которыми должен руководствоваться человек, требовалось предварительное решение высших вопросов, касающихся Бога и мира, то пришлось бы отказаться от задачи, ибо об этих вопросах до сих пор происходят между философами бесконечные споры. К счастью, это вовсе не нужно. Начала права сами по себе ясны для всякого непредубежденного ума; исследование их требует только приложения здравого человеческого смысла **. Несмотря, однако, на эти уверения, Роттек прямо черпает свои воззрения из системы Канта. Он упрекает великого мыслителя единственно в том, что как у него, так и у его последователей юридические начала недостаточно отделены от нравственных. В этом отношении Роттек ближе подходит к первоначальной теории Фихте; но у Фихте, по его мнению, все искажено неудобоваримой метафизикой, от которой надобно очистить философию права, для того чтобы сделать ее вразумительною для всех ***.

Право, говорит Роттек, вытекает из свободы. Человеческая свобода двоякая: внутренняя и внешняя. Первая состоит не в самоопределении на основании нравственного закона, как думал Кант, а в возможности выбора между нравственными побуждениями и безнравственными, между добром и злом. Существо, которое не могло бы определяться иначе как по нравственному закону, действовало бы не свободно, а по необходимости. Нравственный закон составляет ограничение свободы. Он дан разумно-свободному существу именно для того, чтобы оно добровольно согласовало свою свободу с вечным порядком вселенной. Но возможность этого внутреннего выбора остается для человека непостижимою тайною. Внутренняя свобода не может быть доказана; в нее можно только верить, как в необходимое условие нравственного существования ****.

Совершенно иное дело — свобода внешняя, то есть возможность беспрепятственно действовать во внешнем мире. Это — начало опытное, доступное всем. В человеке есть стремление к возможно большему ее расширению, ибо в ней он находит свое счастье. Но на пути своем он встречает различные преграды как со стороны внешней природы, так и со стороны других людей. Первые устраняются силою по мере возможности. В этой области равновесие восстанавливается естественными законами. Для устранения же

* Rotteck K. W.R. Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften. <Stuttgart, 1829 - 1835>. Bd I. Allg. Einleitung. § 1, 19, 20, 30.

** Ibid. Vorrede.

*** Ibid. Allg. Einleitung. § 30.

**** Ibid. § 3.

препятствий со стороны людей естественные законы недостаточны. Стремления человека безграничны, а между тем у него нет, как у других животных, инстинкта, воздерживающего его от уничтожения себе подобных. Напротив, будучи одарен разумом, он изощряет свои силы и изобретает всевозможные средства, чтобы одолеть их в борьбе. Тут всеобщее взаимное истребление может быть предотвращено только высшим законом, законом разума. Как разумное существо человек, признавая свободу в себе, должен признать ее и в других. А так как внешняя свобода одного лица часто противоречит свободе другого, то необходим общий закон, ограничивающий обе и определяющий условия совместного их существования. Этот закон и есть право*.

Таким образом, право — начало чисто формальное; оно состоит в устранении противоречия. Содержания действий оно не определяет, а устанавливает только равную для всех формальную свободу. Поэтому свобода и равенство не выводятся из права; они составляют самую его сущность. Правомерно то, что согласно с возможно большею свободою всех, неправомерно то, что противоречит этому началу. Основное начало права заключается в том, что каждый может делать все, что ему угодно, лишь бы этим не нарушалась свобода других. Отсюда ясно, что существо права заключается в дозволении. Оно ничего не предписывает, не налагает никаких обязанностей, а запрещает только мешать дозволенному. Юридическая обязанность (*Schuldigkeit*) составляет только последствие дозволения и имеет характер чисто отрицательный **. Этими чертами право существенно отличается от нравственности. Главные отличительные их признаки следующие: 1) правомерность поступка совершенно не касается нравственного его свойства; она означает только, что другой не должен мне в этом мешать. 2) Право дозволяет, нравственность предписывает или запрещает; первое выражает возможность, вторая — необходимость. Если иногда, в приложении к тому и другому, употребляются обратные формулы, то это можно приписать лишь неточности выражений. 3) Юридические законы в существе своем отрицательные; нравственные, напротив, в существе своем всегда положительные, ибо они требуют прежде всего доброго намерения. 4) Право обращается главным образом к лицу, облеченному правом, а к другим настолько, насколько они могут касаться первого; нравственность, напротив, обращается к тому лицу, на которое налагается обязанность. 5) Право имеет в виду только внешнее действие, нравственность — преимущественно внутреннее настроение. 6) Вследствие этого нравственность вся покоится на внутреннем убеждении действующего; обязанности каждого определяются его совестью. Праву, напротив, нет дела до совести; оно требует, чтобы никто не вторгнулся в чужую свободу,

* Ibid. §4.

Ibid. §5, 6.

каково бы ни было его внутреннее убеждение. Поэтому 7) право сопровождается принуждением, тогда как нравственная обязанность никогда не может быть вынуждена. Этот признак считается иногда самым главным, но, в сущности, принуждение составляет только необходимое внешнее последствие права, а не выражает внутреннего его существа; последнее заключается в совместном существовании внешней свободы разумных лиц *.

Таким образом, закон внешней свободы совершенно не зависит от свободы внутренней. Для того чтобы приписать человеку правоспособность, нет нужды признавать его нравственным существом; достаточно признать его Существом разумным, то есть способным сознавать законы разума и следовать им **. А так как предписание практического разума состоит именно в нравственном законе, то ясно, что юридический закон нельзя считать выражением практического разума. Право есть создаваемая разумом теоретическая истина, так же как математика; оно определяет единственный разумный способ совместного существования свободных лиц. Для того чтобы эта истина сделалась обязательною для человека, необходимы еще и другие условия. Отчасти она получает обязательную силу от нравственного закона, который предписывает соблюдение правомерного порядка. Но так как исполнение нравственного закона зависит исключительно от совести каждого, то подобная гарантия всегда недостаточна. Она имеет силу только для добрых, да и для тех единственно под условием взаимности. Для злых же, насколько они разумны, требуется нечто другое: собственный интерес побуждает их установить между собой такой порядок, в силу которого юридический закон прилагался бы принудительно, в видах всеобщего охранения свободы. Через это право получает внешний авторитет и становится положительным. Но это искусственное учреждение не следует смешивать с правом в собственном смысле. Последнее остается чисто разумным началом, независимым от какого бы то ни было внешнего авторитета ***.

Этими выводами определяется отношение чисто рационального права к положительному. Рациональное право одно для всех; в нем заключается все, что согласно с общою свободою, и из него исключается все, что ей противоречит****. Если бы все люди были разумны и справедливы, этих начал было бы достаточно для разрешения всех возможных столкновений. Но судья, избранный для решения спора, может заблуждаться или быть пристрастным. Отсюда необходимость более точных определений, которые дают правила для отдельных случаев. Кроме того, человеческие соглашения и законные власти могут устанавливать такого рода стеснения свободы,

* Ibid. § 11.

** Ibid. § 6. S. 27.

*** Ibid. § 13.

**** Ibid. § 20.

которые не полагаются рациональным правом, и эти постановления имеют силу, если они правомерны по форме и не противоречат рациональному праву по своему содержанию*. Наконец, нередко издаются и такие законы, которые прямо противоречат требованиям чистого права. Но подобные постановления не имеют обязательной силы, ибо они, по существу своему, выражают не право, а неправду. Никакое положительное или историческое право не может уничтожить данного мне природою права. Я всегда имею право протестовать и требовать восстановления правомерного состояния**. Рациональное право составляет, следовательно, высшее мерило всякого положительного права. Последнее имеет силу единственно настолько, насколько оно согласуется с первым; иначе оно остается простым фактом***.

Таковы основные положения Роттека. Нетрудно видеть их недостаточность. С одной стороны, право слишком безусловно отделяется от нравственности. Как признает и сам Роттек, весь юридический закон зиждется на признании другого лица разумным существом; но почему же область внешней свободы разумного существа должна оставаться неприкосновенною? Если только для устранения противоречия между моею внешнею свободою и чужою, то это противоречие может быть уничтожено и другими способами: удалением одного из двух или подчинением одного другому. Но право не допускает такого решения именно потому, что оно несогласно с тем уважением, которое должно быть оказано лицу, а этого уважения лицо требует не потому только, что оно существо разумное, то есть способное рассуждать, а потому что оно существо разумно-нравственное, носящее в себе сознание высших начал и способное свободно определяться на основании этих начал. Вследствие этого оно не может быть низведено на степень простого средства, но всегда должно быть признано само себе целью. Нравственное достоинство лица, присущее природе человека, делает его природным субъектом права. Внутренняя свобода составляет, следовательно, необходимое условие для признания свободы внешней, хотя последняя образует самостоятельную область, имеющую свои особенные законы. Отрезывая совершенно право от нравственности, Роттек, так же как предшественник его Фихте, уничтожает связь права с цельным существом человека и с тем вместе лишает его того основания, на котором оно зиждется.

Последствием этого взгляда является то, что право получает чисто теоретический характер. Роттек утверждает, что практический разум не идет далее нравственности. Право же приобретает обязательную силу, с одной стороны, от нравственного начала,

* Ibid. § 18; § 21. S. 71.

** Ibid. § 19; § 21. S. 71.

*** Ibid. § 22.

с другой стороны — от личного интереса. Но и то и другое слишком недостаточно. Первое зависит от внутреннего, свободного убеждения каждого; второе же не имеет никакого отношения к праву и может даже вести к совершенному его отрицанию. В действительности право потому только и есть право, что оно является практическим требованием; от этого оно и сопровождается принуждением, что было бы немислимо, если бы оно было только теоретической системой. Право, так же как и нравственность, составляет, следовательно, проявление практического разума, хотя эти две области противоположны друг другу. Нравственно свободное лицо, с одной стороны, развивает мир внутренней своей свободы, а с другой стороны — требует для внешней своей свободы признания других.

Сам Роттек до такой степени считает право практическим требованием, что он всем несправедливо притесняемым дает неотъемлемое право всегда требовать отмены несправедливых законов, в случае нужды даже силою. Если я не всегда могу силою провести свое прирожденное право, говорит он, то препятствие происходит отнюдь не от недействительности права, а от других посторонних обстоятельств, которые временно мешают его осуществлению *. Отсюда то безусловное преимущество, которое он дает рациональному праву перед положительным: последнее получает силу только от первого. Ясно, что эти положения противоречат чисто теоретическому характеру права. С другой стороны, они противоречат и самому его существу, ибо рациональному праву придается безусловное практическое значение, которого оно иметь не может. Сам Роттек в другом месте говорит, что осуществление истинного права составляет только цель, к которой стремятся все положительные законодательства, но которая никогда не достигается вполне. В действительности же, по его собственному признанию, нет апелляции от положительного права к рациональному, ибо как бы я ни был внутренне убежден в своей правоте, я не вправе ставить личное свое мнение выше общественного приговора; напротив, я по совести обязан подчиняться даже несправедливому закону или решению**. Дело в том, что право, несмотря на свой вечно обязательный характер, не может иметь притязания на безусловное значение в жизни. Личное начало подчиняется общественному; последнее, возводя к высшему единству различные стороны человеческого естества, имеет в практической области решающий голос. Отсюда перевес положительного права, выражающего общественное сознание, над рациональным правом, в котором выражается только сознание личное. Лицо может предъявлять свои требования, но оно должно оказывать повиновение положительному закону.

* Ibid. § 21. S. 71, 72.

Ibid. § 12. S. 44.

Итак, мы замечаем у Роттека двоякую односторонность: слишком резкое отделение права от нравственности, через что право лишается внутренней своей основы, и приписывание праву слишком безусловного значения, вследствие чего личное начало становится краеугольным камнем всего общественного здания.

Последний недостаток ведет к тому, что у Роттека, так же как и у последователей исторической школы, частное право полагается в основание государственного. Все право делится у него на четыре разряда: 1) частное право, определяющее отношения отдельных лиц между собою; 2) общественное право, определяющее отношения частных обществ к их членам и занимающее середину между частным правом и государственным; 3) государственное право и, наконец, 4) международное. Эти четыре разряда он сводит, однако, к двум главным рубрикам: к частному праву и государственному: первое определяет отношения внешней свободы отдельных лиц, второе — отношения государства как целого к своим членам *. Частное право предшествует государственному; оно вытекает из естественного права и вверяется государству единственно для защиты. Государство, возникая из договора, само зиждется на частном праве и составляет собственно только отрасль последнего. Поэтому оно призвано служить ему, а никак не господствовать над ним. Частные права лиц составляют неприкосновенное их достояние, которое не может быть у них отнято без их согласия. Следовательно, говорит Роттек, они могут быть отменены только в силу общего закона, на который облеченное правом лицо дало свое согласие или, по крайней мере, долж но было дать его по разуму **.

Эта последняя оговорка весьма знаменательна. Она, в сущности, уничтожает все предыдущие положения, ибо этим признается, что частное право может быть отменено и без согласия лица, лишь бы это требовалось высшим законом разума, то есть общественным началом. Публичное право, с своей стороны выражая общественную волю, всегда может быть отменено решением общественной власти; однако, прибавляет Роттек, не иначе как во имя общественной цели и в пределах общественного договора, ибо только на это простираются права, дарованные власти ***.

Мы возвратимся ниже к учению об общественном договоре, на котором строится государство. Что касается до частного права, которое государство, по этой теории, призвано только охранять, то Роттек разделяет его на два вида: на абсолютное и гипотетическое, или, что то же самое, — на прирожденное и приобретенное. Первое имеет силу само по себе, второе под условием известного действия, расширяющего внешнюю свободу лица ****.

* Ibid. § 25.

** Ibid. § 27. S. 103-105.

*** Ibid. § 27. S. 105.

**** Ibid. § 25; Hptst. I. Absch. 1. § 2.

Абсолютное право человека простирается на собственное его лицо и на его действия. Оно включает в себе право на собственное тело, на всякие выражения физической и духовной жизни, которыми не нарушаются чужие права, на присвоение никому не принадлежащих вещей, на добровольный отказ от своих прав, наконец, право сопротивляться насилию *. Так называемое право на безопасность содержится уже в этих правах, ибо всякий обязан их уважать. Но так как эта обязанность — отрицательная, то положительного обеспечения права я не могу требовать от другого. Во имя взаимности я могу только предложить ему вступить в гражданское состояние в видах беспристрастного разрешения столкновений, и если он мне в этом отказывает, он поступает со мною несправедливо, и я вправе его к этому принудить **.

Все эти природные права могут быть уничтожены не иначе как преступлением; ограничены же они могут быть как преступлением, так и неполноправием, происходящим от возраста, от состояния умственных способностей и т. п., наконец, добровольным отказом от своих прав. Но все эти стеснения имеют силу только для самого лица, а никак не простираются на его потомство. Если личное рабство может быть в некоторых случаях оправдано, то потомственное всегда составляет нарушение права***. Поэтому справедливо провозглашенное французским Учредительным собранием правило, что все люди рождаются свободными и равными друг другу. Но несправедливо, что они остаются таковыми, ибо они могут в большей или меньшей степени терять свою свободу через неполноправие, преступление или добровольный отказ от своего права, и если они сохраняют формальное равенство, то материальное равенство быстро исчезает. Неравенство в приобретении имущества естественно ведет к разделению людей на богатых и бедных, на заимодавцев и должников, на господ и слуг. К этому присоединяется неравенство, происходящее от общественных установлений, из которых образуются различия между правителями и подданными, знатными и незнатными, привилегированными и непривилегированными. Это последнего рода неравенство, неравенство политическое, имеет, однако, характер существенно отличный от первого. Материальное неравенство непременно должно признаваться положительным законом, ибо оно вытекает из естественного права, с которым положительное должно сообразоваться. Политическое же неравенство может быть введено лишь во имя общего блага и всегда может быть отменено в силу того же начала; следовательно, оно правомерно лишь настолько, насколько можно разумным образом предполагать согласие всех участников ****.

* Ibid. Allg. Einleitung; Hptst. I. Absch. 1. § 3.

** Ibid. Hptst. I. Absch. 1. § 5.

*** Ibid. § 7-9.

**** Ibid. § 10.

Ясно, что эти начала значительно изменяют учение о прирожденных правах человека. Когда Роттек утверждает, что прирожденные права передаются государству только для охранения, а потому всякое их стеснение составляет нарушение права, но при этом оговаривается: «насколько из общественного договора не может быть выведен отказ от этих прав» *, то подобная оговорка, при всей своей неопределенности и неосновательности, совершенно изменяет существо дела, ибо ею уничтожается абсолютный характер прирожденных прав. В развитии своей теории Роттек постоянно колеблется между требованиями личности и требованиями общества, будучи не в состоянии их примирить. В основание полагается личное право, но затем являються разные непоследовательные и неопределенные ограничения, вызванные общественным началом.

Что касается до гипотетического права, то оно вытекает из факта, связывающего известный предмет с коренным правом лица, то есть с его свободой. Вследствие этого посягательство на предмет становится посягательством на свободу лица. Эта область включает в себе собственность, договор и принудительное право, возникающее из правонарушения **.

Основания собственности, говорит Роттек, следует искать не в воображаемом договоре, который если бы даже и существовал, то не мог бы быть обязателен для посторонних лиц и для новых поколений, а в праве человека присваивать себе вещи, никому не принадлежащие. Такое присвоение правомерно, ибо этим не нарушается ничье право; посягательство же на присвоенную вещь составляет нарушение права. Но занятие или присвоение может породить только временную связь: вещь — моя, пока она находится в моем владении. Собственность же имеет основанием труд: как скоро в вещь положена часть моего труда, так она постоянно связывается с моим лицом ***. Признавая полное право собственника распоряжаться своим имуществом по усмотрению, истреблять его и передавать кому хочет, Роттек ограничивает, однако, это право жизнью лица: наследственность он считает установлением положительного, а не естественного права ****. Это ограничение нельзя признать правильным: воля лица, выраженная при жизни, должна быть уважаема и после его смерти, если она не нарушает чужого права и не противоречит общественным требованиям. Точно так же нельзя согласиться с Роттеком, когда он всякие частные повинности, лежащие на земле, объявляет несовместными с правом собственности *****. Если возможны другого рода ограничения и деления собственности, то почему же

* Ibid. § 3. S. 131.

** Ibid. Absch. 2. § 12.

*** Ibid. § 15.

**** Ibid. § 16.

***** Ibid. § 21-26.

не эти? Тут является вопрос о целесообразности, а не о праве. Неприязнь к феодальным учреждениям побудила Роттека отнести к естественному праву то, что составляет только постановление положительного закона.

Обязательную силу договоров Роттек точно так же выводит из коренного начала права. Область свободы каждого лица замкнута для других, но добровольно каждый может открыть в нее доступ другому, и как скоро это совершилось, как скоро дано и принято обещание, так изменение воли является уже нарушением чужого права. Я обязан исполнить обещание, потому что давши его, я связал известное свое действие с свободой другого*. Это основание совершенно верно; но оно выводит уже право за пределы чисто отрицательного отношения лиц: обязываясь к известному действию, я не только допускаю другого в область своей свободы, но я даю ему право на известное положительное требование, которое я должен исполнить. Тут является уже положительная связь лиц, порождаемая самою свободой.

Наконец, нарушение права вызывает принуждение, охраняющее правомерный порядок. Кто выступил из пределов своего права, тот находится вне права, а потому подлежит принуждению, и притом в той самой мере, в какой он нарушил право. Степени принуждения могут быть, впрочем, различны. Невольное нарушение права устраняется сопротивлением, а в случае нужды и вознаграждением убытков; сознательное, но добросовестное нарушение порождает спор; наконец, недобросовестное посягательство на чужое право вызывает возмездие, восстанавливающее нарушенное равновесие. Тут отрицание должно простирается не только на внешнее действие, но и на самую волю, породившую действие. На этом основании Роттек относительно наказания держится систем воздаяния. Предупреждение преступлений, устрашение и исправление преступников, все это — второстепенные точки зрения, которые могут видоизменять способы приложения наказания, но не касаются самой его сущности. Точно так же он отвергает и вывод наказания из государственного порядка: наказание вытекает из естественного права; оно прилагается и к частному быту, государство же дает ему только высшую санкцию, устраняя произвол, неизбежно сопряженный с частною местью**.

Все эти выведенные Роттеком основания Частного права можно признать в существе своем совершенно верными. Индивидуалистическое начало здесь вполне приложимо. Гораздо более шаткою является его теория общественного союза. Под именем общества (*Gesellschaft*) он разумеет слияние живых волей в одну совокупную волю, во имя совокупной цели, вследствие чего из них составляется единое юридическое лицо, живущее общею жизнью. Держась

* Ibid. § 15.

** Ibid. Cap. 4. § 50-55.

строго этого определения, он исключает из понятия об обществе, с одной стороны, все те союзы, в которых цель — личная или субъективная, например церковь, основанную на религиозном чувстве, с другой стороны — те союзы, в которых совокупная воля составляется не слиянием свободных волей, а подчинением одних другим. Поэтому он от общества отличает корпорации, которые также представляют собою юридические лица, но могут быть основаны и на иных началах. Общество, по его теории, немыслимо иначе как между свободными и равными лицами, участвующими в совокупном решении *.

Нетрудно заметить, что это разделение — чисто искусственное; оно придумано для того, чтобы начало свободы сделать неотъемлемою принадлежностью общественного устройства. Роттек не показал ни основания своего определения, ни существенного отличия того, что он называет обществом, от корпорации. И здесь и там соединенные особи образуют единое юридическое лицо; устройство же союза составляет, в сущности, дело второстепенное, которое может дать материал разве только для подразделения. Влияние Руссо на это воззрение очевидно. Вместе с французским философом Роттек отличает общую волю, выражающую совокупное решение, от воли всех, выражающей только частные мнения членов. Первая простирается единственно на то, что требуется общественною целью, и на средства, сообразные с этою целью. Поэтому несправедливое решение никогда не может быть выражением общей воли. Всякое нарушение прав членов выходит из пределов общественного договора. От Руссо Роттек отличается тем, что он не требует полной передачи личных прав общественному союзу, но признает за членами общества не только права, неотъемлемо принадлежащие им в силу общественного договора, но и личные права, независимые от союза. С другой стороны, он не ограничивает совокупной воли изданием одних общих законов, но в пределах общественного договора допускает и решения по частным делам. Наконец, из числа лиц, участвующих в решении, он исключает как неполноправных, так и лично заинтересованных в деле, первых — по незнанию, вторых — вследствие преобладания в них личного интереса над общим**. За этими исключениями, говорит Роттек, совокупная воля общества выражается в большинстве голосов. Это прямо вытекает из того, что голоса всех членов равны; следовательно, преобладающим мнением должно считаться то, которое имеет за себя большинство, а преобладающее мнение и есть выражение общей воли. Иного средства прийти к решению нет. Единогласие требуется только для составления общества; оно представляет собою решение еще не соединенной толпы; как же скоро лица

* Ibid. Absch. 3. § 57-59.

** Ibid. § 60.

образовали одно целое, имеющее одну волю, так выражением этой воли необходимо становится преобладающее мнение. Этим не уничтожается свобода меньшинства, ибо 1) к большинству может принадлежать всякий; а 2) так как решение большинством голосов составляет необходимое условие общественного союза, то, вступая в союз, каждый тем самым добровольно подчинился этому закону*. Поэтому и государственное устройство как позднейшее учреждение является произведением закона, устанавливаемого большинством, а не договора, для которого требуется единогласие. На договоре зиждется только образование общества посредством добровольного соединения лиц **.

Роттек идет еще далее в своих отступлениях от теории Руссо. Он допускает даже перенесение общественной власти на искусственный орган, облеченный самостоятельным правом. Общество, говорит он, может наложить на себя такое самоограничение как необходимое средство для общественной цели, ввиду недостатков естественного органа, то есть большинства голосов, или же из опасения внутренних раздоров и даже распада общества. Мало того: иногда общество подчиняется искусственному органу даже без формального перенесения власти, просто в силу фактического признания. При этом Роттек делает оговорку, что перенесение власти всегда должно быть сообразно с первоначальным общественным договором, фактическое состояние может временно устранить, но никогда не уничтожает идеального права ***. Очевидно, однако, что с созданием искусственного органа уничтожается различие между обществом и корпорацией; следовательно, те основания, на которых Роттек строил свою теорию, им же самим отвергаются впоследствии.

Роттек не показывает приложения своих начал к тем мелким союзам, которые стоят посередине между отдельными лицами и государством. Он считает излишним говорить о них, хотя здесь он всего более затруднился бы провести свое искусственное разделение между обществом и корпорацией. Исключение он делает только для семейства, которое по своей важности требует особого рассмотрения; но тут-то именно принятые им начала общественного устройства оказываются всего менее приложимыми.

Прежде всего, семейство зиждется не на одном праве; сюда присоединяются, с одной стороны, простые договорные отношения, с другой стороны — нравственные требования и, наконец, чисто естественные определения, которые дают своеобразный характер всему союзу****. Мало того: Роттек прямо признает, что здесь, в противоположность другим юридическим сферам, нравственный

* Ibid. § 61.

Ibid. § 62.

*** Ibid. § 63.

**** Ibid. Absch. 4. § 64.

закон предписывает, а право дает только юридическое основание вытекающим из него требованиям *.

Это обнаруживается в самом коренном установлении, на котором зиждется семейство,— в браке. Нравственность требует облагораживания чисто животной связи. Это совершается посредством нравственного чувства любви, которое превращает половое влечение в постоянное единение душ. Затем рождается нравственная обязанность дать человеческое воспитание детям. Отсюда требование исключительности и неразрывности брака, требование, которое может, впрочем, видоизменяться вследствие разных обстоятельств. Далее, хотя брак основывается на свободном договоре, однако равенства между членами в нем нет. Сама природа дала мужчине превосходство, признание которого требуется нравственным законом и освящается правом. Жена не исключается из участия в решении, но голос мужа имеет перевес **.

В противоположность браку отношение "родителей к детям основано не на договоре, а на чисто естественном начале. Дети являются произведением родителей и связаны с ними как часть их естества. Поэтому Роттек отвергает теории, которые стараются вывести этот союз из предполагаемого договора. Он прямо признает, что между родителями и детьми нет общества в точном смысле слова. Но он считает возможным распространить на эти отношения понятие о собственности, с теми только ограничениями, которые требуются положением ребенка как зреющего лица. Из этого лично-вещного права он выводит власть родителей, которая прекращается, однако, с совершеннолетием детей; тут она превращается уже в чисто договорное отношение. Роттек признает, что голое право собственности дает мало утешения детям; но любовь и нравственные обязанности родителей, говорит он, дают этой связи совершенно иной характер ***. Ясно, однако, что понятие о собственности тут совершенно неприменимо. Роттек принужден был к нему прибегнуть, потому что, исходя от частного права и полного разъединения лиц, он не мог вывести иных отношений, кроме основанных на собственности и договоре.

По той же причине он старается подвести под понятие о лично-вещном праве и третье, входящее в состав семейного союза отношение, именно отношение господ и слуг. Здесь основание уже чисто договорное; но вместе с тем к общественному началу присоединяется постоянное подчинение, которое, по мнению Роттека, может быть объяснено единственно лично-вещным правом, то есть аналогией с собственностью****.

Таким образом, семейство составляется из трех отношений, которые приводятся к единству главою семейства, соединяющим

* Ibid. § 66.

** Ibid. § 67-70.

*** Ibid. § 71-75.

**** Ibid. § 76.

в себе власть супружескую, родительскую и домашнюю. Через него семейство становится единым лицом *. Едва ли нужно заметить, что тут об общественных началах, принятых Роттеком, нет уже речи.

Разложение семейных отношений ведет к образованию государства. С разрастанием рода в течение некоторого времени сохраняется еще родственная связь. В силу договора вместо действительного отца устанавливается фиктивный отец, который считается главою рода. Но с ослаблением родственного чувства исчезает тот элемент, который смягчает суровость власти, и тогда рождается потребность ограничения этой власти семейным советом или же развивается чистый деспотизм. Тяжесть же деспотизма, в свою очередь, ведет к потребности заменить семейные отношения гражданскими, в которые каждое лицо вступает уже в силу свободного договора. Через это частное право переходит в публичное, семейство в государство**.

Роттек признает, что государство, так же как и семейство, заключает в себе не одно право. Кроме государственного права, в состав политической науки входит и политика, то есть учение о практических средствах к достижению государственной цели. Но право составляет здесь основное начало; оно дает закон и указывает цель. Политика ему подчиняется, исполняя только то, что предписывается правом. Самое же государственное право зиждется на естественном частном праве, а последнее, в свою очередь, вытекает из чисто рационального права. Таким образом, все государственное право держится правом разума и из него черпает свою силу***.

Это учение, замечает Роттек, нередко клеймится названием революционного, потому что оно требует отмены существующих учреждений во имя рациональных начал. Но разумные последователи этой теории не отвергают исторического права, пока оно не противоречит естественному. Во имя политической необходимости они допускают и благоразумное внимание к существующим условиям жизни и даже временный отказ от требований, сопряженных с слишком большими жертвами. Но они всегда признают существование этих требований и право общества осуществлять их, как скоро оно находит это возможным. Противоположная им реакционная школа, напротив, высшим представителем которой является Галлер, стоя за неподвижное сохранение установленного порядка, в сущности, отвергает всякое рациональное право; да и самое историческое право приверженцы этого направления постоянно толкуют в пользу привилегированных сословий, всегда готовые отдать права низших классов на жертву власти. Между теми и другими стоят защитники постепенных реформ, каковы Ансильон и Пелиц. Лучшие из них в основании держатся начал ре-

Ibid. §77.

Ibid.

Ibid. Bd II. Allg. Staatsl. Einleitung. § 1,17.

волюционной школы, но они стараются придать своим требованиям более мягкое выражение и считают возможным только медленное их осуществление. Такое колеблющееся положение не может быть признано правильным, тем более что оно служит лишь предлогом для бесконечной отсрочки всяких преобразований. Если известное учреждение признано несогласным с требованиями права, отчего не отменить его тотчас? К чему промедление, когда самое это сознание служит уже признаком, что оно отжило свой век? И кто, наконец, определит меру промедления? Привилегированные лица всегда считают преобразования недостаточно созревшими. Таким образом, система реформ не представляет твердой почвы для государственной жизни *.

Следуя этим началам, Роттек в основание политического союза полагает чисто рациональный договор. Вопрос о происхождении государства, говорит он, не исторический, а философский. Дело не в том, как возникли существующие государства, а в том, каково их юридическое основание? во имя чего они могут повелевать подданным? Физическая сила может породить только фактическое состояние; патриархальные же и частные отношения для того, чтобы превратиться в политический союз, нуждаются в новом юридическом начале, изменяющем их сущность. Таким началом может быть только договор, ибо положительные обязанности могут быть наложены на лицо единственно в силу добровольного его согласия. А так как государство представляет собою соединение воли, то для правомерного его существования требуется общественный договор всех со всеми. Роттек утверждает, что такой договор — не простой вымысел, а факт. Если он не заключается явно, то он выражается молчаливым согласием посредством требования и исполнения юридических обязанностей**. Ясно, однако, что для оправдания теории договора этого недостаточно, ибо требование и исполнение юридических обязанностей существуют и там, где Роттек признает чисто фактическое состояние. Молчаливым согласием можно все объяснить. Сам Роттек говорит далее, что грамота, на основании которой учреждено государство, не лежит перед нами; содержание ее может быть почерпнуто единственно из разума***. Следовательно, когда он отвергает вымышленные и подразумеваемые договоры как несовместные с правом разума, он тем самым уничтожает основания собственной своей политической теории.

Ту же непоследовательность мы находим и в учении о государственной цели. Роттек выводит ее из чисто рационального содержания государственного договора, то есть из того, что необходимо и одинаково должно быть предметом желания всех в нем участвующих. Необходимость может быть двоякая: естественная

* *ibid.* § 18.

** *Ibid.* Allg. Metapolitik. § 2.

*** *Ibid.* § 4. S. 56.

и юридическая. По естественному закону каждый необходимо стремится к счастью. Но каждый понимает счастье по-своему; следовательно, предмет общего стремления могут быть только общие условия счастья, именно внешняя свобода и безопасность. Юридически же необходимо исполнение юридического закона. Насколько эти цели могут быть осуществлены совокупными усилиями всех посредством принудительных обязанностей, настолько они становятся целью государства. Вне этих пределов государственный договор не имеет силы. Поэтому из ведомства государства изымается все, что составляет исключительно предмет частных стремлений, а также и то, что не подлежит принуждению. Целью государства не могут быть ни нравственные требования, ни счастье отдельных лиц. Государство не в состоянии осуществить всеобщее счастье; поэтому неопределенное начало общественного блага должно быть совершенно устранено. Государству не подлежат и те идеальные цели, которые некоторые ему приписывают, как-то: воспитание человечества, представление человечности и т.д., ибо 1) нет никакого сомнения, что огромное большинство граждан вовсе не стремится к этим целям, и никто не имеет права его к тому принудить; 2) эти цели подлежат такому бесконечно разнообразному толкованию, что осуществление их открывает простор самому широкому произволу, а потому крайне опасно для общества; наконец, 3) большее или меньшее их достижение составляет задачу гения, а не государственной власти, гений же не требует для себя ничего, кроме свободы действий. Сообразно с этими началами, говорит Роттек, первая и главная цель государства заключается в установлении права, а затем в охране свободы от угрожающих ей внешних опасностей. К этим двум целям — к праву и безопасности в широком смысле — может быть приведено все, что требуется от государства, даже попечение о промышленности и благосостоянии, о народном просвещении и науке, о нравственности и религии. Роттек признается, однако, что считать все это только средством для права и безопасности было бы слишком натянутым толкованием. Но, говорит он, ничто не мешает нам включить все эти интересы в государственную цель, насколько они отвечают вышеозначенным требованиям. Все жизненные цели человека, физические, умственные и нравственные, которые могут быть лучше, полнее и вернее достигнуты совокупными усилиями всех, нежели личной деятельностью каждого, содержатся в государственной цели, и надобно предполагать, что каждый разумный человек даст на это свое согласие, но только под условием, чтобы все равно пользовались этими благами, чтобы приносимые для них жертвы не были слишком тяжелы и чтобы во всяком случае от этого не страдали право и безопасность *. Ясно, что эта последняя уступка уничтожает весь предыдущий вывод. Сперва Роттек

* *ibid.* § 4-6.

пытается поставить государственную цель на чисто юридическом начале, утверждая даже, что все остальное выходит из пределов государственного договора, но, затем он допускает распространение этой цели на всю совокупность человеческих интересов при совершенно неопределенных ограничениях. Все, что исключалось в начале, вводится снова в конце.

Согласно с своим учением об обществе, Роттек выводит и государственную власть непосредственно из общественного договора: она образуется слиянием воли, которое и составляет содержание договора*. Но он отличает три формы власти сообразно с тремя способами выражения воли. Истинная воля общества как целого есть идеальная воля; в сущности, это не что иное, как известное юридическое отношение, которое по этому самому не имеет самобытного существования **. Для того чтобы эта воля проявилась в действительности, необходим известный орган или олицетворение. Этот орган может быть двоякий: естественный и искусственный. Естественным органом является большинство полноправных граждан: как скоро общество составилось, так решение большинства становится обязательным для всех. По психологическому закону этот орган всегда стремится к общему благу, ибо никто сам себе зла не желает, а общие постановления равно распространяются на всех. Однако большинство может и уклониться от правомерного пути. Нелегко определить самый состав собрания, отделивши полноправных от неполноправных. В нем могут преобладать неспособность, незнание, личные интересы, внутренние распри. Все это делает необходимым учреждение искусственного органа, который устанавливается решением большинства. Но искусственный орган, в свою очередь, еще скорее может уклониться от требований права; в нем еще более может господствовать личный интерес. Поэтому полная передача верховной власти искусственному органу противоречит государственной цели, следовательно, и общественному договору. Такое устройство может быть признано только фактическим***. Из всего этого Роттек заключает, что полнота верховной власти в государстве принадлежит единственно идеальной воле; в действительности же она не может быть присвоена никакому органу исключительно, ни естественному, ни искусственному, но оба должны разделять ее между собою. Только идеальная власть едина по своему существу; олицетворенная же власть не может быть единою без установления деспотизма. Таким образом, совокупная воля представляется здесь взаимодействием двух ограничивающих друг друга властей, которые остаются самостоятельными, хотя от них требуется единство действия во имя общей цели ****.

* Ibid. § 18.

** Ibid. § 25, 33.

*** Ibid. § 21-23.

**** Ibid. § 24-26.

Границы этих властей определяются самым их характером. Естественный орган ограничивается государственным договором: все, что выходит из пределов этого договора, то есть все неправомерное и безнравственное, исключается из ведения государственной власти. Но в этих границах решение большинства должно считаться выражением действительной воли общества. Совсем другое имеет место относительно искусственного органа. Здесь требуется, чтобы решение его было согласно не только с возможным, но и с действительной волею общества, которого он служит выражением. Тут недостаточно одной теоретической границы; нужно ограничение практическое. Здесь должно считаться неправомерным все, что искусственный орган предпринимает против явного или могущего быть познанным направления естественного органа, за исключением разве тех случаев, где можно доказать неспособность или нравственную испорченность последнего. Равным образом должно считаться неправомерным все, что искусственный орган предпринимает, чтобы затруднить или подавить выражение мнения большинства или чтобы задержать политическое развитие народа *.

Эти правила имеют, впрочем, различное приложение к двум разным сферам, в которых действует искусственный орган. Есть область, где естественный орган по своим свойствам не может действовать правильно; это — исполнение. Поэтому оно всецело предоставляется искусственному органу, который заменяет собою естественный. Здесь границу власти может быть только наука, то есть мнение знающих и беспристрастных людей. Искусственный орган обязан прислушиваться к выражающемуся в них общественному мнению, содействуя в то же время развитию политической зрелости самого общества. В другой области, напротив, именно в законодательстве естественный орган имеет полную возможность действовать; здесь искусственному органу принадлежит только право контроля или запрета на решения, уклоняющиеся от истинной цели государства. В обоих случаях, следовательно, высшим мерилom правомерности решения служит действительная воля общества или возможно верное ее выражение. Поэтому можно считать начало полнейшей свободы общественной воли за истинный палладиум публичного права**.

Роттек соглашается, впрочем, что могут быть случаи, когда народ действительно неспособен к самоуправлению, вследствие чего он должен считаться малолетним и состоять под опекою. Но правомерная опека не может быть установлена одностороннею волею опекуна; для этого требуется высшая власть, стоящая над опекуном и опекаемым. А так как над государством нет подобной власти, то здесь опекунские отношения могут быть только фактическими.

* Ibid. § 32-33.

** Ibid. § 33-34.

Но, с другой стороны, чисто фактические отношения не могут считаться правомерными и входить в состав государственного права; поэтому остается признать, что государство как юридическое установление возникает единственно с того времени, когда народ становится совершеннолетним и когда в нем является истинная совокупная воля в юридическом значении *.

Этот последний вывод обличает несостоятельность всей этой теории. Можно видеть в конституционной монархии идеальный образ правления, в котором сочетаются требования свободы и порядка; но нет логической возможности считать ее единственным правомерным государственным устройством. Как скоро допускается перенесение власти на искусственный орган, так размер этого перенесения становится уже вопросом не права, а политики. Если жизненная необходимость заставляет взять незрелое общество под опеку, то оно вследствие этого не перестает быть государством и управляться юридическими отношениями. Сам Роттек, объявляя неправомерным все, что искусственный орган делает в противность общественной воле, исключает случаи, когда общество является неспособным или безнравственным; но кто судья этих случаев? Сослаться на мнение разумных людей нет возможности, ибо как определить, кто разумен и кто нера разумен? Кому принадлежит это право? Разумные люди — не юридическое установление; поэтому их голос не может иметь юридического значения. Стараясь установить на почве права то, что составляет вопрос политики, Роттек должен был запутаться в неразрешимых противоречиях.

Точно так же тщетны его усилия определить границы власти и повиновения. Мы видели, что Роттек полагает частное право в основание государственного. Предшествующие государству права лиц должны оставаться неприкосновенными. В частном праве государственная власть находит свою границу**. Но с другой стороны оказывается, что в силу государственного договора соединяющиеся лица отрекаются от многих своих прав, а другие права подвергаются ограничениям и видоизменениям. Еще более значительные уклонения вводятся положительным законом. Роттек ставит предел действию последнего, допуская лишь такого рода изменения, на которые сами лица должны разумным образом дать свое согласие. Поэтому требуется, во-первых, чтобы могла быть доказана, убедительно для здравомыслящих людей, действительная необходимость ограничения права, а также и то, что проистекающая из него польза превосходит налагаемую им жертву; во-вторых, всякое стеснение частного права должно устанавливаться на основании начала равенства, то есть в силу общего закона, одинаково простирающегося на всех, а в случае, если оно специально падает

* Ibid. § 34.

** Ibid. § 35. S. 127.

на отдельные лица, не иначе как с соответствующим вознаграждением*. Но тут опять спрашивается, кто же будет распознавать этих здравомыслящих людей, которые являются здесь судьями? В конце концов Роттек признает, что всякое ограничение права, которое требуется государственною целью, тем самым оправдывается **, — начало, очевидно, дающее простор самому широкому произволу. На этом основании Роттек предоставляет отдельным лицам право преследовать лишь те цели и употреблять лишь те средства, которые не вредят государству ***. В силу того же начала за правительством признается право запрещать все частные общества и товарищества, которые оно считает вредными ****. Ясно, что всякая определенная граница права тут исчезает.

Такая же непоследовательность является и в определении политических прав. Роттек, с одной стороны, признает неприкосновенными права граждан, вытекающие из общественного договора, как-то: право требовать, чтобы государственная власть соблюдала договор и не уклонялась от государственной цели, право участвовать в выражении совокупной воли, наконец, право на равное со всеми участие в выгодах и тягестях общества. Но, с другой стороны, суждение о том, что именно требуется государственною целью, опять-таки предоставляется власти. Участие же в общих решениях обуславливается доказательством способности, а право требовать установления естественного органа, то есть представительства, ставится в зависимость от степени образования народа*****. Что касается до равенства, то оно, по толкованию Роттека, заключается не в том, чтобы все лица без различия были равны по закону и перед судом, а в том, чтобы неравенство прав вводилось лишь на разумных основаниях, на которые все граждане без различия могли бы дать свое согласие. Поэтому допускается всякое неравенство, которое устанавливается во имя общественного блага. Сюда Роттек причисляет не только разные освобождения от военной повинности, но и привилегии дворянства и духовенства, цеховое устройство, торговые монополии, различия в страдательном и деятельном праве гражданства и т.д.^{6*}

Очевидно, что при такой неопределенности права нет возможности установить границы повиновения. Роттек признает, что повиновение должно быть безусловное; однако оно не должно быть слепым, ибо через это лицо превращается в вещь. Всякий гражданин, получающий приказание, имеет право испытать: 1) от кого оно исходит? 2) насколько оно действительно? 3) каково его со-

Ibid. § 37. S. 130.

Ibid. § 51.

Ibid. § 37. S. 132.

Ibid. § 39. S. 139.

Ibid. § 41.

Ibid. § 42.

держание? Но относительно первого вопроса у отдельного лица отрицается право испытывать правомерность власти. Как скоро фактическая власть признана, по крайней мере, безмолвно, большинством народа или иностранными державами, так ей должно быть оказано повиновение, и всякий, кто ей противится, правомерно подвергается наказанию. Обществу же как целому, говорит Роттек, несомненно принадлежит право испытывать юридическое основание власти, но приложение этого права возможно только там, где общество имеет законный орган своей воли; иначе остается только фактическое выражение мнения большинства посредством подчинения или сопротивления, причем в высшей степени опасны и даже достойны наказания преждевременные попытки отдельных лиц отказывать фактической власти в повиновении *.

Что касается до второго вопроса, то он относится собственно к форме: приказание, изданное в незаконной форме, недействительно. Наконец, относительно третьего вопроса Роттек прямо отвергает учение, по которому всякий обязан не повиноваться, если ему предписывается что-либо противное нравственному долгу, и имеет право не повиноваться, если предписание противоречит его очевидному праву. Он допускает, что приказание, противоречащее безусловной нравственной обязанности, не имеет силы, ибо оно выходит из пределов общественного договора, который не может заключать в себе ничего неразумного. Но есть нравственные обязанности, которые перестают быть такими, как скоро они приходят в столкновение с общественным благом; здесь неповиновение само было бы нарушением обязанностей граждан в отношении к государству. Есть и такие обязанности, которые зависят исключительно от личной совести. На последние государство не может смотреть как на ограничения своей власти; напротив, оно вправе требовать, чтобы общественные нужды не встречали противодействия под предлогом произвольно понимаемых нравственных обязанностей. Те же соображения прилагаются и к приказаниям, требующим от граждан нарушения права. В силу общественного договора граждане отказываются от многих прав, как скоро эти права приходят в столкновение с общественною пользою; следовательно, право перестает быть правом в ту минуту, когда государственная власть объявляет его вредным для общества, а потому гражданин, который становится орудием подобного решения, не является нарушителем права. Неповиновение он вправе оказать лишь в том случае, когда ему предписывается нарушение таких прав, от которых граждане не могли отказаться. Притом это относится единственно к чужим правам. В случае же нарушения собственно ему принадлежащего права со стороны власти гражданин всегда обязан повиноваться, ибо отдельное лицо не может присвоить себе право ставить свое мнение выше мнения других и оказать сопротивление тому, что

* Ibid. § 27.

одобряется другими. Даже в случае личных нарушений права со стороны правителя каждый обязан покоряться, ибо в силу общественного договора лицо отказалось от самоуправства и обязалось терпеть даже всякую неправду, которая могла бы пасть на него как последствие неизбежных несовершенств общественного устройства. Только в самых крайних случаях можно считать извинительным самозащитное или воззвание к обществу. Правда, в силу того же общественного договора общество, взамен отказа от самоуправства, обязалось помогать обиженным; но и это оно может делать только там, где у него есть законный орган. Там же, где такого органа нет, остается фактический одновременный протест со стороны граждан, что, однако, по психологическим причинам может иметь место только в отчаянных случаях и всегда в высшей степени опасно для начинателей *.

Итак, в результате оказывается, что право подчиняется требованиям общего блага, судьей которых может быть только государственная власть. Стараясь утвердить государство чисто на почве права, Роттек в приложении своих начал принужден постоянно от них отступать. Чтобы оправдать эти отступления, он старается вывести их из предполагаемого общественного договора: разбираются права, от которых участники договора должны были отказаться, и те, от которых они не могли отказать. Но, в сущности, все эти толкования вымышленного договора совершенно произвольны. Твердой точки опоры тут нет, и окончательно все предоставляется верховному решению правительства.

Несмотря на то, Роттек, переходя к практической политике, утверждает, что право должно иметь здесь безусловно повелевающий голос; благоразумие же предьявляет свои советы единственно для осуществления юридической идеи или, по крайней мере, в пределах, начертанных правом**. На этом основании он отвергает как неправомерные не только те образы правления, в которых вместо общей воли явным образом господствует частная, чему пример представляет деспотия, но и те, которые, несмотря на явное признание государственной идеи, в действительности не дают никакой гарантии против господства частной воли над общеою. Сюда он относит все те политические формы, в которых вся верховная власть в совокупности сосредоточена в одном лице, физическом или нравственном. Правомерно, по его мнению, только свободное правление, республика в истинном смысле слова. Между тем он тут же признает, что многие народы, именно страстные, бесхарактерные, преданные роскоши, по самым своим свойствам не переносят свободы. Они для собственной пользы нуждаются в строгом правительстве. У других, по крайней мере при известных обстоятельствах, бывает необходима диктатура. Наконец, есть

* Ibid. § 28.

** Ibid. Prakt. Staatslehre. § 56.

и такие, которые не хотят свободы и ее не заслуживают *. Спрашивается, что же делать, когда правомерное устройство невозможно, а единственное возможное неправомерно?

Исходя от этих начал, Роттек видит осуществление государственной идеи только в смешанных формах. Все чистые образы правления, по его мнению, противоречат требованиям права. Монархия имеет многие выгоды, которые заставляют народы прибегать к ней не только в первобытные времена, но и в позднейшие эпохи развития. Она обеспечивает единство и силу власти; она связывает интересы правителя, в особенности наследственного, с интересами народа; наконец, возвышая над всеми одно лицо, она не уничтожает равенства в обществе. Но для того чтобы монархия соответствовала своему назначению, необходимо соблюдение двух правил: 1) лицо государя должно быть священо, неприкосновенно и безответственно; в этом состоит монархическое начало, которое отличает монарха от простого сановника. 2) Власть его должна быть ограничена основными законами и неприкосновенными правами подданных**. Что касается до чистой аристократии, то она может иметь различное устройство. Если она заключается только в свободном выборе лучших людей, то это не что иное, как очищенная демократия. Но обыкновенно аристократия или сама себя восполняет, или, еще чаще, основана на наследственных привилегиях. Подобное правление, независимо от других недостатков, является наглою насмешкою над общими правами человека и гражданина. Она устанавливает наследственное неравенство между людьми, обрекает массу на унижение и уничтожает рациональное право во имя исторического. Поэтому чистая аристократия должна быть безусловно отвергнута***. Наконец, чистая демократия, по идее, составляет первобытную форму вольного государства. Юридически она непременно когда-нибудь существовала и всегда продолжает существовать в той мере, в какой власть доказанным образом не перенесена на другие лица. Но сколь неопровержимо вечное ее право, столь же очевидна политическая необходимость ее ограничения. Чистая демократия ведет к полнейшему деспотизму. Непосредственная демократия невозможна в сколько-нибудь обширном государстве и опасна даже и в малом; представительная же демократия всегда является крайне шаткою, если выборным людям не предоставляется известная доля самостоятельности, то есть если к демократическому началу не примешиваются монархические и аристократические элементы. Где этого нет, там она порождает анархию и кончается тираниею****.

Таким образом, заключает Роттек, все чистые формы должны быть признаны неправомерными, ибо в государстве неправомерно

* Ibid. § 57.

** Ibid. § 62.

*** Ibid. § 63.

**** Ibid. § 64.

все, что противоречит его цели. Смешанные же образы правления по существу своему сообразны с правом, но могут быть более или менее хороши, смотря по обстоятельствам. Рассмотрение этих условий составляет дело политики. Вообще, можно сказать, что смешанное правление с преобладанием демократии пригодно для небольшого народа с простыми нравами и невысоким развитием; преобладание монархии уместно в более обширном и богатом государстве, при более сложных жизненных отношениях; преобладание же аристократии не уместно нигде *.

Всякое смешанное правление основано на ограничении одной власти другою, то есть на разделении властей. Разделение может быть различное: по отраслям и по субъектам власти. Монтескье пустил в ход теорию разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную; но это учение, говорит Роттек, нуждается в некоторых исправлениях. Деятельность власти в приложении к отдельным случаям включает в себе не одно исполнение закона, но и самостоятельное решение там, где закон не существует или недостаточен. Поэтому лучше назвать эту отрасль не исполнительной властью, а правительственной или административною. Затем, судебная власть — вовсе не власть, она представляет не более как суждение беспристрастных людей о вопросах права. Вообще, государственную власть нельзя считать органом права; напротив, она служит праву, которое определяется человеческим разумом и наукою. Дело власти — выслушивать эти суждения и прилагать их. Поэтому о судебной власти не может быть речи. С этими ограничениями теория Монтескье остается верною: государственная власть разделяется на две главные отрасли: на законодательную и правительственную **. Но затем возникает вопрос: должна-ли каждая из этих властей принадлежать отдельному органу или обе вместе должны распределяться между различными органами?

Первый способ, по-видимому, самый простой, но против него можно сделать существенные возражения. Установлением совершенно независимых друг от друга властей уничтожается единство государственной жизни. Так как законодательная власть по своему положению выше исполнительной, то, не встречая задержек в своей области, она непременно будет стремиться подчинить себе последнюю или превратить ее в простое орудие. Исполнительная власть, с своей стороны принужденная исполнять закон, в составлении которого она не участвовала, будет ему противодействовать и всегда окажется ненадежною. Отсюда бесконечные распри между властями, распри, которые неизбежно должны привести к победе одной из сторон, то есть к деспотизму***.

Ibid. §64.

Ibid. §67-68.

Ibid. §71.

Необходимо, следовательно, дать различным органам власти участие в каждой из ее отраслей. Но если все эти органы остаются независимыми от народа, то разделение не достигает цели. Такое правление, смешанное из монархических и аристократических элементов, не соответствует требованиям права и не обеспечивает свободы. Выше было доказано, что истинно правомерное государство существует только там, где народ не переносит всей полноты власти на независимые от него лица: рядом с искусственным органом всегда должен сохраняться естественный. Поэтому существенное разделение властей состоит в различии власти перенесенной и удержанной народом. Первая предоставляется правительству, вторая остается за народом или его представителями *. Оба органа должны участвовать как в законодательстве, так и в управлении, но в неравной степени. Представительству преимущественно принадлежит законодательство, правительству — управление. Закон как общая норма важнее приложения к отдельным случаям; он требует более зрелого и всестороннего обсуждения; равно распространяясь на всех, он связан с интересами каждого. Поэтому здесь всего уместнее решение представительного собрания. Однако на собрание не всегда можно полагаться. Закон не всегда одинаково касается всех; определяя отдельные предметы, он часто возбуждает борьбу интересов и страстей. Иногда в самом народе может господствовать увлечение или превратное направление воли. Вследствие всего этого законодательная власть собрания нуждается в сдержке. Эту сдержку она находит в правительстве, которому предоставляется санкция закона или право запрета. Ему же, совокупно с собранием, присваивается инициатива законов, а, наконец, в чрезвычайных случаях — право издавать временные постановления в отсутствие собрания, с тем чтобы эти постановления впоследствии представлялись на утверждение представителей. С другой стороны, управление, требуя единства, силы и быстроты, должно быть предоставлено правительству. Однако есть случаи, которые по своей важности требуют предварительного согласия народных представителей. Сюда относятся, прежде всего, взимание податей и отправление военной повинности. Кроме того, представительное собрание должно всегда иметь возможность следить за действиями правительства и обсуждать их, дабы предупредить всякое отклонение от требований общего блага. Но здесь оно может действовать только косвенно, путем представлений, жалоб и, наконец, обвинений**.

Эти начала приложимы ко всякому смешанному правлению. Основанная на них демократия в существенных чертах сходится с благоустроенною аристократией или монархией. Но полнейшее их осуществление представляет конституционная монархия. Здесь

* Ibid. § 66-71.

** Ibid. § 74.

правительство имеет более самостоятельности, нежели в демократии, а с другой стороны — оно менее разъединено с народом и менее нуждается в сложной внутренней организации и в гарантиях против собственных членов, нежели аристократическое собрание*.

Конституционный монарх есть глава государства, однако не в том смысле, что ему нераздельно принадлежит совокупность верховной власти, с некоторыми лишь ограничениями. Эта теория, весьма распространенная в Германии, основана на недоразумении, ибо если власть ограничена, то она разделена. Монарху принадлежит только совокупность перенесенной власти, в противоположность той части, которая удержана народом**. Несправедливо и принятое некоторыми французскими публицистами отделение монархической власти от правительственной. Король не возвышается над отдельными властями без всякого участия в их действиях; через это он превратился бы в призрак. Ему принадлежит самостоятельная область, именно управление; министры же являются только его слугами и представителями***. Но так как монарх, по самому своему характеру, безответствен, то в видах политики требуется, чтобы он действовал не иначе как через этих представителей, которые и несут ответственность за все свои действия в качестве пособников и исполнителей. Ответственность их простирается не только на всякое нарушение права, но и на общее направление политики. В этом отношении, конечно, последствием осуждения может быть только отставка; в первом же случае министры подлежат наказанию. Обвинение принадлежит народным представителям; но последние, будучи обвинителями, не могут быть вместе и судьями. Невозможно предоставить суд и обыкновенным судебным местам, ибо через это они сделались бы политической властью. Поэтому необходимо учреждение особого высшего судилища, которое представляло бы собою суд присяжных в самом лучшем его значении****.

Что касается до представительного собрания, то оно должно быть верным изображением общества. Оно представляет собою не отдельные права сословий, как феодальные чины, а совокупную волю народа. Поэтому оно должно составляться путем свободного выбора. Всякое влияние правительства на избирателей есть нарушение представительного начала. Но так как народ не составляет сплошной массы, а заключает в себе различные интересы по состояниям и местностям, то все эти интересы должны быть представлены в собрании. Представительство одного большинства было бы неверным изображением общества. Однако не все

Ibid. §76.

Ibid. §80.

Ibid. §70.

Ibid. §81, 82.

интересы имеют право на представительство, а единственно те, которые обладают самостоятельным значением и не противоречат государственной цели. На этом основании из числа избирателей исключаются все неполноправные, как-то: женщины, дети, несвободные и т.д.; они представляются взрослыми и свободными мужчинами. Исключаются и те, которые по недостатку имущества не пользуются самостоятельностью. Не могут иметь притязания на представительство и слишком мелкие интересы, а наконец, и такие, которые или враждебны государственной цели, или основаны на правах, дарованных государством, ибо в последнем случае они опять же не имеют самостоятельности. Поэтому не должны быть представляемы ни чиновники, ни состоящие на военной службе, ни привилегированные сословия как таковые. Все они могут иметь голос только в качестве граждан. Истинное же различие интересов определяется занятием, размером имущества и, наконец, местностью. По занятиям граждане разделяются главным образом на земледельцев и промышленников, что сводится к различию городов и сел. Политические соображения могут вести и к отдельному представительству школы и церкви, хотя, собственно говоря, ученые и священнослужители должны входить в состав остальных граждан. По размеру имущества достаточно установить отдельные категории для крупных владельцев и мелких; и те и другие должны составлять особые избирательные коллегии. К первым принадлежит и аристократия. Роттек признает, что поземельные владельцы вообще могут иметь притязание на некоторое преимущество в политическом отношении: они — главные акционеры государства; они связаны с ним самым прочным образом; наконец, они несут на себе большую часть тяжестей. Вследствие этого он допускает, хотя в редких случаях, личное право голоса крупных владельцев, а там, где этого требует историческое право, даже составление избирательных коллегий крупных владельцев исключительно из дворян. Нельзя не видеть в этих уступках весьма значительного отступления от принятой теории. Что касается до местностей, то здесь требуется разделение на равные по возможности избирательные округа на основании двойного отношения народонаселения и податного капитала. Таковы правила, которыми должен руководствоваться избирательный закон*. Выборы должны быть прямые. Система двойных выборов³⁰, по мнению Роттека, изобретена врагами истинного представительства. Она естественный орган заменяет искусственным и может быть допущена лишь там, где масса народа стоит на очень низкой степени развития **.

Затем представляется вопрос: должно ли народное представительство образовать одну палату или две? Защитники двух

* Ibid. § 86-90; ср.: § 54.

** Ibid. § 91.

палат обыкновенно требуют аристократической верхней палаты с самостоятельными правами, для задержки и контроля демократического представительства. Но такое учреждение, по мнению Роттека, совершенно искажает истинный характер представительного устройства. В этой системе народ, в противоположность правительству, должен составлять одно целое, а тут это естественное отношение заменяется искусственной организацией. Кроме того, этим уничтожается равенство между гражданами; народ ставится под опеку привилегированной касты. Наконец, в политическом отношении хотя отдельным интересам следует дать особое представительство, однако ни один из них не должен быть облечен правом абсолютного запрета на требования остальных. Аристократический интерес может иметь своих представителей в общем собрании, но он не должен сделаться самостоятельной властью, могущею сопротивляться самым справедливым стремлениям как правительства, так и народа. Верхняя палата может быть допущена лишь там, где народное представительство, по своему плохому составу или вследствие низкого состояния общества, не способно служить надлежащим противовесом правительству, или же наоборот, там, где монархическая власть слишком ослаблена, а потому не может представить достаточной сдержки выборному собранию. В нормальном же положении следует держаться одной палаты. Недостатки слишком поспешного обсуждения дел могут быть устранены хорошим регламентом. Во всяком случае, там, где устанавливается верхняя палата, она должна быть составлена на основании каких-либо естественных различий, как-то: возраста, числа избирателей, способа и срока избрания, а никак не рождения. Последнее всегда является нарушением человеческих прав и находит свою опору только в идолопоклонстве перед историческими учреждениями *.

Этот взгляд на верхнюю палату характеризует конституционное учение Роттека. Становясь на почву представительной монархии, он значительно смягчил вытекающие из личного права требования демократии; этим требованиям дано было противовесие в лице монарха. Но построение системы осталось у него чисто теоретическим. Противоположные политические элементы поставлены друг против друга, но не показаны способы их соглашения. Роттек не разъяснил парламентского правления и не понял роли, которую призвана играть верхняя палата в конституционном государстве. Последнему мешала воспитанная в нем демократическим духом нелюбовь к аристократии и вообще к историческому праву. Исходною точкою были для него все-таки чисто отвлеченные начала свободы и равенства, от которых он решался отступать лишь ввиду очевидно вредных последствий, проистекающих от безусловного приложения их

к государственной жизни. Изучение же конституционной практики либеральных государств, которое одно может дать твердые основания политике, было ему чуждо. В Баденской палате, где он был одним из самых видных ораторов, он являлся бойцом за народное право; но он никогда не мог быть министром конституционного государства.

Что касается до гарантий представительного устройства, которые состоят не в постановлениях закона, а в живых силах, действующих в обществе, то Роттек, признавая их необходимость, ссылается в этом отношении на писанную им вторую часть «Государственного права конституционной монархии» *, начатого баварским публицистом Аретином и оставшегося недоконченным по случаю смерти автора. Мы должны сказать несколько слов об этом сочинении, которое содержит в себе первое изложение конституционного права в немецкой литературе.

<8. Аретин>

Аретин, так же как Роттек, основывает государство на чисто юридических началах: оно призвано водворить юридический порядок, то есть обеспечение всех прирожденных прав человека **. Он идет даже далее Роттека в этом отношении, ибо он совершенно исключает из государственной цели попечение о народном благосостоянии ***. Так же как Роттек, он разделяет образы правления на два разряда, смотря по тому, имеется ли в виду общее благо или частное. В первом случае образуется народное или юридическое государство (Volksstaat, Rechtsstaat), во втором случае является устройство, противоречащее разуму. Первое исходит из того принципа, что власть первоначально принадлежит народу, а правительство существует только для народа и через народ. Поэтому оно не допускает неограниченной власти. Подобная власть может принадлежать только Богу, а не слабому человеку. Произвол есть искушение, которому немногие способны противостоять. Не только дурные, но и хорошие стремления человека нередко нуждаются в ограничении, ибо неосторожное рвение может быть вреднее злого умысла. Правитель должен хотеть только того, что требуется вечною правдою, а правда не признает прав, которые бы не были ограничены обязанностями, и не допускает беспредельной власти, уничтожающей все, что может ей противостоять. Конституционная монархия не имеет этих недостатков. В сущности, она не что иное, как демократия, приспособленная к большему пространству и более продолжительному времени.

* <Aretin Fr. J. C.> Staatsrecht der constitutionellen Monarchie, von Aretin. Первая часть вышла в 1824 г., вторая, конченная Роттеком, в 1828 г.

** Ibid. Einleitung. I. S. 1.

*** Ibid. Teil 2. VI. § 1.

Это — республиканская монархия, допускающая свободное развитие народа и обеспечивающая все права и все интересы*. Конституционная монархия разрешает великую задачу сочетания силы власти с свободой граждан **.

Но развивая эти начала, признаваемые всеми защитниками теории юридического государства, Аретин в противоположность Роттеку восстает против разделения властей. Он приводит слова Сисмонди³¹, который говорил, что раздельные власти подобны лошадям, запряженным в коляску с противоположных сторон, не с тем чтобы двигать ее вперед, а с тем чтобы разорвать ее на клочки. Одна законодательная власть представляет волю без силы, и наоборот, одна исполнительная власть представляет силу без воли. Судебная же власть, в сущности, вовсе не власть, а суждение. Власть есть воля, соединенная с силою. В государственной власти выражается общая воля, а так как общая воля одна, то и власть может быть только одна. Система равновесия властей не что иное, как призрак. Если одна из них сильнее других, то она скоро сделается единственною; если же они равносильны, то между ними будет бесконечная война, ибо над ними нет высшей, сдерживающей власти. Но если власть, по существу своему, не может быть разделена, то она может быть ограничена. На этом основана конституционная монархия. Совокупность верховной власти сосредоточивается здесь в монархе, но она ограничивается другими интересами или элементами. Аретин признает существование в каждом государстве троякого интереса: аристократического, представляемого дворянством и вообще духом предания, демократического, представляемого низшими классами и вообще духом прогресса, и, наконец, монархического, который должен господствовать над обоими, сдерживая их друг другом и умеряя повсюду кипящую между ними борьбу. В этом состоит существо конституционной монархии, главною представительницею которой является Англия***.

Таким образом, в этой системе свобода обеспечивается не разделением властей, а их соединением и ограничением. Цель государства, состоящая в охранении свободы и права, говорит Аретин, достигается господством закона, а для этого, в свою очередь, требуется установление неотразимой власти, охраняющей закон и наказывающей всякое его нарушение. Для того чтобы она могла действовать правильно, эту власть следует вручить единому лицу, которое не имело бы соперника и которого интересы совпадали бы с интересами народа. По своему положению оно должно быть выше всякой ответственности; но эта безответственность не должна простираться на слуг; последние подлежат наказанию

Ibid. Einleitung. I. S. 1-9.

Ibid. Teil 1. III. § 2.

Ibid. Einleitung. VII. S. 86-93.

в случае содействия нарушению законов. Затем, для ограждения правосудия от произвола необходима независимость судов. Наконец, установление законов не может быть исключительно делом монарха и его слуг, ибо это ведет к деспотизму. Им нельзя предоставить и неограниченных средств распоряжаться властью. В обоих отношениях монарх должен быть зависим от согласия народных представителей. Самое же представительство не должно быть ни исключительно наследственное, ни исключительно выборное. В первом случае монарх легко бы мог подчинить себе собрание, или, наоборот, он сам бы ему подчинился, вследствие чего монархия превратилась бы в аристократию. Во втором случае правительство постоянно имело бы против себя замечательнейших людей из народа и находилось бы с ними в борьбе, что также повело бы к изменению конституции. Только уравнивая друг другом различные элементы общества, монархия может остаться средоточием государственной жизни *.

Такова немецкая теория единой, но ограниченной власти, которую Аретин противопоставляет учению Монтескье. Он ссылается при этом на то, что в Англии называется прерогативой короля, доказывая, что заключающиеся в этой прерогативе права не подходят ни под понятие о законодательстве, ни под понятие об исполнении, но могут принадлежать монарху только как главе государства **. Эта теория имеет значение как возражение против полного разделения государственной власти на отдельные отрасли; но сама она не выдерживает критики, ибо ограничение власти, очевидно, составляет вместе и ее разделение. Роттек справедливо отвергает этот взгляд, хотя собственная его теория разделения власти на перенесенную и удержанную народом, в свою очередь, оказывается несостоятельной, ибо она основана на вымысле.

Установив существенные черты конституционных учреждений, Аретин перебирает затем личные права граждан, которые должны быть обеспечены государством, как-то: свободу лица, свободу и неприкосновенность собственности, равенство перед законом, свободу мысли и совести. Далее он рассматривает различные отрасли государственной деятельности в связи с конституционным учением. Но застигнутый смертью, он не успел окончить своего сочинения. Издатели его книги обратились к Роттеку, который завершил ее изложением системы политических гарантий.

Эта часть, может быть, самая замечательная не только в политической теории Роттека, но и вообще в конституционном учении немцев. Относительно разработки конституционного права немецкая литература двадцатых и тридцатых годов находилась под сильным влиянием французского либерализма. Роттек прямо говорит, что в этой области французы стоят впереди всех, немцы

* Ibid. S. 107-113.

** Ibid. Kap. I. Einleitung. V. § 1-7.

следуют за ними, а англичане не представляют почти ничего *. Но французские публицисты, обращая преимущественно внимание на отношения властей и общие права народа, упускали из виду требования местной свободы, которые слишком мало ценились в их отечестве. В этом отношении выработанная Роттеком система конституционных гарантий представляет самостоятельный вклад в политическую науку, хотя и здесь личные его взгляды, в особенности неприязнь к историческим формам, мешают совершенно правильной оценке предмета.

В основание своего изложения Роттек полагает политическую аксиому, что правительство в конституционной монархии должно быть сильнее всякой частной воли, но слабее общей воли. Поэтому в народе должны быть развиты все те силы, которые способны действовать в интересах целого. Такого рода силы могут принадлежать не отдельным лицам, а единственно корпорациям. Отсюда политическое значение последних. Разъединение же лиц и отсутствие всякой органической связи в обществе предают его на жертву деспотизму**.

Из числа корпораций, способных поднять общественный дух, Роттек исключает, однако, дворянство. По психологическому закону, говорит он, люди движутся не столько чувством долга, сколько интересом, а интерес дворянства состоит в том, чтобы возвышаться над народом и увеличивать свои привилегии. Вследствие этого естественное его стремление заключается в противодействии народу. С другой стороны, оно точно так же становится в оппозицию престолу, ибо оно само хочет участия в верховной власти. Таким образом, оно может стоять между престолом и народом только в ущерб тому и другому. Об этом свидетельствует вся история. В конституционной монархии высший класс может занять место единственно как собрание людей, отличающихся личным достоинством и общественным положением, при добровольном признании со стороны других, а отнюдь не как сословия, облеченные привилегиями***.

Ссылаясь на историю, Роттек не подкрепляет, однако, своего мнения историческими примерами. Роль аристократии в развитии конституционных учреждений Англии могла бы навести его на соображения иного рода. Он не разбирает и различных форм привилегированного сословия, из которых одни более, другие менее подходят к требованиям конституционной монархии. Вообще, эти страницы отличаются односторонностью воззрения.

С такою же односторонностью Роттек исключает и церковь из числа корпораций, могущих иметь полезное влияние на поли-

* Rotteck K. W. R. Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften. Bd II. Einleitung. § 18. S. 44.

** <Aretin Fr.J. C.> Staatsrecht der constitutionellen Monarchie. Teil 2. Absch. 2.1. § 1.

*** Ibid. § 2.

тический быт. Привилегированное ее положение, говорит он, тем опаснее, что она властвует над человеческим духом *. То великое значение, которое может иметь самостоятельная церковь, поставляя преграды деспотизму государства именно в области духа, совершенно от него ускользает.

Что же касается до других разного рода корпораций, то Роттек вообще признает их благотворными учреждениями. С одной стороны, они умеряют непосредственное действие правительства на отдельные лица, с другой стороны, они противодействуют частному эгоизму и воспитывают в народе общественный дух, поставляя гражданам общие цели и общие интересы в ближайшей сфере их деятельности. В том и другом отношении, связывая лица в мелкие союзы, они представляют собою значительные оборонительные силы. Из всех этих корпораций важнейшие суть местные союзы — общины и области **.

Насчет общин, говорит Роттек, существуют два противоположных мнения. Одни считают их самостоятельными единицами, возникшими прежде государства, другие видят в них создания государства. Первые требуют для общин всей той свободы, которая не отчуждена ими в силу общественного договора: эта свобода принадлежит им первоначально и не теряется вследствие вступления их в политический союз. Государство в этом воззрении является только восполнением общины. По второму мнению, напротив, общины как государственные учреждения могут иметь только те права, которые перенесены на них государством; они восполняют государство в том, что оно само делать не может. Последнее воззрение принадлежит защитникам деспотизма, к которым присоединяются и фанатические проповедники свободы и равенства. Первое же мнение разделяется всеми истинными друзьями свободы. Они в общинах видят маленькие государства, которые при вступлении в более обширный союз отчуждают только то, что необходимо для общей цели. С этой точки зрения всякое государство представляет собою, в сущности, систему государств, членами которой являются, с одной стороны, общины, с другой стороны — отдельные лица в качестве граждан. Наконец, существует и третье мнение, которое старается сочетать оба первые: но оно не имеет самостоятельного принципа и не может указать границы между обоими значениями общинного союза. Наука требует ясной основной идеи, из которой можно вывести все необходимые последствия; поэтому первое мнение безусловно заслуживает предпочтения ***.

Отправляясь от этого начала, за государством следует признать все ныне принадлежащие ему права, но на ином основании.

* Ibid. § 3.

** Ibid. § 4.

*** Ibid. Absch. 2. II. § 1, 2.

Общины подчиняются ему не как государственные учреждения, а как члены политического союза. С одной стороны, они обязаны покоряться всему, чего требует общее охранение права, с другой стороны — они имеют право наравне с другими участвовать в общественных выгодах. Государственные учреждения, напротив, самостоятельных прав не имеют; они являются не целью, а средством. Поэтому в отношении к ним дозволено все, что требуется целью. Таким образом, вопрос заключается не в том, чего государство достигает посредством общин, а в том, чего общины вправе требовать от государства и какие взамен того они принимают на себя обязанности. Не общины существуют для государства, а государство для общин. На этом основании все, что общины могут делать сами, того государство не должно за них делать; ибо государственная власть — не единственная, а только высшая. Государству же в отношении к общинам принадлежат следующие права: 1) оно должно вступаться везде, где этого требует собственный интерес общин и их членов. Нравственное лицо нуждается в постоянной опеке для ограждения его от увлечений и от корыстных видов временных его членов и правителей. Государство становится здесь блюстителем прав и интересов меньшинства и будущих поколений. Однако в этой области господствующим началом остается общинная автономия; государственная деятельность является здесь только как ограничение, охранение или восполнение. 2) Еще более государство может вступаться там, где общины подчиняются известным обязанностям как члены политического союза. Тут уже нераздельно господствует государственная власть; но общины, через своих представителей, участвуют в составлении общей воли. 3) Государство может пользоваться общинами как орудиями для исполнения административных мер. Здесь общинная власть является как делегация *

Роттек сознается, впрочем, что между правами общин и государства трудно провести точную границу. Столкновения могут разрешаться только живым взаимодействием между общинами и народным представительством**. Ясно, что в приложении эта теория сбивается на то среднее мнение, которое Роттек отвергал как не основанное ни на каком твердом начале. Несмотря на одностороннюю точку отправления, общины все-таки являются у него и самостоятельными союзами, и орудиями государства. Поставляя их под опеку даже во внутренних их делах, Роттек признает все, чего требуют умеренные защитники централизации.

Что касается до устройства общин, то Роттек в этом отношении держится самых либеральных начал. Так как над ними есть высшая власть, которая может воздерживать злоупотребления, то здесь допускается большая свобода, нежели в политической организации.

* Ibid. § 3.

** Ibid. § 4.

В чистой монархии общины могут иметь республиканское устройство. Магистрат, то есть управа с бургомистром во главе, должен быть выборный; иначе исчезает общинная самостоятельность. Самовосполняющаяся коллегия неизбежно заражается частными интересами; назначение же членов от правительства превращает общины в орудия государственной власти. Рядом с управою как искусственным органом должна стоять дума как естественный орган. В небольших общинах она составляется из всех полноправных членов, в более обширных — из выборных. Права ее те же, что права ландтага в отношении к правительству; здесь они могут быть даже шире, ибо менее возможны злоупотребления. Однако дума не должна вмешиваться в администрацию; она является только представительницею управляемых *.

В свободных общинах Роттек видит самую крепкую основу конституционной монархии. На них зиждется счастье и благосостояние граждан; в них вырабатывается общественный дух, без которого самые выборы представителей теряют свое значение; наконец, в них развивается чувство права и полагается оплот против захватов власти **.

Меньшее значение имеет область. Большею частью она составляет только искусственное деление, установленное государством. Однако и здесь возникает общая жизнь, не столь крепкая, как в общинах, но требующая тем не менее своего представительства. Там, где провинции имеют исторический характер, они пользуются иногда и более широкою самостоятельностью. Но подобное устройство, склоняющееся к федерализму, уничтожает единство народной жизни и общественных интересов, а потому несогласно с духом конституционной монархии. В нормальном порядке областное представительство, или ландрат, имеет меньшее значение, нежели общинная дума или народное представительство. Оно представляет интересы лиц, связанных случайно и малою частью своей жизни. Поэтому обыкновенно оно не облечается властью, а дает только советы и согласие; управление же предоставляется органам государства. Тем не менее в конституционной монархии такое учреждение необходимо, ибо по духу этого образа правления, где есть самостоятельные интересы, там должно быть и представительство. Притом оно составляет необходимое звено между общинным представительством и народным. И оно способствует развитию общественного духа; а вместе с тем оно знакомит правительство с нуждами края; наконец, оно образует дальних народных представителей. Но областное представительство должно ограничиваться чисто местными интересами, не вступаясь в общие государственные вопросы. Этим оно отличается от существующих в некоторых странах провинциальных чинов, которые развивают

* Ibid. § 16-20.

** Ibid. § 23.

в гражданах узкие областные стремления и отчуждают их от общих интересов народа*.

Наконец, над местными представителями возвышается общее представительное собрание, хорошее устройство которого составляет важнейшую гарантию конституционного порядка. Роттек снова излагает здесь те начала избирательного права, которые мы видели уже выше. В виду хороших выборов, он еще более настаивает на необходимости исключения неблагонадежных в политическом отношении классов: «Несостоятельность всеобщей подачи голосов,— говорит он,— признана всеми. Бесхарактерная, легко подвижная, невежественная, имущественно несостоятельная, непривязанная к отечеству собственными интересами толпа может сделать только дурной выбор» **. В основание избирательного права должно быть положено аристократическое начало, с тем чтобы в пределах избирательной коллегии господствовало демократическое начало равенства. Роттек считает преимущество, данное богатству, требованием не одной политики, но и права. Богатые не только более заинтересованы в общем деле, но и несут большие тяжести. Поэтому закон должен постановить известный имущественный ценз; иначе водворится охлократия ***. Но сделав это ограничение, Роттек отвергает всякое другое различие в представительстве. В особенности он восстает против признанного Аretiном различия интересов монархического, аристократического и демократического. В народе, говорит он, должен господствовать один интерес — интерес целого, то есть демократический. Монархический интерес совпадает с ним, а аристократический не может иметь притязания на представительство, если он ему противоречит. Если демократический интерес означает равенство, то есть право, а аристократический — привилегии, то последний вовсе не должен быть представляем. Если же аристократический интерес должен означать охранительный дух, предание, исторический элемент, а демократический интерес — подвижность, то и в этом воззрении является противоречие и неясность. Желание сохранить существующий порядок имеют все те, которые им довольны. Там, где народ счастлив, охранение становится демократическим началом. И охранение, и прогресс могут быть и хороши, и дурны, смотря по тому, к чему они прилагаются ****. Поэтому привилегированная палата не может считаться представительницею народа. Это — фикция, выходящая из пределов дозволенного. Естественны два элемента: правительство и народ; дворянская же палата, стоя посредине между обоими, посягает как на величие престола,

* Ibid. Absch. 2. III: Vom Landrath.

** Ibid. Absch. 2. IV: Von der Ständerversammlung, § 11.

*** Ibid. § 7.

**** Ibid. § 8.

так и на самостоятельность народа. Между королем и народом не нужно иного посредника, кроме писанного права и психологического закона разумного самолюбия*.

Нельзя не заметить, что все эти рассуждения Роттека, слабые в теории, еще более оказываются такими на практике. Опыт убеждает нас, что ни писанные хартии, ни закон разумного самолюбия не обеспечивают правильного хода свободных учреждений. Во всяком случае, между двумя элементами, которые могут прийти в столкновение, всегда необходим посредник.

Выше всех других гарантий Роттек ставит, однако, крепкое общественное мнение, которое составляет истинную душу свободного правления. Общественное же мнение требует духовного развития народа и живого общения мыслей, что невозможно без свободы печати, которая сама по себе есть первоначальное, абсолютное, священное человеческое право, вверенное только охране государства и не подлежащее стеснению, является вместе с тем необходимым элементом конституции и самую надежную ее гарантию. Злоупотребления печати должны устраняться не предварительною цензурою, которая коренным образом противоречит праву, а законом, пресекающим преступления, и судом присяжных **.

Роттек исчисляет и некоторые другие гарантии, как-то: публичность всех действий правительства, широкое народное образование, систему ополчения вместо стоячих армий, наконец, мудрые правила об исправлении конституции. Сочинение заканчивается пламенным воззванием к охранению свободы ***.

Таковы в существенных чертах воззрения Роттека. Точкою отправления служит учение Канта; на нем строится теория юридического государства. Но развитие индивидуалистических начал смягчается здесь требованиями государственной жизни. Вместо чистой республики идеалом политического устройства является конституционная монархия, основанная на противоположении монархического элемента и демократического, на сочетании порядка и свободы. Однако монархический элемент служит здесь только сдержкою; главная цель конституционных учреждений заключается в развитии свободы. Влияние французского либерализма времен реставрации на разработку этого учения очевидно. Роттек отличается от французских публицистов разве только меньшим политическим смыслом и более односторонним развитием либеральных начал. Построение его учения — чисто теоретическое; изучения конституционной истории либеральных государств у него вовсе не видать. На Англию он даже не обращает никакого внимания; все конституционное развитие нового

Ibid. §13.

** Ibid. Absch. 2. VII: Von der Pressfreiheit.

Ibid. Absch. 2. VIII: Noch andere Garantien.

времени он считает произведением Французской революции*. В самой теории он далеко не всегда является последовательным; отвлеченные требования права постоянно находятся в противоречии с смягченными выводами политики. Одним словом, если в развитии немецкой политической мысли воззрения Роттека играли видную роль, то в общем движении науки они представляют мало существенного. Во всяком случае, они значительно уступают тому, что выработано было другими народами.

9. Велькер³²

С именем Роттека неразрывно связано имя ближайшего сподвижника его на политическом и ученом поприще — Велькера. Они вместе ратовали за свободу в Баденской палате, вместе издавали «Политический лексикон», который имел целью, в популярной форме и с либеральной точки зрения, распространить в обществе сведения по всем государственным вопросам. Велькеру принадлежит и самостоятельное сочинение, изданное в 1813 г. под заглавием «Последние начала права, государства и наказания» **. Это сочинение во многих отношениях носит еще печать юности и незрелости мыслей; однако оно может служить к характеристике различных сторон и направлений немецкого либерализма.

Так же как Роттек, Велькер не признает зависимости начал права от решения высших философских вопросов. До сих пор, говорит он, философы не могли прийти к какому-либо твердому, всеми признанному воззрению. Поэтому чисто философский вывод начал права подверг бы эти начала всем колебаниям философских систем. С другой стороны, однако, невозможно считать правомерным все, что существует в действительности. Мы должны руководствоваться опытом, но не отрешаясь от идеальных начал. Право, как и всякое нравственное отношение, предполагает понятия о Боге, о свободе и о бессмертии. Но эти идеи, составляющие предмет всех философских исследований, стоят выше всякого доказательства и до такой степени убедительны для человека, что отвергать их необходимость невозможно иначе, как при очевидном самообольщении ***.

Ясно, что при таком воззрении опыт служит только подкреплением принятых на веру начал. Велькер, так же как Роттек, не был последователем какой-либо определенной философской системы, но он находился под влиянием философского движения своего

* Rotteck K. W. R. Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften. Bd II. Einleitung. § 18. S. 44.

<Welcker C. T.> Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe, philosophisch und nach den Gesetzen der merkwürdigsten Völker rechtshistorisch entwickelt von Carl Theodor Welcker. Gissen, 1813.

*** Welcker C. T. Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe... Vorrede.

времени, воспринимая и прилагая в известном смысле общие, выработанные им идеи.

Несмотря, однако, на эти идеальные стремления, Велькер утверждает, что практическая философия, имея целью руководить человека в опытной сфере, должна отправляться от опытного изучения человека, сначала в отдельности, а затем в его отношениях к окружающему миру. Из этих отношений можно вывести управляющие ими законы. Изменяя отчасти известное определение Монтескье, Велькер определяет закон как необходимое направление, получаемое какою-либо силою вследствие отношения ее к другой силе посредством восприимчивости к действию другой. То, что согласно с законом, тем самым правомерно. В мире все находится в многообразных отношениях, а потому подчиняется многообразным законам. Человек как существо материальное управляется физическими законами, не подлежащими произволу; как разумное существо он управляется законами разума, и здесь проявляется его свобода. Он действует правомерно, когда он поступает согласно с сознанным им законом своей деятельности. В противном случае он приходит в противоречие с самим собою; отсюда происходят внутреннее раздвоение и страдание *.

В чем же состоят законы человека как разумного существа? Они определяются трояким его отношением: 1) к чувственной природе; 2) к высшему духовному естеству, воспринимаемому первоначально внешним образом, без разумного сознания; 3) к высшему естеству, насколько оно раскрывается разумным сознанием. Это троякое отношение соответствует трем возрастам человеческой жизни. В детстве господствует чувственность, в юности — воображение и вера, в зрелом возрасте — разум. Старость составляет опять возвращение к детству. С этим связан и троякий закон, а вместе и троякое государственное устройство; ибо государство не что иное, как союз народа для постоянного осуществления высшего, сознаваемого им закона. В государстве нельзя видеть только случайное явление или полезное изобретение; оно необходимо истекает из закона и должно изображать его в себе. Этот троякий, управляющий им закон есть закон чувственности, веры и разума. На первом основана деспотия, на втором — теократия, на третьем — юридическое государство **.

Чувственные потребности, господствующие в детском возрасте человеческого рода, ведут к эгоистическому стремлению подчинить себе весь окружающий мир. Отсюда непрерывные столкновения между людьми; последствием их является владычество сильнейшего. Право чувственности есть право силы. На нем основана деспотия. Она держится страхом, который составляет отрицательную сторону господствующего в ней начала. Редко,

* Ibid. Buch 1. Cap. 1.

** Ibid. Cap. 2.

однако, она является в чистом виде; большею частью она смешивается с другими формами, преимущественно с теократиею. Человек, по самой своей природе, не может постоянно оставаться под господством чувственности. Он постепенно выходит из периода детства; мало-помалу перед ним открывается высший мир. Сначала явления природы возбуждают в нем благоговение перед высшим Существом. Он обоготворяет внешние предметы, а затем постепенно возвышается к более чистой идее Божества. Однако в юношеском возрасте он не в состоянии еще постигнуть эту идею разумом. Находясь под влиянием воображения, он понимает Божество как нечто внешнее, и детски принимает откровенные его веления. Это — период господства теократии. Формы ее могут быть различны; но везде вера является главною основою всего бытия, а священник — ее глашатаем. В отличие от деспотии, тут господствуют благороднейшие стремления человеческой природы, хотя еще в юношеской форме. Но со временем и эта безотчетная вера должна исчезнуть. В человеке пробуждается испытующий разум. Он начинает понимать, что Божество, которому он поклонялся, находится не вне его, а внутри его сердца. С этим вместе внешнее откровение заменяется для него внутренним голосом разума и совести, который раскрывает ему сознание высшего мира. Для человека начинается период зрелости, того возраста, когда собственный разум остается для него единственным руководителем. Спрашивается, чего же требует от него этот руководитель? И может ли указанный им нравственный закон быть вместе и внешним законом государства? *

Велькер отвергает мнение тех, которые, смешивая право с нравственностью, полагают целью государства осуществление нравственного закона в человеческих обществах. Нравственная деятельность зависит от личной совести каждого. Тут все решается внутреннею свободою. Принуждение не имеет здесь места; оно уничтожает нравственный характер действия и ведет к самому страшному деспотизму, к подчинению человеческой совести внешнему для нее закону. Государство не может ссылаться и на общепринятые нравственные требования, которые должны быть признаны всяким разумным человеком. Таких абсолютных практических истин нет. Человеку не дано чистое познание абсолютного; скованный пределами индивидуального бытия, он постигает истину только по мере личных своих сил и способностей. Полная истина заключается в Боге, а человек должен довольствоваться стремлением к ней. Отсюда противоречия и колебания философских систем. Философы, которые требуют подчинения лица высшим, абсолютным началам, должны сначала согласиться между собою насчет этих начал. Но если бы даже нравственные требования могли дойти до степени абсолютной истины, то принудительное

* Ibid. Cap. 4-6.

осуществление их в государстве породило бы один деспотизм и превратило бы граждан в рабов. Нравственность же от этого ничего бы не выиграла, ибо нравственно только добровольное исполнение обязанностей. Религия и нравственность процветают единственно там, где они могут развиваться свободно и где государство ограничивается внешним их охранением посредством юридического порядка, не делая их целью своей деятельности *.

Не более основательно и мнение тех писателей, которые, признавая отличие права от нравственности и ограничивая ведомство государства исключительно первым, стараются, однако, вывести право непосредственно из нравственного закона. Они видят в праве необходимое условие нравственности, а потому требуют его охранения. Но, не говоря уже о том, что из нравственного закона нельзя непосредственно вывести принуждения, тут оказываются и другие несообразности. Если права лица выводятся из лежащих на нем нравственных обязанностей на том основании, что ему должно быть дозволено делать то, что оно обязано делать, то право не идет далее обязанности. Притом дозволение имеет чисто отрицательное значение, а право носит на себе положительный характер. Если же право выводится из обязанности уважать в других внешние условия нравственного развития, то спрашивается, в чем состоят эти условия? и почему они должны охраняться принуждением? Жизнь, здоровье, внешняя свобода, собственность, честь, одним словом — все, что ограждается правом, имеет для нравственного развития человека весьма относительное значение. Требование неприкосновенности этих благ ничем не доказано. Независимо от нравственного закона они, по этой теории, не могут иметь притязания на защиту; во всяком случае, далее нравственных требований эта защита не простирается. Следовательно, и здесь право дается только для исполнения обязанности. Как же скоро оно приходит в столкновение с последнею, так оно должно терять всякую силу. Таким образом, и тут самостоятельное значение права остается необъясненным; оно является только орудием нравственности **.

С другой стороны, однако, невозможно и отделить совершенно право от нравственности. Существенный характер разума заключается в единстве; в этом состоит и первое его требование. Как теоретический разум признает единое основание и единую цель всего сущего, так и практический разум должен всю деятельность человека свести к единому началу. Это начало есть нравственный закон, который как высшее определение разума обнимает все существо человека. Что не заключается в нем, то противоречит разуму. Поэтому невозможно разделять в человеке внутреннюю и внешнюю его деятельность. Природа человека состоит в тесном

* Ibid. Cap. 7.

** Ibid. Cap. 8.

соединении внутреннего и внешнего, идеального и реального; эти два элемента находятся в постоянном взаимодействии. Человек не может действовать внешним образом, не действуя вместе и внутренне, и наоборот. А потому совершенное отделение права от нравственности немыслимо. Через это право становится телом без души, так же как и наоборот — нравственность без права есть душа без тела. Все попытки вынести право из начал, по существу своему отличных от нравственности, ведут к построению его на чувственных влечениях или на личной выгоде; но эти начала могут породить только деспотизм. Право чувственности есть право силы. Тут не поможет никакой договор, никакие гарантии. Государство, построенное на этих основаниях, никогда не может соответствовать требованиям разума, и не один человек, сознающий нравственный закон, не может им подчиняться *.

Как же выйти из этой дилеммы? Право, отрешенное от нравственности, ведет к безнравственности; право, основанное на нравственности, поглощается нравственностью.

Некоторые писатели, не видя исхода, стараются основать право чисто на положительном законе. Представителем этого направления в новейшее время является Гуго. Признавая идеальные требования как конечную цель человеческого развития, он временно, в настоящем состоянии человечества, считает правом все, что устанавливается властью. Но этим совершенно уничтожается свобода человека. Подданные лишаются всякой гарантии; в юридической области водворяется чистейший произвол. Самые безобразные постановления освящаются этою теориею. Менее всего она может иметь притязания на именование правом разума, ибо она узаконивает все, что противоречит разуму. Конечно, безусловно идеальные требования неосуществимы при настоящем состоянии человека; но из этого не следует, что они неосуществимы ни в какой мере. Положительное законодательство может иметь притязание на уважение настолько, насколько оно к ним приближается. Гуго требует безусловного подчинения власти на том основании, что только третье, беспристрастное лицо может разрешать столкновения между людьми; но зачем нужно прибегать к третьему, беспристрастному лицу, вместо того чтобы решать спор жребием или силою? Не потому ли, что от него ожидают решения справедливого, а не произвольного? Следовательно, существование права предполагается уже при самом установлении власти; она служит ему только органом и орудием. Подчинение же чистому произволу немыслимо в разумном существе, ибо оно ставит его в худшее положение, нежели то, которого оно хотело избежать **.

Остается, следовательно, искать начал права в связи с нравственным законом. Если оно не вытекает из последнего непосредствен-

* на. Cap. 9.

** Ibid. Cap. 10.

но, то оно может быть выведено из него косвенно. Как разумное существо человек в своей практической деятельности знает один верховный закон — закон нравственный. Исполнение этого закона предоставляется свободе. Человек, по существу своему, свободен. Между тем в нем неразрывно связываются два элемента: внутренний и внешний, разумный и чувственный. Он призван осуществлять нравственный закон не только в себе самом, но и во внешнем мире. И здесь он остается тем же, чем он является внутри себя; и здесь он действует как свободное существо, не подчиняясь чужому закону. Внешняя свобода неразрывно связана с внутреннею. Человек не может от нее отречься, не отказавшись от своего достоинства как разумного существа. И та и другая составляет высшее его благо, основу всего его нравственного существования. Во внешней жизни, так же как и внутри себя, человек всегда остается своим собственным законодателем *.

Но, признавая себя свободным, человек должен признать таковыми же и все другие разумные существа. Между тем внешняя свобода приводит его в столкновение с другими людьми. Если бы каждый следовал исключительно закону личной своей свободы, то из этого возникла бы всеобщая борьба, которая повела бы к взаимному уничтожению людей. На этом нельзя остановиться. Разум должен указать человеку средство примирить личную свою свободу со свободой других. Это средство состоит в добровольном соединении людей для установления такого внешнего порядка, в котором каждому предоставляется известная часть внешнего мира для свободного осуществления своих целей. Такой порядок есть право**.

Таким образом, право вытекает из свободного согласия людей, руководимых разумным требованием мирного сожительства. Источником его является договор, но договор, основанный не на влечениях чувственности или на отношениях силы, а на взаимном уважении и признании нравственного достоинства лиц. Первоначальный корень его лежит, следовательно, в нравственном законе, но оно выводится из последнего только посредством свободной воли людей. Поэтому какие бы философы ни выставляли идеальные требования, правом может считаться только то, что установлено добровольным согласием всех. Но это установление, по существу своему, не может идти далее того требования, из которого оно истекает, то есть мирного сожительства. Поэтому право имеет чисто формальный характер. Оно определяет только область, предоставленную свободе лица, а не цель его деятельности. Внутри себя лицо связано нравственным законом; но другие в это не вступают. Пока человек признается разумно-нравственным существом, предполагается, что он руководится нравственными целями. Поэтому право,

* Ibid. Cap. U.S. 72-73.

** Ibid. S. 73-74.

в существе своем, не противоречит нравственности. Противоречие может оказаться единственно вследствие ограниченной точки зрения третьих лиц, которые при обсуждении действия не могут проникать во внутренние побуждения человека и принуждены довольствоваться внешним согласием поступка с законом. Само же по себе безнравственное действие никогда не может быть правомерным. Право и нравственность, истекая из одного источника, должны состоять в полной гармонии *.

Из этих оснований следует далее, что так как нравственное достоинство лиц, будучи абсолютным началом, всегда себе равно и не имеет степеней, то права всех в формальном отношении равны, хотя в материальном отношении внешнее их осуществление может быть весьма неравное **. Наконец, отсюда вытекает и необходимость охранять право принуждением. Так как внешняя свобода составляет необходимое условие нравственного существования человека, то она должна быть ограждена от насилия. Через это принуждение приобретает нравственный характер, которого оно без того не имеет. Ограждая установленное общим согласием право, оно согласуется и с истинною свободою лиц. Им отрицается только временное отклонение от признанного всеми закона, только минутное преобладание чувственности над требованиями разума. Учреждая между собою юридический порядок, люди сами устанавливают себе врача против чувственных страстей и увлечений ***.

Понятно, однако, что право, хотя оно и основано на добровольном согласии всех, не может держаться при свободе личного толкования. Минутное увлечение или заблуждение могло бы уничтожить весь юридический порядок. Поэтому разум должен указать людям средство упрочить этот порядок. Это средство есть государство. Право охраняется государством, но не устанавливается им, как думают некоторые. Напротив, оно необходимо предшествует государству, которое на нем зиждется и от него получает свою силу. Законодатель только записывает право; он никогда не может неправое сделать правым. Если в жизни встречаются в этом отношении некоторые отклонения и заблуждения, то они лишь временно допускаются гражданами, которые охотно терпят небольшие неудобства ввиду огромных выгод, доставляемых государственным порядком ****.

Из этого следует, что юридическое государство, так же как и право, основано на договоре. Первоначальные государства, именно деспотическое и теократическое, могут иметь иное происхождение; но как скоро из них образуется юридическое государство, так необходимо требуется согласие всех, либо ясно выраженное,

Ibid. S. 75-79.

Ibid. S. 79.

Ibid. S. 82-83, 86-87.

**** Ibid. S. 80, 84-85.

либо несомненно доказанное возможностью всегда высказать свое несогласие. Этот договор должен существовать не в идее только, а в действительности, ибо иначе люди были бы свободны только в идее, а в действительности были бы рабами *. Он должен быть не одновременным только актом, а постоянною основою государства, которое держится только согласием всех. Как скоро взрослый гражданин сознательно высказывает свое убеждение, что настоящий юридический строй его не удовлетворяет, так между ним и государством уничтожается всякая связь. Он должен иметь возможность уйти куда ему угодно, и государство обязано облегчить ему выход всеми способами. Но и остающиеся всегда должны иметь средство выразить свое неудовольствие и требовать изменения существующего порядка. Это достигается правом жалобы и представления, правом, составляющим необходимое условие правомерного государства. К тому же клонятся, наконец, публичность действий правительства и свобода общественного мнения**.

Эти четыре пункта, а именно свобода выхода, право прошения, свобода общественного мнения и, наконец, как корень всего остального, установление закона добровольным согласием всех, составляют существенные части всякой конституции. В этом заключаются основные законы юридического государства, столь тесно связанные с ним, что там, где одного из них недостает, свобода граждан исчезает, и юридическое государство тем самым уничтожается***. Эти законы могут, впрочем, существовать при различных образах правления. Вопросы о преимуществах монархии, аристократии и демократии, о сословном и бессословном устройстве, о разделении властей и т. п. чрезвычайно важны в политическом отношении, но юридически они безразличны. Все эти формы, даже сосредоточение совокупной власти в одном лице, могут быть правомерны, если только они устанавливаются свободным согласием граждан, и последним всегда дается возможность выразить свое неудовольствие. Поэтому в представительные учреждения, как бы они ни были уместны в юридическом государстве, не составляют, однако, необходимой его принадлежности. Еще менее можно признать непременною требованием права демократическое устройство, которое проповедует Руссо. Хотя он и старается доказать, что в предположенном им обществе каждый повинуетя только собственной своей воле, но и сущности, полновластие народного собрания ведет к деспотизму массы над отдельными лицами и даже над целыми классами граждан. Демократия, как и все другие образы правления, связана объективным правом, для установления которого требуется не решение большинства, а согласие всех.

Ibid. S. 81, 89-90.

Ibid. S. 90-95.

Ibid. S. 95-96.

Как скоро это коренное условие правомерного государства, а равно и другие основные законы намеренно нарушаются, так в государстве водворяется деспотизм; а вместе с этим правитель лишается правомерного основания своей власти, то есть юридически перестает быть правителем *.

Что же должны в этом случае делать граждане? Принадлежит ли им право судить о правомерности власти? и предоставляется ли им защита против злоупотреблений? Право суждения принадлежит им несомненно: у человека нельзя отнять право действовать по собственному убеждению и по внутреннему сознанию своей обязанности. Что касается до защиты, то юридически она заключается прежде всего в означенных выше основных законах государства; за недостатком же их она возможна только двумя способами: или через посредство особого, стоящего над правительством органа общей воли, в каком случае, однако, этот орган становится истинным правителем; или же тем, что самый закон в известных случаях предоставляет всякому гражданину право сопротивляться неправомерной власти, как это было в Англии и в Риме, где гражданам дозволялось даже убивать тиранов³³. Там же, где нет такого рода установлений, революция никогда не может быть правомерна; ибо для изменения права требуется общее согласие, а органа совокупной воли тут нет. Ни отдельные лица, ни даже большинство граждан не могут его заменить. Поэтому, когда граждане считают всякое право уничтоженным, они должны руководствоваться единственно личными своими нравственными и политическими соображениями; юридические начала тут недостаточны **.

Из этого нельзя, однако, заключить, что между правителем и подданными существуют только нравственные отношения. Если над правителем нет высшего судьи, если он не подлежит принуждению, то из этого еще не следует, что обязанности его не юридические. Принуждение сопровождает право, но не составляет существенного его свойства. Право остается правом, хотя бы оно не могло быть вынуждено. Вопрос состоит здесь в том, каковы лучшие способы охранения права, и на этот вопрос нет безусловного ответа. Политические учреждения изменяются, смотря по месту, времени и обстоятельствам. Самые лучшие, как все земное, подлежат искажению. Нет конституции, которая вполне ограждала бы подданных от произвола и деспотизма. Истинною гарантией свободы остается все-таки нравственный дух граждан и основанное на нем уважение к собственному и чужому нравственному достоинству ***.

Такова юридическая теория Велькера. Существенно в ней признание неразрывной связи между правом и нравственностью.

Ibid. S. 101-103.

Ibid. S. 104-106.

Ibid. S. 106-108.

Оторванное от своего корня, от нравственной природы человека, право перестает быть обязательным, иначе как в силу внешнего принуждения, а это открывает дверь всякому произволу. Идеалистическая философия выработала сознание этой связи, указав на взаимную зависимость двух противоположных сторон человеческого естества; через это право получило истинное свое значение. Но связь не означает полного единства. Велькер идет слишком далеко, когда он требует, чтобы практический разум все приводил к единому началу. Та же идеалистическая философия руководит нас в этом отношении, доказывая, что из единого источника развиваются противоположные определения. Хотя каждое из них содержит в себе и другое, тем не менее они приобретают односторонний характер и через это могут стать в противоречие друг с другом. Правом ограждается не одно нравственное достоинство человека, но и чисто личная сторона его жизни, даже чувственные потребности, которые, отрешенные от нравственного достоинства лица, не могут иметь притязания на защиту, но, примыкая к нравственному центру и входя в область внешней свободы нравственно-разумного существа, сами приобретают нравственное значение и становятся правом. Этим чисто личным элементом право существенно отличается от нравственности, которая обращается к лицу единственно с требованием подчинения личного начала общему. Таким образом, внешняя свобода и внутренняя, хотя они неразрывно связаны между собою, составляют, однако, две противоположные области практического разума. Этим объясняется возможность противоречия между ними; вследствие этого правомерное действие может быть в то же время безнравственным. Все старания Велькера устранить этот факт не выдерживают критики. Напрасно он говорит, что кажущееся противоречие происходит единственно оттого, что посторонние лица не в состоянии судить о внутренних побуждениях и всегда должны предполагать в лице нравственные цели. Когда богатый домовладелец за неуплату денег сгоняет бедного жильца с квартиры, вместо того чтобы дать ему признание, побуждение тут явно безнравственное, а между тем право должно быть охранено. Строго проведенное, требование полного единства между правом и нравственностью ведет к тому, что право не должно простирается далее обязанности, то есть к той самой теории, которая отвергается Велькером.

Чтобы избежать этого последствия, Велькер вводит в свой вывод новый элемент — личную волю. Истекая первоначально из требований нравственного закона, право устанавливается в силу свободного согласия всех. Это дает возможность отделить совершенно право от нравственности и утвердить первое на самостоятельном основании. Но спрашивается, почему же из всех требований нравственного закона соглашение простирается только на мирное сожительство, а ни на что другое? В чем состоит

специфическое отличие этого требования от остальных? На это мы не находим ответа. С другой стороны, из этой теории следует, что не существует иного права, кроме положительного. Где нет соглашения, там нет и права. Между тем сам Велькер признает, что личное право может быть защищено не только против тех, с которыми мы находимся в юридических отношениях, но и против всякого постороннего*. И точно, право, коренясь в личном достоинстве нравственно-разумного существа, требует признания со стороны других, независимо от их согласия. Этим только объясняется и возможность принуждения, которое по теории Велькера остается непонятным. Если право устанавливается добровольным согласием всех и держится только этим согласием, то оно исключает принуждение, ибо принуждают того, кто не согласен подчиниться закону. Принуждение составляет нарушение личной воли. Тут невозможно даже сослаться на то, что человек, вступая в общество, заранее дает свое согласие на принуждение, следовательно, принуждается в силу собственной своей воли; ибо, по теории Велькера, однажды данного согласия недостаточно: надобно, чтобы оно продолжалось. Если же мы вместе с Велькером скажем, что принуждением охраняется нравственная свобода человека против чувственных увлечений, то принуждению нет границ. Человек становится под нравственную опеку других; он остается свободным только в идее, а в действительности личная его свобода исчезает. Такое объяснение находится в полнейшем противоречии со всем учением Велькера.

Поэтому и попытка Велькера вывести из своей системы начала уголовного права оказывается несостоятельною. Целью наказания он полагает уничтожение умственного вреда, наносимого юридическому порядку нарушением закона. Эта цель достигается уничтожением неправомерной воли и восстановлением воли правомерной. На этом основании Велькер считает исправление преступника одною из существенных задач уголовного закона**. Но если, как говорит Велькер, весь юридический порядок имеет для меня силу единственно потому, что я согласен его поддерживать, то кому же принадлежит власть исправлять мою волю? Нельзя утверждать вместе с Платоном, что люди добровольно ставят над собою врача, ибо врачом они пользуются добровольно, а не дают ему над собою принудительной власти. Исправление преступника есть принудительное действие, обращенное на внутреннее его существо, чем очевидно нарушается его нравственная свобода. Наказание же во имя справедливости как восстановление умственного порядка предполагает, что этот порядок должен господствовать над лицом и независимо от его согласия. Член общества может добровольно выйти из союза, но не имеет права посягать на закон.

* Ibid. S. 82.

** Ibid. Cap. 10.

Наконец, также несостоятельны и те основания, на которых Велькер строит государственный быт. Юридическое государство, по его мнению, отличается от других именно тем, что оно зиждется на добровольном согласии всех. Но если, по определению самого Велькера, правомерно то, что согласно с законом, то почему же юридическое государство более правомерно, нежели теократия и деспотия, основанные точно так же на законах, присущих человеческой природе? Если же мы и последние признаем правомерными, то право отнюдь не основывается на добровольном согласии всех. Очевидно, что у Велькера конец не важен с началом. Приходится или отказаться от вывода права из личной воли, или отрицать существование права во всех государствах в мире, за исключением весьма немногих. Кроме того, тут возникает вопрос: по каким признакам можем мы узнать, что неправомерное государство превратилось наконец в правомерное? Где уловить этот не воображаемый, а действительный договор всех и каждого, из которого образуется юридическое государство? Куда бы мы ни обратились, в самых демократических обществах мы увидим только решение большинства. Предполагать, что те, которые не протестуют, согласны,— значит опять прибегать к фикции. Меньшинство, хотя бы и не соглашалось, все-таки принуждено подчиниться. Тут не поможет не только право представления или свобода общественного мнения, но и право добровольного выхода, на котором окончательно держится вся теория и которое, по мнению Велькера, составляет высшую гарантию человеческой свободы. Удаление из отечества есть всегда зло; это — своего рода наказание; за что же я должен ему подвергаться? Если правомерно для меня только то, на что я дал свое согласие, то почему же я не могу отказать государству в повиновении, оставаясь на месте? Нарушителем права является здесь тот, кто хочет принудить меня к исполнению закона, которого я не признаю. Он посягает на коренное требование права, на необходимость личного согласия. Вынуждая это согласие, он заменяет право силою и уничтожает мою свободу.

К довершению противоречий Велькер не ограничивает цели государства охранением права. Последнее дает ему только внешнюю форму для внутренней свободной деятельности. Как отдельный человек, так и государство должны иметь в виду осуществление цельной добродетели и всех человеческих начал. Поэтому государство должно заботиться о воспитании, о нравственном, религиозном, эстетическом и научном развитии граждан; но все это оно должно делать, не выходя из пределов права, которое определяет границы его деятельности *. Спрашивается, каким же способом достигаются эти цели: добровольным ли согласием всех или принудительными мерами? Если духовно-нравственная деятельность в пределах права должна быть совершенно свободная, то она может принадлежать

единственно частным лицам и добровольным товариществам, а отнюдь не государству. Деятельность последнего всегда сопровождается принуждением уже потому, что оно не имеет иных средств, кроме тех, которые оно принудительно собирает с граждан. Если же мы допустим здесь принуждение, то мы должны будем признать, что оно простирается гораздо далее чистых требований права и добровольного согласия всех и каждого. Высшие цели, без сомнения, составляют принадлежность государства; но они не вяжутся с началами Велькера.

В исторической части своего сочинения Велькер пытался подкрепить фактическими доказательствами свою теорию исторического развития. В учреждениях некоторых из древних народов — евреев, египтян, персов, греков и римлян он показывает осуществление начал деспотии, теократии и юридического государства. Нельзя, однако же, сказать, чтобы приведенные им примеры подтверждали его взгляд. Так, например, у евреев и у персов деспотия следует за теократией. Вообще, выведенный Велькером исторический закон совершенно произволен. Разделение периодов развития по возрастам не представляет ничего, кроме фантастической аналогии. Патриархальный быт, который мог бы соответствовать младенчеству, отнюдь не характеризуется преобладанием чувственности и установлением деспотии. Чистая деспотия составляет явление позднейшего времени; она встречается в разные времена и при разных условиях. Справедливо, что в теократии господствует вера, а в светском государстве — разумное сознание, но трудно сказать, что первая соответствует юности, а второе — зрелому возрасту, когда мы видим народы, в течение тысячелетий подчиненные одному и тому же закону. Наконец, венцом развития является юридическое государство; но если право составляет только внешнюю форму для осуществления нравственно-религиозных начал, то установление его не может быть конечною целью развития. С этой точки зрения не становится ли разумная теократия выше юридического государства?

В сущности, признание высших целей в политическом союзе выходит уже из пределов чисто юридического государства. Это одна из многочисленных непоследовательностей, которыми страдает разбираемое нами сочинение. Велькер хотел связать право с нравственностью, сохранив самостоятельность первого; но, лишенная более глубоких философских оснований, теория его содержала в себе слишком мало элементов для такого сочетания. Книга его представляет более талантливое поставление вопроса, нежели разрешение задачи.

10. Цахариэ³⁴

Так же как Велькер, в косвенной связи с нравственным законом развивал начала права и государства Карл Соломон Цахариэ. Он не был ни глубоким мыслителем, ни деятельным политиком; его

работы по государственному праву не пролагают новых путей знанию. Но по обширности и основательности сведений, по уму и таланту его можно считать одним из почтенных представителей немецкой учености. Ему принадлежат капитальные произведения по разным отраслям правоведения. Из них по части государственного права первое место занимает известное его сочинение под заглавием «Сорок книг о государстве» («*Vierzig Bücher vom Staate*»), которое составляет как бы общий свод всего дотоле выработанного материала политической науки с точки зрения юридического государства. Первое издание этого сочинения вышло в 1824 г.; затем оно явилось в новой переработке в издании с 1839 по 1843 г.

Исходною точкою автора служит теория права, существенным признаком которого выставляется физическое принуждение. Из опыта мы знаем, говорит Цахариз, что существуют общества, называемые государствами, члены которых подлежат физическому принуждению по известным законам. Спрашивается, где основание подобного принуждения или в силу чего люди имеют право принуждать других? В ответе на этот вопрос теоретики расходятся. Одни считают юридический закон отличным от нравственного, хотя и действующим в интересах нравственности; другие, напротив, видят в праве только приложение нравственного закона, насколько последний может быть осуществлен путем принуждения. Но в теории в основание права полагают начало свободы, которое поэтому является здесь коренным определением *. Что же такое свобода и каковы ее свойства?

Свобода вообще есть способность действовать по законам, лежащим в собственной воле человека, независимо от внешних причин. Она разделяется на внутреннюю и внешнюю. Первая как положительное свойство состоит в способности определяться на основании нравственного закона; отрицательно же в независимости от чувственных влечений. Принадлежит ли подобная свобода человеку? По мнению Цахариз, это такой вопрос, на который невозможно дать теоретическое решение; тут можно только сослаться на нравственное чувство. И если испытующий разум легко заподозрит подобное свидетельство, то все же следует считать глупцом того, кто не ставит себя так высоко, как только возможно себя поставить. Одаренный свободною волею, человек уподобляется Божеству: без этой способности он приравнивается к животным. Если же возразят, что свобода воли противоречит закону причинности, то следует отвечать, что явления нравственного мира далеко не могут быть объяснены сцеплением причин и следствий, подобно явлениям мира физического. Всегда остается нечто такое, что указывает на свободу воли.

Внешняя свобода, с своей стороны, как положительное свойство состоит в способности производить внешние действия, сообразные

* Zachariae K. S. *Vierzig Bücher vom Staate*. Buch I. Hptst. 1, 2. S. 1-4.

с внутренними представлениями; а отрицательно в независимости от влияния внешних сил. Она называется ест ест венною, когда человек пользуется ею по закону природы, и юридической, когда она определяется юридическим законом. Здесь лежит настоящая область права. Через внешнюю свободу человек приходит в соприкосновение с другими людьми; вследствие этого свобода его может быть нарушена последними, и притом двояким образом: посредством телесного и посредством психологического принуждения. Первое есть механическое действие тела на тело, второе — действие на душу представлением зла, следующего за известным поступком. Не всякое, однако, представление угрожающего зла, говорит Цахариэ, может считаться психологическим принуждением. Его нет там, где за представлением следует свободное обсуждение действия и таковое же решение. Нельзя также назвать психологическим принуждением угрозу употребить принуждение физическое, ибо тут первое сводится на последнее. Собственно психологическим принуждением можно назвать только представление зла, независимого от человеческой воли, по которому человек подвергается вследствие неповиновения высшим силам. Оно приложимо единственно там, где человеку уже самым воспитанием внушается известный образ мыслей, подчиняющий его чужому руководству. Такое принуждение действует гораздо сильнее механического, вследствие чего светские власти всегда искали союза с властями духовными. Одно повиновение подкрепляет другое *.

Нельзя не заметить, что такое понятие о психологическом принуждении чисто искусственное. Если веру назвать принуждением, то где же границы внутренней свободы? Признавши принуждение существенным признаком права, Цахариэ нуждался в этом определении для характеристики двух противоположных политических систем: чисто юридической и нравственной, светской и теократической; но через это последней придется несвойственный ей юридический характер. В теократии настолько есть права, насколько употребляется физическое принуждение. Остальное выходит из юридической области.

Цахариэ излагает существо и свойства этих двух систем, на которые, по его мнению, разделяется вся политическая жизнь народов. С точки зрения чисто юридической теории он выводит право из практического разума. Оно вытекает из требования согласить естественную свободу человека с интересом свободы нравственной. На этом основаны следующие юридические законы: 1) естественная свобода каждого лица должна быть согласована с естественною свободою других; вследствие того запрещаются действия, которые могут нарушить чужую свободу. Это — закон правды уравнивающей. 2) Естественная свобода человека должна быть ограждена от нарушения со стороны внешних сил, все равно,

происходит ли оно от других людей или от физической природы; а так как отдельному человеку большею частью трудно исполнить эту задачу, то люди должны соединиться для взаимной защиты. Это — закон правды охраняющей. 3) Естественная свобода человека должна быть приведена не только в отрицательное, но и в положительное соотношение с требованиями нравственного порядка, так чтобы действия сообразные с этим порядком влекли за собою увеличение свободы, а действия противные — ее уменьшение; то есть заслуга должна сопровождаться соразмерною наградою, а вина — соразмерным наказанием. Это — закон правды распределяющей. Последний закон находится, однако, в противоречии с первым. Если бы человеку предоставлено было право наказывать все безнравственные поступки других, то юридическая свобода лица совершенно бы исчезла. Поэтому награда и наказание могут быть предоставлены единственно тому, кто имеет на то право в силу первых двух законов, например, главе семейства при воспитании детей или государственной власти в отношении к преступлениям. Вообще, эти три закона имеют неодинаковое значение для человеческих обществ. Только первый предписывает безусловно. Второй же для своего приложения требует особенных соглашений или положительных уставов, ибо им не определяется, кто именно обязан помогать другому. Третий же в своей полноте составляет закон божественной правды; к человеку он прилагается только условно, да и тут он остается лишь идеалом, к которому можно приближаться, но который вечно остается недостижимым для человеческих обществ *.

Эти ограничения, к которым принужден прибегнуть Цахариэ, не устраняют, однако, противоречия между двумя законами. Если государство, во имя своего права, будет наказывать все безнравственные поступки, то о юридической свободе, конечно, не может быть речи. Если же оно ограничивается наказанием преступлений, то есть нарушений права, то оно вовсе не ставит себе задачею положительное соглашение естественной свободы с требованиями нравственного порядка. Что закон правды распределяющей, в том объеме, как представляет его Цахариэ, не может считаться требованием права, ясно уже из того, что из одного начала не могут вытекать два противоречащие друг другу закона. Божественное правосудие, прилагающее этот закон в его полноте, не имеет никакого отношения к внешней свободе человека. Никогда мы не можем представить себе божественное наказание в виде ограничения прав. С своей стороны юридический закон, когда он устанавливает награды и наказания, делает это отнюдь не в интересах нравственного порядка, а во имя общественного начала. Человек рассматривается здесь как член союза, в котором требуется соразмерность не только в приложении к заслугам и вине, но и в приложении к выгодам

* Ibid. S. 1–21.

и тягестям. Но для того чтобы исследовать эти отношения, надобно от личного начала возвыситься к общественному, в котором право сочетается с нравственностью; из одного юридического закона этого вывести нельзя. Изучая политическую жизнь народов, Цахариэ видел невозможность объяснить все ее явления одним охранением права, а между тем он в своей теории не выходил из пределов юридического государства. Поэтому он принужден был дать юридическому закону такой объем и поставить его в такое отношение к нравственному порядку, которые ставят его в противоречие с самим собою. Отсюда и совершенно оригинальное изобретение закона правды охраняющей. Ограждение человека от влияния внешней природы очевидно не составляет требования правды. Люди соединяют свои силы для борьбы с внешними препятствиями не во имя справедливости, а во имя общего интереса. И здесь опять это — задача, выходящая из пределов охранения права, хотя несомненно принадлежащая к области государственной деятельности.

Во всех этих противоречиях и несообразностях выражается недостаток философского понимания, который у Цахариэ оказывается на каждом шагу. Так, он утверждает, что все установленные им законы могут быть точно так же выведены и из начала самосохранения, что уже сделано многими, и хотя в последнем случае они не имеют такой обязательной силы, как в первом, однако предпочтение одной теории другой окончательно составляет вопрос веры *. Шаткость основных начал обнаруживается здесь вполне.

В результате юридическая система характеризуется тем, что, охраняя внешнюю свободу человека, она дает последнему возможность употреблять эту свободу сообразно с нравственным законом, причем, однако, исполнение или неисполнение закона предоставляется собственному его изволению. Теократическая система, напротив, превращает самый нравственный закон в юридический, делая нравственные требования юридически обязательными. Подобная система не может быть оправдана чисто человеческими началами, ибо никто не имеет права посягать на чужую совесть. Она может быть установлена только в силу высшего откровения, которое предписания совести превращает в положительный закон Божий. В таком виде она большею частью и является в истории. В силу этого откровения здесь вполне приложимо психологическое принуждение, и может быть защищено также и принуждение физическое. В младенческом состоянии народов такого рода система приносит существенную пользу. Только страхом перед невидимыми силами могут грубые народы быть приучены к гражданскому повиновению. Но эта система имеет тот существенный недостаток, что она вечно должна оставаться неподвижною, как неизменно самое откровение, на котором она основана. Юридическая система,

* Ibid. § 25.

напротив, подлежит изменениям, вследствие чего она более приспособлена к прогрессивному состоянию обществ *.

Эта двоякая точка зрения, юридическая и нравственная, порождает и двоякое воззрение на существо и происхождение государства, а также и на значение и основание государственной власти. Вообще, гражданский порядок противопоставляется естественному не как действительно некогда существовавшему состоянию людей, а как идее, объясняющей противоположное ей устройство. С точки зрения светской системы право существует и помимо государства; поэтому здесь естественное состояние не представляется как полное бесправие; оно отличается лишь тем, что в нем каждый остается судьей своего собственного права. В государстве, напротив, люди подчинены юридической власти, превышающей всякую другую, а потому имеющей характер безусловного начала. Эта власть представляет собою идею абсолютного; но в этой системе она подлежит некоторым ограничениям: 1) она может употреблять только механическое принуждение; душа человеческая не подлежит ее действию, а потому рядом со светскою властью может стоять другая, независимая от нее власть духовная. 2) Ведомство ее ограничивается приложением юридического закона; нравственные обязанности лежат вне круга ее действия**. Наконец, даже в пределах юридического закона из отношений частных лиц между собою образуется независимый от государства союз, именуемый гражданским обществом. Государство не создает, а только охраняет право, а потому состоит к этому союзу в отношении средства к цели ***. Спрашивается, как же согласить абсолютный характер государственной власти с ограничениями, вытекающими из самого существа юридической системы? Очевидно, что в таком государстве должны существовать учреждения, которые заставляли бы правителя ограничивать свою власть исполнением юридического закона. Но, несмотря на это, здесь всегда неизбежны распри и колебания ****.

Совсем другое имеет место в государствах с теократическим характером. С точки зрения нравственной системы состояние природы является состоянием совершенного бесправия. Право, по этой теории, устанавливается единственно в силу откровения. Поэтому здесь не может быть речи о гражданском обществе как независимом союзе. Ведомство государственной власти простирается не только на юридическую, но и на нравственную область. Она может употреблять не одно механическое, но и психологическое принуждение. Одним словом, тут власть вполне и без всяких ограничений представляет собою идею абсолютного. Отсюда большая

Ibid. § 26-29.

** Ibid. Hptst. 1. S. 48-53.

*** Ibid. Hptst. 2. S. 56.

**** Ibid. Buch II. Hptst. 1. S. 53.

прочность этих государств. Но что становится тут с личностью и с нравственною свободою человека? Подобная система не что иное, как пантеизм в политической области *.

Из этого видно, что основание государственной власти в обоих случаях не одинаково. И здесь и там она зиждется не на человеческом произволе, а на юридической обязанности. Теория договора вообще к государству неприменима, ибо если вступление в политический союз для человека обязательно, то этот союз не принадлежит к области договорного права. Договор оставляет лица самостоятельными, здесь же они теряют свою самостоятельность. В сущности, теория договора вносит в государство продолжение естественного состояния; она низводит политический союз в область человеческого произвола**. Но если обе системы, как юридическая, так и нравственная, в основание государственной власти полагают начало обязанности, то они эту обязанность понимают различно. Светская система выводит ее из потребности охранения права и защиты внешней свободы, то есть из начал правды уравнивающей и охраняющей. Теократическая же система выводит ее непосредственно из веры, и главным образом из веры в распределяющее правосудие Божие, которое выражается в будущих наградах и наказаниях***.

Отсюда вытекает и различный взгляд на полновластие, или на принадлежность государственной власти известному лицу. В обеих системах полновластие, как представляющее идею абсолютного, включает в себе совокупность всех верховных прав. Облеченный им правитель является властителем народа и верховным собственником земли. Он — лицо безответственное, непогрешимое, священное и неприкосновенное, вездесущее и вечное. Он признается источником всех прав; в отношении к нему подданные имеют только обязанности ****. Но с точки зрения светского права ему приписывается еще и другое значение: он является представителем народа как нравственного лица, составленного из совокупности граждан. В этом качестве ему не только присвоены права, но на него налагаются и обязанности. Если воля его считается волею всех, то, с другой стороны, эта воля должна быть сообразна с действительною волею всех. Всякое его действие, нарушающее частное право, влечет за собою требование вознаграждения. Одним словом, вместо безусловного подчинения тут является взаимность *****.

Понятно, что и способы приобретения полновластия различны в обеих системах. В теократии оно дается известному лицу или

Ibid. S. 53-54.

Ibid. Hptst. 4. S. 73-78.

Ibid. Hptst. 3. S. 61-64.

Ibid. Buch III. Hptst. 1-3.

Ibid. Hptst. 4.

лицам в силу божественного откровения. На это не нужно иного основания, кроме веры. Правитель является здесь представителем Божества на земле, а потому власть его безусловно правомерна*. В светской системе, напротив, нет такого лица или таких лиц, которым полновластие присваивалось бы самим юридическим законом. Здесь для приобретения власти необходимы два условия: 1) обладание фактической силою, превосходящею всякую другую, ибо без этого нет государственной власти, и 2) всегда справедливая воля. На этом основании полновластие не может по праву принадлежать народу. Народ далеко не всегда обладает достаточною силою и еще менее всегда справедлив в своем хотении. Народ, в смысле нравственного лица, становится народом только через подчинение государственной власти; следовательно, ему не может принадлежать то, чему он одолжен своим бытием. В естественном же состоянии, до соединения в государство, отдельные лица, из которых составляется народ, не имеют власти; откуда же может явиться у них подобное право? Наконец, в каждом данном случае воля народа представляется волею большинства; но разве меньшинство юридически обязано непременно подчиняться даже несправедливым решениям большинства? Одним словом, учение о народном полновластии представляет только видоизмененную форму теории договора; она рассматривает правителя как произвольное создание человека. С другой стороны, однако, если полновластие по праву не принадлежит народу, то оно точно так же не принадлежит никакому другому лицу, ибо ни в ком нельзя предполагать всегда справедливой воли. Следовательно, по светскому праву оно может быть присвоено известному лицу или лицам только условно. К обладанию фактической силою необходимо, чтобы присоединялось согласие народа. Правление, опирающееся на согласие подчиненных, если не безусловно правомерно, то наименее неправомерно. А так как мнения могут быть различны, то поневоле приходится довольствоваться согласием большинства. Конечно, такое основание было бы недостаточно, если бы государство было созданием человеческого произвола, но так как оно зиждется на юридической обязанности, то в силу необходимости надобно считать большинство голосов достаточным оправданием власти. Согласие может, впрочем, быть явное или молчаливое; оно может выражаться формальною подачею голосов, общественным мнением, наконец, просто безмолвным подчинением. Различие тут не юридическое, ибо дело идет только о доказательстве известного факта. Но право, вообще, крепче, когда оно опирается на явно выраженное согласие народа.

Таким образом, заключает Цахариз, при сравнении обеих властей оказывается, что полновластие присваивается им на совершенно различном основании. В одном случае оно ставится

* Ibid. Hptst. 5. Absch. 1.

в зависимость от воли большинства, а потому всегда шатко и изменчиво; в другом случае оно является символом Божества, а потому вечно и неизменно. Как бы мы ни судили о преимуществах той или другой системы, нельзя не признать, что стремление связать полновластие правителя с полновластием Божьим основано на глубокой потребности человеческой природы. С другой стороны, однако, если мы поближе вглянемся в дело, то увидим, что основания обеих властей не так различны, как они кажутся с первого взгляда. Ибо что такое вера, как не известное убеждение общества, то есть своего рода общественное мнение*? Поэтому, несмотря на видимую прочность этого рода правлений, им грозит опасность, как скоро является различие мнений. Кроме того, с ними сопряжена и невыгода другого рода. Духовной власти несвойственно употребление механического принуждения; поэтому она обыкновенно поручает это дело светскому лицу. Но тогда между ними неизбежно возгорается борьба, которая редко кончается победою первой, так как физическая сила не в ее руках **. Там же, где обе власти присваиваются одному и тому же лицу, с течением времени перевес берет или тот, или другой характер ***.

При всем том, говорит Цахариэ, людям удалось избобрести такого рода правление, которое совмещает в себе эти два, по-видимому, несовместимые свойства. Это правление есть конституционная монархия. Здесь, с одной стороны, вся власть по праву сосредотачивается в лице короля, с другой стороны, все управление находится в руках других лиц в силу того начала, что король царствует, но не правит. Таким образом, монарх является здесь полновластным представителем Божества; исполнители же зависят от воли народной. Такое устройство, по мнению Цахариэ, имеет в виду соединить совершенство Богом поставленной власти с преимуществами народного правления ****.

Едва ли нужно заметить, что при таком устройстве о полновластии монарха, в смысле абсолютной и неограниченной власти, не может быть речи, и еще менее о том, чтобы эта власть могла распространяться на нравственные обязанности и употреблять психологическое принуждение, как этого требует теократия. Конституционная монархия действительно имеет в виду соединить выгоды монархии с преимуществами народного правления, но это сочетание происходит в пределах чисто светского государства. По теории же Цахариэ она должна согласовать юридическое государство с теократиею, что противоречит ее существу. Надобно притом сказать, что это сочетание является у автора совершенною неожиданностью. Оснований для этого нет никаких, ибо обе системы выставляются

Ibid. Absch. 2.

Ibid. Absch. 1. S. 102-103.

Ibid. Absch. 3. S. 114.

**** Ibid. S. 114-116.

у него в самой резкой противоположности, исключая друг друга. В одном случае полновластие ставится в зависимость от личной свободы, в другом случае — от нравственно-религиозного закона. Самые цели их различны: одна имеет в виду охранение права, другая — духовное и физическое благосостояние граждан.

При сравнении этих целей, которые также служат к характеристике обеих систем, Цахариэ безусловно отдает предпочтение светской теории. Хотя многие правительства и мыслители, говорит он, стараются распространить деятельность государства за пределы охранения права, однако подобное расширение его ведомства всегда производится в ущерб свободе и правам лиц. Государство может что-либо дать единственно через то, что оно отнимает у граждан часть их сил и имущества. Когда оно заботится обо всем, граждане привыкают во всем на него полагаться; они отвыкают от всякой самостоятельности, и как скоро они не удовлетворены, в них возбуждается неудовольствие. Из этого стремления вытекают самые фантастические проекты для благосостояния человеческого рода, проекты, которые, вместо того чтобы смотреть на государство как на средство и для достижения человеческих целей, видят в нем самое назначение человека*.

И тут, однако, Цахариэ непоследовательно проводит свои начала. Отвергнув заботу о благосостоянии как непосредственную цель государства, он признает ее как косвенную цель в случаях нужды, когда власть могла бы подвергнуться опасности вследствие свободной деятельности лиц. Он допускает и положительное попечение о благосостоянии граждан, когда этим не стесняется их свобода, например, путем поучения. Вообще, говорит он, право и нравственность резче разделяются в науке, нежели в жизни. Строгость начал в приложении может превратиться в педантизм**. Вследствие этого он в государстве видит воспитательное учреждение для культуры и цивилизации***. Но, несмотря на то, окончательно он все-таки признает, что государство, по существу своему, есть зло; не потому, что оно стесняет свободу человека, ибо это делает и право; и не потому, что оно в действительности далеко от идеала, ибо это — участь всего человеческого; а потому, что оно устанавливает безусловную власть и тем самым является смертельным врагом личной свободы граждан. Отсюда предстоящая правоведению задача: придумать меры для уменьшения по возможности этого зла. Главные такого рода меры следующие: 1) превращение общественных служб и тяжестей в добровольные; 2) принятие на себя народом всех тех дел, которые он может сам успешно исполнять. Всего более этому способствует дух товарищества, сродный преимущественно демократии****.

* Ibid. Buch V. Hptst. 1. S. 146-151.

** Ibid. S. 151-153.

Ibid. Hptst. 2.

Ibid. Hptst. 3.

Итак, заключение опять чисто индивидуалистическое. Во всем этом выражается значительная шаткость мыслей. Установив свои начала, противопоставив юридическую теорию нравственной, Цахариэ видел, однако, необходимость выйти из этой противоположности; но в своем умозрении он не находил надлежащей точки опоры, для того чтобы последовательно свести ее к высшему единству, а потому он оставался при колебании. Отсюда странности и скачки, в которых его упрекают критики, но которые, в сущности, вытекают из самого его образа мыслей. В основании он держался индивидуалистической точки зрения, но, изучая политику, он понимал и многое другое, не будучи, однако, в состоянии связать различные элементы государства в одно систематическое целое. Теория Цахариэ представляет нам исход индивидуалистического идеализма и вместе с тем потребность иного, высшего воззрения.

Недостаточность этой теории ясно выражается и в учении о государственном устройстве. Отправляясь от изложенных в основании начал, следовало бы разделить политические формы главным образом на светские и теократические. Вместо того Цахариэ, опять же руководствуясь фактическим изучением предмета, принимает обыкновенное разделение образов правления на монархию, аристократию, демократию и смешанные. Теократия является только подразделением, с одной стороны — патриархальной монархии, с другой стороны — аристократии. Таким образом, в ряду политических форм она занимает совершенно второстепенное место.

Цахариэ подробно и основательно разбирает каждый из этих образов правления, указывая на существенные их свойства, на их выгоды и недостатки. Он ставит вопрос и о совершеннейшем устройстве, но не считает возможным разрешить его безусловно. Этот вопрос, говорит он, имеет значение единственно для светского права, ибо с теократической точки зрения безусловно лучшим должно считаться правление, установленное данным откровением. В светской же системе этот вопрос сводится к тому, какое правление всего более согласуется с юридическою свободою отдельных лиц. В этом отношении нет государственного устройства, которое по самой своей форме могло бы считаться безусловно правомерным. Все дело в том, как оно действует, то есть какие ручательства оно представляет в правомерном употреблении власти. Формы имеют при этом некоторое значение; но еще более зависит от характера и воззрений того народа, к которому они прилагаются. С точностью никогда нельзя определить, в какой степени действие известного государственного устройства зависит именно от его формы. Вообще, доброта правления выражается в тех средствах, которые оно доставляет гражданам для достижения их счастья. Но так как одни формы не в состоянии их дать, а требуется, кроме того, известный дух народа, то нельзя говорить о безусловно лучшем

государственном устройстве. Оно было бы приложимо только к идеальному обществу *.

Несмотря на то, из всех образов правления Цахариэ отдаёт предпочтение конституционной монархии, которая соединяет в себе выгоды двух противоположных форм: демократии и самодержавия. При сравнении ее с представительной демократией он находит в ней следующие преимущества: 1) обе основаны на господстве общественного мнения; но в одной оно является единственным владыкою, в другой оно разделяет власть с монархическим элементом. Последнее выгоднее для государства, ибо общественное мнение, не знающее сдержек, легко может увлекаться и принимать необдуманные решения. Оно изменчиво, подвержено ошибкам и не всегда способно судить об интересах целого. 2) Хотя демократия, соединяя в себе всю полноту власти, не имеет иного врага, кроме самого народа, тогда как конституционной монархии угрожает двоякая опасность: со стороны народа и со стороны монарха, однако и в этом отношении преимущество остается на стороне последней: демократия, во всем полагаясь на один народ, требует от него слишком многого, гораздо более того, что он может дать. Наконец, 3) в обеих формах правление движется борьбою партий, но в демократии борьба идет за самую верховную власть, а в конституционной монархии — только за систему управления. Вследствие этого в первой она принимает гораздо более острый характер **.

С другой стороны, конституционная монархия имеет преимущества и перед самодержавием. В последнем, так же как и в демократии, от носителя власти требуется слишком много. Редкий человек может стать в уровень с этими требованиями. Даже когда он сам достоин всякого уважения, то окружающие его легко могут злоупотреблять его доверием, пользуясь его слабостями для достижения своих личных целей. Поэтому в интересах самого монарха необходимы учреждения, предупреждающие злоупотребления власти ***. Таковые даются конституционным правлением. Здесь с монарха снимается значительная часть бремени; облегчается его совесть; случайность рождения примиряется с высшими требованиями государства. Здесь неудовольствие обращается не на монарха, который стоит выше партий, а на его министров. При этом устраняется и вредное влияние окружающей среды: высшие места занимают способнейшие люди, пользующиеся доверием общества. А вместе с тем правительство приобретает большую силу, ибо народ охотнее жертвует деньгами и кровью там, где он делает это добровольно. Участие представителей в законодательстве распространяет в народе и уважение к закону, вследствие чего правительство избавляется

* Ibid. Buch XV. Hptst. 3. S. 23 и след.

** Ibid. Buch XVIII. Absch. 2. S. 213 и след.

*** Ibid. Buch XVI. Absch. 1. Hptst. 1. S. 101.

от необходимости постоянно прибегать к принудительным мерам для поддержания законного порядка. Наконец, кредит в конституционной монархии гораздо шире и прочнее, нежели кредит самодержавного правительства *. Вообще, говорит Цахариэ, конституционная монархия в настоящем своем виде заключает в себе наилучшее устройство власти, до какого дошла наука **.

Цахариэ приводит это устройство к двум главным началам: к разделению властей и к парламентскому правлению. Несмотря на то, что в другом месте своего сочинения он признавал полновластие нераздельным и допускал только частные ограничения в практическом приложении отдельных верховных прав ***, здесь он прямо строит конституционное правление на взаимном ограничении монархии и демократии как совместных властей ****. Вместе с тем он целиком принимает разделение отраслей власти, выработанное публицистами XVIII века, с теми, однако, изменениями, которые внесли в это учение наука и практика XIX столетия. В конституционной монархии, говорит он, три основные власти в государстве — законодательная, исполнительная и судебная отделены друг от друга, то есть находятся в руках различных учреждений. Первая принадлежит народным представителям, ибо закон должен обсуждаться теми, для кого он издается; вторая присваивается монарху, который стоит выше частных интересов; третья, наконец, должна быть возложена на особые органы, ибо ни суд большинства, ни суд князя не дают достаточных гарантий беспристрастия. При таком распределении властей требуется, однако, чтобы разделение не препятствовало их совокупному действию. Это правило относится преимущественно к властям законодательной и исполнительной. Народ через своих представителей устанавливает законы; монарх через министерство исполняет их. Но если бы эти две отрасли были безусловно разделены, то каждая власть могла бы уподоблять свои права в ущерб целому. Для того чтобы они действовали дружно, необходимо прежде всего, чтобы законы устанавливались общим их соглашением. С этой целью королю в конституционной монархии присваивается безусловное право запрета относительно законов. С своей стороны народные представители должны иметь право контроля над действиями правительства. Монарх остается безответственным, но назначенные им министры ответственны перед палатами за свое управление. Народным представителям принадлежит право подавать на них жалобы королю и вчинять против них обвинения перед судом*****. Таким образом, каждая из этих двух властей получает влияние на действия другой.

* Ibid. Absch. 3. S. 287-290.

** Ibid. Buch XIX. Einleitung. S. 229.

*** Ibid. Buch XV. Hptst. 2. Anh. 1. S. 9.

**** Ibid. Buch XIX. Absch. 1. S. 230.

***** Ibid. S. 235-244.

Согласная их деятельность требует, однако, еще большего. Сочинение двух противоположных элементов в конституционной монархии неизбежно влечет за собою образование в обществе двух противоположных партий: монархической и демократической. Каждая из них может временно получить перевес в обществе, а потому и в представительстве. Если бы правительство действовало наперекор партии, имеющей перевес в собрании, то возгорелась бы борьба между ним и народом. Дружное действие двух властей требует, следовательно, чтобы правительство постоянно шло рука об руку с большинством представительного собрания. А для этого существуют только два средства: или палата должна состояться под влиянием министерства, или министерство должно состояться под влиянием палаты. Но в первом случае от конституционной монархии остается одно название. Следовательно, только второй способ согласен с ее духом*. В этом и состоит то, что называется парламентским правлением.

Устанавливая это начало, Цахариэ признает, однако, за правительством право действовать на выборы всеми юридически дозволенными средствами. Непозволительным он считает только физическое принуждение и угрозы физического принуждения. За этими исключениями, все, даже подкуп, обольщение, обман, может, по его мнению, быть пущено в действие как в отношении к избирателям, так и относительно самих представителей. И если возразят, что такое давление правительства грозит опасностью демократическому элементу конституции, то можно отвечать, что где правительство остается безучастным, та же опасность грозит монархическому элементу. Одним словом, заключает Цахариэ, все законы, имеющие в виду охранение чистоты выборов, не соответствуют ни началам, ни интересам конституционной монархии; не говоря о том, что, поставляя себе неразрешимую задачу, они подают партиям бесконечные поводы к взаимным обвинениям **.

С этим последним выводом Цахариэ, конечно, нельзя согласиться. Охранение чистоты выборов составляет, без сомнения, трудную задачу, но от более или менее успешного ее исполнения зависит правильное действие представительного порядка. Невозможно требовать, чтобы правительство оставалось совершенно безучастным к выборам, ибо оно через это отказалось бы от истинного своего назначения — быть руководителем общества; но оно может действовать только убеждением, а никак не подкупом и обманом. Здесь опять мы видим одно из тех преувеличений, которые у Цахариэ так часто перемешиваются с верным взглядом на вещи. За этим исключением, можно сказать, что он первый из немецких публицистов понял истинный характер конституционной монархии.

* Ibid. S. 231-232.

** Ibid. S. 232-233.

Так же верны взгляды Цахариэ и на устройство различных органов власти. Сообразно с истинным духом конституционной монархии он стоит за систему двух палат. Представительство имеет в виду умерение демократии, а этому противоречит обсуждение вопросов в одной инстанции. Состав верхней палаты определяется самим составом гражданского общества. Члены ее могут быть наследственные, выборные, наконец, назначенные королем. Там, где существует наследственное дворянство, первая форма, вообще говоря, заслуживает предпочтения. Там же, где его нет, остается выбор между двумя остальными. Этот выбор определяется решением вопроса: которому из двух противоположных элементов, монархическому или демократическому, дается перевес в данном устройстве? С той же точки зрения должен обсуждаться и способ составления нижней палаты, интерес демократического элемента требует устранения всякого ценза, затем прямых и краткосрочных выборов, тайной баллотировки, обновления палаты в целом составе; интерес монархического элемента ведет большею частью к противоположным постановлениям. Следовательно, в приложении к данному государству эти вопросы разрешаются настоящим положением дел *.

Цахариэ не ограничивается устройством одной верховной власти; он требует для конституционной монархии и свободных общинных учреждений. Хотя он в одном месте своего сочинения утверждает, что общины существуют только в государстве и через государство, почему они должны рассматриваться как государственные учреждения, имеющие лишь ту власть, которая предоставлена им государством**, однако в других местах он, напротив, видит в них самородные союзы, которым государство обязано дать самостоятельное устройство ***. Это — своего рода маленькие государства, которые должны быть организованы наподобие большого, с теми лишь ограничениями, которые требуются общим единством политического тела. Для конституционной монархии в особенности устройство общин на представительном начале составляет необходимую основу. Оно не только приучает граждан к участию в общих интересах, но оно дает им власть самим решать те дела, которые ближе всего их касаются и от которых всего более зависит их благосостояние. На том же основании представительное устройство может быть приложено и к округам или областям, составляющим середину между общиною и государством ****.

Наконец, необходимо оградить и личные права граждан не только от притеснений правительственной власти, но и от злоупотре-

* Ibid. Absch. 2. Hptst. 2. S. 248-254.

** Ibid. Buch II. Hptst. 2. S. 60.

*** Ibid. Buch XV. Hptst. 4. S. 36-37.

**** Ibid. Buch XIX. Absch. 2. Hptst. 1. S. 244-248.

блений со стороны представителей. С этой целью права граждан должны быть определены самой конституцией. Таковы: 1) равенство перед законом; 2) личная свобода; 3) свобода собственности; 4) свобода совести и 5) свобода мысли. К последней принадлежит и свобода печати, один из существеннейших элементов конституционной монархии, необходимая, с одной стороны, как ограждение против злоупотреблений правительства, с другой стороны, как контроль избирателей над своими представителями. Не только цензура противоречит существу конституционной монархии, превращая ее в призрак, но, говорит Цахариэ, самые карательные законы несовместны с свободой печати. Они отличаются от цензуры только как косвенное принуждение отличается от прямого. В некотором отношении они даже хуже, ибо они карают без достаточного предупреждения, тогда как цензура оставляет, по крайней мере, неосторожного писателя безнаказанным. Если же, заключает Цахариэ, против этой теории сошлутся на опасности, которыми она угрожает обществу, то это означает только: либо что здесь, как и в других случаях, конституционная монархия принуждена держаться среднего пути, либо что она не у всякого народа может преуспевать*.

И тут заключение страдает преувеличением, но на этот раз в сторону либерализма. Из всего этого ясно, что точка зрения Цахариэ не вполне установилась. Как многосторонний и даровитый ученый он основательно изучал вопросы и смотрел на них с разных точек зрения, но добытые им результаты он не умел свести в последовательную систему. Он был сильнее в подробностях, нежели в установлении начал, в развитии частных, нежели в построении целого. Поэтому разбор одних только главных оснований его сочинения не может дать о нем надлежащего понятия; оно включает в себе массу хорошо разработанного материала. По теории Цахариэ стоял еще на почве юридического государства, но по обширности сведений и по многосторонности взглядов он уже вышел из этой теории, хотя и не умел построить новой. Книга его может рассматриваться как свод всего предшествовавшего развития политической науки и вместе как переход к высшей точке зрения.

д) Абсолютный идеализм

1. Гегель

Развитие немецкого идеализма завершается Гегелем. Шеллинг пытался сочетать противоположности единством основы, или причины производящей. После него нравственный и индивидуалистический идеализм снова становятся на односторонние точки

* Ibid. Absch. 3. S. 296-300.

зрения: Фихте старался вывести противоположные определения бытия исключительно из общего начала, из чистого разума, то есть из причины формальной; Герbart, наоборот, в основание всего сущего полагает частное бытие, или причину материальную. Наконец, Гегель сводит противоположности к единству причины конечной. Это и есть настоящая точка зрения идеализма. Исходя из единства первоначального, противоположности снова связываются высшим, конечным единством. Как логическое определение конечное единство есть идея, составляющая внутреннюю цель бытия, движущую пружину развития; как мировое начало это высшее единство противоположностей, связь разума и материи, есть дух, источник жизни, верховное благо или согласие сущего. Учение Гегеля понимает абсолютное как дух, который, развиваясь в силу внутреннего закона, сам противопоставляет себе свои определения и затем снова приводит эти противоположности к себе, подчиняя их высшему единству. Поэтому истинная сущность духа раскрывается только в конце, в полноте его развития. Первоначальные же его определения представляют лишь скудные и односторонние моменты, которые полагаются им с тем, чтобы снова сниматься. Они составляют точки отправления для дальнейшего развития, и чем они непосредственнее, тем они скуднее. Однако эти определения не исчезают в высшем единстве; они сохраняются в нем, но не как самостоятельные начала, а как моменты единого бытия, имеющие относительную самостоятельность, но подчиненные целому.

Таким образом, противоположные элементы мироздания, общее и частное, разум и материя, связываются в одно живое целое конечным единством идеи или духа. Очевидно, что этим завершается и весь процесс развития философской мысли. Недостаточные и односторонние определения достигают здесь высшей полноты. Тем не менее и эта точка зрения может не удовлетворять требованиям разума. Когда развивающееся из нее учение является не как венец всего предыдущего, а как исключительная система, заменяющая все остальные и все выводящая из одного начала, то оно, в свою очередь, впадает в односторонность. Конечное единство есть высшее, но не единственное начало бытия. Оно предполагает и первоначальную основу, и самостоятельное значение противоположностей, которые связываются им и приводятся к высшей гармонии, но сами не вытекают из него. Если же оно признается не только концом, но и началом всего сущего, то первоначальная основа исчезает, а противоположные элементы превращаются в простые моменты высшего единства. А таково именно воззрение Гегеля. У него нет ничего, кроме духа. Разум и природа составляют только противоположные проявления духа, которые им полагаются, и затем собственным, внутренним процессом развития снова к нему возвращаются. Через это все учение очевидно принимает односторонний характер. Великое как венец развития философской мысли, оно является недостаточным как

исключительная система. Поэтому совершенно ошибочно считать Гегеля представителем всей немецкой философии и по нему, как по результату, судить об остальном. Это все равно что крышу принимать за целое здание.

Как сильные, так и слабые стороны учения Гегеля равно выражаются в том, что составляет характеристическую его особенность, можно сказать, самую душу его системы, — в диалектике. Диалектика есть развитие системы определений чистой мысли. Закон ее состоит в выводе противоположностей из первоначального единства и затем в обратном сведении противоположностей к высшему единству. Этот закон есть основной закон разума, заключающийся в разложении и сложении определений на основании внутренних, необходимо присущих им признаков. Каждое определение или понятие по самому существу своему составляет единство двух противоположных начал: общего и частного, единого и различного. Будучи противоположными, эти начала отрицают друг друга, а вместе с тем и свою связь. Через это они полагаются как самостоятельные. Но так как ни единство не может быть без различия, ни различие без единства, то взятые отдельно эти начала становятся в противоречие с самими собою. Отрицая противоположное, каждое вместе с тем отрицает и себя. Исключив из себя всякое отношение к другому, они уничтожают необходимое условие собственного существования и через это сами превращаются в ничто. Однако это новое отрицание есть, в сущности, только отрицание их самостоятельности, то есть отрицание отрицания. Результат его — положительный, именно необходимость связи противоположных начал. Это и ведет к новому определению, к высшему единству, содержащему в себе противоположности уже не в непосредственной слитности, а в полном развитии, как моменты целого, прошедшие через отрицание и поборовшие в себе это отрицание.

Этот диалектический закон составляет движущую пружину всего развития человеческой мысли, история философии служит самым блистательным фактическим его подтверждением. Он один объясняет и всю историю человечества. Поэтому в каждой философской системе мы непременно найдем известную долю диалектики. Но очевидно, что в полноте своей она могла быть выработана только идеализмом. Изобретателем ее древние считали Платона¹; в Новое же время сведение ее в цельную науку принадлежит Гегелю. Это — бессмертная его заслуга, которая дает ему первенствующее место в истории человеческого ума. Можно сказать, что без диалектики нет философии. Кто отвергает диалектику, тот не понимает первых оснований философского мышления. Ничто так не свидетельствует о современном упадке философии, как то пренебрежение, в которое диалектика впала в настоящее время.

Диалектическое здание, возведенное Гегелем, далеко, однако, не может считаться последним словом науки. Оно во многом

требует исправления. Исключительность гегелевского идеализма отразилась и на нем. Она повела к неверному пониманию самого закона развития, а вследствие того — к неправильному во многих отношениях построению системы. Из сказанного нами ясно, что закон диалектического развития влечет за собою установление четырех определений в трех ступенях. Первую ступень составляет первоначальное единство, вторую две противоположности, третью единство конечное. Это во многих местах признает и Гегель. Так, проводя развитие понятия через следующие друг за другом ступени общего, частного и единичного, он к частному относит два противоположных определения: чисто частное и отвлеченно общее. Последнее как противоположное частному само составляет частное определение, тогда как истинно общее заключает в себе и отвлеченно общее, и частное *. На тех же началах построен у Гегеля весь остов его логики. Первую ступень составляет непосредственное бытие, вторую — противоположность отвлеченной сущности и явления, третью — понятие как единство того и другого. Но рядом с этим является и построение иного рода, вытекающее из исключительного преобладания начала конечного. Как мы уже видели выше, последнее, по теории Гегеля, само полагает свои противоположные определения и затем снова приводит эти определения к себе как высшему единству. Вследствие этого первоначальная основа исчезает и остаются только три определения: две противоположности и конечное единство, которые и развиваются в трех ступенях. Первую ступень составляет одна из противоположностей, вторую — другая, третью — их единство. А так как начать можно одинаково с той или другой противоположности, ибо каждая сама собою указывает на другую, то за первую ступень Гегель принимает то отвлеченно общее, то частное, то субъективное начало, то объективное. Результат и тут выходит правильный, ибо диалектическое развитие противоположностей все-таки ведет к высшему единству; но в последовательном движении мысли оказываются пробелы, искусственные переходы, наконец, смешение различных ступеней, именно первоначального единства с одною из противоположностей, иногда с отвлеченно общим началом, иногда с частным. При таких ошибках нет, конечно, ничего легче, как подвергнуть логику Гегеля критике в подробностях. Но указание частных недостатков оставляет совершенно в стороне вопрос о достоинстве целого.

Это не совсем правильное понимание диалектического закона отражается прежде всего на общем построении системы. Гегель разделяет философию на логику, философию природы и философию духа. Очевидно, что логика, или, что то же самое, диалектика, представляет отвлеченно общий элемент, развитие законов чистой

* Hegel G. W. F. Logik: Die Lehre vom Begriff. Absch. 1. Cap. 1. В. Ссылаюсь везде на Полное собрание сочинений.

мысли; в природе, напротив, выражается форма частного бытия; наконец, дух составляет высшее единство обоих. Но у Гегеля, вследствие смещения первоначального единства с отвлеченно общим моментом, чистая мысль является первоначальной основой, которая затем переходит в природу и наконец возвращается к себе в духе. Поэтому и логика начинается у него не с непосредственного, то есть конкретного бытия, а с величайшего отвлечения, именно с чистого бытия, которое как чистое отвлечение не что иное, как чистое отрицание. Конечно, результат выходит тот же: истина для Гегеля заключается не в этих первоначальных, самых скудных определениях мысли, которые составляют для нее только точку отправления; истина у Гегеля есть дух. Но по законам логики, первоначальное бытие не полагается конечным, а наоборот. Следовательно, основа должна содержать в себе обе противоположности, а не смешиваться с одною из них. Очевидно, что тут заключается повод к неверному пониманию самой системы Гегеля.

Неправильное постановление исходной точки повело и к неправильному построению конца. Диалектический закон влечет за собою совпадение конца с началом: высшее единство является сочетанием противоположностей, так же как и единство первоначальное. Это именно признает Гегель. Но так как исходною точкою является у него не конкретное, а отвлеченное единство, то последнее должно составлять и завершение развития. Поэтому высшим проявлением духа он признает не историю, а философию, которая представляет возвращение к логике. Таким образом, отвлеченная мысль становится началом и концом всего диалектического процесса, хотя дух как высшее единство всего сущего по самому смыслу системы не есть отвлечение, а живое сочетание противоположностей.

Отсюда, наконец, неверное построение всей системы духовного мира. И здесь повторяются три ступени развития: дух субъективный, дух объект-ивный и дух абсолютный. Первый есть дух сам в себе взятый в совокупности внутренних своих определений. Сначала он является в непосредственной форме как естественное произведение — душа. Затем в душе развивается сознание: субъект противопоставляет себя внешнему миру. Наконец, вполне развившееся сознание полагает себя как самоопределяющийся разум; это — дух в истинном своем значении: он является как дух теоретический в познании, как дух практический в системе влечений, как дух свободный в разумной самоопределяющейся воле. Таким образом, свободная воля составляет высшее определение субъективного духа. Достигши этой ступени, он переходит во внешнюю деятельность и строит из себя объективный мир, где основным началом является свобода. Ступени развития свободы или объективного духа суть право, мораль и нравственность. Под именем нравственности Гегель разумеет общественное начало, представляющее сочетание права и морали и выражающееся в развитии человеческих союзов. Высший из этих

союзов есть государство. Но государство как выражение известной народности само составляет только частное проявление мирового духа. Поэтому оно вступает в процесс с другими, подобными ему союзами. Этот процесс есть всемирная история, высшее проявление объективного духа, проявление, которое составляет вместе с тем переход к третьей и последней ступени — к сознанию абсолютного духа. Последнее развивается в трех ступенях: в искусстве, в религии и в философии. Философией завершается все развитие мысли и бытия; здесь конец совпадает с началом*.

Таково общее построение философии духа Гегеля. Ему нельзя отказать в ширине взгляда и в значительной глубине внимания. Тем не менее он страдает противоречием. Если мы сравним внутреннее определение духа с дальнейшим развитием этих же самых определений, то увидим, что одно не соответствует другому. Самоопределяющийся дух развивается, как сказано выше, в трех ступенях: как теоретический дух в познании, как практический дух в системе влечений, наконец, как свободный дух в воле. Это и есть истинное отношение этих трех элементов. Если мы прибавим к ним чувство, отнесенное Гегелем к непосредственной форме духа, к душе, то мы получим полную систему внутренних определений духовного естества. Чувство представляет первоначальное, непосредственное его единство; разум и влечение составляют две противоположные его стороны, из которых одна обращена внутрь, а другая устремлена на внешний мир; наконец, свободная воля является высшим единством обоих. Сообразно с этим должны быть построены и те формы духовного мира, в которых проявляются эти определения. Мир чувств есть внутренний мир души; теоретические идеи составляют область разума; покорение природы, или система экономических отношений, соответствует влечениям; наконец, нравственный мир образует область воли. Последний, очевидно, должен занимать высшее место в развитии духа, ибо он представляет живое или конкретное сочетание противоположностей, разума и природы, общего и частного, бесконечного и конечного. Между тем у Гегеля о покорении природы нет речи; экономические отношения составляют, как увидим далее, только подчиненный момент юридического общества. Практическая сторона духа осуществляется в нравственном мире, а теоретическая сторона возвышается над последним как сознание абсолютного духа. Несоответствие этого построения изложенной выше системе внутренних определений духовного естества очевидно. Из сказанного ясны и причины такого противоречия.

Посмотрим теперь на внутреннее построение объективного духа, который составляет настоящий предмет наших исследований. Несмотря на неправильно назначенное ему место в общей системе,

* См.: Hegel G. W.F. *Encyclopädie <der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse>*. Theil 3. Philosophie des Geistes.

это построение, следуя диалектическому закону, вообще говоря, развивает истинную сущность нравственных определений и верно указывает на взаимные их отношения. Однако и здесь по объясненным выше причинам оказываются существенные пробелы и недостатки.

Основным определением объективного духа признается свободная воля. Воля есть практический разум, то есть разум, действующий на внешний мир. Поэтому воля заключает в себе два противоположных определения: общее и частное. С одной стороны, как мысль или как безусловное общее начало она обладает способностью абсолютного отвлечения или чистой неопределенности. Воля не связана никакою целью и никаким побуждением; она может отрешиться от всего. Это — элемент бесконечности. С другой стороны, воля имеет содержание; она хочет чего-нибудь. От неопределенности она переходит к определению. Это определение может быть взято как из чистого разума, так и из системы влечений. Но каково бы оно ни было, воля всегда сознает его своим, ею самою положенным, ибо она им не связана, и от определения она может снова перейти к неопределенности. Воля есть именно единичное начало, представляющее высшее единство общего и частного. Противоположные определения заключаются в ней как идеальные моменты, от нее зависящие и ею полагаемые; сама же она является как абсолютная возможность перехода от одного к другому. Определяясь, она остается собою, то есть сохраняет в себе элемент чистой неопределенности; поэтому она и сознает определение как момент, от которого она всегда может отрешиться, точно так же, как и наоборот: от неопределенности она всегда может перейти к ею самою полагаемому определению. В этом и заключается ее свобода, которая составляет сущность воли, точно так же, как тяжесть составляет сущность материального тела. Поэтому все существа, одаренные волею, сознают себя свободными; но один идеализм способен раскрыть истинный смысл этого начала *.

В этих мыслях Гегеля заключается высшее и глубочайшее, что было когда-либо сказано о свободе воли. Инстинктивное чувство человека, которое прямо и непосредственно относится к предмету в его целости, всегда признавало и признает свободу как факт, на котором строится весь нравственный мир. Но объяснение этого факта составляет загадку для пытающегося ума, ибо оно требует высшего разумения метафизических начал. Поэтому низшие формы познания, опыт и формальная логика, неизбежно приходят к отрицанию свободы воли. Не способны постигнуть ее и односторонние метафизические системы. Только высший идеализм проникает в истинную ее сущность, ибо он один понимает человека как высшее единство противоположных начал,

* Hegel G. W.F. Philosophie des Rechts. §§ 4-7.

бесконечного и конечного, с абсолютной возможностью перехода от одного к другому.

Но, как всякое определение, по учению Гегеля, только в конце раскрывает истинную свою сущность, так и воля только на высшей своей ступени является вполне свободною. В низших же своих формах она находится еще под влиянием естественных начал. Здесь она получает свое содержание извне, от влечений и наклонностей; сама же она, оставаясь отвлеченно общим началом, является тут в виде способности выбирать между различными влечениями. Эта форма воли есть произвол. Содержание не соответствует здесь форме, ибо оно для нее внешнее и случайное; вследствие этого произвол представляет внутреннее противоречие своих определений. Это противоречие является в виде борьбы между различными влечениями, которые приходят в столкновение друг с другом. Выбирая между ними, произвол полагает себе общую цель — счастье, но так как эта цель все-таки зависит от соглашения случайных влечений, то и она является частною и случайною. Общего в ней, строго говоря, ничего нет, ибо влечения бесконечно разнообразны и исключают друг друга. Поэтому счастье, состоящее в удовлетворении влечений, недостижимо; оно представляет прогресс в бесконечность. Смысл этого прогресса заключается в требовании такого общего начала, которое подчиняло бы себе все частное. Для этого необходимо отличить существенные влечения воли от несущественных; существенными же следует признать те, которые не составляют только извне взятое содержание, а отвечают существу самой воли, собственным ее определениям. В этом и состоит истинно общее начало, в котором отвлеченно общее и частное являются только моментами. Самоопределяющаяся воля есть свободная воля в истинном значении. Цель ее состоит в осуществлении своей свободы во внешнем мире. Это — свободная воля, которая хочет свободной воли. Осуществление этой свободы составляет право в обширном смысле *.

Право развивается в Гегеле в трех ступенях: 1) как отвлеченное или формальное право, выражающее самоопределение воли во внешнем мире; 2) как мораль или внутреннее самоопределение воли; 3) как нравственность, представляющая сочетание права и морали: общие требования морали, осуществляясь во внешнем мире, становятся системой юридических учреждений, определяющих права и обязанности людей в общественных союзах **.

Отвлеченное право, или право в тесном смысле, есть проявление личной свободы. В этой области рассматриваются отдельные лица и их взаимные отношения. Отдельный человек как свободное существо имеет правоспособность; в этом качестве он является лицом. Закон права гласит: «Будь лицом и уважай других как ли-

* Ibid. § 9-29.

** Ibid. § 33.

ца». Этот закон — чисто формальный; он ограничивается одним отрицанием, запрещением посягать на свободу лиц. Содержание же на этой ступени дается естественными побуждениями человека, его влечениями. Поэтому оно имеет характер случайный; закон права ничего здесь не определяет: он только дозволяет.

Существенно в дозволении то, что внешний мир подчиняется свободе как не имеющий в отношении к ней самостоятельного значения. Во имя права свободное лицо налагает руку на природу, и это право должно быть уважаемо другими. В этом заключается основание собственности, первого проявления личной свободы человека. Вещь — моя, потому что я хочу ее иметь: это — право моей свободы. Содержание же этого права случайно; я могу иметь больше или меньше: для юридического закона это все равно. Он запрещает только трогать вещи, принадлежащие другим. Вещи же, никому не принадлежащие, присваиваются тому, кто ими овладеет. Для законного присвоения требуется, однако, чтобы воля действительно выразилась в вещи: это делается посредством физического овладения, обделки, наконец, простого означения. Наоборот, когда воля перестает проявляться в вещи, последняя может быть присвоена другими. Вследствие этого право собственности теряется давностью. Присвоенная вещь находится в полном распоряжении собственника. Он может по произволу употреблять и даже уничтожать ее для своих потребностей. Точно так же он волен предоставить часть ее употребления другому. Наконец, он волен и самое свое право собственности передать другому, ибо вещи по существу своему могут переходить из рук в руки, присваиваться тем или другим лицом. Внешняя природа составляет общую среду, через которую отдельные лица вступают в юридические отношения друг к другу. Эти отношения выражаются в договоре*

Договор составляет второе проявление личной свободы. И тут содержание еще случайно; оно зависит от произвола лиц. Существенным моментом является здесь уговор, то есть выражение воли; исполнение же составляет только последствие этого акта, ибо через уговор предмет перестал уже быть собственностью одного и сделался собственностью другого. Вследствие этого неисполнение договора становится посягательством на чужую собственность. Но соединенная таким образом воля не есть еще общая (*allgemein*), а только совокупная (*gemeinsam*) воля лиц. Договаривающиеся не действуют здесь заодно, для общей цели; каждый остается самостоятельным лицом, с своими особыми целями и интересами. Таким образом, общее начало, право, состоит здесь в зависимости от частного элемента, от случайной воли лиц, а так как частные воли могут расходиться, то договор может быть нарушен. Отсюда третье проявление личной свободы — неправда**

* Ibid. § 34-71.

** Ibid. § 72-81.

Неправда составляет такое проявление свободы, которое есть вместе с тем ее отрицание, ибо она нарушает свободу другого. Следовательно, она сама себе противоречит, а потому, в свою очередь, должна быть отрицаема. Положительное проявление права состоит в отрицании этого отрицания, то есть в насилии правомерном, уничтожающем насилие неправомерное. Вследствие этого юридический закон имеет характер принудительный. Отрицание внешнего, нанесенного другому вреда составляет вознаграждение за убытки. Но источник неправды лежит в самой воле нарушителя, отрицающей право; поэтому восстановление права должно состоять в отрицании этой воли, которая, как противоречащая праву, подлежит принуждению. Это отрицание отрицания есть возмездие; оно предписывает воздавать равное за равное, не в материальном смысле, как око за око, а по оценке действия. В этом заключается требование соразмерности преступления с наказанием, требование карающего правосудия, составляющее истинное основание уголовного законодательства. Всякие другие соображения имеют здесь только второстепенное значение. Но в области личного права, где нет еще высшего судьи над отдельными лицами, возмездие предоставляется самому обиженному. Поэтому оно не является чистым выражением закона, а имеет характер личный и случайный; оно принимает форму мести. Вследствие того месть, в свою очередь, вызывает возмездие и т.д. до бесконечности. В этом прогрессе в бесконечность выражается недостаточность формального или отвлеченного права: оно приводит к требованию, которое не может быть исполнено. Правосудие должно быть не только мездью, но и наказанием, наказание же имеет в виду не случайное отношение внешних действий, а самую внутреннюю волю преступника, в которой должен быть восстановлен общий закон. Через это внешнее право переходит в другую область, в область внутреннего самоопределения или морали *.

В морали воля сознает себя определяющеюся изнутри себя, независимо от каких бы то ни было внешних побуждений, чисто на основании лежащего в ней общего начала. Но содержание этого начала моралью не дается; и тут закон остается формальным. Поэтому он не определяет воли в ее конкретных проявлениях, а относится к ней только как отвлеченное требование или должное. Это — воля как отвлеченно общий момент**.

Первое определение воли в этой сфере заключается в отношении внутреннего самоопределения к происходящему из него действию. Воля признает своим только то действие, к которому она определилась умышленно, то есть сознательно и свободно. Это — право вины. Затем и самое содержание действия, та цель, с которою оно совершается, то есть намерение, должно отвечать

* Ibid. § 82-104.

** Ibid. § 105-108.

внутренним потребностям действующего лица. Лицо имеет право находить в действии личное свое удовлетворение. В этом заключается его благо. Но личное благо может быть и случайным. Воля им не связана; как общее, разумное начало она определяется не личною, а общею целью и в ней находит свое удовлетворение. Эта общая цель есть идея добра, которая составляет внутренний закон для самоопределяющейся воли. Но так как эта идея противоплагается личному благу, то здесь она является в виде требования; субъект состоит к ней в отношении обязанности и. Притом это требование — чисто отвлеченное и формальное. Человек должен действовать по общему закону; он должен исполнять обязанность для обязанности; но чего именно требует от него обязанность, это общим законом морали не определяется. Наполнение ее живым содержанием предоставляется здесь собственному усмотрению лица, которое в каждом данном случае решает, что для него составляет обязанность и что нет. Это решающее, субъективное начало есть совесть, внутреннее, неприкосновенное святилище свободы человека, средоточие его нравственного мира. Человек имеет право определяться к добру только на основании собственной совести. Однако и совесть не соответствует вполне идее добра. Как центр всей нравственной жизни человека она заключает в себе оба противоположных определения воли, общее и частное, закон и произвол, а вместе с тем и возможность перехода от одного к другому. Совесть может уклониться от добра и перейти к началу противоположному, которое как таковое является злом. Явление зла обнаруживает недостаточность определений морали, недостаточность, состоящую именно в том, что идея добра является здесь отвлеченно общим, формальным, а потому чисто субъективным началом, лишенным вследствие этого живого содержания. Восполнить этот недостаток можно только переходом субъективного начала в объективное. Внутреннее самоопределение должно соединиться с внешним; общее должно проникнуть в частное. Это высшее единство права и морали составляет нравственность *.

В нравственности лица связываются своею общею нравственною сущностью. Эта сущность является здесь уже не как субъективная, формальная идея, а как объективная система законов и учреждений, в которых осуществляется идея добра. Лицо исполняет эти законы; в этом состоит его обязанность. Таким образом, здесь обязанности становятся уже определенными. С другой стороны, в законах выражается самое разумное существо воли, содержание нравственной свободы; в них воплощаются начала права и общего блага. Поэтому исполнение законов составляет вместе с тем и право лица; в них оно находит личное свое удовлетворение. В области нравственности права и обязанности связаны неразрывно: лицо имеет столько прав, сколько оно имеет

* Ibid. § 151-141.

обязанностей, и наоборот. Вследствие этого исполнение законов становится для лиц второю высшею их природою <, что и> называется нравами. Соответствие свойств лица требованиям нравственности составляет добродетель. А так как эти нравы одинаковые у многих, то из них образуется дух людей, живущих под общими законами. Таким образом, общая нравственная сущность является живым духом нравственно-юридического союза, одушевленного общею целью. Лица же состоят членами этого союза и в нем находят свое удовлетворение. Этим достигается полное соглашение субъективного начала с объективным*.

Союзы, соединяющие людей, суть: 1) семейство; 2) гражданское общество; 3) государство. Они представляют различные ступени развития нравственного начала.

Семейство есть союз, основанный на отношениях естественных, данных природою. Связью его служит естественное чувство — любовь. Это чувство составляет основание брака. Но сила нравственно-юридического начала превращает естественное соединение полов в союз духовный, образующий одно нравственное лицо, а потому возвышенный над случайностью влечений и по существу своему неразрывный. Это духовное единство становится видимым, внешним, в детях, которые составляют цель союза. С достижением цели, с воспитанием детей, семья распадается. Дети делаются самостоятельными и основывают каждый свое отдельное семейство. Через это между ними устанавливаются уже иного рода отношения. Семейство переходит в гражданское общество**.

Гражданское общество есть союз людей как самостоятельных единиц. Основным его элементом является отдельная личность с ее потребностями и интересами. Общее начало служит здесь только средством для удовлетворения личных целей. Отсюда возникает сложная сеть частных отношений, составляющих существо этого союза. Прежде всего, в силу взаимных потребностей люди вступают в экономические отношения друг к другу. Образуется общая система потребностей ей, которая ведет к систематическому распределению самых способов удовлетворения, то есть к разделению труда; последнее же, в свою очередь, влечет за собою различные сословия. Это различие вытекает из самого развития, лежащего в основании их понятия. Первым является состояние естественное, которое добывает произведение природы, именно в земледельце; второе есть состояние формирующее или промышленное, заключающее в себе ремесленников, фабрикантов и купцов; третье, наконец, есть состояние общее, которое исполняет общественные цели. Общее начало, господствующее над всею этою системою, есть право, охраняющее труд и собственность каждого. В гражданском обществе право является уже как положительный закон, которым

* Ibid. § 142-156.

** Ibid. § 158-181.

устанавливаются признаваемые всеми нормы. Вследствие этого личность и собственность получают здесь законное признание; договор делается ненарушимым, а преступление влечет за собою общественное наказание. Приложение закона к отдельным случаям становится делом суда, который получает бытие в гражданском обществе. Но для охранения интересов недостаточно одного суда, восстанавливающего нарушенное право. Безопасность лиц и имуществ требует устранения тех случайностей, которым они могут подвергнуться, а с другой стороны, связь интересов ведет к принятию общих мер, удовлетворяющих совокупным потребностям общества. Отсюда необходимость полиции, которая устанавливает внешний порядок и заведует общими учреждениями. Однако и внешний порядок недостаточен; требуется внутренняя связь между правом и интересами. В гражданском обществе эта связь создается частными союзами или корпорациями. Каждое лицо примыкает к сословию, к общине, к цеху, и в них находит обеспечение своих частных целей, помощь против случайностей, наконец, определенное общественное положение, которое дает ему известную сословную честь. Корпорации составляют нравственный элемент гражданского общества; это — второе основание общества после семейства. Но ограничиваясь частными целями союза, эти мелкие единицы имеют наклонность обособляться и костенеть в своей узкой рамке. Чтобы поддержать между ними общую связь, необходим над ними высший надзор во имя единой общественной цели, которой все частные цели должны подчиняться. Этот высший надзор принадлежит новому союзу — государству, которое, в отличие от гражданского общества, является представителем общественного единства и безусловно общей цели*.

Государство представляет полное осуществление нравственной идеи, действительность нравственного духа или объективного разума. Оно не составляет уже средства для достижения других целей: оно само есть абсолютная цель. Поэтому оно имеет верховное право над человеком, который в нем достигает высшего своего назначения. Высшая обязанность человека — быть членом государства. Но и наоборот, в нем человек находит высшее осуществление своей свободы и своего права. Субъективное начало и объективное приходят здесь к полному соглашению. Объективное начало само вытекает из субъективного, то есть из воли, но не из личной и случайной воли, как договор, а из существенной воли членов союза. Основанием государства является народный дух, живущий в гражданах и достигающий в нем высшего самосознания**.

Идея государства развивается: 1) как внутренний организм; 2) как внешние отношения различных государств между собою;

* Ibid. § 182-256.

** Ibid. § 257-258.

3) как общий дух, владычествующий над совокупным процессом их развития, то есть как всемирная история.

Государство как высшее осуществление идеи свободы возвышается над семейством и гражданским обществом; но оно не поглощает их в себе, а признает их права и оставляет им должную самостоятельность, подчиняя их только себе как высшей власти и само составляя для них верховную цель. Таким образом, частная свобода сохраняет в государстве все свое значение, но к ней прибавляется свобода политическая, основанная на сознании общей государственной цели. Таков в особенности характер новых государств, в отличие от древних. В последних господствовала еще первоначальная слитность; вследствие этого частные сферы не получили еще полного развития, и частная свобода поглощалась общественною. Новое государство, напротив, представляет возвращение уже вполне развившихся частных элементов к общему как высшему единству, здесь оба начала пришли к согласию *.

Но государство не ограничивается владычеством над другими, подчиненными сферами. Как самостоятельный союз оно образует свой собственный организм, выражающийся в политическом устройстве. Организм, вообще, представляет развитие идеи в совокупности ее определений. В государстве эти внутренние различия образуют систему раздельных властей, которые, однако, в силу своей органической связи не распадаются врозь и не ограничивают друг друга как самостоятельные силы, а действуют согласно как члены единого целого. Эти власти суть: законодательная, устанавливающая общие нормы, правительственная, прилагающая эти нормы к отдельным случаям, и, наконец, княжеская, представляющая последнее верховное решение воли и связывающая все остальное. Они соответствуют трем моментам развития идеи: общему, частному и единичному. Таким образом, из всех политических форм полное развитие идеи государства представляет только конституционная монархия. Остальные образы правления — монархия, аристократия и демократия относятся к низшим ступеням государственного развития, где общая идея не достигла еще полного своего расчленения. Здесь господствует еще часто поверхностное различие, основанное на количественном определении властвующих лиц**.

Каково же должно быть сообразное с идеею устройство конституционной монархии? Первое место в ней принадлежит князю. Он является представителем государственного полновластия, которое состоит в подчинении всех частей целому и всех частных целей общей цели союза. Полновластие, по идее, принадлежит не народу как массе, а государству как единичному лицу, содержащему в своем верховном единстве все отдельные части и элементы.

* Ibid. § 260-262.

** Ibid. § 263-274.

Единичное же лицо может в действительности быть представлено только физическим лицом, которому поэтому и должно быть представлено верховное решение. Всякого рода собрания служат недостаточным выражением этого момента. По той же причине монархия должна быть наследственной; иначе верховная воля государства ставится в зависимость от частных волей отдельных лиц, от борьбы людей и партий. Такое единичное представительство политического союза лицом монарха не придает, однако, государства на жертву всем случайностям рождения и произвола. Господство случайностей возможно только на низших ступенях государственного быта, где различные моменты идеи не получили еще надлежащей самостоятельности; в устройстве же, вполне развившем свои определения, единичное решение является только завершением всего остального. От конституционного монарха не требуется никаких личных качеств. Ему вовсе не нужно вмешиваться во все и направлять все дела. Он должен только сказать: да и поставить точку (*Er muss nur ja sagen und den Punkt auf das i setzen*). Здесь самое положение монарха делает его истинным органом государства *.

От княжеской власти отличается власть правительственная, которая заключает в себе полицию и суд. Назначение ее состоит в приложении закона к частным случаям. Вследствие этого она приходит в прямое соприкосновение с гражданами и с теми частными союзами, на которые разделяется гражданское общество. Эти союзы непосредственно заведуют местными и корпоративными интересами; задача же государственного управления заключается в охране общего государственного интереса. Исполнение этой задачи возлагается на особое состояние государственных служителей, назначаемых монархом и получающих свое содержание от государства. Главное начало в организации этой части состоит в разделении труда, причем, однако, на вершине различные отрасли должны связываться общими учреждениями. Затруднение заключается здесь в соглашении этого раздельного устройства с соединением различных отраслей в корпоративных союзах. Последние должны сохранять свою самостоятельность: иначе исчезают органическое устройство гражданского общества и свобода частной жизни. Управляемые должны быть ограждены от произвола управляющих. Отчасти гарантия заключается в иерархическом устройстве правительственных властей и в контроле высших над низшими. Но отдаление высших властей от непосредственного соприкосновения с народом делает эту гарантию весьма недостаточною. Она необходимо должна быть восполнена тою преградой, которую представляет произволу чиновников самостоятельность корпоративных прав **.

* Ibid. § 275-286.

** Ibid. § 287-295.

Наконец, что касается до законодательной власти, то в ней участвуют все три элемента: монарх — посредством верховного решения, правительство — доставлением материала для законодательной деятельности, народ — обсуждением законов через своих представителей. Начало народного представительства основано не на том, что народ будто бы лучше понимает общие потребности и интересы, нежели правительство: напротив, он обыкновенно понимает их хуже, чем те, которые стоят наверху. Истинная причина заключается в необходимости сочетания субъективной свободы с объективною. Через представительство закон и государство входят в народное сознание и в нем получают самую крепкую свою опору. Но в законодательстве должна быть представлена не личная воля рассеянных единиц, а народ как он есть, в живой своей организации, расчлененный на корпорации и сословия. Через это все существенные интересы общества получают голос в представительстве. Из трех состояний, на которые разделяется гражданское общество, одно, именно то, которое исключительно посвящает себя общественным делам, имеет уже свою отдельную сферу деятельности в государственном управлении; следовательно, представительство должно быть от двух остальных — от земледельческого и промышленного. Но значение этих двух состояний в политическом устройстве не одинаково: одно из них по преимуществу назначено к тому, чтобы играть роль посредника между другими элементами. Вообще, органическая связь частей везде требует посредствующих членов. Они должны существовать и между князем и представительством, для того чтобы эти два органа власти не были в постоянном противоположении, а действовали бы согласно. Со стороны князя таким посредствующим членом служат правительственные лица, которые несут на себе ответственность за управление; со стороны же представительства посредником должно быть то состояние, которое преимущественно носит в себе сознание общих начал, то есть состояние земледельческое. Но для того чтобы представители его могли исполнять свое назначение, необходимо не только, чтобы они принадлежали к высшей, образованнейшей его части, но и чтобы у них было независимое и вполне обеспеченное положение. Это достигается учреждением майоратов, которые делают их имущество неотчуждаемым. Это — жертва, приносимая требованиям государства. В качестве посредников они должны составлять особую, верхнюю палату. Нижняя же палата должна состоять из представителей промышленного состояния в его разделении на корпорации и общины. И тут государство вправе требовать гарантий цельного обсуждения законов. Главная может заключаться в том, чтобы избираемые доказали уже свое знание общественных дел занятием каких-либо общественных должностей. Значение субъективной свободы в государстве не ограничивается, впрочем, участием граждан в законодательной власти. Прения палат, которые непременно должны быть публичные, распространяют знакомство

с политическими вопросами во всей массе народа, которая влияет на их решение обсуждением их путем речи и печати. В этом состоит общественное мнение, выражающее субъективную свободу уже не в органической форме, а как чисто личное начало. В нем поэтому соединяются два противоположных элемента: существенное и вечное, лежащее в глубине народного духа, с произволом и случайностью, составляющими свойство частных мнений. Дело государственного человека — разделить эти два элемента и доискаться истины, скрывающейся в хаотической массе личных суждений*.

Так развиваются внутренние определения государства. В результате оно является цельным духовным организмом, единичным лицом, и как таковое оно вступает в отношения к другим, подобным же лицам. В этом состоит его внешнее полновластие. Здесь уже видимым образом выражается безусловное подчинение всех частных целей государственной. Все граждане обязаны жертвовать своею жизнью и имуществом для защиты отечества. Государство является здесь не только средством для охранения частных интересов, но высшим началом, для которого последние служат только орудием. Но так как внешняя защита составляет лишь одну из сторон государственной жизни, то она становится предметом занятий особого сословия — войска. Только в минуты крайней опасности, когда ставится вопрос о самом существовании государства, все граждане призываются к оружию**.

Будучи полновластным, государство требует признания со стороны других. Этим устанавливается правомерная его независимость в ряду держав. Дальнейшие же отношения государств определяются договорами. Соблюдение договоров составляет основание международного права. Но так как государства обладают полною независимостью решения, то они всегда могут нарушать договоры. Отсюда, при невозможности соглашения, возникает война. В войне самое существование государства подвергается опасности и становится случайным. Как проявление известного народного духа государство ограничено, а потому конечно. Оно может погибнуть, но место его занимает другими. Возникающие отсюда перевороты составляют ход всемирной истории, в котором государственная жизнь сама становится орудием всемирного духа***.

История человечества представляет изложение внутреннего содержания духа, развитие его самосознания и свободы. В ней дух является независимым от каких бы то ни было внешних условий; он определяется чисто изнутри себя и сам себя делает в действительности тем, что он есть в существе своем. В этом состоит всякое развитие; но дух, в отличие от природы, развивается не органическим путем, то есть беспрепятственным изложением внутренних своих

* Ibid. § 298-319.

Ibid. § 321-329.

Ibid. § 330-340.

определений, а через посредство сознания и свободы, борьбою противоположностей. Орудиями этого движения являются лица с их страстями и интересами. Каждое из них преследует свои частные цели, ищет личного удовлетворения, но бессознательно оно исполняет общие цели и осуществляет то, что требуется духом. Таковы в особенности исторические личности, которые возвышаются над современниками и играют историческую роль именно потому, что они лучше других понимают потребности своего времени. Среда же, в которой осуществляется самоопределение духа, есть государство, высшее выражение свободы на земле. Только те народы играют историческую роль, которые образуют из себя политическое тело. Но государство как выражение известной народности есть только частное проявление всемирного духа. Исторические народы и государства представляют различные ступени его развития. Тот из них, который в данное время более всех выражает в себе настоящую ступень, тот является господствующим; когда же он исполнил свое назначение, он сходит с исторического поприща и уступает место другим.

Таких ступеней в истории четыре. В последовательности их выражается развитие свободы или существа духа. Сначала владычествует общая субстанция, в которую личность всецело погружена. Свободен только один, стоящий во главе государства; поэтому он является деспотом. Таков мир восточный. Затем мало-помалу пробуждается сознание свободы, которая, однако, не вдруг отрешается от общей субстанции, а состоит еще с нею в гармонической связи. Отсюда художественное мирозерцание, составляющее характеристическую черту греческой жизни. Но эта юношеская гармония быстро исчезает, ибо она не поборолась еще в себе раздвоения. Последнее наступает с переходом истории в Рим. Здесь является противоположность между отвлеченно-общим началом и частным, сначала в виде борьбы аристократии с демократиею, затем как развитие, с одной стороны, отвлеченного, всемирного государства, а с другой стороны — частного права и личных интересов. В Риме человечество доходит до крайней степени внутреннего разлада; но с этим вместе является и примирение, составляющее поворотную точку истории. Достигшая крайнего развития личность, углубляясь в себя, признает свое тождество с божественным началом. Этим восстанавливается внутреннее единство духа, примирение его с самим собою. Таково значение христианства. Но на первых порах это примирение остается еще чисто внутренним; оно образует высший, духовный мир, противоположный миру светскому. Дальнейшее развитие истории состоит в перенесении этого начала в жизнь при взаимном проникновении светской области и духовной. Это и есть задача новой истории, задача, исполнение которой составляет призвание германского народа и германского государства *.

Ibid. § 341-360; ср.: Hegel G. W. F. Philosophie der Geschichte. Einleitung.

Таково содержание философии права Гегеля. Из предыдущего можно судить об ее достоинствах и недостатках. Первые несомненно перевешивают. Философия права Гегеля, как и вообще его система, составляет завершение всего предшествующего развития мысли. Различные направления человеческого ума сходятся здесь, как в средоточии, и достигают высшей гармонии. Никто из предшествующих мыслителей так глубоко и верно не определил места и взаимных отношений различных элементов нравственного мира. В основание положено истинное их начало, свобода воли, которая выведена с таким глубокомыслием, что больше ничего не остается желать. Противоположные определения свободы, право и мораль, составляющие внешнюю и внутреннюю ее стороны, противопоставлены друг другу и затем сведены к высшему единству в организме общественных союзов, в которых нравственные идеи сочетаются с удовлетворением личности и где человек в обоих определениях своего естества, как отдельная особь и как существо разумно-нравственное, достигает высшего своего назначения. Развитие этих начал составляет одну из самых плодотворных мыслей в философии права и останется бессмертною заслугою Гегеля. И все это диалектическое движение завершается, наконец, воззрением на государство как на орган всемирного духа, излагающего свое содержание в истории. Можно сказать, что существенные основы построенного Гегелем здания несомненно верны. Читатель может убедиться, что вся предшествующая история политической мысли служит им подтверждением. Опыт блистательным образом оправдывает здесь выводы умозрения. Критика может относиться только к частностям. Она обнаруживает скорее недостаточное развитие — непоследовательное проведение начал, нежели неверное их понимание. Общее же воззрение выходит очищенным и дополненным из критической его оценки.

В чем же состоят недостатки теории Гегеля? И тут мы прежде всего должны указать на неправильность диалектического построения. Вместо четырех определений мы опять находим только три. Если мы возьмем всю совокупность отношений человеческих воль, то мы увидим, что первоначальную, непосредственную их основу составляет общежитие как естественное определение человека. Оно включает в себе четыре существенных элемента: власть, закон, свободу и цель. Из него развивается, с одной стороны, право как частное, с другой стороны, мораль как отвлеченно-общее начало. Это доказывается самою историею политической мысли. Первая школа, с которой начинается философия права в Новое время, есть школа общежительная, которой коренное начало высказано уже Гуго Гроцием. После того мысль разбивается на два противоположных направления, нравственное и индивидуальное, которые, наконец, опять сводятся к единству в идеализме². У Гегеля, по объясненным выше причинам, эта первоначальная основа и здесь исчезает. Вместо нее первую ступенью развития свободы

является одно из противоположных ее определений, и на этот раз не субъективное, внутреннее, отвлеченно-общее, а объективное, внешнее, частное, именно право. Отсюда слишком обширное значение, данное началу права, значение, которое ведет к смешению понятий. Вследствие этого самая мораль является развитием начал права, что очевидно неверно, если принять право в точном смысле слова. Отсюда, наконец, совершенно искусственный переход от первой ступени ко второй. Развитие начал уголовного права ведет к необходимости сочетания права и морали в государстве, а никак не к переходу из одного понятия в другое. Несмотря на это, однако, определения права в существенных чертах выведены верно; но зато определения морали развиты у Гегеля весьма недостаточно. Сущность морали как отвлеченно-общего начала, вытекающего из чистых или формальных требований разума, понята как следует, но систематическая разработка этого начала остается крайне скудной. Добродетель Гегель неправильно отнес не к морали, а к нравственности, да и там он едва коснулся этого понятия. Начало закона им вовсе не развито; идея же совершенства, определяющая нравственный идеал, совершенно оставлена им в стороне. Можно сказать, что учение о морали составляет самую слабую сторону философии права Гегеля. Оно требует гораздо более полной обработки.

Несравненно выше стоит учение о нравственности. Последовательное развитие общественных союзов указано верно и гораздо более подтверждается историею, нежели мог подозревать сам Гегель. Но и тут мы находим тот же недостаток диалектического построения. Вместо четырех союзов опять являются только три. Четвертый союз, церковь, опущен. Отнеся религию к области абсолютного духа, возвышающейся над государством, Гегель, очевидно, не мог поставить церковь в ряду общественных союзов. Только мимоходом он касается вопроса об отношении религии и церкви к государству, и хотя воззрение, которое он здесь развивает, совершенно основательно, но оно не соответствует общему построению системы. Религия, говорит Гегель, выражая собою сознание абсолютного духа, несомненно составляет основу всякой нравственности, а потому и политической жизни. Но это только основа, в отношении к которой государство является как высшая ступень, ибо здесь дух строит из себя объективный мир. Эти два момента разделяются громадным переходом от внутреннего к внешнему, проникновением разума в жизнь, тем шагом, над которым работала вся история и которым человечество приобрело сознание разумной действительности. Поэтому государству принадлежит высшее право. Церковь не только подчиняется ему как внешний союз, но, представляя собою субъективное начало, она не может иметь притязания определять объективные основы государства. В противоположность субъективной вере и убеждениям государство имеет высшее право объективного знания. С другой

стороны, однако, субъективное начало, составляя принадлежность внутреннего человека и будучи определяемо его совестью, должно оставаться неприкосновенным для государства. Поэтому эти два союза должны быть разделены. Государство, вторгающееся в область церкви, так же как и церковь, налагающая руку на государство, равно становятся тираническими. Государство исполняет свою обязанность, когда оно религиозной общине оказывает защиту и покровительство, сохраняя над нею высший надзор. Заботясь о нравственном духе граждан и видя в религии главную опору нравственности, оно может требовать от подданных, чтобы каждый из них принадлежал к какой-нибудь церкви; но далее этого его права не простираются: оно не может предписывать какого-либо учения, а должно относиться безразлично ко всем *.

Из этих положений Гегеля следует: 1) что объективный дух как осуществление абсолютных начал в действительном мире должен быть поставлен выше субъективного сознания абсолютного; 2) что церковь должна быть поставлена в ряду общественных союзов как представительница субъективной морали или как союз, руководящий человеческою совестью. В этом отношении она противопоставляется гражданскому обществу, которое представляет собою развитие начал отвлеченного права, то есть чисто личного или частного элемента общежития. Последнее так и было понято Гегелем, хотя он в некоторых местах смешивает частные цели с общею. Таким образом, и тут мы получаем диалектическое развитие не трех, а четырех определений. Первоначальную основу представляет союз естественный — семейство; затем является противоположность союза юридического, то есть гражданского общества, и союза нравственного — церкви; наконец, эти противоположности сводятся к единству в высшем союзе — в государстве. Эти четыре союза соответствуют вместе с тем и четырем существенным началам общежития: семейство — внутренней цели или идее, гражданское общество — свободе, церковь — закону, государство — власти. Они соответствуют, наконец, и четырем основным определениям человеческой души: чувству, влечениям, разуму и воле, причем, разумеется, каждое из этих начал и определений, образуя цельный нравственный союз, заключает в себе и все остальные.

Заметим, что по этой схеме в государстве осуществляется не внутренняя цель, а главным образом власть, следовательно, не внутреннее, а внешнее единство. Если бы противоположные начала сочетались в нем внутренним образом, как в семействе, где право и нравственность связаны неразрывно, обнимая всю жизнь человека, то самостоятельность частных союзов могла бы исчезнуть. Напротив, начало власти, воздвигаясь над ними, оставляет им относительную независимость. Из этого, однако, не следует,

что государство составляет первоначальную основу, а семейство — высший, идеальный союз. Государство является все-таки высшим единством противоположностей. Это видимое противоречие объясняется законом развития духа в противоположность природе. Развитие природы идет от общих сил к единичному началу, представляемому органическим существом. Последнее ее произведение есть животное. Задача духа заключается, напротив, в обратном возведении единичного к общему. Точку отправления составляет для него единичная душа, а высшим его определением является всемирный дух, излагающий свое содержание в истории. Поэтому и в развитии общественных союзов первоначальным, естественным определением является единичное начало, то есть внутренняя цель, которая осуществляется в семействе как органическом союзе, представляющем полное единение особей; конечное же определение есть государство, воплощающее в себе идею власти. Но в силу этого развития государство составляет вместе с тем и высшее единство противоположностей, то есть и оно носит в себе единичное начало. Поэтому оно является не только внешнею властью, но и лицом как единичное выражение народного духа. Народ имеет волю только в государстве. Мы видим, что определение места и значения каждого союза, а также и их взаимных отношений состоит в прямой зависимости от общего философского взгляда, от понимания начал и законов, руководящих всемирным развитием духа.

У Гегеля мы не встречаем указания на соответствие человеческих союзов основным элементам общежития, власти, закону, свободе и цели. Государство как единство противоположностей является у него высшим осуществлением нравственной идеи. Тем не менее, как мы уже заметили выше, относительная самостоятельность подчиненных союзов вполне признается им. Только некоторые неточные выражения могли подать повод к обвинению, что у него государство поглощает в себе все, не оставляя места свободе лица. Мы видели, что именно в признании самостоятельности субъективного начала он полагает существенное отличие нового государства от древнего. С глубоким и верным своим взглядом он не поддался присущему чистому идеализму поползновению все улетучить в конечном определении, поползновению, которое побудило Платона начертать свой идеал республики и которое воодушевило новых социалистов. У Платона это всецелое прине-сение лица в жертву государству объясняется слабым развитием личной свободы в древнем мире. Но и он уже понял невозможность осуществления этого идеала, вследствие чего он изобразил иное устройство в своих «Законах». После него Аристотель опроверг самые основания этого взгляда. У новых же социалистов, как мы подробнее увидим впоследствии, крайнее развитие идеализма идет не только наперекор правильному пониманию вещей, но и наперекор истории. Им отрицаются все плоды развития Нового

времени. Все прошедшее и настоящее отвергается во имя чисто теоретического построения будущего. Идеализм Гегеля существенно отличается от этих утопий. И он нередко становится исключительным; и у него предшествующие моменты понимаются иногда как мимолетные явления, а не как выражение постоянных элементов жизни. Но все же эти моменты, подчиняясь высшему единству, сохраняют относительную самостоятельность. Гегель понимал развитие не как отрицательный, а как положительный процесс, как изложение внутреннего содержания предмета. Поэтому он искал своих идеалов не в фантастическом представлении будущего, а в живой действительности, в понимании разумных требований жизни и развивающихся в ней начал. В политической области идеалом для него было не социалистическое устройство общества, а конституционная монархия, то есть та государственная форма, которая представлялась высшим плодом всего предшествующего развития европейской жизни и таковою была признана лучшими умами того времени.

В изображении этого политического идеала Гегель, согласно с общим духом своей системы, идет путем чистого умозрения. Он отличает власть законодательную, правительственную и княжескую как моменты общий, частный и единичный. И тут обнаруживается общий недостаток системы: вместо четырех определений опять являются три. Это и повело к неправильному смешению правительственной власти с судебной). Последней собственно принадлежит приложение закона к частным случаям; поэтому она может быть определена как момент частный. Задача же правительственной власти существенно состоит в управлении общими интересами государства. По принятой схеме она представляет собою момент общий, в отличие от которого законодательство является осуществлением отвлеченно-общего начала, а князь — представителем момента единичного. Если мы сравним эти различные отрасли власти с основными элементами общежития, то увидим, что правительственная власть имеет в виду осуществление государственной цели, судебная — охранение свободы и права, законодательная — установление закона, наконец, монарх является представителем чистого начала власти. При таком взгляде мы поймем и отношение конституционной монархии к другим образам правления, различие которых Гегель понял слишком поверхностно. В действительности монархия представляет собою начало власти, аристократия — начало закона, демократия — свободу, наконец, смешанные формы и преимущественно конституционная монархия — сочетание различных элементов и приведение их к идеальному единству. Таким образом, везде повторяется один и тот же закон, что, впрочем, естественно, ибо во всех политических формах выражаются одни и те же элементы, лежащие в основании всякого общежития.

Мы видим, что поставление монарха во главе идеально построенного государства последовательно вытекает из воззрения Гегеля.

Единичное начало как связь противоположностей должно составлять вершину политического здания; но как представитель чистой воли государства князь должен быть свободным от всякого частного произвола. Значение должны иметь не личные качества, а положение монарха. Тот же самый взгляд мы находим и у современных Гегелю французских публицистов, которые, идя совершенно иным путем, строили идеал конституционной монархии на одинаковых с ним основаниях. И у них над раздельными властями, законодательною, правительственною и судебною, возвышается власть королевская — как высшая, единичная вершина здания, связывающая противоположные элементы в одно согласное целое. Мы увидим это далее. Самое изречение Гегеля, что князь должен только сказать да и поставить точку, совершенно тождественно с другим знаменитым изречением: «Король царствует, а не управляет». Так, в силу внутреннего закона однородное движение мысли, хотя и по различным путям, приводит к одинаковым результатам.

Не станем разбирать подробностей политической теории Гегеля. В умозрительных выводах философии гораздо важнее установление общих начал, нежели практическое их применение. Последнего Гегель вовсе и не имел в виду. Что же касается до его философии истории, то и здесь мы не можем согласиться с теми, которые видят в ней уничтожение свободы и поглощение лица общею субстанциею. Вопрос состоит в том, следует ли видеть в истории произведение человеческого произвола и случайностей или движение, управляемое общими законами? Сказать, что человек, преследуя личные свои цели, нередко делает то, чего он вовсе не имел в виду, и таким образом бессознательно становится орудием высших сил; что в исторических деятелях выражаются потребности времени, дух народа и т. п., это самая простая и ставшая даже пошлою истина. Те, которые видят в человеке орудие Провидения, говорят то же самое. Этим не уничтожаются ни личная свобода, ни нравственная ответственность, как прямо признает и Гегель. Человек в силу своей свободы волен делать все, что ему угодно; но он не властен идти наперекор законам духа, так же как он не властен преступить законы природы. Случайное действие остается случайным; прочные последствия оно имеет только тогда, когда оно отвечает общим потребностям. Этот взгляд один согласуется и с истинными требованиями свободы. Для разумного существа не может быть высшего удовлетворения, как сознавать себя орудием общих целей. Не случайная игра произвола, а развитие существенных определений духа составляет содержание истории. Это Гегель и имел в виду, когда он утверждал, что все действительное разумно, а все разумное действительно. Он прямо говорит, что под именем действительности он отнюдь не разумеет все, что явления представляют случайного и произвольного, а лишь те существенные основы жизни, которые вытекают из глубины общего духа. Из этого нельзя вывести

ни нравственного оправдания удачных преступлений, ни узаконения всякого установившегося порядка вещей. Закон духа — не застой, а развитие. Отрицание установленного порядка, если оно основывается на требованиях разума, само является выражением присущей духу диалектики. Вообще можно сказать, что истинный смысл развития как внутреннего самоопределения духа никем и никогда не был так глубоко понят, как Гегелем. Им же раскрыт и диалектический закон этого развития. Это опять бессмертная его заслуга, которая может только более и более выясняться последующим движением науки. Фактическое изучение истории в целом ее ходе несомненно убеждает нас, что она движется не произволом, а идеями, в последовательной их связи. Всякий истинный историк носит в себе это убеждение.

Но если общие основания философии истории глубоко и верно схвачены Гегелем, то нельзя того же сказать о приложении этого взгляда к фактам. Здесь мы встречаем границы умозрения и отличия его от опыта. Иное дело вывести а priori общий закон, иное — показать действие этого закона в явлениях. Последнее требует опытного изучения самих явлений, как признает и Гегель *, а это — работа совершенно иного рода, нежели первая. Тут необходимы полнота сведений, критическая оценка материала, точность фактических выводов; одним словом, здесь настоящее место для приложения опытной методы. Очевидно, однако, что при различии путей выводы не всегда совпадут. Закон может быть выведен верно, но при недостаточном опыте приложение его к фактам окажется неправильным. Если же собранный и недостаточно проверенный материал будет искусственно подводиться под общий закон, то выйдет натяжка. Это именно и случилось с Гегелем. Сильный в умозрении, он был слаб в опыте. Выводя логически общие законы, он старался подыскивать под них явления, причем, конечно, он далеко не всегда попадал в настоящее. Ясное доказательство, что законы выведены им не из опыта, а из умозрения. Если бы опыт был единственным руководителем человеческого знания, то из неверного опыта никогда бы нельзя было вывести верных законов.

Первый упрек, который можно сделать философии истории Гегеля, касается слишком ограниченного понимания народности как известной ступени развития духа. Нет никакой причины, почему бы данной эпохе соответствовала непременно одна владычествующая народность, которая затем, исполнив свое назначение, сходила бы с исторического поприща. Такой взгляд может еще найти свое оправдание, хотя с оговорками, в древней истории; новая же история представляет явление совершенно иного рода. Здесь, при более сложных отношениях, в одно и то же время различные стороны духа находят свое выражение в различных народах, а общее

* Hegel G. W.F. Philosophie der Geschichte. Einleitung. S. 14.

движение совершается их взаимодействием. Поэтому никак нельзя согласиться с Гегелем, когда он всю новую историю признает плодом германского духа. В новой истории ни один народ не является владычествующим в данную эпоху; все состоит членами общей системы. А с другой стороны, один и тот же народ проходит через различные ступени развития, участвуя в общем движении сообразно с своею природою. Отсюда гораздо более широкое значение народности в Новое время и диалектическое развитие в самой ее среде. К новой народности менее всего приложимо изречение Гегеля, что народность как определенное явление духа непременно требует известной государственной формы, а с *тем вместе, в неразрывной связи, известной религии, известной философии и известного искусства*. Такой взгляд противоречит даже истории древних государств. Дух народный как проявление общечеловеческого духа не ограничивается теми или другими жизненными формами и направлениями; проходя через различные ступени развития, вступая во взаимодействие с другими, он меняет и самое свое содержание.

Другой, еще более важный недостаток философии истории Гегеля заключается в неправильном построении общего хода человеческого развития. Он верно понял Восток как среду, представляющую первоначальное погружение лица в общую субстанцию, а Грецию как первое гармоническое появление свободы; но при определении дальнейших ступеней он впал в значительные ошибки. Задавшись мыслью, что примирения противоположностей следует искать в христианстве, он Риму приписал абсолютное раздвоение сознания, а это бросает совершенно ложный свет как на римскую историю, так и на средневековый порядок. Историческое движение духа действительно идет от единства к раздвоению и затем от раздвоения к единству; но раздвоение является господствующим началом не в Риме, а в Средние века. Классические же государства представляют процесс постепенного разложения духовной субстанции под влиянием, с одной стороны, отвлеченно-общих начал, с другой стороны, частных интересов. Результатом этого процесса является средневековое устройство, представляющее два противоположных друг другу мира — светский и духовный, гражданское общество и церковь, один воплощающий в себе идею личного права, другой — начало нравственно-религиозное. Между этими двумя мирами возгорается борьба, которая ведет, наконец, к потребности примирения. Последнее составляет содержание новой истории. Над двумя противоположными союзами воздвигается третий, высший, государство, которое, являясь носителем идей Нового времени, вместе с тем составляет возвращение к началам, господствовавшим в древности. Тот же самый путь мы можем проследить и в искусстве, и в философии.

* Ibid. S. 65-66.

Впоследствии мы подробнее и точнее определим этот закон, которым объясняется вся история человечества. Здесь мы должны ограничиться изложенными указаниями; но читатель найдет его подтверждение во всей предшествующей истории политической мысли. Таким образом, фактическое изучение истории, исправляя недостатки построения Гегеля, вполне оправдывает основные его взгляды. Оно подтверждает и самое развитие его философии права. Разложение государства ведет к противоположению начал права и морали, гражданского общества и церкви, и, наоборот, объединение этих союзов ведет к восстановлению государства. Можно спросить, куда же девалось семейство, которое должно составлять первую ступень развития общественных союзов? И тут история дает нам ответ. Семейный или родовой быт действительно составляет первую ступень развития всех народов, как древних, так и новых. Но в древности переход его в государственную форму совершился в доисторическую эпоху и не мог иметь того характера, какой он принял в Средние века. Господство первоначального единства не допускало резкого противоположения крайностей. Поэтому в древности, при разложении родового быта, теократическое начало сливается с гражданским; через это образуется теократическое государство, которое в первобытной цельности заключает в себе как родовые, так и гражданские формы. Таков Восток; таковыми первоначально были Греция и Рим. Когда же древнее государство, разлагаясь, снова пришло к противоположению церкви и гражданского общества, то для осуществления этой системы потребовались новые народы, которые, точно так же исходя от родового быта, переходят через противоположные союзы, нравственный и юридический, и наконец приходят к государству как высшему союзу, объединяющему все остальные. Существенное отличие от древности заключается здесь в том, что новые народы, вступая на историческое поприще, нашли уже абсолютное раздвоение, подготовленное всею предшествующею историею. Они осилили это раздвоение и перешли к высшему единству. Поэтому им нечего опасаться нового разложения; оно лежит позади их. Новые народы носят в себе семена развития, способного завершить весь исторический процесс человечества.

Итак, история подтверждает построение философии права Гегеля. Мы видим здесь более сложный закон, нежели тот, который им выведен, но основные определения остаются те же. Сам Гегель не подозревал, до какой степени умозрительные его выводы оправдываются явлениями; выяснить это может только фактическая разработка предмета. Здесь мы достигаем границ философии и вместе с тем приходим к необходимости иного пути. Гегелем завершается все предшествующее развитие мысли; он составляет венец всей новой философии. Но философия как умозрительная наука не может идти далее вывода общих начал и законов. Показать осуществление этих начал в действительности составляет

задачу совершенно другого рода, задачу прямо противоположную первой, ибо тут надобно начинать с частного и постепенно повышаться к общему. Такой путь служит вместе с тем и проверкою умозрения. Если законы выведены верно, то они должны найти свое подтверждение в явлениях. Пока этого нет, ум остается неудовлетворенным, и самое доверие к умозрительным выводам падает. Чем более философы для подкрепления своих взглядов прибегают к натяжкам, тем более обнаруживается недостаточность избранного ими пути. Этим объясняется недоверие, постигшее философию в новейшее время. Достигнув вершины своего развития, философия внезапно теряет всякий кредит. Ум человеческий от нее отвращается и вступает на новую дорогу. Из сказанного ясно, что этот поворот — совершенно законный. Реализм, так же как и рационализм, составляет необходимую ступень развития духа; изучение фактов служит не только восполнением, но и проверкою выводов чистого разума.

Но, как водится, одна крайность вызывает другую, опыт, в свою очередь, становится в отрицательное отношение к философии и считает себя единственным источником познания. Между тем односторонний опыт, еще менее нежели философия, может иметь притязание на безусловное господство в науке. Чистый опыт не идет далее исследования частных свойств. Самое несогласие его с философиею отнюдь еще не может служить доказательством против последней. Оно может точно так же быть признаком недостаточности фактических исследований. Ограниченный опыт допускает только ограниченную философию. Таков, например, характер современного естествознания, которое всюду ищет механических причин и законов. Оно неизбежно приводит к механическому мирозерцанию и к атомистической системе, то есть к низшей форме философии, к материализму. Напротив, более широкий опыт, имеющий предметом духовный мир, приводит и к более широким философским воззрениям. Здесь материализм служит только признаком неведения. Но каков бы ни был опыт, если он не остается простым сбором материала, он не может обойтись без философии, ибо он не может обойтись без известного способа понимания вещей, а способы понимания даются нам законами нашего разума, которые находят свое чистое выражение в философии. Разум составляет для нас единственное орудие познания; поэтому мы во внешнем мире можем познавать только то, что соответствует внутренним его свойствам и определениям. Остальное, если бы и существовало, вечно оставалось бы для нас скрытым. Отсюда ясно, что опыт только в частности может не согласоваться с философиею; в целом он непременно с нею совпадает, ибо оба пути представляют развитие одних и тех же начал, начал разумного познания. Ограниченный и односторонний опыт становится в отрицательное отношение к философии; полный и всесторонний опыт служит ей необходимым восполнением и подтверждением. Это

мы подробнее увидим впоследствии при исследовании реализма. Те, которые стоят на ограниченной точке зрения, воображают, что все ею исчерпывается; но те, которые возвышаются к пониманию общего движения человеческой мысли, видят в односторонних точках зрения только отдельные звенья общей умственной цепи. Можно сказать, что в этом процессе рационализм представляет большую посылку, реализм — меньшую, а заключение предстоит еще впереди.

Из всего этого мы можем вынести убеждение, что начала, выработанные немецким идеализмом, должны остаться прочным достоянием науки. И теперь уже многие добытые им результаты вошли в плоть и кровь современного человечества. Начало исторического развития, значение народностей, существо права и государства — все это усвоено современною мыслью. Но еще высшая роль предстоит идеализму в будущем, когда на основании обеих посылок, философии и опыта, придется выводить окончательное заключение. Не реализм, а универсализм составляет будущую задачу человеческого ума. Конечно, на этом пути не один идеализм может служить руководящим началом. При таком широком поставлении вопроса невозможно уже держаться исключительно известной точки зрения и еще менее следовать той или другой системе. Руководительницею человеческой мысли в этом выводе может быть только всемирная история философии, то есть развитие разума во всей последовательности его ступеней. Но в этом преемственном движении немецкий идеализм составляет последнее и высшее звено. Он дает нам ключ к пониманию всего остального. В особенности он озаряет ярким светом науки, касающиеся человека. Идеализм есть по преимуществу философия духа; поэтому он глубже всех других воззрений раскрывает нам существо и деятельность Духа.

Конец гет верт ой гаст и

Идеализм в Германии (продолжение)

д) Абсолют ный идеализм

2. Гегельянцы

<а) Мишле³>

Философия права Гегеля мало была разработана его учениками. Из ближайших его последователей полную систему выработал Мишле. Он изложил ее в сочинении, изданном в 1866 г. под заглавием «Естественное право, или Философия права» («*Naturrecht oder Rechtsphilosophie, von C.L. Michelet*»). Нельзя, однако, сказать, что эта попытка была успехом в науке. Скорее она представляет искажение, нежели развитие мыслей Гегеля. Мишле строго придерживается диалектической методы и формального построения системы своего учителя; он почти целиком усваивает себе основные его воззрения на волю, на право и нравственность. Но в политике он склоняется к демократии, то есть вместо сочетания противоположностей, составляющего существо идеализма, является опять односторонний индивидуализм. Это очевидно противоречит основным воззрениям Гегеля. Хотя Мишле, под влиянием гегельянских идей, сам восстает против одностороннего индивидуализма и требует соглашения личного начала с общественным, однако последнее является у него произведением первого и сводится к свободному товариществу (Bd I. S. 86-87) *. Поэтому он усваивает себе лозунг современной демократии: свобода, равенство и братство, которые он выдает за коренные начала права (Ibid. S. 137). Вообще, Мишле склоняется к тому направлению, которое, под именем левой стороны Гегелевой школы⁴, привело наконец к материалистическому реализму и к полному отрицанию философии.

В отдельных частях сочинение Мишле имеет, впрочем, свои достоинства. Строгое или отвлеченное право разработано полнее, нежели у Гегеля, хотя здесь не встречается ничего существенно нового. Мораль же в особенности подверглась тщательной переработке. Мишле основательно отнес учение о вине и намерении к определениям, общим праву и морали. Взамен того он ввел в область морали учение о добродетели и об обязанностях. При всем том и эта часть осталась далеко неудовлетворительною. Учение о добродетели

* <Здесь и далее ссылки на книгу Мишле (Michelet K.L. *Naturrecht oder Rechtsphilosophie*. Berlin, 1866) даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Прилег.ред.>

Мишле прямо заимствовал у Аристотеля. Существо добродетели полагается в подчинении влечений разуму и самая добродетель в соблюдении середины между крайностями влечений (Ibid. S. 256). Но у Аристотеля построение системы совершенно иное; мораль не является у него отвлеченно общим началом, противоположным праву. Это противоположение было плодом позднейшего развития мысли. Поэтому и учение Аристотеля о добродетели нельзя было всецело прилагать к новому воззрению. Существо добродетели следовало искать в свойствах отвлеченно общего начала, то есть разума, а никак не влечений. Сам Мишле не находит возможным подвести под это определение высшую из добродетелей, мудрость. Он полагает ее в отрицании влечений, что и составляет переход от добродетели к обязанностям (Ibid. S. 267). Но если так, то добродетель перестает быть силою, производящею добро; она является недостаточным определением, которое отрицается дальнейшим развитием мысли. Ясно, что такой диалектический прием здесь не приложим. Умерение влечений, так же как и их отрицание, равно может быть содержанием и добродетели, и обязанности. Эти два начала не отрицают, а восполняют друг друга: одно есть действующая сила, другое — управляющий действием закон.

Определивши обязанность как отрицание влечений, Мишле вслед за тем все-таки делает влечения содержанием обязанности. Основание то, что чистая обязанность — начало формальное, отвлеченно общее, а потому бессодержательное; всякое же определенное действие непременно относится к какому-нибудь естественному влечению, без которого, следовательно, обязанность обойтись не может (Ibid. S. 268). Мишле видит в этом внутреннее противоречие начала обязанности; но в сущности противоречие заключается только в мыслях автора. Он бездоказательно утверждает, что обязанность есть отрицание влечений, и затем столь же бездоказательно утверждает, что обязанность не может иметь иного содержания, кроме влечений. Если обязанность состоит в исполнении требований разума, то оно имеет и свое собственное содержание, именно самые эти требования. Поэтому она отрицает только те влечения, которые противоречат этому содержанию, а не те, которые с ними согласны. Никакая система обязанностей не отвергает влечения любви. Если обязанность требует, чтобы побудительною причиною действия было общее начало, а не личная цель, то это признает и Мишле, когда он говорит, что обязанности отличаются от влечений только побуждением (Ibid. S. 269). Но побуждение есть цель, следовательно, содержание; влечения же низводятся на степень средства, и это все, что требуется обязанностью. Противоречия тут нет никакого. Во всем этом построении справедливо то, что собственное содержание обязанности все-таки остается формальным; но надобно было развить эти определения, а Мишле этого не сделал, так же как и Гегель. Вместо того он прямо дал обязанности чуждое разуму содержание.

Вследствие такого взгляда Мишле не мог развить третьего, высшего начала морали, именно добра или совершенства. Он совершенство относит к области влечений (Ibid. S. 100, 269), между тем как это, очевидно, нравственная идея. У Гегеля, по крайней мере, высшую ступень морали составляет отвлеченное начало добра; у Мишле же мы не находим ничего, кроме чисто субъективной совести, которая, заключая в себе возможность зла, оказывается недостаточною, а потому требует перехода от морали к нравственности (Ibid. S. 278 f).

Итак, если в некоторых отношениях обработка морали у Мишле представляет большую полноту, нежели у Гегеля, то во всяком случае улучшение здесь незначительное. В основных взглядах успеха не видать. Еще менее можно одобрить развитие начала нравственности (Sittlichkeit). Тут уже мы видим шаг не вперед, а назад. Самое построение этого начала представляет странную смесь противоречащих определений. Так же как Гегель, Мишле видит в нравственности сочетание права и морали; но у Гегеля это — начало общественное, развивающееся в тройственности человеческих союзов; Мишле же не только строгое право и мораль, но и самую нравственность и даже семейство относит к области личного права, в противоположность которому общественное право развивается в трех ступенях как система благосостояния, как гражданское общество и как политика. Между тем сам Мишле, вслед за Гегелем, определяет нравственность как начало общее, выходящее за пределы единичной особи. Последняя перестает здесь властвовать над содержанием, но становится членом высшего целого. Право есть добро, ставшее привычкою в благоустроенном обществе, вследствие чего деятельность отдельных членов является выражением общего духа и единичное лицо становится представителем общей воли (Ibid. S. 286-288). Противоречие тут слишком очевидно.

Столь же несостоятельно отнесение семейного союза к области личного права. Сам Мишле, определяя развитие общественного начала, говорит, что в семействе имеется в виду единство нравственной цели при полной зависимости лиц; с разложением же семейного союза лица снова приобретают самостоятельность, и тогда задачею их становится восстановление утраченного единства, но уже путем свободы (Ibid. Bd II. S. 2). Следовательно, признается, что в семействе лица имеют менее самостоятельности, нежели в экономическом и гражданском обществе, а между тем первое относится к области личного права, а оба другие к праву общественному!

Это противоречие не могло не отразиться и на учении об общественном или публичном праве. С одной стороны, в низшей своей форме, оно представляется как соединение интересов отдельных семейств, с другой стороны, признается, сообразно с действительностью, что имеется в виду благосостояние отдельных лиц, которые связываются только необходимостью сожителства (Ibid. S. 3).

Мы видели, что общественное право развивается у Мишле в трех ступенях: как благосостояние или экономический союз, как гражданское общество и, наконец, как государство. Отличие экономического союза от гражданского общества он полагает в том, что в первом связь лиц является только как внутренняя, бессознательная необходимость в силу взаимности интересов; во втором же эта связь сознательная, хотя и тут имеется в виду благосостояние отдельных лиц, а не целого (Ibid). Гражданское общество представляется так же, как форма, осуществляющая содержание экономического союза (Ibid. S. 50). Ни то, ни другое отличие не оправдывается, однако, изложением содержания обоих союзов. К первому Мишле относит не только чисто экономические отношения, но и правосудие, полицию и свободные товарищества, одним словом, все то, что у Гегеля входит в состав гражданского общества. Ясно, что это более, нежели бессознательная необходимость или бесформенное содержание. К гражданскому же обществу он относит твердые союзы, округ, общину и область, которые образуют связь специальных интересов. Но не видеть, чем эти союзы отличаются от товариществ, имеющих в руках суд и полицию. Экономические товарищества прямо включаются в состав местных союзов как подчиненные члены. Определения Гегеля очевидно точны. Можно было экономические отношения отделить от юридических, как содержание от формы, но нельзя было сделать из этого отношения два разных союза, и еще менее можно было к первым отнести суд и полицию, оставив для гражданского общества одни местные союзы. Тут исчезает всякое ясное различие. Поводом к такому разделению послужило, по-видимому, чисто формальное требование. Так как семейство было отнесено к области личного права, то приходилось заменить его чем-нибудь другим для составления трех ступеней в развитии общественного начала, и для этого Мишле прибегнул к раздвоению гражданского общества, отделив от него экономические отношения.

Еще менее, нежели формальное различие союзов, удовлетворительно развито содержание общественного права, начиная с первой ступени. Свои экономические идеи Мишле заимствует главным образом у Прудона и Бастиа⁵, стараясь согласить экономические противоречия первого с экономическими гармониями последнего. Мы впоследствии разберем воззрение Прудона и знаменитый спор его с Бастиа. Здесь достаточно сказать, что Мишле, держась системы Гегеля, видит в развитии экономических отношений стремление к окончательной гармонии путем противоречий; но эту гармонию он полагает не в приложении социалистических идей, чем он существенно отличается от Прудона и других социалистов, а в развитии полной свободы согласно с мыслями Бастиа. Главным для этого орудием должно служить свободное товарищество (Ibid. S. 87-88, 131-132). Но тут же оказывается недостаточность этого начала, ибо экономическая гармония, по мысли Мишле, должна осуществиться

посредством суда и полиции, то есть двух учреждений по существу своему не свободных, а принудительных. Спрашивается, какое свободное товарищество может иметь право арестовать человека, наказать его, издавать обязательные полицейские постановления (Ibid. S. 127), одним словом, делать все то, что, по самому понятию, принадлежит только общественной власти? Будь эта власть выборная или назначаемая сверху, характер ее не изменяется. Принуждение же все же остается принуждением, а не свободой. Самые местные союзы Мишле превращает в добровольные. «Все жители округа,— говорит он,— которые добровольно о том заявляют, образуют собственно этот союз, ибо принудить к тому, разумеется, никого нельзя. Все способные иметь голос члены, к которым мы предварительно причисляем одних взрослых мужчин, устанавливают в общем собрании основной закон, избирают начальников союза, дают согласие на взимание денег, рассматривают отчеты и т.д.» (Ibid. S. 152). Мишле не говорит, как поступают с остальными, которые о себе не заявляют: подчиняют ли их установленным правилам или предоставляют им право делать что хотят? Взимают ли с них деньги, например, на мощение, на освещение улиц или запрещают им ходить по улицам мощенным и освещенным на чужой счет? Очевидно, что добровольный местный союз возможен только на весьма низкой ступени развития, а с этим вместе вся теория Мишле оказывается несостоятельной. Свободные товарищества играют весьма важную роль в развитии экономических отношений, но они одни отнюдь неспособны водворить всеобщую гармонию интересов, а еще менее можно основать на них гражданский порядок.

Проводя последовательно свою мысль, Мишле самое государство подводит под то же начало. «Община,— говорит он,— есть, вообще, государство в малом виде и по существу своему не отличается от последнего... Вся задача заключается в том, чтобы эти маленькие вольные государства соединить в большое целое государственной жизни» (Ibid. S. 159). Первый шаг к тому составляет область (*der Kreis*), которая образуется из соединения общин одного племени, так же как государство образуется из соединения нескольких племен, представляя личность целого народа (Ibid. S. 159-165). При этом Мишле ставит общим правилом, что каждый частный союз самостоятельно удовлетворяет своим собственным потребностям; высшие же союзы представляют только совокупление низших (Ibid. S. 160). Но когда он доходит до государства, у него неожиданно является чисто гегелевский взгляд, даже в преувеличенном виде. Он видит в государстве высшую ступень развития свободы, где частные интересы семейств, обществ, сословий и племен частью исчезают и частью сохраняются. Хотя государство, по-видимому, вытекает из семейства и гражданского общества, но в сущности оно составляет их основу. Частные интересы служат выражением общего. Государство дает отдельным лицам нравственное содержание и указывает им их назначение в жизни целого; лицо же является

положении исполнительная власть, конечно, может быть только выборная. «В нашем государстве,— говорит Мишле,— мы до сих пор все сферы, стороны и власти производили из выбора; почему же эта одна должна составлять исключение?» (Ibid. S. 206).

Глава исполнительной власти назначает министров, но так как они низведены на степень простых орудий, то для парламентского правления, разумеется, нет места. Мишле считает его совершенно излишним. Он требует не только разделения (Theilung) властей, но их разобщения (Trennung). Каждая в своей области верховна и не вмешивается в чужие дела (Ibid. S. 174, 178). Каждая власть, говорит Мишле, метет "перед своею дверью, почему и не может быть между ними розни (Ibid. S. 188). Между тем он отнюдь не допускает механического отношения и равновесия властей. Разобщенные учреждения должны тем не менее действовать согласно, чувствуя себя живыми членами единого организма (Ibid. S. 173, 175). Каким образом должно быть произведено это вожденное согласие, Мишле не говорит.

Это противоречие завершает собою всю цепь несообразностей, которыми переполнена эта система. Свободно начертанный первообраз государства, как выражается Мишле, не имеет ни теоретического, ни практического значения. Мысли Гегеля, которые являются тут без всякой связи с остальным, служат единственно к тому, чтобы ярче высказать всю внутреннюю несостоятельность этого демократического идеала.

Над отдельным государством Мишле ставит союзное государство, затем над последним союз государств, принадлежащих к одной расе, наконец, все это завершается ареопагом человечества, которому, кроме охранения мира по всей земле, поручается управление общими делами всемирного искусства, всемирной религии и всемирной науки (Ibid. S. 224-229, 244). В заключение изображается всемирно-историческое развитие права, которого цель состоит в осуществлении идеального государственного устройства. Мишле хотел устранить упрек, который делали гегелевской школе, будто она ограничивалась отвлеченными категориями права, не проводя их по историческим явлениям (Ibid. Bd I. S. 83). Но, конечно, представленный им поверхностный образ политических и юридических учреждений важнейших народов не в состоянии восполнить этот недостаток. Философская история права требует гораздо более основательной обработки. Единственное достоинство, которое может иметь такой беглый очерк, это — последовательное проведение мысли; но и этого мы не находим у Мишле. Здесь опять встречаются два противоречащих друг другу направления, которыми страдает вся его теория. Не говоря о фантастическом построении догосударственного развития человечества, в котором первобытное патриархальное состояние вследствие изменения положения земли относительно солнца сменяется разобщением народов и погружением их в варварство, пока, наконец, разнузданность диких политических сил подавляется

государством,— построения, для которого нет ни практических, ни исторических данных,— основная мысль, на которой Мишле воздвигает свое историческое здание, состоит в том, что в древности личность, сначала погруженная в общую субстанцию, мало-помалу из нее выделяется; в новом же мире, напротив, развившаяся до крайности личность строит из себя весь объективный мир. Мишле изображает этот процесс в виде двух прикасающихся вершинами пирамид (Ibid. Bd. I. S. 167-168; Bd II. S. 269). Этим взглядом объясняется и собственная его политическая система. Однако при изложении исторического хода оказывается, что поворотная точка представляет вовсе не точку, а раздвоение. Мишле верно определяет средневековой порядок как противоположность гражданского общества и церкви, частного права и всемирного. Единство обоих он опять же правильно видит в праве государственном, которое вследствие этого является руководящим началом новой истории (Ibid. Bd. II. S. 342-344). Но здесь развитие снова неожиданно принимает иной оборот. Не только церковь, но и государство представляется воплощением средневековой лжи, налагающей внешние узы на человеческую личность. То, что прежде присваивалось папе и монархам, должно принадлежать всем. Каждый хочет сам быть непогрешимым и создать из себя общую волю. Вследствие этого личность вступает в борьбу с церковью и государством как остатком старины. В Европе эта борьба не привела еще к желанному результату; в Америке же этот спор уже кончен, личность и общее начало пришли к полному примирению (Ibid. S. 391). Мишле упрекает американские учреждения лишь в том, что в них не проведена еще мысль о полном разобщении властей. Он надеется, что это завершение политического идеала достигается при переходе истории через южную Америку в Австралию, после чего историческое движение снова возвратится к Европе, где утвердится ареопаг человечества, представляющий воплощение личности земного шара. Для его местопребывания Мишле предлагает Дельфы⁶, как древнее жилище разумного бога (Ibid. S. 438-444).

Такого рода мечтания, конечно, не могли бы прийти в голову здравомыслящему политику. Они составляют достойное заключение книги, в которой формальные приемы и основные мысли Гегеля служат подставкой для политических воззрений весьма далеких от гегелизма.

<P> Эрдман⁷ >

Гораздо ближе к взглядам великого мыслителя стоит другой его ученик, Эрдман, которого можно считать представителем так называемой правой стороны гегелевской школы⁸. В своих «Философских чтениях о государстве» («Philosophische Vorlesungen über den Staat»), изданных в 1851 г., он популяризировал мысли Гегеля, прилагая их вместе с тем к политическим вопросам, занимавшим в то время Германию.

В основание своих воззрений он получает добытый философией результат, что государство есть высший нравственный организм. Все остальное должно вытекать из этого определения как его последствия. Во-первых, государство есть организм. Это означает, что оно составляет не простое внешнее соединение разнородных частей, но такое соединение, в котором части становятся членами одного целого и в этом только целом получают свое значение. Вместе с тем, однако, разнообразие частей не исчезает, а сохраняется. Постоянное объединение разнородного и расчленение единого составляют существо организма. Это объединяющее начало в естественном организме называется душою, в нравственном организме — духом. И так как дух объединяет естественно данное разнообразие, то в государстве общий дух побеждает прирожденный к человеку эгоизм и делает его членом высшего целого. Следовательно, положение, что государство есть организм, означает, что члены его проникнуты единым духом, и, наоборот, единый дух выражается в многообразии членов.

Во-вторых, государство есть организм нравственный. Слово нравственный означает не только известное проявление свободы, но вместе с тем и этого проявления к известным требованиям разума, которыми определяется его достоинство: оно считается хорошим или дурным, смотря по тому, разумно ли содержание воли или нет. Но и самая доброта действия может иметь различные значения, смотря по тому, к какой нравственной области оно относится. Действие правомерно, если оно сообразно с добром как с внешним, данным человеку законом; оно морально, если оно сообразно с добром как с внутренним определением совести. Первое есть определение объективное и в случае нужды принудительное, второе — определение субъективное, положительное, исключаящее всякое принуждение. В последнем поэтому проявляется чисто личное начало, а так как личное начало есть вместе с тем первоначальное, данное природою, то мораль составляет первое, естественное определение нравственного существа человека, а право второе — искусственное. Ни то ни другое не заключает в себе, однако, всей полноты нравственных начал. Есть явления, в которых оба определения соединяются не внешним только образом, а проникая друг друга. Это и есть высшая область, которую Гегель называл нравственностью (*Sittlichkeit*) в строгом смысле. Сюда принадлежат семейство и государство. Последнее не есть поэтому чисто юридическое учреждение, в котором требуется только внешнее исполнение закона, а дух граждан остается безразличным; но оно и не чисто моральный союз, а соединение того и другого. В этом смысле и говорится, что оно есть нравственный организм.

В-третьих, из нравственных союзов государство есть высший. Там, где сочетаются два различных элемента, возможно преобладание того или другого. Это мы и видим в нравственной области. В семействе преобладает естественное, моральное начало, в гражданском обществе — искусственное, юридическое; государство же

стоит выше того и другого как полное гармоническое сочетание обоих элементов. Оно не только включает в себе оба предыдущих союза, подчиняя их частные цели своей цели как высшей, но оно совмещает в себе самую их природу, так что они являются отдельными его сторонами. Поэтому и самое государство может иметь различный характер, что и подает повод к различным на него воззрениям. Сходство с семейством порождает теорию патриархального государства, сходство с гражданским обществом — теорию полицейского государства, ибо полиция есть высшее определение гражданского общества. Но оба эти воззрения односторонни; истинная теория государства должна иметь в виду не ту или другую его сторону, а их полноту и высшее единство. Таков смысл положенного в основание определения государства (2-te Vorlesung) *.

В этих мыслях Эрдмана выражается и достоинство, и недостатки философии права Гегеля, понятие о государстве как о высшем нравственном организме со всеми вытекающими отсюда последствиями можно считать прочным достоянием науки, если только не прилагать к этому понятию свойств организма естественного, а видеть в нем, как оно и есть на самом деле, союз свободных лиц, которые не только являются членами высшего целого, но и остаются каждое само себе целью. С этим ограничением можно сказать, что в школе Гегеля понятие о государстве достигает своей полноты. Односторонние определения юридической школы и нравственной были равно отвергнуты. Но у Эрдмана, так же как и у Гегеля, оказываются недостатки построения: признание трех союзов, вместо четырех, повело к некоторым неверным выводам. Эрдман хотел отдельные союзы привести в соотношение с основными определениями этики, что требовалось системой и что Гегелем не было сделано. А так как церкви в развитии союзов не оказывалось, то оставалось определить семейство как преимущественно моральный союз. Но семейство, очевидно, есть союз первоначальный, естественный; вследствие этого Эрдман, в отличие от Гегеля, делает мораль первым, естественным определением нравственной области, а право он считает вторым, искусственным. Но этим извращается характер того и другого. Право и мораль относятся друг к другу не как искусственное и естественное, а как личное начало и отвлеченно общее, составляющие область внешней свободы и внутренней. Мораль отнюдь не есть личное начало, а право — общий, извне данный закон, как утверждает Эрдман. Наоборот, мораль подчиняет личные стремления общему закону, а право узаконяет требования личной свободы. Отсюда, далее, неверное понимание гражданского общества и сходного с ним государства как полицейского порядка. Гражданское общество как самостоятельный союз действительно зиждется на односторонних началах

* <Erdmann J. E. Philosophische Vorlesungen über den Staat. Halle, 1851. Vorlesung 2; далее ссылки на эту книгу даны непосредственно в тексте, — Примет ред>

права, но не полиция составляет характеристический его признак, а господство личной свободы и договорных отношений. Отсюда вытекает теория не полицейского, а юридического государства.

Эти ошибки отразились и на дальнейшем изложении Эрдмана. Он видит в государстве сторону естественную, выражающуюся в земле и связанной с нею национальностью, и сторону искусственную, нажитую историческим процессом и договорными отношениями, в силу которых государство получает искусственные границы и образуется единый, входящий в состав его народ. Над тем и другим возвышается верховенство, начало собственно государственное, которое, по этому самому, принадлежит не народу, а государству. Все эти элементы должны быть принимаемы в расчет здоровой политикой; иначе государственные люди неизбежно впадают в односторонность. Пренебрежение к естественным и историческим основам государства ведет к политике отвлеченной, которая гоняется за общечеловеческими идеалами и считает возможным переносить учреждения одного народа на другой. С другой стороны, политика, которая держится исключительно исторических начал, пренебрегая национальностью, есть политика легитимистов, которые стоят за полицейское государство. Наконец, чисто национальные стремления клонятся к патриархальной идиллии. Избранная политика старается сочетать оба элемента, естественный и исторический, принимая за основание положение государства среди других и призвание его во всемирной истории, призвание, которое может отнюдь не совпадать с требованиями исключительной национальности (Ibid. Vorlesung 3).

Эрдман поясняет это примером Германии, которой призвание указано ей самым ее положением в центре Европы, на перекрестном пути различных народностей. Отсюда уже ясно, что она должна служить между ними посредником, смягчая столкновения и объединяя идеи. Такова и была ее историческая роль. Поэтому полезно, чтобы немецкие племена входили в состав других государств и, наоборот, чтобы в Германию входили чуждые ей национальности. В связи с этим находится и самое созданное историей устройство немецкой земли. В нем господствует свойственный немецкому племени индивидуализм, благоприятствующий образованию мелких центров, а вследствие того повсеместному распространению просвещения и разнообразию идей. Германия призвана быть союзом государств. Между тем провозглашенная в 1848 г. национальная политика⁹ идет всему этому наперекор. Вопреки свойствам нации и результатам истории она требует исключительной народности и единого государства (Ibid. Vorlesung 4).

В этих мыслях Эрдмана опять много верного, но никак нельзя согласиться с ним, когда он национальные стремления ставит в соотношение с патриархальным взглядом, а легитимизм с требованиями гражданского общества. В действительности приверженцами законной монархии являются защитники нравственного порядка,

господствующего над лицами, а представителями национальных стремлений — друзья свободы, которые требуют для народов права самим устанавливать управляющий ими закон. Построение Эрсмана противоречит даже собственным его положениям насчет духа, господствующего в гражданах и определяющего отношение их к государству. И здесь является у него противоположность охранительного духа и прогрессивного; но первый приводится в соотношение с семейным началом, порождающим в людях уважение к преданиям и делам отцов, второй же признается принадлежностью расчетливого гражданского общества, пекущегося более о будущем, нежели о прошедшем. Истинный политический дух должен состоять в сочетании обоих (Ibid. Vorlesung 5). Тут, следовательно, либерализм, а не законный порядок и не полицейское государство является представителем гражданского общества, что более соответствует действительным отношениям.

Что касается до собственно государственного начала, до верховенства, то оно выражается в системе раздельных властей, представляющих собою различные отправления государственной жизни. Только на низших ступенях органического развития один и тот же орган служит различным отправлениям. Такова восточная деспотия. То же явление повторяется и при разложении государства, то есть в состоянии анархии. При нормальном же развитии каждое отправление получает и соответствующий ему орган, и все эти отправления связаны между собою как различные стороны одного и того же организма (Ibid. Vorlesung 3).

Эрсман целиком принимает разделение Гегеля. Первая власть есть законодательная. В ней выражается воля народа или государства насчет того, что должно считаться правом. Кто же может служить приличным органом этой воли? Вообще говоря, те, в ком она всего лучше выражается, а именно разумные патриоты, соединяющие уважение к старине с мыслью о будущем. Но кто именно эти разумные патриоты, это такой вопрос, на который невозможно дать общего ответа. При основании государства естественным законодателем является сам его основатель. Там же, где государство упрочилось и требуется только спокойное развитие, все зависит от состояния общества. При несложных отношениях и большем или меньшем однообразии массы, когда притом в народе господствует полное доверие к правительству, лучшими органами законодательства служат те, которые специально посвящают себя общественным делам, то есть правительственные лица; из них образуются законодательные коллегии. Но с осложнением отношений такой порядок становится недостаточным; нужно призвать самих заинтересованных лиц к участию в законодательстве. Составление законов переходит в руки представителей народа. Так как государство имеет двоякую задачу, юридическую — установление права, и нравственную — призвание всех к участию в общем деле, то и задача представительства двоякая: установление законов и утверждение налогов. Эти два

права имеют различный характер. Так как верховенство государства ограничивается только логической нравственной и физической невозможностью, то в этих пределах законодательная власть народных представителей безгранична. Второе же право подлежит ограничению. Существенные нужды государства непременно должны быть удовлетворены. Современное поколение не имеет права отказывать в издержках, необходимых для жизни политического тела, которое его переживает. Поэтому существенные расходы должны быть установлены раз навсегда; только новые издержки подлежат обсуждению представителей (Ibid. Vorlesung 8).

Этот взгляд Эрсмана, взгляд, который, впрочем, высказывался уже и Гегелем*, прямо касался вопроса, в то время занимавшего умы в Пруссии. Именно этого воззрения держалась реакционная партия. Нельзя, однако, сказать, чтобы оно вытекало из требований государства как высшего нравственного организма. Каждое из следующих друг за другом поколений носит в себе всю полноту верховной власти, а потому равно неограниченно в законодательстве и в определении повинностей. Собственно говоря, тут вовсе не идет речь о праве поколений, а об отношении представительства к монарху. Никто не отвергает права представителей отменять какие угодно издержки с согласия монарха. Вопрос идет лишь о том, насколько первые имеют право односторонним актом отказывать в податях. Закон, по существу своему, устанавливается на неопределенное время и может быть отменен только с согласия короля. Повинности же взимаются периодически, а потому и устанавливаются на известный срок, по истечении которого требуется новое соглашение. Ограничить представительство правом давать согласие только на новые издержки значит — поставить правительство в совершенную от него независимость и лишить граждан самого существенного их права, — права располагать своим карманом. Что этим правом можно злоупотреблять, в этом нет сомнения. Но предупредить злоупотребления верховных властей можно не иначе как лишивши их верховенства.

Относительно устройства народного представительства Эрсман, вслед за Гегелем, принимает представительство интересов. На этом он основывает и разделение законодательной власти на две палаты. Это разделение, говорит он, уместно там, где оно соответствует группировке интересов в самом обществе. В Англии существенна противоположность земледелия и промышленности. Первая представляется лордами, вторая — общинами. Но во избежание слишком резкого противоречия, оба элемента имеют представителей в обеих палатах, хотя в разной мере. С одной стороны, в нижней палате к городским общинам присоединяются и сельские, с другой стороны, в верхней — одна" партия представляет преимущественно

* <Hegel G.W.F. > Werke. <Vollständige Ausg. durch einen Verein von Freunden des Verewigten: Ph. Marheineke [et al.] Berlin: Duncker und Humblot, 1832-1845>. Bd VII. S. 417-419.

интересы землевладельческие, другая — интересы промышленные. В Америке на первом плане стоит противоположность местных интересов и общих; на этом и основывается различное устройство сената и палаты представителей. В Бельгии, наконец, как стране преимущественно промышленной, всего ярче выступает противоположность богатых и бедных, которые поэтому и должны иметь разное представительство¹⁰. В Пруссии, говорит Эрдман, требуется сочетание всех этих элементов. Следовательно, такое устройство полезно не само по себе, а только там, где оно соответствует состоянию общества (*Ibid.* Vorlesung 9).

Эрдман не говорит, почему группировка общественных интересов непременно требует разделения на две палаты, а не на большее число. Дело в том, что за исключением союзных государств, где основание иное, разделение представительства на две палаты соответствует присущей всякому обществу противоположности двух элементов, аристократического и демократического. Устройство же верхней палаты может быть различно, смотря по тому, из чего составляется аристократический элемент, образуется ли он из наследственного сословия или из высших сановников, или, наконец, из богатейших граждан.

Для устройства нижней палаты Эрдман находит всего более целесообразным выбор корпорациями, которые естественно будут избирать людей, занимавших уже в них общественные должности. Но так как в настоящее время атомистический эгоизм произвел разложение корпоративного духа, то остается довольствоваться установлением избирательных округов. Здесь прежде всего возникает вопрос: кто должен быть избирателем? Избирательное право должно считаться честью, следовательно, достигаться нелегко. Если оно определяется цензом, то ценз должен по крайней мере указывать на привязанность человека к местности, то есть он должен быть поземельный. К этому можно присоединить разве только долговременное исполнение должности или занятие известным ремеслом. Там, где введена уже всеобщая подача голосов, так что изменить ее нельзя, нужно по крайней мере ввести выбор в двух степенях, с тем чтобы непосредственные избиратели состояли из людей высшего разряда, из землевладельцев и должностных лиц. Еще высшие условия должны быть постановлены для избираемости. Представители должны быть люди привязанные к обществу, к своему округу, не имеющие в виду личных интересов и не гоняющиеся непременно за новизною. Поэтому между ними и избирателями должна быть самая тесная связь; каждому округу следует предоставить одного депутата. Наконец, устраняется всякое вознаграждение. Председательство должно быть жертвою, а не выгодным ремеслом. Этим только путем представители могут приобрести доверие народа (*Ibid.* Vorlesung 10).

Заметим, что Эрдман стоит здесь за представительство интересов, восставая против представительства мнений. Между тем,

как увидим ниже, он сам в нормальном порядке допускает парламентское правление, которого существенное условие состоит именно в том, чтобы общественное мнение распадалось на две противоположных системы. Если последнее согласно с существом конституционного государства, то, очевидно, представительство интересов тут неуместно.

По примеру Гегеля, Эрдман от законодательной власти отличает правительственную, смешивая с нею и судебную. Задача правительства осуществляет государственную цель, подчиняя отдельные лица выраженной в законе общей воли народа. Но так как законодательная власть имеет двоякую деятельность — установление закона и определение повинностей, то и ведомство правительственной власти распадается на два отдела: она должна охранять закон и наблюдать за отправлением повинностей. Первое есть дело юстиции, второе — составляет собственно предмет администрации. Отсюда различное устройство этих двух отраслей управления. Обе находятся в ведомстве сословия чиновников, так как для управления требуется умение и опытность; но судьи должны быть прежде всего беспристрастны, следовательно, независимы от каких бы то ни было чуждых влияний. Поэтому им присваивается несменяемость. Напротив, существенный характер административных чиновников состоит в том, что они подлежат ответственности за исполнение возложенного на них дела. Поэтому они назначаются и сменяются высшею властью и подлежат ее контролю. Дать им некоторую самостоятельность можно, только предоставив отдельным интересам и корпорациям известную долю самоуправления (*Ibid.* Vorlesung 11).

Из этих определений Эрзмана ясно оказывается недостаточность принятого им разделения властей. На долю администрации выпадает одно взимание повинностей, что слишком стесняет ее значение и не объясняет названия власти правительственной, то есть направляющей общество сообразно с государственною целью, по выражению самого Эрзмана. Полиция, которая, так же как юстиция, охраняет закон от нарушения, совершенно исчезает в этом делении. С другой стороны, требуемая самостоятельность юстиции указывает на то, что она составляет нечто совершенно отличное от управления, хотя некоторыми сторонами связанное с последним.

Эрдман обсуждает вопрос об отношении законодательной власти к правительственной. Преобладание чиновничества, или бюрократический деспотизм, и совершенное отрицание бюрократического элемента равно односторонни. Обе власти необходимы в государстве, и не только они не должны вступаться одно в ведомство другого, но обе должны идти рука об руку. Это возможно лишь в том случае, когда обе служат выражением единой воли и следуют одной системе. Как скоро наступает разлад, приходится или распустить палату, или сменить министерство. Поэтому у приверженцев конституционного правления утвердилось мнение, что министерство,

побитое в нижней палате, непременно должно подать в отставку. Но этот способ примирения, совершенно уместный в Англии, далеко не везде приложим. Для этого требуются два условия: 1) чтобы представители действительно выражали мнение страны; 2) чтобы это мнение распадалось на две противоположные системы воззрений. Там, где этого нет, где большинство в палатах составляется случайно, там не может быть и речи о парламентском правлении. Тогда правительству остается твердо держаться указанной преданиями и обстоятельствами государственной цели, прислушиваясь вместе с тем к общественному голосу (Ibid. Vorlesung 12).

Всего этого, однако, мало. Законодательная и правительственная власти все же остаются отдельными властями; полновластие государства в них не выражается. Поэтому необходима третья власть, соединяющая в себе обе первые. Это не исполнительная власть, как думают некоторые, ибо исполнитель — простое орудие; это — власть царская, или господская (Herrschergewalt). Ей присваивается последнее, беспричинное решение свободной воли, решение, которое вытекает не из тех или других побуждений, а из внутреннего существа человеческой личности. В ней государство становится лицом, получает свое я. Поэтому и в устройстве этого органа должны выражаться все элементы государства, не одни только гражданские, договорные отношения, но прежде всего начало естественной преемственности, которое лежит в основании государства. Этому не соответствует избирательная монархия, которая ставит государя в зависимое положение и влечет за собою перерыв власти; не соответствует и республика, которая как форма приличная гражданскому обществу уместна только в мелких государствах, имеющих характер общины, или в больших государствах, составленных из сбора всяких народностей, связанных договорными отношениями. Истинной идее государства соответствует только наследственная монархия. Вместе с тем она одна ставит орган верховной власти выше всяких личных интересов, выше интересов сословий и партий. Личный интерес наследственного монарха связан с интересом самого государства как преемственного союза; в глазах же подданных с лицом монарха связано понятие об истории, славе и благоденствии отечества (Ibid. Vorlesung 13).

Таким образом, монарх завершает собою деятельность остальных органов власти. Он не составляет и не обсуждает законов, не вмешивается в управление, но все освящает окончательною своею волею, своим: «я хогу». Поэтому он служит соединительным звеном между двумя другими органами. При столкновениях от него зависит распускание выборных палат или смена министерства. Он является верховным регулятором и умерителем государственной жизни. Но, кроме того, у него есть и своя собственная деятельность. Она проявляется там, где требуется верховное решение, выходящее из пределов права. Поэтому ему присваивается помилование, которым внутренняя правда становится выше строгого закона; он объ-

являет и ведет войну, ибо здесь вопрос решается внешнею силою; наконец, ему принадлежит заключение мира, ибо тут все уступает высшему интересу государства. Все эти функции в совокупности делают его полновластным монархом, истинным представителем государства (Ibid. Vorlesung 14).

Таково учение Эрдмана. Оно представляет последовательное и талантливое развитие идей Гегеля. Можно возражать против частностей, но в общем итоге оно несомненно составляет результат всего предшествующего развития политической мысли. Как таковые эти идеи были усвоены даже писателями, не принадлежащими непосредственно к Гегелевой школе. На них всего лучше можно изучать влияние философии Гегеля на развитие политических теорий.

3. Шмиттгеннер¹¹

Из теоретиков государственного права, не примыкавших собственно к школе Гегеля, но находившихся под сильным влиянием выработанных им идей, видное место занимает Шмиттгеннер, автор незаконченной энциклопедии государственных наук, изданной в 1839-1843 гг., под заглавием «Двенадцать книг о государстве» («Zwölf Bücher vom Staat») *.

Шмиттгеннер — не мыслитель и даже не самостоятельный исследователь, а добросовестный немецкий ученый, который сводил к общему итогу все добытое до него наукой и практикой, отвергая всякую односторонность. В особенности в позднее изданной части его сочинения он восстает против чисто умозрительной философии как способной породить одни только фантазии. Единственными руководителями ученого, по его мнению, должны быть наведение и опыт (Teil III. § 60. S. 255-256) **. Поэтому он отвергает диалектическую методу Гегеля. Тем не менее он признает за великим философом бессмертные заслуги в науке права и государства. Гегель, говорит он, в противоположность отвлеченным, чисто отрицательным, формальным воззрениям критической и либеральной школы понял политические формации как положительные, конкретные явления (Ibid. Teil I. § 83. S. 131-132). Он вполне выяснил и значение идеи, развивающей из себя свои различия или моменты, которые, получая внешнее бытие, содержатся, однако, в общем элементе. Этим он проложил путь истинному пониманию органического разъяснения и духовного развития, чем навсегда опровергается пагубное учение о разделении властей (Ibid. § 219 примеч.). Шмиттгеннер упрекает только Гегеля в том, что у него в истории и государстве совершенно устраняется свободное начало, вследствие чего государство является

* Вышли только первая и третья части.

** <Здесь и далее ссылки на книгу Шмиттгеннера (Schmitthenner F. Zwölf Bücher vom Staat. Giessen, 1839) даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Пример. ред.>

не нравственным союзом, а явлением природы, развивающимся чисто органически (Ibid. § 10. S. 17, § 83. S. 132), упрек, основанный на неверном понимании мыслей великого философа.

Сам Шмиттгеннер хочет сочетать методы исторической и рациональной школы. Отвергая чисто умозрительное познание идеи, он признает необходимость познавать ее в ее проявлениях посредством конкретного мышления, соединяющего в себе сознание абсолютного назначения с непосредственным созерцанием (Ibid. § 11. S. 22, § 83. S. 134). Идея же, по определению Шмиттгеннера, есть духовный первообраз того, что должно быть. Объективная идея есть истекающий из божественного разума первообраз, присущий самым вещам как внутренняя цель их существования. Она составляет основание всякой жизни. Стремление ее к изложению своих моментов есть источник развития; полное же ее проявление в действительности, раскрытие всех ее тайн представляет совершенный организм (Ibid. Bd III. S. 256). Сообразно с этим Шмиттгеннер выводит право и государство из нравственной идеи, то есть идеи, относящейся к воле как должное. Правомерно то, что в действительности соответствует идее. Поэтому право есть осуществление идеи в области свободы (Ibid. S. 258). Но право является только подчиненным моментом в идее государства, которая соединяет в себе все стороны жизни человека как физического, духовного и нравственного существа, то есть благосостояние, культуру и право (Ibid. S. 259; ср.: Teil I. § 1, 4). Государство есть организм, сам в себе носящий свое жизненное начало или душу, и так как оно управляется волею, то это — организм нравственный (Ibid. Teil I. § 3). В жизни представляются три таких организма, а именно: семейство, гражданская и религиозная община, наконец государство. Последнее есть та истина нравственной жизни, в которой народ должен приобрести полное довольство земного бытия и достигнуть идеи или назначения человечества. Как носящее в себе собственную свою идею или внутреннее определение своей жизни, оно является лицом (Ibid. Teil III. S. 263, 279; Teil I. S. 306). В другом месте Шмиттгеннер между семейством и государством ставит гражданское общество как нравственный союз нескольких семейств и общин для охранения своего физического и нравственного существования и для удовлетворения своих потребностей посредством соединения сил, разделения труда и обмена произведений. Отсюда он выводит различное расчленение народа, естественное, экономическое и политическое (Ibid. Teil I. S. 217 f.).

Во всем этом очевидно полное усвоение идей Гегеля, к которым присоединяется и влияние Аристотеля. Сообразно с этим Шмиттгеннер рассматривает государство как систему общественных отправления, совершающихся через посредство известных органов (Ibid. Teil III. S. 264). Начало, управляющее этою системою, есть общественная власть, которая состоит в праве располагать принадлежащими союзу лицами и вещами сообразно с целью или идеей союза (Ibid. S. 277, 279). Поэтому и юридическое ее основание за-

ключается в самой идее союза (Ibid. S. 283). Это — власть верховная, совершенная, однако не безграничная. Как нравственная форма жизни она находит свои границы в той самой идее, которую она призвана осуществлять (Ibid. S. 287). Она может требовать безусловного повиновения только во имя общественной цели. Требованиям же, основанным на личных видах, подданные не обязаны повиноваться (Ibid. S. 377). Эти границы могут быть не только нравственные, но и юридические. Поэтому в системе общественных отправлений рядом с правительственной властью должна стоять система народных прав, ограждающих свободу. Идея государства требует противоположение этих двух начал (Ibid. S. 288, 412, 559).

С тем вместе Шмиттгеннер признает и разделение общественной власти на отдельные отрасли. Он восстает против разделения, сделанного Гегелем, на том основании, что оно представляет насильственное наложение отвлеченных категорий на органическую жизнь, которая, по существу своему, не подчиняется строгой необходимости, а развивает из себя свободное разнообразие (Ibid. S. 478, примеч.). Но сам он, установивши множество чисто отвлеченных разделений общественной власти, окончательно приходит к разделению властей законодательной, правительственной и судебной как органических систем, на которые расчленяется государственная власть. Притом так как в организме все органы должны направляться к единой цели, то разделение их не должно быть полным разобщением, что повело бы к механическому отношению частей. Раздельные власти должны соединяться в высшем единстве. В монархическом правлении живым средоточием их служит княжеская власть, в республике — законодательное собрание (Ibid. S. 414-415, 476-480).

При всем том Шмиттгеннер не признает общего типа государственного устройства, который служил бы образцом для всех. Идея, говорит он, есть нечто конкретное, индивидуальное. Каждый народ и каждое государство имеют свою идею, которую они призваны осуществить. Поэтому нет идеального государства, приложимого ко всем, и политического устройства, которое одно было бы способно осчастливить людей. Различие местных и временных обстоятельств требует и различного устройства, и то, что приходится одному народу, не приходится другому (Ibid. Teil I. S. 21-22). Однако когда он обсуждает различные образы правления, он признает смешанную монархию лучшим из всех. Демократия всех более удаляется от идеи государства; здесь все политическое устройство ставится в зависимость от колеблющейся воли и ограниченного разума массы. Момент последнего, высшего решения здесь отсутствует. С другой стороны, аристократия страдает недостатками сословного управления; она необходимо становится подозрительной, несправедливой и притеснительной. Монархия же, когда она не извращается в тиранию, может иметь характер аристократический, демократический или смешанный. Первые две формы носят на себе недостатки тех чистых образов проявления, с которыми

они сходятся; последняя же представляет совершеннейшее государство, ибо в ней различные общественные начала получают полное свое значение (*Ibid.* Teil III.S. § 133, 134). Рассматривая происхождение и развитие общественной власти в европейских государствах, Шмиттгеннер видит в них одновременное развитие королевской власти, независимой от воли народной, следовательно, управляющей по божественному праву и самостоятельных народных прав. В этой независимости королевской власти состоит так называемое монархическое начало, на которое опираются законные монархии (*Ibid.* S. § 135). Оба начала, королевская власть и народная свобода, покоятся на независимой от человеческого произвола священной основе (*Ibid.* S. 560).

Шмиттгеннер не строит, однако, общей теории конституционной монархии. Не государственное право, а политика, говорит он, должна решить, какая представительная форма прилична тому или другому народу (*Ibid.* S. 559). Но политики он не издал; в изложении же государственного права он ограничивается исчислением народных прав и форм представительства, с присовокуплением некоторых общих замечаний. Представительство должно изображать собою политическую организацию самого народа. Оно должно быть сообразно с началом государственного устройства и с историческими его основами, следовательно, в монархии оно определяется не народным полновластием, а независимостью монархического элемента. Прилагая эти мысли к Германии, Шмиттгеннер замечает, что при данных обстоятельствах немецким государствам приходится нечто среднее между феодальными чинами и чисто представительными учреждениями (*Ibid.* S. 578). Далее, говоря об отношениях чинов к правительству, он утверждает даже, что совместное правление вытекает из начала народного полновластия, с монархическим же принципом согласуется только свобода как отрицательное ограничение правительственной власти. Истинно органическая, то есть сообразная с идеею государства, а вместе и подтвержденная историею система, говорит он, состоит в том, что монархическая власть, сдержанная в известных пределах, должна быть в предоставленной ей области совершенно абсолютна и независима от народной воли, а с своей стороны граждане должны точно так же иметь твердо определенные и огражденные от всякого посягательства права (*Ibid.* S. § 176). Спрашивается, где же органическая связь того и другого? Тут является разобщение, а никак не единство. Но при отрывочности этого взгляда невозможно подвергнуть его обстоятельной критике.

В итоге сочинение Шниттгеннера не представляет ничего самостоятельного и нового, хотя оно и не может не быть признано почтенным трудом. Это более эклектическое, нежели самобытное произведение. Восставая против умозрительной философии, Шмиттгеннер усваивает себе существенные ее результаты. В истории политической мысли книга его имеет интерес только как подтверждение идей Гегеля добросовестным изучением предмета.

4. Лоренц Штейн¹²

Совсем иное следует сказать о другом писателе, который точно так же хотя и не принадлежит непосредственно к школе Гегеля, но находится под сильным влиянием выработанных им идей, именно о Лоренце Штейне, одном из даровитейших ученых Германии в XIX веке. Это не ученик, идущий по стопам учителя, и не эклектик, пользующийся плодами чужой мысли, а оригинальный исследователь, пролагающий науке новые пути. На нем можно видеть все значение идей Гегеля для самостоятельного изучения явлений политической жизни.

Из многочисленных его сочинений по разным отраслям политических наук, как-то: по истории французского права, по политической экономии, по финансам, по администрации, мы остановимся лишь на тех, которые имеют общее теоретическое значение. Сюда принадлежат «Социализм и коммунизм в современной Франции» («Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs»), вышедший первым изданием в 1842 г., а вторым в 1848-м, затем «Учение об обществе» («Die Gesellschaftslehre»), вышедшее в 1856 г., и составляющее вторую часть незаконченной «Системы политической науки». В обоих сочинениях основная мысль заключается в развитии идеи общества и его отношения к государству. Наконец, к этому следует присоединить общую часть «Учения об управлении» («Die Verwaltungslehre»), вышедшую вторым изданием в 1869 г. под заглавием «Исполнительная власть» («Die Vollziehungsgewalt») и содержащую в себе основные начала государственного устройства и управления.

Социализм и коммунизм Штейн исследует не как ступени развития политической мысли — с этой стороны они кажутся ему лишенными почти всякого интереса. «Ибо,— говорит он,— рассматривая их самих в себе, нельзя назвать их ни широкими системами, ни даже истинно смелыми идеями. Для первого в них недостает собственно философского образования, для последнего истинного отношения к действительности. В них мало глубоко логического и еще менее такого, что было бы действительно исполнимо» *. Но важно их значение как явлений общественной жизни. Они указывают на известное состояние общества; в них воплощаются стремления и надежды весьма значительной общественной группы, именно пролетариата. С этой точки зрения они заслуживают величайшего внимания как мыслителей, так и государственных людей. Изучение же пролетариата, при взаимной связи всех общественных явлений, невозможно без исследования всей совокупности общественной жизни, то есть без науки об обществе, которая едва начинает зарождаться (Ibid. S. 6-7, 12-13).

* Stein L. Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. I. S. 5. Цитирую издание 1848 г. <Далее ссылки на это издание даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Пример:red>

Что же такое общество и каковы управляющие им законы? Чтобы понять какие бы то ни было явления, необходимо возвыситься к общей лежащей в основании их сущности, которая не подлежит внешним чувствам, а потому и не доказывается ими. Эта сущность, остающаяся вечно тождественною при изменчивости явлений, раскрывается нам понятием вещи. Понятие одно дает нам объяснение явлений и разрешение всех присущих им противоречий. Следовательно, при изучении общества, мы должны прежде всего установить его понятие, а для этого необходимо вывести это понятие из существенного отношения, вытекающего из самой природы личной жизни человека (*Ibid.* S. 14-15).

Всякое единичное лицо носит в себе противоречие между тем, к чему оно стремится, и тем, что оно есть, между своим назначением и действительностью. Это противоречие является прежде всего в отношении к внешней природе, которую человек хочет подчинить себе для удовлетворения своих потребностей и перед которою он, однако, как единичное существо бессилен. Разрешение этого противоречия человек находит в союзе с другими; в союзе же являются не только сопоставленные лица, но их взаимность или общественное единство как самостоятельный момент. Если, с одной стороны, цель союза состоит в удовлетворении и развитии личности, то, с другой стороны, самая личность становится членом и моментом высшего целого. Это взаимодействие общего начала и личного, единства и различия встречается во всяком союзе: в семействе, в общине, в церкви, в государстве. Его же мы находим и в том, что называется в тесном смысле обществом.

Взаимность потребностей и удовлетворения ведет к тому, что люди работают друг для друга. Отсюда разделение труда, которым устанавливается известный порядок человеческой работы. Сообразно с этим порядком происходит и распределение добытых работою благ. Каждый получает в них известную долю, и на основании этого приобретает известное место и значение в общем организме. Таким образом, силою вещей лицо становится членом общего порядка. Рядом с этим, однако, оно сохраняет и свою особенность. Выработанное им принадлежит ему; оно составляет исключительно ему присвоенную сферу, которая, в противоположность другим лицам, является его правом. В силу права блага становится собственностью лица и служит удовлетворению потребностей как его самого, так и его семейства. Оно по праву передается его семейству и через это получает прочность. С тем вместе упрочивается и самый порядок общественных отношений. Этот основанный на распределении жизненных назначений и благ порядок, охраняемый правом и упроченный собственностью и семейным началом, и есть то, что называется человеческим обществом. Основание его заключается в личности; это — общество свободных и самостоятельных лиц. Цель его — приобрести возможно большее количество благ для человечества и дать каждому возможно большую в нем долю.

Наилучшее общество то, которое всего лучше исполняет эту задачу. Исследование способов приобретения и распределения благ принадлежит политической экономии; изучение же вытекающего отсюда порядка и устройства общежития составляет собственно предмет науки об обществе (Ibid. S. 16-24).

Какими же законами управляется движение этого общества? Все здесь зависит от отношения двух основных его элементов, работы и собственности. Развитие их неизбежно влечет за собою образование двух состояний, рабочих и владельцев. Эти состояния нуждаются друг в друге; но собственность дает последним преимущество перед первыми. Отсюда необходимая зависимость рабочих от владельцев. Эта зависимость увеличивается еще тем, что последние, владея высшими благами, естественно овладевают и высшею властью в обществе. Через это зависимость превращается в подчинение. Таков неизбежный ход общественных отношений. Но здесь начинается различие, смотря по характеру народов. Народы, привычные к подчинению, принимают этот порядок как божественное веление и успокаиваются на этом. Напротив, народы, в которых живо начало личной свободы, не выносят этого противоречия между требованиями личности и ее общественным положением. Подчиненные стараются освободиться от зависимости и, в свою очередь, захватить власть в свои руки. Начинается борьба за власть, а с тем вместе ряд общественных переворотов. Этим объясняется весь ход новой европейской истории (Ibid. S. 25-31).

В феодальном мире весь общественный порядок определяется поземельною собственностью. Отсюда господство землевладельцев и подчинение крестьян. Позднее рядом с этим возникли городские общины с движимою собственностью. Но эти сословия не связывались ничем; между ними господствовала полная рознь. Объединяющим началом явилась королевская власть, которая уравнила сословия общим подчинением их государству. Это уравнивание было отрицательное, но оно повлекло за собою и положительное. Граждане стали требовать равного для всех участия в государственном управлении. Отсюда Французская революция, результатом которой было уравнивание общественных прав и установление свободных учреждений. Однако этим борьба не кончилась. Уравнивание прав давало каждому возможность достигать одинакового с другими положения в обществе и участия в государственной власти; но от возможности к действительности было далеко. Вместо прежнего различия сословий явилось новое — различие капиталистов и рабочих. Первые фактически, в силу необходимых законов, приобрели высшее положение в обществе и юридически получили исключительное участие в государственном управлении. При свободе перехода из одного состояния в другое это противоположение не было бы столь резким, если бы самое развитие промышленности не сделало этого перехода слишком затруднительным. Введение машин превратило свободную работу

в механическую и значительно содействовало разделению промышленного мира на противоположные группы крупных фабрикантов, предпринимателей производства и частных рабочих, обреченных на вечный механический труд. Отсюда обособление состояния пролетариев, или невладельцев. Они сознали себя как единое целое, и вместе с тем, сравнивая свое положение с выработанными предшествующей историей началами равенства, они сделались носителями идей, требующих всеобщего, не только политического, но и общественного уравнения через уничтожение собственности. В этом заключается коренной вопрос настоящего времени. Владельцы и невладельцы стоят друг против друга; первые обладают высшим положением и властью, вторые стараются распространить свои идеи и получить власть в свои руки (Ibid. S. 31-57).

Где же найти примирение этих противоположных требований, которые грозят разрушением всему общественному строю? Его нельзя найти в развитии одних общественных начал, ибо общество, предоставленное себе, неизбежно ведет к противоположению элементов и к взаимной их борьбе. Примирение можно найти только в отношении общества к государству.

Государство есть союз людей как единое, свободное, самоопределяющееся целое, или как самостоятельная личность. Будучи носителем общих интересов, оно имеет в виду не выгоды какого-либо класса, а пользу всех. От полноты развития всех входящих в состав его лиц зависит и его собственное развитие. Поэтому задача его тем шире, чем менее граждане способны сами удовлетворять своим потребностям, и чем более они стеснены движением общественных сил. Государство — естественный защитник притесненных. Таким образом, оно является высшим союзом, который властвует над обществом. Ему принадлежит верховная власть среди людей.

Но эта власть все-таки вверяется людям, а потому способна быть обращена в орудие частных интересов. Противоположные классы, на которые неизбежно разбивается общество, понимают, что они могут проводить свои цели только через посредство государственной власти; поэтому они стараются захватить ее в свои руки. Движение общественных сил необходимо приводит к борьбе за власть. Исход этой борьбы зависит от того, устроена ли эта власть так, что она сохраняет свою самостоятельность, или она подпадает под влияние одного из противоположных общественных элементов. В последнем случае неизбежно притеснение слабейших, а вследствие этого разложение государства, которое, в противоречии с собственной природою, перестает быть представителем общих интересов. Если владуют высшие классы, то низшие теряют всякую энергию и не в состоянии исполнить своего назначения в государстве. Наоборот, владычество низших ведет к грубому деспотизму. Таков естественный ход республик. Они могут держаться только там, где меньшинство в состоянии завоевать себе общественное положение независимо от государства,

как в Соединенных Штатах. Иначе они представляют нескончаемый ряд переворотов, что мы и видим в среднем мире. Республика есть государство, подчиненное обществу.

Избегнуть этого результата возможно только устройством государственной власти, независимой от общественных сил. Таково значение монархии. Она представляет в единичном лице абсолютную, неприкосновенную, самостоятельную личность государства. Смысл ее раскрывается именно при рассмотрении отношения государства к обществу. Стоя выше всяких частных интересов, монархия, с одной стороны, предупреждает притеснение одного класса другим, а с другой стороны, осуществляет общие интересы и приводит всю внутреннюю жизнь народа к гармоническому соглашению. Только в монархии государство находит свою самостоятельность как союз, возвышающийся над обществами. В этом заключается существенное преимущество новых государств перед древними.

Однако монархия, о которой здесь идет речь, не есть абсолютная, ничем неограниченная, она сочетается с свободным движением общественных сил, а потому призывает последние к участию в государственном управлении. Вследствие этого на государстве отражается развитие общества и политическое устройство принимает бесконечное разнообразие форм. Но с этим вместе является опасность для монархической власти. Она может, отклоняясь от истинного своего назначения, связать свои интересы с интересами владычествующих классов. Через это в остальных возбуждается вражда против самой монархии, что немыслимо, пока она представляет интересы всех. Отсюда возможность новых потрясений и переворотов, что мы и видим в новейшее время. Единственное против этого средство состоит в поддержании самостоятельности монархической власти. Парламентское правление неизбежно ведет к подчинению ее владычественному общественному элементу. От представителей народа зависит остановиться на этом пути, в сознании, что с ослаблением монархической власти высшие классы подрывают собственное свое положение и подвергают государство нескончаемой общественной борьбе. Но, с другой стороны, как представители общественных интересов они должны иметь в руках достаточные средства, чтобы контролируемая нас власть не отклонялась от своего назначения. «Самостоятельное государство в свободном обществе», — таков лозунг новых народов (Ibid. S. 57-70).

В результате разрешения всех общественных противоречий следует искать в независимой государственной власти, направляющей государство к общей цели. Эта задача составляет содержание науки управления, то есть системе правил, по которым государство старается достигнуть высшего своего развития и совершенства через высшее развитие и совершенство отдельных лиц. Эта наука составляет, следовательно, венец всех других политических наук; ей принадлежит будущность (Ibid. S. 71).

Штейн преследует приложение этих выведенных им законов в истории Франции. Средневековый порядок отдавал всю государственную власть в руки общественных сил; она считалась частною собственностью. Результатом было порабощение низших классов, высшими. С развитием монархической власти впервые является самостоятельность государственного начала. Но монархия, утвердившись, связывает свои интересы с интересами владычествующих классов. Все французское общество разделяется на привилегированных и непривилегированных. Первые через монарха располагают всем; вторые возмущаются против этого порядка и противопоставляют ему идеи равенства, заимствованные из философии права. Во Французской революции эти идеи получают полное осуществление. Прежнее различие исчезает, но вместо того является новое,— различие владеющих и невладеющих. При Наполеоне оно еще не высказывается во всей своей резкости, ибо общественная свобода не существует; над всяким возвышается единая, сильная власть, а с своей стороны войско, которое составляет здесь владычествующий элемент, представляет возможность легкого перехода из одного класса в другой. С возвращением Бурбонов владеющий класс приобретает исключительное право представительства в палатах; но и тут богатые и бедные соединяются, чтобы дать отпор политике, имеющей целью восстановление старого порядка. Только с устранением этого последнего препятствия равенству, во времена Июльской монархии, разыгрывается борьба между владеющими и невладеющими. Опять монархия соединяет свои интересы с интересами владычествующего класса. Последний становится в привилегированное положение; неимущие же, в противоположность ему, образуют пролетариат, сознающий себя как единое целое и проникнутый духом социализма. Таково положение современной Франции (в 1847 г.). Низшие стремятся, посредством расширения ценза, приобрести власть в свои руки; высшие противостоят этому всеми силами, из опасения, что приложение социалистических идей, распространенных в низших классах, может повести к полному общественному разложению (см. вообще: Stein L. Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. II).

В этой начертанной Штейном картине, без сомнения, много глубокого и верного, хотя и нельзя согласиться со всеми подробностями. Изображение исторического хода народной жизни единственно с точки зрения влияния общественных элементов на государство непременно будет носить несколько односторонний характер. С одной стороны, собственно политическое развитие, а с другой стороны, умственное движение значительно видоизменяют этот процесс. Но в существе своем мысли Штейна об отношении государства к обществу, о влиянии общественных сил и о значении королевской власти заслуживают полного внимания. Мы видели, что в натуралистическом идеализме, у последователей

Краузе, государство являлось основой, над которою воздвигалось общество как высшая область. В нравственном идеализме, у Галлера, а с другой стороны, у Гербарта и публицистов юридической школы, господствует, напротив, полное смещение государства с гражданским обществом. Здесь же, согласно с началами Гегеля, государство воздвигается над обществом как высший союз, который сводит к единству противоречащие элементы последнего. Это и есть истинная точка зрения, богатая самыми благотворными результатами.

Штейн подробнее и систематичнее, хотя в несколько измененном виде, развил свои мысли в другом сочинении — в «Учении об обществе». Метода здесь та же, что и в первой книге. Наблюдения, говорит Штейн, дают нам только частный и отрывочный материал. Чтобы объять предмет в его совокупности, надобно идти другим путем, обратиться не к внешнему явлению, а к внутренней природе вещи; внутренняя же природа дается нам только деятельностью чистой мысли, ибо наблюдать можно действия, а не причины*. «Достоверно,— говорит Штейн в другом месте, что всякая наука получает высший свой порядок и ясность только от философии. Более всех, может быть, политическая наука, а внутри ее, несомненно, всего более в нашей области» **. К сожалению, Штейн, отклоняясь в существенных пунктах от системы Гегеля, сам не выработал цельной системы, по крайней мере практической философии; отрывочное же построение всегда является произвольным и подает повод к значительным ошибкам. Это мы и видим в установлении самого понятия об обществе, которое Штейн кладет в основание своего учения.

Он разделяет политическую науку на три отдела согласно с самым разделением политической жизни. Всякая человеческая деятельность, говорит он, заключает в себе внутреннее противоречие между бесконечностью задачи, которая ставится человеку, и ограниченностью средств единичного лица. Это противоречие разрешается восполнением деятельности одною деятельностью других. Отсюда взаимность, которая определяется законами, независимыми от человеческого произвола; она устанавливает известный порядок совокупной деятельности. Порядок материальной деятельности составляет область политической экономии, порядок духовной деятельности образует собственно так называемое общество, наконец, порядок вытекающий из соединения людей в высшую личность, составляет предмет науки о государстве (Stein L. Die Gesellschaftslehre. S. 7-9).

* Stein L. Die Gesellschaftslehre. Stuttgart; Augsburg, 1856. S. 17. <Далее ссылки на это издание даются Б. Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Прим. ред>

** Stein L. Die Vollziehungsgewalt. I. S. 65, издание 1869 г. <Далее ссылки на это издание даются Б. Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Пример. ред>

В этом разделении прежде всего кидается в глаза, что первые две области отличаются друг от друга содержанием, а последняя от первых формой. Но еще хуже то, что оно противоречит дальнейшему изложению Штейна. Сам он в другом месте, определяя понятие об обществе, исключает из него, с одной стороны, чисто материальную деятельность, с другой стороны, деятельность гист о духовную, проявляющуюся в науке, в искусстве, в религии. Общество же составляется из взаимодействия этих двух факторов {Stein L. *Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs*. S. 205, 239-240). Следовательно, общество нельзя определять как духовный порядок жизни; в этом определении оказывается, по крайней мере, значительная неточность.

Это подтверждается дальнейшим изложением. Если мы взглянем на содержание духовного порядка общественной жизни, как он понимается Штейном, то мы увидим, что он существенно отличается от элементов чисто духовной деятельности человека. Этот порядок состоит, по мнению Штейна, в распределении трех основных функций всякого общества, военной силы, священства и суда (Stein L. *Die Gesellschaftslehre*. S. 81-85). Если священство имеет связь с религией, то военная сила и суд не имеют никакого отношения к науке и искусству. Ясно, что тут речь идет вовсе не о духовной деятельности в противоположность материальной, а о существенных потребностях всякого общежития. Справедливо, что человеческое общежитие составляется из духовных и материальных элементов в совокупности; справедливо, что из него вытекают потребности защиты, суда и нравственного руководства; но 1) нельзя обозначать эти потребности общим именем духовного порядка, смешивая теоретические начала с практическими, нравственные с общежительными; 2) эти функции отнюдь не составляют специальной принадлежности того, что Штейн называет обществом; они в большей или меньшей степени присущи всякому союзу, и прежде всего государству. Вследствие этого Штейн отличает государство от общества не по содержанию, а по форме. Исходною точкою общества, так же как и народного хозяйства, служит единичное лицо. Поэтому личный интерес является здесь господствующим началом; общественные функции служат для него только средством. Последствием такого порядка является разложение общества. Отсюда необходимость иного высшего организма, который представлял бы собою интересы не отдельных лиц, а совокупного целого. Этот организм, осуществляющий в себе общественное единство, не может состоять в зависимости от общества, но должен возвышаться над ним как самостоятельное лицо, имеющее начало в себе самом. Это и есть государство (Ibid. S. 26-32).

Очевидно, что это противоположение общества государству совершенно сходно с взглядами Гегеля. Но Гегель развитие человеческих союзов правильно начинал с союза кровного; Штейн же

совершенно опускает семейство, а родовой порядок прямо включает в общество как известный вид последнего, что, как увидим далее, ведет к ложному пониманию свойств этого порядка. Точно так же и опущенную Гегелем церковь он вводит как составную часть в общество, что опять противоречит и самому ее существу и историческому ее положению. От этого понятие об обществе становится еще более сбивчивым. Несмотря на старания Штейна придать ему некоторую точность, оно, очевидно, представляет у него смесь разнородных начал. Верным остается то, что согласно с идеями Гегеля, общество, или гражданское общество, есть та форма общежития, в которой господствующим элементом является отдельная личность, следовательно, которая характеризуется преобладанием частного права и частных союзов. Эта форма существует всегда и везде, но в Средние века она в светской области является преобладающею, так что заслоняет собою все остальное.

Такие же неясности и неточности встречаются и в понятии Штейна о государстве. Мы видели, что он определяет государство как союз людей, имеющий единичное сознание и волю, следовательно, составляющий самоопределяющуюся и самостоятельную личность. Это опять то же, что у Гегеля *. Когда Штейн утверждает, что понятие о государстве как о личности, одаренной самостоятельностью, осталось Гегелю недоступным **, то в этом можно видеть только недоразумение. Сам Штейн полагает существо личности в том, что она имеет основание единственно в себе самой ***. Если под этим разумеется самоопределение воли, то с этим опять можно согласиться. Но неясности начинаются, когда ставится вопрос об определении составных элементов, государственной личности и отношений ее к обществу. Входит ли отдельное лицо с его правами в состав государства или это элемент посторонний, оказывающий на государство только внешнее влияние? На этот вопрос можно найти у Штейна утвердительные и отрицательные ответы. В «Учении об обществе», исчисляя элементы государственной жизни, он вслед за организмом властей ставит отдельное лицо, как самостоятельную, самоопределяющуюся единицу; вследствие этого он проистекающее из него право, не только политическое, но и частное, вводит в состав присущего государству юридического порядка (Ibid. S. 54-55). Но рядом с этим он утверждает, что собственно государству принадлежит только организм властей; все же остальное, именно все действующее право есть произведение общества (Ibid. S. 72). Поэтому он полновластие народа

* Hegel G.W.F. Rechtsphilosophie. § 257. «Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee,— der sittliche Geist, als der offenbare, sich selbst deutliche, substantielle Wille, der sich denkt und weiss und das was er weiss, und insofern er es weiss, vollführt».

** Stein L. Die Vollziehungsgewalt. I. S. 7.

*** Stein L. Die Gesellschaftslehre. S. 32; Stein I. Die Vollziehungsgewalt. I. S. 8-9.

считает негосударственным владычеством общества, состоянием, в котором общежитию недостает безусловно необходимого элемента (Ibid. S. 57). В позднейшем своем сочинении, в «Учении об исполнительной власти», Штейн, развивши чистое понятие о государстве как о личности, выражающейся в организме властей, говорит, что оно не заключает в себе свободы. Последняя проистекает от другого, независимого от государства элемента, именно из отдельной личности, которая, однако, будучи вместе с тем элементом государства, вносит в него свои собственные определения (Stein L. Die Vollziehungsgewalt. I. S. 27). Между тем, излагая далее понятие о законе, Штейн говорит, что государство не потому только является высшею формою земной личности, что оно наибольшее по объему, но и потому, что оно органически воспринимает в себя самоопределение отдельных лиц. Через это оно перестает быть формально высшею личностью, а становится высшею нравственною формою личной жизни вообще. Отдельные лица, составляя единое целое, сохраняют свою самостоятельность в этом единстве и через него, однако, все-таки вопреки ему. Поэтому закон, в высшем своем значении, не есть только общая государственная воля, но и свободная государственная воля, то есть государственная воля, органически воспринявшая в себя самоопределение отдельных лиц. На этом основано народное представительство (Ibid. S. 85-86).

Очевидно, что Штейн не выяснил себе различия положения отдельного лица как члена двух разных союзов, гражданского общества и государства как субъекта частных прав и прав политических. Поэтому государство является у него то чистым организмом властей, то вместе с тем и союзом, заключающим в себе как составной элемент отдельную личность, а потому и свободу. На последнем понятии, в существе своем правильном, основано воздействие Штейна на закон. Но если так, то нельзя считать народное повластие негосударственною формою общежития. Если свобода составляет существенный элемент государства, то и основанный на ней образ правления составляет вполне законную форму политической жизни. Можно сказать, что эта форма недостаточная, что с уничтожением самостоятельного органа государственного единства государство предается на жертву борьбе общественных сил: все это будет вполне справедливо. Но это вопрос о том, что лучше или хуже вопрос политики, а не права. Отрицать же самое государственное значение народного повластия нет никакого основания, как скоро мы государство понимаем не только как личность, имеющую единую волю, но и как союз, составленный из разнородных элементов.

Это смешение понятий повело Штейна к еще более важной ошибке. Он утверждает, что государство как личность всегда остается тождественным с собою. Всякое различие, всякое движение, всякая перемена вносятся в него посторонним элементом, именно

обществом. Поэтому он различие и последовательность политических форм сводит на различия и последовательность общественного устройства, проистекающего из отношений собственности (Stein L. Die Gesellschaftslehre. S. 55; Stein L. Die Vollziehungsgewalt. I. S. 26-28). Между тем если мы даже поймем государство как отвлеченную личность со стороны единичной воли, то все же из этого не следует, что оно всегда остается одним и тем же: всякая личность имеет свое развитие. Еще более такой взгляд представится нам неправильным, если мы будем видеть в государстве сложный союз, составленный из разнообразных элементов. Различные отношения этих элементов, преобладание того или другого, порождают различные государственные формы, которые могут следовать друг за другом в известном порядке. Государство имеет свое развитие, так же как и общество. Нет сомнения, что в действительной жизни это развитие определяется не одними чисто государственными началами, но и состоянием и движением общества. Штейн прав, когда он видит здесь взаимодействие двух факторов (L. Die Gesellschaftslehre. S. 33). Но сводить все политическое движение на влияние общественных сил нет возможности. Это неизбежно должно привести к односторонним и ложным выводам. Эти неясности и неточности в коренных понятиях много повредили успеху исследований Штейна, ослабляя значение того, что в них есть действительно верного и даже глубокого. Обозначим существенное.

Основная мысль Штейна состоит в определении влияния собственности на общественный строй. Общество содержит в себе два элемента: духовный и материальный. Первый, в свою очередь, распадается на два противоположных элемента: общий и личный; общее начало, или нравственный строй (*die Gesittung*), включает в себе прежде всего нравственный порядок, основанный на распределении общественных задач между неравными лицами. Общение, как сказано, необходимо проистекает из противоречия между ограниченностью лица и бесконечностью его задачи; неравенство же способностей составляет необходимое условие равномерного достижения различных общественных целей. Эти цели составляют предмет деятельности трех важнейших общественных функций, военной службы, священства и суда. Достижение их требует руководящих органов, которые являются, таким образом, главами общества. Эти должности естественно замещаются лучшими или способнейшими людьми. Отсюда первое и необходимое общественное различие — между высшими и низшими. А так как отправление этих должностей, в свою очередь, развивает соответствующие им способности, то различие между высшими и низшими становится постоянным; отсюда образуются классы. Превосходство же одних над другими неизбежно ведет к владычеству, которое правомерно, когда оно основано на действительном духовном превосходстве одних и на свободном признании со стороны других, и неправомерно, когда оно лишено духовной основы и держится одною

внешнею силою. Но каково бы ни было владычество, оно всегда стремится подчинить себе не только внешнего, но и внутреннего человека; иначе оно остается телом без духа. Оно требует себе повиновения, преданности и любви. С этою целью оно ищет опоры в религии и связывает существующий порядок с высшею волею божества. Но, с своей стороны, личность подчиненных старается отстоять свою духовную самостоятельность и для этого ссылается на науку. Таким образом, религия и наука становятся факторами общественной жизни (Ibid. S. 70-99).

Это противодействие низших высшим проистекает из самого существа человеческой личности, которая в подчиненном положении не находит удовлетворения своему назначению. Нравственный порядок, развивая противоположность владычествующих классов и подчиненных, дает высшее развитие только первым. Поэтому он должен быть восполнен другим элементом, способствующим возвышению последних. Этот элемент есть труд, начало развития; он поднимает низшие классы к уровню высших. Но труд, имеющий общественное значение, не остается одиноким; он собирает вокруг себя отдельные лица и образует из них корпорации. Это имеет место как среди низших, так и среди высших классов. Однако пока труд держится в пределах того или другого класса, он не достигает высшего своего назначения. Без помощи высших классов низшие не в состоянии подняться к их уровню. Поэтому необходимо, чтобы труд был воодушевлен другим началом, связующим классы, началом деятельной любви, в силу которой высшие классы добровольно действуют на пользу низших, стараясь поднять их уровень. Христианское начало любви одно в состоянии примирить общественные противоположности, сочетая нравственный порядок с развитием. Это сочетание и образует нравственный строй общества, который состоит, с одной стороны, из уважения низших к нравственному порядку, с другой стороны, из уважения высших к труду. Таково живое, нормальное, органическое отношение духовных благ и духовной работы (Ibid. S. 99-108).

Этому общему элементу противоположен личный. Человек не только состоит членом известного нравственного порядка, но он заключает в себе возможность выступить из всякого порядка и действовать чисто во имя своих личных целей. В этом состоит его свобода, то, что делает его самостоятельным началом бытия. Поэтому человек, по существу своему, имеет двоякое стремление: с одной стороны, содействовать нравственному порядку, которого он состоит членом, с другой стороны, обратить этот порядок в орудие личных своих целей. Последнее составляет поприще личного интереса. Вступая в общество, лицо получает в нем известное положение, сообразное с задачами, который оно призвало исполнить. Действительное же исполнение этих задач то, что оно приносит обществу, дает лицу известное значение. Положение и значение могут и не совпадать, но тогда одно стремится стать в уровень другого. С положением связана

известная гест Ъ, то есть признание в лице тех достоинств, которые составляют необходимые условия для исполнения предстоящих ему задач. А так как в силу различия классов положение может быть высшее и низшее, то и общественная честь необходимо разделяется на высшую и низшую. Со значением же связана власт Ъ, которая может иметь различные виды, как-то: влияние, авторитет, владычество. Каждое лицо, состоя членом общества, имеет в нем известную меру чести и власти. Сохранение или возвышение этой меры составляет для него общественный инт ерес. Но так как это мера различна для каждого лица, то интересы лиц не только различны, но и противоположны друг другу. Низшие стремятся стать в уровень с высшими; высшие, напротив, стараются удержать свое положение и сохранить существующее между ними и низшими расстояние. Отсюда борьба частных интересов высших и низших классов, борьба, которая ведет к извращению нравственного порядка, а потому к смерти общества. Во имя своих частных интересов высшие не только хотят обратить свои преимущества в свою частную собственность, но и воспрепятствовать другим достигнуть того же положения. Это стремление, не имеющее основания в нравственном порядке, поддерживается силою, материальною или духовною. Исключительность влечет за собою несвободу, внешнюю или даже внутреннюю. Но неправомерное владычество в себе самом носит свое наказание. Оно развращает как высших, так и низших. Первые теряют те свойства, которые способны поддерживать нравственный порядок; последние теряют энергию труда, или же любовь и уважение к высшим превращаются в злобу и ненависть. Существо человеческой личности возмущается против несправедливого подчинения и обращается против властителей. Тогда возгорается страшная борьба классов, которая грозит обществу разложением (Ibid. S. 109-133).

Таковы свойства интереса, предоставленного самому себе. Но он имеет и высшее значение, когда он связывается с элементами нравственной жизни общества, с порядком и развитием. Связь порядка с личным интересом производит охранительное начало общественной жизни, начало одностороннее, когда оно отделено от развития, но необходимое для общества, ибо оно дает ему прочность. Если же в этой связи личный интерес получает перевес над требованиями нравственного порядка, то охранительное начало превращается в реакционное. Признаком его служит исключительность, стремление подавить развитие. Оно грозит обществу смертью от застоя. С другой стороны, связь развития с личным интересом производит начало движущееся или прогрессивное, которое, в свою очередь, может быть извращено преобладанием личного интереса над уважением к порядку. Тогда оно становится революционным и грозит обществу смертью путем разложения. Борьба этих различных начал составляет жизнь человеческих обществ.

Таким образом, общество является органически целым, которое развивает из себя разнообразные и противоположные друг

другу силы и стремления, находящиеся в постоянном движении и взаимодействии. Ни один из этих элементов не исчерпывает собою всей полноты общественной жизни. Высшая цель развития состоит в гармоническом их сочетании. Общество стоит тем выше, чем более оно способно произвести в себе это сочетание. Таков закон жизни. Напротив, недостаток какого-либо элемента влечет за собою страдание целого, болезнь и, наконец, смерть. Таков закон смерти. Переход же от одного состояния к другому состоит в развитии того, что прежде заключалось в зародыше. Этим объясняется и преемственность народа в истории. Смерть народа означает недостаток в нем известного элемента, который развивается у народа, сменяющего его на историческом поприще. И это будет продолжаться, пока не явится народ, который представит собою гармоническое сочетание всех элементов общественной жизни (Ibid. S. 134-144).

Таково нравственное строение общества. Какое же влияние имеет на него другой, материальный его элемент — владение?

Владение составляет необходимую принадлежность действительной человеческой личности. Оно ограничивает ее стремления, а потому делает ее определенною, сообщает ей известную особенность. С другой стороны, будучи охраняемо правом, оно дает ей самостоятельность; деятельность человека становится неприкосновенною для других. Наконец, оно составляет область, в которой осуществляется человеческая свобода. Вследствие этого владение имеет существенное влияние на самую духовную сторону личности. Виды и мера владения определяют и свойства лица. Так, поземельная собственность сообщает владельцу характер постоянства и твердости, а потому служит важнейшею опорою нравственного порядка. Напротив, движимая или промышленная собственность, изменчивая по своему существу и зависимая в своих результатах от личной работы человека, налагает эту печать и на владельцев: она становится главным орудием движения. Такое же различие влекут за собой и количественные определения. Богатство дает человеку самостоятельность и возможность предаваться исключительно духовным интересам; вследствие этого он становится их хранителем, а потому стражем нравственного порядка. Среднее состояние, в котором довольство соединяется с необходимостью личного, хотя и высшего труда, развивает в человеке стремление к непрерывному улучшению своего состояния и к обращению духовного развития на приобретение материальных благ. Оно является главным носителем прогресса. Бедность, наконец, требуя напряжения всех человеческих сил, закаляет их и облагораживает труд. Наоборот, каждый из этих видов и размеров владения влечет за собою и соответствующие ему недостатки. Все они имеют поэтому существеннейшее значение для общественной жизни. Разнообразное распределение владения составляет необходимое условие разнообразия самой жизни. Та жизнь выше и полнее, ко-

торая содержит в себе всевозможные виды и размеры владения. Поэтому нет ничего превратнее, как учение, отрицающее собственность и требующее уравниения состояний. Оно уничтожает особенности и свободу лица. От того или другого распределения собственности зависит и самый характер общества. А так как постоянство порядка определяется более всего поземельною собственностью, то от последней главным образом зависит состояние народа (Ibid. S. 145-184).

Такое же значение имеет и другой элемент, тесно связанный с владением, а именно деятельность, производящая и сохраняющая собственность, то есть труд. Характер лица определяется свойствами труда, которому оно предается. Каждый из видов работы — тяжелая механическая, мелкая промышленная, руководящая промышленная, наконец, духовная работа — налагает на человека свою печать, делает его способным занимать то или другое общественное положение,, играть в обществе ту или другую роль (Ibid. S. 185-195).

Из всего этого следует, что строение общества всегда определяется распределением владения. Это — основной закон общежития.

Важнейшими элементами являются здесь размер и виды владения. По размеру владения общество разделяется на классы высший, средний и низший. Вследствие преобладания того или другого вида владения общество получает ту или другую форму. Из поземельной собственности вытекает родовой порядок (Geschlechterordnung), из духовной собственности сословный порядок (ständische Ordnung), из промышленной собственности промышленный порядок (gewerbliche Ordnung). Каждое из этих состояний общества выражается в трех различных сторонах или ступенях общественной жизни: в общежитии, представляющем частные отношения лиц на основании их общественного положения, в нравах, выражающих собою общее сознание, и, наконец, в юридическом порядке, в котором проявляется общественная воля и который завершает и закрепляет собою все предыдущее (Ibid. S. 204-231).

Общество не останавливается, однако, на известном устройстве. Бесконечное назначение человеческой личности побуждает ее выходить из всяких данных рамок и стремиться к высшему порядку. Отсюда в обществе начало движения. Оно представляет собою две стороны: гармоническое развитие и борьбу противоположностей. Гармония общества состоит не в известном распределении общественных благ, а в соразмерности сил, определяющих движение. Здесь представляются три отношения, имеющие существенное значение для общественной жизни. Первая есть общественная свобода, которая состоит в возможности для каждого посредством труда улучшать свое состояние и переходить из низшего класса в высший. Она предполагает не равенство в распределении благ, а напротив, их неравенство. Равенство подавляет свободу, уничтожает развитие; неравенство же составляет вечную основу развития,

так же как свобода — вечное его начало. Второе отношение есть общественный труд, состоящий в уравнивании материального и духовного развития. Он поднимает низшие классы и уничтожает перегородки между сословиями. В этом смысле он является истинным осуществлением общественной свободы. Но для гармонического развития недостаточно этих двух начал; нужно еще третье, высшее, именно нравственное сознание (*die Gesittung*), которое состоит, с одной стороны, в признании истинных основ общества, то есть неравного распределения владения, соединенного с беспрепятственным переходом из одного состояния в другое, с другой стороны, в нравственном начале любви, связующем различные классы и состояния. Переход из низшего класса в высший все-таки предполагает известное имущество, которое дает возможность приобрести и духовные блага. Там, где этого условия нет, улучшение состояния низших возможно только с помощью высших. Начало деятельной любви одно способно примирить все общественные противоречия (*Ibid.* S. 232-251).

Таковы элементы гармонического развития. Но рядом с этим частный интерес порождает и противоположности. Интерес лица в общественной жизни состоит в стремлении к приобретению общественного положения, для чего средством служат материальные и духовные блага. А так как интересы классов противоположны, то отсюда рождается исключительность, несвобода, а вследствие того борьба и общественная опасность. Эта опасность может принимать двоякую форму: с одной стороны, исключительность ведет к застою, а наконец к смерти, с другой стороны, неудовольствие ведет к переворотам, которые кончаются деспотией (*Ibid.* S. 252-260).

Но общество не останавливается на противоположностях. Оно стремится к высшему их примирению, которое оно находит, с одной стороны, в религии, опоре порядка, с другой стороны, в науке, источнике движения. В этом состоит дух общества (*der Geist der Gesellschaft*). Однако и религия, и наука, будучи противоположны друг другу, могут вступить в борьбу и в свою очередь породить общественную опасность. Ибо они не ограничиваются чисто теоретическою областью, но вступают в сочетания с общественными силами и сами становятся общественными деятелями. Жизнь и развитие общества состоят в постоянном взаимодействии всех этих элементов (*Ibid.* S. 261-267).

Штейн прилагает эти начала к развитию общественных классов. Определяющее начало здесь — мера владения. Общественное значение этой меры состоит в том, что избыток дает владельцу возможность приобрести духовное развитие, а потому исправлять общественные должности. Разделение классов составляет, следовательно, необходимое условие разделения общественного труда, а потому является необходимым органическим элементом общественной жизни (*Ibid.* S. 273-275).

Распределение владения проходит три ступени. Первая опора предшествует частной собственности; человек пользуется только тем, что ему дает природа. А так как природа, предоставленная самой себе, не дает человеку избытка, то это — состояние бедности материальной, а потому и духовной. Здесь нет еще постоянного владения, следовательно, нет и постоянного порядка, нет и настоящего общества. Право заменяется здесь личною силою.

Из этого состояния человек выходит через то, что он делается оседлым. Присвоение земли происходит сообразно с силами каждого, а так как единичные силы, вообще говоря, равны, то здесь устанавливается равенство владения. С этим вместе является союз оседлых владельцев с известным порядком общежития. Это есть община, первая форма общественной жизни. С различием общественных должностей и частных занятий является здесь и различия общественного и частного владения. Вместе с тем владение становится условием участия в общественных должностях: полноправным членом общины считается оседлый домохозяин. Но так как здесь частные владения более или менее равны, то все равны и в общественном своем значении. Разница заключается только в занятии высших должностей, которые поэтому становятся предметом личного соперничества. Вместо борьбы классов здесь господствует личная борьба, которая быстро ведет к неравенству.

Неравенство устанавливается, впрочем, и самым естественным ходом вещей. Наследство, завоевание, промышленный оборот неизбежно переводят первоначальное равенство в неравенство. И это составляет громадный шаг вперед. Здесь впервые является разделение общественного труда и органическое расчленение общества. В силу естественного закона богатые призваны быть главами человеческих обществ. Преобладание бедных есть извращение естественного порядка. Поэтому, силою вещей, различие высших классов и низших выражается в формах общежития, в различии чести, наконец, в различии права. Но для того чтобы этот порядок сохранял свое нравственное значение, необходимое условие состоит в том, чтобы богатые пользовались своими преимуществами не для личных выгод, а для общественной пользы и чтобы низшие всегда имели возможность подняться к высшему уровню.

Соблюдение последнего условия составляет прямую задачу среднего класса. Через него совершается переход от бедности к богатству; он препятствует чрезмерному преобладанию больших капиталов над рабочею силою; он же, соединяя в себе капитал с личным трудом, является главным орудием прогресса и хранителем общественной свободы. Последняя состоит не в отрицании порядка, а в соблюдении условий прогресса, то есть возможности для низших подниматься к высшему уровню в пределах установленного порядка. Ту же роль играют и общественные корпорации, которые соединяют силы людей для достижения общественных целей. Но пока корпорации держатся в пределах того или другого

класса, они имеют ограниченное значение. Высшее значение они получают тогда, когда они связывают различные классы. Таковы корпорации высших, имеющие целью поднятие низших. Здесь проявляется начало деятельной любви (Ibid. S. 273-343).

Рядом с этими элементами правильного развития является, однако, и их рознь, проистекающая из обособления и противоположности интересов. Исключительность высших классов проявляется прежде всего в ограничении имущественных прав низших классов. Воспрещаются неравные браки, вследствие которых имущество высших могло бы перейти в руки низших; устанавливается неотчуждаемость владений; воспрещаются товарищества низших, имеющие целью улучшение их состояния. Затем, высшим присваивается исключительная честь, а наконец, исключительные права или привилегии. С своей стороны, низшие классы предъявляют свои односторонние притязания: они требуют безусловного равенства имущества, чести и прав. Пользуясь своим положением, высшие классы захватывают государственную власть в свои руки и обращают ее в орудие своих выгод; устанавливается общественная деспотия, сопряженная с несвободою низших классов и с исчезновением средних. Тогда низшие и высшие остаются друг против друга, и между ними возгорается борьба. Первую ее ступень составляет взаимная ненависть; затем организуются массы, с одной стороны, капиталисты, с другой стороны, пролетариат; наконец, борьба решается силою. Победа высших классов ведет к полному порабощению низших; порабощение же ведет за собою подрыв энергии в массе и презрение к труду в победителях, то есть внутреннее разложение общества. Победа же низших классов может иметь различные последствия. Победа чисто неимущей, грубой массы может быть только минутная, ибо у нее нет средств поддерживать свое положение. Если же масса недовольных имеет в руках довольно значительные материальные средства, то есть если к ней примыкает часть среднего класса, то победа достается ей легче и положение удерживается с меньшим трудом. Масса имущих не требует полного равенства, а довольствуется иным распределением общественных благ. Такой переворот становится началом нового порядка вещей. При всем том и он ведет к разложению общества. Нравственный порядок заменяется господством силы; вместо уважения к духовным благам является стремление к материальным. Революционные эпохи неизбежно влекут за собою преобладание материализма, а материализм ведет к разложению общества.

Таким образом, общество само по себе неспособно сладить с развивающимися в нем противоположными стремлениями. Оно естественным ходом своего развития разбивается на враждебные друг другу силы, которые вступают в борьбу. Примирение возможно только подчинением их другому, высшему союзу — государству (Ibid. S. 344-423).

На этом Штейн остановился; учения об общественных формах он не издал. Причина этого перерыва заключается, по-видимому, в том, что самое понятие об общественных формах у него не выяснилось. Во введении к «Учению об обществе» он выводит их из двоякого вида собственности: поземельной и движимой. Каждой из этих видов дает двоякую форму, смотря по тому, преобладает ли в нем имущественный или личный элемент. Таким образом, из поземельной собственности вытекают родовой и сословный порядок, из движимой — промышленный и классный. Но последний, по теории, совпадает с разделением не по виду, а по размеру владения (Ibid. S. 40-46). В самом же изложении своего учения Штейн, как мы уже видели, принимает три формы: родовой порядок, сословный и промышленный, соответствующие поземельной, духовной и промышленной собственности (Ibid. S. 210-211). Наконец, в «Учении об управлении» он последнюю форму называет государственно-гражданским порядком (Staatsbürgerliche Ordnung), причем он всем трем формам дает иное основание. В родовом порядке общественное единство представляется родом и его главою; в сословном — общим занятием под управлением способнейших; в государственно-гражданском — выборным главою, устанавливаемым свободным самоопределением всех (Stein L. Die Vollziehungsgewalt. I. S. 28). Сообразно с этим изменением понятий изменился и взгляд Штейна на последовательность этих форм. В «Учении об обществе» он считает каждую форму необходимым восполнением других и видит высшее общественное устройство в гармоническом сочетании всех трех (Stein L. Die Gesellschaftslehre. S. 430). В «Учении об управлении», напротив, он полагает целью развития полное и гармоническое самоопределение личности, которое достигается только в государственно-гражданском порядке. В первых двух лицо подчиняется то роду, то сословию; поэтому эти формы низшие. Содержание общественного развития составляет не их сочетание, а их последовательность (Stein L. Die Vollziehungsgewalt. I. S. 29-30).

Все эти неясности и противоречия объясняются тем, что Штейн хотел вывести эти формы исключительно из общественных элементов, между тем как они, очевидно, создаются влиянием других союзов: родовой порядок под влиянием союза кровного, государственно-гражданский под влиянием государства. Сам Штейн признает, что государство, в противоположность обществу, является носителем общих интересов, а потому должно иметь стремление уравнивать классы и даровать каждому лицу свободное и равное с другими участие в общественных функциях (Ibid. S. 31). Следовательно, господствующее в государственно-гражданском порядке равенство есть дело не общества, а государства. Мы получаем здесь последовательность трех союзов, установленных Гегелем. Признавая эту последовательность, которая оправдывается как теорией, так и историей, Штейн хотел объяснить ее исключительно развитием

того, что он называет обществом, и через это впал в односторонность и в противоречия.

Самые выведенные Штейном основные начала общественной жизни, очевидно, принадлежат всем союзам. Сочетание нравственного порядка с личным интересом есть именно то, что Гегель назвал нравственностью в тесном смысле и что лежит в основании всякого общежития. Заслуга Штейна состоит в том, что он подробно развил эти начала и указал на такие существенные стороны общественной жизни, которые ускользали от других. Его исследования, по самой своей новосте и оригинальности, без сомнения, составляют значительное приобретение для науки. Но односторонний взгляд на эти начала как на принадлежащие исключительно обществу опять же привел к смешению понятий. Ясно, что устройство военной силы, священство и суд относятся частью к государству, частью к церкви. Оно может определяться и началами кровного союза, когда последний является преобладающим, а наконец, и началами гражданского союза, когда весь общественный быт строится по этому типу. При каких условиях и в какой последовательности происходит то или другое, это может указать только история. Поэтому в основании всех исследований подобного рода должно лежать всестороннее изучение всемирной истории, которая раскрывает нам взаимодействие всех общественных элементов. В этом опять заключается коренной недостаток исследований Штейна. Выводы его лишены исторической проверки. Он идет чисто логическим путем, разлагая общественный быт на составные элементы и выводя из каждого элемента логические его последствия. До конкретных явлений, до того, что он называет действительным обществом, он не дошел, потому что этим способом до него дойти нельзя. Отсюда неизбежная односторонность взглядов и стремление выдавать за непреложные законы то, что в действительности видоизменяется действием других начал.

Существенным результатом учения об обществе можно считать то, что общество, предоставленное самому себе, в силу необходимых законов развивает из себя противоположные элементы, которые, имея враждебные друг к другу интересы, вступают между собою в борьбу. Примирить эти противоположности можно только подчинением их высшему союзу, имеющему своим началом уже не отдельную личность, а единство целого, то есть государству. В этом заключается основная мысль автора, мысль, проведенная им с чрезвычайным блеском и глубиной.

В построении государства Штейн опять следует системе Гегеля, хотя он сам этого и не признает. Государство, прежде всего, есть самостоятельная личность, оно имеет своего рода я. Эта личность обладает волею, и эта воля, посредством деятельности, переносится на внешний мир. Каждое из этих определений имеет и свой самостоятельный орган. Личность государства выражается в его главе, которая, при полноте развития, есть князь. Государственная воля

проявляется в законодательстве, государственная деятельность в управлении (Ibid. S. 8-13).

Сходство с построением Гегеля очевидно. Так же как Гегель, Штейн видит в князе верховное сосредоточение государства, личное начало, соединяющее в себе законодательство и управление. Но князь не издает законов и не управляет, а налагает только печать личной государственной воли на все акты законодательства и управления (Ibid. S. 71-72). Так же как Гегель, Штейн соединяет судебную власть с правительственной. Особенность его состоит в том, что он в самом управлении отличает исполнительную власть от управления. Первая представляет собою общее начало, переход от чистой воли к исполнению; оно проявляется в праве издавать постановление (*Verordnung*), устраивать подчиненные органы и принуждать неповинующихся. Собственное же управление есть частная деятельность по исполнению различных задач государства (Ibid. S. 40 и сл.). Это разделение остается, однако, чисто теоретическим, ибо исполнительная власть не имеет самостоятельного органа, а смешивается во всех частях с самым управлением (Ibid. S. 50). Таким образом, оно не имеет существенного значения.

Главный вопрос относительно управления состоит в отношении его к законодательству. Штейн отвергает смешение управления с простым исполнением. Постановление должно выполнять закон в применении к разнообразным отношениям жизни, заменять его там, где он недостаточен, и наконец, иногда временно отменять его, где этого требует нужда. Поэтому исполнительная власть является самостоятельным органом государства, и притом таким органом, который во многих отношениях смешивается с законодательством. В чем же состоит их отличие и их взаимное отношение? Различие начинается там, где закон является выражением свободы. Воля государства, в высшем своем развитии, должна воспринимать в себя волю отдельных лиц. Это совершается посредством народного представительства, которое становится участником законодательства. Через это закон получает высшее значение; он устанавливается содействием всех трех органов государства: законодательства, правительства и главы. Постановление, напротив, издается без содействия народного представительства. Закон выражает собою чистое самоопределение государства; в постановлении же государственная воля определяется внешними обстоятельствами. Последняя поэтому, сохраняя свою самостоятельность, должна подчиняться первой. Правительство, не будучи простым орудием законодательной власти, должно, однако, действовать в том же духе, в каком создан закон. Между ним и законодательством должна существовать постоянная связь (Ibid. S. 73-91). Эта связь устанавливается двояким путем: с одной стороны, тем, что глава государства соединяет в себе законодательство и управление, с другой стороны, тем, что руководители управления, министры, ответственны за свои действия.

Монарх не может быть ответственным, ибо через это он перестал бы быть главою государства. Но каждое издаваемое от его имени правительственное постановление должно носить на себе подпись министра, который этим свидетельствует, что оно согласно с законом и принимает на себя за это ответственность (Ibid. S. 137-139). Она может быть двоякая; политическая, за общее направление политики, и юридическая, за то или другое действие, несогласное с законом. Последняя приводит к судебному преследованию. Первая же имеет в виду установление согласия между законодательством и правительством. В случае разногласия министры выходят в отставку (Ibid. S. 331 f).

При всем том Штейн не стоит безусловно за парламентское правление. Он утверждает, напротив, что управление не должно действовать в духе партии, а иметь в виду интересы всех. По его мнению, парламентское правление приложимо только в Англии, потому что там все управление находится в руках местных союзов, центральное правительство сохраняет чисто политическое значение (Ibid. S. 198-204). Но если требуется согласие правительства с законодательством, а в последнем всегда преобладает та или другая партия, то каким образом можно установить это согласие помимо парламентского правления? На это мы у Штейна не находим ответа.

Можно возразить и против некоторых других пунктов его теории, например против различения законодательства и управления единственно на основании формального признака, что в одном участвует народное представительство, а в другом нет. Из этого следовало бы, что в самодержавных государствах это различие не существует, что несправедливо, ибо для того и другого нередко устанавливаются различные органы. Точно так же неверно положение, что в свободных государствах для установления законов требуется согласие всех трех факторов: согласие министров вовсе не требуется; они подают голос только как члены собрания. Можно заметить также, что Штейн в иных местах отвергает подчинение управления законодательству, а в других местах, напротив, стоит за такое подчинение (Ibid. S. 75, 86, 91, 341). Тут есть очевидная неясность мысли. Но в итоге воззрения Штейна суть не что иное, как теория конституционной монархии, в том виде, как она установилась в XIX столетии и как она принята была Гегелем.

Дальнейшее изложение начал управления выходит из пределов нашей задачи. Оно имеет чисто специальное значение. Полной системы государственных наук Штейн не выработал. По отдельным частям у него встречаются новые и блестящие мысли; но самая разрозненность работ нередко ведет к односторонности взглядов. Отдельные положения и выводы не всегда согласованы между собою, и все это не сведено в одну стройную научную систему. Поэтому начатое им под влиянием идеи Гегеля исследование общественной жизни требует еще дальнейшей разработки.

е) Ут опигеский идеализм. Социалист ы

1. Родбертус¹

Идеализм, доведенный до крайности в своем исключительном развитии, переходит в утопию. Под именем утопии мы разумеем чистый идеал, в котором все частное, раздельное, составляющее содержание действительности, отрицается во имя высшего единства. Здесь идеализм перестает быть соглашением противоположностей; он становится чистым согласием, отрицающим противоположности. Самостоятельность раздельного бытия исчезает в целом; лицо погружается в общую субстанцию и делается страдательным ее органом. А так как действительность противоречит таким односторонним требованиям, то создаются идеальные построения, составляющие плод фантазии.

Такого рода построения встречаются в разных направлениях мысли. Всякий односторонний мыслитель склонен отрицать действительность во имя своих исключительных требований. Но в идеализме создание утопий вытекает, можно сказать, из самого его существа и из законов его развития. Изображение чистого идеала составляет одно из необходимых его проявлений. Это повторяется и в древности, и в Средние века, и в Новое время. Величайший идеалист Древнего мира Платон был вместе с тем и первым утопистом². Но в новейшее время это явление принимает более обширные размеры, нежели когда бы то ни было. Утопия перестает быть одинокою мечтою человеколюбивого мыслителя. Так же как теория свободы и равенства, она соединяется с резкою критикой существующего порядка; она становится двигателем народных страстей и источником общественной опасности. Причина такого небывалого общественного значения, далеко не оправдывающегося содержанием этих систем, заключается в том, что только в наше время низшие слои парода, к которым преимущественно обращаются утописты, получили полную свободу и достигли той степени развитая, когда эти учения могут быть им доступны, причем, однако, они не обладают достаточной зрелостью мысли, чтобы убедиться в их несостоятельности.

Вследствие этого отношения к народным массам социализм естественно зародился и получил первое свое развитие в стране, которая была центром демократического брожения в новейшее время, а именно во Франции. Однако и в немецкой философии он имел своих представителей. Мы видели у Фихте, в «Замкнутом торговом государстве», проведение этой системы с полной логическою последовательностью. Но Гегель был далек от такой односторонности. С изумительной способностью к отвлеченному мышлению он соединял здоровое понимание действительности. Он признавал относительную самостоятельность частных сфер, а не стремился поглотить их в общей стихии. В особенности он

понимал глубокое значение человеческой личности и не приносил ее в жертву общественному целому. Развитие свободы составляло для него содержание и цель всей человеческой истории. Ближайшие его последователи шли по проложенному им пути, и только позднейшие гегельянцы, под влиянием принесенных извне учений, преступили указанные им границы и пустились в безбрежный океан утопических мечтаний.

Первый крупный представитель социализма в Германии вообще даже не принадлежал к школе Гегеля, а развился чисто под влиянием французских учений. Это был Родбертус-Ягцов, сын немецкого профессора, но вместе довольно крупный землевладелец и видный политический деятель. В 1848 г. он некоторое время был даже прусским министром. Это положение побуждало его входить в некоторые компромиссы с существующим порядком, но лишь относительно практического приложения: в теории он самым последовательным образом проводил социалистические начала. Некоторые считают его основателем научного социализма. Известный профессор политической экономии в Берлине, Адольф Вагнер³, причисляет его даже к величайшим мыслителям и говорит, что в области экономической науки он стоит во главе всех. Насколько он заслуживает такого возвеличения и насколько у него вообще есть научных начал, покажет изложение.

Первое сочинение, с которым выступил Родбертус, носило заглавие «Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände» («К познанию нашего политико-экономического положения»). Оно вышло в 1842 г. Затем, в 1851 г., он подробнее развил свои взгляды в письмах к Кирхману⁴, из которых второе и третье, содержащее в себе все существенное, он издал впоследствии отдельной книгой под заглавием «Zur Beleuchtung der Socialen Frage» («К выяснению социального вопроса»). Позднее, в 1868 г., по поводу возникшего тогда вопроса о землевладельческом кредите, он издал книгу, озаглавленную «Zur Erklärung und Abhilfe der heutigen Creditnoth des Grundbesitzes» («К выяснению и устранению нынешней нужды в землевладельческом кредите»). Здесь он мимоходом касается и самых оснований землевладения. Наконец, после его смерти, Адольфом Вагнером и Конаком издано было, в 1884 г., не напечатанное четвертое письмо к Кирхману под заглавием «Das Kapital». Во всех этих сочинениях проводится один и тот же взгляд, заключающийся, в сущности, в весьма немногих основных положениях.

Родбертус восстает против существующей науки политической экономии за то, что она исходит от единиц и от них возвышается к общему, слагая их математическим способом, между тем как надобно исходить от экономического целого и из него уже развивать и объяснять частные элементы. Общественное хозяйство не есть только сумма частных хозяйств, а цельный организм, которым определяется и значение частей. Поэтому наука должна начинать

не с личного труда, не с частного капитала и частного производства, а с национального или общественного труда как совокупной деятельности всех связанных между собою единиц, с национального капитала как совокупности средств производства, находящихся в чьих бы то ни было руках, наконец, с национального продукта как результата этой совокупной деятельности. Только этим путем можно выяснить истинное отношение вещей, которое ныне представляется в совершенно превратном виде *.

Такой упрек существующей экономической науке очевидно берет свое начало в созданиях воображения, а не в изучении реальных явлений. В действительности работает лицо, а не общество, которое есть только общий термин для обозначения совокупности лиц. Единичному лицу принадлежат и разум, и воля, направляющие труд, и физическая сила, которая служит им орудием; общество же как целое всего этого лишено. Поэтому, говоря о труде, непременно надобно начать с лица и затем объяснить взаимодействие лиц; это единственный научный путь. Начинать же с национального труда, который не что иное, как метафора,— значит пробавляться риторикой. Это — не наука, а извращение науки. Столь же мало можно говорить о национальном производстве в смысле принадлежности его целому обществу. Если труд является источником производства, то и производство труда, очевидно, принадлежит частным лицам, а не обществу. Свободные лица могут соединять свои силы для совокупной работы; в таком случае вознаграждение каждого определяется взаимным договором. Это — совершенно естественный и всюду признанный закон. Если сделанное единичным или совокупным трудом производство обращается на новое производство, то есть становится капиталом, то и капитал естественно принадлежит частным лицам, а не обществу, которое тут не при чем. Национальный капитал, в смысле совокупности всех существующих в обществе средств производства, опять же есть только общий термин, а не реальное единство, точно так же, как когда мы говорим: портные или сапожники, мы не хотим сказать, что все портные или сапожники в данном государстве образуют реальную единицу, а обозначаем только известный разряд лиц. Науке менее всего позволительно нарушать самые элементарные требования логики.

На чем же основывает Родбертус такое странное извращение понятий? На разделении труда. Он уверяет, что как скоро установилось разделение труда, так все эти понятия необходимо из него выпекают, хотя бы вследствие превратных юридических начал, господствующих в современных обществах, дело представлялось в совершенно ином виде. Экономисты, говорит Родбертус, всегда

* Rodbertus-Jagetzow K. Zur Beleuchtung der Socialen Frage. S. 26-27. <Далее ссылки на это издание даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте.—
Пример.ред.>

выставляют разделение труда не только с чисто индивидуалистической стороны, но и с местной и технической точки зрения, между тем как истинное значение разделения труда лежит не в индивидуализме, а в коммунизме. Разделение труда должно называться общением труда, и притом на всем пространстве земного шара, где только люди находятся в сношениях друг с другом. Каждое производство проходит чрез различные стадии, и каждая стадия разделяется на отдельные отрасли, так что каждый работает для всех и все для каждого. Из этого образуется единое органическое целое, в котором господствует коммунизм работ, и так как каждый в ней участвует, то, по существу дела, производство принадлежит всем, хотя бы юридически оно присваивалось отдельным лицам. Законченные произведения составляют совокупный доход, который затем распределяется между отдельными лицами; это распределение вследствие господствующих в обществе юридических начал может быть неправильно: отдельным лицам присваивается, что им вовсе не принадлежит; но по существу дела общее производство составляет общее достояние. Коммунизм лежит в самой сущности разделения труда и необходимо из него вытекает*.

Такова вся аргументация Родбертуса. Очевидно, в ней есть все, кроме логики. Разделение не есть соединение, а мена не есть коммунизм. Разделение труда, конечно, может быть и при соединении сил. Когда Адам Смит⁵ доказывал выгоды разделения труда, он приводил пример фабрики, на которой каждый рабочий делает только восемнадцатую часть булавки; но именно это частное соединение сил, производимое частным капиталом, отвергается Родбертусом как неподходящее явление. Он распространяет разделение труда на все пространство земного шара, но именно тут-то никакого коммунизма не оказывается. Даже в отдельной сельской общине, когда само собою, без таких принудительных мер, просто в силу сознания личной выгоды устанавливается разделение труда и один занимается плотничеством, другой сапожным мастерством, третий делается портным, а масса остается при земледелии, никакого коммунизма работ через это не устанавливается. Говорить, что портной, сапожник, плотник и земледелец производят общую работу,— значит изрекать слова, лишенные смысла. Родбертус уверяет, что разделение труда есть явление государства и начинается с ним (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände. S. 138); но такое положение противоречит всему, что происходило и происходит в действительности. Это — прямое извращение самых очевидных фактов. Еще менее это воззрение приложимо к обмену произведений отдельных стран. Когда китайцы производят чай и получают за это европейские изделия, или когда

* Rodbertus-Jagetzow K. Das Kapital. S. 79 f. То же повторяется и во многих других местах. <Далее ссылки на это издание даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Пример. ред.>

австралийская шерсть продается на американский хлопок английским или немецким фабрикантам, которые делают из них ткани, и эти ткани русскими ремесленниками превращаются в платья по заказу потребителей, то никакого коммунизма работ из этого не происходит и никакое органическое общество не образуется. Все это чистейшая фантазия. Поэтому нет и совокупного дохода, который бы распределялся между участниками в работе. Когда русский портной получает плату за сюртук, сделанный из немецкого сукна, сотканного из австралийской шерсти, австралийский пастух и немецкий фабричный рабочий давно получили свое вознаграждение. В действительности все происходит по совершенно иным началам, нежели те, которые развивает Родбертус. Можно только удивляться способности человеческого ума превращать самые простые, очевидные и всем понятные вещи в какой-то туманный бред, лишенный всякой реальной почвы.

Но это еще не все. К превратному пониманию самых простых и ясных человеческих отношений присоединяется совершенно ложное экономическое начало. Оно состоит в том, что один труд производителен, а потому его хозяйственные блага суть исключительно произведения труда, и притом материального (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Beleuchtung der Socialen Frage. S. 68, 69). Это начало идет от английских экономистов. В противоположность физиократам⁶, которые производительную силу приписывали исключительно природе, Адам Смит признал труд источником ежегодно производимого человеческого богатства. Это начало совершенно верно в том смысле, что вещи, нужные для потребления, производятся трудом или приобретаются от других на произведение этого труда. Но он прибавил к этому и другое, гораздо менее верное начало, именно,— что труд служит самым точным мерилom ценности. Обыкновенным мерилom являются деньги в виде благородных металлов; но ценность наших металлов изменяется с течением времени. Также колеблется и ценность зернового хлеба. Труд же, по мнению Смита, имеет всегда одинаковую ценность для работника, и если он может купить на него большее или меньшее количество вещей, то изменяется ценность последних, а не первого. Труд представляет реальную, а деньги только номинальную ценность товаров. При этом, однако, Адам Смит считал мерилom меновой ценности не тот труд, который положил в товар, а тот, который можно за него купить, ибо это именно имеется в виду всяким покупателем. Мало того, он признавал, что только в первобытных обществах ценность товаров может измеряться количеством положенного в них труда. Как же скоро накапливается капитал и земля становится достоянием частных лиц, так в ценность произведений входят и другие элементы. Владелец капитала, обращая его в производство, требует известной прибыли. Самая величина заработной платы зависит от количества капиталов, предъявляющих спрос на работу. Точно

так же и землевладелец отдает землю под обработку только за известную ренту. Таким образом, цена произведений составляется из заработной платы, прибыли капитала и поземельной ренты. Средняя установившаяся в обществе заработная плата, совокупно с среднею прибылью и среднею рентою, образует то, что можно назвать естественною ценою товаров. Но может быть и отклонение от этой нормы вследствие изменений предложения и спроса, от которых зависит колебание в ту или другую сторону *.

Эти мысли Смита были еще более обстоятельно развиты Рикардо⁷. Он признавал, что вещи, находящиеся в ограниченном количестве, имеют цену независимо от положенного на них труда; но он утверждал, что таких вещей немного, масса же произведений, умножаемых в неограниченном количестве, стремятся вследствие конкуренции к цене, равняющейся издержкам производства. В эти издержки входит заработная плата, возмещение затраченного капитала, вместе с процентами, наконец, поземельная рента. Но капитал есть произведение труда, обращенное на новое производство; следовательно, доход с него является вознаграждением прежнего положенного на него труда. А так как процент опять же в силу конкуренции устанавливается одинаковый для всех, то он не имеет влияния на от носит ельную ценность товаров. Что же касается до поземельной ренты, то она, по теории Рикардо, определяется разницею дохода с лучших и ближайших земель против худших и более отдаленных. Последние вознаграждают только работу и капитал, а ренты не дают, а так как цена устанавливается общая для всех произведений, с какой бы земли она не получалась, то поземельная рента не играет здесь никакой роли: общая цена определяется произведениями худших земель, на которые положены только капиталы и труд. Таким образом, и здесь труд является главным определяющим началом относительной ценности произведений. Остальные факторы, как-то: большее или меньшее количество стоячего капитала в сравнении с оборотным, только видоизменяют эти отношения.

Каковы бы ни были недостатки этой теории, нельзя не признать, что она основана на серьезном и добросовестном изучении фактов. Ни Смит, ни Рикардо не утверждали, что единственная ценность произведений заключается в количестве положенного на них труда. Они не отрицали, что в состав ее входят и проценты с капитала, и поземельная рента. Теория Рикардо доказывает, напротив, что в цену произведений с земель, находящихся в более выгодных условиях, непременно входит поземельная рента. За эти отклонения от чистого начала труда социалисты упрекают означенных экономистов в непоследовательности. Но непоследовательность их проистекает единственно из того, что они были люди науки. Они

* См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. 1. Гл. 1-7.

не хотели проводить одностороннего начала во что бы ни стало, вопреки очевидности. Они поправляли и видоизменяли его там, где эт ого требовали изученные ими явления. Поэтому их исследования остались прочным достоянием науки.

Совсем иначе поступают социалисты. Ухватившись за одностороннее начало труда, они утверждают, что он составляет единственный источник производства и что только им определяется ценность произведений. Участие в производстве природы и капитала отвергается ими всецело. Родбертус уверяет, что кто в хозяйственных благах видит что-либо иное, кроме произведений труда, тот смотрит на них с точки зрения естественной истории, а не хозяйства. Если природа облегчает труд человека, то он может быть ей за это благодарен, но хозяйство обращает на них внимание лишь настолько, насколько труд довершил дело природы. Только в силу этого начала и для него блага становятся хозяйственными (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Beleuchtung der Socialen Frage. S. 69; ср.: Rodbertus-Jagetzow K. Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände. S. 6, 67, примеч.).

Такой взгляд не может не привести в изумление. Пока силы и произведение природы не обращены на пользу человека, они, бесспорно, имеют только естественноисторическое значение, но как скоро они служат человеческим целям и потребностям, отрицать хозяйственное их значение — значит идти наперекор самым очевидным истинам. Труд не только восполняет и довершает действия природы, но он сам довершается действием природы. Человек пашет и сеет, а природа взращивает плоды, и притом весьма неравномерно, что очень чувствительно отражается на хозяйстве. Если на обработку двух десятин, хорошей и плохой земли, положено одинаковое количество труда, и на одной родилось вдвое более, нежели на другой, то невозможно утверждать, что хозяйственное значение имеет здесь единственно труд, а не содействующая ему сила природы. Это значит издеваться над читателем. И самая произведенная ценность будет разная, ибо собранный хлеб будет продан по одной и той же цене, но один землепашец, при одинаковой работе, получил его вдвое больше другого. Очевидно, что этот избыток хозяйственных благ и соответствующих им ценностей определяется не работою, а действием сил природы.

Это до такой степени ясно, что сами социалисты принуждены это признать. Но они утверждают, что в этом случае действие сил природы состоит единственно в том, что они делают работу более производительною. Хозяйственное значение принадлежит все-таки исключительно последней. Но что значит слово производит ельность? Означает ли оно производство полезностей или меновых ценностей? Очевидно первое, ибо производительность работ состоит именно в том, что при одинаковом ее количестве, следовательно, но определению социалистов, при одинаковой ценности произведений, получается их большая сумма. Но от чего зависит эта

большая сумма? На это отвечает сам Родбертус: «Производительность только потому может увеличиваться, что природа все более приходит на помощь труду, что человек заставляет отчасти природу работать за себя. Если двое с одинаковым усилием и в одно время срывают плоды, один с плодового, а другой со скудного дерева, то первый, при одинаковой работе, сорвет больше, нежели другой, получит больше произведений. Его работа производительнее, потому что в его дереве природа более пришла ему на помощь, нежели другому» *. Очевидно, что тут производительнее природа, а не труд. Действием сил природы, а не рук человеческих растет дерево, спел плод, родится теленок. Если эти предметы составляют для человека хозяйственные блага, и потому самому имеют ценность, приписывать произведение этих благ исключительно труду, и утверждать, что силы природы никакого хозяйственного значения не имеют, значит — идти наперекор самому простому здравому смыслу.

То же самое следует сказать и о капитале. Когда машина делает в сто, в тысячу раз более, нежели могли бы сделать люди своими руками, то невозможно утверждать, что машина сама не работает и ничего не производит, а только делает работу людей более производительною. Значение машины состоит именно в том, что она работу людей заменяет действием сил природы. Вследствие этого работа взрослых и умелых людей нередко заменяется работою малолетних; откуда же у последних взялась большая производительность, когда у них и меньше силы, и меньше умения? По теории социалистов выходит, что машина сама не работает, а только делает более производительную работу кочегара. Когда люди силою своих мышц двигают жернова, эта работа производительная, но когда то же самое движение производится рабочею лошадью, ветром, водою или паром, это — работа непроизводительная. Такого рода воззрения сами себя опровергают.

Сам Родбертус принужден признать, что производительность работ зависит от того, что природа привлекается к совместной работе (Rodbertus-Jagetzow K. Das Kapital. S. 253); но все-таки это возвышение производительности он приписывает не капиталу, а положенной на него работе. «Эта большая производительность,— говорит он,— лежит не в орудии, а в работе, равно той, которая создала орудие, как и той, которая умеет им пользоваться» (Ibid. S. 265). Он настаивает на том, что это возвышение производительности «не следует рассматривать так, как будто производительнее стала только работа тех, которые употребляют орудия, и производительность, возрастая, лежит в орудиях; но вся работа соединенных лиц, как тех, которые создали орудия, так и тех, которые их употребляют, стала производительнее» (Ibid).

Ясно, однако, что прошедшая работа перестала существовать и воплотилась в созданном ею орудии. Если она становится про-

* Rodbertus-Jagetzow K. Das Kapital. S. 236.

изводительнее, то эта большая производительность заключается единственно в орудии, то есть в капитале; и если через это дальнейшая работа становится производительнее, то это зависит от пособия, которое дается ей капиталом, то есть от участия последнего в производстве. Но именно этого Родбертус не хочет допустить. В противоречии с собственными признаниями он утверждает, что предшествующая работа, положенная на производство орудия, и последующая, состоящая в обработке материала с помощью этого орудия, находятся друг к другу только в отношении последовательности, а отнюдь не причинности. «Капитал как предшествующая работа, за которою должна следовать другая, как продукт, обращенный на новое производство, как материалы и орудия никоим образом не может относиться к доходу; то есть к совершенной работе, к готовому продукту, к материалам и орудиям, служащим для непосредственного потребления, как источник к вытекающим из него доходам или как причина к следствию, или же только как производящая сила к произведению» (Ibid. S. 250). И далее: «Капитал и доход, очевидно, стоят только в порядке последовательности... Капитал есть не что иное, как первая стадия дохода» (Ibid. S. 252, 253). Ясно, что одно противоречит другому: если это только ряд последовательных работ, то от предшествующей работы производительность последующей не прибавится ни на грош; если же предшествующая работа, подчиняя силы природы человеку, заставляет их работать на его пользу и тем делает новую работу более производительною, то тут есть отношение причинности, а не только последовательности, и тогда капитал становится совместным деятелем производства, производящей силой, умножающею количество произведений. Последнее и есть истинное отношение вещей, первое же есть не более как недобросовестная увертка, придуманная для того, чтобы отделаться от неотразимых выводов, ниспровергающих всю теорию.

Столь же несостоятелен и другой довод Родбертуса против производительной силы капитала. Если бы это свойство ему принадлежало, говорит он, то надобно приписать его даже малейшей его части. В таком случае надобно сказать, что палка, которую дикий сбивает плоды, составляет источник дохода (Ibid. S. 750); надобно приложить это и к материалу, который не составляет часть капитала: надобно признать, что дерево, из которого делается стол, относится к последнему как причина к следствию или что стол есть произведение дерева (Ibid. S. 252). Но где же тут логика? Из того, что материал не относится к произведению как причина к следствию, вовсе не следует, что это понятие не приложимо к машине. Капитал составляется из разных частей, имеющих разное назначение. В философии принято даже название причины материальной. Самые орудия имеют разное значение: игла является страдательным орудием в руках человека; напротив, паровая машина сама есть движущая сила, следовательно,

деятельная причина производства. Поэтому введение машин дает производству совершенно новый характер: в ремесле двигатель есть рабочий, а орудие имеет значение служебное; на фабрике, напротив, главный двигатель есть машина, а рабочие получают при ней служебное значение. С развитием производства совместным действием капитала и работы первый получает все более и более преобладающее значение, а физическая работа человека становится в более и более подчиненное положение.

При таких условиях всего менее позволительно утверждать, что единственная производящая сила в промышленном мире состоит в физической работе человеческих рук и что все остальное имеет только косвенное отношение к производству. Чтобы доказать это положение, Родбертус опять прибегает к началу, заимствованному у английских экономистов, но придавая ему совершенно извращенное значение. Наблюдая то, что происходит в промышленном мире, Рикардо утверждал, что вследствие конкуренции цены произведений постоянно стремятся к уровню издержек производства, включая в последние и обычный процент с капитала и поземельную ренту. Родбертус ухватывается за это начало, но дает ему совершенно иной оборот. Что такое издержки? — спрашивает он. В этом понятии заключаются два элемента: с одной стороны затрата, которая уже не может быть сделана для другого, с другой стороны субъект, которого постигает эта затрата. Из последнего начала следует, что издержки могут относиться только к человеку. К природе как силе деятельной в производстве это понятие относиться не может, ибо сила ее бесконечна и неразрушима. Материал, употребленный для известного продукта, конечно, не может уже быть употреблен для другого: но нужно олицетворить природу для того, чтобы говорить в этом смысле о ее издержках. Человеку же материал дается даром; собственные его издержки состоят в затрате сил, которые он употребляет для обращения материала на свои нужды. Но и в человеческих действиях, говорит Родбертус, надобно различать два элемента: «Участие духа в производстве никогда не может быть названо затратой». Мысль, вносимая в производство, столь же неограниченна и неразрушима, как и руководство работой. И то и другое остается в той же полноте, как оно было до производства. Следовательно, затратой может считаться только физическая сила и время; то и другое принадлежит человеку в ограниченном количестве, в противоположность бесконечному ряду благ, которые требуются для удовлетворения его нужд. А потому истинным мерилom издержек, а с тем вместе и ценностей должно служить измеряемое временем количество физического труда (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände. S. 7, 8).

Таким образом, мысль и воля, то, что дает производству истинно человеческое значение, что покоряет природу и делает

человека царем земли — все это одним почерком пера устраняется из промышленной деятельности. Остается лишь то, что наравне с человеком может делать машина или рабочий скот. Под видом возвеличения человек низводится к их уровню. Но тогда становится уже совершенно непонятным, почему физическое передвижение, производимое человеком, считается производительным, а то же самое передвижение, производимое рабочим скотом или машиной, признается непроизводительным. Едва ли нужно доказывать, что эти жалкие софизмы представляют только полное извращение истинного отношения вещей. Всякому понятно, что именно мысль и воля составляют высшие производительные силы человека в промышленном мире, как и во всем остальном. Истинный производитель есть инженер, который строит машину или железную дорогу, а не кочегар и не землекопы, которые при них работают. Последним принадлежит их скромная доля в исполняемой работе, но назначение их чисто служебное. Они по чужому указанию тратят свою мышечную силу и время и за это получают соответствующее работе вознаграждение; но утверждать, что вся ценность произведений зависит от этого чисто механического труда, а не от мысли и воли, устрояющих и направляющих производство ввиду удовлетворения человеческих потребностей, можно только отказавшись от всякого здравого смысла.

Сам Родбертус принужден признать полезность этих руководящих сил в промышленном производстве. «Нужны не только знания, но и нравственная сила и деятельность для того, чтобы в известном производстве успешно руководить разделением операций массы рабочих», — говорит он. «Те же качества требуются для исследования потребностей рынка, для сообразного с этим употребления средств и для скорого удовлетворения общественных нужд. Редко землевладелец или капиталист не является в этом смысле деятельным в каком-либо отношении. Такого рода услуги производительный рабочий сам не оказывает, да и не может оказывать по характеру своего занятия. А между тем они в национальном производстве безусловно необходимы. Поэтому пока, вообще, всякая обязательная услуга вправе требовать вознаграждения, никто не может сомневаться в том, что капиталисты и землевладельцы, предприниматели и руководители предприятий могут требовать платы за означенные полезные и необходимые услуги, оказанные обществу, так же как и всякий другой за полезные услуги другого рода. Они могут делать это с таким же нравом, как, например, министр торговли или общественных работ, предполагая, что они исполняют свои обязанности». Но, продолжает Родбертус, эти услуги, так же как услуги судей, учителей, медиков и т. п., могут получать свое вознаграждение только из произведений труда рабочих, ибо иного источника материального богатства нет» (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Beleuchtung der Socialen Frage. S. 146).

В действительности разница между этими разрядами лиц заключается в том, что медики, учителя и судьи не участвуют в промышленном производстве, а оказывают обществу и частным лицам другого рода услуги, за которые и получают соответственное вознаграждение. Землевладельцы же и капиталисты основывают и ведут предприятия по собственному почину, на собственные средства и на свой собственный страх и риск. Они исследуют потребности, рассчитывают цели и средства, дают направление делу; если расчет был верен и обстоятельства оказываются благоприятными, то они получают барыш; иначе их постигает убыток. Они не оказывают услуг фантастическому обществу и не получают от него вознаграждения, а ищут своих выгод, стараясь удовлетворить потребителей. Коли это им удастся, они тем самым получают возмещение своих издержек и больший или меньший барыш: если нет, то они теряют часть своего состояния. Рабочий же, исполняющий известную работу по договору, получает за нее вознаграждение, а принесет ли предприятие выгоды или убыток, это до него не касается. Все это составляет естественное и необходимое последствие свободного движения промышленных сил. Как разумное существо человек является свободным и в промышленной деятельности. Ему принадлежат и почин, и направление, и результаты.

Но именно против этого свободного развития промышленности восстает Родбертус. По его мнению, «предоставленное себе производство» основано на совершенно ложных юридических началах, имеющих только преходящее значение. По теории, рабочие суть единственные производители, а между тем их произведения присваиваются не им и не обществу, основанному на разделении труда, а совершенно посторонним частным лицам, которые, будучи владельцами земли и капитала, получают доход без всякого труда. Опираясь на установленное положительными законами право частной собственности на землю и на орудия производства, они присваивают себе все произведенное рабочими, отдавая последним только малую часть их собственных произведений, сколько необходимо для скудного их пропитания; львиную же часть они оставляют себе. Отсюда проистекает нищета одних при чрезмерном обогащении других (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände. S. 72 f; Rodbertus-Jagetzow K. Zur Beleuchtung der Socialen Frage. S. 79).

Каким же образом могло произойти такое совершенно неправильное распределение богатства? Родбертус объясняет это исторически. Пока работа давала только то, что нужно для пропитания человека, никто не мог пользоваться плодами чужого труда. Таково положение охотничьих народов. Но как скоро, с переходом к земледелию, работа стала так производительна, что она могла удовлетворять не только собственные нужды работника, но и чужие, так явилось попятное движение заставить других работать на себя. Отец семейства поработил жену и детей; сильные

покорили слабых. Вместо того чтобы убивать врагов на войне, стали обращать их в рабство. На этом отношении была основана вся промышленность Древнего мира. Затем рабство перешло в крепостное состояние, а наконец, в новейшее время рабочие получили свободу. Но в это время и земля, и капиталы были уже поделены между частными лицами; сами они были выпущены на свободу с пустыми руками, голые или в рубищах. Вследствие этого землевладельцы и капиталисты могли предписывать им какое угодно условие; побуждаемые голодом, они принуждены были на все соглашаться. Работа как товар стала продаваться на рынке по цене стоимости ее производства, то есть за пропитание, потребное для поддержания жизни и для продолжения рода. Все остальное землевладельцы и капиталисты присваивают себе под видом поземельной ренты и процента с капитала. И чем производительнее становится работа, тем меньшая доля совокупного произведения достается рабочим, которые всегда держатся на краю нищеты. Умножающийся избыток их произведений весь поглощается паразитами (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Beleuchtung der Socialen Frage. S. 33, 80 f).

Такова теория, которую доселе на все лады повторяют социалисты. Всякий знакомый с историей и современным положением вещей знает, однако, что дело происходило не совсем так, как представляет его Родбертус. Далеко не везде землевладение явилось плодом завоевания. Даже там, где оно первоначально было приобретено путем насилия, оно с утверждением законного порядка переходило в другие руки на совершенно правильных основаниях. В большей части европейских стран крестьяне посредством выкупа повинностей приобрели в полную собственность ту землю, которую они сами обрабатывали. Казалось бы, трудно найти более справедливое основание поземельной собственности. Другие приобрели земли на собственные средства. Во Франции, во время революции, церковные земли были отобраны и запроданы государством большею частью мелким собственникам. Наконец, в новых странах занятие и покупка пустых земель совершаются ежедневно. Тизэр в своей книге о собственности указывал на примеры американских переселенцев, которые привозят из Европы только свои руки, пару орудий и средства жизни на несколько месяцев, и с этим достоянием поселяются в первобытных лесах, где живут только дикие звери. На это Родбертус отвечает, что руки тут не при чем, а все дело в привезенном с собою маленьком капитале, которым уже огергено начало работы. Этот капитал составляет уже плод вымогат ельст ва, а без него отдельный человек ничего не в состоянии сделать (Ibid. S. 83-84), как будто переселяющийся рабочий не мог накопить маленький капитал из своего собственного заработка, следовательно, без малейшего вымогательства, в Европе и в самой Америке! Когда читаем подобные воззрения, в которых мысль заменяется пустою декламацией, то невольно

спрашиваешь себя: неужели серьезный человек мог добросовестно думать и писать такие вещи?

По существу своему, землевладение основано на праве человека подчинять себе и обращать в свою пользу никому не принадлежащие силы природы. Отсюда первоначальное право охоты, рыбной ловли, соби́рание плодов. Отсюда и право занятия пустопорожних земель. Когда же с землей соединился труд посредством огорожения, расчистки, распашки, то на ней лежит уже часть человеческой личности и она принадлежит лицу неотъемлемо. Он может обрабатывать ее сам или передать ее другому по взаимному уговору. Он может даже совершенно продать ее другому лицу, и тогда новый владелец вступает во все права прежнего и получает весь тот доход, который могут дать производительные силы земли. Все это совершенно просто, ясно и согласно с требованиями справедливости, а потому признается всеми законодательствами в мире. Землевладение, в разных формах, всегда было, есть и будет одним из существеннейших элементов человеческого общежития и одним из важнейших факторов промышленного производства. Только социалисты, отрицающие все действительное во имя своих праздных фантазий, не хотят этого признавать.

Еще более это относится к капиталу. По признанному экономистами и социалистами определению капитал есть произведение, обращенное на новое производство. Как произведение, он является плодом работы, в чем согласны экономисты, которые определяют капитал как накопленную работу. Но для того чтобы это произведение было обращено на новое производство, надобно прежде всего, чтобы оно было сохранено, и притом не на первый только раз, а постоянно: капитал остается постоянным элементом производства, и затрата его должна возмещаться из ценности произведений; поэтому сохранение его является постоянным требованием. А так как всякое дальнейшее развитие производства возможно только вследствие увеличения капитала, то к сохранению должно присоединиться и накопление. Поэтому экономисты утверждают, что капиталы создаются сбережениям и накоплением. Это так просто и ясно, что, казалось бы, тут нет места для возражений. Но именно против этого всеми силами ополчаются социалисты, ибо в таком случае капитал очевидно принадлежит тому, кто его сберег и накопил. Чтоб избегнуть этого вывода, Родбертус отличает национальный капитал и частный. Первый состоит в материалах и орудиях, всегда и везде необходимых для всякого производства; последний же заключает в себе денежные средства, нужные частному предпринимателю для покупки материалов и для найма рабочих. Только первый есть капитал в истинном смысле; но именно он создается, восстанавливается и умножается трудом, а отнюдь не сбережением или накоплением. Материалы и орудия сберегать нельзя; назначение их состоит именно в том, что они затрачиваются в новом произ-

водстве *. Сберегаются деньги, но они, в сущности, не составляют даже капитала: как служащие для непосредственного потребления общества, их следует причислять к доходу (Rodbertus-Jagetzow K. Das Kapital. S. 293, 294). В хозяйстве единичного лица этот частный капитал даже вовсе не нужен, ибо хозяин сам производит свои материалы и орудия и сам применяет к ним дальнейшую работу. Точно так же денежный фонд не нужен в хозяйстве, где весь капитал принадлежит государству. Здесь вместо закупки материалов требуются только распоряжения об обращении их на дальнейшее производство, а вместо заработной платы рабочим выдаются ярлычки, дающие им право на получение известного количества произведений. Частный капитал, по мнению Родбертуса, есть не более как преходящее явление, вызванное неправильным распределением собственности при частном производстве. Но и тут сбережение не составляет никакой заслуги, ибо капиталисты сберегают не свои, а чужие произведения, то, что неправильно отнято у рабочих. По существу дела, они являются только хранителями общественного достояния, служителями общества, а потому сбережение составляет для них прямую обязанность. Делать же эту обязанность основанием права, говорит Родбертус, есть величайшая путаница понятий, в которой когда-либо была повинна какая-либо наука (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände. S. 295 f). Что касается до рабочих и чиновников, то они не должны сберегать; это было бы самовольным умалением всего национального потребления. Поэтому правильный национально-экономический инстинкт воздерживает рабочих от сбережений из их заработной платы (Ibid. S. 290, примеч.).

Это различие между национальным капиталом и частным Родбертус считает важным открытием, которое должно бросить новый свет на темные доселе области общественного развития. Поэтому он ревниво утверждает за собою право первенства в этом открытии (Ibid. S. 301, примеч.). Нужно, однако, немного размышления, чтобы убедиться, что это важное открытие, в сущности, есть полнейшая бессмыслица. Для самого простого здравого смысла ясно, что частный капитал есть капитал, принадлежащий частным лицам, состоит ли он из денег, из материалов или орудий. Выделять же два последних разряда под именем национального капитала нет ни малейшего основания, это не более как пустая фантазия. Общество как целое, то есть государство, имеет принадлежащие ему капиталы, которые, точно так же, как частные, могут состоять из денег, материалов, орудий, зданий, дорог; но они составляют нечто совершенно отдельное от капиталов частных лиц. Эти государственные капиталы вверяются в управление

* Rodbertus-Jagetzow K. Zur Erklärung und Abhilfe der heutigen Creditnoth des Grundbesitzes. S. 284 f; Rodbertus-Jagetzow K. Das Kapital. S. 255 f.

должностным лицам, которые через это становятся хранителями и распорядителями общественного достояния. Но все это до частных капиталов не относится. Владельцы последних не получили их от государства, а создали их собственным трудом и сбережением, или же получили их по наследству от родителей. Поэтому они могут распоряжаться ими как угодно; обладание ими есть право, а не обязанность. Та колоссальная путаница понятий, в которой Родбертус упрекает экономическую науку, существует только в собственной его голове. Экономические, юридические и нравственные понятия смешиваются в ней так, что все покрывается непроницаемым туманом, в котором виднеются только какие-то блуждающие призраки. Столь же несостоятельно утверждение, будто капиталисты сберегают только плоды прежней работы. Если я приобрел и построил машину, то она по праву принадлежит мне, а не рабочим, которые строили ее по моим указаниям и под моим руководством. Если же я продал ее другому лицу, то она принадлежит ему, а не обществу, которое тут не при чем. И если, далее, я вырученную за продажу или за наем машины сумму не употребляю на свои надобности, а сберегаю и употребляю на устройство новых машин, то и последние по праву принадлежат мне, а не рабочим и не обществу. Все это до такой степени просто и ясно, что не может оставлять места ни для малейшего сомнения.

Кроме машин, нужны деньги для покупки материалов и для уплаты рабочим, и для этого опять требуется капитал. В воображаемом хозяйстве единичного лица, конечно, эта потребность отпадает, ибо тут не происходит никакого обмена и никакой расплаты. Точно так же в фантастическом хозяйстве, в котором государство одно является производителем, можно деньги заменить распоряжениями и привычками, но в действительных условиях человеческой жизни, при свободной деятельности свободных людей, без них обойтись невозможно. Фабрикант должен купить материал у первых производителей, которые только через это получают возможность возобновить свое производство прежде, нежели окончательно обработанное произведение дойдет до потребителей. Точно так же он должен заплатить рабочим, не зная даже по какой цене ему удастся продать свои произведения. Родбертус настаивает на том, что рабочий получает свою заработную плату после совершения работы; следовательно, это — не выданный ему аванс, как утверждают экономисты. Но в действительности эта уплата производится прежде, нежели товар продан потребителю, следовательно, это — несомненно аванс, который потом возмещается, а иногда даже и не возмещается из цены произведений. Для рабочих заработная плата, бесспорно, составляет доход, но этот доход постоянно выплачивается им авансом, прежде, нежели доход от предприятия получен предпринимателем, а для этого необходим оборотный капитал. Чтобы избежать этого вывода, Родбертус принужден признать самые деньги доходом; но это

уже такой чудовищный софизм, который показывает только, к каким непозволительным уверткам прибегают социалисты для поддержания своих несообразных теорий. Деньги как выражение общей ценности могут представлять и капитал, и доход. Если деньги, вырученные за проданный товар, предназначаются для покупки предметов потребления, то они представляют доход; если же они обращаются на новое производство, на покупку материалов, орудий или на заработную плату, то нет сомнения, что они представляют капитал, и капитал необходимый для производства. Это не пятое колесо в экипаже, как утверждает Родбертус (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Erklärung und Abhilfe der heutigen Creditnoth des Grundbesitzes. S. 302), а мазь, которая делает, что все колеса могут вертеться.

Но перлом всей этой аргументации является утверждение, что рабочие не должны сберегать, что это — самовольное сокращение национального потребления, от которого удерживает их здравый экономический инстинкт. Очевидно, когда рабочий делает сбережение из своего заработка, то здесь уже никак нельзя сказать, что он обирает других или что он является должностным лицом общества; накопленный капитал, несомненно, принадлежит ему и никому другому. Поэтому здесь остается только совершенно отвергать этот способ действия как противный общественной пользе. То, на чем зиждется все благосостояние рабочих классов, возводится в преступление. Далее этого пустословие не может идти.

Обращенный на новое производство капитал приносит доход. Если вместо того, чтобы употреблять его в свою пользу, я временно предоставляю его другому не как благотворение, а для хозяйственной выгоды, то, очевидно, не только капитал должен быть мне возвращен, но и должна быть положена некоторая плата за его употребление. Она является в виде процента. Основано ли это вознаграждение на требованиях справедливости? Бастиа, который основательно обсуждал этот вопрос, изобразил эти отношения в виде популярного рассказа, который приводит Родбертус: Яков, бедный столяр, работающий 300 дней первоначально без орудий, решает положить 10 дней на устройство рубанка, с помощью которого он остальные 290 дней может выделять больше мебели. Соседний столяр Вильгельм, у которого нет рубанка, видит выгоды этого производства и предлагает Якову уступить ему на год рубанок даром, в виде одолжения. Не скажет ли Яков, что он не знает братства, во имя которого один должен брать на себя работу, а другой извлекает из нее пользу? Будет ли согласно с требованиями справедливости, если выгоды, получаемые от рубанка, достанутся не тому, кто его произвел, а тому, кто не положил на него никакого труда? Столь простые и согласные с истиной представления убеждают и Вильгельма, который соглашается не только возратить в целости рубанок, но и дать некоторую плату за его употребление, то есть капитал возратить с процентом.

На это Родбертус отвечает, что против такого воззрения решительно нечего сказать, кроме того, что оно представляет эти отношения совсем не между теми лицами, между которыми они происходят в действительности, а между совершенно иными, не состоящими друг с другом ни в каких пререканиях. Здесь Яков является владельцем капитала, а Вильгельм предпринимателем. Когда последний занимает у первого капитал, он охотно платит за это процент. На деле же Яков, который делает рубанок, не является его обладателем, а получает за это только скудное пропитание, и точно так же Вильгельм сам не употребляет рубанка, а заставляет работать Ивана, а сам только пользуется плодами его трудов. Вопрос, следовательно, состоит не в том, что предприниматель платит процент капиталисту, а в том, что оба они обирают рабочих и делят между собою их произведения (Rodbertus-Jagetow K. Zur Beleuchtung der Socialen Frage. S. 116-117).

Это возражение может служить примером той подтасовки понятий, к которой так часто прибегают социалисты, когда они стоят перед неустранимым затруднением. Не будучи в состоянии прямо отвечать на вопрос, они переносят его на совершенно другую почву. Аргументация Бастиа, очевидно, вовсе не относится к взаимным отношениям хозяев и работников. Ставится вопрос о справедливости платы за употребление капитала между какими бы то ни было лицами. Рабочие приводятся именно для того, чтобы устранить всякие посторонние соображения. Утверждать, как делает Родбертус, что рабочий никогда не является собственником своих орудий, что крестьянин никогда не имеет своей сохи, плотник своего топора, столяр своего рубанка, сапожник своего шила, можно только вопреки очевидности. Это значит издеваться над читателем. Обыкновенно рабочий сам не производит своего орудия; но он покупает его на свои трудовые деньги, не обирая никого. Если же он для покупки орудия занимает деньги у соседа, или, покупая орудие, обязывается выплатить деньги через год, то он, по естественной справедливости, должен заплатить за это известный процент. Бастиа совершенно верно указывает на то, что сделка, в которой в данный момент обмениваются равные ценности, должна признаваться справедливою; но если одна сторона, получив предмет, обязывается заплатить за него через известный срок, то есть пользуется ценностью, не давши ничего взамен и лишая другую сторону ее употребления, то равенства уже не будет: тут необходима приплата, которая и выражается в проценте. Это до такой степени ясно, что против этого возражать нельзя, и сам Родбертус принужден признать, что когда предприниматель занимает деньги у капиталиста, он, по справедливости, должен заплатить процент. Но если так, то уплата процентов входит в издержки производства и должна возмещаться ценою произведений. Иначе производство будет в убыток. Это одинаково относится к предпринимателю, который ведет производство с наемными рабочими, и к рабоче-

му, занимающему деньги для своего собственного производства. В обоих случаях процент должен выплачиваться/из дохода как вознаграждение за употребление капитала. Следовательно, когда предприниматель вычитывает из получаемого им дохода процент с капитала, он отнюдь не обирает рабочих, участвовавших в производстве, а делает только то, что соответствует самым строгим требованиям справедливости. Процент есть плата за употребление капитала; в нем выражается участие капитала как деятеля производства.

Невозможно поэтому утверждать, как делает Родбертус вместе с другими социалистами, что возмещение капитала из доходов производства ограничивается его тратою (*Ibid.* S. 69 и многие другие). Материал с этой точки зрения всецело входит в новое произведение, а потому и возмещается всецело; орудия же только постепенно приходят в негодность и потому возмещаются по мере траты. Эта теория основана на том, что производительным считается один труд, а потому только количество затраченного труда входит в ценность произведений. Выше мы уже опровергли этот софизм. Но признавая даже, что капитал сам по себе не вносит ничего в новое произведение, все же вложенный в него труд должен быть вознагражден, и притом с процентом за все время, протекшее от исполненной работы до продажи произведения. Если же он был уже оплачен при исполнении работы, то процент должен принадлежать тому, кто его оплатил, то есть предпринимателю, ибо на это он должен был употребить или свой собственный, или занятый капитал. Во всяком случае, в цене произведения должно заключаться возмещение затраченного капитала с процентом от времени затраты до продажи произведения. Если же, что и есть на самом деле, предшествующий труд, ставши капиталом, сам является деятелем производства, то нет причины, почему бы он производил единственно ценность, равную его затрате, а не гораздо больше. Значение капитала состоит именно в том, что он заставляет силы природы работать на человека, а это увеличивает производительность в размерах, которые невозможно даже определить.

При таких условиях чем же определяется величина процента? Тем самым, чем определяется ценность всех вещей — предложением и требованием. Когда капиталов мало, требование на них большое, то процент стоит высоко; когда же капиталы умножаются в большей мере, нежели требование, процент понижается. Главную роль играет тут отношение капитала к народонаселению. С умножением народонаселения увеличивается требование на предметы потребления, а рядом с этим истощаются первоначальные силы природы, соединенные с почвой. Все это должно восполняться капиталом. Если он растет быстрее, нежели народонаселение, процент понижается и производство движется вперед. От этого зависит все промышленное развитие человечества. Родбертус с негодованием указывает на то, что чем производительнее становится работа, тем

меньше доля ее участия в совокупном производстве. Но это составляет естественное последствие все увеличивающегося преобладания капитала. Чем больше покоряемые им силы природы работают на пользу человеку, тем меньше приходится делать физическому труду. Но это ведет не к обнищанию рабочих, как уверяет Родбертус, а, напротив, к увеличению их благосостояния. С одной стороны, когда капитал умножается быстрее, нежели народонаселение, то доход его, выражаемый величиною процентов, понижается, а заработная плата, напротив, растет; с другой стороны, за ту же самую плату рабочий получает несравненно большее количество произведений. Капитал берет себе в виде дохода только малую часть того, что он производит; остальное вследствие свободной конкуренции достается потребителям даром. Увеличивающееся благосостояние рабочих классов в современной Европе служит тому наглядным доказательством.

Кому же принадлежат эти капиталы, умножение которых составляет главное условие промышленного развития? Очевидно, тем, которые сберегли их из своего дохода и обратили их на новое производство, то есть частным лицам. От них они переходят к их наследникам. Это передаваемое от поколения поколению и постепенно умножаемое достояние, умственное и материальное, составляет сущность всего человеческого развития. Это достояние производится и умножается личным трудом, личною мыслью и волею; оно передается от лица лицу, а потому и усваивается лицом. Государство тут не при чем; оно не работает, не производит, а потому не имеет ни малейшего права на создаваемые промышленным развитием капиталы.

Между тем Родбертус утверждает, что только вследствие ложных юридических начал эти капиталы присваиваются частным лицам. По существу дела, они должны принадлежать государству, ибо при разделении труда производство перестает быть частным, а становится совокупным; тут устанавливается настоящий коммунизм. Поэтому и доход от совокупного производства должен быть достоянием всех. Рабочий при таких условиях не может быть собственником своего личного произведения; это произведение до такой степени переплетено со всеми другими, что выделить его нет никакой возможности. Рабочий может только из совокупного дохода получить долю, соответствующую количеству исполненной им работы. При этом Родбертус дает слову доход совершенно оригинальное и ему одному принадлежащее значение. Доход, по его мнению, состоит не в сумме денег, выручаемых из продажи произведений в каждом отдельном производстве, а в тех предметах потребления, которые покупаются на эти деньги и служат удовлетворению человеческих потребностей. Так как эти предметы могут быть самого разнообразного свойства, то очевидно, что доход получается не из того только производства, которое доставляет средства для покупки, а из всех производств, доставляющих пред-

меты потребления. Таким образом, доход каждого производителя является результатом совокупной деятельности всех, а потому он должен составлять общее достояние, которое затем должно распределяться между отдельными лицами сообразно с долей участия каждого в совокупной работе (Ibid. S. 72-74).

Такое распределение возможно, только если цена произведений будет измеряться не деньгами, как теперь, а количеством положенной на них работы. Каждый рабочий должен вместо платы получать ярлычок с означением, сколько дней и часов он работал, и по этому ярлычку он может получать по своему выбору все соответствующие этой цене произведения. И теперь уже, по уверению Родбертуса, цены товаров тяготеют к этой норме; но в предоставленной себе промышленности постоянно происходят колебания в ту или другую сторону. Эти вредные неправильности должны быть устранены. Ценность всех произведений должна быть точно определена на основании времени, положенной на них работы, а для этого необходимо, чтобы вся промышленность сосредоточивалась в руках государства. Тот коммунизм, который существует уже на деле, в силу разделения труда, должен выразиться и в юридических установлениях. Государству должен принадлежать и национальный капитал, и национальный доход. Оно одно может сообразить все потребности, не гадательно только, как ныне, а на основании точных сведений. Оно одно, имея в виду совокупное целое, может выбрать и самые выгодные места для производства, распорядиться, чтобы было заготовлено потребное количество материалов и чтобы эти материалы поступили затем на следующую стадию обработки. Оно одно может произвести и окончательную ликвидацию совокупного дохода, выделив из него сперва то, что нужно на общественные потребности и на жалование должностных лиц, а также и предметы, необходимые для возмещения и умножения национального капитала, и распределив затем остальное между работниками сообразно с временем исполненной ими работы. Все это должно исходить из единого центра, по общему плану, следовательно, премудро и приводиться в действие с помощью целой армии чиновников, заведывающих как производством, так и распределением, и получающих приказание сверху. Чем совершеннее организм, говорит Родбертус, тем он сосредоточеннее *.

Родбертус убежден, что переход от частной собственности к совокупной вовсе не так труден и может совершиться довольно безболезненно для общества (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Creditnoth des Grundbesitzes. S. 275, примеч.). Есть, конечно, затруднения, но они могут быть легко

* Rodbertus-Jagetzow K. Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Creditnoth des Grundbesitzes. S. 107 f, 271 f., 279, примеч. Rodbertus-Jagetzow K. Das Kapital. S. 112 f, 123.

устранены. Первое состоит в том, что труд может быть разный. Прилежный работает скоро, ленивый медленно. В одном производстве труд требует большего напряжения сил, а потому тяжелее, нежели в другом. Как же измерять их одним количеством времени? Родбертус говорит, что это легко устранить, установив для каждого производства нормальный рабочий день, смотря по тяжести работы, и определив для каждого дня урочное положение. Это делается и в настоящее время (Rodbertus-Jagetzow K. Das Kapital. S. 128 f; S. 140).

Но, кроме количества работы, есть и качество. Работа может быть хороша или дурна, низшего или высшего достоинства. Чтобы скорее покончить свой урок, рабочий может работать небрежно. Как же приравнять качественную работу к количественному определению? В настоящее время за плохую работу предприниматель или заказчик платит меньше, нежели за хорошую, или вовсе ее не принимает. Если рабочий недоволен оценкой, он может уйти; если хозяин недоволен рабочим, он может его расчитать. Но при социалистическом производстве уйти некуда и расчитать нельзя. Оценка должна производиться правительственными чиновниками, и каждый раз приходится прибегать к судебному или административному разбирательству, что для промышленного производства представляет величайшую помеху. Но об этом обстоятельстве Родбертус благоразумно умалчивает.

Он очень слегка относится и к вопросу о том, каким образом устанавливаемые для всего государства урочные работы могут прилагаться при постоянно совершающихся улучшениях. Каждое новое изобретение, сокращающее работу, разрушает весь этот стройно установленный порядок. Старые произведения, стоившие большей работы, нельзя продавать по уменьшенной цене, ибо рабочие получили уже за них свои ярлыки с требованием соответствующего работе количества произведений. Новые же произведения нельзя продавать по возвышенной цене, несоответствующей исполненной работе, ибо тогда обмен будет не равное на равное, а меньшее на большее. С своей стороны рабочие могут требовать, чтобы у них не сокращали работы, ибо в таком случае они не в состоянии удовлетворять своим потребностям. Или же для них надобно изобрести какую-нибудь другую работу, которая может быть вовсе не нужна. Очевидно, всякое усовершенствование должно перепутать все расчеты и внести смуту в это строго определенное бюрократическое хозяйство. Управляющие им чиновники будут относиться к нему с тем большим недоброжелательством, что лично они вовсе не заинтересованы в успехе предприятия. Они получают свое жалованье, а конкуренция не допускается. Для устранения этого затруднения Родбертус не придумал ничего другого, кроме срочных ревизий урочных работ (Ibid. S. 1491). Всякое изобретение должно дожидаться, пока правящая бюрократия убедится в его пользе, и тогда при ревизии оно разом будет введено во всем государстве. Можно

себе представить, как успешно будет развиваться промышленность при таких условиях.

Этого мало; надобно еще приспособить производство к потребностям. «Равенство производства и потребностей,— говорит Родбертус,— безусловно необходимо... Установление цены невозможно, пока нет гарантии, что национальное производство точно соответствует национальной потребности. Без такой гарантии, понятно, не может быть и гарантии цен» (Ibid. S. 137, 152, примеч.). Надобно, следовательно, заранее определить все потребности всего народонаселения. Родбертус уверен, что правительство легко может это сделать, собрав нужные статистические сведения. Каждый работник в каждой отрасли производства должен заранее объявить, какую сумму работы он берет на себя в течение года. На этом основании правительство в состоянии определить наперед все потребности, на удовлетворение которых эта сумма работы должна быть обращена (Ibid. S. 125, 133). Ясно, однако, что этот прием далеко не достигает цели. Для определения суммы потребностей необходимо, чтобы каждый рабочий заявил, какие именно предметы ему нужны, обозначив их по предъявленному ему прейскуранту, и чтобы он в течение года не смел уклоняться от этой сметы, ибо иначе равенство между производством и потреблением будет нарушено. Не только не допускаются прихоти, но и всякие случайности должны быть устранены. Выше мы видели, что самое сбережение средств считается самовольным сокращением национального потребления. Или же, что при таких условиях представляется единственно возможным, правительство само должно определять потребности всех и каждого и заставлять граждан следовать его указаниям, воспрещая всякое от них уклонение. Тем или другим способом народ, среди которого устанавливаются подобные порядки, превращается в общество рабов.

Но этим не ограничиваются задачи «общественного учреждения, которое должно поддерживать равенство производства и потребностей» (Ibid. S. 152). Надобно, чтобы произведено было именно столько, сколько нужно для удовлетворения заранее определенных потребностей, а для этого необходимо, чтобы в каждой отрасли находилось требуемое количество рабочих. Если это распределение будет предоставлено собственной их воле, то очевидно, что в одной отрасли окажется больше, а в другой меньше, нежели нужно. Это тем естественнее, что в точном хозяйстве все отрасли при одинаковой поденной оплате одинаково выгодны. Очевидно, более легкие и приятные работы будут привлекать к себе большее количество рабочих, а тяжелых и неприятных работ все будут стараться избегать. Может случиться, как указано было выше, и то, что вследствие усовершенствований работа в известной отрасли сократится и привыкшие к ней рабочие останутся без работы. Как же тут быть? Ясно, что для уравнивания производства и потребностей самое распределение рабочих по различным отраслям

должно совершаться по воле правительства. Принудительный труд составляет необходимое условие социалистического хозяйства. И в этом отношении члены общества становятся рабами. Мы видели, что в своем «Замкнутом торговом государстве» Фихте со своей бесстрашной последовательностью прямо сделал этот вывод. Новейшие социалисты не обладают такою логическою смелостью. Родбертус заявляет даже, что труд должен быть не принуждением, а свободным решением (Ibid. S. 212). Но тут же он прибавляет: «Обязанность страдательного повиновения не идет далее, нежели требуется составленною из личных волей народною волею». А какова эта воля, можно видеть из собственного его изложения.

Представим себе, говорит он, восточного деспота, «собственника земли и людей», наподобие древнеперсидского монарха. Хозяйство в его владениях ведется исключительно распоряжениями и бухгалтерскими оборотами. Нужны только материалы и орудия, а всякий денежный капитал тут излишен. То же самое будет, если мы на место восточного деспота поставим самоуправляющийся народ, которого единая воля совершенно так же направляет производство, как восточный деспот посредством своих слуг. В силу совокупной собственности земли и капитала она имеет такую же возможность обозреть все национальные потребности и производительные средства и обладает таким же полновластием для распоряжения последними, как и слуги староперсидского монарха. При таком порядке существует только одно национальное хозяйство, в котором единая стоящая во главе национально-хозяйственная воля распоряжается всем путем приказаний и бухгалтерских оборотов. Личная собственность существует лишь в отношении к доходу, то есть к предметам потребления; всякое частное предприятие устраняется, а потому всегда является возможность держать производство во всех его частях на уровне потребностей (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Erklärung und Abhilfe der heutigen Creditnoth des Grundbesitzes. S. 271-279).

Итак, в социалистическом государстве, граждане состоят в таком же полном обладании поставленной над ними власти, как подданные восточного деспота. Разница заключается лишь в том, что в одном случае деспотом является единое лицо, возвышенное над частными интересами и стоящее далеко от подданных, а потому менее для них притеснительное; во втором же случае безграничная власть над лицом и имуществом присваивается массе, то есть владычествующей партии, все охватывающей, всюду проникающей, не оставляющей человеку ни малейшего уголка, куда бы он мог укрыться от всеподавляющего гнета. У массы отнята всякая инициатива и всякая деятельность, ибо все сосредотачивается в руках государства, которое имеет в своем распоряжении громадную армию чиновников, исполняющих приказания сверху. Не только общественная, но и вся частная жизнь граждан находится в их

власти. Они распределяют граждан по работам; они распределяют между ними и произведения по заранее составленному плану, от которого не позволено уклониться ни на шаг. И все это, получая движение сверху, неизбежно будет направляться в интересах той партии, которая успеет захватить власть в свои руки. Бороться с нею при таких условиях совершенно невозможно; а если вследствие невыносимого гнета и широко распространенного негодования наконец закипит борьба, то она будет происходить уже не относительно общих политических вопросов, как теперь, а относительно всей жизни и всех интересов. Те бесчисленные столкновения интересов, которые ныне происходят в частной сфере и разрешаются частными сделками, перенесутся в общественную сферу и станут предметом и орудием политической борьбы. Для всякого сколько-нибудь знакомого с действительными условиями существования человеческого общества такой порядок представляется полнейшим безумием.

Нечего говорить о том, что все это здание построено на воздухе. Родбертус уверяет, что он только переводит в юридическую сферу то, что уже существует само по себе силою вещей (Rodbertus-JagetzowK. Das Kapital. S. 121). Но в действительности ничего подобного не существует. Как уже было доказано выше, разделением труда не устанавливается коммунизм. При раздельном производстве нет совокупной работы, а возникает только мена произведений, то есть взаимодействие независимых сфер. Для того чтобы разделенный труд связать в совокупное производство, нужен чуждый работе капитал, нужна и единая направляющая воля предпринимателя. При существующем порядке этот капитал составляет производство и достояние частных лиц, а не общества как целого. Изобретенное Родбертусом различие между национальным капиталом и частным есть лишь так называемый национальный капитал — не что иное, как сумма частных. Точно так же нет и совокупного дохода, который будто бы распределяется после производства. Выставляемое Родбертусом понятие о доходе как о сумме предметов потребления есть извращение настоящего понятия, придуманное единственно для того, чтобы придать тень смысла тому, что не имеет никакого. Доход, по общепринятому, совершенно точному значению, есть то, что каждый получает с своего производства или с своего капитала: землевладелец в виде поземельной ренты, капиталист в виде процента, рабочие в виде заработной платы, предприниматель как прибыль от производства, которая оказывается, когда произведения проданы и из вырученной суммы вычтены издержки. А какое употребление они делают из этого дохода, это совсем посторонний вопрос. Они могут его сберечь и употребить его на новое производство, могут истратить его за границей, обратить его в государственную ренту, пожертвовать его на общественное заведение: от этого значение его не меняется. И это зависит от их воли и ни от чего другого. Доход, столь же мало как

и капитал, составляет достояние общества. Все это совершенно ясно и естественно вытекает из свободных экономических отношений, устанавливающихся между людьми; только при полной путанице понятий можно видеть тут что-нибудь другое. Родбертус уверяет, что то, что экономисты называют ест ест венными законами производства и мены, надобно заменить законами разумными, которые одни свойственны человеку (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Beleuchtung der Socialen Frage. S. 46, 50-53). Но естественные законы суть те, которые вытекают из природы вещей, и правильное употребление разума состоит в том, чтобы их исследовать и понять. Первая и неотъемлемая принадлежность человека как разумного существа состоит в свободе, а потому свободные отношения суть именно те, которые как таковому ему свойственны. Напротив, то, что Родбертус называет разумными законами, представляет только плод праздной фантазии, откинувшей всякие разумные сдержки и всякое отношение к действительности, а потому витающей в облаках. Построенное им здание есть чистая утопия, то есть порядок вещей, который никогда не существовал и не может существовать, ибо он противоречит человеческой природе и законам человеческой деятельности.

Как землевладелец и практический деятель Родбертус готов, однако, идти на компромиссы. Он уверяет, что можно водворить социалистический порядок, никого не обидев. Нужно только, чтобы государство выкупило у землевладельцев и капиталистов все их имущество, заменив его постоянною рентой. Таким образом, с развитием производства они будут получать то же, что теперь, а доля рабочих будет идти возрастающей. Родбертус убежден, что эта платимая государством рента будет составлять наконец весьма ничтожную долю общественного дохода (Rodbertus-Jagetzow K. Das Kapital. S. 117). Зная, что история движется компромиссами, он на первый раз готов даже довольствоваться тем, чтобы при увеличении производительности труда рабочим была обеспечена постоянная доля в совокупном доходе (Rodbertus-Jagetzow K. Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände. S. 28, прим.; Rodbertus-Jagetzow K. Das Kapital. S. 228). Но подобные предложения являются только плодом явной непоследовательности. Если труд признается единственным источником производства, а доходы праздных землевладельцев и капиталистов суть только доли, несправедливо отнятые у настоящих производителей, то с какой стати рабочие будут продолжать вечно платить эти доли из плодов своего труда? Это будет тем накладнее, что и уменьшения тяжести в будущем нельзя ожидать. При бюрократическом хозяйстве производительность будет не увеличиваться, а уменьшаться; а так как при этом нужно оплачивать целую армию чиновников, то что же останется рабочим? Их ожидает полная нищета. Только люди, услаждающиеся праздными фантазиями, могут этого не понять.

Во всех измышлениях Родбертуса мы не нашли даже и тени научных оснований. Кроме фантастических взглядов, извращенных понятий и кривых толкований, мы ничего не могли заметить. Что же сказать о тех современных немецких ученых, которые считают его великим мыслителем и ставят его во главе исследователей экономической науки? Невольно вспоминается приведенное Лессингом⁸ латинское изречение: *primus sapientiae gradus est, falsa intelligere* (первая ступень мудрости — распознавать ложное). В этом заключается задача критики, и без этого нет науки. Современное положение политической экономии в Германии может служить тому доказательством.

2. Лассаль^{*9}

Более философское направление, нежели у Родбертуса, придал немецкому социализму Фердинанд Лассаль, лицо в высшей степени любопытное. По обширности сведений, по тонкости ума, по силе таланта, по глубине философского понимания он мог стать наряду с замечательнейшими учеными нашего времени. Ему недоставало одного: беспристрастного отношения к науке. Рьяный политический фанатизм, который даже в чисто ученой области проявляется нередко в софистических приемах и в злобных выходках, побуждал его постоянно гнуть свои выводы в известном направлении, не только в силу одностороннего развития мысли, но далеко за пределы того, чего требовала мысль. Отсюда беспримерное, может быть, сочетание глубины и легкомыслия, основательных исследований и поверхностных выводов, чисто ученой работы и ярой агитаторской деятельности. Отсюда нескладность в самом составе его произведений: чрезмерное расширение некоторых частей и рядом с этим чрезмерное сокращение других, столь же существенных, единственно с целью сделать поспешный вывод. Прибавим, что Лассаль был еврей. В немецком ученом едва ли бы могло встретиться такое соединение противоречащих свойств.

Первое сочинение, с которым выступил Лассаль, было обширное исследование о Гераклите Темном, Эфесском, одном из величайших философов Древнего мира, еще в то время славившемся своею непонятностью. Здесь Лассаль показал себя замечательным филологом и глубоким знатоком философии. Затем, в 1861 г., он издал другое сочинение по совершенно другому предмету, именно «Систему приобретенных прав» («*Das System der erworbenen Rechte*»). Тут он явился тонким юристом, обладающим громадными сведениями, в особенности же знатоком римского права, которое он в некоторых существенных частях осветил новыми и блестящими мыслями. Но в этом сочинении выказываются вместе с тем и коренные

* Статья о Лассале была напечатана в «Сборнике государственных знаний». Т. V. 1878.

недостатки автора. Оно не имело уже в виду исследование чисто теоретических вопросов, как первое; несмотря на специальное, по-видимому, содержание, цель была практическая. Как автор сам объясняет в своем предисловии, эта книга заключает в себе бесконечно более того, что обещает ее заглавие. Задача, которую он себе положил, была ни более ни менее, как учено-юридическая разработка той политическо-социальной мысли, которая лежит в основании всей современной жизни. Понятие о приобретенном праве, говорит Лассаль, снова подвергается спору, и этот спор составляет животрепещущий вопрос настоящего времени. Несмотря на свое, по-видимому, чисто юридическое значение, этот вопрос, в сущности, гораздо более политический, нежели все политическое, ибо это вопрос социальный (Bd I. Vorrede. S. VII, X) *.

Лассаль указывает на то, что в реакционные эпохи понятие о приобретенном праве получает безмерное расширение, ибо здесь дело идет о том, чтобы сохранить и упрочить права прошедшего. Напротив, в революционные времена это понятие значительно стесняется с целью по возможности ускорить применение новых начал. В современных нам общественных движениях автор видит поворот всемирной истории, начало новой эры, совершенно отличной от прежней, а потому он полагает себе задачею, путем научного труда, облегчить переход от старого порядка к новому (Ibid. Einleitung. S. 35, 49).

Метода, которой Лассаль следует в своих розысканиях, состоит в развитии спекулятивной, то есть чисто философской идеи во всех ее последствиях. Он противопоставляет идею частным соображениям юридического ума, который, несмотря на всю свою тонкость, не в состоянии свести явления к единому началу (Ibid. S. 53, 362-363 и др.). Но вместе с тем он требует, чтобы мысль не оставалась при одних отвлеченностях. Чтобы доказать состоятельность спекулятивной идеи, надобно провести ее по всем явлениям, а для этого необходимо осилить весь фактический материал. Лассаль восстает в этом отношении против учеников Гегеля, которые вместо того, чтобы развить в подробностях начертанную учителем систему, ограничиваются повторением отвлеченных категорий, не вступая на почву действительности (Ibid. S. XI—XIII). Самую же философию Гегеля Лассаль называет «квинтэссенцией всякой научности» (Ibid. S. XIII). Его основные начала и его метода, говорит он, должны остаться вечным достоянием науки (Ibid. S. XVII). Однако он и систему Гегеля считает необходимым подвергнуть полному переустройству. По его мнению, в философии духа Гегель отступил от собственных своих начал. Надобно восстановить правильное развитие идеи и доказать фактически, что в коренных своих по-

* <Здесь и далее ссылки на книгу Лассаля (Lassalle F. Das System der erworbenen Rechte. Leipzig, 1861) даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте.—
Пример. ред.>

ложениях Гегель был гораздо более прав, нежели он сам предполагал. Одним словом, новая философия духа должна быть таким отрицанием системы Гегеля, которое бы само вытекало из этой системы и являлось бы единственным последовательным ее построением (Ibid. Vorrede. S. XVI, также S. 70, примеч.). Лассаль сам думал написать эту философию духа, но практическая деятельность и ранняя смерть не допустили осуществления этого плана.

В чем же, по мнению Лассалья, заключается ошибка Гегеля? В том, что он выдает за логические, то есть вечные и необходимые истины то, что составляет только преходящее проявление исторического духа. Так, в философии права Гегель логически выводит категории собственности, договора, семейства, гражданского общества, между тем как все эти категории в историческом своем развитии изменяются, и те начала, которые признаются в настоящее время, отнюдь не могут считаться необходимыми требованиями духа, а составляют только моменты исторического движения человечества (Ibid. S. XVII-XIX).

Этот упрек совершенно противоположен тем возражениям, которые мы сами сделали против системы Гегеля*. Недостаток исключительного идеализма, который все сводит к началу конечной цели, состоит именно в наклонности понимать самостоятельные элементы жизни как преходящие моменты развития, вследствие чего частное окончательно грозит исчезнуть в общем. Лассаль же, напротив, упрекает Гегеля в том, что он эту односторонность не довел до крайности и развивающимся в истории элементам приписал существенное значение, вместо того чтобы снять их путем диалектического отрицания. Неосновательность этого упрека, с точки зрения Гегелевой системы очевидна. По началам Гегеля, историческое развитие и логическое — одно и то же. Последнее есть процесс чистой мысли, первое — тот же процесс, перенесенный в жизнь. Логические категории составляют необходимое содержание понятия, и это именно содержание развивается в истории. На этом основании Гегель понимает историю как положительное изложение внутреннего существа человеческого духа; во всякой ее ступени он видит проявление известной положительной стороны этого духа, стороны, которая, будучи выработана движением жизни, сохраняется, а не переходит в совершенно другое, как утверждает Лассаль **.

Источник этого неверного взгляда на систему Гегеля заключается в ложном понимании того закона, который лежит в основании как

* См. «Историю политических учений», часть 4.

** Lassalle F. Das System der erworbenen Rechte. S. 72: «...woraus sich dann auch die angeblichen blossen Verschiedenheiten der Austtührung, welche das historische Recht demselben naturrechtlichen Gedanken, derselben Ketegorie zu geben scheint, vielmehr als das Dasein schlechthhin verschiedener und entgegengesetzter Begriffe des historischen Geistes ergeben»¹⁰.

истории, так и логики, именно закона диалектического развития. Диалектика содержит в себе два элемента: положительный и отрицательный. Путем отрицания одно определение переводится в другое, но через это первое не исчезает, а сохраняется как часть высшего целого. С дальнейшим развитием оно снова выделяется из целого как самостоятельное начало, но уже с более полным содержанием, и этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута, с одной стороны, полнота развития частных элементов, с другой стороны, гармоническое их сочетание в целом. Таким образом, ряд диалектических определений составляет развитие положительного содержания понятия; отрицательный же процесс обозначает только их взаимную связь: каждое из них, отдельно взятое, оказывается недостаточным и требует восполнения другими. По понятиям Лассалья, напротив, существенною оказывается именно отрицательная сторона диалектики: а потому все определения понимаются только как преходящие исторические моменты. Ниже мы подробнее разберем этот взгляд, но здесь уже ясно, что идеализм в этом воззрении достигает крайних пределов одностороннего развития. Мы не можем назвать это последовательностью, ибо последовательность не состоит в развитии одной стороны в ущерб другой, отрицательной в ущерб положительной. Истинное значение всякой науки и всякого понимания заключается именно в постижении положительной стороны вещей. Диалектика важна не как отрицательный процесс, а как изложение внутреннего существа предмета посредством повторяющейся смены положительных и отрицательных определений.

Результатом этого ложного взгляда является полное поглощение частного общим. Лассаль прямо это признает. Стремления настоящего времени, говорит он, идут не против индивидуализма, ибо единичное как единичное, то есть то, что принадлежит всем без различия, совпадает с общим; они идут только против завещанного средними веками узла особенностей и (Ibid. S. 263, примеч.). Категории особенного он объявляет войну. Но спрашивается, что же такое личность, если отнять у нее ее особенность? По теории Гегеля, на которого ссылается Лассаль, единичное представляет сочетание общего с особенным. Без последнего элемента оно, действительно, совпадает с общим: лицо становится безразличным проявлением общей субстанции; но это — извращение истинного его характера. Существенный смысл всякого развития заключается именно в выделении особенностей из общей основы, и если расходящиеся особенности должны снова быть приведены к высшему единству, то все же они всегда сохраняют относительную самостоятельность. В этом состоит полнота жизни. Отрицание же особенностей во имя общего элемента может быть только плодом самого крайнего отвлечения. Это хуже, чем возвращение к первоначальной точке отправления, ибо в самой скудной жизни проявляются уже различия. В действительности общее без особенного немыслимо. Сочетать

общее с единичным, перепрыгнув через категорию особенного или выдавши последнюю за преходящий момент, это — такой диалектический скачок, на который способен только мыслитель, ослепленный страстью.

В этих положениях Лассалья мы видим глубочайшие основы его воззрений и связь их со всем предыдущим развитием философии. В дальнейшем изложении мы везде найдем приложение этих начал. В последовательном своем развитии они, несомненно, ведут к отрицанию свободы, ибо как скоро допускается свобода, «как является и неразлучная с нею особенность. Но тут-то и оказывается внутреннее противоречие системы. Лассаль вовсе не думал отвергать свободу, ибо с нею вместе он должен бы был отвергнуть единичное начало, которого она служит выражением и которое он отстаивал против частного. Его задача состояла именно в том, чтобы сочетать свободу с требованиями общей жизни, отвести первой известное место, но так, чтобы она была совершенно бессильна против целого. К этому и клонится теория приобретенных прав. Отсюда то значение, которое получает этот с первого взгляда чисто юридический вопрос.

Приобретенное право составляет область частной свободы. Это — право, присвоенное лицу как его достояние. В правоведении признается общим правилом, что приобретенные права должны оставаться неприкосновенными. С этим в связи находится и другое коренное правило, что закон не имеет обратного действия. Законодатели, политики и юристы единогласно держатся этих начал. Между тем в приложении их являются затруднения. Где граница приобретенных прав? И что именно для нового закона должно оставаться неприкосновенным? По общему правилу новый закон не распространяется на прошедшие действия, но в какой мере может он изменять юридические последствия этих действий, которые продолжают существовать в виде приобретенных прав?

Вопрос в высшей степени важный, но затруднительный для разрешения. Лассаль подвергает его обстоятельному и тонкому разбору.

Он отправляется от самого понятия о том, что закон не имеет обратного действия. Основание этого правила заключается в том, что обратное действие закона составляет нарушение свободы и вменяемости человека. Если бы поступок, законный во время совершения, был впоследствии объявлен незаконным, это было бы искажением человеческой воли. Человек хотел одного, а ему, помимо его, подставляется другое; он хотел известных последствий, которые общая воля признавала законными, а общая воля вместо того навязывает ему совершенно другие, которых он вовсе не имел в виду. Между тем воля человека составляет источник самого права. Нарушение воли есть поэтому нарушение права. Таким образом, тут оказывается внутреннее противоречие в самом законе. Как выражение общего сознания закон должен бы был освещать

одинаковым светом и настоящее, и прошедшее: с этой точки зрения новый закон как проявление высшего сознания должен иметь обратное действие. Но тут он встречается с субъектом как самостоятельным началом и единственным источником своей воли и своих поступков. Это начало должно оставаться для него неприкосновенным, ибо он не может обращать в страдательную, извне определяемую вещь свободу духа, которой он сам составляет высшее проявление (Ibid. S. 55-59).

Из этих начал Лассаль выводит и понятие о приобретенном праве. Если неприкосновенною должна оставаться свобода, то приобретенным должно считаться единственно то право, которое приобретается человеком путем свободы, то есть посредством собственного действия. Всякое другое право, которое присваивается лицу силою закона или действиями посторонних людей, поэтому самому не может считаться приобретенным, следовательно, неприкосновенным. Собственно говоря, замечает Лассаль, закон никогда обратного действия не имеет, ибо он касается только существующих в данное время отношений, а не прошедших; но всякий раз, как он встречается с свободою лица, он останавливается; там же, где нет этого препятствия, он начинает действовать тотчас после издания, не считая приобретенных прежним способом прав ненарушаемыми. На этом основании права, проистекающие из внешних для воли событий, подлежат немедленной отмене (Ibid. S. 60-62).

Лассаль старается провести это понятие по всем юридическим сферам, сознавая, что только полное объяснение явлений служит настоящим оправданием теории. Он доказывает, что даже там, где это понятие, по-видимому, не прилагается, оно скрытым образом лежит в основании юридических определений. Так, в семейном и наследственном праве может казаться, что права приобретаются в силу закона или путем рождения; но в действительности всегда предполагается собственная воля приобретателя: закон считает единство воли между членами семьи. В силу этого начала воля и действия родителей считаются волею и действиями самих детей (Ibid. § 2, A). Точно так же в другой области право на уничтожение обязательств, сопряженных с насилием, обманом или заблуждением, считается приобретенным, хотя казалось бы, что эти обязательства, будучи независимы от свободы, не могут быть источником приобретенного права. Но здесь основанием права является именно несоответствие внешнего действия с внутренней волею. Во имя внутренней воли, нарушенной насилием, обманом или заблуждением, человек приобретает право на уничтожение внешнего действия (Ibid. § 2, B). Далее, в так называемых подобиях договора (*quasi-contractus*), когда, например, одно лицо ведет дело другого без согласия последнего, для обоих возникают известные права и обязанности; но и здесь основанием юридического отношения служит предполагаемая законом нормальная воля лица; всякий здравомыслящий человек в случае несчастия, постигающего

его имущество, желает, чтобы кто-нибудь распорядился, если он сам не может этого сделать (Ibid. § 2, C). К понятию о скрытном договоре может быть подведено и истечение исковой давности: кто не ищет в законный срок, тот добровольно отказывается от юридической защиты своего права; а кто в законный срок не исполняет своего обязательства, тот добровольно принимает этот подарок (Ibid. § 2, E). Таким образом, принятое начало оправдывается даже в тех случаях, которые, по-видимому, всего более от него удаляются. Оно потому именно и может быть признано началом, что оно объясняет все случаи и распространяется на все области. Оно точно так же имеет силу в государственном праве, как и в частном. И здесь то, что вытекает из собственного действия лица, должно оставаться неприкосновенным. Поэтому преступления должны судиться по тому закону, который действовал во время их совершения. Но права, присвоенные лицу самим законом, например выборное право, не считаются приобретенными и могут быть тотчас отменены (Ibid. § 1. S. 79-84; § 7. S. 214-215).

Таково определение приобретенных прав, сделанное Лассалем. Мысль эта не новая. Шталь¹¹, против которого Лассаль сильно полемизирует, выводит приобретенное право из того же самого начала ненарушимости человеческой свободы; но он дает ему более обширное значение, ибо он считает приобретенными все права, присвоенные лицу не только собственными действиями, но и внешними событиями *. Лассаль видит в этом искажение основной мысли, ибо здесь вводится совершенно чуждое ей начало. Но такое расширение понятия, признанное всеми юристами, оправдывается истинным значением свободы. Откуда бы ни истекало право, из собственного ли действия лица или из постороннего события, присвоение означает связь его с личной свободой человека. Становясь своим, оно входит в область личной свободы и делается законным ее выражением. Поэтому начало неприкосновенности личной свободы, несомненно, должно распространяться на все подобные права. Сам Лассаль видит недостаточность выставленной им формулы, но он объясняет это тем, что все формулы недостаточны для выражения богатства конкретных явлений. Единственная формула, говорит он, которая соответствует истине, есть та, которая совпадает с самим понятием: личная свобода воли не должна быть нарушена (Ibid. § 6. S. 189, примеч.). Но именно эта формула заключает в себе все права, составляющие область свободы лица, каким бы путем они ни были приобретены.

Собственные исследования Лассалья подтверждают этот взгляд. Те объяснения, посредством которых он старается подвести под свое начало неподходящие под него явления, представляют очевидные натяжки. Если в семейном и наследственном праве

* Lassalle F. Das System der erworbenen Rechte. § 7. S. 199 f. Cp.: Stahl F.J. Philosophie des Rechts. Bd 2. § 15-18. S. 336-343.

предполагается единство воли, то это предположение, на котором зиждется весь вывод, устанавливается законом, а не волею лиц. Можно еще признать, вместе с Лассалем, что рождение ребенка есть акт свободной воли родителей (Ibid. § 2. S. 87, прНМе4.), но никак нельзя выдавать это за акт свободной воли самого ребенка. То же самое следует сказать и о предполагаемой в *quasi-contractus* нормальной воле, которая, во всяком случае по этой теории, должна бы была уступить воле явно выраженной. Далее, когда, с истечением исковой давности, должник приобретает известное право, пользуясь промахом заимодавца или даже случайными обстоятельствами, помешавшими последнему вовремя предъявить свой иск, то в этом никак нельзя видеть тайного договора. Относительно насилия, обмана и заблуждения, из которых вытекают права потерпевшего, не может быть сомнения, что все это чуждые ему обстоятельства, и если требование основывается на внутренней свободе лица, то отнюдь не на положительных ее проявлениях, а единственно на том, что в означенном действии ее не было, как признает и сам Лассаль (Ibid. § 2, B. S. 110). Но отсутствием воли никто, по теории Лассалья, прав не приобретает; они даются только положительным действием (Ibid. § 2, E. S. 142). То же отрицательное начало лежит и в основании обязательств, вытекающих из преступления, о которых Лассаль умалчивает в теории, но которых он касается в приложениях. Согласно с установленным им определением, он прямо производит их из закона, ибо претерпенное повреждение, как он сам говорит, не что иное, как невольное страдание, следовательно, не может быть источником приобретенных прав. Поэтому, в противность мнению всех юристов, он требует немедленного приложения к ним новых законов (Ibid. Anwend. III. S. 428; также § 7. S. 201). Таким образом, вознаграждение убытков исключается из области приобретенных прав. Между тем оно, очевидно, не составляет произвольного постановления закона. Если принадлежащая мне вещь похищена или уничтожена, я тем самым приобретаю право на вознаграждение. Это составляет необходимое последствие моего права собственности. На этом основании Гроций справедливо причислял вознаграждение убытков к первоначальным требованиям естественного права. Здесь определение Лассалья очевидно оказывается слишком тесным.

Наконец, Лассаль признает, что всякое право, хотя бы оно первоначально истекало из закона, может быть впоследствии усвоено лицом каким бы то ни было добровольным действием, например подачею прошения или даже просто пользованием (Ibid. § 3, 4). Но если так, то почти все права должны быть признаны приобретенными. Всякое присвоение предполагает в приобретающем крайней мере молчаливое согласие, а как скоро он, в каком бы то ни было виде, воспользовался своим правом, оно тем самым становится ненарушимым. Распространяя это начало на государ-

ственную область, как делает Лассаль, мы должны будем сказать, что выборное право, которым раз воспользовался избиратель, не может уже быть у него отнято, а если для пользования нужна запись, то достаточно записаться. Это последнее различие прилагается самим Лассалем к определению действия нового закона в отношении к совершеннолетию. Если, например, вместо 21 года, закон устанавливает совершеннолетие в 25 лет, то, по мнению Лассалья, все лица от 21 года до 25 лет должны немедленно из совершеннолетних снова сделаться несовершеннолетними, хотя уже совершенные ими действия продолжают считаться законными; но если, по прежнему закону, для определения совершеннолетия требовалось какое-либо действие со стороны лица, хотя бы объявление, то право должно считаться приобретенным и не может уже быть нарушено (*Ibid.* § 1. S. 73-74). Достаточно указать на эту проистекающую из теории Лассалья нелепость, чтобы обличить несостоятельность его основной мысли.

Из всего этого ясно, что сделанное Лассалем определение слишком тесно. С другой стороны, он, вместе с Шталем, дает приобретенному праву слишком обширное значение, распространяя его и на область государственных отношений. Шталь идет здесь еще далее Лассалья, ибо он к приобретенным правам причисляет и права, присвоенные лицу законом. Но и теория Лассалья не менее ошибочна. Принявши ее, мы логически должны признать все политические права приобретенными, как скоро для них требуется какое-либо действие со стороны гражданина. Между тем в различии политических прав и частных ближайшим образом раскрывается существо приобретенного права. Закон политический, так же как и гражданский, получает силу только со времени обнародования, следовательно, не распространяется на прошедшие действия; но возникающие из действий политические права никогда не могут считаться приобретенными. В государстве лицо является не самостоятельной особью, а членом высшего целого. Поэтому и права присваиваются ему не в виде собственности, а как органу целого. Политическим правом нельзя распоряжаться по произволу; его нельзя подарить или продать: продажа голоса считается преступлением. Поэтому оно всегда может быть отменено по требованию общего блага, и никто не вправе на это жаловаться, ибо это не частное дело, а общественное. Но если из пользования политическими правами или из исполнения общественных обязанностей возникают частные имущественные отношения, то такого рода права должны считаться приобретенными. Сюда принадлежит, например, право на пенсии. Закон, понижающий их размер, не может распространяться на пенсии уже заслуженные; это было бы нарушением приобретенного права.

Отсюда ясен глубочайший смысл понятия о приобретенном праве. Оно ограждает свободу лица в частной сфере, объявляя ее неприкосновенною для государства. Поэтому оно составляет

драгоценнейшее достояние человека; им утверждается значение лица как самобытной единицы, требующей себе безусловного уважения в присвоенной ему области свободы. Отсюда ясна и та опасность, которая проистекает из смешения в этом отношении государственного права с частным. Если, с одной стороны, такое смешение ведет к превращению политических прав в частную собственность облеченных ими лиц, к чему именно склоняется Шталь, то, с другой стороны, оно точно так же может повлечь за собою вторжение государственных начал в область частной свободы, а это и составляет окончательный вывод Лассалья. Объявивши приобретенное право неприкосновенным как выражение личной свободы, он самое существование прав, к какой бы области они не относились, считает проявлением государственного начала, которому все приобретенные права должны безусловно подчиняться. Пока государство признает известного рода права, оно обязано уважать те из них, которые приобретены законным путем, хотя бы способ и условия приобретения подверглись изменению; но оно может совершенно отменить этот вид прав, и тогда приобретенные права тем самым перестают существовать (Ibid. Einleitung. S. 20-21; § 7. S. 281, примеч.). Таким образом, утвердивши, по-видимому, на прочных основаниях значение лица как самобытного начала, Лассаль в конце концов всецело предает его на жертву изменяющимся требованиям общего духа.

На чем же основывается такой неожиданный вывод?

Неприкосновенность приобретенного права, говорит Лассаль, всегда имеет необходимую свою границу, вытекающую из самой природы вещей. Оно может существовать, только пока права этого рода допускаются общим сознанием. Как же скоро общее сознание требует их отмены, так оно должно исчезнуть, и без всякого притом вознаграждения. Причина ясна. Общее народное сознание составляет единственный источник права. Гегель доказал это неопровержимым образом, и замечательнейшие юристы нашего времени, как Савиньи и другие, признающие право органическим выражением народной жизни, пришли к тому же заключению. Отдельное лицо не может иметь притязания на верховное владычество в своей сфере; оно не может быть своим собственным законодателем, ибо, становясь в противоречие с общим сознанием, оно становится в противоречие с самым существом права. Все приобретенные права имеют силу единственно вследствие общего признания, и как скоро сознание народа изменилось, так они теряют всякую юридическую почву. Отдельное право непременно должно следовать за изменением общей субстанции, из которой оно происходит и которою оно держится. Поэтому все юридические обязательства сопровождаются молчаливым условием, что они сохраняют свою силу, только пока общий закон признает существование подобных прав (Ibid. § 7. S. 193-198). О вознаграждении же в случае отмены не может быть речи, ибо возна-

граждение не что иное, как признание существования отмененного права, хотя и в другой форме. Тут нечего вознаграждать, ибо право с самого начала приобреталось под условием, что оно будет существовать, только пока оно признается законом. Вознаграждение есть признание зависимости народного сознания от частных интересов; это — дань, наложенная на общественный дух за его развитие, иными словами, превращение государственного права в частую собственность известных лиц (*Ibid.* S. 224-225, 228). Лассаль признает это даже похищением чужой собственности (*Ibid.* S. 239).

Нетрудно заметить, что эта, можно сказать, чудовищная теория находится в полнейшем противоречии со всем предыдущим. Там личная свобода признавалась самобытным, неприкосновенным началом; здесь же она безусловно подчиняется изменчивым определениям народного сознания. Очевидно, что при таком взгляде о приобретенном праве не может быть речи. Лицо, доверяя закону, положило свой труд и свое достояние в известные предметы, а закон задним числом лишает его всего этого, объявляя незаконным то, что он прежде признавал законным. Бóльшего насилия против человеческой свободы невозможно придумать; это — чистая ловушка, поставленная законодателем. Утверждать, как делает Лассаль, что всякое юридическое обязательство заключается с тайным условием, что оно будет иметь силу, только пока оно признается законом, — значит на место действительного права ставить свои собственные произвольные фантазии. На существование подобного условия не представлено да и не может быть представлено ни малейшего доказательства. Теория и практика единогласно признают, напротив, что обещанная государством защита составляет долг, который оно во всяком случае обязано исполнить, так же как последующие правительства обязаны платить долги своих предшественников, хотя бы они считали эти долги заключенными в ущерб интересам государства и самые заключившие их правительства признавали незаконными. Если общее сознание считает необходимым отменить известные права, составляющие частное достояние лиц, то оно обязано вознаградить владельцев; иначе это будет не право, а нарушение права. Закон может на будущее время объявить незаконными такие действия, которые прежде считались законными; но он не может без внутреннего противоречия объявить незаконно приобретенным то, что было приобретено законно. Уважение к приобретенным правам, так же как и уплата долгов, составляет необходимое условие преемственности государственной жизни. Это — уважение, оказанное государством самому себе. Признавая себя единым лицом, непрерывно сохраняющимся при смене поколений, оно признает своими принятые им на себя в прежнее время обязательства. Когда Лассаль, извращая мысль Штала, приписывает полную автономию каждому преходящему моменту, как будто он ничем не связан с прошедшим (*Ibid.* S. 205), то этим он уничтожает

всякую преемственность народной и государственной жизни. Вознаграждение за отмену приобретенных прав действительно есть дань, налагаемая прошедшим на настоящее и будущее, но дань справедливая и законная. Это — плата за то, что лицо в своих действиях подчинялось закону и следовало его предписаниям. А без этого начала всякое право и всякая гражданственность превращаются в пустой звук.

И развивая эту теорию, Лассаль ссылается на Гегеля, на Савиньи! Но Гегель, так же как историческая школа, видит в праве прежде всего выражение личной свободы. В этом состоит право в собственном смысле, то, что Гегель называет отвлеченным правом. Общее сознание признает и определяет это начало; но отрицание свободы в законно принадлежащей ей области, хотя бы оно совершалось общественной волею, есть не право, а бесправие. Отдельное лицо может быть тысячу раз правее, нежели законодательное собрание вроде французского конвента, которого действия Лассаль тщетно старается оправдать всякими софизмами. Держась диалектической методики Гегеля, сам Лассаль принужден признать, что в установлении прав является сочетание двух противоположных начал, общего и частного; но единство обоих он видит в том, что, с одной стороны, частное существует не иначе как через посредство общего, вследствие чего оно должно исчезнуть, когда общее изменилось, а с другой стороны, общее, как скоро оно признает законность частного, вводит последнее в свою собственную субстанцию (Ibid. § 13. S. 361-362). Ясно, что тут выходит не сочетание противоположностей, а полное и одностороннее преобладание одного начала над другим. Сочетание противоположностей означает взаимную их зависимость; здесь же частное вполне зависит от общего, а не наоборот. Это один из многочисленных примеров встречающегося у Лассалья злоупотребления диалектикой. Точно так же он утверждает, что так как развитие есть изложение внутренней сущности духа (*sein eigenes Ansich*), то настоящее свое сознание дух считает тайно присущим уже и предыдущим своим действием, а потому он с этой точки зрения обсуждает и все настоящие последствия этих действий, оставляя нетронутыми только последствия уже истекшие. В этом чисто спекулятивном понятии Лассаль видит глубочайшее основание всех своих выводов (Ibid. § 10. S. 317). В другом месте он говорит даже, что настоящее свое сознание дух считает от века существовавшим, ибо оно принадлежит к собственной его сущности (Ibid. S. 314, примеч.). Но очевидно, что если развитие составляет изложение внутренней сущности духа, то и предшествующие ступени должны считаться существовавшими от века, а потому дух не может относиться к ним чисто отрицательно, а должен признать их законность. Полное отрицание прошедшего во имя настоящего разрывает связь ступеней и тем самым уничтожает понятие о развитии. К этому и клонится теория Лассалья. Отсюда можно видеть, насколько развитие спекулятивного понятия, которым щеголяет

Лассаль, в его руках подвинуло науку. Если при правильном понимании диалектического процесса предметы озаряются новым светом, то при малейшей неточности они выставляются в совершенно ложном виде. Но и тут неправильность обличается ближайшим анализом понятия.

Развивая эту теорию абсолютных законов, перед которыми всякое приобретенное право должно исчезнуть, Лассаль понимал однако, что ее невозможно распространить на все, ибо тогда для свободы вовсе не останется уже места и понятие о приобретенном праве должно быть вычеркнуто из науки и практики. Поэтому он делает различие между запретительными законами первого разряда и запретительными законами второго разряда. Одни объявляют известные, доселе существовавшие права вовсе не подлежащими обладанию (*extra patrimonium*), другие воспрещают только известные формы или виды этих прав. К первым вполне прилагается теория абсолютных законов, ибо право может существовать только, пока оно допускается общим сознанием. Ко вторым, напротив, прилагается теория приобретенных прав, ибо если бы лицо знало, что известная форма права будет воспрещена законом, оно выбрало бы другую. Поэтому рядом с вышеизложенным безмолвным условием, в силу которого право продолжает существовать, только пока оно допускается законом, надобно, по мнению Лассалья, принять еще другое безмолвное условие, именно, что пока закон допускает существование известных прав, приобретенное право продолжает существовать в той форме, какая признается законом. Вследствие этого здесь вполне приложимо вознаграждение, то есть превращение права из одной формы в другую (*Ibid.* § 7. S. 225-227, 230-231, 252-254, 267-270).

Таким образом, первая фантазия оказалась недостаточною; надобно присоединить к ней еще другую. Но через это противоречие становится только еще более явным. Лицу дается право жаловаться на отмену установленной формы права: оно может сказать, что если бы это было известно ему заранее, оно выбрало бы другую форму. Но разве оно не вправе сказать то же самое в усиленной степени, когда отменяется самое существо приобретенного им права? Конечно, если бы оно знало это заранее, оно стало бы приобретать не это право, а другое. Оказывается, что частная отмена приобретенного права составляет нарушение свободы, а полная отмена не составляет нарушения свободы, то есть, когда свобода человека нарушается отчасти, ему допускается вопиать о несправедливости и требовать вознаграждения, но когда она нарушается всецело, ему остается только безмолвно повиноваться и считать решение справедливым. Достаточно выяснять эту нелепость, чтобы обличить всю несостоятельность этой теории.

Лассаль старается в подробных примерах объяснить установленное им различие; но тут уже оказывается такая путаница понятий, из которой нет возможности выбраться. В самом деле, что

следует считать существом известного права и что только частной его формой, видом, условием, определением или способом действия — выражения, которые Лассаль употребляет безразлично? (Ibid. S. 227, 253, 268). Частное определение относится к общей сущности, как вид к роду. Но родовое понятие само есть качественно-определенное право, как признает и Лассаль (Ibid. S. 269); иначе оно не было бы действительным правом. Следовательно, оно само составляет вид высшего рода, а потому нет возможности определить, какую отмену следует считать частною и какую всецелою, или, лучше сказать, можно принять то или другое по произволу. Если мы частное определение введем в самое понятие о праве, оно будет принадлежать к его существу, если же мы его выделим, оно будет составлять только известную форму. Таким образом, просто играя определениями, мы можем считать известное право неприкосновенным или подлежащим немедленной отмене, признать данное вознаграждение справедливым удовлетворением или преступным воровством. Это и делает Лассаль в своих выводах.

Прежде всего, он в определение существа юридического отношения вводит не одно содержание права, но и юридическое его основание, то есть способ приобретения (Ibid. S. 226), в прямое противоречие с собственным своим положением, по которому законы, не касающиеся содержания прав, а только тех действий, которыми права приобретаются, принадлежат ко второму разряду (Ibid. S. 268). Затем оказывается, что юридическое основание имеет значение единственно для обязательств, ибо последние определяются именно способом приобретения. В вещных же правах способ определения нисходит на степень безразличного средства или простой формы, вследствие чего законы, воспрещающие известные способы приобретения, в приложении к обязательствам принадлежат к первому разряду, а в приложении к вещным правам ко второму (Ibid. S. 255). Однако и в вещных правах юридическое основание получает значение, если оно превращается в определение самого содержания. Например, из феодальных отношений вытекали для господина известные частные права на лицо и имущество подчиненных. Закон допускал пользование этими правами и на других юридических основаниях, а потому, казалось бы, что это запрещение принадлежит ко второму разряду; но, по мнению Лассаля, феодальное происхождение является здесь качественным определением самого права; следовательно, запретительный закон относится к первому разряду, и права эти должны быть отменены безвозмездно (Ibid. S. 255-256). Точно так же отмена фиденкомиссов и субституций¹² объявляется законом первого разряда. Хотя наследование вообще не воспрещается, но безусловно воспрещается известный его вид или постановление известных условий, стесняющих права наследников (Ibid. S. 218-219, 258). На основании того же различия Лассаль относит ко второму разряду закон, воспрещающий доказывать денежные обязатель-

ства свыше известной суммы показанием свидетелей; но закон, воспрещающий свидетельские показания вообще в денежных обязательствах, принадлежит, по его мнению, к первому разряду, хотя свидетельские показания в гражданских делах вообще допускаются. Лассаль уверяет при этом, что заимодавец не может жаловаться на то, что у него отнято законное право защиты, ибо он находится в совершенно таком же положении, как и тот, кто после издания закона не имеет возможности получить письменный документ (Ibid. S. 270-271). Точно так же к первому разряду Лассаль относит и закон, воспрещающий показания известных родственников, ибо здесь отменяется вообще это определенное право (Ibid. S. 271-272).

Таким образом, отнесение запретительных законов к первому или второму разряду, то есть существование или несуществование приобретенных прав, нарушение или ненарушение человеческой свободы и собственности, зависит от того, куда мы поставим частичку «вообще». В этом отношении у Лассалья встречаются курьезные примеры. Так, разбирая силу судебных решений, он говорит, что закон, отменяющий право женщин получать от соблазнителя вознаграждение за беременность, не отменяет вошедших уже в силу решений, ибо плата денежного вознаграждения вообще не воспрещается. Но закон, отменяющий обязанность отца давать пропитание незаконным детям, уничтожает и вошедшие в силу судебные решения, ибо последние надобно понимать не отвлеченно, как признанное право на денежное вознаграждение вообще, а в их определенной юридической натуре как определения о родственной обязанности давать пропитание (Ibid. § 8. S. 302-303).

Самые количественные определения превращаются Лассалем не только в качественные, но и в родовые. Так, например, закон, воспрещающий брать проценты свыше известного размера, он относит к первому разряду, а потому приписывает ему немедленное действие, даже в приложении к прежде заключенным обязательствам (Ibid. § 7. S. 283-284), хотя, казалось бы, что тут и частички «вообще» нельзя поставить, ибо вообще процентов брать не запрещено, и сам Лассаль, в указанном выше примере, относит ко второму разряду закон, воспрещающий свидетельские показания в денежных обязательствах свыше известного размера.

Окончательно, по этой теории, существование или несуществование приобретенных прав, справедливость или несправедливость вознаграждения зависят не от каких-либо юридических начал, а чисто от субъективного воззрения законодателя. Если законодатель считает возможным существование известного права в какой-либо форме, то при отмене прежних форм сохраняются приобретенные права или дается вознаграждение; если же означенное право вовсе отменяется, то вместе с тем исчезают и приобретенные права и никто не имеет права ничего требовать. Так, в случае возвышения определенного для совершеннолетия возраста с 21 года

на 24, не достигшие последнего возраста, но объявленные совершеннолетними по прежнему закону, сохраняют свое право, если законодатель допускает еще некоторые способы приобретения совершеннолетия до 24 лет, например, посредством брака или объявлением опекунов; но если законодатель не допускает никаких других способов, кроме достижения определенного возраста, то все эти лица из совершеннолетних снова становятся несовершеннолетними (Ibid. S. 267, примеч.). На том же основании Лассаль считает справедливым постановленное прусским законом 1810 г. вознаграждение за проистекающие из феодальных отношений неопределенные работы; ибо в то время законодатель не считал еще феодальных прав подлежащими полной отмене. Но то же самое вознаграждение сделалось неправомерным в 1850 г., когда законодатель пришел уже к новому сознанию, а потому Лассаль объявляет это постановление чистым грабежом, учиненным высшими классами над низшими (Ibid. S. 239, примеч.).

Ясно, что вся эта теория не что иное, как чистая софистика. Ложная в своих основаниях, она оказывается совершенно несостоятельной в своих приложениях. Несмотря на силу и ясность своего ума, Лассаль был не в состоянии выпутаться из той сети, в которую завлекла его предвзятая мысль. Его система приобретенных прав остается памятником потраченных даром усилий и бесплодной диалектики.

Вторая часть сочинения Лассалья посвящена наследственному праву, главным образом римскому. По собственному его заверению (Ibid. Bd II. S. 3-4), он имел целью доказать, что и наследство приобретается не иначе как собственною волею наследника, либо в силу существующего уже единства воли родителей и детей, либо в силу добровольного принятия наследства. Но очевидно, что такого доказательства недостаточно было даже самого подробного исследования постановлений римского права; надобно было провести это начало по наследственному праву всех времен и народов, а этого Лассаль не сделал. Относительно самого римского права доказательство не представлено им вполне. Начало предполагаемого законом единства воли приложимо к сыну, который являлся необходимым наследником отца, без права отказаться от наследства, но не приложимо к рабу, который по завещанию получает свободу и в то же время делается необходимым наследником. Сам Лассаль признает, что освобождаемый раб является наследником как другое лицо, а не как тождественное с завещателем (Ibid. S. 375); а так как от раба не требуется и принятия наследства, то для него наследство становится приобретенным правом помимо его воли. Точно так же легатар¹³, которому отказано было известное имущество по древнейшему способу (*legatum per vindicationem*), становился собственником отказанного предмета в силу самого завещания, без всякого принятия (Ibid. S. 184). Таким образом, основное положение Лассалья осталось недоказанным. Но в сущности, оно

служило ему только предлогом для исследования. Истинная цель автора, которая обнаруживается в его окончательных выводах, заключалась в желании доказать, что все наследственное право имеет чисто историческое значение и разрушается собственным внутренним процессом развития *.

С этой точки зрения исследование получает гораздо высший интерес, но тут еще более поражает нас крайняя его неполнота. Постановленный таким образом вопрос может быть разрешен единственно всемирною историей наследственного права. Вместо того Лассаль подробно исследует одно римское наследство, а остальных едва касается. Предшествующим Риму ступеням посвящается лишь несколько слов. На Востоке, по мнению Лассалья, наследственное право основано на естественном продолжении лица в детях; тут завещание неизвестно. В Греции, где лицо отрешается уж от естественной основы и приобретает самостоятельность, но живет еще общею жизнью с народом, является наследование в силу усыновления, имеющего целью продолжение имени в народе. В Риме, наконец, субъективная воля становится преобладающею; здесь первое место занимает наследование по завещанию, а наследование по закону нисходит на степень вспомогательного средства. Господствующая здесь идея есть бессмертие души, но еще в применении к внешнему миру. Это — ступень, непосредственно предшествующая христианству, которое относит бессмертие к внутренней, духовной сущности человека, отрешенной от внешнего бытия (Ibid. S. 21-25). Лассаль выводит эту идею продолжения воли за гробом из господствовавшего у пеласгов¹⁴ поклонения душам умерших. Покойный считался живущим еще при своем домашнем очаге и властвующим над окружающим миром. Это религиозное воззрение, во всей чистоте своей, сохранилось в Этрурии¹⁵, откуда римляне получили свою веру. Но здесь душа умершего, Ман или Лар¹⁶, является еще ревнивым хранителем своего достояния; подле него для живущих нет свободного места. Задача Рима заключалась в примирении этого темного владычества умерших с свободою живых. Оно совершается посредством завещания, которым умерший устанавливает живого продолжателя своей воли. Через это темная область религиозных представлений переходит в свободную область права, ибо право есть именно осуществление воли во внешнем мире. Поэтому римский дух выразился в праве, так же как греческий дух выразился в свободном искусстве (Ibid. S. 517 f).

* Lassalle F. Das System der erworbenen Rechte. Bd II. S. 586; S. 600-601, 604-608. Ср. брошюры: Lassalle F. Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian, oder Capital und Arbeit. S. 165, примеч. (Chicago, 1872), где Лассаль утверждает, что он в «Системе приобретенных прав» доказал чисто историческое значение **всех** юридических категорий, и в особенности во второй части, наследственного и семейного права.

Из этого коренного понятия следует, что значение римского завещания состоит в продолжении воли умершего, а отнюдь не в передаче имущества. Установленный наследник совершает вечные жертвоприношения лицу умершего и исполняет его волю после его смерти; имущество же может быть роздано совершенно другим лицам в виде частых отказов. Поэтому наследнику противоплагается легатар (Ibid. S. 28-29, 30-40, 66). Лишение наследника всяких имущественных прав составляет даже высшее торжество воли завещателя как чистое выражение лежащего в основании наследства метафизического начала (Ibid. S. 71-72, 482). Но здесь-то именно эта воля встречается с препятствием. В действительности продолжение воли умершего не что иное, как фикция, ибо наследник — все-таки другое лицо, а не то же самое. Поэтому у него непременно есть свой личный интерес, и когда завещатель лишает его имущества, возлагая на него одни тяжести, он с своей стороны отказывается от наследства и тем лишает завещателя высшего блага, продолжения воли после смерти. Отсюда развивающееся в римском праве столкновение двух начал — воли завещателя и интереса наследника. Закон вступает за наследника и требует, чтобы ему уделена была часть имущества. Но этот законодательный процесс составляет искажение чисто римского понятия. Последнее постепенно разлагается вследствие внутреннего своего противоречия. Окончательно продолжение воли превращается в простую передачу имущества; фикция уступает действительности. Но с этим вместе римский дух, который был носителем этой идеи, перестает существовать (Ibid. S. 72-103).

Рядом с имущественным началом развивается и связанное с ним начало кровной семьи. В чисто римском воззрении и для последнего не было места. Личная воля завещателя господствовала безусловно; там, где она не выразилась явно, отыскивалась предполагаемая воля. За недостатком завещания как вспомогательное средство наступало наследование по закону (*ab intestato*). Что же такое наследование по закону по римским понятиям? Явно высказанная воля есть частная воля лица; где этой частной воли нет, остается общий элемент воли, совпадающий с субстанцией народного духа. Поэтому предполагаемая воля лица — не что иное, как общая воля народа или государства. Она-то и выражается в наследовании по закону. Но общая воля народа связывается с лицом не прямо, а через посредство органических союзов, на которые расчленяется государство, именно рода (*gens*) и юридической семьи (*agnati*). Вследствие этого за недостатком завещания и прямых наследников наследует ближайший родственник из юридической семьи (*agnatus*), а за недостатком последнего ближайший член рода (*gentilis*). Они наследуют как представители целых союзов а не в силу кровного родства. Последнее начало (*cognatio*) вводится в наследственное право только позднейшими преторскими эдиктами¹⁷, мало-помалу вытесняя собою первоначальное римское

воззрение. Наконец, за недостатком родича наследником может сделаться всякий римлянин. Кто в течение года владел имуществом умершего, тот в силу давности становится наследником (*usucapī pro herede*). Здесь в наследственное право вводится уже имущественное начало: не продолжение воли влечет за собою приобретение имущества, а наоборот. Но это случай крайности, и он-то и ведет к уничтожению чисто римских понятий: наследственная давность становится началом преторского¹⁸ права. Римское воззрение в себе самом заключало уже семена своего разложения. Весь процесс его развития не что иное, как диалектический процесс его отрицания. Римские понятия переходят в общечеловеческие. Идея продолжения личной воли вытесняется имущественным и семейным началом. Это составляет вместе с тем переход к германскому воззрению (*Ibid.* S. 384 f).

Таков взгляд Лассалья на развитие римского наследственного права. Он проведен во всех подробностях с необыкновенною последовательностью и нередко с значительною глубиной понимания. Но он страдает такими преувеличениями, которые бросают ложный свет как на самое существо наследственного права, так и на историческое его развитие у римлян. Что в римском воззрении первое место занимало продолжение воли умершего, что это начало имело религиозный характер, это несомненно. Но то же самое мы видим и у других народов. Дети наследуют после отца, потому что они считаются продолжателями его личности. Сам Лассаль прямо признает это относительно Востока (*Ibid.* S. 24). Завещание имеет религиозный характер и у христианских народов, именно вследствие того, что оно связано с верою в бессмертие души. Особенность римского воззрения состояла в том, что воля умирающего отца семейства ставилась выше всего, но это не означает преобладания личного начала над семейным. Основание этого права заключалось в том, что в цветущие времена Рима, пока еще крепок был народный дух, каждый гражданин был носителем этого духа. Никто лучше отца семейства не мог распорядиться судьбою семьи. Ограничения потребовались уже во времена упадка народной нравственности, когда явились злоупотребления. Семейное начало так мало устранялось в римском наследовании, что, по признанию самого Лассалья, дети считались прямыми наследниками отца не в силу закона, а по собственному праву, в силу непосредственно существующего единства воли (*Ibid.* S. 229, 231, 238, 252). Если сын не был по имени лишен наследства, то завещание считалось недействительным; следовательно, как признает и Лассаль, надобно было формально уничтожить существующее право, прежде нежели устанавливать новое (*Ibid.* S. 254-255). Явный признак, что в сознании самих римлян завещание считалось позднейшим началом, которому предшествовало семейное наследование. Поэтому, когда Лассаль утверждает, что наследование по закону, или лучше, наследование без завещания (*ab intestato*), ибо таково

было чисто римское понятие, является только как вспомогательное средство при наследовании по завещанию, он принужден, вопреки точному смыслу слова, исключить из наследования по закону наследование членов семьи. Он утверждает, что прямой наследник (*suus*) составляет нечто среднее между наследованием по завещанию и наследованием без завещания (*Ibid.* S. 242, 403), хотя он сам же признает эти два понятия исключаящими друг друга противоположностями (*Ibid.* S. 247, 249, 250, 391), между которыми поэтому не может быть ничего среднего.

Устранив семейное начало, Лассаль принужден далее дать самому наследованию по закону совершенно превратное толкование. Он понимает его не как наследование родственников, а как наследование народа в его органических расчленениях. Поводом к такому толкованию послужило то, что в Риме кровные союзы были вместе с тем органическими членами государства. Но вопрос состоит в том, которым из этих двух значений определяется данное отношение? На это сам Лассаль дает ответ, совершенно противоречащий его выводу. Когда нет завещания, наследуют прямые наследники, состоявшие под властью умершего, а потому имеющие с ним единую волю. Здесь воля считается еще явно выраженной если не в словах, то на деле; когда же прямых наследников нет, закон ищет предполагаемой воли. Что же он в этом случае делает? Он восходит к агнатам¹⁹, то есть к тем лицам, которые состояли или могли состоять вместе с умершим под общею отцовскою властью. Основанием, по толкованию Лассалья, является тут воспоминание о прежнем единении воли. За недостатком же агнатов закон восходит еще выше — к давно прошедшему единению воли под властью родоначальника (*Ibid.* S. 409, 413-414). Очевидно, что во всем этом искании руководящим началом служит личная связь умершего с живыми, соединение их самих или их предков под единою семейною властью, а никак не расчленение государственной жизни. Воля умершего, говорит Лассаль, хотя и предполагаемая, всегда является определенной, то есть относящеюся к другому, определенному лицу (*Ibid.* S. 428). Государство же никогда не получает наследства: за недостатком родичей имение, по древнему римскому праву, считается ничьим, а не обращается в пользу казны (*Ibid.* S. 428). Что касается до приобретения наследства давностью, на которое ссылается Лассаль, то в нем отнюдь нельзя видеть наследования народа как единого целого. Сам Лассаль признает здесь господство имущественного начала. Таким образом, римское наследование без завещания выражает собою вовсе не общую народную волю, расчленяющуюся в органических союзах, а родственные отношения лица в том виде, как они понимались римлянами. В римской семье, как известно, точно так же как и в римском роде, естественное, кровное начало подчинялось началу религиозно-юридическому. Эта чисто народная форма семейных и родовых отношений в течение римской истории мало-помалу уступала место более широкому началу

кровного родства. Сам Лассаль признает, что специально римские воззрения заменились общечеловеческими (Ibid. S. 44,566). Но это было расширение одного и того же семейного начала, а не замена одного начала другим, противоположным.

Точно так же односторонен взгляд Лассалья и на отношение двух элементов наследственного права: продолжения воли умершего и передачи имущества. Невозможно видеть истинное существо римского наследования в метафизическом зуде, по выражению Лассалья, в силу которого умирающий считал высшим осуществлением своей воли лишение наследника всякого имущества. Продолжение воли, как признает и сам Лассаль (Ibid. S. 190, 340), выражается в господстве над подчиненными ей вещами, то есть именно в имущественной области. Личные преимущества умершего не переходят на наследника; не переходит и семейная власть. Самое совершенное жертвоприношение связало с передачею имущества, ибо оно происходит на домашнем очаге. Поэтому, по древнейшей, чисто квинтиской²⁰ форме завешания, *per aes et libram*²¹, наследнику целиком передавалось все имущество, за исключением тех отдельных отказов, которые тут же от него отсекались и делались собственностью легатаров (Ibid. S. 190). Эта древнейшая форма отказа *per vindicationem* и позднейшее явление отказа *per damnationem*²², по которому сам наследник становился распорядителем и обязан был раздавать отказы, служат явным доказательством тому, что первоначально наследник понимался отнюдь не как простой исполнитель воли умершего или как душеприказчик, а именно как владелец совокупного имущества. Говоря об этих двух формах, Лассаль неизбежно принужден впадать в противоречие с собою. С одной стороны, он не может не признать в отказе *per vindicationem* древнейшую, чисто римскую форму (Ibid. S. 195); с другой стороны, согласно с своей теорией, он считает отказ *per damnationem* наиболее соответствующим римской идее (Ibid. S. 195); а наконец, и этот способ уступает отказу *sinendi modo*²³, по которому завещатель опять устраняет наследника и делает его страдательным лицом (Ibid. S. 207-208). Лассаль видит в этом ряд внутренних противоречий самого начала; но противоречие есть только в способе понимания.

Отсюда ясно, что превращение наследника в простого душеприказчика было явлением позднейшего времени. Злоупотребления, возникшие из этого при падении народной нравственности, именно и побудили законодателя к принятию ограничительных мер. Поэтому развитие имущественного начала в римском наследственном праве никак нельзя считать искажением римских воззрений и вторжением чуждых элементов в народную жизнь, как делает Лассаль. Напротив, это было возвращение к первоначально существовавшему, нормальному порядку, но, конечно, возвращение в иной, более широкой форме. Тесное римское воззрение расширяется и становится общечеловеческим.

Таким образом, те внутренние противоречия, которые Лассаль находит в римском наследственном праве, вовсе не существуют. Римское наследственное право не разрушается собственной диалектикой, а переходит только в более широкую форму. Сущность же права, выработанная римлянами, становится достоянием человечества. Этот результат совпадает с тем, что можно назвать истинно-философским взглядом на историческое развитие, с тем взглядом, который видит в истории положительное изложение внутреннего содержания человеческого духа. Принявши воззрение Лассалья, следует сказать, напротив, что все римское наследственное право не что иное, как развитие невозможной фикции; а так как в этом полагается весь смысл римской истории, то вся она превращается в чисто отрицательный процесс, который исчезает, не оставив по себе и следа. И это отрицательное воззрение выдается за последовательное развитие идей Гегеля!

В сущности, указанные Лассалем противоречия относятся не к одному римскому праву, а к наследованию вообще. Это и есть сокровенная мысль автора, которая проглядывает в общности употребляемых им выражений*. По мнению Лассалья, противоречие оказывается между понятием о наследстве и его реальностью, между юридическою фикцией единства воли и действительным существованием различных волей. Очевидно, что это относится не к одному завещанию, но также и к наследованию по закону, ибо дети получают наследство отца именно вследствие того, что они считаются продолжателями личности и воли умершего. Поэтому Лассаль и наследование детей последовательно признает юридической фикцией, хотя он же сам, в других местах, называет рождение детей естественным и истинным продолжением лица умершего**. Между тем такой всемирно-исторический факт, как наследство, невозможно объяснить вымыслами утонченного юридического ума. Существование наследственного права во все времена и у всех народов, казалось бы, должно указать на то, что это не мимолетное историческое явление, а начало, лежащее в самом существе человеческого духа, вытекающее из самых глубоких его основ. И точно, на этом начале духовного единства зиждутся все человеческие союзы, все нравственные отношения, вся духовная преемственность поколений. Не только семейство, но и государство составляет единое целое именно потому, что между отдельными, входящими в состав его лицами признается единство воли. Это

* Lassalle F. Das System der erworbenen Rechte. Bd II. S. 212: «welches wiederum nur die Aeußerung jener fiktiven Natur des Erbbegriffes ist, vermöge welcher der Wille nach seinem Erlöschen forte [istiren und sich als fortexistierend bewähren will]»²⁴ То же на стр. 99.

** Ibid. S. 24: «die natürlieche und wahrhafte Fortpflanzung der Person»²⁵ С другой стороны, на стр. 282: «jene unbedingte und mittelbare Identität des Suus mit dem Erblasser ist eben nur die Rechtsfiction, welche die Naturwahrheit, dass es eine andere selbstwollende Willensperson ist, zurückdrängen kann»²⁶

буквально принимает и Лассаль (Ibid. S. 415), хотя он последовательно должен бы был и государство, и народ выдавать за чистые фикции. Народ и государство образуют единое лицо, несмотря на смену поколений, вследствие того, что позднейшие поколения считаются продолжателями личности и воли предшествующих. На этом основании новые правительства признают себя обязанными соблюдать договоры и исполнять обязательства, заключенные прежними. Это духовное единство лиц, проявляющееся в праве, освящается и нравственностью, и религиею. Вследствие этого дети считают священнойшею обязанностью исполнение воли умерших родителей. На том же основании завешания, не только в Риме, но и у христианских народов, ставились под охрану церкви. Когда человек, отходя от мира, распоряжается всем, что он оставляет после себя, всем, что служило принадлежностью и выражением его личности, он совершает не только юридический, но и религиозный акт, ибо во всех этих распоряжениях господствует мысль об отношении лица к Божеству. С этим связана и вера в бессмертие души, вера, опять же присущая всем временам и народам. Она не служит основанием завешания, но оба понятия тесно связаны: они являются выражением единого начала, убеждения в том, что дух не умирает, а живет, несмотря на разложение плоти. Этим началом человек живет и в настоящей жизни: уверенность в том, что дело его не погибнет, что память его будет чтиться, что воля его будет исполнена, что все, что он любит и что называет своим, будет передано тем, кого он любит, служат ему и побуждением к деятельности и утешением в смерти. Только в силу этого начала человек творит не для одного настоящего дня, а как звено преемственной цепи поколений. Мысль о будущем входит как существенный элемент, в настоящее. Поэтому распоряжения после смерти составляют для человека священнейшее право, которого он не может быть лишен без оскорбления самых глубоких его чувств, без посягательства на духовное его естество.

Таким образом и право, и нравственность, и религия, и философия единогласно утверждают начало духовного единства как составляющее самую сущность человеческого духа. Только чистый материализм может видеть в этом одну фикцию. Для материализма реально одно лишь видимое, физическое разделение особей; для идеализма, напротив, невидимое, духовное единство составляет высшую реальность, ибо в нем выражается истинное существо духа, в противоположность материи. Все учение Лассалья клонится к признанию последнего начала. Мы видели, что у него идеализм доводится до крайности: самостоятельность лица исчезает перед общею субстанцией. Но когда это оказывается нужным для посторонних целей, когда надобно лишить лицо священнейшего его права, тогда пускаются в ход самые грубые материалистические понятия и смело утверждается, что только физическое лицо есть нечто действительное, а духовное единство лиц не что иное, как фикция,

которая разрушается собственным внутренним противоречием. Мы встречаемся здесь с характеристической чертой Лассалья, с чертой, которая служит высшим осуждением всей его деятельности. Тут нет искреннего стремления к правде, а есть коренная фальшь.

Лассаль понимал, однако, что недостаточно наобум кинуть мысль, что все понятие о наследстве составляет чистую фикцию, которая противоречит действительности, а потому разрушается сама собою; надобно доказать эту мысль, проведя ее по всем явлениям. С этой целью он и предпринял обстоятельное исследование римского наследственного права. Вышло ли оно удачно или нет, во всяком случае тут был научный прием: представлено подробное доказательство. Но очевидно, что этого было мало. Вопрос был поставлен общий, а потому решение его требовало такого же исследования наследственного права у всех других народов. Но тут то и оказывается крайняя скудость. Мы видели уже, что Востоку и Греции едва посвящено несколько слов. Затем все развитие наследственного права у новых народов, которое для Лассалья ограничивается одним германским правом, излагается на 33 страницах, большею частью наполненных общими рассуждениями, между тем как исследование римского наследства занимает 570 страниц книги. Уже это одно обстоятельство показывает, с какой легкостью Лассаль думал обойти препятствия, чтобы скорее достигнуть своей цели. Содержание исследования обнаруживает это еще более.

Существо германского наследственного права в чистой его форме состоит в исключительном господстве наследования по закону. Тут нет продолжения воли после смерти, нет завещания; коренным началом является собственное право семейства на имущество умершего, право, имеющее силу уже при жизни владельца, ибо наследственное достояние воспрещено отчуждать без согласия ближайших наследников. Отсюда и право выкупа (*Ibid.* S. 579-584). Эти начала, который Лассаль считает столь противоположными римским понятиям, что между теми и другими нет ничего общего, кроме повода к передаче имущества (*Ibid.* S. 578), выдаются им за специальное историческое выражение германского духа (*Ibid.* S. 586, примеч.), так же как завещание было специальным выражением римского духа. При этом забывается, что те же начала господствовали на Востоке, что к ним склонялось и римское право в своем развитии, что, наконец, эти начала самим автором были признаны общечеловеческими. Вследствие такого взгляда все историческое развитие человечества, которое Лассаль полагает в основание своей системы, теряет свой смысл. По теории Лассалья, предыдущее движение истории, начиная с Востока, выражало собою постепенно освобождение субъективного духа от общей основы. Римское завещание служило ступенью, непосредственно предшествовавшей христианству, в котором идея личного бессмертия достигла высшего своего развития. Каким же образом, сделавши этот шаг, человечество внезапно оказывается на совершенно иной

почве, на первоначальной точке отправления? Почему в историческом движении совершается такой странный поворот, каким образом на одной и той же ступени развития могут господствовать два совершенно противоположных начала,— в религии бессмертие личности, в наследственном праве полное отрицание личной воли, все это остается непонятным. Ясно одно: если действительно германское право представляет возвращение к восточному началу, то есть к первоначальной точке отправления, то оно отнюдь не может считаться выражением преходящей ступени духа, как утверждает Лассаль; в нем очевидно проявляется общечеловеческий элемент. И точно, стоит расширить свой кругозор и сравнить наследственное право всех времен и народов, и везде мы увидим одни и те же основы; везде мы найдем наследство, и везде оно управляется двумя началами: семейным, выражающимся в наследовании по закону, и личным, выражающимся в наследовании по завещанию. Различие народных характеров и исторических эпох проявляется в преобладании того или другого или в способе сочетания обоих, но коренные черты остаются те же. Всего этого, однако, автор не хочет знать. Закрывши глаза на историческое развитие и на сравнительное изучение права, мы должны на слово верить, что завещание есть специально римское учреждение, а семейное наследование специально германское.

Что же становится при этом с теориею приобретенных прав? Если в германском праве нет римской фикции продолжения воли после смерти, если наследник приобретает право на имущество уже по самому своему рождению, еще при жизни родича, которого права ограничиваются правами наследников, то здесь, казалось бы, право приобретается в силу естественного события, а никак, не собственной волею или действием приобретателя. Между тем Лассаль хочет доказать, что его теория прилагается и тут; а так как на юридическую фикцию сослаться нельзя, то он ссылается на философское определение семейства, сделанное Гегелем: «Семейство есть нравственное тождество лиц, связанных единством любви, которое в непосредственной форме является тождеством крови». Отсюда Лассаль выводит, что если уже при формальном римском единении воля действие отца считается действием рожденного от него ребенка, то тем более это прилагается к единству нравственному. В силу господствующего здесь начала любви мы должны признать, что воля отца при рождении ребенка состоит в передаче последнему всех прав, которые могут принадлежать ему по рождению, и эта воля должна считаться собственной волею ребенка (Ibid. S. 579, 585). Таким образом, единение волей, которое объявлялось чистою фикцией, уничтоженною диалектическим развитием римского права, вдруг превращается в общее философское определение, приложимое к совершенно иной системе. Когда нужно было разрушить всемирно-историческое понятие о наследстве, Лассаль утверждал, что между римским и германским

наследственным правом нет ничего общего, кроме повода к передаче имущества; когда же дело идет о приложении теории приобретенных прав, между ними оказывается глубочайшее тождество. Одним словом, доводы берутся из самых разнообразных источников, смотря по тому, что требуется доказать; но о внутреннем их согласии нет и помину.

Этим, однако, затруднения не ограничиваются. Если специально германская форма наследства есть наследование по семейному праву, то как объяснить появление завещания еще в эпоху варварских законов? На это у Лассалья есть готовый ответ. Завещание было заимствовано германцами у римлян просто вследствие непонимания дела. Они не догадывались, что оно совершенно противоречит их взглядам на наследство и необдуманно ввели в свою систему то, что составляет прямое ее отрицание. Поэтому, говорит Лассаль, завещание у новых народов должно быть признано за крупное недоразумение (*ein grosses Missverständniss*), за компактную теоретическую невозможность (*Ibid. S. 589, 593, 595*). В одном месте Лассаль уверяет даже, что завещание обязано бессмысленным своим сохранением в Новое время ученому недоразумению (*Ibid. S. 601*); как будто немецкие ученые, несведущие в римском праве, побудили варваров ввести завещание в свои законы! Между тем сам Лассаль признает, что для завещания было место в германском праве, то есть уже в варварские времена оно оказалось нужным. Дело в том, что неприкосновенным родовым имуществом считалась наследственная недвижимая собственность; движимое же и благоприобретенное имущество состояло в полном распоряжении владельца (*Ibid. S. 582, 589*). Руководясь простым человеческим чувством и естественным смыслом, варвары были убеждены, что хозяин может распорядиться им и на случай смерти. Им не приходило в голову, что воля человека после смерти перестает существовать; что для продолжения ее нужна тонкая юридическая фикция и что эта фикция была не согласна с собственным их духом и воззрением на наследство. Если бы Лассаль был знаком с русским правом, то он увидел бы, что и здесь, без всякого усвоения римских понятий, с древнейших времен было известно завещание. В договоре Олега с греками²⁷ было постановлено, что имущество русского, умершего в Греции, отдается ближним только в случае, если он «не урядил своего имения»; если же он «створить обряжение», то возьмет тот, кому он написал наследовать имение. Точно так же в Русской Правде²⁸ постановлено: «иже кто умирая разделит дом, на том же сто яти; паки ли безряду умрет, то все детям». То же повторяется и в Судебнике²⁹. К вящему удивлению, мы узнаем, что духовные завещания и вообще наследственное право ведались церковью, между тем как, по уверению Лассалья, завещание противоречит христианству, которое, в противоположность римским понятиям, признает бессмертие на небе, а не на земле (*Ibid. S. 606*). Таким образом, не только образованные народы, но и просвещенная

церковь наперерыв усваивали себе начала, совершенно противоречившие их духу и понятиям, просто вследствие плохого знания римского права.

Можно было ожидать, по крайней мере, что это необдуманно усвоенное недоразумение наконец выяснится, что чисто народное начало восторжествует в германском праве; но выходит наоборот. Хотя Лассаль уверяет, что известное начало, искони лежащее в народном духе, исчезает только с смертью самого народа (*Ibid.* S. 545), но тут оказывается, что исчезает именно то семейное право, на котором основывалось германское наследство. В новейших законодательствах права наследников перестают ограничивать свободное распоряжение владельца. «Идея личной свободы,— говорит Лассаль,— настолько развилась в противоположность германскому праву, что собственник сделался единственным и безусловным собственником» (*Ibid.* S. 602). Наследники получают лишь то, что остается при смерти владельца; только в этот момент права их ограничивают волю завещателя. Что же выводит из этого Лассаль? То ли, что новейшие законодательства стараются сочетать свободное распоряжение имуществом с правами будущих поколений, что и составляет истинный смысл закона? Ничуть не бывало. Право завещания, по его мнению, не существует, ибо воля умирающего ограничивается правами наследников. Собственное право наследников на семейное имущество тоже не существует, ибо владелец при жизни может распоряжаться им и отчуждать его, как ему угодно. Следовательно, заключает Лассаль, передача имущества совершается тут единственно по воле государства; семейство является здесь только как государственное учреждение (*Ibid.* S. 603-604).

Едва можно верить своим глазам, читая подобные выводы в серьезном сочинении. Все, что составляет существо наследственного права, отрицается; на место его является новое начало, падающее с неба и не имеющее никакого отношения к предыдущему. По мнновению автора частное право превращается в государственное; всемирное явление, вытекающее из глубочайших основ человеческого духа, заменяется чистым произволом. И это делается одним росчерком пера. Разбирать постепенное движение законодательств, побудительные причины изменений, на что есть громадный фактический материал, автор считает совершенно излишним. Выставленное в начале требование, чтобы общее понятие проводилось по всем явлениям, окончательно забыто. Двух-трех общих фраз и ложных умозаключений достаточно, чтобы покончить с наследованием по закону и объявить завещание Нового времени чистым недоразумением. Мимоходом только разбираются некоторые постановления французского конвента, который Лассаль постоянно берет под свою защиту, и в примечании одобрительно приводится мнение Бриссо³⁰, который утверждал, что право завещания не что иное, как общественный договор (*Ibid.* S. 601, примеч.),— мнение,

последовательно вытекающее из философии XVIII века, но вовсе не согласное не только с истинными началами права, но и с собственной теорией Лассалья.

Лассаль ссылается, впрочем, хотя тоже в немногих словах, и на противоположные друг другу мнения двух великих немецких философов, именно Гегеля и Лейбница (Ibid. S. 585-588, примеч.; S. 604-608). Гегель защищал семейное право как единственное согласное с нравственными требованиями; Лейбниц отстаивал завещание как выражение личного бессмертия. Сообразно с началами идеализма следовало бы сказать, что оба эти воззрения односторонни, что высшая цель состоит в единстве обоих, в сочетании личного начала с общим, свободного распоряжения имуществом с правами будущих поколений. Это и составляет истинное требование философии, равно как и цель законодательства. Но Лассаль относится к делу совершенно иначе. Воззрение Гегеля, по его мнению, не что иное, как сколок с германской системы, то есть принятие преходящего исторического момента за необходимое логическое положение; взгляд же Лейбница, приложимый к римскому праву, противоречит христианскому духу. Оба равно несостоятельны; следовательно, оба должны быть отвергнуты. В результате оказывается нуль.

И после всего этого Лассаль имеет смелость выдавать свою критику за «абсолютный приговор науки, против которого нет ни возражения, ни апелляции» (Ibid. S. 596). И он может ссылаться на все эти невероятно легкомысленные умствования как на неопровержимое доказательство, что все наследственное право имеет только историческое значение. «И друг и недруг скажет вам,— восклицает он,— что во всякой строке, которую я пишу, я являюсь вооруженным всем образованием нашего столетия» *. Действительно, тут есть и глубокий ум, и сильный талант, и обширные знания; но все это легкомысленно попрано ногами для совершенно чуждых науке целей.

И не с одним наследственным правом Лассаль расправляется так легко. Та же участь постигает и начало собственности. Конечно, ни одному серьезному ученому, имеющему в виду одни научные задачи, не могло бы прийти в голову доказывать в нескольких строках, что начало собственности не более как историческая категория. Но Лассаль делает это просто в подстрочном примечании, на которое он впоследствии ссылается как на доказательство своей мысли **. В этой выноске он утверждает прежде всего, что общий ход истории состоит в постепенном стеснении собственности или в большем и большем изъятии тех или других прав из области частного владения. В доказательство он приводит уничтожение фиденкоммиссов, которое, по-видимому, представляет расширение

* Lassalle F. Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch... S. 197 (ниже).

** Ibid. S. 165, примеч.

собственности, ибо наследникам дается право свободного распоряжения имуществом, но в сущности означает стеснение права завещателя распоряжаться своим имуществом после смерти. То же, по мнению Лассалья, следует сказать и об отмене монополий; хотя в своих последствиях эта мера расширяет свободу собственности, но в основании своем она составляет уничтожение исключительного права собственности известных лиц на известные занятия. В первобытные времена, говорит Лассаль, человек все хочет подчинить своему личному произволу. Даже чужая личность становится предметом собственности. Но мало-помалу, с развитием свободы, эта власть стесняется: рабство переходит в крепостное состояние; затем отменяется и последнее. Теперь остается право капиталистов обращать в свою собственность плоды трудов рабочего класса; отмена этого права предстоит в будущем. Настоящее человечество борется еще с завещанными Средними веками понятиями. Германское воззрение на собственность вело к бесконечному ее расширению. Германец продавал себя в рабство, что римлянину казалось невозможным. Вследствие этого в Средние века право собственности распространялось на все: на государственные отношения, на чужую личность, на частные занятия. А так как все подчинялось частному произволу, то несвобода была полная. С Французскою революцией все это изменяется; является новое начало, в силу которого то, что составляло предмет собственности, впредь от нее изымается. С развитием свободы собственность все более и более стесняется. Государственные отношения большею частью уже ей не подлежат; крепостное право отменено; монополии и привилегии уничтожены. Теперь остается уничтожить право собственности некоторых семейств на верховную власть и исключительное право капиталистов на труд рабочих *.

Такова теория Лассалья. При поверхностном взгляде может показаться, что она имеет за себя некоторые основания; но достаточно взглянуть в нее несколько пристальнее, чтобы увидеть в ней чистую софистику. Невозможно серьезно утверждать, что установившееся в Новое время право свободно распоряжаться своим имуществом и выбирать свои занятия в основании своем составляет стеснение права собственности. По средневековому праву исключительная собственность одних стесняла собственность других. Отмена этого стеснения непременно будет ограничением прав первых, но в итоге это — расширение, а не стеснение права. Этим способом можно доказать, что отмена рабства составляет стеснение свободы, ибо этим несомненно ограничивается свобода рабовладельцев располагать личностью подвластных. Поэтому мы никак не можем признать историческое движение новейших законодательств за постепенное стеснение собственности. Совершенно справедливо, что в Средние века право собственности распространялось на такие предметы,

* Lassalle F. Das System der erworbenen Rechte. Bd I. S. 259 и след. примеч.

которые ныне от него изъяты; но это опять говорит против того всемирного исторического закона, который хочет вывести Лассаль. Средние века — не начало истории; почему же в эту эпоху право собственности шире, нежели в Риме? И почему оно в Риме шире, нежели на Востоке? Дело в том, что история Древнего мира идет к постепенному расширению, а не к стеснению собственности. Это движение в Средние века достигается крайних своих пределов; здесь право собственности распространяется на самые государственные отношения. Но этим самым оно в силу диалектического процесса приходит к самоотрицанию. Безмерное расширение собственности одних ведет к несоразмерному стеснению собственности других. Где нет общего, сдерживающего начала, между собственниками возгорается борьба, в которой сильный естественно побеждает слабого и присваивает себе его достояние. Право собственности превращается в монополию и развивается в систему бесконечных стеснений. Это — та же самая диалектика, которой подвергается в Средние века и начало свободы. Безмерная свобода одних составляет отрицание свободы других, из чего, между прочим, видно, что начала свободы и собственности вовсе не противоположны друг другу, как утверждает Лассаль, а напротив, следуют общему закону развития. Собственность сама не что иное, как выражение свободы. Но та же внутренняя диалектика, которая приводит эти начала к самоотрицанию, ведет их далее к высшему примирению. В Новое время лицо, как и требуется его сущностью, изымается из частного владения. С этим вместе слабый получает защиту; стеснения отменяются; свобода и собственность перестают быть достоянием немногих, а становятся достоянием всех. Таким образом, стеснение свободы и собственности в Новое время есть вместе их расширение. В сущности, все это движение представляет только возвращение к римским понятиям, но в более широкой форме, ибо в Риме свобода и собственность присваивались одним гражданам, а не распространялись на рабов; в новых же государствах они присваиваются всем.

Из этого можно видеть, что различные ступени, через которые проходит начало собственности в своем историческом движении, отнюдь не могут быть поняты только как преходящие проявления того или другого народного духа. Они представляют развитие одного, общего всем начала присвоения внешней природы личности человека. Изучение истории вовсе не убеждает нас, что это начало подвергается большему и большему стеснению; напротив, стеснения вводятся только во имя большего его расширения. Что касается до тех задач, которые, по мнению Лассалья, предстоят современному человечеству для того, чтобы довершить ограничение собственности, то в них нельзя видеть ничего, кроме смешения понятий. Наследственная монархия не есть присвоение верховной власти известным семействам в виде частной собственности; это — государственное установление, существующее во имя общего блага.

Отношение же рабочих к капиталистам определяется не началом собственности, а свободным договором. Капиталист не имеет никакого права на труд рабочего, как он имел некогда на труд раба или крепостного. Рабочий предлагает свои руки и получает за это плату по обоюдному соглашению. Выгодны ли для него эти условия или нет, и возможно ли сделать их более выгодными, это — вопрос экономический, который к юридическому понятию о собственности не относится. Давши свободу рабочему, заменивши принудительные отношения добровольными обоюдными обязательствами, одним словом, уравнивши в правах рабочего с капиталистом и оградивши свободу первого, право сделало все, что могло сделать. Фактическое осуществление права выходит из пределов его действия.

Вопрос об отношении рабочих к капиталистам приводит нас к экономическим воззрениям Лассалля, которые он развивал в ряде брошюр, служивших социалистической пропаганде. В них темные стороны автора выступают особенно наглядно. Если уже в серьезных и обширных ученых исследованиях Лассаль так легко относился к важнейшим общественным задачам, то тем более можно этого ожидать в тех случаях, когда он выходил из своего кабинета, чтобы проповедовать свои убеждения народу. Из этих брошюр наиболее общефилософское значение имеет лекция, читанная им перед работниками в 1863 г. и изданная под заглавием «Программа рабочих» («Das Arbeiterprogramm»). Здесь он выставляет идею рабочего класса как господствующее начало современного периода всемирной истории. Эту мысль он доказывает исторически. Вся история новых народов представляет, по его мнению, поочередное преобладание различных общественных классов; Средние века — дворянства и духовенства, Новое время — мещанства, наконец, настоящая эпоха — рабочего класса. Каждый из этих исторических фазисов вытекает из известного состояния экономического быта и влечет за собою известное общественное устройство. В Средние века главным источником дохода была поземельная собственность; она-то и наложила свою печать на весь общественный быт. Политическая власть сосредоточивалась в руках поземельных владельцев; на промышленный труд смотрели с пренебрежением. В силу естественного стремления привилегированных классов сваливать все тяжести на остальных они были изъяты от податей. По принятому обычаю на потребности государства церковь давала свои молитвы, дворянство — свою кровь, народ — свое имущество*. Этот порядок продолжался, пока открытия Нового времени дали новый толчок промышленным силам. С XVI века капитал растет и мало-помалу заслоняет собою поземельную собственность. Это движение завершается Французскою революциею. Как и все революции,

* Lassalle F. Das Arbeiterprogramm. Chicago, 1872. S. 4-6. <Далее ссылки на это издание даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Пример ред.>

имеющие историческое значение, она была только выражением уже совершившегося переворота. Мещанство, которое, по выражению Сизеса³¹, прежде было ничто, теперь сделалось всем, ибо оно фактически занимало уже в общественной жизни первенствующее место. В первую минуту оно считало себя даже тождественным со всею массою народа и в своем торжестве видело дело всего человечества. Но скоро обозначился истинный характер этого движения. Учредительное собрание 1789 г. установило для политических прав имущественный ценз, правда небольшой, но все же ценз; оно исключило всех находящихся в личном услужении, то есть именно рабочий класс. Эти начала в силу логической последовательности не замедлили расшириться. С помощью ценза политические права сделались исключительным достоянием мещанства, так же как прежде они были достоянием дворянства. Посредством косвенных податей большая часть общественных тяжестей была свалена на рабочий класс. Общественное положение стало приобретаться только деньгами. Наконец, посредством залогов и штемпельной таксы газеты, которые в настоящее время служат источниками образования, сделались собственностью имущих. Одним словом, и тут, так же как и в Средние века, господствующий класс налагает свою печать на все общественное устройство и все обращает в свою пользу (Lassalle F. Das Arbeiterprogramm. S. 9-29).

С Февральскою революцией наступает заря новой жизни. Тут впервые вводится всеобщая подача голосов, а с этим вместе рабочий класс выступает на первый план. Но стремления его совершенно иные, нежели у других. Демократия, выражающаяся во всеобщей подаче голосов, не составляет привилегированного класса; она обнимает собою всех, ибо все равно работники на общую пользу. Поэтому начало, господствующее в рабочем классе, есть всеобщее единение и любовь. Отсюда и высшее нравственное его содержание. У привилегированных классов собственные их выгоды противостоят требованиям общего блага и целям человеческого развития. Вследствие этого они всегда находятся в противоречии с собою. Они должны или действовать наперекор голосу разума и совести, или заглушать в себе этот голос. Отсюда господствующий в них эгоизм; отсюда презрение ко всему высокому и святому, к идеальным целям человечества. В рабочем классе нет этого противоречия. Его дело есть дело всего человечества; он может предаваться ему со всею силою личной страсти, без всякого ущерба для других. Поэтому его господство должно принести с собою такое процветание нравственности, просвещения и науки, какого история еще никогда не видала. Наконец, с этим связано и высшее нравственное понимание государства и его задач. Для мещанства государство не что иное, как ночной сторож, охраняющий порядок: оно должно только обеспечивать каждому свободное употребление сил и устранять всякое нарушение права. Для рабочего класса, напротив, государство представляет высшую солидарность всех его членов и общение всех интересов.

Работник знает, что одинокий человек бессилен, что только в союзе с другими он в состоянии побороть природу. Этот союз и есть государство, которого задача состоит, следовательно, в том, чтобы способствовать положительному развитию свободы и человечности. Нравственная его цель — воспитание человечества к свободе. Эта цель до такой степени ему присуща, что оно всегда к ней стремилось, хотя бессознательно, побуждаемое обстоятельствами. Только с господством рабочего класса эта высшая нравственная задача получает настоящую свою почву и может быть последовательно проведена. Отсюда высокое всемирно-историческое призвание этого класса. Он — камень, на котором должна быть построена церковь настоящего (Ibid. S. 29-39).

Лассаль объявляет слушающим его работникам, что в своем историческом изложении он держится точки зрения чистой науки (Ibid. S. 3). В своей речи перед судом, куда он был призван для оправдания, он уверяет даже, что в этом историческом очерке заключается «тем более научной глубины, что не в самом изложении, но под ним, на глубине гор, в пурпурной темноте, лежит масса положительного материала, которого мысленный экстракт оно дает»... «И теперь вы видели,— восклицает он,— что каждое мое слово окружено тройною броней науки и истины» *. Действительно, исторический материал остается тут на недостижимой глубине. Публика же ничего не видит, кроме легкомысленного скакания по верхушкам с тенденциозною целью. Из истории намеренно выбирается то немногое, что нужно автору; остальное, и притом самое существенное, оставляется в стороне.

Справедливо, что в Средние века преобладала поземельная собственность; но не надобно забывать, что тут же возникают и города, которые в некоторых странах, например в Италии, получают первенствующее значение. Не следует забывать и то, что сила духовенства основывалась не на поземельной собственности, а на совершенно ином начале. Вообще, экономические отношения играют тут второстепенную роль. Если средневековое дворянство помогало князю не деньгами, а кровью, то это не значит, что оно сваливало все общественные тяжести на других. Несправедливость начинается только там, где дворянство перестало платить службою, а сохранило изъятие от податей, то есть в Новое время. Но и эта привилегия имела свое значение: это была сделка за потерю политической свободы, а вовсе не пользование властью для корыстных целей. С дворян не брали денег, потому что их не призывали к контролю над расходами. В Англии же, то есть именно там, где дворянство сохранило власть, оно платило наравне со всеми; отсюда крепость английской свободы. Но Англии Лассаль не хочет знать, как будто бы она не существовала.

* Lassalle F. Die indirecte Steuer und Lage der arbeitenden Klassen. Chicago, 1872. S. 90.

Далее, уничтожение средневекового порядка было отнюдь не заменой одного привилегированного сословия другим. Сам Лассаль указывает на то начало, которое было исходною точкою всего развития Нового времени, именно на возникновение «государственной власти как носительницы государственной идеи, независимой от отношений частного владения» (Lassalle F. Das Arbeiterprogramm. S. 8); но это мимоходом брошенное замечание остается у него без всяких последствий, между тем как оно заключает в себе весь смысл последующего исторического движения. Именно вследствие своего высокого положения усиливающаяся королевская власть подает руку низшим сословиям и в особенности среднему, которое, по самому своему значению, как посредствующее звено между противоположными крайностями призвано было содействовать общественному объединению. Уж древние мыслители замечали этот существенный характер среднего состояния; отсюда и роль его в новом конституционном государстве. Но для Лассаля различное политическое значение сословий, так же как и различное политическое значение поземельной и движимой собственности, опять же не существуют. По его теории, сначала преобладала поземельная собственность и все обращала в свою пользу; затем развилась движимая собственность и опять все стала обращать в свою пользу. Кроме эгоистических расчетов, нет ничего.

Известно далее, что политическое развитие Нового времени проходило через различные фазисы. Сперва устанавливается чистый абсолютизм, затем в некоторых странах распространяются демократические идеи, которые выражаются не только в теориях, но и в общественных переворотах. Исходя из Англии, это движение переходит в Америку и наконец завершается Французскою революцией. Казалось бы, ревностному демократу нельзя было не обратить особого внимания на это явление. Но оно не подходит под схему Лассаля, и он, не обинуясь, выдает Французскую революцию просто за торжество мещанства, за выражение преобладания капитала над недвижимою собственностью. Только в первую минуту мещанство признало себя тождественным со всем народом, хотя из истории известно, что под именем третьего сословия во Франции искони разумелся весь народ, за исключением дворянства и духовенства, и на этом его значении основывалась вся сила доводов Сизса, на которого ссылается Лассаль. Умалчивается и о «Провозглашении прав человека и гражданина», в котором, можно сказать, высказалась вся душа Французской революции. Существенно, по мнению Лассаля, то, что Учредительное собрание установило некоторые ограничения права голоса ввиду обеспечения независимости избирателей: этого достаточно для того, чтобы во всем этом движении видеть одну мещанскую революцию. Отсюда Лассаль выводит и новую конституционную монархию, хотя опять же известно, что конституционная монархия XIX века вышла не из революционных начал, а из реакции против этих начал, или, лучше сказать,

из сделки этих начал с началом законной монархии. Но именно это самое существенное явление Нового времени, это сочетание противоположностей, к которому привела практическая жизнь, так же как и теория, безусловно отвергается Лассалем. «Из двух вещей одна! — восклицает он, — Или чистый абсолютизм — или всеобщая подача голосов! Об этих двух вещах можно, при различии воззрений, спорить; но то, что лежит между ними, во всяком случае невозможно, не последовательно и не логично» *. Таким образом, вся история Англии одним росчерком пера объявляется чистою невозможностью. На этом примере можно видеть, до какой нищеты понимания нисходят даже сильные умы, когда они увлекаются односторонними и чуждыми науке целями. Можно быть демократом; можно предпочитать республику конституционной монархии; но кто объявляет конституционную монархию чистою невозможностью, тот уже наверное ничего не понимает ни в истории, ни в политике.

Но, по крайней мере, Америка могла бы привлечь к себе внимание Лассалья. Тут чистая демократия утвердилась уже около столетия; тут он мог проверить на факте, действительно ли господство демократии приносит с собой такое процветание нравственности, просвещения и науки, какого история еще не видала. К удивлению, он и об Америке умалчивает, так же как и об Англии. Дело в том, что утверждение демократии в XVIII веке опять же не подходило под его схему. Этим прерывается историческая последовательность преобладания сословий. Поэтому все демократическое движение XVIII века просто опускается, и заря новой жизни загорается только 24 февраля 1848 г.³²

Чем же, однако, был приготовлен этот новый фазис развития? Лассаль утверждает, что всякая прочная революция является только выражением уже совершившегося общественного переворота. Но здесь мы не только не видим предшествующего падения капитала и развития рабочего класса, а замечаем совершенно обратное явление. Сам Лассаль указывает на то, что изобретение машин повело в новейшее время к громадному развитию фабричного производства, а вследствие того и крупных капиталов, причем положение рабочего класса стало более зависимым, нежели прежде. В силу чего же этот класс внезапно делается господствующим элементом настоящей эпохи? Между тем как преобладание капитала готовилось в течение трех столетий, здесь новая власть падает с неба как бы по мановению волшебного жезла, причем оказывается, что она даже и не имеет настоящей силы, а только стремится к ее приобретению. По признанию Лассалья, рабочий класс стоит пока на самой низкой ступени общественной лестницы, и всеобщее право голоса должно служить ему орудием, чтобы взобраться на высоту.

Что же, однако, ручается нам за то, что этот новый владыка, по примеру прежних, не обратит всех общественных благ в исключительную свою пользу? Лассаль уверяет, что так как демократия обнимает собою всех, то тут уже исключительности быть не может, а, напротив, должно господствовать начало единения и любви. Насколько он был искренен в этих сентиментальных заявлениях, он сам доказал, как скоро он с созерцательной высоты перешел к практической программе. Не прошло и нескольких месяцев, как он, взывая к рабочим, говорил им: неимущие составляют 96 У₂ процентов всего народонаселения; следовательно, государство есть ваше товарищество, товарищество неимущих, а потому, обладая всеобщим правом голоса, вы можете все барыши, принадлежащие ныне имущим классам, обратить в свою пользу *. Ниже мы увидим это подробнее. После этого едва ли можно сомневаться, что все эти толки об эгоизме и безнравственности высших классов и превознесение нравственности низших в устах Лассалья были только пустою декламациею, недостойною ученого, сколько-нибудь себя уважающего. Цель, которую он указывал рабочим, заключалась в одном — в присвоении себе материальных благ, принадлежащих ныне другим, и эту цель он убеждал их достигнуть, захвативши в свои руки государственную власть путем всенародного выбора.

Отсюда то высшее значение идеи государства, которое, по теории Лассалья, должно составлять завершение программы рабочего класса. Нетрудно и тут заметить прежде всего искажение фактической постановки вопроса. Несправедливо, что мещанство видит в государстве только оберегателя порядка и собственности. Либеральная теория юридического государства составляет только одну из отраслей политической философии. Если эта теория где-либо получила преобладание, так именно в демократической Америке. Французское мещанство постоянно и справедливо упрекали в том, что оно слишком многого ожидает от государства, не полагаясь на собственные силы. В Англии в новейшее время преобладание средних классов повлекло за собою значительное усиление государственной деятельности. В Германии теория государства как высшего нравственного организма была выработана мыслителями вышедшими из среды того же мещанства. Конечно, рабочий класс, скорее, нежели другие, может развить эту идею до крайности. Не имея ничего, он, как говорит Лассаль, должен всего ожидать от государства, но в этом-то и заключается опасность, ибо государство не может всего дать. Без сомнения, задача государства как высшего нравственного союза состоит в содействии всему человеческому развитию; но оно не может заменить собою деятельности частных сил и частных товариществ. Государство — высший человеческий союз, но не единственный. Одна из глубочайших мыслей Гегеля в его философии права состоит в различении государства

* Lassalle F. Offenes Antwortschreiben. 3 Aufl. Chicago, 1872. S. 25, 30.

и гражданского общества. Этим только ограждается независимость частной жизни, и деятельность государства вводится в должные границы. Но для Лассалля гражданское общество, так же как и все другие юридически категории, не более как преходящий исторический момент *. Он упрекает либеральное мещанство за то, что оно государство хочет распустить в гражданском обществе **; между тем он не замечает, что провозглашаемое им поглощение гражданского общества государством составляет несравненно большее зло, ибо оно ведет к уничтожению самостоятельности человеческой личности. Если либеральная теория юридического государства должна быть признака ордагсгоратаею и. недостаточжда, то иг шшг односторонне преувеличенное понятие о государстве. Между этими двумя крайностями лежит вся политическая наука.

Чего именно рабочий класс может требовать от государства, это Лассаль изложил в своей практической программе. В 1863 г. в среде немецких рабочих начиналось сильное движение³³. В конституционной борьбе между прусскою палатою и министерством, которая в ту пору была в полном разгаре, либералы старались привлечь рабочих на свою сторону. В то же время Шульце-Делич³⁴ устраивал свои товарищества кредита и потребления. Все эти вопросы волновали низшие классы. В Лейпциге должен был собраться общий немецкий рабочий конгресс. Центральный комитет, заведующий этим делом, обратился, между прочим, и к Лассалю. Последний, в ответ на этот вызов, обнародовал «Открытое ответное письмо» ***, в котором он изложил свою программу действий. Это был сигнал для повсеместной социалистической агитации.

Что же заключала в себе эта программа? В политическом отношении Лассаль советовал добиваться всеобщей подачи голосов, ибо только этим путем народ может получить власть в свои руки. Но для этого рабочий класс должен образовать особую партий), а никак не примыкать к прусским прогрессистам, которые имеют в виду только господство либерального мещанства и все свои надежды для Германии возлагают на отсталую Пруссию. В социальном же отношении Лассаль объявлял все частные товарищества совершенно недостаточными. По его мнению, они могут улучшать судьбу отдельных личностей, но никак не целого класса. Для достижения последней цели нужны более радикальные меры. Рабочий класс, говорит Лассаль, страдает под гнетом железного и жестокого экономического закона, в силу которого, под влиянием предложения и требования, средняя рабочая плата всегда ограничивается необходимыми, по существующему у данного народа обычаю, средствами пропитания. Как скоро плата возвышается,

* Lassalle F Das System der erworbenen Rechte. Bd I. S. 70, примеч.

** Lassalle F Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch... S. 155.

*** Lassalle F Offenes Antwortschreiben an das Central-Comite zur Berufung eines Allgemeinen Deutschen Arbeitercongresses zu Leipzig. 3 Aufl. Chicago, 1872.

так немедленно умножаются браки, народонаселение растет, а с этим вместе усиливается предложение рук, и плата понижается на прежний уровень. Если же заработная плата падает ниже уровня, то проистекающие отсюда бедствия ведут к уменьшению числа рабочих, следовательно, предложения рук, а потому плата опять возвышается на прежнюю высоту, вследствие этого закона, признанного всеми экономистами, из общей суммы производства сперва выделяется часть, потребная для скудного пропитания рабочих, а затем остальное остается барышом предпринимателей. Через это рабочий класс всегда находится на краю нищеты: он исключается из пользования теми благами, которые добываются собственным его трудом. Всякий, говорит Лассаль, кто не признает этого закона или не может указать средства его устранить, не что иное, как пустой болтун. Он или хочет вас обмануть, или сам ничего не понимает (Lassalle F. Offenes Antwortschreiben. S. 13-15).

Но если это действительно железный экономический закон, то как же его устранить? Казалось бы, на это есть только одно средство, а именно поднятием нравственного уровня рабочего класса противодействовать безрассудному заключению браков и беспредельному размножению нищих. Иначе всякие улучшения быта останутся тщетными. Поставленное в более благоприятные условия народонаселение быстро размножится, и все опять придет в прежнее положение. Но Лассаль весьма далек от подобного вывода. Он не довольствуется медленным возвышением уровня; ему хочется полного экономического переворота, вследствие которого низшие классы разом приобрели бы все блага, принадлежащие ныне высшим. Какую цену, восклицает он, может иметь для вас мысль, что настоящее ваше положение лучше, нежели положение рабочих за 80, за 200 или за 300 лет, и какое это может доставить вам удовлетворение? Положение всякого человека измеряется сравнением его с состоянием людей, живущих с ним в одно время. При всех изменениях общественного быта вы постоянно стоите на низшей ступени общественной лестницы, и из этого положения никакие частные товарищества не могут вас вывести. Если бы учреждения Шульце-Делича распространились на весь рабочий класс, то результат был бы один: в силу того же железного закона всеобщее увеличение благосостояния повело бы опять к умножению рабочих, и снова они опустились бы на прежний уровень. Постоянное улучшение их быта возможно только одним путем: надобно, чтобы рабочие сами сделались предпринимателями, через что весь принадлежащий последним барыш обратится в их пользу (Ibid. S. 16-19).

Итак, требуется не постепенное улучшение быта рабочего класса, а уравнивание его с высшими. Удовлетворение состоит не в том, что мне лучше, нежели прежде, а в том, что другим не лучше, нежели мне. Во всей социалистической литературе едва ли можно встретить более циничское воззвание к зависти.

Что же, однако, достигается этим уравниванием? На это отвечают цифры, которые приводит сам Лассаль. Желая доказать, что имущие классы составляют совершенно ничтожное меньшинство перед неимущими, он ссылается на статистические данные, собранные Дитерици относительно подоходного налога в Пруссии. Из них оказывается, что в 1851 г. на 17 миллионов жителей только 44, 400 человек имели свыше 1000 талеров дохода. Средний доход всех этих лиц составлял 2357 талеров (Lassalle F. *Die indirecte Steuer und Lage der arbeitenden Klassen*. S. 51), следовательно, общий доход равнялся 104650800 талеров. Разделивши эту сумму на 17 миллионов, мы получаем на каждого по 6 талеров в год, обогащение, как видно, весьма незначительное. А между тем «железный экономический закон» продолжает действовать, браки и народонаселение умножаются, и скоро все возвращается к прежнему уровню. Только теперь уже брать не у кого, ибо все равно нищие, и самые средства к постепенному улучшению быта прекратились, ибо приращение народного капитала пресеклось. Сам Лассаль признает, что именно зажиточные классы имеют привычку ежегодно откладывать и накапливать часть своих доходов (Ibid. S. 53). В этом состоит главный способ приращения народного капитала; приращение же капитала одно дает возможность умножиться народонаселению, ибо без капитала нет и работы. Поэтому как скоро приращение капитала не идет в уровень с умножением народонаселения, так в силу того же «железного экономического закона» наступает обратное явление: народонаселение непременно должно уменьшаться путем бедствий и голодной смерти. Это и составляет единственный возможный результат всего предложенного Лассалем уравнивания классов. Наука показывает, что иначе и быть не может. Зажиточные классы играют роль общественного органа для приращения капиталов, а от этого приращения зависит все народное богатство. Благосостояние народа поднимается единственно через то, что капиталы умножаются быстрее, нежели народонаселение. Таков именно ход при нормальном экономическом развитии, чему признаком служит постепенное уменьшение процента с капиталов. Оно доказывает, что вследствие усилившегося предложения капиталов приходящаяся на их долю часть общего барыша уменьшается, следовательно, увеличивается часть, приходящаяся на долю труда. Это и есть единственный нормальный способ поднять благосостояние низших классов. Капиталисты являются главными орудиями этого движения.

Этот естественный, нормальный экономический орган Лассаль хочет заменить другим, искусственным, именно государством. Он понимал очень хорошо, что рабочие классы, предоставленные собственным средствам, не в состоянии сделаться предпринимателями, по крайней мере в сколько-нибудь широких размерах. Чтобы убедить рабочих в недостаточности частных товариществ без государственной помощи, он указывает на пример так называемых

Рочдельских пионеров³⁵, которые завели ткацкую фабрику на свой собственный счет. Фабрика употребляла 500 рабочих; капитал же ее состоял из 1600 акций, которые точно так же были разобраны рабочими. Какой же был результат? Тот, что рабочие-акционеры стали утверждать, что весь дивиденд, или барыш от производства, принадлежит им, а собственно рабочие должны довольствоваться одною заработной платою. Из этого Лассаль выводит, что обладание капиталом развращает самих работников и что во всяком случае работающие на известной фабрике не в состоянии, посредством складчины, составить капитал этой фабрики, ибо 500 рабочих нуждаются в 1600 посторонних акционеров. При организации, обнимающей весь рабочий класс, посторонних акционеров уже не будет; следовательно, им неоткуда будет взять средства, которых нет в собственном кармане (Lassalle F. Offenes Antwortschreiben. S. 26-29). Помочь этому недостатку можно только одним способом — кредитом государства: оно должно доставлять рабочим потребный для них капитал. Задача государства состоит именно в том, чтобы содействовать народному развитию и облегчать успехи просвещения. Оно и делает это всякий раз, как является в этом потребность. Лучшим доказательством служат гарантии, которые оно дает железным дорогам, гарантии, при которых весь убыток падает на него, а весь барыш достается предпринимателям. Если оно может вмешиваться таким образом в промышленную область, когда этого требует интерес капиталистов, то тем более оно вправе это делать для улучшения благосостояния всего народа, в интересе рабочего класса, многочисленного из всех. В Пруссии зажиточные классы, имеющие свыше 1000 талеров дохода, составляют только $\frac{1}{2}$ процента всего народонаселения, а имеющие свыше 400 талеров $\frac{3}{2}$ процента; следовательно, собственно рабочий класс составляет $\frac{96}{100}$ процентов всех граждан. А так как государство есть соединение граждан, то ясно, что оно, в сущности, не что иное, как товарищество рабочих. Почему же большое товарищество не придет на помощь мелким, чтобы вывести своих членов из затруднительного положения (Ibid. S. 20-25)?

При этом естественно возникает вопрос: откуда же государство возьмет средства, которых нет у его членов? По определению Лассаля, оно является исключительно товариществом рабочих, а у последних в кармане нет достаточно денег для составления капитала; им нужна посторонняя помощь. Ясно, что эта помощь может быть дана им только из карманов имущих. Государство сначала исключает зажиточные классы из своей среды, затем оно обирает их посредством налогов, а наконец, оно отнимает у них средства жить иначе как работою своих рук, ибо отобранное у них имущество должно в народном хозяйстве заменить их собственные капиталы и предприимчивость. Уравнение происходит полное, но уравнение путем грабежа. Лассаль, правда, прямо не делает этого вывода; он утверждает, что, посредством

кредитной операции можно доставить капиталы рабочему классу, не требуя для этого ни копейки ни от кого *. Но кредит не создает капиталов; он только перемещает существующие, становясь посредником между обладателем и предпринимателем. Когда это перемещение совершится добровольно, оно выгодно для обеих сторон и доставляет барыш посреднику. Здесь же оно происходит насильственно: государство не занимает у одних, с тем чтобы давать займы другим; оно просто путем налогов и монополий кредита забирает все капиталы в свои руки и таким образом становится единственным капиталистом.

Через это государство, очевидно, само делается производителем, ибо производство капиталов составляет одну из существенных сторон промышленной деятельности. Отныне приращение народного капитала должно зависеть исключительно от него. Но в состоянии ли оно исполнить эту задачу? Если есть положение, на котором сходятся и теория, и практика, так это то, что государство не способно быть промышленником. Для получения барыша нужен личный интерес. Лассаль называет начала невмешательства государства в промышленную деятельность «одним из самых неразумных, тупых и враждебных просвещению предрассудков, которые он знает» («eines der unintelligentesten, stupidesten und culturfeindlichsten Vorurtheile, die ich kenne») (Ibid. S. 37); но брань не заменяет доказательств, а часто служит признаком их отсутствия. Доказательств же Лассаль не представил. Он ссылается только на гарантии железных дорог, утверждая, что государство призывается на помощь всякий раз, как этого требуют выгоды капиталистов. Но этот пример говорит скорее против него. Железные дороги, по существу своему, принадлежат государству. Они, как и все дороги, составляют общее достояние; для постройки их нужно принудительное отчуждение частной собственности; конкуренция тут невозможна. А между тем государство все-таки предпочитает отдавать постройку и эксплуатацию их в частные руки, даже на невыгодных для себя условиях, ввиду того, что собственная его деятельность в этой области оказывается еще менее прибыльной. Ясно, что как скоро капиталы перейдут в руки государства, приращение их прекратится, а с тем вместе падут и промышленность, и народное благосостояние. Это — система всеобщего разорения. Возлагая на государство неподобающую ему деятельность, Лассаль насилует природу вещей. Он хочет заменить частный интерес общим в такой сфере, где первый составляет и движущую пружину, и цель деятельности. Если есть начало враждебное культуре и выражающее близорукий взгляд на вещи, так именно это, ибо оно основано на полном непонимании существа и целей государства.

С такою-то программю Лассаль выступил перед немецкими рабочими. Эффект ее был громадный. Это была искра, упавшая

* Lassalle F Arbeiterlesebuch. 5 Aufl. Leipzig. S. 42-44, 46.

на порох. С одной стороны на автора посыпались нарекания, с другой стороны началась страстная агитация. Публичные речи и полемические брошюры следовали друг за другом. Тысячи рабочих стекались, чтобы слушать пламенного оратора, который сделался основателем социалистической партии в Германии. Под его руководством организовался Союз немецких работников³⁶. Вместе с тем он принужден был неоднократно защищаться и перед судом, и тут он с новою силою развивал свою тему. Деятельность была непомерная; но нельзя сказать, чтобы она была привлекательною. Все темные стороны личности Лассалья выступили здесь наружу. Нельзя без грусти и даже без некоторого омерзения смотреть на это легкомысленное развращение народа призраками науки, на эту лесть перед толпою, на это непомерное самопревознесение, на эту площадную руготню, не знающую никаких границ приличия. Даже социалисты не пощажены; Прудона Лассаль называет мелким мещанином (Kleinbtirger) *. Конечно, о научной обработке вопросов не могло быть речи. Сам Лассаль говорит, что он не раз сокрушался о том, что ему не удалось построить теорию, прежде нежели он ринулся во всенародную проповедь. Издавая свою брошюру под заглавием «Г. Бастиа-Шульце фон Делич, или Капитал и работа», он утешает себя только тем, что здесь в полемической, а потому в более живой форме высказаны главные начала его экономических воззрений **. Посмотрим же, что заключает в себе эта брошюра.

Шульце-Делич, так же как и все экономисты, основывал промышленное производство на личной деятельности человека. Для удовлетворения своих потребностей, говорил он рабочим, мы должны полагаться только на самих себя, на данные нам природою силы. Отсюда обязанность попечения о себе; отсюда вменение и ответственность за свои действия. На этом зиждется все человеческое общежитие, даже самый государственный союз. Против этого Лассаль возражает, что эти начала пригодны только для жителей необитаемых островов, или для так называемого состояния природы. В состоянии же общежития силы отдельного человека определяются общественными отношениями, и чем выше развитие, тем больше эта зависимость. Если в юридической области каждый отвечает за свои действия, то в промышленной области, напротив, каждый отвечает за то, чего он не делал. Неурожай или промышленный кризис в Америке лишает английских работников пропитания. Причина этого различия заключается в том, что юридическая область есть поприще личной свободы, тогда как в экономической области, напротив, господствует начало солидарности или общежития (Lassalle F Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch... S. 14-70). При разделении труда, при фабричном

Lassalle F Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch... S. 95, 137, примеч.

Ibid. Vorwort. S. VII-VIII.

производстве для всемирного рынка никто уже не работает для себя, но каждый работает на всех. Производство стало общим; а между тем, по странному противоречию, распределение произведений следует личному началу: произведенное совокупною деятельностью всех становится личным достоянием предпринимателя. Это противоречие между общением производства и крайним индивидуализмом распределения и есть то глубокое зло, которым страдает современное общество (Ibid. S. 35). Вследствие этого вся промышленность превращается в азартную игру, где нет возможности рассчитывать шансы и где поэтому люди то всплывают наверх, то опускаются вниз по прихоти слепого случая. Устранить это зло можно не личною самодеятельностью, а единственно широкими мерами, организующими солидарное производство (Ibid. S. 21-26, 28).

В этом изображении современной промышленности Лассаль забывает одно, именно, что все это совокупное и солидарное производство возникает и держится единственно свободным движением частных сил. Поэтому и распределение богатства руководится теми же началами. Тут нет никакого противоречия, а есть, напротив, глубокое тождество. Вся промышленность основана на личном начале; движущая ее пружина есть личный интерес. Но самое развитие этого начала ведет к взаимности интересов. В силу экономических законов солидарность устанавливается сама собою, без всяких принудительных мер, и это служит явным признаком того, что эти законы суть естественные законы человеческой деятельности. Стремясь к личной своей выгоде, человек принужден работать на других; он производит для людей, живущих за дальними морями. Труд разделяется сам собою; свободные частные силы соединяются в совокупную деятельность. Конечно, в этом есть и риск. Чем более человек расширяет свое производство, тем более он становится в зависимость от отдаленных влияний. Нет промышленного устройства, которое бы ограждало производителей от неурожая или от неверных расчетов. Но этим не уничтожаются ни самодеятельность, ни ответственность человека; он не становится страдательным орудием внешних сил. Напротив, так как риск здесь в обе стороны, и в итоге выгоды значительно перевешивают невыгоды, то самый этот риск служит сильнейшим побуждением к деятельности. Ограничиваясь более тесною сферою, производитель менее рискует, но зато он менее выигрывает. Много сил остается без употребления, и в промышленности является застой. Поэтому всякая система, которая имеет в виду уничтожение этого риска и замену живого взаимодействия частных сил общими органическими мерами, то есть мертвым правительственным схематизмом, не может иметь иного результата, кроме упадка промышленности. Она уничтожает внутреннюю, движущую ее пружину, то, что дает ей жизнь и развитие; на место естественной взаимности она ставит искусственную; одним словом, она хочет

основать промышленность на совершенно несвойственных ей началах. И тут частное поглощается общим, между тем как именно в этой сфере частное в силу естественных законов составляет начало и конец всего движения.

Но Лассаль уверяет, что в этой борьбе сильные покоряют себе слабых: капиталисты обращают в свою пользу труд рабочих. Хотя рабство и крепостное состояние исчезли, однако рабочий остается в полной зависимости от капиталиста. Он не может работать без капитала, а так как ему жить надобно, то он идет на всякие условия. Капиталист дает ему скудное пропитание, а весь барыш, то есть плод чужого труда, он оставляет себе. Таким образом, работник подавляется плодами собственного своего прежнего труда, ибо капитал не что иное, как накопленный труд, и чем более он работает, тем положение его становится хуже (Ibid. S. 76-79).

Очевидно, однако, что если рабочий нуждается в капитале, то и капиталист нуждается в рабочих, ибо без работы капитал остается мертвым достоянием. Оба фактора имеют, следовательно, право на известную долю произведенных ценностей. Рабочий получает эту долю в виде заработной платы, капиталист в виде барыша с капитала. Каков размер этих частей, это определяется общим законом предложения и требования, как признает и сам Лассаль*. Если, с одной стороны, конкуренция рабочих ведет к понижению заработной платы, то, с другой стороны, конкуренция капиталистов ведет к понижению приходящегося на их долю барыша. Следовательно, выгода рабочих состоит в том, чтобы капитал рос как можно скорее. А потому для них всего желательнее такая система, которая всего более способствует этому росту. Такова именно система свободного соперничества, где само собою устанавливающееся разделение различных отраслей и органов промышленности ведет к образованию класса капиталистов, для которых приращение капитала составляет специальное занятие. И тут оказывается взаимность интересов, которая ведет к соглашению спорящих сторон. Если напряжение борьбы производит иногда крайности богатства и бедности, если капиталист, в погоне за барышом, старается извлечь из рабочего все, что может, то окончательно избыток капиталов непременно отзывается возвышением заработной платы, ибо лишний капитал ищет рабочей силы, хотя бы и на менее выгодных условиях. Это доказывается, как мы уже заметили, понижением процентов в богатых странах.

Все эти факты очевидны; но Лассаль смотрит на них совершенно с другой точки зрения. Для него капитал вовсе не есть фактор производства. Производителен один труд; капитал же не что иное,

* Lassalle F. Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch... S. 150; Lassalle F. Arbeiterlesebuch. 53: «Alles nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage, nach welchem ich eben so gur wie meine Gegner entwickle»³⁷

как исторический нарост, который должен исчезнуть при более разумном общественном устройстве. Делая этот вывод, Лассаль ссылается на английских экономистов, в особенности на Рикардо, который видел в труде единственный источник ценностей (*Ibid.* S. 100-101, 159, 120). Но Рикардо не думал отвергать прибыли с капитала; он только сводил ее на труд, потому что в самом капитале видел только накопленный труд. Поэтому Лассалю приходится восставать и на Рикардо, так же как он прежде восставал на Гегеля, то есть искажая его начала под предлогом дальнейшего их развития. Независимо от того, теория Рикардо, на которую ссылается Лассаль, сама подлежит существенным возражениям. Она грешит в особенности тем, что она относится исключительно к произведениям, которые могут произвольно умножаться и которых цена поэтому в силу конкуренции определяется единственно издержками производства. Как же скоро является какая-нибудь монополия, а она является везде, где есть присвоение естественных предметов, так цена произведения перестает определяться одним положенным в него трудом. Собственное воззрение Рикардо на поземельную ренту противоречит его началам, ибо владельцы лучших земель получают высший доход не вследствие большого труда, а вследствие выгоднейшего положения.

Недостатки английской теории побудили французских экономистов искать основания ценности в полезности вещей. Но и тут представляются неодолимые затруднения, ибо самые полезные предметы, если добывание их не стоит никакого труда, не имеют цены. Поэтому в новейшее время Бастиа, которому следовал и Шульце-Делич, предложил новое определение. Он за основание ценности признал оказанную услугу. К сожалению, Бастиа недостаточно выяснил свою мысль и сам постоянно сбивался на понятия английской школы, совершенно отвергая всякое отношение ценности к полезности. Между тем важность его определения заключается именно в том, что оно соединяет в себе оба начала. Услуга есть доставление полезности. Для приобретателя все равно, каким способом добывается последняя; для него важно то, что предмет или действие приносит ему пользу. Но он не дает за него более того, что он мог бы дать, приобретая ценность иным путем. Поэтому крайний предел цены составляет для него стоимость того труда, который бы он сам должен был приложить, если бы он захотел личною деятельностью добывать полученную полезность. С своей стороны оказывающий услугу не может отдать ценность за меньшее, нежели она стоила ему самому. Для него низший предел цены составляют издержки производства. Между этими двумя крайностями колеблются цены предметов. Но конкуренция, как блистательно доказывает Бастиа, постоянно стремится привести их к низшему пределу, уравнивая их с действительными издержками производства. Поэтому свободная конкуренция составляет первое условие успешного развития промышленности и народного благосостояния.

Против этой теории Лассаль вооружается всеми силами. Он осыпает бранью и Бастиа, и последователя его Шульце-Делича, утверждая, что новое их начало не что иное, как сознательная ложь (*Verlogenheit*). Услуга, по его мнению, вовсе даже не экономическая категория, ибо есть множество услуг даровых. Как будто не существует даровой работы! Затем, выхватывая отдельное выражение из аргументации Бастиа, Лассаль уверяет, что считать мерилом цены работу, сбереженную для потребителя, то есть работу действительно не исполненную, значит выставять мерило чисто отрицательное, делать небытие мерилом бытия. Такая логика есть, по его выражению, мерзость перед Господом и не заслуживает ничего, кроме громкого смеха (*Ibid.* S. 107-108, 111, 114-115).

Что же он ставит на ее место? Единственным мерилом ценности голословно признается работа; но какая? Я работаю, и с первого взгляда кажется, говорит Лассаль, что моя работа — личная. Такова она действительно по субъекту, и таковою она была бы и по объекту, если бы я трудился для себя. Но при системе разделения труда я произвожу вещи полезные для всех; следовательно, в действительности моя работа исполнила реальную, индивидуальную работу всех, то есть общую, или общественную работу. Следовательно, и цена работы определяется не личным моим рабочим временем, употребленным на данное произведение, а общественным рабочим временем, потребным для всей совокупности произведений. Это последнее и выражается в деньгах (*Ibid.* S. 122-123).

Этим началом, по мнению Лассаля, объясняются все затруднения относительно колебания цен. Так, например, произведено пять миллионов аршин шелковой материи, а между тем вследствие перемены вкуса требуется только один миллион. Личной работы тут очевидно потрачено очень много совершенно даром, но сумма общественной работы остается та, которая требуется для удовлетворения потребности в один миллион; только теперь она распределяется на пять миллионов. Это и оказывается, когда эти пять миллионов противопоставляются собственной их совести, то есть деньгам, в которых выражается сумма общественной работы. Теперь эти пять миллионов стоят то же, что прежде стоил один миллион.

Читатель спрашивает себя: что это — шутка или серьезное мнение? Бастиа объявлялся лживым и бессмысленным хвастуном за то, что он неисполненную работу делал мерилом ценности, небытие мерилом бытия; а тут мерилом становится не действительно исполненная работа, а работа потребная для удовлетворения изменившейся моды; то есть опять-таки небытие является мерилом бытия, но на этот раз это — такое небытие, которого никак уловить нельзя, ибо кто знает, сколько нужно работы для удовлетворения потребностей по всему земному шару? А меня еще уверяли, что когда я работаю для всех, я исполняю не личную, а общественную работу! К моему крайнему прискорбию, оказывается, что личная

работа и общественная — две вещи совершенно разные. Личная моя работа пропала даром, а общественная работа остается на невозмутимой и недостижимой высоте, предлагая мне пониженную цену за мое произведение и тем лишая меня заработанного потом куска хлеба. Очевидно, работник попался! Недаром Лассаль называет эту общественную работу «холодной античной судьбою гражданского мира» (Ibid. S. 124). Не видать только, что в ней реального. В сущности, это не что иное, как фикция, заменяющая самый простой экономический закон, по которому уменьшение требования влечет за собою уменьшение цены произведения.

Мы еще возвратимся к этой теории, которую Лассаль целиком заимствовал у Карла Маркса³⁸. Тут достаточно было показать, посредством какого изумительного фокуса личная работа превращается в общественную. Но этого мало: надобно еще доказать, что другой фактор производства, капитал, не что иное, как преходящее историческое явление, которое существенного значения не имеет.

Для этого необходимо прежде всего изменить значение слова «капитал». Если принять его в том смысле, в каком оно обыкновенно принимается наукою, то есть как накопленный труд или как произведение, обращенное на новое производство, то капитал будет всегдашним и необходимым элементом всякой промышленности. Во избежание подобного вывода Лассаль не признает капиталом орудие производства, принадлежащее самому работнику. По его мнению, орудие становится капиталом, только когда оно ссужается другому для производительной деятельности и через это приносит барыш. Дикого индейца, владеющего луком, нельзя считать капиталистом, ибо индеец может еще при случае променять свой лук на что-нибудь другое, но в ссуду его никто не возьмет (Ibid. S. 131-132).

Отчего же, однако, никто его не возьмет? Если у индейца отменно хороший лук, а между тем он, заболевши, не может идти на охоту, почему же другой не выпросит у него это орудие с обязательством возвратить его и вдобавок принести несколько дичи за оказанную услугу? Мы имеем тут все признаки капитала, не только основные, но и производные, на самой первой ступени промышленного быта. Конечно, капитал находится здесь еще в первобытной форме, но такова и вся промышленность.

С такою же основательностью Лассаль отвергает существование капитала во всем Древнем мире. Здесь, говорит он, рабочий был собственностью капитала; следовательно, не существовало разделения между этими двумя классами, а потому не было и деления барыша между ними. Ссужать же деньги посторонним людям капиталист не мог, ибо каждый производил только для собственных потребностей. Правда, история говорит нам, что деньги отдавались в займы, и притом за большие проценты; об этом громко гласят и законы Солона, и бедствия римских плебеев. Но все эти ссуды, по уверению Лассалья, совершались не для

производства, а для потребления; деньги же, ссужаемые для потребления, не составляют еще капитала, хотя бы они приносили проценты. Правда, история говорит нам также, что в древности была обширная торговля; следовательно, можно было ссужать деньги для производства торговли. Но о торговле Лассаль умалчивал. Он признает, однако, что в древности капитал существовал в зародыше (Ibid. S. 182-186).

Точно так же и в Средние века для капитала, по уверению Лассаля, не было места. И тут все производство ограничивалось собственными потребностями каждого. Хотя в городских цехах было установлено разделение работ, следовательно, необходим был обмен произведений, но так как производство каждого было ограничено законами, то и тут не для чего было занимать деньги. Лассаль признает, однако, что в Средние века существовала обширная торговля с Востоком и значительное ростовщичество. Поэтому тут является уже повод к образованию капитала. Если в древности он существовал только в зародыше, то здесь он становится уже юношей. С открытием новых путей для всемирной торговли этот юноша крепнет и растет, пока наконец Французская революция снимает с него всякие путы, и разнузданный великан начинает гулять по всей земле (Ibid. S. 136-137).

Настоящий период, говорит Лассаль, период преобладания капитала, характеризуется разделением труда, производством для всемирного рынка и безграничною конкуренцией, которая ведет к победе крупных капиталов над мелкими. Работа же превращается в товар, который продается на рынке; а так как цена товара определяется издержками производства, то и цена работы определяется тем, что потребно для поддержания рабочего, то есть средствами пропитания. Это рабочий и получает в виде заработной платы: все же остальное капиталист берет себе. Но этот излишек составляет точно так же плод рабочего труда, ибо иного производителя нет. Следовательно, присваивая его себе, капиталист берет чужое. Собственность при этом порядке становится чужим достоянием. Рабочий же, получая за проданную им сумму работы уменьшенную плату, не в состоянии купить собственных своих произведений, так что чем производительнее его работа, тем он сам становится беднее (Ibid. S. 148-160).

Можно возразить, что и хозяин предприятия должен получить вознаграждение за свою работу. Но Лассаль утверждает, что это вознаграждение составляет совершенно ничтожную долю общего барыша (Ibid. S. 160). Между тем сам же он в своем проекте предоставляет рабочим товариществам именно эту долю, а прибыль с капитала, выражаемую обыкновенным процентом, оставляет за государством (Lassalle F. Arbeiterlesebuch. S. 42). Должно быть, вознаграждение предпринимателей не так мало, если оно в состоянии перевернуть всю судьбу рабочего класса. Но увлекаясь своей темой, Лассаль уверяет даже, что личные качества предпри-

нимателей совершенно ничего не значат для общего производства. Если, говорит он, общая сумма годового производства = А, средства пропитания = Z, то будь все предприниматели прилежны или ленивы, умны или глупы, они все-таки в итоге получать А-Z (Lassalle F Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch... S. 163). Можно думать, напротив, что если все предприниматели глупы и ленивы, то сумма годового производства будет не А, а может быть даже менее Z. С другой стороны, если действительно капитал, как утверждает Лассаль, не что иное, как мертвое орудие, которое не в состоянии ничего произвести, если процент с капитала есть похищение, совершаемое капиталистом у работника, то каким образом можно предоставить государству право брать проценты с ссужаемого им капитала? Стало быть, и государство становится вором! Но разъяснять этих противоречий мы не беремся.

С такою же опрометчивостью Лассаль устраняет и другое возражение, что процент с капитала составляет вознаграждение за сбережение. Вопреки очевидным фактам он совершенно отвергает возможность образования капиталов из сбережений. Вещи, предназначенные для потребления, говорит он, непременно должны быть потреблены; иначе они пропадут даром. Стоячий же капитал, состоящий из железа, брусьев, камней и т.п., и без того нельзя съесть; какая же заслуга в том, что их сберегают (Ibid. S. 69-70)? Как будто одни и те же вещи нельзя употреблять производительно или непроизводительно, для работы или для удовольствия! Подобными аргументами можно только забавлять детей. Всего любопытнее то, что отвергнув сбережение как чисто отрицательное действие, которое ничего произвести не может, Лассаль признает накопление труда источником капитала, прибавляя только, что те, которые трудятся, не в состоянии накапливать, а те, которые накапливают, пользуются чужим трудом (Ibid. S. 31, 79). Как будто накопление не есть другое слово для сбережения!

Что же касается до постоянно повторяющегося довода, что рабочий, получая только скудное пропитание, не в состоянии накапливать, то этому противоречат не только суммы, накапливаемые в сберегательных кассах, но и приведенный самим Лассалем пример Рочдельских пионеров. Требуемая им передача капиталов в руки государства имеет именно целью предупредить эти сбережения, помешать рабочим сделаться капиталистами, что, по мнению Лассалья, есть самое противное явление (Lassalle F Offenes Antwortschreiben. S. 28). Правда, сбережения рабочих, вообще, не велики; но кто в этом виноват? где причина того, что доход их ограничивается скудным пропитанием? На это опять отвечает сам Лассаль: возвышение заработной платы действует как возбуждающее средство на умножение народонаселения, а умножение народонаселения опять понижает заработную плату до крайнего предела. Дайте рабочему пропитание, говорит Лассаль, а уж ребенка он сам сделает (Lassalle F Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch...

S. 153, 154). Но чем же тут виноват капиталист? Следует ли его считать вором за то, что рабочий при малейшем улучшении состояния производит такое количество детей, которое он не в состоянии прокормить? А к этому, по признанию самого Лассалья, сводится весь вопрос: с умножением капитала заработная плата увеличивается, если только количество рабочих не увеличивается в еще большей пропорции (Ibid. S. 192-193).

В результате Лассаль выводит, что капитал, по существу своему, не что иное, как мертвое орудие, которое имеет значение единственно в руках работника. Таковым он и был в первобытные времена в руках дикого индейца. Но при системе разделения труда и безграничной конкуренции он не только сделался самостоятельным, но и самого работника превратил в свое орудие. «Разделение труда,— говорит Лассаль,— составляет источник всякого богатства... Это — единственный экономический закон, который, по аналогии, может быть назван законом естественным. Это — не настоящий закон природы, ибо он принадлежит не к области природы, а к области духа, но он облечен такою же необходимостью, как электричество, притяжение, упругость пара и т.п. Это — естественный закон общества. И вдруг горсть людей явилась среди народов и наложила запрет на этот естественный закон общества, существующий только в силу духовной природы всех: эти люди обратили его в свою личную пользу, кидая удивленным и голодающим народам из их же постоянно возрастающего производства только те объедки, которые при благоприятных условиях может получить и индеец прежде всякой культуры, именно самое необходимое жизненное пропитание. Это все равно, что если бы несколько лиц объявили притяжение, упругость пара, теплоту солнца личною своею собственностью!» (Ibid. S. 165-167).

Действительно, все равно. Одно так же возможно, как другое. Лассаль точно с такою же основательностью мог бы утверждать, что какие-то самозванцы присвоили себе всемирные законы пищеварения. Но спрашивается, откуда же взялись эти самозванцы, и что дало им силу произвести такой неслыханный захват? Дело в том, что капиталисты не упали с неба; они явились в силу тех же самых законов, которые произвели и разделение труда. Даже из скудного и неверного изложения Лассалья выходит, что капитал растет вместе с самою промышленностью. Он находится в зародыше, когда она сама еще в зачатке. Тут только капитал и труд состоят нераздельно в одних руках. Но чем более промышленность развивается, тем более разделяются различные ее отрасли и органы. С разделением труда является и самостоятельность капитала. Высшего своего предела это двоякое разделение достигает тогда, когда самая промышленность достигает высших своих размеров, когда она становится всемирною и когда, наконец, с падением всех преград действуют одни естественные законы общества. Не капиталисты налагают руку на эти законы, а те, которые вызывают

к государству, с тем чтобы естественное движение сил заменить искусственной регламентацией. И с какою целью? С тем, чтобы «опять разжаловать капитал на степень мертвого, служебного орудия работы» (Ibid. S. 173), то есть с тем, чтобы возвратиться к первоначальной точке отправления. История не делает подобных возвратов. Ни в области природы, ни в развитии духа раздельность органов не заменяется их слитностью. Противоположные элементы духовного мира на высшей своей ступени подчиняются конечному единству, но всегда сохраняя свою относительную самостоятельность.

Точно так же должна сохраняться и самостоятельность отдельных сфер человеческой жизни. Они подчиняются высшему государственному единству, но не заменяются им. В промышленной области является посредствующее звено между капиталом и рабочею силою, именно кредит, но не государственный, а частный. Кредит есть точно такой же фактор промышленного производства, как земля, капитал и труд, и следует тем же экономическим законам, вытекающим из взаимного отношения частных сил. Все это составляет область гражданского общества. Государство же есть союз, представляющий народ как единое целое. Оно воздвигается над этим миром частных отношений, подчиняя его себе и подчас направляя его сообразно с своими целями, но не вмешиваясь в его самостоятельные отправления. Государство может, во имя общего блага, требовать от промышленников исполнения необходимых условий безопасности и здоровья; оно может ограждать малолетних и слабосильных, оказывать, во имя человеколюбия, возможную помощь нуждающимся; оно может далее, в виду государственных целей, ограничивать иностранную конкуренцию; наконец, по самому существу дела, ему принадлежит заведывание теми промышленными средствами, которые находятся в общем пользовании всех, каковы пути сообщения. Но самопроизводителем оно никогда быть не может; это противоречит его природе и его назначению. Поэтому, когда Лассаль утверждает, что при разделении труда работа уже сама в себе (*an sich*) имеет характер общественный и что нужно только установить в действительности то, что заключается уже в существе дела, заменивши личные авансы общественными (Ibid. S. 173), то в этом взгляде нельзя не видеть полного извращения понятий и смещения всех сфер практической деятельности. Как мы уже видели, при разделении труда работа может называться общественною лишь в том смысле, что она производится при свободном взаимодействии частных сил. Тому же закону следуют и должны следовать авансы. Общество как единое целое тут не при чем.

В своем проекте для улучшения быта рабочего класса Лассаль ограничился пока требованием государственного кредита для рабочих товариществ; но это предложение он считает только переходною мерою, практическим лозунгом для рабочей агитации (Ibid. S. 173, примеч.). Окончательное же разрешение социального

вопроса он видит в обезличении всякой собственности (Ibid. S. 171), то есть в передаче всех средств производства в руки государства. Впрочем, самая переходная мера должна прилагаться в весьма широком объеме. В каждом состоянии общества, говорит Лассаль, все следует закону преобладающего направления. Поэтому недостаточно образование случайных товариществ, исчезающих в массе; необходимо, чтобы крупные батальоны соединенных рабочих могли одолеть личных капиталистов. В таком обширном кредите Лассаль не видит для государства никакого риска, ибо риск существует только для отдельных предпринимателей, а никак не для целого производства, которое все идет возрастая (Ibid. S. 176). Лассаль забывает, что в частном производстве убытки одних покрываются барышами других; государство же будет нести убытки от невыгодных предприятий, ибо разорившиеся рабочие не заплатят ему ни капитала, ни процентов, но барышей оно все-таки иметь не будет, ибо при самых выгодных предприятиях оно не получит ничего, кроме капитала и процентов. Этому не поможет устранение конкуренции и сосредоточение каждой промышленной отрасли в руках одного товарищества, как предполагает Лассаль. В своем проекте он прямо бьет на монополию, ибо «превратить группированных в мелкие товарищества рабочих в конкурирующих мещан стоило ли бы это труда!» (Ibid. S. 178). Но монополия бывает выгодна только для немногих при ограниченном количестве лиц и при устранении всякого внешнего соперничества. Остальным она всегда в ущерб, а при свободном выборе занятий и на всемирном рынке она совершенно немыслима. Не поможет и всеобщее страховое товарищество между рабочими (Ibid.) Страхуют против внешних несчастий, против действия сил природы, но никогда против невыгодных предприятий. Такое страховое общество наверное бы разорилось. Если государство гарантирует известный доход при эксплуатации железных дорог, то оно делает это на совершенно особенных основаниях: оно тут является собственником и во имя общественных потребностей вызывает предпринимателей, обещая им известный, низший предел барыша. Гарантировать же частные предприятия, которые каждый берет на свой риск, никому еще не приходило в голову.

Одно можно наверное предвидеть при этой системе: с устранением внутренней конкуренции нет возможности выдержать внешнюю. Поэтому народ, который произведет у себя такой экономический переворот, не только не вытеснит других со всемирного рынка, как воображает Лассаль (Ibid. S. 183), а напротив, должен будет уступить им место. Но и внутри государства недостаток конкуренции и предприимчивого духа, который Лассаль называет духом спекуляции и считает исключительной принадлежностью мещанства (Ibid. S. 184), должны повести к значительному понижению производства, ибо этим уничтожаются главные пружины промышленного прогресса. Можно сколько угодно фантазировать о замене личного

интереса высшими побуждениями; человеческая промышленность об этом ничего не знает. Если прибавить ко всему этому, что капитал в руках государства не будет расти, а народонаселение, видя перед собою новый простор, сразу возрастет до крайних пределов, то результат не может быть сомнителен. Как мы уже выразились выше, это — система всеобщего разорения.

Такowo содержание брошюры Лассалья. Читатель может судить, насколько он был прав, когда в конце своей полемики, обращаясь к Шульце-Деличу, он восклицает: «Во всякой строке, которую я пишу, я являюсь вооруженным всею наукою своего века» (Ibid. S. 197)! Бесспорно, и тут проявляются замечательные свойства его ума, обширная начитанность и сильный полемический талант, но материал недостаточно обдуман и связан. В политической экономии Лассаль был, в сущности, дилетантом. Многие из мыслей, которыми он щеголяет, принадлежат не ему, а собственные его мысли не клеятся с теми, которые заимствованы у других. Отсюда многочисленные противоречия и несообразности в его изложении. Если бы Лассаль исполнил свою заветную мысль и написал цельную философию духа, мы имели бы, по крайней мере, хотя одностороннюю, но связную систему, а не плохо сложенные отрывки. Надобно сказать, что он один и был способен к такому предприятию. Но общественная деятельность и ранняя смерть помешали осуществлению этого плана. С тех пор как он ринулся в агитацию, он собственно был уже потерян для науки.

В 1864 г. Лассаль был убит на дуэли. Последователи его до сих пор свято чтут его память как основателя социалистической партии в Германии, как человека, призвавшего рабочие классы к самостоятельной деятельности. Но о продолжении его научных трудов нет и помину. Зато выходящая из всяких приличий руганя и взаимные обвинения в мошенничестве достигли крайних пределов *. Не мудрено, что партия его скоро распалась. Одни остались верными начертанной им программе; другие перешли к более радикальному направлению Международного товарищества рабочих³⁹. Окончательно обе партии слились⁴⁰.

3. Карл Маркс **

На одной почве с Лассалем стоит Карл Маркс, известный председатель Международного товарищества рабочих, так же как Лассаль, еврейского происхождения. Ни по силе ума, ни по таланту, ни по разнообразию сведений, ни по философскому смыслу он не может сравняться с Лассалем; но он сделал то, о чем Лассаль

* См. брошюры: Herr I.B. von Schweitzer und die Organisation des Lassalleschen Allg. deutschen Arbeitervereins, von Fritz Mende, и другие.

** Статья о Карле Марксе была также напечатана в «Сборнике Государственных Знаний», т. VI.

только мечтал: он дал теоретическое построение социальной утопии. Книга его «Капитал» * служит высшим выражением немецкого ученого социализма. По ней мы можем видеть, что ученый социализм в состоянии дать. Важность предмета побуждает нас подвергнуть ее обстоятельному разбору и проследить ту цепь умозаключений, которою держится все это учение.

Способ исследования Карла Маркса тот же самый, который мы видели у Лассалья. Это — диалектическая метода, наследованная от Гегеля. Карл Маркс прямо признает себя учеником великого мыслителя и говорит даже, что он в своих основных выводах кое-где кокетничал (!) гегелевской терминологией (<Marks K. Die Kapital. Bd I.> S. 822). Гегелево начало противоречия он считает «пружиною всякой диалектики» (Ibid. S. 619, примеч. 4). Но рядом с этим он объявляет, что собственная его диалектическая метода прямо противоположна диалектике Гегеля. У последнего умственный процесс олицетворяется под именем идеи и становится творцом действительности, которая является только внешним его выражением. По воззрению же Маркса, истина лежит в действительности, то есть в материальном мире; все идеальное не что иное, как отраженное и опрокинутое в человеческой голове материальное бытие. Поэтому, говорит он, диалектика Гегеля стоит на голове. Надобно ее перевернуть, чтобы раскрыть рациональную основу в мистической оболочке (Ibid. S. 821-822).

Можно ожидать после этого, что диалектика Гегеля явится отрицанием действительности, а диалектика Маркса, напротив, восстановлением действительности. Но выходит наоборот. Именно та диалектика, которая извращает, или «ставит на голову», истинные отношения вещей, раскрывает положительную сторону существующего и выступает как его защитница, а та диалектика, которая существующее берет за основание, становится к нему в отрицательное отношение, указывает на необходимость гибели «каждой окрепшей формы в потоке движения», одним словом, является «по существу своему критическою и революционною» (Ibid. S. 822).

Таким образом, диалектика должна разом служить выражением крайнего материализма и крайнего идеализма; она должна, с одной стороны, брать свою точку опоры в действительности, считая ее за истинную свою основу, с другой стороны, отрицать эту самую действительность во имя идеала, обретающегося только в человеческой голове. Карл Маркс, по-видимому, не подозревает, что он служит двум разным божествам. Указание на гибель каждой

* Карл Маркс начал издавать это сочинение в 1859 г., отдельными тетрадями, под заглавием «Zur Kritik der politischen Oekonomie». Это начало в новой обработке вошло в изданную им в 1867 г. книгу «Das Kapital». В 1873 г. эта книга вышла вторым изданием, с исправленною редакциею. Я пользуюсь этим последним. Затем, после смерти Маркса вышло еще два тома под редакцией Энгельса, вследствие чего напечатанная более двадцати лет тому назад статья потребовала значительных дополнений.

окрепшей формы в потоке движения мы видели и у Лассалья; в этом выражается одностороннее развитие отрицательного элемента Гегелевой диалектики. Но чисто материалистических начал мы у него не видали. С своим ясным философским умом Лассаль мог иногда пользоваться материалистическими доводами для своих целей, но он не мог смешивать два совершенно разнородных направления. Для человека, знакомого с философией и умеющего связывать свои мысли, действительно трудно понять, каким образом материализм и социализм могут совмещаться в одной голове. Но в действительности это довольно обыкновенное явление.

При таком смещении понятий не мудрено, что Карл Маркс хочет свою диалектику выдать за результат опыта. Надобно отличать, говорит он, способ изложения от способа исследования. «Исследование должно в подробности усвоить себе материал, анализировать его различные формы развития и изыскать их внутреннюю связь. Только когда совершена эта работа, можно представить истинное движение в соответствующем виде. Если это удастся, и жизнь материала отражается в идеальной форме, то может казаться, что мы имеем дело с конструкцией *a priori*» (Ibid. S. 84).

В действительности, при истинно научном ходе мыслей, это никогда казаться не может. Основное положение должно быть доказано, и тут немедленно обнаруживается, откуда берется доказательство — из умозрения или из опыта. Автор может тысячу раз уверять, что он, невидимо для читателя, извлек свое начало из самого подробного фактического исследования; читатель, имеющий понятие о том, что такое ученое исследование, все-таки не поверит: он знает, что научное доказательство состоит именно в обнаружении этого процесса извлечения. Без этого самое подробное фактическое изложение становится только придатком, который освещается предвзятою мыслью, то есть представляется в совершенно ложном свете. Таким и является фактический материал в книге Маркса. В выводе основных положений нет у него и тени фактического доказательства; затем, когда теория построена, на этом основании воздвигается фактическое здание, которое, разумеется, получает тот вид, какой автору угодно ему придать. Следовательно, когда Карл Маркс уверяет, что его начала только кажутся выведенными *a priori*, то этим он обнаруживает только, что у него нет для них ни умозрительного, ни опытного доказательства. Он сам не знает, откуда они взяты. И точно тут нет ни умозрения, ни опыта, а есть только логические фокусы, которые выкидываются для заданной наперед цели. Читатель убедится в этом, следя шаг за шагом за ходом мыслей автора.

В основание полагается анализ стоимости товара. Товар, говорит Карл Маркс, есть первоначальная клеточка, из которой строится народное богатство. Наблюдать ее тем труднее, что мы не имеем тут, ни микроскопа, ни химических реакций. И то и другое должно быть заменено силою отвлечения (Ibid. Vorw. S. 4).

Итак, вместо наблюдения мы начинаем с отвлечения. Что же такое товар?

Прежде всего, товар есть предмет, полезный человеку, или служащий для потребления. Полезность дает ему потребительную ценность (*Gebrauchswerth*). С другой стороны, существо этого предмета состоит в том, что он меняется на другие. В этом состоит его меновая ценность (*Tauschwerth*). Эта последняя и составляет главный предмет исследования.

Меновая ценность выражается отношением равенства между двумя товарами, например: 1 четверть пшеницы = x пудов железа. Но этим отношением не исчерпывается ее существо. Пшеница уравнивается не только с железом, но и с множеством других товаров; следовательно, тут должно быть общее содержание, независимое от этих частных способов выражения. В каждом уравнении непременно предполагается нечто общее, третье, «что не есть ни то, ни другое», но к чему оба члена могут быть приведены. Товары отличаются друг от друга своею потребительною ценностью или полезностью; следовательно, меновая ценность, в которой они полагаются равными, должна быть отлична от потребительной ценности. Она получается отвлечением от последней. Меновая ценность, говорит Маркс, не заключает в себе ни единого атома потребительной ценности (*Ibid.* S. 9-12).

Тут читатель останавливается и спрашивает себя: да почему же это так? Что между двумя предметами, которые обмениваются, должно быть нечто общее, это несомненно; но что это общее не должно быть ни то, ни другое, это, по-видимому, противоречит здравому смыслу: общим называется именно то, что есть вместе и то и другое. Если мы спросим, что есть общего между двумя товарами, которые обмениваются, то всякий здравомыслящий человек наверное ответит: то, что оба полезны; поэтому они и меняются. Одному более нужно одно, другому — другое; но оба равно нужны. Если мы сделаем отвлечение от различной их пользы, то останется общий элемент полезности — потребительная ценность вообще. Другого ничего мы этим умозаключением получить не можем. Отвлечение от частного дает нам однородное с ним общее, родовый признак видов, а не что-либо другое. Но может ли общая полезность служить основанием для количественного сравнения? Это — другой вопрос, но и на него нельзя не отвечать утвердительно. При всякой мене человек сравнивает ту пользу, которую он дает, с той, которую он получает; это и служит ему побуждением для мены. Степенью полезности предмета определяется и то, что покупатель готов за него дать; он даст больше за то, что ему нужнее, меньше за то, что ему менее нужно. По признанию всех экономистов, спрос является одним из существенных элементов при определении ценности. Другой элемент составляет возможность приобрести предмет иным путем. Никто не даст больше, если он может заплатить меньше. Этот второй элемент, предложение,

определяется разными обстоятельствами, которые необходимо разобрать для того, чтобы решить вопрос о ценности товаров. Это и делают экономисты. Простое же отвлечение от полезности не только не приведет нас к какому-либо результату, но, напротив, уничтожит самое основание решения. Если мы сделаем отвлечение от всякой полезности, то исчезнет и ценность, ибо не будет и мены. Никто не меняет предметов, которые не нужны. Следовательно, когда Карл Маркс утверждает, что меновая ценность не содержит в себе ни единого атома потребительной ценности, то это не только ничем не оправданный логический скачок, но и прямое противоречие тому, что ежедневно происходит при мене товаров.

Что же, однако, остается в товаре, если мы сделаем отвлечение от всякой полезности? Остается, говорит Карл Маркс, одно только качество, именно, что оба предмета суть произведения труда (Ibid. S. 12). Тут читатель приходит в еще большее недоумение. О труде еще даже не упоминалось. Почему же это единственное остающееся качество? Я, например, покупаю лес и плачу за него золотом. Неужели, независимо от полезности этих предметов, единственное их качество то, что они оба составляют произведения труда? Но ведь они точно так же, и еще в гораздо большей степени — произведения природы. В покупаемый мною лес, может быть, не положено никакого труда, а я все-таки за него плачу, иногда даже очень дорого, смотря по обстоятельствам. Очевидно, труд берется тут как деятель производства; но сам Карл Маркс признает, что он не единственный деятель: есть еще и природа (Ibid. S. 18). Есть и капитал. Меняемые предметы могут сами быть капиталом, то есть служить деятелями производства. Это — тоже составляет качество, которое дает им ценность. Почему же все это оставляется в стороне и берется один труд? Потому что так угодно автору. Иного ответа мы дать не можем. Пусть читатель переберет все 822 страницы книги Карла Маркса, он другой причины не найдет. Везде в последующем изложении положение, что меновая ценность товаров определяется исключительно трудом, принимается как доказанное; доказательство же состоит единственно в том, что, отбросив полезность товаров, мы получим в остатке одно только качество, именно, что они составляют произведение труда. И это выдается за строго научный вывод (Ibid. S. 813). Читатель видит, что тут нет не только строгой науки, но даже и простого смысла. Фактически разбор меновой ценности устраняется совершенно; об опытных доказательствах нет и помину. Все сводится на логический вывод, но в этом выводе не оказывается ни единого атома логики. Как мы уже сказали, это не умозрение и не опыт, а просто фокус, посредством которого пускается пыль в глаза читателя.

Английские экономисты, так же как Карл Маркс, старались привести ценность товаров к произведенной работе; но они делали это на основании серьезного анализа предмета. Анализ был неверен, ибо доход с земли и процент с капитала, которые, независимо

от других, изменяющихся обстоятельств, постоянно определяют ценность произведений, не могут быть сведены к работе. Но тут, по крайней мере, можно спорить, можно доказывать. Когда же автор просто утверждает, что это так, и затем считает дело доказанным, то вопрос идет уже не об ученом споре, а просто об оценке умственных способностей писателя.

Но пойдём далее. Допустим, что ценность товаров определяется единственно трудом. Каким же трудом? Если мы устраняем полезность произведений, говорит Карл Маркс, то, очевидно, мы должны устранить и полезность производящей их работы; с первой исчезает и последняя. Полезная работа есть частный вид работы, та или другая ее форма, а нам нужен общий элемент, работа вообще. Безразличная, или отвлеченная работа есть работа как трата человеческих сил. Она измеряется временем, или своим продолжением. Это и есть мерило всех ценностей, единица, к которой они приводятся (*Ibid.* S. 12-13).

На этот раз умозаключение правильно: сделавши отвлечение от различия работы, мы получим работу вообще. Но тут является другое затруднение. Я могу проработать Бог знает сколько времени, но если я произвел вещь никому не нужную, то она все-таки не будет иметь ценности, и труд мой пропал даром. Это признает и Карл Маркс. Следовательно, работа, для того чтобы иметь ценность, непременно должна быть полезна (*Ibid.* S. 15-16, 64). Таким образом, с одной стороны, мы откидываем всякую полезность и утверждаем, что ценность определяется работою единственно как тратою рабочей силы, с другой стороны, мы требуем, чтобы эта отвлеченная работа непременно была полезна; то есть мы в заднюю дверь вводим то, что вытолкнули через переднюю. Противоречие тут явное, вопиющее, но автор нимало этим не смущается и, ничего не замечая, продолжает свое логическое шествие.

Если ценность произведений определяется исключительно временем употребленной на них работы, то очевидно, что всякая работа должна оплачиваться одинаково. Больше ли количество полезности работник производит в данное время или меньшее, цена должна быть одна. Это также признает Карл Маркс. Производительная сила работы, говорит он, касается ее полезности, а отнюдь не ее ценности. Результат большей производительности только тот, что одна и та же ценность распределяется на большее количество товаров, вследствие чего последние становятся дешевле (*Ibid.* S. 15, 21). Но если так, то и качественно различная работа должна цениться одинаково. На этом основании картина Рафаэля будет иметь меньшую цену, нежели картина самого бездарного труженика, если она написана в более скорое время. Тут нельзя сослаться на то, что в картине Рафаэля оплачивается предыдущая приготавительная работа художника. Труженик и прежде мог работать даже более Рафаэля: гению достается легко то, чего труженик никогда не достигнет даже самую кропотливую работою. Следовательно, при-

ходится или признать, что ценность произведений определяется не одним количеством, но и качеством работы, или отвергнуть самые очевидные и неотразимые факты как не имеющие законного основания. На последнее Карл Маркс не решается. Он, по своему обыкновению, вводит противоречие в свою аргументацию, не заботясь об его разрешении. Работу он разделяет на простую и сложную; последнюю он называет также потенцированной или умноженной, как будто качественное различие исчерпывается количественным отношением! Простая работа, по его мнению, составляет единицу, которой измеряются все ценности; сложная же работа сводится к простой, так что меньшее количество первой равняется большему количеству второй. Читатель спрашивает: как же это возможно, когда мы имеем дело с безразличной работою, с работою вообще как тратою сил? Потенцированную или умноженную можно назвать разве только более производительную работу, но именно она-то и устраняется как не имеющая влияния на ценность. Правда, в другом месте Карл Маркс говорит, что «работа с исключительною производительною силою действует как потенцированная работа, или производит в одинаковое время высшие ценности, нежели средняя общественная работа того же рода» (Ibid. S. 325); но это только увеличивает противоречие, и мы все-таки не узнаем, каким способом возможно разнокачественную работу привести к единой количественной единице. Сам автор перестает тут рассуждать, а просто ссылается на опыт. «Что это приведение постоянно совершается,— говорит он,— это показывает опыт. Известный товар может быть произведением самого сложного труда, во всяком случае его ценность уравнивает его с произведением простой работы, а потому сама представляет только известное количество простой работы. Различные пропорции, в которых разнородные работы сводятся на простую работу как их количественную единицу, устанавливаются известным общественным процессом за спиною производителей, а потому кажутся им вытекающими из обычая» (Ibid. S. 19). На этом основании Карл Маркс считает совершенно бесполезным далее трактовать о качественно высшей работе, ибо ее всегда можно привести к простой.

Это, конечно, весьма легкий способ избавиться от затруднения. Но вопрос состоит именно в том, что же это за общественный процесс, который происходит за спиною производителей? Если мы просто сошлемся на опыт, то окажется, что не работа служит мерилом ценностей, а деньги служат мерилом работы, причем отношение работы к другой определяется отнюдь не свойством или продолжением самой работы, а нередко совершенно посторонними обстоятельствами. Одна и та же картина, воплощающая в себе месячную работу художника, может быть в 100, в 1000 и в 10000 раз ценнее такого же количества простой работы, смотря по тому, известен ли художник или нет, большой ли спрос на его произведения или малый, жив он или умер и т. п. Если же

мы, вместе с Марксом, скажем, что общество, устанавливая цены, само не понимает, чем оно руководится (*Ibid.* S. 51), то надобно объяснить истинную сущность этого процесса, и тогда опять возникает вопрос, чем измеряются разнокачественные работы? где единица для их сравнения? По теории Карла Маркса, когда мы говорим, что 20 аршин полотна равняются одному сюртуку, то это означает, что в обеих ценностях содержится одинаковое количество рабочих дней; но когда мы говорим, что большее количество простой работы равняется меньшему количеству сложной, то есть лучшей, то где же тут основание уравнивания? Чтобы восполнить недостающее количество, мы должны ввести другой элемент, качество, элемент, несоизмеримый с количеством. Не говорим уже о той нелепости, что большее количество служит единицею для меньшего. Очевидно, что свести все ценности к единице рабочего дня можно только одним способом: совершенно устранив качество работы. Это и делает Карл Маркс, когда он говорит, что ценность определяется работою вообще, как тратою силы, независимо от ее качества. Но тогда не следует вводить опять качество задней дверью, и надобно храбро признать, что картина Рафаэля имеет меньшую цену, нежели произведение бездарного труженика, которое работалось дольше.

Однако и этим признанием мы не спасемся от противоречий. Даже простая работа поденщика может быть разного качества. Сам Карл Маркс замечает, что по этой теории может показаться, что чем ленивее и неспособнее человек, тем ценнее его товар, ибо тем более требуется времени для произведения этого товара. Чтобы устранить это затруднение, приходится опять разнокачественную работу приводить к общей единице. «Работа, составляющая субстанцию ценностей,— говорит Карл Маркс,— есть равная человеческая работа, трата одной и той же человеческой рабочей силы. Совокупная рабочая сила общества, выражающаяся в ценностях товарного мира, имеет значение одной и той же человеческой рабочей силы, хотя она состоит из бесчисленных единичных рабочих сил. Каждая из этих единичных сил есть та же человеческая рабочая сила, как и другие, насколько она имеет характер средней общественной рабочей силы и действует как таковая средняя общественная рабочая сила, следовательно, употребляет на произведение товара только средним числом необходимое или общественно необходимое время работы» (*Ibid.* S. 13).

Таким образом, для того чтобы найти единицу работы, мы принуждены сделать новое отвлечение. Сначала мы откинули качество и взяли одно количество; теперь мы отбрасываем бесконечное разнообразие единичных сил и берем одну общую рабочую силу. Но это новое отвлечение имеет уже иной характер, нежели первое. Там мы брали одну сторону действительного предмета, откидывая другую; здесь же мы из области действительности переходим в область фикции. Ибо единая общественная рабочая сила не что иное,

как фикция; в действительности существуют только единичные силы. Говоря об общественной силе, мы не знаем даже, о каком обществе тут идет речь. Об отдельном государстве? Но обмен товаров существует и между государствами. По этой теории мы должны будем сказать, что на всемирном рынке цена товаров определяется средним рабочим временем всего человеческого рода как единой рабочей силы. Но ведь это чистая нелепость. Когда мы принимаем за мерило действительных отношений фиктивную и никому неизвестную единицу, это означает только, что мы совершенно сбились с дороги. На деле цена товаров определяется отнюдь не выводом среднего рабочего времени для всего человеческого рода, а просто борьбою частных сил. Более дешевые товары вытесняют с рынка более дорогие. Конкуренция же происходит вовсе не оттого, что разнообразные силы сводятся к одной, а именно оттого, что силы разные.

С фиктивной единицею общественной рабочей силы связано и другое превращение. Если до сих пор читатель мог думать, что мерилom ценностей служит действительно исполненная работа, то теперь он должен в этом разубедиться. Не действительная, а потребная, или, как выражается Карл Маркс, общественно-необходимая работа определяет цену произведений. Но общественно-необходимая работа не есть постоянная единица. Как признает и сам Карл Маркс, это — мерило беспрерывно изменяющееся. Сегодня для производства известного товара нужно известное количество работы, а завтра, вследствие нового изобретения, нужна только половина. Несмотря на то что прежний рабочий день перешел уже в цену товара, если этот товар еще не потреблен, а вращается на рынке, цена его, следовательно, и употребленная на него работа, сокращается наполовину. Излишек работы пропал даром (Ibid. S. 86). Поэтому когда Карл Маркс утверждает, что в цене товаров изображается окрепшее рабочее время (*festgeronnene Arbeitszeit*), то это противоречит собственным его выводам: работа вовсе не окрепла в цене, а напротив, постоянно с нею изменяется, хотя она уже произведена и по-видимому изменяться уже не может. Надобно притом заметить, что общественно-необходимое рабочее время не есть время, потребное для производства того или другого отдельного товара, а время, потребное для производства всей совокупности известного товара, нужного обществу. Время, потребное для производства отдельной штуки, может остаться прежнее, но если произведено более потребного количества, то считается все-таки только необходимое для удовлетворения потребности время, которое теперь распределяется на большее количество товара. Как рабочая сила, так и весь находящийся на рынке товар считается одною статьею, которой общая цена распределяется по отдельным предметам сообразно с общим их количеством (Ibid. S. 86). Поэтому и наоборот, если количество товара меньше нужного, товар все-таки считается произведением необходимой

для общества работы, хотя эта работа вовсе и не была произведена; в этом случае цена товара стоит выше, нежели действительно употребленная на нее работа.

Ясно, что при таком взгляде работа перестает иметь самостоятельное значение. Действительная работа превратилась в воображаемую, воображаемая же сумма работы определяется суммой предметов, необходимых для удовлетворения потребностей, то есть полезных. Из области фикции мерило опять переходит в действительность, но уже в действительность, определяемую полезной ценностью, а не трудом. Таким образом, в результате мы получаем совершенно противоположное тому, что мы имели в начале. Точкою отправления было отвлечение от всякой потребительной ценности; мы из области чувственной вознеслись в область сверхчувственную или даже сверхъестественную, по выражению Маркса *. Но тут, идя от отвлечения к отвлечению, мы пришли наконец к чистой фантазмагории, ускользающей от всякого определения, и когда мы захотели что-нибудь уловить, мы не нашли ничего, кроме отвергнутой нами потребительной ценности. Недаром Карл Маркс говорит, что при анализе товар оказывается «исполненным метафизических тонкостей и богословских призраков», каким-то «общественным иероглифом», который надобно разгадывать. При таком способе исследования немудрено, что тот же товар, по выражению Маркса, «из своей деревянной головы выкидывает штуки, гораздо более удивительные, нежели если бы он вдруг сам собою начал плясать» (Ibid. S. 47-48). Но Маркс неправ, когда он весь этот мистический туман и вытекающие из него противоречия приписывает самой форме производства, выражающейся в товаре (Ibid. S. 53,82). Противоречия существуют только в голове автора, и эта самая голова производит богословские призраки и все эти штуки, более удивительные, нежели если бы товар начал сам собою плясать. Действительное производство ценностей тут ровно не при чем.

И это еще не высший цвет этой нового рода диалектики. В дальнейшем изложении мы встретим еще более изумительные штуки.

Утвердивши меновую ценность на такой метафизической пляске товара, Карл Маркс переходит к превращению товара в деньги. Тут дело, кажется, довольно просто. Деньги служат орудием мены, выражением меновой ценности; следовательно, по теории автора, они являются воплощением отвлеченной человеческой работы. Но Маркс этим не довольствуется; он опять хочет быть глубокомысленным и по своему обыкновению запутывается в противоречия, из которых нет исхода.

По теории Маркса, цена меняемых товаров выражается в уравнении, которое означает, что количество работы в обоих одно

* Ibid. S. 33: «Eine übernatürliche Eigenschaft»⁴¹; и на стр. 48: «Sobald er als Waare auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches Ding»⁴².

и то же. Казалось бы, тут нет ничего, кроме чисто количественного отношения равенства. Но будучи воспитан на немецкой философии, Карл Маркс видит тут полярность, то есть качественную противоположность. Один товар, говорит он, выражает свою ценность в другом; следовательно, первый играет деятельную, а второй страдательную роль. Первый является как от носит ельная ценност ь, второй — как эквивалент (Ibid. S. 23). Можно возразить, что во всякой мере это отношение обоюдное. Правда, говорит Карл Маркс; но для того, чтобы цену второго товара выразить в первом, надобно переставить термины, и тогда первый становится эквивалентом (Ibid. S. 24). Читатель понимает, что эта перестановка совершается на бумаге, а в действительности отношение остается то же. Как ни переставляй термины уравнивания, оно все-таки выражает собою равенство и ничего более.

В чем же, однако, по мнению Маркса, состоит качественная противоположность относительной ценности и эквивалента? В этом, по его уверению, выражается опять же известная нам противоположность ценности и полезности, или меновой и потребительной ценности. Последняя была устранена с самого начала. Сами товары, устами Карла Маркса, говорят нам: «Наша потребительная ценность может интересовать человека; нам как вещам она не принадлежит... Мы относимся друг к другу только как меновые ценности» (Ibid. S. 61). Но несмотря на то, потребительная ценность опять и опять вводится в отношение ценностей. Полярность терминов состоит именно в том, что меновая ценность одного выражается в потребительной ценности другого. И этим не ограничивается противоречие. Не только здесь тайком вводится начало, которое было формально устранено, но самые противоположные термины неожиданно превращаются друг в друга. Объясняя то, что он называет относительной ценностью, Карл Маркс прямо говорит, что в ней выражается ценность, а в эквиваленте — полезность. «Ценность (меновая) товара А, выраженная в потребительной ценности товара В, имеет форму относительной ценности» (Ibid. S. 28). Это объясняется тем, что для продавца, на точку зрения которого мы станем при этом сравнении, отдаваемый им товар представляет не полезность, а ценность; напротив, получаемый товар имеет для него полезность (Ibid. S. 66). Но к концу длинного и утомительного рассуждения, которое вращается более в области тавтологии, вдруг оказывается, что полезность представляется относительною ценностью, а ценность — эквивалентом. «Скрывающаяся в товаре внутренняя противоположность потребительной и меновой ценности,— говорит Карл Маркс,— выражается внешнею противоположностью, то есть отношением двух товаров, в котором один товар, которого ценность должна быть выражена, непосредственно имеет значение только как потребительная ценность, а другой товар, напротив, в котором выражается ценность, имеет непосредственно значение только как меновая ценность (Ibid. S. 37). Каким

образом совершилось это превращение, остается для читателя тайною. Можно думать, что оно произошло и без ведома автора, ибо от этого ему нет никакой выгоды. Это просто логическая игра, в которой неумный игрок никогда не знает, где у него, наконец, очутится понятие.

Как бы то ни было, в результате выходит, что деньги как общий эквивалент служат чистым выражением меновой ценности, или воплощением отвлеченной человеческой работы (Ibid. S. 71-72). Сам Карл Маркс признает это выражение нелепым (*verrückt*), но он утверждает, что мелочное производство не может не выражаться в нелепых формах (Ibid. S. 53). Итак, ценность золота означает количество потребного для добывания его рабочего времени и выражается в том количестве всякого другого товара, на производство которого требуется столько же времени (Ibid. S. 70). Цена товара есть поэтому денежное название осуществленной в нем работы. «Однако, — говорит Карл Маркс, — если цена как показатель количественной ценности товара (т. е. положенной в него работы) есть показатель его менового отношения к золоту, то не следует, наоборот, что показатель его менового отношения к золоту необходимо есть показатель его количественной ценности». Обстоятельства могут заставить понизить настоящую цену или дозволить ее возвышение, и тогда денежная цена товара перестает соответствовать истинной ее ценности. Может даже случиться, что денежная цена товара не только количественно, но и качественно отличается от его ценности. Человек получает иногда плату за то, что не представляет собою никакой работы, например, за поступки, противные чести и совести. В таком случае цена становится мнимой величиною. Карл Маркс приписывает эти отклонения капиталистической форме производства, в которой общее правило является только как слепой закон, устанавливающий среднюю норму неправильных отношений (Ibid. S. 80-81). Но мы не можем не видеть здесь признания, что цена товаров определяется не одним рабочим временем, но и другими обстоятельствами. Между тем определение меновой ценности исключительно рабочим временем было выведено как абсолютный закон независимо от какой бы то ни было формы производства. Нам было сказано, что уравнение, в котором выражается мена, означает, что в обоих терминах заключается одинаковое количество рабочего времени. Принявши это начало, мы непременно должны признать, что в денежной цене товара выражается его меновая ценность, или количество заключающегося в нем рабочего времени, и ничего более. Сколько бы мы не сравнивали между собою величин и с которого бы конца мы ни начинали, отношение равенства все-таки остается отношением равенства. Сказать же, что меновая ценность выражается в цене товара, но цена товара не всегда выражает меновую ценность, это все равно, что если бы, говоря, например, об измерении стола, мы сказали, что начавши с одного конца, выйдет два аршина, а начавши с другого, может,

пожалуй, выйти и три. Противоречие тут опять не в предмете, а единственно в теории автора.

К такой же нелепости он приходит, когда он несоответствие цены с истинною ценностью товара объясняет тем, что субстанция цены, то есть воплощенная в произведении работа, может при перемене формы, то есть при обмене, утрачиваться или убавляться (Ibid. S. 87). Такого исчезновения или приращения субстанции наука не знает. Это — чудодейственное творение из ничего или превращение в ничто. Недаром Карл Маркс относит цену товаров к сверхъестественному миру.

Исследовавши таким образом превращение меновой ценности в деньги, Карл Маркс исследует затем превращение денег в капитал. Это — краеугольный камень всей системы, и здесь автор радикально расходится со всеми «мещанскими экономистами». Последние под именем капитала разумеют всякое произведение, обращенное на новое производство; но Карл Маркс, возвращаясь к понятиям древних, видит в капитале только деньги, приносящие проценты, или рождающие молодых, по выражению Аристотеля (Ibid. S. 135, прим. 137, 149). Будучи пущен в оборот, капитал превращается и в товар, но с тем только, чтобы снова превратиться в деньги. Товарная форма для него переходная, денежная же форма — начало и конец его движения (Ibid. S. 137). Этим обращение капитала существенно отличается от собственно товарного обращения. В последнем товар составляет начало и конец оборота. Производитель продает товар и на полученные деньги покупает новый товар, который ему нужен для потребления. Следовательно, это — обмен двух равноценных товаров через посредство денег. Формула этого оборота следующая: Товар — Деньги — Товар. Целью является здесь потребление, чем и кончается весь процесс. Оборот капитала, напротив, изображается формулою: Деньги — Товар — Деньги. Целью здесь не может быть обратное получение денег, ибо подобный оборот не имел бы смысла. Цель состоит в том, чтобы на пущенные в оборот деньги получить прибыль, или излишек цены (Mehrwert). Посредством оборота капитал нарастает, и это наращение не имеет предела, ибо каждый завершившийся оборот становится началом другого (Ibid. S. 129-136). Эта форма оборота, говорит Маркс, по-видимому, принадлежит только купеческому капиталу; но она точно так же свойственна и всякому промышленному капиталу. Везде на деньги покупаются товары, которые опять продаются в другом виде. В капитале, который отдается в рост, эта форма является во всей своей чистоте, в сокращенном виде. Тут прямо выражается истинное существо капитала: это — деньги, рождающие деньги (Ibid. S. 138).

Читатель спрашивает: где же мы после этого найдем простое товарное обращение, которое противопоставляется денежному? Если мы возьмем приведенный Марксом пример крестьянина-производителя, который продает хлеб с тем, чтобы купить платье, то мы увидим, что

и крестьянин для производства хлеба должен был сначала положить деньги. Положим, что земля досталась ему каким-либо неизвестным способом; но все же надобно купить земледельческие орудия, скот, материалы для хозяйственных построек, может быть, и семена. Самые вырученные за товар деньги он не все употребляет на покупку необходимых для домашней жизни предметов; часть их он снова обращает на производство. Но и купец-капиталист делает то же самое: часть своей прибыли он употребляет на свою собственную жизнь, а другую прилагает к капиталу и пускает в новый оборот. Разница между обоими способами-обращения состоит единственно в том, что в первом случае Карл Маркс произвольно начинает с товара, как будто товар упал с неба, и также произвольно кончает потреблением, не обращая внимания на ту часть выручки, которая идет на новое производство; в другом же случае он делает наоборот: он произвольно начинает с денег, как будто деньги упали с неба, и обращает внимание исключительно на ту часть прибыли, которая снова пускается в оборот. Истинная же разница состоит не в том, что мы произвольно начнем с того или другого конца, а в том, что одни траты делаются для потребления, а другие — для производства. Последние и составляют капитал, без которого ни одно производство обойтись не может. Видеть капитал в одних деньгах — это значит возвращаться к первобытным временам политической экономии. Древние могли с презрением смотреть на торговую прибыль и на денежный процент, так же как они вообще с презрением смотрели на физический труд: у них достойным гражданина считалось только управление домом и занятие государственными делами. Но перенесение этих понятий на Новое время лишено всякого смысла.

И это еще не все. Самое любопытное то, что Карл Маркс, выдавая денежное обращение за источник приращения капитала, вместе с тем признает это приращение невозможным. В самом деле, если цена товаров определяется потребной на производство их работой, то сколько ни превращай товар в деньги и деньги в товар, цена останется все одна и та же. Это мы и видим в простом товарном обращении: купленный для потребления товар равняется по цене проданному товару. Разница состоит не в меновой, а в потребительной их ценности: одному нужно одно, другому — другое; оттого и происходит мена. Только для более удобного сравнения она совершается через посредство денег. Поэтому и в денежном обращении конец должен быть равен началу. Сколько бы мы ни вставляли посредствующих уравнений, все же мы не получим ничего, кроме отношения равенства. Обращение, говорит Карл Маркс, не рождает цены, и весь этот посредствующий процесс не что иное, как фокус, ибо потребитель может прямо купить товар у производителя (Ibid. S. 139-142). Купец вставляется между ними как паразит, и весь его барыш объясняется только тем, что он обчисливает того и другого. По чистым экономическим законам, тут прибыли быть не может (Ibid. S. 148, 149).

Как же, однако, спрашивает в изумлении читатель: разве купцу не нужно ни хлопот, ни издержек для того, чтобы произведенный, иногда за тридевять земель, товар доставить потребителю? Разве всякий, кто нуждается в чае или хлопке, может идти за ними в Китай или в Америку? Даже производитель, который живет под боком, не продает своих товаров в розницу. Розничная продажа требует опять же хлопот и издержек. Производитель спешит сбыть свой товар оптом, с тем чтобы вырученные деньги опять обратить на производство. Следовательно, посредничество необходимо, а оно сопряжено с издержками, с хлопотами, с риском. Нужны постройки, корабли, склады; купец должен ездить, покупать, рассчитывать. Неужели он за все это не получит вознаграждения, и проданный им товар должен, по экономическим законам, оставаться в той цене, по какой он его купил? Казалось бы, достаточно поставить эти вопросы, чтобы получить на них ответ. Об этом слишком громко говорят и наука, и здравый смысл, и ежедневный опыт. Но Карл Маркс вопреки науке, здравому смыслу и опыту храбро утверждает, что купец не что иное, как паразит и что обращение товаров никогда не может породить приращения ценности.

Если мы взглянем на другую форму прибыли, на процент с капитала, отдаваемого взаймы, то мы увидим то же самое. Капитал, лежащий в сундуках, скопляемый в виде сокровища, процента не приносит; почему же он приращается, когда он пускается в оборот? По той же самой причине, по какой получает вознаграждение и человеческая работа, — потому что он становится полезным. По собственному признанию Карла Маркса, только та работа имеет цену, которая служит на пользу другого (Ibid. S. 64); то же самое прилагается и к деньгам. Заемщику нужны деньги; если он их не получит, он принужден будет прекратить свое производство; он, может быть, даже пойдет по миру. В этой нужде он обращается к тому, у кого деньги есть. Но промышленность — не благотворительное учреждение. Если капиталист, по экономическим законам, должен выдать деньги на риск, с тем чтобы через Бог знает сколько времени получить их обратно в том же количестве, он скажет себе, что гораздо лучше оставить их безопасно в сундуке. В силу этих так называемых экономических законов заемщик не получит денег и разорится. Но если нуждающемуся в деньгах, с одной стороны, и капиталисту — с другой, придет в голову нарушить экономический закон и установить плату за пользование деньгами, то это будет выгодно для обоих. Разница между копителем сокровища и капиталистом, говорит Карл Маркс, состоит в том, что первый поступает глупо, а второй умно (Ibid. S. 136). Действительно так, но в чем же состоит глупость первого и проницательность второго? Почему в одном случае капитал не приращается, а во втором приращается? Просто потому, что в первом случае он остается без пользы, а во втором он становится полезным! — Однако, возразят, капиталист не производит никакой работы, а по принятой теории,

одна работа определяет цену произведений,— Но кто же виноват, если ваша теория оказывается негодной? Вольно вам произвольно принимать в расчет только пользу, приносимую работою, а не пользу, приносимую капиталом!

Карл Маркс понимает, однако, что одним обсчитыванием нельзя объяснить такое всеобщее явление, как процент с капитала. Надобно вывести это явление из внутренних законов обмена товаров *. Но ни торговый капитал, ни кредит не представляют для этого данных. Поэтому Карл Маркс обращается к другой промышленной форме — к фабричному производству, которое ведется посредством найма рабочих. Капиталистическое производство, говорит он, начинается там, где, с одной стороны, являются чистые капиталисты, а с другой — свободно нанимающиеся рабочие, то есть не ранее XVI века (Ibid. S. 128). Таким образом, те формы, которые сам Карл Маркс признает первоначальными и древнейшими (Ibid. S. 128, 148) — торговый капитал и кредит,— остаются необъясненными. Капитал существовал тысячелетия и приносил проценты, и все это совершалось наперекор экономическим законам! Автор не заботится даже о том, чтобы дать объяснение, общее всем формам. Когда ему нужно доказать, что капитал не может приращаться оборотом, он берет один торговый капитал, а когда ему нужно доказать, что приращение происходит посредством эксплуатации рабочих, он берет один фабричный капитал, не обращая внимания на то, что приложимое к последнему не относится к первому.

Фабричное производство, по мнению Карла Маркса, имеет то специальное свойство, что тут покупается особого рода товар — рабочая сила, которая не только сама имеет цену, но и становится источником новых ценностей (Ibid. S. 151-152). Карл Маркс тщательно старается доказать, что капиталист покупает не работу, а именно рабочую силу. Когда совершается продажа, говорит он, работа еще не существует, следовательно, не может быть продана, а когда работа начинается, она уже продана, следовательно, не принадлежит более работнику. Работа есть субстанция и внутреннее мерило цен, но сама она не имеет цены. Поэтому обыкновенно употребляемый термин «цена работы» есть только фиктивное выражение. В действительности, цену имеет одна рабочая сила, которая и продается на рынке (Ibid. S. 556-557).

Если читатель воображал, что рабочая сила продается на рынке только в странах, где существует рабство, то теперь он должен в этом разубедиться. Напрасно мы стали бы указывать на то, что рабочая сила, по собственному признанию автора, остается постоянным достоянием рабочего (Ibid. S. 152-153), а продается только временное ее употребление, то есть именно работа, ибо

* Ibid. S. 150: «die Verwandlung des Geldes in Kapital ist auf Grunddage dem Warenaustausch immanenter Gesetze zu entwickeln, so dass der Austausch von Aequivalenten als Ausgangspunkt gult»⁴³

сам автор определяет работу, как употребление рабочей силы (Ibid. S. 163). Напрасно также мы стали бы доказывать, что самое употребление рабочей силы, в отличие от найма домов, машин и т.п., не отдается в руки капиталиста, ибо работник сам прилагает свою волю и свое внимание к делу и сам употребляет свои члены для производства работы. Напрасно мы устранили бы и детское возражение, что работа на рынке не может продаваться, потому что она еще не существует, указанием на подряды, где продаются произведения еще не существующие. Напрасно, наконец, мы стали бы доказывать, что отвергать ценность употребления или траты рабочей силы, то есть именно того, что может передаваться и переходить в ценность товаров, и признавать ценность источника этой траты, самой рабочей силы, которая преспокойно остается в теле работника, есть чистая бессмыслица. К чему тут рассуждения, когда сам Карл Маркс в десяти местах своего сочинения признает, что работник отдает капиталисту не рабочую силу, а именно известную сумму работы, определяемую временем? Так, на стр. 172 мы читаем: «Покупщику товара принадлежит употребление товара, и владелец рабочей силы, отдавая свою работу, отдал, в сущности, только проданную им потребительную ценность» (Gebrauchswerth). На стр. 562: «Потребительная ценность, которую работник отдает капиталисту, в действительности не есть его рабочая сила, а ее отправление, известная полезная работа». На стр. 564: «Но ясно, что смотря по длине рабочего дня, то есть по количеству исполненной в течение дня работы, та же самая поденная или недельная плата может представлять совершенно разную цену работы, то есть совершенно разные денежные суммы за то же количество работы». На стр. 153, в примечании, Карл Маркс делает даже выписку из философии права Гегеля, где говорится: «Из моих особенных телесных и духовных способностей и возможностей деятельности я могу отчуждать другому ограниченное во времени употребление, потому что в силу этого ограничения они получают внешнее отношение к моей всецелости и общности. Отчуждением же всего моего конкретного рабочего времени и всецелости моих произведений я сделал бы самую их сущность, мою общую деятельность и действительность, то есть мою личность, собственностью другого». И после всего этого Карл Маркс все-таки утверждает, что продается не работа, а рабочая сила, что первая не имеет цены, а последняя имеет!

Зачем же, однако, нужна автору вся эта бессмыслица? Затем, что без этого ничего не выйдет. Если мы скажем, что продается работа и спросим о ее цене, то по предыдущей теории ответ не может быть сомнителен. Ценою работы называется выражение ее в деньгах, а мы знаем, что цена денег служит чистым выражением рабочего времени. Следовательно, вопрос решается очень просто. Если, например, количество золота, равное одному рублю, представляет собою один рабочий день, то ясно, что цена рабочего дня равняется

одному рублю, и это имеет силу для всего земного шара. Ничего другого из этой теории вывести нельзя. Это — чистая математика: если $A = B$, то $B = A$. Но именно этого-то и желательно избежать. Требуется доказать, что если A равно B , то B вовсе не равно A . Для этого-то и нужно цену работы заменить ценою рабочей силы, и тогда можно рассуждать таким образом: рабочая сила продается как товар; цена всякого товара определяется суммою работы, потребной на его производство; для производства и поддержания рабочей силы требуются известные жизненные средства, а для производства этих средств опять нужна работа; следовательно, цена рабочей силы определяется среднею суммою работы, потребной для производства необходимых для работника жизненных средств. Положим, например, что для дневного содержания работника и его семейства требуется 6 часов, или полдня работы, что в деньгах выражается одним талером. В таком случае, цена одного рабочего дня будет равняться одному талеру или шестичасовой работе (Ibid. S. 155-158). А так как рабочий день равняется двенадцати часам, то выходит, что один талер представляет собою и шестичасовую и двенадцатичасовую работу. Половина рабочего дня равняется целому рабочему дню.

Читатель видит, к чему мы приходим вследствие замены цены работы ценою рабочей силы. Если бы мы прямо сказали, что «12 часов работы меняются на 10, на 6 и т.д. часов работы», то подобное «уравнение неравных величин», как говорит сам Маркс, не только уничтожило бы всякое определение цены, но такое само себя уничтожающее противоречие не могло бы даже вообще быть высказано или формулировано как закон (Ibid. S. 556). Здесь же косвенным путем приходим к тому же выводу. По признанию самого Маркса, «мы получаем с первого взгляда нелепый результат, что работа, которая производит ценность в 6 шиллингов, сама имеет только ценность 3-х шиллингов» (Ibid. S. 560). Но вставивши посредствующим членом другую нелепость, именно замену цены работы ценою рабочей силы, мы первую нелепость можем некоторым образом скрыть от взоров неопытного читателя. С помощью изложенного выше рассуждения можно даже выдать ее за непреложный закон капиталистического производства.

Карл Маркс признает, впрочем, что выведенный им «экономический закон» подвергается некоторым видоизменениям. Утвердивши на общем основании, что цена рабочей силы определяется средней общественной работой, потребной для производства жизненных средств, необходимых для поддержания этой рабочей силы (Ibid. S. 155-156), он вслед за тем говорит, что это определение составляет наименьшую границу ценности рабочей силы. При такой цене рабочая сила стоит даже ниже своей настоящей ценности, ибо она не может поддерживаться в нормальной доброте (Ibid. S. 158). Нормальная же доброта определяется не одними необходимыми физическими потребностями, но и местными и временными

условиями, степенью развития общества, главным же образом привычками и жизненными требованиями свободного рабочего класса. Поэтому, заключает Карл Маркс, определение цены рабочей силы, в противоположность другим товарам, заключает в себе исторический и нравственный элемент (Ibid. S. 156). Казалось бы, этого достаточно для опровержения всей теории. Сам автор прямо признает, что цена рабочей силы определяется не суммой работы, потребной на ее поддержание, а привычками и жизненными требованиями рабочего класса. Но, несмотря на то, Карл Маркс настаивает на своем «экономическом законе» и на нем строит все свои выводы.

Прямое последствие этого «закона» составляет то, что как бы ни была продолжительна работа, цена ее всегда одна и та же, ибо она определяется не временем работы, а тем, что работнику нужно для его содержания. Цена двенадцатичасового рабочего дня определяется суммой работы, потребною для производства необходимых жизненных средств, то есть шестью или, пожалуй, восемью или десятью часами работы, смотря по обстоятельствам. Если же мы спросим, какова цена этой последней работы, воплотившейся в жизненные средства, то получим в ответ, что она опять определяется суммой работы, потребной на содержание этих последних рабочих, то есть опять шестью, восемью или десятью часами работы. Таким образом, 6, 8, 10 и 12 часов работы имеют совершенно одинаковую цену. Если работник работал всего 3 часа в день, то и в таком случае цена его рабочей силы определялась бы потребными для поддержания ее средствами пропитания; но тогда рабочий жил бы на счет капиталиста. Продолжительность работы, которой определяется цена произведений, по этой теории, вовсе не принимается в расчет при определении цены получаемой капиталистом работы.

Невинный работник не подозревает этого удивительного свойства его труда, что как долго он ни работай, цена его работы, по «экономическим законам», все будет одна и та же. Но более проницательный капиталист скоро об этом догадывается и на этом строит все свои расчеты. Карл Маркс подробно описывает, как это происходит. Капиталист хочет производить, например, бумажную пряжу. Для этого ему нужен прежде всего материал. Он идет на рынок и покупает, положим, 10 фунтов хлопка, которые стоят 10 шиллингов, представляющих сумму работы, потребной на производство означенного количества хлопка. Эта сумма должна войти в цену будущего произведения. Затем надобно определить трату машин и прочего капитала. Этот капитал представляет также накопленную в нем работу, которая опять же должна войти в цену будущего произведения. Положим, что для производства 10 фунтов пряжи накопленной в капитале работы тратится на 2 шиллинга. Итого, 12 шиллингов, представляющих цену двух рабочих дней, или 24-х часовой работы. Наконец, ко всему этому надобно присоединить цену рабочих

рук. Цена купленного капиталистом рабочего дня равняется трем шиллингам, представляющим шестичасовую работу, потребную на дневное содержание работника. Если на производство десяти фунтов пряжи нужно тоже 6 часов работы, то к цене произведения надобно прибавить еще 3 шиллинга. Итого 15. Это и есть настоящая меновая цена 10 фунтов пряжи, цена, представляющая сумму всей употребленной на нее работы. Продавши ее по этой цене, капиталист получает возмещение всех своих издержек, но прибыли нет никакой (Ibid. S. 174-178).

«Наш капиталист удивляется»,— говорит Карл Маркс. Читатель тоже. В самом деле, как не удивляться, когда за все свои хлопоты, риск и издержки, капиталист, по изложенному расчету, не должен получить никакой прибыли? В таком случае, производить не стоит. «Экономический закон» уничтожает возможность производства. Конечно, против такого расчета можно представить множество возражений. Но вместо серьезного обсуждения возражений Карл Маркс дает нам только пошлейшее изображение обманутого в своих ожиданиях капиталиста, который, не получая прибыли, мечется во все стороны. Он грозит, что не будет более производить; он «катилизует»; он «становится на задние лапы»; наконец, он сам притворяется рабочим и требует платы за свою работу. Хотя в другом месте Карл Маркс говорит, что капиталист принужден употреблять все свое время на контроль чужой работы и на продажу произведений этой работы (Ibid. S. 314), однако тут притязание на вознаграждение устраняется просто замечанием, что «собственный его надзиратель и управляющий пожимают плечами». Но скоро улыбка озаряет опять лицо капиталиста. Как практический человек он догадался, в чем штука. Ведь он за 3 шиллинга купил целый рабочий день, то есть 12 часов работы, а в цену произведенных им 10 фунтов пряжи вошло только 6 часов работы. Следовательно, остальные 6 часов работник будет работать на него даром. Произведенные в течение этих 6 часов 10 фунтов пряжи продадутся опять за 15 шиллингов; но на этот раз капиталист потратил только 12 шиллингов на покупку сырого материала и на трату машин, за работу же он не заплатил ничего. Три шиллинга он получает как чистую прибыль. Таким образом, строго держась «экономических законов», капиталист надул работника: произведенную последним ценность он положил в свой карман. «Фокус наконец удался,— восклицает Карл Маркс.— Деньги превратились в капитал» (Ibid. S. 179-183).

Действительно, тут учинен фокус, только не капиталистом, а писателем, который, идя от нелепости к нелепости, пришел наконец к тому, что половина равна целому. Казалось бы, что если полдня, или 6 часов работы, равняются 3 шиллингам или, например, 5 фунтам хлеба, то целый день, или 12 часов работы, должен равняться 6 шиллингам, или 10 фунтам хлеба, а тут выходит, что как половина, так и целый день равняются только 5 фунтам. Если бы математик

рук. Цена купленного капиталистом рабочего дня равняется трем шиллингам, представляющим шестичасовую работу, потребную на дневное содержание работника. Если на производство десяти фунтов пряжи нужно тоже 6 часов работы, то к цене произведения надобно прибавить еще 3 шиллинга. Итого 15. Это и есть настоящая меновая цена 10 фунтов пряжи, цена, представляющая сумму всей употребленной на нее работы. Продавши ее по этой цене, капиталист получает возмещение всех своих издержек, но прибыли нет никакой (Ibid. S. 174-178).

«Наш капиталист удивляется»,— говорит Карл Маркс. Читатель тоже. В самом деле, как не удивляться, когда за все свои хлопоты, риск и издержки, капиталист, по изложенному расчету, не должен получить никакой прибыли? В таком случае, производить не стоит. «Экономический закон» уничтожает возможность производства. Конечно, против такого расчета можно представить множество возражений. Но вместо серьезного обсуждения возражений Карл Маркс дает нам только пошлейшее изображение обманутого в своих ожиданиях капиталиста, который, не получая прибыли, мечется во все стороны. Он грозит, что не будет более производить; он «катилизует»; он «становится на задние лапы»; наконец, он сам притворяется рабочим и требует платы за свою работу. Хотя в другом месте Карл Маркс говорит, что капиталист принужден употреблять все свое время на контроль чужой работы и на продажу произведений этой работы (Ibid. S. 314), однако тут притязание на вознаграждение устраняется просто замечанием, что «собственный его надзиратель и управляющий пожимают плечами». Но скоро улыбка озаряет опять лицо капиталиста. Как практический человек он догадался, в чем штука. Ведь он за 3 шиллинга купил целый рабочий день, то есть 12 часов работы, а в цену произведенных им 10 фунтов пряжи вошло только 6 часов работы. Следовательно, остальные 6 часов работник будет работать на него даром. Произведенные в течение этих 6 часов 10 фунтов пряжи продадутся опять за 15 шиллингов; но на этот раз капиталист потратил только 12 шиллингов на покупку сырого материала и на трату машин, за работу же он не заплатил ничего. Три шиллинга он получает как чистую прибыль. Таким образом, строго держась «экономических законов», капиталист надул работника: произведенную последним ценность он положил в свой карман. «Фокус наконец удался,— восклицает Карл Маркс.— Деньги превратились в капитал» (Ibid. S. 179-183).

Действительно, тут учинен фокус, только не капиталистом, а писателем, который, идя от нелепости к нелепости, пришел наконец к тому, что половина равна целому. Казалось бы, что если полдня, или 6 часов работы, равняются 3 шиллингам или, например, 5 фунтам хлеба, то целый день, или 12 часов работы, должен равняться 6 шиллингам, или 10 фунтам хлеба, а тут выходит, что как половина, так и целый день равняются только 5 фунтам. Если бы математик

в своих исчислениях сделал подобный вывод, он, без сомнения, заключил бы, что в его вычислениях есть ошибка. Но ученик Гегеля не стесняется подобными соображениями. Он просто может выдать противоречие, родившееся в его собственной голове, за противоречие, присущее предмету. Правда, от логики Гегеля не остается здесь и призрака; но кто же станет это разбирать, особенно в настоящее время, когда все эти метафизические бредни, в том числе и логика, считаются сданными в архив?

Карл Маркс сам, впрочем, раскрывает нам, в чем состоит штука. «Прошедшая работа, заключающаяся в рабочей силе,— говорит он,— и живая работа, которую последняя может произвести, ежедневные издержки для поддержания силы и ежедневная ее трата — две совершенно разные величины. Одна определяет ее меновую ценность, другая образует ее потребительную ценность» (Ibid. S. 181). А «потребительная ценность и меновая — две величины несоизмеримые» (Ibid. S. 561). Что же такое потребительная ценность рабочей силы? «В действительности,— говорит Карл Маркс,— потребительная ценность, которую работник отдает капиталисту, не есть его рабочая сила, а ее отправление, известная полезная работа», но эта работа имеет то свойство, что она производит ценности (Ibid. S. 562). Это последнее свойство составляет специальную потребительную ценность работы: она не только служит источником ценности, но она производит большую ценность, нежели она сама имеет (Ibid. S. 182). Иными словами, польза, приносимая работою, не только возмещает трату сил, то есть меновую ее ценность, но и производит новые ценности. Вспомним теперь, что нам говорились в начале. Мы слышали, что в меновую ценность товаров не входит ни единого атома потребительной ценности; что ценность произведений определяется не полезностью работы, а единственно значением ее как траты силы; что производительность работы вовсе не принимается в расчет, а отдается даром. Этой теории и держится работник при продаже своей рабочей силы. Он берет за нее как за произведение, а не как за производителя; он ценит ее меновую, а не ее потребительную стоимость.

Но капиталист, когда он определяет цену своего товара, отправляется от теории совершенно противоположной. Он берет в расчет значение рабочей силы не как произведения, а как производителя, не меновую, а потребительную ее ценность. Мудрено ли после этого, что одна и та же рабочая сила получает две совершенно разные цены? Работник думает, что цены определяются меновою ценностью, а капиталист думает, что они определяются потребительною ценностью, двумя, по выражению Маркса, несоизмеримыми величинами.

Читатель видит, что «фокус», в сущности, довольно прост. Рецепт его следующий: если мы хотим доказать, что $U_2A = A$, то надобно в уравнении $A = A$ разделить оба члена на две половины; затем, говоря о первом члене, мы будем утверждать, что одна из двух половин вовсе не имеет значения для уравнения, а потому должна

быть выкинута, а разбирая второй член, мы будем утверждать, что другая половина имеет существенное значение, а потому должна быть оставлена. Читатель, может быть, и не догадается, если мы все это размажем на 822 страницах.

И эту непроходимую дребедень нам выдают за строго научный вывод!

Можно спросить себя только: сознательно все это производится или бессознательно? Надобно полагать, что тут нет ничего, кроме неисцелимой путаницы понятий в голове автора, ибо, сказавши, что специальная потребительная ценность работы состоит именно в том, что она производит ценности, Карл Маркс заключает: «Как видно, полученное из анализа товара различие между работою как потребительною ценностью и тою же работою как творящею ценности представилось теперь как различие отдельных сторон производительного процесса» (Ibid. S. 185-186). Оказалось совершенно обратное: различенное прежде опять смешалось, из чего вышел не с первого только взгляда «нелепый результат, что работа, которая производит ценность в 6 шиллингов, сама имеет только ценность в 3 шиллинга» (Ibid. S. 560). Одно из двух: или цена рабочей силы определяется единственно ее меновою, а не потребительной ценностью, и тогда эта же ценность переходит и на работу как трату силы, а наконец, и на произведения как представляющие собою известную сумму работы; или же, если цена произведений определяется потребительною ценностью работы, то есть ее полезностью, что и происходит в действительности, то это же начало прилагается и к рабочей силе, ибо в товаре как произведении работы не может быть ничего, чего бы не было в работе, а в работе не может быть ничего, чего бы не было в рабочей силе. «Из ничего ничего не происходит»,— говорит Карл Маркс. Производство ценностей есть превращение рабочей силы в работу (Ibid. S. 205, прим. 27).

То же самое рассуждение прилагается и к капиталу, который, так же как работа, есть деятель производства. Если в цену произведений входит только меновая, а не потребительная ценность работы, то это же начало прилагается и к капиталу. В таком случае он не приносит процента, но и работа не производит никакого избытка ценности; она только поддерживает самое себя. Если же цены товаров определяются потребительною ценностью работы, если работа, сверх собственной поддержки, производит или может производить еще избыток ценности, то очевидно, то же самое имеет место и относительно капитала: кроме возвращения цены истраченного капитала, капиталист получает еще вознаграждение за принесенную им пользу. Но именно этого-то Карл Маркс и не признает. То начало, которое он прилагает к работе, он отрицает в приложении к капиталу. По его мнению, «капитал есть умершая работа, которая, как вампир, оживляется только всасыванием живой работы» (Ibid. S. 224, 594). Деятельною является

единственно последняя; она не только производит новые ценности, но и переносит меновую ценность капитала на произведения. Первое она совершает посредством своего количества, второе — посредством своего качества. Но так как качество работы дается даром, то этот перенос меновой ценности капитала не что иное, как подарок, который работник делает капиталисту. Работник и не подозревает этого «природного дара живой работы, в силу которого она сохраняет ценность в то время, как она их производит». Весь процесс опять происходит за его спиной. Но капиталист пользуется им для возмещения своих издержек. В доказательство Карл Маркс ссылается на то, что при улучшении способов производства производительная сила работы увеличивается: в одинаковое время обделывается более материала, следовательно, переносится более ценности, а между тем цена работы остается прежняя, распределяясь только на большее количество произведений. Наоборот, если производительная сила работы остается та же, но возвышается цена сырого материала, то одна и та же работа, обделывая одно и то же количество материала, все-таки переносит большую ценность на произведение (Ibid. S. 187-190, 196).

Этот последний пример мог бы быть приведен именно как доказательство против теории автора. Большая ценность переносится тут не вследствие какого-либо улучшения работы, а просто потому, что совершенно независимо от работы возвысилась цена материала; следовательно, работа тут не при чем. Но и первый пример доказывает столь же мало. Если, при усовершенствованных орудиях, один и тот же работник в одно и то же время делает больше прежнего, то это доказывает большую производительность не его рук, а его орудий. Ребенок при машине может сделать больше, нежели самый сильный и искусный работник без машины. Поэтому и цена работы остается та же или может даже уменьшиться. В действительности перенос цены истраченного капитала на произведение совершается не работником, а капиталистом, который за свой товар требует самую цену, которая бы возмещала ему издержки; иначе он производить не станет. Карл Маркс видит в этом переносе какой-то физический акт вроде «переселения душ» (Ibid. S. 196); но он тут же принужден признаться, что, строго говоря, тут воспроизведения нет: прежняя потребительная ценность исчезла; произведена новая, в которой появляется прежняя меновая ценность, но это воспроизведение только кажущееся (Ibid. S. 197, 198). При этом он забывает и прежнюю свою теорию, по которой цена произведений определяется не действительно совершенною личною работою, а среднею общественною работою, потребною для производства. Следовательно, действительный работник никаких цен переносить не может, и сколько он ни переносит, если средняя потребная работа, то есть спрос, уменьшится, то перенесенная цена превратится в ничто, несмотря на природный дар живой работы сохранять ценности.

Из всего этого Маркс выводит, что материалы и орудия производства никогда не могут дать произведениям более цены, нежели они сами имеют. Если трата происходит по частям, например, при употреблении орудий, то эта только часть и переходит в цену произведений. При этом, по замечанию Маркса, происходит любопытное явление: машина, например, в данном производстве тратится только частью, а служит она этому производству всецело. Первое представляет ее меновую ценность, которая и переходит в цену произведений, второе — ее потребительную ценность, которая действует даром. Как бы ни было полезно орудие производства, ценность его определяется не тем процессом, в который оно входит как деятель, а тем, из которого оно выходит как произведение. В производительном процессе оно служит только как потребительная ценность, как вещь с полезными свойствами, а потому оно не придало бы произведению никакой цены, если бы оно не имело цены до начала процесса (Ibid. S. 193, 195). Чем больше производительная деятельность машин в сравнении с простыми орудиями, говорит Карл Маркс, тем больше и объем их даровой услуги. Только в крупной промышленности человек научается заставлять произведения своей прошедшей работы действовать в больших размерах даром, подобно силам природы (Ibid. S. 404).

Почему же, однако, потребительная ценность работы входит в цену товаров, а потребительная ценность капитала нет? Почему первая не только возмещает свою трату, но и производит лишнюю ценность, а второй только возмещает свою стоимость, а производимый им излишек отдает даром? Одним словом, почему из двух деятелей производства работа ценится не только как произведение, но и как производитель, а капитал ценится единственно как произведение? Ссылаться на то, что один является истинным деятелем, а капитал служит только мертвым орудием, нет возможности. Мы видели уже, что то, что Маркс называет производительною силою работы, в сущности, есть производительная сила капитала. Сам Карл Маркс признает, что со введением машин роли меняются: прежде орудие становится главным деятелем, а рабочая сила превращается в орудие машины (Ibid. S. 444). Точно так же он признает, что большая производительная сила работы, при соединении ее в крупном производстве, происходит от капитала, который собирает рассеянные единицы и связывает их в одно целое (Ibid. S. 338). Почему же капиталист все это должен производить даром? Очевидно, что и тут, как везде, имеется двойная мера и двое весов. В одном случае отвергается то, что признается в другом единственно потому, что так нужно автору.

Этим способом Карл Маркс выводит, что прибыль в производстве может произойти исключительно от работы, и если ее получает капиталист, то это не что иное, как неправильное присвоение плодов чужого труда, то есть чужой собственности. Работник часть своего рабочего дня употребляет на себя, именно

на возмещение издержек содержания, остальную же часть, которую Маркс называет «излишним рабочим временем», он даром отдает капиталисту, и это-то и составляет источник прибыли. Карл Маркс называет это тайною прибыли (Ibid. S. 554, прим. 20). Есть, правда, явления, которые, по-видимому, противоречат этому объяснению. Так, принявши эту теорию, следует сказать, что для капиталиста выгодно употреблять как можно больше рабочих для своего производства, а не заменять их машинами. «Невозможно, например,— говорит Карл Маркс,— из двух рабочих выжать столько же излишка ценности, сколько из 24. Если каждый из 24 рабочих в течение 12 часов дает только один час излишней работы, то все же они вместе дают 24 часа излишней работы, тогда как совокупная работа двух работников равняется только 24 часам» (Ibid. S. 426). На деле выходит, однако, наоборот, что капиталисту выгоднее употреблять двух рабочих, нежели 24. Но это опять одно из «внутренних противоречий» капиталистического производства! Теория все-таки остается невредима.

При таком взгляде нетрудно представить всю промышленность как ряд грабежей и вымогательств. Это и делает Карл Маркс. Свободный договор, которым определяется заработная плата, в его глазах есть только юридический вымысел, прикрывающий призрак независимости. «Римский раб привязан был цепями, наемный же работник невидимыми нитями привязывается к своему хозяину» (Ibid. S. 597). Вцепившийся в рабочего «вампир» не отстает, «пока остается один мускул, одна жила, одна капля крови для поживы» (Ibid. S. 307). Мы не станем следить за этим повествованием. Читатель может судить, какое научное достоинство имеет изложение, освещенное разобранною нами теорией.

В заключение Карл Маркс доказывает, так же как и Лассаль, что «капиталистическое производство» имеет чисто историческое значение. Он оставляет в стороне древность и Средние века и начинает прямо с XVI столетия, когда впервые появляется различие между капиталистами с одной стороны, и свободными работниками — с другой. Необходимое для этого условие состоит в образовании класса пролетариев. По мнению Карла Маркса, этот класс образуется вследствие экспроприации работников, владеющих землею. Огульное изгнание крестьян с земли составляет поэтому основание всего процесса. Карл Маркс вкратце излагает историю этой экспроприации в Англии, где, по его мнению, она имеет «классическую форму» (Ibid. S. 745).

Известно, что в Англии крестьяне были освобождены ранее, нежели в других странах. Известно также, что в последующем историческом процессе поземельная собственность сосредоточилась там в относительно немногих руках. Но виновато в том не капиталистическое производство, а аристократический строй общества. Это — жертва, которую Англия принесла своему политическому развитию. На европейском материке нет ничего подобного. Там

в огромном большинстве случаев крестьяне с свободой получили и землю, которая и осталась закрепленной за ними. Там зло заключается не в сосредоточении поземельной собственности в немногих руках, а, напротив, в безмерном ее раздроблении. Все это — факты совершенно достоверные. Но Карл Маркс осторожно их обходит. Он ограничивается одною Англиею, потому что иначе все так называемое историческое развитие капиталистического производства оказалось бы чистою фантазией.

В самой Англии он оставляет в стороне экономические причины «земледельческой революции», а довольствуется изложением употребленных при этом насильственных мер (Ibid. S. 752). К удивлению, мы узнаем, что английские землевладельцы находили овец более выгодными, нежели рабочих, а потому вытесняли последних в пользу первых. Они не подозревали, что одна рабочая сила дает прибыль, а с овец нельзя вымогать излишнего рабочего времени. К еще большему нашему изумлению, Карл Маркс повествует, что в новейшее время, побуждаемые ненасытною алчностью к барышу, землевладельцы стали превращать самые овечьи пастбища в охотничьи пустыри. Оказывается, что пустыня, к которой не прилагается рука человеческая, может давать доход. Наконец, вместо того чтобы самим нанимать рабочих и наживаться вымогательством излишнего рабочего времени, землевладельцы предпочитают раздавать свои земли фермерам, которые не работают на своих хозяев, а только платят им деньги. Фермеры являются настоящими земледельческими капиталистами. Но именно они ни к каким насильственным мерам для своего обогащения не прибегали. Если они кого-нибудь лишили поземельной собственности, то разве только самих себя. Фермерский капитал в Англии приносит гораздо больший процент, нежели земля. Поэтому мелкий собственник нередко предпочитает продать свой участок и из недостаточного землевладельца превратиться в зажиточного фермера. В этом заключается одна из причин исчезновения класса свободных мелких землевладельцев в Англии. Но об этом явлении Карл Маркс умалчивает. Не имея возможности приписать обогащение фермеров насильственной «экспроприации», он приводит другую причину, именно, что в XVI веке, когда цена золота упала и вследствие того возвысилась цена всех произведений, долгосрочные контракты на аренду земель продолжали уплачиваться по прежней номинальной цене; отсюда для фермеров несметные барыши (Ibid. S. 774). Оказывается опять, что можно обогатиться не одною эксплуатацией рабочих. Тут капиталисты нажились на счет землевладельцев.

Наконец, и фабричное производство водворяется посредством «экспроприации» самостоятельных мелких производителей, работающих собственными орудиями. Здесь так называемая экспроприация состоит в том, что мелкие производители не в состоянии выдержать конкуренции более выгодного фабричного производства, а потому прекращают свои предприятия. Мелкие производства

соединяются в более обширные мануфактуры (Ibid. S. 777). Карл Маркс признает, однако, что в этой области капиталисты первоначально вышли из тех же мелких производителей посредством постепенного расширения производства (Ibid. S. 781). Но и тут все-таки главный источник обогащения заключается в грубом насилии, высшим выражением которого является колониальная система. «Насилие,— говорит Карл Маркс,— служит повивальной бабкой для всякого старого общества, беременного новым. Оно само есть экономическое начало» (Ibid. S. 782).

Таким образом выходит, что все историческое накопление капитала «означает только экспроприацию непосредственных производителей, то есть уничтожение основанной на собственной работе частной собственности» (Ibid. S. 791). Эта форма раздробленной собственности оказывается недостаточною на известной ступени экономического развития. Она дает слишком скудные результаты; поэтому она и должна уступить место более сосредоточенному капиталистическому производству. Но и последнее, в свою очередь, является только переходною ступенью развития; оно само должно уступить место высшей форме. Начало экспроприации, приложенное прежде к мелким собственникам, продолжает действовать; но теперь оно должно быть приложено уже к капиталистам. Само капиталистическое производство к этому ведет: вследствие конкуренции мелкие капиталы убиваются крупными. Отсюда, с одной стороны, постоянное уменьшение числа капиталистов, обращающих все промышленное производство в свою пользу, а с другой стороны, увеличение бедности, гнета и унижения, но вместе с тем и возмущение рабочего класса, теперь уже соединенного и организованного действием капиталистического производства. Раздробленное прежде производство теперь стало уже общественным. При таком порядке возрастающая монополия капитала становится для рабочих невыносимую цепью. Эта цепь, наконец, разрывается. «Час капиталистической частной собственности пробил,— восклицает Карл Маркс.— Экспроприаторы сами экспроприируются» (Ibid. S. 792-793).

Новая форма, которую принимает при этом производство, составляет в некотором отношении возвращение к первой ступени. Работники опять получают орудия производства в свои руки, но на этот раз работники уже не рассеянные, а соединенные. Орудия производства снова делаются их собственностью, но не личною, а общою. К этому результату приводит само капиталистическое производство, которое рассеянных работников соединило в массы и через то само себя подорвало. Таким образом, этот последний процесс представляется «отрицанием отрицания» (Ibid. S. 793).

Мы видим, что все здесь происходит совершенно согласно с диалектикою Гегеля. Противоречащее начало экспроприации является движущею пружиною всего экономического развития, и притом по трем классическим ступеням. Мы должны верить, что с первых

времен человечества до XVI века были только самостоятельные рабочие, хотя разобщенные, но собственники земли и орудий, затем они лишаются имущества в пользу немногих капиталистов; наконец, капиталисты, в свою очередь, лишаются имущества в пользу соединенных работников. Это — третья и высшая ступень, отрицание отрицания.

Карл Маркс уверяет, что это «отрицание капиталистического производства происходит само собою, с необходимостью естественного процесса» (там же); но он не объясняет нам, в силу каких законов это совершается. В действительности мы до сих пор никакой экспроприации капитала не видим. Правда, нам говорят, что вследствие конкуренции и сосредоточения капиталов в одних руках количество капиталистов все уменьшается, а с другой стороны, все увеличивается пролетариат; но мы знаем, напротив, что в новой Европе, и именно вследствие капиталистического производства, все более и более растет средний класс, который является главным деятелем как в промышленном производстве, так и в политической области. Во всяком случае, если конкуренция крупных капиталов может убить мелкие, то не видать, каким экономическим способом крупные капиталы могут перейти в руки обнищавших рабочих. Конкуренция тут не опасна. Разрешение этой задачи мы получим, когда вспомним, что «насилие есть экономическое начало», которое должно служить повивальной бабкою нового общества. Тогда все делается очень просто. «Превращение основанной на собственной работе лиц, но раздробленной частной собственности в капиталистическую собственность,— говорит Карл Маркс,— составляет, конечно, несравненно более долгий, тяжелый и трудный процесс, нежели превращение фактически уже основанной на общественном производстве капиталистической частной собственности в общественную собственность. Там дело шло об экспроприации народной массы немногими узурпаторами; здесь дело идет об экспроприации немногих узурпаторов народною массою» (Ibid. S. 793).

Как видно, тут дело идет ни более, ни менее как о насильственном ниспровержении всего существующего общественного строя. В «Коммунистическом манифесте», изданном Марксом в 1848 г., эта цель была высказана с полною откровенностью. В «Капитале» она выставляется необходимым результатом всего предшествующего развития человечества. История показывает, однако, что за ниспровержением существующего всегда следует реакция, которая восстанавливает связь с прошедшим. Прочно только то, что приготавливалось медленным историческим процессом и пустило глубокие корни в жизни. Всего менее могут рассчитывать на успех такие перевороты, которые подрывают то, чем человечество жило с самого начала своего существования, и внезапно поднимают на вершину то, что в течение веков, по самому существу общественных отношений, стояло внизу: вчера лишенные всего, как бы по мановению волшебного жезла, становятся обладателями всех

благ. Такого рода учения могут ослепить только людей, совершенно не ведающих истории и общественных наук; но на мысли они способны действовать тем сильнее, чем менее они их понимают. Разрушительные теории являлись здесь с аппаратом учености, который неподготовленным умам представлялся неотразимым. Это было страшное орудие борьбы классов, внушавшее пролетариям гордое сознание своего превосходства. Казалось, и наука и история оправдывают их прятязания и обещают им близкую победу.

Однако из среды самих социалистов раздалась недружелюбные голоса. Родбертус заявил, что его ограбили, усвоили себе его мысли, а о нем даже не упомянули. На это ближайший сподвижник и сотрудник Маркса, Фридрих Энгельс⁴⁴, отвечал, что мысли, которые Родбертус считает своими, известны давным давно. Уже в двадцатых годах, гораздо ранее Родбертуса и Прудона, английские социалисты⁴⁵ выводили из теории Рикардо, что труд, будучи единственным производительным началом в экономической области, должен быть и единственным мерилom ценности произведений. Но Маркс первый установил, какая именно работа производит ценности и почему. Он от утопических требований перешел к основательному научному исследованию вопроса. Точно так же он первый разрешил противоречие, в которое запуталась школа Рикардо, производя, с одной стороны, всякую ценность из работы, а с другой стороны, определяя ценность самой работы опять же работой. Маркс показал, что продается не работа, а рабочая сила, для восстановления которой требуются жизненные средства, определяющие ее цену. Наконец, исследовав обстоятельно все стороны вопроса, он первый дал очерк истории капитализма и изображение его исторического направления*.

Из предыдущего изложения можно видеть, насколько основательны эти похвалы. Карл Маркс точно убедился, что измерение ценностей количеством исполненной работы, при зависимости цен от потребностей, совершенно нелепо. Но замена действительно исполненной работы общественно-необходимой работой есть просто-напросто абсурд, ибо это фантастическая величина, о которой никто не имеет ни малейшего понятия, и сам Маркс даже и не пытался ее определить. Столь же бессмысленна и замена работы рабочей силой. Последняя продается только там, где существует купля и продажа рабов. Свободный же работник продает временное употребление своей силы, то есть работу. Если при таком условии нелепо делать работу мерилom всякой ценности, то эта нелепость не исправляется, а только усугубляется тем, что верное понятие заменяется совершенно ложным. Наконец, исторический очерк Карла Маркса представляет не более как легкомысленную фантазию, идущую наперекор всем известным фактам. Считать капитализм продуктом известной, сравнительно

* Marks K. Das Kapital. Bd II. 2 Aufl. 1893. Vorwort. S. XX. Ниже везде цитируется это издание.

недавней исторической эпохи, когда рабочие получили свободу, но лишились права принадлежавших им орудий производства, а капиталисты, в противоположность им, образовали особый класс владельцев этих орудий,— значит строить историю по прихоти своего воображения. В действительности на возрастании капитала основано все промышленное развитие человечества, и это оказывается с самых ранних времен. Рабовладельческое хозяйство есть уже капиталистическое производство. Разница с последующим временем состоит в том, что здесь к капиталу принадлежит и самая рабочая сила, которая покупается и продается, как рабочий скот. Хотя Карл Маркс уверяет, "что для установления первоначальной связи между рабочей силой и средствами производства совершенно безразлично, принадлежали ли эти средства рабочему или он сам к ним принадлежал, как вещь (Marks K. Das Kapital. Bd II. S. 9), однако он этим доказывает только, что для утверждения своих взглядов в глазах неразборчивых читателей он не гнушается самыми вопиющими софизмами. Всякому понятно, что это — два отношения радикально противоположные. Пока рабочий является рабом, труд его, состоящий в производстве материальных передвижений, ничем не отличается от работы осла или вола. Самостоятельным фактором производства он становится только с освобождением лиц, когда рабочий делается распорядителем своей рабочей силы, и если он работает для другого, он получает за это вознаграждение в виде заработной платы. Договор есть вполне законная и единственно возможная форма, в которой осуществляется участие свободных лиц в совокупном деле. Не только это не составляет преходящего явления в истории человечества, но именно этим достигается высшая цель общественного развития — свободное взаимодействие свободных лиц. Условия договора могут быть более или менее благоприятны для той или другой стороны; но именно развитие капитала ведет к тому, что благоприятные условия более и более склоняются на сторону рабочих. Чем более умножается капитал сравнительно с ростом народонаселения, тем более увеличивается требование на работу и тем более понижается процент с капитала, а заработная плата растет. И это увеличение капитала ведет не к сосредоточению его в немногих руках, как утверждает Карл Маркс, а напротив, к большему и большему распространению посреди населения. Об этом ярко свидетельствует современное положение промышленного мира. Вследствие этого самые ярые приверженцы Карла Маркса принуждены были наконец отказаться от его исторических взглядов. Мы увидим, что и сам он, при дальнейшей разработке своей теории, пришел к такому изложению исторического процесса, которое совершенно ниспровергает ее основания.

Во всяком случае, самые существенные начала теории оставались невыясненными. Для того чтобы общественно необходимое время работы могло быть мерилom ценностей, необходимо точное его

определение, а именно это не было сделано. Карл Маркс не объяснил даже, каким образом качественно различные работы могут быть сведены на простое количество. Сказать, что это постоянно совершается за спиною производителя,— значит отделаться фразой. Точно так же надобно было показать, каким образом количество действительно исполненной работы сводится на общественно необходимое время. Без этого теория вращается в туманных представлениях, менее всего могущих иметь притязание на научное достоинство. Приверженцы Карла Маркса надеялись, что все это будет выяснено в следующих томах, которые он готовил к печати. Появление их после его смерти, под заботливую редакцию Энгельса, было горьким разочарованием. Не только то, что требовалось выяснить, осталось по-прежнему покрыто полным мраком, но явились новые, кидающиеся в глаза затруднения и противоречия. Многие поняли это даже так, что Карл Маркс отступился от своих прежних взглядов. В действительности он от них не отступился, но те противоречия и несообразности, которые заключались в теории, выступили в полном свете при подробной ее разработке.

Во втором томе исследуется оборотный процесс капитала. Он начинается с денежной суммы, которая обращается на производство и затем, по продаже произведенного товара, снова возвращается в руки капиталиста в виде денежной суммы, но с барышом. Карл Маркс различает при этом три формы оборота: один начинается с денежной суммы и кончается ею же; другой начинается и кончается производством; третий исходит от товара и опять завершается товаром. Все это совершенно произвольно и ровно ничего не выясняет. Путем длинного и педантичного рассуждения высказывается то, что можно выразить в двух словах. Однако с первых же шагов оказываются явления, вызывающие сомнение. Инициатором и главным деятелем производства является здесь не рабочая сила, а капитал. Он собирает воедино все факторы производства, соединяет рабочую силу с материалом и орудиями, рассчитывает, организует и дает направление всему делу (Ibid. S. 6). Поэтому он становится производительным капиталом (Ibid. S. 4), и все действительное производство является его функцией (Ibid. S. 13). Казалось бы, по здравому смыслу, что за это капиталист по справедливости должен быть вознагражден. В действительности это и делается потребителем, в виду которого велось предприятие: ценою купленного им товара должны возместиться издержки и получиться некоторая прибыль.

Но в теории Маркса потребитель оставляется совершенно в стороне, как будто он не существует. Вся цель капиталиста состоит в том, чтобы получить барыш посредством эксплуатации рабочих. Сколько он ни трудись и не хлопочи, он к ценности товара не прибавит ни копейки. Единственная выгода, которую он может получить, состоит в том, что он уплачивает рабочему только часть произведенной последним ценности, а остальное присваивает себе

даром. Возможность такого грабежа открывается вследствие установившихся условий производства, при которых рабочие разъединены с условиями производства, и самая рабочая сила продается и покупается, как товар, по цене потребной для ее поддержания, то есть по цене средств содержания рабочих: весь произведенный рабочими излишек капиталист получает даром.

При этом происходит странная иллюзия. Капиталист воображает, что он покупает работу. Он оплачивает известное ее количество и качество. Договором с рабочим точно определяется, сколько времени он должен работать и что именно он должен делать. Вместо времени работы может быть установлена и почтучная плата. Точно так же и рабочий воображает, что он продал свою работу и за это получил договоренную плату. Между тем все это, по выражению Маркса, не что иное, как мистификация, учиненная капиталистическим производством, которое все отношения представляет навыорот. В действительности работа не продается и не покупается, ибо как источник всякой ценности она сама не имеет цены. Говорить о цене работы — чистая нелепость (Ibid. S. 6). Продается и покупается не работа, а рабочая сила, которая временно поступает в распоряжение предпринимателя. И эта мистификация до такой степени сильна, что сам разоблачающий ее автор невольно ей поддается. Это то же, что мы видели прежде; автор не выбился из своих противоречий. На стр. 5 мы читаем: «Это — продажа рабочей силы — здесь мы можем сказать работы, ибо предполагается форма заработной платы». На стр. 1: «Употребление рабочей силы, работа, может осуществиться только в рабочем процессе. Капиталист не может снова продать рабочего, как товар, ибо последний не его раб, и тот купил только употребление его рабочей силы на определенное время».

На стр. 88: «В действительности капиталистическое производство есть производство товаров как общая форма производства; но таковым оно является и становится более и более в своем развитии, потому что работа сама является здесь как товар, потому что рабочий продает работу, т.е. функцию своей рабочей силы». Это не мешает автору в конце своей книги заявить, что выражение «"цена работы" столь же иррационально, как "желтый логарифм"» (Marks K. Das Kapital. Bd III. Teil 2. S. 353), а четыре страницы ниже опять по-прежнему: «Капиталисту его капитал, землевладельцу земля, а рабочему его рабочая сила, или скорее самая его работа (ибо он действительно продает свою рабочую силу только в ее проявлении и цена рабочей силы, как объяснено выше, на основании капиталистического производства необходимо представляется как цена работы) кажутся тремя разными источниками их специальных доходов, прибыли, поземельной ренты и заработной платы» (Ibid. Bd II. S. 357). Итак, с одной стороны, действительность, ясная как дважды два четыре, показывает нам ежедневно совершающуюся продажу работы определенного количества и качества за опреде-

ленную цену, а с другой стороны, теория гласит, что цена работы есть такой же абсурд, как желтый логарифм. И для спасения теории, приводящей к абсурду, нас хотят уверить, что очевидная для самого простого здравого смысла действительность есть не что иное, как иллюзия или мистификация, произведенная современным состоянием промышленного производства! Но всего удивительнее то, что эта совершенно бессмысленная игра словами выдается за великое открытие, которое впервые ставит социализм на научную почву!

Можно подумать, что если работа как трата силы составляет единственный источник ценности, то это свойство принадлежит всякой работе. Однако оказывается не то. В обороте капитала Маркс отличает процесс производства и процесс оборота. Производителна только работа, употребленная на первой, а не на второй. Покупка и продажа товаров есть лишь перемена формы, которая никакой ценности к ним не прибавляет. «Перемена состояния,— говорит Маркс,— стоит времени и рабочей силы, однако не для того, чтобы создавать ценность, а для того, чтобы переводить ценность из одной формы в другую... Эта работа, умноженная злостными намерениями обеих сторон, столь же мало создает ценность, как и работа, исполняемая при судебном разбирательстве, которая не прибавляет ценности спорному предмету» (Ibid. S. 100).

Читатель ожидает объяснения, почему же работа, которую сам Маркс признает «необходимым моментом капиталистического производства» (Ibid. S. 101), не входит в цену произведений. Сравнение с судебным разбирательством к делу не идет, ибо это не промышленный труд. Столь же неуместно приведенное тут же сравнение с внутренней работой материальных частиц при сжигании какого-либо вещества. Все эти подобия служат лишь к тому, чтобы избежать прямого объяснения. Мы видели, что Родбертус считал производительною только чисто механическую работу, а не умственную, которая будто бы дается даром; но Маркс осторожно воздерживается от такого общего положения, хотя из установленного им различия прямо следует, что ценность создается только материальными переменами, произведенными в товаре. Но в таком случае надобно признать способность создавать ценности и за силами природы и за рабочим скотом, которые совершают те же механические передвижения. Во избежание этих затруднений, приходится довольствоваться туманною фразой, а вместо доказательства привести не идущие к делу сравнения. Читатель, может быть, не догадается.

И не одна купля и продажа товаров признается непроизводительною работою; то же самое относится и к бухгалтерии. И тут требуется затрата времени и сил; но ценность товара от этого не прибавляется: это — накладные расходы, которые предприниматель оплачивает из избытка произведенной рабочими ценности (Ibid. S. 104-105). «Агент оборота,— говорит Маркс,— оплачивается агентами производства» (Ibid. S. 98). Казалось бы, однако, что бухгалтерия

нужна не только при обороте, но и при производстве. Сам Карл Маркс признает ее необходимость при всяком промышленном устройстве и даже в большей степени при большей сложности и сосредоточенности производства (Ibid. S. 105, 106). Почему же работа кочегара входит в ценность произведения, а работа бухгалтера нет? Мы теряемся в догадках. И то, что говорится о бухгалтерии, относится к множеству других лиц, исполняющих различные должности при всяком производстве. Работа кассира причисляется точно так же к издержкам оборота, но не признается работою, производящей ценность (Ibid. Bd III. Teil 1. S. 330); то же относится и к работе, употребленной на хранение сумм (Ibid.). В результате мы решительно не знаем, какая именно работа входит в ценность произведений и по каким признакам можно об этом судить.

Затруднение увеличивается тем, что и в самом процессе оборота есть такие работы, которые сам Маркс не решается признать непроизводительными. Произведенный товар нужно сохранить; необходимы запасы, а для этого требуются помещения, следовательно, работа для их устройства. Нужна работа и для оберегания товаров от порчи и похищения. Все это накладные расходы, без которых нельзя обойтись. Спрашивается, входят ли они в цену произведений или оплачиваются из чистого дохода капиталиста? Карл Маркс пытается установить здесь различие между запасами нормальными и ненормальными. Нормальны те, которые составляют необходимое условие оборота. Это — собственно часть производства, продолжающегося в области оборота, и как таковая она должна возвышать цену произведений. Ненормальные же запасы те, которые составляют только остановку в процессе оборота, и за это покупатель не обязан платить, как вообще он не платит за время оборота. Издержки на ненормальные запасы составляют чистую убыль капиталиста (Ibid. Bd II. S. 115-117). Однако тут же Карл Маркс признается, что «нормальные и ненормальные формы запасов по форме не различаются», а потому явления легко смешиваются. В действительности тут никакого различия установить нельзя, а потому остается совершенно неизвестным, что входит и что не входит в цену произведений.

То же самое относится и к издержкам перевоза. «Общий закон,— говорит Маркс,— состоит в том, что все издержки оборота, которые проистекают из изменения формы товара, не увеличивают цены последнего». Это — расходы, которые оплачиваются из получаемого капиталистом избытка ценности. «Поэтому если перевозочный промысел является причиною расходов оборота, на основании капиталистического производства, то эта особенная форма явлений нисколько не изменяет существа дела. Массы произведений не умножаются через перевозку. Самое происходящее в них иногда изменение свойств составляет, с некоторыми исключениями, не намеренный полезный результат, а неизбежное зло» (Ibid. S. 120). Казалось бы, после этого, что издержки перевоза

должны быть вычеркнуты из числа производительных расходов; но совершенно неожиданно выводится совершенно противоположное заключение. «Потребительная ценность вещей,— продолжает Маркс,— осуществляется только в их потреблении, а потребление может сделать необходимым перемену места, следовательно, прибавочный процесс производства перевозочного промысла. Положенный в него производительный капитал увеличивает поэтому цену произведений частью переносом ценности средств перевозки, частью прибавкою цены посредством перевозочной работы» (Ibid. S. 129). «Перевозочный промысел является, с одной стороны, отдельною отраслью производства, а потому особою сферою приложения производительного капитала. С другой стороны, он отличается тем, что он представляет продолжение процесса производства внутри процесса оборота и для этого процесса» (Ibid. S. 124). Оказывается, следовательно, что различия между производством и оборотом, из которых одно увеличивает ценность товаров, а другой нет, совершенно фиктивно. По приятии к такому заключению можно было, только ссылаясь на потребительную ценность товаров, то есть именно на то, что было устранено с самого начала и что противоречит всем предшествующим рассуждениям. И точно, если мы будем говорить о пользе, принесенной потребителю и оплачиваемой им, то на каком основании будем мы считать непродолжительною работу купца, который покупает товар оптом и продает его в розницу или посылает для продажи в отдаленные страны? Очевидно, мы имеем тут целую сеть противоречий, из которой нет исхода.

Но если мы находимся в полном тумане насчет того, какая работа входит в ценность произведений и какая не входит, то, с другой стороны, часть этой ценности происходит не от настоящей работы, а от прошедшей, а именно та часть, которая соответствует затрате капитала на материал и орудия. Карл Маркс настаивает на том, что из всей ценности ежегодного продукта работою настоящего года производится только та доля, которая соответствует заработной плате и даровому излишку; напротив, та часть, которая соответствует ценности употребленного материала и трате орудий, переносится только на новое произведение (Ibid. S. 403, 413). Из предыдущего мы знаем уже, что этот перенос совершается не капиталистом, который затрачивает капитал и возмещает свои издержки в цене произведений, а рабочим, который превращает капитал в произведение, и притом не количеством работы, а ее качеством, или тем или другим ее видом. Во втором томе Карл Маркс подтверждает, что «хотя сумма общественного продукта, состоящего из средств производства и потребления, по своей потребительной ценности конкретно, в их натуральной форме, является произведением работы настоящего года, однако лишь настолько, насколько эта работа рассматривается только как полезная, конкретная работа, а не как трата рабочей силы, или как производящая ценности

работа. И даже первое можно признавать единственно в том смысле, что средства производства только через присоединяющуюся к ним и обращающуюся с ними живую работу превратились в новый продукт, в продукт нынешнего года» (Ibid. S. 404). То есть мы должны верить, что работа как полезная деятельность есть нечто совершенно другое, нежели работа как трата силы. Только последняя производит ценность, первая же производит только полезность, но не ценность; однако в силу какой-то непостижимой силы производя полезности она вместе с тем переносит на товар произведенные прежде и присущие материалу ценности.

Для непредубежденного взгляда все это представляется чистою бессмыслицею. Только как полезная, конкретная деятельность работа производит ценности; простая же трата силы никакой ценности не производит. Обезьяна, в известной басне, может катать бревно, сколько ей угодно; никто за это ей гроша не заплатит. Поэтому не отвлеченное количество работы, а именно ее полезное качество может рассматриваться как начало, производящее ценности. Количество имеет значение только в нераздельной связи с качеством. И к довершению нелепости этому качеству, которое само никаких ценностей не производит, приписывается таинственная способность переносить на новое произведение прежде произведенные ценности! Когда ткач превращает нитку в полотно, можно сказать, что здесь к прежней ценности прибавляется новая; но здесь не перенос, а сохранение ценности, ибо нитка остается составною частью полотна. Но возможно ли, держась в пределах человеческого смысла, сказать, что ткач переносит на полотно ценность сожженного угля или трату паровой машины, которая является двигателем производства? Ни о том, ни о другом он не имеет ни малейшего понятия. Самая трата топлива зависит вовсе не от него, а от совершенно чуждых ему приспособлений, а трата машины от ее прочности, следовательно, от независимых от работы физических свойств, как признает и Карл Маркс (Ibid. S. 130, 191). Весь расчет делается капиталистом, который и назначает за произведение цену, возмещающую его издержки. Это весьма просто и ясно и ежедневно происходит на наших глазах. Но для теории, которая видит в ценности не возмещение издержек, а окрепшую в произведении работу, все самые очевидные явления представляются превратными. Все они откидываются с презрением; вместо того строится туманное здание, в котором фантазирующий автор идет только от одного противоречия к другому и от одной бессмыслицы к другой. Окрепшая в угле и в машине работа очевидно исчезла, надобно заменить ее новою. Но если мы скажем, что вся произведенная в настоящем году ценность есть плод работы настоящего года, то прежняя работа, употребленная на материал и машины, останется без вознаграждения. Чтобы избегнуть этого последствия, придумывается таинственная способность качества работы переносить ценности, не производя их. Это нечто еще

более мистическое, нежели скрытые свойства схоластической философии.

Вся нелепость этой теории раскрывается при анализе различных отраслей производства. Карл Маркс разделяет их на две главные группы: на производство средств производства, то есть материалов и орудий, и на производство средств потребления. Ценность, произведенная первою отраслью, представляет собою только возобновление затраченного капитала, который, по выражению Маркса, в ней воплощен; ценность, произведенная второю группою, представляет исключительно новую работу, которая точно так же в ней воплощена (Ibid. S. 405). Но так как, по теории, на возобновление капитала не полагается никакой работы, а только переносится прежняя ценность, то кажется, что в первой отрасли вовсе не затрачивается работа, а вся новая работа затрачивается исключительно во второй (Ibid. S. 406). В таком бессмысленном виде, говорит Маркс, представляется возобновление общественного годового продукта (Ibid. S. 407). По уверению Маркса, «тайна объясняется» тем, что средства производства, произведенные первою отраслью для второй, оплачиваются ценностью затраченного в последней капитала, перенесенною на предметы потребления. Однако это вовсе не объяснение. Нам говорят, что затраченный на материалы и орудия капитал возобновляется даровым перенесением его ценности на произведения, причем имеет значение не количество, а единственно качество работы или ее специальное назначение; а тут оказывается, что для замены затраченного капитала новым требуется целая особая отрасль производства, с которой не только переносится прежняя ценность, но и затрачивается новая работа, сила, притом не только качественно, но и количественно. Чем бы эта работа ни оплачивалась, она существует, и количеством ее определяется ценность нового произведения, заменяющего затраченный капитал. Если же ссылаются на то, что тут происходит обман, то в таком случае качество ничего не значит, а остается только означенное количественное предложение, выражаемое ценностью. Одним словом, мы имеем тут целую сеть противоречий и несообразностей, из которых нет выхода. Из бессмысленных оснований ничего не может выйти, кроме бессмысленных результатов.

Оборот капитала включает в себе и другие осложнения, которые еще более запутывают вопрос. Оборот может быть более или менее продолжительный, а это имеет существенное значение для величины получаемых выгод; время является здесь влияющим фактором. И тут Карл Маркс различает процесс производства и процесс оборота. Первый может быть более или менее продолжителен: для выделки ткани требуется несколько недель, для устройства сложной машины, может быть, несколько месяцев, для земледельческой промышленности целый год, для построения железной дороги еще более, для лесного хозяйства даже десятки лет, прежде нежели произведение может быть пущено в продажу.

При этом время производства не совпадает с временем работы. Прежде нежели приступить к работе, нужны предварительные действия: закупка материалов и орудий, превращение денежного капитала в производительный. Самая работа в силу естественных условий может требовать перерыва. Между посевом и жатвой проходят месяцы, между лесонасаждением и рубкой многие годы, в течение которых только изредка проводится подчистка леса. В эти промежутки действуют силы природы, действует и капитал, положенный, например, в виде удобрения или дренажа; но работы не производится никакой. Спрашивается, прибавляется ли в это время что-нибудь к ценности произведения? Согласно с теорией, признающей работу единственным источником ценности, Карл Маркс прямо это отрицает. «Нормальные перерывы всего процесса производства, следовательно, промежутки, в которые производительный капитал не действует,— говорит он,— не производят ни ценности, ни излишка ценности... Промежутки рабочего времени, в которые предмет работы сам должен переходить в процессы производства, не образуют ни ценности, ни излишка ценности, но содействуют производству, составляют часть его жизни, процесс, через который он должен перейти» (Ibid. S. 94). И далее: «Каково бы ни было основание избытка времени производства над временем работы, ни в одном из этих случаев средства производства не функционируют как поглотители работы. А нет поглощения работы, нет и прибавки цены. А потому нет и приращения ценности производительного капитала, пока она находится в той части времени производства, которое превышает время работы, как бы нераздельно ни было осуществление процесса приращения цены с этими паузами» (Ibid. S. 95).

Итак, в течение нескольких месяцев, без всякой работы, действием сил природы и положенного в землю капитала десять пудов пшеницы превратились в сто пудов; но, по теории, за это время ценности не прибавилось ничего, ибо не было работы. По той же причине сорокалетний лес имеет ту же ценность, что и молодые сеянцы, ибо рост дерева есть чистое действие сил природы. По этой теории, приплод животных не имеет никакой ценности, ибо теленка родит не рабочий, а корова в силу законов природы. Достаточно указать на эти нелепости, чтобы видеть истинное значение теории, производящей ценность исключительно из работы.

Но отрицая признание ценности в эти промежутки, не заполненные работой, Карл Маркс тем не менее признает, что перенос ценности затраченного капитала на новое произведение совершается в эти промежутки. «Ценность аппаратов и проч. переносится на продукт в течение всего времени, пока она действует» (Ibid. S. 94). Но и это совершается работою, которая ставит средства производства в нужные для того условия. «Работа,— говорит Маркс,— всегда переносит ценность средств производства на произведения, насколько она действительно потребляет их целесообразно как

таковые. При этом совершенно безразлично, действует ли работа постоянно на предмет через средства производства, или она дает только толчок, поставляя средства производства в такие условия, в которых они сами собою, без дальнейшего участия работы, в силу естественных процессов претерпевают требуемое изменение» (Ibid. S. 95). Таким образом, для приращения ценности требуется действительная работа; но для переноса ценности достаточен толчок, после которого перенос совершается уже силами природы. Спрашивается, есть ли во всем этом какой-нибудь человеческий смысл?

Так же как время производства, время оборота может быть более или менее продолжительно. Иные произведения продаются и потребляются на месте; другие отправляются в дальнейшие страны или поступают в запас в ожидании благоприятных условий для продажи. В результате выходит, что затраченный капитал возвращается в руки капиталиста в весьма разнообразные сроки. Один капитал обращается десять раз в году, другой совершает свое круговращение в годовой срок. Ясно, что первый, при равных условиях, может привести в действие в десять раз больше работы, нежели второй, а потому получить в десять раз больший излишек ценности. Карл Маркс подробно разбирает различные возможные при этом случаи; но все это так туманно и выводы до такой степени шатки, что сам Энгельс принужден признать, что прославляемый им друг и великий мыслитель в вычислениях был слаб и придавал неподобающее значение вовсе не важным обстоятельствам (Ibid. S. 256). Как бы то ни было, в результате оказывается новое противоречие. «Закон производства излишка ценности,— говорит Маркс,— состоит в том, что при равном проценте излишка (т.е. отношении его к количеству работы) равные массы изменяющегося (т.е. затраченного на заработную плату) капитала производят равные массы излишка ценности» (Ibid. S. 272). А между тем, при быстром обороте, один и тот же капитал, постоянно возвращаясь в руки капиталиста, может служить для уплаты гораздо большего количества работы, нежели при медленном обращении. Если для годовой платы рабочим нужно, например, иметь 5000 рублей, то, при обороте капитала десять раз в году, достаточно иметь 500. Карл Маркс объясняет это тем, что все это только кажется вследствие призрачной формы капиталистического производства, в действительности, при обороте в 5 недель, потрачено не 500 рублей, а 1000 рублей, что обнаруживается тем, что рабочие на эту сумму покупают предметы потребления. Капиталист обманут тем, что капитал возвращается к нему в денежной форме, и воображает, что это — тот самый капитал, который он затратил, между тем как это — совершенно другой, полученный из произведенной работы (Ibid. S. 282). Как видно, капитал обладает поистине чудодейственной силой. Капиталист имеет всего 500 рублей в руках, и с этой суммой, пуская ее в оборот, он уплачивает рабочим 5000 рублей

и получает за это по принятому Марксом проценту излишка ценности, 5000 рублей ежегодного барыша. И это не призрак только, порождаемый капиталистическим производством: барыш есть нечто весьма реальное, получаемое за реальную сумму капитала, с которою он начинает свое производство. Как не соблазниться такою перспективою!

К сожалению, все это остается только в теории, а на практике выходит совершенно иное: прибыли уравниваются, и капиталист с 500 рублей получает с своего капитала такой же ежегодный процент, как и сосед его с 5000 рублей. Это признает и Карл Маркс. Третий том его сочинения посвящается изображению этого процесса.

Прежде всего, вследствие капиталистической формы производства происходит превращение произведенного работою излишка ценности в прибыль капитала. По теории Маркса, ценность затраченного на материалы и орудия капитала переносится на товар, первая всецело, вторая в размерах истраты. Этот перенос совершается целесообразною деятельностью работы. Но израсходованный на заработную плату капитал не переносится на ценность товара, а потребляется рабочим. Взамен того равная ему сумма производится вновь, и, сверх того, производится излишек ценности, который достается капиталисту даром. Все это необходимо вытекает из основного принципа, что работа составляет единственный источник ценности. Но вследствие «мистифирующего» характера капиталистического производства весь этот процесс представляется капиталисту в превратном виде *. Он не понимает, что перенос ценности капитала на производство совершается рабочими даром, а воображает, что ценность произведений определяется издержками производства. А так как в эти издержки одинаково входит и заработная плата, и покупка материала и орудий, то все это он ставит под одну рубрику затраченного капитала, различая только стоячий капитал, состоящий в зданиях и орудиях, который тратится лишь частью и постепенно, и оборотный капитал, состоящий из материалов и заработной платы, который всецело входит в цену произведений и целиком возвращается в руки капиталиста. Вследствие той же «мистификации» получаемый капиталистом излишек ценности представляется капиталисту вовсе не тем, что он есть на самом деле, то есть результатом даровой работы, а плодом употребления капитала. Поэтому он исчисляется не в отношении к сумме заработной платы, составляющей денежный его источник, а в отношении к совокупному капиталу, затраченному на производство. По совершении оборота капиталист имеет в своих руках неистраченную часть стоячего капитала, да сверх того в цене проданных произведений потраченную часть стоячего капитала и весь оборотный, и, наконец, излишек,

* Marks K. Das Kapital. Bd III. Teil 1. S. 5, 8. <Далее ссылки на это издание даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте. — Пример. ред>

который представляется приращением капитала или прибылью (Profit). В существе своем это приращение не что иное, как произведенный рабочими излишек ценности, ибо иного источника оно не может иметь; но при капиталистическом производстве он является в «мистифицированном виде» как прибыль с капитала {Marks K. Das Kapital. Bd III. Teil 1. S. 39 f)-

При таком расчете процент прибыли, очевидно, будет разный, смотря по величине употребленного капитала и отношения его и заработной плате. Количество прибыли дано излишком работы над заработной платой, но процентное отношение этого излишка к сумме капитала будет тем меньше, чем больше затраченный капитал.

Отсюда стремление капиталиста к сбережению капитала и к удлинению времени неоплаченной работы. Однако то и другое имеет свои границы, с одной стороны, в способности рабочей силы, с другой стороны, в технических условиях производства. Есть производства, которые требуют большого количества рабочих рук и мало капитала, другие наоборот. Такая же разница оказывается и во времени оборота. Производства, в которых оборот совершается быстро, требуют меньше капитала, нежели те, в которых он происходит медленно. Отсюда, при одинаковом количестве рабочих рук и одинаковой продолжительности работы, совершенно разное отношение прибыли к сумме затраченного капитала. По самому характеру и условиям производства одни производства будут несравненно выгоднее других (Ibid. S. 23 f). При этом существенное значение имеет и личное умение капиталиста вести свое дело целесообразно и бережливо. Чем меньше он употребит капитала, тем процентное отношение прибыли будет больше (Ibid. S. 116).

Однако в капиталистическом производстве есть фактор, который существенно изменяет все эти отношения. Этот фактор есть конкуренция. Она уравнивает прибыли, так что каждый затраченный капитал, оставив в стороне случайные отклонения, получает равный с другими процент прибыли. Через это все затраченные в различных производствах капиталы образуют как бы единый общественный капитал с общим, средним процентом прибыли. Сумма прибыли, равная произведенному работою излишку ценности, остается та же, но она распределяется по различным производствам пропорционально количеству, затраченному в них капиталу (Ibid. S. 132 f).

Такое уравнивание, очевидно, может произойти единственно вследствие того, что в производствах с малым капиталом и большим количеством рабочих рук произведения будут продаваться даже изменяемой работою ценности, а в других наоборот. При таких условиях ценность товаров перестает уже быть выражением положенной в них работы, и вся теория ценности, по-видимому, оказывается несостоятельной, как признает и сам автор (Ibid. S. 132). Мистификация тут полная: излишек работы как будто сам отрицает свое происхождение, теряет свой характер и становится неузнаваемым (Ibid. S. 146). Однако все это только кажется.

В отдельных производствах ценность товаров действительно не соответствует положенной в них работе; но в совокупном производстве соответствие остается: общая сумма прибыли определяется суммой затраченной работы, и отношение этой суммы к сумме затраченного капитала определяет средний процент прибыли, которым затем определяется доля каждого. Этой средней прибыли соответствует средний состав капитала, при котором рыночная цена совпадает с реальной ценностью; отклонение же в ту и другую стороны друг друга уравнивают. В капиталистическом производстве, где господствует анархическая борьба сил, все это, конечно, может устанавливаться только при постоянных колебаниях в обе стороны, но в этих колебаниях обнаруживается тяготение к среднему уровню, определяемому законом ценности. Последний является общим регулятором движения, осуществляясь в нем посредством борьбы частных сил. Капиталистическое производство само ведет к тому, что отдельные производства становятся членами совокупного общественного производства с общим капиталом и средним процентом прибыли (гл. 9 и 10).

Такова теория, посредством которой Карл Маркс думает согласить реальные явления экономической жизни с воображаемым законом ценности. Нетрудно видеть, что тут нет ничего, кроме пустых слов. Утверждается, что сумма получаемых капиталистами прибылей равняется сумме исполненной рабочими даровой работы; но доказательства не представлено никакого. Это равенство только предполагается (Ibid. S. 23), и как скоро это предположение принято, говорит Карл Маркс, так величина прибыли и ее процентное отношение к капиталу определяются отношениями простых, в каждом отдельном случае данных или определяемых цифр. Исследование, замечает он, движется сперва в чисто математической области (там же). Между тем он сам признает, что данным является только избыток продажной цены товара над издержками производства, причем остается тайной, откуда происходит этот избыток (Ibid. S. 21). «Вылупить» этот избыток из прибыли можно только путем анализа (Ibid. S. 22). Очевидно, для того, чтобы прийти к сколько-нибудь точному выводу, надобно сравнить данную цифру прибыли с ценностью излишней работы, но именно этого мы не можем сделать, ибо эта ценность есть фиктивная величина, которая никакому определению не поддается. Тут недостаточно взять количество исполненной работы и вынести отсюда то, что требуется содержанием работников.

По признанию самого Маркса, в ценность произведения входит не одно только количество, но и высшее качество работы. Последнее должно быть сведено на количество; но как это сделать, остается неизвестным. Сказать, что это происходит за спиной работника,— значит отказаться от объяснения. В действительности ценность высшего качества работы определяется предложением и требованием, то есть началом совершенно чуждым количеству работы. Нужно

точное указание способа, сведение последнего к первому, а именно это мы у Карла Маркса не находим по той понятной причине, что этим анализом ниспроверглась бы вся его теория ценности. Но этого мало: взявши даже одно количество, мы все-таки ни к чему не приходим, ибо по теории требуется не действительно исполненная работа, а общественно необходимая. Признавая равенство суммы всех прибылей с ценностью излишка работы, Карл Маркс постоянно опускает это обстоятельство. Он выражается так, как будто речь идет о действительно исполненной работе и о ценности, вложенной ею в производство; между тем ценность определяется не количеством исполненной, а количеством общественно необходимой работы, то есть величиной никому неизвестной, которая может выясняться только из продажной цены произведений, то есть именно из того, с чем следует сравнить сумму работы. Самая эта общественно необходимая работа есть величина постоянно изменяющаяся: каждое улучшение ее сохраняет, и это отражается на ценности уже исполненной работы. А так как улучшения происходят непрерывно, то и определить общую сумму нет ни малейшей возможности. При таких условиях говорить о равенстве суммы всех прибылей с суммой излишка общественно необходимой работы — значит изречь слова, лишенные всякого смысла.

В оправдание этого предположения нельзя ссылаться на то, что по теории этот излишек ценности, представляемый прибылью, не может иметь иного источника, кроме излишка работы. «В таком общем исследовании,— говорит Маркс,— всегда предполагается, что действительные отношения соответствуют их понятию, или, что то же самое, действительные отношения изображаются лишь настолько, насколько они выражают свой собственный общий тип» (Ibid. S. 121). Такое искусственное подведение фактов под предвзятую теорию, независимо от принципиальной ее несостоятельности, устраняется уже тем, что, по признанию самого автора, действительные явления находятся в прямом противоречии с теорией. При уравнении прибыли, вследствие конкуренции, ценность произведений вовсе не выражает количества положенной на них работы: в иных она больше, в других меньше. Если же в огромном большинстве случаев этого соответствия нет, то на каком основании можем мы предполагать, что общие суммы равны? Не достаточно сказать, что при колебаниях в ту и другую сторону устанавливается средняя ценность, а избыток и недостаток друг друга уравновешивают. Надобно доказать, что эта средняя ценность действительно соответствует среднему количеству работы; но доказать этого нельзя, ибо то и другое определяется совершенно разными факторами. Уравнение происходит здесь не вследствие того, что данная масса получает иное распределение, а вследствие того, что невыгодные производства прекращаются, а выгодные — умножаются, и это увеличение и уменьшение совершаются совершенно независимо от количества работы; они определяются спросом.

Несостоятельность этого предположения раскрывается вполне, если мы примем во внимание то начало, которое производит уравнение прибылей, а именно конкуренцию. У Карла Маркса она является как посторонний фактор, взявшийся неизвестно откуда и изменяющий всю тщательно построенную им систему. Но и тут он осторожно воздержался от исследования существа конкуренции и ее способов действия, понятно опять почему: этим рушилась былая теория. В действительности конкуренция состоит в том, что капиталы переносятся туда, где они могут найти наибольшую прибыль; через это предложение увеличивается, и цены падают совершенно независимо от количества положенной на производство работы. Наоборот, вследствие отлива капиталов от менее прибыльных предприятий цены поднимаются несоразмерно с количеством работы, единственно вследствие того, что предложение не уравнивает требования. Если единственный источник прибыли заключается в излишке положенной в произведения работы и от суммы работы зависит величина излишка (Ibid. S. 177, 201 и др.), то очевидно, вся цель капиталиста будет заключаться в том, чтобы иметь как можно более рабочих и употребить при этом как можно менее капитала. Все капиталы устремятся туда, где это отношение наиболее выгодно. На деле, однако, выходит совершенно противоположное. Сам Карл Маркс признает очевидный для всех факт, что все развитие промышленности основано на громадном умножении капитала, заменяющего работу человеческих рук действием сил природы (Ibid. S. 192, 203 и др.). Производства, требующие значительного количества рук в сравнении с капиталом, суть самые отсталые и наименее производительные (Bd III. Teil 2. S. 292). А если так, то количество работы вовсе не является единственным источником прибыли, и говорить о равенстве суммы прибылей с суммой излишка, положенной в произведения работы, можно только при полном презрении к умственным способностям читателя.

Признавая в конкуренции начало, уравнивающее прибыли, Карл Маркс не может не признать и лежащего в ее основании закона предложения и требования; но он уверяет, что эти факторы объясняют только колебание ценностей, а не средний, нормальный уровень, ибо как скоро и предложение, и требование покрывают собою другое, так они перестают действовать как две противоположные механические силы, которые друг друга уравнивают (Ibid. Teil 1. S. 169, 170; то же: Ibid. Teil 2. S. 400). Но это значит принимать метафору за реальное отношение, прием, к которому постоянно прибегает Карл Маркс за недостатком доказательств. В действительности удовлетворение потребности не уничтожает действия экономических факторов, ибо потребность возобновляется постоянно и непрерывно вызывает новое предложение. Равновесие означает только, что предложение достаточно для удовлетворения потребности, так что не оказывается ни избытка, ни недостатка. При избытке цены понижаются, при недостатке

они повышаются. Средняя же цена дает то, что Маркс называет ценою производства, то есть покрытие издержек с обыкновенною прибылью. Чем же определяется величина этой прибыли? По теории Маркса, отношением суммы излишка работы к затраченному капиталу; а так как, по собственному его признанию, величина затраченного капитала постоянно растет в отношении к количеству работы, то из этого он выводит закон постоянного падения процента прибыли (*Ibid.* Teil 1. S. 191 f). Но если, умножая капитал сравнительно с работою, капиталист только уменьшает свою прибыль, то зачем нужно ему предпринимать такую невыгодную операцию? Выгода может получиться единственно в том случае, если сам капитал является источником прибыли независимо от работы. В таком случае понятно, что капиталы будут умножаться, и это умножение, вследствие конкуренции, поведет к понижению прибыли. Это и есть то, что происходит в действительности. Наоборот, процент повышается, когда открываются новые поприща и требование на капитал увеличивается. С своей стороны заработная плата точно так же увеличивается и уменьшается сообразно с увеличением и уменьшением спроса на рабочие руки, а так как этот спрос определяется количеством капитала, ищущего приложения, то от роста капитала зависит все благосостояние рабочего класса. Хотя, по теории Маркса, рабочий, продавая свою рабочую силу, получает только плату, достаточную для ее воспроизведения, однако ввиду очевидности он сам принужден признать, что заработная плата доставляет рабочему не одни только скудные средства существования, но и все те удобства, которые соответствуют современному уровню. «Истинная ценность рабочей силы,— говорит он,— зависит не только от физических, но и от исторически развивающихся общественных потребностей, которые становятся второю природою» (*Ibid.* Teil 2. S. 395). Именно этот уровень потребностей повышается вследствие исторического накопления капитала, которое, умножая производство и понижая прибыль, увеличивает заработную плату и доставляет рабочему более средств для удовлетворения его нужд.

Значение прибыли с капитала всего лучше выясняется в тех отраслях, которые, по теории Маркса, не производят никакой ценности. Такова торговля. Приносимую ею прибыль Маркс объясняет тем, что, не производя ценностей, торговый капитал все-таки входит в общий процесс уравнивания, ибо он составляет отрасль промышленного капитала, ту, которая обращена на реализацию произведенной ценности (*Ibid.* S. 265, 266). Но уравнивание прибылей может происходить только между отраслями, которые сами по себе приносят прибыль; если же отрасль не производит никакой ценности, то она не может и участвовать в процессе уравнивания. К довершению противоречия Карл Маркс принужден признать, что торговая прибыль предшествует капиталистическому производству; исторически это — первая прибыль с капитала, которая

появляется в экономической области (Ibid. S. 271). Как же это объяснить? Сам Маркс дает требуемое объяснение, исчисляя те выгоды, которые приносит отделение торгового капитала от промышленного: оно сокращает время оборота, расширяет рынок, дает производителю возможность обратить вырученный из продажи произведений капитал на новое производство, уменьшает самое количество потребного на оборот капитала (Ibid. S. 259, 264). Но кроме пользы, приносимой производству, он доставляет бесчисленные выгоды потребителю, который получает товар в нужном для него количестве и качестве. В этом и заключается причина раннего его появления, совершенно независимо от капиталистического производства. За все свои хлопоты и издержки купец, очевидно, должен быть вознагражден; однако вовсе не тем, что производитель уступает ему часть произведенной рабочими ценности, как уверяет Маркс: продавши товар купцу, производитель покрыл свои издержки и получил определяемую предложением и спросом прибыль. Надбавка над этою ценой оплачивается потребителем в вознаграждение за доставленные ему купцом выгоды. В этом и состоит меновая ценность товаров: по самому существу отношения это — то, что потребитель готов за него дать. Продавец, разумеется, стремится получить как можно больше, а покупатель дать как можно меньше. Конкуренция уравнивает цены и понижает их до того уровня, при котором и производитель, и торговец могут покрывать свои издержки и получать среднюю прибыль, зависящую от количества существующих капиталов и отношения их к потребностям промышленности. «В конкуренции,— говорит Маркс,— все представляется ложно, то есть превратно» (Ibid. S. 212). В действительности конкуренция выясняет наглядно то, что лежит в самом существе отношений. Превратна только теория, которая заменяет вымыслами то, что есть на самом деле.

Еще яснее выражаются эти отношения в различии процента с капитала и прибыли предпринимателя. Карл Маркс подробно разбирает этот вопрос. В противность Прудону и Родбертусу, он совершенно верно признает процент с капитала платою за его употребление (Ibid. S. 336-339). Но по его теории это употребление состоит единственно в возможности обирать рабочих (Ibid. S. 341), ибо только отсюда получается прибыль. Часть этой прибыли производитель отдает капиталисту, у которого он занял деньги, а остальное он оставляет себе. Какая это часть, это, по признанию Маркса, определяется исключительно предложением и требованием. Здесь нет нормальной цены, к которой тяготеют эти отношения, а потому взаимодействием противоположных сил определяются не одни колебания, но и самое существо ценности (Ibid. S. 341). И это определение имеет несравненно более устойчивости, нежели уравнивание прибыли. Вследствие общности и подвижности денежного капитала и обширности рынка, на котором он вращается, тут силою конкуренции устанавливается общий для

всех средний процент, известный для каждого данного момента, тогда как средняя прибыль получается только путем трудного расчета из средней прибыли в различных отраслях и всегда остается чем-то туманным (Ibid. S. 351-354). Оказывается, следовательно, вопреки изложенной выше теории, что предложение и требование, покрываясь, не уничтожают друг друга, а приводят к средней цене. Оказывается также, что ценность употребления капитала, в отличие от ценности употребления рабочей силы, а также и от ценности всех других товаров, не определяется исключительно тем, что нужно для восстановления капитала в первоначальном виде, а дает излишек, представляющий пользу, "приносимую капиталом. Результатом этого процесса, говорит Карл Маркс, является отделение капитала от производства как самостоятельного фактора, который сам собою производит свой прирост. Это — деньги, рождающие деньги. Этим превратным представлением довершается «мистификация» капитала, который является каким-то фетишем, одаренным таинственной силою, подобно скрытым качествам схоластиков (Ibid. S. 377,378,381,385).

В действительности тут никакой мистификации нет; она порождается только превратной теорией автора. Само по себе дело ясно как день. Коли процент с капитала есть плата за его употребление, то есть справедливое вознаграждение за приносимую им пользу, то она составляет одну из необходимых издержек производства, которая наравне с самою суммою затраченного капитала входит в цену произведений и окончательно оплачивается потребителем. Если бы цена товара не покрывала издержек, в том числе и уплаты процента за пользование капиталом, то предприниматель не стал бы производить и занимать для этого деньги. Количество работы, которою может располагать капиталист, тут ровно не при чем. Процент за большой капитал при малом количестве рук уплачивается совершенно в том же размере, как и за малый капитал при большем количестве рук. Плата за употребление капитала имеет место даже там, где вовсе не приводится в действие рабочая сила. Купец занимает деньги на покупку товара, который он затем перепродает с покрытием издержек и с большею или меньшею прибылью. Наемная цена дома, которая есть плата за употребление стоячего капитала, имеет совершенно одинаковое значение, нанимается ли дом для фабрики, для склада товаров или для жилья. Разница состоит лишь в том, что когда дом нанимается для промышленных целей, наемная плата входит в цену произведений, а когда он нанимается для собственного жилья, она выплачивается из дохода. Все это совершенно просто и не подлежит ни малейшему сомнению. Нужно особенное старание затемнить вопрос для того, чтобы в плате за употребление вещи видеть какую-то мистическую силу, рождающую что-нибудь из ничего. Когда Карл Маркс производит процент капитала из прибыли, получаемой в капиталистическом производстве обиранием рабочих, он противоречит собственному

признанию, что процент капитала исторически предшествует капиталистическому производству (Ibid. S. 353, 361). Он называет даже капитал, приносящий процент, допотопною формою капитала, которая встречается в самых разнообразных общественных формациях (Ibid. S. 132). Но это не мешает ему рядом с этим утверждать, что «только разделение капиталистов на денежных и промышленных превращает часть прибыли в процент, и только конкуренция между этими двумя разрядами капиталистов создает высоту процента» (Ibid. Teil 1. S. 355). Как видно, за последовательностью автор не гонится.

За вычетом процента с капитала, оставшая часть прибыли представляется в виде вознаграждения за труд предпринимателя. Он сам является как бы работником высшего разряда (Ibid. S. 365-366). Однако, говорит Маркс, и это не более как призрак. Доказательством тому служат рабочие товарищества и акционерные компании, в которых труд ведения предприятия оплачивается особым жалованием, и затем все-таки остается дивиденд, представляющей прибыль (Ibid. S. 369, 374). Последняя зависит исключительно от произведенного рабочим излишка ценности, то есть от степени обирания рабочих (Ibid. S. 373). По замечанию Маркса, это выделение жалования за работу по ведению дела из общего дохода предприятия устанавливается везде, где предприятие получает общественный характер. Он уверяет даже, что акционерные общества представляют отрицание капитала как частной собственности в пределах капиталистического производства (Ibid. S. 423). Это — первый шаг к полному превращению капитала в общественное достояние.

Нетрудно видеть, что и это все основано на софизмах. В отличие от вознаграждения за ведение предприятия, дивиденд, с одной стороны, представляет проценты с капитала, вложенного в предприятие, а с другой стороны, он заключает в себе элемент, о котором Карл Маркс осторожно умалчивает, хотя это дело очевидное и весьма известное, а именно риск, который всегда падает на собственника. Получающий определенное жалование нередко участвует в выгодах предприятия, но если он не акционер, он не несет убытков, которые все терпит хозяин. Их не несут и рабочие, производящие так называемый излишек. А этот риск составляет существенный элемент всякого предприятия, которое подвержено разного рода случайностям. Чем обширнее предприятие, тем более оно требует знания условий и соображения обстоятельств. Тут необходимы расчетливость, предприимчивость, энергия, умение собрать вокруг себя людей и внушать им доверие — качества, которые редко встречаются в человеке и одни обеспечивают успех. Иногда одно имя привлекает к себе громадные капиталы и становится источником или крупных барышей, или разорения. Мы видели это на примерах Суэцкого канала и прорытия Панамского перешейка. Поэтому инициаторы предприятия обыкновенно и остаются глав-

ными его руководителями. Управление текущими делами составляет тут второстепенный элемент. Главный источник выгод и убытков заключается в высшем руководстве, которое принадлежит хозяину. Это прилагается к акционерным предприятиям, в которых главным руководителем обыкновенно является одно лицо. Видеть в них отрицание частной собственности можно только закрывши глаза на действительность и переставши различать понятия. Акционерные общества не суть юридические лица, отличные от членов, как благотворительные учреждения, общины или государства. Каждый акционер есть собственник общественного капитала соразмерно с долею своего участия. Акционерная фирма не только не является отрицанием частной собственности, а напротив, разливает частные капиталы в массах, призывая к участию в общих предприятиях многое множество лиц, которые не имеют ни средств, ни возможности заводить предприятие на свой собственный счет и риск. Это — высшее торжество личной инициативы и самостоятельности, которые проявляются здесь тем в большей степени, что все это совершается путем свободы: всякий волен входить в общество и из него уходить, и никому не возбраняется затевать какие угодно предприятия на свой собственный страх и риск. Все это совершенно противоположно бюрократическому управлению, которое действует путем регламентации и монополии, не на свой риск, а на общественные, то есть чужие деньги. Не видеть этого коренного различия можно только при полном непонимании характера и свойств общественного уравнивания. Потому нельзя видеть в акционерных обществах и синдикатах, как бы они ни были обширны, переход от частного хозяйства к государственному. Между тем и другим есть принципиальное различие: одно есть явление личной инициативы и самостоятельности, другое есть отрицание этих начал. В одном случае все происходит борьбою и соглашением частных лиц, в другом принудительным действием сверху. Тут вопрос идет ни более, ни менее как о существовании или несуществовании человеческой свободы в области экономической деятельности, то есть в отношениях человека к физической природе и в устройстве своего материального быта. Решение его в положительную или в отрицательную сторону ведет к совершенно противоположным формам общественного быта.

Карл Маркс старается приложить свою теорию и к поземельной ренте; но тут уже внутренние противоречия системы выступают во всей своей яркости. Так как излишек ценности признается исключительно произведением труда, то и рента, так же как и процент с капитала, может получаться только из этого излишка путем вымогательства из рабочих. Рента есть та часть излишка, которую землевладелец перехватывает себе в силу права собственности (Ibid. S. 157, 174, 188). Чем же она определяется? «Высота поземельной ренты (а с нею ценность земли), — говорит Маркс, — развивается в процессе общественного развития как результат совокупной

общественной работы. Через это увеличивается, с одной стороны, рынок и спрос на произведения земли, с другой стороны, непосредственно спрос на самую землю как конкурирующее условие всех возможных, даже и не земледельческих отраслей производства. Ближайшим образом рента, а с тем вместе и ценность земли развивается с рынком для произведений почвы, следовательно, с ростом неземледельческого населения, его потребностей и его спроса, частью на средства пропитания, частью на сырые материалы» (Ibid. S. 177). Этим определяется и количество потребной на произведения работы. «Общественная потребность,— говорит Маркс,— т. е. потребительная ценность на общественной степени, является здесь определяющим началом для количества общественного совокупного рабочего времени, падающего на различные отрасли производства. Но это — тот самый закон, который оказывается и на отдельных товарах, именно, что их потребительная ценность есть предположение их меновой ценности, а с тем вместе и их ценности вообще» (Ibid. S. 176).

Таким образом, в конце исследования опровергается именно то, на чем строилась вся теория. Точкою отправления было положение, что для определения меновой ценности мы должны отрешиться от всякой потребительной ценности, так чтобы не оставалось ни единого ее атома, а в конце нам говорят, что именно потребительная ценность служит основанием и определяющим началом меновой ценности. Сколько ни трудись рабочий, цена произведения определяется тем, что потребитель готов за него дать. К чему же служили три толстых тома, наполненные всевозможными умственными фокусами?

И это, по признанию Маркса, относится ко всем товарам. Отличие земледелия от других отраслей заключается лишь в том, что в промышленности вообще, хотя процентное отношение заработной платы к затраченному капиталу постоянно уменьшается, однако сумма заработной платы абсолютно растет; в земледелии же, с развитием производства, сумма заработной платы, которая тратится на один и тот же участок, уменьшается не только относительно, но и абсолютно, ибо рабочие руки заменяются машинами; а границы земли не допускают беспредельного расширения производства (Ibid. S. 177). Но этим самым опровергается теория, производящая ценность из работы, ибо при этом предположении очевидно, с уменьшением работы должны уменьшаться и производимая ею ценность, следовательно, и рента, которая с нее получается, а на деле, по признанию самого Маркса, выходит наоборот: с развитием производства вследствие увеличивающегося спроса на произведения рента растет. Противоречие тут явное.

Для выяснения приистекающих отсюда несообразностей Карл Маркс исследует различные формы поземельной ренты. Он отличает дифференциальную и абсолютную ренту. Первая, согласно с теорией Рикардо, приистекает из разности в качестве земель

или выгоды положения. Распространение на земледелие закона уравнивания прибылей ведет к тому, что и здесь устанавливается средняя прибыль на затраченный в производстве капитал; но затем лучшие земли дают больший или меньший избыток, который и составляет чистый доход землевладельца, или поземельную ренту. Очевидно, что этот избыток проистекает не из труда, а из действия сил природы, и это признает сам Карл Маркс: «Избыток прибыли,— говорит он,— проистекает не из капитала, а из применения монополизированной силы природы капиталом. При таких условиях избыточная прибыль превращается в поземельную ренту» (Ibid. S. 180). Однако он тут же утверждает, что «сила природы не есть источник избыточной прибыли, а только естественная ее основа, ибо она составляет естественную основу исключительно возвышенной производительной силы работы. Вообще, потребительная ценность есть носитель, но не причина меновой ценности. Та же самая потребительная ценность, если бы она могла получаться без работы, не имела бы меновой ценности, но сохраняла бы, как и прежде, свою естественную полезность как потребительная ценность. Но, с другой стороны, вещь не имеет меновой ценности без потребительной, следовательно, без такого естественного носителя работы» (Ibid. S. 187).

Читатель, не довольствующийся словами, приходит в полное недоумение. Он спрашивает, в чем заключается различие между основанием и источником, между носителем и причиной? На это он не находит ответа. Коли под именем основания следует разуметь чисто страдательную опору для совершенно чуждого ей здания, то это не прилагается к силам природы, которые являются деятельным началом в производстве. Как таковые они в земледелии составляют источник ценности, ибо они производят тот избыток полезных, а потому ценных вещей, который служит источником поземельной ренты. Если из двух десятин, к которым прилагается одинаковое количество труда, одна вследствие лучших естественных условий дает 50 пудов пшеницы, а другая — 100, то этот избыток, очевидно, произведен действием сил природы, а с избытком полезности связан и избыток ценности, ибо произведенная при разных условиях пшеница на рынке продается по одинаковой цене. Столь же мало можно утверждать, что потребительная ценность есть только мертвый носитель, а не действительная причина меновой ценности. По собственному приведенному выше признанию Маркса, потребность является определяющим началом количества работы, а потому и меновой ценности произведений. От степени полезности вещи зависит то, что потребитель готов за нее дать. Самое производство вызывается потребностью; удовлетворение ее составляет для него цель, а потому отрицать значение потребительной ценности для определения меновой можно только вопреки очевидности. Конечно, есть вещи весьма полезные и не имеющие никакой меновой ценности, но это происходит оттого, что тут

нет мены. Вещи, существующие в неограниченном количестве и доступные всем, не составляют предмета обмена. Такого рода аргументами можно разве только забавлять детей.

Тут оказывается и другое противоречие. По теории Маркса, уравнение прибылей ведет к установлению средней прибыли, определяемой средними условиями производства, соответствующими нормальному количеству работы; отклонение же в обе стороны взаимно восполняются и уравниваются. Только при этом условии сумма прибылей совпадает с суммой произведенного работою излишка ценностей. Между тем сам Маркс признает, согласно с теорией Рикардо и тем, что есть в действительности, что в земледелии определяются не средними, а худшими условиями производства (Ibid. S. 197), ибо только при достаточной высоте цены разработка земель, находящихся в худших условиях, может вознаградить издержки. Стало быть, тут не может быть речи ни о восполнении недостатка избытком, ни о совпадении суммы прибылей с суммой ценностей, измеряемых количеством работы. Самые цены определяются здесь не количеством положенной на произведения работы, а потребностями населения: они растут с умножением населения.

То же самое относится и к другой форме дифференциальной ренты, вытекающей из последовательного приложения капитала к одной и той же земле. При интенсивном хозяйстве большая затрата капитала дает меньшую прибыль и окупается только при высоких ценах на произведения. Карл Маркс приравнивает эту форму к первой. Но тут возникает вопрос об отношении капитала к поземельной ренте. Последняя является не только платою за действие сил природы, но и процентом за положенный в землю капитал. Сам Карл Маркс признает, что с развитием производства последний элемент является преобладающим (Ibid. S. 215). Но так как капитал здесь связан с землею, следовательно, лишен всякой подвижности, а прибавление новых капиталов дает меньшую прибыль, то и уравнение прибылей путем конкуренции здесь неприменимо. При повышении цен прежде положенный капитал приносит высший процент, который и поступает в ренту. Конкуренция понижает прибыль только разработкой новых земель и понижением цены перевозки, что и составляет обычное явление в современном мире. Этим уничтожается монопольное значение поземельной собственности.

Кроме признаваемой всеми экономистами дифференциальной ренты, Карл Маркс изобрел еще абсолютную ренту, которая получается с худших земель. По теории Рикардо, обработка земель, находящихся в худших условиях, дает только процент с капитала и вознаграждение за работу, но не приносит ренты; последняя составляет излишек против этих двух факторов. Карл Маркс утверждает, что при капиталистическом производстве этого быть не может, ибо землевладелец в силу своего монопольного права

не дозволит обработки своей земли, если он с нее не может получить ренты (Ibid. S. 287). Правда, мелкий собственник может сам обрабатывать худшую землю, довольствуясь вознаграждением за свою работу; но Маркс уверяет, что обработка земли самим собственником на практике является только в виде исключения. Как правило, капиталистическое производство исключает собственную обработку земли (Ibid. S. 283). Ввиду повсеместного распространения мелкой собственности и в Европе, и в Америке такое утверждение представляется довольно смелым посягательством на истину. Сам Карл Маркс при разборе различных видов поземельного владения не может не признать существования крестьянской собственности, но он старается по возможности умалить ее значение. По его мнению, она имеет ту специфическую невыгоду, что она порождает иллюзию, будто земля имеет цену независимо от труда, положенного на ее обработку. Мелкий собственник покупает клочок земли и воображает, что в доходе с этой земли он получает процент с затраченного на покупку ее капитала. Между тем капитал его только перешел в другие руки и для него пропал; сам же он никакой ценности не получил взамен, ибо земля как известное пространство почвы, которым можно пользоваться, и понятие ценности суть две величины несоизмеримые (Ibid. S. 312). Все, что он приобрел, это — возможность работать, не отдавая другому произведенного его трудом излишка и получая таким образом поземельную ренту, которая присваивается землевладельцем (Ibid. S. 342-344). «Затрата денежного капитала на покупку земли,— говорит Маркс,— не есть вклад землевладельческого капитала. Она составляет, напротив, уменьшение капитала, которым крестьяне могут располагать в области своего производства. Она уменьшает настолько объем их производительных средств и суживает поэтому экономическое основание воспроизведения. Она подчиняет крестьянина ростовщичеству, ибо в этой сфере настоящий кредит редко встречается. Она составляет препятствие земледелию, даже когда покупка совершается в больших имениях. Она в действительности противоречит капиталистическому производству, для которого задолженность землевладельца, все равно, унаследовал ли он или купил свое имение, совершенно безразлично» (Ibid. S. 345).

Итак, если я, владея капиталом, употребляю его на покупку земли в виду получения с нее дохода, то это не более как иллюзия. На общечеловеческом языке меновую ценностью вещи называется то, что за нее дают. Так как земля составляет предмет мены и за нее платят деньги, то, очевидно, и она имеет ценность. Но по теории Маркса выходит совсем не то. Не будучи произведением труда, земля никакой ценности не имеет и никто покупать ее не может. Заключивши такую сделку, я только отдал свой капитал даром. Если капитал большой, то землевладелец может еще вознаградить себя обиранием рабочих, но если крестьянин, не подозревая, что земля не имеет цены, платит за нее деньги, то он только урезывает

свои средства и обрекает себя на всякого рода невзгоды. «Мелкая собственность,— говорит Маркс,— порождает стоящий вне общества класс варваров, который соединяет всю грубость первобытных общественных форм со всеми муками и нищетою образованных страной» (Ibid. S. 348). Действительно, мелкая поземельная собственность радикально противоречит социалистическим теориям и составляет самую сильную против них преграду: как же не стараться уничтожить ее всеми мерами?

Как бы то ни было, надобно знать, каким образом землевладелец может получить ренту даже из совершенно плохой земли. Карл Маркс объясняет это тем, что земледелие есть самое отсталое из всех производств. Сравнительно с обрабатывающею промышленностью количество рабочих рук в отношении к затраченному капиталу весьма велико, а потому и производимая ценность, а с нею и нормальная прибыль, больше обыкновенных; но так как вследствие конкуренции прибыли уравниваются, то цена произведений, определяемая издержками производства с обыкновенным процентом прибыли, всегда ниже истинной их ценности, определяемой количеством работы. Существование поземельной собственности не допускает, однако, понижения рыночной цены до цены производства. Всегда остается разница, которая и составляет абсолютную ренту. Она может быть больше или меньше, смотря по требованию на произведения; но уничтожиться она не может, ибо промышленная прибыль вследствие избытка капитала, находящего здесь безграничное приложение, всегда ниже земледельческой (Ibid. S. 291, 296).

Из этого прямо следует, что чем хуже земля, тем более требуется рук для ее обработки, и чем менее в нее полагается капитала, тем больше прибыль, а потому тем выше рента. При малой производительности работы уменьшается и предложение, которое не покрывает все возрастающего спроса на произведения; следовательно, цены должны расти. Таким образом, вся выгода землевладельцев состоит в том, чтобы обрабатывать самые плохие и неудобные земли, нанимать для этого как можно больше рабочих и употреблять как можно меньше капитала. При этих условиях они будут получать наибольшую ренту. К такому очевидному абсурду приводит эта удивительная теория. Она служит достойным завершением всей системы.

В заключение сводятся к общему итогу результаты всей предыдущей критики. «Вульгарная политическая экономия», по выражению Карла Маркса, признает три источника дохода: земля дает ренту, капитал приносит процент, работа доставляет наемную плату. Но такое сопоставление, говорит он, представляет чистую бессмыслицу. «Эти три мнимых источника ежегодно производимого богатства принадлежат к совершенно разнородным сферам и не имеют ни малейшей аналогии между собою. Они относятся друг к другу, как нотариальные пошлины, красная репа и музыка» (Ibid. S. 349). Земля как явление сил природы не имеет никакой

ценности. «Ценность есть работа; а потому избыток ценности не может быть землей». Плодородие почвы ведет лишь к тому, что известное количество работы, следовательно, ценности, распространяется на большее количество произведений. С другой стороны, капитал есть только известное исторически сложившееся общественное отношение, а именно монополизация средств производства небольшою кучкою людей. Представлять это общественное отношение источником дохода, т. е. известной потребительной ценности, совершенно нелепо, ибо это два несоизмеримые понятия. Как продукт работы, эти средства имеют ценность, но сами по себе они не в состоянии прибавить себе ценности, ибо ценность не рождает ценности: бессмысленно говорить, что ценность имеет более ценности, нежели она имеет. Наконец, превращение работы в товар, имеющий ценность, есть чистое противоречие. Как источник ценности, работа сама ценности не имеет: ценность имеет не работа, а рабочая сила (Ibid. S. 349-353).

Все эти бессмыслицы и несообразности, говорит Маркс, проистекают из того, что в капиталистическом производстве все представляется в превратном и как бы заколдованном виде (Ibid. S. 362, 366): но надобно только разоблачить эту мистификацию, раскрыть тайну капиталистического производства, и тогда все представится совершенно ясным. Эта тайна заключается в том, что единственный источник ценности есть работа, а потому она одна может быть источником дохода. Доход капиталиста получается только обиранием рабочих, присвоением его части произведенной ими ценности, а доход землевладельца присвоением себе части капиталистической прибыли. Все это происходит вследствие исторического процесса, разъединяющего рабочую силу и средства производства, которые становятся монополией класса капиталистов в противоположность классу рабочих. Эта борьба наполняет собою историю: но окончательно она должна привести к победе рабочего класса и к воссоединению рабочей силы с средствами производства. Последние должны составлять достояние всех и находиться под общим контролем. В этом только и может состоять свобода в экономической области, которая, по существу своему, как отношение человека к силам природы всегда подчиняется законам необходимости. Истинное царство свободы начинается только за этими пределами (Ibid. S. 355).

Карл Маркс откровенно высказывает здесь то, что тщетно стараются скрыть другие социалисты, именно, что социалистическое производство есть полное отрицание человеческой свободы в экономической области. Свободная деятельность человека, которая ведет и к разделению труда, и к разъединению капитала и рабочей силы, и к образованию классов, и к борьбе экономических сил, а с тем вместе и к высшему развитию, представляется только произведением временного исторического процесса, переходною ступенью, которая должна окончательно уступить место полному

закабалению лица в общественную организацию. Нечего распространяться о том, что все это не более как безобразный вымысел, не имеющий ничего общего с действительностью и не могущий служить идеалом для человека, сколько-нибудь сознательно относящегося к условиям и задачам человеческой жизни. Свобода не есть преходящее явление, а вечный элемент человеческого духа, без которого нет жизни, достойной человека. И чем более она развивается, тем более она охватывает все стороны человеческой деятельности. Идеал человечества может состоять только в возможно полном ее расширении, а никак не в порабощении лица всеохватывающей общественной организации. К этому именно идеалу свободы ведет история, которая представляет процесс не закрепления, а постепенного раскрепления человека. Древнее рабство заменяется средневековым крепостным правом, а крепостное право — общею свободою Нового времени. Последняя одна отвечает истинной природе и назначению человека, а потому она представляет не преходящее только явление, а прочное и окончательное приобретение человечества. Из свободы рождаются и все те экономические отношения, которые характеризуют современный порядок вещей и которые Карл Маркс считает превратным и заколдованным миром. В силу свободы рабочий продает свой труд как товар за договоренную плату. Цена его может быть больше или меньше, смотря по обстоятельствам, но первое и главное условие возвышения заработной платы состоит в возрастании капитала, от которого зависит все развитие производства. Последний, накапливаясь все более и более и передаваясь от поколения поколению, является главным двигателем экономического прогресса. Он составляет источник того материального благосостояния, которое так широко развито у образованных народов. От него зависит и постепенное поднятие рабочего класса, о котором свидетельствуют явления современности. Вся экономическая история человечества есть не что иное, как развитие капитализма с самых первых времен человечества и до нашего времени. И это не ведет к сосредоточению капитала в немногих руках, как уверяет Маркс; напротив, капитал все более и более развивается в массах. Всего менее этот процесс ведет к сосредоточению капитала в руках государства. Капитал всегда был и есть произведение свободной деятельности человека, обращенный на покорение сил природы, а потому он принадлежит отдельным лицам, которые думают, чувствуют, работают, сберегают, а не обществу, которое представляет только фиктивное юридическое лицо. То, что Марксу представляется превратным и заколдованным миром, есть самая живая действительность, а то, что он ставит на ее место, есть только плод туманных фантазий, в основании которых лежит чистая бессмыслица. Последователи Маркса развили из его беглого очерка целую систему исторического или экономического материализма, который ныне составляет один из ходячих взглядов на историю. По этой теории, господствующие

в человеческих обществах понятия являются лишь отражением существующего общественного строя; последний же зиждется исключительно на экономическом быте, представляющем известное отношение человека к материальному миру. Это отношение составляет поэтому основное начало исторического развития. Так же, как и материальный мир, к которому он принадлежит, экономический быт подчинится законам необходимости, в силу которых он развивается в трех ступенях: первая есть первобытное хозяйство, в котором рабочая сила и средства производства находятся еще в непосредственном единении; вторая есть капитализм, в котором они разобщены, наконец, третья есть социализм, представляющий окончательное их воссоединение, но в высшей форме. Вторая ступень есть та, в которой человечество живет в настоящее время; последняя же составляет задачу будущего. Процесс экономического развития ведет к ней неотразимо.

Конечно, ни один серьезный историк не может разделять этих взглядов, представляющих полное извращение истории. Они могут найти себе доступ только среди крайнего невежества. Служебный элемент исторического развития признается здесь господствующим. Владычество человека над материальным миром составляет, бесспорно, условие высшего, духовного развития, но последнее не им определяется, а напротив, именно духовное развитие дает человеку средства покорить природу и сделаться царем земли. Развитие свободы, которое составляет существенное содержание истории и которым определяется самый экономический быт, коренится не в материальных отношениях, а в человеческом самосознании. На своих глазах мы могли видеть, как в России и в Соединенных Штатах гражданский строй, основанный на рабстве, во имя высших нравственных начал заменился порядком, основанным на свободе. Всего менее есть повод предполагать, что последний, в свою очередь, заменится новым, всеохватывающим порабощением человека. Такие мечты могут блуждать только в непривычных к мысли головах.

Сам Карл Маркс, ограничиваясь критикой существующего экономического строя, не представил изображения того порядка вещей, которым он думал его заменить. Это пытались сделать французские социалисты, о которых будет речь ниже. О них, как и обо всех своих соперниках, Маркс отзывался с величайшим презрением. Себя одного он считал основателем научного социализма и пророком будущего. Прудона он уже в раннюю пору своей деятельности подверг едкой критике, * обыывая его мелким мещанином, опутанным сетью господствующих понятий и неспособным разгадать тайну капиталистического производства. В «Капитале» Маркс говорит о знаменитом французском социалисте, что он «с своим обычным,

* Marks K. Misère de la philosophie, réponse à la Philosophie de la misère par M. Proudhon.

величающим себя научным шарлатанством протрубил о своем бессмысленном представлении как о вновь открытой тайне социализма» (Ibid. Bd III. Teil 2. S. 14). Этот отзыв еще с гораздо большим основанием можно приложить к нему самому. У Прудона, несмотря на все его софизмы, был все-таки ясный ум и недюжинный талант; он любил щеголять парадоксами, но он не изобретал совершенных бессмыслиц вроде общественно-необходимого времени как мерила ценностей. Можно думать, что именно вследствие этого его учение было менее пригодно как орудие борьбы. Когда сравниваешь те бессмыслицы, которые лежат в основании учения Маркса, с тем значением, которое придается им в умах миллионов людей, можно прийти в некоторое изумление. Влияние Маркса в современном мире представляет, можно сказать, самый колоссальный пример человеческой глупости, какой встречается в истории мысли. Объясняется это тем, что когда говорят страсти, разум молчит. И чем более нелепость облекается в туманные представления и прикрывается мнимонаучною фразеологией, в которой никто не в состоянии раскрыть настоящего смысла, тем легче выдавать их за глубокие истины и тем с большею жадностью они воспринимаются умами, не привыкшими связывать понятия. Когда рабочим твердят, что все материальные блага, которыми пользуется человечество, суть их производство, и что они лишены их только благодаря тому, что их всякими обманами и неправдами обирают капиталисты, и когда эта проповедь зависти и ненависти опутывается целым аппаратом учености, в котором они ровно ничего не смыслят, то как не поддаться такому искушению? Как орудие борьбы, учение Маркса незаменимо, и именно по своей полной бессмыслице. Но как объяснить тот слабый отпор, который он встречает в образованных классах и даже в мире ученых? Нельзя не сказать, что в этом обнаруживается то понижение общего умственного уровня, которое составляет неизбежное последствие господства реализма. Для нынешних людей факт является решающим началом, а способность связывать понятия затмевается, если не исчезает совершенно. В экономической области факт тот, что массы волнуются и увлекаются учением Маркса; стало быть, с этим явлением нельзя не считаться и надобно войти с ним в компромисс. И вот мы видим в Германии целую группу ученых, которые Родбертуса и Маркса признают глубокими мыслителями и усваивают себе если не все учение целиком, то по крайней мере значительную часть проповедуемых ими начал. Такое отсутствие разумной критики свидетельствует о весьма невысоком уровне современной науки. Нужно много работы, чтобы человечество могло выбиться из той трясины, в которой оно застряло благодаря отрицанию рациональных начал. Здоровые понятия заменяются утопиями, с которыми реалистическая наука не в силах бороться. И вот мы видим, с одной стороны, сплошные массы, которые чистую нелепость признают безусловною истиной и во имя ее готовы разрушить весь исторически сложившийся общественный строй,

с другой стороны, разобщенную интеллигенцию, лишенную всякой рациональной точки опоры, не знающую за что ухватиться и готовую идти на всевозможные сделки. Таково положение современных европейских обществ. При таких условиях только внешняя сила в состоянии противостоять напору фанатизированных масс. В этом состоит объяснение современного милитаризма. •

Идеализм во Франции

История Франции после революции 1789 г. до революции 1848 г.¹ представляет последовательный ряд попыток сочетать революционные начала с противореволюционными. В этом движении различаются три резко характеризованные эпохи: владычество Наполеона I, время реставрации и господство Июльской монархии². В первую эпоху противоположные начала соединяются силой власти, во вторую происходит борьба закона с свободой, в третью является стремление сочетать противоположные начала в идеальном устройстве конституционной монархии. Мы видим здесь повторение того самого закона развития, который раскрывается нами в общем ходе истории и в отдельных эпохах, и в философской области и в политической. Везде являются одни и те же элементы и то же последовательное их развитие. И доньше во Франции мы находим четыре главные партии, представляющие четыре начала общежития: бонапартисты — начало власти, легитимисты — начало закона, либералы, ныне республиканцы — свободу, наконец, орлеанисты — идеальное сочетание противоположных начал в конституционной монархии³.

Сообразно с этим можно предполагать, что и развитие идеалистических учений во Франции разбивается на четыре главных направления. Однако тут мы встречаем пробел. Владычество Наполеона было неблагоприятно теоретической разработке вопросов. Сильный в практическом понимании политических задач, он ненавидел то, что он называл идеологией. Поэтому мы во французской литературе не находим учений, соответствующих этому моменту. Здесь мы можем видеть, каким образом общий закон развития видоизменяется человеческою свободой. Закон остается в своей силе, а остальные ступени следуют своим порядком, но тут вместо полноты развития является скачок.

Если бонапартизм не выработал систематического учения, то легитимисты, напротив, выставили целый ряд теорий, связывающих в большей или меньшей степени начало законной монархии с теократическим элементом. Такой же ряд учений произвела и либеральная школа. Менее плодотворны были идеализирующие орлеанисты, которые обыкновенно обозначаются названием доктринеров. И тут практическое обсуждение вопросов, преимущественно в прениях палат, далеко перевешивает чисто научную

их разработку. Взамен того необыкновенно обильным является пятое направление, которое мы назвали утопическим идеализмом. Практического значения оно не могло иметь иначе как в виде разрушительной силы, которая, доведя идеализм до крайности, привела его к падению. Поэтому социализм не характеризует никакой исторической эпохи. Но в чисто теоретической разработке он представляет необыкновенное богатство материала. Все разнообразные формы утопии находят своих представителей во французской литературе. Здесь мы можем изучить их вполне.

Итак, в развитии французского идеализма различаются четыре главных школы: легитимисты, или клерикалы, либералы, доктринеры и социалисты.

а) Клерикалы

1. Жозеф де Местр⁴

Из писателей клерикальной школы замечательнейший по силе ума и таланта был граф Жозеф де Местр, родом из Савойи, долго бывший сардинским посланником при русском дворе. Первое сочинение, в котором он высказал свои взгляды, было «Соображения о Франции» («*Considérations sur la France*»), вышедшее в 1796 г. Он хотел выяснить здесь значение Французской революции в нравственном и политическом отношении.

Во всем мире, говорит де Местр, господствует порядок, установленный Провидением. Даже там, где он, по-видимому, действует совершенно свободно и уклоняется от положенных ему целей, он направляется к ним невидимою рукою. То, что нам кажется беспорядком, входит, как орудие, в намерения божества.

Нигде этот высший закон не обнаруживается так ярко, как в эпохи переворотов. Здесь воля человеческая превращается в ничто; события носят на себе роковой характер, и люди, стоящие во главе, являются не более как слепыми орудиями, которые сами не знают, что они делают. Такова именно Французская революция. Она перевернула весь мир и, по-видимому, извратила все нравственные законы; но, в сущности, она является только орудием высшей воли, которая нигде не выражается яснее, как в вызванных ею событиях.

В чем же состоит истинное значение революции? Это — кара, постигшая Францию за то, что она уклонилась от назначенного ей пути. Франция в Европе играет первенствующую роль. Ее язык, ее литература, ее стремление к прозелитизму — все обнаруживает в ней высшее призвание — быть провозвестницею истинных начал духовной жизни. И долго Франция оставалась верна своему призванию: она была центром европейского христианства. Но наконец она уклонилась от истинного пути и употребила во зло свои дары. Ее литература приняла направление противное религии и собствен-

ности. Все сословия, и высшие, и низшие, приняли участие в этом движении. Наконец, оно завершилось величайшим из всех преступлений — посягательством на верховную власть, виновником которого явился весь народ. За это Францию и постигла божественная кара. Она была предана в руки шайки злодеев, которые водворили в ней самый страшный гнет, о каком свидетельствует история. Но эти злодеи были только орудиями божественного правосудия, ибо никогда законная власть не могла бы постигнуть стольких виновных. Зачинщики революции должны были пасть от руки своих сообщников. Вместе с тем только страшною энергиею террористов Франция могла быть спасена от внешнего раздробления и сохранена законному королю. Но как скоро они совершили свое дело, так они, в свою очередь, сложили свои головы на плахе. Вся эта кровавая драма должна была служить огнем очищения и предвестием новой жизни. В особенности духовенство, очищенное революцией и лишенное светских преимуществ, явится проповедником религиозного обновления, центром которого должна быть Франция и которая одна может спасти человечество (Ch. 2) *.

От этих нравственных соображений, которые рядом с некоторыми меткими чертами, в сущности, представляют только общие места, ибо неизвестные человеку планы божественного Промысла можно толковать как угодно, де Местр переходит к гораздо более важным соображениям политическим. Он ставит вопрос: может ли продолжаться Французская республика? И отвечает: нет, ибо большая республика никогда не существовала. История представляет нам самые различные образы правления, но такого в ней не встречается. Следовательно, его нет в числе возможных шансов. Против этого возражают, что представительное начало, неизвестное древности и установившееся лишь в Новое время, открывает эту возможность. Но если мы взглянем на представительные учреждения в том виде, как они вытекли из феодального порядка и сохранились в Англии, то мы увидим, что они составляют не более как представительство известных общин известными лицами, по выбору известных людей, в силу королевских хартий; но чтобы весь народ был представлен и чтобы всякий гражданин мог давать и получать такого рода полномочия, этого никто никогда не видал. Представительство всего народа возможно, но отнюдь не в силу данного им полномочия. Ежедневно в судах дети, сумасшедшие и отсутствующие представляются лицами, назначенными законом. В народе в высшей степени соединяются все эти качества: он всегда ребенок, сумасшедший и отсутствующий; отчего же его опекуны не могут обойтись без полномочия? Во всяком случае, с введением представительства народ теряет свое полновластие. Верховная

* <Здесь и далее ссылки на книгу де Местра (Maistre J. de Considérations sur la France. London; Lausanne, 1796) даются Б. Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Примет ред.>

власть сосредотачивается в собрании, и каждый гражданин имеет самые малые шансы когда-либо участвовать в верховных решениях. Из этого уже видно, что слово большая республика имеет такой же смысл, как квадратный круг. Весь вопрос заключается в том, что лучше для граждан: быть подданными собрания или монарха? Вопрос, на который не трудно дать ответ (Ibid. Ch. 4).

Нельзя не сказать, что эти соображения весьма слабы. Из того, что до сих пор не было ничего подобного, отнюдь не следует, что такого рода устройство невозможно. Уже во времена де Местра был перед глазами пример большой республики, именно Соединенные Штаты. Но он устраняет это доказательство под предлогом, что Северная Америка так еще молода, что о ней нельзя судить. «Я не знаю ничего более возбуждающего нетерпение,— говорит он,— как эти похвалы, расточаемые ребенку, обретающемуся еще в пеленках: дайте ему время вырасти» (Ibid. P. 56). Еще менее удачно доказательство, будто представительное начало устраняет народное подновластие; это — чистый софизм. Де Местр смешивает республику с непосредственною демократиею; но о непосредственной демократии во Франции не было и речи.

Что касается до вопроса о возможности существования уже не республики вообще, а тогдашнего правительства Франции, то при обсуждении его де Местр опять сбивается на чисто нравственные соображения. Зло, говорит он, не имеет ничего общего с бытием; оно не может ничего создать, ибо сила его чисто отрицательная. Характеристически же признак Французской революции, признак, который делает ее единственным событием в истории, это то, что она насквозь проникнута злом. В ней нет ни единой доброй черты; это — чистый и голый разврат. Каким же образом возможно верить в свободу, которая порождается гнилью (Ibid. P. 60-63)?

Во Французской революции есть даже нечто сатанинское, существенное ее стремление идет к отрицанию религии. Но именно поэтому она обречена на бесплодие. Прочно только то, что покоится на божественном начале. Когда человек ставит себя в отношение к Творцу и делает что-либо во имя Божие, деяние его всегда прочно, как бы ни был ничтожен он сам. Но самые могучие владыки не в состоянии установить даже праздник, когда они надеются только на собственные силы. В настоящее время враги Христа имеют в своих руках все земные средства; но вся их злоба послужит только к большему очищению и возвеличению религии. Поэтому современные испытания могут служить ей пробным камнем (Ibid. Ch. 5).

В ряде положений де Местр высказывает свой взгляд на божественное начало, лежащее в основании политических учреждений. Человек, говорит он, может все видоизменять в области своей деятельности; но он не создает ничего. Каким же образом мог он вообразить себе, что он в состоянии создать конституцию? Все конституции в мире произошли двумя путями: или они выросли

из незаметных зачатков или они являются как бы созданием одного человека, которому все инстинктивно повинуются. Во всяком случае, тут действует не человеческая воля, а обстоятельства, в которых человек является только орудием. Но никогда никакая конституция не была плодом преднамеренного обсуждения. Письменные документы утверждают только уже существовавшие прежде них права, да и те записывают только самую малую часть того, что существует на деле. Во всякой конституции есть нечто такое, что не может быть записано. История показывает, что если права народа нередко проистекают от уступок со стороны государей, то права самих государей, а также и аристократии не имеют ни начала, ни учредителей. И самые уступки государей всегда вытекали из положения вещей, которое делало их необходимыми.

Поэтому никакой народ не может дать себе свободы, если он ее не имеет. В истории не было свободного народа, который бы не имел в своей конституции зачатков свободы, столь же древних, как он сам. Писанные законы только развивают то, что уже лежит в естественном устройстве народной жизни. Самые законодатели, которые являются как бы возвестниками воли божества, ограничиваются тем, что они собирают элементы, уже существующие в обычаях и в характере народа. Когда Провидение хочет более быстрого возрастания конституции, оно посылает такого рода людей, которые всегда носят на себе печать своего призвания. Они или цари, или благородные; люди-практики, а не теоретики. Они возвещают высшую волю и соединяют религию с политикою. Они повелевают, и все им беспрекословно повинуются. Но такого рода явления принадлежат младенческому состоянию обществ. Воображать же, что собрание выборных законодателей может дать устройство народу,— это такое безумие, что все сумасшедшие дома в мире никогда не представляли ничего более нелепого. А это именно то, что мы видим в новейших французских конституциях. Истинные начала законодательства перевернуты в них вверх дном. Задачу всякой конституции можно формулировать следующим образом: будучи даны народонаселение, права, религия, географическое положение, политические отношения, богатство, добрые и дурные качества известного народа, найти приходящиеся ему законы. Но во французских конституциях обо всем этом нет речи. Они учреждаются не для известного народа, а для человека вообще. Между тем человек вообще не существует. Есть французы, итальянцы, русские, но никто никогда не видит человека. Таким образом, все соединяется для доказательства, что божественное начало не лежит на этом произведении. Это не более как т ема (Ibid. Ch. 6).

Де Местр и тут старается устранить ссылку на Соединенные Штаты. Он утверждает, что все, что в их конституции есть прочного, унаследовано от предков, а все, что в учреждениях ново и что произошло из общего совещания, обречено на верную гибель. Так, чтобы иметь столицу, решили построить новый город в самом выгодном

месте, по заранее начертанному плану. «Можно биться об заклад тысячу против одного,— говорит де Местр,— что этот город не будет построен, или что он не будет называться Вашингтон, или что конгресс не будет в нем заседать» (Ibid. Ch. 7. P. 103-104). Известно, что действительность не подтвердила этих предсказаний.

Из всего этого де Местр выводит, что единственный разумный путь для французов состоит в возвращении к старинной их конституции, которая заключала в себе достаточно и даже, может быть, более нежели достаточно прав для народа слишком благородного, чтобы быть рабом, и слишком нетерпеливого, чтобы быть свободным. Если же они не сумеют пользоваться своими основными законами, то это было бы доказательством или что они не созданы для свободы, или что они безвозвратно испорчены. Французы на слово поверили англичанам, которые убедили их, что они находятся в рабстве; но сами англичане, сделавши у себя революцию, не уничтожили всего прежнего порядка вещей, а напротив, воспользовались им для своего объявления прав. В сущности, нет в Европе христианского народа, который не был бы свободен, и достаточно свободен. Свобода — не абсолютное начало; народы получают ее в большей или меньшей степени, смотря по потребностям. А так как потребности изменяются, то и конституции изменчивы, и изменчивы сообразно с той долей свободы, которую они в себе содержат. Французы хотели превзойти человеческие силы; но эти безумные попытки могут повести их только к рабству. Для того чтобы иметь ту долю свободы, которая им приходится, и чтобы снова сделаться честью и украшением Европы, им стоит только осмотреться и воспользоваться тем, что у них есть и что им дала история (Ibid. P. 105-116). «Во имя Бога Всевышнего и Всеблагого, вслед за людьми, которых Он любит и вдохновляет, и под влиянием Его творческой силы,— восклицает де Местр,— вы возвратитесь к вашей старинной конституции и получите от короля единственную вещь, которую вы должны разумно желать,— свободу через посредство монарха» (Ibid. P. 146). Французы действительно получили свободу через посредство законного монарха, но не с возвращением к старинным учреждениям, а на новых началах. Если бы де Местр жил в наше время, он в этом последнем обстоятельстве увидел бы причину непрочности хартии 1814 г.⁵

Свой взгляд на божественное происхождение политических учреждений де Местр развил с большею подробностью в другом сочинении, написанном в 1809 г., но напечатанном только в 1814 г. под заглавием «Опыт о производящем начале политических конституций и других человеческих учреждений» (*Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines*). St.-Petersbourg, 1814). Нельзя, однако же, сказать, что тут прибавилось много новых доводов. Де Местр утверждает, что существо основного закона состоит в том, что никто не имеет права его отменить. Это одно дает ему характер

святости и неприкосновенности. Но по этому самому он не может быть установлен кем бы то ни было, ибо кто имеет право устанавливать, тот имеет и право отменять. Закон не может стоять над всеми, если он установлен согласием всех. Общее соглашение может произвести только устав, а не закон. Последний всегда предполагает высшую волю, которая требует повиновения. На этом основана самая сила человеческих соглашений. И нравственные, и политические обязанности имеют своим источником власть, стоящую выше человека, ибо она одна способна связать его совесть. Поэтому здравый смысл всех народов всегда признавал или что власть исходит от Бога, или что есть неписанные законы, от него истекающие (Р. 1-4) *.

Мы встречаем здесь давно известное нам положение, что обязательная сила закона основана на воле высшей власти, положение, давно опровергнутое уже полемикой Лейбница против Кокцей⁶. Так как в естественном законе божественная воля раскрывается нам только через посредство разума, то очевидно, что обязательная сила закона основана на убеждении разума. Еще более это относится к законам политическим. Здесь непосредственно действует не божественная, а человеческая воля, от которой поэтому и зависит всякий положительный закон. Положение, что закон должен стоять над всеми, означает только, что воля отдельных лиц должна подчиняться воле целого. Политических же законов неподвижных и неизменных, которых никто не вправе отменить, в действительности не существует. Это — ни на чем не основанная фантазия. «Человек,— говорит де Местр,— не может сделать государя; он может служить разве только орудием для того, чтобы лишать власти государя и передать его владение другому, который уже сам по себе князь» (Ibid. Préface. Р. 7). Но 1) история представляет не один пример государей, сделавшихся таковыми в силу человеческой воли: князей, непосредственно установленных Богом, мы даже вовсе не знаем. 2) Если человек может одного государя лишить власти и передать ее другому, то это есть уже распоряжение властью. Де Местр утверждает, что человек является здесь только орудием Бога: обстоятельства тут все, а воля человеческая ничто. В известном смысле, конечно, человек всегда и во всем является орудием Бога; но Бог вмешивается в человеческие дела не иначе как через посредство человеческой воли. Следовательно, последняя представляется ближайшею причиною политических событий, и это одна причина, которую мы можем исследовать и которая нам доступна. Если человек есть свободное существо, как признает и де Местр, а не слепое орудие физических законов,

* <Здесь и далее ссылки на книгу де Местра (Maistre J. de. Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines». St.-Petersbourg, 1814) даются Б. Н. Чичериным непосредственно в тексте.—

Примет ред.>

то он сам является творцом своей истории. Признавать же, с одной стороны, свободу человека, а с другой стороны, видеть в нем простое орудие, бессознательно исполняющее неизвестную ему волю, это — прямое противоречие.

В рассуждениях де Местра справедливо все то, что он говорит против чисто умозрительных конституций, писанных не для известного места, времени и народа, а для человека вообще. Можно согласиться с ним, что конституция есть произведение обстоятельств и что число этих обстоятельств бесконечно (Ibid. XII. P. 17), но нельзя согласиться с тем, что человеческая воля вовсе не участвует в произведении этих обстоятельств. Де Местр утверждает, что основные законы, вытекающие из всей истории народа, должны быть признаны или произведением слепого случая, или установлением высшей, божественной воли (Ibid. XI. P. 16, 18-19). Но есть еще нечто третье, а именно: эти законы могут быть произведением человеческой воли в преемственном ее движении. Совокупность обстоятельств, составляющих историю народа, не создаются одним лицом или одновременным соглашением всех, но образуются мало-помалу преемственной волею поколений, действующих на историческом поприще. Когда человек хочет внезапно оторваться от этой преемственной нити и сочинить нечто совершенно чуждое исторической жизни народа, произведение его обыкновенно является шатким; воля его в этом смысле связана, но она связана тем, что создано волею предшествующих поколений, а не божественною волею, которая нигде непосредственно не выказывается. И самая эта зависимость отнюдь не безусловная: то, что создано человеком, изменяется человеком не внезапно, а опять же постепенно. Новые мнения и потребности порождают и новые учреждения. Поэтому всего менее можно согласиться с де Местром, когда он говорит, что всякий конституционный закон представляет только развитие или освящение искони существующих в народе прав (Ibid. P. 13; ср.: Préface. P. V). Народный дух не связан на веки известными формами, он проходит через различные ступени развития и сообразно с этим изменяет и самую свою жизнь. Воззрение де Местра не что иное, как преувеличение исторического начала. Он понимает историю не как проявление человеческого духа через посредство человеческой воли, а как извне наложенный непременный закон, которого человек является только слепым исполнителем.

Точно так же преувеличено то, что де Местр говорит против писанных конституций. Нет сомнения, что признак глупости — воображать, что «законы не что иное, как бумага, и что можно чернилами устроить народы» (Ibid. XXI. P. 33). Де Местр справедливо смеется над Томасом Пэнном⁷ за то, что последний признавал только те конституции, которые можно носить в кармане. Он указывает на английскую конституцию, в которой большая часть положений не писаны, и метко замечает: «Истинную английскую конституцию

составляет этот общественный дух, удивительный, единственный, непогрешимый, стоящий выше всякой похвалы, этот дух, который всем движет, все сохраняет и все спасает» (Ibid. VII. P. 10). Но он впадает в противоположную крайность, когда он прибавляет: «То, что писано, ничего не значит», или когда он утверждает, что «законная конституция не может быть писанная» (Ibid. XXVIII. P. 44). Справедливо, что обычаи, неизменно сохраняющиеся в народном духе и не нуждающиеся в письме, прочнее писанных законов; справедливо и то, что законы записываются именно вследствие того, что они подвергаются нападкам и колебаниям, ибо во всяком прогрессивном обществе они являются как результаты борьбы разнообразных и противоположных друг другу мнений и интересов. В законах записывается этот результат именно с тем, чтобы он стоял выше всяких частных мнений. Письмо не делает постановление более шатким, а напротив, дает ему прочность. Сам де Местр принужден признать явное исключение установленному им правилу, а именно законодательство Моисея. Он в этом видит признак ее божественного происхождения (Ibid. P. 45-46). Но если божественное законодательство нуждалось в письме и сохранялось неизменным в течение веков, несмотря на то, что оно было писанное, то почему это отрицается относительно человеческого? Все, что можно сказать против последнего, точно так же может быть обращено и против первого.

Таким образом, по мнению де Местра, всякая конституция божественна в своем начале. Сам человек не может сочинить конституцию, так же как он не может сочинить язык. Религия составляет истинное основание всех человеческих учреждений. Не только политический быт, но и просвещение, воспитание, наука — все это покоится на твердом основании только тогда, когда оно зиждется на религии (Ibid. XXX. P. 46-48; XXXI. P. 51; XXXVII. P. 58-59). Без помощи Божьей человек не может не только создать, но и изменить что-либо к лучшему. Отсюда отвращение всех здоровых умов от нововведений. Слово преобразование в себе самом и прежде всякого разбора всегда будет подозрительно для мудрых, и опыт всех веков оправдывает этот инстинкт. Те, которые думают искоренять злоупотребления, не видят, что злоупотребления связаны как необходимая составная часть со всякими учреждениями, так же как диссонанс необходим в музыке. Недостаток есть элемент возможного совершенства. Из самых злоупотреблений рождается лекарство, тогда как мнимые исправления, которые придумывает человек, обыкновенно только увеличивают зло (Ibid. XI-XIV. P. 62-73).

Вся история, по мнению де Местра, подтверждает эти правила. Но суетная мудрость нашего века проповедует нечто совершенно иное. Человек, который не может создать даже насекомого или былинки, вообразил себе, что он — источник верховной власти, важнейшей и священной вещи в нравственном и политическом

мире. Он думает, что, например, известный род царствует волею народа, тогда как все доказывает, что всякий владетельный род царствует только потому, что он избран высшею властью. Точно так же человек вообразил себе, что он может создать народное единство и изобрести или заимствовать у других соседей те или другие учреждения (Ibid. XLVII. P. 75-77). Он отвернулся от Бога и захотел все делать сам. Но Бог наказал это безумие, так же как Он создал свет единым словом. Он сказал: делайте! и весь политический мир рушился (Ibid. LXVI. P. 105-106).

Очевидно, что такой взгляд обрекает человечество на вечную неподвижность. Все, что может придумать человеческий ум или сделать человеческая воля, объявляется посягательством на высшие законы, управляющие вселенною. Человек должен трепетать при всяком изменении установленного порядка. Он должен покорно ожидать, чтобы независимые от его воли события влекли его в ту или другую сторону. Данные ему Богом духовные силы должны оставаться бесплодными. Он превращается в слепое орудие власти, которая, однако, остается от него скрытою. Неподвижность, покорность и мрак — таковы существенные черты того порядка, который проповедует де Местр. Такой порядок приличен только теократии, а никак не светскому государству.

Не мудрено после этого, что де Местр с любовью обращается к средневековому идеалу и ставит церковь верховною решительницею судеб народов. Этот взгляд он развил в сочинении «О Папе» («Du Pape»), вышедшем в 1819 г.

Прежде всего, он доказывает, что папа есть верховный, непогрешимый глава христианского мира. Доказательство приводится не богословское, а чисто рациональное. По мнению де Местра, непогрешимость в духовной области и полновластие в светской — два понятия тождественные. Оба выражают ту верховную власть, от которой проистекают все остальные, которая управляет, а не управляется, судит, а не судится. Во всяком обществе такая абсолютная власть необходима, ибо необходимо управление; она существует в республиках, точно так же как в монархиях. Везде есть последняя инстанция, на которую нет апелляции. Если правительству можно сопротивляться под предлогом ошибки или несправедливости, то правительство исчезает. Поэтому церковь, провозглашая непогрешимость папы, не требует для себя ничего особенного. Составляя единое сообщество, церковь нуждается в едином правительстве; иначе в ней не было бы связи, и она не составляла бы цельного тела. Это правительство должно иметь монархическую форму, ибо иначе нет возможности управлять всемирным союзом. По существу своему, оно должно быть верховное, следовательно, абсолютное. Как же скоро оно признается абсолютным, так оно должно считаться непогрешимым, ибо на практике совершенно все равно — не подлежать ошибке или не подлежать обвинению в ошибке. Таким образом, непогрешим-

мость папы вытекает из самой природы вещей и вовсе не нуждается в богословских доказательствах *.

Таков довод де Местра. Смешение понятий тут очевидно. Прежде всего, церковь приравнивается к государству, между тем как эти два союза вовсе не сходные. Государство связывается общими интересами, которые требуют общего управления, церковь общему верую, которая в общем управлении не нуждается, ибо вера есть дело убеждения и совести. Церковное единство зиждется на единомыслии веры, а отнюдь не на правительстве, которое в разных местах может быть разное. Связь тут внутренняя, духовная, а не внешняя. Поэтому и свойства власти в обоих союзах совершенно различны: государственная власть действует принудительными мерами, церковная — единственно силою убеждения. Верховность первой состоит в том, что никто не вправе ей сопротивляться, но это отнюдь не означает, что действия ее не подлежат критике. Во всех свободных государствах гражданин повинуется закону, но не всегда вправе высказать свое мнение, если он считает закон несправедливым или вредным. В церковном союзе, например, о сопротивлении не может быть и речи, ибо в силу свободы совести повинуется только тот, кто хочет повиноваться. Весь вопрос заключается здесь в том, насколько верующий должен признавать за непреложную истину утвержденное церковного властью положение. Уверение де Местра, что на практике все равно, не подлежат ошибке и не подлежат обвинению в ошибке,— не что иное, как чудовишный софизм. Верховная власть государства ограничивает внешние действия человека, непогрешимость церковной власти связывает его мысль и совесть.

Это смешение теоретической области и практической приводит де Местра к совершенно невероятным положениям. Он признает, как и все, что непогрешимость папы и церкви относится исключительно к догматам, «так что насчет всего, что действительно интересует патриотизм, привязанности, привычки, одним словом, народную гордость, народам нечего бояться непогрешимости, которая прилагается только к предметам высшего разряда». Но именно относительно догматов, говорит де Местр, нет никакого интереса подвергать сомнению непогрешимость папы. Если представляется один из тех вопросов божественной метафизики, которые необходимо подлежат решению верховного судилища, то интерес наш заключается не в том, чтобы он был решен тем или другим способом, а в том, чтобы он был решен без промедления и без апелляции (Ibid. L. I. Ch. XIX. P. 145-146). «Что верующие могут спорить о непогрешимости,— говорит он в другом месте, обращаясь к равнодушным,— это я знаю, ибо вижу; но чтобы государственный человек мог точно так же спорить об этом великом преимуществе, этого я никогда не пойму. Каким образом, если он признает, что

* Maistre J. de. Du Pape. Livre I. Цитирую 18-е изд. 1862 г. <Далее ссылки на это издание даются Б. Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Примеч. ред.>

в стране господствует общественное мнение, не будет он искать способов утвердить это мнение? Каким образом не изберет он самого быстрого средства, чтобы помешать ему бродить наобум?.. Чтобы сберечь две самые драгоценные вещи в мире, время и деньги, поспешите написать в Рим, чтобы получить оттуда законное решение, которое оставит сомнение незаконным: это все что вам нужно; политика не требует большего» (Ibid. Ch. XVII. P. 139).

Итак, прямой интерес и государственных людей, и народов состоит в том, чтобы вопросы богословской метафизики разрешались как-нибудь, лишь бы это делалось поскорее! Об истине, о правах мысли и совести тут нет уже речи, все дело в том, чтобы найти самое лучшее практическое средство подавить беспокойное брожение умов. Сомнение обществу воспрещается; люди должны слепо верить поставленным Богом руководителям. В этой мысли соединяются и церковь, и государство, которые заимствуют друг у друга свои орудия для совокупной цели.

Заметим, что это ограничение непогрешимости одними вопросами богословской метафизики противоречит тому понятию и верховной власти, на котором де Местр хочет основать непогрешимость. В человеческих обществах верховное решение требуется именно для практических вопросов. Никакой государь в мире не присваивает себе права решать без апелляции теоретические споры. Если же в практических вопросах папская власть может быть ограничена, то почему же не в остальных?

Сам де Местр, в противоречии с своею теорией, принужден признать границы папского полновластия; но эти границы оказываются у него мнимыми. Он отвергает всякий авторитет соборов независимо от папы (Ibid. L. II, III). Он утверждает даже, что единства нет и что видимая церковь исчезает, как скоро епископы, собранные без папы, признают себя церковью и присваивают себе иную власть, кроме определения в весьма редких случаях, лица папы (Ibid. L. I. Ch. XIII. P. 100). Тем не менее он не хочет допустить мысли, что папская власть совершенно произвольна. «Из того, что папская власть есть верховная,— говорит он,— не следует, что она стоит выше законов и что она может ими играть». Но чрезвычайные обстоятельства всегда могут оправдать отмены, исключение, уклонение. «Ни один здравомыслящий человек не может оспаривать у какой бы то ни было верховной власти право издавать законы, исполнять их, отменять и делать изъятия, когда это требует обстоятельство вами, а так как ни одна верховная власть не приписывает себе права пользоваться этим преимуществом вне этих обстоятельств, то спрашивается: о чем же спорить?» (Ibid. P. 98-99). Вопрос состоит в том: кто судья этих обстоятельств? Если один папа, то он не связан никакими законами; власть его стоит выше всякого закона, ибо он может располагать ею по усмотрению. А к этому именно приводит теория де Местра. Поэтому когда он отрекается от прямых выводов из собственных

положений, то в этом можно видеть только непоследовательную уступку господствующим убеждениям. «Когда мне поставят вопрос: что удержит папу? — говорит он, — Я отвечу: все, каноны, законы, обычаи народов, верховные власти, великие судилища, представления, переговоры, обязанность, страх, осторожность и, прежде всего, мнение, царица мира. Поэтому пусть не говорят мне, что я хочу, следовало бы, сделать из папы всемирного монарха. Конечно, я не хочу ничего подобного... Все власти в мире ограничивают друг друга взаимным сопротивлением: Бог не хотел установить на земле большего совершенства» (Ibid. XVIII. P. 144). Очевидно, что эта теория ограничений весьма плохо клеится с теорией полновластия. Не только юридические, но и нравственные ограничения, заключающиеся в общественном мнении, исчезают, как скоро власть признается непогрешимой и воспрещается всякое сомнение в ее правоте.

Между тем на теории ограничений де Местр строит свое воззрение на отношение пап к светским государям. Он и тут признает, что верховная власть стоит выше народа. Человек, по самой своей природе, есть существо вместе нравственное и испорченное, правое в своем разуме и извращенное в своей воле; поэтому он необходимо живет в обществе и необходимо подлежит управлению. Следовательно, управляющая им верховная власть столь же мало зависит от его воли, как и самое общество. Необходимо вытекая из природы человека, она состоит немилостью народа, а милостью Божьей (Ibid. L. II. Ch. I. P. 156-157). Но самые преимущества этой власти подают повод к злоупотреблениям. Поэтому возникает вопрос: как ограничить верховную власть, не уничтожая ее? (Ibid. P. 158-159). Ибо когда говорят, что верховная власть неограниченна, то это означает только, что она неограниченна в законных своих проявлениях, то есть в пределах, установленных основными законами государства. Из того, что власть установлена Богом, не следует, что она абсолютна: Бог волен был установить и ограниченную власть. Таким образом, с двух разных точек зрения можно с одинаковой достоверностью сказать, что верховная власть ограничена и что она неограниченна. Она ограничена, ибо не может всего делать; она неограниченна в своем законном круге действия (Ibid. Ch. III. P. 165-166).

Но легко сказать, продолжает де Местр, что власть должна быть ограничена основными законами. Вопрос в том, кто будет устанавливать и исполнять эти законы? Если они составляют уступку правителя, кто помешает другому правителю их отменить? У кого будет сила в руках, тот и будет настоящим владыкою. Азиатские народы разрешали этот вопрос тем, что они отдавали всю власть в одни руки под тем условием, что когда владыка их слишком угнетал, они его убивали. Европейские народы, напротив, старались положить постоянные границы верховной власти, но все попытки подобного рода не дают желания им подражать. Одна Англия вследствие

особенных условий могла установить у себя конституционный порядок; но и ее учреждения не прошли еще через достаточно долгое испытание; многое заставляет сомневаться в их прочности. Во всяком случае, одинокий пример ничего не доказывает. Когда Франция захотела идти тем же путем, она была ввергнута во все ужасы революции. Действительное ограничение верховной власти может быть только там, где есть право сопротивления. Но кому и в каких случаях может быть предоставлено это право? и кто будет судьей этих случаев? Если народ вообще, то это — анархия; если особое судилище, то оно само будет участником верховной власти и скоро уничтожит другую часть. Притом вся история доказывает, что революции всегда производили большее зло, нежели то, которое они хотели исправить. Одним словом, куда бы мы ни обратились, везде мы рискуем попасть в бездну (Ibid. Ch. II. P. 159-163).

Что всякий закон, а потому и повиновение верховной власти подлежит изъятиям, в этом не может быть сомнения. Вопрос в том, кто будет судьей этих изъятий? Если верховная власть истекает от Бога и считается священной, то естественно было ставить ее под охрану религии и в религии же искать лекарство против злоупотреблений этой власти. Так и решали этот вопрос наши предки. В случаях крайности они прибегали к высшей духовной власти на земле. Так как безусловная клятва верности подвергает людей всем ужасам тирании, а сопротивление без сдержки вовлекает их в анархию, то разрешение от клятвы, произнесенное духовною властью, легко могло представиться единственным средством сдержать светскую власть, не уничтожая ее характера. В этой системе исходящая от Бога власть контролируется другою, также божественною, но еще высшею властью, которая облечена этим правом для чрезвычайных случаев (Ibid. Ch. III).

Де Местр не решается, однако, прямо проповедовать эту систему. Если, говорит он, хотя бы положить правилом, что сопротивление не дозволено ни в каких случаях, то я согласен и готов подписать. Но если бы непременно нужно было положить законные границы верховной власти, то всего лучше верить папе интересы человечества. Этот способ один избавляет от революций; тут устанавливается высший судья, который стоит вне борьбы и может решить вопрос беспристрастно. Если этим не устраняются все недостатки, то их так мало, как только возможно при несовершенстве человеческой природы. Сами государи, если бы им предоставлен был выбор, в собственных интересах должны предпочитать этот способ всяким другим ограничениям (Ibid. Ch. IV).

В подтверждение этих взглядов де Местр старается доказать благодетельные следствия папской власти в Средние века. Папы сдерживали государей, защищали народы, укрощали светские распри мудрым своим вмешательством, напоминали царям и народам их обязанности и карали анафемой великие преступления, которых они не могли предупредить (Ibid. Ch. IX. P. 232). По мнению

де Местра, ограниченная монархия Нового времени была делом пап. Истинное ограничение монархической власти состоит в том, что короли отказываются от права самим творить суд, взамен чего народы объявляют их непогрешимыми и неприкосновенными. Кто судить сам, тот и подлежит суду, а потому может быть наказан; таково правило, которое постоянно внушала духовная власть и без которого правление превращается в деспотизм. Поэтому те народы, которые не были подчинены папам, никогда не могли приобрести свободы. Тем же, которые, испытавши на себе эту власть, свергли ее в своем безумии, подлежат другого рода наказанию: у них светская власть из рук монарха переходит к народу; но страшные последствия этого порядка вещей неизбежно приводят к реакции (*Ibid.* L. III. Ch. IV. P. 373-377). В настоящее время папы не освобождают более от присяги, но народы сами себя от нее освобождают; они возмущаются, низвергают князей, возводят их на плаху. Они явно проповедают верховную власть народа и право его самому распоряжаться с правителями. Конституционная горячка охватила все головы, и Бог знает еще к чему она приведет. Умы, лишённые всякого общего центра, бродят наобум самым опасным образом и сходятся в одном: в стремлении к ограничению власти. Что же выиграли только государи от этой перемены? Конечно, лучше подчиняться папе (*Ibid.* L. II. Ch. XI. P. 259-262).

Де Местр идет еще далее. Он утверждает, что папа — естественный глава, могущественный гений-двигатель, великий демиург всемирного просвещения. Человек не может быть предоставлен сам себе; он слишком проникнут злом, чтобы быть свободным. Поэтому правительство одно, без чрезвычайного пособия, не в состоянии им править. Это пособие может быть двоякое: либо рабство, либо религия. До появления христианства большая часть человеческого рода находилась в рабстве, и величайшие мыслители считали это необходимым. Христианство освободило народы, заменивши физическое подчинение нравственною сдержкою. Можно сказать, что человеческий род естественно находится в рабстве и может быть выведен из этого состояния только сверхъестественным путем. Надобно или очистить воли, или заковать их в цепи: середины нет. Поэтому папе предназначено было провозгласить всемирную свободу. Он один мог сделать эту свободу возможною во имя той религии, которая одна способна усмирить человеческие воли (*Ibid.* L. III. Ch. II).

Из всего этого де Местр выводит, что папы были наставниками, опекунами, спасителями и истинными устроителями гениями Европы. Как монархия, несмотря на неизбежные всякому образу правления невыгоды, есть лучшее, самое прочное и самое естественное человеку правительство, так из всех монархий папская власть — самая кроткая, мирная и нравственная (*Ibid.* *Résumé et conclusion.* P. 397, 399). При этом, однако, де Местр считает нужным протестовать против всякого преувеличения: «Пускай

папская власть сдерживается в справедливых границах,— говорит он,— но эти границы не должны вырываться и сдвигаться по прихоти страстей и невежества» (Ibid. P. 399). В чем же, однако, состоят эти границы и кто им судья? Этого самого существенного пункта во всем рассуждении мы от де Местра не узнаем. Несмотря на его протесты и оговорки, все у него клонится к тому, чтобы сделать папу верховным владыкою мира. Но доводы, на которых он основывает этот вывод, сами основаны на очевиднейшем противоречии. Папа объявляется верховным и непогрешимым, потому что таковы свойства всякой не только духовной, но прежде всего светской власти; светская же власть подчиняется папе, потому что всякая власть необходимо подлежит ограничениям. Если мы примем последнее положение, то надобно отвергнуть первое, и тогда непогрешимость папы исчезает; если же мы примем первое, то надобно отвергнуть последнее, и тогда светские государи не должны подчиняться папе. Де Местр ищет в папской власти защиты против светского деспотизма; но, проповедуя тесную связь между светскою властью и духовною (Ibid. Ch. IV. P. 374), он сам ведет к установлению самого страшного деспотизма, к полному порабощению не только внешнего, но и внутреннего человека. Первая гарантия человеческой свободы заключается в отделении церкви от государства, области внутренней, духовной, не подлежащей принуждению, от области внешней, юридической, принудительной. Независимость церковного союза была плодом христианства, и нигде она не утвердилась так прочно, как в католицизме, где папская власть служила ей твердою точкою опоры. В этом отношении католическая церковь и в настоящее время могла бы еще оказать великую услугу человечеству. Но если вместо того, чтобы отстаивать свою независимость, церковь хочет сама владычествовать в светской области, то роль ее совершенно извращается: вместо гарантии свободы тут водворяется полное порабощение. А к этому именно ведет учение де Местра.

Не мудрено, что он выступает защитником испанской инквизиции. Он не только доказывает, что инквизиция в себе самой была благотельным учреждением, которое оказало Испании величайшие услуги, предохранивши ее от всякого рода пагубных нововведений*, но он утверждает вообще, что судилище, установленное для специального надзора за преступлениями против нравов и народной веры, будет для всех времен и мест бесконечно полезным учреждением (Ibid. P. 177). Веротерпимость не что иное, как равнодушие; она несовместна с каким бы то ни было положительным верованием. Истина нетерпима по своей природе, а потому исповедовать терпимость — значит исповедовать сомнение, то есть

* Maistre J. de. Lettres à un gentilhomme russe sur l'Inquisition espagnole. 6-ème Lettre. P. 171-172 (изд. 1862 г.). <Далее ссылки на это издание даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Примет ред.>.

устранить веру. Бог высказал свою волю; человек должен повиноваться. Установленная Богом вера едина, как Он Сам (Ibid. P. 113). Де Местр уверяет, что нет ни единого, не только христианского или католического, но просто образованного народа, который бы не установил уголовных наказаний за важные оскорбления религии. Как бы ни называлось судилище, которое должно карать виноватых, везде они наказываются и должны быть наказаны. В Испании, как и в других странах, оставляют в покое человека, который держит себя смирно. Если же закон, писанный для всех, полагает ссылку, тюрьму или даже смертную казнь против явного и публичного врага какого-либо испанского догмата, никто не должен жалеть о виновном, который заслужил эти наказания, и сам он не имеет права жаловаться, ибо у него было простое средство их избежать: он должен был молчать (Ibid. P. 51, 53). Испанские короли, которые несколькими каплями самой нечистой крови предотвратили пролитие потоков крови самой благородной, следовали отличному расчету и остаются вполне безупречными (Ibid. P. 125).

Нельзя не сказать, что в этих положениях де Местр является вполне последовательным. Нужно было много смелости, чтобы высказывать подобные убеждения в XIX столетии. Но в таком случае не надобно выдавать себя за защитника свободы. Противоречие между этим началом и всею системою де Местра обнаруживается здесь в самой резкой форме. Светская власть должна соединяться с духовною для искоренения свободы в самом заветном ее святилище в мысли и совести человека. Это более, нежели возвращение к средневековому порядку. В Средние века светская область оставалась поприщем для свободной деятельности людей. Мы видели, что средневековые учителя прямо признавали начало народного полновластия и производили княжескую власть от народа. Клерикалы Нового времени уничтожают и это прибежище. Во имя нравственности и религии человек запирается в тюрьму, в которой ему остается только задохнуться. В Средне века папы вступали в союз с демократией против государей, в Новое время они заключают союз с государями против всякого свободного движения общества. Революция, направляя свои удары против тех и других, соединила их силы. В наше время клерикальное направление является главною опорою и главным вдохновителем всех врагов человеческой свободы. Де Местр был первым, самым умным и самым последовательным его глашатаем.

2. Бональд⁸

Одновременно с де Местром выступил на литературное поприще другой представитель клерикального направления — Бональд. Умом и талантом он стоит гораздо ниже де Местра. Вместо резкого догматизма, которым отличается последний, у него является сухое педантическое изложение с значительною претензией

на логическую последовательность, но в сущности с полным отсутствием здравой логики. Бональд был систематиком этой школы; но не имея ни философской подготовки, ни достаточных сведений, он умел только построить здание, лишенное всякого серьезного основания.

Первое сочинение Бональда, в котором он изложил свои взгляды, вышло в 1796 г. под заглавием «Теория политической и религиозной власти в гражданском обществе» («*Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile*»). Так же как де Местр, он утверждал, что человек столь же не властен дать устройство политическому или религиозному обществу, как он не властен дать протяжение материи или тяжесть телам. Но между тем как де Местр видел первоначальный источник законов в естественных свойствах народа, вложенных в него Провидением и развивающихся исторически, Бональд хотел доказать, что законы человеческих обществ вытекают необходимым образом из природы человека вообще, вследствие чего все общества, как религиозные, так и политические, могут иметь только одно естественное устройство, отклонение от которого всегда является извращением общежития. Человек везде один и тот же, а потому всем обществам должно приходиться одно устройство, всем людям одно воспитание, всем государствам одно управление (Préface. P. III—IV, XIV) *. Самое различие между политическими и религиозными обществами Бональд полагает единственно в преобладании одного из двух составных элементов всякого общества: в политических обществах человек рассматривается как существо физическое и разумное, в религиозных — как существо разумное и физическое (Ibid. P. VI-VIII).

Из этого уже ясно, на каких шатких основаниях воздвигается это здание. Можно доказывать, что существует только один идеал человеческого общежития, но утверждать, что необходимое устройство всех человеческих обществ может быть только одно, — значит идти вразрез и с теориею, и с опытом. Разнообразие внешних условий и исторических обстоятельств, различие народностей, ступени развития — все это оставляется в стороне как не имеющее существенного влияния на учреждения. Бональд уверяет, что общественное устройство с такою же необходимостью вытекает из природы человека, как тяжесть из природы тел (Ibid. P. IV). Но тела никогда не уклоняются от законов тяжести, и человек не в силах их изменить, между тем как от так называемых необходимых законов общежития человек уклоняется именно вследствие естественных побуждений, как признает и Бональд. Следовательно, во всяком случае, необходимость тут совершенно другая.

* <Здесь и далее ссылки на книгу Бональда (Bonald L. G. A. *Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile*. Constance, 1796) даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте. — Примет., ред.>

Чтобы доказать свою тему, Бональд восходит к Божеству. «Нельзя рассуждать об обществе, не говоря о человеке, ни говорить о человеке, не восходя к Божеству», — говорит он (Ibid. I. L. I. Ch. 1. P. 1). Бытие Бога он доказывает тем, что оно указывается общим чувством человечества. Человек может думать только о том, что может существовать; он может чувствовать только то, что действительно существует, ибо чувствовать несуществующее — значит ничего не чувствовать. «Люди имеют чувства Божества; следовательно, Бог существует» (Ibid. II. L. I. Ch. 2. P. 10, 22-23). Этим способом, как не трудно заметить, можно доказать и существование многих богов, ибо естественная религия человечества, как признает сам Бональд, было многобожием; нужно было особенное откровение, чтобы внушить человеку понятие о едином Божестве. Но Бональд не стесняется подобным затруднением.

Из существования Бога он выводит его свойства: «Бог ускользает от наших внешних чувств; следовательно, он — разум, и разум бесконечный; следовательно, он знает себя бесконечным знанием; следовательно, он любит себя бесконечною любовью; следовательно, он хочет сохранить себя или быть счастливым бесконечным хотением, следовательно, он может сохранить себя бесконечною силою, или мощью. Следовательно, Бог есть бесконечная воля, любовь и сила или мощь» (Ibid. I. L. I. Ch. 1. P. 2).

В этом выводе мы на каждой строке встречаем слово следовательно, но логической связи мы тут не видим. Из того, что Бог не подлежит внешним чувствам, вовсе не следует, что он разум, и притом разум бесконечный: материальные силы точно так же не подлежат чувствам; мы узнаем их только по явлениям. Затем, из познания вовсе не следует любовь, и еще менее желание сохранить себя или быть счастливым, которое неизвестно каким образом приложимо к Божеству; наконец, из хотения вовсе не следует мощь. Но допустивши эту непоследовательность, мы все-таки не придем к окончательному выводу, именно к тройственности воли, любви и силы. Бональд, неизвестно на каком основании, делает волю тождественною с разумом, между тем как в его доводе воля вытекает из любви, а разум составляет источник любви. Далее мы увидим, что в человеке, по теории Бональда, любовь служит связью между разумною способностью воли и физической способностью силы; но в Божестве нет физической стороны, а потому и любовь должна играть совершенно другую роль. Напрасно искать тут объяснений: вся эта путаница понятий вводится единственно для того, чтобы из основных свойств Божества вывести основные свойства человека.

Эта путаница еще увеличивается при дальнейших выводах. Из бесконечной воли и силы, говорит Бональд, вытекает бесконечное действие, то есть творение, которого цель определяется любовью Божества к себе и состоит в самосохранении или счастье. «Следовательно, любовь к себе, действующая через силу, есть в Боге

творческое или производящее начало существ» (Ibid. L. I. Ch. 1. P. 2-3). Таким образом, воля играет подчиненную роль, ибо предмет ее определяется любовью к себе, и хотя творение составляет ее действие, однако любовь прямо движет силу; стало быть, воля остается не при чем.

Далее, Бональд уверяет, что всеблагое или совершенное существо (свойства, вовсе не выведенные) может творить только добрые и совершенные существа. Однако совершенные существа были бы Богом, а Бог не может творить себя самого; следовательно, они могут только приближаться к божественному совершенству, то есть они будут созданы по образу и подобию Божьему. Таков именно человек (Ibid. P. 3). Оказывается, что в мире нет ничего, кроме людей: ни камней, ни растений, ни животных.

Если человек, продолжает Бональд, подобен Богу, то Бог его любит, потому что он видит, что он дает. Следовательно, Бог хочет его сохранить. Если любовь к себе начало творения, то любовь к подобным ему существам есть в Боге начало сохранения существ (Ibid. P. 4).

Те же свойства повторяются и в человеке. Будучи подобен Богу, человек есть разум, воля, любовь и, наконец, сила, или мощь. «Следовательно, он познает Бога, или производит (?) его в своей мысли; следовательно, он любит его; следовательно, он хочет его сохранить, то есть (?) сохранить его познание; следовательно, он может его сохранить, ибо он — сила и мощь; ибо хотя Бог существует сам по себе, независимо от познания, которое может иметь о нем человек, однако надобно сказать, что Бог производится и сохраняется для человека настолько, насколько человек делает Бога предметом своих мыслей и своей любви» (Ibid.). Таким образом, творение существ превращается в познание, и сохранение существ в сохранение познания. И эта утвердительная подтасовка понятий выдается за логический вывод из того, что человек создан по образу и подобию Божьему! Не говоря уже о том, что сначала свойства Божества выводятся, хотя скрытно, из свойств человека, а затем свойства человека выводятся из свойств Божества.

При этом оказывается, что человек подобен Богу только одною своею стороною, именно разумом. Другую половину его составляет тело, которого у Бога нет, а в этом-то теле и заключается сила и мощь; любовь же составляет связь того и другого (Ibid. P. 4-5). Отсюда, казалось бы, следует заключить, что если из свойства Божества можно сделать какой-нибудь вывод насчет человеческого разума, то нельзя сделать никакого насчет силы и любви, относящихся к области телесной; но Бональд выводит из этого только то, что человек может сохранить познание Бога единственно посредством телесной силы (?), из чего следует необходимость внешнего поклонения. «Любовь к Богу, действуя через посредство силы или действия тел во внешнем поклонении, есть в человеке производящее и сохраняющее начало богопознания» (Ibid. P. 5).

Таковы, по мнению Бональда, необходимые от ношения между Богом и человеком, отношения, вытекающие из самой их природы, следовательно, законы, по определению Монтескье. Если же между Богом и человеком существуют законы, определяющие взаимные отношения воли, любви и силы для взаимного произведения и сохранения, то между Богом и человеком есть общество. В этом состоит естественное религиозное общество или естественная религия. Следовательно, общество есть соединение подобных существ посредством законов, или необходимых отношений, с целью взаимного произведения и сохранения (Ibid. P. 6-7).

Бональд замечает при этом, что человек производится и сохраняется грез волю, любовь и силу Божию. Бог же производится и сохраняется в воле, любви и силе человеческой; то есть в одном случае дело идет о действительном произведении и сохранении, и в другом случае только о познании. Читатель видит, что кроме метафоры, тут нет ничего общего, и на этой метафоре строится вся фантастическая цель мнимых умозаключений!

Из тех же начал Бональд выводит и человеческие общества. Человек, так же как Бог, побуждаемый любовью к себе, хочет и может производить себе подобных. Затем, побуждаемый любовью к этим равным ему существам, он хочет и может их сохранить. Отсюда между людьми необходимые отношения, в силу которых между ними устанавливается общество для взаимного произведения и сохранения. Таково семейство, заключающее в себе и вещи, необходимые для поддержания человеческой жизни, то есть собственность.

Отсюда ясно, что религиозное общество и физическое основаны на одинаковых отношениях, а потому должны иметь одинаковое устройство. Но таковы ли они в действительности, какими они должны быть в идее? Сохранение известного существа означает поддержание его в состоянии, свойственном его природе. Состояние, свойственное Богу, есть совершенство. Таково же состояние, свойственное человеку как разумному существу. Человеку же как физическому существу свойственна свобода. Следовательно, в религиозном обществе для совершенства как Бога в отношении к человеку, так и самого человека требуется сохранение истинного богопознания; в физическом же обществе требуется сохранение свободы. Между тем естественное религиозное общество не сохраняет истинного богопознания, ибо с первым ее появлением развивается многобожие, а семейство не сохраняет свободы, ибо с первых времен истории человечества является уже рабство. Следовательно, оба эти общества соответствуют цели произведения, но не сохранения существ (Ibid. P. 7-12).

Откуда же такое неустройство? Здесь, говорит Бональд, религия и философия расходятся. Факты должны решить между ними. Если любовь к себе есть начало произведения существ, а любовь к другим начало их сохранения, естественные же общества производят,

но не сохраняют соединенные в них существа, значит, у человека есть любовь к себе и нет любви к другим, то есть к Богу и к ближним. Между тем человек должен любить Бога больше всех, ибо Бог всего достойнее любви; он должен любить ближних как самого себя, ибо все люди, будучи подобием Божьим, одинаково достойны любви. Все это — необходимые отношения, следовательно, законы. Следовательно, если человек любит себя, а не других, то он нарушает закон. Стало быть, любовь его извращена, а с этим вместе извращены и его воля и его сила. Если же человек, следуя извращенной любви, нарушает закон, то он виновен; поэтому он должен быть наказан, а если он наказан, то он несчастлив'. Все это опять необходимые отношения, или законы. Но факты говорят нам, что все люди несчастливы, ибо все смертны; следовательно, они все наказаны, следовательно, они все виновны; то есть их воля, любовь и сила необходимо являются извращенными (Ibid. P. 13-15).

Читатель видит, как в этом выводе извращаются все правила логики. Из того, что виновный должен быть наказан, следовательно, несчастлив, вовсе не следует, что всякий несчастный непременно должен быть виновен. Всего менее можно смерть считать признаком вины; надобно доказать, что она не составляет необходимого последствия ограниченности физического существа. Бональд утверждает, что он согласен не только с богословием, которое в себялюбии видит источник всех человеческих несчастий, но и с историею, которая представляет картину взаимного уничтожения людей как последствие извращенной их воли. Между тем он тут же признает, что при стремлении к взаимному уничтожению невозможно не только сохранение, но и самое произведение людей, ибо для произведения себе подобных люди должны соединиться в общество. Отсюда необходимость внешних обществ, религиозных и физических, то есть общественной религии и государства. Это и признает философия. Противоположность частных интересов сделала установление обществ необходимым, а согласие этих самых интересов сделало его возможным, говорит Руссо. Это согласие было ли добровольным или принудительным? Ни то, ни другое, отвечает Бональд; оно было необходимым. Там, где все частные воли и силы и все частные явления любви хотят непременно властвовать, необходимо, чтобы властвовала одна общая воля, любовь и сила, то есть для того, чтобы общество могло образоваться, необходимо, чтобы общая любовь к другим перевешивала частную любовь к себе. Таким образом, государство возникает из соглашения противоположных интересов (Ibid. P. 15-16).

Но если так, то себялюбие не составляет исключительного стремления человека, и воля его вовсе не извращена. Конец отрицает начало, и вся эта цепь ложных умозаключений сама себя опровергает.

Из всего этого Бональд выводит, что государство должно быть устроено по типу семейства, которое составляет основной его эле-

мент. Политическое устройство представляет в монархии расширенное семейство, так же как общественная религия представляет в христианстве расширение естественной религии (Ibid. P. 16-17). Основные начала везде одни и те же: общая воля, общая любовь, общая сила. Общая воля в государстве не может выражаться в частной воле какого-либо лица, ибо частная воля всегда извращена. Она не может выражаться и в совокупности волей, ибо совокупность извращенных волей не в состоянии произвести что-нибудь общее. Общая воля может выражаться только в необходимом стремлении к сохранению, а оно возможно только в силу признания необходимых отношений или законов. Следовательно, внешним выражением общей воли должны служить постоянные и неизменные основные законы. А так как эти законы истекают из самой природы человека, то они вместе с тем служат и выражением природы, а также и волей Божьей, с которыми, таким образом, общая воля совпадает. Средством же для достижения этой цели служит общая любовь, действующая посредством общей силы. Как сочетание духовного элемента и физического, любовь может внешним образом выражаться только в отдельном человеке. Поэтому в государстве должен властвовать монарх, который является воплощением общей любви и связью политического тела. Воля его не может выражать общую волю, ибо воля отдельного человека всегда извращена; сила его точно так же не может выражать общую силу: внешним выражением общей силы является совокупность граждан. Но монарх может быть представителем любви, центром, к которому все стремятся, ибо любовь добра по своей природе и необходимо действует охранительно, когда она умеряется охранительною волею. Поэтому монарх направляет общую силу сообразно с общею волею. Ему не принадлежит ни законодательная, ни исполнительная, ни судебная власть, но ему принадлежит общая охранительная власть в государстве, согласно с основными законами.

Таким образом, сообразно с тремя основными началами в государстве является тройственность верховной власти, служителя (ministre) или орудия и подданных. Первая принадлежит общей воле, природе, или воле Божьей; вторым является монарх, представитель начала любви; в-третьих, наконец, выражается общая сила. Отсюда ясен и тот порядок, в котором они следуют друг за другом, порядок, истекающий из основной политической аксиомы: «Там, где все люди хотят непременно властвовать с равными волями и неравными силами, необходимо, чтобы властвовал один, или чтобы все друг друга уничтожали» (Ibid. L. I. Ch. 2).

Едва ли нужно доказывать, что хотя в этих выводах высказывается большая претензия на логическую строгость, однако, в сущности, в них нет ничего, кроме совершенно произвольных фантазий. Прежде всего, в явное противоречие со всем, что мы знаем и видим, утверждается, что все общества должны управляться неподвижными и неизменными законами, как будто общества

находятся всегда в одном состоянии и в одних обстоятельствах. Установление этих законов приписывается общей воле, которая, однако, не может быть представлена ни волею отдельного лица, ни волею совокупности лиц. Общая воля, говорит Бональд, тождественна с природою человека и с волею Божиею; но ни та, ни другая не издает положительных законов. Кому же принадлежит это право, или кому приписывается верховная власть в государстве? На этот вопрос нет ответа. Монарх с своей стороны не может быть представителем общей воли, потому что воля отдельного лица всегда является извращенною; но каким же образом может он после этого быть представителем начала любви? По теории Бональда, воля человека извращена именно вследствие извращения начала любви. И если один человек может быть представителем последнего, то почему же не несколько? Наконец, к довершению всей этой бессмыслицы, представитель начала любви, который по теории должен быть министром или орудием, на деле оказывается единственным носителем власти, так как законодателя нет налицо. Бональд прямо говорит, что власть в государствах, так же как и в отдельном человеке, есть любовь, действующая через силу. Такая же подтасовка понятий совершается и с аксиомою, на которой должно держаться все политическое устройство. Доказано было, что необходимо преобладание общей воли, или любви над частными стремлениями, для того чтобы общество могло образоваться — положение само собою очевидное. Но вместо него подставляется совершенно другое: там, где все хотят властвовать, необходимо, чтобы властвовал один, или чтобы все друг друга уничтожали. А это положение ни на чем не основано и идет вразрез с очевидными фактами. Ибо для того, чтобы составилось общество, необходимо, чтобы в самих его членах общее стремление преобладало над частными: если этого нет, то они никогда не подчинятся одному лицу; если же это есть, то возможно и владычество нескольких или даже всех. Существование республик доказывает неопровержимым образом, что и без единовластия люди не уничтожают друг друга. Стало быть, так называемая политическая аксиома Бональда не что иное, как совершенно произвольное положение, добытое посредством смешения понятий.

Между тем на этой мнимой аксиоме Бональд строит все различие между обществами устроенными и неустроенными. Устроенными он называет те, которые управляются необходимыми законами, вытекающими из природы вещей. В основании их лежит упомянутая аксиома. Из нее вытекают все политические законы, а из политических законов все законы гражданские, как геометрические теоремы из основного положения. Все они составляют необходимое, а потому постоянное выражение общей воли. В неустроенных обществах, напротив, владычествует не общая воля, а частная воля человека. Поэтому здесь законы произвольны и изменчивы; здесь является человеческое законодательство.

Из этого ясно, что истинное общественное устройство может быть только одно; отклонений же может быть бесчисленное множество. Вместо единого монарха, управляющего на основании постоянных законов, здесь может быть бесконечное разнообразие частных волей, начиная от частной воли единого лица, что составляет образ правления, именуемый деспотизмом, до владычества воли всех или демократии. Между ними лежит аристократия с множеством оттенков. Чем менее общество устроено, тем более оно удаляется от истинного прототипа, то есть от монархии. Но так как всякое неустроенное общество является нарушением естественного закона, то оно находится в постоянной борьбе с собственной своею природою. А так как природа действует постоянно, то она, наконец, берет свое: внутренняя борьба указывает на необходимость перемен, и неустроенное общество неизбежно стремится к устроению (Ibid. Ch. 3).

Этим, однако, не исчерпывается существо человеческого общежития. Политическое общество составляет только одну его сторону; но оно тесно связано с другою стороною — с обществом религиозным. Человек, говорит Бональд, входит в политическое общество всецело; следовательно, он вносит в него не только свои физические, но также и свои умственные потребности и свои отношения к Богу. Но здесь эти отношения принимают иной характер. Человек становится членом единого тела, а потому и отношения Бога к человеку превращаются в отношения Бога к целому человеческому обществу: естественная религия становится общественною. Отсюда связь политического общества и религиозного: оба вместе образуют общество гражданское. Так как природа их одинакова, то и устройство их должно быть тождественное. И в религиозном обществе должна быть общая воля, выражающаяся в постоянных законах, единая власть, принадлежащая Богу, и общая сила, которой орудием является священство. Оба союза, политический и религиозный, должны действовать согласно: первый укрощая воли посредством укрощения внешних действий, второй укрощая внешние действия посредством укрощения воли. И если эта связь ослабевает, там оба союза лишаются существенной опоры, и общество неудержимо стремится к разложению (Ibid. Ch. 4, 5). Те, которые хотят отделить политическое общество от религиозного, говорит Бональд, хотят заменить единение душ сближением тел; но этим уничтожается всякая связь между людьми; ибо единение существует только между душами; тела же разобщают лица. Такое общество лишается средств сохранения; ему оставляются только орудия разрушения (Ibid. II. L. I. Ch. 6). Когда трактуют о гражданском обществе, которое есть соединение политического общества и религиозного, необходимо, если не хотят заблудиться, исследовать политическое общество с точки зрения религии, а религиозное с точки зрения политической, то есть быть богословом в политике и политиком в религии (Ibid. I. L. IV. Ch. 5. P. 323). Отсюда Бональд

выводит необходимость вмешательства религии во все общественные действия, необходимость религиозного воспитания граждан, наконец, независимость религии и ее служителей от всех частных волей (Ibid. Ch. VIII. P. 95).

Нетрудно видеть, что в этих выводах начало не вяжется с концом. Необходимость общественной религии выводится из того, что человек вступает в политическое общество всецело; он перестает быть отдельным лицом и становится исключительно членом государства. Вследствие этого отношения человека к Богу устанавливаются через посредство государства — положение радикально ложное и ничем не оправданное. Затем оказывается, однако, что политическое общество вовсе не обнимает собою всецелого человека, но касается одной только его стороны, именно физической. Предоставленное себе, без помощи религии, объединяющей души, оно разобщает людей и доставляет им орудие для взаимного уничтожения — положение, противоположное первому, но столь же ложное и столь же мало оправданное. Во всяком случае, если мы примем последнее, мы должны будем признать, что между политическим обществом и религиозным существует глубокое различие. Но Бональд уверяет, что природа их одна, а потому и устройство должно быть одинаковое: оба имеют в виду сохранение. Правда, одно сохраняет физическое лицо, а другое — богопознание, для чего требуются совершенно различные средства; но на этом Бональд не останавливается: слово сохранение кажется ему вполне достаточным для признания основного тождества обоих союзов. Вследствие этого он подводит их устройство под одну схему, причем, однако, опять оказывается глубокое различие: в государстве властвует монарх как орудие или служитель закона, в церкви — Бог, которого нельзя признать орудием или служителем. На этот раз понятие об орудии переносится на другую категорию лиц, на служителей силы в религиозном обществе, то есть на духовенство, и это понятие, в противоречии с предыдущим, переносится и на политическое общество. Между тем как выше представителем силы признавалась совокупность подданных (Ibid. L. I. Ch. 2. P. 26-27, 28), здесь доказывается, что орудия силы должны быть отлигены от тех, на кого они действуют, а так как государство управляется постоянными законами, то это отличие должно быть постоянным. Отсюда необходимость наследственного дворянства, которое в означенной троичности становится на место подданных (Ibid. Ch. 4. P. 50-52; Ch. 6. P. 70-79). Наименьшее, что можно требовать от писателя, у которого логика заменяется пустым схематизмом, это то, чтобы он оставался верен принятой им схеме; но здесь мы и этого не находим.

Бональд не думает, однако, низводить дворянство на степень простого орудия монархической власти. Так же как духовенство, оно должно быть независимо от частной воли монарха. Постоянный закон должен определять количество общественных служителей

и дать им бессменное положение. Иначе вместо законного правления является притеснение. Цель общества состоит в охранении лиц и имущества; поэтому частная воля монарха должна быть ограничена в своих проявлениях. Он не вправе ни располагать людьми, ни взимать подати по своему произволу. Отсюда, далее, необходимость независимых судилищ для охранения законов. Министры, или орудия власти, должны быть ответственны за свои действия перед этими судилищами. Вообще особенный характер монархии состоит в том, что все действия должны быть зависимы от законов и независимы от лиц, то есть зависимы от общей воли и независимы от частных. Сам монарх подчинен основным законам, исключая уголовные, ибо как представитель общей воли, он не может подлежать суду лиц, представляющих частные воли. Ответственность его заменяется ответственностью министров (*Ibid.* Ch. 7. P. 88-94; Ch. 8. P. 95-99).

Эти учреждения, необходимым образом вытекающие из природы вещей, Бональд видит у двух народов: у древних египтян и у германцев. Как это ни может казаться невероятным, но Бональд уверяет, что германцы имели египетские законы, приспособленные к нравам и потребностям юного племени (*Ibid.* L. III. Ch. 1. P. 169; Ch. 3. P. 173). У египтян эти учреждения исказились вследствие ложной религии; у новых народов, напротив, они получили дальнейшее развитие вследствие принятия христианства. Во Франции они достигают высшей степени совершенства. Здесь были и общественная религия, и наследственная монархия, и постоянные наследственные отличия не только в лицах, но и в вещах. Духовенство, дворянство, города с своими цехами, великие государственные должности, верховные судилища — все здесь было в политическом отношении независимо от монарха; всякая должность была собственностью. Как непроходимая грань, поставленная природою между силою и слабостью, собственность составляла около монарха ограду, которую он не мог преступить (*Ibid.* L. IV. Ch. 1. P. 269-270). Наконец, ко всему этому присоединились Генеральные штаты, которые избирали королей в случае пресечения династии и давали согласие на подати в случае недостаточности обыкновенных государственных доходов (*Ibid.* L. III. Ch. 5. P. 226).

Революция все это разрушила. С ослаблением веры явилось посягательство на власть; все основы политического и религиозного здания были уничтожены, и общество неудержимо устремилось к разложению. Но так как естественные законы берут свое, то общественная власть снова восстановилась, но власть злодеев и палачей, которые водворили самый страшный деспотизм, когда-либо существовавший на земле (*Ibid.* L. IV. Ch. 2). Ибо демократия и деспотизм, в сущности, одно и то же правление, не только потому, что в обоих власть не имеет определенных границ и все в них шатко и изменчиво: коренное их тождество выказывается главным образом в том, что составляет характеристический их признак — в страсти

к уничтожению всяких наследственных преимуществ, в уравнивании всех. Вследствие этого деспотизм толпы обыкновенно приходит к деспотизму одного лица (Ibid. L. V. Ch. 4. P. 373-375).

В противоположность монархии, республика составляет тип неустроенных обществ. В монархии все имеет общественный характер: религия, власть, отличия. В народном правлении, напротив, все индивидуально: каждый имеет свою религию, свою власть; каждый хочет отличиться собственною силою или талантом. В монархии власть, будучи общественною, ограничивается общественными учреждениями; в республике власть, будучи личною, ограничивается личною волею человека. Монархия рассматривает человека как члена общества; республика рассматривает его в естественном состоянии, вне вещества. А так как человек создан для общества и общество для него, то монархия приходится человеку и обществу, республика же не приходится ни тому, ни другому (Ibid. L. V. Ch. 4. P. 378). Отсюда и различные начала, на которых основаны устроенные и неустроенные общества: общая воля, действующая через любовь, есть начало монархических или устроенных обществ, ибо любовь есть начало сохранения существ; напротив, частная воля человека, воля необходимо искаженная и разрушительная, действующая посредством страха, есть начало неустроенных обществ. Поэтому только в первых может быть свобода; последние же необходимо ведут к общественному, политическому или религиозному рабству (Ibid. L. VI. Ch. 1. P. 403).

Заметим, что если в республиках все исходит от лица, а в монархиях лицо рассматривается только как член общества, то в первых должна господствовать свобода, а в последних подчинение. С другой стороны, те ограничения, которые, по теории Бональда, полагаются монархической власти, заключаются вовсе не в общественной воле, а в частных привилегиях лиц или сословий, ибо все должности, по его признанию, составляют собственность облеченных ими лиц. Вся политическая система Бональда представляет сколок с средневековых учреждений, где именно господствовало частное право, а не общественное начало. И если он устроенную на его лад монархию выдает за чистое выражение общественной воли, то в этом опять-таки можно видеть только полную путаницу понятий.

Таким образом, Бональд, подобно другим писателям этой школы, видит в средневековых учреждениях высший идеал общественного устройства. Так же как против демократических учений, он восстает и против теории разделения властей. На этот раз он учению Монтескье противопоставляет учение Руссо. Общественная воля одна; следовательно, может быть только одна власть. Различные отрасли этой власти не что иное, как различные ее отправления. Из этих отраслей судебная власть не есть собственно власть, ибо, по собственному признанию Монтескье, она должна быть почти ничтожна. Исполнительная власть, опять же по признанию Мон-

тескье, всецело вверяется монарху. Остается законодательство, относительно которого может быть разногласие. Но если принять определение Монтескье, что законы суть необходимые отношения, истекающие из природы вещей, то законодателем в государстве должно быть не какое-либо лицо или собрание, а сама природа вещей. Это именно имеет место в устроенных обществах. Природа, с одной стороны, устанавливает обычаи, которые становятся законами, с другой стороны, когда есть какой-либо недостаток, она посредством внутренних неурядиц указывает на необходимость исправления. Власть же, или монарх, записывает только эти указания; он является как бы секретарем общей воли или природы. И никто, кроме него, не может играть этой роли, ибо иначе было бы две власти, следовательно, два общества. Возможность же злоупотреблений устраняется сопротивлением корпораций, которым вверено охранение законов. Таким образом, в устроенных обществах сама природа является законодателем; в неустроенных же требуется особая законодательная власть, и это служит явным признаком того, что законы считаются произведениями человеческого произвола, а не выражением необходимых отношений, вытекающих из природы вещей (*Ibid.* L. VI. Ch. 3).

Излишне объяснять читателю, что вся эта теория — чисто фантастическая. Если природа вещей посредством внутренних неурядиц указывает на необходимость исправления законов, а в прогрессивных обществах эта необходимость является постоянно, то человеческому уму принадлежит уразумение этих указаний, а человеческой воле установление правил, которым все обязаны следовать. Природа сама не устанавливает положительных законов, она действует не иначе как через посредство ума и воли лиц. Тут недостаточно быть секретарем; надобно составить себе мнение и сделать это мнение обязательным для всех. А в этом и состоит назначение законодательной власти. Различия между устроенными и неустроенными обществами в этом отношении нет никакого. Общество, которое повинуетя единственно указаниям природы, есть общество фантастическое, а не действительное, и к нему только применима теория Бональда.

Отвергнув представительные собрания в качестве участников законодательной власти, Бональд признает, однако, их необходимость для согласия на подати. У членов общества нельзя произвольно отбирать их имущество на общественные потребности; это было бы деспотизмом. Истинные начала в устроенном обществе состоят в том, что власть испрашивает, а общество собственников дает или соглашается; власть распределяет, взимает, расходует и отдает отчет; общество одобряет, распределяет, надзирает за сбором и получает отчет. При этом, однако, следует отличать расходы постоянные и временные. Первые покрываются постоянными податями; раз данное обществом согласие не возобновляется. Для вторых же требуется всякий раз согласие чинов. Однако народные представители

не имеют права отказать в податях, которые испрашиваются правительством, ибо последнее лучше их знает общественные потребности. Права собственников обеспечены тем, что власть, предъявляя свои требования, раскрывает им свои нужды и затем представляет им отчет в своих действиях. Если же правительство злоупотребляет своим правом, употребляет данные ему деньги на другие цели, или не дает отчета, или растрчивает общественное достояние, тогда, говорит Бональд, общество перестает быть устроенным и наступает или банкротство, или революция (Ibid. L. VI. Ch. 5).

Таким образом, самое согласие на подати в теории Бональда становится фиктивным. Главная цель представительных учреждений состоит именно в предупреждении тех пагубных последствий, к которым ведут злоупотребления; но строя свою систему для фантастического общества, Бональд, конечно, всего менее думает о гарантиях. В результате выходит чисто монархическое правление, ограниченное законами, истекающими из природы вещей, и независимыми телами, черпающими свою силу из тех же законов.

Изображая этот идеал, Бональд считает, однако, нужным устранить возражение, почерпнутое из английской конституции. На нее ссылаются приверженцы отвергнутого им смешанного правления. Бональд думает опровергнуть эту ссылку тем, что Англия, по его мнению, находится в совершенно исключительном положении. Здесь соединяются два общества: одно политическое с чисто монархическим устройством, другое торговое с республиканским устройством. Отсюда две разные власти, воздерживающие друг друга и находящиеся в постоянной борьбе. Но власть торгового общества играет деятельную роль, а власть политическая страдательную. В противность своей природе, здесь монарх не может охранять общество; он только мешает разрушению, из чего ясно, что парламент имеет разрушительную силу. А так как страдательное сопротивление может только временно приостановить деятельную силу, а не уничтожить ее совершенно, то рано или поздно разрушительное стремление должно взять верх над охранительным. Английская конституция обречена на гибель (Ibid. L. VI. Ch. 6).

Не нужно доказывать, что все это — чисто фантастические объяснения. Понимания английской конституции тут нет и тени.

После всего сказанного было бы излишне распространяться подробно о теории религиозной власти, которая у Бональда следует за теориею политической власти. И тут Бональд признает, что может быть только одно необходимое общественное устройство, тогда как отклонений может быть бесчисленное множество. Это необходимое устройство мы находим в христианстве. Оно составляет высшее выражение единобожия, которого зачатки лежат в первобытной естественной религии, а дальнейшая ступень в иудействе. В христианстве это начало утверждается на необхо-

димом отношении посредника между Богом и человеком (Ibid. II. L. IV. Ch. 6 и др.). Основания общества, как уже было сказано выше, те же, что и в государстве. И тут является общая воля, или воля Божия, выражающаяся в постоянных законах, единая власть, принадлежащая Богочеловеку, наконец, сила в духовенстве, состоящем под общим руководством, а потому устроенном иерархически, с папою во главе. Отсюда, по-видимому, следует, что духовенство играет только роль орудия; но так как направляющая власть, принадлежащая Богочеловеку, не проявляется непосредственно, то Бональд не совсем последовательно приписывает собраниям духовенства решения, необходимые для сохранения церкви, и выводит отсюда непогрешимость соборов. Он употребляет и тот довод, на который опирался де Местр, именно, что власть, никому не подсудная, должна быть признана непогрешимой (Ibid. L. IV. Ch. 5. P. 194-200; ср.: L. VI. Ch. 3. P. 341-352). Но в отличие от де Местра, он приписывает непогрешимость только совокупности церкви, представляемой соборами, а никак не папе. Таково, говорит он, истинное учение галликанской церкви. Он утверждает даже, что во Франции церковное устройство лучше, нежели где бы то ни было, ибо здесь папа связан постоянными законами, а потому не может ставить свою частную волю на место общей воли церкви (Ibid. L.V. Ch. 5. P. 290-291).

Что касается до протестантизма, то он представляет вторжение человеческого произвола в религиозное общество. Протестантские церкви соответствуют республике в политической области; поэтому и результаты их те же. А так как эти две области тесно связаны между собою, то каждая форма политического общества стремится создать соответствующую ей форму религиозного общества, и наоборот, отсюда совместное развитие революционных начал и неверия (Ibid. L. V. Ch. 6; L. VI. Ch. 1, 2).

Во всех этих мыслях Бональда, очевидно, выражается стремление заменить произвол законным порядком. У него власть не становится превыше всего, как у де Местра. Власть должна быть сдержана постоянными законами. Но вопрос заключается именно в том, как это устроить? Законы не устанавливаются сами собою. Коренное положение Бональда, что законы должны устанавливаться самою природою вещей, не что иное, как мечта, которая делает всю его систему совершенно неприложимою к человеческим обществам. Установление законов все-таки окончательно зависит от человеческого произвола, и если мы хотим уничтожить произвол власти, то остается только прибегнуть к свободе. Но именно этого Бональд и не хочет признать. Для него самая свобода заключается в подчинении власти. Свобода, говорит он, состоит в возможности, или власти, исполнять свою волю. Но человек как член общества не может и не должен иметь иной воли, кроме воли общественной; последняя должна уничтожить все частные влечения человека. Общество же исполняет свою волю посредством

власти, действующей по необходимым законам, ввиду сохранения общества и всех его членов. Следовательно, и человек как член общества исполняет истинную свою волю только через общественную власть. Поэтому он свободен только в монархии и в христианской церкви; в неустроенных же обществах он не свободен, ибо он проявляет свою частную, разрушительную волю в отношениях, противных природе существ. Свобода каждого существа состоит в достижении своего назначения; свобода же уничтожать себя — не есть свобода (Ibid. L. VI. Ch. 6. P. 379-385, 391-393). Ясно, что тут о личном праве, о самоопределении человека нет речи. Личное начало вполне поглощается общественным, представителем которого является власть, и хотя требуется, чтобы власть действовала по необходимым законам, но так как сила этих законов, в свою очередь, зависит от власти, то все это систематически устроенное здание остается висящим в воздухе.

Третью часть своего сочинения Бональд посвящает воспитанию и администрации; но все это не имеет значения.

Более обширную задачу Бональд положил себе в другом сочинении, вышедшем в 1802 г. под заглавием «Первоначальное законодательство, рассмотренное при одном свете разума» («*Législation primitive, considérée par les seules lumières de la raison*»). Здесь он хотел возвести устройство человеческих обществ к высшим законам разума. Три категории исчерпывают, по его мнению, всю совокупность явлений: пригина, средств и действий. На них основывают и все системы как философии, так и общежития. У евреев как мирозерцание, так и законодательство берут свое начало от Бога, верховной причины всего сущего. Язычники, напротив, остановились исключительно на следствии: человеческий разум является у них творцом философии, человеческая воля — источником законов. Наконец, христианство соединяет оба воззрения в понятие о посреднике между Богом и человеком. Здесь более свободы, нежели у евреев, и воля человеческая более устроена, нежели у язычников*. Оба начала были, однако же, искажены новою философиею, которая возобновила заблуждения язычников. Отсюда успехи неверия и революции. Чтобы противодействовать им, необходимо возвыситься к первоначальным законам, на которых зиждутся все человеческие общества, к законам нравственным, источник которых лежит в религии и которые в чистоте своей содержатся в собственном откровении (Ibid. P. 9-11, 41-43, 90-93, 99-101).

Чтобы достигнуть этой цели, надобно начать с рассмотрения основных свойств человеческого ума. Человек познает

* Bonald L. G.A. *Législation primitive, considérée par les seules lumières de la raison. Discours préliminaire.* P. 5-9, 39-41 (Oeuvres de M. de Bonald. Paris, 1847). <Далее ссылки на это издание даются Б. Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Пример. ред.>

вещи через посредство мыслей, собственные же свои мысли он познает через посредство их выражения. Это выражение может быть двоякое: телодвижениями, которые укрепляются рассудком, выражается образ, производимый воображением; словом и письмом выражается понятие, созданное умом. Образы и слова — не только знаки, но и настоящие выражения мыслей, без которых последние не существуют. Человек думает не иначе как словами; следовательно, для того, чтобы думать, он должен уже владеть словом, из чего, в свою очередь, следует, что слово, предшествуя мысли, не может быть человеческим изображением. Оно могло быть только плодом первоначального откровения (Ibid. L. I. Ch. 1).

Таков довод, на котором Бональд строит всю свою систему. Мы находим здесь ту же претензию на строгую логику при отсутствии всякого смысла. Бональд не понимает ничего, кроме умышленного изображения и внешнего усвоения. Восставая против понятий XVIII века, он впадает в еще худшую ошибку, ибо в его теории выражение предшествует тому, что выражается, как нечто совершенно внешнее и чуждое. Проводя эту мысль, надобно признать и телодвижения плодом первоначального откровения.

Бональд доказывает ту же мысль еще и другим способом. Разум (*la raison*), говорит он, есть познание истины; это — ум, освященный истиною. Следовательно, он может быть только плодом, а не орудием познания, а потому человек не познает истины собственным разумом, а получает ее путем откровения (Ibid. Ch. 3). И тут все доказательство основано на подтасовке понятий. Слово разум принимается в совершенно произвольном смысле, и на этом основании отвергается всякое иное его значение. Допустивши определение Бональда, можно сказать только, что истина познается не разумом (*la raison*), а умом (*G'esprit*), а никак нельзя вывести, что она получается откровением.

Между тем Бональд выводит отсюда, что человек, получивши слово от Бога, имеет первоначально вложенное в него понятие о Боге. Но это понятие, само по себе недостаточное, было впоследствии еще более искажено. Человек знал только два крайних термина системы существ, причину и действия, но он не знал еще посредника. А это познание необходимо для полноты понимания. Тройственность причины, средства и следствия составляют отношение или пропорцию, на которой зиждется весь порядок вселенной. В физическом мире охраняющая причина есть первый двигатель, средство — движение, следствие вещи; в человеке причина есть воля, средство — органы, действие — предмет или цель; наконец, в обществе та же тройственность повторяется в виде власти, служителя и подданного. Христианство, возвещая миру пришествие Богочеловека, возвело таким образом первоначально вложенную в человека религию на высшую степень совершенства (Ibid. Ch. 4-8).

В приложении к различным обществам, продолжает Бональд, этот мировой закон выражается в следующей формуле: причина относится к средству, как средство относится к действию. Так, в религиозном обществе Богочеловек относится к служителям церкви, как последние к верующим; в семействе муж относится к жене так же, как жена к детям; наконец, в политическом обществе князь относится к служителям, как последние к подданным. Везде посредствующее звено служит связью между силою и слабостью, ибо на этом отношении зиждется всякое общество. Общий источник всех этих властей есть Бог, который послал Богочеловека для устройства церкви, посылает князя для устройства государства и отца для устройства семейства. Поэтому верховная власть находится в Боге, всякая же власть, непосредственно подчиненная Богу, идет от Бога, вследствие чего подданные безусловно обязаны ей повиноваться. Однако эти власти в некотором отношении подчиняются друг другу. Более широкие включают в себе более тесные. Так, власть Бога выше власти Богочеловека, последняя выше власти царской, царская же власть выше семейной. Сравнивая эти общества, говорит Бональд, можно сказать, что религия есть власть, а государство и семейство — ее служители для сохранения человечества (Ibid. Ch. 9). Образованное общество представляет собою религию, заставляющую государство служить совершенству и счастью человеческого рода. Поэтому совершеннейшее государство то, в котором устройство наиболее религиозно и управление наиболее нравственно. Религия должна устроить государство, а не государство религию; однако для того, чтобы оно умеряло ее служителей, которых страсти могли бы исказить религию и тем подорвать основы государства. Если государство должно повиноваться религии, то служители религии должны повиноваться государству во всем, что оно предписывает согласно с законами религии. Таким образом религия защищает власть государства, а государство защищает власть религии (Ibid. L. II. Ch. 19).

Очевидно, что только галликанские убеждения Бональда побудили его сделать эту оговорку, которая противоречит всему предыдущему изложению. Последовательно проводя основную мысль, надобно было сказать, что государственная власть подчиняется церковной, так же как семейная подчиняется государственной и даже в большей степени, ибо семейство не составляет орудия государства, как государство составляет орудие религии. Но Бональд не решился идти до этих пределов. Он ограничился требованием тесной связи церкви с государством при господстве религиозного закона. Все светское законодательство, по его мнению, должно быть приложением и развитием десяти заповедей, заключающих в себе основания всего общественного быта (Ibid. Ch. 1), хотя в сущности десять заповедей не имеют ничего общего с выведенною Бональдом формулою. Бональд уверяет даже, что все коренные законы политического союза не что иное, как

развитие предписания «чти отца твоего и мать», ибо слова отец и мать означают всякую власть, и цель всякой конституции состоит в том, чтобы заставить чтить власть в ней самой и в ее орудиях (Ibid. Ch. 5). Какое тут господствует смешение понятий, ясно для всякого читателя.

Из этих же начал Бональд выводит, что общественная власть, так же как и семейная, должна быть подчинена одному Богу и независима от людей, а для этого она должна быть едина и постоянна; она должна представляться лицом мужского пола и быть собственником своих прав, ибо без этих свойств нет истинной независимости. Князь издаёт закон, а служители его исполняют. Подданные же составляют цель, для которых все совершается, но они обречены на страдательное повиновение (Ibid. Ch. 10).

Если мы сравним эти выводы с тем, что мы нашли в предыдущем сочинении, мы увидим, что здесь нравственно-религиозные начала, положенные в основание истины, развиваются с еще большею односторонностью. О свободе, о границах власти тут нет уже речи; нет и политических взглядов, почерпнутых из исторической, хотя отжившей действительности. Все ограничивается сухим схематизмом, ложным в своих основаниях и неприложимым в явлениях. Ибо едва ли нужно объяснять, что категории причины, средства и действия совершенно искусственным образом приложены к общественному устройству. Власть — не причина, а подданный — не действие. Бональд в первой видит деятельный элемент общества, а в последних — страдательный, между тем как в действительности между ними существует взаимодействие. Без самодеятельности граждан сила власти лишается главной своей опоры. Одностороннее направление заставляло Бональда более и более вдаваться в крайность; но у него не доставало ни ума, ни знаний, чтобы построить сколько-нибудь основательную систему на принятых им началах. Вышла совершенно ребяческая теория, лишенная всякого значения в науке. Французская клерикальная школа не может похвалиться своим систематиком.

3. Балланш⁹

Более либерального направления, нежели предыдущие писатели, держится Балланш. Он хочет сочетать старое с новым. Чувством он принадлежит прошедшему, разумом будущему. «Вследствие этого,— говорит он о себе самом,— поверхностные читатели увидят в нем некоторое противоречие. Но размышляющие читатели поймут его лучше и признают его тем более способным произвести примирение между партиями. К тому же довольно естественно, что на границе двух эр, одной начинающейся, другой кончающейся, находятся люди, которые, как баснословный Янус, имеют два лица: одно, чтобы видеть то, что было, и извлечь отсюда окончательные поучения, другое, чтобы увеличивать то, что придвигается, и предвидеть

будущие результаты» *. К сожалению, у Балланша не доставало умственных средств для исполнения этой задачи. Сердечная теплота и чистота побуждений не могут заменить ни знаний, ни таланта. Из этой попытки вышла только неопределенная картина, где все ограничивается некоторыми общими, более или менее верными, но весьма разжиженными мыслями.

Первое и главное сочинение, в котором Балланш изложил свои взгляды, появилось в 1818 г. под заглавием «Опыт об общественных учреждениях в их отношении к новым идеям» («*Essai sur les institutions Sociales, dans leur rapport avec les idées nouvelles*»). В основание полагается понятие о прогрессе. Человечество не стоит на одном месте. Оно постоянно подвигается вперед по законам, независящим от его воли. Отдельные лица рождаются и умирают; общества обновляются, и когда одно сходит с исторического поприща, другое заступает его место. Таким образом, человечество составляет одно целое, и движение его образует одну непрерывную нить, в которой настоящее всегда определяется прошедшим. Отсюда нечто роковое в его судьбах. Сменяющие друг друга поколения не начинаются и не кончаются в пустыне; каждое примыкает к тому, что совершено его предшественниками и продолжает их дела. В истории нет отрывочных событий; ничто не существует само по себе, а все только в зависимости от целого. Самобытная индивидуальность не существует для человека на земле. Самые исторические деятели, которые, по-видимому, управляют судьбами народов, в сущности, только предугадывают то, что лежит в порядке вещей. Человек не имеет творческой способности; в своих деяниях он является органом Провидения (Ibid. Ch. 2. P. 36-43).

В этом движении каждый народ имеет свое назначение, которого предчувствие вложено в него Богом. Некоторые же из них возвышаются над другими, представляя как бы тень, в истории которых содержится история других народов. Таковы были в древности евреи, греки, римляне; таков в Новое время народ французский, которого язык имеет характер универсальности, который всегда шел вперед европейского просвещения и всегда был и будет главою новых европейских народов. Одну минуту казалось, что Англии вверено хранение консервативных идей; но это было только временное назначение, пока во Франции господствовала анархия и престол был похищен временщиком. Англия не в состоянии исполнить эту задачу; у нее нет потребного для того орудия — всемирного языка. С восстановлением Бурбонов Франция снова заняла прежнее свое место в ряду народов и может исполнять свое назначение (Ibid. P. 48 f). Прерванная нить предания снова восстановлена; возвратилась династия, имеющая глубочайшие корни в народной

* Ballanche P. S. *Essai sur les institutions Sociales, dans leur rapport avec les idées nouvelles*. Ch. I. P. 11-12. <Далее ссылки на это издание даются Б. Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Примет. ред.>

жизни. Король дал Хартию¹⁰, а не получил ее; но вместе с тем он стал во главе своего века, ибо он внес в нее все, что требуется духом времени (Ibid. Ch. 1. P. 22-23).

Не следует, однако, думать, что с изданием Хартии все порушено. Хартия — начало, а не конец новых учреждений. Вообще, никакой закон не сочиняется; он провозглашает только то, что уже есть. Конституцию нельзя импровизировать или настроить на теоретическом расчете; она существует как выражение данного порядка вещей. Но по этому самому она не представляет законченного здания, а следует общему закону развития. Каждое поколение прибавляет к ней свою работу; отцы не имеют права наложить на детей неизменное ярмо. Человеку не дано знать, что заключает в себе будущее. Одному Богу известна тайна сочетания свободы, составляющая основание всякой нравственности, с законами необходимости, на которых зиждется гармония вселенной. Таким образом, учреждения народов — дети времени. Время основывает и разрушает; оно является великим глашатаем воли Провидения. Человеческие же так называемые законы, которые издаются с согласия палат, составляют только последствия истинных законов, лежащих в основании существующего порядка вещей (Ibid. Ch. 3. P. 67-72).

Настоящая эпоха, более нежели какая-нибудь другая, может ожидать только от времени развития учреждений. Человечество находится в критической поре; в нем совершился перелом. Старое здание рухнуло, и нет уже возможности его возобновить. Можно жалеть о разрушении, но исправить его не в силах человека. Все это произошло оттого, что люди сами захотели сделать революцию, вместо того чтобы утвердить только переворот, уже совершившийся в умах. Всякий раз, как человек хочет насильно ускорить естественный, но медленный ход развития, точно так же как и тогда, когда он полагает ему преграды, он подвергает общество опасности и накопляет только развалины. Отсюда в обществе глубокий разлад: нравы, которые по характеру своему двигаются медленно, остались позади, мнения же ушли вперед. Восстановить гармонию между этими двумя элементами человеческого общества — такова задача настоящей эпохи (Ibid. P. 66, 83-87).

Во взаимном отношении нравов и мнений Балланш видит ключ к объяснению важнейших современных общественных явлений. Он указывает на Англию, где конституционный порядок прочен, потому что он существует не только как теория, но укоренился в нравах. Во Франции, напротив, Хартия должна еще войти в нравы, а это может быть только делом времени. Во французском характере есть многое, что этому мешает. Республиканская суровость, так же как и сухость конституционного правления, мало приходится подвижному народу, привыкшему заниматься общественными делами, как бы играя. Свобода печати, не необходимая при настоящем порядке вещей, идет вразрез с тонкостью и щекотливостью привычек и вкуса. Равенство, к которому стремится общественное мнение,

противоречит сохранившимся в обществе аристократическим нравам. В этом отношении Англия опять находится в совершенно ином положении. Там вследствие исторических причин дворянство искони стояло во главе народа, противодействуя общему гнету. Поэтому там стремление к уравниванию никогда не могло сделаться господствующим. Во Франции, напротив, дворянство мало-помалу было побуждено союзом королей с массою народа. Отсюда вообще стремление к уравниванию, которое было еще более усилено революциею, открывшею свободное поприще уже не семействам, как прежде, а каждому отдельному лицу. Но революции во имя равенства всегда пагубны для общества; окончательно они ведут к уравниванию состояний. Во всяком обществе есть большинство, которое должно быть сдержано. Голос его должен приниматься в расчет, но не должен иметь преобладающего значения. Общественная иерархия составляет необходимый закон человеческих обществ. Отсюда проистекает и высокое значение законной монархии. Во Франции в особенности она составляет единственную узду подвижности народного характера, единственное прибежище, которое остается нравам. Корни французской монархии переплетены с самым началом народной истории — с водворением христианства. Монархия росла вместе с народом; она связана со всеми преданиями и славою французского имени. Будучи главною опорою общественного здания, она вместе с тем была хранительницею европейского просвещения, а так как и доньше Франция стоит во главе современного просвещения, то с сохранением в ней законной монархии связаны все высшие интересы Европы (Ibid. Ch V).

Но главная причина современного разлада между правами и мнениями лежит в упадке религиозного чувства. Религия всегда составляет основание общественного быта. И в древности, и в Новое время политические учреждения опирались на религиозные. Все вопросы, касающиеся оснований общества, в существе своем вопросы религиозные. Иначе и быть не может, ибо человек более дорожит временным, нежели вечным. Бесконечное всегда лежит в глубине его сердца. Поэтому мы и видим, что те начала, которые ныне волнуют политические общества, сперва появились в области религиозного и оттуда уже перешли в политику. Еще до Лютера богословские споры имели целью свергнуть иго преданий и авторитета и дать независимость человеческой мысли. Отсюда был один шаг до обсуждения оснований власти. Во Франции, однако, протестантизм никогда не мог пустить прочных корней. Если мнение к нему склонялось, то нравы ему противодействовали. Французам не приходилась религия, лишенная всякого внешнего благолепия, ничего не говорящая воображению. Таким образом, нравы остались католическими. Но мнение ушло совершенно в иную сторону: оно сделалось если не вполне антирелигиозным, то по крайней мере независимым от всяких религиозных убеждений. Особенность современного философского движения состоит в том, что оно

разрушает старое, ничего не поставляя на его место. Отсюда глубочайший умственный разлад. Христианство заключает в себе все нравственные основы человеческой жизни. Поэтому с уничтожением его должно разрушиться самое общество. Нравственные начала одни в состоянии сдерживать массы, которые своею численностью составляют силу. Без христианства пришлось бы снова прибегнуть к античному рабству. Поэтому оно и в настоящее время составляет единственное спасение общества (Ibid. Ch. VI).

Балланш ищет объяснения этого явления в законах развития человеческой мысли. Он принимает теорию Бональда, по которой язык, так же как и общество, даны человеку первоначальным откровением; но он присоединяет к этому другую теорию, в силу которой мысль постепенно освободилась от уз, наложенных на нее языком. Первоначальный, живой язык материализовался с введением письма. Буква стала господствовать над смыслом; слова превратились в простые знаки. Окрепнувшая мысль чувствовала себя стесненною в этих границах; наконец, она скинула с себя оковы и получила полную свободу. (Ibid. Ch. IX, X).

Это освобождение мысли имеет, однако, разное значение в различных сферах человеческой жизни. В политической области свобода становится господствующим элементом. Здесь властвует общественное мнение, которое выражается в свободе печати, в суде присяжных, в представительных собраниях (Ibid. Ch. VIII, XI, 3-ème partie). В религиозной же области живое слово, а вместе с ним и сила предания остались владычествующими. Отсюда необходимость разделения религиозной сферы и политической. В настоящее время те преграды, которые полагались прежде церковной власти, становятся излишними. Папа может быть неограниченным владыкою в духовном мире, но политическая жизнь должна оставаться независимою (Ibid. Ch. XI. 1-ère partie).

Этим объясняется и различие человеческих стремлений. Люди, вообще, могут быть разделены на два разряда. Одни могут думать только через посредство слова. Для них поэтому всего важнее сила предания. Общежитие и законы они производят из первоначального общественного откровения. Другие, напротив, имеют способность думать без слов. Вследствие этого они видят в языках человеческих общество создания человеческого произвола; они стоят за свободу и сильно идут вперед. В прежние времена первый класс был самый многочисленный; в настоящее время последний получил перевес. Отсюда разлад в современных обществах, но разлад естественный и необходимый, вытекающий из самых законов развития мысли. Уразумение этих законов должно повести к примирению партий: они поймут, что каждое из них представляет известную сторону человеческого развития. Каждая из них имеет и свою отдельную область. Если в политической жизни должна господствовать свобода, то нравственно-религиозный мир всегда останется достоянием предания. Христианство

представляет высшее совершенство религии. Далее человеческая мысль не может идти (Ibid. Ch. VII).

Разбирая Бональда, мы видели уже совершенную несостоятельность его теории о происхождении языка. Балланш хотел ее исправить, но к одной ребяческой гипотезе он прибавлял только другую, ибо иначе нельзя назвать его теорию об освобождении мысли от уз языка. Разделение людей на таких, которые не могут думать иначе как с помощью слова, и на таких, которые могут думать без слов, не что иное, как непонятная фантазия. В основании всей этой теории лежит верная мысль, что первоначально определения человеческой природы являются непосредственно данными, а впоследствии свобода, отрываясь от этой основы, создает свой собственный мир. Но совершенная недостаточность философского образования у французских клерикальных писателей помешала им дать этой мысли правильное развитие и верное приложение. Она обратилась у них в пустой вымысел, лишенный всякого научного значения.

Позднее, с 1827 г., Балланш начал издавать другое сочинение «Опыты общественной палингенезии»¹¹ или общественного возрождения» («Essais de palingénésie sociale»). Он хотел изобразить здесь прогрессивное движение человеческого рода, переходящего через различные эпохи обновления. В противоположность де Местру, в котором он видит представителя старого, отживающего порядка, основанного исключительно на начале власти, Балланш понимает прогресс как видоизменение преданий путем свободы. Павший человек руководится Провидением к высшему своему назначению; но в этом движении он не является чисто страдательным существом; как свободное лицо, он сам создает свою судьбу и несет ответственность за свои действия. Только это и дает нравственное значение прогрессу, ибо тут только человек сам заслуживает свое совершенствование. Вследствие этого первоначальная эпоха патрицианского владычества, основанная на преданиях и откровении, заменяется эпохой плебейского развития, исходящего из свободы. Христианство явилось высшим выражением этого процесса. Это — истинно плебейская религия, ибо, в противоположность языческим верованиям, устанавливается всеобщее религиозное равенство, из которого вытекает и всеобщее гражданское равенство. Идеал, к которому стремится человечество, состоит в том, чтобы все народы соединились вокруг христианства и связывались общими узами любви.

Эти мысли Балланш хотел провести в истории человечества. Но не справившись с своим материалом и не будучи подготовлен к тому ученою работою, он сделал это, по собственному своему признанию, только в общих, смутных очерках, в виде поэтических сказаний. Подобная попытка, конечно, не могла иметь научного достоинства. К этому присоединяется бессвязность и растянутость изложения при совершенном недостатке ясной философской мысли.

«Общественное возрождение» является более выражением чистой и возвышенной души, нежели памятником зрелой политической мысли или философского труда. Нельзя жалеть о том, что оно осталось недоконченным. Балланш был идеалист клерикальной школы; но он не умел ни изобразить свой идеал с достаточной ясностью, ни оправдать его научными доводами.

4. Ламенне¹²

Если у Балланша религиозные убеждения сочетались в идеальной форме с верою в прогресс, то у Ламенне клерикализм и либерализм приходят к явному разрыву. По таланту это первый из писателей клерикальной школы; но сила мысли не соответствовала дарованиям, а страстность темперамента побуждала его кидаться из одной крайности в другую и возмущаться против всего, что противоречило его безусловным требованиям.

Первое сочинение, в котором выступил Ламенне, было чисто клерикального направления. Это был наделавший много шума «Опыт в равнодушии в деле религии» («*Essai sur l'indifférence en matière de religion*»). Первая часть вышла в 1817 г. Ламенне становился здесь на точку зрения религиозного авторитета и ополчался против всего, что от него отклонялось. В Реформации, провозгласившей свободу мысли, он видел источник всех зол, постигших современное общество. Предоставленный себе, личный разум не в состоянии дойти до истины. Он идет от сомнения к сомнению, нигде не находя твердой точки опоры. Личное мнение становится мерилom всего; но так как личных мнений бесчисленное множество, то никто не может быть убежден в истине того, что он думает. Отсюда разнообразие сект, на которые разбился протестантизм. Критика подрывает, наконец, самые основания веры и окончательно приводит людей к полному религиозному равнодушию. В силу начала всеобщей терпимости все исповедания кажутся одинаковыми, и самая религия представляется только политическим учреждением, годным единственно для простонародья. Но подобное воззрение, которое не что иное, как замаскированный атеизм, повело к расслаблению всех общественных уз. Само в себе оно совершенно нелепо, ибо если религия, как оно предполагает, необходима для существования обществ, то она должна была им предшествовать, а не может быть изобретена законодателями. При таком взгляде само общество, основанное на произвольном изобретении, становится произвольным и случайным явлением в жизни человечества. Религия, нравственность, права, обязанности — все это коренится в заблуждении. Несостоятельность этой теории побудила других приверженцев свободы прибегнуть к иному началу. Признавая существенное значение религии, они признают истинною только естественную религию, все же положительные религии считают безразличными. Но это значит ставить на одну

доску истину и ложь. Истинная религия может быть только одна; если человек имеет возможность ее познать, он не может оставаться при заблуждении. Притом эта истинная религия может быть только положительная, ибо то, что называют естественной религиею, не что иное, как собрание смутных предложений, насчет которых самые ее последователи не могут согласиться. Они прямо признают существо Бога недоступным разуму, и когда атеисты возражают им, что для них не ясно и самое существование Божества, то это возражение с точки зрения естественного разума остается неопровержимым.

Очевидная недостаточность предоставленного себе разума для познания Бога побудила третьих признать необходимость откровения. Протестанты считают Библию краеугольным камнем веры; но толкование Библии они опять-таки предоставляют личному разуму, а это открывает поле самым разнообразным мнениям. Нет предела, на котором должна бы была остановиться свободная критика. Самые коренные догматы веры подвергаются сомнению. Во избежание этого протестанты признают некоторые пункты, которые они считают основными и которые должны быть признаны всеми. Но какие именно пункты должны быть признаны основными, на этот счет опять происходят разноречия. Если притом мы Библию считаем священной книгою, то на каком основании примем мы одно и отвергнем другое? Все в ней связано и составляет одно целое. Но как скоро мы толкование предоставляем личному разуму, так исчезает всякая обязательная догма. В своей критике ум последовательно идет от откровения к деизму и от деизма к атеизму, который составляет естественный результат всего этого процесса. Полное равнодушие к вере лежит в конце.

Между тем религия составляет существеннейшую потребность человека. Цель человека есть счастье, счастье же заключается в совершенстве, а совершенство зависит от порядка. Но предоставленный себе, человеческий разум не в состоянии ни познать порядок, ни следовать ему. Философия представляет только смесь противоречащих друг другу систем, которые оставляют ум в полном недоумении. Она не способна произвести ничего, кроме скептицизма. При таком настроении человек ищет счастья в себе самом; но этим самым он отрезывает себе путь к счастью, ибо, отрываясь от общего центра, он вместо порядка производит беспорядок. Одна религия выводит его из этого состояния: открывая ему бесконечное, она дает ему полноту истины и обещает ему полноту блаженства. Поэтому она одна может удовлетворить человека.

Еще важнее религия для общества. Общество состоит именно в установлении известного порядка между людьми; порядок же невозможен без управляющей власти. Этот порядок должен быть основан на естественных, а не на искусственных отношениях; это одно дает обществу прочность. Между тем, по естественному закону, ни один человек не имеет власти над другими. Все люди равны; они

доску истину и ложь. Истинная религия может быть только одна; если человек имеет возможность ее познать, он не может оставаться при заблуждении. Притом эта истинная религия может быть только положительная, ибо то, что называют естественною религиею, не что иное, как собрание смутных предложений, насчет которых самые ее последователи не могут согласиться. Они прямо признают существо Бога недоступным разуму, и когда атеисты возражают им, что для них не ясно и самое существование Божества, то это возражение с точки зрения естественного разума остается неопровержимым.

Очевидная недостаточность предоставленного себе разума для познания Бога побудила третьих признать необходимость откровения. Протестанты считают Библию краеугольным камнем веры; но толкование Библии они опять-таки предоставляют личному разуму, а это открывает поле самым разнообразным мнениям. Нет предела, на котором должна бы была остановиться свободная критика. Самые коренные догматы веры подвергаются сомнению. Во избежание этого протестанты признают некоторые пункты, которые они считают основными и которые должны быть признаны всеми. Но какие именно пункты должны быть признаны основными, на этот счет опять происходят разноречия. Если притом мы Библию считаем священной книгою, то на каком основании примем мы одно и отвергнем другое? Все в ней связано и составляет одно целое. Но как скоро мы толкование предоставляем личному разуму, так исчезает всякая обязательная догма. В своей критике ум последовательно идет от откровения к деизму и от деизма к атеизму, который составляет естественный результат всего этого процесса. Полное равнодушие к вере лежит в конце.

Между тем религия составляет существеннейшую потребность человека. Цель человека есть счастье, счастье же заключается в совершенстве, а совершенство зависит от порядка. Но предоставленный себе, человеческий разум не в состоянии ни познать порядок, ни следовать ему. Философия представляет только смесь противоречащих друг другу систем, которые оставляют ум в полном недоумении. Она не способна произвести ничего, кроме скептицизма. При таком настроении человек ищет счастья в себе самом; но этим самым он отрезывает себе путь к счастью, ибо, отрываясь от общего центра, он вместо порядка производит беспорядок. Одна религия выводит его из этого состояния: открывая ему бесконечное, она дает ему полноту истины и обещает ему полноту блаженства. Поэтому она одна может удовлетворить человека.

Еще важнее религия для общества. Общество состоит именно в установлении известного порядка между людьми; порядок же невозможен без управляющей власти. Этот порядок должен быть основан на естественных, а не на искусственных отношениях; это одно дает обществу прочность. Между тем, по естественному закону, ни один человек не имеет власти над другими. Все люди равны; они

подчиняются одному верховному владыке, Богу. Следовательно, законною может считаться только власть, исходящая от Бога. Религиозное подчинение составляет основание гражданского, Богом устанавливается и религиозный закон, который один служит источником всех человеческих обязанностей. Без религии нет нравственности, нравственность же связывает людей в обществе. Таким образом, человеческое общежитие предполагает религию и зиждется на ней. Те, которые ищут для общества иного основания, должны опираться на силу или на личную волю. Но сила не может быть основанием права; личная же воля, будучи полновластна, не в состоянии установить прочное общежитие. Не говоря о том, что договор, на котором думают основать общежитие, никогда не существовал; подобный договор не имеет никакой обязательной силы. У него нет санкции. Личная воля, будучи полновластна, всегда может взять назад свое согласие. Из нее не вытекают никакие обязанности, и все окончательно сводится опять-таки к силе. Если правительство сильнее, оно властвует; как же скоро народ чувствует свою мощь, он низвергает правительство и господствует деспотически. Общества, которые держатся этих учений, осуждены вечно колебаться между деспотизмом и анархией. Ужасы Французской революции показали, к чему они приводят. Такова была аргументация Ламенне против свободы мысли. Затем надлежало доказать, что существует единая истина, которая может быть познана человеком помимо личного разума. Это Ламенне и пытался сделать во второй части своего сочинения, вышедшей семь лет спустя, в 1824 г. Но здесь слабость его философской мысли обнаружилась в полной мере. Устранив всякое влияние личного разума, Ламенне принужден был основать достоверность истины на внешнем авторитете. Но суждение о силе этого авторитета опять-таки принадлежит личному разуму; у человека нет иного средства познания. Чтобы выйти из этого круга, Ламенне сослался на такой видимый авторитет, который не может подлежать сомнению, а именно на авторитет человеческого рода. Он противопоставил общий разум личному, считая первый непогрешимым мерилom всякой истины, а второй источником всякого заблуждения. С этою целью он хотел доказать, что основные догматы веры всегда признавались человеческим родом. У евреев сохранилось только во всей чистоте то, что первоначально в силу первобытного откровения было в сознании всех. Христианство же дало только этим самым догматам большую полноту и совершенство, вследствие чего оно является совершеннейшею религиею. С основания христианства и до нашего времени высший видимый в нем авторитет есть католическая церковь. Она поэтому должна быть признана центром всего духовного мира и высшею руководительницею всех человеческих дел*.

* Lamennais F.R. Essai sur l'indifference en matière de religion. Ch. XX, XXI и след. // Lamennais F.R. Oeuvres. I. Bruxelles, 1839.

Эта ссылка на авторитет человеческого рода доказывала совершенно противоположное тому, что хотел доказать автор. Если в древности чистая религия сохранилась только у совершенно ничтожного племени, а все остальные народы предались идолопоклонству, то внешний авторитет человеческого рода никак не может служить нам руководством. Сам Ламенне признает, согласно с христианским учением, что павший человек предался страстям, а вследствие того и заблуждениям. С этой точки зрения общий разум менее всего может считаться непогрешимым хранителем истины. Если бы мы даже захотели извлечь некоторые общие истины из бесчисленной массы заблуждений, то это может быть только делом науки, то есть личного разума. Самое распространение христианства было протестом совершенно ничтожного сначала меньшинства против общих верований человеческого рода. Нет сомнения, что римская религия имела за себя больший внешний авторитет. Наконец, и в настоящее время нет причины, почему бы следовало признать именно католическую церковь высшим видимым авторитетом в человеческом роде. Она не признается таковою значительною частью самих христиан, не говоря уже о миллионах других народов, не исповедующих христианства, о магометанах, буддистах и т. д. В человеческом роде нет внешнего, видимого авторитета, а если человек ищет истины, он не может довольствоваться внешними признаками, которые опять же подлежат критической оценке, а волею или неволею принужден руководиться единственным данным ему Богом орудием познания — личным разумом. Самая аргументация Ламенне обращена к личному разуму, который через это самое становится высшим судьей истины.

Ясно, что на этой почве невозможно было держаться. Она ускользала под ногами и с другой стороны. Воззрения Ламенне коренились в средневековом порядке. В нравственно-религиозном начале он видел единственную связь человеческих обществ. Подчинение человека человеку помимо религиозного закона он признавал насилием. Вследствие этого государство должно подчиняться церкви, а не церковь государству. Между тем вся жизнь Нового времени шла наперерыв этой системе. Не только либеральный протестантизм¹³, но и католические государи охраняли самостоятельность светской власти и требовали, чтобы в гражданских отношениях церковная власть признавала их верховное право. Во Франции в особенности эти стремления выразились в учении о вольностях галликанской церкви. Известная Декларация 1682 г.¹⁴, писанная Боссюэ, утверждала, с одной стороны, полную независимость светской власти, с другой стороны, подчинение папы собору. Французские короли постоянно старались придать церкви более или менее национальный характер, ограничивая сношения епископов с Римом и устанавливая контроль и вмешательство государственной власти в церковное управление. Эти стремления поддерживались и во времена Реставрации. С точки зрения Ламенне, это было из-

вращение истинных отношений. В этом направлении правительства он видел незаконное угнетение церкви. Поэтому он с такою же силою восстал против галликанизма, как он восставал против либерализма. В 1824 г. он издал сочинение «О религии в ее отношениях к порядку политическому и гражданскому» (*«De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre civil et politique»*), в котором он излагал свои мысли об этом предмете.

Показавши последствия либерализма, который, провозглашая полную свободу личного мнения, вытесняет религию из всех общественных отношений и тем ведет к разрушению обществ, Ламенне обращался к галликанскому учению. Возражая на учение о независимости светской власти, он указывал на то, что всякая власть может повелевать единственно в силу высшего закона, исходящего от Бога, ибо только такой закон обязателен для человека. Отсюда изречение «Несть власть, аще не от Бога». Не князья устанавливаются Богом, а существо их властей имеет религиозное происхождение, ибо только на этом основана обязанность подданных повиноваться. Этим полагаются и границы власти, которая установлена единственно для добра. Как же скоро сам человек признается источником власти, так всякие границы исчезают и вместе теряют свой нравственный характер; она становится просто выражением силы. Отсюда следует, что высшим судьей действий светской власти является церковь. Если князь удаляется от божественного закона, церковь употребляет против него церковное наказание; если же он упорствует в своей неправде, то она извергает его из своей среды, и тогда подданные не связаны уже ничем: всякий нравственный союз между ними и князем порван. Таким образом, церковь имеет принудительную власть над князьями, равно как и над народами, и это одно, что сдерживает правителей в пределах долга. Противоположная теория ведет к чистой тирании и уничтожает в людях всякое уважение к закону, всякое чувство правды и неправды. Она может произвести только революции (<Lamennais F. R. *De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre civil et politique.*> Ch. VII. § 1).

Что касается до второго положения Декларации 1682 г., что собор выше папы, то отрицая верховную власть папы, она разрушает церковь, а вместе и самое христианство. Всякое общество держится управляющею ею властью. Если церковь, по существу своему, есть союз единый, вселенский, постоянный и святой, то такова же должна быть и церковная власть. Но вселенский союз собирается только по временам; рассеянные епископы не составляют власти единой, вселенской и постоянной. Следовательно, подобное управление не соответствует существу церкви. Без папы нет церкви, а без церкви нет христианства, без христианства же нет религии, по крайней мере для отпавших от христианства народов. Таким образом, стремление к образованию национальных церквей ведет к уничтожению религии, а вместе и к разрушению обществ.

Галликанизм есть не что иное, как замаскированный атеизм (Ibid. Ch. VI, VII. § 2, VIII).

С еще большею страстностью Ламенне восстал против светской власти в другой брошюре, вышедшей в 1828 г. под заглавием «Об успехах революции и войны против церкви» («Des progrès de la révolution et de la guerre contre Г'église»). Здесь уже он против захватов правительства начал искать опоры в либерализме. Видя невозможность осуществить свой идеал союзом церкви с князьями, он стал требовать для церкви единственно свободы, от развития которой он ожидал лучшего будущего. Он противопоставляет здесь либерализм галликанизму как две противоположные крайности, на которые неизбежно разбивается общество, отпавшее от церкви. Либерализм стоит за свободу, и отрицательно он прав, когда он восстает против подчинения человека человеческой власти. Такое подчинение не что иное, как возмутительный деспотизм. Но либерализм оказывается бессильным, когда он на личной свободе хочет основать порядок. Человеческая свобода, не сдержанная религиозным законом, не в состоянии произвести ничего, кроме разрушения. С своей стороны галликанизм, опирающийся на законную монархию, прав, когда он ищет установления порядка. Но истинный порядок состоит в подчинении неизменному закону правды. Когда же галликанизм ставит князя выше всяких законов, он водворяет не порядок, а рабство, унижающее человеческую природу. Одна церковь, хранительница вечного закона, может сочетать порядок с свободой. Она подчиняет человека не человеку, а единственно Богу, чем сохраняется его свобода; правителей же она сдерживает высшим законом правды, который дает освящение их власти и гарантии подданным. Спасение человечества заключается поэтому единственно в возвращении общества к церкви. Но при настоящих условиях этого возвращения можно ожидать только от свободных прений, ибо на людей, отдавшихся личному разуму, нельзя действовать иначе как свободным убеждением. Церковь должна стоять в стороне от политической борьбы либерализма с галликанизмом, требуя для себя единственно свободы и ожидая, что обе партии, почувствовав свое бессилие, наконец обратятся к ней как к высшему примирителю (<Lamennais F.R. Des progrès de la révolution et de la guerre contre Г'église.> Ch. II, III, IX).

Эти соображения Ламенне подкреплял страстными нападками на современное направление правительства, в котором он видел притеснителя церкви. Государство, говорил он, в религиозном отношении или стоит выше церкви, или независимо от нее, или подчинено ей. В первом случае оно является притеснителем, во втором случае оно становится чуждым христианству; только в третьем оно остается католическим. Государство имеет право выбирать между этими тремя положениями, так как всякий человек имеет право выбирать между добром и злом, между порядком и беспорядком; но оно не имеет власти над истиною и не имеет права приказыв-

вать, чтобы другие думали так же, как оно само. Поэтому можно осмелиться утверждать, что система влияний и надзора, предполагающая какую бы то ни было власть государства над церковью, есть тирания и святотатство; что если государство не должно оставаться равнодушным к религии, которой оно обязано оказывать покровительство, то оно ни в каком случае не должно вмешиваться в дела, чем бы ни было касающиеся религии; что власть его должна следовать за властью церковною, а не предшествовать ей, а тем менее влиять на нее или надзирать за-нею, ибо влияние и надзор относятся только к подчиненным. Содействовать церкви — такова обязанность государства; властвовать над нею — таково его преступление (*Ibid.* Ch. VII).

Подобные выходки не могли нравиться французскому духовенству, которое в то время держалось еще галликанских убеждений. Архиепископ Парижский в послании к пастве осудил это учение, которое грозило разрушить общественный порядок. Ламенне отвечал ему язвительными письмами, в которых он называл раболепным и безбожным галликанское учение, снимавшее с князей всякие сдержки. Требование безусловной покорности, говорил он, никогда не могло убедить людей. «Никогда они не думали, что они обязаны признать рабство первую общественную необходимостью, терпеть спокойно для большего своего блага самое притеснительное иго и отказаться от того, что называют химерою общества, основанного на праве... Христианская система, напротив, обязывает повиноваться человеку лишь настолько, насколько он является орудием Бога, единственного владыки вечно законного и абсолютного: так как с этой точки зрения власть не что иное, как внешнее действие Бога в человеческих обществах, средство, которым частные и беспорядочные воли принуждаются к соблюдению неизменного и мирового закона истины и правды, то отсюда следует, что вне этого закона и против этого закона нет истинной власти и что поэтому порядок существенно неразлучен с свободою. Сама по себе лишенная всякого авторитета сила всегда зависит от права; право же непрестанно напоминает и провозглашается властью духовною по своей природе и отличною от силы» *. Через это церковь, с одной стороны, делает понятною всем обязанность повиновения, а с другой стороны, успокаивает в человеческом сердце чувство правды и страх злоупотреблений, показывая, что вне политического общества существует судья невыносимых злоупотреблений и лекарство против власти, превратившейся в тиранию (<Lamennais F. R. Première lettre à L'archevêque de Paris.> P. 331). Что касается до возможных злоупотреблений церковной власти, то Ламенне сослался на то, что это власть добровольная, которой решения имеют силу лишь настолько, насколько люди

* Lamennais F. R. Première lettre à L'archevêque de Paris // Lamennais F. R. Oeuvres. II. P. 329.

свободно ей подчиняются. Никто не может на них жаловаться, ибо издающее их судилище лишено всякой внешней принудительной силы (Ibid. P. 330).

Против последнего ничего нельзя было бы сказать, если бы рядом с этим не утверждалось, что принудительная сила светской власти должна состоять в служебном отношении к церкви. Если юрисдикция церкви свободная, то очевидно, она не может иметь никаких юридических, то есть принудительных последствий; область права и область нравственности должны быть, безусловно, разделены.

Но Ламенне весьма далек от подобной мысли: он прямо приписывает церковной власти не только нравственное, но и юридическое значение. «Или эта власть ничтожна,— говорит он,— или она обнимает все, что заключается в идее права» (Ibid. 2-й *Lettre*. P. 343). Вследствие этого он совершенно отрицал существование государства как отдельного от церкви союза. «Общество едино,— говорит он,— так же как и человек; оно обнимает все отношения, существующие между общественными существами. Совокупность нравственных отношений образует духовное общество, остальные составляют общество гражданское; а так как разумные существа могут быть связаны единственно нравственными отношениями, то духовное общество, собственно говоря, есть единственное истинное общество: оно относится к гражданскому обществу, как душа к телу, в строгом смысле слова. В самом деле, что включает в себе существенное понятие гражданского общества? Законы и власть, образующую их исполнение. Каков общий предмет законов? Охранение правды. Они определяют способы покровительства, которые оказываются лицам собственности и правам, каковы бы они ни были. Но что это, как не регламентирующая часть заповедей Божьих, насколько они должны управлять действиями человека во внешнем порядке? А что такое власть сама в себе? Что такое верховенство? Обязанность, возложенная Богом на преобладающую силу, обязанность защищать и охранять духовное, то есть истинное общество, подавляя непокорные силы, которые стремятся его разрушить или возмутить нарушением божественных заповедей. Устранить это, предположить совместное существование двух обществ, не говорю отличных, но отдельных и совершенных, каждое в своем порядке, а потому существенно независимых друг от друга, и тогда ничего нельзя понять ни в той, ни в другой; мы впадаем в истинный хаос» (Ibid.).

Ламенне, очевидно, не понимал ни значения права, ни призвания государства. Юридическая область, основанная на принуждении, сливалась с нравственно-религиозною, основанною на свободе. Все человеческие отношения образовали единый союз, в котором верховенство принадлежало церкви. Как же можно было при этом утверждать, что церковный суд держится единственно добровольным признанием? Свобода является здесь только предлогом для

анархии и деспотизма. Ей потому должны отдаться все честные люди, вместо того чтобы искать спасения в искусственных учреждениях и в стеснении свободы произволом власти *.

Из этих начал вытекает, прежде всего, полная свобода совести, которая включает и свободу церкви; затем свобода преподавания, которая составляет естественное право человека и без которой нет ни религиозной свободы, ни свободы мысли; далее, свобода печати, составляющая самое могущественное средство сношения между людьми и самое деятельное орудие прогресса; наконец, свобода товариществ, которая отвечает сильнейшей потребности совокупного действия и одна может вывести людей из разобщенного состояния при уничтожении всяких корпоративных связей. К всему этому должна присоединяться широкая выборная система и уничтожение пагубной централизации**. Выборное право должно принадлежать всем, ибо права всех граждан равны, и подчинение одних другим было бы деспотизмом. Но это право было бы призрачно, если бы оно ограничилось только народным представительством. Оно должно начаться снизу и постепенно восходить кверху. Каждая общественная единица имеет естественное, неотчуждаемое право на самостоятельное управление своими делами без всякого вмешательства со стороны государства. Поэтому каждая община должна свободно выбирать своих администраторов. То же право принадлежит и области. При такой системе глава государства будет только исполнителем верховных решений народа. Он может быть и наследственным, дело не в форме правления, а в его сущности. Конституционная монархия, установленная Хартиями 1814 и 1830 гг.¹⁵, есть настоящая республика, ибо законодательная власть принадлежит здесь представителям народа и они же управляют посредством ответственных министров. Задача заключается единственно в том, чтобы из этих начал вывести все необходимые последствия, утвердивши свободу на самых широких основаниях ***. А так как Франция составляет демократическую республику, то палата пэров¹⁶ очевидно потеряла всякий смысл. Вторая палата может быть только отделением палаты депутатов; она должна быть основана на одинаковых началах, ибо иных элементов в обществе нет ****.

Становясь на эту точку зрения, Ламенне неизбежно приходил к признанию начал народовластия. Он прямо ссылаясь на то, что, по учению католических богословов, исходящая от Бога власть непосредственно принадлежит народу, и только через народ передается

* Lamennais F. R. D'une grave erreur des honnêtes gens // Lamennais F. R. Oeuvres. II. P. 423 f.

** Lamennais F. R. Des doctrines de l'Avenir // Lamennais F. R. Oeuvres. II. P. 428 f.

*** Lamennais F. R. Fausse direction du gouvernement // Lamennais F. R. Oeuvres. II. P. 440; Lamennais F. R. De la république // Ibid. P. 447 f.

**** Lamennais F. R. De la pairie // Ibid. P. 459.

князьям. Он старался, однако, отличить это учение от протестантских и революционных начал тем, что последние признают собственную волю народа единственным источником правды, тогда как католические богословы подчиняют ее вечному, божественному закону. Этим законом определяется и несомненное право народов восставать против властей его нарушающих, право, также признанное всеми католическими богословами*.

Ламенне приписывал христианству все развитие свободы в человечестве. Оно поставило дух выше плоти и разрешило узы рабства. Если в Средние века, при младенческом состоянии народов, нужна еще была отеческая опека, то в настоящее время созревшие общества должны пользоваться полною свободою. Только путем свободы наука может соединиться с верою; действие же любви, составляющей сущность христианства, объединит все народы, связывая их не материальною, а духовною связью. Свобода мысли и совести, при единстве веры, водворит царство Христа не только как первосвященника, но и как царя, ибо его наместник будет единственною, свободою признанною духовною властью на земле. Свобода будет так тесно связана с этою верховною властью, что одна будет составлять основание другой. Вне этого останется только управление материальными интересами посредством выборной системы. Таково общество будущего**.

Эти учения возбудили горячие прения в среде французского духовенства. Ламенне и его сотрудники решились представить спор на решение папы. Трое из них лично отправились в Рим; но вместо поддержки они нашли осуждение. Энцикликою 15 августа 1832 г. Григорий XVI объявил свободу совести пагубным заблуждением, даже безумием, разрушающим единство церкви¹⁷. Столь же безусловно осуждена была и свобода печати, а равно и учения тех, которые проповедают неповиновение законным властям. Наконец, отделение церкви от государства было объявлено противным интересам религии, ибо только в союзе духовной и светской власти заключается благо обеих***.

Вследствие этого торжественного осуждения журнал «Будущность» прекратился. Либеральный католицизм оказался несогласным с учением римской церкви. От Ламенне потребовали письменного отречения от его заблуждений. Он дал его, сначала с оговоркою, потом безусловно; но в то же время он напечатал новое сочинение «Слова верующего» («Paroles cTun Croyant»), в котором прежние воззрения доводились до самой безумной крайности. Здесь, в форме поэтических видений, изображалось происхождение монархической власти как искушение дьявола,

* Lamennais F. R. Réponse à la lettre du père Ventura // Ibid. P. 442 f.

** Lamennais F. R. De l'avenir de la société; que sera le catholicisme dans la société nouvelle // Ibid. P. 459 f.

*** Affaires de Rome. Pièces Justificatives // Ibid. P. 603 f.

внушившего некоторым людям мысль возвыситься над другими; владычество царей представлялось как царство сатаны; яркими чертами описывались проистекающие отсюда угнетение и бедствия человеческого рода. Но Христос победит наконец сатаническое исчадие, замыслы владык погибнут в своем нечестии, все люди соединятся узами братства, и на земле начнется новая жизнь.

Появление этой книги было уже явным возмущением против церкви. Папа осудил ее в самых строгих выражениях. Разрыв окончательно совершился. Отверженный церковью, Ламенне примкнул к самой крайней демократии. Он не отказался от своих религиозных убеждений, но надежды свои он полагал уже не на католицизм, а на развитии христианства в демократичном духе. Плодом этого последнего поворота в его образе мыслей была вышедшая в 1834 г. «Книга народа» («*Le Livre du peuple*»), в которой он изложил свое окончательное политическое учение.

Ламенне начинает с того, что люди, рожденные от одного отца, должны бы были составлять одну семью, связанную узами братства. Тогда не было бы между ними отличий; все помогали бы друг другу, и на земле господствовало бы всеобщее счастье. Но участь людей совсем другая. Человек уклонился от законов природы; эгоизм заглушил любовь к братьям. Народы разделились; общества распались внутри себя. Некоторые присвоили себе власть и положили в свою пользу уставы, которые они поддерживают силою. Человек сделался собственностью человека, предметом купли и мены. В других местах, не лишая его свободы, у него отнимают большую часть плода его трудов. Установились различия, основанные или на рождении, или на деньгах. Все преимущества сделались достоянием немногих; остальные под именем народа обречены на тяжелый труд и нищету. Между тем эта масса, с которою обращаются часто хуже, нежели со скотом, состоит именно из тех, чьим трудом держатся человеческие общества; это — классы наиболее полезные, наиболее необходимые для ее существования. За исключением немногих привилегированных лиц, преданных наслаждениям, народ — это все человечество (Lamennais F. R. *Le Livre du peuple*. I, II).

Возможно ли, однако, продолжение подобного состояния? Это значило бы сомневаться в благости Божьей. Бедствия земной жизни не составляют необходимого удела человечества; они могут быть предотвращены. Этого можно достигнуть не улучшением личного состояния, не заменою одного владычества другим, а единственно восстановлением всеобщего братства. Народам предстоит образовать всемирную семью, устроить божественное государство, осуществить постепенно, посредством непрерывного труда, дело Бога в человечестве (Ibid. III).

Такова цель; средства же заключаются в познании и приложении истинных законов человечества, совокупность которых образует права и обязанности, неразрывно связанные друг с другом (Ibid. IV).

Право есть выражение личного начала. Каждый имеет право сохранить себя, развиваться по своему закону, мирно пользоваться всеми благами, дарованными ему Богом. Право же на жизнь предполагает право на все, что нужно для поддержания жизни; а так как жизнь человека не только материальная, но и духовная, то отсюда вытекает право на умственное и нравственное развитие. Развиваться — значит свободно прилагать свою деятельность к внешнему миру; поэтому право неразлучно с свободой, или, лучше сказать, составляет с нею одно. Это право неотчуждаемо, ибо оно вытекает из самого существа человека, от которого никто не может отказаться. Оно равно для всех, ибо люди равны по своей природе; никто по собственному закону не имеет власти над другими. Человек есть верховный владыка самого себя; в этом состоит его свобода и это одно, что делает его нравственным существом (Ibid. V).

Но человек не создан для одинокой жизни. Люди соединяются в общества, и каждый приносит сюда свое неотчуждаемое право. Совокупность этих прав образует общественное право, в силу которого каждый народ, так же как и каждое лицо, имеет право сохранять себя и развиваться свободно. Всякое посягательство на это право есть нарушение установленных Богом законов. Поэтому незаконно всякое присвоение власти одних над другими; оно может быть только плодом насилия и разбоя. Когда с извращением естественного равенства устанавливаются привилегии классов и законодательная власть становится принадлежностью рождения или богатства, тогда в обществе водворяются беспорядок и тирания. Всякий закон, в составлении которого не участвовал народ, ничтожен сам по себе. Те, которые говорят о князе, об общественной власти, изрекают слова, лишённые смысла, ибо кто дал одному власть над другими? Единственная верховная власть в обществе есть сам народ; всякая другая власть исходит от него и является только исполнителем его воли. Поэтому не может быть и возмущения народа против власти. Народ всегда имеет право сменить неповинуящегося ему слугу. Возмущаются против власти только те, которые возмущаются против народа и в ущерб ему создают себе привилегии. Когда же народ ломает это владычество, он не нарушает, а восстанавливает порядок. Он исполняет божественный закон (Ibid. VI, VII).

С правами сопряжены и обязанности. Право обособляет человека; обязанности соединяют его с другими. Первое, в своей односторонности, ведет к чистому эгоизму; вторая связывает всех узами правды и братства. Первое священно как начало сохраняющее лицо, первоначальный элемент всякого общества; вторая священна как начало охраняющее общество, без которого не может жить человек. Обязанность простирается на все существа, ибо все имеют свое место и значение в целом. В приложении к человеку она состоит в соблюдении правды и любви. Не делай другим того, что ты не хочешь, чтобы они тебе делали: таков закон правды. Делай другим то, что ты хочешь, чтобы они тебе делали — таков закон

любви. Но кроме общих обязанностей, существуют и частные, в отношении к людям, с которыми мы находимся в ближайших отношениях. Таковы, прежде всего, семейные обязанности, а затем обязанности к отечеству. Права мужа и жены одинаковы, но назначение их разное, а потому и обязанности разные: со стороны мужа уважение, любовь и покровительство, со стороны жены уважение, любовь и подчинение. В отношении к детям родители обязаны дать им покровительство и воспитание, дети обязаны повиновением. Что касается до отечества, то в отношении к нему первая обязанность гражданина состоит в охранении безусловного равенства прав, которое составляет основание всех частных и общественных вольностей. Кто допускает посягательство на единственную законную власть народа или установление каких бы то ни было преимуществ одних перед другими, тот отрекается от отечества. Наконец, выше отечества должно быть поставлено человечество, которое едино по своему существу. Исключительный патриотизм развивает эгоизм народов; он ведет к разобщению людей и к кровавым ужасам войн; совершенный порядок водворится на земле только тогда, когда все народы образуют единое общество (Ibid. IX-XI).

Совокупность человеческих обязанностей составляет то, что называется религиею. Следовательно, отрицание религии есть отрицание обязанностей, а так как существуют истинные, неизменные и всеобщие обязанности, то существует истинная, неизменная и всемирная религия, связывающая весь человеческий род единением его с Богом. В этом состоит существо христианства, которое требует прежде всего любви к Богу и затем вытекающей отсюда любви к ближним. Христианство есть религия равенства и братства, первый и последний закон человечества. Ему народы обязаны уничтожением рабства, развитием нравственных начал и всеми успехами цивилизации. И если с этими благами соединялись и темные стороны, то они происходили не от самого христианства, а от несовершенства тех внешних форм, в которые оно облакалось. Но внешние формы изменяются, а христианство остается. Оно обновит человечество, ибо только посредством исполнения обязанностей возможно и осуществление права. Человек в одиночестве бессилен против зла. Только взаимная помощь, основанная на взаимной любви, дает ему силы преодолеть препятствия. Эгоизм и неправда разъединяют людей; правда и любовь их связывают. Поэтому исполнение обязанностей составляет первое условие товарищества. Ничто не может противостоять сочетанию права с обязанностью; о него сокрушится могущество притеснителей. «Захотите только,— восклицает Ламенне,— и несправедливые законы мгновенно исчезнут» (Ibid. XIV, XV).

Ламенне предостерегает, впрочем, народы от стремления к утопиям, которые вместо того, чтобы исправить зло, могут только его усилить. Если равенство прав требуется нравственным порядком, то равенство положений и имущества противоречит закону природы,

которая неравно распределила свои блага между людьми. Самое движение общественной жизни полагает неодолимые препятствия равенству состояний. Последнее разрушается само собою большею или меньшею предприимчивостью, бережливостью, более или менее разумным ведением дел. И на это не следует жаловаться, ибо личные усилия составляют первое условие общего благосостояния. Не следует мечтать и о внезапной перемене состояния. Насилия, вместо обновления общества, разрушать самые его основы. Главное дело состоит в установлении требуемого христианством равенства прав; остальное придет само собою. И теперь уже можно предвидеть в отдаленном будущем то блаженное время, когда весь мир составит единое государство, управляемое единым законом правды и любви, равенства и братства, и когда все человечество, связанное общою религиею, будет поклоняться Христу как своему высшему и последнему законодателю (Ibid. XVI).

Таково было в окончательной своей форме учение Ламенне. Отпавши от католицизма, он все-таки остался при прежнем воззрении. Он стремился к сочетанию прав и обязанностей, но не шел далее их противопоставления: органического их сочетания в человеческих обществах он не понял. С одной стороны, право является у него абсолютным началом, которое ведет к полновластию лица над собою и к совершенному юридическому равенству. Между тем ни то, ни другое в обществе немыслимо.

Уже в семействе проявляется различие призвания, а потому различие обязанностей, следовательно, и различие прав. Если муж, как признает Ламенне, обязан жене покровительством, а жена мужу уступчивостью (*déférence*), то права их не могут быть одинаковы. Еще яснее это оказывается в отношениях родителей к детям: тут о безусловном равенстве прав не может быть речи. Точно так же и в обществе неизбежно является различие повелевающих и повинующихся, следовательно, и различие прав. Если мы даже будем видеть в правителе только исполнителя общих решений, то все же он подчиняется только совокупности лиц, а каждое лицо в отдельности подчиняется ему. Самая общая воля и вытекающее из нее общее право отнюдь не представляют только совокупления частных прав, как утверждает Ламенне. Тут неизбежно является подчинение меньшинства большинству: о безусловном владычестве лица над собою не может быть речи. Только полное отсутствие анализа в приложении к праву и государству привело Ламенне к такому воззрению, которого несостоятельность видел уже Руссо. Когда Ламенне утверждает, что всякое присвоение власти одним человеком над другими есть незаконное, то этим уничтожается самая возможность общежития, которое именно требует подчинения одних другим. Когда же он источник этого подчинения видит единственно в религиозной обязанности, то этим обнаруживается полное смешение нравственной области и юридической. Религиозная обязанность, как признает сам Ламенне, исполняется свободно; юридическая же

обязанность сопровождается принуждением. Поэтому церковь не может быть высшим судьей политических распри. Церковь как нравственно-религиозный союз может быть судьей только чисто нравственных обязанностей. Личное начало, право, совершенно изъято из ее ведомства; оно осуществляется в противоположном ей союзе гражданском. Высшее же органическое сочетание обоих начал, прав и обязанностей, происходит в государстве, которое поэтому и есть верховный союз на земле.

До понимания истинного существа государства Ламенне не дошел. Отсюда радикально ложные взгляды на все политические отношения. Вместо разнообразия союзов он признавал только один, но с действительным характером: с одной стороны, чисто духовным, с другой стороны, чисто материальным, причем естественно требовалось, чтобы последнее подчинялось первому. А так как это воззрение, по существу своему, противоречило истинно государственным началам, то это неизбежно ставило Ламенне во враждебное отношение ко всем установленным властям. Заслуга его состоит в том, что он отстаивал, с одной стороны, свободу церкви, с другой стороны, свободу лица; но не постигая значения государства, он доводил свои требования до крайности. Этим самым он становился в противоречие не только с существующим порядком, но и с собственными своими началами. Отвергая значение государственной власти, он искал союза церкви с народами и мечтал об осуществлении церковного идеала посредством безусловной свободы. Между тем он сам прежде указывал на то, что безусловная свобода в состоянии произвести только анархию. Вместо единой вселенской церкви она ведет к образованию бесчисленного множества сект. Таким образом, для осуществления католического идеала Ламенне становился на точку зрения самого крайнего протестантизма. Не мудрено, что учение его было осуждено римскою церковью. Оно со всех сторон оказывалось несостоятельным.

б) Либералы

" 1. Бенжамен Констан¹⁸

Во главе либеральных писателей нынешнего столетия стоит Бенжамен Констан, который первый выработал полное учение о конституционной монархии в том виде, как она утвердилось среди европейских народов. Он выступил как публицист еще в конце прошедшего столетия. Стоя на почве республиканских учреждений, он ратовал во имя свободы против реакционных стремлений, овладевших французским обществом после падения террористов¹⁹. К этому были направлены два его памфлета, изданные в 1797 г., «О действиях террора» («Des effets de la Terreur») и «О политических реакциях» («Des réactions politiques»). В первом он восставал

против защитников террора, доказывая, что мысль упрочить свободу посредством свирепого произвола была пагубным заблуждением, которое бросило тень на свободные учреждения и приготовила Францию к деспотизму. Во втором он старался сдерживать реакцию. Законность революций, говорил он, заключается в том, что они стремятся привести учреждения к уровню идей; если же они идут далее цели, они неизбежно возбуждают реакцию. Но реакции с своей стороны неправы, когда они идут слишком далеко назад и на место твердых начал закона ставят произвол. «Произвол есть великий враг всякой свободы, это — порок, извращающий всякое учреждение, семя смерти, которое нельзя ни видоизменить, ни умерить, но которое надобно уничтожить» *.

Те же мысли Бенжамен Констан поддерживал и при Наполеоне I. За это он был исключен из Трибуната²⁰ и затем должен был выехать из Франции. В ссылке он написал свой знаменитый памфлет «О духе завоеваний и о похищении престола» («De l'ésprit de conquête et de l'usurpation»), изданный в 1813 г. и направленный против владычества Наполеона. Бенжамен Констан доказывал, что завоевательные стремления способны поднимать дух народа только тогда, когда они вытекают из его положения и нравов. Приложенные к небольшим племенам Древнего мира, они в наше время имеют развращающее влияние на общество. Новые народы суть преимущественно народы промышленные. Чтобы увлечь их к завоеваниям, надобно заманить их материальными интересами, то есть сделать из них хищников. Вместе с тем это приучает людей все ставить на карту и надеяться более на случай, нежели на долговременное преследование известной цели. Воспитанная продолжительными войнами армия выделяется из народа и вследствие своего преобладающего значения воздействует и на гражданскую область. Во внутреннем управлении водворяется дух военной дисциплины, является презрение к формам и гарантиям. Чтобы удовлетворить войско, привыкшее к походам, правительство принуждено беспрерывно предпринимать новые войны, а для того чтобы поддерживать эту систему в глазах народа, оно должно прибегать к постоянной лжи, ссылаясь на народную честь, на государственные и торговые интересы, там где дело идет только об удовлетворении честолюбия. Но так как одними софизмами невозможно успокоить умы, то ко лжи прибавляется насилие: на всякую мысль налагается запрет. Внутри государства водворяется монолог власти, а общество в молчании держится в стороне. С своей стороны покоренные народы насильственно подводятся под однообразную рамку во имя любви к симметрии, которая от демагогии перешла к деспотизму. Лучшие человеческие чувства, привязанность к преданиям и к родным учреждениям,

* Constant B. Des réactions politiques. Paris, 1861. Ch. IX: Cours de constitution al. II.

подавляются без пощады. Этим, однако, возбуждается только общий протест. Все соединяются против политики, которая идет наперекор современным стремлениям обществ. Падение составляет неизбежный исход завоеваний.

Столь же непрочно и похищение престола. Оно не имеет ни выгод монархии, ни достоинств республики. Монархия освящена временем, опирается на предания и привычки, окружена посредствующими телами, которые ее поддерживают и ограничивают. Похититель престола, опирающийся исключительно на личное обаяние, принужден постоянно поражать народы великими делами. Для приобретения и сохранения престола он прибегает к незаконным средствам. Он принужден опираться на военную силу. Сторонние высокие положения кажутся ему опасными, поэтому он старается унижить дворянство. Но так как для поддержания наследственной власти ему необходимо окружить себя наследственными положениями, то он пытается создать новую аристократию, а это — дело невозможное, ибо наследственность устанавливается в первобытные времена, а не среди цивилизации. Что касается до народных представителей, то они могут служить опорой наследственному монарху, но у похитителя престола они превращаются в рабов. Возможное во времена варварства владычество личного превосходства теряет свое значение при всеобщем распространении образования. В наше время оно становится таким же анахронизмом, как и система завоеваний. Поэтому похищение престола может опираться только на силу. Но и деспотизм в наше время потерял всякую твердую почву. Коли он находит защитников, то единственно благодаря тем ложным понятиям, которые распространялись и прилагались в конце прошедшего столетия. Последователи Руссо и Мабли имели в виду свободу древних народов, не понимая, что она совершенно неприменима к новым²¹. Древние знали не личную, а политическую свободу, которая дает гражданину непосредственное участие в правлении. Это было возможно в маленьких государствах, где все граждане собирались на площади и сами решали дела. В новых государствах личное участие заменилось представительством. Поэтому для массы политическая свобода потеряла свою прелесть; она имеет только значение гарантии личных прав. Между тем подражатели древних хотели, вопреки духу Нового времени, подчинить личную свободу общественной; а так как они повсюду встречали сопротивление, то они начали прибегать к насилию; от заблуждений они перешли к зверству. Под именем свободы водворился самый страшный деспотизм, который сделал самую свободу пугалом для народов. Вследствие этого многие кинулись в противоположную крайность. Против деспотизма толпы стали искать спасения в деспотизме одного человека. Но личный деспотизм столь же мало уместен в настоящее время, как и тирания толпы. Защитники произвола утверждают, что интерес одного лица, облеченного

полновластием, всегда тождествен с интересом управляемого им народа. Но при этом забывают, что власть разделяется между тысячами подчиненных, которые все ею орудуют. Чтобы поддержать эту систему, надобно доказать не тождество интереса, а всеобщность бескорыстия, что немислимо.

Деспотизм, исходит ли он от толпы или от одного человека, одинаково ведет к понижению нравственного и умственного уровня человеческих обществ. Уничтожая безопасность и нарушая справедливость, произвол колеблет нравственные основы общества. Каждый боится за себя, уединяется, привыкает к неправде; граждане погружаются в чувственные удовольствия. Вместе с тем подавляется всякая свобода мысли, а этим задерживаются успехи просвещения. Народ погружается в апатию, которая распространяется и на правительство. Самая религия, превращаясь в орудие власти, теряет свою нравственную силу над умами. Такого рода порядок не может быть прочен в образованном обществе. Деспотизм, не имея опоры в учреждениях, ни сдержки в законах, идет неправильными шагами и рано или поздно неизбежно падает. Самые законные правительства, когда они прибегают к произволу, подрывают собственные основы, а тем более правительства, утверждавшиеся силою. Похитители престола не могут держаться ни без деспотизма, потому что все интересы обращаются против них, ни с помощью деспотизма, потому что самый деспотизм не может долго существовать *.

В этих мыслях Бенжамена Констана веет духом XIX века. Стремление к умеренной и прочной свободе утверждается не на отвлеченных теоретических началах, как у мыслителей XVIII столетия, а на жизненном опыте. Недавно прожитые крайности революции и деспотизма заставили друзей свободы искать гарантий как против произвола власти, так и против произвола толпы. Поэтому Бенжамен Констан легко мог от республики перейти к конституционной монархии. Когда в 1814 г. вернулись Бурбоны, он с радостью примкнул к новому порядку вещей. Еще прежде, нежели Людовик XVIII даровал свою Хартию²², он издал «Очерк конституции» («Esquisse (Tune constitution)») с размышлениями о конституциях и гарантиях. Но первые шаги нового правительства не соответствовали его ожиданиям. Когда же вслед за тем возвратившийся с острова Эльба Наполеон²³ решился ввести конституционный порядок, он призвал к совету Бенжамена Констана. При содействии знаменитого публициста издан был «Дополнительный акт» 1815 г. В том же году Бенжамен Констан напечатал свои давно уже приготовленные «Начала политики» («Principes de politiques»), которые должны были служить толкованием новому основному закону. Эти два сочинения, которые содержат в себе много тождественного, заключают в себе все политическое учение

Бенжамена Констана. Дополнением к ним служат изданные в то же время рассуждения «О свободе брошюр, памфлетов и журналов» и «Об ответственности министров». Другие сочинения имеют более временное значение.

Бенжамен Констан начинает свои «Начала политики» с разбора учения о народном верховенстве. Он утверждает, что это начало составляет основание всякого законного порядка, ибо закон может быть выражением или воли всех, или воли нескольких лиц. Но на чем основана законодательность воли немногих? Если на силе, то отсюда невозможно вывести права; в таком случае власть будет принадлежать тому, кто довольно силен, чтобы ее захватить. Если же право меньшего числа основано на согласии всех, то это и будет выражение общей воли. Таким образом, в мире существует только двоякая власть: законная, основанная на общей воле, и незаконная, основанная на силе. Все правительства подходят под ту или другую категорию.

Но устанавливая начало народного верховенства, необходимо определить его границы, ибо иначе оно обращается в такой же деспотизм, как и произвол одного человека. Если справедливо, что всякая частная власть зависит от общей, то несправедливо, что общая власть имеет безграничное право над лицами. Личные права существуют независимо от государственной власти, которая устанавливается для того, чтобы их охранять, а не уничтожать. Этого не понял Руссо, который требовал передачи обществу всех личных прав. Он думал устранить проистекающие отсюда злоупотребления, объявивши верховную власть неотчуждаемою и непредставимою. Но это значит признать ее деятельность невозможною. Кому бы ни принадлежала верховная власть, как бы она ни была распределена между различными органами, если она неограниченна, она становится деспотизмом. Граждане могут найти обеспечение только в признании неприкосновенных для власти прав свободы личной, свободы совести, мнений, собственности, с чем соединяются и гарантии против произвола. Власть, посягающая на эти права, уничтожает собственное свое законное основание.

Возможно ли, однако, подобное ограничение? Кто помешает власти выйти из пределов своего права? Бенжамен Констан видит гарантии против такого рода злоупотреблений: 1) в общественном мнении, которое, убедившись в известной истине, будет всегда за нее стоять; 2) в распределении уравновешивающих друг друга властей. В действительности, однако, ни то, ни другое не может служить границею государственного полновластия. В представительном правлении органом общественного мнения является самая власть, которая таким образом остается судьей собственных действий. Сам Бенжамен Констан тут же отрицает верховную решающую силу общественного мнения, утверждая, что деспотизм как отдельного лица, так и собрания не может ссылаться на согласие общества, так

как это согласие, даже если оно действительно дастся, не вправе санкционировать произвол.

Что касается до разделения власти, то этим устанавливается сдержка против отдельных властей, но никак не против их совокупности. И тут Бенжамен Констан сам себя опровергает, когда он говорит: «Если общая сумма безгранична, то нужно только, чтобы разделенные власти вошли в сделку, и тогда против деспотизма нет лекарства»*.

Ясно, что стараясь положить границы государственному полновластию, мы приходим к неразрешимой задаче, ибо каковы бы ни были эти границы, необходимо, чтобы кто-нибудь был в этом деле судьей, а кто будет этим верховным судьей, тому неизбежно будет принадлежать полновластие. В одном из позднейших примечаний к своему сочинению Бенжамен Констан поставил этот вопрос во всей его резкости. «Я утверждаю,— говорит он,— что лица имеют права и что эти права независимы от общественной власти, которая не может посягать на них, не делаясь виновною в захвате... Но когда она совершает этот захват, тогда что делать? Мы приходим здесь к вопросу о повиновении закону, одному из самых трудных, какие могут привлекать к себе внимание людей. Какое бы решение мы не приняли в этом деле, мы встречаем неразрешимые затруднения. Скажут ли, что надобно повиноваться законам единственно настолько, насколько они справедливы? Этим узаконяются самые безумные и самые преступные сопротивления: анархия будет везде. Скажут ли, что надобно повиноваться закону как закону независимо от его содержания и источника? Этим люди осуждаются на повиновение самым свирепым указам и самым незаконным властям. Высокий гений, сильные умы безуспешно старались разрешить эту задачу» **.

Однако Бенжамен Констан старается ее разрешить в смысле личного суждения. Против безусловного повиновения закону он доказывает, что при всяком повиновении необходимо удостовериться как в законности повелевающей власти, так и в том, не вышла ли она из пределов своего права? Иначе мы должны будем повиноваться всяким злодеям, которые присвоят себе власть, и самым безнравственным предписаниям. Террористы ссылались на это учение, которое произвело, может быть, более зла, нежели все другие человеческие заблуждения. Повиновение закону, без сомнения, есть обязанность, но как все обязанности, она не безусловна, а относительна. Она предполагает, с одной стороны, что закон исходит от законного источника, а с другой стороны, что он держится в должных границах ***.

См.: Constant B. Principes de Politique. Ch. I: De la souveraineté du peuple.

Constant B. Cours de politique constitutionnelle. I. Additions et Notes. Note V. P. 349.

Ibid. P. 351-352.

Но кто определит эти границы? Скажем ли мы, что они определяются самой природою? К этому склоняется Бенжамен Констан: «Слово закон,— говорит он,— так же неопределенно, как слово природа; злоупотребляя последним, мы разрушаем общество; злоупотребляя первым, мы подчиняем его тирании. Если бы нужно было избирать между обоими, я сказал бы, что слово природа возбуждает, по крайней мере, почти тождественные понятия у всех людей, тогда как слово закон может прилагаться к понятиям совершенно противоположным» (<Constant B. Cours de politique constitutionnelle.> P. 351).

С этой точки зрения Бенжамен Констан старается определить, по каким признакам можно судить, что закон не есть истинный закон. Первым таким признаком он считает обратное действие, которое противоречит самым основаниям общественного договора. Вторым признаком служит то, что данный закон противоречит нравственности. Всякий закон, который предписывает доносы или воспрещает давать убежище тому, кто об этом просит, не есть закон. Точно так же законы, разделяющие людей на классы или делающие их ответственными за чужие деяния, например законы против дворян и эмигрантов, против их отцов и родственников, не суть настоящие законы. Бенжамен Констан замечает, впрочем, что он вовсе не думает проповедовать неповиновение. «Пусть оно будет воспрещено не из уважения к власти, превышающей свои права, но из внимания к гражданам, которых неосторожная борьба могла бы лишить их выгод общественного состояния». Только в случае предписания явно безнравственных действий следует отказать в повиновении (Ibid. P. 353-354).

Нетрудно видеть, до какой степени шатки все эти определения. Слово природа не только не возбуждает почти тождественных понятий у всех людей, как уверяет Бенжамен Констан, но каждый понимает его по-своему, и когда Бенжамен Констан сам пытается положить непреложные границы действия власти, у него выходит только туманный образ, лишенный всякого юридического значения. О личных правах, которые требовалось оградить, нет уж речи; дело идет только об отношении юридического предписания к нравственному закону. К этому, в сущности, сводится весь вопрос. Не различив строго права от нравственности, Бенжамен Констан запутался в безвыходный лабиринт. Положить юридические границы действию верховной власти нет никакой возможности, ибо при решении юридических вопросов необходим высший судья, за которым и признается верховная власть. Признание независимости личных прав от общественной воли не что иное, как пустая мечта. Личные права всегда подчиняются действию власти, ибо определение их принадлежит исходящему от власти положительному закону. Власть может поступить несправедливо; ее можно стараться убедить; но на нее нет апелляции. В юридической области верховная власть, по существу своему, абсолютна. Она находит

свой предел только в нравственной области, где судьей является не воля власти, а личная совесть. Побуждаемый совестью, гражданин может отказать в повиновении безнравственному закону, и нравственно он будет прав; но юридически он обязан принять то наказание, которое полагается законом за неповиновение. Этим только способом право примиряется с нравственностью. Конечно, эти пределы не всегда соблюдаются. Нередко притеснительная власть вызывает возмущение; но возмущение не есть право, а нарушение права. Недостаток философской точности понятий у французского публициста обнаруживается в этих рассуждениях, где односторонний либерализм берет верх над здравым пониманием государственных отношений.

Та же теоретическая неточность понятий оказывается и в его учении о разделении властей. Тут Бенжамен Констан становится уже чисто на почву конституционной монархии, стараясь доказать, что она дает полные гарантии свободе*. К этому ведет разделение властей. Монтескье признавал их три: законодательную, исполнительную и судебную. Бенжамен Констан замечает, что так как они могут прийти в столкновение, то необходима между ними четвертая, нейтральная власть, которая бы их сдерживала и мешала взаимным захватам. Это и есть власть королевская (*puissance royale*), которой задача состоит в соглашении всех остальных. Сообразно с этим Бенжамен Констан вместо трех признает пять властей: 1) королевскую; 2) исполнительную, предоставленную министрам; 3) власть, представляющую постоянство в виде наследственной палаты; 4) власть, представляющую общественное мнение в лице выборной палаты; 5) власть судебную **. К этому он присоединяет еще общинную власть, которая, по его мнению, должна иметь независимый характер ***.

В этом разделении нельзя не заметить смешения властей верховных и подчиненных. Министерская власть, которой вверяется исполнение, никак не может быть поставлена наряду с королевской, ибо она зависит от последней, от нее получает свою силу и в лице министров подлежит смене. Значение министров в конституционной монархии состоит именно в том, что они не обладают независимой властью, а как зависимые и ответственные лица состоят посредниками между королем и палатами. За исключением этой чисто теоретической ошибки, Бенжамен Констан превосходно определил роль короля в конституционной монархии. Потребность не только разделения, но и соглашения властей была впервые понята им и составляет существенный шаг вперед против учения XVIII века. Эту роль он присваивает королю. «Король в свободном государстве,—

* Constant B. Esquisse (Tune constitution. Avant propos. P. 171; также: Ibid. Note H. P. 308.

** Constant B. Principes de Politique. Ch. 2. P. 19.

*** Constant B. Esquisse d'une constitution. Ch. 1. P. 175, примеч. 2; Note B. P. 285.

говорит он,— есть существо особое, возвышающееся над различиями мнений, не имеющее иных интересов, кроме охранения порядка и свободы, не могущее никогда возвратиться в общую среду, а потому не подлежащее всем страстям, которые возбуждает эта среда, и тем, которые перспектива возвратиться в нее неизбежно питает в сердце агентов, облеченных временною властью. Это высокое преимущество королевского сана должно вселять в ум монарха такую безмятежность и в его душу такое чувство спокойствия, которые не могут быть достоянием лица, находящегося в низшей сфере. Он, так сказать, парит над человеческими тревоблениями. Верх политического искусства состоит именно в том, что среди самых разногласий, без которых нет свободы, создается неприкосновенная область безопасности, величия, беспристрастия, которая позволяет этим разногласиям развиваться беспрепятственно, пока они не переходят известных границ, и как скоро является опасность, полагает им предел средствами законными, конституционными, изъятými от всякого произвола» *. Это именно происходит в Англии. Если опасность грозит со стороны исполнительной власти, король сменяет министров. Когда деятельность наследственной палаты становится вредною, король дает ей новое направление назначением новых пэров. Захватам выборной палаты король полагает преграду своим вет о или распушенной. Наконец, суровость судебной власти смягчается правом помилования.

Этим способом разрешаются вместе с тем два существеннейших вопроса относительно исполнительной власти: ее смена и ее ответственность. Фактически исполнительная власть всегда находится в руках министров, но в абсолютной монархии смена их затрудняется тем, что высшая власть состоит их союзником, а в республике тем, что она является их врагом. И здесь и там невозможно этого сделать без глубокого потрясения, которое нередко хуже самого зла. В конституционной монархии, напротив, этот вопрос разрешается легко; тут устанавливается высший судья, который, не принимая участия в исполнении, всегда может удалить ненадежных исполнителей. Они не судятся, не наказываются; в них не возбуждается поползновение ввиду самосохранения, удержать во что бы ни стало свою власть: перемена совершается правильно и мирно. С тем вместе является возможность установить ответственность, опять же не потрясая оснований государства. В республике отвечают не только министры, но и сам глава исполнительной власти. Необходимо предать его суду; а к этому будут прибегать только в крайних случаях, ибо подобное средство приостанавливает всю деятельность государственного управления. В конституционной монархии, напротив, король остается безответственным лицом; сохраняется неприкосновенный центр, которым все держится. Министры же подлежат ответственности

за все свои действия и легко могут быть удалены. Нет сомнения, что более деятельная монархическая власть имеет в себе нечто привлекательное. Но учреждения должны сообразоваться с временем. Личная деятельность монарха неизбежно уменьшается с успехами просвещения. В свободной конституции за королем остаются еще высокие и благородные преимущества, которые могут удовлетворить возвышенные души. Монарх остается верховным решителем судеб народа, связующим звеном всех государственных элементов (<Constant B. Principes de Politique. Ch. 2. P. 21>).

При наследственной монархии необходимо и наследственное высшее сословие, которое должно составить верхнюю палату. Без этой поддержки монарх остается одиноким и держится только силою. При полном равенстве граждан монархия превращается в деспотизм. С другой стороны, наследственность одна дает верхней палате достаточную независимость. Палата, составленная из лиц, пожизненно назначаемых королем, всегда будет более или менее в его руках и не в состоянии служить противовесом выборному собранию. Если же и верхняя палата будет выборная, то исчезнет тот элемент постоянства, который должен уравнивать демократическую подвижность. Но для того чтобы наследственная палата не превратилась в замкнутую аристократию, опасную и для правительства, и для народа, необходимо, чтобы число пэров не было ограничено. Правда, король может излишним назначением пэров унизить их достоинства; но собственный его интерес скоро покажет ему вред подобной политики (Ibid. Ch. 4).

Бенжамен Констан поддерживал и провел в 1815 г. начало наследственности верхней палаты против мнения самого Наполеона, который хотя и понимал необходимость аристократии, однако не считал возможным установить ее во Франции. «Конституция, опирающаяся на сильную аристократию,— говорил он,— похожа на корабль. Конституция без аристократии не более, как воздушный шар, потерянный в пространстве. Можно управлять кораблем, потому что есть две силы, которые уравнивают друг друга: руль находит точку опоры; но воздушный шар является игрищем одной силы; ему недостает точки опоры; ветер его уносит, и управление становится невозможным». Тем не менее в 1815 г. Наполеон утверждал, что наследственная пэрия не соответствует настоящему состоянию умов во Франции. Она оскорбит армию, раздосадует защитников равенства и возбудит множество личных претензий. Для нее нет элементов, ибо нет преданий, исторического блеска и крупных состояний. В Англии аристократия всегда жила с народом; ей Англия обязана свободой. Но через тридцать лет, говорил Наполеон, «мои подобно грибам выросшие пэры будут или солдаты, или камергеры, они будут знать только лагерь или переднюю» *.

* Constant B. Cours de politique constitutionnelle. Note H. P. 306-316.

Сам Бенжамен Констан в прежнее время, когда Наполеон пытался создать новую аристократию, доказывал, что аристократия без наследственных преданий немыслима. Новые дворяне должны примыкать к существующему уже веками освященному сословию, которое распространяет на них свое значение, а не начинают с себя самих. Возвращение эмигрантов вслед за Бурбонами подало ему надежду, что старинное дворянство Франции сумеет занять подобающее ему место в новом порядке вещей. С течением времени, однако, он должен был в этом разубедиться. «Не могу отрицать,— писал он позднее,— что в теории постепенно представлявшиеся моему уму соображения и внушенные многочисленными опытами размышления повергли меня в значительное недоумение, не столько, может быть, насчет необходимости, сколько насчет возможности пэрии. С нашею народною склонностью, с нашею любовью к почти безусловному равенству, с разделением наших имений, с их постоянной подвижностью, с постепенно возрастающим влиянием торговли, промышленности и денежных капиталов, которые сделались по крайней мере столь же необходимыми элементами настоящего общественного порядка и наверное более необходимыми опорами правительства, нежели самая поземельная собственность, наследственная власть, представляющая одну землю и основанная на сосредоточении имений в немногих руках, имеет в себе что-то противоестественное. Пэрия, раз она установлена, может существовать, и это можно видеть, ибо она у нас есть; но если бы она не существовала, я подозревал бы, что она невозможна» *.

В этих мыслях Бенжамена Констана выражается истинный взгляд на наследственность верхней палаты. Теоретически она составляет самую крепкую опору конституционной монархии, но она возможна только там, где ее создала история. Иначе вместо могущественного сословия, имеющего не только независимое политическое положение, но и нравственное влияние на общество, является, по словам Наполеона, либо лагерь, либо передняя.

Таким же видоизменениям подверглось мнение Бенжамена Констана насчет выборной палаты. Он стоял за прямые выборы, которые одни обеспечивают живую связь между представителем и избирателями, но он считал необходимым установление имущественных условий для пользования политическими правами. Ни один народ, говорит Бенжамен Констан, не признавал полноправными членами государства всех без различия, живущих на его территории. Самая крайняя демократия исключает иностранцев и людей не достигших известного возраста. Последние не имеют достаточного разума, первые достаточного интереса в общем деле. Но это начало требует еще дальнейшего расширения. Люди, которых бедность обрекает на постоянную зависимость и на поденную работу, не обладают большим разумением, нежели дети,

* Ibid. I. P. 313.

и так же мало заинтересованы, как иностранцы в общем благосостоянии, которого элементы им неизвестны и которыми они только косвенно пользуются. В рабочем классе, несомненно, можно найти столько же патриотизма, как и в высших. Он часто готов к самым героическим жертвам, и его преданность отечеству тем более достойна удивления, что он не награждается ни славой, ни богатством. Но иное дело патриотизм, который дает человеку мужество умирать за свое отечество, иное тот, который делает его способным понимать общие интересы. Последний требует других условий, именно досуга, необходимого для приобретения сведений и для развития разума, а этот досуг дается только собственностью. Следовательно, она одна делает человека способным пользоваться политическими правами. Это преимущество тем необходимее, что только при этом условии собственность ограждается от захватов. Ближайшая цель несобственников состоит в приобретении собственности. Если сверх свободы, которую государство обязано им дать, они получают от него политические права, которых оно не обязано давать, они неизбежно предпочтут правильному пути, ведущему к собственности посредством работы, неправильный путь посредством законодательных мер. Для них это будет источником развращения, для государства — источником смут. Как скоро несобственникам вручаются политические права, происходит одна из трех альтернатив: они получают направление или от себя самих, и тогда они разрушают государство, или от людей, держащих власть, и тогда они становятся орудиями тирании, или, наконец, ими руководят люди, стремящиеся к власти, и тогда они делаются орудиями фикции. Необходимо, следовательно, чтобы представительные собрания избирались собственниками и состояли из собственников. Но каковы должны быть размеры собственности? Слишком ничтожное имущество не более как призрак; слишком высокий ценз становится несправедливостью. Настоящим размером можно считать такой доход, который дает человеку возможность существовать в течение года без необходимости работать на других.

К этому присоединяются соображения другого рода. Собственность бывает двоякая: движимая и недвижимая, поземельная и промышленная. Поземельная собственность одна дает тот охранительный дух, который необходим для политических союзов. Земледелец свойством своих занятий приучается к правильной жизни. Случай, который всегда производит нравственный беспорядок, имеет на него мало влияния. Успехи его медленны; он зависит от природы и независим от людей. Все это дает ему известное спокойствие, чувство безопасности, любовь к порядку, привязанность к своему делу. Промышленная собственность, напротив, прельщает человека перспективою барыша; она более искусственна и подвижна. Случай играет здесь важную роль. Тут нет этого медленного хода, который дает человеку правильные

привычки. Тут больше зависимости; тут рассчитывается на прихоти, возбуждается тщеславие. В умственном отношении земледелец имеет большие преимущества перед промышленником: земледелие требует постоянных опытов и наблюдений, которые развивают ум; промышленные профессии под влиянием разделения работы нередко обрекают людей на чисто механические действия. Поземельная собственность привязывает человека к месту, создает ему родину; для промышленной собственности все страны равны; переселения совершаются легко; интерес не связан с патриотизмом. Наконец, поземельная собственность содействует общественному порядку самым положением, в которое оно ставит людей. Рассеянные по деревням, земледельцы нелегко возбуждаются агитаторами, тогда как скученные в городах промышленники прямо отдаются им на жертву.

Конечно, промышленная собственность имеет и свои выгоды. Если поземельная собственность обеспечивает устойчивость учреждений, то промышленная собственность дает независимость лицам. Но это касается только более или менее значительных состояний, которых владельцы большею частью состоят вместе и поземельными собственниками. Ограничение политических прав одною поземельною собственностью не исключает их из представительства. Что же касается до тех, которые не имеют иных средств существования, кроме своего промысла, то будучи по самому своему положению обречены на механическую работу, они лишены средств образования, а потому при самых чистых намерениях они легко могут сделать государство жертвою своих заблуждений. Их должно уважать; им надобно оказать покровительство; но не следует впускать их в область, куда не призывает их прямое назначение, где их содействия излишни, а их страсти и их неведение могли бы быть опасны.

Признается и третий вид собственности, которую называют умственною. Утверждают, что умственный труд и приобретенная им репутация служат достаточным ручательством разумного пользования политическими правами. Но обладание действительным умственным капиталом доказывается успехом, успех же ведет к обогащению; следовательно, и тут нет никакой нужды делать исключение. Кроме того, так называемые либеральные профессии более всего требуют, чтобы умственный капитал соединялся с собственностью, для того чтобы они не оказались вредными в политических прениях. Эти профессии, достойные всякого уважения в других отношениях, не дают уму того практического смысла, который необходим для обсуждения человеческих интересов. Во времена революции весьма почтенные литераторы, математики, химики кидались в самые крайние мнения вследствие незнакомства с пракческою жизнью и привычки к чисто отвлеченным рассуждениям. А если таковы были заблуждения высших умов, то чего ожидать от второстепенных деятелей, от непризнанных

талантов? Необходимо наложить узду всем оскорбленным самолюбиям, всем уязвленным тщеславиям, которые обращаются против общества, видя в нем виновника своего неуспеха. Всякий умственный труд, несомненно, имеет право на уважение, но односторонний труд дает уму исключительное направление, которое всего вреднее отзывается на политических делах. Для практической деятельности необходимо противовесие, и это противовесие можно найти только в собственности, которая одна устанавливает между людьми однообразные отношения и заставляет их сойти с высоты химеричных теорий на почву практических интересов. Такого рода предосторожность необходима не только для порядка, но и для свободы, ибо, по странному противоречию, те самые ученые, которые кидаются в крайний либерализм, легко мирятся и с деспотизмом. Произвольная власть менее всего их касается. Она ненавидит мысль, но видит не в науках средство управления, а в искусстве развлечения для управляемых *.

В этих рассуждениях Бенжамена Констана ясно выражается желание утвердить свободу на прочных основах, предохранив ее от тех крайних мнений, которые подорвали ее во времена революции. Многое в них подмечено тонко и верно; однако они идут слишком далеко. В позднейшее время он сам убедился в односторонности этих взглядов. «Я увидел,— говорит он,— что в наш век промышленная собственность составляет более действительную и в особенности более могущественную опору, нежели поземельная; признавши свою ошибку, я исправил свое сочинение»**. Вследствие этого он рядом с поземельною собственностью допустил и промышленную; платящую известную подать как условие политических прав.

Бенжамен Констан ограничился этими общими началами. Вопрос об отношении избирательного ценза к действительному состоянию общества был им вовсе не затронут. Впоследствии этот вопрос сделался во Франции предметом самых горячих прений; он привел к революции 1848 г.

Рассмотревши отдельные пункты представительного устройства, право инициативы, публичность прений, устранение писанных речей, которые он считает вредными для обсуждения политических вопросов, Бенжамен Констан обстоятельно разбирает существенный вопрос об ответственности министров в конституционной монархии. Мы видели, что он этому вопросу посвятил отдельную брошюру. В «Началах политики» он сводит к общему итогу свои мысли об этом предмете.

По его мнению, министры подлежат ответственности: 1) за дурное употребление своих законных прав; 2) за незаконные действия, противные общему благу; 3) за незаконные действия, нарушаю-

* Constant B. Principes de Politique. Ch. 6.

** Constant B. Esquisse d'une constitution. Ch. 7. P. 249, примеч. 2.

щие личные права. Что касается до последних, то они должны быть предоставлены обыкновенным судилищам наравне со всеми другими посягательствами на личные права. Против этого нельзя ссылаться на государственную пользу, о которой обыкновенные судилища не в состоянии судить. Государственная польза не может состоять в произвольных действиях власти. «Что касается до меня,— говорит Бенжамен Констан,— то я не признаю общественной безопасности без личных гарантий. Я думаю, что общественная безопасность именно тогда подвержена колебанию, когда граждане видят в правительстве грозу, а не защиту. Я думаю, что произвол — настоящий враг общественной безопасности; что мрак, которым окружает себя произвол, только усиливает зло; что нет общественной безопасности без правосудия, нет правосудия без законов и нет законов без формы. Я думаю, что свобода каждого гражданина достаточно интересует общество, для того чтобы причина всякой направленной против нее строгости была известна естественным его судьям. Я думаю, что такова главная, священная цель всякого политического устройства, и что так как никакая конституция не может найти в чем-либо другом свое узаконение, то напрасно искать в ином обеспеченную силу и прочность».

Но если обыкновенные судилища способны решать дела последней категории, то им невозможно предоставить суждение первых двух. Как скоро дело идет об общественном благе, так обвинение должно быть предоставлено представителям общества. В каких случаях оно может иметь место, об этом нет возможности устанавливать какие-либо определенные правила. Вредные для государства действия могут быть бесконечно разнообразны; поэтому всякий закон об ответственности министров неизбежно носит на себе печать произвола. Но по этому самому необходимо установить в этих случаях совершенно беспристрастное, хотя и политическое судилище. Такова палата пэров, которая будучи равно независима от правительства и народа, одна способна решать столкновения между исполнительной властью и представительством. Монарх же может участвовать здесь только правом помилования, которого нельзя у него отнять. Ибо нет никакой необходимости, что злоупотребляющий своею властью министр был непременно наказан: для общего блага достаточно, если он будет лишен власти, а с тем вместе возможности делать зло. При неизбежной неопределенности закона необходимо, чтобы приложение было самое мягкое (Constant B. Principes de Politique. Ch. 9).

Бенжамен Констан восстает и против объявления нижней палаты, что министры потеряли ее доверие. По его мнению, потеря доверия оказывается сама собою всякий раз, как министерство лишается опоры большинства. «Когда мы будем иметь, чего у нас еще нет,— говорит он,— но что совершенно необходимо во всякой конституционной монархии, именно министерство, действующее согласно, прочное большинство и оппозицию, резко отделенную

от этого большинства, никакой министр не в состоянии будет держаться, если он не имеет на своей стороне большинства голов, разве он сделает воззвание к народу путем новых выборов, и тогда эти новые выборы будут пробным камнем оказанного министру доверия» (Ibid. Ch. 10).

Этими немногими словами ограничивается то, что Бенжамен Констан говорил о парламентском правлении. Он вполне признавал его необходимость, но в то время, когда он писал во Франции, не было еще потребности обстоятельного рассмотрения этого вопроса. С ответственностью министров связана и ответственность низших должностных лиц. Исполняющий незаконное предписание не может ссылаться на приказание начальника. Он лично отвечает за свои действия. Иначе администрация превращается в орудие произвола и притеснения. Безусловное повиновение неприложимо и к военной дисциплине, не только что к гражданскому управлению. Человек — не мертвая машина: он непременно должен обсуждать то, что он делает; в этом состоит его нравственное достоинство. И если он иногда будет повергнут в недоумение, то это составляет неизбежное последствие человеческих дел. Лучшим против этого лекарством служит суд общественной совести, который исправляет личные ошибки. Таков суд присяжных, который является опорой общественного порядка и вместе гарантией для исполнителя (Ibid. Ch. 11).

Если Бенжамен Констан старался отстоять самостоятельность суждений низших агентов правительства, то еще более он стоял за независимость общинной власти. Мы видели, что он признавал ее даже отдельною политическою властью. Он утверждал, что вмешиваясь в местные дела, центральная власть выходит из пределов своего права, ибо все, что касается интересов известной местности, должно быть решено представителями этой местности. Превращение общинных властей в агентов правительства ведет к тому, что или общие законы плохо исполняются, или местные нужды остаются в пренебрежении, а иногда происходит и то и другое вместе. Революция в одностороннем стремлении к систематизации уничтожила всякую местную жизнь и всякие местные особенности; деспотизм воспользовался этим для своих целей. Результатом такой системы может быть только уничтожение истинного патриотизма, основанного на местных привязанностях, и сосредоточение всех интересов и всех честолюбий в столице, которая поглощает в себе все. Государство представляет однообразную, мертвую равнину, где рассеянные единицы блуждают, как атомы, нигде не находя точки опоры. Бенжамен Констан требует для внутреннего управления известного рода федерализм; не того, который устанавливается в союзных государствах, соединяющихся только для внешних сношений и остающихся вполне самостоятельными внутри: подобный федерализм совместен с внутренним деспотизмом и внешнею анархией. Истинный федерализм допускает известное подчинение

членов целому не только относительно внешних, но и относительно внутренних дел, ибо прочное соединение неизбежно влечет за собою взаимное влияние. Но это подчинение должно касаться исключительно общих интересов; все, что касается до местных нужд, должно подлежать верховному решению местных органов (Ibid. Ch. 12; ср.: Note B. P. 285).

Возражения Бенжамена Констана против излишней централизации, водворившейся во Франции при Наполеоне, несомненно верны; но желание дать местной власти безусловную автономию во всем, что не касается общих государственных интересов, обличает односторонность индивидуалистического либерализма. Государство — не федерация общин, а органический союз, в котором члены, не теряя самостоятельности своей частной жизни, состоят в органическом подчинении целому. Даже относительно чисто местных интересов за государством всегда остается верховное право контроля: оно является защитником интересов меньшинства против притеснений большинства и будущих поколений против расточительности настоящих. Чем меньше единица, чем скуднее в ней образованные силы, тем менее она может иметь притязание на верховенство. Самый патриотизм, который Бенжамен Констан хотел основать на местных привязанностях, получает гораздо более обширное и высокое значение, когда он направлен на целое государство, которое одно играет историческую роль.

С большею основательностью Бенжамен Констан прилагает к отдельному лицу то начало, на котором он строит общинную власть: все, что касается исключительно лица, подлежит собственному его решению (Ibid. Ch. 12. P. 98). Нет сомнения, что частная жизнь составляет самостоятельную сферу, в которую не должна вторгаться государственная власть. Отсюда не следует, однако, что личные права не подлежат действию власти, как утверждает Бенжамен Констан. Источник личного права лежит вне государства: он заключается в человеческой свободе; но определение границ права принадлежит государственной власти и никому другому. Все, что может сделать теория, это — выяснить те разумные гарантии права, которые должны быть установлены в государстве, признающем начало свободы. В этом отношении учение Бенжамена Констана заслуживает полного одобрения.

К удивлению, он не причисляет собственности к личным правам, изъятым из действия власти. По его мнению, собственность обязана своим происхождением исключительно обществу; иначе она ограничивается личным правом занятия, которое не что иное, как право силы, то есть вовсе не право. В этом положении, как замечает новейший издатель сочинений Бенжамена Констана, Лабулэ²⁴, заключается теоретическое заблуждение. Право занятия есть истинное право, ибо оно вытекает из свободы, составляющей источник всякого права; нарушение же занятия есть неправда, ибо им нарушается свобода лица. От общественной власти зависит

только законное определение этого права. Несмотря, однако, на это противное истинным началам признание собственности за чисто общественное установление, Бенжамен Констан считает ее священной и неприкосновенною. Он восстает против коммунизма, который обрек бы человечество на неподвижность, оставляя его на самой грубой и дикой ступени своего существования. И если собственность как общественное учреждение подлежит действию власти, то она, с другой стороны, так связана со всею личною жизнью человека, что вместе с последнею она должна быть изъята от произвола. Нарушение собственности неизбежно влечет за собою и нарушение свободы. В силу этого начала Бенжамен Констан восстает не только против конфискации, но и против всяких мер, лишаящих человека законно приобретенного достояния. Таковы государственные банкротства и произвольное сокращение уплаты подрядчикам. Каким образом может государство требовать от граждан, чтобы они исполняли свои обязательства, когда оно не исполняет своих? Оно разоряет часто невинных, сваливая на известную часть народа то бремя, которое, по его мнению, слишком тяжело для всех. А между тем оно этим подрывает собственный свой кредит, вызывает спекуляцию и заставляет всех честных людей воздерживаться от всяких с ним сделок. Бенжамен Констан считает даже излишние подати посягательством на собственность граждан. Но тут, очевидно, исчезает всякая юридическая граница, ибо что считать необходимым и что излишним — это определяется исключительно воззрением на изменчивые общественные потребности (Ibid. Ch. 15).

Еще более собственности должна быть ограждена личная свобода. Бенжамен Констан считает ее нарушение уничтожением первого условия и единственной цели гражданского порядка. Произвол, говорит он, подрывает самые основания учреждений; ибо политические учреждения не что иное, как договоры; существо договоров состоит в положении твердых границ; произвол же уничтожает эти границы. Власть устанавливается именно для охранения имущества, свободы и жизни граждан; но если всему этому грозит опасность со стороны самой власти, то какая выгода от ее покровительства? Одно притеснение заменяется другим. И когда произвол раз водворился, он грозит всем учреждениям. При нем невозможны и независимость судов и свобода печати. Все общественные и частные положения подвергаются опасности; злоупотреблениям нет конца, ибо власть находит этот способ действия столь коротким и удобным, что она не хочет уже употреблять других. Граждане остаются без защиты не только против высших властей, но и против низших; ибо государи и министры по своему положению легко могут направлять общие дела, но не имеют возможности знакомиться со всеми подробностями. Они поневоле принуждены полагаться на низших агентов, которые всегда могут ввести их в заблуждение. Против этого существует только одно

средство — соблюдение форм и ответственность агентов. Всякие произвольные нарушения свободы, аресты и ссылки без суда должны быть воспрещены (Ibid. Ch. 18).

Еще драгоценнее для человека свобода внутренняя, свобода совести. Она столь же требуется самою религиею, как и справедливостью. Если бы религия никогда не была притеснительна, она всегда была бы для людей предметом любви и уважения. Из всех человеческих чувств это — самое естественное и самое глубокое. Религия служит утешением во всех скорбях; она составляет центр, в котором вне действия времени и порока соединяется все высокое и прекрасное, все, что составляет достоинство человеческой природы. Почему же эта необходимая опора человека, этот единственный свет среди окружающего нас мрака так часто делался предметом ожесточенных нападений, а именно со стороны образованнейшей части общества? Единственно оттого, что в руках власти она превращалась в орудие притеснения и тем возбуждала против себя все независимые души. Каким бы способом правительство ни вмешивалось в дела веры, оно этим всегда делает зло. Оно бессильно, когда оно хочет оградить религию от духа испытаний, ибо оно может действовать не на убеждение, а единственно на интерес. Этим дается привилегия лицемерию. Еще бессильнее власть, когда среди скептического века она хочет восстановить религию, ибо тут она имеет против себя и общее мнение и тщеславие. Утверждают, что религия нужна для обуздания народа; как будто бедный, против которого направлены все общественные силы, требует еще этой нравственной узды, а богатый, который имеет все средства избавиться от общественных стеснений, может быть от нее изъят. Превращение религии в орудие обыкновенной пользы прихожан унижает ее и ведет к ее падению. Единственный уместный в свободном обществе порядок состоит в полной терпимости. Умножение сект, которого опасаются, полезно как для религии, так и для правительства. Оно мешает религии низойти на степень механического обряда. Возбуждая соревнование, оно поддерживает нравственность. Правительство же в самом этом раздроблении находит гарантии мира, ибо легче справиться с многочисленными, но слабыми союзами, нежели предупредить столкновение немногих крупных. Это неприятное положение правительства не мешает ему, однако, оказывать всем вероисповеданиям одинаковую помощь. Полагая жалование служителям церкви, оно сохраняет связь между религиею и государством. Вновь зарождающиеся секты не нуждаются в этой помощи; но как скоро они упрочились, они имеют одинаковое с другими право на эту поддержку (Ibid. Ch. 17).

Но из проявлений личной свободы всего важнее для политической жизни свобода печати. Было время, когда правительства считали нужным иметь надзор не только за печатью, но и за устным словом. И точно, слово составляет необходимое орудие всякого

преступления. Опыт, однако, убедил людей, что средства предупреждения хуже самого того зла, которое они хотят предупредить. Ныне признается, что слово подлежит наказанию, только когда оно переходит в действие. То же самое должно иметь место относительно печати. Иначе приходится или пресекать злоупотребления мысли путем суда, или предупреждать их предварительными мерами. В первом случае закон будет всегда обходиться, ибо мысль легко облекается в такие формы, которые делают ее неуловимою. Во втором же случае устанавливается произвол во всей его ширине. Через это истина подавляется наравне с ложью. Властям дается право делать всевозможное зло, опираясь на плохие рассуждения. Единственный результат предупредительных мер состоит в том, что писатели, имеющие чувство независимости, нераздельное с законом, приходят в негодование; они прибегают к язвительным насмешкам; начинают ходить по рукам тайные, а потому тем более опасные произведения; любопытство публики питается личными анекдотами, возмутительными теориями, клеветами; наконец, запрещенным сочинениям придается чрезмерная важность. Не свобода печати производит революции, а долговременное лишение этой свободы. В великих государствах Нового времени свобода печати составляет единственное средство гласности, а потому единственную гарантию граждан. Без нее все другие гарантии — гражданские, политические и судебные — становятся призрачными. Самая власть, окружая себя мраком, освящает все злоупотребления и дает простор произволу низжайших своих орудий. Но окончательно все такие меры оказываются тщетными, ибо в настоящее время нет возможности воздвигнуть китайскую стену между различными государствами. Напечатанное в одном месте легко проникает в другие. Запрещения дают только премию контрабанде. В настоящее время единственное разумное начало состоит в том, что писатели должны ответственность перед судом за свои сочинения, так же как за свои слова и действия *.

Наконец, с личной свободой связана свобода промышленности. Так как право общества над лицами заключается единственно в том, чтобы не позволять им вредить друг другу, то вмешательство ее в область промышленности может быть допущено только там, где предполагается вред. Но вреда нет там, где господствует свободное соперничество, которое вытекает из самой природы промышленности. Вред начинается там, где есть притеснение или обман. Следовательно, права власти ограничиваются охранением свободного соперничества. Всякое же установление привилегий есть притеснение, ибо этим дается преимущество одним в ущерб другим. Нарушая справедливость, привилегии наносят и материальный вред обществу: если меньшинство обогащается, то большинство от этого беднеет. Привилегированные отрасли, будучи ограждены

* Constant B. Esquisse cTune constitution. Ch. 8.

от конкуренции, производятся с меньшим тщанием и с меньшей бережливостью. Для поддержания монополии правительства принуждены прибегать к самым притеснительным мерам. Наконец, этим возбуждается контрабанда; искусственно создается разряд людей, привычных к нарушению закона. Если запретительная система не уничтожила промышленности тех стран, к которым она прилегает, то этим они обязаны единственно началу личной инициативы, которая во многом исправляет дурные последствия правительственной регламентации. И не только запрещения, но и самые пособия действуют вредно на общество. Этим дается ложное направление капиталам; промышленность превращается в азартную игру; в людях ослабляется чувство личной ответственности, которое одно дает им энергию и возвышает их нравственность. Личный интерес без всякой поддержки со стороны правительства совершенно достаточен для приискания наиболее выгодных занятий. Если промышленные классы нередко страдают, то причины заключаются вовсе не в недостатке поддержки и направления, а главным образом в тех произвольных стеснениях, которым они подвержены*.

Главная гарантия личных прав заключается в судебной власти. Отсюда начало несменяемости судей, которые должны быть независимы как от правительства, так и от народа. В конституционной монархии назначение их, несомненно, должно принадлежать королю, ибо правительство имеет гораздо более средств сделать хороший выбор, нежели общество. С несменяемостью должно соединяться и жалованье, достаточное для обеспечения их независимости. Но к этому правительственному элементу должен присоединиться и другой, народный, именно присяжные. Многие считают французов по своему характеру неспособными к этой должности; но эта мнимая неспособность происходит единственно от непривычки к свободе. Учреждение присяжных тем необходимее, что оно воспитывает в народе нужные для него качества. К несменяемости судей, к святости присяжных надобно присоединить еще строгое соблюдение судебных форм, которые служат необходимою гарантией для подсудимых. Всякое сокращение форм равносильно наказанию. И когда это делается в важнейших преступлениях, то это ведет к сугубой нелепости, ибо предосторожности, которые считаются необходимыми в маловажных случаях, устраняются там, где они всего нужнее. Говорят, что одни злодеи изъеются от благодетельного действия законов; но надобно сначала доказать, что они злодеи: формальности служат именно для того, чтобы прийти к этому убеждению. Формы ненавистны только произволу и тирании. Наконец, необходимым дополнением к судебным гарантиям служит право помилования, которое смягчает неизбежные несовершенства закона (Constant B. *Principes de Politique*. Ch. 19).

Если судебная власть служит гарантией свободы, то есть другой элемент, который может грозить ей опасностью, именно войско. Бенжамен Констан обратил внимание и на этот вопрос. Он указывает на то, что Англия обязана свободой своему положению, которое избавляет ее от необходимости держать постоянное войско. На материке без него обойтись невозможно; в войске же требуется дисциплина, которая легко может сделать его орудием произвола. Для предупреждения этого Бенжамен Констан считает необходимым держать войско на границах государства. Внутри же должна быть установлена двоякая сила: жандармы для преследования преступников и национальная гвардия для подавления внутренних возмущений. Бенжамен Констан думал, что национальная гвардия, составленная из собственников, всегда будет склонна к охране порядка, мысль, которая не всегда находила свои оправдания в действительности (ср.: Ibid. Ch. 6). В позднейших примечаниях он предложил еще другое средство предупредить противозаконное употребление военной силы, именно назначение военных начальников не королем, а министрами *. Лабулэ справедливо замечает, что подобное предложение составляет конституционную ересь. К этому привело Бенжамена Констана неправильное разделение королевской власти и министерской. Министры в конституционной монархии, так же как и в абсолютной, не более как советники короля. Истинная гарантия против злоупотреблений военной силы заключается в общем духе народа, который сообщается и войску. Правительства, которые подавляли свободу оружием, всегда находили опору в общественном мнении.

Наконец, Бенжамен Констан восстает против всякого приостановления или нарушения конституции для ее спасения. Правительство, которое нарушает конституцию, говорит он, тем самым уничтожает собственное свое юридическое основание: с этого момента оно держится только силою. В сущности, этим способом сохраняется не конституция, а единственно власть некоторых людей, которые хотят держаться во что бы ни стало. И если бы еще этим поддерживалось правительство! Но беззаконие, исходящее от правительства, возбуждает стремление к беззаконию и в подданных; произволу дается полный простор. Власть потеряла свой отличительный признак охранительницы закона; она вручает своим врагам то самое оружие, которым она пользуется. Какова бы ни была опасность, подобные средства только увеличивают зло. Если падение власти неизбежно, то зачем соединять с ним бесполезное преступление? Если же опасность может быть отвращена, она устранится не нарушением справедливости, а добросовестным соблюдением установленных форм и гарантий. Этим правительства обращают на своих врагов всю ненависть, возбуждаемую беззаконием, и приобретают доверие колеблющейся

массы. Деспотические правительства могут держаться насилием; власть умеренная, опирающаяся на порядок и справедливость, губит себя всяким нарушением справедливости, всяким уклонением от порядка*.

И в этих мыслях Бенжамена Констана выражается некоторая односторонность, которую мы замечаем и в других частях его учения. Нет сомнения, что законные правительства должны по возможности действовать законным путем; легкомысленное употребление произвола осуждается как правом, так и здравою политикой. Но нет сомнения также, что бывают чрезвычайные обстоятельства, где необходимо приостановить законные гарантии и устранить формы, несовместные с быстротою действия. Желательно только, чтобы сама конституция предоставляла это право законным властям. Переживши деспотизм конвента²⁵ и деспотизм империи, Бенжамен Констан заботился главным образом о гарантиях против произвола. Все его внимание было устремлено на охранение свободы.

Это именно и придавало некоторую односторонность его взглядам. Однако эта односторонность не увлекала его к поклонению республиканским учреждениям. Он стоял на почве конституционной монархии, представляющей высшее сочетание начал порядка и свободы. Он первый изобразил существенные ее черты согласно с потребностями XIX века. К развитой Монтескье теории разделения властей он присоединил необходимость соглашения. На этом он основал учение о королевской власти как высшей нейтральной силы, уравнивающей остальные. Он не изобрел этой теории; Англия служила ему практическим образцом. Бенжамен Констан постоянно обращался к Англии за примером. Но он первый понял истинное существо английской конституции и возвел ее в общую политическую теорию. В этом состоит существенная его заслуга в политической науке. После него оставалось только исправить некоторую односторонность и развивать подробности конституционного учения. Главное основание было положено.

2. Дестютт де Траси²⁶

С гораздо большею резкостью, нежели у Бенжамена Констана, выступает одностороннее либеральное направление у Дестютта де Траси. Это был эмигрант, выселившийся в Америку и ставший гражданином Соединенных Штатов. В нем мы находим отголосок учений XVIII века. Бенжамен Констан изображает основания конституционной монархии; Дестютт де Траси, удаленный от европейского мира, склоняется к республике. В этом смысле написаны его «Комментарии на Дух Законов Монтескье» («*Commentaire sur l'Esprit des Loix de Montesquieu*»), изданный первоначально в Соединенных

* Constant B. Cours de politique constitutionnelle. I. Note BB. P. 372 f.

Штатах на английском языке в 1811 г. и затем во французском переводе в Брюсселе в 1817 и в Париже в 1819 г. *

Дестютт де Траси начинает с критики данного Монтескье определения законов как необходимых отношений, вытекающих из природы вещей. Этому определению он противопоставляет другое, именно, что закон есть правило, предписанное нашим действием властью, имеющей на то право. Только в силу расширения понятия это первоначальное значение было перенесено на законы естественные. Видя, что явления всегда происходят в неизменном порядке, мы предполагаем, что это совершается в силу законов, установленных высшею властью, наказывающею всякое их нарушение уничтожением деятеля. А так как мы этих законов признать не можем, то устанавливаемые нами законы должны с ними сообразоваться. Положительные законы могут быть хороши или дурны, смотря по тому, согласны они или несогласны с законами естественными. Справедливым называется то, что ведет к добру, несправедливым то, что производит зло. А так как то и другое совершается в силу естественных законов, то справедливое и несправедливое существует прежде положительных законов. Задача положительного законодательства состоит единственно в том, чтобы следовать естественному закону. В этом состоит дух законов (Ch. 1) **.

Таким образом, несмотря на критику сделанного Монтескье определения, оказывается, что производное значение закона предшествует первоначальному. Положительные законы должны сообразоваться с естественными, то есть с природою вещей. Монтескье не утверждал ничего другого.

Но если Дестютт де Траси сходится с Монтескье в философском понятии, то он совершенно расходится к ним в приложении. В политической области природа вещей прежде всего выражается в существе различных образов правления. Монтескье, как мы видели, разделял образы правления на республиканский, монархический и деспотический. Дестютт де Траси справедливо замечает, что республиканское правление может быть весьма различно, а деспотическое составляет не более как злоупотребление, которое присуще каждому образу правления и не может быть возведено в отдельную политическую форму. Этому разделению он противопоставляет другое: одни правительства он называет национальными, другие — специальными. Первые основаны на общих правах людей, вторые на частных. Устройство первых может быть различно; чисто демократическое, представительное, аристократическое, наконец, монархическое. Но каково бы оно ни было, везде предполагается, что источник власти лежит в совокупности граждан, которые всегда

* Пользуюсь парижским изданием.

** <Здесь и далее ссылки на книгу Дестютт де Траси (Destutt de Tracy A. L. C. *Commentaire sur l'Esprit des Lous de Montesquieu*) даются Б. Н. Чичериным непосредственно в тексте.— Пример.ред.>

имеют право изменить учреждение, как скоро они этого захотят. В специальных образах правления, напротив, признаются иные источники права и власти, кроме общей воли, например, божественное установление, завоевание, рождение, договоры и т.д. Здесь организация общества представляется произведением явных или тайных соглашений между различными властями; вследствие этого она может быть изменена только свободным их согласием (Ibid. Ch. 2).

Дестютт де Траси прямо объявляет, что он не хочет входить в разбор правомерности или неправомерности тех или других образов правления. Следуя Монтескье, он признает их существующими и хочет исследовать только различные их последствия. Но этот прием ведет единственно к тому, что исключительная правомерность так называемых национальных правлений, а из них главным образом представительной демократии, бездоказательно предполагается автором. Они одни основаны на разуме и сообразны с природою вещей, тогда как остальные опираются на сомнительные начала, которые можно защищать только отдаленными соображениями (Ibid. Ch. 6. P. 63, 66; Ch. 13. P. 241). И хотя допускается, что национальные правления могут иметь различное устройство, однако все другие формы, кроме представительной демократии, признаются не более как примесью специальных элементов к национальному началу. Возвращаясь в другом месте к разделению Монтескье, Дестютт де Траси сводит противоположение национальных правлений специальным к двум главным типам. Республика, говорит он, должна быть разделена на аристократическую и демократическую; деспот не что иное, как чистая монархия: ограниченная же монархия, в сущности, есть аристократия с единым главою. Следовательно, вместо принятого Монтескье разделения, мы получаем монархию, аристократию и демократию. Но из этих трех форм чистая демократия, в которой весь народ принимает участие в правлении, невозможна в сколько-нибудь образованном обществе. Точно так же нестерпима и чистая монархия, где один человек является безусловным владыкою всех. Первое есть правление диких, второе — правление варваров. Остается, следовательно, аристократия в различных ее формах. Она устанавливается у всех сколько-нибудь образованных народов, как скоро с развитием образования появляется различие классов. Только в новейшее время при высшем просвещении люди изобрели новую форму, отличную от прежних, форму, основанную на общей воле и общем равенстве, именно правление представительное. Если мы оставим в стороне варварские народы, то сравнение различных образов правления сводится к этим двум типам, к аристократии в различных ее формах, с одной стороны, и представительному правлению — с другой (Ibid. Ch. 6).

Таким образом, с самого начала предполагается, что одно правление разумно, другое неразумно, одно имеет в виду общее благо,

другое частное. Избавляя себя от исследования юридического основания и исторического происхождения различных образов правления, Дестютт де Траси лишает свои выводы всякой твердой почвы. Он не разбирает существа общей воли, которая, по принятым им началам, все же поставляется из частных; он не объясняет, в силу чего образованное меньшинство обязано подчиниться решениям необразованного большинства; он предполагает, а не доказывает, что воля необразованной массы всегда направлена к общему благу. Между тем эти принятые на веру чисто теоретические положения лежат в основании всех выводимых им последствий из природы различных образов правления.

Прежде всего, он восстает против тех начал, которые Монтескье приписывает различным политическим формам, именно добродетель демократии, умеренность аристократии, честь монархии и страх деспотии. Разумная, то есть представительная демократия, говорит Дестютт де Траси, основана на любви к свободе и равенству, или, что то же самое, к миру и справедливости. Всякий надеется здесь только на личные свои силы и ревниво охраняет приобретенное. Поэтому он живо чувствует всякое нарушение чужого права действием власти; он видит в этом опасность и для себя. В этом заключается истинная республиканская добродетель, а не в самоотречении, как думает Монтескье. Спартакское воздержание противно природе; оно может только быть плодом фанатизма, подержанного искусственными учреждениями. Основанный на нем порядок всегда непрочен. Когда первоначальная демократия превращается в аристократию, то нет сомнения, что гордость одних и низость других, умение первых и невежество вторых должны быть причислены к началам, охраняющим этот порядок. Точно так же и с превращением демократии в монархию охранительными началами этого правления являются, с одной стороны, высокое понятие монарха о своем достоинстве, с другой стороны, честолюбие и преданность придворных, а вместе с тем и их презрение к низшим классам, наконец, раболепное уважение последних ко всем величиям и желание нравиться тем, которые ими облечены. Но пока совокупность народа признается еще источником всякого права, эти различные чувства подчиняются уважению к общим правам человека. Там же, где правления из национальных превращаются в специальные, эти чувства гордости и раболепства господствуют уже во всей своей чистоте (Ibid. Ch. 3).

Сообразно с характером правления эти различные чувства развиваются воспитанием. Каково бы ни было государственное устройство, правительство никогда не должно отнимать детей у родителей и воспитывать их само. Такой способ действия составляет нарушение священнейших прав человека. Но правительство может направлять воспитание непосредственно через учителей и косвенно через влияние на родителей и на общество. В наследственной монархии это направление состоит в том, что внушаются правила

безусловного повиновения, уважение к существующим формам, нелюбовь к преобразованиям, отвращение от обсуждения начал. Правительство должно призывать на помощь религию, стараясь, однако, держать священников в зависимости от себя, и из всех религий оно должно предпочитать ту, которая всего более требует покорности и устраняет всякое движение мысли. Затем оно должно стараться образовать в подданных умы легкие и поверхностные, занимая их изящною литературою и отвращая их от занятой делом и от философских изысканий. Наконец, образование низших классов должно быть как можно скуднее. Масса должна держаться в унижении и невежестве, для того чтобы от удивления перед всем, что возвышается над нею, она не перешла к желанию выйти из своего плачевного состояния.

Той же самой политике должно следовать и аристократическое правление относительно воспитания низших классов. Но здесь оно должно более остерегаться влияния духовенства, которое может быть для него опасным соперником. Там, где духовенство не сильно, аристократия может еще употреблять его, как орудие, для того чтобы держать народ на известной невинной степени невежества. Но если духовенство богато и могущественно, аристократическое правительство должно мешать распространению в народе религиозного духа, который может обратиться против него самого. Оно не дерзает противодействовать ему распространением образования, которое скоро уничтожило бы дух раболепства; оно может только ослаблять его, погружая народ в пороки и разврат. «Не смея сделать из него глупое стадо в руках пастырей, оно принуждено превратить его в развращенную и нищенскую чернь, всегда находящуюся в руках полиции». В этом состоит для него единственное средство сохранить свою власть. С другой стороны, высший класс, в отличии от монархии, должен получить прочное образование для того, чтобы сохранить способность управлять делами. Все просвещение общества должно быть сосредоточено в нем, иначе оно всегда будет иметь опасных соперников.

Там, где монархия и аристократия имеют национальный характер, эти начала видоизменяются уважением к общему праву. Поэтому здесь является смешение различных направлений. Для собственного их интереса, говорит Дестютт де Траси, эти правления не должны стремиться к полному подавлению разума и истины. Они должны только стараться затмить их до некоторой степени, чтобы помешать слишком последовательным выводам из принятых начал. Что же касается до чисто представительного правления, то оно одно не боится истины, ибо оно основано единственно на природе и разуме. Его интерес состоит в том, чтобы всеми мерами содействовать развитию просвещения. Будучи основано на начале равенства, оно должно беспрерывно бороться против самого пагубного неравенства, неравенства образования различных членов общества. Оно должно предохранять низший класс от невежества и нищеты,

высший — от кичливости и ложного знания, стараясь связать тот и другой со средним классом, по своему характеру и положению удаленным от всяких излишеств (Ibid. Ch. 4).

Таков взгляд Дестютта де Траси на образовательную деятельность различных правительств. Вместо тонкой наблюдательности Монтескье здесь является, с одной стороны, чистый идеал, с другой стороны — карикатуры. Вдаваясь в крайнюю односторонность, комментатор далеко отстал от своего образца.

В том же духе Дестютт де Траси рассматривает отношение законодательства к различным образам правления. Относительно первобытной монархии, или деспотии, он замечает только, что свои доходы она получает путем грабежа и конфискаций, а средствами управления служат ей сабля и веревка. При этом монарх должен быть главою или рабом владычествующего духовенства, доказательство, что средствами управления служат не одни сабля и веревка. Что касается до монархии, которая утверждается в несколько образованном обществе, то здесь необходимы иные начала. Прежде всего, частное его право должно быть утверждено на прочном порядке наследования. Затем оно должно опираться на другие частные права, ибо только соединив вокруг себя значительное количество частных интересов, можно держать народ в повиновении. Этой цели служит аристократическое сословие и корпорации, состоящие в зависимости от монархии, учреждения, которые можно защищать правдоподобными доводами, не обсуждая первоначального права. А так как при этом порядке обогащается трудом только низший класс, то необходимо прибегать к различным средствам, чтобы вытягивать из него деньги. Это достигается, между прочим, продажностью должностей, которую рекомендует Монтескье. Точно так же и аристократия должна употреблять все средства, чтобы мешать обогащению низших классов; если же невозможно этому воспрепятствовать, то она должна, по крайней мере, принимать в свою среду всех тех, которые достигли значительного состояния. Представительное правление, напротив, не прибегает ни к каким искусственным мерам; будучи сообразно с природою, оно предоставляет дела их собственному, естественному течению. Стремясь к равенству, оно не устанавливает его насилем, но довольствуется устранением препятствий, воспрещением майоратов, субституций, привилегий. Оно не требует от подданных мелочного отчета в их действиях, не стесняет их в занятиях, но воздерживается от всего, что питает тщеславие и беспорядочность. С этими предосторожностями частные добродетели скоро распространяются во всех семействах. Представительное правление не стесняет и мысли, но предоставляет каждому право говорить и писать то, что он думает, в уверенности, что истина всегда восторжествует (Ibid. Ch. 5).

Следуя Монтескье, Дестютт де Траси рассматривает отношение различных образов к простоте законов, к формам суда, к наказаниям. Но замечания его, писанные в общем либеральном духе, имеют

маю интереса. Относительно роскоши он доказывает, что она всегда есть зло, ибо роскошь не что иное, как непроизводительная трата. Но монархия имеет интерес в поддержании роскоши, потому что ей необходимо возбуждать тщеславие, внушать уважение ко всему, что блестит, делать умы легкими и пустыми, вселять чувства соперничества между общественными классами, наконец, разорять граждан, которые могли бы сделаться слишком могучими вследствие своего богатства. Представительное правление, напротив, не имеет никакого повода покровительствовать естественному стремлению человека к лишним тратам. Но для воздержания роскоши оно не должно прибегать к законодательным мерам; достаточно, чтобы устранялись поводы к накоплению богатств и к возбуждению тщеславия. В хорошо устроенном обществе все пойдет само собою (Ibid. Ch. 7). Что касается до женщин, то у диких, говорит Дестютт де Траси, они — рабочий скот, у варваров — животные, содержимые в зверинцах, у народов, преданных суетности и тщеславию, попеременно деспоты и жертвы; только там, где царствуют свобода и разум, они становятся счастливыми подругами избранных ими мужей и нежными матерями семейства (Ibid.).

Важнее то, что Дестютт де Траси говорит о величине государств по отношению к различным образам правления. Монтескье утверждал, что маленьким государствам свойственно республиканское правление, средним монархическое, большим деспотическое. Дестютт де Траси возражает, что так как деспотизм есть превратный образ правления, то он не может быть приличен никакому государству. Все, что можно сказать, это то, что слишком большие государства неизбежно должны или распасться, или подпасть под деспотизм. С другой стороны, чистая демократия возможна только в очень маленьких государствах; но так как этот образ правления приличен лишь совершенно неустроенным обществам, то он нигде не может утвердиться прочно. Что же касается до аристократии под одним или несколькими главами, то она может существовать при всяком объеме территории, с тем различием, что при монархической форме нужно большее пространство, ибо слишком малое население не в состоянии поддерживать роскоши двора. Точно так же и представительное правление возможно при всяком объеме государства. В этом отношении оно имеет даже значительные преимущества, ибо, с одной стороны, требуя меньших издержек, нежели другие, оно может существовать и на весьма тесном пространстве, с другой стороны, соединяя с самою исполнительной властью нравственное влияние представителей различных частей территории, оно легко может охранять порядок в большом государстве (Ibid. Ch. 8). Дестютт де Траси не замечает, что нравственное влияние местных представителей нередко может идти совершенно наперекор действию исполнительной власти, из чего происходит не сила, а слабость. Каков бы, впрочем, ни был образ правления, продолжает автор, государство непременно должно

иметь известный объем. Если оно слишком мало, оно в силу естественной подвижности человеческого ума легко может подвергаться внезапным революциям; а с другой стороны, слабость его всегда ставит его в зависимость от могучих соседей. Вредно также и излишнее расширение. Хотя в образованных обществах, при легкости сообщений, уменьшаются невыгоды расстояний, однако важно то, чтобы государство не заключало в себе народов, слишком различающихся нравами, характером и особенно языком, из чего неизбежно проистекает раздельность интересов. Еще важнее то, чтобы границы государства могли быть легко защищаемы. В этом отношении нет лучшей границы, нежели море, которое, давая удобство защиты, избавляет от необходимости держать значительное войско, всегда опасное для свободы. Затем следуют высокие горы и, наконец, широкие реки. Вообще можно сказать, что всякое государство должно стремиться получить свои естественные границы и никогда из них не выходить (Ibid.).

Это приводит нас к вопросу о военной силе. Отправляясь от мысли, что республиканская форма свойственна малым государствам, Монтескье видит возможность сочетать ее с достаточным могуществом для защиты от соседей единственно в федеративном устройстве. Дестютт де Траси замечает, что федерация имеет несомненные преимущества перед обособлением; но союзные государства сделаются еще сильнее, если они соединятся в одно, а это возможно посредством представительных учреждений. Союзное устройство имеет то преимущество, что оно затрудняет захваты власти и способствует распространению образования по всем частям государства; но вообще его следует рассматривать более как попытку людей, которые хотели сочетать свободу с могуществом, но не имели еще надлежащего понятия о представительном правлении (Ibid. Ch. 9).

Не признавая союзное устройство высшею формою для представительных государств, Дестютт де Траси допускает, однако, возможность в будущем общей федерации народов с судилищем для разрешения их взаимных распрей (Ibid. Ch. 10). Он соглашается с Монтескье, что война не может иметь иного основания, кроме справедливой защиты, и что непозволительно браться за оружие из вопросов самолюбия, приличия и еще менее для славы или тщеславия государя. Справедливая же война влечет за собою право завоевания, которое, однако, всегда должно соединяться с свободою покоренных выйти из государства. Дестютт де Траси настаивает и на том, что всякое государство должно стремиться к своим естественным границам, начало, которое значительно расширяет право завоевания. В этом отношении все образы правления одинаковы; но преимущество представительного правления оказывается в отношениях к покоренным. Оно дает им те же выгоды, какими пользуются граждане, вследствие чего покорение становится для них освобождением. Это и придало такую силу французской республике в ее завоеваниях (Ibid.).

Наконец, Дестютт де Траси приходит к важнейшему политическому вопросу — к отношению образов правления к политической свободе. Здесь односторонняя скудость его взглядов обнаруживается вполне.

Он начинает с теоретического определения свободы. Вслед за Локком он признает одну внешнюю свободу, отвергая внутреннюю. Свобода, говорит он, есть власть или способность исполнять свою волю. Поэтому свобода относится только к исполнению, а не к самой воле, которая всегда необходимо движется побуждениями. А так как все счастье существа, одаренного волею, состоит в исполнении желаний, то счастье и свобода — одно и то же. Все люди страстно любят свободу, потому что они не могут любить ничего другого. Отсюда Дестютт де Траси выводит, что народ должен считаться истинно свободным под тем правлением, которое ему нравится, хотя бы оно менее других соответствовало истинным началам свободы. Наилучшее безусловно не есть наилучшее относительно. Безусловно лучшие учреждения всего более противоречат ложным идеям, и если последние распространены в народе, то хорошие учреждения могут быть введены только силою, и народ не может чувствовать себя свободным под их владычеством. Отсюда следует далее, что свобода независима от образа правления: наиболее свободно то правление, под которым большинство наиболее счастливо. Если бы совершенный деспот управлял отлично, то подданные его пользовались бы полным счастьем, следовательно, полную свободу (Ibid. Ch. 11. P. 154-162).

Мы видим, к чему ведет противоречащее истине смешение счастья с свободой. Деспотизм, то есть полное отрицание свободы, является, по крайней мере в возможности, полным осуществлением свободы. В действительности свобода заключается единственно в просторе, предоставленном личной деятельности человека. Ведет ли эта деятельность к счастью или нет, это совершенно другой вопрос, который может разрешаться различно. Известно, что злоупотребления свободы всего более разрушают человеческое счастье.

Несмотря на сделанный им вывод, что свобода вовсе не зависит от образа правления и что дело не в теории, а в практике и результатах, Дестютт де Траси вслед за Монтескье ищет теоретически совершеннейшего правления, которое могло бы обеспечить людям и большее счастье. Он признает установленное Монтескье разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, ибо вся задача общества, говорит он, состоит в том, чтобы хотеть, исполнять и судить. Справедливо и то, что эти отрасли необходимо должны находиться в разных руках, без чего произойдет величайшая опасность для свободы. Но вместо того чтобы искать средств предупредить это зло, Монтескье просто указывает на пример Англии. Это предубеждение в пользу английской конституции заставило его забыть, что означенные три отрасли власти суть только

производные должности, которые не существуют сами по себе, а истекают из единого источника — из воли народной. По праву существует только одна власть — народная воля. Фактически же нет иной власти, кроме исполнительной, которая располагает физической силою. Монтескье не обратил на это внимания, а потому одобрил без рассуждения предоставление исполнительной власти единому лицу, даже наследственному, не разбирая, способно ли оно к этому или нет и не ведет ли подобное устройство к тому, что эта власть поглотит собою остальные. В силу той же неясности мысли он, кроме народных представителей, допускает и привилегированное сословие, которому вверяется не только часть законодательной власти, но и важнейшая отрасль суда — суд государственных преступлений. В этом сословии он видит посредствующую, умеряющую власть между законодательною и исполнительною, не замечая, что в английской истории верхняя палата является вовсе не умеряющею силою, а лишь придатком королевской власти. Если прибавить к этому, что в действительности английский король всегда владыка парламента, который он держит в руках посредством страха и подкупа, то ясно, что во всем этом искусственном здании нет ничего, что бы мешало захватам. Единственная гарантия свободы в Англии заключается в твердой воле народа не допускать притеснений, и когда король слишком злоупотребляет тою властью, которою он в действительности владеет, он низвергается общим движением, которое всегда возможно на острове, где нет необходимости держать постоянное войско. Важнейшая черта английской конституции — это то, что народ шесть или семь раз низлагал своих королей. Но подобное средство не может считаться конституционным. В правильном государственном устройстве надобно искать иных гарантий (Ibid. P. 163-173).

Очевидно, что, несмотря на признание установленного Монтескье разделения властей, от мысли великого французского публициста не остается и тени. Все поглощается единою верховною властью, волею большинства, т. е. необразованной массы. Против ее деспотизма нет убежища, ибо всякое особое право отвергается как несогласное с общею волею. «Вообще,— говорит Дестютт де Траси,— я считаю ошибочною и проистекающею из несовершенных комбинаций ту систему равновесия, в силу которой хотят, чтобы несколькими частным лицам была предоставлена самостоятельная сила, охраняющая их против общественной власти, и чтобы некоторые власти могли держаться сами по себе против других властей, не прибегая к помощи общей воли. Это не охранение мира, а объявление войны». В этой претензии на силу, независимую от общей массы и способную ей противостоять, Дестютт де Траси видит единственную причину войны между бедными и богатыми. По его мнению, при постепенности перехода от одного класса к другому не было бы возможности положить демаркационную линию, если бы она искусственно не устанавливалась законодательством.

В другом месте он называет системы противоположения и равновесия «пустыми обезьянствами или действительною междоусобною войною» (Ibid. P. 189-201).

Нетрудно видеть, до какой степени все это поверхностно. Глубокая мысль Монтескье о необходимости сдержек и ограничений для всякой человеческой воли совершенно не понята. Не знающая границ воля необразованной массы одна остается владычествующею среди крушения всякого самостоятельного права. Еще менее можно найти здесь основательные наблюдения над политической жизнью народов. Английская конституция представляется в совершенно искаженном виде. Чтобы устранить этот живой пример правильного действия системы равновесия, надобно было превратить его в карикатуру. Любопытно, что Дестютт де Траси, признавши, как мы видели выше, что в Англии король как глава исполнительной власти есть все, в другом месте говорит, что он значит что-нибудь единственно своим участием в законодательной власти, без чего он был бы совершенно беспомощен. «Законодательное собрание и министры — вот что в действительности составляет правительство. Король же не более как паразит, лишнее колесо в движении машины, в которой он только увеличивает трение и трату... Как скоро речь идет о делах, он совершенно устраняется: прения или сношения, война или мир — все это решается между советом министров и парламентом, и когда меняется один из двух, меняется все, хотя король, истинно ленивый, в точном смысле слова, то есть ничего не делающий, остается один и тот же» (Ibid. P. 202). Когда на расстоянии нескольких страниц об одном и том же политическом явлении излагаются столь противоречащие суждения, то этим самым обличается вся предубежденность основной точки зрения.

Устранивши английскую конституцию во имя народной воли, Дестютт де Траси не довольствуется и учреждениями Соединенных Штатов, которые разрешают вопрос посредством союзной формы. Он хочет исследовать, каким образом задача разрешается для государства единого и нераздельного. Исследование должно идти не историческим, а чисто теоретическим путем. Умозрительно выводятся основания свободной, законной и мирной конституции (Ibid. P. 173-174).

Когда люди соединяются в общества, говорит Дестютт де Траси, они не жертвуют частью своей свободы, как утверждают некоторые. Напротив, они увеличивают свою мощь, следовательно, и свою свободу. Нужно только, чтобы они уладились друг с другом возможно лучшим образом. В этом состоит устройство или конституция общества. Первоначально это делается случайно и наобум: отсюда бесконечное разнообразие учреждений. Но настает время, когда многочисленное и образованное общество, не довольствуясь случайными сделками, хочет устроиться по указаниям чистого разума. Что должно оно делать в этом случае? Ему представляются три пути: или предоставить существующим властям уладиться

между собою и определить взаимные права и обязанности; или поручить мудрецу начертать план конституции; или, наконец, выбрать для этого особое учредительное собрание. Первый способ не что иное, как практическая сделка, которая никогда не может повести к разумному порядку. Второй, кроме трудности найти достойное лицо, представляет еще и то затруднение, что составленный им проект, не будучи подвергнут общему обсуждению, не будет иметь достаточной опоры в общественном мнении. В древности подобные законодатели обыкновенно выдавали себя за провозвестников воли Божества; но в наше время подобное средство немислимо. Остается третий способ, который хотя имеет некоторые недостатки, однако обладает еще более значительными выгодами. Здесь прежде всего представляется вопрос: как должны совершаться выборы? Всем ли гражданам без исключения должно быть предоставлено право голоса в одинаковой степени или должны быть установлены различия?

Дестютт де Траси решает вопрос в первом смысле. Всякие изъятия из общего права кажутся ему не основанными ни на каких разумных началах. Рождение, говорит он, несомненно дает человеку известные преимущества: обширные связи, возможность утонченного образования, более широкие мысли и благородные привычки: все это вытекает из природы вещей, и никакой закон не может их дать или отнять. Но отсюда не следует, чтобы они давали право на какие-либо должности или на привилегированное положение в обществе. Подобные права могут даваться только обществом и для общества. Отдельные же лица никогда не должны обладать самостоятельною силою для защиты себя против общего интереса. То же следует сказать и о богатстве и, наконец, о почестях. Совершенно бесполезно и даже вредно, чтобы те, которые пользуются в обществе естественными преимуществами, прибавляли к этому еще превосходство власти, которая под предлогом защиты своих прав может служить только к притеснению других. Монтескье утверждает, что для лиц, пользующихся особым положением, общая свобода была бы равнозначна рабству: это все равно что люди, превосходящие других физическою силою, считали себя притесненными за то, что им не позволяют бить своих сограждан и заставлять их работать в свою пользу. Защитники привилегий ссылаются на то, что эти лица обладают большим образованием, а потому для народа выгоднее управляться ими, нежели теми, которые стоят в этом отношении ниже. На это можно отвечать, что образование составляет такого рода преимущество, которое само собою, без всяких искусственных мер, дает преобладающее положение в обществе. Разум ослабляется, когда он ищет опоры в частных интересах. Из всего этого следует, заключает Дестютт де Траси, что право голоса должно быть дано всем, и притом в одинаковой степени, ибо все равно заинтересованы в общественном деле, от которого зависит все их благосостояние. Одни могут иметь

больше средств, другие меньше, но жизненный интерес для всех одинаков. Исключены должны быть только малолетние, которых воля еще недостаточно освещена разумом, женщины, которые по своей природе предназначены для домашней жизни, а не для общественной, затем приговоренные судом к лишению прав, наконец, могут быть те, которые, добровольно приняв на себя известные должности, по-видимому, подчиняли свою волю чужой (Ibid. P. 185-194).

Эти исключения обнаруживают всю недостаточность принятого правила. Из них оказывается, что, кроме общего всем интереса в общественных делах, для пользования правом требуется еще разумение, требуется способность к делам и, наконец, самостоятельное положение в обществе. Все это очевидно не находится в низших классах в одинаковой степени с высшими, а потому рационально нет возможности дать им одинаковые политические права. Несправедливо, что рождение, богатство и образование сами собою ставят людей во главе общества: в демократии эти преимущества нередко становятся поводом к неприязни, а с тем вместе к устранению от выборных должностей. Но с этим еще можно было бы примириться, если бы дело шло единственно о том, чтобы каждый свободно мог заниматься своим частным делом. Тогда можно было бы сказать вместе с Дестюттом де Траси, что людям, обладающим большею физическою силою, нет нужды давать еще, сверх того, привилегии для притеснения других. Но тут вопрос идет о делах общих всем, насчет которых должно состояться совокупное решение. Отвергать юридическое преимущество образованного меньшинства — значит утверждать юридическое преимущество необразованного большинства, то есть дать возможность последнему притеснять первое. Такое устройство несогласно с правом, ибо где есть различие интересов, там справедливость требует, чтобы один не был предан на жертву другому. Еще менее оно согласно с общим благом, которое требует, чтобы при решении государственных дел разумный элемент преобладал над неразумным, образованный над необразованным. Следовательно, если мы поставим вопрос на чисто теоретическую почву, то нет сомнения, что всеобщее и одинаковое для всех право голоса не может быть признано разумным началом.

Сам автор, предоставляя всем гражданам право голоса в собраниях, не считает, однако, массу способною непосредственно выбирать своих представителей. Она должна только выбирать из среды себя лучших людей, которым уж предоставляется окончательный выбор (Ibid. P. 295-296). Однако и это средство не достигает цели. Политическая практика свободных государств показала, что выборы в двух степенях мало изменяют результат, ибо дело идет не столько о людях, сколько о партиях, из которых каждая выставляет своих кандидатов и начинает вербовку с самой первой ступени.

Все это относится, впрочем, только к учредительному собранию. Что касается до законодательной власти в устроенном уже порядке,

то Дестютт де Траси, в противоположность всем другим публицистам, предпочитает вручить ее одному лицу, облеченному доверием общества, нежели законодательному собранию, лишь бы это лицо не имело вместе и исполнительной власти, что сделало бы его опасным для государства. Причину такого предпочтения он видит в том, что легче найти одного хорошего законодателя, нежели двести или тысячу, и что самое законодательство при таком условии будет иметь больше ценности и единства. Он соглашается, однако, что и собрание имеет некоторые выгоды, особенно ту, что оно может сменяться по частям, а потому он допускает и подобное учреждение, лишь бы законодатели выбирались на время и имели бы все одинаковые права. Для большей зрелости суждений можно разделить собрание на отделения, но не придавая им особых прав. Законодательное собрание, по существу своему, должно быть едино. Борьба одной части против другой ведет только к междоусобной войне.

Совершенно другое следует сказать об исполнительной власти. В противоположность обыкновенному взгляду, автор признает, что она отнюдь не должна сосредоточиваться в одних руках. Единство нужно в воле, а не в исполнении, которое и в действительности всегда предоставляется нескольким министрам. Необходимое единство действия может быть точно так же установлено большинством совета, как и одним лицом; быстрота же далеко не всегда желательна. Наконец, совет, сменяясь по частям, может сообщить исполнению гораздо более систематичности и постоянства, нежели одно лицо. Последнее же устройство, каков бы ни был способ назначения правителя, всегда имеет значительные невыгоды. Если он избирается на известное число лет и обставлен твердыми гарантиями, так что он не может выходить из пределов своей власти, то, конечно, он становится безвредным. А без этих предосторожностей положение его делается столь значительным, что оно возбуждает все честолюбия. Выборы будут производиться посредством интриг, подкупов и даже насилия. Все старания временного главы будут направлены к тому, чтобы сохранить свою власть. Еще более усиливаются крамолы, если глава государства выбирается пожизненно. При таком порядке народ осужден на вечные смуты, как можно видеть на примере Польши, или же власть превращается в наследственную. Последняя имеет то преимущество, что это самый простой способ разрешения задачи. Но тут вовсе не обеспечена способность. Важнейшая должность в государстве зависит от случайности рождения. К этому присоединяется и то, что эта власть, по существу своему, не подлежит ограничениям. Будучи нераздельна в одних руках, она стремится к большим и большим захватам. Как бы ни умерялись столкновения, осторожностью монарха или внешними обстоятельствами, результатом этого образа правления может быть либо порабощение народа, либо падение престола. «Надеяться на свободу и монархию,— говорит Дестютт де Траси,— значит надеяться на две вещи, из которых одна исключает другую» (Ibid. P. 214).

Едва ли нужно заметить, что этот вывод построен на чисто произвольных соображениях. Желая во что бы то ни стало доказать несовместность всякой независимой от народа власти с свободой, Дестютт де Траси строил воздушный замок, которому противоречит вся современная действительность: свобода несовместна с монархией только там, где она не имеет корней в народной жизни. Опасение сосредоточенной власти привело автора и к тому, что он единичную власть заменяет коллегиею, между тем как законодательство он считает возможным вручить одному лицу. И то и другое противоречит как здравой политической теории, так и конституционной практике всех более или менее значительных государств. Во всем этом обнаруживается увлечение предвзятою мыслью при весьма значительном недостатке политического понимания.

В силу тех же опасений Дестютт де Траси подчиняет свою исполнительную власть законодательной. Первая должна зависеть от последней, как исполнение от воли (Ibid. P. 217). Однако эта зависимость не должна быть полная, ибо воля может быть незаконная. Отсюда возможность столкновений и необходимость третьего, посредствующего тела. Этот третий, важнейший орган, составляющий ключ ко всей системе, есть сенат, которого задача состоит в охране, то есть в согласовании воли и действия. Он проверяет выборы членов законодательного собрания; составляет представляемые избирателям списки кандидатов в должности членов исполнительной коллегии или сам избирает их из числа представленных ему кандидатов; участвует точно таким же порядком в назначении верховных судей; оставляет или предает суду членов исполнительной коллегии по инициативе законодательного собрания; уничтожает противные конституции действия законодателей и исполнителей; наконец, созывает, когда нужно, конвент для пересмотра конституции. Сенат составляется из пожизненных членов, назначаемых из высших сановников государства на первый раз учредительным собранием, а затем по мере вакансий избирателями на основании списка, составленного законодательным собранием и исполнительной коллегиею. При таком устройстве, говорит Дестютт де Траси, всякий вопрос может быть разрешен правильным образом, между тем как без этого государство единое и нераздельное неизбежно предается на жертву случайностям и насилию (Ibid. P. 220-227).

Мысль о необходимости охранительного Сената составляет лучшую сторону предлагаемой Дестюттом де Траси конституции; но именно она доказывает потребность власти, независимой от увлечений народной воли. Надобно только сказать, что для охранения недостаточно уничтожения действий, явно противных конституции; требуется еще возможность останавливать законодательные меры, вредные для общества. Если исполнительная власть не должна быть безусловно подчинена законодательной, то между ними могут возникнуть самые разнообразные столкновения,

которые, в свою очередь, потребуют от сената более деятельного вмешательства в общественные дела. Для того чтобы играть роль согласующего элемента конституции, он должен быть тем, что во всех конституционных государствах называется верхней палатой. Как Дестютт де Траси признает такого рода палату, составленную из высших сановников с пожизненным назначением, главным столбом конституции, он тем самым опровергает основания собственного своего учения.

Наконец, к необходимым гарантиям политической свободы принадлежит свобода личная и свобода печати, которые одни дают возможность выразиться общей воле. Без них, говорит Дестютт де Траси, все политические комбинации в видах распределения властей остаются пустыми соображениями. Однако автор не распространяется об этом предмете, отсылая к тому, что сказано о суде и об уголовных наказаниях. Воспрещение произвольных арестов и суд присяжных — таковы главные гарантии личной свободы (Ibid. P. 228-229; Ch. 12. P. 236).

Сводя все сказанное в предыдущих главах, Дестютт де Траси представляет развитие различных образов правления в виде трех, следующих друг за другом ступеней. Низшую ступень составляет демократия и деспотизм: это — царство невежества и насилия. На второй ступени являются разнообразные мнения и владычествует религия: это — период господства аристократий. Наконец, на третьей ступени, разум вступает в свои права; устанавливаются основные на нем представительные правления. Первый закон этих правлений состоит в том, что правители существуют для управляемых, а не наоборот. Отсюда следует, что они могут держаться только волею большинства управляемых и должны меняться с переменною этой воли. Из того же начала следует далее, что здесь не может быть ни насильственной власти, ни какого-либо привилегированного класса. Второй закон состоит в том, что в обществе не должно быть власти, которую нельзя было бы сменить без насилия или без потрясения. Отсюда невозможность предоставления всех народных сил одному лицу и необходимость разделения властей. Наконец, третий закон состоит в том, что правительство всегда должно иметь в виду независимость народа и свободу граждан. Отсюда необходимость естественных границ государства и внешних союзов; отсюда же неприкосновенность свободы личной и свободы мысли. Эти законы, говорит Дестютт де Траси, не что иное, как законы собственной нашей природы; это вечные истины, которые должны бы были стоять во главе всех конституций вместо тех объявлений прав, которые сочиняются ныне и которые имеют значение только протеста против притеснений. Свободным людям незачем исчислять свои права, ибо они их и без того имеют (Ibid. Ch. 13).

Мы уже заметили, что владычество большинства вовсе не есть закон природы или вечная истина, имеющая силу для всех вре-

мен и народов. Такое положение отнюдь не вытекает из того, что правители существуют для управляемых, а не наоборот. Здесь, как и везде, обнаруживается недостаточность принятых автором основных начал. Столь же произвольно и признание трех последовательных ступеней развития. Если в теории недоставало философских доказательств, то здесь оказывается недостаток исторических знаний.

Основательнее то, что Дестютт де Траси говорит о податях, о торговле и вообще об экономических отношениях. Здесь он опирается на Смита и Сея²⁷, которые уже после Монтескье разработали эту науку. Однако и тут он впадает в односторонность, когда он, например, все государственные расходы объявляет непроизводительными, а потому требует, чтобы они были по возможности уменьшены. Он соглашается, впрочем, что они необходимы; но это не более как неизбежное зло. Точно так же основательны и те возражения, которые он делает против развиваемой Монтескье теории климатов; но здесь все ограничивается отдельными замечаниями. Собственного взгляда Дестютт де Траси не выработал, а потому останавливаться на его мыслях было бы излишне. Все его значение заключается в изложении политического учения, которое, в сущности, является более отголоском теорий XVIII века, нежели разработкою начал XIX столетия. Переселившись в Америку, он не воспользовался великим политическим опытом, который можно было почерпнуть из событий, следовавших за Французскою революциею, и самые американские учреждения нашли в нем более одностороннего поклонника, нежели беспристрастного наблюдателя. Так же как публицист XVIII века, он был и остался чистым теоретиком.

3. Шарль Конт²⁸

Совершенно на иную точку зрения, нежели Дестютт де Траси, становится Шарль Конт. Наученный опытом французских революционных конституций, которые, развивши чисто теоретические начала, не находили приложения в жизни, он отвергает всякую теорию и хочет держаться исключительно наблюдений. В этом отношении, так же как историческая школа в Германии, он становится предвестником реализма. Законодатель, по его мнению, должен только записывать то, что вырабатывается жизнью, а наука возводит результаты опыта в систематическое учение. Такое одностороннее отрицание теории, которое он проводил гораздо далее немецких юристов, не могло, однако, привести его к настоящему пониманию действительного развития законодательства, которое везде совершается при взаимодействии теоретических идей и жизненных условий. Вследствие этого Шарль Конт, так же как и немецкая историческая школа, не пошел далее формальных начал. Цельного учения о праве и государстве он не выработал.

Первые его опыты в этом направлении появились в 1817 г. в журнале «Европейский Цензор» («Le Censeur Européen»). Но сам он вскоре заметил, что разработка научных воззрений по поводу текущих вопросов дня не может привести к плодотворным результатам. Реакция, наступившая с 1820 г., побудила его удалиться в Швейцарию, где он принялся за обширное теоретическое сочинение. В течение двух лет он преподавал в Лозанне, затем переселился в Англию и, наконец, возвратившись во Францию, в 1826 г. издал свой «Трактат о законодательстве» («Traité de législation»), который в 1835 г. вышел вторым изданием.

Шарль Конт отправляеФся от сравнения наук нравственных и политических с науками естественными. Последние движатся твердым шагом и постоянно идут вперед; первые же подвергаются беспрестанным колебаниям как в своем движении, так и в своих выводах. Причина этого различия лежит отчасти в самых свойствах предмета, в несравненно большей сложности общественных явлений и в трудности исследовать их причины. Но еще более это различие зависит от методы, которой следуют те и другие науки. Естествоиспытатели руководствуются исключительно опытом. Они наблюдают явления, сравнивают их и объясняют на основании точно дознанного взаимного их соотношения. В нравственных и политических науках, напротив, доселе господствуют произвольные гипотезы, которые ведут только к бесполезным словопрениям. Единственное средство утвердить эти науки на прочных основаниях и дать им характер положительного знания заключается в усвоении той методы, которой следуют естественные науки.

Шарль Конт доказывает примерами, что всякое научное исследование в области права и нравственности имеет дело исключительно с фактами. Так, мена есть факт, причины которого заключаются в других фактах, именно во взаимных потребностях людей, а последствия представляются опять в виде новых фактов, именно приобретаемых обеими сторонами выгод. То же можно сказать о семейных отношениях, которые следует изучить в их существе, в их причинах и последствиях. Далее все уголовное право, начиная от преступления и кончая наказанием, представляет только ряд фактов. То же самое относится к государственным учреждениям и к международному праву. Наконец, самая наука нравственности, по уверению Конта, может быть основана только на наблюдении известных явлений. Эта наука не что иное, как познание человеческих страстей и привычек с их причинами и последствиями. Таким образом, в нравственных науках, так же как и в естественных, мы можем вывести законы, которыми управляютя явления, единственно из наблюдения самых этих явлений. Всякая наука содержит в себе две части: описание явлений и объяснение их посредством исследования взаимных их отношений или их связи. И здесь и там наука начинается с фактов и восходит к причинам, до тех пор пока

она доходит до такой причины, которой она объяснить не может (L. I. Ch. 1. P. 1-12) *.

Сближая таким образом естественные законы с законами нравственными, Конт не заметил одного существенного их различия: оно заключается в том, что физические предметы всегда следуют законам своей природы, тогда как нравственное существо имеет способность от них уклоняться. Наблюдая физическое явление, мы совершенно убеждены, что при одинаковых условиях оно всегда происходит одинаковым образом, а потому мы факт непосредственно признаем за выражение закона. При наблюдении явлений нравственного мира мы видим, напротив, что одинаковые причины могут произвести совершенно разные последствия. Так, например, потребность в чужой вещи вместо мены может породить обман, похищение, насилие. Все эти явления одинаково должны быть признаны выражением естественных законов, но будут ли они одинаково выражением законов нравственных? Природа не прибегает к искусственным мерам для поддержания своих законов; человек же только посредством искусственных учреждений может поддерживать законы права, которые иначе потеряли бы всякую силу. Когда Конт в уголовном праве или в государственных учреждениях видит только ряд фактов, он забывает, что все это — факты, созданные самим человеком, именно для того, чтобы положить предел действию естественных законов. Если бы нравственная наука заключалась только в познании человеческих страстей и привычек, она была бы не более как описательная психология, и притом психология одностороннего свойства, ибо, кроме страстей и привычек, у человека есть разум и чувство, которые возвышают его над страстями и привычками и представляют ему нравственные идеалы. Последние суть тоже факты человеческой природы, но факты высшего, духовного мира, которым ничего не соответствует во внешней действительности, но с которыми внешняя действительность должна сообразоваться. Когда Шарль Конт восстает против духа системы, который изобретает начала и подчиняет им факты, он отвергает именно то, что составляет природу нравственного закона, а вместе и человека как нравственного существа. Нравственный закон имеет совершенно другой характер, нежели закон физический: он представляет не постоянное отношение явлений, а требование, которому явления должны подчиняться. Истинная наука должна признать законы обоего рода, естественные и нравственные. Если одностороннее отрицание фактических данных во имя чисто идеальных построений ведет к ложным системам, то и наоборот, отрицание умозрительных начал во имя голого факта производит не меньшую односторонность. Через это целая и притом высшая половина человеческой жизни остается непонятою.

* <Здесь и далее ссылки на книгу Ш. Конта (Comte Ch. Traité de législation. Paris, 1835) даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте,— Примет ред.>

Сам Шарль Конт принужден искать другого мерила для первых явлений, против простого их описания и указания взаимных их отношений. Наблюдаемые нами законы, говорит он, раскрывают нам необходимую связь явлений, их причины и следствия. Отсюда мы можем вывести, какие причины ведут ко благу человеческого рода, то есть к его совершенствованию, и какие ко вреду, то есть к упадку. Через это наука приобретает влияние на практику, ибо человек по своей природе стремится к совершенствованию и одобряет то, что ведет к совершенствованию рода. Кроме стремления к личной пользе, у него есть и бескорыстное желание общей пользы. В этом состоит прирожденное ему нравственное чувство, которое некоторые считают основанием нравственности, совершенно отвергая необходимость умственного анализа и научных исследований. Но это воззрение, продолжает Конт, грешит односторонностью, ибо внутреннее чувство, не руководимое разумом, может заблуждаться. Этим способом из нравственных наук исключается всякое рассуждение, оправдываются все преступления, совершенные добросовестным фанатизмом; наконец, мерилom нравственности становится личное начало, обыкновенно находящееся под влиянием частного положения лица. Для того чтобы нравственное чувство, или совесть, могло действовать правильно, оно должно быть освещено разумом, указывающим хорошие и дурные последствия действий. Но, с другой стороны, столь же односторонни и те систематики, которые, как Бентам, совершенно отвергают внутреннее чувство и ограничиваются одним научным анализом фактов. Все наши познания были бы бесплодны без того чувства, которое заставляет нас одобрять то, что мы признаем полезным для человеческого рода и осуждать то, что мы считаем вредным. Без этого человек был бы лишен всякой пружины к нравственной деятельности (Ibid. Ch. 8).

Итак, познание законов или необходимых отношений, вытекающих из природы вещей, служит только средством для достижения высшей цели — совершенствования человеческого рода; стремление же к цели определяется нравственным чувством, одобряющим то, что к ней ведет и осуждающим то, что ей противно. Мы видим, что Шарль Конт держится той точки зрения, на которой среди немецких мыслителей стоит Гербарт. Но лишенный философского образования, Конт не развил этого взгляда в цельную философскую систему и не утвердил его на прочных доказательствах. Недостаточность одного фактического исследования общественных отношений привела его к признанию высшего, одобряющего и осуждающего начала; но это начало он не подверг анализу, а прямо заимствовал его у шотландской школы, эклектически соединяя с ним и взгляд Монтескье на существо закона и, наконец, начало общей пользы, заимствованное у Бентама. Относительно последнего Шарль Конт справедливо утверждает, что оно всегда признавалось основанием политики всеми философами и публи-

цистами, древними и новыми. Но вопрос состоит в том, на чем его утвердить? Недостаточно сказать, что оно должно быть основанием всякого законодательства. Коли, как замечает сам Шарль Конт, понятие о долге не признается всеми, если законодатели, к которым обращается это требование, предпочитают следовать внушениям собственного интереса и выгодам своего сословия, то как убедить их в противном? Против этого, по мнению Конта, нет иного средства, как всеобщее распространение просвещения: надобно, чтобы правители, которые ставят личные интересы выше общественных и притом не верят в наказание будущей жизни, находили ад в настоящей (Ibid. Ch. 14. P. 270-271). Но это значит отдалять возможность хорошего законодательства в совершенно неопределенное будущее. Недостаточность твердых оснований для нравственного начала общественной жизни ведет к тому, что учение, которое имеет претензию опираться на одни факты, в конце концов принуждено ссылаться на фантастический идеал.

Это смешение нравственных законов с естественными приводит Конта к противоречащим выводам относительно самого существа положительного закона. С одной стороны, он в положительном законе видит не более как описание совершающихся в жизни фактов. Истинное существо закона состоит не в клочке бумаги, который сам по себе не имеет никакого значения, а в тех силах, которые дают законодательным постановлениям приложение в жизни. Смешение описания с самим предметом ведет к тем чисто теоретическим конституциям, которые исчезают при малейшем соприкосновении с жизнью и не дают народам никакой гарантии (Ibid. L. II. Ch. 1). С другой стороны, Шарль Конт в самом описании видит известный элемент силы; оно сообщает действию общность и правильность, присоединяя влиянию мнения действие власти. Еще более таким элементом силы являются правительственные лица и орудия, прилагающие закон (Ibid. P. 311-314). Различие между естественными законами и положительными состоит именно в том, что к числу элементов, их образующих, принадлежит действие власти (Ibid. Ch. 13. P. 437).

Очевидно, следовательно, что положительный закон не есть простое описание того, что совершается в жизни. Такое определение могло бы прилагаться единственно к обычному праву; но, по признанию самого Шарля Конта, эта форма принадлежит низшей ступени цивилизации. С высшим развитием является потребность нововведений, и тогда является другая юридическая форма — законодательство. Тут закон является уже описанием не того, что совершается, а того, «что законодатель хочет ввести»; тут правительство «силою заставляет граждан сообразовать свои действия с данным им описанием». Авторы этих нововведений, говорит Шарль Конт, действуют как архитекторы, которые ломают старые здания, очищают почву и воздвигают новые по составленным ими планам (Ibid. Ch. 4. P. 343-344). Столь же мало приложимо

определение простого описания и к третьей форме права — к праву юристов. Последнее, по признанию Конта, имеет в виду совершенствование существующих законов (Ibid. Ch. 5. P. 355). Но ясно, что совершенствование существующего не есть только простое описание того, что делается в жизни.

Выдавая закон за простое описание действительности, подобно портрету лица или копии с ландшафта (Ibid. P. 297, 353), Шарль Конт упускает из виду самое существенное обстоятельство, именно то, что это описание имеет обязательную силу и что с ним факты должны сообразоваться. Он сам признает, что описание производит факт (Ibid. P. 307), между тем как портрет не производит изображенного им лица, и ландшафт не сообразуется с его описанием. Конт совершенно прав, когда он настаивает на том, что закон, отрешенный от жизненных условий, не что иное, как пустой клочок бумаги: в этом заключается существенная его заслуга. Но он доводит это воззрение до нелепой крайности, когда он в законодательных постановлениях видит только отражение жизни в мысли, упуская из виду, что они представляют вместе с тем и воздействие мысли на жизнь. Мысль не есть только страдательный элемент; это — самостоятельное начало, которое находится во взаимодействии с жизненными условиями и направляет их сообразно с своими требованиями.

Это невнимание к самой существенной черте положительного закона, к его обязательной силе или к юридическому его значению, ведет к тому, что у Конта право смешивается с нравственностью. Как указано было выше, единственное отличие, которое он полагает между естественными законами и положительными, заключается в том, что одни опираются на естественные силы человека, другие также и на искусственные. Первые составляют область нравственности, вторые — права (Ibid. Ch. 13. P. 437; Ch. 15. P. 470-477). Признак тут чисто внешний. Какого рода действия могут быть предметом обязательных постановлений и какого нет, об этом мы у Конта не находим никаких вытекающих из самого существа дела указаний. Так же как у Бентама, все определяется единственно началом пользы, и если он не допускает вмешательства власти в действия, которые касаются исключительно самого действующего лица, то он руководствуется здесь тем соображением, что в этом случае можно вполне положиться на собственный интерес лица (ср.: Ch. 15. P. 471). О связи права с человеческою свободой и о требованиях, вытекающих из этого начала, нет и речи. В этом отношении нельзя не видеть громадного преимущества немецких юристов, воспитанных на философии Канта. Недостаток философского образования у французских мыслителей сказывается тут вполне.

Но упуская из виду значение свободы как источника права, Шарль Конт с другой точки зрения даже преувеличивает это начало в его отношении к законодательству. Если положительный

закон является лишь отражением жизненных явлений, то ясно, что чем меньше он воздействует на жизнь и нарушает естественное ее течение, тем лучше. Шарль Конт прямо говорит, что народы тем более процветают, чем менее они чувствуют на себе действие правительства (Ibid. Ch. 13. P. 457). Если мы станем исследовать действительные результаты большей части государственных законов, мы убедимся, что все громадные материальные средства, которыми располагает правительство, миллионы, которые собираются с народа, множество чиновников, бесчисленные армии, производят самую малую долю добра, из чего можно вывести, что образованный народ, для того чтобы быть счастливым, нуждается единственно в том, чтобы его не грабили, а предоставили бы его самому себе, и что он больше сделает одною силою своих нравов и тем инстинктом, который влечет его к самосохранению и к преуспеванию, нежели могут сделать самые ученые политики с их системами, поддержанными войском и бесчисленными агентами (Ibid. Ch. 14. P. 467-468). Шарль Конт видит в подчинении народа мысли законодателя выражение чистейшего рабства (Ibid. Ch. 15. P. 351). Для того чтобы воздержать вредные привычки и укрепить полезные, достаточно предоставить их собственному действию. Сама природа соединила с порочными наклонностями вредные последствия для самих деятелей, и это служит для других большею гарантией, нежели все законодательные меры, точно так же как и польза, истекающая для других от добродетелей, обеспечивается выгодами, которые они доставляют самим обладателям этих качеств. Надобно только, чтобы эти естественные награды и наказания были как можно более публичны, верны и пропорциональны действию. Поэтому все, что нарушает эти начала, должно быть признано злом (Ibid. Ch. 16. P. 494-500). Таковы, например, различные благотворительные учреждения, которые имеют в виду уменьшить дурные последствия распутной жизни, как-то: воспитательные дома, где принимаются родильницы и незаконные дети, больницы для дурных болезней, наконец, приюты для так называемых кающихся грешниц. Уменьшая естественное наказание вины, эти заведения способствуют усилению пороков (Ibid. Ch. 17). Таковы же и все меры, которые, подавляя общественную свободу и публичное выражение мнений, способствуют безнаказанности людей, управляющих государством (Ibid. Ch. 19. P. 519). Шарль Конт сознается при этом, что у всех народов Европы есть стремление ослаблять наказание именно тех пороков, которые всего более требовали бы исправительных мер. Порочная наклонность, которая доставляет лицу мало наслаждений, не может принести ему значительное зло и большею частью ни в ком не возбуждает сострадания. Но если порок причиняет человечеству громадные бедствия, а самому лицу приносит значительные выгоды, то все готовы его извинить. От искоренения этих ложных мыслей, порожденных рабством, зависит благоденствие человеческого рода.

И тут надобно сказать, что единственная гарантия для народов заключается в том, чтобы путь порока приводил человека к земному аду (Ibid. Ch. 18. P. 524-537).

Оказывается, следовательно, в чем признается и Конт (Ibid. P. 521), что не всегда порок влечет за собою пагубные последствия для деятеля. Одного действия законов природы недостаточно; необходимо, чтобы к этому применялось нравственное или материальное наказание, налагаемое самим человеком. Конт требует даже, чтобы те пороки, которые доселе оставались в области чистой морали, как-то: низость, алчность, честолюбие, мстительность, жестокость людей, управляющих государством, наказывались действием власти (Ibid. P. 516), в чем опять выражается полное смещение права с нравственностью. Из теории Конта следует, что сострадание к преступнику или к кающемуся грешнику во всяком случае есть зло; что невинные дети должны гибнуть в наказание за грехи родителей. Этих приводимых им самим примеров в подтверждение своего взгляда достаточно для обнаружения крайней его односторонности.

Столь же преувеличено и уверение, что все громадные средства государства могут принести лишь самую ничтожную пользу. Можно рассчитывать сколько угодно, что количество тяжб и преступлений в сравнении со всем количеством народонаселения относительно мало; но если бы государство не разрешало тяжб и не наказывало преступлений, это количество-возросло бы до такой степени, что все блага, которыми пользуются люди, были бы уничтожены. Конт прав, когда он говорит, что правительство делает зло всякий раз, как оно хочет установить действием силы то, что может быть совершено только действием нравов (Ibid. P. 487): излишняя регламентация и в особенности вмешательство правительства в не принадлежащую ему область всегда вредны. Но для решения этого вопроса всего менее можно довольствоваться односторонним предоставлением вещей естественному их течению, необходимо разобрать, какая область подлежит действию правительства и какая область и в какой мере должна быть от нее изъята; надобно отличить право от нравственности, промышленность и политику, общие интересы и частные. Всего этого мы у Конта не находим; общая теория бездействия, основанная на аналитичных приемах Бентама, которой он, однако, сам не в состоянии последовательно провести, заменяет настоящий анализ предмета.

Наконец, невозможно утверждать, что законодательство в своей деятельности должно только следовать за естественным движением общества, а не указывать ему путь. В этом отношении Конт идет так далеко, что хорошими законами он называет те, которые выражают собою интересы, чувства и привычки значительнейшей части народонаселения, а дурными те, которые служат выражением интересов, страстей или предрассудков влиятельнейшей части общества (Ibid. P. 476). Но он невольно сам себе противоречит,

когда он говорит, что ложное описание, в силу которого течение дел соображается не с обычным их ходом, а с самым этим описанием, может иногда быть добром, а иногда злом (Ibid. Ch. 4. P. 345-346). Законодательное нововведение, которое идет вразрез со всеми нравами народа, без сомнения, осуждено на бессилие, то, которое выражает собою только частные интересы правителей, бесспорно, есть зло; но нередко новые начала, которых сознание распространено только в образованнейшей части общества, могут найти приложение единственно действием власти, и это служит одною из самых сильных пружин человеческого совершенствования. Если бы правительство прежде, нежели действовать, стало дожидаться, чтобы новые начала установились уже в общих правах, человеческое развитие совершалось бы с величайшею медленностью и часто встречало бы неодолимые затруднения. Борьба нового порядка со старым происходит не в одной только области идей, но переходит из теории в жизнь прежде, нежели идеи успели сделаться общим достоянием и укорениться в нравах.

Между тем начало совершенствования составляет один из существеннейших элементов учения Конта. Различие между хорошими законами и дурными определяется их полезностью, полезность же состоит в их способности служить человеческому совершенствованию. Следовательно, для определения доброты законов надобно прежде всего знать, в чем состоит человеческое совершенствование, составляющее идеальную цель законодательства. В этом отношении Конт становится опять на чисто индивидуалистическую точку зрения. Невозможно составить себе точное понятие о величии или упадке народа, говорит он, если мы не начнем с точных понятий о величии или упадке отдельного лица; последняя же задача, в свою очередь, требует разложения лица на отдельные его части и рассмотрение каждой из них особо (Ibid. L. III. Ch. 1. P. 2). С этой точки зрения Конт разбирает, в чем состоит совершенство различных способностей человека — физических, умственных и нравственных. Совершенство физических органов заключается, во-первых, в хорошем их устройстве, а во-вторых, в их способности к различным действиям, полезным самому лицу или другим. Первое дается природою, второе приобретается упражнением. То же следует сказать и об умственных способностях. Наконец, нравственное совершенство состоит не в присутствии или отсутствии тех или других наклонностей, а в правильном направлении всех и в господстве над ними согласно с требованиями просвещенного разума. Правильным мы называем то направление, когда доброжелательные наклонности обращены на действия, полезные человеческому роду, а зложелательные на действия вредные; неправильным — то, в котором происходит обратное явление (Ibid. Ch. 1). Таким образом, наиболее совершенный человек тот, чьи физические органы устроены наилучшим образом и наиболее способны к действиям, необходимым для сохранения его самого

и ему подобных; чьи умственные способности наиболее развиты в отношении к предметам, наиболее для него важным, наконец, чьи наклонности всего более согласуются с интересами человеческого рода. Точно так же и народ идет к совершенству, когда совершенствуются и множатся составляющие его лица, и наоборот, он идет к упадку вместе с падением и с уменьшением народонаселения (Ibid. Ch. 2. P. 22-23).

Оказывается, следовательно, что совершенство человеческих способностей определяется теми целями, которые они достигают; цели же состоят в пользе человеческого рода. Но в чем заключается самая эта польза? Этого вопроса Конт вовсе не исследовал; он ограничился формальным началом совершенства личных способностей, оставив в стороне самое содержание деятельности. Об историческом развитии, об идеях, управляющих ходом человечества, нет и помину. Вследствие этого приложение начала совершенствования к историческим явлениям оказывается крайне недостаточным. Так, относительно римлян Конт замечает, что у них не было надлежащего развития ни физических органов, ибо они не были способны ни к какой промышленной деятельности, а жили грабежом; ни умственных способностей, ибо они были исполнены предрассудков; ни, наконец, нравственных способностей, ибо они были в постоянной вражде со всем человеческим родом (Ibid. Ch. 3. P. 24-26). Таким образом, римляне представляются какими-то хищными зверями, которые не могли принести ничего, кроме вреда, человеческому роду. Историческая их роль, значение их в судьбах человечества остается совершенно непонятным.

При таком взгляде Шарль Конт, конечно, не в состоянии был дать своему учению историческую основу, как это требовалось реалистическим его характером. Он, правда, пытался это сделать: три четверти его книги посвящены фактическому исследованию условий человеческого совершенствования; но можно сказать, что это была совершенно бесполезная работа. При отсутствии общих исторических взглядов он растерялся в массе фактического материала и принужден был ограничиться первобытными народами, не приведя своего исследования ни к каким положительным результатам.

Условия совершенствования по его теории могут быть двоякие: внутренние и внешние. Первые заключаются в самой природе человека, вторые в той среде, которою он окружен. Относительно первых Шарль Конт признает, что при настоящем состоянии науки мы не можем решить ни вопроса о единстве человеческого рода, ни вопроса о том, способны ли отдельные расы и племена к одинаковому совершенствованию или нет (Ibid. L. IV. Ch. 17. P. 405; Ch. 20. P. 44-49). Поэтому остается исследовать внешние условия, которые играют главную роль в историческом развитии народов.

Здесь Шарль Конт восстает прежде всего против теории Монтескье, который, приписывая климатам существенное влияние

на человеческое развитие, утверждает, что южный климат ослабляет людей, а северный, напротив, развивает в них энергию. На основании подробного сравнения различных северных и южных племен Конт приходит, напротив, к заключению, что везде последние имеют преимущество перед первыми как в физическом, так и в умственном и в нравственном отношении. Это превосходство он приписывает обилию средств существования, которые дает южная природа, ибо где внешние условия благоприятны, там есть и большая возможность развития. Поэтому первоначальная культура везде водворилась в тропических странах (*Ibid.* L. III. Ch. 46. P. 183-185).

Делая такой вывод, Конт забывает, что нередко культура развивается и в относительно бедных странах, где самый недостаток средств изощряет человеческие способности в борьбе с природою. Он сам говорит в одном месте, что народы, живущие под тропиками, не имели нужды изощрять свои способности для приобретения жилищ и одежд, вследствие чего у них науки и искусства должны были ограничиваться весьма тесными рамками (*Ibid.* L. IV. Ch. 3. P. 230). Конт не объясняет и того явления, что высшая культура из южных стран перешла в северные, несмотря на то, что относительно обилия средств существования преимущество все-таки остается за первыми. Очевидно, тут есть другого рода и гораздо важнейшие факторы, которые при таком способе исследования совершенно упускаются из виду.

Давая южным племенам первенство в развитии всех человеческих способностей, Конт признает, однако, что, относительно воинственных наклонностей северные сохраняют некоторое преимущество. Это происходит оттого, что различная среда и различный образ жизни ведут к одностороннему развитию различных сил человека. Оседлая, земледельческая жизнь способствует развитию мирных гражданских добродетелей, тогда как кочевая жизнь все сосредотачивает на упражнении военных наклонностей. Вследствие этого северные племена нападают на южные, которые не в состоянии им противостоять. Происходит завоевание, при котором культура неизбежно идет назад, причем, однако, победители частью усваивают себе плоды цивилизации побежденных (*Ibid.* Ch.14).

Не всегда, однако, оседлые образованные племена остаются таким образом беззащитными перед натиском воинственных варваров. Конт признает, что при высшем развитии технического искусства первые получают над последними 7акой перевес, что отношения совершенно изменяются (*Ibid.* P. 364). Но он не объясняет, почему та же цель не достигается и относительно меньшим, хотя все-таки высшим против варваров развитием технического искусства. Мы не видим также, где граница, на которой прежнее отношение изменяется. Если же мы взглянем на действительные явления истории, то они далеко не подтверждают этого взгляда.

Римляне были народ оседлый и земледельческий, а между тем они покорили почти весь известный тогда мир и сделали это именно в то время, когда они менее всего обладали техническим искусством; когда же они усвоили себе все средства тогдашней цивилизации, они, в свою очередь, были покорены варварами. Ясно, что и тут есть другого рода факторы, которые следует принять в расчет при выводе исторических законов.

Покорение оседлых племен воинственными варварами ведет к новому явлению в истории, именно к рабству. Этому вопросу Конт посвящает последнюю часть своего сочинения. Он подробно исследует влияние рабства на физические, умственные и нравственные способности как господ, так и рабов. Результат этого исследования, веденного с крайней односторонностью, выходит чисто отрицательный: рабство во всех отношениях приводит к понижению человеческих способностей, следовательно, и к упадку человеческих обществ (Ibid. L. V. Ch. 5. P. 513, 522; Ch. 27. P. 207; Ch. 19. P. 240). Конт осторожно обходит вопрос о высоком развитии образования у рабовладельческих народов, как-то: у древних греков. Но он не может не признать, что в Соединенных Штатах рабовладельческие штаты дали замечательнейших государственных людей, и хотя он приписывает это стремлению господ к захвату власти (Ibid. Ch. 20. P. 242-243), однако, так как в числе этих людей были такие лица, как Вашингтон, то из этих фактов никак нельзя вывести заключения о понижении умственных и нравственных качеств рабовладельцев. Во всяком случае, так как рабство в Древнем мире составляло всеобщее явление, то, признавши пагубное его действие на все человеческие способности, остается непонятным, откуда могли вырасти семена высшего образования и дальнейшего совершенствования человеческого рода.

Этот вопрос устраняется только тем, что Конт останавливается на этой точке. Он с рабством сравнивает коммунизм, который точно так же ведет к уничтожению всякой личной самостоятельности, и выводит отсюда, что везде главным препятствием к совершенствованию служит отсутствие всякой гарантии для личной безопасности и для произведений человеческого труда (Ibid. Ch. 23. P. 495). Этот отрицательно либеральный вывод составляет главный результат всего исследования. Конт прямо говорит, что обширность задачи не позволила ему обнять ее вполне; поэтому он принужден был ограничиться отдельными частями, стараясь главным образом указать на важность метода, которая одна может привести к точным заключениям (Ibid. P. 405-406).

Мы с своей стороны должны сказать, что правильность метода доказывается главным образом добытыми ею результатами. Когда обширные исследования дают только самые скудные и односторонние выводы, можно, наверное, сказать, что тут есть ошибка в приемах. И точно, плодотворное исследование фактического материала истории возможно лишь при философском понимании

руководящих ею идей, которые составляют высшее содержание человеческого развития. Односторонний реализм Конта в свое время имел значение как противодействие чисто теоретическому построению системы; в некоторых частях, например в критике учения Руссо, является у него необыкновенная меткость и сила; но при недостатке философского взгляда это направление не могло ни выяснить существенных задач законодательства, ни еще менее вывести законы человеческого совершенствования. Сочинение Конта остается отрывком, в котором самые основные взгляды плохо вяжутся между собой. Положенный в основание опыт видоизменяется лишенными достаточной опоры идеальными требованиями. В результате вышло ни то, ни другое; оказывается смесь разнородных начал, не приносящая науке никакого прочного взгляда.

4. Сисмонди

К числу значительных произведений французской либеральной литературы принадлежит сочинение женеваца Симона де Сисмонди «Исследование о конституциях свободных народов» («Etudes sur les constitutions des peuples libres»), вышедшее в 1836 г. Если Конт, исследуя законы человеческого совершенствования, начал с первых ступеней и не в состоянии был идти далее, то Сисмонди, наоборот, изучает только высшие ступени, те, которые непосредственно ведут к желанной цели. Эта цель есть общее благо, которое состоит в счастье и совершенствовании людей. Общественное устройство, или конституция общества, служит средством к достижению этой цели. А так как всякое общество устроено так или иначе, то в обширном смысле нет государства, которое бы не имело конституции. Но в тесном смысле под именем конституционных государств разумеются те, которые ближе ведут к цели, в отличие от тех, которые от нее удаляются. Первые обеспечивают гражданам общественный мир, безопасность, пользования их правами, собственностью и плодами их труда; они способствуют их развитию, воспитанием, религиею, примером, призванием их к участию в общих делах. Вторые жертвуют правами лиц мнимой безопасности целого, оставляют без гарантии жизнь и состояние членов, ничего не делают для развития человека или даже развращают его нравственный смысл. Первого рода учреждения основаны на любви; они добровольно принимаются свободными людьми, которые выбирают то, что им приходится. Поэтому такого рода конституции заслуживают название либеральных. Второго рода учреждения, напротив, должны быть названы рабскими: они основаны на силе, имеют в виду выгоды меньшинства и рушились бы, если бы члены общества могли пользоваться свободой. Только первые, по мнению Сисмонди, могут быть предметом для науки и для подражания; вторые же должны рассматриваться только

как случайности, указывающие на те опасности, которые следует избегать (Introduct. P. 1-6) *.

В этой основной точке зрения выражается уже односторонность либерализма, отвергающего все, что не подходит под его мерку. Если достоинство учреждений измеряется способностью их содействовать народному развитию, то нелиберальные правительства не уступают в этом отношении либеральным. При известных исторических условиях первые даже сильнее двигают народ, нежели последние. Сам Сисмонди, указывая на Россию как на пример второго рода учреждений, видит в ней, однако, прогрессивное государство (Ibid. P. 14-15). Не признавать самодержавной власти могучим орудием человеческого совершенствования — значит не понимать истории. Истинная наука, соединяющая теоретические начала с историческим взглядом, может указать на превосходство тех учреждений, в которых к началу власти присоединяется и начало свободы; но она не может делать их исключительным предметом своего изучения, отвергая остальные как произведения случайности или как подводные камни, которые следует миновать.

Впрочем, Сисмонди весьма далек от отрицания исторического значения различных государственных учреждений. Наука XIX века наложила на него свою печать. Он прямо говорит, что политическая наука более всех других должна применяться к обстоятельствам. Законодатель всегда действует только на данное общество; он может сохранять и совершенствовать, но он не в силах создавать. Он должен приступать к конституции с подпилком, а никогда с топором. Все, что имеет жизненность, должно быть сохранено и вооружено силою сопротивления. Первое требование от всякой рациональной конституции заключается в обеспечении того, что есть; но затем второе требование состоит в приготовлении того, что должно быть сообразно с указаниями науки.

Эта двойственная задача законодателя прилагается ко всем элементам, входящим в состав государства, и рождает двоякую точку зрения на каждый из них. Так, в народе может существовать сильный монархический интерес. Известная династия может быть так связана со всею его прошлою историею, что она является как бы олицетворением народа, символом его могущества и славы; к ней привязаны миллионы людей, которые готовы восстать при всяком на нее посягательстве. Независимо от каких бы то ни было теоретических взглядов законодатель не может не признать здесь факта, с которым он должен соображаться. С другой стороны, он должен иметь в виду чисто теоретические указания науки, которая признает пользу единоличной власти для известных общественных дел. Задача законодателя в либеральной и прогрессивной

* <Здесь и далее ссылки на книгу Сисмонди (Simonde de Sismondi). Ch. I. Etudes sur les constitutions des peuples libres) даются Б.Н. Чичериным непосредственно в тексте, — Примет ред.>

конституции состоит в том, чтобы сочетать эти научные выводы с жизненными интересами, причем, конечно, невозможно руководствоваться абсолютными правилами, а надобно приспособляться к данным обстоятельствам. Точно так же и аристократический элемент должен рассматриваться с двоякой точки зрения; с одной стороны, как известный жизненный интерес, основанный на преданиях, на привычках, на его исторической роли, на передающемся от поколения к поколению высокому положению в обществе; с другой стороны, как политическое начало, в котором наука признает необходимый для государства корпоративный дух, постоянство, настойчивость, осторожность, бережливость, преданность отечеству. Эти теоретические указания следует сочетать с фактами, так чтобы по возможности устранить невыгоды дворянства и сохранить пользу аристократического сената.

Наконец, те же взгляды прилагаются и к демократии. В действительной жизни демократический элемент является наиболее неправильным и непостоянным. Если в первоначальных обществах народ удерживает за собою значительное участие в управлении, то с течением времени это право почти везде теряется. Однако во многих местах сохраняются еще его следы, которые могут служить источником новой жизни. Даже там, где они совершенно изгладились, воспоминание о прежнем порядке становится элементом будущего развития. С другой стороны, в области теории надобно прежде всего обратить внимание на значение демократического начала для воспитания народа: человек поднимается приобщением к власти и участием в общественных делах; напротив, он падает, когда он погружается исключительно в частную жизнь. Наука доказывает и то, что всякий общественный класс, который не имеет орудий защиты, подвергается притеснению. Но вместе с тем она указывает и на пагубное действие безграничной власти не только на правителей, но и на обремененные ею народы. В демократии на характере граждан отражаются злоупотребления власти, развращающее действие лести, наконец, необузданность страстей, которые поддерживаются интригами и демагогами (Ibid. P. 24-35).

Соображая таким образом фактические элементы с теоретическими требованиями, законодатель должен иметь в виду двойную цель: с одной стороны, такое устройство власти, которое привлекало бы к ней лучшие силы народа, с другой стороны, действие того или другого устройства на самих граждан. В этом отношении приходится избегать двух крайностей. В настоящее время чистые монархисты отказались уже от прежнего раболепного учения, которое целью государства ставило славу монарха. Теперь они выставляют своим девизом: все для народа, ничего посредством народа. Но возможно ли все делать для народа, когда ничто не делается через него? Этим устраняется одна из двух целей политических учреждений — совершенствование людей, ибо ничто так не поднимает человека в умственном и нравственном отношении, ничто

так не образует характеры и не внушает чувства человеческого достоинства, как участие граждан в верховной власти. С другой стороны, демократическая партия выставляет противоположный лозунг: все для народа и все посредством народа. Но способен ли народ ко всему? Достижение целей общества требует соединения высших знаний и высших добродетелей. Можно ли все это найти в толпе? Не теория, а опыт на каждой странице истории доказывает предрассудки, непостоянство, ложные страхи, изменчивость, дерзость, неосторожность, расточительность и скаредность народной массы (Ibid. P. 21-24).

Общественная наука должна стоять посередине между этими крайностями. Принимая слово конституция в означенном выше тесном смысле, она доказывает, что только те народы пользуются истинною конституцией, которые ограждены от деспотизма, то есть от безграничной и бесконтрольной власти, предоставленной кому бы то ни было. А таковыми могут быть только смешанные правления, ибо всякий простой образ правления неизбежно предоставляет безграничную власть либо монарху, либо аристократии, либо демократии. Даже из смешанных правлений должны быть причислены к деспотическим те, в которых часть народа совершенно исключается из участия в верховной власти, или, вследствие плохого сочетания известный интерес не в состоянии противостоять нравственности других. Только в смешанных правлениях возможно ограничить общественную власть так, чтобы она не нарушала прав, которые граждане при устройстве общества оставили за собою. Ибо общество устанавливается для счастья и совершенствования всех, и этою самою целью ограничиваются его права. Между ним и его членами существует молчаливый договор, в силу которого каждый положил границы своему повиновению и правам, предоставленным общественной власти. Эти границы нигде не писаны, но начертаны в сердцах людей. На этом подразумеваемом договоре основаны всякая власть и всякое повиновение. Человек отдает обществу все, что требуется для общественного блага, но он не отдает ему своей совести и своей добродетели. Власть общества останавливается перед несправедливостью; она может казнить виновного, но она не вправе наказать невинного. Добродетель стоит выше действий власти, как вечное выше временного.

Таким образом, только в смешанных правлениях возможно не предоставлять правителям полновластия. Но это делается не вследствие взаимного равновесия власти, которое может вести только к неподвижности. В государстве необходимо не разделение властей, а их содействие общей цели, не равновесие их, а их соединение. Надобно, чтобы из столкновения и сочетания различных волей вышла единая воля, но так, чтобы все интересы были выслушаны, чтобы все права имели защиту и все вопросы подлежали бы наконец верховному решению высшей добродетели, освященной высшим разумением (Ibid. P. 35-38).

В этих мыслях Сисмонди весьма ярко выражается конституционная идея XIX века, в противоположность теории разделения властей, господствовавшей в XVIII веке. Но когда он говорит о молчаливом договоре между обществом и его членами и о правах, которые последние оставили за собою, он опять впадает в односторонний индивидуализм. Нет сомнения, что власть не вправе предписывать человеку действия, противные добродетели, но это относится к области нравственности, а не права. Если бы в общественных отношениях гражданин имел право отказать власти в повиновении всякий раз, как он считает предписание противным справедливости или общественной цели, то общественный порядок был бы невозможен. Здесь верховное решение может принадлежать только самой общественной власти как представительницы целого, а потому ей всегда предоставляется юридическое полномочие, каково бы ни было ее устройство. В этом отношении смешанные правления не имеют никакого преимущества перед остальными. Разница между ними и простыми формами заключается единственно в том, что в первых требуется содействие нескольких независимых друг от друга органов, чем обеспечивается правильность решения, но существо власти в тех и других одинаково.

Допуская подразумеваемый договор между обществом и его членами, Сисмонди весьма, однако, далек от господствовавшей в XVIII веке теории первобытного договора, на котором строилось учение о верховенстве народа. Он первый свой опыт, посвященный демократическому элементу, прямо начинает с опровержения этой теории. Ее приверженцы утверждают, что в первобытные времена, предшествующие всякому наблюдению, общества установились через то, что меньшинство подчинило свою волю воле большинства. Но откуда взяли они подобное предположение? Во имя чего может свободный человек подчинять свою волю чужой? В первобытные времена, так же как и на высших ступенях развития, цель человеческих обществ всегда та же самая, а именно общее благо, и эта цель одна составляет источник власти и повиновения. Эта цель требует, с одной стороны, чтобы власть была вручена самым добродетельным и просвещенным людям из среды народа, с другой стороны, чтобы каждый был обеспечен в том, что его интересы не будут произвольно нарушены. Для достижения этой двоякой цели необходима весьма высокая степень знания, таланта и характера. Недостаточно изучение существующего порядка: нужен философский взгляд на человеческие отношения, на существо правды, на действие закона; нужно знание всей области общественных наук, педагогики, права, политической экономии, политики, международных отношений. К этому должен призываться весь общественный разум, все лучшие силы народа. Но возможно ли предоставить решение этих вопросов необразованной массе? Это значит дать преимущество незнанию над знанием, не имеющим воли над имеющими. Наибольшее, чего можно достигнуть

установлением этого мнимого равенства голосов, это — средней пропорциональной между образованным меньшинством и необразованным большинством. Если на десять человек находится один образованный, то результат голосования будет на девять десятых ближе к невежеству, нежели к знанию. Но обыкновенно не будет достигнуто даже и это: невежды победят огромным большинством. Опыт всех времен и народов показывает, к чему ведет всеобщее право голоса. Об этом свидетельствуют все древние мыслители; это доказывается и примером современных обществ. Самые демократические кантоны Швейцарии удерживают пытку в судах, военные капитуляции с иностранными государствами требуют отмены свободы печати. Всегда и везде народная масса погружена в предрассудки; это — самая отсталая часть народа. Демократы надеются на распространение просвещения; они требуют заботы о народном образовании. Против этого ничего нельзя сказать; но каковы бы ни были успехи этих начинаний, пока есть богатые и бедные, всегда будут люди, имеющие досуг для умственных занятий, и другие, которые большую часть своего времени должны будут посвящать физическому труду. Если же захотят уравнивать состояния, то, предполагая даже возможность подобного порядка вещей, он приведет единственно к тому, что все равно будут посвящать большую часть своей жизни физической работе. Это будет не повышение, а понижение общего уровня. Добродетель, знание, талант все-таки останутся в значительном меньшинстве. Не поможет этому и представительное начало, ибо если массы невежественны и отсталы, то они не передадут своим представителям ни знания, ни прогрессивной воли. Представительное устройство должно вооружить каждого возможностью защищать свои права и свои интересы; но это относится не к одним необразованным классам, а равно ко всем. Отсюда менее всего вытекает власть большинства над меньшинством, которое может вести к самой страшной тирании; задача законодателя состоит не в том, чтобы подчинить одних другим, а в том, чтобы разнообразные интересы и хотения общества привести к соглашению, вызвавши для этой цели высший разум и высшую добродетель народа. В этом состоит верховенство нации, в отличие от верховенства народа, которое проповедуют демократы. Под именем нации разумеется совокупность всех общественных сил, как управляющих, так и управляемых; народ же обыкновенно противопоставляется правительству и принимается в этом учении как масса, равная в правах, что и ведет к превосходству невежества и равнодушия над знанием и мудростью (Ibid. Essai 1. P. 41 f; Essai 2. P. 88-90).

Но отвергнув демократию и всеобщую подачу голосов, необходимо определить, какое должно быть предоставлено народу участие в управлении. При этом надобно отправиться от двух начал: первое, что кто не имеет средств защиты, тот рано или поздно подвергается притеснению; второе, что кто не участвует в общих

делах, тот нравственно унижается. Отсюда необходимость дать демократическому элементу соответствующую его потребностям долю участия во всех отраслях государственной власти — законодательной, исполнительной и судебной (*Ibid.* 2-en Essai. P. 91).

Сисмонди начинает с нижнего, рабочего класса, и разбирает, в чем состоят его потребности и права. В образованных обществах, где уничтожено рабство, закон ограждает полную свободу сделок. Но рабочий, по мнению Сисмонди, имеет право и на нечто большее. Находясь под гнетом нужды, он не совершенно свободен при заключении сделки, а потому нуждается в покровительстве общества. Он имеет право на здоровую пищу, на жилище и одежду, которые бы вполне предохраняли его от внешних влияний, на обеспечение жизни на отдых, необходимый для здоровья и образования. Доля его в производимом им богатстве не может быть меньше этого, ибо иначе он подвергался бы страданиям и искал бы удовлетворения своих нужд путем насилия, а не работы, а с другой стороны, при настоящем положении производства, при конкуренции, которая постоянно стремится умалить то, что достается бедному, эта доля не может быть и больше (*Ibid.* P. 92-93).

Исходя от такого положения, Сисмонди очевидно расширяет границы права гораздо более того, что дается его понятием. Право есть выражение свободы и не идет далее свободы. Гражданин как отдельное лицо имеет право на беспрепятственное употребление своих сил и на охранение того, что приобретено им законным путем; как член общества, он имеет право участвовать в пользовании теми общественными учреждениями, которые создаются совокупными средствами всех. Но никто не имеет право на пищу, на одежду или жилище, и еще менее на обеспечение жизни от всяких случайностей. Где есть в этом отношении недостаток, там частные лица и государство могут приходить на помощь по мере средств; но это дело благотворительности, а не права. И тут выражается недостаток философского анализа понятий, которым страдает вся французская публицистика. Становясь на эту точку зрения, Сисмонди удаляется от экономистов. В своем трактате о новых началах политической экономии он подробнее развивает эти взгляды. Он указывает на Англию, где в то время господствовал сильнейший контраст между крайнею бедностью и несметным богатством. Но стоило Англии отменить пошлины на хлеб, сократить работу женщин и детей на фабриках, запретить продажу припасов, и все опять пришло в нормальное положение.

Однако требуя, чтобы рабочий класс имел право подавать голос о своих нуждах, Сисмонди отнюдь не думает предоставить ему решение относящихся сюда вопросов. «Надобно выслушать того, кто голоден,— говорит он,— для того, чтобы помочь его голоду; но если бы вместо того, чтобы его выслушать, стали получать от него приказания, его голод причинил бы голодание всего общества» (*Ibid.* P. 109).

Первая среда, в которой может проявиться участие низших классов в общественном управлении, есть община. Это — первоначальный союз людей, в котором некогда сосредотачивалась вся верховная власть. С образованием больших государств общины потеряли значительную часть своих верховных прав, и это то, что называется централизациею. С правильною деятельностью центральной власти соединены существенные выгоды; но эта система никогда не должна поглощать в себе общинную автономию. Каково бы ни было стремление народа к централизации, законодатель никогда не должен забывать, что община есть великая школа общественной жизни и патриотизма. Здесь гражданин научается выходить из границ своего эгоизма и связывать свои личные выгоды с общим благом. Полезно, чтобы ему предоставлено было участие не только в исполнительных действиях, но и в самом общинном законодательстве, ибо этим только путем он научается отличать законный порядок от произвола. Это участие не должно быть равное для всех; иначе в самых близких жизненных интересах богатые будут поставлены в зависимость от бедных, образованные от необразованных. С другой стороны, не следует держаться и новейшей классификации, которая делит народы на избирателей, знающих все, и неизбирателей, не знающих ничего. Гораздо лучше цель достигалась средневековыми общинами, которые разделяли граждан на корпорации, равные в правах, но неравные численностью членов. Этим способом все интересы имели голос, и ни один не получал перевеса над другими. Необходимо также, чтобы общинные должности имели достаточное достоинство и важность, так чтобы члены общины могли к ним привязаться, и учреждения не пали вследствие общего равнодушия. При всем том решения общин не могут быть верховными. Связь их с государством требует, чтобы в каждой из них находился представитель центральной власти, который может соединяться или не соединяться в одном лице с главою общины, но всегда необходим для установления единообразия в законодательстве, в администрации и в правах. Впрочем, централизация и самоуправление зависят от привычек, привязанностей и предрассудков общества столько же, сколько и от степени образования, развитого в народе (Ibid. P. 101-113).

В прежние времена с общинною властью соединялось право суда. В настоящее время участие народа в судебной власти проявляется в учреждении присяжных. Оно служит не только ограждением права, но и школою для народа, в котором оно развивает уважение к праву и любовь к справедливости. Впрочем, это учреждение приносит настоящую пользу только там, где оно уже укоренилось. При скороспелом его введении присяжные обыкновенно видят в себе более судей, нежели свидетелей; скандальные оправдания, возбуждая опасения общества, развращают вместе с тем нравственный смысл народа. Поэтому прежде, нежели вводить суд присяжных, необходимо преобразовать закон и приготовить

к тому общество установлением полной публичности и гласности суда (Ibid. P. 114-123).

Наконец, народу следует дать участие и в военной силе. Служба в национальной гвардии составляет гораздо менее обязанность, нежели право. Это — гарант всех других прав. Можно опасаться, что оружие, данное массе, будет служить орудием тирании в руках черни; но опыт убеждает нас, что неразлучная с военной службою дисциплина служит лучшею школою повиновения. Милиция нередко составляет лучшую узду демократии, тогда как исключение низших классов из национальной гвардии может вести либо к их притеснению, либо к переворотам (Ibid. P. 123-126).

Таково участие демократического элемента в низших отраслях общественного управления. Но посредством представительства он должен иметь участие и в решении высших государственных вопросов. Здесь надобно иметь в виду не столько права каждого гражданина на долю власти, сколько право народа на хорошее управление. Верховная власть принадлежит народному разуму, соединяющему в себе высшее знание и высшую добродетель народа. Это нечто большее, нежели общественное мнение, которое подвержено страстям и увлечениям. Народный разум вырабатывается из общественного мнения, когда улягутся страсти и все разногласящие мнения сольются в одно верховное решение. Но для того чтобы это могло совершиться, необходимы две вещи: 1) чтобы общественное мнение могло образоваться; 2) чтобы окончательное решение не было принято поспешно, но было обставлено всеми гарантиями правильного суждения. Первое происходит двояким путем: свободными прениями в собраниях и печати и официальными прениями представителей народа. Свободными прениями выдвигаются из среды общества лучшие умы; этим путем образуется умственная аристократия. Для всестороннего освещения вопросов необходимо это предварительное их обсуждение; но само по себе оно недостаточно: оно имеет слишком теоретический характер. Для того чтобы вопрос перешел на практическую почву, необходимо, чтобы он был связан с действительными потребностями общества. С этою целью все существующие в обществе интересы должны получить голос и быть призваны к общему решению. В этом заключается истинное начало народного представительства; оно должно быть представительством не партий, а интересов. Представительство партий ведет к победе одних над другими, представительство интересов к временным соглашениям, из которых вытекает общее решение, удовлетворяющее всех. Полезно, чтобы в собрании, рядом с двумя борющимися сторонами, были беспристрастные зрители, которые своим голосом решают дело. Чтобы достигнуть этого, недостаточно иметь представительство от различных местностей, которое выдвигает только местные знаменитости: надобно призвать к совету все разряды интересов, существующие в обществе, — церковь, ученые корпорации, свободные профессии, землевладельцев, фермеров,

половников, рабочих. Каждый из этих классов должен иметь свое особое представительство; иначе он не найдет защиты и подвергнется притеснению. Когда же этим способом все знания и все интересы будут собраны вместе, необходимо, чтобы, действуя друг на друга, они приходили к общему соглашению. Для этого должны быть установлены правила обсуждения и решения дел. Первое, по существу своему, важнее второго, ибо этим путем из разрозненных интересов вырабатывается общее решение. Тут необходимо ограждение меньшинства и устранения всяких оскорбительных и раздражающих пререканий, которые препятствуют спокойному решению. Необходимо далее, чтобы обсужденный со всех сторон вопрос снова подвергся суждению; только при взаимодействии избирателей и выборных может выработаться общественный разум. Наконец, для верховного решения недостаточно одного мнения настоящего дня; надобно связать вопрос с прошедшим и будущим народа, сочетать различия с единством. Для этого, кроме демократического элемента, призываются к участию элементы аристократический и монархический. Только из совокупности их составляется верховная власть в обществе (Ibid. Essai 3).

Таково учение Сисмонди о народном представительстве. Он так же, как и теоретики народовластия, требует, чтобы избирательное право было вручено всем, но не как отвлеченным единицам с равным для всех правом голоса, а в распределении по общественным группам, так чтобы из разнообразия интересов вырабатывался общественный разум. Это был шаг вперед против чистого индивидуализма, но шаг далеко не удовлетворительный, ибо из столкновения частных интересов никогда не выделится разум, способный управлять государством. Каждый интерес, отдельно взятый, тянет к себе и имеет в виду только себя, тогда как от народных представителей требуется именно, чтобы они прежде всего имели в виду общее дело. Представительство интересов разобщает, а не соединяет людей; из него никогда не составит большинство, способное служить поддержкою правительству. Такое большинство может образовать только партия, представляющая известное общее воззрение на политическую жизнь. Когда Сисмонди восстает против владычества партий, он обнаруживает непонимание самого существенного условия представительного правления. Каждый отдельный интерес должен иметь свой голос, но отнюдь не право участия в верховном решении. Представители интересов должны призываться в качестве экспертов, а не в качестве членов верховного собрания. Вследствие этого сам Сисмонди говорит, что для свободы гораздо важнее право свободно поднимать голос, нежели право произносить приговор (Ibid. P. 111). Поэтому он главный вес полагает в обсуждении вопросов, а не в решении. Между тем в государственной жизни первый вопрос заключается в том, кому принадлежит верховное решение? Приписать его народному разуму ничего не значит; надобно знать, кто считается законным пред-

ставителем этого разума? У Сисмонди окончательное решение совершенно даже улетучивается в неопределенных фразах, ибо самое суждение народных представителей признается им недостаточным: надобно, чтобы истекающий отсюда свет разлился в народе и чтобы новые выборы послали в собрание не борцов, а примирителей. Не из борьбы, а из соглашения интересов должен истекать общий разум. Но этим способом, очевидно, нельзя вести государственные дела. Примирение интересов весьма желательно в теории, но действительная жизнь всегда и везде идет путем борьбы и требует немедленных решений. Всего менее примирение достигается тем разобщением интересов, которое устанавливается отдельным представительством каждого. Не частные, а общие интересы государства должны найти свое выражение в представительном собрании; а потому право голоса может быть предоставлено единственно тем, которые понимают общие интересы, а отнюдь не всем гражданам без различия. Исключенные классы могут быть внакладе; но при широком развитии политической свободы они всегда найдут своих представителей. Во всяком случае, это — гораздо меньшее зло, нежели приобщение к верховной власти классов, неспособных понимать политические вопросы. В первом случае может пострадать частный интерес; во втором случае неизбежно страдает общий. Последний путь прямо ведет либо к демагогии, либо к деспотизму.

От демократического элемента Сисмонди переходит к монархическому. Существование его вытекает из потребности вверить общее направление дел лицу, обладающему достаточною энергиею и быстротою действий, а вместе молчаливостью, осторожностью и бережливостью. Но самые эти качества делают князя опасным для свободы. Отсюда стремление ограничить его власть представителями народа; отсюда же и борьба между этими двумя началами, которую многие считают необходимою принадлежностью всякого свободного правления. Но подобная борьба, в которой истощаются лучшие силы народа, должна считаться не нормальным порядком, а злоупотреблением системы равновесия властей. При известных обстоятельствах она может вести к гибели народа. Революция не выносит системы равновесия, которая парализует ее действия. Точно так же и при борьбе с внешним врагом необходимо сосредоточение всех сил в одних руках. Наконец, и в мирное время власть может быть поставлена в ближайшую зависимость от народа, устраняющую взаимную борьбу. Но тут возникает опасность для свободы со стороны демократической власти. Пример тому представляют Соединенные Штаты, где все должно преклоняться перед капризами общественного мнения, руководимого своекорыстною журналисткою. Ввиду этого зла, необходимо разобрать, каково должно быть устройство исполнительной власти, которой вверяется управление обществом (Ibid. Essai 4. P. 189-205).

Сисмонди противопоставляет выгоды и невыгоды монархии наследственной и избирательной. Он сравнивает в этом отношении

Францию и Германию с XI до XVI века и находит, что последняя при избирательной форме более преуспевала в свободе, благосостоянии и просвещении; что если в ней выбор монарха не раз был причиною междоусобных войн, то во Франции более продолжительные войны велись за право наследства; далее, что избрание почти всегда возводит на престол человека способного, тогда как при наследственном праве власть может впасть даже в руки безумца, как Карл VI²⁹; наконец, что если при избрании возможны междоусобицы, то наследственное начало ведет к регентствам, что еще хуже (*Ibid.* P. 214-221).

Делая такое сравнение, Сисмонди упускает из виду результат этого исторического процесса, а именно, что в одном случае государство, под влиянием избирательного начала, распалось, а в другом, под влиянием наследственного начала, оно соединилось и окрепло. Подобный же результат представляет и история Польши. Если есть научное положение, утвержденное на многовековом опыте, так это именно преимущество наследственной монархии перед избирательною. Сам Сисмонди указывает на то, что в высшей способности выборного монарха заключается опасность этой формы для свободы народа. В наследственной монархии, как абсолютной, так и ограниченной, монарх гораздо более полагается на своих советников для управления государством. Выборный же монарх всегда является сам душою своего управления, и все свои способности он устремляет на то, чтобы упрочить свое положение, сделав его наследственным. Поэтому чем более блестящий результат дает избирательная монархия, тем ближе она к своему падению (*Ibid.* P. 221-226). Отсюда Сисмонди выводит, что так как обе формы имеют свои недостатки, то лучше всего сохранять то, что есть, улучшая, но не разрушая (*Ibid.* P. 224). Сам он, впрочем, в качестве женева гражданина прямо объявляет себя республиканцем и признает этот образ правления наиболее желательным для всех новых государств и для тех, в которых перевороты уничтожили все следы прошедшего. Надобно только сохранить в республике выгоды монархического начала, необходимое единство воли. Этому требованию не соответствуют учреждения правительственной коллегии, в которой исчезает личная ответственность. Отсюда падение французской директории³⁰. Для того чтобы единство воли в свободном государстве принесло свои плоды, необходимы два условия: надобно, чтобы выборное лицо обладало высшими талантами и чтобы оно везде оставалось таким, каким оно было во время выбора. Первое достигается предоставлением выбора способнейшим лицам, второе ограничением срока управления. Выбор должен быть предоставлен демократическому элементу, ибо если народ по своей подвижности неспособен к управлению, то он способен различать качества лица, которое должно быть поставлено во главе государства, и удержать его на пути чести, правды и добродетели. Он может иногда ошибаться, но эта ошибка поправима

при кратковременности срока избрания. В больших государствах этот срок должен быть, впрочем, более продолжителен, нежели в малых, но когда он становится слишком долгим, власть грозит сделаться пожизненною (Ibid. Essai 5. P. 267-274).

Становясь таким образом на сторону республики, Сисмонди говорит даже, что введение наследственного короля в свободную конституцию не только не должно считаться совершенством политического искусства, но, напротив, составляет только лишнее затруднение, ибо этим организуется постоянный заговор против того самого порядка, который хотят утвердить. Это — враг, который вводится в самую цитадель свободы, вручая ему оружие для собственной защиты (Ibid. P. 280). Но так как, с другой стороны, чистая демократия составляет худший из образов правления, то надобно искать ей противовеса в другом элементе — в аристократическом.

Аристократия и демократия издавна борются в человеческих обществах; но люди начинают понимать, что оба элемента необходимы в хорошо устроенном правлении. Каждый из них вреден, когда он является исключительным или владычествующим, но сочетание их одно может вести к счастью народа. Под именем аристократии разумеются все, возвышающиеся над массою; но к личному положению здесь присоединяется корпоративный дух, который внушает людям общие цели и стремления. Корпоративный дух составляет одну из самых сильных движущих пружин общественной жизни; он дает людям постоянство, самоотвержение, даже героизм во имя общих начал, тесно связанных с собственным положением. Законодатель не может упускать из виду такого двигателя; он должен извлечь из него всевозможную пользу для общества, подчинивши его влиянию в особенности высшие классы, которые одни могут служить оплотом против напора демократического элемента. Преимущества, которыми можно воспользоваться для этой цели, могут быть различны. Существует аристократия рождения, манер, талантов и образования, наконец, богатства. Первая во все времена и у всех народов составляет предмет уважения. В ней корпоративный дух имеет преобладающий характер; он обращен на поддержание чести рода, которой отдельное лицо является носителем. Аристократия манер основана на внешнем изяществе; нередко она всего резче выделяется там, где не признается преимущества рождения. Аристократия талантов связывается общим образованием; но это та сила, которая менее всего поддается влиянию корпоративного духа, ибо талант всегда сохраняет своеобразный и независимый характер. Наконец, аристократия богатства обыкновенно соединяется с тремя первыми, а с падением их более и более выдвигается на первый план и тяжелее давит на низшие классы. Каково бы ни было устройство общества, все эти преимущества всегда сохраняются в нем как естественные силы. Те, которые мечтали о всеобщем равенстве и об уничтожении всяких различий между людьми, могли изобрести лишь такой порядок, в котором

исчезают все выгоды, сопряженные с этими преимуществами, порядок, в котором нет ни воспоминаний прошедшего, ни изящества манер, ни образования, ни богатства. Такой общественный быт был бы худшею из всех тираний.

Если во всяком обществе необходимо существует неравенство, то задача законодателя заключается в том, чтобы извлечь из него пользу для политических учреждений. Голое право большинства отдало бы образованное меньшинство ему на жертву. Решение вопросов, касающихся старинных прав, было бы предоставлено людям новым; вопросов, касающихся изящества, людям грубым; вопросов образования — невеждам; наконец, вопросов, относящихся к богатству, людям бедным. Истинная же цель законодателя должна состоять в том, чтобы власть предоставить общественным преимуществам, которые всего способнее ею владеть. Каждое преимущество имеет свои, свойственные ему выгоды; но отдельно взятое, оно могло бы злоупотреблять своим правом. Политическое искусство состоит в том, чтобы сочетать их друг с другом, так чтобы они взаимно уравновешивались и направлялись к общему благу. Всего труднее это сделать в республике, и особенно в республике вновь созданной; но именно здесь необходимо найти в аристократическом элементе твердую точку опоры против народных волнений. Чем свободнее государство, тем громче слышится неудовольствие. Меньшинство, которое должно принести в жертву свои убеждения, вопиет о притеснении; журналы раздувают страсти; раздается такой хор жалоб, обвинений, клевет, что можно подумать, что свободные государства управляются хуже всех других. Чтобы противостоять этим постоянным бурям, правительство должно иметь твердость и энергию, которые можно почерпнуть не в провозглашении начал, не в звонких фразах, положенных на бумагу, а единственно в живом элементе. Это понимали древние, которые необходимою принадлежностью всякой республики считали хорошо устроенный сенат. Здесь они соединяли все, что дает преимущества различного рода: аристократию рождения, но без личного права на власть, а по выбору корпорации, аристократию манер, талантов и, наконец, богатства, но не предоставляя последней первенства и стараясь, напротив, сохранить некоторое равенство между богатым и бедным (Ibid. Essai 6).

Сисмонди ограничивается этими указаниями, в сущности, весьма неопределенными. Он весьма хорошо выставил необходимость аристократического элемента, составляющего оплот против владычества массы, но он только в самых общих чертах коснулся его устройства и вовсе не рассмотрел отношения его к демократическому элементу. А между тем этот последний вопрос имеет существенную важность, ибо демократия, особенно в республиках, является естественным врагом всяких преимуществ: она стремится все низвести к своему уровню и подчинить все своей власти. Учреждение независимого от нее сената с аристократическим характером может

вести только к постоянной борьбе обоих элементов, к борьбе, которая не может иметь иного исхода, кроме безусловной победы одной стороны, ибо между ними нет посредника. Здесь именно всего более оказывается необходимость монархического начала, которого значение не понял Сисмонди. Хотя он говорит, что все знаменитейшие законодатели и публицисты всегда стояли за сочетание всех трех элементов в государственном управлении и что это одно способно дать власти хорошее устройство (*Ibid. Essai 5. P. 284-285*), однако, не признавая необходимости наследственного права у главы государства, он тем самым лишает монархическое начало всякой независимости и низводит его на степень простого орудия в руках тех, кому предоставляется выбор. Только наследственный монарх способен быть посредником и примирителем в борьбе противоположных общественных элементов; только в нем самое аристократическое начало, которое всегда находится в меньшинстве, может найти такую опору, которая даст ей возможность противостоять натиску массы. Аристократия без монархии может держаться или при несвободе, или при весьма невысоком уровне образования низших классов. Иначе она неизбежно будет поглощена демократиею. Следовательно, те, которые вместе с Сисмонди отвергают владычество необразованного большинства над образованным меньшинством, должны искать спасения в конституционной монархии, которая одна способна сочетать различные общественные элементы, не противопоставляя их друг другу без всякого посредствующего звена и поставляя над ними высшее начало, представляющее собою государственное единство и направляющее их к общей цели. Односторонний либерализм Сисмонди и тут помешал ему прийти к этому заключению.

При всем том Сисмонди в развитии конституционных монархий видит великий европейский интерес настоящего времени. Монархическое начало имеет глубокие корни в правах, привязанностях и даже предрассудках европейских народов. Устранить его во имя проблематических теорий, особенно когда опыт не дает нам никаких указаний насчет возможности объединенных республик, было бы верхом безрассудства. Единственная цель, которую можно себе положить, заключается в сочетании монархического начала с свободными учреждениями. Эта цель может быть достигнута двояким путем: мирным и революционным. Только первому могут сочувствовать истинные друзья свободы. Везде в Европе монархия является прогрессивным началом, только крайности революций сделали из государей врагов свободы. Если мы хотим держаться мирного прогресса, то надобно водворить свободу, не пугая монархов, а в союзе с ними. С другой стороны, права, которые предоставляются народу, должны быть приноровлены к его способностям. Широкое развитие свободы невозможно у народа, к ней не привыкшего. Поэтому в развитии представительного порядка необходимо соблюдать постепенность. Прежде всего, надобно дать

гражданам широкое участие в местных учреждениях, которые составляют первоначальную школу свободы. Затем публичностью и гласностью судебных прений надобно подготовить влияние суда присяжных, который может быть дан только народу, привыкшему быть защитником порядка, а не союзником всякого подсудимого. Далее, полезно учреждение национальной гвардии, которая внушает гражданину чувство своего достоинства и заставляет самую власть питать к нему уважение. Наконец, всего важнее приготовление народа к обсуждению политических вопросов. Серьезное обсуждение путем печати происходит в книгах; они должны быть изъяты от цензуры. Но далеко не все народы способны выносить свободу газет. В обществе, где созрела политическая мысль, где есть богатая литература, журналистика может привлекать к себе крупные таланты; но при низком уровне политического образования она становится поприщем, где ратуют невежество, пошлость, самые ложные мысли и самые низкие страсти. В незрелом обществе преобладающее влияние журналистики, пагубное для истинных талантов, уничтожило бы всякий умственный прогресс, всякие разумные прения, а потому и всякую истинную свободу. Еще менее возможно допустить здесь политические сходбища, которые способен выносить только народ, привыкший к долговременному пользованию свободой. Во Франции клубы были всегда главными орудиями демагогии. Наконец, завершением всего этого здания должно быть собрание представителей, в котором бы гласно обсуждались все высшие интересы государства. Всякий абсолютный монарх, говорит Сисмонди, в своих собственных интересах может и должен дать народу эти гарантии. Но это только начало свободы. Представительному порядку представляется дальнейшее ее развитие (Ibid. Essai 7).

Совершенно иной характер представляют революционные движения. Многие в настоящее время поднимают знамя революции и делают ее целью своих стремлений. Но как бы революция ни была законна и успешна, те, которые ее предпринимают, никогда не должны забывать, что они обрекают своих сограждан на страшные и неизбежные бедствия; что они должны надолго проститься с свободой, с согласием и с хорошим правительством; наконец, что они жертвуют настоящим будущему во имя шансов, которых нельзя рассчитывать без содрогания. Однако революции всегда были и будут, ибо всегда найдутся правительства столь упорные, что они противодействуют всякому улучшению, и народы столь нетерпеливые, что они не хотят довольствоваться мирным и постепенным развитием. В таких случаях, когда совершился переворот, первая потребность общества состоит в установлении сильной власти, которая одна в состоянии сдержать внутреннюю анархию и противостоять внешним врагам. Эта власть может быть вверена одному лицу или находиться в руках толпы. Первая есть плод революции монархической, вторая — революции демократической.

Счастлива страна, которая в совершенном ею перевороте нашла точку опоры в монархическом элементе. Она имеет центр, к которому могут примкнуть разрозненные силы. Этим значительно облегчается дело революции. Но напрасно было бы ожидать, что таким центром может быть монарх, у которого насильно исторгнуты уступки. Он остается врагом свободы и будет пользоваться первым случаем, чтобы ее подавить. Многие европейские государства представляют тому примеры. Столь же ненадежно и призвание иностранного князя, не имеющего корней в стране. Создание новой монархической власти в стране, подвергшейся революции, представляет величайшие трудности. Первая заключается в том, что люди, всего более преданные престолу, приверженцы законной монархии, являются врагами нового государя, в котором они видят похитителя престола. С другой стороны, революционеры, с помощью которых совершился переворот, недовольны новым порядком вещей, который не соответствует их ожиданиям, и продолжают привычную свою оппозицию. Наконец, сам монарх, связанный монархическими преданиями и заботящийся прежде всего об утверждении престола, видит врагов в тех, кто его возвел, и ищет союза с своими врагами. При таких условиях установление прочного порядка требует такой мудрости и таких высоких качеств, что рассчитывать на успех нет почти никакой возможности.

Вследствие этого всюду революции часто предпочитают чисто демократический переворот. Но разрушение всего существующего порядка ведет к полной анархии; это — возвращение общества в первобытное состояние. Каким образом из разрозненных воль, из тысяч разногласящих мнений, не связанных никаким законом, воздвигнется единая власть? Созовется ли собрание, которое должно установить верховный закон? Но в ту пору, когда разнузданы все страсти, всего менее можно ожидать введения хорошей конституции, которая требует зрелости суждения. Демократическая революция может иметь только двоякий исход. Там, где есть столица, бесспорно властвующая над страной, надобно подчиниться ей безусловно. Это не будет свобода, но по крайней мере будет какая-нибудь власть, которая может спасти страну среди бурь. Там же, где нет такой централизующей силы и народ составлен из разнообразных элементов, там остается только прибегнуть к федерации. Энергия и союз опытных властей, черпающих свою силу непосредственно от народа, одна в состоянии вывести общество из критического положения. И на это, заключает Сисмонди, жаловаться нечего, «ибо эта система обещает народу более истинной свободы, более согласия между его желаниями и его законами, более спокойствия, более гарантий против воинственного честолюбия его вождей, и однако, более силы для защиты, если бы он подвергся внешнему нападению, нежели всякое другое» (Ibid. Essai 8).

Этим Сисмонди оканчивает свои исследования. Нельзя не сказать, что подобный вывод не оправдывается предыдущим изложением. Сисмонди нигде не разбирал выгод и невыгод союзного устройства и не сравнивал его с централизованными государствами. Говоря о Соединенных Штатах, он даже не раз указывал на них, как на пример самых необузданных злоупотреблений демократии. Такие же примеры он приводил и из политического быта Швейцарии. Поэтому фраза о преимуществах федерации является как бы падающею с неба. И тут проявляется односторонний либерализм автора, который нередко идет вразрез с собственными его суждениями и мешает ему делать правильные выводы из своих посылок. Но недостаток теории в значительной степени восполняется у него здравым взглядом на действительные потребности политической жизни. Сисмонди ясно видел, что единственная цель, которую могли иметь в виду европейские народы, заключалась в установлении прочной и правильной конституционной монархии. Он указывал и путь к достижению этой цели, предостерегая от революционных попыток и настаивая на необходимости постепенного развития, приспособленного к общественному уровню единого народа. Его мысли об этом вопросе принадлежат не только к лучшим местам его сочинения, но и к лучшему, что вообще было писано об этом предмете. Эти страницы, исходящие из-под пера искреннего либерала, можно рекомендовать всем, кому приходится действовать среди юного и еще мало образованного общества. В особенности его взгляд на значение журналистики заслуживает самого серьезного внимания. Он идет вразрез с ходячими мнениями, но он составляет плод основательного изучения политической жизни. Сисмонди был не только теоретик, но и внимательный наблюдатель общественных явлений. Это дает ему почетное место среди современников.

в) Доктринеры

1. Гизо³¹.

Между легитимистами и либералами, между приверженцами старого порядка и друзьями свободы, в борьбе французских партий времен Реставрации стояли так называемые доктринеры. Отвергая начало народовластия, они хотели сочетать законную монархию с существенными исходами революции. Отсюда выработалось своеобразное конституционное учение, которое занимало средину между требованиями легитимистов и воззрениями либералов. Родоначальником и главою этой школы был Ройе-Колляр³²; но он не оставил после себя политических сочинений. Еще большую знаменитость приобрел другой член этой партии, Гизо. В его сочинениях можно найти и теоретическое изложение взглядов этой школы; однако тоже не в систематической форме. С наибольшею

полностью они были высказаны в курсе 1820 г., изданном под заглавием «История происхождения представительного правления в Европе» («Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe»). Здесь по поводу исторических исследований о зачатках конституционных учреждений обсуждается и философская сторона вопросов. Затем, восполнением к этому изложению могут служить изданные им в разные времена политические брошюры.

Как в практическом отношении Гизо держит середину между легитимистами и революционерами, так и в теоретическом отношении он старается сочетать взгляды исторической школы и философской. Под именем последней он разумеет мыслителей XVIII века, которые выработали отвлеченную идею права и делали ее абсолютным мерилем всех учреждений. Гизо соглашается с ними в том, что все учреждения должны быть обсуждаемы с точки зрения рациональных начал, которые одни дают им высшее освящение. Он соглашается и с тем, что существуют коренные права, которых нарушение всегда есть беззаконие. Но он утверждает, что философская школа дурно исследовала самые начала права и еще более ошибалась в вопросе об их приложении.

Исходною точкою философской школы является отдельное лицо. Но права невозможно открыть в отдельном лице; оно предполагает отношения лиц, а потому не существует вне общества.

Однако оно произвольно устанавливается обществом, оно только признается им как высшее правило, определяющее отношения людей между собою. Как рациональное начало, право существует прежде своего приложения; человек может сознавать его или не сознавать, подчиняться ему или уклоняться от него, но во всяком случае оно от него независимо. Им устанавливается нравственный предел деятельности одного лица на другое, и право каждого заключается в том, чтобы этот предел был относительно его соблюдаем; это он может требовать во имя достоинства своей природы.

Этот предел не есть, однако, нечто раз навсегда установленное. Он изменяется сообразно с изменением самых отношений, которые им определяются. Так, например, отношения совершеннолетних детей к родителям не могут быть те же, как и отношения малолетних; сообразно с этим должны изменяться и права. То же самое прилагается и к более сложным общественным отношениям. Эта изменчивость права в его приложении не была понята философскою школою, которая задалась невозможной задачею раз навсегда установить этот предел, вывести из чистой идеи права всевозможные его приложения. Правило здесь может быть только одно: что действия воли одного человека над другим, а равно и отношения общества к лицу не должны противоречить разуму и правде. Остальное должно соображаться с действительными отношениями людей.

В связи с этою ошибкою философской школы находится и другое: она не понимает условий исторического развития. Везде

в человеческих делах зло перемешивается с добром, заблуждения с истиной. Если совершенство составляет идеальную цель человеческого развития, а совершенствование его закон, то несовершенство является необходимым его условием. Этого не признает философская школа, которая ко всем историческим явлениям прилагает безусловное мерило и целиком отвергает учреждения, как скоро она усматривает в них примесь зла. Отсюда глубокое ее презрение к фактам и стремление переделать их на основании умозрительных начал. В погоне за невозможным идеалом она не понимает действительности.

Совершенно противоположным недостатком страдает историческая школа. Для нее, напротив, факты — все, а рациональные начала — ничего. Она старается объяснять существующее, но не дерзает его судить, между тем, как то и другое необходимо для исторического понимания. Отрицание высших начал, рациональных и непоколебимых оснований права, составляет коренное заблуждение, которого одного достаточно для того, чтобы дать исторической школе второстепенное место в развитии человеческой мысли, ибо что такое совершенствование, если идеальное совершенство не составляет его цели? Этим человек и общество лишаются именно того, что есть наиболее возвышенного и благородного в их природе *.

Такова точка зрения Гизо. В основании своем она совершенно верная, но в ней есть неопределенность, проистекающая от недостаточного развития идеи права. Гизо понимает право не как выражение свободы, а как высшее правило, или закон, господствующий над человеческою волею. Вследствие этого оно остается без содержания. Верховный закон гласит, что все человеческие отношения должны сообразоваться с правдою, но что такое правда и чего она требует — эти вопросы остаются без ответа. Поэтому остается неизвестным и то идеальное совершенство, к которому человечество должно стремиться. Гизо упрекает философскую школу XVIII века в том, что она, выставивши идеал, поняла его не так, как следует; но он этот индивидуалистический идеал не заменяет никаким другим.

Собственная его политическая теория основана именно на том, что человеку не дано достигнуть идеала, а требуется только искание истины. На этом он основывает свое разделение образов правления. Он отвергает классификацию, основанную на внешних признаках, то есть на количестве лиц, которым вверяется власть. Истинное разделение, по его мнению, должно отправляться от главного вопроса, на котором зиждется всякое человеческое общество, а именно: где лежит источник власти и где ее границы? Никакое общество

* GuizotF Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe. II. Legon 18. P. 281-294 (изд. 1851 г.). <Далее ссылки на это издание даются Б. Н. Чичеринным непосредственно в тексте. — Примеч. ред.>

не мыслимо без власти, потому что всякое общество держится только связывающим его законом. Но этот закон не устанавливается человеческою волею; человек подчиняется ему как высшему, вне его существующему правилу. Он получает его, а не создает. Поэтому и власть давать этот закон принадлежит не человеку, а высшим началам — разуму и правде. Им одним может быть присвоено правомерное полновластие в обществе (*Souveraineté de droit*). Человеку же дано только искать правды; он никогда не может быть безошибочным ее органом. Всякий раз, как делается подобное предположение, всякий раз, как правомерное полновластие в обществе присваивается какому-нибудь лицу или лицам, так в обществе водворяется деспотизм. В этом и состоит отличие представительного правления от всех других. Монархия, аристократия и демократия присваивают правомерное полновластие известным лицам и этим устанавливают деспотизм. Представительное правление, напротив, признает, что правомерное полновластие не может принадлежать человеку, ибо между людьми нет безошибочного органа разума и правды. Оно устраивает общество так, чтобы различные органы совокупными силами должны были искать наилучшего решения. Поставляя себе задачею приведение многообразия к единству, оно старается извлечь из различных общественных элементов тот общий разум, который в них содержится (<Guizot F. P. G. Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe>. I. Leçon 6).

Отсюда коренное различие в началах и способах действия представительного правления и других. Так, аристократия, по идее, есть господство лучших людей, начало, несомненно, правильное. Но когда известному классу, хотя бы и образованнейшему, присваивается правомерное полновластие, это неизбежно ведет к деспотизму. Аристократия становится исключительною; она старается сосредоточить в своих руках богатство и образование, препятствуя возвышению и успехам низших классов. Признавая за собою безусловную власть, она устраняет всякую публичность и проверку своих действий. Все это немыслимо в представительном правлении. Оно точно так же, как и аристократия хочет верить правление лучшим людям, но оно ни за кем не признает безусловного на то права. Высшая способность должна быть доказана; всякое естественное превосходство должно иметь возможность занять свое место в общественном управлении. Здесь высший разум вытекает из соперничества общественных сил. Отсюда и необходимость полной гласности в обсуждении дел (*Ibid. Leçon 7. P. 100-105*).

Столь же отлично представительное правление и от демократии.

Последняя отправляется от того начала, что всякий человек по рождению имеет одинаковое с другими право на участие в правлении. Приверженцы этой политической формы не решаются последовательно проводить основное свое положение, что каждый человек как свободное существо сам себе дает закон, ибо этим уничтожилось бы всякое общество. Приходится, в случае

разногласия, дать перевес численному превосходству; устанавливается полновластие большинства. На чем же, однако, основано это полновластие? Если на превосходство силы, то сила не может быть источником права; если на перевес мнения, то это мнение отнюдь не может считаться непогрешимым, следовательно, не может быть источником законного полновластия. Само по себе это начало противоречит: 1) естественному неравенству способностей между людьми; 2) неравенству способностей, проистекающему из различия положений; 3) всемирному опыту, который показывает нам, что везде низшие способности подчиняются высшим. Начало народного полновластия под предлогом установления законного равенства насильственно вводит равенство там, где его нет, и нарушает законное неравенство. Оно устанавливает владычество низших над высшими, неспособных над способными, то есть самую несправедливую и возмутительную тиранию. Наконец, оно не в состоянии даже последовательно провести свое учение: вручая власть большинству взрослых мужчин, оно тем самым отступает от коренного своего положения.

Совершенно иначе поступает представительное правление. Оно распределяет власть не по рождению, а сообразно с способностью людей действовать по указаниям разума и правды: фактическая власть полагается там, где может быть предположено законное полновластие. Оно также устанавливает право большинства, но большинства способных, притом так, что это право должно постоянно доказываться на деле. Вследствие этого правление обставляется гарантиями, которые дают меньшинству возможность возвышать свой голос, доказывать, что оно право, и через это самому сделаться, наконец, большинством. Призывая к правлению большинство способных, представительное начало все-таки не считает их непогрешимыми, а потому и неверяет им власти безусловно, а ставит им разумные границы (Ibid. P. 106-115). Отсюда Гизо выводит основные черты представительного устройства, а именно разделение властей, выборное начало и публичность действий. Первое вытекает из того положения, что никакая фактическая власть не может считаться представительницею законной власти. Во всяком обществе необходима верховная власть, ибо необходимо, чтобы кому-нибудь принадлежало верховное решение в общественных делах; но так как на земле не существует непогрешимого органа разума и правды, то эта власть должна быть распределена между различными органами, которые совокупными силами должны искать наилучшего решения. В силу того же начала необходимо введение в правлении выборного, по существу своему, подвижного элемента; без этого установленные власти легко могут присвоить себе не только фактическое, но и юридическое полновластие, а это ведет к деспотизму. Наконец, та же цель требует гласности действий, без чего невозможно совокупное искание истины. Гласность образует связь между обществом и его правительством (Ibid. Be?on 8).

Таково учение Гизо. Слабая его сторона заключается в различении фактического и юридического полновластия. Он предполагает, что законное полновластие может принадлежать единственно разуму и правде. Но полновластие в обществе может принадлежать единственно людям, а не отвлеченным началам. Полновластием называется право верховного решения общественных дел; это именно то, что Гизо называет фактическим полновластием. Оно всегда законно, если оно находится в руках установленных законом органов. Для этого вовсе не требуется непогрешимости, которая человеку не дана. Верховная власть может ошибаться, как и всякая другая; но это не мешает ей оставаться верховною и требовать себе законного повиновения. Другой вопрос: как устроить власть так, чтобы она ошибалась как можно менее? В этом отношении можно согласиться с Гизо, что всякое устройство, которое вручает полновластие какому-нибудь отдельному органу, легко подает повод к злоупотреблениям. Можно согласиться и с тем, что по идее достижение государственной цели всего более обеспечивается началами представительного правления, разделением властей, призванием способнейших и потребностью совокупными силами искать наилучшего решения. Но невозможно считать это устройство единственным правомерным и противопоставлять его всем остальным как основанным на ложном начале. Идеально лучшее не есть естественное правомерное. Нередко даже случается, что идеально лучшее не есть фактически лучшее, ибо для осуществления идеального устройства требуются условия, которые не везде находятся.

Гизо не ограничивается выводом этих общих начал; он прилагает их к двум главным элементам представительного устройства, к выборной системе и к разделению парламента на две палаты.

Выборная система с философской точки зрения определяется началом способности, которая составляет основание права, ибо право принадлежит разуму, и единственно разуму, способность же есть возможность действовать по разуму. В силу этого начала в частном праве способность человека управлять своими делами определяется совершеннолетием. В силу того же начала политическое право дается только лицам, имеющим ту степень независимости и умственного развития, которая делает их способными исполнять сознательно и свободно то политическое действие, к которому они призываются; это начало прилагается к массам, вследствие чего в отдельных случаях тут могут быть и неразлучные с человеческими делами неточности. В приложении своем оно изменяется сообразно с местом, временем и обстоятельствами; но существенные условия всегда остаются одни и те же, ибо они вытекают из самого существа дела. Отсюда следует, что, с одной стороны, должны быть исключены все неспособные, чем устраняется господство числа, а с другой стороны, не должна быть исключена никакая часть способных граждан, ибо это было бы несправедливостью. Среди самых способных не должны быть установлены никакие

различия, ибо это было бы привилегиею. Как скоро способность признана, так она должна давать гражданину равное с другими участие в политическом действии. Таково общее начало. Что же касается до определения внешних признаков способности, то они не имеют в себе ничего общего и постоянного. Они должны изменяться сообразно с развитием самого общества; чем они многочисленнее и растяжимее, чем менее они ограничиваются чисто материальными фактами, тем лучше они достигают своей цели (Ibid. II. Leçon 15. P. 228-237).

Другое существенное начало, которое необходимо иметь в виду при установлении избирательной системы, это то, чтобы выборное право не висело на воздухе, а было бы связано с остальными правами граждан. Аналитический дух XVIII столетия вел к разобщению как властей, так и прав. Публицисты XVIII века стремились к тому, чтобы каждая власть и каждое право действовали в своей сфере, не сталкиваясь и не смешиваясь с другими. Но через это право теряет действительную почву, ибо жизнь есть нечто весьма сложное; она требует содействия множества элементов, поддерживающих друг друга. В политике, идет ли речь о власти или о правах, истинная цель заключается в том, чтобы создать живые силы, способные повелевать или сопротивляться. Свобода живет только правами; права же ничего не значат, если они сами не являются властью, и властью крепко организованною. Отсюда необходимость связать политические права со всеми другими правами граждан, в особенности с местным управлением. Сопротивление тогда только может быть действительно, когда оно может встретиться всюду, на всех ступенях общественной жизни, в ежедневном течении общественных дел. Если же политическое право является оторванным от других прав, если оно проявляется только в виде временного кризиса, оно теряет всякую силу, и правительство легко его преодолевает (Ibid. P. 218-225).

Эта связь политических прав с местными учреждениями имеет самое благотворное действие и на характер выборов. Цель выборов очевидно состоит в том, чтобы выдвинуть способнейших людей общества, обнаружить законную аристократию, основанную на свободном признании масс. Для этого недостаточно собрать известное количество лиц и заставить их произвести выбор. Надобно, чтобы избиратели знали друг друга, чтобы они знали и избираемых. Выбор должен быть связан со всеми привычками, со всею предшествующею жизнью избирателей, он должен быть выражением их обычного образа мыслей и постоянных, действующих в среде их влияний. Тогда только он совершается искренно и разумно. А для этого необходимо, чтобы сходились люди, которые уже в обыкновенной жизни постоянно действуют вместе, которые связаны общими интересами и отношениями. Они должны сходиться в том центре, к которому они обыкновенно тяготеют. Одним словом, избирательный округ должен быть не произвольным определением

законодателя, а выражением действительных жизненных отношений. Он должен быть не слишком велик и не слишком мал. Если он слишком велик, то взаимная связь избирателей ослабляется: из свободных деятелей они становятся слепыми орудиями чужих целей, ^если он слишком мал, то будет недоставать способных людей. Самое расширение выборного права состоит в зависимости от этих условий. Вообще желательно возможно большее расширение политических прав, насколько это допускается необходимым требованием способности. Но способность может проявляться в гораздо большей степени там, где человек действует в обычной ему среде, нежели там, где он принужден из нее выйти. Поэтому чем шире округ, тем менее способных людей можно призвать к выборам.

Отсюда вытекает и другое правило: количество избираемых в каждом округе должно быть небольшое. Только при этом условии граждане могут выбирать людей, которые им известны. Если же они принуждены наполнять значительный список, они по необходимости принуждены действовать слепо. Тогда они подпадают под владычество партий — владычество, которое тогда только законно, когда подчиняющиеся ему сохраняют способность суждения, а не превращаются в слепые орудия чужих велений.

Отсюда, далее, необходимость прямых выборов, которые одни могут служить истинным выражением мнения избирателей. Между избирателями и избираемыми должна быть живая связь. Последние представляют высшую способность, дающую голос в решении государственных дел. В первых же предполагается способность распознавать эту способность. Где ее нет, там не должно быть и политического права; где она есть, там она должна быть призвана к выбору высшей способности. Выборы же в двух степенях, устанавливая посредствующий член, разрывают живую связь между избирателями и избираемыми и ведут к понижению уровня политической способности, ибо предполагается, что первоначальные избиратели неспособны выбрать депутата, но способны назначить выборных. Другой недостаток этой системы заключается в том, что здесь приходится или устанавливать очень небольшие первоначальные округа, в которых господствуют мелкие интересы, или при расширении округа подвергаться всем невыгодам выборов по списку. Кроме того, система двойных выборов ведет к устранению меньшинства, которое при окончательных выборах депутатов остается без представителей. Иногда же, наоборот, меньшинство может искусственно получить перевес. Между тем истинное начало разумной выборной системы заключается в том, чтобы преобладало большинство, но чтобы при этом меньшинство всегда сохраняло свободный голос. Оно требует и живого, непосредственного отношения избирателей к совершаемому ими политическому действию. При косвенном выборе слабеет интерес, а вместе с тем ослабляется и главная пружина представительного правления. Вообще, выборы в двух степенях изобретены для того,

чтобы как-нибудь исправить недостатки всеобщего права голоса. Призывают всех к участию в делах, к которым они неспособны, и затем стараются ослабить действие массы удалением выборов от прямого их источника. Истинное средство разлить повсюду политическую жизнь и заинтересовать возможно большее количество граждан в делах государства состоит не в том, чтобы призывать их одинаково к действиям, к которым они не одинаково способны, а в том, чтобы дать всем те права, которыми они способны пользоваться. Права же имеют действительное значение, только когда ими пользуются вполне и непосредственно. Вместо того чтобы умалять политическое право под предлогом его расширения, надобно повсюду ввести местное самоуправление. В нем самая политическая свобода найдет гораздо лучшее обеспечение, нежели в так называемом всеобщем праве голоса.

Наконец, существенный вопрос в избирательной системе составляет способ подачи голосов, явный или тайный. Нет сомнения, что явное голосование гораздо более согласно с истинными требованиями свободы, которая не должна скрывать своих действий, когда она требует гласности всех движений власти. Однако это начало не может быть признано безусловным. Все тут зависит от общественных нравов, и там, где свободе голоса грозит опасность от явной его подачи, там поневоле приходится прибегнуть к тайной. Только долговременное пользование свободой может привести к явному голосованию (Ibid. I. Lefon 16).

Мы подробно привели воззрения Гизо на избирательную систему, ибо едва ли можно где-нибудь найти в такой точной форме более светлых мыслей по этому предмету. Можно возражать против тех или других пунктов, но нет сомнения, что вопрос поставлен здесь на настоящую свою почву. Если бы знаменитый историк, сделавшись министром, проводил свои мысли на практике, то весьма возможно, что Июльская монархия не подверглась бы такому крушению, какое ее постигло. Но та избирательная система, которую на практике так упорно отстаивал Гизо, вовсе не походила на ту, которую он рекомендовал в теории. Во Франции выборное право не было связано с местною автономиею, и целые классы, принимавшие живейшее участие в политических вопросах, исключались из представительства. Известно, что именно вопрос об избирательной реформе был ближайшим поводом Февральской революции³³.

На основании того же учения о представительном правлении Гизо обсуждает и вопрос о разделении парламента на две палаты. Он отличает здесь двойную точку зрения: историческую и философскую. Первая объясняет фактическое происхождение верхней палаты в той или другой стране. Там, где, как в Англии, существует громадное неравенство между высшею аристократиею и остальными гражданами, полезно, чтобы эта аристократия образовала одну палату. Аристократия, рассеянная по стране, как это было при феодальном порядке, является гораздо более притеснитель-

ною для народа. Напротив, соединение ее в одно политическое тело ставит каждого в ближайшие отношения с себе равными. Отсюда проистекают взаимные сдержки и потребность опираться на народ, в котором соперничающие вельможи находят свою опору. Только соединенная аристократия способна противостоять и захватам королевской власти, как это и было в Англии. И тут она ищет союза с народом и отстаивает его права.

Не везде, однако, существует такое аристократическое сословие, как в Англии; но везде рядом с стремлением к равенству существует и законное стремление к неравенству. Во всяком обществе выделяются высокие личные положения, которые не могут без насилия и несправедливости быть уравнены с другими. Этим элементом и пользуется представительное правление для осуществления основного своего начала, в силу которого никакому отдельному органу не должно принадлежать полновластие в обществе. Отсюда с философской точки зрения безусловная необходимость разделения представительства на две палаты. Распределение всей верховной власти между двумя столь несходными органами как представительное собрание и исполнительная власть неминуемо ведет к взаимной борьбе, которая должна кончиться победою одной из сторон. Такой порядок никогда не существовал в истории. Необходимо, чтобы сдерживающие друг друга власти были устроены так, чтобы они могли жить вместе, побуждая друг друга искать сообща наилучшего решения. А это возможно единственно при распределении власти между исполнительным органом и двумя палатами. Следовательно, это устройство не только не противоречит началам государственного права, а напротив, оно с ними согласно. К этому присоединяются и практические соображения, которые имеют, однако, второстепенное значение. Что касается до самого устройства палат и их взаимных прав и отношений, то это вопрос, который не может быть разрешен теоретически. Решение его зависит от состояния общества и от распределения в нем общественных сил (Ibid. Le^{on} 18).

Гизо в разбираемом сочинении не рассмотрел характера и значение высшего элемента представительного правления, именно монархии. Воззрений его на этот предмет мы должны искать в политических брошюрах, касающихся собственно Франции и ее тогдашнего положения. Прежде всего, сюда относится сочинение «О представительном правлении во Франции в 1816 году» («Du gouvernement représentatif en France en 1816») *.

Гизо отправляется здесь от того факта, что Франция разделяется на две партии — на революционную и контрреволюционную. Первая явилась победительницей в борьбе, вспыхнувшей в конце XVIII столетия, и желает упрочить плоды своей победы; вторая,

* Она напечатана в «Mélanges politiques et historiques» (1869). Ссылаюсь на это издание.

напротив, старается восстановить разрушенный порядок. Примирить их может только высшая, независимая от них власть. Таковою является конституционный король. Дарованная им хартия доставляет договор между борющимися сторонами, договор, который обе партии обязаны уважать³⁴. Между тем обе стараются самую конституционную власть короля с помощью хартий обратить в орудие своих целей. Для этого ссылаются на принцип парламентского правления, в силу которого безответственный король должен предоставить все правление ответственному министерству; последнее же, в свою очередь, должно состоять в зависимости от большинства палаты. На этом стоит в особенности контрреволюционная партия, которая имела большинство в палате 1815 г.³⁵, но и революционная партия держится тех же начал.

В сущности, это учение менее всего согласуется с основными воззрениями контрреволюционной партии. Оно предполагает, что единственная действительная власть в этом устройстве есть власть выборная. Но это прямо ведет к теории народного полновластия, теории, которая не соглашается с началами представительного правления. Истинное конституционное учение состоит в том, что независимые друг от друга власти должны соединяться в дружном действии. Ни одна из них не должна иметь такого перевеса над другими, чтобы остальные становились для нее орудиями. Но, с другой стороны, немыслимо и такое равновесие, которое, сохраняя их раздельными, ведет только к постоянной борьбе и наконец к победе сильнейшего элемента над слабейшими. Власть в государстве должна быть едина. В конституционной монархии это единство устанавливается тем, что высшая, правящая власть, власть королевская, не стоит особю, а имеет свой центр в самих палатах, где она опирается на свою партию и из которых она берет своих министров. Оппозиция же имеет задачу внутри самой власти напоминать ей постоянно те границы, которые она не должна преступать.

С этой точки зрения министерство не облекается властью отдельной от власти королевской, как утверждают и контрреволюционеры, и либералы. Такое разделение властей не согласно ни с теориею представительства, ни с положительными законами. Министерская власть сама по себе не существует; министры получают свою власть только от короля и действуют только его именем. Представительное правление вверяется королю, одному королю, имеющему как полноту исполнительной власти, так и известное участие в законодательстве. Значение же министров заключается в том, что они принимают на себя ответственность за все действия правительства. Король признается неприкосновенным, а потому безответственным. Но эта гарантия не ведет к тому, что он остается бездеятельным; напротив, она дает ему большую силу и большее обеспечение в исполнении своей высокой должности. Ответственность же министров установлена для того, чтобы эта власть не выходила из своих пределов. Необходимое условие действия состоит

в том, чтобы король нашел людей, которые приняли бы на себя всю ответственность за управление. Во имя этой ответственности министры могут противиться воле короля; если они не могут с ним согласиться, то они всегда имеют возможность удалиться от дел и уступить свое место другим.

С той же точки зрения следует разрешить и вопрос об отношении большинства к министерству. Если бы большинство в палатах было незыблемо, то, без сомнения, пришлось бы или передать ему власть или уничтожить представительный порядок. Но большинство изменяется, и правительство может действовать в этом отношении всеми зависящими от него средствами. Против случайного большинства оно вооружено правом распускания; оно может влиять и на выборах, и это влияние вполне законно и всегда имеет место. Оно необходимо именно для осуществления той гарантии, которая устанавливается представительным порядком. Управление государством всегда и везде вверяется исполнительной власти, участвующей и в законодательстве; но эта деятельность сдерживается в должных границах тем, что правительству полагается непременным условием, чтобы она имела за себя большинство палат. Для приобретения этого большинства оно должно быть вооружено всеми средствами, и только когда все эти средства истощены, когда принятая система окончательно оказалась несостоятельной, оно может и должно уступить. Истинная цель представительных учреждений состоит, следовательно, не в том, чтобы подчинить правительство всем колебаниям большинства и тем сделать его игрушкой партий, а в том, чтобы заставить его быть достаточно справедливым, мудрым и умелым, чтобы сохранить большинство, несмотря на колебание партий. Пока оно держится в должных пределах, оно всегда может быть уверено в успехе (<Guizot F.P. G. Du gouvernement représentatif en France en 1816.> P. 1-50).

Нельзя не заметить, что в этих мыслях Гизо есть некоторая неясность. Он противопоставляет правлению большинства потребность единства власти, которое ведет к тому, что правительство не отделяется от палат, а действует посредством их, стараясь приобрести себе большинство. Но если приобретение большинства составляет необходимое условие управления, то окончательно направление политики решается волею этого большинства. Совершенно справедливо, что правительство не должно следовать за всеми случайными колебаниями партий. Против случайных увлечений и коалиций оно вооружено правом распускания и возможностью законным путем действовать на выборы. Но если за всем тем большинство оказывается против него, оно должно уступить; следовательно, оно должно отказаться от прежней своей политики и взять другие орудия из той самой партии, которой оно старалось прежде противодействовать всеми средствами. А так как поражение прежней политики не может быть поражением безответственного короля и направление новой политики точно так же

является выражением мыслей правительства, как и прежнего, то очевидно, что конституционный король не должен иметь своей политики. Конституционный король ставится выше перемены партий; ^ должен одинаково относиться ко всем партиям, предоставляя им управлять поочередно, когда они имеют за себя большинство, и воздерживая их только, когда их стремления противоречат благу государства. «Представительный порядок,— говорит сам Гизо в другом месте,— имеет целью, по общему признанию, предупредить великие политические потрясения, превративши в министерские вопросы различные системы управления. Он организует партии, дает им дисциплину, указывает им места и ставит престол выше их борьбы» *. Это и есть смысл известного изречения: «Король царствует, а не управляет». Справедливо, что в наилучше устроенном представительном правлении мысль и воля короля всегда представляют элемент, с которым надобно считаться **, но это — элемент сдерживающий, а не движущая пружина управления, которая переносится в ответственное министерство. Желание поддержать королевскую власть в ее борьбе с нередко крамольными партиями привело Гизо к тому, что он остался при туманном представлении о необходимом единстве власти и не вывел из этого начала естественно вытекающих из него последствий при конституционном порядке. Справедливо, однако, что такое положение королевской власти не везде возможно. Гизо указывает на то, что в Англии вследствие долговременного действия политической свободы партии упрочились, потеряли характер, враждебный существующему порядку, и расходятся только насчет второстепенных вопросов политики. Во Франции, напротив, господствует взаимная вражда общественных сил, которые борются с величайшим ожесточением. Тут правительство не может отдаться ни той, ни другой, а должно становиться в нейтральное положение между обеими, стараясь составить себе нейтральное положение во имя общего блага. В настоящее время, говорит Гизо, целью должно быть утверждение и полное и правильное действие королевской власти; все интересы и страсти, угрожающие счастью Франции, угрожают вместе с тем и королевской власти; она одна может их воздержать; а потому надобно соединиться около нее с тем, чтобы, уверенная в своей силе, она могла свободно располагать своими средствами ***.

Королевская власть, на которую старался опереться Гизо, не могла, однако, удержаться в своем нейтральном положении. Скоро и она увлечена была борьбою партий, которая во времена Реставрации составляла преобладающее явление во французском обществе. В то время как Гизо писал эти строки, она старалась еще

* GuizotF Du gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministère actuel. Ch. VIII (4-en ed. P. 213).

** GuizotF De la session de 1828 // *Mélanges politiques et historiques*. P. 486-487.

*** *Mélanges politiques et historiques*. P. 59-67.

держаться умеренной середины, противодействуя увлечениям своих крайних приверженцев. Но с 1820 г. произошла реакция³⁶. Гизо вместе со своими друзьями был исключен из государственного совета, к которому он до того принадлежал. Доктринеры слились с либералами в общую оппозицию контрреволюционному министерству. Главная их задача состояла в том, чтобы отстоять новый общественный строй, созданный революцией, против натиска приверженцев старого порядка. В этом духе Гизо написал две политические брошюры: «Об управлении Францией со времен Реставрации и о настоящем министерстве» («Du gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministère actuel») 1820 г., и «О средствах управления и оппозиции в настоящем положении Франции» («Des moyens de gouvernement et d'opposition dans l'état actuel de la France») 1821 г.

В первой брошюре он представляет революцию и контрреволюцию как борьбу двух издавна враждующих между собою обществ или народов, из которых один держится привилегий, а другой стоит за свободу и справедливость. Я возьму революцию во всех ее отношениях, говорит он, я соглашусь с тем, что она нарушила и свободу и справедливость, я признаю даже, что начало этих уклонений лежало уже в самой ее колыбели, что она должна была быть наказана за все свои неистовства, и все-таки, сводя общий итог всех ее деяний, я должен буду сказать, что это была страшная, но законная борьба права против привилегий, законной свободы против произвола и что она должна сама, очистившись, умерившись и основавши конституционную монархию, завершить начатое ею добро и загладить совершенное ею зло.

Контрреволюция, напротив, вся основана на привилегиях, то есть на незаконном расширении естественного неравенства. Право не исключает естественного неравенства, основанного на неравном распределении физических и умственных сил; напротив, оно дает ему законно принадлежащее ему место в общественном здании. Привилегия же, исходя из того же начала, обращается против самого этого начала. Она делает общественные преимущества достоянием известных лиц просто в силу их положения, не требуя от них, чтобы она доказывала свое естественное превосходство. А для того чтобы упрочить за ними это положение, она мешает возвышению других во имя естественного превосходства и старается подавить в них все, что может возвысить человека над другими. Таким образом, привилегия есть лживое и незаконное расширение естественного неравенства, похищение права, составляющего данное Богом достояние человека. Революционное начало распределяет право сообразно с способностями и открывает всем способностям свободное поприще; контрреволюционное начало подавляет естественное неравенство, от которого оно произошло, и вводит неравенство там, где должно существовать равенство. Он разом нарушает и равные права, принадлежащие людям во имя

тождественной в них человеческой природы, и неравные права, проистекающие из естественного неравенства людей.

Гизо не безусловно, однако, отвергает всякие привилегии. Он признает, что во всяком значительном и сложном обществе необходимо создать некоторые высокие положения, изъятые от борьбы страстей и от подвижных человеческих дел. Возложенные на правительство обязанности требуют постоянства сил, которые должны стоять твердо и безопасно, без чего в обществе происходят смуты и борьба. Сюда принадлежат наследственность престола, преимущества прав, наконец, самые права депутатов. Но такого рода привилегии, сосредоточенные на вершине и обставленные надлежащими гарантиями, становятся полезными силами. Задача политических учреждений состоит именно в том, чтобы ввести их в должные границы и дать им полезное направление, заставляя их действовать совокупно с силами другого рода для достижения общей цели. Таково свойство представительного правления. Король остается неприкосновенным, но с условием, чтобы он имел ответственных министров; первые имеют наследственное положение, но королевская власть может всегда увеличить их число новыми назначениями; депутаты признаются неприкосновенными, но палата всегда может быть распущена. В силу этих сдержек и гарантий привилегия остается только там, где она может служить к добру и принуждена останавливаться там, где она делается опасною *.

Таким образом, из старого порядка сохраняется то, что совместно с свободой и правом и что служит к пользе государства. Заметим, однако, что эта точка зрения приложима единственно к конституционной монархии. В неограниченной монархии привилегии имеют гораздо обширнейшее значение: при недостатке политической свободы они служат, с одной стороны, охраною права, с другой стороны, единственною возможною надежною властью. В этом заключается историческое их призвание. Начала свободы и права развиваются сначала в привилегированном сословии, с тем чтобы потом разлиться на целое общество. Но нет сомнения, что такое исключительное положение при бесправности массы может подать повод к значительным злоупотреблениям. Когда привилегированное сословие, забывая о своем призвании, действует исключительно ввиду частных интересов, то подобное положение дела может привести наконец к такой катастрофе, как Французская революция. Вместо того чтобы рассмотреть вопрос с исторической точки зрения, Гизо в пылу борьбы прямо становится на почву нового порядка и требует признания законных его завоеваний.

К союзу с этим новым порядком он призывает старую монархию. Одинаково отвергая и божественное право королей, и народное полновластие, в котором он видит только проявление силы, он признает законным только верховенство разума, права и правды,

* GuizotF De gouv. de la France etc. Avant-propos de la 3 édit.

и полагает преимущество представительного порядка в том, что он всего более обеспечивает господство этого верховного закона. Но именно потому, что этот порядок устанавливает владычество права, он требует, чтобы это начало прилагалось не только к обществу, но и к правительству. Мало того, что каждый человек пользуется свободой как законным своим правом, надобно, чтобы самая власть была облечена законным правом повелевать. В этом состоит значение наследственной монархии; она возводит право на престол, с тем чтобы это начало было распространено всюду. Но это право должно быть взаимно: где нет взаимности прав, там право обращается в тиранию. При взаимности, напротив, права держатся друг другом и связываются с высшим началом, из которого они истекают, из начала обязанности. Только там, где права граждан и законная монархия тесно связаны, общество прочно, и правление становится правильным. Такого рода учреждения невозможно импровизировать. Ни законный монарх, ни свободный народ не создаются по произволу. Все учреждения в своем начале проистекают из силы; только время дает им законное освещение и превращает силу в право. Поэтому когда существует законная власть, созданная веками, было бы безумием ее отвергнуть, тем более что законная власть представляет нейтральное начало, которое не связано непременно с тем или другим порядком вещей. И революция, и контрреволюция стараются перетянуть ее к себе, но, издавши хартию, они тем самым заключили уже союз с революцией, которой все законные приобретения признаны этим актом. Этой почвы и следует держаться, не отступая от нее ни на шаг*.

В другом сочинении Гизо обсуждает средства, которые правительство имеет в руках для управления Францией. Эти средства не заключаются только в орудиях власти; в них нет недостатка. Истинными средствами управления служат силы, лежащие в самом обществе и могущие быть опорой власти. Для того чтобы пользоваться ими, правительство должно действовать не на отдельные только лица, но и на массы. Оно должно иметь в виду разлитые в обществе мнения, интересы и страсти. Утверждают обыкновенно, что существующие мнения, интересы и страсти, составляющие наследие революции, не поддаются управлению. Но это происходит единственно оттого, что правительство не понимает их истинного смысла и не умеет с ними ладить.

Мнения, унаследованные от революции, сводятся к трем началам: к полновластию народа, к отрицанию всякой аристократии и, наконец, к низведению правительства на степень простого служителя общества, которого деятельность должна быть воздана в возможно тесные границы. Первое начало никем уже не принимается ныне в смысле принадлежности верховной власти всей массе граждан: это ведет к признанию непогрешимости или абсолютного права

* Ibid. Ch. VII.

большинства, что противоречит справедливости и здравому смыслу. В настоящее время теория народного полновластия ограничивается требованием, чтобы правительство устанавливалось и действовало во имя общих, а не частных интересов. В этом смысле эта теория не имеет в себе ничего такого, что бы могло грозить опасностью правительству, основывающему свое право единственно на разуме и правде и постоянно готовому доказывать свою законность. Точно так же и второе начало, отвергающее аристократию, очистилось от того фанатического стремления к невозможному равенству, которое было последствием революционной борьбы. В настоящее время оно означает только, что" восходящее и нисходящее движение лиц по общественной инициативе не должно быть поддержано никакими искусственными учреждениями. Естественное превосходство должно выдвигаться в силу свободного соперничества, которое заставляет его постоянно доказывать свое право и мешает ему сделаться эгоистическим и исключительным, чем оно неминуемо становится, как скоро возвышенное положение обставляется юридическими привилегиями. И в этой теории, основанной на началах разума и на чувстве правды, нет ничего, что бы противоречило задачам здравомыслящего правительства. Гораздо вреднее третье мнение, хотя на него менее всего обращают внимание. Оно низводит правительство на степень простого служителя общества и старается по возможности стеснить его деятельность. Но правительство есть предводитель общества, а не слуга. Власть должна принадлежать способнейшим; все революции, все свободные учреждения не имеют иной цели. Но способнейшие повелевают, а не повинуются; иначе исчезает в них и чувство своего достоинства, и уверенность в своей силе. Правительство в свободном государстве должно постоянно доказывать свое превосходство; но оно должно им пользоваться, а не отрекаться от себя и не унижать своего высокого положения. Поэтому неуместно и стремление низвести его деятельность до полного ничтожества. Без сомнения, излишняя регламентация вредна; страсть всем управлять нигде не имеет таких пагубных последствий, как во Франции. Но отрицание всякого правительственного вмешательства составляет другую, столь же вредную крайность. Где власть может действовать с пользою, там она должна действовать. Ей принадлежит инициатива во всем, что касается общественного блага. Никто не станет и оспаривать этой инициативы у правительства, которое отвечает потребностям народа. Недоверие происходит единственно оттого, что она от народа отделяется.

Таковы господствующие мнения. Что касается до интересов и страстей, возбужденных революцией, то они все направлены к одному, а именно к сохранению существующего, ибо в прошедшей борьбе они остались победителями. Следовательно, они везде готовы примкнуть к правительству, которое дает им это обеспечение*.

* GuizotF Des moyens de gouvernement et d'opposition dans l'etatactuel de la France. Ch. VII-X.

Гизо говорит и о средствах, которые находятся в руках оппозиции. Прежде всего, он считает вредным такое положение вещей, при котором вся оппозиция сосредоточена в палатах, а не рассеяна всюду и не имеет возможности проявляться в местных, судебных и корпоративных учреждениях. Вследствие этого она принуждена только говорить, а не действовать; все старание ее направлено не к тому, чтобы сдержать, а к тому, чтобы низвергнуть министерство. Для этого употребляются все средства; вопросы раздуваются через меру. Правительство с своей стороны, не встречая противодействия вне палат, заботится единственно о том, чтобы иметь в них большинство, а как скоро оно одолело здесь оппозицию, оно погружается в обманчивую безопасность. Истинная задача оппозиции состоит в том, чтобы не только критиковать систему министерства, но и при случае заменить ее другою. Для этого она не должна держаться исключительно оппозиционных начал: она должна иметь свою правительственную систему и быть всегда готовою применить ее на деле. С этой точки зрения она подвергает критике все действия министерства; но так как она в палатах находится в меньшинстве, то она неизбежно должна обращаться к стране, чтобы в ней приобрести большинство, которое впоследствии перейдет и в палаты. Но здесь кончается ее право: если она вызывает к фактическому сопротивлению законам, изданным большинством, она выходит из должных границ и становится революционною (Ibid. Ch. XIV-XV).

На этих началах законного противодействия Гизо настаивал и в то время, как он сделался главою управления при орлеанской династии. Известно, что попытка сочетать Реставрацию с революцією не удалась. Законная монархия стала на сторону старого порядка и была побеждена вместе с ним. То высшее сочетание закона и свободы в конституционном правлении, о котором мечтали и либералы, и доктринеры, осуществилось при младшей линии того же королевского дома, который столько веков правил Францией³⁷. Гизо, который в теории был одним из главных защитников основанной на парламентском правлении власти, был призван к практическому приложению своих начал. Но тут оказалось, что вся его система покоилась на слишком узком основании. Он вполне понимал потребности парламентского правления, но упускал из виду, что это правление должно быть выражением действительных потребностей народа. Вся парламентская борьба происходила в темном кругу так называемой «законной страны» (*pays légal*), то есть небольшого числа избирателей. Вне этого круга находились целые классы, принимавшие живое участие в политических вопросах и, однако, исключенные из политических прав.

Необходимость ввести в систему парламентских учреждений весь политический элемент народа не сознавалась первым министром, который в этом отношении слишком поддавался опасениям короля. Те светлые взгляды, которые сам Гизо некогда развивал

по поводу избирательной системы в Англии, были преданы забвению. Он не хотел знать то, что он сам некогда провозглашал: «Публика, народ, страна — вот где лежит сила, тут только следует и брать» (Ibid. Ch. VII). Результатом этой политики было то, что масса общества перестала видеть в парламенте выражение истинных своих потребностей. Она смотрела на конституционные учреждения как на исключительное достояние привилегированного кружка избирателей. Не получившие законного простора живые политические силы сделались революционными. Искусственно воздвигнутое парламентское здание рухнуло вследствие напора внешних элементов, а вместе с ним пала и монархия. Прошедши весь цикл политических начал в форме конституционной монархии, Франция стала на новую, чисто демократическую почву.

С своим падением Гизо не отказался, однако, от своего прежнего образа мыслей. В новом сочинении «О демократии во Франции» («De la démocratie en France»), изданном в 1849 г., он старался указать на все темные стороны нового порядка. Это было последнее его произведение на поприще публицистики.

Гизо хочет стать на точку зрения, чуждую его личному положению. Его смущает только положение отечества. По его мнению, коренное зло, которым оно страдает и которое подтачивает и все его правительства и его свободу, состоит в идолопоклонстве перед демократией (GuizotF De la démocratie en France Introd.). Если доселе Французская революция породила только смуты и сомнения, то причина этого явления заключается в том смещении истинного и ложного, честного и извращенного, возможного и химерического, которое проявляется и в идеях, и в правительствах, и в учреждениях. Весь этот хаос скрывается под словом демократия. Все к ней вызывают и хотят себе ее усвоить, и монархисты, и республиканцы, и социалисты. Это — знамя всех надежд и всех честолюбий, благородных и низких, разумных и нелепых. В человеке как существе несовершенном рядом с добрыми наклонностями всегда идут дурные. Демократия же вызывает ко всем им; она возбуждает все страсти и обещает им удовлетворение. Это, можно сказать, разнузданность всей человеческой природы во всех ее глубинах. В этом состоит тайна ее силы. Демократия не есть явление новое; но в прежние времена оно было местным и частным. Теперь же общество подверглось полному объединению; все старые преграды пали. А потому доисторические идеи разливаются всюду, не встречая препятствий. Везде кипит борьба, непрерывная и неизбежная (Ibid. Ch. I).

Многих эта борьба не пугает. Они воображают, что предоставленная себе человеческая природа идет к добру. По их мнению, все зло проистекает от правительств, которые насилуют и извращают человека. Свобода же сама собою исправляет зло, а потому может служить всеобщим лекарством. Другие идут еще далее: они утверждают, что нет естественного зла, что все наклонности человека добры; они извращаются лишь потому, что не могут до-

стигнуть своей естественной цели. Но нужно только организовать общество так, чтобы все склонности находили свое законное удовлетворение, и зло исчезнет, и борьба сама собою прекратится (Ibid. Ch. II. P. 15-16).

Первые, говорит Гизо, не знают человека, вторые не знают человека и отрицают Бога. Внимательное наблюдение человеческой природы показывает, что в ней происходит непрестанная борьба добра и зла. Человек призван к тому, чтобы выйти из нее победителем, и эта честь принадлежит его свободе. Но победа невозможна, если он не имеет ясного понятия и глубокого чувства окружающих его опасностей, а вместе своей слабости и необходимой ему помощи. Воображать, что для этого достаточно свобода, предоставленная самой себе, есть глубокое заблуждение, происходящее из гордости и парализующее все силы, необходимые для установления порядка в человеческих отношениях. Ибо борьба одна и та же в обществе, как и в отдельном человеке. И тут, рядом с благородными стремлениями и возвышенными чувствами, является масса безумных мыслей, грубых страстей и извращенных фантазий, готовых все погубить. Поэтому первая обязанность всякого правительства состоит в том, чтобы противодействовать злу не только в его внешних проявлениях, но и в самом его корне, в порождающих его мыслях и страстях.

Между тем демократические правительства обыкновенно довольствуются пресечением внешних беспорядков и сами поддерживают их источник, расточая лезть страстям, из которых они происходят. Это и ведет их к гибели. Для подтверждения своих взглядов Гизо указывает, с одной стороны, на Наполеона, который хотя был деспот, но понимал потребности власти и порядка, с другой стороны, на Вашингтона³⁸, который, будучи главою демократической республики, был глубоко проникнут правительственным духом и всю свою жизнь боролся против любимых идей и страстей демократии. Он знал, что в республике, так же как в монархии, нельзя управлять снизу вверх (Ibid. Ch. II).

Гизо заявляет свое уважение к республиканской форме. Он признает, что само по себе это — благородный образ правления. Он вызывал великие добродетели и руководил судьбами великих народов. Но республиканское правление имеет то же назначение и те же обязанности, как и все другие. Оно должно удовлетворять как постоянным, так и текущим потребностям общества.

Постоянная потребность всякого общества и настоящей Франции в особенности состоит в установлении внутреннего мира. Дает ли его демократическая республика? Много говорят о единении, об общественном братстве; но прикрываясь этими высокими словами, внутри кипит самая ожесточенная борьба, приведшая к междоусобной войне со всеми ее ужасами. Со времени революции 1789 г. взаимная вражда классов, аристократии и демократии, мещанства и рабочих, собственников и пролетариев не только

не улеглась, но кипит с большею силою, нежели когда-либо, к стыду нашей цивилизации. Между тем республиканское правление более, нежели какое-либо другое, нуждается в содействии всех граждан. Если масса к нему не привязана, оно не имеет корней; если высшие классы его отвергают, оно не имеет покоя. В обоих случаях, чтобы жить, оно должно притеснять. А это ведет к его падению. Только те республики прочны, которые умели приобрести, с одной стороны, доверие массы, с другой — опору высших классов и тем сохранили внутренний мир. Соединенные Штаты обрели это счастье, но им не пользуется французская республика. Самое название демократической республики, которое она принимает, есть только отголосок старого боевого крика низших классов против высших. Тут нет даже признака одной из тех мудрых побед, которые надолго упрочивают внутренний мир. Несмотря на достойные похвалы старания стоявших во главе ее людей удержать ее на этом гибельном пути, они оказываются бессильны против общего течения и умеют только повторять старые ошибки (Ibid. Ch. III).

Еще несравненно хуже социальная республика, которая обещает разрешить все вопросы и воображает, что час ее настал. И эти мысли не новы; но прежде они проявлялись только мимолетно и случайно; теперь же они смело выступают на сцену и предъявляют все свои притязания. Что же в них заключается? Основная мысль, которая выделяется из учений теоретиков социализма, состоит в том, что все люди имеют равное право на счастье, то есть на наслаждение всеми земными благами, без иных границ, кроме потребности и возможности. Между тем большая часть этих благ сделалась исключительною собственностью некоторых людей и классов. Такая конфискация общего достояния в пользу немногих противна основному праву человека; следовательно, надобно уничтожить личную собственность. Как это сделать, насчет этого мнения социалистов расходятся; но идея, лежащая в основании, у всех одна и та же.

Но представляя такое требование, говорит Гизо, социалисты забывают, что человек — это не единичное только существо, а человеческий род, который имеет совокупную жизнь и общее и прогрессивное призвание. В этом состоит отличительная черта человека и его величие. Следующие одно за другим поколения связаны друг с другом и передают преемственно свои предания и свое достояние. Этим устанавливается то постоянное единство, а вместе и то прогрессивное движение, из которых вытекают семейство и государство, собственность и наследство, отечество, история, одним словом, все явления и все чувства, которые образуют постоянную и продолжающуюся жизнь человечества. Между тем социальная республика все это уничтожает. Она видит в людях единичные и мимолетные существа, которые являются на земле лишь затем, чтобы обрести на ней наслаждения, каждый для себя, без всякой иной цели. Это именно состояние животных. Социаль-

ная республика низводит человека к их уровню; она уничтожает человеческий род.

Она уничтожает еще большее. Несокрушимый инстинкт человеческого рода говорит ему, что Бог руководит его судьбами и что его назначение не ограничивается настоящей жизнью. Для теоретиков социализма, напротив, Бог есть только воображаемое существо, во имя которого страдающим и униженным проповедуют покорность своей земной судьбе в надежде получить награду на небе. Они провозглашают, что Бог есть зло, ибо во имя Его покоряются злу на земле. Чтобы устранить земное зло, надобно изгнать понятие о Боге из человеческого ума. Тогда массы, уже не сдержанные ничем, захотят насладиться земными благами, и они этого достигнут, ибо они сильнее.

Такова философия социальной республики. Гизо не считает нужным ее опровергать; это было бы оскорблением здравого смысла. Такой взгляд есть унижение человека, а вместе и уничтожение общества, ибо всякое общество зиждется на тех основаниях, которые социальная республика стремится ниспровергнуть. Она и ненавистна, и невозможна. Это самая нелепая и самая превратная из химер. На этом, однако, нельзя успокоиться. Нет ничего опаснее того, что вместе сильно и невозможно. А социальная республика сильна, ибо она пользуется всеми средствами свободы, чтобы внушить массам идеи, которые они не в состоянии разобрать; они взывают к их страстям во имя призраков истины и справедливости. И мы не вправе на это сетовать, ибо мы сами поддерживаем источник пожара и тем придаем социальной республике главную ее силу. Хаос, который господствует в умах и в политических правах и который скрывается под словами демократия, равенство, народ, ниспровергает перед нею все преграды и открывает перед нею все двери. Говорят, что демократия есть все; приверженцы социальной республики отвечают: «Демократия — это мы». Провозглашают равенство прав и верховенство числа; они отвечают: «Считите нас»! Победить эту опасность можно только выяснением понятий. Надобно, чтобы общество зрело и трезво смотрело на вещи, видело их, как они есть, и держалось в своих мыслях, так же как и в своих действиях, той твердой уверенности, которая устраняет всякие фантазии, признает все необходимости, уважает все права, оказывает внимание всем интересам и пресекает все захваты, идущие снизу, так же как и сверху, порождаемые фанатизмом, так же как и эгоизмом. Через это социальная республика не исчезнет, ибо она питается стремлениями, которых нельзя уничтожить; но она перестанет быть опасною и мало-помалу она войдет в надлежащую колею и займет свое место в великом прогрессивном движении человечества (Ibid. Ch. IV).

Как же этого достигнуть? Первый шаг, необходимый для того, чтобы выйти из господствующего хаоса, состоит в признании всех действительных и существенных элементов общества в том виде, как они существуют ныне во Франции.

Прежде всего надобно обратить внимание на гражданское общество, составляющее основание всего общественного строя. В состав его входят: семейство; собственность в различных ее видах; труд в разнообразных проявлениях, и наконец, общественные положения, которые вытекают из отношений семейства, собственности и труда. Характеристическая особенность гражданского общества во Франции — это единство законов и равенство прав; это новый и великий факт во всемирной истории. Посреди этого единства и этого равенства прав существуют глубокие неравенства, порождаемые самым движением элементов гражданского общества. В области собственности есть богатые и бедные, есть крупная, средняя и мелкая собственность. В области труда являются самые разнообразные ступени — от вершин умственного труда до самой обыкновенной ручной работы. Иначе и не может быть, ибо это — условие всякой общественной жизни. С тех пор как общества существуют, в них всегда выделялись три главных типа общественных положений: люди, живущие своими доходами; люди, стремящиеся увеличить свое достояние собственным трудом; наконец, люди, живущие исключительно плодами своего труда. Это — факт мировой, являющийся при самых разнообразных условиях. Затем, каждый из этих разрядов, в свою очередь, распадается на более мелкие различия. К собственности является различие движимой и недвижимой собственности, имеющих каждая свои свойства. Первая, в форме капитала, получает в наше время все большее значение и становится главным источником богатства; тем не менее вторая в силу несокрушимых стремлений человека сохраняет свое преобладающее значение. То же самое мы видим и в области труда. Уважение к труду, признание его великим фактором общественной жизни, составляет славу новых обществ. Какою же роковою силою это великое начало сделалось боевым криком, источником смут и потрясений? Дело в том, что оно прикрывает гнусную ложь. Те, которые выставляют это знамя, имеют в виду вовсе не интересы труда как он есть, а низведение его к самому низменному уровню. Труд, как и все великие начала, управляется человеческою жизнью, имеет свои естественные законы, в числе которых находится неравенство работы трудящихся, проистекающее из бесконечного разнообразия задач и способностей. Умственный труд гораздо выше физического; и в том, и в другом есть бесчисленные оттенки и ступени. Между тем именно этого закона не хотят признать теоретики социализма. Все их внимание устремлено на самый простой материальный труд; рабочим внушают мысль, что они одни достойны этого имени и обладают всеми правами. Этим понижается общий уровень и превозносится человеческая гордость. У труда отнимаются истинные его права, которые заменяются претензиями нелепыми и низкими, несмотря на их нахальство.

За гражданским обществом следует общество политическое. Составными его элементами среди свободного народа являются пар-

тии в обширном смысле слова. Официально во Франции нет иных партий, кроме правительственной и оппозиционной. Но под этим скрываются физические отношения, которые имеют глубокие корни в прошлом и которые невозможно уничтожить, а потому необходимо признать. Легитимисты не суть только династическая партия, это — остаток элементов, некогда преобладавших во французском обществе. Революция могла их низвергнуть, но не могла их уничтожить, и ныне они существуют, применяясь к новым условиям, но не отказываясь от своего прошлого. Такова же и партия, которая поддерживала Июльскую монархию, и которая составлялась главным образом из средних Классов. И она сослужила Франции великую службу. Несмотря на свои заблуждения, за которые они так жестоко заплатились, эти классы во все эпохи давали отечеству целые поколения даровитых и преданных людей, и когда они стали во главе правления, они честно поддерживали конституционный порядок, охраняли свободу и мир. Вокруг этих старых партий бродит колеблющаяся масса народа, на которую постоянно действуют социалисты всех оттенков. Последние не составляют политической партии, ибо у них нет политической программы. Цель их — разрушение существующего порядка; анархия есть то начало, к которому они направляют народ. Если они признают себя республиканцами, то это происходит единственно оттого, что они в республике скорее надеются проводить свои мысли.

В результате оказывается, что во Франции старое перемешивается с новым. Под началами единства и равенства скрываются глубоко различные и неравные общественные положения. Нет иерархически организованного общества, но есть различные классы, которые нельзя уничтожить. Их существование есть факт, который следует признать. Надобно только устроить так, чтобы они могли мирно уживаться друг с другом. Старая аристократия, средние классы и народ не должны стремиться к уничтожению друг друга. Пускай они соперничают в борьбе за влияние; пускай каждая партия охраняет свое положение и свое право; но всякая радикальная вражда должна прекратиться: они должны жить рядом в правительстве, так же как и в гражданском обществе. Это — первое условие внутреннего мира; от этого зависит вся будущность Франции. Как же этого достигнуть? (Ibid. Ch. V, ch. VI. P. 100).

В политическом отношении нужно такое устройство правительства, в котором все найдут свое место и которое даст им вместе удовлетворение и границы. Насчет этого в наше время ходят самые превратные мысли. Утверждают, что так как существует один народ, то во главе его должна стоять одна власть. Это — мысль революционная и деспотическая по преимуществу; это — Людовик XIV³⁹ и конвент, которые оба говорят: «Государство — это я». Народ не есть только собрание единиц, представляемых единым лицом или собранием. Народ есть организованное тело, составленное из различных элементов, которые все должны иметь

представителей в центре. Это же значит, что общество составляет союз различных классов, профессий и мнений, которые через отдельных представителей должны совещаться об общих делах. Общественное единство требует, чтобы было одно правительство; но разнообразие общественных элементов требует, чтобы это правительство не состояло из единой власти. Против этого говорит, что при свободных выборах все эти элементы найдут свое место в едином собрании, где при свободных прениях каждый получает подобающую ему долю в общих решениях; это значит не ведать человеческой природы. В обществе есть интересы консервативные и прогрессивные. Как те, так и другие не будут иметь гарантии, если решение предоставлено единому собранию, в котором преобладает интерес противоположный. Гарантия возможна только при том условии, чтобы каждый имел свою собственную власть и мог стоять за себя. Иначе будут только постоянные колебания между различными тираниями. Всеми признается необходимость разделения власти в подчиненных сферах; но различие общественных интересов требует, чтобы это разделение простиралось на самые вершины государства. И для того чтобы это разделение было действительно необходимо, чтобы каждая из этих властей была крепко организована и способна охранять свое положение. В настоящее время ищут гарантий в слабости властей. Это глубокое заблуждение. Всякая слабая власть обречена на погибель. При слабых властях одна из них непременно возобладает над другими. Результатом такого устройства может быть только анархия или тирания. Вся сила английской конституции состоит в том, что в состав ее входят крепкие власти. Во Франции самые твердые приверженцы конституционной монархии требовали для нее монархию с древнею и историческою основою, наследственную пэрию и палату, непосредственно избираемую народом. Тех же начал держались и основатели северо-американской республики. Они во главе государства поставили различные и крепко организованные власти. Эти начала должны распространяться и на всю страну, на все области управления. Централизация оказала Франции великие услуги; но ее недостает на современные потребности. Теперь борьба кипит везде, и везде различные общественные элементы должны принимать живое участие в общественных делах при собственной деятельности и под собственною ответственностью.

Все это, конечно, относится к свободному правлению, а не к неограниченной власти. Но и последняя имеет свои условия, которые дают ей прочность. Народы, которым угрожает анархия, всегда готовы броситься в объятия абсолютной власти, и эта готовность отказаться от своих прав составляет одну из самых постыдных сторон человеческой природы. Но Франция, в какой бы она ни находилась опасности, не должна рассчитывать на абсолютную власть для своего спасения; ее ожидания были бы обмануты. В старом французском обществе абсолютная монархия находила условия

умеренности и прочности; при Наполеоне I она имела элементы силы, которые теперь не существуют. Военная диктатура так же, как и тирания народа, могут быть только временными пособиями, но не прочными правительствами. Либеральные учреждения в настоящее время столь же необходимы для общественного мира, как и для достоинства лиц. Великое демократическое движение, которое побуждает всех людей и все классы думать, стремиться, действовать и развиваться во всех отношениях, не может быть подавлено. Это — факт, с которым надобно считаться. А если нельзя его уничтожить, то надобно сдерживать его в должных границах и направить его на настоящий путь. Для этого необходимо, чтобы демократия играла большую роль в государстве, но не была бы всем; чтобы она могла всегда возвышаться, но не могла бы унижать все, что не она сама; чтобы она везде находила и выход, и преграды. Иначе демократия себя погубит и Францию с собою (Ibid. Ch. VI).

Недостаточно, однако, хорошей организации властей для водворения внутреннего мира. Необходима со стороны самого народа известная мера мудрости и добродетели. Глубоко заблуждаются те, которые верят в верховную силу политической механики. Человеческая свобода играет великую роль в общественных делах, и от людей зависит окончательно успех учреждений. В 1789 г. французское общество одушевлено было одним великим чувством, которое унесло перед собою все преграды; это чувство было восторженное поклонение человечеству, бесконечная вера в его силы и развитие. Скоро, однако, опять охладел этот пыл; любовь к человечеству привела к междоусобной войне и к плахе. Все надежды исчезли, как призраки. В настоящее время революционеры стараются подогреть эти чувства, но напрасно. Францию нельзя вернуть к 1789 г. Опыт слишком жестоко покарал эти надежды; в иссякших источниках общество не почерпнет новой жизни. Революционный дух производит только шум, а не движение, он не в состоянии пробудить верование, а может только распространить сомнения и недоумения. Нужны другие нравственные силы, чтобы вывести общество из настоящего его положения.

Первая есть семейный дух. Семейство составляет первый и коренной элемент общества; он же и последняя его защита в такое время, когда все становится подвижным и преходящим. Здесь находят свой приют те предания, чувства и добродетели, которые могут служить противовесом беспорядочному движению современных обществ.

Вторая есть дух политический, который существенно состоит в том, чтобы хотеть и уметь принимать участие в общественных делах и играть в них свою роль правильно, без употребления силы. Для этого надобно видеть вещи, как они есть, а не так, как мы хотим их видеть; надобно также научиться желать только возможного. Этим политический дух возвышается к тому, что составляет основной его закон и главное его достоинство — к уважению права —

единственной основы общественной устойчивости, ибо вне права есть только сила, по существу своему изменчивая и преходящая. А с уважением права связано и уважение к основному его источнику — к закону и к власти его прилагающей. Этим устанавливается нравственное начало прочности в отношениях людей и нравственное начало авторитета в управлении государством.

Однако ни дух семейный, ни дух политический не в состоянии были бы исполнить свою задачу без помощи высшего начала — духа религиозного, ибо религия одна говорит одинаково всем людям, высшим и малым, счастливым и несчастным. Ее органы находятся везде во дворцах и в хижинах, как советники и утешители. Никакая другая сила не сделала столько для поднятия нравственного достоинства и для самых дорогих интересов человечества. Нет сомнения, что с этим связаны были и большие злоупотребления. Отрицать их невозможно; но в настоящее время их менее всего можно опасаться, ибо светские элементы всюду являются преобладающими. Они имеют за себя не только учреждения, нравы, господствующие страсти, но и то общее течение идей, которое неотразимо действует на человеческие общества. При таких условиях помощь нравственной силе, покоящейся на вековых основах, всюду проникающей и говорящей самым глубоким человеческим чувствам, является неоцененною. Но эта помощь требует уважения и свободы; нет сомнения, что тут могут быть столкновения; необходимо себя оберегать против захватов. Но это — неизбежное условие совокупного действия. С великими нравственными силами нельзя обходиться, как с подозрительными наемниками: надобно брать их, как они есть, не покоряясь им, но и не порабошав их, не торгуясь с ними беспрерывно насчет их доли, а искренно взывая к их содействию во имя общественного блага. Только этим путем можно вывести Францию из той бездны зла, которая грозит ее существованию (Ch. VII).

Таково содержание брошюры Гизо. Мы привели ее подробно, потому что она составляет последний плод размышлений великого историка и крупного государственного деятеля, игравшего выдающуюся роль в своем отечестве. Многое тут глубоко и верно, но есть и слабые стороны, на которые следует указать. Понимание главной задачи правительства в либеральном и прогрессивном обществе как сопротивление злу нельзя не признать крайне односторонним. Во всяком обществе, а тем более при свободных учреждениях, правительство не должно ограничиваться противодействием тому, что ему кажется злом, а должно предусматривать необходимые изменения и руководить общество на пути прогресса. Такова именно была политика английской консервативной партии. Она сама предвидела нужные реформы, когда время их созрело; этим она и сохранила свое выдающееся положение, а вместе и те учреждения, которые служили ей опорой. Напротив, Гизо как министр Июльской монархии⁴⁰ ограничился политикой сопротивления, а это и привело ее к падению. Вместо реформ произошла революция.

Что касается до устройства демократической республики, то Гизо верно указал главную ее опасность — сосредоточение власти в одном собрании. Но вопрос состоит в том, из каких элементов можно устроить необходимые противовесы? Когда Гизо указывает на старые партии как на неискоренимые элементы французского общества и требует, чтобы им предоставлено было подобающее место как самостоятельной политической силе, то подобная организация может вести лишь к нескончаемой внутренней борьбе и к остановке всех дел. Самостоятельными политическими силами во всякой общественной организации могут быть лишь такие, которые признают ее основы, а не такие, которые стремятся всеми силами ее ниспровергнуть. А таковыми являются во Франции старые партии в отношении к республике. Не только легитимисты, но и те орлеанисты, которые остались верны старым преданиям, по-видимому, ничего не забыли и ничему не научились. В них отсутствует именно тот политический дух, который Гизо справедливо признает необходимым условием мирного сожительства. Поэтому возводить их в самостоятельную политическую силу и дать им особое место в политической организации нет никакой возможности. Справедливо то, что он говорит об отношении к религии и церкви; но и тут все зависит от духа, господствующего в церкви. Когда, при основании современной республики, клерикализм сделался соединяющим звеном всех ее врагов, то естественно возгоралась борьба, в которой и противоположная сторона, как всегда бывает, переходила через край. Установление мирного сожительства зависит и тут от политического духа, воодушевляющего обе партии. Без взаимного уважения и уступок согласие немыслимо. Гизо указал на необходимость внутреннего мира для благоденствия Франции, но пока это остается только благочестивым желанием, на осуществление которого действительность представляет мало надежд.

2. Гелло

Теория французских доктринеров нашла более или менее полное осуществление в Июльской монархии. Вокруг нее соединились все умеренные друзья свободы. Хартия была изменена согласно с их желаниями. В этом духе развивалось и последующее конституционное учение. Оно примыкало к Хартии, являясь ее толкователем или критикой.

Из систематических сочинений, писанных в этом направлении, заслуживает внимания книга советника кассационного суда Гелло (Hello), вышедшая под заглавием «О конституционном порядке в его отношениях к современному состоянию политической и общественной жизни» («Du régime constitutionnel daps ses rapports avec l'état actuel de la Science sociale et politique»). Первое ее издание появилось еще в 1827 г., второе в 1830-м, третье, совершенно

переработанное, в 1848-м, до Февральской революции. Последнее служит основанием нашего изложения.

Исходная точка тут чисто индивидуалистическая. Геллю различает два вида правлений: в одних законодатель считает себя полновластным, в других он подчиняется естественному закону; в одних общество есть все, а лицо является только подчиненным его орудием, в других же лицо составляет цель, а законодательство является средством для достижения этой цели. Оно не дает человеку прав, а признает и охраняет те права, которые ему прирождены как разумному и свободному существу. Последнего рода учреждения суть либеральные. Как бы ни заманчива была теория полновластия общества, она может породить только деспотизм, а никогда свободу. Личное право, напротив, одно может служить основанием свободы, ибо оно одно дает понятие о высшем праве, ограничивающем права законодателя. В лице лежит источник всякого права; здесь только законодатель черпает первую из своих добродетелей — уважение к человеку, без которого нет ничего, кроме произвола и выгод. Без сомнения, человек создан для общества; но вопрос в том, как он к нему относится? По одной теории, он всецело поглощается обществом и исчезает в нем, как капля в море; по другой, он сохраняет за собою неотчуждаемые права, которые государство охраняет, а не уничтожает. Он остается лицом, отличным от общества; он считается с последним и спорит о размере потребных жертв. Если общество может быть несправедливо относительно кого-либо из своих членов, то это доказывает, что право принадлежит не первому, а последним.

Конечно, индивидуализм содержит в себе опасность эгоизма, разлагающего общественную жизнь. Задача законодателя — противодействовать этому злу. Если же вместо того он ему потакает, то подобная политика может сделаться общественным бедствием. Но надобно всегда иметь в виду, что с признанием начала свободы человек выходит из опеки: он сам отвечает за свою судьбу. Через это лицо теряет право обвинять правительство в своих ошибках. Самая благотворительность получает иной характер, нежели при деспотизме, когда лицо всецело отдает себя власти. Она становится более нравственным, нежели юридическим требованием.

Геллю видит в Хартии осуществление этих начал. Она вся основана на личных правах. Определение их составляет первую ее часть, а затем уже идет устройство правления. Эти права не даруются ею гражданам, ибо это права прирожденные. Она не ограничивается также их провозглашением, ибо они давно были признаны сознанием человеческого рода. Но из области естественного права она переводит их в право положительное, что и ведет к требованию гарантий, требованию, которое может истекать только из личного права. Это, без сомнения, громадный шаг вперед; но надобно признать, что началом прогресса была философская истина, и Хартия есть философия, ставшая законом.

Требуемые гарантии не даются природе; они создаются людьми. Но разум их указывает, и он же их защищает. Они существенно состоят в разделении властей. Лицо бессильно против коллективной власти; поэтому власть должна быть разделена так, чтобы никакая ее часть не могла всего делать. Личное право должно стоять выше каждой из них, и если одна из них на него посягает, то оно должно найти защиту в других. Таково первое и необходимое условие свободного правления; иначе неизбежно водворяется деспотизм. К последнему ведут новейшие утопии, отрицающие личное право во имя общественного и не признающие прирожденных прав человека, а тем менее прав приобретенных. Для приверженцев этих теорий конституционное правление представляет только переходную стадию к оному, лучшему порядку. Для нас, напротив, несмотря на неизбежную изменчивость форм, она заключает в себе непоколебимые истины, признание которых одно может дать человечеству период долговременного и мирного развития. (<Hello. Du régime constitutionnel...> I. Notions préliminaires).

Такова теория Гелло. Несмотря на точку исхода, нельзя не заметить существенного ее отличия от индивидуалистических учений XVIII века. Там прирожденные права человека считались единственным правомерным основанием всякого общества; здесь признание их является отличительным признаком либеральных учреждений. Нельзя не согласиться с тем, что свобода составляет неотъемлемую принадлежность человека как разумного существа. Сознание этого начала означает высшую ступень развития человеческой мысли и общественных учреждений. А так как личность не создается государством, то и вытекающая из нее свобода не есть дар общества или власти. Даже когда государство отменяет рабство, оно не дарует человеку свободы, а признает за ним то, что искони лежало в его природе, но было затемнено в общественном сознании. В этом отношении Гелло прав, когда он положительный закон подчиняет естественному. Но проявляясь во внешнем мире в самых разнообразных отношениях, свобода неизбежно подвергается многочисленным ограничениям, которые устанавливаются законом не на основании каких-либо отвлеченных, раз навсегда определенных начал, а сообразно с изменчивыми условиями, потребностями и развитием общества. Свобода, определенная законом, и есть право. В этом состоит тот великий шаг от умозрительных начал к реальному их осуществлению, о котором говорит Гелло. Этот шаг совершается общественною властью, которая в этом отношении является верховною, ибо она одна может быть судьей тех ограничений, которым подлежит личная свобода при разнообразных условиях общественной жизни. Без сомнения, тут могут быть злоупотребления; неограниченная власть может довести свободу до полного уничтожения. Против этого лицо ищет гарантий. Но эти гарантии могут состоять только в устройстве властей, которое не устанавливается естественным законом, а есть дело рук

человеческих, а потому неизбежно принадлежит положительному закону, исходящему от той же власти. Поэтому нет возможности отрицать полновластие государства в области внешней свободы. В этом отношении Гелло, так же как Гизо, впадает в односторонность, и это отражается на его учении о личных правах. Он отвергает определение свободы как права делать все, что не запрещено законом; по его мнению, оно ведет к самому неисцелимому из всех деспотизмов — к деспотизму закона. Это определение верно лишь в том отношении, что всякая свобода имеет границы и эти границы могут быть положены только законом. Но оно ложно в том отношении, что закон не может полагать границы произвольно (Ibid. P. 37). Однако тут же автор признает, что точное установление этой границы ускользает от наших конституционных приемов и не может быть сведено к определенным формулам (Ibid. P. 39). Очевидно, что закон остается сам себе судьей, и в этом состоит его юридическое полновластие.

В изложении личных прав Гелло следует порядку, которого держится Хартия. Первое есть равенство перед законом. Этим уничтожаются всякие привилегии, но не уничтожается естественное неравенство силы, средств и положений. Напротив, признавая равную для всех свободу, оно тем самым узаконивает неравенство, ибо свободное лицо живет и действует среди разнообразных условий и с различными способностями, вследствие чего и результаты выходят разные. Те, которые хотят установить всеобщее равенство, отрицают человеческую свободу и устанавливают самый страшный деспотизм. Свободный человек сам отвечает за себя и сам пролагает себе дорогу; только отрекаясь от себя и отдавая себя всецело в руки власти, он может подчиниться всеобщему уравниванию. Закон, устанавливающий юридическое равенство, ограничивается тем, что он отменяет всякие юридические преимущества; для него собственность бедняка также неприкосновенна, как и собственность миллионера. Только этим способом равенство совмещается с свободой. Уравнение же состояний возможно только при полном поглощении лица обществом (Ibid. P. I. 42-54).

Столь же несостоятельно и требование равенства политических прав. Естественное право, из которого вытекает равенство перед законом, относится исключительно к правам гражданским, которым определяется личная свобода человека со всеми вытекающими из нее последствиями. Но естественный закон не устанавливает права человека влиять на судьбу других, делаться участником власти. На это нужна способность, которая находится не у всех. Определение ее зависит вполне от положительного закона. Политическое право составляет гарантию личного права; но устройство целесообразных гарантий есть дело рук человеческих (Ibid. P. 69 и след.).

Нельзя не заметить здесь некоторой непоследовательности в учении Гелло. Если политическое право составляет гарантию

прирожденных прав человека, которых законодатель не властен касаться, то всякий гражданин имеет право требовать себе участия в установлении этих гарантий; иначе он предается на жертву чужому произволу. Требование способности может только ограничивать, а не уничтожать это начало. Мы вернемся к этому при рассмотрении учения о политических гарантиях.

Напротив, вполне последовательным, но не к выгоде теории, является Гелло при разборе второго личного права, гарантированного Хартией, именно личной свободы. Здесь природенное право признается всеми. Весь вопрос заключается в его гарантиях. В этом отношении Хартия постановляет, что никто не может подвергаться преследованию и аресту иначе как в случаях, предвиденных законом и в предписанных им формах. Против этого Гелло возражает, что таким образом личная свобода всецело отдается на волю законодателя, который может ограничить ее, как ему угодно. По его мнению, истинная гарантия может состоять единственно в предоставлении права ареста не правительству, а независимой судебной власти. Так она и понималась везде, где это право покоилось на твердых основаниях (*Ibid. Titre II, P. 87-89*). Но спрашивается, от кого зависит установление и устройство судебной власти? По признанию самого Гелло, это дело не естественного, а положительного закона. Можно считать эту гарантию наилучшей, но нельзя не признать ее зависимости от воли законодателя. Мало того: всякому знакомому с политическим бытом известно, что бывают случаи, когда гарантии, уместные в нормальное время, приостанавливаются и усмотрению правительства предоставляется более или менее широкий простор. И тут единственная гарантия против злоупотреблений состоит в том, что чрезвычайные меры допускаются не по усмотрению правительства, а в силу закона. Стало быть, закон в конце концов является полновластным судьей тех границ, которые должны полагаться личной свободе. Избегнуть этого при условиях человеческой жизни нет возможности.

Несравненно прочнее стоит третье личное право, признанное Хартией,— свобода совести. Здесь все согласны в том, что государство не должно вмешиваться в эту область. Отношение человеческой души к Богу не подлежит действию власти. Но здесь затруднение возникает при определении внешних действий. С религией связаны богослужение и устройство церковного союза. Отношение государства к церкви, говорит Гелло, может быть разное. Доселе мы встречаем три способа сочетания обоих союзов: или государство подчиняется церкви, или церковь подчиняется государству, или, наконец, они существуют рядом как две равноправные власти, которые вступают между собою в соглашение. Но все эти способы исключают свободу. Пока церковь признается властью, с которою государство вступает в сделки, притеснение совести неизбежно. Истинное отношение может установиться только там, где церкви предоставляется независимость в принадлежащей ей духовной

сфере, в гражданской же области признается одна власть государственная, которая, будучи независима от каких бы то ни было вероисповеданий, остается нейтральной между ними. Это и есть точка зрения либеральных правительств. Хартия обещает одинаковое покровительство всем вероисповеданиям. Но кто оказывает покровительство, тот господствует. Относясь к области внешних действий, обряд богослужения неизбежно подлежит полицейским правилам. Закон может идти еще далее. Государство может относиться к церквям или как к простым товариществам, предоставляя каждую самой себе и подчиняя их только общим правилам, или же оно может видеть в них полезный общественный элемент и в этом качестве приходить им на помощь. Последнее есть более правильное отношение, и этого держится Хартия. Всем признанным вероисповеданиям дается одинаковое пособие в виде жалованья их служителям. Вновь же возникающим сектам предоставляется право просить законного признания, представив правительству изложение своего учения и своего устройства (Ibid. Titre III).

Заметим, что если свободу совести можно признать естественным правом человека, на которое государство не должно посягать, то нельзя того же сказать об одинаковом покровительстве, оказанном всем вероисповеданиям. Пособие, которое им оказывается, основано на том, что государство считает их полезными элементами общества; но это уже точка зрения не права, а политики, и тут государство, не нарушая ничьего права, может поступать по своему усмотрению. Если оно одно вероисповедание признает более полезным, нежели другие, на том основании, что оно теснее связано с народною жизнью, то ничто не мешает дать ему первенствующее положение, лишь бы этим не стеснялись права других. Это — не подчинение господствующей церкви и не притеснение совести, а приложение неотъемлемо принадлежащего государству права судить об отношении различных общественных элементов к общему благу и оказывать им соответствующее этому покровительство.

К удивлению, Гелло причисляет к прирожденным правам человека и свободу печати. В Хартии она, как и следует, стоит в числе личных прав; но против признания ее правом естественным сам Гелло приводит весьма веские возражения. Печать есть человеческое изобретение, а потому пользование этим изобретением никак нельзя считать правом, дарованным самою природою. Гелло признает, что ввиду этих доводов он долго колебался, но, наконец, склонился к противоположному мнению. Его убедило то, что цивилизация лежит в самой природе человека; стремление к совершенствованию есть его прирожденное право, а потому все, что этому содействует, приращается к этому праву и входит в его состав. Свобода мысли, несомненно, есть прирожденное право, а потому различные способы его проявления суть только его расширение (Ibid. Titre IV, P. 193-197). Нельзя не сказать, что этот довод весьма слаб: если

все блага цивилизации и все совершенствования причислять к природным правам, как их приращения, то область последних распространится на все. Свободу можно признать естественным правом человека, ибо она вытекает из его природы как разумного существа; но способ ее проявления подлежит действию закона. Могут быть способы законные и незаконные. Свобода печати не есть только проявление свободы мысли; она имеет громадное влияние на всю общественную жизнь, а потому государству, несомненно, принадлежит право определять ее границы. В этом отношении есть существенная разница между правительствами либеральными и деспотическими. Первые признают свободу печати законным правом граждан; поэтому устраняются всякие предупредительные меры. Хартия постановляла, что цензура не будет восстановлена. Даются и гарантии независимого суда. Это составляет необходимое условие всякого либерального правления. Но все же это не природное, а потому неотъемлемое право. Есть обстоятельства, при которых эти гарантии устраняются. Тут менее всего можно отрицать полновластие закона.

Гораздо вернее то, что Геллю говорит о последнем личном праве, гарантированном Хартией — о праве собственности. В противоположность весьма распространенному мнению, он утверждает, что оно принадлежит к естественным правам человека, а не установлено гражданскою властью. Источник его лежит в праве человека как разумно-свободного существа налагать свою руку на материальный мир и присваивать себе внешние предметы. Этого не отрицают и противники собственности; но они ограничивают это право присвоением плодов своего труда, не распространяя этого права на землю. Между тем плоды труда могут идти и на далекие годы. Если жатва собирается ежегодно, то обработка почвы простирается на долгое время. Плоды посаженного дерева собираются целые десятки лет, а самое дерево годится для рубки, может быть, через столетие. Есть улучшения почвы, которые носят постоянный характер, например осушение болот. Вообще, цели человека постоянны, а труд его носит плодотворный характер. Эти свойства сообщаются и собственности: как естественное право, она постоянна и индивидуальна. Положительный закон не устанавливает ее, а только определяет ее границы. Они полагаются или во имя чужого права, или во имя общественной пользы. Личное право должно уступать последней. На этом основано право принудительного отчуждения собственности. Но отбирая ее у частных лиц для общественной пользы, закон вместе с тем признает ее, ибо это делается не иначе как с предварительным и справедливым вознаграждением. И тут требуются гарантии против произвола. Они существенно состоят в том, что решающий голос имеет тут независимый суд, а для определения размеров вознаграждения — присяжные. Только относительно юридических лиц требование вознаграждения устраняется, ибо юридические лица не суть создания природы,

а положительного закона, который имеет право уничтожить то, что он сам вызвал к жизни во имя общественной пользы. Этим объясняется отобрание церковных имений во времена революции. Требованиями общественной пользы объясняются и те границы, которые полагаются пользованию собственностью в разных специальных случаях, как-то: в лесном хозяйстве, в разработке руд. Надобно только, чтобы эти границы не были произвольны, а вытекали из самой природы вещей. Гелло признается, однако, что тут нет возможности постановить какие-либо твердые правила. А так как всякая свобода имеет свои границы, и эти границы полагаются законом, то последний остается владыкою свободы. Во имя изменчивого начала общественной пользы можно дойти до полного отрицания собственности. Против этого есть только одно средство — уважение к естественному праву. Единственная узда есть узда невидимая (Ibid. P. 310. См. вообще: Ibid. Titre V).

В конце концов оказывается, следовательно, что в определении свободы закон все-таки является полновластным. Единственной гарантией против злоупотреблений служит надлежащее устройство политической власти. Этому посвящена вторая часть сочинения Гелло.

Как сказано выше, эта гарантия заключается, по его мнению, в разделении властей. Поэтому он начинает с общей теории разделения властей, в какой бы форме она ни проявлялась — монархической, аристократической или демократической; затем он переходит к приложению ее к монархическому правлению.

Гелло восстает против тех, которые считают власть нераздельною, утверждая, что или она едина, или ее вовсе нет. Разделение властей столь же возможно, как и разделение труда. Каждой из них предоставляется принадлежащий ей круг действий, но ни одна из них не может делать все, в этом состоит основной ее принцип. Человеческой воле полагаются границы: это великое начало нравственности переносится в политическую область (Ibid. II. P. 1-7). Поэтому первая забота должна состоять в том, чтобы ни одна власть не вторгалась в область другой, не только смежной, но и низшей. Всякие подобные вторжения должны встречать конституционную преграду (Ibid. P. 9-17).

Гелло отличает власть учредительную, законодательную и исполнительную; затем последняя подразделяется на административную и судебную. Первая существует не везде. В Англии изменения государственного устройства принадлежат парламенту, так же как и издание обыкновенных законов; во Франции, напротив, с самого водворения либерального правления учредительная власть была отделена от законодательной. Причина этого различия та, что в Англии развитие учреждений шло чисто практическим путем. Они изменялись только мало-помалу, и парламент всегда находил сдержку в прецедентах и в установившихся обычаях. Во Франции же конституции создавались теоретически, а потому произвол законо-

дателя не знал границ. Только в отделении учредительной власти от законодательной парламентское полновластие находило себе сдержку. Несомненно, что это составляет ценную гарантию свободы. Полезно, чтобы законодатель имел над собою неизменные правила, которые он не может нарушить и для изменения которых требуются особые гарантии. Некоторые отрицают существование учредительной власти, потому что она не всегда существует и проявляется только по временам. Но именно это ограждает ее от полновластия; иначе она поглотила бы в себе все другие власти. Она всегда лежит в народе; но она переходит в действительность только при особых условиях и с надлежащими гарантиями (Ibid. II, Titre 1. Ch. 1).

Вескость этих соображений не подлежит сомнению: полезно обставить изменение основных законов особыми гарантиями. Но вопрос заключается в том, требуется ли для этого установление особой власти? Не только в Англии, классической стране конституционного правления, без нее обходятся, но самый пример Франции доказывает, что учредительная власть есть не что иное, как видоизмененная законодательная. Изменения в Хартии 1814 г., которые легли в основание Хартии 1830 г., были произведены обыкновенными законодательными палатами, а самая эта Хартия предоставила решение вопроса о наследственности прав обыкновенному закону, что не могло бы иметь места, если бы это право принадлежало особой учредительной власти. Впрочем, это — вопрос более теоретический, нежели практический. Как скоро для изменения основных законов требуются известного рода формы и учреждения, то какое бы им ни дать название, для существа дела это безразлично.

Несравненно важнее различие между законодательною властью и исполнительной. Тут необходимы различные органы; разделение их составляет основное требование учения о разделении властей. Смещение их ведет к полновластию исполнителей, следовательно, уничтожает всякую гарантию против произвола. Только независимая от правительства законодательная власть может обеспечивать права граждан. Но и тут есть своего рода затруднения. У исполнительной власти нельзя отнять право определять способы исполнения. Это делается путем постановлений (*règlements*) или указов (*ordonnances*). Но как отделить одно от другого и предотвратить вторжение постановлений и указов в область закона? Надобно, чтобы последний совершенно точно и вразумительно определял то, что он делает для всех обязательным, и то, что он предоставляет усмотрению исполнительной власти (Ibid. Ch. 2). Необходим и судья, который бы решал подобного рода столкновения. Таковым может быть только независимая судебная власть (Ibid. P. 99).

Здесь можно видеть недостаток принятого Гелло разделения властей. Он судебную власть признает только отдельною отраслью власти исполнительной. Между тем она призвана разрешать столкновения между законодательною властью и исполнительной. Администрация обязана подчиняться издаваемым исполнительной властью

постановлениям, следовательно, она составляет подчиненную часть последней. Судья же знает только закон; если постановление вместо того, чтобы служить исполнением закона, является его нарушением, он его не прилагает и тем лишает его силы. В этом состоит самая существенная гарантия граждан против административного произвола. Вся английская свобода зиждется на этом начале. Где оно не признается, там о законной свободе не может быть речи.

Эта неясность понятий у автора произошла оттого, что Гелло усвоил себе принятое деление властей на законодательную и исполнительную. Между тем последняя не ограничивается одним исполнением законов: имея в руках все государственное управление, она во многих случаях действует по собственному усмотрению. Принадлежащее монарху право вести войну, заключать мир, командовать войском, назначать министров, распускать палаты не есть только исполнение закона. Самые постановления нередко имеют в виду не только исполнение, но и восполнение закона. Тут власть, очевидно, гораздо шире: ей вверено осуществление в пределах закона всех государственных целей. Поэтому ей всего вернее присвоить название власти правительственной.

При такой точке зрения судебная власть является от нее независимой. Призванная прилагать закон к отдельным случаям по внушению своей совести, она стоит наряду с двумя другими властями — законодательной и правительственной. Этому не противоречит то, что суд совершается от имени монарха: последний играет здесь роль представителя и главы государства. Не противоречит и то, что судьи назначаются королем. Назначаются и члены верхней палаты; но и те и другие бессменны, а потому представляют независимую власть. И это опять служит единственной гарантией свободы граждан. Конечно, суд не играет такой роли, как две первые власти. Он не стоит на вершине государственного устройства; он не причастник верховной власти. Поэтому независимый суд может существовать и в неограниченных монархиях, признающих свободу граждан в подчиненных сферах. Но в ежедневном порядке правильно организованный суд служит, может быть, важнейшею охраною гражданской жизни. Когда же он призывается к разрешению столкновений между законодательною властью и правительственною, он возводится на степень политической власти. Не только гражданская, но и политическая свобода приобретает в нем высшую свою гарантию.

Все это вполне признает Гелло: «Нужна была власть крепко организованная,— говорит он,— которая была бы работою закона и только его, которая с абсолютною зависимостью от закона соединяла бы столь же абсолютную независимость от всех властей, которая, будучи поставлена в точных границах, была бы вместе неприкосновенна и сдержана, так чтобы она не могла ни внушать, ни испытывать страха; нужна была такая власть для того, чтобы можно было с полною безопасностью вверить ей двойную, известную нам функцию: 1) охранение нашего имущества и наших лиц,

которых можно касаться только прошедши через нее; 2) вытекающее из первого охранение границ различных властей, для чего она одарена величайшею силою, существующею среди людей,— силою инерции. Так как все повелительные и запретительные меры нуждаются в ее санкции, то рано или поздно они к ней приходят, и ей достаточно простого отказа, чтобы их парализовать» (Ibid. P. 141). Но как же возможно после этого признавать судебную власть простою отраслью власти исполнительной?

Что касается до административной власти, то она постоянно и непосредственно соприкасается с гражданскою; поэтому и тут необходимы гарантии. Между тем эти гарантии исчезают при той полной независимости административной власти от судебной, какая установлена во французском праве. В администрации надобно различать двоякого рода дела: с одной стороны, она является деятельною и ответственною, и как таковая она приказывает и запрещает, с другой стороны, она сталкивается с частными интересами граждан, и тут может требоваться судебное разбирательство. В первом отношении гражданин должен иметь право иска против незаконных действий администратора. Но в силу начала разделения власти это право у него отнято: для всякого иска требуется предварительное разрешение высшего административного собрания. Утверждают, что иначе администрация будет подчинена суду. Такое выражение идет против самой цели, которая имеется в виду при разделении властей. Это начало устанавливается как гарантия против произвола, а тут всякая гарантия исчезает, ибо администрация сама себе является судьей. Если считают, что судья не может быть надлежащим ценителем административных действий, требующих совершенно иных взглядов, то можно установить особое административное судилище с правом делать разделение, но это судилище должно быть независимое, каковым не может быть административное собрание, хотя бы и с таким высоким положением, как французский Государственный совет. Еще более это требование прилагается ко второго рода делам. Здесь администрация является вместе и стороною, и судьей, начало совершенно несовместное с правильным правосудием и лишаящее граждан необходимой гарантии их прав (Ibid. Ch. 3, § 5).

В полномочии администрации Гелло видит главную опасность и для политического устройства. Ограничиваясь конституционной монархией, Гелло рассматривает поочередно те формы или учреждения, которые входят в ее состав: 1) монарх, которому, кроме полноты исполнительной власти, присваивается и часть законодательной, с тем чтобы он имел возможность защищать себя против захватов последней; 2) две палаты, верхняя и нижняя; 3) министры, которые суть ответственные агенты неответственного князя. Это — весьма сложный механизм, исполненный юридических фикций; но, говорит Гелло, «юристы знают, что юридические фикции суть умственные истины, выведенные из общественных потребностей, и что исключать метафизику

из права — значит уничтожать самое право, которое не что иное, как метафизическое существо» (Ibid. Titre 2, P. 178-179).

Выгоды наследственной монархии в конституционном правлении Гелло полагает 1) в том, что она отвечает потребности общественного порядка и мира, сдерживая честолюбия и ограничивая борьбу низшею областью; 2) в том, что она отвечает потребности единства и последовательности в исполнении законов, устраняя опасные перерывы в правлении. Но признавая наследственность, конституционное правление устраняет сопряженные с нею случайности: монарх перестает быть единичным лицом; он становится учреждением. Из этого выводят ограничение личной его деятельности, которое выражается формулой: «Король царствует, но не управляет». Эта формула, говорит Гелло, верна, если понять ее в истинном ее смысле. Она не означает, что королю возбраняется всякого рода влияния на общественные дела: это было бы нелепо, ибо это превратило бы верховного носителя власти в чистого автомата. Но в управлении надобно различать две стороны: совет и действие. Совет есть предварительная стадия, в которой король может употреблять все свое влияние, чтобы дать делам известное направление. Здесь он является не страдательным существом, а деятельным разумом. Он сам выбирает своих советников, он контролирует их большинством палаты, он контролирует самое это большинство общественным мнением и решает распускание выборной палаты или перемену министерства. Все это важнейшие пути конституционной жизни, но все это еще не деятельность, а влияние. Как же скоро от решения переходят к исполнению, которое и восстанавливает истинное правление, так деятельность конституционного монарха прекращается: ответственность берут на себя министры. Поэтому Гелло считает более точным видоизменить приведенную выше формулу, сказав, что «король влияет, но не правит». (Ibid. Titre II, Ch. 1, §§ 1, 2). Отсюда он выводит и неприкосновенность монарха. Неприкосновенность означает безответственность, а король безответствен именно потому, что ему возбраняется всякое действие. Хартия прибавляет, что особа его священна, но это более нравственное, нежели юридическое требование; оно означает, что монарху подобает высшее уважение, без чего особа его теряет свое обаяние в глазах граждан (Ibid. § IV).

Нельзя не сказать, что этот вывод неприкосновенности монарха из того, что он не может ничего делать, не выдерживает критики. Хартия признает особу короля священной и неприкосновенною не в силу означенной формулы, а потому, что он носитель верховной власти и глава государства. Самая эта формула в Хартии не находится, ибо это вовсе не юридическое правило, и когда Гелло хочет основать его на различии между советом и действием, то это противоречит им самим признаваемым правам монарха. Избрание советников и распускание палаты не суть формы влияния, а настоящие действия. Сам Гелло признает за монархом область, в которой он

является лично деятельным, а именно командование сухопутными и морскими силами (Ibid. P. 241). Невозможно поэтому отрицать у конституционного монарха право на какое бы то ни было действие. Самая формула, которая должна определять границы его власти, неприложима ко всякой конституционной монархии. Она уместна лишь при парламентском правлении — там, где существуют прочно организованные партии. Это — способ дать единство управлению при существовании различных властей, способ политический, а не юридический. Гелло как чистый юрист впал в этом отношении в крупную ошибку. С той же точки зрения он обсуждает и ответственность министров (Ch. 2). Он требует, чтобы она определена была законом, хотя политическая сторона здесь гораздо важнее юридической, и в определении первой заключаются все затруднения.

Переходя затем к законодательным собраниям, Гелло весьма мало останавливается на верхней палате. Он предпочитает наследственную пэрию, как она была установлена Хартией 1814 г., ибо она делает палату более независимую и устраняет чрезмерное влияние монарха, которое всегда имеет место при назначении пэров, хотя бы и пожизненных. Он сожалеет о том, что друзья свободы отменили учреждение, составляющее лучшую ее гарантию (Ch. III, Sect. 2).

Подробнее он рассматривает состав выборной палаты. Здесь, прежде всего, возникает вопрос о полномочии. Некоторые, вслед за Руссо, отрицают возможность передачи верховной власти уполномоченным; но если народ не может сам непосредственно решать свои дела, то иного средства нет, кроме полномочия: иначе он лишается принадлежащей ему власти (Ch. 3. Sect. 1, § 1). Другие утверждают, что уполномоченные, представляя разнообразные интересы, не могут прийти к единству; но это единство дается идеею общего блага, во имя которой дается полномочие. Частные и местные интересы не имеют тут голоса. Поэтому не могут быть допущены общественные полномочия (Ibid. § IV, V). Идеей общего блага должен руководствоваться и законодатель при определении как избирательных прав, так и устройства выборов. Выборное право устанавливается не естественным, а положительным правом. Прежде всего для этого требуется способность. Признаками способности могут быть число, собственность, ум. Но это не значит, что эти начала должны быть представляемы в законодательном собрании. Число имеет решающее значение между равными, но в области неравенства оно никогда не может иметь нравственного веса и значения. Когда дело идет о политическом праве, то чем большее число людей, тем более они удаляются от понимания общего блага и тем большее преобладание получает частная польза. Бессмысленно искать признака способности именно там, где она уменьшается. Гораздо высшее значение имеет собственность как признак политической способности; но если она принимается не как признак, а как то, что должно быть представлено, то этим извращается самый характер представительства и открывается простор законодательству

в пользу владеющего класса в ущерб неимущим. Что же касается до представительства интеллигенции, то трудно понять смысл этого начала: развитие ума само по себе есть признак способности. Но еще важнее способности независимость, ибо лучше посредственный ум, который прямо выражает свою мысль, нежели высокий ум, который не смеет высказать своей. Этим извращается весь выбор, и именно эта опасность всего более грозит при нынешнем состоянии общества, где люди подвержены всякого рода соблазнам (Ibid. Sect. II. § 1). Гелло убежден, что найти избирателей, то есть определить тот общественный уровень, который соответствует политической способности, не трудно для законодателя. Гораздо мудреней устроить выборы так, чтобы они были настоящим выражением мнения избирателей (Ibid. § 2). Нормальный порядок выборов состоит в том, что избиратели являются здесь деятельным началом, а администрация страдательным; противоположное отношение ведет к извращению выборного начала (Ibid. § 3). Гелло сравнивает в этом отношении английские выборы с французскими. В Англии сложились политические партии, которые одушевлены политическим духом и при всем разногласии в способах достижения общего блага сохраняют уважение к существующим учреждениям. Они являются главными деятелями на выборах; администрация же остается в стороне. Поэтому, несмотря на крупные злоупотребления, выборы являются там истинным выражением общественного мнения. Во Франции, напротив, настоящие политические партии не успели еще сложиться, а вместо них является всемогущая администрация, которая направляет выборы по своему усмотрению, прибегая к громадным предоставленным ей средствам, влияя на избирателей всевозможными обещаниями и покровительством, вызывая к их частным интересам в противоположность интересам общественным. Это — настоящая система развращения избирателей, которая отражается и на министрах, развращая тех, которые ею пользуются. Все направлено к тому, чтобы получить большинство, которое заменяет всякие рассуждения; все жертвуется для этой цели. В этом Гелло видит величайшее зло современной ему Франции. К исправлению его должны быть направлены все лучшие силы страны. Комментируя известную фразу в прокламации Людовика-Филиппа⁴¹, он спрашивает: Хартия есть ли истина? и отвечает: сама по себе она есть истина, но она перестала быть таковою вследствие извращения избирательной системы, проистекающего от незнающей сдержек администрации (Ibid. § IV, IX).

Гелло был, впрочем, уверен, что этот недостаток может быть исправлен и что Франции предстоят долгие годы мирного развития. Но не прошло и нескольких недель после издания его книги, как все это конституционное здание рушилось, подорванное именно указанным им злом. Это было живое доказательство, что для конституционного правления недостаточно одних внешних форм. Надобно, чтобы оживляющий эти формы дух делал их истинною.

3. России⁴²

В том же духе, как и Гелло, излагал французское конституционное право России, итальянский эмигрант, преподававший различные общественные науки сперва в Женеве, а потом в Париже. В 1845 г. он был назначен французским посланником при папском дворе, а в 1845 г., в либеральную эпоху правления Пия IX⁴³, он сделался первым министром папы. Но вскоре он пал от руки убийцы, и это было сигналом революции. Его «Курс конституционного права» был издан много лет после его смерти, в 1861 г., в четырех томах, изданием итальянского правительства. Настоящим предметом этого курса было изложение действующего государственного права при Хартии 1830 г.; но оно сопровождается выяснением общих начал политической жизни.

России отправляется от самого назначения человека. Как разумное существо, одаренное свободною волею, он носит в себе нравственные начала, составляющие самую сущность духовной его природы. Этим определяется и его назначение. Оно состоит в совершенствовании всех своих способностей ввиду постепенного приближения к высшему нравственному идеалу. Отсюда проистекают для него обязанности и права. Он должен соблюдать известные правила жизни с тем, чтобы его действия направлялись к добру и согласовались с его назначением, и он имеет право на свободное развитие всех своих способностей. А так как все люди имеют одинаковую нравственную природу, то все имеют одинаковые права и обязанности. Отношение человека к Богу есть отношение низшего к высшему, отношения же к другим людям суть отношения равенства и братства. Поэтому никто не имеет права эксплуатировать другого, а каждый, подчиняясь общим законам нравственного порядка, обязан по мере средств помогать ближним в достижении их назначения. Таково естественное право человечества. Эти великие истины были впервые с полною ясностью провозглашены христианством. Отсюда глубокое различие между Древним миром и новым (С. XLV-XLVIII).

Но достижение человеческого назначения возможно только в обществе, а общество невозможно без общественной власти, призванной служить сохранению, развитию и благосостоянию человеческого рода. Эти понятия относятся друг к другу как цель и средство; но средство так же необходимо, как и цель. Общество и общественная власть не суть произвольные создания человека; они вытекают из глубины его природы, как и самая личность. Задача власти заключается в том, чтобы быть посредником между частными интересами и общими, между свободою личною и свободою общественною; она должна искать соглашения этих противоположных элементов. И это соглашение, устанавливаемое правом, не имеет в себе ничего произвольного. Свобода лица законна, пока она не мешает развитию и благосостоянию рода. С своей стороны действие общественного союза законно, пока оно не уничтожает личной свободы и не делает

человека простым орудием целого, как случалось в древних государствах. Наконец, общественная власть перестает быть законною, когда она, извращая свое происхождение и свое назначение, смотрит на себя как на цель, а в обществе и в лицах видит только средства, тогда как она сама служит обществу, хотя только средством для установления порядка и гарантией свободы (С. L-LII).

С этой точки зрения Росси смотрит и на существо и задачи государства. Оно не является случайным соединением лиц для удовлетворения их материальных потребностей. Понятие о государстве включает в себе нравственную идею — идею права и обязанности. Общественный быт есть обязанность человека, и государство служит средством для развития и совершенствования человеческого рода. Поэтому можно сказать, что оно составляет естественный закон для человечества. В силу этого начала оно должно в самой своей организации найти средства обеспечить человеку законное развитие его способностей, содействовать развитию как лица, так и целого рода. В этом состоит основное начало государства: оно образует единое целое, имеющее собственную жизнь и собственную волю, а вместе и силу, достаточную для достижения присущей ему цели. Это — нравственное лицо, сложное, но реальное, своего рода личность, отличная от единичной особи, имеющая свое основание в обязанности, и которой уничтожение со стороны единичного лица составляет преступление против человечества, ибо этим уничтожается необходимое условие собственного его развития и совершенствования. Но, с другой стороны, эта нравственная личность не должна подавлять собою единичного лица, для которого она существует. Истина и право состоят не в поглощении одного начала другим, а в сочетании обоих элементов (С. 2-4).

Из этой противоположности начал ясно, что и организация государства включает в себе двоякий элемент: организацию общественную и организацию политическую. Первою определяются отношения граждан между собою и к государству, второю устройство политических властей. Первая есть цель, а вторая средство. Когда общественная организация дана, нужно оградить ее от захватов личной силы; такою гарантией служит общественная власть. Обе эти области определяются внутренним публичным или конституционным правом, от которого отличается частное право, определяющее взаимные отношения отдельных лиц и семейств. Таким образом, права лиц разделяются на частные, публичные и политические. Последние два разряда принадлежат к области государственного права, но они существенно отличаются друг от друга. Публичные права принадлежат лицам как свободным членам общества в их отношении к власти; политическими же правами определяется их участие в государственной власти. Первые коренятся в самой природе человека, в присущих ей вечных началах разума и правды, хотя развитие их требует более или менее высокого уровня общественной жизни; вторые же, как бы они ни были широки, всегда

предполагают известную способность. Первые суть самая вещь, вторые суть ее гарантия (С. 8-11).

Организация государства не есть, однако, нечто раз навсегда данное, вытекающее из требований разума. Она развивается исторически и видоизменяется сообразно с особенностями и степенью развития народов. Росси широкими чертами изображает развитие государственной идеи в истории человечества. Он приписывает падение древних государств тому, что, будучи основаны на рабстве и на привилегиях, они не имели внутреннего единства, необходимого для прочной организации. Государство, говорит он, образует единицу, или особь; без этого оно не существует; но для этого необходимо, чтобы все его части были связаны между собою и стремились к одной цели. Так устанавливается единство и в физическом мире; но в нравственном мире эта задача осложняется тем, что единство должно сочетаться с деятельностью, свойственною человеку. Подчиняясь общей организации, он перестает быть свободным существом. Законны только те решения вопроса, которые удовлетворяют этому требованию (С. 65-67). Установление государственного единства встречает многие препятствия в тех элементах, из которых оно составляется: таковы различия народностей, языка, религии, даже различие цивилизации различных частей. Но все эти препятствия преодолеваются при наличности других условий, способствующих формальному объединению, а именно сплоченности территории, затем общественной организации, основанной на равенстве прав и тем самым дающей каждой части возможность развиваться свободно под охраною целого, наконец, политической организации, призывающей все части к совокупному участию в общем действии, и составляющей вследствие того самое могущественное орудие объединения (С. 67-90). Все эти условия были неизвестны Древнему миру: он не знал ни равенства прав, ни представительного устройства. Рим, который выше всех развил идею государства, покорил почти весь известный тогда мир, но это громадное тело могло держаться только деспотизмом, который подрывал собственные свои основы. Свобода более и более изгонялась из общественного быта, а с тем вместе более и более исчезало внутреннее единство. Наконец, это дряхлое тело пало под ударами варваров. Последние принесли миру недостающий ему элемент — свободу; но это была свобода дикая, необузданная. Надобно было ее дисциплинировать, сочетать ее с римскими началами. Это была задача христианства. Оно могло это сделать, ибо оно говорило во имя Бога единого для всех — для римлян и германцев, для сильных и слабых, для богатых и бедных. Из этой великой идеи вытекала общая для всех нравственность и общее право. Равенство перед Богом влекло за собою равенство перед законом и братство всех людей (С. 102). Из этих трех элементов сложилась новая цивилизация, которая заключает в себе все условия прочного существования. Но из всех новых государств Франция полнее всех осуществила сочетание двух

основных начал государственной жизни — национального единства и равенства перед законом (С. 246).

Росси излагает развитие этих начал в истории Франции и затем разбирает значение равенства перед законом, провозглашенного Хартией. Так же как Гелло, он указывает на существенное отличие этого начала от равенства состояний. Первое дает всем гражданам одинаковое право развивать свои способности и пользоваться плодами своей деятельности; второе же было бы уничтожением равенства и созданием привилегии для менее способных и менее деятельных, которым предоставляется пользование плодами деятельности других. Такой порядок подрывал бы главную причину личной деятельности; при таких условиях человечество вместо того, чтобы идти вперед на пути развития, погрузилось бы в апатию и нищету; оно потеряло бы самое воспоминание о своем достоинстве. Это не значит, что не следует приходить на помощь бедным и слабым; но от этого до провозглашения общим принципом, что какова бы то ни была работа и заслуга, результат для всех будет один и тот же,— расстояние громадное. Первое есть равенство перед законом, одушевленное братством; оно всегда существовало и существует на всех ступенях цивилизации. Задача новых народов состоит в том, чтобы сочетать это начало с равенством перед законом, задача не всегда легкая, но разрешимая (С. 255-258).

Так же отлично равенство перед законом и от суммы публичных и политических прав, предоставляемых гражданам. Равенство перед законом есть начало твердое и постоянное; публичные же права могут быть больше и меньше, смотря по условиям и организации общества. Закон может быть хорош или дурен, но если он один для всех, равенство им не нарушается. Еще менее следует смешивать это начало с политическими правами. Последние всегда предполагают способность. Нигде политические права не даются одинаково мужчинам и женщинам, взрослым и малолетним, тогда как равенство перед законом для всех одинаково. Нет сомнения, однако, что эти три начала — равенство перед законом, сумма публичных прав и широта прав политических — более или менее связаны между собою. Опыт показывает, что там, где водворяется первое, расширяются и последние (С. 260-262).

Столь же мало противоречат равенству перед законом те условия, которые полагаются для вступления в общественную службу. Хартия постановляет, что все имеют одинаковый доступ к общественным должностям; но для всех полагаются одинаковые условия, которые должны быть исполнены для осуществления этого права (С. 349). Не противоречат этому началу и титулы, которые имеют исключительно почетное значение, не доставляя никаких юридических преимуществ (С. 277). Гораздо большее затруднение представляет равное несение общественных тяжестей. Единственное сообразное с этим начало есть пропорциональность налогов, которая и устанавливается Хартией. Явным тому доказательством

служит то, что пропорциональный налог может быть только один, тогда как прогрессивных налогов может быть множество; прогрессия может простираться даже до уничтожения собственности. Но осуществление начала пропорциональности представляет на практике почти неодолимые трудности. При таких условиях некоторая прогрессивность может быть допущена именно в видах уравнивания, там, где точное определение состояний ускользает от действия власти (С. 350 и след.).

Затем Росси переходит к подробному разбору публичных прав, установленных Хартий. Эти права суть не что иное, как свобода, гарантированная в различных[^] проявлениях основным законом. Здесь важно определить ту точку, где перекрещиваются противоположные начала: с одной стороны, требование личности, с другой стороны, условия общественной жизни. Права лица должны быть согласованы с правами общества как целого. Все эти права относятся к области внешней свободы, ибо внутренняя свобода не подлежит действию власти. Но в самых внешних действиях есть различные категории: 1) те, которые являются выражением личной свободы; 2) те, которые относятся к развитию мысли и нравственного чувства; 3) те, которыми мы усваиваем себе предметы внешнего мира. Все эти три разряда требуют особых определений и гарантий (II. С. 7-14).

Мы не станем следовать за Росси в его изложении, которое касается главным образом действовавшего в его время положительного права. Достаточно было указать на ту совершенно верную точку зрения, с которой он обсуждает эти вопросы, а именно: признание личного права как основного начала и ограничения его во имя требований, вытекающих из необходимых условий общественной жизни. Важнее то, что он говорит об устройстве конституционных властей, составляющем высшую гарантию законной свободы. И тут он главным образом излагает положительные постановления французского закона, но он предпосылает им несколько общих замечаний.

Необходимость общественной власти, охраняющей права, распределяющей правосудие, управляющей общими делами и покровительствующей общим интересам, говорит он, признается всеми. Но вопрос в том, как ее устроить так, чтобы она исполняла свое назначение? Тут человеческому роду представляется задача, по-видимому, неразрешимая как для науки, так и для практики, если требовать такого устройства, которое устраняло бы всякие недостатки и злоупотребления. Затруднение возникает здесь из самой природы вещей, ибо кто говорит власть, тот говорит сила: без этого она не существует. Эта сила должна служить праву и иметь целью общее благо; а между тем по неискоренимому свойству человеческих страстей всякая сила, как скоро она установлена, стремится употребить данную ей власть в пользу тех, которые ею облечены. Против этого искатели идеального правления думали найти гарантию

в ответственности власти. Но власть может быть ответственна только перед высшею властью, а перед кем будет ответственна последняя? Кто будет судить судью? Как бы высоко мы ни восходили, мы в конце концов должны будем остановиться на власти, не ответственной ни перед кем, а потому имеющей возможность злоупотреблять своим правом. В этом заключается трудность задачи, каков бы ни был образ правления (III. С. 305-311).

Исходя от этих начал, Росси усваивает себе то разделение образов правления, которое принял Дестютт де Траси, а именно на правления национальные и специальные. Мы видели, что Дестютт де Траси называет национальными те правления, какова бы, впрочем, ни была их форма, в которых признается полновластие народа как источника власти, облеченного правом всегда изменять ее по своему усмотрению. Росси дает этому разделению несколько иное значение. Национальными он называет те правления, без различия формы, в которых имеется в виду общее благо, уважение к гражданскому равенству и одинаковые средства развития для всех и каждого; специальными же — те, которые основаны на привилегиях и имеют в виду пользу правящих лиц (С. 312).

Это видоизменение не делает, однако, разделение более правильным. Можно сказать, что это — самый большой упрек, который следует сделать замечательной книге Росси. Древние делили все образы правления на правильные и извращенные; но это деление, основанное на неуловимых признаках, не могло держаться. То же самое следует сказать и о том делении, которое принято Росси. Он сам признает, что встречаются и чистые монархии и республики, имеющие в виду общее благо и потому заслуживающие название национальных правлений; но он уверяет, что все правления, основанные на привилегиях, имеют склонность извращаться и преследовать только интересы правящих лиц или классов (С. 312). Где же, однако, граница? Таковою не может служить признание гражданского равенства, ибо это начало совместно с полнейшим деспотизмом. Последний даже лучше уживается с общим равенством, нежели с привилегированными телами, которые служат ему сдержкою. На это указал Монтескье. Росси считает специальными правлениями не только аристократические республики, как Венецианская и Бернская до революции⁴⁴, но и самую Англию до билля о реформе⁴⁵. Неужели же мы должны признать, что этим биллем Англия из специального правления внезапно превратилась в национальное? Но преимущества одних частей и классов перед другими продолжали существовать и после; они существуют и доселе. Очевидно, мы имеем тут совершенно неопределенный признак, на котором нельзя основать никакого деления.

С этой точки зрения Росси признает все существующие до новейшего времени правления не национальными. В древности при существовании рабства и отсутствии представительного начала все было основано на привилегиях. Еще более это относится к Сред-

ним векам: феодализм был воплощенной привилегией, и притом во имя частного, а не общественного права. На тех же началах строились и средневековые общины. Среди этого хаоса монархия явилась объединяющим началом, представителем общего блага в противоположность привилегиям феодалов и городов. Вследствие этого она и приобрела поддержку народа, и это привело наконец к национальному правлению.

Полное осуществление истинных начал государственной жизни Росси видит в современной Франции. Это не привилегированное правление, ибо оно признает гражданское равенство и одинаково охраняет права всех и каждого. Вместе с тем это правление основанное на разделении властей, что представляет высшую гарантию свободы. В отличие от Сисмонди и Гелло, Росси признает три самостоятельные власти: законодательную, исполнительную и административную власть, и наконец, судебную. Он справедливо указывает на то, что судебная власть призвана судить действия исполнительной власти, когда они уклоняются от закона, а потому она не может считаться отраслью последней. Когда эти три власти, говорит Росси, соединены в одних руках, и те, которые издают закон, призваны его исполнить и судить возникающие столкновения, тогда власть становится абсолютной, ибо ей нельзя положить никаких границ. Напротив, когда власти разделены, тогда нет неограниченной власти: каждая находит свой предел в правах других. Эти начала признаны всеми. Но если под именем разделения властей следует понимать такое устройство, в котором каждая власть имеет свою область действия, не соприкасаясь с другими, то подобный порядок может вести только к постоянной борьбе или к полному бездействию. Необходимо, следовательно, такое разделение властей, которое бы не исключало взаимной зависимости и единства действия. Во Франции объединяющим началом является монархия. Она имеет участие во всех трех отраслях правления. В законодательстве ей присвоено право инициативы и запрет (Veto). Исполнительная и административная власть принадлежит ей всецело: монарх назначает министров и других агентов, командует военными силами, ведет войну и заключает мир, издает постановления для исполнения законов, ведает общую администрацию страны. Самая судебная власть состоит от него в некоторой зависимости. Он назначает судей, преследует преступления через подлежащих смене агентов, наконец, ему принадлежит право помилования. Но во всех этих отраслях власть его ограничена. В законодательстве участвуют две палаты, без которых никакой закон не может быть издан. В исполнении он не может уклониться от закона и связан ответственностью министров. В суде, приговоры произносятся несменяемыми судьями и присяжными, по внушению собственной их совести, а не по приказанию властей; всякие чрезвычайные суды воспрещены законом. Такова сущность представительной или конституционной монархии: она является

центром всего управления, но власть ее всюду ограничена законом; для произвола здесь нет места (III. С. 373-384).

Росси подробно излагает устройство и права обеих палат и других властей; но все это относится к положительному праву. Он воздерживается от теоретических комментариев. Только в конце курса он останавливается на начале ответственности министров, в которой он видит главную гарантию против злоупотреблений исполнительной власти. Неприкосновенность короля без ответственности министров, говорит он, давала бы ему неограниченную власть. И эта ответственность совершенно рациональна; ибо министры не суть простые орудия: они — свободные лица, которые добровольно берут на себя ответственность и всегда могут отказаться в случае несогласия с требованиями монарха. Между тем эта гарантия необходима; без нее все конституционное здание рушилась бы почти вполне. Дело в том, что из трех властей законодательная и судебная редко могут выходить из пределов своего права. Величайшие соблазны существуют только для власти исполнительной, а потому тут требуются более сильные гарантии (IV. С. 367-369). Росси сознается, однако, что закон об ответственности министров представляет значительные трудности, ибо обвинение их есть не только юридический, но и в высшей степени политический акт. Действия министров, а вместе и их ответственность могут быть разные. Не говоря об их проступках как частных лиц, которые подлежат обыкновенным судам, в самом управлении может быть разная вина. Плохое управление, не отвечающее потребностям общества, влечет за собою ответственность политическую и нравственную, но не юридическую. Палата отказывает им в содействии, и это ведет к перемене министерства. Этим способом устанавливается согласное действие между различными властями и устраняется борьба, которая могла бы быть опасна. Тут есть оттенки, ускользающие от закона. Можно сказать, что конституционное правление достигает высшего совершенства, когда эти взаимные трения становятся менее и менее ощутительными. Но совсем другое дело, когда министр виновен в каком-либо политическом преступлении, подлежащем наказанию. Тут является юридическая ответственность и нужен закон. Затруднение заключается только в определении, что именно составляет преступление. Точного определения нельзя сделать, ибо вина обыкновенно состоит из совокупности действий, из которой каждое, взятое само по себе, не имеет значения. Поэтому преследование таких действий является актом существенно политическим. Закон принужден ограничиться общими обозначениями, предоставляя суду точное определение самого факта. Гарантиями для подсудимого служат здесь правила процедуры, отдельные обвинения от суда, наконец, состав высшего судилища, которому предоставлено право произносить приговор (IV, С. 380-381).

Таково учение Росси, которое представляет, можно сказать, завершение теории конституционной монархии во Франции.

ПРИЛОЖЕНИЯ



**Вступительная лекция по Государственному праву,
читанная в Московском университете
28 октября 1861 года**

Гг.

В настоящее время преподавание государственного права в наших университетах важнее, нежели когда-либо. Мы живем в эпоху великих преобразований в русском государстве. На наших глазах совершается один из тех переворотов в народной жизни, которые составляют эпоху в истории. Я разумею освобождение крестьян. 22 миллиона русских людей получают гражданские права, изменяется весь состав общества, положение сословий, состояние собственности, экономический быт, нравы, обычаи, даже частная жизнь. Сколько нужно знаний, обдуманности, твердости, чтобы как следует обсудить и привести в действие подобное законоположение! Из этой одной меры вытекает множество других. Новый гражданский порядок требует целой новой администрации. Свобода рождает множество отношений и столкновений, для разрешения которых необходимы особенные органы. Там, где прежде достаточно было одного помещика, теперь нужна полиция, нужен суд. Положением о крестьянах учреждена небывалая еще у нас должность — мировые посредники¹, которые получили важное значение в администрации. С этим в связи находится предполагаемое преобразование уездных и губернских учреждений, которые должны быть приведены в согласие с изменившимся положением сословий. Начало реформы положено введением судебных следователей. Но и самый суд настоятельно требует преобразования. Новый порядок вещей, уничтожая частный произвол, имеет в виду водворение в обществе начал права и законности. Для этого необходим просвещенный и беспристрастный суд, охраняющий права, воплощающий в себе идею правды. А между тем у нас нет еще самых существенных условий правильного суда. У нас нет магистратуры², нет адвокатов, нет юриспруденции. Вам, вероятно, известно, что в настоящее время все наше судебное устройство подвергается обсуждению и что к этому призываются люди, которые своими знаниями и опытностью могут содействовать этому великому предприятию. Наконец, все наше финансовое управление получает новую организацию. Один уже выкуп поземельной собственности для 20 миллионов крестьян требует огромных средств и составляет сложную операцию, неизвестную доселе в истории наших финансов. Недавно еще вы могли прочесть указ, которым отменяются винные откупа, самая значительная отрасль государственных доходов, и вводится акциз, менее обременительный для народного кармана. Нужно ли указывать на новую систему кредитных учреждений, на предпринятую сеть железных дорог, которая должна охватить всю Россию и вызвать в ней неразработанные еще источники богатства?

Вы видите, гг., что дела у нас много, что законодательной деятельности государства предстоит обширное поприще. Глядя спокойно и беспристрастно на то, что происходит вокруг нас, мы по совести должны сказать, что мы сетовать не вправе. Преобразования совершаются, преобразования самые существенные для народного блага, и всякий беспристрастный человек должен сознаться, что, вообще говоря, они совершаются обдуманно, с соблюдением истинных интересов государства. Освобождение крестьян не только великая мысль, но и как исполнение оно делает честь России. Совершить такое дело, особенно в трудные времена, при недостатке средств, мудренее, нежели произнести всевозможные политические перевороты. Это преобразование дает нам почетное место в ряду европейских народов. Его одного достаточно для поглощения сил целого поколения. Поэтому в настоящее время, ввиду совершающихся перемен, которые охватывают жизнь до самого корня, одно непростительное легкомыслие может ограничиваться критикой частных стеснительных мер, или вековых злоупотреблений, которых искоренение требует долговременной работы народа над самим собою. Мы будем остерегаться подобного способа суждения. Близорукая пошлость в великих событиях, в знаменательных эпохах видит одну мелочную сторону, одни дрязги, потому что другого она не в состоянии понять. Истинный патриотизм возвышается над этими мелкими побуждениями и обращает свои взоры на то, что составляет существенную пользу отечества. В наше время русский патриот с доверием может глядеть на будущее, потому что настоящее представляет ему прочные залогов совершенствования. Мы не стоим на месте, мы идем вперед, и идем быстрыми шагами, как может засвидетельствовать всякий, кому известно, как трудно и медленно совершаются вообще государственные преобразования.

Но государственной деятельности мало. Истинно плодотворное развитие требует содействия всех граждан. Была пора, когда правительство делало и направляло все. Этим достигалась известная степень государственного могущества, общественного порядка и благосостояния; но далее известных пределов это идти не может. Для большего могущества, для высшего развития и благосостояния нужны новые силы, нужна энергия целого народа. В наше время европейские державы достигли той степени развития, когда без самостоятельной деятельности общества обойтись невозможно, когда всякое государство, которое хочет сохранить свое место в ряду других, обязано призвать на свою помощь общественные силы. Через это правительственная задача становится гораздо мудренее, нежели прежде. Тут необходимы новые политические взгляды, новые способности, которым не было места в прежнем порядке. Направлять общество, возбуждая в нем самостоятельную деятельность, гораздо труднее, нежели действовать одному. Но в настоящее время без этого обойтись невозможно.

У нас в России эта общественная самостоятельность едва начинается. Мы привыкли всего требовать, всего ожидать от правительства, пренебрегая частною деятельностью, более тесною, но часто более плодотворною, нежели государственное поприще. Однако сознание этой самостоятельности в нас пробудилось. Это факт, который нельзя уничтожить. Общественное мнение начинает предъявлять у нас свои, правда, еще весьма незрелые, требования. С этим вместе ответственность каждого гражданина становится тяжелее, ибо общественное мнение тогда только может быть полезным элементом государственной жизни, когда оно в себе самом

носит начала общественного благоустройства и сознает потребности государственного порядка, когда оно знает, чего следует желать и чего можно достигнуть. Разумное общественное мнение — первое условие свободного и плодотворного развития; общественное мнение шаткое, страстное, безрассудное вызывает только реакцию и бросает тень подозрения на свободу. Между тем у нас слышится только нестройный говор едва пробудившейся мысли. Стоит прислушаться к хаосу разноречащих возгласов, которые раздаются кругом нас, стоит вникнуть в эту полную анархию умов, шатающихся из стороны в сторону и хватающихся за самые крайние мнения, в надежде найти в них какую-нибудь точку опоры. Весь этот буйный разгул мысли, все это умственное и литературное казачество составляют, к несчастию, проявление одной из исторических стихий русской жизни. Но ей всегда противодействовали разумные общественные силы, которые поставляли себе задачей развитие гражданственности и порядка. Если в настоящее время мы выросли из пеленок, если самые обстоятельства жизни заставляют нас стать на собственные ноги, то нам необходимо выйти из этого состояния. А выйти из него можно только упорною работою мысли, воздерживанием кипучих своих стремлений и разумным взглядом на окружающий нас мир. Тогда только образуется у нас общественное мнение, которое станет действительною силой и могущественным деятелем просвещения. Тогда оно само выставит из среды себя людей, которые в состоянии будут руководить им ввиду государственной пользы и сделаются для него знаменем и авторитетом.

Вы видите, гг., что везде, куда бы мы ни обратились, наверху и внизу, в центре и в областях, прежде всего нужны люди. А между тем даже и в обществе, в сословных выборах, в судах, в науке, в литературе, в нашем тесном университетском кружке — везде камнем преткновения является бедность в людях, недостаток приготовления. Мы вообще слишком еще склонны за все хвататься наобум, вкривь и вкось толковать обо всем, не прошедши через ту медленную работу мысли, которая одна может дать прочное основание для деятельности и для суждений. При этом наши взоры невольно обращаются на университеты, на рассадники нашего образования. Государственные люди и общественные деятели вырабатываются не канцелярскою рутинною, не чтением газетных статей и не шумными речами на площади, а серьезным и усидчивым трудом. Мы надеемся, что, несмотря на временное увлечение, наши университеты не отклонятся от существенной своей задачи — готовить полезных деятелей для русской земли. Различные общественные поприща ожидают вас впереди; но куда бы вы ни были призваны, везде основной закваской будут для вас те знания, которые вы вынесете отсюда, та работа, которой вы посвятите себя здесь.

Не думайте, чтобы предстоящий вам труд был маловажен. Государственные вопросы разрешаются нелегко. Тут недостаточно одних добрых намерений и благородных побуждений. Менее всего достаточен тот дешевый либерализм, который, являясь ныне на всех перекрестках и пренебрегая наукою и трудом, питается журнальными крохами. Тут нужно изучение систематическое и серьезное. Государство — организм многосложный, который заключает в себе бесчисленное разнообразие отношений. В науку о государстве входят и философия, и история, и юриспруденция, и бытовые условия, и экономические вопросы. Все это надобно изучить, чтобы составить себе полное понятие о предмете. Можно почти сказать, что все это надобно знать,

чтобы разумно обсудить всякий практический вопрос; ибо в каждом явлении жизни отражается вся ее полнота, каждое из них находится в зависимости от всех стихий, входящих в состав целого организма.

Курс наш, гг., будет разделяться на общее государственное право и на изложение русских государственных законов. Первое полугодие я буду посвящать исключительно первому. Таким образом лучше сохранится нить преподавания, и вы сами лучше будете приготовлены к изучению наших отечественных законов. Преподавание положительного права без предшествующей теории может дать только знание рутинное, годное единственно для ограниченной практики, а не ясное понимание вещей, которого мы желаем достигнуть в университете. Мало того: как скоро мысль возбуждена, такое преподавание может повести к одним сомнениям. Я, например, стану излагать вам устройство наших административных мест. А вы спросите: но зачем нужны чиновники? будто нельзя без них обойтись? И укажете на известные всем нам злоупотребления. Я стану объяснять вам, что чиновники необходимы в государственном управлении; а вы спросите: но зачем же нужно государство? Это только стеснение свободы. И таким образом от вопроса к вопросу и от сомнения к сомнению вы дойдете до отрицания всех существенных оснований общества. Эти сомнения могут разрешиться только изучением общей науки о государстве, которая не идет вразрез с положительными законами, с действительною жизнью, а способствует их уразумению.

Теория государства, или общее государственное право, как называют его немцы,— наука, возникшая в недавнее время. Вне Германии она едва известна, и можно сказать, что до сих пор она еще не получила должной обработки. Прежде она сливалась с так называемым естественным правом, или с философией права, и тогда она носила иной характер. Философия права, по существу своему, имеет направление умозрительное. Оставляя в стороне разнообразные условия жизни, она часто становится в противоречие с действительностью. Особенно при одностороннем развитии начал она нередко являлась то невозможною утопией, то революционную пропагандой, то панегириком известному образу правления. Наука во всей ее полноте не ограничивается умозрением и избегает односторонних взглядов. Задача ее — изучить и объяснить все элементы государственной жизни, все ее явления в бесконечном их разнообразии. Нет политического устройства, нет сколько-нибудь прочного порядка вещей, который бы не имел глубоких корней в действительных условиях жизни, который бы не вытекал из истории народа, из внутреннего, часто темного, сознания о существенных его потребностях. Наука должна все это объяснить, а не ограничиваться легкомысленным отрицанием положительных данных, приписывая их невежеству, предрассудкам и т. п. Так поступали ученые XVIII века. В наше время этот способ суждения принадлежит к весьма отсталым. В наше время успехи науки привели нас к более зрелому пониманию вещей, к сознанию, что положительные факты вытекают из весьма положительных причин.

Таким образом, общее государственное право должно одинаково обнимать все формы государственного устройства, все образы правления, объясняя их значение, их выгоды, их недостатки и необходимую связь их с теми жизненными условиями, среди которых они существуют. Одно это воззрение можем мы назвать вполне наукообразным, потому что оно обнимает всю полноту явлений.

Теории государства я предположу историю развития политических идей. Это введение необходимое. Без него нет полноты, а потому нет и убеждения. Я стану излагать вам теорию государства, но можете ли вы быть уверены, что это единственное правильное учение? Вы встретите в литературе множество других теорий, часто более заманчивых для молодого ума. Почему же не дать предпочтение последним? И вот опять возникают сомнения и вопросы. Разъяснить их может одна история науки, которая дает нам всю полноту развития идей, все разнообразие учений, возникавших одно за другим. Здесь только может объясниться место и значение каждого. Здесь вы увидите причины происхождения той или другой политической теории и необходимость перехода ее к системе, более полной и широкой. Односторонность и несбыточность теории раскроются здесь сами собою. Все элементы суждения будут у вас на глазах. Перед вами пройдет весь ряд мыслителей от Платона и Аристотеля до Макиавелли, Гроция, Гоббса, Монтескье, Руссо, Канта, Фихте, Гегеля и т.д. Мне останется только следить за этим ходом и указывать на суд, произносимый самою историею.

Но этого мало. Историческое развитие политических идей есть самое философское развитие элементов государственной жизни. Нет политической теории, как бы она ни была односторонняя, нет сколько-нибудь значительной системы, которая бы не опиралась на который-нибудь из этих элементов. Недостаток той или другой теории обыкновенно состоит именно в развитии одного элемента в ущерб другим. Но так как в целом организме государства все эти элементы естественно вяжутся между собою внутренним законом своей природы, то односторонняя теория, вследствие этой связи, сама прямо указывает на необходимость дополнения, т.е. на дальнейшую, высшую теорию. Таким образом естественная связь различных элементов государства отражается в естественной последовательности следующих друг за другом учений. Присущий вещам закон необходимости есть самый логический закон человеческого разума. Поэтому изучая историю идей, мы на факте, в положительных явлениях жизни, изучаем самую полную и всестороннюю философию государства.

Результат этого философского развития идей есть понятие о государстве как о живом организме народного единства. Это не внешняя форма, наложенная на общество, не механическое соединение лиц. Нет, государство - живое единство народа; граждане — живые члены единого целого, единого духовного и свободного организма, который связывает между собою не только существующих в данное время людей, но и давно прошедшие поколения с настоящими и будущими. Как телесный организм живет, растет и изменяется в продолжение всей человеческой жизни и сохраняет свое единство, несмотря на постоянную смену тех материальных частиц, из которых он составляется, так и народный организм сохраняет свое единство, несмотря на смену поколений, на изменение потребностей, верований, устройства. Современное государство не только нравственно, но и юридически связано со всеми предшествующими его формами. Связь эта образуется сохраняющеюся в нем непрерывностью сознания и воли. Потому мы народ иначе и не представляем себе, как единым лицом, т.е. субъектом, имеющим разумную волю, а потому и права. Таким он является в международных сношениях, в истории, в судьбах мира, и это лицо есть государство. Потому когда историю народа противопоставляют истории государства, как будто государство есть что-то внешнее и чуждое народу,

мы можем видеть в этом только смешение понятий. Государство есть сам народ как единое целое, как живой организм, как нравственное лицо, как исторический деятель. Каково отношение этого цельного организма к разнообразным, проявляющимся в народе стремлениям, к частным союзам, к самостоятельной деятельности лиц, — это другой вопрос, о котором мы будем говорить в свое время и который составляет одну из существенных задач государственной науки.

Из этого, господа, вы поймете различие между народами государstвенными и народами негосударstвенными. Государstвенный народ — тот, который способен установить над собою высший порядок, разумно и единодушно подчиниться верховной власти. Государstвенные народы одни имеют высшее сознание и силу, одни призваны играть роль в истории. Государstвенные народы — венец человечества. Оттого, г-., мы, русские, не остались на степени болгар или хорват. Государstвенный смысл русского народа раскинул Россию на то необъятное пространство, которое составляет для нас отечество, и дал ему возможность играть историческую роль, которою может гордиться русский человек. Поэтому у нас тот только может сознательно кидать камень в государство, в ком исчезло пламя любви к отечеству. Я не говорю об огромном большинстве тех, которые толкуют, не зная о чем. С этих и зыскивать нечего.

Выработанное философией понятие о государстве принимается юриспруденцией, и здесь мы приходим к первой части нашего теоретического курса — к собственно так называемому государственному праву, которое излагает юридическое существо государства и весь протекающий из него юридический его организм. Юридическое существо государства не что иное, как самое выработанное философиею понятие о государстве. Юриспруденция потому именно может принять это понятие, что она сама к нему приходит своим собственным путем, путем жизненного опыта, возведением явлений политической жизни к юридическим формулам. Это совпадение философской теории с юридическою служит лучшим доказательством правильности понятия. Юриспруденция берет это понятие и выводит из него логические последствия, развивает входящие в состав его стихии и определяет взаимные их отношения. Юриспруденция есть логика прав и обязанностей. Коренное ее начало — правда; выражения ее — закон, имеющий обязательную силу для всех.

Закон связывает во единое тело разрозненные лица, подчиняя их единой государственной власти. Повиновение закону — вот первое требование правды, первый признак гражданственности, первое условие свободы. Свобода анархическая — преддверие деспотизма. Свобода, подчиняющаяся закону, одна может установить прочный порядок. Не думайте притом, чтобы повиновение закону ограничивалось одними хорошими законами. Если б всякий стал исполнять только те законы, которые он считает хорошими, то было бы полное господство анархии. Во всех странах мира есть законы и хорошие, и дурные; но обязанность повиновения распространяется на все. Это — требование общее. Для юриста повиновение закону — такая же основная аксиома права, как дважды два четыре для математика. Кто не врезал себе этого глубоко в сердце, тот не может сделать ни единого шага в правоведении.

В изложении теории государственного права, мы начнем с учения о составе государства, об элементах, в него входящих, каковы: народ, территория и, наконец, как существенный признак государственного

союза, отличающий его от всякого другого, — верховная власть. Затем мы перейдем к государственному устройству, покажем существо, значение и свойства правительства, различные образы правления, права граждан. Наконец, мы заключим теорией государственного управления; мы разберем составные его элементы и постараемся объяснить всю ту сложную систему учреждений, которая служит для исполнения государственных целей.

Проходя эту первую часть науки о государстве, мы встретимся с важнейшими современными вопросами. Но правоведение может только подготовить юридическое основание для их решения. Само оно не в состоянии разрешить их вполне, потому что, кроме юридического элемента, каждый из этих вопросов находится в зависимости от множества других условий, которые имеют влияние на государство и которые поэтому надобно принять в соображение. Это приводит нас ко второй части нашей науки — к учению о жизненных условиях государства.

В самом деле, юридическая сторона государственной науки далеко не исчерпывает предмета. Если бы государство строилось по чисто юридической теории, оно всегда и везде было бы одинаково, или по крайней мере оно ограничивалось бы весьма немногими видоизменениями, вытекающими из самого его существа. Но государство живет среди разнообразнейших жизненных условий, которые налагают на него свою печать и производят те бесчисленные политические формы, которые являются нам в истории и в современном мире. Эти жизненные условия суть свойства тех самых первоначальных элементов, которые входят в состав государства, именно области и народа. В государственном праве мы рассматривали их со стороны юридической. Здесь мы должны будем изучить их с действительной, жизненной их стороны и показать их влияние на государство.

Прежде всего мы встретим здесь физические свойства страны, характер почвы, климат и т. п. Все это имеет влияние не только на образование, но и на самое устройство государства. Давно уже, например, было замечено, что обширные области благоприятствуют развитию абсолютизма, а мелкие, напротив, представляют лучшие условия для народного правления. Но этого мало: естественные условия, составляя один из существенных элементов исторической жизни народа, налагают свою печать на постоянные свойства его духа, которых не изгладит никакое развитие. Объясню это примером.

Представьте себе, с одной стороны, обширную черноземную равнину, покрытую лесом, с другой — страну, представляющую разнообразную поверхность, изобилующую скалами, ущельями, долинами. По обеим скитаются дружины с своими вождями. Естественно, что в последней стране каждый дружинный начальник усядется на неприступную скалу, где он построит себе каменный замок, откуда он будет владычествовать над окрестностью, куда не достанет до него чужая рука. На черноземной равнине это невозможно. Деревянные остроги и земляные валы, которые построят себе дружинники, будут служить им весьма ненадежным укрывательством от врагов. Для защиты их понадобится гораздо больше сил, нежели какими может располагать мелкий вождь. Последствия того и другого порядка очевидны. В гористой стране образуется несметное множество отдельных центров жизни и деятельности, которые представляют упорное сопротивление соединяющему началу. Отсюда борьба со всеми ее последствиями, отсюда происходящие из истории свойства народного характера, которые отражаются и в государстве — личная энергия,

сознание права, чувство чести, умение группироваться около отдельных центров. На черноземной равнине произойдут совершенно другие явления. Здесь личность, не находя прочных частных центров, к которым она может примкнуть, будет укрываться в одиночестве и легко подчинится всепоглощающей силе единства. Здесь разовьются мягкие свойства народа и образуется громадное тело, которое будет иметь значение не силою частей, а крепким единством своей массы.

Я не хочу, однако, сказать, что естественные свойства области всегда и везде имеют одинаковые последствия, непреложные, как физический закон. Народная жизнь и история слагаются из множества элементов, в числе которых находятся и физические условия страны. Последние составляют только одну из действующих причин, которая может в значительной степени видоизмениться остальными, именно элементами собственно человеческими, общественными, которые имеют несравненно большее влияние, нежели первые, на государственный быт. Сюда относятся племенное начало, народность, состав общества, степень его развития, экономический быт, господствующие верования, предрассудки, нравы, обычаи. Все это вместе составляет учение об обществе.

По-видимому, нет ничего проще и яснее, как это влияние общественного быта на государство. Между тем только в настоящее время начинают приходить к сознанию, что государство не строится на одном умозрении, что существуют самобытные силы, часто независимые от человеческой воли, которые противодействуют всякой несвоевременной перемене и неизбежно возвращают государство на прежнюю колену, если оно было выброшено из нее переворотом, основанным на одних теоретических требованиях. До сих пор еще, гг., большая часть либеральных людей убеждены, что достаточно захотеть свободы, чтобы ее достигнуть. Учение об обществе должно рассеять эти мечты. Оно показывает, что и свобода имеет свои жизненные условия, независимые от воли, коренящиеся в народном духе, в общественном быту, в естественном составе государства, в состоянии сословий и партий, иногда даже в отношениях к соседям. Без этих условий всякая попытка водворить свободу ведет только к сильнейшему деспотизму.

С другой стороны, не следует, однако, и преувеличивать это влияние общественного быта на политическое устройство. Государство не остается страдательной формой, которую общество образует по-своему. Государство — плод человеческого сознания, произведение разумной природы человека, а потому оно сознательно воздействует на те условия, среди которых оно существует, стараясь подчинить их высшей, разумной своей цели. Оно находит тесную область и стремится к ее расширению; оно находит общество раздробленное и старается его соединить. Эта новая, третья сторона государственной жизни есть политика. Тут мы имеем дело уже не с правом, а с пользою. Это не чистое проявление государственных начал, а приспособление их к разнообразным условиям жизни — задача трудная, в которой проявляется практическая мудрость государственных людей. По-видимому, науке тут нечего и делать. Политика является более искусством, нежели наукою. Государственный человек должен естественным тактом, высшим чутьем распознавать, что именно нужно сделать в данное время при известных условиях. Сюда входит множество данных, почти неуловимых, за которыми наука уследить не может. Что же остается тут для теории? Не собьют ли она скорее с толку практического человека, нежели даст ему надежное руководство для деятельности?

Точно отношение политических теорий к практике часто представляется в этом виде, и, можно сказать, не без основания. Нет ничего гибельнее для практики, как теория односторонняя или недостаточная, какова бы она ни была,— охранительная, либеральная, демократическая. Государственный быт представляет соединение всех жизненных элементов в той форме, которая вытекает из естественных условий данной среды. Сочетание это происходит часто бессознательно, само собою, силою вещей. Односторонняя теория разрушает это практически образовавшееся согласие. Упуская из вида некоторые из существенных условий и элементов жизни, она вступает вразрез с действительностью и является чем-то для нее чуждым и враждебным. Вот почему, гг., мы так часто видим, что в мире владычествует рутина, тогда как благородные стремления остаются бессильными и бесплодными. Рутинa живет среди самой жизни, не сознавая ее разумным путем, она принимает все ее элементы, как они есть, как они сложились на практике. А потому она ближе к действительности, нежели благородные стремления, которые направляются одностороннею теорией. Потому последние против рутины бессильны. Рутинa может быть побеждена только теорией всестороннею, которая принимает в расчет все жизненные условия и черпает свои уроки из самого опыта. Такова должна быть наука политики. Изучая возможно полным образом явления жизни и истории, она должна показать, какими средствами и при каких условиях государства образуются и живут, чем определяется различие образов правления и совершающиеся в государствах перемены, в чем состоят выгоды или невыгоды тех или других политических форм, что они могут дать и чего нельзя от них требовать, наконец, какими средствами может пользоваться государство для достижения своих целей. Теория политики, основанная на всестороннем изучении философии права и истории народов, составляет лучшее руководство для практики. Это венец науки о государстве. К несчастью, она далеко еще не достигла желанного совершенства. Это часть общего государственного права, которая наименее разработана.

Таков, гг., общий очерк науки, о которой мне придется беседовать с вами на первое полугодие. Я бы желал сказать вам, что я надеюсь не без пользы руководить вас на этом поприще. На первых порах своего преподавания могу только обещать вам усердно трудиться вместе с вами, чтобы достигнуть желанной обработки слишком обширного предмета. Для этого нужно одно — работать, как следует людям, преданным науке,— спокойно, беспристрастно, либерально. Когда я в деле науки говорю о либерализме, я разумею не юридическую свободу, а свободу мысли, я разумею то просвещенное состояние духа, в котором человек внимательно выслушивает каждое серьезное мнение и старается извлечь из него для себя пользу. Тот, кто во имя либерализма хочет подавлять чужие убеждения, не имеет ни малейшего понятия о свободе. Это худшее из всех легкомыслий. Его, я надеюсь, мы не встретим ни на кафедре, ни на университетских скамьях. В стены этого здания, посвященного науке, не должен проникать шум страстей, волнующих внешнее общество. Здесь мы должны, углубляясь в себя, в тишине готовиться на жизненное дело или на полезное поучение. Для вас время деятельности, борьбы, страстного участия в общественных вопросах придет своим чередом. На долгой предстоящей вам жизненной дороге вы успеете утомиться житейскими заботами, и тогда вы с сожалением вспомните о той поре, когда вам дана была возможность с несокрушенными силами,

с непоблекшими надеждами, посвящать себя спокойному и бескорыстному труду. Призванный к жизни и деятельности, человек должен дорожить теми редкими минутами, когда он может собираться внутри себя и устремлять свои взоры на близкий душе его идеал. Идеал этот для нас наука, во имя которой мы собраны здесь. Она выводит человека из области житейских стремлений и страстей и, ведя его за руку, дает ему силу возвыситься к тому широкому и свободному созерцанию жизни, которое составляет лучший залог основательной мысли и полезной деятельности.

И здесь, как пример и поучение, возникают перед нами образы наших предшественников в Московском университете, людей, посвящавших свою жизнь святому делу образования. Об одном я не могу не вспомнить в настоящую минуту с сокрушением сердечным. Я имел счастье слушать его, знать и любить. Я говорю о Грановском³. И в вас, гг., живо предание о нем, хотя вам не дано было слышать его изящную и благородную речь, испытывать его могущественное действие на юные умы, которые влеклись к нему с страстной любовью. Это дар, который дается немногим. Тайна этой силы заключалась не в пошлом искании мимолетной популярности, не в лести юношеским страстям, или даже и заблуждениям, не в громком провозглашении новых идей, пленительных для молодого воображения, а в самом благородстве природы человека, в его пламенной любви к истине и добру, в том возвышенном настроении духа, которое побуждало его с вершины науки, с высоты человеческих идей, сочувствовать всему человеческому и мягко и любовно относиться ко всем явлениям жизни, в которых выражалось искреннее чувство или благородная мысль. Он был олицетворенная поэзия, воплощение всех лучших стремлений человека. Он был и остается красою Университета, и мы, его преемники, можем обращаться к его памяти для поддержки и возбуждения на предстоящем нам пути. И кажется мне, что дорогая тень блуждает еще по этим аудиториям; мне кажется, что она невидимо присутствует между нами, благословляя и поучающих, и слушателей на общее служение отечеству в деле образования.

Но эта драгоценная для нас память, гг., не должна служить нам предлогом для шумных манифестаций. Мы не должны призывать ее в свидетели своих страстных увлечений, но, как душевное сокровище, мы должны беречь ее для освящения того мирного и плодотворного труда, который составляет жизненное дело Университета. В этом состоит завещанное нам предание, которое мы обязаны свято хранить, предание, которое, непрерывною цепью передаваясь от поколения поколению, делает из Университета учреждение незыблемое, краеугольный камень русского просвещения и надежду русской земли.

Отличительное свойство русского ума состоит в отсутствии понятия о границах. Можно подумать, что все необъятное пространство нашего отечества отпечаталось у нас в мозгу. Всякое понятие является нам в форме безусловной. Для нас исчезают линии, которые отделяют его от смежных с ним областей; мы не постигаем ни места, которое оно занимает в ряду других, ни отношения его к тем понятиям, которые находятся с ним в соприкосновении. В этом западный человек имеет перед нами огромное преимущество. Он выработался из борьбы разнообразных и разнородных стихий, из которых каждая, вошедши в общую жизнь, отмежевала себе принадлежащее ей место. Оттого русскому человеку западный часто кажется ограниченным, и действительно, немец, француз, англичанин вращаются иногда в слишком тесной среде. Но эта ограниченность не что иное, как обратная сторона того драгоценного смысла места, меры и границ, без которого едва возможно жить образованному человеку и которого мы по большей части лишены. У нас, как у восточных народов, все расплывается в бесконечность.

Возьмем, например, понятие о власти. Оно содержит в себе множество видоизменений, из которых каждое имеет значение на своем месте. Одна власть есть верховная в государстве, другая — подчиненная, имеет ограниченные права и юридически определенный круг действия. В самодержавии вся государственная власть сосредоточивается в одном лице; в правлении смешанном или выборном она разделяется между несколькими лицами, из которых каждое имеет долю верховной власти. Но несовместно с разумным понятием об обществе представлять себе всякую власть, сверху до низу, безграничною и безусловною. Между тем у нас всякий начальник склонен считать свою власть таковою. На самый законный отпор подчиненных он смотрит, как на своеволие и бунт. Со своей стороны подчиненные верят в полновластие начальника; одни покоряются ему безусловно, другие безусловно его ненавидят. Точно так же и помещик держался начала безграничной власти; ему казалось просто нелепостью иметь над крестьянами определенные права. Отсюда всеобщее ополчение на переходное состояние. Или все, или ничего; середины не существует.

С другой стороны, возьмем понятие о свободе. Оно еще более представляется нам условным. Свобода одного лица ограничивается свободой других; свобода всех ограничивается деятельностью власти. Без этих ограничений общежитие невозможно. В какой мере они устанавливаются, — это зависит от местных и временных условий; но, во всяком случае, понятие о свободе в общественной жизни не мыслимо иначе как в пределах, постановленных

законом или обычаем. Между тем русскому человеку и это понятие представляется безграничным. Русский либерал теоретически не признает никакой власти. Он хочет повиноваться только тому закону, который ему нравится. Самая необходимая деятельность государства кажется ему притеснением. Он в иностранном городе завидит на улице полицейского чиновника или солдата, и в нем кипит негодование. Русский либерал выезжает на нескольких громких словах: свобода, гласность, общественное мнение, слияние с народом и т.п., которым он не знает границ и которые поэтому остаются общими местами, лишены всякого существенного содержания. Оттого самые элементарные понятия — повиновение закону, потребность полиции, необходимость чиновников кажутся ему порождением возмутительного деспотизма. Этот присущий русскому обществу и глубоко коренящийся в свойствах русского духа элемент разгульной свободы, которая не знает себе пределов и не признает ничего, кроме самой себя,— это именно то, что можно назвать казачеством.

Русская история представляет замечательные примеры этого восточного склада русского ума, который все понимает под формою безусловного. Известно, что в старину бояре и слуги были вольные люди, которые ездили от одного князя к другому, предлагая свои услуги и отъезжая, как скоро они были недовольны. Тут не было ни постоянной связи с обществом, ни постоянных обязанностей. Как вольные птицы, они повиновались только собственному влечению, не зная над собою власти. С возникновением государства такой порядок не мог продолжаться. В конце XV века бояре и слуги лишились права отъезда и были прикреплены к государственной службе. Что же? были ли эти новые отношения ограничением прежней свободы? Выработались ли из этого определенные служебные отношения к князю? Ничуть не бывало. Переменился только угол зрения,— и тут же, на место прежнего безусловного понятия, явилось другое, столь же безусловное, хотя совершенно противоположное. Вольный боярин сделался холопом. Как скоро прекратилась полная свобода, так наступило полное рабство.

Почти то же случилось и с крестьянами. Переход от одного землевладельца к другому был им воспрещен. В другой стране из этого сопоставления двух сословий выработались бы определенные права тех и других; в России развилось полновластие помещика. Оно вытекло из самой жизни, из чисто русского воззрения на свойство юридических отношений. Законодательство большею частью следовало только за обычаем.

Обратимся ли мы к понятиям другого рода, из области административной? Мы увидим то же самое. Первое, что нам здесь представляется, это — централизация. Под именем централизации у нас понимают... впрочем, чего не понимают у нас под именем централизации? Можно ожидать, что скоро последует формальное обвинение на солнце за то, что оно составляет центр планетной системы! Обыкновенно же под этим разумеют то, что все дела разрешаются в центре, а не на местах. Никому в голову не приходит, что все дела никогда не восходят к центру, а только некое количество, в большем или меньшем количестве. Централизация может не переходить известных пределов, и все-таки будет существовать. Если бы возражения были направлены только против излишней централизации, то с этим во многих случаях можно было бы охотно согласиться; но они направлены против нее безусловно. Из того, что не следует для самых пустых дел ожидать разрешения сверху, выводят, что централизация совершенно должна быть уничтожена.

Противоположно централизации самоуправление. Самоуправление — так самоуправление! Подавайте нам выборных всюду,— чтобы все дела решались миром или собраниями представителей. Чуть где появился чиновник,— это непоследовательность, против которой надобно протестовать. Никому опять в голову не приходит, что самоуправление и выборное начало хороши на своем месте, так же как централизация и правительственное начало на своем, что в администрации, как и в целом обществе, существует не один элемент, а разные,— что весь вопрос заключается здесь в мере, в сочетании, в том, чтобы каждому началу дать надлежащее место и значение сообразно с существующими условиями и обстоятельствами.

Этот безусловный способ суждения нередко производит в литературе самые странные недоразумения. Вы доказываете существование известного понятия или начала; вас разумеют так, что кроме этого начала не существует ничего другого, что оно в ваших глазах исключает или поглощает в себе все остальные. Иногда приходишь в недоумение: в самом деле, может быть, выразился неясно. Посмотришь: ничуть не бывало! Сказано так ясно, как только можно говорить человеческим языком. Вы, например, буквально сказали, что правительство не может делать все, что необходима самостоятельная деятельность общества, вы сетуете на то, что мы, русские, слишком привыкли всего требовать, всего ожидать от правительства; а критик тут же, не запинаясь, утверждает, что, по вашему мнению, все совершается и должно совершаться от власти и посредством власти*. В другой стране подобные суждения следовало бы приписать бессовестности; у нас это просто размах русского ума, неумение читать и понимать то, что мы читаем, совершенная неспособность вникнуть в чужую мысль, вытекающая из неспособности определить свою. Далее вы говорите, что государство не может строиться на одной юридической теории, на одних отвлеченных началах; вы посвящаете целый отдел науки учению о влиянии жизненных условий на государство, вы за венец политических наук выдаете политику, т.е. учение о приспособлении государственных начал к разнообразным условиям жизни, вам отвечают, что вы жизнь совершенно отрицаете и признаете, что в мире нет ничего, кроме мертвого государственного механизма. Вы говорите о повиновении закону как об основном юридическом начале, без которого не может существовать никакое общество, что само по себе, очевидно, вам возражают, что ученому юристу до повиновения закону дела нет, что юрист не официальный блюститель правосудия, а закон не есть непреложная истина или непогрешимое изречение оракула, неподверженное изменениям, с чем вы, разумеется, заранее согласны. При этом происходят гвалт и остервенение. Сама Пруссия отказывается от ваших теорий, а русские чиновники обижаются тем, что вы хотите отягощать ими народ. (У нас чиновники стали такими прогрессистами, что так и рвутся к самоуничтожению!) Между тем вы, в невинности сердца, не строили никаких теорий и никогда не предлагали держать лишнее количество чиновников.

Откуда же все это происходит? отчего против вас поднимается вопль в известном разряде журналистики? Оттого, что вы имели неосторожность или дерзость произнести некоторые слова, которые возбуждают колер

* См. передовую статью в 5-м № «Дня», который может служить образцом этого рода критики.

в либеральных детях: государство, закон, чиновник, централизация. Мало того, вы даже не произносили слова «централизация», но подозревают, что вы могли его произнести. Этого довольно: либеральные дети больше ничего не видят; зажмурив глаза и закусив удила, они стремглав кидаются вперед и победоносно ниспровергают ветряные мельницы.

А между тем если мы не выучимся читать и понимать то, что читаем, если всякое понятие будет расплываться у нас в уме, если мы не сумеем давать ему определенные очертания и ставить его на принадлежащее ему место в ряду других, если мы не убедимся наконец в том, что общественная жизнь складывается не из одного куска, а из разнообразных стихий, из которых каждая должна иметь свое место и значение в целом, то не выбиться нам на разумный путь. Чувство меры и границ — вот что потребно просвещенному обществу. Где лежат эти границы, какова должна быть мера в сочетании различных общественных стихий,— это в каждом отдельном случае определяется различно. Каждый народ имеет свой дух, свои жизненные условия, свое строение, которое вырабатывается и изменяется исторически. Общественное мнение должно носить в себе сознание этих условий. Оно тогда только может получить влияние на ход дел, когда оно не будет пробавляться общими местами, ликовать при звуке известных фраз и пугаться других,— когда оно в своих требованиях не будет заходить далеко за пределы того, что в данное время по силам народу, но сумеет держаться в границах применимого и полезного.

Со своей стороны разумная власть, не упуская из рук необходимой для общественного порядка силы, должна себя умерять, чтобы дать простор другим общественным стихиям, без которых невозможно просвещенное общежитие. Чем власть беспредельнее в своих правах, тем легче подвергается она искушению преувеличивать собственное начало, тем необходимее для нее разумное воздержание.

Только при таких условиях, при взаимном воздержании и при взаимном уважении, возможно у нас мирное и правильное развитие общества. Если же вопрос будет поставлен не между мерою и безмерностью, а между казачеством и кнутом, тогда нет места разумному порядку в нашем отечестве.

Россия вступила в эпоху преобразований. Все чувствуют в них потребность - и правительство, и народ. Старый порядок оказался несостоятельным; мы стремимся к новому, лучшему будущему.

Естественно, что в такую пору все негодование либерального общественного мнения обращается на защитников отживающей старины. Слово «консерватор» сделалось у нас пугалом. При этом звуке русский либерал кипит злобой. Консерваторы виноваты во всем: и в нашей лени, и в нашем невежестве, и во взятках, которые существуют тысячу лет; и в том, что Россия не так богата, как Англия; и в том, что привозится больше товаров, нежели вывозится; и в том, что нельзя выпустить зараз на 500 миллионов новых ассигнаций; и в том, наконец, что с неба не падает талисман, который бы внезапным чудом разрешил все общественные вопросы к удовольствию всех и каждого. Консерватор у нас — синоним с тупым равнодушием к общественному благу, с презрением к народу, с своекорыстием вельмож, с нахальством чиновников, с лестью, обманом и лихоимством. В его черной душе таится одно лишь гнусное стремление к чинам и карьере. Малейший оттенок консерватизма немедленно ставит человека в разряд отсталых, отпетых людей и делает его предметом насмешек, брани и клеветы.

Консерваторам, старикам, противопоставляется молодежь. Не действительная молодежь, не та, которая с непогасшим еще огнем идеальных стремлений работает, готовясь на жизнь, а молодежь как нарицательное имя. В ее ряды с жадностью вступают и старцы, украшенные сединой, хотя, разумеется, 17-летний юноша всегда сохраняет преимущество даже над 30-летним мужчиной, который искушен уже соблазнами жизни, успел отведать запрещенного плода бюрократии. Молодежь — это все то, что в мыслях, но в особенности на словах окончательно раздалось со старым, не успев придумать ничего нового; все, что вечно кипит и негодует неизвестно часто за чем; все, что ратует во имя свободы и не терпит чужого мнения; все, что выезжает на фразеях, не давая себе труда изучить и понять существующее; все, что выкинуло из своих понятий категории действительного и возможного и осталось при одних лишь безграничных требованиях и ничем не сдержанных увлечениях.

Бедная молодежь! зачем твоим привлекательным именем окрестили это беспутное казачество, которое называется современным или передовым направлением в России? Впрочем, и настоящую молодежь успели сбить с толку. Как не поверить, когда юноше беспрестанно твердят: «Все старое — дурно, все новое — хорошо, ополчайся на врагов прогресса, Россия

возложила на тебя свои надежды!» И юноша всем пылом свежей души ненавидит непонятое им старое и жаждет неизвестного ему нового.

Но что же это, в самом деле? что такое консерватизм, который возбуждает столь благородное негодование? что за прогресс, которого мы должны желать как манны небесной? Обращаясь к другим странам, мы видим, что там во главе охранительной партии стояли часто люди далеко не рядовые. Великий Питт¹ был консерватор, сэр Роберт Пиль² был консерватор; Гизо, Нибур, Савиньи были консерваторы. Везде, где существует политическая свобода, охранительная партия является одною из действующих сил; без нее политическая жизнь становится почти невозможною. Очевидно, что тут нечто более, нежели тупая рутина или привязанность к материальным выгодам, которые доставляются существующим порядком. В основании этой силы лежат начала, которые коренятся глубоко в свойствах человеческого духа и управляют развитием человеческих обществ.

Многие представляют себе прогресс в виде бесконечного движения вперед. Точно люди взапуски бегут к скрывающейся вдали цели. Первенство принадлежит тому, кто бежит скорее, кто, скинув с себя все ненужное бремя, даже самую одежду, налегке пускается в путь и перегоняет соперников. Или если мы представим человеческое общество в виде корабля, плывущего по волнам истории, то прогрессисты этого рода сочтут себя обязанными столпиться на самой передней части носа, забывая, что не отсюда управляют рулем, они найдут ход корабля слишком медленным, они ополчатся на капитана за то, что он не распускает всех парусов; они захотят опередить самое судно, кидаясь вперед в волны океана, не имеющего ни границ, ни покоя, как их собственные требования и мечты. Другие пассажиры, напротив, вознегодуют за то, что корабль идет не тем путем, каким бы они хотели. Они также кидаются в волны, только не спереди, а сзади, и, так же как первые, исчезают в безбрежном океане напрасных сожалений. А корабль идет себе своим мерным ходом, оставляя позади и негодующих, и нетерпеливых. Экипаж и пассажиры распределяются в нем каждый на своем месте; сзади всех стоит кормчий, который управляет его бегом. Вой бури, колыхание океана, крик и толки пассажиров — все это нипочем. Беда только, если кормчий покинет свое место и побежит вперед за прогрессистами или же своротит судно против ветра и волн в угоду вздыхателям о былом.

Прогресс не состоит в вечном, безостановочном движении вперед. История народов — не вода, которая течет непрерывно, потому что не имеет в себе твердых стихий, которые бы удерживали ее на месте. История есть развитие внутренних сил, углубление в себя, изложение тех начал, которые лежат в существе человеческого духа. Они-то составляют основу общественной организации; около них, как около зерна, группируются кристаллы общественной жизни.

Общество состоит из лиц, из которых каждое имеет свою самостоятельную жизнь, свой маленький мир частных стремлений и интересов. Но лица не замыкаются в этой тесной сфере; это не рассеянные единицы, которые скрепляются внешнею механическою силою. Духовная жизнь человека состоит в единении с другими; лица связываются между собою общением мыслей, интересов, нравственных идей, в силу которых человек видит в человеке товарища, помощника и брата. Эти общие начала суть исторические силы, которые владычествуют над людьми и соединяют их в постоянные, более или менее прочно организованные группы. Таковы

семейство, сословие, церковь, государство. Высшие организмы, например государство, сами слагаются из отдельных групп, из которых каждая связывается присущим ей общественным или нравственным началом. Разумная жизнь каждого человека состоит в том, что он примыкает к той или другой группе, наполняется общим ее содержанием и сам действует на ее пользу. Таким образом, человеческое общество составляет сложный организм, скрепленный внутренними, твердыми началами, которые не дают ему бродить по прихоти случая или рассыпаться при первом толчке.

Если бы эти скрепляющие, живущие начала общественного устройства вечно оставались одни и те же, общество пребывало бы неподвижным. Его развитие, как рост дерева, состояло бы единственно в прибавлении новых ветвей к существующим, в количественном возрастании сил. Но человеческий дух, углубляясь в себя, излагая свои определения, проходит чрез различные формы, которые, составляя развитие одной духовной природы, тем не менее качественно отличаются друг от друга. Вследствие этого историческое развитие представляет ряд органических формаций, из которых каждая имеет свои связующие начала, нередко противоположные прежним. Отсюда борьба старого с новым, отсюда движение, которое изменяет существующее устройство. Но цель всякого движения — не просто освобождение лица от прежних определений, а переход к новым органическим началам, к новому, крепкому строению жизни. Движение для движения не только бессмысленно, но и губительно для общества. Одною проповедью свободы, одним разрушением старого, в надежде, что из этого что-нибудь выйдет, водворяется только анархия, которая в силу присущей человеку потребности органических начал сама приводит к реакции, но которая слишком дорого обходится народу, не умевшему ее предупредить.

Из этого отношения основных начал жизни к элементам движения ясно отношение охранительной партии к прогрессивной. Последняя представляет в обществе элемент движения. Задача ее — не дать существующему порядку застояться, окаменеть в своем устройстве; она пробуждает дремлющие силы и содействует переходу жизни в новую, высшую форму. Но чисто прогрессивное направление неспособно к организации; за прелестью свободы, за беспокойством движения оно слишком часто забывает, что общество нуждается в твердых основах, в постоянных жизненных началах, за которые бы оно могло держаться, вокруг которых оно могло бы окрепнуть. Уразумение этих жизненных основ — вот задача охранительной партии. Она их недремлющий сторож и защитник. Она допускает перемены только во имя начал организующих, а не разлагающих. Разгулу свободы, шатанию мысли она противопоставляет те силы, которые связывают общество и дают ему внутреннюю крепость. Где нет партии прогресса, там народ погружается в восточную неподвижность; но где нет охранительной партии, там общественный быт представляет только бессмысленный хаос, вечное брожение, анархию, немыслимую в разумном общежитии. Без первой — невозможно движение, но без второй невозможна никакая организация, невозможна, следовательно, гражданская жизнь и все, что дает высшее значение человеку. Горе народу, который извергнет из своей среды охранительные начала!

Таково существенное значение консервативного направления, такова роль его в обществе. При этих основных чертах оно может, однако, принимать различные виды.

2

Главная сила охранительной партии всегда лежит в бессознательном инстинкте народных масс. Огромное большинство людей живет непосредственным чувством, привычкою, безотчетным приобщением к той среде, в которой они родились, воспитались и действуют, с которою переплетены все их интересы. Нужен в обществе страшный разлад или вопиющая неправда, чтобы возбудить в массах ненависть к существующему порядку. Пока жизнь сносна, народ естественно подчиняется силе обычая, дорожит преданием, отвращается от новизны и преклоняется перед вековым авторитетом.

Но на бессознательном чувстве народа нельзя основать разумной гражданской жизни. Высшее значение человека состоит в сознании; в нем та духовная сила, которая движет историю народов. Поэтому во главе общества всегда стоят высшие классы, в которых развивается разумное сознание. Если охранительная партия хочет удержать свое общественное значение, она в силу неизбежного закона должна возвести свои начала к сознательной мысли. «Сознавай себя или гибни!» — таков приговор истории.

Между тем и на вершинах общества охранительное направление нередко опирается на одну рутину, на слепую привязанность к старине, на идолопоклонство перед существующим порядком. Пока общество дремлет, это направление может в нем господствовать; но как скоро пробудилась общественная мысль, оно с трудом противостоит напору даже слабого разума. Окончательно оно удержаться не в силах. В руках консерваторов-рутинистов существующий порядок обречен на падение.

Охранительная партия в Европе не осталась при этой низшей своей форме. Она развила свои начала в сознательное учение, в мировую доктрину, которую она противопоставила революционной пропаганде. Французская революция выступила во имя прав человека, во имя свободы и равенства. Одностороннее развитие этих начал и нравственное бессилие существующей власти повели к анархии, из которой естественным ходом вещей возник деспотизм. Наполеон восстановил ослабленную власть и тем утвердил революцию, придав ей организующие элементы, без которых она не могла существовать. Но злоупотребление силы повело к падению завоевателя; приверженцы старого порядка остались победителями и уничтожили все следы революционных властей. Как же воспользовались они своим торжеством? Охранительные начала были возведены в абсолютную теорию, которая утверждала власть на божественном установлении и безусловно отрицала всякое движение, всякие народные права: задачу властителей Европы сделалось возвращение к старым формам, подавление революционных попыток везде, где бы они ни проявлялись. Задача односторонняя и отрицательная. Охранительная система двадцатых годов была скорее реакцией против исторического движения Нового времени, нежели уразумением истинных оснований современных обществ. Движение могло быть временно сдержано, но не подавлено. Существенные потребности европейских народов проявились тем с большею силою, чем меньше им было дано законного исхода, и охранительная система пала среди анаarchического брожения, которое было вызвано собственно ее ограниченностью и упорством.

Возобновлять подобные попытки, воскрешать отжившие теории — безумно. В новом бою не следует вытаскивать заржавленное оружие

из старого арсенала. Оно окажется негодным и сломается в руках тех, кто захочет его употребить.

Иного рода консервативная система установилась во Франции после июльской революции³. Здесь она явилась не под знаменем абсолютизма, а выступила во имя более либеральной, хотя столь же безусловной теории конституционной монархии. Это учение должно было служить противодействием революционному направлению и демократии. Конституционная монархия сомкнулась в тесный кружок, который выдавался за единственный, способный управлять государством. Лозунгом ее сделалось сопротивление всякому преобразованию, в особенности же расширению политических прав. Великий историк⁴, который так долго стоял во главе министерства, принял на себя возведение в доктрину системы, изобретенной Людовиком-Филиппом. Но и здесь оказалась несостоятельность этой доктринальной попытки. Престол Людовика-Филиппа рухнул при первом движении февральской революции.

Никакая общая теория не может служить основанием для охранительной системы по той простой причине, что устройство и потребности обществ разнообразны до бесконечности и изменяются исторически. Нет сомнения, что человеческие общества зиждутся на некоторых общих началах, одинаково необходимых для всех. Власть, суд, закон составляют принадлежность каждого государства. Но на таких отвлеченных принципах невозможно основать практической программы и положительного политического направления. Тут нужно содержание более живое, более близкое к действительным, местным условиям среды. Охранительные начала в каждом обществе почерпаются не из теорий, а из действительности; они даются историческим развитием народа и настоящим его состоянием.

Если мы взглянем на те охранительные системы, которые имели успех, мы увидим, что они держались именно этого практического направления. Английские консерваторы не строят всемирных учений; они действуют во имя исторических начал английского народа, изменяя их сообразно с наступающими потребностями. Наполеон III⁵ противопоставил революции те элементы власти, которым основание положено было французскими королями и которые утверждены могучею рукою Наполеона I. Но и французская империя не отрицает потребностей свободы. Конституционные начала вводятся более и более, по мере того как Франция, к ним привыкшая, ощущает в них нужду.

В каждом данном государстве предстоит та же практическая задача. Охранительные начала будут иные в демократическом правлении, иные — в конституционной монархии, иные — в самодержавии. Те либеральные учреждения, которые при известном состоянии общества служат опорой порядка при других обстоятельствах, производят общее расстройство. Везде охранительная партия должна опираться на то, что есть, а не на то, чего можно бы желать.

Первое место в существующих основах общежития занимают те начала, которые утвердились преданием, которые получили силу вековым своим значением в истории народа. Они составляют краеугольный камень всякого общественного устройства. Не слепая привязанность к старине придает им это значение, а тот простой факт, что всякое общественное начало тогда только приобретает действительную силу, когда оно что-нибудь произвело, когда с ним связаны жизненные интересы граждан, когда люди получили к нему уважение вследствие принесенной им пользы и той

внутренней крепости, которую оно проявило на деле. Чем продолжительнее эта деятельность, тем самое начало становится более могучим. Новый элемент всегда является слабым. При дальнейшем движении жизни он, в свою очередь, может стать во главе развития и вытеснить старые начала; но для этого он должен окрепнуть, действуя сперва незаметно под сенью старинных сил. Он должен на опыте доказать свою состоятельность и свое соответствие истинным нуждам общества. Время утверждает за ним право существования, группирует около него интересы, приобретает ему привязанность народа. Поэтому исторические начала всегда служат для охранительной партии самую твердую точку опоры.

Но исторические начала изнашиваются, слабеют, теряют прежнее свое значение. Держаться их во что бы ни стало при изменившихся обстоятельствах, при новом строении жизни — значит лишать себя всякой надежды на успех. Это романтизм, а не охранительное направление. Если старый камень силою векового трения обратился в песок, безумно утверждать на нем здание. Надобно искать новых опор, которые могли бы заменить прежние. Законная монархия имела во Франции огромное историческое значение; но нынешние французские легитимисты — романтики, а не консерваторы. Они живут в прошедшем, а не в настоящем. Такие же романтики и немецкие феодалы, которые среди новой жизни мечтают о сохранении или даже о восстановлении средневековых форм.

Если охранительная партия не хочет намеренно связать себя по рукам и по ногам и ограничиться ролью жертвы, обреченной на заклятие, — она не может быть врагом свободы и преобразований. Либеральные законы, незыблемые гарантии свободы могут стать более прочною твердыней общественного порядка, нежели шаткость чиновничьего произвола. Английские консерваторы сами берут инициативу реформ, когда наступило для этого время. Людовик-Наполеон сам вводит конституционные начала, потому что во Франции без этого нельзя обойтись. Когда общество движется, невозможно оставаться на месте. Но и в преобразованиях консервативная партия ищет тех основных положений, из которых может развиваться прочная организация. Она остается верна своему характеру. Ее создающему духу противны мечтательные требования, общие фразы, неопределенные надежды, беспокойное брожение, разрушение во имя скрытых сил и неизвестного будущего. Она тогда только соглашается на изменение существующего, когда на место старого можно поставить новое, столь же, если не более прочное, и тогда она это новое охраняет с такою же непоколебимою энергиею, с какою некогда охраняла отжившую старину.

Таким образом, если характер охранительного направления вечно остается один и тот же — привязанность к основным началам гражданского устройства в противоположность элементам движения, то содержание его изгоняется с изменением самой жизни народа. Вся задача сводится, следовательно, к практическому пониманию существующего; надобно отгадать те силы, которые имеют в себе залог прочности, которые в данную минуту должны лежать в основании общественной организации.

При обыкновенном течении жизни сделать это не трудно. Настоящее тесно связано с прошедшим; в жизни действуют те элементы, которые выработались исторически, которые явны для каждого, от которых даже отрешиться нелегко. Совсем другое, когда общество находится в состоянии переходном, когда оно обновляется всецело, когда преобразования идут по всем частям. Здесь мудрено сказать, что следует сохранить и с чем на-

должно проститься, что имеет еще в себе достаточную силу для дальнейшего существования и что износилось, обветшало и должно быть отброшено как лишнее существенного значения.

В таком положении находится теперь Россия. Что сохранять там, где все изменяется? Благоразумно ли задерживать движение там, где все стремится к новому порядку?

К этому вопросу мы должны теперь обратиться.

3

Россия обновляется; все части государственного управления подвергаются преобразованию; все движется, стремится, волнуется, негодует; везде борьба с старым порядком и пламенные надежды на новый. На чем тут остановиться? где найти точки опоры?

Если мы взглянем на ту работу, которая предстоит и законодателю, и обществу, задача покажется нам громадною, почти необъятною. Одно освобождение крестьян — такой жизненный переворот, какие случаются веками. От общего государственного строения до частного быта все разом сдвигается с места и получает новое направление. К этому присоединяется преобразование суда, финансов, администрации, распространение просвещения, огромные экономические предприятия, наконец, искоренение всех зол, которые накопились веками и накалились у нас на сердце: лжи, лихоимства, неправды, притеснений. Русское общество отвернулось от своего прошедшего; оно хочет надеть на себя новый лик и явиться преображенным в сонме европейских народов.

Громадность подобной задачи не может не смутить всякого, кто взглянет на нее хладнокровно. Если мы развернем страницы истории, мы увидим, что подобные переломы в народной жизни совершались либо деспотизмом, либо революцией, лучше сказать — деспотизмом сверху или деспотизмом снизу. Иначе и быть не может. Там, где замешано столько противоположных интересов и страстей самых близких человеку и самых живых, там разом повернуть и порушить дело можно только насилем. Где одновременно расшатываются все основы здания, нужна всеподавляющая сила, чтобы сдержать поколебленное общество. Такою силой может быть или энергия масс, или рука деспота. Нетерпеливые нововводители бессознательно напрашиваются на то или другое. Но те, которые не хотят ни железного ига властителя, ни буйства революционных страстей, могут желать только прогресса умеренного и постепенных преобразований. Время — великий деятель, который укрощает страсти, примиряет с переменами, прилаживает интересы к новым условиям, убеждает людей в необходимости сделок и уступок. Когда под влиянием времени известное преобразование, глубоко охватывающее жизнь, окрепло и установилось, когда общество применилось к новому порядку, тогда безопасно приступать к дальнейшим реформам. Но разом изменять все, затрагивать все страсти, все интересы — значит возбуждать брожение, с которым не всегда легко справиться.

Недоумение увеличивается, если мы посмотрим на те силы, с которыми Россия приступает к своему обновлению. Несмотря на возбужденные надежды, на проснувшуюся жизнь, несмотря на действительные гражданские успехи, которые мы сделали в последние годы, русское общество представляет в настоящую минуту весьма грустное зрелище. Никогда еще

не оказывалось такого разлада между величию цели и ничтожеством средств, между требованиями и действительностью, между словом и делом. С одной стороны — безграничные притязания, непоколебимая самоуверенность, иступленная критика, громкие фразы; с другой — самое скудное образование, отсутствие первоначальных понятий, шарлатанство, лень, своекорыстие, нетерпимость, неспособность к практической деятельности, страсть к эффектам при совершенном равнодушии к пользе отечества. Под покровом любви к свободе, сознания права, восторженного стремления к лучшему порядку в обществе скрываются — раздражение личных интересов, злоба за отнятое право над человеком, политическое легкомыслие, страсть к шуму, опьянение той общественной пляской, в которой тысячи голосов режут зараз, не понимая друг друга и ругаясь на все стороны. Еще менее утешительное зрелище представляет наша литература, глашатай общественного мнения. Среди немногих серьезных произведений зреющей мысли и более широкой свободы как часто в ней встречаются явления, в которых, по-видимому, исчезли не только спокойное и разумное понимание вещей, но даже стыд и совесть! Глубочайшее невежество и самая дикая наглость драпируются в покров горячей любви к народу, гуманности, либерализма, современных идей. На первый план выдвигаются личные вопросы, самолюбивая раздражительность, возмутительные выходки, сплевывания, пасквиль, брань и скандалы, от которых с омерзением отвергается всякий, кто в печатном слове ищет поучения или кто привык уважать человеческую мысль.

Куда бы мы ни обратились, везде мы встретим противоположное тому, чего следовало бы ожидать: где нужны твердость, энергия, обдуманность образа действия, обнаруживаются шаткость, двусмыслие, боязливость, мелкое искание популярности, эгонистические виды, отсутствие всяких идей; где нужен разумный практический взгляд на вещи, является пустое, легкомысленное увлечение, упивающееся собственным задором, глухое к голосу рассудка. Отрадные явления можно встретить только там, где дело совершается невидимо и неслышно, вдали от общественного шума, в тишине кабинета или в глуши провинциальной жизни. Такие явления представляют нам мировые посредники, не те, которые выезжают на либеральных эффектах, а те, которые, честно и усердно исполняя свои обязанности, стараются порешить на месте великий вопрос, от которого зависит судьба России. Вот те силы, на которые может надеяться русская земля.

Наше общество, очевидно, не готово к тому делу, которое оно призвано совершить. После долгой дремоты оно было застигнуто врасплох восточной войной и севастопольским разгромом⁶. Оно встрепенулось, перед ним открылось широкое поле, а в силах оказывается бедность. Подобные примеры нередко повторялись в истории. Поднимается крик: «Растворите двери, и на сцену выступит множество свежих, молодых деятелей, которые принуждены скрываться в неизвестности!» Двери растворяются настежь, и появляется только толпа неприготовленных крикунов. Когда в обществе есть серьезные элементы, они пробиваются и действуют непременно, несмотря ни на какие преграды. Внешнее давление возможно только при отсутствии внутренних сил.

Теперь, когда дышать стало свободнее, когда преобразования на каждом шагу открывают новую возможность действовать, все еще продолжается прежний вопль. Мало того: он усиливается с каждым днем. Никто не хочет видеть того, что совершилось и совершается; преобразования встреча-

ются всеобщим равнодушием, если не враждою. Забывают громадные государственные меры и устремляют все внимание на мелкие интриги бюрократов. Все требуют новых перемен в ожидании, что мановением волшебного жезла разрешатся наши затруднения; все убеждены, что стоит правительству захотеть — и водворится всеобщее благоденствие. Как будто изменением статей Свода законов да сменой нескольких администраторов, да еще новым и новым разглагольствованием возможно обновить Россию! Мы ищем лекарства не там, где оно находится. И корень зла, и средства врачевания лежат не в учреждениях, не во внешних условиях, а в нас самих. Настоящая наша задача состоит не в стремлении к новому, не в перемене людей и учреждений, а в работе над собою, в исполнении того, что уже дается жизнью. Нам нужно отрезвиться, заняться делом, разумно взглянуть на то, что нас окружает, приготовиться к той широкой деятельности, которая нам предстоит. А для этого необходимо воздержание. Не в безмерных требованиях, не в бесплодном раздражении найдем мы путь к лучшему порядку, а в спокойной работе мысли и в серьезной практической деятельности.

Это успокоение страстей, это возвращение общества к внутренней работе, может совершиться двояким образом. Или твердая рука власти, пресекая всякие неумеренные проявления, неуклонно направляя народ к предположенной цели, несмотря на шум и волнение, заставит общество от бесплодных криков обратиться к тому, что практически возможно; или же само общество образумится, придет в себя, поймет, наконец, свое положение и предстоящее ему дело. Последний путь несравненно лучше первого. Насильно данное направление никогда не может быть так плодотворно, как самостоятельная мысль. Насилие производит раздражение или равнодушие. Только мысль, созревшая в самом человеке, дает ему ту силу воли, то самообладание, которые необходимы для разумной деятельности. Поэтому в настоящее время в том положении, в котором находится Россия, дело первостепенной важности — возникновение в обществе независимых сил, которые бы поставили себе задачею охранения порядка и противодействие безрассудным требованиям и анархическому брожению умов. Только энергия разумного и либерального консерватизма может спасти русское общество от бесконечного шатания. Если эта энергия появится не только в правительстве, но и в самом народе, Россия может без опасения глядеть на свое будущее.

Нельзя скрывать от себя тех трудностей, которые предстоят образованию консервативного мнения в настоящую пору. Общество влечется в одну сторону вследствие данного ему толчка; приобретенная скорость усиливает это движение. Возможно ли ему противодействовать? Плыть против течения всегда нелегко; у нас это вдвойне трудно, потому что не за что ухватиться, не на что опереться. К чему служат воззвания к разумным силам, увещания насчет потребности порядка там, где не существует никаких гражданских понятий, где уровень просвещения не дает даже первоначальных сведений о праве, об обязанностях, о государственном устройстве, где всякое слово понимается в превратном смысле, где все хотят разом кричать и никто не расположен слушать? Возможен ли дружный отпор там, где люди не имеют довольно энергии, чтобы стоять на собственных ногах и общими силами отражать удары, а предпочитают предаваться стремлению потока или слабодушно становиться поодаль, пожимая плечами? При нашей бесконечной распушенности при вялости нашего нрава, при том хаосе, который у нас господствует, остается

единственная надежда на силу вещей, на окончательное торжество благоразумия в массах. Но на этом не следует ни успокаиваться, ни слабеть. Если русское общество способно к самостоятельной деятельности, то из этой бродячей массы, в которой все ускользает из рук, должны выделиться различные направления — зародыш партий. Теперь настала для этого пора; теперь наше дело — идти к этому внутреннему строению общества, без которого невозможна политическая жизнь.

Другое важное препятствие, которое представляется у нас образованию охранительной партии, состоит в трудности откровенно обсуждать все вопросы, вполне высказывать свою мысль. Где не допускается порицание, невозможна и похвала; остается, следовательно, молчать. Трусость и лень с жадностью хватаются за этот предлог, чтобы уклониться от деятельности. На этом выезжают и противники того направления, которое имеет большую возможность высказываться явно. В нашей литературе, которая не знает деликатности ни в чем, в этом случае вдруг является необыкновенная деликатность: не смей говорить против тех, кто не может вполне высказать свою мысль! Привилегия слова дается косвенной оппозиции.

На этом возражении останавливаться нечего. Оно налагает только обязанность оказывать большее уважение противникам, которые не могут защищаться открыто; но оно не должно зажимать уста искреннему убеждению. Притом, где нет свободы слова, перевес всегда на стороне оппозиционной мысли, потому что естественное чувство человека склоняет его на сторону слабого, и запрещенный плод имеет слишком много прелести. Тем с большею настойчивостью следует предостерегать от плода ядовитого.

Важнее то обстоятельство, что охранительное направление рискует сделаться солидарным со всяким делом, о котором оно не может говорить. На него возложится ответственность за чужие ошибки; на него посыпятся обвинения в том, что оно стоит не за идеи, не за общее благо, а за существующий факт, каков бы он ни был. Здесь главный камень преткновения. Но и перед этим останавливаться нельзя. Возможность превратных толков, недоразумений и клеветы не должна отклонять гражданина от такого образа действий, который он считает полезным для отечества. Тут личные опасения должны умолкнуть.

Какими же началами может руководствоваться охранительное направление в России? Какие элементы дает ему старый порядок и что приобретает оно в новом? Укажем на некоторые основные точки опоры.

Первый элемент, который дается нам историей и который является насущною потребностью настоящего времени, — это сила власти.

Всякое общество требует известного единства. Без него невозможны ни общая жизнь, ни порядок, ни гражданское устройство. Это единство может установиться двояким образом: согласием общественных сил и действием правящей власти. Недостаток одного из этих элементов может восполниться только усилением другого. Чем меньше единства в обществе, тем труднее связать общественные стихии, тем сильнее должна быть власть; и наоборот, правительство может распускать вожжи по мере того, как общество крепнет, соединяется и получает способность действовать самостоятельно. Поэтому обширное государство нуждается в более сильной власти, нежели малое: в первом общественные элементы разнообразнее, разрозненнее, имеют между собою менее тесную связь и потому требуют большего внешнего скрепления. Из того же начала следует далее, что власть должна быть сильнее в стране, в которой различные сословия или классы далеко расходятся

по своему образованию, положению, интересам, и нет между ними среднего, связующего звена; власть должна быть сильнее там, где мало личной энергии, где скудно образование, соединяющее людей вокруг общих начал, где партии кидаются в крайности, где в обществе господствует раздражительность и нетерпимость, где бесплодное волнение заменяет практическую деятельность. Отсюда и то явление, что анархия всегда вызывает деспотизм. Отсюда, наконец, необходимость сильной власти в эпохи переходные, при коренных преобразованиях. Тут затронуты все интересы, разгораются страсти, возбуждаются безграничные желания и надежды. Старое рушилось, новое не успело окрепнуть; никто не знает за что держаться. В такие времена наименее возможно внутреннее общественное единство, согласное действие различных общественных сил, а потому тем необходимее крепкая власть, которая могла бы сдержать влекущиеся врозь стихии.

Отличительная черта русской истории, в сравнении с историей других европейских народов, состоит в преобладании начала власти. Со времени призвания варягов⁷, когда новгородские послы, ровно тысячу лет тому назад, объявили неспособность общества к самоуправлению и передали землю во власть чужестранных князей, общественная инициатива играла у нас слишком незначительную роль. Русский человек всегда был способнее подчиниться, жертвовать собою, выносить на своих плечах тяжелое бремя на него возложенное, нежели становиться зачинателем какого бы то ни было дела. Только в крайних случаях, когда государству грозило конечное разрушение, народ вставал как один человек, изгонял врагов, водворял порядок и затем снова возлагал всю власть и всю деятельность на правительство, возвращаясь к прежнему, страдательному положению, к растительному процессу жизни. Власть расширяла, строила и скрепляла громадное тело, которое сделалось русскою империей. Власть стояла во главе развития; власть насильно насаждала просвещение, обнимая своею деятельностью всю жизнь народа — от государственного устройства до частного быта. Величайший человек русской земли, Петр Великий, сосредоточивает в себе весь смысл нашей прошедшей истории. И теперь еще этот характер не изменился: правительству принадлежит инициатива и исполнение тех великих преобразований, которые составляют честь и славу нашего века.

Таким образом вся русская история вела к преобладанию начала власти, оно сохранило свое значение до настоящего времени. Теперь мы чувствуем потребность в большей самостоятельности, нежели прежде; мы хотим свободы, общественной инициативы, и это желание вполне законно, потому что без этого невозможны ни разумная жизнь, ни полное развитие внутренних сил народа. Но это стремление, плод созревающей мысли, не должно становиться вразрез с тысячелетнею историей отечества; новая сила не должна явиться враждебною той, которая руководила нами до сих пор. Особенно в настоящем кризисе при тех реформах, которые совершаются, при той незрелости, которою мы страдаем, при том брожении, которое господствует в обществе, сильная власть нужнее, нежели когда-либо. Она должна размножиться, явиться на всех концах, во всех углах России, где прежде она слагала бремя на помещика. Она является посредником между обоими сословиями. Везде, где пресекалась крепостная зависимость, где нужно устроить управление, ввести новый порядок, взыскивать повинности, ограждать интересы, сдерживать незаконные притязания, везде должны присутствовать ее бдительное око и ее настойчивая деятельность. Везде к ней зывают и негодуют, когда слабеет ее энергия.

К счастью, наше правительство не нуждается в материальном подкреплении. Средства, которыми оно располагает для охранения внутреннего порядка, огромны. Случайно возникающие волнения представляют только легкую игру на поверхности общественного организма. Но, кроме материальной силы, нужна сила нравственная. Она основывается на любви народной и на поддержке со стороны разумных элементов общества. Первая не отойдет от правительства, освободившего крестьян; но в последнем отношении нельзя не заметить, что в русском обществе издавна произошел разлад. Либеральные меры, которые были приняты в продолжении последних лет, не только не излечили застарелой болезни, а, по-видимому, напротив, усилили раздвоение. Здесь лежит зло, на которое нельзя не обратить внимания, потому что оно лишает общественные силы возможности действовать согласно. Каждый русский человек, которому дорого отечество, должен по мере возможности содействовать единению, а не растравлять легкомысленно раны и не усиливать напрасного раздражения.

Конечно, восстановление этой связи прежде всего зависит от самой власти. Она тем более может рассчитывать на поддержку со стороны разумной части общества, чем тверже и рассудительнее она действует, чем менее она остается в одиночестве, чем более она старается изведать настоящие нужды края и удовлетворить существенным потребностям народа. Но охранительное направление в обществе не может и не должно отказать власти в своем сочувствии и в своей поддержке при виде тех громадных реформ, которые ею совершаются, того желания добра, которое проявляется во множестве либеральных мер, и тех препятствий, которые предстоят на пути. Одолеть их можно только дружною деятельностью всех, а не внутренним разладом.

При этом охранительное направление удерживает всю свою независимость. Оно не отказывается от свободы суждения и не готово выступить на защиту каких бы то ни было мер. Общественное мнение — не бюрократия, обязанная исполнять и поддерживать данные ей предписания; это — самостоятельная сила, выражение свободной общественной мысли. Охранительная партия в обществе может выражать одобрение только тому, что согласно с ее собственными началами. В ней не найдут сочувствия ни реакция, ни заискивание популярности, ни подавление свободы, ни скороспелые нововведения. Но она не станет легкомысленно ополчаться на власть, подрывать ее кредит, глумиться над мелочами, упуская из вида существенное, поднимать вопль во имя частных интересов, забывая общую пользу. Охранительная партия преимущественно пред другими должна быть готова поддерживать власть, когда это только возможно, потому что сила власти — первое условие общественного порядка.

Обратимся к другим охранительным элементам.

4

Главное орудие власти в государственном управлении составляет бюрократия. Это опять элемент, который дается нам историею и современной жизнью.

В настоящее время бюрократия подвергается у нас таким же, если не большим нападкам, как и консерватизм. Она — корень всего зла; она стала между верховною властью и народом, задерживая правду, распространяя ложь, обращая все на свою собственную пользу. Неудовольствие, идущее от противоположных концов, сливается против нее в общий обвинительный голос.

Нельзя не сказать, что бюрократия во многих отношениях заслужила это общественное недоверие. Она долгое время была всемогуща и употребляла это положение во зло. Медленность, формализм, лихоимство, притеснения, своекорыстные виды, равнодушие к общему благу — вот явления, которые слишком часто встречаются в ее рядах и которые довели ее до той степени непопулярности, на которой она ныне стоит. Но не надобно упускать из вида другой стороны дела. Несмотря на свои недостатки, бюрократия даже теперь заключает в себе едва ли не большинство образованных сил русской земли. А прежде и подавно; какой же образованный человек не вступал в служебные ряды? Если у нас существует гражданское устройство; если мы пользуемся внутреннею безопасностью; если помещики давно перестали разбойничать на больших дорогах; если есть средства сообщения, если устроены училища, гимназии, университеты; если в провинциях есть архитекторы, медики, инженеры; если законы собраны в общий свод, то мы всем этим обязаны бюрократии. Не забудем и то, что бюрократия была главным деятелем при составлении «Положения» 19-го февраля⁸; она отстаивала интересы крестьян, она выбирала либеральных людей в члены комитетов, в редакционную комиссию, в губернские присутствия, в мировые посредники; она не только заготовила, но и приводит в исполнение это дело. Хвала ей и честь за то! она воздвигла себе вечный памятник. Наконец, бюрократия не одна виновна в тех прискорбных явлениях, которые мы видим в ее среде. На ней отражаются пороки всего русского общества. Будто другие сословия лучше? Или нам нужен непременно козел отпущения, на которого можно свалить общие грехи?

Как бы то ни было, бюрократия представляет действительную силу, без которой власть обойтись не может, без которой немислимо государственное управление. Русская бюрократия показала на деле если не свое нравственное достоинство, то свою внутреннюю состоятельность, свою способность действовать, охранять порядок, устраивать и скреплять государство. При бедности наших общественных сил таким элементом пренебрегать нельзя. Нам бюрократия совершенно необходима. Ее надобно по возможности очистить, возвысить, сдерживать в пределах законности, окружить гарантиями, поставить под контроль гласности, ограничить самоуправлением сословий, но она неизбежно должна остаться одною из существенных опор государственного порядка и внутреннего благоустройства.

К несчастью, Россия не имеет элемента, который в других странах служит самым надежным обеспечением против бюрократического произвола, самым твердым столбом права и закона, именно — магистратуры. Фридрих II⁹ возразился, когда мельник, которому он грозил отнятием имущества, отвечал: «Вам это не удастся; есть судьи в Берлине!» Такой ответ едва ли когда мог раздаться на русской земле. Нет, — может быть, более грустного явления в нашей исторической жизни, как то, что у нас никогда не было праведного суда, который бы внушал к себе доверие общества. Со времени древних тиунов и судей-кормленщиков¹⁰ удельного периода судья в народе считается чуть не синонимом с лихоимцем. Это зависит не от учреждений, не от случайного направления власти. Это просто элемент, который исторически не выработался, которого нет в народе. Выборные судьи нисколько не лучше коронных¹¹; часто даже напротив. Мы всегда несколько удивляемся, когда наше дворянство жалуется на недостаточное ограждение лиц и имуществ и просит гласного судопроизводства и суда присяжных как единственных средств к установлению праведного

суда. Но Боже мой! кто же мешает дворянству выбирать порядочных судей, которые бы доставляли ограждение лицам и имуществу? Отчего наши областные суды вообще не отличаются бескорыстием? Отчего так часто встречаются в них самые нелепые решения, так что остается одна надежда на апелляцию?

История не выработала нам даже зачатков правильного судоустройства. Тут нечего сохранять; тут все предстоит начинать сызнова. Надобно положить первые основания специальному сословию судей и адвокатов и поставить их под контроль гласности. Пока этого нет, пока судьи набираются случайно, по выбору или по назначению, из людей, которые никогда не готовились на это доприще и не видят в водворении правды призвания жизни, пока судопроизводство покрыто канцелярскою тайной, нельзя говорить о суде как о существенном элементе государственного благоустройства. Тут не помогут благие намерения. Наилучшие судьи — действующие втайне, а тем более власть, карающая административным путем, всегда подвергнутся нареканиям в несправедливости. Доверия к своим приговорам они внушить не в силах. А без суда, независимого в своих действиях, представляющего гражданам надежную гарантию, нет сознания права, нет уважения к закону. Охранение права и порядка ниспадает в руки полиции; на место суда водворяется расправа, на место закона — произвол. Таков действительно преобладающий характер нашего гражданского развития, оно всегда скреплялось властью, а не законом.

В нынешнем положении общества при этом оставаться невозможно. Освобождение крестьян, развитие общественной самостоятельности требуют обеспечения прав и твердого законного порядка. В мировых учреждениях зарождается начало законности; мировые посредники творят не только расправу, но и суд, разграничивая права и обязанности сословий. Некоторые в этом отношении идут даже слишком далеко: призванные быть не только судьями, но и администраторами, они вовсе не хотят творить расправы. Они забывают, что надеяться на одну силу суда можно только там, где утвердилось уважение к закону, где судебный приговор всегда исполняется быстро и беспрекословно. Законность не падает внезапно с неба. Нет, может быть, ничего, что бы требовало столь долгого времени, дабы упрочить свое существование, как это основное начало всякого благоустроенного общежития. Доверие и уважение к нравственным силам укореняются вековою привычкой. Главное дело принадлежит здесь власти. Воздерживаясь от произвола, обставляя себя законными формами, твердо следуя законному порядку, она указывает путь и заставляет общество видеть норму и гарантию в том, что прежде казалось ему насилием и притеснением.

За недостатком суда современная жизнь представляет нам другой элемент, который может служить противодействием излишнему расширению бюрократии. Это — сила корпоративного устройства, сословного и общинного, в особенности первого, которое обнимает более широкую сферу и имеет значение не только местное, но и государственное. Корпоративное начало не всегда и не везде играет одинаковую роль. Отношение его к свободному развитию общественных сил представляет аналогию с отношением власти к свободе. Корпорация тем нужнее, чем менее общество имеет стремления группироваться около разумно понятых интересов, чем менее отдельные лица способны собственной энергией и соединением сил поддерживать начала гражданственности. Там, где корпорации не раз-

бились движением истории, где они не превратились в ветхий остаток исчезнувшей жизни, они могут отвечать двум весьма существенным потребностям общества.

С одной стороны, корпоративное начало служит опорой порядка, зерном общественной организации. Оно связывает лица в постоянные союзы, подчиняет их общему духу, заставляет их примыкать к общим интересам. В корпорации каждый находит принадлежащее ему место; права и обязанности определены; деятельность совершается в начертанном законом круге. Это — школа гражданской жизни и одно из самых сильных противодействий всякого рода безмерным требованиям и притязаниям.

Нет спору, что все это делается искусственным образом, отчего происходят неизбежные невыгоды: стремление к замкнутости, к исключительности, разобщение с другими, предпочтение частных интересов общим, уничтожение свободного соперничества. Но это зло, с которым надобно помириться, пока общество не нашло себе других прочных жизненных основ. У нас, при скудости образования, при шаткости политических понятий, при нашей неспособности действовать сообща, умеренно, твердо и постоянно, нет возможности основать гражданский порядок на свободной деятельности лиц, на случайном их соединении. Пока у нас не разовьются и не окрепнут образованные элементы, нам остается держаться корпоративного начала, которое выработалось исторически и доставляет обществу организацию, упрощенную временем.

С другой стороны, сила, которая приобретается лицами в корпоративном союзе, обеспечивает им независимое положение. Случайная ассоциация или раздробленная деятельность людей никогда не могут иметь такой вес и такое значение, как постоянное гражданское устройство. Пока общество не окрепло, общественная самостоятельность растет под сенью корпораций. Конечно, корпоративное устройство без оживляющего ее духа ничего не значит: но когда общественный дух пробудился, корпорация дает ему исход и воспитывает его силы. У нас уничтожение сословий проповедуется главными врагами бюрократии. Они не замечают, в какое они впадают противоречие. Общество, в котором исчезли сословия, естественно стремится подпасть под владычество бюрократии, которая остается единственною организованною силой в государстве. Неорганизованные стихии никогда не могут бороться с организованными.

В странах, где история привела ко всеобщему равенству прав, обеспечением против этой наклонности служат другие учреждения, столь же крепкие, как и бюрократия. Таково судебное устройство, которое доставляет гражданам гарантию от произвола; но главное — таким оплотом служит представительное собрание, облеченное действительною политической властью. В неограниченном правлении при недостатке суда одно корпоративное устройство может оградить общественную независимость от безмерного владычества бюрократии; только при нем возможно водворение законности в государстве.

Первое место в ряду сословий занимает дворянство. Наследственность высокого положения дает сословию дух независимости, соединенный с сознанием права, с чувством власти, с твердостью и достоинством. В наследственности политических прав нельзя не видеть одного из самых прочных элементов государственной жизни. Она представляет надежный отпор и произволу, и анархии. На этом основана всякая аристократия, при всем разнообразии форм, которые это начало принимает в истории.

В Англии наследственная палата пэров составляет посредствующее звено между монархом и представителями народа. Там аристократия постоянно шла во главе гражданского развития, защищая свободу против деспотизма и отстаивая власть против напора демократических стихий. У нас история не выработала подобной аристократии, а где она не выросла исторически, там ее создать невозможно. Но и у нас существует наследственность политического положения: оно принадлежит целому сословию дворянства, как это было во Франции и в Германии.

Можно спорить о преимуществах и недостатках той и другой формы наследственности. Нельзя не согласиться, что вообще привилегированное наследственное положение сословия имеет многие невыгодные стороны, невыгоды, которые становятся, впрочем, гораздо ощутительнее, когда нужно насильно поддерживать преграды, нежели когда они даются самым строем жизни. Но опять же это — неизбежное зло, пока общество не приобрело других основ, столь же прочных, пока свободные стихии не достаточно окрепли, чтобы заменить существующие силы. По глубокому замечанию Монтескье, монархия отличается от деспотизма теми подчиненными и посредствующими телами, через которые она действует, и в числе этих тел первое место принадлежит дворянству. В неограниченной монархии существование его одинаково необходимо и в интересах правительства, и в интересах народа. При настоящем нашем положении нельзя себе представить большего ослепления, как самоуничтожение дворянства во имя либеральных идей. Если кто может возвысить голос, если какая-нибудь часть общества может иметь влияние на дела, так это единственно дворянство. Рассыпанное в массу, оно потеряет всю свою силу. Столь же противно здоровой политике превращение дворянства в сословие землевладельцев. Здесь исчезает вся нравственная сторона, отпадает государственное положение, которые именно и дают дворянству главный вес и значение. Притом новое сословие никогда не может заменить старого, окрепшего веками и носящего в себе предания.

Нельзя не упомянуть здесь и о другой корпорации, вопрос о существовании которой был поднят в последнее время. Мы говорим об университетах. Службу превратить аудитории в публичные собрания естественно поддаются те, которые увлекаются современным либеральным потоком. Все их внимание устремлено на одну сторону — на расширение свободы, а потому всякое задерживающее или зияющее начало представляется им препятствием развитию общественных сил. Но здесь корпоративное устройство имеет значение не временное, не местное, а постоянное, проистекающее из самого существа учреждения — из учебной его цели. И здесь опять здравый корпоративный дух служит противодействием умственной анархии; он является хранителем научной мысли, серьезного труда и просвещенного влияния на молодые поколения, которые стекаются в университеты. Наука двигает общественную мысль, но она же служит и умеряющим началом. Для нее дороги связь вещей, разумное и спокойное понимание явлений. Наука есть разум созидающий. Отсюда та ненависть, которую питают к ней представители того беспутного брожения, того раздраженного безмыслия, которое, как бы в насмешку, величают названием жизни.

Таким образом, деятельность бюрократии ограничивается силою корпорации. Это два элемента, которые друг друга уравновешивают. Их взаимодействие, обеспечивая все интересы, представляется лучшим путем для развития нашего государственного быта. Как бюрократию

следует не уничтожать, а утвердить, улучшая, так и корпорации следует укреплять, упрочивая их права, пополняя их новыми элементами, когда они в том нуждаются, и сближая их в общей деятельности, чтобы достигнуть согласия общественных сил.

Все это — стихии, которые даны нам историею. Но охранительная партия может столь же твердо стоять и за новое начало, за новое учреждение, если оно обещает сделаться зерном прочной государственной организации. Таким учреждением представляется нам Положение 19 февраля.

Из всех преобразований, которым подвергается Россия, самое настоящее, самое плодотворное то, которое глубже всех захватывает жизнь, которое одно в состоянии повернуть всю историю народа — это, бесспорно, освобождение крестьян. В нем для России заключается все. Таковую меру нельзя ни взять назад, ни задержать, ни своротить в сторону; раз введенная в действие, она силою вещей должна изложить все свои последствия. И этот великий переворот был произведен одним актом — Положением 19 февраля. Русский человек может с радостью остановиться на этом явлении. В нем есть все, что составляет великую законодательную меру: зрелое обсуждение вопроса, истинно либеральный дух, соблюдение всех существенных интересов, твердое и ясное постановление начал, сохранение меры в ходе преобразования, наконец, возможность улучшения в частностях. Нам до сих пор не удавалось слышать ни одного существенного возражения против Положения 19 февраля. На него восстают нетерпеливые, которые хотят разом покончить дело, разрешить все затруднения; но кто не поймет, что подобный переворот, обнимающий столько отношений, не может совершиться одним почерком пера, что тут нужно время, нужны переходы, не всегда легкие, но всегда более полезные, нежели внезапные скачки?

Говорят, что Положение никого не удовлетворило, ни помещиков, ни крестьян; но есть ли возможность разрешить вопрос к общему удовольствию там, где одна сторона хочет дать как можно менее, а другая желает все взять? При таких условиях справедливое решение должно возбудить неудовольствие обоих тяжущихся. Время примирит их с преобразованием и покажет им, что они были неправы.

Нет сомнения, что затруднения велики. Дворянство в особенности приносит значительные жертвы общему делу; расстройство хозяйства, уменьшение доходов — вот последствия освобождения крестьян. Но кто же мог воображать, что такое дело можно разрешить припеваючи, что оно может обойтись без болезненного перелома? На это нужно ребяческое легковерие. Временный кризис неизбежен при переходе от крепостного труда к вольнонаемному, при выходе 23 миллионов людей из частной зависимости. Никакой закон не мог этого предотвратить. Как скоро было затронуто полновластие помещика, как скоро он лишился главного орудия своей деятельности, так весь хозяйственный и домашний его быт должен был измениться. А при этом невозможно миновать кризиса. Меньшие льготы крестьянам породили бы только большее неудовольствие, лишние смуты, а потому большее расстройство для самих помещиков. Отечество требует от нас этой жертвы, и дворянство должно с радостью ее принести; это искупление за все те выгоды, которые оно доселе извлекало из крепостного права.

Как бы то ни было, дело сделано, и переменить его нельзя. Теперь самые противники Положения 19 февраля должны признать, что только в неуклонном его исполнении лежит спасение от шаткости всех прав и обязанностей, от расстройств всех общественных отношений. Что подумает народ, и без

того обнаруживающий самые скудные понятия о гражданском устройстве, если у него сегодня отнимут то, что ему дано вчера? Возможно ли тут утверждение собственности на прочных началах? Возможно ли сознание права и закона? Законодательство, которое идет то вперед, то назад, которое ежеминутно отступает от собственных своих положений, лишает народ самой твердой опоры порядка, подрывает к себе уважение, делает невозможными всякие виды на будущее, всякие прочные предприятия. Административные учреждения можно менять, соображаясь с опытом; но законы, которые касаются частного быта, на которых утверждаются права собственности, должны лежать незыблемой твердыней. Когда необходимы перемены, они должны совершаться таким актом, который бы разом пресек недоумения, который бы не подлежал дальнейшим переделкам и был бы обеспечен против шаткости разносторонних соображений. Иначе гражданину, в самых близких ему отношениях, нет гарантии от произвола.

Положение 19 февраля изменило отношение партий, или, лучше сказать, направлений в русском обществе. Многие консерваторы сделались рыными либералами, либералы, напротив, становятся консерваторами. Одни, неисправимые прогрессисты, которые ищут только движения для движения, остались на месте и еще с большим ожесточением продолжают требовать преобразований, по-видимому, не замечая тех громадных событий, которые пред их глазами изменяют целую жизнь народа. К ним примыкают приверженцы старого порядка, задетые в своих убеждениях и в своих интересах. Из этого составляются чудовищные коалиции; в общем раздражении сходятся люди самых противоположных направлений. Но те умеренные либералы, которые желают мирного и законного развития учреждений, разумной самостоятельности общества и согласной деятельности правительства и народа, могут остановиться на Положении 19 февраля, как на краеугольном камне, на котором должно основаться новое здание России. Их дело теперь не беспокойное стремление вперед с вечно новыми притязаниями, а охранение и развитие того, что уже установлено. Либеральные начала, положенные в жизнь, надобно разработать и упрочить незыблемо. Теперь истинный либерализм измеряется не оппозицией, не прославлением свободы, не передовым направлением, а преданностью Положению 19 февраля, которое освободило 23 миллиона русских людей и оградило все их существенные интересы. Этому же должно держаться и разумное охранительное мнение. Консерватизм и либерализм здесь одно и то же.

Различные виды либерализма

Если мы прислушаемся к тому общественному говору, который раздается со всех концов России, и тайно, и явно, и в клубах, и в гостиных, и в печати, то, несмотря на разнообразие речей и направлений, мы легко заметим один общий строй, который владеет над всем. Нет сомнения, что в настоящую минуту общественное мнение в России решительно либерально. Это не случайное направление вытекло из жизненной необходимости; оно порождено силою вещей. Отрицание старого порядка явилось как прямое последствие его несостоятельности. Для всех стало очевидным, что без известной доли свободы в благоустроенном государстве нельзя обойтись.

Такое явление не может не порадовать тех, кому чувство свободы глубоко врезалось в сердце, кто питал и лелеял его в тишине своих дум, в сокровенном тайнике своей души в то время, когда оно изгонялось из общества как возмутительное и преступное. Свобода — лучший дар, данный в удел человеку, она возвышает его над остальным творением, она делает из него существо разумное, она полагает на него нравственную печать. В самом деле, какой поступок имеет цену в наших глазах? Каждому ли деянию приписываем мы нравственную красоту? Не тому, которое совершается по внешнему предписанию, из страха как из слепого поклонения властвующим силам, а тому, которое вытекло из недостижимых глубин совести, где человек наедине с собою, независимый от чужих влияний, решает, сознательно и свободно, что он считает добром и долгом. Нравственное величие человека измеряется этою непоколебимой внутренней силой, недоступной внушениям и соблазнам, этою твердою решимостью, история неуклонно следует свободному голосу правды, которую не сдвинут с места ни иступленные вопли толпы, ни угрозы, ни насилие, ни даже мучения. За внутреннюю свободу человека умирали христианские мученики. И мысль человеческая истекает из неизведанной глубины свободного разума. Та мысль крепка, плодотворна, способна действовать на волю и переходить в жизнь, которая не наложена и не заимствована извне, а переработалась в горниле сознания и является выражением свободных убеждений человека. Внутри сознания раскрывается бесконечный свободный мир, в котором, как в центре, отражается вселенная. Здесь человек — неподвластный хозяин, здесь он судит и насилие, которое налагает на него руку, и безумие, которое хочет заглушить горе разлуки. Здесь вырабатываются те идеи, которым суждено изменить лицо земли и сделаться путеводным началом для самых дальних поколений.

Свобода совести, свобода мысли — вот тот жертвенник, на котором неугасимо пылает присущий человеку божественный огонь, вот источник

всякой духовной силы, всякого жизненного движения, всякого разумного устройства, вот что дает человеку значение бесконечное. Все достоинство человека основано на свободе, на ней зиждутся права человеческой личности. Как свободное существо человек гордо поднимает голову и требует к себе уважения. Вот почему, как бы низко он ни упал, в нем никогда не изглаживаются человеческие черты, нравственный закон не позволяет смотреть на него с точки зрения пользы или вреда, которые он приносит другим. Человек — не средство для чужих целей, он сам абсолютная цель. Свободным человек вступает и в общество. Ограничивая свою волю совместной волей других, подчиняясь гражданским обязанностям, повинаясь власти, представляющей идею общественного единства и высшего порядка, он и здесь сохраняет свое человеческое достоинство и прирожденное право на беспрепятственное проявление разумных своих сил. Общество людей — не стадо бессловесных животных, которые веряются попечению пастуха до тех пор, пока не поступают на убой. Цель человеческих союзов — благо членов, а не хозяина. Власть над свободными гражданами дает пастырям народов достоинство, перед которым с уважением склоняются люди, и нет краше, нет святее этого призвания на земле, нет ничего, что могло бы наполнить сердце человека таким чувством гордости и обязанности.

Идея свободы сосредоточивает в себе все, что дает цену жизни, все, что дорого человеку. Отсюда то обаяние, которое она имеет для возвышенных душ, отсюда та неудержимая сила, с которой она охватывает в особенности молодые сердца, в которых пылает еще весь идеальный жар, отделяющий человека от земли. Глубоко несчастлив тот, чье сердце в молодости никогда не билось за свободу, кто не чувствовал в себе готовности с радостью за нее умереть. Несчастлив и тот, в ком житейская пошлость задушила это пламя, кто, становясь мужем, не сохранил уважения к мечтам своей юности.

Sagen sie Ihm, das sei für die Träume seiner Jugend
Soli Achtung tragen, wenn er Mann seyn wird¹.

В зрелом возрасте идея свободы очищается от легкомыслия, от самонадеянного отрицания, от своеволия, не признающего над собой закона, оно сдерживается пониманием жизни, приравнивается к ее условиям, но она не исчезнет из сердца, а напротив, глубже и глубже пускает в нем корни, становясь твердым началом, которое не подлежит колебаниям и спокойно управляет жизнью человека.

Целые народы чувствуют на себе это могущественное влияние идеи, как показывает история. Свобода внезапно объемлет своим дыханием народ, как бы пробудившийся ото сна. Перед ним открывается новая жизнь. Страхнув с себя оковы, он встает возрожденный. Как иступленная пифия², изрекая вещие глаголы, проповедуя горе сильным земли, он с неодолимой силой низвергает все преграды и несет зажженное им пламя по всем концам света. Но железная необходимость скоро сдерживает эти порывы и возвращает свободу к той стройной гармонии, к тому разумному порядку, к тому сознательному подчинению власти и закону, без которого немислима человеческая жизнь. Волнуясь и ропща, поток мало-помалу вступает в свое русло, но свобода не перестает быть ключом и даровать свежесть и силу тем, которые приходят утолять духовную жажду у этого источника.

Мы, давнишние либералы, вскормленные на любви к свободе, радуемся новому либеральному движению в России. Но мы далеки от сочувствия

всему, что говорится и делается во имя свободы. Часто ее и не узнаешь в лице самых рьяных ее обожателей. Слишком часто насилие, нетерпимость и безумие прикрываются именем обаятельной идеи, как подземные силы, надевшие на себя доспехи олимпийской богини. Либерализм является в самых разнообразных видах, и тот, кому дорога истинная свобода, с ужасом и отвращением отступает от тех уродливых явлений, которые выдвигаются под ее знаменем.

Обозначим главные направления либерализма, которые выражаются в общественном мнении. Низшую ступень занимает либерализм уличный; это скорее извращение, нежели проявление свободы. Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия. Он прежде всего любит шум; ему нужно волнение для волнения. Это он называет жизнью, а спокойствие и порядок кажутся ему смертью. Где слышны яростные крики, неразборчивые и нестоимые ругательства, там, наверное, колышется и негодует уличный либерализм. Он жадно сторожит каждое буйство, он хлопает всякому беззаконию, ибо самое слово «закон» ему ненавистно. Он приходит в неистовый восторг, когда узнает, что где-нибудь произошел либеральный скандал, что случилась уличная схватка в Мадриде или Неаполе: знай наших! Но терпимости к мысли, уважения к чужому мнению, к человеческой личности, всего, что составляет сущность истинной свободы и украшение жизни, от него не ожидайте. Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов. Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться плодом свободной мысли, благородного чувства. Отличительные черты уличного либерала те, что он всех своих противников считает подлецами. Низкие души понимают одни лишь подлые побуждения. Поэтому он и на средства неразборчив. Он ратует во имя свободы, но здесь не мысль, которая выступает против мысли в благородном бою, ломая копья за истину, за идею. Все вертится на личных выходках, на ругательствах; употребляются в дело бессовестные толкования, ядовитые намеки, ложь и клевета. Тут стараются не доказать, а отделать, уязвить или оплевать. Иногда уличный <либерал> прикидывается джентльменом, надевает палевые перчатки и как будто готовится рассуждать. Но при первом столкновении он отбрасывает несвойственные ему помыслы, он входит в настоящую свою роль. Опыянный и бездумный, он хватается за все, кидает чем попало, забывая всякий стыд, потерявши чувство приличия. Уличный <либерал> не терпит условий, налагаемых гостиними; он чувствует себя дома только в кабаке, в грязи, которой он старается закидать всякого, кто носит чистое платье. Все должны подойти под один уровень, одинаково низкий и подлый. Уличный либерал питает непримиримую ненависть ко всему, что возвышается над толпой, ко всякому авторитету. Ему никогда не приходило на ум, что уважение к авторитету есть уважение к мысли, к труду, к таланту, ко всему, что дает высшее значение человеку, а может быть, он именно потому и не терпит авторитета, что видит в нем те преобразовательные силы, которые составляют гордость народа и украшение человека. Уличному либералу наука кажется насилием, нанесенным жизни, искусство — плодом аристократической праздности. Чуть кто отделился от толпы, направляя свой полет в верхние области мысли, познания и деятельности, как уже в либеральных болотах слышится шипение пресмыкающихся. Презренные гады вздымают свои змеиные головы, вертят языком и в бессильной ярости стараются излить свой яд на все, что не принадлежит к их завистливой семье.

Нет, не в злобном шипении гадов, не в пьяном задоре кулачного бойца узнаем мы черты той светлой богини, которой поклоняется человек в лучших своих помыслах, в идеальных своих стремлениях, луч свободы никогда не проникся в это темное царство лжи, зависти и клеветы. Свобода обитает в области правды и света, и когда люди изгоняют ее из своих жилищ, она не прячется в подземные норы, но удаляется в сердце избранников, которые хранят для лучших дней драгоценный завет, добытый страданием и любовью.

Второй вид либерализма можно назвать либерализм оппозиционный. Но, Боже мой! Какая тут представляется смесь людей! Самые разнородные побуждения, самые разнородные типы — от Собакевича³, который уверяет, что один прокурор — порядочный человек, да и тот свинья, до помещика, негодующего за отнятие крепостного права, до вельможи, впавшего в немилость и потому кинувшегося в оппозицию, пока не воссияет над ним улыбка, которая снова обратит его к власти! Кому не знакомо это критическое настроение русского общества, этот избыток оппозиционных излияний, которые являются в столь многообразных формах: в виде бранчивого неудовольствия с патриархальным и невинным характером; в виде презрительной иронии и ядовитой усмешки, которая показывает, что критик стоит где-то далеко впереди, бесконечно выше окружающих в мире; в виде глумления и анекдотцев, обличающих темные козни бюрократов; в виде неистовых нападок, при которых в одно и то же время с одинаковой яростью требуются совершенно противоположные вещи; в виде поэтической любви к выборному началу, к самоуправлению, к гласности; в виде ораторских эффектов, сопровождаемых величественными позами; в виде лирических жалоб, прикрывающих лень и пустоту; в виде бесконечного стремления говорить и суетиться, в котором так и проглядывает огорченное самолюбие, желание придать себе важность; в виде злорадства при всякой дурной мере властей, при всяком зле, постигающем отечество; в виде вольнолюбия, всегда готового к деспотизму, и подавленности, всегда готовой ползать и поклоняться. Не перечтешь тех бесчисленных оттенков оппозиции, которыми изумляет нас русская земля. Но мы хотим говорить не об этих жизненных проявлениях разнообразных наклонностей человека; для нас важен оппозиционный либерализм как общее начало, как известное направление, которое коренится в свойствах человеческого духа и выражает одну из сторон или первоначальную степень свободы.

Самое умеренное и серьезное либеральное направление не может не стоять в оппозиции к тому, что нелиберально. Всякий мыслящий человек критикует те действия или меры, которые не согласны с его мнением. Иначе он отказывается от свободы суждения и становится присяжным служителем власти. Но не эту законную критику, вызванную тем или другим фактом, разумеем мы под именем оппозиционного либерализма, а то либеральное направление, которое систематически становится в оппозицию, которое не ищет достижения каких-либо политических требований, а наслаждается самим блеском оппозиционного положения. В этом есть своего рода поэзия, есть чувство независимости, есть отвага, есть, наконец, возможность более увлекающей деятельности и более широкого влияния на людей, нежели какие представляются в тесном круге, начертанном обыкновенной практикой, жизнью. Все это невольно соблазняет человека. Прибавим, что этого рода направление усваивается гораздо легче всякого другого. Критиковать несравненно удобнее и приятнее, нежели понимать. Тут не нужно напряженной работы мысли, альтернативного и отчетливого

изучения существующего, разумного постижения общих жизненных начал и общественного устройства; не нужно даже действовать: достаточно говорить с увлечением и позировать с некоторым эффектом.

Оппозиционный либерализм понимает свободу с чисто отрицательной стороны. Он отрешился от данного порядка и остался при этом отрешении. Отменить, разрешить, уничтожить — вот вся его система. Дальше он не идет, да и не имеет надобности идти. Ему верхом благополучия представляется освобождение от всяких законов, от всяких стеснений. Этот идеал, неосуществимый в настоящем, он переносит в будущее или в давно прошедшее. В сущности, это одно и то же, ибо история в этом воззрении является не действительным фактом, подлежащим изучению, не жизненным процессом, из которого вытек современный порядок, а воображаемым миром, в который можно вместить все что угодно. До настоящей же истории оппозиционный либерализм не охотник. Отрицая современность, он по этому самому отрицает и то прошедшее, которое ее произвело. Он в истории видит только игру произвола, случайности, а пожалуй, и человеческое безумие. К тому же настроению мысли принадлежит и поклонение неизведанным силам, лежащим в таинственной глубине народного духа. Чем известное начало дальше от существующего порядка, чем оно общее, неопределеннее, чем глубже скрывается во мгле туманных представлений, чем более поддается произволу фантазии, тем оно дороже для оппозиционного либерализма.

Держась отрицательного направления, оппозиционный либерализм довольствуется весьма немногосложным боевым снарядами. Он подбирает себе несколько категорий, на основе которых он судит обо всем, он сочиняет себе несколько ярлычков, которые целиком наклеивает на явления, обозначая тем похвалу или порицание. Вся общественная жизнь разбивается на два противоположных полюса, между которыми проводится непроходимая и неизменная черта. Похвалу означают ярлычки: община, мир, народ, выборное начало, самоуправление, гласность, общественное мнение и т.п. Какие положительные факты и учреждения под этим разумеются, ведает один Бог, да и то вряд ли. Известно, что все идет как нельзя лучше, когда люди все делают сами. Только неестественное историческое развитие да аристократические предрассудки, от которых надо бы избавиться, виноваты, что мы не сами шьем себе платье, готовим себе обед, чиним экипажи. Одно возвращение к первобытному хозяйству, к первобытному самоуправлению может водворить благоденствие на земле. Этим светлым началам, царству Ормузда, противопоставляются духи тьмы, царства Аримана⁴. Эти мрачные демоны называются: централизация, регламентация, бюрократия, государство. Ужас объемлет оппозиционного либерала при звуке этих слов, от которых все горе человеческому роду. Здесь опять не нужно разбирать, что под ними разумеется; к чему такой труд? Достаточно приклеить ярлычок, сказать, что это — централизация или регламентация, — и дело осуждено безвозвратно. У большей части наших оппозиционных либералов весь запас мыслей и умственных сил истощается этой игрой в ярлычки.

В практической жизни оппозиционный либерализм держится тех же отрицательных правил. Первое и необходимое условие — не иметь ни малейшего соприкосновения с властью, держаться как можно дальше от нее. Это не значит, однако, что следует отказываться от доходных мест и чинов. Для природы русского человека такое требование было бы слишком тяжело. Многие и многие оппозиционные либералы сидят на теплых местечках,

надевают придворный мундир, делают отличную карьеру, и тем не менее считают долгом при всяком удобном случае бранить то правительство, которому они служат, и тот порядок, которым они наслаждаются. Но чтобы независимый человек дерзнул сказать слово в пользу власти — Боже упаси! Тут поднимется такой гвалт, что и своих не узнаешь.

Это — низкопоклонство, честолюбие, продажность. Известно, что всякий порядочный человек должен непременно стоять в оппозиции и ругаться.

Затем следует план оппозиционных действий. Цель их вовсе не та, чтобы противодействовать положительному злу, чтобы практическим путем, соображаясь с возможностью, добиться исправления. Оппозиция не нуждается в содержании. Все дело общественных двигателей состоит в том, чтобы агитировать, вести оппозицию, делать демонстрации и манифестации, выкидывать либеральные фокусы, устроить какую-нибудь шутку кому-нибудь в пику, подобрать статью свода законов, присвоив себе право произвольного толкования, уличить квартального в том, что он прибил извозчика, обойти цензуру статейкою с таинственными намеками и либеральными эффектами или, еще лучше, напечатать какую-нибудь брань за границей, собирать вокруг себя недовольных всех сортов из самых противоположных лагерей и с ними отводить душу в невинном свирепении, в особенности же протестовать при малейшем поводе и даже без всякого повода. Мы до протестов большие охотники. Оно, правда, совершенно бесполезно, но зато и безвредно, а между тем выражает благородное негодование и усадительно действует на огорченные сердца публики.

Оппозиция более серьезная, нежели та, которая является у нас, нередко впадает в рутину оппозиционных действий и тем подрывает свои кредиты и заграждает себе возможность влияния на общественные дела. Правительство всегда останется глухо к тем требованиям, которые относятся к нему чисто отрицательно, упуская из виду собственное его положение и окружающие его условия. Такого рода отношение почти всегда бывает в странах, где оппозиционная партия не имеет возможности сама сделаться правительством и приобрести практическое знакомство со значением и условиями власти. Постоянная оппозиция неизбежно делает человека узким и ограниченным. Поэтому, когда наконец открывается поприще для деятельности, предводители оппозиции нередко оказываются неспособными к правлению, а либеральная партия, по старой привычке, начинает противодействовать своим собственным вождям, как скоро они стали министрами.

Когда либеральное направление не хочет ограничиваться пустословием, если оно желает получить действительное влияние на общественные дела, оно должно начать с иных начал, начал зиждущих, положительных, оно должно приноравливаться к жизни, но черпать уроки из истории; оно должно действовать, понимая условия власти, не становясь к ней в систематически враждебное отношение, не предъявляя безрассудных требований, но сохраняя беспристрастную независимость, побуждая и задерживая, где нужно, и стараясь исследовать истину хладнокровным обсуждением вопросов. Это и есть либерализм охранительный.

Свобода не состоит в одном приобретении и расширении прав. Человек потому только имеет права, что он несет на себе обязанность, и наоборот, от него можно требовать исполнения обязанностей единственно потому, что он имеет права. Эти два начала неразрывные. Все значение человеческой личности и вытекающих из нее прав основано на том, что

человек есть существо разумно-свободное, которое носит в себе сознание верховного нравственного закона и в силу свободной своей воли способно действовать по представлению долга. Абсолютное значение закона дает абсолютное значение и человеческой личности, его сознающей. Отнимите у человека это сознание — он становится наряду с животными, которые повинуются влечениям и не имеют прав. К ним можно иметь привязанность, сострадание, а не уважение, потому что в них нет бесконечного элемента, составляющего достоинство человека.

Но верховный нравственный закон, идея добра, это неперемненное условие свободы, не остается отвлеченным началом, которое действует на совесть и которому человек может повиноваться по своему усмотрению. Идея добра осуществляется во внешнем мире; она соединяет людей в общественные союзы, в которых люди связываются постоянной связью, подчиняясь положительному закону и установлениям власти. Каждый человек рождается членом такого союза. Он получает в нем положительные права, которые все обязаны уважать, и положительные обязанности, за нарушение которых он подвергается наказанию. Личная его свобода, будучи неразрывно связана со свободой других, может жить только под сенью гражданского закона, повинаясь власти, его охраняющей. Власть и свобода точно так же нераздельны, как нераздельны свобода и нравственный закон. А если так, то всякий гражданин, не преклоняясь безусловно перед властью, какова бы она ни была, во имя собственной свободы обязан уважать существо самой власти.

«Немного философии,— сказал Бэкон,— отвращает от религии, более глубокая философия возвращает к ней»⁵. Эти слова можно применить к началу власти. Чисто отрицательное отношение к правительству, систематическая оппозиция — признак детства политической мысли. Это первое ее пробуждение. Отрешившись от безотчетного погружения в окружающую среду, впервые почувствовав себя независимым, человек радуется необъятной радостью. Он забывает все, кроме своей свободы. Он оберегает ее жадно, как недавно приобретенное сокровище, боясь потерять из нее малейшую частичку. Внешние условия и ограничения для него не существуют. Историческое развитие, установленный порядок, все это — отвергнутая старина; это — сон, который предшествовал пробуждению. Человек в себе самом видит центр Вселенной и исполнен безграничного доверия к своим силам. Но когда чувство свободы возмужало и глубоко укоренилось в сердце, когда оно утвердилось в нем незыблемо, тогда человеку нечего опасаться за свою независимость. Он не сторожит ее боязливо, потому что это — не новое, не внешнее приобретение, а сама жизнь его духа, мозг его костей.

Тогда лишь раскрывается перед ним отношение этого внутреннего центра к окружающему миру. Он не отрешается от последнего в своевольном порыве, но, сохраняя бесконечную свободу мысли и непоколебимую твердость совести, он сознает связь своего внутреннего мира с внешним; он постигает зависимость своей внешней свободы от свободы других, от исторического порядка, от положительного закона, от установленной власти. История и современность не представляются ему произведением бесконечного произвола и случайности, предметом ненависти и отрицания. Уважая свободу других, он уважает и общий порядок, который вытек из свободы народного духа, из развития человеческой жизни. За отрицанием следует примирение, за отрешением от начал, владычествующих в мире,— возвращение к ним, но возвращение не бессознательное, как

прежде, а разумное, основанное на постижении истинного их существа и возможности дальнейшего хода. Разумное отношение к окружающему миру составляет положительный плод и высшее проявление человеческой свободы. Оно же и необходимое условие для ее водворения в обществе. Свобода не является среди людей, которые делают из нее предлог для шума и орудие интриг. Неистовые крики ее прогоняют, оппозиция без содержания не в силах ее вызвать. Свобода основывает свое жилище только там, где люди умеют ценить ее дары, где в обществе утвердились терпимость, уважение к человеку и поклонение высшим силам, в которых выражается свободное творчество человеческого духа.

Сущность охранительного либерализма состоит в примирении начала свободы с началами власти и закона. В политической жизни лозунг его: либеральные меры и сильная власть — либеральные меры, представляющие обществу самостоятельную деятельность, обеспечивающие права и личность граждан, охраняющие свободу мысли и свободу совести, дающие возможность высказаться всем законным желаниям, — сильная власть, блюстительница государственного единства, связующая и сдерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзирающая за исполнением закона, пресекающая всякое его нарушение, внушая гражданам уверенность, что во главе государства есть твердые руки, на которые можно надеяться, и разумная сила, которая сумеет отстоять общественные интересы и против напора анархических стихий, и против воплей реакционных партий.

В действительности государство с благоустроенным общежитием всегда держится сильной властью разве что в те моменты, когда оно склоняется к падению или подвергается временному расстройству. Но и временное ослабление власти ведет к более энергичному ее восстановлению. Горький опыт научает народы, что им без сильной власти обойтись невозможно, и тогда они готовы кинуться в руки первого деспота. Они же обличают всю несостоятельность оппозиционного либерализма. Отсюда то обыкновенное явление, что те же самые либералы, которые в оппозиции ратовали против власти, получив правление в свои руки, становятся консерваторами. Это считается признаком двоедущия, низкопоклонства, честолюбия, отрекающегося от своих убеждений. Все это, без сомнения, слишком часто справедливо, но тут есть и более глубокие причины, которые заставляют самого честного либерала впасть в противоречие с собою. Необходимость управлять на деле раскрывает все те условия власти, которые упускают из вида в оппозиции. Тут недостаточно производить агитацию; надобно делать дело, нужно не разрушать, а устраивать, не противодействовать, а скреплять, и для этого требуются положительные взгляды и положительная сила. Либерал, облеченный властью, поневоле бывает принужден делать именно то, против чего он восставал, будучи в оппозиции. Мне случилось по этому поводу слышать от знаменитого Бунзена⁶ следующий характеристический анекдот, который показывает, как на то смотрят государственные мужи в свободных странах: когда О'Коннел⁷ был выбран дублинским мэром, Бунзен, бывший тогда прусским посланником в Лондоне, спросил у сэра Роберта Пили, в то время первого министра; не беспокоит ли его этот выбор? «Совсем напротив, — отвечал сэр Роберт Пиль, — для усмирения демагога нет лучшего средства, как дать ему какую-нибудь власть в руки, он по необходимости становится ее защитником».

Страшной катастрофой завершилось одно из величайших царствований в русской истории. Монарх, который осуществил заветные мечты лучших русских людей, который дал свободу двадцати миллионам крестьян, установил независимый и гласный суд, даровал земству самоуправление, снял цензуру с печатного слова, этот монарх, благодетель своего народа, пал от руки злодеев, преследовавших его в течение нескольких лет и наконец достигших своей цели¹. Такая трагическая судьба не может не произвести потрясающего действия на всякого, в ком не помутилась мысль и в ком не иссякло человеческое чувство.

Но еще более политический мыслитель смущается при виде того наследия, которое этот благодушный государь, сеятель свободы на русской земле, оставляет своему преемнику. Казалось бы, что совершенные преобразования должны были поднять русскую жизнь на новую высоту, дать крылья слишком долго скованному народному духу. А между тем в действительности произошло не то. Вместо подъема мы видим упадок и умственный, и нравственный, и отчасти материальный. Вместо нового благотворного порядка везде ощущается разлад. Повсюду неудовольствие, повсюду недоумение. Правительство не доверяет обществу, общество не доверяет правительству. Нигде нет ни ясной мысли, ни руководящей воли. Россия представляет какой-то хаос, среди которого решимость проявляют одни разрушительные элементы, которые с неслыханной дерзостью проводят свои замыслы, угрожая гибелью не только правительству, но и всему общественному строю. Последнее злодеяние переполнило меру; оно показало, что мы должны ежеминутно трепетать за самые священные основы народной жизни.

В чем же заключаются причины зла, и где найти против него лекарство?

Многие приписывают печальное состояние русского общества тем реакционным стремлениям, которые в последнюю половину прошедшего царствования получили перевес в правительственных сферах и которые повели будто бы к искажению преобразований. Такой упрек обличает только крайне поверхностный взгляд на вещи. Нет сомнения, что можно подвергнуть критике многие из мер, принятых в последние годы русским правительством; еще более можно критиковать способ действия и выбор людей. Но в общем итоге нет ни одного преобразования, которое подверглось бы серьезному искажению в коренных своих основах. Державная рука, их совершившая, хранила их, как свое детище. Положение 19 февраля исполнено во всем своем объеме; земства и города действуют самостоятельно в установленных для них пределах; сохранились и не-сменяемость судей, и гласность судопроизводства, и суд присяжных; над

печатью не восстановлена цензура. Если в прежнее время, при крепостном праве, при самой стеснительной цензуре и при всемогуществе бюрократии, русское общество могло не только дышать, но и развиваться, если тогда в нем были и идеальные цели, и силы, и таланты, и полнота жизни, то тем более все это возможно при настоящем порядке, где всякой деятельности открыт широкий простор и существующие стеснения имеют для России не более значения, как булавочные уколы на коже кита. Конечно, правительство принуждено было принять чрезвычайные меры, временно устранить гарантии личной свободы, но разве это не было вызвано положением дел, террором, исходящим не от правительства, а из недр самого общества? Взваливать на происшедшую в правительстве реакцию вину общественной смуты, приписывать существующий в обществе разлад тем или иным циркулярам министров, мнимому деспотизму губернаторов, предостережениям, которые даются журналам, или даже существованию подушной подати и паспортной системы — значит пробавляться пустяками. Кто довольствуется подобными объяснениями, с тем столь же мало можно говорить о политике, как со слепым о цветах.

Причины зла кроются гораздо глубже; они заключаются в самом состоянии русского общества и в той быстроте, с которою совершились в нем преобразования.

Всякое общество, внезапно выброшенное из своей обычной колеи и поставленное в совершенно новые условия жизни, теряет равновесие и будет некоторое время бродить наобум. Французская революция представила тому живой пример. В России революция совершилась не снизу, а сверху, но перемена была не менее громадна. Народ, в течение веков находившийся в крепостном состоянии и привыкший преклоняться перед всемогуществом власти, внезапно очутился среди гражданского порядка, созданного для свободы. Крепостное право исчезло; сословия уравнились. Возникли самостоятельные силы; явилась потребность совокупной деятельности. Руководящее сословие в особенности было поставлено совершенно на новую почву и должно было отказаться от всех своих прежних привычек. Ему разум приходилось и поддерживать свое потрясенное материальное благосостояние, и приниматься за новую общественную работу, и все это без надлежащей подготовки, при том скудном образовании, которое доставляла русская жизнь. Даже весьма просвещенное общество с трудом могло бы вынести подобный переворот; что же сказать об обществе малообразованном? Все отношения изменились; всякие предания исчезли; все понятия перепутались. К довершению беды, преобразования совершились в такую пору, когда наша учительница на пути гражданского развития, Западная Европа, вместе с великими началами, легшими в основание преобразований прошедшего царствования, принесла нам и смуту. И там происходит кризис и в умственной, и в политической области: идет борьба между капиталом и трудом; материалистические учения обуревают умы, а дикие страсти, волнующие народные массы, стремятся к ниспровержению всех коренных основ, которыми держится человеческое общежитие. Мудрено ли, что эти смутные идеи, проникая в невежественную среду и находя восприимчивую почву в бродячих элементах, разнужданных общественным переворотом, окончательно сбивают с толку неприготовленные умы и производят те безобразные явления, которые приводят нас в ужас и негодование.

Вот где кроются причины зла; где же искать против него лекарства?

Те, которые всю вину нашей общественной смуты возлагают на реакционные стремления: правительства имеют наготове целую либеральную программу, которая, довершая преобразования, должна осчастливить русскую землю. Но если они не видят причины зла, то еще менее они в состоянии указать против него врачевание.

Лекарство не заключается в прославляемой ныне свободе печати. Собственный наш двадцатипятилетний опыт, которым подтверждается давнишний опыт других народов, мог бы излечить нас от этого предрассудка. Свобода печати, главным образом периодической, которая одна имеет политическое значение, необходима там, где есть политическая жизнь; без последней она превращается в пустую болтовню, которая умственно развращает общество. Особенно в среде малообразованной разнузданная печать обыкновенно становится мутным потоком, куда стекаются всякие нечистоты, вместилищем непереваренных мыслей, пошлых страстей, скандалов и клеветы. Это признается самыми либеральными западными публицистами, беспристрастно наблюдающими явления жизни. В России периодическая печать в огромном большинстве своих представителей явилась элементом разлагающим; она принесла русскому обществу не свет, а тьму. Она породила Чернышевских, Добролюбовых, Писаревых² и многочисленных их последователей, которым имя ныне легион. И теперь, когда печать далеко не пользуется полною свободою, всякий, умеющий читать, видит сквозь либеральную маску всюду прорывающиеся социалистические стремления. Если же правительство, желая задобрить журналистику, откажется от единственного, находящегося в его руках оружия — от предостережения, то социалистической пропаганде будет открыт полный простор. Напрасно мы будем надеяться, что она встретит противодействие со стороны здоровых элементов общества. Чтобы противодействовать рассеиваемой под научным и филантропическим призраком лжи, нужны мысль, и знание, и труд; а огромное большинство читающей публики именно потому пробавляется журналами и газетами, что оно само не хочет ни думать, ни работать. При таких условиях громкая фраза и беззастенчивая брань всегда будут иметь перевес. Уважающий себя писатель с омерзением отвернется от подобного турнира. Свобода необходима для научных исследований; без этого нет умственного развития; но периодическая печать требует у нас сдержки, а не простора. Она составляет самое больное место русского общества.

Еще менее лекарства заключается в удовлетворении так называемых требований молодежи. В свободных странах сменяются в правительстве охранительная партия и либеральная, меняются иногда программы учения, но все эти перемены не имеют влияния на положение учащихся, ибо все одинаково сознают, что тут необходимо прежде всего постоянное и твердое руководство. У нас же отношения начальства к учащемуся юношеству беспрерывно переходят из одной крайности в другую, как будто нарочно для того, чтобы сбить с толку молодые умы и не оставить в них ни одного твердого понятия. Конечно, когда вожжи были слишком натянуты, нужно послабление. Но чтобы само правительство добровольно вносило в учебные заведения смуту и разлад, возбуждая юношество, возмущая всех разумных людей и вызывая громкие рукоплескания легкомысленных агитаторов, чтобы оно, в погоне за популярностью, вело к систематическому разрушению учреждений, в которых воспитываются молодые силы, этому едва ли представляет пример какая-либо другая

европейская страна. И когда подумаешь, что у нас учащаяся молодежь необыкновенно податлива на разрушительные теории и что из нее набирается главный континент нигилизма, то подобное направление еще более поражает своею несообразностью. Положить как можно скорее конец этой растлевающей деятельности, грозящей гибелью молодому поколению,— такова насущная потребность дня. На юношестве, по самым его свойствам, всего более отражается общественная смута, тут легкомысленный либерализм вреднее, чем где-либо.

Лекарство не заключается и в возвращении политических ссыльных, в отмене чрезвычайных мер и в восстановлении законного порядка. Нет сомнения, что при прежнем управлении, и особенно при тех орудиях, которые оно употребляло, было много напрасных жертв, возбуждавших только большее озлобление. Административный произвол, не сдержанный разумной властью, открывает простор к злоупотреблениям всякого рода. Поэтому нельзя не быть признательным тому государственному человеку, который, взглянув трезвее на вещи, нашел необходимым внести в это дело более осмотрительности, более человеколюбия и более снисходительности к заблудившимся молодым людям. Но если желательно, чтобы власть поступала в этом деле не иначе как с крайней осторожностью, обставив себя возможными сведениями, пожалуй, даже совещательным учреждением, то совершенное устранение произвола при настоящих условиях немыслимо. В итоге нельзя не признать, что сбитая с пути часть русской молодежи составляет самый вредный и опасный для государства элемент. Вообразать, что можно мягкостью возвратить к полезной гражданской деятельности этот умственный пролетариат, порождаемый и изменившимся положением наших сословий и состоянием наших учебных заведений, и тем хаосом, который господствует в нашем обществе, значило бы быть уже слишком наивным утопистом. Пока существует социалистическая партия, стремящаяся к ниспровержению всего общественного строя, до тех пор чрезвычайные меры будут необходимы. Конечно, все друзья либеральных преобразований прошедшего царствования не могли без горести видеть, как вместо установленных законом гарантий водворился личный произвол. Но всякий, кто беспристрастно смотрит на вещи, должен признать, что виновато в этом не правительство. Когда шайка крамольников доходит до самых неслыханных злодеяний, тогда спасение общества требует приостановки гарантий. Только лишенные всякого политического смысла русские газеты могли мечтать о возвращении в настоящее время к законному порядку. Нельзя не пожалеть о том, что и петербургское дворянство под влиянием окружающего его воздуха вступило на тот же путь. Для того чтобы законный порядок восстановился в учреждениях, надобно, чтобы он водворился в умах.

Лекарство не лежит и в административных реформах, касающихся местного управления. По-видимому, правительство обратило на этот предмет особенное внимание и с этой целью послало в губернии ревизующих сенаторов. Но если эти сановники привезут в столицу мнения здравомыслящих и знакомых с практикой людей, живущих на местах, то они донесут правительству, что хотя и желательны частные улучшения, однако никакого коренного преобразования в местном управлении не требуется. Реформами прошедшего царствования оно поставлено на настоящую ногу, и отношения между властями установлены правильные. Только никогда не участвовавшие в земских делах могут утверждать, что деятельность зем-

ских учреждений парализуется властью губернаторов. В действительности власть губернаторов нельзя ни усилить, ибо этим нарушились бы дорогие земству права, ни ослабить, ибо через это правительство лишилось бы необходимого органа. А с другой стороны, невозможно расширить и круг ведомства выборных учреждений. При наличных силах они едва в состоянии справиться с своей задачей; как же они справятся с большей?

Самое больное место провинциальной администрации находится в крестьянском управлении, особенно волостном. Недостаточность суда, произвол старшин, владычество писарей — все это слишком известно. Но и тут помочь злу можно только частными мерами, усилением личного состава уездных присутствий, предоставлением некоторых дел мировым судьям, заменою кассации апелляцией и т. п. Всякое же коренное преобразование при настоящих условиях провинциального быта немислимо. Уничтожить волость нельзя, не расстроивши всего уездного управления; можно только или взять ее в опеку, или ввести в нее образованные элементы. Но ни то, ни другое не приведет к желанным результатам, именно вследствие крайней скудности образованных элементов в провинции. В этом заключается главное зло, которым страдает наше местное управление, зло, которое может быть устранено только временем. При нынешнем безлюдии всякая органическая перемена будет только бесполезной ломкой. Усиление чиновничьего элемента, не говоря уже об известной его неблагонадежности, нежелательно уже потому, что через это изменится земский характер учреждений. Водворение же маленьких пашей из местных помещиков повело бы только к эксплуатации крестьянского населения во имя частных интересов и к преобладающему значению этих лиц в земских собраниях, где половина голосов будет в их руках.

Лекарство не заключается и в улучшении хозяйственного быта крестьян, о чем теперь так громогласно толкуют, в увеличении наделов, в уменьшении тяжестей, в переселениях, в уравнивании податей. Газеты провозглашают, что ныне, как и двадцать лет тому назад, перед нами стоит грозный крестьянский вопрос, который нам предстоит разрешить. В действительности же этот грозный крестьянский вопрос не что иное, как миф, созданный воображением петербургских либералов но без значительного влияния социалистов. Вся эта агитация может повести лишь к смущению крестьян возбуждением в них несбыточных надежд. Бесспорно, есть частные бедствия и нужды, которым следует помочь, есть даже обеднение значительной части крестьянского населения, но это происходит оттого, что предоставленные себе крестьяне, еще менее, нежели помещики, в состоянии стоять на своих ногах. Причины бедности кроются в плохой обработке земли, в хищническом хозяйстве, преобладающем у крестьян, в непривычке их к сбережениям и в излишней привычке к пьянству, в безрассудных семейных разделах, главное же, в закрепощении крестьянина общине и круговой поруке. Через это имеющие возможность богатеть насильственно низводятся на степень нищих. Не поможет этому злу увеличение наделов, ибо через некоторое время, с приращением народонаселения, наделы опять окажутся малы. Не помогут и переселения, которые в отдельных случаях могут быть полезны, но которые как широкая мера не имеют смысла при том скудном населении, которое существует в России. Настоящая задача состоит не в том, чтобы колонизировать новые земли, а в том, чтобы улучшить хозяйство на местах, а для этого единственной разумной мерой было бы довершение освобождения русского крестьянства освобождением

его от общины и круговой поруки, присвоением ему в собственность той земли, на которую он имеет неотъемлемое право, ибо он покупает ее на свои трудовые деньги. Только через это у крестьян могла бы развиваться та самостоятельность, без которой невозможны никакие хозяйственные успехи: это было бы настоящим завершением Положения 19 февраля. Но именно этот единственный разумный исход крестьянского дела возбудит вопль не только всей лжелиберальной печати, всегда готовой стоять горой за все подходящее к социализму, но и значительной части консерваторов, увлекающихся славянофильскими идеями, или пугающихся призрака пролетариата. В настоящую минуту этого вопроса разрешить нельзя; он должен быть предварительно подготовлен тщательными исследованиями на местах. Разложение общины совершится неизбежно; она не устоит против свободы. Но желательно, чтобы оно совершилось так, чтобы у крестьянина упрочилось понятие о собственности, без которого нет свободного гражданского быта и всегда открыта почва для социалистических волнений. Что касается до уравнивания податей, то и это начало весьма почтенное; но надобно знать, каковы будут его хозяйственные и политические последствия. Когда при недостатке финансовых средств с одной части населения снимаются тяжести, то следует спросить: на кого они падут? Если на землевладельцев, то последние, в свою очередь, могут быть обременены чрезмерными налогами. И теперь уже помещичьи земли платят от 10 до 13 процентов с чистого дохода. Если взвалить на них еще несколько процентов, то они не выдержат. Главное зло нашего хозяйства состоит в недостатке капитала; а при увеличении податей накопление его делается еще затруднительнее, и самое хозяйство станет столь невыгодным, что помещики принуждены будут обратиться к другим занятиям. Имения усиленно будут переходить в руки разбогатевших крестьян и купцов, местная интеллигенция окончательно исчезнет; а если мы при этом сообразим, что при существующем уровне крестьянского сословия полученное им облегчение легко может пойти на увеличение дохода с винного акциза, как это зачастую бывает при хороших заработках, то мы увидим, что подобная, теоретически благодетельная мера на практике может обратиться во всеобщее разорение. Поэтому тут следует быть весьма осторожным.

Кроме того, нельзя упускать из виду, что уравнивание податей связано и с политическим вопросом. У нас, так же как и в других европейских государствах, исторически выработалось понятие о высшем сословии как неподатном. Отнятие у дворянства этой последней привилегии, привлечение его к податному бремени без уравнивания этой тяжести правом давать свое согласие на подати и контролировать расходы не может не возбудить в нем общего неудовольствия. Скажут, что правительство, опирающееся на народ, довольно сильно, чтобы пренебрегать этим неудовольствием. Но полезно ли уничтожать без вознаграждения последние остатки исторического права в стране, где все понятия о праве в высшей степени шатки и где поэтому столь же шатки неразрывно связанные с правом понятия об обязанности? И выгодно ли будет для правительства возбуждать неудовольствие именно в наиболее охранительной части общества, в той, которая способнее всех других служит связью расшатавшегося здания? Думаем, что не теперь можно пренебрегать дворянством.

Не следует ли, однако, приступить, наконец, к дарованию политических прав — к тому, что привыкли называть завершением здания? В настоящую минуту оно было бы менее всего уместно. После освобождения крестьян

дворянство некоторое время мечтало о конституционных правах, которыми оно думало вознаградить себя за утраченные привилегии. Но эти стремления встречали противодействие в наиболее разумной части общества, которая понимала, что не в эпоху коренных преобразований, изменяющих весь общественный строй, можно думать об ограничении верховной власти. Впоследствии, когда умы успокоились и русское общество начало привыкать к новому порядку жизни, конституционных гарантий могли желать и те, которые не увлекались современными страстями. Но эта пора спокойного усвоения преобразования прошла, как мимолетная тень. Проявившиеся со страшной энергией новые силы внесли страшную смуту в только что начинавшее приходить в сознание общество. В настоящее время говорить о завершении здания могут только последователи нигилизма или те, которые уже решительно не в состоянии ничего думать и понимать. Теперь всякое ограничение власти было бы гибелью. Таким образом, вся ходячая либеральная программа, с которой носятся известного разряда русские журналисты и их поклонники, должна быть устранена. Она ведет лишь к усилению разлагающих элементов общества, а нам нужно прежде всего дать перевес элементам скрепляющим.

Однако из этого не следует, что нельзя сделать шага в либеральном смысле. Свободно можно и должно пользоваться, но не распуская, а направляя. Новое правительство неизбежно должно будет обратиться к обществу и искать в нем опоры; но целью должно быть не ослабление, а усиление власти, ибо такова наша насущная потребность. С какой бы стороны мы ни взглянули на предстоящие нам задачи, это требование возникает перед нами неотразимо. Злоба дня состоит в борьбе с социализмом. У нас эта борьба в некотором отношении представляет менее затруднений, нежели в других странах. Социализм не распространен в массах, которые остались чуждыми этой заразе. Русское правительство имеет дело с сравнительно небольшой шайкой, которая набирается из разных слоев общества, но главным образом из умственного пролетариата, размножаемого нашими учебными заведениями и поджигаемого радикальной печатью. Но эта шайка ведет дело разрушения с такой энергией и с таким постоянством, каких слишком часто, увы, недостает в правительственных сферах.

Бороться с нею можно только тем же оружием. Напрасно мечтают о возможности умиротворения путем уступок. Для тех, которые положили себе целью одно разрушение, всякие уступки будут служить только средством к исполнению их дальнейших замыслов. В этих видах они требуют ныне конституционного порядка, которым, в сущности, они вовсе не дорожат. Одолеть их русское правительство и русское общество могут, только показав такую же непреклонную энергию и такое же постоянство, какие выказывает это отребье человеческого рода. Всякое послабление было бы гибелью; всякое старание держаться пути закона будет признаком слабости. Без сомнения, подобная борьба потребует новых жертв. Погибнут и невинные; падут, может быть, и некоторые из лучших сынов отечества. Кто знает, что готовит нам будущее? Но если сражен будет один, то на его место станет другой. Не в одних царевубийцах сосредоточилась сила воли русского человека, и если дело пойдет на борьбу с крамоллой, то русская земля воздвигнет из себя наконец Геркулеса³, который сокрушит беспрерывно нарождающиеся головы этой гидры. От этого зависит и наше спасение, а вместе и будущность человечества.

В состоянии ли, однако, русское правительство одними собственными силами вести такую борьбу? Нет, для этого требуется нравственная поддержка всего народа, не та, которая дается потерявшими всякое значение официальными адресами, а та, которую может дать только живое общение с представителями земли. И призванная к совету земля, без сомнения, даст эту поддержку. Лишь бы она видела в правительстве решимость, а в помощи она ему не откажет. Но если она в носителях власти найдет колебание, тогда все погубило.

Одних полицейских и карательных мер недостаточно, однако, для врачевания разъедающего нас зла. Надобно проникнуть к самому его корню; нужно поддержать расшатавшееся здание русского общества, поднять здоровые элементы и обуздать те, которые дают пищу разрушительным силам. Что же для этого требуется? Разумное руководство. В отсутствии его заключается главная причина зла; и в нем только мы найдем против него лекарство.

Всякое общество нуждается в руководстве, все равно идет ли оно сверху, или воздвигается снизу. Главная задача конституционного правления состоит в том, чтобы из среды народа выставить для него руководителей. Такими в Англии являются признанные вожди партий; во Франции ту же роль играет в настоящее время президент палаты депутатов⁴, в Германии — знаменитый государственный человек, создавший германскую империю⁵. В обществе малообразованном руководство нужнее, нежели в образованном, а в обществе, выбитом из обычной своей колеи, оно необходимее, нежели где-либо. Но именно это-то существеннейшее требование политической жизни в России не удовлетворяется. Совершив преобразования, поставив общество на свои ноги, правительство как будто успокоилось, не заботясь о дальнейшем движении. Те же из государственных людей, которые хотели руководить, занятые более личными своими интересами, нежели искренним отношением к делу, умели только возбудить всеобщую оппозицию и заставляли самых умеренных людей, готовых всеми силами содействовать правительству, становиться в ряды его противников. С своей стороны общество, предоставленное себе, не умеет найти равновесия. Оно шатается, как шальное, не зная, за что ухватиться, и нигде не находя твердой точки опоры — ни в правительстве, на которое оно издавна привыкло полагаться, ни в своих собственных, еще не сложившихся силах.

При существующих условиях, действительно, руководство едва ли даже возможно.

Правительство, отрешенное от общества, не в состоянии его дать; общество, отрешенное от правительства, его не примет.

Было время, когда самодержавная власть, с помощью своих собственных орудий, беспрестанно руководила народом. Об этом свидетельствует вся русская история. Но это время прошло безвозвратно. Уже при Александре I⁶ совершился перелом. В царствование Николая⁷, при внешней покорности, он сделался еще глубже. Преобразования прошедшего царствования, приняв во внимание изменившееся течение жизни, имели в виду организовать русское общество как самостоятельную и свободную силу. При таком порядке одной правительственной деятельности недостаточно. С самостоятельными силами надобно считаться; надобно призывать их к совету и совоюпно с ними направлять их общественное движение.

Самые орудия правительства износились. Таких орудий было два: высшая аристократия, окружавшая престол, и бюрократия, из среды своей

поставлявшая служителей государству. Русская аристократия в прежнее время имела огромное политическое значение. Она высоко стояла и по образованию, и по государственным способностям. И теперь еще мы с уважением смотрим на редкие остатки образованных вельмож, воспитавшихся во времена Александра I. Но в новейшее время она, несомненно, пришла в упадок. Реакция, последовавшая за событиями 1825 г.⁸, нанесла ей решительный удар. Вместо образования и государственных способностей от нее стали требовать преданности и покорности. Русская аристократия не сумела сохранить свои предания и нравственно удержаться на высоте своего положения. В настоящее время она не способна служить руководителем общества. Для этого ей нужно было бы внутренне обновиться, проникнуться образованием, возвратиться к преданиям просвещенного вельможества прежних времен. Тогда только она могла бы сделаться твердым оплотом государственного порядка и центром общественной жизни.

Не менее износилась и бюрократия. И последние еще в недавнее время, под влиянием разлитого в обществе образования и господствовавших в нем умственных интересов, способна была выставить из среды своей просвещенных деятелей. Самым крупным их представителем был Н. А. Милютин. Но ныне и эта среда измельчала. На ней отразилось влияние того либерального легкомыслия, которое веет в петербургской журналистике. Или же оно погрузилось в мелкие интриги без всякой ширины взгляда, без всякого понимания истинных интересов отечества. В окружающей его бюрократической сфере правительство не найдет людей.

Мало того — если бы оно захотело выйти из заколдованного чиновничьего круга и обратилось к независимым общественным силам, то и здесь оно нашло бы крайнюю скудость. Нельзя скрывать от себя, что в последние тридцать лет образование в России значительно понизилось. То, что оно выиграло количественно, то оно потеряло в качестве. А для руководящих сил главное требование заключается в качестве. Причины этого упадка многообразны: полное падение школ с 1848 г.¹⁰, господство журналистики, которая знание и труд заменяет задором и верхоглядством, наконец, преобладание практических интересов над теоретическими. Серьезная работа над высшими теоретическими вопросами поднимает людей и умственно, и нравственно; чисто практические интересы, напротив, если они вращаются в мелкой сфере, понижают и умы, и характеры. В прошедшее царствование, когда во все стороны открылось свободное поле для деятельности, все русское общество жадно ринулось на практические занятия. Умственные вопросы были забыты или низведены на степень средств для практических целей. Пока еще продолжался период преобразований, общее одушевление поднимало людей. Но ныне и это чувство остыло. Жизнь вошла в обыденную колею, и все погрузилось в преследование мелких целей, в занятие житейскими дразгами или в погоню за материальным благосостоянием. Люди, стоящие вне правительственных сфер, имеют перед бюрократией то преимущество, что они лучше знают свое отечество и ближе к сердцу принимают его интересы, но им, кроме широкого образования, недостает и опытности в государственных делах, а без опытности невозможно принять на себя роль руководителя. Тем не менее обратиться к обществу необходимо. Если правительство само по себе не в состоянии им руководить, если собственные его орудия износились, то это единственный исход из невыносимого положения. Но обратиться к обществу следует не с тем, чтобы почерпнуть из него несуществующую в нем мудрость,

а с тем, чтобы воспитать его к политической жизни, создав для него такие условия, при которых возможно правильное политическое развитие. Надобно вырвать его из тесной сферы мелких практических интересов, открыть ему более широкое поприще и поднять его уровень, поставив его лицом к лицу с высшими интересами отечества. Одним словом, надобно создать орган, в котором могла бы вырабатываться общественная мысль и общественная воля.

Нет необходимости, чтобы таким органом был непременно парламент, облеченный политическими правами. Такого рода учреждения пригодны только для общества зрелого, установившегося на своих основах, а нам пока предстоит воспитаться. Политическая свобода может быть отдаленным идеалом русского человека; насущная потребность заключается единственно в установлении живой связи между правительством и обществом для совокупного отпора разлагающим элементам и для внесения порядка в русскую землю. Эта цель может быть достигнута приобщением выборных от дворянства и земства к Государственному совету¹¹.

Конечно, для конституционной жизни подобное учреждение было бы недостаточно; но русский народ получит в нем именно то, что ему нужно. Здесь впервые правительство и общество будут соединены не внешним только, официальным путем, а органически. Пагубное для русской жизни разобщение прекратится; органы правительства и земли, стоя лицом к лицу и совместно обсуждая общие дела, будут знать и понимать друг друга. Правительство не будет уже чувствовать себя бессильным в своем одиночестве; собрав вокруг себя все охранительные элементы страны, оно может смело вступить в борьбу с крамолой. Здесь только и является возможность разумного руководства. В таком лишь учреждении могут вырабатываться и люди, способные отвечать современным потребностям. У всех народов, вышедших из-под бюрократической опеки, одна парламентская жизнь в состоянии дать государственных *д*злей, умеющих направлять свободное общество. Здесь люди воспитываются уже не в канцелярской рутине; они приучаются иметь дело с самостоятельными силами и заменять подземные интриги явной борьбой мнений. Здесь невозможно оказывать пренебрежение к существеннейшим интересам отечества; они тут налицо, и надобно с ними считаться. Без сомнения, парламентское большинство может часто ошибаться в понимании этих интересов. Но пополненный выборными Государственный совет не имеет и этой невыгоды, ибо ему предоставляется только совещательный голос. Здесь важно не столько решение вопросов тем или иным большинством, сколько создание среды, в которой могут действовать люди и которая одна в состоянии развить в них государственные способности, пригодные к порядку, основанному на свободе.

Только подобное учреждение может избавить общество и от владычества журнализма. В настоящее время руководителем общественного мнения становится всякий фельетонист, владеющий несколько бойким пером и умеющий посредством скандалов и задора привлечь к себе внимание публики. Тут не нужны ни знание, ни ум, ни даже талант: достаточно бесстыдства, которое в газетной полемике всегда возьмет верх среди общества, не привыкшего к тонкому анализу и оценке мысли. В учреждении, где будут собраны выборные от всей земли, общество найдет иных руководителей. Взоры его обратятся в другую сторону; прения примут иной характер. Журнализм отойдет на второй план; он сделается органом партий и земских

их представителей. В этом состоит истинное его назначение, и при этих только условиях он может играть полезную роль в общественной жизни. Свобода периодической печати составляет необходимую принадлежность представительных учреждений; без них она становится разлагающим элементом общественного организма. Это мы и видим у себя.

Наконец, только подобная мера может удовлетворить разом и консерваторов, и либералов. Последним дорога форма как выражение зарождающейся политической свободы; первые же убеждены, что в эту форму земля вольет здоровое содержание. Рассеянные и разобщенные ныне охранительные силы страны найдут себе средоточие и приобретут подобающий им вес. А кто жил внутри России, тому известно, что охранительные элементы имеют в ней громадный перевес над остальными. Только господствующая у нас умственная неурядица и слабость правительства придают значение противообщественным стремлениям, в которых сбита с пути молодежь видит выражение передовых идей и будущность человечества. В выборных от дворянства и земства эти стремления не найдут себе отголоска. Единственная опасность заключается в том, чтобы стекающиеся к центру представители не поддались веющему в столице либеральному ветру. Дело правительства принять против этого меры. Либерализму придет свой черед, когда успокоятся умы и водворится порядок. Теперь забота иная.

Но для того, чтобы подобное преобразование принесло свои плоды, надобно, чтобы оно не ограничивалось полумерою. Если бы правительство призвало в Государственный совет одних экспертов, хотя и выборных, но без права голоса, то вместо удовлетворения оно возбудило бы только недовольство. Выборные почувствуют себя униженными, и никто не захочет приносить в жертву свое время и труд, чтобы разыгрывать такую комедию. Всякое неравенство между членами совета отзовется вредно на их деятельности и на их взаимных отношениях.

Не следует также ограничивать выборный элемент слишком ничтожным числом. По одному депутату от дворянства и по два от земства каждой губернии — таково было бы, предположительно, самое рациональное решение задачи. Тут дело вовсе не в том, чтобы дать перевес выборному или правительственному началу. Мнению Государственного совета не присваивается решающая сила. Верховная власть может одинаково согласиться с большинством и с меньшинством, и на деле оба элемента, правительственный и выборный, будут перемешиваться при подаче голосов. Существенная задача состоит в том, чтобы собрать достаточное количество сил и создать действительный центр политической жизни. Не надобно забывать, что все преобразования прошедшего царствования потому именно нашли себе отзыв в народе и потому останутся столпами будущего и вечным памятником русского законодательства, что они не ограничивались полумерами. Ни в Положении 19 февраля, ни в судебной реформе, ни в земских учреждениях не видно мелкого и боязливого недоверия к обществу. Везде задача понята широко и поставлены рамки, в которых на просторе может развиваться общественная жизнь. Без такого широкого поставления задачи усиленный Государственный совет останется мертворожденным учреждением. Скажут, что это будет тот же парламент. При таком значительном числе выборных можно ли ручаться за то, что первым их делом не будет требование прав?

Может быть, раздадутся отдельные голоса, но они потонут в массе. При твердом правительстве этого опасаться нечего. Если есть начало, которое

в течение всей русской истории было в загоне, так это именно право. Поэтому оно имеет так мало корней в народном духе. Никто у нас не стоит за свои права и всякий готов ими поступиться. После освобождения крестьян в дворянском сословии была некоторая конституционная организация; но это временное возбуждение исчезло, не оставив по себе и следа. Это можно было видеть при обсуждении податного вопроса и при распространении на дворянство рекрутской повинности. Ныне русское общество менее, нежели когда-либо, расположено требовать себе прав. Оно напугано явлениями социализма и готово столпиться около всякого правительства, которое даст ему защиту. Можно наверно предсказать, что если России суждено вступить на конституционный путь, то это будет лишь тогда, когда сама верховная власть увидит в этом общественную потребность и по собственному почину поведет ее к политической свободе. Но это — дело дальнейшего развития жизни.

В настоящее время насущная потребность состоит лишь в том, чтобы дружным союзом правительства и народа дать отпор разрушительным силам и создать центр, откуда можно было бы руководить общественным движением в России. Правительство, разобщенное с землей, бессильно; земля, разобщенная с правительством, бесплодна. От прочной их связи зависит вся будущность Русского государства.

10 марта 1881 г.

Деятнадцатый век был поворотной точкой в русской истории. В течение столетий государство слагалось и устраивалось под руководством самодержавной власти русских царей. Общество только следовало за нею, подчиняясь ее велениям и мало проявляя самостоятельных сил. Самые либеральные стремления исходили сверху, плохо укореняясь в общественных нравах. Поклонница просветительной философии XVIII века, Екатерина Вторая¹, в своем знаменитом наказе² высказала гуманные идеи, господствовавшие в умах того времени; но как глубоко практическая женщина она скоро увидела всю трудность применения их к России. Соприкосновение с соборными в Петербурге выборными от всех сословий убедило ее, что касаться крепостного права, на котором строился весь наш общественный быт, было бы опасно, и вместо того чтобы проводить в этой области провозглашенные ею либеральные начала, она укрепила крестьян даже в тех частях русского государства, где они дотоле были свободны. Малороссия взамен утраченных ею привилегий получила крепостное право, и это привязало высшее ее сословие к России. В ответ на убеждения Дидро³ Екатерина говорила, что хорошо ему писать проекты на бумаге, которая все терпит, а ей приходится оперировать над человеческим телом, которое гораздо чувствительнее. Либеральные начала, внесенные ею в местное управление, повели единственно к тому, что положение дворянства укрепились и оно почувствовало свою независимость.

Еще бесплоднее в практическом отношении оказались либеральные стремления ее внука⁴. Воспитанник Лагарпа⁵, он был насквозь проникнут идеями XVIII века. Он мечтал о том, чтобы сделаться благодетелем своего народа дарованием ему свободы и политических прав. В присоединенных к Русской империи Финляндии и Царстве Польском он водворил конституционные учреждения. Но применять их к России, на почве крепостного права, было невозможно, а коснуться этого начала значило возбудить против себя все высшее сословие, которое видело в нем оплот всего своего благосостояния. Указ о свободных хлебопашцах⁶, предоставлявший освобождение крестьян доброй воле помещиков, остался мертвою буквой. Противоречие между благородными стремлениями юного монарха и состоянием подвластной ему страны было полное, и этим в значительной степени объясняются те колебания, которым подвергалась измученная его душа. Наконец, практика взяла свое: усталый самодержец, изверившись в возвышенные убеждения своей молодости, не находя ни единого пособника, на которого бы он мог опираться, погрузился в мистицизм и отдал себя в руки постоянно преданного ему Аракчеева⁷. Конец царствования был полным отрицанием его начала.

Однако брошенные им семена не погибли. В русской молодежи того времени они нашли восприимчивую почву. Пребывание русских войск за границей в наполеоновские войны еще более усилило это направление. Русские офицеры увидели воочию порядок вещей, в котором свобода и право получали должное ограждение, и с горьким чувством сравнивали с этим то, что они находили у себя по возвращении из заграничных походов. В них зародилось неудержимое стремление водворить те же начала в своем отечестве. Отсюда заговор декабристов. Александр про него знал, но он глядел на это сквозь пальцы. «*C'est moi qui ai mis ces idées en vogue, ce n'est pas a moi a sévir*»⁸, — ответил он на представления своих приближенных.

На декабристов многие смотрят как на людей, увлекавшихся иностранными взглядами и мечтавших об установлении в России порядка вещей, противного основным верованиям и убеждениям русского народа. Но забывают, что военные перевороты были не новостью в русской истории. Еще недавно, в XVIII веке, военным заговором был низложен Иван Антонович⁹ и возведена на престол Елизавета¹⁰. Еще позднее тем же путем был низвергнут Петр III¹¹ и воцарилась Екатерина, и этот переворот дал России одно из самых славных царствований в ее истории. Ново было не то, что подданные возмущались против верховной власти и меняли правление, а то, что это совершалось не во имя иностранки, не имевшей ни малейшего права на престол, а во имя свободы и права. Заговорщики хотели водворить в своем отечестве порядок, достойный образованного народа, положить конец всюду царствовавшему произволу, утвердить в стране законность и уважение к человеку. Благороднейшие умы того времени примкнули к этому движению. Но именно эти возвышенные идеи были еще не по плечу русскому обществу, которое все держало на крепостном праве. Декабристы составляли в нем ничтожное меньшинство. Это был цвет русской молодежи, но цвет, оторванный от почвы, а потому обреченный на гибель. Возмущение было без труда подавлено; наступила суровая реакция.

Те, которые жили во время Николая I, хорошо помнят тот тяжелый гнет, который в ту пору лежал на русской земле. Реакция была и в последние годы Екатерины и во вторую половину царствования Александра; но при Николае, в течение тридцати лет¹², она была проведена с железной последовательностью. Всякое свободное выражение мысли подавлялось беспощадно. Цензура достигла до невероятных размеров и обратилась даже в посмешище. Несчастных цензоров сажали на гауптвахту за пропуск самых невинных статей, за непочтительные выражения о лицах того или другого ведомства. Неосторожное слово, запрещенная книга могли повлечь за собою ссылку в отдаленные губернии. Записки Герцена и дневник крайне умеренного Никитенки¹³ могут дать понятие об этом порядке вещей, в котором задыхались русские люди. В первый раз русское правительство, дотоле стоявшее во главе просвещения, выступало явным его врагом. После 48-го года реакция достигла высшей своей степени. Революционные движения в Западной Европе вызвали самые суровые меры против ни в чем не повинных русских университетов. Цензура, которая, казалось, дошла уже до крайних пределов, сделалась еще строже. Писать что-либо для независимого человека стало невозможным. Даже чисто исторические исследования, без всякой тени политического намека, подвергались запрету.

А между тем этот всеохватывающий деспотизм не только не искоренил в русском обществе либеральных стремлений, а напротив, развил их в еще большей мере. Верхние слои, окружающие престол, действительно погрузились в полное невежество. Они стремились к образованию, пока оно требовалось сверху; но как скоро оно сделалось предметом подозрения и просвещенный образ мыслей стал поводом к опале, так ему начали оказывать глубокое презрение. Прежняя образованная гвардейская молодежь уступила место пустоголовым любителям светских удовольствий и кутежей. В государственные люди возводились круглые невежды; требовалось только беспрекословное исполнение воли царя. Все это, однако, ограничивалось поверхностью; в средних слоях русского общества стремление к просвещению не иссякло, но оно естественно принимало более и более враждебное правительству направление. Всякое проскользнувшее слово, всякий оппозиционный намек схватывались на лету и переходили из уст в уста. Под видом литературной критики распространялись идеи, которые, при нестерпимом давлении сверху, принимали все более радикальный оттенок. В сердцах, особенно более пылкой молодежи, накапливались семена непримиримой ненависти к существующему порядку вещей. Но зрелые люди, умевшие думать и не увлеченные личными интересами, видели всю его несостоятельность.

В Крымскую кампанию это убеждение сделалось всеобщим. Поражение русских войск в самых недрах отечества открыло глаза наиболее ослепленным. Для всех стало ясным, что всеподавляющий деспотизм, уничтожая живые силы народа, подрывает собственные свои корни. Величественное снаружи здание представляло внутри мерзость запустения. «Сверху блеск, снизу гниль», по выражению записки Валуева¹⁴, представленной в то время в «еликому» князю Константину Николаевичу¹⁵ и ходившей по рукам. В ярких чертах изобразил тогдашнее состояние России одушевленный патристическими стремлениями Хомяков¹⁶;

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна.

Пораженное в самых заветных своих чувствах, в сознании своей мощи, русское общество с неудержимою силой стремилось выйти из того невыносимого положения, в которое поставил его беспощадный и слепой деспотизм Николая I. «Свободы! Свободы!» — слышалось отовсюду. Жившие в то время помнят то сладкое чувство облегчения, которое охватило русское общество, когда после тридцатилетнего гнета вдруг с высоты престола посылались кроткие и милостивые слова. «Простить, отпустить, разрешить!» — говорил один из видных русских литераторов на одном из многочисленных тогдашних публичных обедов; «сколько заключается в этих немногих словах!» Полные надежды, все взоры устремились к новому монарху. Никто в то время не мечтал о конституции, но все ожидали реформ. В «Голосах из России»¹⁷, напечатанных в Лондоне, эти стремления нашли себе выражение.

Живучесть народа познается особенно во времена бедствий. Когда после поражения народ воспримет с обновленную силой, примется за излечение

своих внутренних язв и поднимется на новую высоту, то это служит залогом великой будущности. Так поднялась Пруссия после Йенского погрома¹⁸; так обновилась и Россия после Крымской кампании. Это составляет одну из величайших страниц в ее истории. Но, в отличие от Пруссии, обновление России не было делом великого государственного человека, который смело рукою взялся за кормило правления и двинул народ на новый путь. В России все совершенные преобразования созрели уже в общественном сознании; программы их были намечены в ходившей по рукам рукописной литературе; по важнейшим вопросам выработаны были целые проекты частными людьми. Не на вершинах правящей бюрократии, а среди второстепенных деятелей, стоявших в близкой связи с литературными и общественными кругами, нашлись руководители этого движения; на помощь призваны были самые выдающиеся люди из общества, которых влияние имело решающее значение. И на местах нашлись ревностные исполнители великого дела; если они составляли меньшинство, то все же это было меньшинство значительное и просвещенное. Оказалось, что русское общество стояло неизмеримо выше николаевского правительства. Несмотря на суровый гнет, который над ним тяготел, оно сохранило в себе и живую мысль, и самоотверженные силы. Его, как младенца, держали в пеленках, в то время как оно, созревши, готово было зажечь новую жизнь. Для счастья России нашелся государь¹⁹, который не под гнетом неотразимой нужды, как Фридрих Вильгельм III²⁰, а после честного мира, по собственной инициативе, принялся за великую задачу, собрал вокруг себя лучших людей и исполнил все то, что было предначертано общественною мыслью.

Одно за другим совершались великие преобразования, которые дали новое устройство русской земле. Прежде всего, надобно было отменить крепостное право. Это был вопрос, давно назревший и требовавший разрешения. Крепостное право было установлено в то время, когда все сословия были прикреплены к государственной службе. Для того чтобы помещики могли нести свою повинность, надобно было дать им власть над крестьянами. На этом порядке создалось и выросло русское государство. Но времена изменились; государство окрепло и не нуждалось уже в обязательной службе. Помещики были от нее освобождены, а крестьяне все еще оставались крепостными. Это была вопиющая несправедливость, которой требовалось положить конец. Это сознавал не только либеральный Александр I, но и суровый Николай. Однако могучий деспот, перед которым все трепетало, не дерзал коснуться этой основы всего русского политического быта. Самые легкие ограничения помещичьей власти казались опасными для общественного спокойствия. Только в западных губерниях, где с польскими помещиками нечего было церемониться, введены были инвентари²¹. Мягкий его преемник, менее дороживший властью, счел священным долгом исполнить справедливое дело, и его решение возымело полный успех. В то время как в Соединенных Штатах отмена невольничества сопровождалась страшными междоусобиями и была куплена потоками крови²², в России она совершилась силою зрело обдуманного и разумно исполненного законодательного акта, которым примирялись обоюдные интересы сословий и полагалось прочное начало новому порядку вещей, основанному на гражданской свободе. В высшей степени трудное дело, разрешение вековой связи, обнимавшей все стороны жизни как властвующих, так и подвластных и налагавшей свою печать

на все общественные отношения, совершилось мирно и правильно, дружным действием правительства и лучших общественных сил. Положение 19 февраля есть величайший законодательный памятник русской истории. Оно делает честь тому народу, среди которого оно создано. И это не было простое подражание иностранным образцам, усвоение того, что было выработано другими. Оно вытекло из самой русской жизни, почему и приложение его не встретило препятствий. Страна, совершившая у себя такое преобразование, заслуживает уважения как современников, так и потомства. И имя царя, который его исполнил, останется благословенным веками.

Но это было только начало. Затем последовал целый ряд преобразований, которыми созидался новый общественный порядок на почве гражданской свободы. Крепостная Россия не имела суда, явный признак полного бесправия населения. Вместо правосудия господствовало крючкотворство, взяточничество было повсеместною, истари укоренившейся язвой русской общественной жизни. И вдруг, как бы по мановению волшебного жезла, явился суд со всеми гарантиями, выработанными законодательствами образованных народов Европы, с бессменностью судей, с публичностью, гласностью, с судом присяжных. И эти формы просвещенного быта немедленно наполнились живым содержанием — знак, что общество до них доросло и что напрасно оно так долго было лишено их благодетелей. И зрелые люди и юношество высших учебных заведений устремились на новое поприще, одушевленные одним желанием правосудия и пользы отечества. Первые наши суды представляли в высшей степени отрадное явление. Сердце русского человека могло ими гордиться. С другой стороны, в административной области, общественной деятельности открыт был широкий простор. Новые земские учреждения поставлены были в независимое положение и наполнялись лучшими местными силами, цветом провинциального общества. Широкие двери открылись и для литературной деятельности. Предварительная цензура была отменена; книги стали выходить беспрепятственно; в журналах обсуждались все общественные вопросы с такой свободой, о которой нельзя было и помыслить в прежнее время. Наконец, одним из величайших деяний Александра II было преобразование войска. Прежняя двадцатипятилетняя служба, отрывавшая солдата от семьи и занятий, была заменена шестилетнею. Прекратились столь обычные вопли жен и матерей при проводах рекрутов. В самом войске водворился новый дух; из машины солдат превратился в человека. Суровые наказания были отменены; стали требовать образования как для рядовых, так и от офицеров. И все это, несмотря на сетования рутинных служак, совершилось без послабления дисциплины. Турецкая война²³ доказала, что преобразованное русское войско сохранило все свои прежние доблести.

Таким образом, Россия вся преобразилась и готова была зажить новою жизнью. От прежнего как будто не осталось и следа. Даже в материальном отношении страна получила новый вид. Она покрылась сетью железных дорог; промышленность получила небывалый подъем. Это был величайший перелом в русской истории. Крепостное дотоле общество каким-то чудом становилось свободным и разом приобретало все условия образованного быта. Те, которые пережили это время, не могут вспомнить о нем без сердечного умиления.

Эта светлая картина имела, однако, и свои темные стороны. Тридцатилетний гнет, подавляющий всякую мысль, не проходит даром. Он оставил

по себе следы, которые не замедлили обнаружиться. Общество, связанное по рукам и ногам, не смеющее двинуться, естественно, не могло приобрести ни жизненного опыта, ни верного взгляда на вещи. Если просвещенное меньшинство пришло к ясному сознанию положения и выработало даже целую программу преобразований, то в массе русского общества бродили только смутные понятия, без всякой определенной точки опоры. Стеснение умственной деятельности влекло за собою крайнюю скудость теоретического образования, а жизненная практика не в состоянии была его заменить, ибо старые, вытекшие из жизни понятия и привычки не могли пригодиться для новых порядков. Преобразованный строй требовал новых взглядов и новых приемов, которые нужно было выработать из слагающихся на практике отношений. Реформы Александра II так быстро изменили весь облик русской земли, что обществу трудно было найтись в этом водовороте. Многим может показаться, что они совершились слишком поспешно, что общество надобно было постепенно приучать к новому порядку вещей. Но дело в том, что они были слишком долго задержаны. Когда правительство, вместо того чтобы вести народ путем постепенных улучшений, останавливает всякое движение и подавляет всякую свободу, оно неизбежно приводит к необходимости крутого перелома. Приходится разом наверстать потерянное время. Умы успели созреть уже настолько, что они не довольствуются полумерами. Преобразования Александра II были наименьшим, что можно было дать русскому обществу, и, как уже замечено выше, оно быстрым их усвоением показало, что оно было к ним готово. Оно бы и справилось с ними, несмотря на быстроту перемены, если бы к этому не примешались явления другого рода.

Естественное последствие угнетения мысли состоит в том, что она вдается в крайние направления. Одна крайность всегда вызывает другую. Чем более мысль стеснена, тем более в ней возбуждается ненависть ко всякому стеснению, и чем менее практическая жизнь дает простора для деятельности, тем более люди способны увлекаться теоретическими построениями. В царствование Николая I, особенно в последние его годы, русскому человеку нечего было более делать, как фантазировать, а так как образование было скудное и наука не полагала предела воображению, то последнее предавалось разгулу. Уже в то время социалистические идеи были в полном ходу среди учащейся молодежи. С водворением большей свободы пропаганда приняла более широкие размеры. Сочинения социалистического и материалистического содержания ходили по рукам в рукописях и брошюрах. Центром этой пропаганды сделалась петербургская журналистика, которая задала себе целью подорвать всякий авторитет и явно проповедовала социалистические и материалистические идеи, выставляя их идеалом будущего, к которому надобно стремиться всеми средствами. Для руководивших ею писателей законный порядок, право, политическая свобода были только пустыми словами или орудиями для достижения иных целей. Мужик, закрепощенный в общину, и фабричный рабочий, связанный по рукам и по ногам в государственной артели,— таков был единственный их идеал, и к этому они направляли недоучившееся юношество, жадно внимавшее их словам.

Трудно было придумать направление, более вредное для тех задач, которые предстояли России. В то время как русское общество должно было усвоить себе новые для него гражданские начала, требовавшие разумного

понимания действительности и бережного отношения к свободе и праву, ему внушали, что все это вздор, что весь существующий порядок обречен на гибель; нахватавшиеся разных вершков журналисты старались перепутать у него все понятия, подорвать в нем всякое доверие ко всему, что возвышается над уровнем толпы; они поддерживали бессмысленное брожение, когда нужно было спокойствие, возбуждали смуты и тем самым вызвали реакционные меры. Многие доселе причисляют Чернышевского, Добролюбова и К⁰ к деятелям эпохи преобразований. Их можно считать деятелями разве только наподобие мух, которые гадят картину великого художника. Но следы мух смываются легко, тогда как социалистическая пропаганда, ведущая свое начало от петербургской журналистики, отравила и доселе отравляет значительную часть русского юношества. Она породила явления, которые сдвинули Россию с пути правильного развития и открыли широкие двери реакции.

Казалось бы, что правительство могло найти в здоровых элементах опору против этих стремлений. Но тут было затруднение другого рода, порожденное точно так же системою предшествовавшего царствования. Оно заключалось в том глубоком недоверии к правительству, которое, под гнетом николаевского деспотизма, укоренилось в русском обществе. Не только люди крайних мнений, но и вся мыслящая часть общества привыкла смотреть на правительство как на своего врага. Поэтому, когда оно, уступая потребностям времени, принялось за преобразования, оно не нашло дружной поддержки. Ни защитники, ни противники нововведений не верили в твердость и последовательность правящей власти. Этому в значительной степени способствовали те колебания, которым подвергались преобразовательные стремления, и те интриги, которые велись противоположными партиями вокруг престола. Когда же преобразования были установлены на твердой почве закона, исполнение их было вверено людям, не внушавшим ни малейшего доверия обществу. Главные деятели по освобождению крестьян были удалены, и во главе управления были поставлены чистые бюрократы. Отчасти в этом заключалась политическая мысль: царь хотел успокоить дворянство, у которого отнимались права. Если выработка закона происходила путем борьбы, то исполнение должно было совершаться путем примирения. Но для того чтобы действовать примирительно, нужно внушать доверие, а именно этого-то и не было. Один из великих недостатков самодержавной власти состоит в том, что она склонна смотреть на людей как на простые орудия: что прикажут, то и будет сделано,— а о том, что для разумного и плодотворного исполнения нужны мысль и воля, что существенным элементом всякого управления является нравственный авторитет людей, стоящих во главе, нет и помину. Понятно, что при таких условиях правительство, совершавшее величайшие преобразования, не находило в обществе надлежащей поддержки. Враги нововведений становились к нему в явную оппозицию и стремились к ограничению верховной власти с целью взять исполнение в свои руки; защитники же преобразований, удаленные от дел и не доверяя твердости правительства, давали ему расправляться, как оно знает. Отсюда то странное явление, что всякий человек, который дерзал сказать слово в пользу власти, водворявшей в России начала свободы и права, подвергался порицанию и гонению именно со стороны людей либерального лагеря. На него указывали как на казенного писателя, преданного правительству и ищущего карьеры. И правительство с своей

стороны не только не поддерживало своих защитников, а напротив, готово было при первом случае выдать их голову.

При таком настроении социалистическая пропаганда, естественно, не встречала противодействия. Внимание правительства и общества было поглощено совершавшимся в отечестве великим делом, и она воспользовалась этим для тайной организации. В то самое время, как с высоты престола даровалась свобода двадцати миллионам русских людей, как происходил величайший переворот в русской истории, издавались печатно подпольные прокламации, приглашавшие к истреблению не только всей царской семьи, но и всего дворянства и высшего чиновничества. Университеты волновались, и правительство не знало, что с ними делать. Оно вздумало принять крутые меры, но это только усилило волнение. В Петербурге распространились поджоги, которые приписывались той же тайной организации, произошел страшный пожар Апраксина двора²⁴. Провинция спокойно совершала дело освобождения, но в столицах господствовало невообразимое и бессмысленное брожение умов. К внутренним затруднениям присоединились внешние. Вспыхнуло польское восстание²⁵. Поляки не сумели воспользоваться благими стремлениями Александра II. Им были сделаны крупные уступки. Наместником Царства назначен был либеральный брат государя²⁶, одушевленный в отношении к Польше самыми доброжелательными намерениями. Главным его пособником был государственный муж из поляков²⁷, человек, одаренный умом и энергией, способный вести свое отечество по пути правильного и постепенного развития, стремившийся дать ему самую широкую автономию. Но полякам нужно было все или ничего. Они хотели силою вырвать то, что давалось им медленным процессом гражданской жизни. В этом сказался тот недостаток политического смысла, который издавна характеризовал этот даровитый и несчастный народ. В среде аристократов по обыкновению происходили раздоры; Замойский²⁸ противодействовал Велепольскому. Под его влиянием издан был манифест, которым объявлялось, что Польша может удовлетвориться только границами 1772 г., т.е. заявлялось совершенно бессильное притязание на весь заселенный русским племенем Западный край. Этим уничтожалась всякая возможность сближения с Россией, а вместе с тем объявлялась война с Пруссией и Австрией. И для поддержания этих безмерных требований организовывалось революционное движение. Оно разразилось всеобщим восстанием, которое, не будучи в состоянии действовать явною силою, прибегало к тайному террору. Жандармы-вешатели приводили в трепет самых мирных граждан и заставляли их примыкать к движению. Но именно это привело к результатам, совершенно противоположным тем, которые имели в виду революционные деятели, они сами погубили свое дело, возбудив против себя общее негодование. В русском обществе воспрянуло всегда присущее ему патриотическое чувство. Главным его выразителем явился Катков²⁹, который через это приобрел громадную популярность. Польское движение создало его силу и дало ему новое направление. Это было начало общественной реакции. Со своей стороны, правительство принимало энергичные меры. В Литву был послан Муравьев³⁰, который противопоставил правительственный террор революционному и тем подавил мятеж. Литва была спасена. Без особого труда было подавлено и восстание в Польше, после того как русское правительство твердо отвергло всякое вмешательство иностранных держав. Для окончательного умиротворения Польши туда посланы были

главные деятели по освобождению крестьян, которые рядом мер в пользу сельского населения старались привязать его к России.

Все это естественно вытекало из положения вещей и оправдывалось обстоятельствами. К сожалению, русское правительство на этом не остановилось. Оно сочло нужным окончательно уничтожить самостоятельность Царства Польского, включив его в состав Русской империи³¹. Это была крупная политическая ошибка. Нельзя искусственным, чисто механическим образом привязывать к телу член, который не связан с ним органически. Польша всегда была и есть больное место России, но наружная болезнь менее опасна, нежели вогнанная внутрь. Уничтожение самостоятельности Царства Польского и все стремления к обрусению края не содействуют сближению его с Россией, а, напротив, возбуждают в населении только большую ненависть к иноземному владычеству. Своим безумным восстанием поляки надолго отдалили возможность правильного решения вопроса, но и меры, принятые русским правительством, нисколько не приближают нас к этой цели. На исходе XIX века это остается грозным вопросом будущего.

С польскою смутой русское правительство справилось. Не так легко было справиться с внутренним брожением. Увлеченная социалистическою пропагандой часть русской молодежи пошла в народ. Распространялись всякого рода ложные слухи, фабриковались фальшивые манифесты. Подпольные листки печатались в тайных типографиях и рассылались всюду. Очевидно, все это имело в виду произвести восстание дикой массы против правительства и высших классов. Меры, которые принимала испуганная власть, только усиливали зло. Следствие над злоумышленниками было поручено лицу, не знавшему никаких нравственных сдержек. Виновные и невинные по малейшему подозрению сажались в тюрьму и содержались там по целым годам при ужасающих условиях. Административная ссылка практиковалась в самых широких размерах без всякого толку и часто даже без всякого повода. Когда впоследствии стали разбирать эти дела, оказалось, что в значительной части случаев полиция не знала даже, за что люди были сосланы в отдаленные губернии или в Сибирь. Все это, разумеется, могло произвести только большее озлобление. По всем углам России ссыльными разносились революционные идеи, множество семейств, пораженных в самых святых своих чувствах, становились во враждебное отношение к правительству. Нигилисты через это не только не ослаблялись, а, напротив, получали еще большую силу. Они сложились в крепкую организацию, имевшую своим центром Женеву и пускавшую свои разветвления всюду. Эта сплоченная шайка поставила себе задачею терроризировать русское правительство и преследовала свою цель с удивительною последовательностью и умением. Начался целый ряд убийств; среди белого дня на улицах столицы шеф жандармов пал жертвою злодеев³². Сам царь преследовался, как дикий зверь. В него неоднократно стреляли; делались подкопы под железные дороги на его пути; произошел взрыв Зимнего дворца³³. И при этом виновные в большинстве случаев ускользали из рук неумелой и ошавшей полиции. Казалось, вся энергия, к которой способен русский человек, сосредоточилась в этом скопище для дела чистого безумия. Подобно тому как сумасшедший проявляет иногда изумительную хитрость в достижении своих бессмысленных целей, русские нигилисты как будто направили весь свой ум и всю свою волю на то, чтобы сбить Россию с правильного пути, водворить в ней полный

хаос и тем самым в конце концов вызвать самую суровую реакцию. Одно время потерявшее голову правительство думало обратиться к содействию общества. Призванный к власти Лорис-Меликов³⁴ хотел успокоить умы либеральными уступками. Печать вздохнула свободнее; множество ссыльных были возвращены. Изготовлен был даже проект созыва выборных лиц для совещания по законодательным вопросам. Но безумные нигилисты не дали совершиться этому делу. Убийство царя положило конец всяким либеральным начинаниям.

С невыразимым чувством скорби и стыда вспоминает русский человек об этом страшном событии. Государь, даровавший свободу многим миллионам своих подданных, впервые внесший в Россию неведомые ей дотоле начала права и закона, совершивший в короткое время величайшие преобразования, о каких повествует всемирная история, пал, злодейски растерзанный убийцами, вышедшими из недр облагодетельствованного им народа. В этом выразились не только вся уместная тупость, но и все то нравственное безобразие, которыми отличался русский нигилизм. Это безобразие клеймил еще Герцен в женевской эмиграции в выражениях, не поддающихся печати; оно вполне выразилось в процессе Нечаева³⁵. Убийство царя раскрыло всю его глубину. Только при отсутствии всякого нравственного чувства можно выставить нигилистов людьми, стремившимися к идеалу; это было не более как отребье русского общества. Однако Россия не может снять с себя нравственной ответственности за дело, совершенное собственными ее сынами. Мы все до некоторой степени солидарны с теми явлениями, которые происходят среди нас. Злодеяние 1 марта обнаружило всю ту бездну зла, которое, накопилось в русском обществе. Если легкость, с которою совершились и усвоились великие преобразования Александра II, показывала в нем присутствие здоровых элементов, способных идти по пути просвещения и прогресса, то нигилистическое движение раскрыло те гнилые соки, которые, вскормленные и сдавленные предшествующим гнетом, обратились во внутренние нарывы, заразившие весь организм. Россия должна была понести за это кару; она явилась в виде реакции. Безумие принесло свои плоды: вместо того чтобы содействовать расширению свободы, оно сообщило движению попятный ход.

Реакция всегда и везде составляет неизбежное последствие появления на сцене крайних элементов; это — общий исторический закон. Вопрос заключается в том, какова реакция и как она действует? Восстанавливает ли она только то, что нужно, опираясь на здоровые и умеренные силы общества, или она, в свою очередь, впадает в крайность и тем самым вызывает новые колебания?

В России реакция началась еще при Александре II. Она была естественным результатом нигилистического движения. Она обнаружилась как в правительстве, так и в обществе. В правительственных сферах во главе ее стоял тогдашний шеф жандармов³⁶, ничего не понимавший в государственном управлении, кроме полицейских мер, и подыскивавший себе пособников из легковесных гвардейцев и бюрократов. В значительной части России введено было положение усиленной охраны; на место законного порядка водворился произвол. Однако главные основы реформ остались нетронуты. Царь, вынужденный вступить на несвойственный ему путь, свято оберегал совершенное им дело. Сам шеф жандармов вскоре был удален; в конце царствования либеральное направление снова восторжествовало.

Иной характер приняла общественная реакция. Здесь ее вожаком явился журналист, одаренный значительным умом, образованием и талантом, но чуждый всяких нравственных побуждений, имевший в виду только личные цели — достижение власти и влияния. Приобретши выдающееся положение вследствие той роли, которая далась ему в польском вопросе, он увидел, что, играя на патриотической струнке, можно с успехом действовать и на правительство и на общество. Но в его руках поднятое им патриотическое знамя окунулось в грязь. Оно перестало быть символом святых чувств и благородных стремлений; оно сделалось синонимом раболепства и притеснения. Это была злобная травля всех подвластных народностей, которые обвинялись в стремлении к сепаратизму. Всякое проявление независимости предавалось анафеме; все должно было подчиняться всемогущей и подводящей всех к однообразному уровню государственной власти. Такое направление могло увлечь за собою толпу пошляков, которые и видели в Каткове своего божка; но в просвещенной части общества, в людях, стоявших во главе общественных учреждений, оно не могло найти отголоска. Видя, что он теряет здесь почву, Катков обратился против всех независимых общественных сил. Земство, города, университеты, суды сделались предметом постоянных и яростных его нападок. Снизу рабоподобная покорность власти, а сверху бюрократия, послушная голосу журналиста, — таков был идеал, который проповедовал этот прежний либеральный писатель, недавно еще безусловный поклонник английских учреждений. Но пока жив был Александр II, эти стремления сдерживались желанием угодить царю-преобразователю, который дорожил своими созданиями. Как же скоро он пал жертвою убийц, так прежний льстец, считавший своим призванием прославлять мудрого монарха, обрушился на него всею силою своего ядовитого красноречия, осыпая ругательствами все совершенные им великие дела. Восстановление власти, перед которой все должно преклоняться, — таков был клич, раздавшийся из-за журнального стола, и правительство последовало этому зову. Катков первое время был одним из главных советников нового государя.

Утверждение власти, способной подавить обнаружившиеся в таких ужасающих размерах революционные стремления, было, бесспорно, потребностью времени после события 1 марта. Продолжать просто прежнюю либеральную политику, как хотел делать Лорис-Меликов, было нелепо. Это была с его стороны крупная ошибка. Но недостаточно стремиться к усилению власти; надобно знать, в чем заключается истинная ее сила. Она состоит не в одних механических орудиях; их было в избытке. Она дается и не широтою предоставленных исполнителям прав; и в этом отношении все было сделано, и дальше нельзя было идти: большая половина России находилась в положении усиленной охраны, и администрации даны были самые обширные полномочия. Дело в том, что сила власти не исчерпывается материальными средствами; надобно, чтобы к этому присоединялся духовный элемент, — тот нравственный авторитет, который привлекает к правительству доверие и уважение народа. Но для приобретения нравственного авторитета надобно опираться на здоровые и крепкие элементы общества. Это в особенности необходимо там, где приходится лечить глубоко вкоренившуюся болезнь. Тут недостаточно одних внешних средств: нужна реакция со стороны самого организма, а для этого надобно побудить его к деятельности. Между тем реакция, наступившая после трагической смерти Царя-Освободителя, действовала как раз наоборот. Она

обратилась не только против гнилых соков, но и против самых здоровых элементов общества. Всякая независимая сила, всякая общественная самодетельность считались опасными. Утверждение власти было вверено исключительно старой, оказавшейся никуда не годной и потерявшей всякий авторитет бюрократии.

Для исполнения этой задачи выведен был из тьмы самый гнусный из русских государственных людей, граф Толстой³⁷, злобный и лукавый, явный враг всякой независимости и всяких общественных учреждений. Будучи министром народного просвещения в реакционную пору царствования Александра II, он возбудил против себя всеобщую ненависть бездушным управлением вверенного ему ведомства. Под влиянием Каткова он провел классическую реформу гимназий, которая нашим малосведущим государственным людям выдавалась за самое верное средство внушить юношеству консервативные идеи, но которая введена была чисто бюрократическим способом, чем самым она обречена была на полное бесплодие. Вопль против министра был общий, и первым делом Лорис-Меликова, когда он был призван к власти, было удаление графа Толстого. Теперь же опальный сановник, к изумлению всех, снова был поднят на высоту и поставлен во главе министерства внутренних дел. В подмогу ему министром народного просвещения сделан был прежний его товарищ, ничтожный Делянов³⁸, трепетавший перед всякою силой, послушное орудие в руках Каткова и компании. Утвердившись на месте, союзники принялись за работу.

Первый удар постиг университеты. Это было завершение печальной повести русского высшего образования. Было время, когда русские университеты стояли высоко и по своему составу, и по своему влиянию на общество. В сороковых годах, под просвещенным управлением графа Уварова³⁹ и попечительством графа Строганова⁴⁰, Московский университет в особенности был центром, откуда распространялся свет по всей русской земле. Чего нельзя было говорить в печати, то высказывалось на кафедре. При отсутствии всякой общественной жизни умственные интересы в то время поглощали внимание всех и находили здесь богатую пищу. Из университета выходили молодые люди, исполненные жажды знания, с идеальными стремлениями. 48-й год все это разом сокрушил. Испуганное революционными движениями Запада, правительство обрушилось на русские университеты, в которых оно видело рассадники ненавистного ему либерализма. Число студентов было ограничено; преподавание философии было вверено священникам. Введена была военная дисциплина; студенты обучались маршировке. Попечителем Московского учебного округа был назначен совершенно невежественный генерал; кафедры наполнялись бездарностями. Так продолжалось вплоть до нового царствования. Затем, после бессмысленного гнета, наступила полная распушенность. Заботы были иные, и на университеты обращали мало внимания. Неумелое начальство не знало, на какой ноге плясать. Студенты сами выгоняли бездарных профессоров. Наконец правительство решилось принять строгие меры. Министром народного просвещения назначен был крутой и ограниченный граф Путятин⁴¹. Но это только усилило брожение. Во всех университетах произошли беспорядки. Петербургский университет подвергся разгрому; некоторые из лучших профессоров из него вышли. Но Московский был спасен, благодаря единодушию университетской корпорации, которая противилась беспорядкам, действовала на студентов, но в то же время представила правительству о необходимости отмены стеснительных мер, а с тем

вместе и пересмотра устаревшего в некоторых частях университетского устава. Уступая этим представлениям, правительство созвало комиссию из профессоров от всех русских университетов, которая и выработала устав 1863 г. Он был разослан затем по всем университетам и введен в действие после зрелого и всестороннего обсуждения. По существу, он не заключал в себе ничего нового. Корпоративное устройство университетов, с выборными ректором и деканами, признавалось и Александровскими уставами 1804 г.⁴² и Николаевским уставом 1835 г.⁴³ Оно составляло естественную принадлежность университета как высшего просветительного учреждения, условие его жизни и его влияния на стекающуюся в него молодежь. Уставом 1863 г.⁴⁴ были только точнее определены отношения властей; университеты ставились в совершенно нормальное положение. В результате в них на целый ряд лет водворилось спокойствие.

Но именно против этого устава ополчился теперь Катков, который и во времена своего либерализма был горячим его приверженцем. Товарищ его по редакции «Московских ведомостей», Леонтьев⁴⁵, сам участвовал в обсуждении составленного комиссией проекта. Причина поворота была чисто личная. «Московские ведомости» считались газетой, издаваемой Московским университетом, и таковой она прежде действительно была. Первоначально редакторы получили ее в виде аренды по постановлению Совета, хотя впоследствии аренда была продолжена распоряжением правительства. Пользуясь своим положением и приобретенным ими влиянием, редакторы хотели властвовать в университете безгранично, и сначала это им удалось. Неприятные им лица, служившие помехою их властолюбию, были вытеснены с помощью сделавшегося тогда министром графа Толстого. Но затем Совет, почувствовав всю тяжесть опеки, взбунтовался. Ректором был выбран в высшей степени почтенный и умеренный, но не угодный редакции человек, знаменитый историк С.М. Соловьев⁴⁶. Вслед за тем Леонтьев, при выборах после истекшего двадцатипятилетия службы, был забаллотирован. Тогда он пришел в Совет и в присутствии всех цинично объявил, «вы лизнули моей крови, но я вам отмщу». Со стороны редакции начался самый яростный поход против университетов. Факты извращались бессовестным образом: всякая мелочь возводилась в крупное событие. И министерство графа Толстого все это поддерживало. За ответы на распускаемые газетой клеветы профессора подвергались выговорам. Сам почтенный С. М. Соловьев принужден был оставить и ректорство, и кафедру, что ускорило его кончину.

Цель редакции состояла в уничтожении всякой автономии университетов. Потерявши в них почву, она хотела властвовать в них посредством послушного ей министерства. В этом духе выработан был проект нового устава⁴⁷. Однако граф Толстой не решился его проводить. При жизни Александра II, который дорожил своим делом, успех был более чем сомнителен. За такое малодушие при падении графа Толстого Катков осыпал его бранью. Но теперь обстоятельства были благоприятны, и временные враги примирились во имя личных интересов, а новый министр народного просвещения, Делянов, был для этого самым удобным орудием. В сущности, введение новых порядков не представляло для него никакого интереса. Он был совершенно равнодушен и к университетам, и к народному просвещению; ему нужно было только держаться на месте, а для этого надобно было угодить Каткову, которого он боялся как огня. Проект нового университетского устава был внесен в Государственный совет.

Но здесь он встретил сильную оппозицию. Против него восстал influentialный обер-прокурор Св. Синода К.И. Победоносцев⁴⁸, который сам некогда был преподавателем в Московском университете и понимал все безумие предлагаемых мер. Это был полный разгром университетов, и притом без малейшего повода. В самые суровые времена Николая I, когда университеты подверглись беспощадному гонению, правительство присвоило себе только назначение ректора; выбор деканов оставался за факультетами. Теперь же отменялись все выборные права; корпоративное устройство университетов совершенно уничтожалось; порывалась всякая связь профессоров между собой и со студентами. Самое производство экзаменов отнималось у университетской коллегии; оно вверялось особым правительственным комиссиям, которые должны были экзаменовать всех кончивших курс, притом неизвестно на каких основаниях, ибо не было ни программ, ни учебников. Очевидно, это могло произвести только полный хаос, как и показало последующее время. И к довершению безобразия, все это прикрывалось лицемерным знаменем свободы преподавания, о которой в действительности не было и помину. Нелепость нового устава была так ясна, что значительное большинство Государственного совета высказалось против него.

Тогда произошла закулисная игра, весьма характерная для судеб русского законодательства. После различных настояний и переговоров противники пришли к соглашению. Обер-прокурор Св. Синода расчел, что ему гораздо выгоднее быть в союзе с Толстым, Деляновым и Катковым, нежели становиться к ним во враждебное отношение из-за такого пустого, по петербургскому воззрению, вопроса, как судьба русских университетов и русского юношества. Он выдал университеты их врагам. Но при этом надобно было обойти государя. И это было сделано очень тонким образом. Победоносцеву как юристу было весьма хорошо известно, что Государственный совет есть первое учреждение Империи, что он создан именно затем, чтобы в законодательных вопросах изъять монарха из-под влияния мелких котерий⁴⁹ и личных отношений. Государь может не согласиться с большинством, но если он не имеет собственного мнения, то он в этом большинстве находит опору: утверждая его постановления, он оказывает уважение высшему законодательному органу государства. На это мог сослаться опытный юрист, если он видел колебания монарха. Вместо того, что же сделал Победоносцев? Он посоветовал государю, после того как закон был обсужден в Государственном совете, составить маленькое совещание из доверенных лиц и подвергнуть проект новому обсуждению, т.е. показать полное презрение к первому учреждению Империи, дать ему некоторого рода публичную пощечину. И совещание было подстроено так, что самые влиятельные противники нового устава, Бунге, барон Николай⁵⁰, в это время были в отпуску. К совещанию были призваны трое из защитников проекта, Толстой, Делянов и всегда послушный им Островский⁵¹, а противником его явилось только одно лицо, сам предатель, обер-прокурор Св. Синода. Понятно, как он возражал, и немудрено, что после совещания государь сказал ему: «Вы видите, что все против вас; как же я могу с ними не согласиться?» Штука была сыграна, государь кругом обманут, и новый устав утвержден во всей своей силе. Катков разразился торжествующей статьей.

И тут же Министерство народного просвещения постаралось доказать, что все было только недостойной комедией, что повода к переменам не бы-

ло никакого. Отменив все выборные права университетов, оно от первого до последнего назначило ректорами и деканами тех самых лиц, которые перед тем были выбраны факультетами и советами. И, сколько известно, один только ректор Харьковского университета, Цехановецкий⁵², отказался променять выборную должность на правительственную, что, конечно, более свидетельствует о податливости профессоров, нежели об их оппозиционном духе. Очевидно, правительство считало их людьми, достойными своего доверия. Чем же, спрашивается, вызван был весь этот разгром и на что он был нужен? Когда подумаешь, что вся судьба русского юношества и русского просвещения была отдана на жертвы самым низменным личным целям бессовестного журналиста, кипящей в нем жажде мести и власти, то все нравственное существо человека возмущается против порядка вещей, в котором возможны подобные явления.

Этот нанесенный университетам удар не мог не иметь для них самых печальных последствий. Наименьшим еще злом был тот хаос, который водворился в них на первых порах. Из всех отраслей государственного управления народное просвещение есть то, которое требует наибольшей последовательности, осторожности и умения. Тут нужны не одни административные, но и педагогические способности. Надобно приучить юношей к умственной дисциплине, приобрести над ними нравственный авторитет, внушить им уважение к их руководителям. В этой области всего вреднее колебания в ту и другую сторону, смены строгости и распушенности; менее всего допустимы радикальные перевороты. А тут внезапно перевертывался весь строй университетской жизни. Все старое уничтожалось, а новое не было создано, да и не могло быть создано, ибо оно противоречило существующим условиям. Первые годы после введения нового устава никто не знал, что делать и чего требовать. Одно за другим выпускались поколения с полным хаосом в умах. Мало-помалу пришлось возвратиться к прежним порядкам, восстановить ежегодные испытания по лекциям профессоров. От нового устава остался бессмысленный гононар, который, при отсутствии свободы преподавания и полном недостатке умственных сил, вел только к безмерному стяжанию одних при нищенском вознаграждении других. Студентам предоставлялось справляться с этим, как они знают.

Но если в учебном строе можно еще было ввести некоторый порядок, устранив главные основания нового устава, то ничто не могло исцелить того нравственного расстройства и унижения, которые были им произведены. Корпоративные связи были разрушены, нравственный авторитет подорван. Профессора превратились в чиновников, обязанных читать лекции. Что должны были думать студенты о преподавателях, которым правительство оказывало полное недоверие, отняв у них права, принадлежавшие им искони, с тех пор как существовали университеты? Или это недоверие было заслужено, и тогда преподаватели оказывались недостойными своего призвания; или же их постигла незаслуженная кара, и тогда подрывалось всякое доверие к правительству, которое являлось произвольным и притеснительным, врагом свободы и просвещения. В действительности оба эти взгляда были усвоены учащейся молодежью; она потеряла всякое доверие как к близкой, так и к отдаленной власти. Но так как юношам нужна опора, то они искали ее в тайной связи между собою. С разрушением корпоративной связи университетов создавалась тайная организация студенчества. Противодействовать этому университеты не могли; они лишены были

всяких прав и всякого авторитета. Это сделалось задачею полиции. Покинутые университетом, студенты были отданы ей на жертву. Их хватали и ссылали массами, даже без ведома университетского начальства. Когда профессора хотели за них заступиться, им делали выговоры за то, что они вмешивались не в свое дело. Но, конечно, такой способ действий мог возбудить только общее негодование молодежи. Организация студенчества не только не была сломлена, но она распространилась на всю Россию. В следующее царствование она обнаружилась в волнениях, охвативших все университеты.

Таким образом, реакционные меры против высшего просвещения привели только к полному его расстройству, к падению всякого нравственного авторитета и в конце концов к новым смутам.

Затем дошла очередь до выборных местных учреждений — земства и мирового суда. И тут не было ни малейшей нужды в каких-либо радикальных переменах. Земство держало себя смиренно, в пределах своих полномочий, оно строило школы и больницы; ничего большего оно не домогалось. Мировые суды, несмотря на скудость наших местных сил, успели приобрести доверие населения; лучшие местные люди отдались им с полным самоотвержением. Те недостатки, которые оказывались в крестьянском управлении вследствие плохого устройства уездных присутствий, созданных уже в реакционное время, легко было исправить, не затрагивая самого существа учреждений. Но в русских правительственных сферах господствует стремление все переделывать и ломать до основания. Великие преобразования, совершенные Александром II, внушили мысль, что то же самое можно делать каждые двадцать лет, между тем как всякие новые учреждения тогда только действуют успешно, когда они изменяются осторожно и постепенно. Еще при Лорис-Меликове образована была комиссия, которой поручено было выработать план коренного преобразования местного управления, с расширением ведомства земства и введением всесословной волости. При графе Толстом ее работам естественно дано было совершенно противоположное направление; теперь все стало клониться к тому, чтобы ограничить права земства, поставить его под опеку и выборное начало в значительной степени заменить бюрократическим.

Плоды деятельности графа Толстого не замедлили обнаружиться. В одно прекрасное утро Россия, к удивлению своему, узнала, что мировые суды, неизвестно почему, уничтожаются и заменяются земскими начальниками⁵³. Это был один из самых необъяснимых законодательных актов, какие встречаются в истории. Россия, как сказано, со времени своего существования не имела настоящего суда. Впервые он был создан преобразованиями Александра II. Но правительство, при наличных средствах, с трудом могло устроить общие суды, а нужен был, кроме того, суд более близкий к народу, удовлетворяющий местным потребностям. К счастью, нашлись на местах люди, которые взяли на себя эти обязанности и исполняли их добросовестно, по мере сил. Несмотря на неизбежные недостатки, вообще мировыми судами были довольны; никто не жаловался. И вдруг это учреждение, которое заслуживало самого сочувственного внимания и самого заботливого обхождения, без всякого повода выбрасывается за окно и заменяется полнейшим произволом. Все обомлели, но все покорились; русские люди к этому привыкли. Многие даже лгисто благодарили.

С мировыми судьями уничтожены были и выборные от земства непреременные члены уездных присутствий, наблюдавшие за крестьянским управле-

нием. Земские начальники, назначаемые правительством из местных помещиков, а за недостатком их из других лиц, и облеченные самыми широкими правами, должны были заменить собою все. Это были маленькие царьки из отставных поручиков, которым всецело подчинялось крестьянское население. К вящему удивлению, в манифесте, возвещавшем русскому народу об этом преобразовании, объявлялось, что введение этих миниатюрных пашей⁵⁴ есть знак милости, оказанный царем русскому дворянству, из среды которого они должны были выбираться. Со времени Екатерины русское дворянство пользовалось обширными правами в области суда и местной администрации. Преобразованиями Александра II, которые изменили весь существующий строй, эти права были у него отняты. В замену того оно получило преобладающее положение в земских учреждениях, где оно, стоя во главе всех сословий, могло самостоятельно вести хозяйственные дела губернии и участвовать посредством выбора мировых судей и неперменных членов в местном суде и управлении. Уничтожение последних очевидно было умалением прав, следовательно, знаком недоверия... А между тем ему с высоты престола говорили, что это милость, на том основании, что земских начальников правительство предполагало брать преимущественно из его среды. Когда при Николае I вводились становые пристава⁵⁵, велено было также набирать их преимущественно из местных дворян, по совещании с предводителями; однако никто не думал выдавать это за милость, оказанную дворянству. Сам граф Толстой смотрел на это совершенно иначе: в своих объяснениях к проекту он прямо говорил, что дворянство призывается тут единственно как поставщик чиновников, чем оно искони было, а отнюдь не как корпорация, ответственная за своих членов. Ясно, что царь и в этом сознательно возвещал во всенародном манифесте то, что явно противоречило фактам. Ему это было внушено, и он поверил.

В дворянском духе были преобразованы и земские учреждения⁵⁶. По уставу Александра II, в избирательном съезде личных землевладельцев соединялись люди, принадлежавшие к разным сословиям, и это было вполне целесообразно, ибо именно тут интересы были общие. На практике, в огромном большинстве случаев, дворянство имело в собраниях значительный перевес; но так как оно не выделялось никакими особыми привилегиями, то это не возбуждало неудовольствия, а содействовало сближению сословий. Дворянство в силу фактического превосходства естественно становилось в их главе. Теперь эта вполне целесообразная организация была разрушена, и притом опять без малейшего практического повода. Все личные землевладельцы, принадлежавшие к другим сословиям, были отделены от дворян и образовали особые избирательные съезды с весьма ограниченным числом представителей. Где требовалось сближение во имя общих интересов, поселялась рознь. Дворянство через это ровно ничего не выиграло, но против него возбудилось неудовольствие других сословий, которые чувствовали себя обиженными.

Еще худшая участь постигла крестьянское представительство. Не только оно было значительно сокращено, но губернатору предоставлено было право из числа выбранных волостями кандидатов назначать гласных по своему усмотрению. В самом собрании эти мнимые представители крестьянского сословия лишены были всякой независимости, ибо вместе с ними заседали земские начальники, которые могли каждого из них оштрафовать и посадить под арест по своему произволу, без всякой ответственности. Последние становились, таким образом, распорядителями крестьянских

голосов, а с тем вместе и значительной части решений собрания. Можно сказать, что это было полное искажение земских учреждений, которое завершилось еще тем, что эти преобразованные во мнимое дворянском духе учреждения были поставлены под ближайшую опеку бюрократической власти. Если, несмотря на все это, они сохранили еще некоторую силу и значение, то они обязаны этим тому благородному духу, который успел вкорениться в них в прежнее время, и тому влиянию, которое сохранила в них лучшая часть местного дворянства.

Люди, стоявшие во главе реакции, понимали, однако, что такого рода мнимыми привилегиями, прикрывающими умаление прав и усиление бюрократической опеки, трудно было привлечь к себе дворянство. Решились задобрить его денежными выгодами. С этою целью учрежден был Дворянский банк, который выдавал ссуды по крайне низким процентам, причем относительно самой уплаты процентов делались всевозможные льготы. Разоряющиеся дворяне просияли. Со всех сторон посыпались благодарственные адреса за эти расточаемые сверху благодеяния. Возбужденные ими аппетиты разыгрались; один безумнее другого возникали проекты для восстановления павшего и униженного дворянского сословия. Казалось, открывалась новая дворянская эра, сулившая бесконечные блага. Лучшие представители дворянства с грустью смотрели на эту смесь раболепства и корысти, которая обнаруживала нравственное разложение сословия. Но они бессильны были остановить зло, которое, при поддержке правительства, распространилось все шире и шире.

Однако и материальные результаты оказались призрачные. Если правительство одною рукою бросало дворянству грошовые подачки, то другою рукою оно воздвигало систему, которая вела его к конечному разорению. Министерство финансов задумало утвердить благосостояние России на развитии крупной промышленности. С этою целью введена была покровительственная система в самых преувеличенных размерах. Но именно земледелия она не касалась. В других государствах европейского материка возродившееся покровительство вызывается прежде всего тяжелым положением земледелия, которое при удешевлении средств перевозки страдает от соперничества непочатых еще стран. Но к условиям русского земледелия это не приложимо, ибо у нас земледельческие продукты составляют предмет не ввоза, а вывоза. Покровительство оказывается не тому, что земледелец продает, а тому, что он покупает. Все, что ему нужно, он должен оплачивать вдвое и втрое. С него взимаются не только таможенные пошлины, идущие в пользу государства, но и доходы заводчиков и фабрикантов. Величина этих доходов может измериться тем, что, например, на сахарных заводах, с помощью искусственного покровительства, составились состояния, которые считаются десятками миллионов. Разоряющаяся отрасль, находящаяся в самых невыгодных условиях, облагалась непомерно в пользу отраслей процветающих. Министерство финансов не хотело знать, что Россия по своим природным условиям есть преимущественно земледельческая страна и что поэтому именно эта отрасль требует особенного внимания и бережного к ней отношения. Земледелие не находится в его ведении, между тем как для заводской и фабричной промышленности имеются в нем особые департаменты. А потому им оказываются всевозможные льготы; им дается право с помощью покровительственных пошлин избирать разоренных сельчан. Для их выгод затеяна была с Германией таможенная война⁵⁷, которая нанесла самый тяжелый удар русскому земледелию. А с другой

стороны, между тем как помещиков и крестьян заставляли втридорога покупать все, что им нужно, их собственные произведения искусственным образом удешевлялись проведением железных дорог в непочатые степи Востока и дифференциальными тарифами, которые, уничтожая невыгоду расстояний, не допускали поднятия цен при благоприятных условиях. На средства казны, т. е. в значительной степени на подати, платимые теми же кругом обираемыми земледельцами, пролагались дороги за Урал и в Сибирь, которые служили к их же разорению. С одной стороны, они принуждены были все покупать дороже, с другой стороны, им приходилось все продавать дешевле. Не мудрено, что при таких условиях обеднение шло возрастая. Грошовые подарки правительства были только каплей в море для русского землевладения, которое чувствовало себя в безвыходном положении. Поэтому, несмотря на возведение новой эры, жалобы продолжались с прежнею силой, и проекты для восстановления дворянства становились все безобразнее и нелепее.

Но еще хуже было положение крестьянства. К неблагоприятным экономическим условиям присоединилось полное неустройство внутреннего быта. Положение 19 февраля, установив основные правила, определявшие переход от крепостного состояния в свободное, предоставило внутреннее устройство крестьянского быта дальнейшему развитию законодательства и жизни. Но наступившая затем реакция, которой вся государственная мудрость ограничивалась принятием полицейских мер, оставила эти вопросы нетронутыми. А так как жизнь настойчиво требовала их разрешения, то здесь водворилась полная безурядица. Крестьяне не знают, каковы их права и что им принадлежит. Столкновения происходят на каждом шагу и разрешаются совершенно случайно. Общинное владение, сохраненное в великороссийских губерниях, составляет преграду всякому гражданскому и экономическому развитию. Признанием права выкупа за каждым отдельным членом общины Положение 19 февраля давало из него постепенный и правильный выход, но именно этот выход был заперт реакционным правительством, которое воспретило выкуп без согласия мира и объявило надельную землю неотчуждаемою. Вместо свободного распоряжения своим лицом и имуществом, которое имелось в виду Положением 19 февраля, крестьяне как отдельные сословия были вновь закрепощены в свой особый маленький мирок с полной неопределенностью прав. Все понятия о собственности у них перепутались. Те, которые в течение тридцати лет выкупали свой надел, при переделе по наличным душам лишались своей земли в пользу других. Водворению социалистических начал дан был полный простор. Правительство возвращалось к воззрениям крепостного права, после того как крестьяне объявлены были свободными. В чем состоят условия свободы и что она за собою влечет, об этом в правительственных сферах имели столь же мало понятия, как и о том, что прочность права собственности составляет краеугольный камень всякого благоустроенного гражданского быта. При таких порядках, конечно, об увеличении благосостояния не могло быть речи. Народонаселение росло, земля истощалась, а накопление капитала, которое при правильном экономическом развитии должно с избытком восполнять проистекающий отсюда недостаток, не только не шло в уровень с потребностями, а, можно сказать, почти совершенно отсутствовало. Результатом этого процесса было обеднение крестьянства, которое выразилось наконец в самых резких формах в следовавшие друг за другом на недалеком расстоянии, голодные года⁵⁸.

Между тем как тридцать лет тому назад продовольственные капиталы земства лежали нетронуты и некоторые собрания даже ходатайствовали о том, чтобы дать им более производительное употребление, в настоящее время все эти капиталы исчезли, и правительство принуждено тратить сотни миллионов на прокормление голодающего населения. И к этим сотням присоединяются еще многие миллионы, пожертвованные частными людьми, и все-таки это оказывается недостаточным для устранения самых вопиющих явлений голодного тифа и повальной цинги, охватывающих обширные губернии и уносящих целые слои обнищавшего населения. И это происходит при громадном развитии путей сообщения, когда, казалось бы, помощь могла бы легко получаться отовсюду. Если при всяком недороде правительство принуждено кормить население, то последнее, очевидно, находится на краю нищеты. Это факт явный, которого не могут устранить никакие статистические софизмы.

Россия на пороге двадцатого столетия представляет в материальном отношении странное явление. Финансы ее находятся в более блестящем положении, нежели когда-либо. Кассы ее наполнены золотом; доходы постоянно представляют значительный избыток над расходами. После многих лет бумажного хозяйства удалось, наконец, с помощью фиксирования курса ввести в страну металлическое денежное обращение. Правительство сосредоточило в своих руках громадную сеть железных дорог; все потребности государства оно покрывает, не скупясь. Но, с другой стороны, долги в короткий срок, во времена полного мира, возросли более чем на миллиард рублей; на будущие поколения наложены страшные тягости; землевладельцы обременены непосильными долгами, а коренное население голодает. Очевидно, денежные средства правительства приобретены в ущерб производительным силам народа. Это невольно напоминает изречение знаменитого французского публициста: «Когда дикие народы хотят собрать плоды с дерева, они губят дерево и срывают плод; таково изображение деспотизма». Правительство, которое может налагать на народ всякие тягости, не спрашиваясь никого, всегда рискует подорвать его платежные силы и тем самым поразить основы народного благосостояния.

Но каково бы ни было материальное положение русского народа, он в конце концов из него выйдет, когда с него будут сняты опутывающие его узы, ибо это народ смысленный и трудолюбивый. Несравненно хуже то нравственное зло, которое под влиянием близорукой реакции разъедало несчастную русскую землю, проникая во все сферы, отравляя лучшие ее силы и искажая великие совершенные в ней преобразования.

Из всех созданий эпохи реформ одни общие суды формально остались нетронутыми; но в них вселялся новый дух, совершенно противоположный тому бескорыстному и благородному стремлению к правде, которое одушевляло их в первые времена. Всемогущему правительству нетрудно искоренить в судах всякую тень независимости, сохранив от нее одну внешнюю форму. Достаточно производить нужное давление, назначать и повышать людей, угождающих власти, действовать развращающею приманкою наград, а независимым людям выказывать суровое нерасположение начальства, и можно быть уверенным, что суды превратятся мало-помалу в послушных клевретов правительства. Эту роль взял на себя министр юстиции Манассеин⁵⁹, посаженный на это место своим школьным товарищем обер-прокурором Св. Синода Победоносцевым. Крутой и вла-

столюбивый, чуждый всяких нравственных побуждений и неразборчивый на средства, а с тем вместе покорный слуга своего патрона, он сделал то, что суды, созданные для того, чтобы быть гарантией граждан, обратились в орудия религиозного гонения. Целый ряд процессов показал, что судьи позволяли себе самое вопиющее пристрастие, самые явные нарушения закона. Некоторые из этих дел были кассированы Сенатом, но наконец и Сенат, более и более наполняемый креатурами реакционного правительства, последовал тому же течению. Недавно насажденное правосудие грозит снова исчезнуть с лица русской земли.

Религиозное гонение было естественным спутником реакции. Главным двигателем его был обер-прокурор Св. Синода. В начале царствования Александра III, когда после страшного события 1 марта все трепетали за жизнь царя, раскольники старались приманить некоторыми льготами. Но как скоро правительство почувствовало свою силу, гонения начались. Первою жертвою их сделались штундисты⁶⁰. Эта секта, близкая к протестантским методистам⁶¹, сильно распространилась на Юге. Не удовлетворенные формализмом господствующей церкви, многие, даже из низших классов, охваченные религиозною жаждой, собирались для молитв и для чтения Св. Писания. Они были признаны опасными для государства и причислены к особенно вредным сектам. Собрания их были воспрещены; против них принимались самые строгие полицейские меры, суды карали их немилосердно.

Еще худшая участь постигла духоборцев⁶². Эти сектанты давно были выселены в Закавказский край, где они достигли цветущего положения. В Восточную войну они выказали самый искренний патриотизм и оказали отечеству значительные услуги. Внутренние раздоры, поддержанные правительством, повели к тому, что секта раскололась, и большая часть ее под влиянием фанатической проповеди отказалась исполнять военную службу. Примеры людей, считающих военную службу за грех, не новы. Обыкновенно их нравственному чувству, хотя и ложно нравственному, оказывается уважение: военная повинность заменяется другими. Так было поступлено в России в отношении к меннонитам⁶³. Но с духоборцами расправились иначе. Предводителей движения сослали в самую глубь Сибири, где они вместе с политическими ссыльными должны были жить в самых ужасающих условиях. Остальные же были выселены в совершенно бесплодный край, где им не дали даже земли. Они принуждены были искать себе пропитания подневным трудом, которого притом часто нельзя было добыть, так что они не только вконец разорились, но были обречены на постоянный голод. Между ними распространились страшные болезни; многие от истощения ослепли. Некоторые из поклонников известного писателя графа Л. Н. Толстого отправились на места, чтобы лично убедиться в положении вещей. Они вернулись с ужасающими рассказами о том, что они там видели. Граф Толстой стал собирать частную подписку в пользу духоборцев; эти рассказы проникли и в журналы. Результат был тот, что журналам, осмелившимся говорить об этом деле, дали предостережения, а толстовцев, виновных в человеколюбивом собирании сведений и денег, выслали из России. Самого Толстого, однако, не решились тронуть; это был бы скандал на весь мир. Из опасения скандала разрешено было самим духоборцам выселиться из России. Граф Толстой собрал для этого деньги, и несколько тысяч сильного и рабочего русского населения были перевезены в Канаду, где их приняли с радостью; им дали земли и пособия. Там

их не считают опасными для государства. Это выселение произошло уже в настоящее царствование.

Религиозное гонение постигло не одних отщепенцев от православия; оно коснулось и признанных вероисповеданий, давно имеющих в России право гражданства. Евреи издавна подвергаются у нас значительным притеснениям. За исключением особо поименованных разрядов, им воспрещено жительство в великороссийских губерниях. В царствование Александра III, при министерстве графа Игнатьева⁶⁴, эти стеснения были еще усилены. Даже в местах жительства им воспрещены покупка и аренда земель. Поступление их в высшие и средние учебные заведения было ограничено известным процентом. Несчастных старались стеснить всеми мерами, нигде не давая им выхода. И все это опять совершалось без всякого повода. На них послаблением полиции напускались шайки грабителей, а потом их же за это подвергали каре. Правительство играло на самых низменных страхах русского населения, потакая затаенной в нем неприязни к евреям. Это чувство распространено во многих странах, даже весьма образованных; в евреях видят не только чужеродцев и иноверцев, но и опасных конкурентов. Однако всякий, кто жил в Малороссии, знает, что народ сживает с ними очень хорошо и от присутствия их не беднеет, а напротив, пользуется большим благосостоянием, нежели там, где этих так называемых паразитов нет. Беспристрастные помещики и даже духовные лица признают пользу, приносимую краю этим деятельным и торговым племенем. Вред происходит главным образом от их скученности и от окружающих их стеснений, которые заставляют их прибегать ко всяким средствам, чтобы добыть себе скудное пропитание. Но в таком случае единственная рациональная мера состоит в дозволении им селиться, где угодно, и заниматься, чем угодно. Это — единственный порядок, совместный с общественным строем, в котором признаны начала гражданской свободы. А между тем при господстве реакции все прежние льготы и послабления были отменены. Русские власти дошли до того, что евреям воспрещено ездить лечиться на Кавказские воды, под тем предлогом, что Кавказ не принадлежит к области их оседлости.

Но нигде эти гонения не приняли таких возмутительных размеров, как в самом центре России — в Москве. Здесь старый генерал-губернатор, князь Долгоруков⁶⁵, привыкший к мягким приемам Александра II, может быть, и не без личного интереса, много лет смотрел сквозь пальцы на поселение в Москве массы евреев, не имевших на то формального права. Наконец это обнаружилось. Его за это сменили, и на место его назначен был великий князь Сергей Александрович⁶⁶. Но перед этим произведено было повальное изгнание евреев из Москвы. Сотни семейств, давно в ней поселенных и занимавшихся самыми невинными промыслами, были высланы на места жительства. Ремесленники, комиссионеры, торговцы старинными вещами, ученицы консерватории, добывавшие себе хлеб уроками музыки, подверглись беспощадному изгнанию. Им не давали даже срока для устройства своих дел; Москва должна была быть немедленно очищена для прибытия августейшего ее начальника. Вопль поднялся отовсюду, но на жалобы не обращали ни малейшего внимания. Началась усиленная эмиграция евреев из России. Правительство Соединенных Штатов, изумленное внезапным их наплывом, прислало комиссаров, чтоб осведомиться на месте о положении дел. Они представили Конгрессу вопиющие картины бедствия и нищеты, которые были последствием

принятых русским правительством мер. Знаменитый английский историк Лекки⁶⁷ в своей книге о «Демократии» выставил их в полном свете и заклеил позором это возмутительнейшее явление в русской жизни XIX столетия. Это были не клеветы иностранцев, не знающих наших условий и нашего быта; то была чистая и голая правда. Но ко всему этому русское правительство осталось совершенно равнодушным. Последняя сдержка, стыд перед мнением образованной Европы, исчезла. Для Москвы это имело то последствие, что завязавшиеся с помощью еврейских комиссионеров связи между московскими фабрикантами и Малороссией заменились связью между Малороссией и Лодзью. Десятки миллионов были таким образом потеряны для Москвы. Столица очистилась от еврейских ростовщиков, но остались русские, которые, не опасаясь уже конкуренции, стали взимать вдвое большие проценты.

Не менее тяжела была судьба польских униатов⁶⁸. Здесь гонение началось еще в реакционную пору царствования Александра II, оно было следствием чиновничьего подлога. Литовские униаты, как известно, были присоединены к православию⁶⁹ еще в царствование Николая I деятельностью униатского епископа Симашки⁷⁰ который выдал свою паству русскому правительству. Но в двух губерниях Царства Польского, населенных русским племенем, уния сохранилась. В Холмской епархии епископ Поппель⁷¹ последовал примеру Симашки, и униаты были присоединены к православию без всякого насилия. Но иначе обошлось дело в Седлецкой губернии. Здесь губернатором был Громека⁷², некогда либеральный писатель. Видя успех действий Поппеля, он вознамерился учинить присоединение униатов к православию давлением гражданской власти и тем подслужиться к правительству. С этою целью собраны были депутаты от разных общин; им представлен был для подписи адрес, в котором в совершенно туманных выражениях говорилось, между прочим, что они одной веры с царем. Это было представлено в Петербург как выражение желания населения присоединиться к православию. Актом Св. Синода присоединение было учинено. Когда это было объявлено населению, оно пришло в изумление и заявило, что никогда подобного поручения оно своим депутатам не давало, и сами депутаты не думали подписывать ничего подобного. Жалобы пошли в Петербург; велено было нарядить следствие. Но бюрократия распорядилась по-своему. Всякими мерами было собрано по общинам некоторое число подписей, и это было представлено как выражение согласия этих общин на присоединение к русской церкви. Тогда все это население, согласные и несогласные, подписавшиеся и не подписавшиеся, было окончательно объявлено православным. Это был явный подлог. Тут же униатские храмы были обращены в православные. Когда из них стали выносить органы, народ этому воспротивился, и дело дошло до кровопролития. Многие тысячи населения продолжали упорствовать в унии. Они знать не хотели православных священников, и все свои требы, браки, крещение детей совершали у католических ксендзов или у униатских священников, призываемых тайно из Галиции. За это их преследовали и сажали в тюрьму; священников ловили, заточали или ссылали во внутренние губернии. Во все царствование Александра III продолжалось это возмутительное гонение. Сотни людей томились в темницах; тысячи лишены были всякого религиозного утешения. Даже по официальным сведениям, всегда умаляющим истину, более 70000 человек поныне упорствуют в своем отчуждении от господствующей церкви.

То же самое было и в Остзейском крае⁷³. И тут разного рода приманками часть латышского населения была некогда привлечена к православию; но затем она оказалась упорно преданною своему старому лютеранскому исповеданию. Новообращенные латыши и их потомки не хотели иметь дела с православными священниками; для совершения таинств они прибегали к своим прежним лютеранским пасторам, которые были поставлены в самое трудное положение между священными обязанностями перед Богом и перед совестью и официальным законом, воспрещавшим совершение треб над людьми, формально причисленными к другой вере. В мягкое и гуманное царствование Александра II на это смотрели сквозь пальцы. Разрешено было даже при смешанных браках крестить детей по воле родителей, ибо в чисто лютеранском крае православная церковь все-таки признавалась господствующею и в этом отношении пользовалась привилегией. При Александре III это согласное с свободой совести разрешение было отменено, а против пасторов, совершающих незаконные требы, возбуждено преследование. Более шестидесяти пасторов, свято исполнявших свои религиозные обязанности, были таким образом преданы суду и отрешены от должности; некоторые из них были сосланы во внутренние губернии. Латыши, формально причисленные к православию, были лишены всякой христианской помощи.

И после всего этого обер-прокурор Св. Синода имел смелость перед лицом всего мира утверждать, что у нас существует свобода совести! В Своде законов она значится, но это не более как мертвая буква, с которою действительность находится в вопиющем противоречии.

Но не одно религиозное гонение постигло Остзейский край. Русское правительство принялось за его обрусение. Это была давнишняя мечта славянофилов. Ярый противник немцев Юрий Самарин⁷⁴ издал за границею свои «Окраины России», в которых он злобно нападал на все порядки в Остзейских губерниях. Можно сказать, что это был один из самых крупных грехов этого даровитого и благородного ума. Вся узкость и нетерпимость славянофильства, преувеличенная оценка своего и непонимание чужого сказались здесь вполне. Вытекающие из их истории особенности остзейских немцев, трудное их положение между самовластным русским правительством и иноплемennым населением, их заботливое охранение корпоративных учреждений, хотя во многом устарелых, но ограждавших прочность и преемственность права,— все это для русского публициста было только предметом ядовитых нападок. При том низменном уровне, на который спустилось русское патристическое чувство после проповеди Каткова, эти обличения жадно воспринимались русским обществом, а наконец и правительство поддалось этому направлению.

Доселе русские монархи весьма бережно относились к остзейским порядкам. Остзейский край был присоединен к России с обещанием сохранить все его особенности и права. С тех пор остзейцы верно служили престолу. Они проливали свою кровь за Россию, и многие из них оказали ей значительные услуги. Немецкая культурность и аккуратность были полезным элементом и в русской администрации, и в общественной жизни. В преданности немцев нельзя было сомневаться, а потому даже такие суровые деспоты, как Николай I, не трогали их порядков и их привилегий. За свои «Рижские письма», писанные еще в сороковых годах, Юрий Самарин был посажен под арест. То же направление продолжалось и при Александре II. Без сомнения, многое в Остзейском крае требовало улучшения, особенно

после того, как в России были произведены либеральные реформы. Освобождение крестьян было совершено там еще в начале столетия с согласия дворянства; но надобно было упорядочить эти отношения, дать большие гарантии низшему населению. Не подводя Остзейские губернии к одному уровню с остальной Россией, можно было бережно и осторожно изменять устаревшие учреждения, применяясь к особенностям края, к установившимся в нем взглядам и привычкам и обращая должное внимание на связанные с этими порядками интересы. Вместо того русское правительство с своими обычными медвежьими приемами принялось за ломку всего существующего. В то время как оно в России уничтожило мировые суды, оно ввело их в Остзейских губерниях, только с назначением от правительства, т. е. без всякой связи с краем и без всякой самостоятельности. Главное же, оно стало всюду вводить русский язык, не только в официальных актах, но и в высших и средних учебных заведениях. Немецкий язык изгонялся даже из заведений, учрежденных и содержимых за счет немецкого дворянства. И эта ломка производилась нередко просто административными распоряжениями, не прибегая к сложному и медленному законодательному пути. В Остзейский край посылались губернаторы, не знавшие немецкого языка, и им говорили: «Вы действуйте, а мы вас будем поддерживать».

Результатом этой политики было возбуждение всеобщего недовольства, а вместе полный разгром всего весьма высоко стоявшего учебного дела. В этом отношении Остзейский край доселе составлял в России счастливое исключение. Это была единственная местность, в которой немецкие педагогические приемы и культурные понятия успели противостоять даже бюрократической тупости нашей учебной администрации и произведенным ею реформам. Теперь все это было разом уничтожено и низведено к общему уровню всероссийских учебных заведений. В гимназиях учителя, от которых требовали, чтоб они преподавали по-русски, массами выходили в отставку. Дерптский университет⁷⁵, некогда стоявший столь высоко благодаря своей связи с Германией, давший науке перво-классных деятелей России Пирогова и Грубе⁷⁶, Европе Бергмана⁷⁷ и других, превратился в место, куда стали ссылать всех тех, кто по неспособности не мог попасть в другие университеты. Число студентов в нем значительно сократилось; преподавание, за немногими исключениями, низшло к весьма невысокому уровню. Некогда Катков, когда ум его не был еще совершенно отуманен патриотическим задором, говорил, что обрусение Дерптского университета было бы преступлением против просвещения. Это преступление было совершено.

До чего доходило стремление к обрусению, можно видеть из того, что немецких докторов предавали суду за то, что они на своих дверях вывешивали объявления пациентам на немецком языке. И введенные Манассеиным мировые суды налагали на них штрафы, не в силу закона, ибо такового не было, а на том основании, что государю императору угодно, чтобы русский язык был господствующим в крае. Однако Сенат кассировал эти гнусные решения.

Не лучше было положение и в чисто русских губерниях. Тринадцать лет протекло от мученической кончины Александра II до смерти Александра III; никаких в этот промежуток не было ни смут, ни покушений; а между тем значительная часть России и в особенности столицы состояли под усиленною охраной. Власти требовали продолжения ее из года в год, уверяя, что без этого они не могут управлять. Кавур⁷⁸ говорил, что всякий

болван может управлять с осадным положением. Русские правители хотели оправдать это изречение, не понимая, что в их требованиях усиленных полномочий заключается сознание своей глупости. И эти чрезвычайные права, установленные для преследования политических заговорщиков, прилагались ко всему на свете: к извозчикам, к дворникам, к мостовым. Ссылаясь на положение об усиленной охране, начальники губерний налагали на домовладельцев совершенно произвольные штрафы; издавались правила для экипажей; закрывались торговые ряды и лавки; требовалось известное устройство мостовых. То, что по закону предоставлялось городским думах, было в силу безобразного толкования полномочий перенесено на полицию, которой производ не знал границ. В Москве незаконные штрафы, налагаемые обер-полицмейстером на извозчиков, в один год превзошли 100000 рублей. Самая организация полиции сделалась крайне сложною и пустила многочисленные разветвления. Прежние явная и тайная полиции были сохранены; но рядом с обыкновенного тайною полицией, представляемой жандармским управлением, учреждена была особая тайная полиция под именем охраны, которая частью находилась в ведении явной полиции, частью же непосредственно сносилась с Министерством внутренних дел и действовала неведомым путем на основании неведомых инструкций. В сравнении с нею самое жандармское управление являлось подобием какого-то законного порядка. Вся эта крайне спутанная организация вела лишь к тому, что всякий, облеченный властью, имел право человека схватить и сослать без разбора, и на это не было ни суда, ни расправы. Административные ссылки умножились в ужасающих размерах. Они прилагались не только к политически неблагонадежным людям — понятие, которое уже само по себе открывало возможность самого широкого произвола, но и вообще ко всякому лицу, почему-либо не угодившему начальству или просто повздорившему с полицией. В управление князя Долгорукова в Москве были вопиющие примеры такого злоупотребления полномочиями из чисто личных целей. Но и в провинции это практиковалось безнаказанно.

И на все это приниженное русское общество смотрело с каким-то тупым равнодушием. Никто не дерзал открыть рта из опасения неминуемой кары. За всякое сколько-нибудь независимое слово человек немедленно подвергался опале и нигде не встречал поддержки. Благородные стремления эпохи преобразований как будто отошли в туманную даль. Общество привыкло видеть в этих ежедневных, из года в год повторяющихся явлениях естественный и нормальный порядок вещей.

Журналистика, разумеется, не смела пикнуть. Самые видные ее представители, которых властвующая бюрократия еще несколько боялась, сошли в могилу. Катков, который вследствие своего влияния при дворе был грозой министров; Аксаков⁷⁹, который свой блестящий талант и свою благородную натуру употребил на пустозвонную проповедь славянофильства, способную только внести еще большую смуту в сбитые с толку умы. После них остались посредственности, с которыми нечего было церемониться. Цензура не была восстановлена; но система предостережений вполне достигла цели. Негласными распоряжениями редакторам воспрещалось говорить о самых животрепещущих вопросах, а кто осмеливался преступить запрет, подвергался немедленной каре. Все журналы со сколько-нибудь либеральным направлением висели на волоске, а холопствующей ватаге поклонников реакции давался полный простор. Они могли на своем рабо-

лепном жаргоне прославлять правительство на все лады, восхвалять все его самые вопиющие меры, видеть в нем спасителя отечества. Более или менее значительно свободой пользовались и социалисты. Либерализм казался правительству опасным; но социализм, пока он являлся в теоретической форме, представлялся безвредным. Вследствие этого учение Маркса, в книгах и брошюрах, именно в это время получило самое широкое распространение, особенно среди учащейся молодежи. Только среднее, умеренно либеральное направление оставалось внакладе. В журналистике оно не имело органа, а книги, кроме самых задорных, у нас давно перестали читать.

Отсюда и в литературе, и в обществе преобладание крайних направлений, из которых одно, нагло выставляясь напоказ, теряло, однако, более и более под собою почву, а другое, скрываясь под личиной теоретических изысканий и любви к народу, втайне овладевало неопытными умами. Это явление повторяется во многих странах и при разных условиях, но оно всегда служит признаком ненормального положения вещей. Это — симптом, указывающий на внутреннюю болезнь. В России при скудости нашего образования эти явления приняли особенно неприглядный характер. Реакционная партия, кроме владывствующей бюрократии, заключала в себе разорившихся или разоряющихся дворян, которые из корыстных видов воссылали свои мольбы к правительству как источнику всяких материальных и чиновных благ. В ней теснилось и созданное Катковым поколение, получившее прозвание «молодых подлецов», которые ничего не понимали, кроме произвола и подобострастия, и вслед за своим кумиром пели гимны правительству, прославляя в особенности энергию и мудрость Александра III. К ней примыкала, наконец, вся та масса пошляков, наполняющих всякое общество, особенно же такое невежественное, как наше, которое следует общему течению и готово преклоняться перед всякою властью. Ни один из этих элементов, конечно, не содержал в себе залогов для будущего развития отечества и для разумной государственной жизни. Можно сказать, что это были худшие из элементов русского общества, которые, однако, при господстве реакции пользовались особенным покровительством, одни имели голос и повышались по чиновной лестнице. Противоположное направление, напротив, обнимало собою всю волнуемую молодежь, исполненную благородных стремлений, но лишенную всякой основательной подготовки и всякого разумного руководства. Этот элемент еще менее, нежели первый, мог способствовать правильному развитию русской общественной жизни. Скорее он был для нее величайшей помехой. Социализм есть бессмысленное отрицание всего существующего общественного строя во имя фантастического будущего; что же он мог дать гражданскому порядку, кроме разрушения? Благодаря социалистической пропаганде русское общество лишилось плодов великих преобразований Александра II. Именно эта пропаганда вызвала реакцию; она же продолжала служить ей главной опорой. Когда недоучившиеся юноши сходились в тайные организации и возмущали народ на фабриках, то для полиции это была пожива. Лучшего себе оправдания она не могла найти.

Однако в русском обществе не было недостатка в здоровых силах; но они были принижены и затеряны среди крайних направлений. Эти люди действовали в тиши, на местах; они заводили школы и строили больницы. Но правительство смотрело на них с недоверием. Всякий независимый

человек, не пресмыкающийся перед властью, в высших кругах считается у нас красным; он становится предметом подозрения. В обществе же они не находили опоры. Разоряющееся дворянство потеряло всякую самостоятельность и ожидало своего возрождения от милости власти. Купечество вследствие покровительственной системы находилось всецело в руках правительства, которое могло одним почерком пера осыпать его незаслуженными благами или подорвать самые существенные его интересы. Крестьянство представляло косную массу, которая имела в виду только насущный кусок хлеба. Все прежние самостоятельные силы исчезли, а новые еще не успели сложиться. К тому же прежние рассадники просвещения, от которых исходил свет по русской земле, были придавлены, а социалистическая молодежь смотрела на разумных и умеренных людей как на отсталых. Не гражданский порядок, а рабочий вопрос и крестьянские смуты составляли для нее предмет вожделений. Не мудрено, что русские люди, которые сохранили еще ясность мысли и благородные идеалы, приуныли, не видя исхода из страшного положения. Русское общество отупело; его умственный и нравственный уровень значительно понизился. Официальная лож охватила его со всех сторон. Выражение независимых мнений не допускалось, а лицемерные излияния преданности и любви на старинном языке холопов, желающих подслужиться к барину, неслись к престолу, нимало не соответствуя истинным чувствам писавших.

Если таково было положение внизу, то наверху оно было еще несравненно хуже. Во всяком благоустроенном государстве одна из самых существенных задач политики состоит в том, чтобы привлечь к правительству лучшие общественные силы; а тут поступали как раз наоборот: кверху поднимались именно худшие элементы. Все независимое, имеющее свои убеждения, тщательно устранялось, а возвышалось все гибкое, угодливое, пошлое. Чиновная лестница служила как бы способом очищения бюрократии от всяких независимых элементов. Если и случалось, что порядочный человек, силою покровительства, приобретал влиятельное положение, то он скоро подпадал действию среды; она его заедала, и он терял всякое сознание различия между добром и злом. Отсюда столь частое у нас превращение людей, как скоро они достигают высших чинов: они становятся неузнаваемы. Все это составляет обычную принадлежность неограниченной власти и бюрократического управления. Неограниченные монархи вообще любят окружать себя угодниками; самостоятельное мнение им неприятно. Это — общее свойство человеческой природы. Раболепство и лесть везде составляют отличительные черты царедворцев. Только в те времена, когда власть чувствует себя шаткою или предстоит совершить какое-либо трудное дело, как было у нас в эпоху преобразований, призываются к участию независимые общественные силы; как же скоро потребность миновалась, так они удаляются. С своей стороны бюрократия представляет громадную машину, в которой каждое лицо играет роль маленького колеса. Вступая в нее, чиновник должен отречься от себя, отказать от всякой независимости. Повиноваться и исполнять — таково отныне его призвание, и это въедается в его плоть и кровь, становится для него второю натурой. Таков обычный ход вещей. Но все эти недостатки учреждений еще в значительной степени усугубляются там, где, как у нас, ощущается полное отсутствие серьезного образования. Когда же к этому присоединяется влияние реакции, которое заподозривает всякое самостоятельное движение мысли и ничего не хочет знать, кроме безмолвной

покорности, то зло может достигнуть самых страшных размеров. В России нравственный уровень высших правительственных сфер никогда не был высок, но при Александре III он понизился так, что это превосходит всякое вероятие. Небольшое дело, случившееся в то время, может служить тому наилучшим доказательством.

Строитель Рязанско-Козловской железной дороги Павел Григорьевич фон Дервиз⁸⁰ оставил по себе многомиллионное состояние, перешедшее к двум его сыновьям, из которых старший был уже совершеннолетний, а второй состоял под опекою матери. У умершего богача был брат Дмитрий Григорьевич фон Дервиз, член Государственного совета. Он из-за чисто личных вопросов поссорился с племянником и вознамерился воспрепятствовать свободному его распоряжению своим имуществом. Добровольным орудием этой интриги явился школьный товарищ и приятель фон Дервиза, министр юстиции Манассеин. Он доложил государю, что молодого Дервиза надобно взять в опеку, ибо он расточает состояние, оставленное ему отцом, и разоряет малолетнего брата. Были даже намеки, что деньги идут на неблагонадежные цели. Государь, однако, не хотел решить частное дело по личному докладу министра, но вместо того чтобы дать ему законный ход, т. е. вести его через Дворянское депутатское собрание, так как фон Дервиз был рязанский дворянин, он велел рассмотреть его в Комитете министров. Собрались все высшие государственные сановники, чтобы произнести приговор, который должен был иметь последствием лишение полного правного дворянина принадлежащих ему гражданских прав и наложение на него позорного наказания. По прочтении докладной записки министра юстиции Абаза⁸¹ заметил, что следовало бы потребовать объяснений от обвиняемого. На это другие отвечали, что после того, как министр собрал все нужные сведения, это совершенно излишне, и все, не обинуясь, подписали решение. Тут сидели юристы, в том числе Победоносцев, которым весьма хорошо было известно, что осуждение человека без предъявления ему обвинения и без получения от него ответа есть вопиющее нарушение самых элементарных требований правосудия. Они знали, что по нашим законам, когда земское собрание не то что передает суду, а только представляет Сенату о предании суду члена управы, виновного в каких-либо злоупотреблениях, Сенат возвращает представление, если при нем нет объяснения обвиняемого. И тем не менее они сочли возможным, в угоду товарищу, попать ногами и правосудие, и доверие государя. Опекуном был назначен другой товарищ и приятель Манассеина, сенатор Коробьин, которому внезапно с неба свалилось 30 000 рублей годового дохода. Все поздравляли его с этим радостным событием.

Между тем ни в чем не повинный Дервиз сидел у себя в деревне, вовсе не подозревая собравшейся над ним грозы. Вдруг ему объявляют, что он, как расточитель имения, взят в опеку! К счастью, мать его, живя за границею, была знакома с одною особой, имевшей положение и связи при дворе. Она бросилась к ней и объяснила, что все это чистая клевета, что никакого разорения нет, а напротив, со времени смерти старого Дервиза капиталы увеличились. Та посоветовала подать прошение государю и взялась его доставить. Государь увидел, что он был обманут, и велел рассмотреть дело вновь в Комитете министров. На этот раз Манассеин, видя, что штука не удалась, даже не явился в заседание, и все, точно так же без всякого прекословия, подписали отмену прежнего решения. Рассказывали, что после этого Победоносцев плакался перед государем, уверяя его, что он

был введен в заблуждение; как будто можно заблуждаться насчет того, что непозволительно осуждать человека, не потребовав даже от него ответа насчет взводимых на него обвинений! При этом государь будто бы сказал, говоря о главном защитнике этого дела П. Г. фон Дервизе: «Уж я до этого горбуна доберусь!» Но горбун продолжал спокойно сидеть в Государственном совете, и сам министр юстиции, нагло проведший своего государя и пойманный в мошенничество, продолжал управлять попираемым им правосудием в несчастной русской земле. Манассеин потерял место уже впоследствии, когда он сочинил так называемое судилище совести, в которое, по предложенному им проекту, ему представлялось право по своему усмотрению переносить дела из всех судебных мест Империи. Такое властолюбие показалось уже чересчур дерзким.

Можно наверное сказать, что если бы дело фон Дервиза вместо того, чтобы судиться собранием высших сановников Русской империи, было передано последнему из входящих в состав ее сословий, например мещанам, оно получило бы иное решение. Они не взяли бы на себя осудить человека, не предъявив ему вины и не получив от него ответа. В них пробудилась бы совесть, которая в собрании сановников блистала только полным своим отсутствием. И надобно заметить, что в числе этих сановников были люди несомненно честные и порядочные. Но это именно показывает нравственный уровень среды, в которой самые вопиющие нарушения правды и нравственности считались делом столь обычным, что на него не стоит даже обращать внимание.

Какую же после этого опору мог найти в ней молодой государь, вступивший на престол после смерти отца? Неопытный в делах и неподготовленный к управлению, опутанный целою сетью лжи, он не имел ни одного человека, на которого бы он мог положиться. Очевидно, при самых лучших намерениях он легко мог сделаться игралищем в руках окружающих.

Историческая задача нового царствования раскрывалась сама собою. Царствование Александра III все определилось катастрофою 1 марта, так же как царствование Николая I определилось возмущением 14 декабря. В обоих случаях наступила реакция, часто неумелая и шедшая через край, но вызванная предшествующими событиями. Царствования же их преемников должны были снова поставить Россию на путь правильного развития. Однако между обеими эпохами была существенная разница. Александру II предстояло совершить все упущенное родителем, преобразовать русскую землю на новых началах. Перед Николаем II не было таких крупных задач, ибо величайшие преобразования были уже совершены. Нужно было, прежде всего, восстановить их в полной силе, сделать их истинной и утвердить на них прочный законный порядок вещей. Это не было бы неуважением к памяти отца, а просто сознанием того, что разные времена и царствования имеют разные задачи. Нельзя же оставлять людей целые десятки лет в осадном положении; надобно наконец возвратиться к нормальному порядку, и перемена царствования представляет для этого самый удобный повод. Если бы молодой царь, даже не делая шага вперед, пошел по пути, указанному дедом, то благоразумные русские люди были бы довольны. Они с тревогою обращали свои взоры к престолу, спрашивая себя, что возьмет верх: добрая ли натура царя или влияние окружающих, которые, конечно, ничего другого не желали, как продолжения произвола, удовлетворяющего их личным интересам и составляющего единственное доступное им орудие действия?

Первый шаг был горьким разочарованием. На приеме собравшихся со всей России предводителей дворянства царь счел нужным в резких выражениях дать отпор адресу тверичей, которые в весьма почтительной форме просили о восстановлении законного порядка. Он обозвал эти стремления «бессмысленными мечтаниями». Услышав эти слова, рабочие представители благородного сословия, за исключением весьма немногих, поехали отслужить благодарственный молебен в Казанском соборе, чем показали свой нравственный уровень; но в России это выражение произвело глубокое и неблагоприятное впечатление. В тверском адресе говорилось не о конституции, а об утверждении законного порядка, который составляет насущную потребность жизни. Если это объявлялось бессмысленным мечтанием, то на что же можно было надеяться? Или подданные не должны дерзать просить об облегчении своей участи, даже когда им невыносимо тяжело?

Однако это слово, внушенное юному венценосцу людьми, которым ненавистен законный порядок, могло вырваться у него случайно. Ожидали дальнейших действий. Они, к сожалению, не могли рассеять первого впечатления.

Царь поехал в Варшаву. Там его приняли с восторгом. Несчастная Польша ожидала от него хотя некоторого облегчения того нестерпимого гнета, под которым она страдает. В особенности униаты, подлогом причисленные к православию, надеялись, что им наконец разрешено будет исповедывать ту веру, к которой они издавна принадлежали. Казалось, что молодой монарх доступен человеческим чувствам. По учебным заведениям разослан был приказ, которым разрешалось ученикам из католиков не присутствовать на молебствиях православных. Но скоро решение по делу униатов положило конец всем надеждам. Царь собственноручно написал на докладе: «Поляки безвозбранно да чтут Господа Бога по латинскому обряду, русские же люди искони были и будут православные и вместе с царем своим и царицею выше всего чтут и любят родную православную церковь». Вследствие этого все подложно присоединенные униаты объявлялись православными. «Надеюсь,— прибавлял государь,— что эти правили удовлетворят всем справедливым требованиям и предотвратят всякую смуту, рассеваемую в народе врагами России и православия».

Русские люди пришли в горестное недоумение. Неужели же царю неизвестно, что в России есть многие миллионы честных и верных сынов отечества, которые вовсе не исповедуют православной веры? Неужели никто никогда не объяснил ему, что такое свобода совести, не говорил, что государство вовсе даже не имеет права вмешиваться в отношения души к Богу и что всякое посягательство на эту святыню есть отрицание нравственного существа человека? Или он не знает, что искренно верующего, который думает о спасении своей души, руководясь внутренним голосом совести, указание на то, что господствующая религия исповедуется царем и царицей, не только не способно привлечь к официальной церкви, а напротив, как выражение земного угодничества может скорее его оттолкнуть? Неужели, наконец, государь может думать, что, отказывая подложно присоединенным униатам в свободном исповедании их веры, он тем самым полагает конец всем на нас нареканиям?

Те, которые ожидали лучших дней, приуныли, а окружающие престол увидели, что царя легко обойти, и притом безнаказанно. Небольшой инцидент обнаружил это в полной мере.

В Петербурге происходили выборы городского головы. Первым кандидатом прошел молодой граф Мусин-Пушкин, а вторым купец Лелянов. Занимая придворную должность, граф Пушкин еще до выборов поручал спросить у государя, будет ли ему угодно, если он выступит кандидатом? На это он получил весьма благосклонный ответ, а потому никто не сомневался, что он будет утвержден, как вдруг оказалось, что утвержден Лелянов на том основании, что он получил большее количество голосов. Между тем в городских выборах, в отличие от дворянских, количество голосов, получаемых первым и вторым кандидатом, не имеет ровно никакого значения. На дворянских выборах избираются два кандидата на одном и том же собрании и одинаковым количеством голосов. Первым считается тот, кто получил больше, а вторым следующий за ним. На практике этот порядок порождает бесперывные затруднения. Второй кандидат не есть кандидат меньшинства, а того же большинства, которому он служит только подставным лицом, на случай, если первый не будет утвержден. Поэтому надобно рассчитать голоса так, чтобы он получил их несколько меньше первого. Но так как и меньшинство кладет свои шары в тот же ящик, то оно легко может расстроить эти расчеты, переложив второму кандидату, который через это становится первым. Таким образом, большинство часто лишается возможности провести своего кандидата. Вследствие такого устройства в дворянских собраниях происходят нескончаемые закулисные интриги. Стараются заранее узнать, куда будет класть свои шары меньшинство, подслушиваются разговоры, строго следят за ящиками, так что тайная баллотировка на деле превращается в явную. Иногда посреди баллотировки внезапно меняются инструкции вследствие подмеченных козней меньшинства. Во избежание всех этих происков и замешательств для городских выборов установлена другая, весьма простая система: оба кандидата баллотировались отдельно, в разных собраниях. При таком порядке каждый избиратель знает, в пользу которого из двух он подает свой голос, и какое бы количество голосов ни получил второй кандидат, он никогда не может стать первым, который и есть настоящий избранник общества. Второй представляется только на случай, если первый почему-либо не может быть утвержден. Все это весьма хорошо известно всем, кто занимается городскими выборами, а также и всякому юристу, но эта подробность не была известна царю, которому впервые приходилось решать эти вопросы. Прямою обязанностью министра внутренних дел, который докладывал это дело государю, было разъяснить ему эти особенности. Вместо того он сознательно ввел его в заблуждение, и Лелянов был утвержден на том основании, что он получил большее число голосов против Пушкина. Министр рассчитывал, что Лелянов откажется, и тогда он назначит своего кандидата. Однако расчет оказался неверен; Лелянов принял, и штука была сыграна напрасно. Но вина остается та же: это был явный и наглый обман. Тем не менее министр, его учинивший, спокойно остался на своем месте.

Сановники расходились. Они увидели, что им предоставлен полный простор делать все что угодно, и они воспользовались этим для своих целей. Одни за другими стали появляться самые нелепые и невежественные проекты и записки, в которых под видом возвеличения самодержавия каждый хотел захватить большую или меньшую частичку его в свою пользу. Главноуправляющий Канцелярией для принятия прошений Сипягин (ныне министр внутренних дел)⁸², представил проект, далеко оставлявший за со-

бою прежние затеи Манассеина. Он докладывал, что существо русского самодержавия состоит в том, что царь должен иметь возможность сам решать все дела и служить прибежищем всех притесняемых, ибо только к нему народ имеет безграничное доверие. Вследствие этого предлагалось дать главноуправляющему право принимать все прошения как по частным делам, так и по делам, производимым во всех административных и судебных местах, и решать их путем личных докладов государю, согласно с волею его величества. Очевидно, Д. С. Сипягин хотел под фирмою самодержавной власти сам быть самодержавным царьком, ибо всем известно, что дела по личным докладам обыкновенно решаются согласно с мнением докладчика, так как монарх не имеет ни малейшей возможности проверить основательность представления. Едва ли этому изумительному предложению суждено осуществиться. Ясно, что все министры должны против него восстать, ибо через это они, в сущности, становятся подчиненными главноуправляющего Канцелярией для принятия прошений; но самая возможность внесения в Государственный совет таких диких проектов может служить характерным признаком времени. Это показывает, что среди сановников исчез наконец всякий стыд.

Министр финансов⁸³ не хотел отстать от своего товарища и друга. Он, в свою очередь, по поводу предложенного министром внутренних дел введения земских учреждений в западных губерниях представил записку, в которой, возвеличивая самодержавие, он вопреки самым элементарным понятиям государственного права и политики, вопреки всей истории, как западноевропейской, так и русской, доказывал, что с этим образом правления несовместны всеобщие выборные учреждения. Единственное сообразное с этим началом орудие управления есть, по мнению министра финансов, всемогущее и всеохватывающее чиновничество. Китай представляется ему идеалом государственного устройства. Когда умный человек проповедывает подобные небылицы, в которые сам он не может верить, то надобно искать за этим какой-либо задней мысли. Здесь она очевидно заключается в том, чтобы, играя перед юным государем призраком самодержавия, забрать как можно более силы и власти в свои руки, устранив все, что может препятствовать полному ее разгулу. Каждому министру, конечно, выгодно выступать ярым защитником самодержавия, ибо на этом зиждется собственное его положение. Под этою фирмой алчная к власти бюрократия, оторванная от почвы, погруженная в бумажное делопроизводство, не имеющая понятия об истинных потребностях народа и представляющая их постоянно в превратном виде, сообразно с личными целями правящих чиновников хочет руководить всею жизнью русского общества, направлять его по своему усмотрению, опутать его целою сетью агентов, не дать емудохнуть, одним словом, уничтожить в нем всякую самостоятельность и всякую самодеятельность. Можно себе представить, что бы вышло, если бы эта программа осуществилась. Это был бы конец России; все ее живые силы были бы подорваны, и она задохнулась бы в бюрократических тисках.

Однако Министерство внутренних дел не оставило этой записки без ответа. Оно вовсе не желало выпустить из своих рук подчиненное ему и удобное во многих отношениях земство. Поэтому оно выступило в его защиту, утверждая, что оно, в сущности, представляет такое же чиновничье учреждение, как и все другие, доказательством чему является то, что служащим в нем присвоены чины и мундиры. Единственная беда состоит,

по мнению министерства, в недостаточной регламентации его деятельности, это было опущено при составлении Земского положения. Но когда министерство восполнит этот пробел, когда оно опутает земство целою сетью изданных им правил, тогда все придет в надлежащий порядок.

Таким образом, на несчастное земство, которое держит себя тише воды, ниже травы, собирается гроза со всех сторон во имя самодержавия, т. е. произвола чиновников. У него хотят отнять школы, ограничить его право самообложения, поставить его под бюрократическую опеку, выгнать из него всякий независимый дух и превратить его в чисто чиновничье учреждение. Насколько этот подход будет иметь успех, покажет будущее.

Рядом с этим проектируется и реформа судов. И тут результат еще не известен; но при существующем настроении в высших сферах можно понять, в каком направлении должно совершиться преобразование. И теперь уже от судебных уставов осталась почти что одна форма; дух, их оживлявший, давно отлетел. К чести Муравьева⁸⁴ надобно сказать, что он не счел начала несменяемости судей несовместным с самодержавием, хотя при открытии комиссии он коснулся этого вопроса и пример товарищей по министерству был слишком соблазнителен. Однако в проекте это начало не распространяется на низшие, близкие к народу суды, которыми предполагается заменить упраздненные мировые. А так как рядом с этим остаются и земские начальники, то это будет лишь новый бюрократический элемент, внедряющийся в местную жизнь. С другой стороны, с введением винной монополии провинция наводняется целою массою правительственных агентов. Русская провинция, в которой доселе еще можно было дышать лишь благодаря тому, что правительственная власть была далека, ныне охватывается ею во всех своих углах. Бюрократия всюду пускает свои разветвления, стремясь опутать всю русскую жизнь железною цепью произвола и формализма. Вольный воздух степей заражается миазмами, идущими из петербургских канцелярий и распространяющимися по всей несчастной русской земле.

А между тем эта бюрократия, которая стремится всюду властвовать и все забрать в свои руки, оказалась совершенно несостоятельною именно в этой отрасли, откуда ей удалось изгнать всякую самостоятельность в народном просвещении. Здесь произошла перемена, которая могла иметь важные последствия. Раздавивший русские университеты и возведенный за это в графское достоинство Делянов умер, покоясь на лаврах. На его место назначен был впервые человек, вышедший из учащего сословия, а потому близко знакомый с его потребностями и взглядами,— Н.П. Боголепов⁸⁵, недавно еще дельный профессор римского права, сперва выборный, потом назначенный от правительства ректор Московского университета, а затем возведенный в попечители Московского учебного округа. Он пользовался репутацией безукоризненной честности, и можно было ожидать, что он воспользуется своим положением, чтобы возвратить университетам бессмысленно отнятые у них права и восстановить в них нормальный порядок. Этого требовало уважение к университетам и к просвещению, и минута была самая благоприятная. Одним этим актом приобреталась огромная популярность не только новому министру, но и молодому царю, который явился бы покровителем просвещения и тем привлек бы к себе все сердца. Но такова уже у нас судьба людей, что когда они возвышаются по чиновной лестнице и вступают в затхлую атмосферу высшей бюрократии, у них огуманивается голова, и всякие здравые понятия исчезают. Новый

министр народного просвещения явился первым противником автономии университетов. Полицейские взгляды возобладали над уважением к просвещению. То, что в деспотическое правление Николая I представлялось естественным и нормальным — выбор ректора и деканов, то в конце XIX века, после великих преобразований, обновивших всю русскую землю, министру, вышедшему из среды ученого сословия, показалось опасным. Ему было, однако, известно, что не далее как пятнадцать лет тому назад при введении нового устава Министерство народного просвещения, как уже сказано было выше, назначило на эти должности тех самых лиц, которые перед тем были выбраны университетами, и этим яснее дня доказало, что выборы не заключили в себе ничего опасного, а напротив, заслуживали доверия правительства. С тех пор оно властвовало безгранично, наполняло университеты своими клеветами, сажало на должности кого ему было угодно. Если за это время положение так изменилось, что выборы сделались опасными, то это могло быть только горькою иронией, самою злою критикой устава 1884 г.; этим доказывалось полное бессилие правительства и необходимость возвращения к нормальному порядку. Но для людей, ослепленных властью, самые очевидные доводы пропадают даром. Минута была упущена, и гнусный порядок вещей, порожденный уставом 1884 г., продолжал существовать.

Горькие плоды этого устава не замедлили обнаружиться. По самому пустому поводу в Петербургском университете возникли беспорядки⁸⁶, которые затем распространились по всем университетам и другим высшим учебным заведениям. Повод состоял в том, что перед актом ректор вывесил объявление, в котором перечислялись наказания, установленные законом за беспорядки на улицах. Студенты обиделись и на акте освистали ректора, но затем, в доказательство, что в этой демонстрации не было ничего политического, самым чинным образом пропели гимн *Боже царя храни!* Между тем полиция, заранее извещенная о готовившихся в стенах университета беспорядках, вздумала почему-то принять меры на улицах. При выходе из университета студенты нашли прегражденным путь по Дворцовому мосту и по Неве. Они хотели прорваться, но полиция их не пускала. Они стали кидать в полицию снежками, от чего лошади конной стражи испугались. Тогда конный полицейский отряд принял в нагайки всю эту толпу, в которой находились не одни студенты, но также профессора и посторонние лица. Это была дикая расправа, которая возмутила не только студентов, но и все петербургское общество; оно горою стало за молодежь. В университете начались сходы; студенты решили прекратить посещения лекций, пока им не дано будет удовлетворение. По всем другим университетам разосланы были эмиссары, и везде было решено не ходить на лекции. Оказалось, что профессорская корпорация была разрушена, но студенты были организованы. Против этого движения тупое университетское начальство, лишенное всяких средств нравственного воздействия, приняло чисто полицейские меры. Студентов без всякого разбора и суда массами исключали из университета, а полиция немедленно высылала их на места жительства.

Никогда прежние выборные университетские власти не вели себя таким недостойным образом. Случалось, что они твердо стояли против студенческих беспорядков, как было в Московском университете в 1861 г.⁸⁷; но они бережно и любовно относились к учащейся молодежи. Они чувствовали свою нравственную связь со студентами и с университетом. Исключение

из университета считалось строгим наказанием, которое никогда не предлагалось без тщательного разбора дела. Против полиции университетские власти являлись заступниками за студентов. При всяких полицейских расследованиях был депутат от университета, который старался отстоять невинных и облегчить судьбу виновных. Студенты чувствовали, что о них есть попечение. Новые же власти, созданные уставом 1884 г., показали себя тем, чем они были на самом деле,— чисто полицейскими чиновниками. Они превзошли даже полицию в повальном применении административного произвола. Когда же профессора хотели вступить в эти обострившиеся отношения и просили разрешения собраться в Совете и обсудить положение вещей, как было в Киеве и в Казани, им объявляли, чтобы они не вмешивались не в свое дело, и формально воспрещали собираться. В Москве профессор физики, который старался успокоить студентов увещаниями сперва на кафедре, а потом на дому, получил такое же внушение. И все это поддерживалось министерством, которое, кроме самых крутых полицейских мер, ничего не хотело знать. Понятно, что это могло произвести только вящее раздражение.

Однако и в петербургских высших бюрократических сферах, благодаря внутренним раздорам министров, нашлись заступники за студентов. В пику министру внутренних дел министр финансов подал записку, в которой он резко нападал на полицию, доказывал, что в студенческом движении нет ничего политического, и предлагал учреждение комиссии под председательством доверенного государю лица для расследования причин студенческих беспорядков. Это предложение было принято; назначена была комиссия под председательством бывшего военного министра, генерала Ванновского⁸⁸. Вместе с тем студентам было объявлено, что до окончательного расследования дела все исключенные и высланные их товарищи будут возвращены. Это возымело свое действие; волнения временно прекратились.

Но правительство само позаботилось об их возобновлении. Высланные студенты действительно были возвращены везде, исключая Киев; но здесь Министерство упорно в этом отказывало, вероятно, вследствие того, что в числе исключенных были многие поляки и евреи, замешанные в прежних беспорядках, бывших по поводу открытия памятника Мицкевичу⁸⁹. Киевские студенты разделились на две партии, из которых одна стояла за продолжение забастовки, пока высланные не будут возвращены, а другая хотела только просить о их возвращении и между тем посещать лекции. Разумной власти нетрудно было поддержать последних; вместо того она отдала их на жертву забастовщикам. Когда же профессора хотели выступить посредниками и подали о том записку, им воспретили собираться. Такой способ действия, разумеется, мог только разжечь огонь и дать силу крайним элементам, которые начали прибегать даже к насилию для достижения своих целей. От киевских студентов посланы были повсюду эмиссары с просьбою о поддержке, вследствие чего и в других университетах прекратившаяся было забастовка возобновилась с новою силой. Тогда министерство приняло самую необыкновенную меру: оно исключило всех студентов из всех русских университетов, причем им было объявлено, что они могут подавать прошения об обратном вступлении, но начальство будет принимать по своему усмотрению только тех, которых оно признает благонадежными. Это было циническое возведение административного произвола в принцип университетского управления. Часть студентов, ко-

торым во что бы то ни стало нужно было держать экзамен, на это пошли, но значительная часть осталась исключенной. Университеты подверглись полному расстройству; студенты были оскорблены, профессора были оскорблены, общество было возмущено, но полицейская сила в лице министра и его клевретов торжествовала победу.

Между тем комиссия Ванновского кончила свои расследования. Каков был ее доклад, публике осталось неизвестным. Говорят, что на него не обратили никакого внимания, чем генерал Ванновский был очень огорчен. России сообщили только последовавшую затем высочайшую резолюцию, писанную, как утверждают, Победоносцевым. В ней с высоты престола именем государя слегка осуждалась полиция, но главным образом делался выговор подчиненным властям и й особенности профессорам, которые не сумели приобрести над студентами должного нравственного авторитета и удержать их от волнений. Министерству предписывалось сделать им на этот счет внушение, а если нужно, то и принять строгие меры. Осуждалось и общество, которое своим сочувствием поддерживало волнующихся студентов. Одним словом, осуждались все, кроме тех, на которых лежала настоящая ответственность за беспорядки. С большой головы вина свалилась на здоровую.

Если правда, что эту резолюцию писал Победоносцев, то это опять не что иное, как явный обман, в который он сознательно вовлек не ведающего истинного положения дел государя. Ему, некогда близко стоявшему к университетам, противнику нового устава, было весьма хорошо известно, что этим уставом всякая корпоративная связь профессоров была уничтожена, что им оказано было полное недоверие и нравственный авторитет их подорван; ему было известно, что в течение многих лет вся цель правительства состояла в том, чтобы разъединить профессоров и студентов и ограничить первых одним чтением лекций; что всякий раз, как они вступались в студенческие отношения, им делали выговоры и говорили, что это вовсе не их дело; что даже в настоящие волнения, когда профессора просили разрешения собраться и обсудить положение, им в этом отказывали, а тем, которые старались успокоительно действовать на студентов, делали строгие внушения. И вдруг этих самых всячески униженных профессоров правительство упрекало в том, что они не сумели приобрести нравственного авторитета над студентами, между тем как оно само делало все, чтобы этот авторитет уничтожить! И какое понятие о нравственном авторитете должны иметь люди, которые воображают, что для приобретения его могут употребляться меры строгости со стороны правительственной власти! Неужели писавшему эту странную резолюцию неизвестно, что нравственный авторитет над юношеством приобретает только независимыми людьми в силу взаимного доверия и уважения? Первое его условие заключается в искренности и правдивости; а что может искренний и правдивый профессор сказать студентам относительно положения университетов и отношения к ним правительства? Он может только сказать, что правительство разрушило университеты, оказало полное недоверие профессорам и полное презрение к просвещению, что оно превратило университеты в канцелярии или в собрания полицейских чиновников, неспособных иметь ни малейшего нравственного влияния на вверенную им молодежь. Этим ли он может удержать их от волнений? Как зрелый и благоразумный человек он, пожалуй, может доказывать им, что в стране, где господствуют необузданный произвол и лицемерное

раболенство, где власть есть все, а общество ничего, бесполезно и опасно стремиться к справедливости и искать каких-либо гарантий для лица; но послушается ли взволнованное юношество проповеди, противоречащей самым благородным стремлениям человеческой души? При существующих условиях, так же как и пятьдесят лет тому назад, в знаменитые сороковые годы, нравственный авторитет над студентами может приобрести только тот профессор, который стоит в оппозиции к правительству; тот же, который старается ему подслужиться и пользуется его благосклонностью, теряет всякое нравственное влияние. В эпоху реформ положение было иное; но само правительство разрушило те зачатки разумно консервативного направления, которые в то время начинали укореняться в русских университетах. Вина в этом всецело лежит на нем, и если оно теперь хочет взвалить ее на профессоров, то это не более как возмутительная недобросовестность.

Но если редактор высочайшей резолюции взял на себя всю ответственность за лживое предоставление фактов и за все те нелепости, которые в ней заключаются, то еще хуже положение министра народного просвещения. Есть слухи, что он был устранен от редакции; в таком случае это для него оскорбление, и тогда как может он оставаться на своем месте? С нравственной точки зрения это тем менее допустимо, что, оставаясь, он принимает на себя всю ответственность за выговор, сделанный его подчиненным, между тем как ему заподлинно известно, что они его не заслужили. Он знает, что он сам воспрещал их собрания, делал им выговоры за вмешательство, и после этого на них же сваливается вина! Тут не может быть отговорок, что он на своем месте остается против воли: честный человек не остается там, где от него требуется то, что противно чести и совести. Если же он сам участвовал в редакции, основанной на ложном представлении фактов, то как назвать подобный поступок? Ввиду его честного прошлого, не решаешься его в этом заподозрить.

Но каково бы ни было его участие в составлении высочайшей резолюции, это еще наименьшее из его прегрешений. С незаслуженным выговором примириться легко. Нравственный укор падает на тех, кто его дает, а не на тех, кто его получает. Этим унижается только достоинство правительства. Несравненно хуже те суровые меры против учащейся молодежи, которые были выработаны в совещании управляющих различными учебными заведениями министров — военного, финансов, земледелия, народного просвещения и внутренних дел и которые получили высочайшее утверждение. Не только за произведение беспорядков в заведениях или вне оных, но и за упорное уклонение, по уговору, от учебных занятий и за подстрекательство к такому уклонению молодые люди присуждаются к отбыванию воинской повинности на срок от одного до трех лет, несмотря ни на льготы по семейному положению, ни на избавляющий от повинности жребий, ни даже на недостаточный возраст, и потом с потерей приобретенных уже по образованию льгот. Негодные для строевой службы назначаются в нестроевые должности. Впервые такая мера является в виде общего закона. В дореформенные времена виновных, особенно в политических проступках, отдавали иногда в солдаты; но это были исключительные случаи, и на это требовалось каждый раз особое высочайшее повеление. Только крепостные отдавались в рекруты по воле господ. Со введением же всеобщей воинской повинности все это исчезло. Солдатская служба перестала быть карой; служение отечеству получило

более возвышенное и благородное значение. В настоящее время мы снова возвращаемся к дореформенным понятиям и приемам; русская армия опять низводится на степень арестантской роты. Вдобавок то, что прежде допускалось лишь как редкое исключение, по личному решению монарха, то ныне возводится в правило, приложение которого предоставляется министрам. Для суда над провинившимися юношами учреждаются особые совещания из представителей разных ведомств, и на решение подлежащего министра нет апелляция! Судьба целой массы молодых людей, даже приобретенные права всецело предаются министерскому произволу. К довершению безобразия, вся эта мера носит характер полнейшего беззакония. Она была просто объявлена Сенату министром внутренних дел, тогда как, по основному закону Русской империи, для отмены законодательных постановлений требуется именной указ, подписанный государем. И вся эта жестокая расправа, напоминающая худшие предания дореформенного быта, вводится при участии и под ответственностью министра народного просвещения, вышедшего из среды профессорского сословия, питомца Московского университета!

Надобно, впрочем, сказать, что эти меры служили больше для устрашения. Прилагать их доселе не приходилось, ибо университеты после вакаций открылись при полном спокойствии. Всем исключенным студентам дана была возможность вернуться к занятиям, и поводы к волнениям были таким образом устранены. Надолго ли наступило затишье, мудрено сказать. Восстановить внешний порядок в университетах, конечно, не трудно. Но воображать, что грубая полицейская расправа в состоянии произвести нравственное умиротворение, можно только при отсутствии всякого понятия о свойствах и стремлениях юношества. Подобные меры способны только восстановить учащихся и учащихся и сделать их непримиримыми врагами правительства. А между тем у правительства нет иного способа действия, ибо оно само разрушило корпорацию профессоров, единственное возможное орудие нравственного влияния. Не поражающими своею наивностью наставлениями инспекции, не устройством литературных кружков и студенческих общежитий можно успокоить взволнованные умы. Для этого надобно прежде восстановить в университетах нормальный порядок, т. е. вернуть им те права, которые принадлежат им по существу и которые были даны им старыми уставами 1804, 1835 и 1863 гг. Но, конечно, одержимым полицейским духом министрам такая мера покажется крайнею. Пожалуй, ее сочтут даже уступкой студенческим волнениям. Кто на это решится при нынешнем направлении правительственных сфер? К тому же она одна не принесет желанной пользы. Чтоб успокоить умы, нужно полное изменение всей внутренней политики. Пока студенты всецело отданы на жертву всевозможным тайным и явным полициям, пока людей массами хватают и ссылают без суда, поводы к волнениям всегда будут. Сохранится и тайная организация, и она будет встречать сочувствие общества как протест против царящего у нас произвола. Русское общество не смеет поднять голос, но оно втайне сочувствует тем, кто дерзает его поднимать. Этим в значительной степени объясняется успех нигилистов, и это будет повторяться постоянно, пока не наступит такой порядок вещей, который способен удовлетворить разумные требования общества. Когда русский человек смотрит на современное положение своего отечества, чувство глубокого уныния и даже отчаяния охватывает его душу. Поэтому он с некоторым утешением останавливается на явлениях, которые показывают,

что в России есть еще живые силы и благородные побуждения; этим поддерживается надежда на лучшее будущее. Как ни бессмысленны бывают волнения и цели недоучившегося юношества, все же они несравненно выше и благороднее той тупой покорности, с которою масса русского общества переносит тяготеющий над нею произвол, безмолвно принимая всякий новый удар, который постигает его в виде милости, и равнодушно относясь к тем ударам, которые поражают связанные в Россию народности.

Из всех стран, подвластных скипетру русских царей, была одна, которая пользовалась полным благоустройством и благосостоянием; это была Финляндия. Между тем как в настоящее время можно пройти всю русскую землю от Ледовитого дооря до Туркестанских степей и не встретить ни одного отрадного явления и ни одного довольного человека, кроме тех, которые, пользуясь покровительством власти, ловят рыбу в мутной воде, здесь люди жили мирно и счастливо, довольные своею судьбой и своими учреждениями, благословляя охраняющую их длань русских монархов. В России всюду произвол и притеснение, здесь законный порядок и свобода — вот контраст, который можно было наблюдать у самых ворот столицы. Он с полной очевидностью доказывал преимущества конституционного правления перед неограниченною монархией. Этого нельзя было терпеть. Финляндия была бельмом на глазу у петербургской бюрократии, и против нее начался поход.

Конституционные права Финляндии были утверждены на совершенно ясном и точном основании законов и никогда не подвергались ни малейшему сомнению. До присоединения к России она входила в состав шведского государства и пользовалась искони принадлежавшими шведскому народу политическими правами. Эти права существенно состояли в участии государственных чинов, составленных из представителей четырех сословий, дворянства, духовенства, горожан и сельчан, в законодательстве и обложении. Одно время в Швеции преобладала аристократия, и это повело к расстройству государства. Но при Густаве III⁹⁰ монархическая власть была восстановлена в прежней силе. Ее права и ее отношения к чинам были определены Формою правления 1772 г. и Актом соглашения и безопасности 1789 г.

Однако с тех пор как русская держава придвинулась к Балтийскому морю, положение Финляндии между Швецией и Россией было трудное. Со времен Петра Великого она была постоянным театром войны. Вследствие этого в ней пробудилось стремление отделиться от Швеции и образовать самостоятельное, нейтральное государство. Русское правительство поддерживало эти вожеления. В манифесте 1742 г., изданном по поводу войны с Швецией⁹¹, Елизавета прямо обратилась с воззванием к финляндцам, объявляя им, что если они хотят отделиться от Швеции и образовать независимое государство, то Россия будет им в этом помогать. При Екатерине, во время Шведской войны⁹², стремление к отделению проявилось при образовании Аньяльской конфедерации⁹³, составленной офицерами шведского войска против короля; она через Спренгтпортена⁹⁴ вошла в сношения с русским двором. На его докладе императрица собственноручно написала: «Если бы проект независимости Финляндии был вопросом, то ответ, что этот проект не противоречит интересам России, нетрудно было бы найти». Дело было предложено совещанию высших сановников, и оно постановило, что «так как соединение Финляндии с Швецией никогда не может быть в наших выгодах, то мы должны прежде всего требовать отделения Фин-

ляндии от этой страны». Однако при Екатерине эти сношения не привели ни к чему. Но Спренгтпортен, вступивший на русскую службу, продолжал свои происки при Александре I. Он стремился образовать из Финляндии особое государство, соединенное с Россией, и Александр вошел в эти виды, которые вполне соответствовали его образу мыслей. Они осуществились после войны с Швецией⁹⁵, поведшей к завоеванию Финляндии.

Еще прежде окончания войны в Петербург были вызваны депутаты от всех чинов для обсуждения с ними положения дел и необходимых мер для устройства Финляндии. Однако депутаты не сочли себя уполномоченными для каких-либо решений. Они, а с ними и Спренгтпортен, настаивали на созвании настоящего сейма, выбранного по законам страны. Спренгтпортен представлял, что это единственное средство привлечь к себе сердца финляндцев и привязать их к России. Александр согласился, так как это входило в его виды; сейм был созван в Борго. В манифесте 15 марта 1809 г. было сказано: «Произволением Всевышнего вступив в обладание Великого Княжества Финляндии, признали Мы за благо сим вновь утвердить и удостоверить религию, коренные законы, права и преимущества, коими каждое состояние сего Княжества в особенности и все подданные, оное населяющие, от мала до велика, по конституциям их доселе пользовались, обещая хранить оные в ненарушимой и непреложной их силе и действии; во утверждение чего и сию грамоту собственноручным подписанием Нашим утвердить благоволили». В речи, произнесенной при открытии сейма, Александр говорил: «Я хотел видеть вас, чтобы дать вам новое доказательство моих намерений для блага вашего отечества. Я обещал сохранить вашу конституцию, ваши коренные законы; ваше собрание здесь гарантирует вам мое обещание». В предложениях, представленных сейму, было сказано: «Е<го> И<мператорское> Величество, сзывая чины Финляндии в общий сейм, хотел этим дать торжественное доказательство своих великодушных намерений сохранить и поддержать ненарушимо религию, законы, конституцию края, права и привилегии всех чинов вообще и каждого гражданина в особенности».

Александр хотел еще более торжественным актом закрепить связь между Финляндией и Россией. В Боргоском соборе, сидя на престоле, украшенном финляндским гербом, он принял присягу чинов. В церемониале было сказано (ст. 7): «После чего генерал-губернатор объявил, что Е<го> И<мператорское> Величество соизволил торжественно утвердить конституцию Финляндии, освящая ее своею подписью; он громко прочтет Акт утверждения и передаст его маршалу дворянства». Присяга дворянства была такова: «Мы, рыцарство и дворянство, собранные в этом общем сейме, как за нас самих, так и за тех из нашего сословия, которые остались дома, обещаем и клянемся, все вместе и каждый в особенности, перед Богом и Святым Его Евангелием, что мы признаем своим Государем Александра I, Императора и Самодержца всей России, Великого Князя Финляндского, и что мы хотим сохранить ненарушимо основные законы и конституцию края так, как они существуют и действуют, а также быть опорою Верховной Власти» и проч.

Таким образом, еще до заключения мира с Швецией Александр I торжественным актом присоединил Финляндию к России, обещав сохранить ее права и ее конституцию. Поэтому когда при мирных переговорах шведские уполномоченные настаивали на том, чтобы в трактат включена была статья, гласящая, что русский император обязывается сохранить ненарушимыми

права и конституцию Финляндии, как обыкновенно делается в подобных случаях, то Румянцев⁹⁶ отвечал, что тут положение совершенно иное, нежели обыкновенно, что государь приобрел уже любовь финляндцев, принял их присягу и утвердил их права. «Этот аргумент подействовал», — писал Румянцев государю. Вследствие этого в 6 статье Фридрихсгамского трактата сказано только, что «поелику Е<го> В<еличество> Император Всероссийский самыми несомненными опытами милосердия и правосудия ознаменовал уже образ правления своего жителям приобретенных им ныне областей, обеспечив, по единственным побуждениям великодушного своего соизволения, свободное отправление их веры, права собственности и преимущества, то Его Шведское Величество тем самым освобождается от священного впрочем долга чинить о том в пользу прежних своих подданных какие-либо условия».

Стало быть, государственное положение Финляндии потому только не сделалось предметом международного обязательства, что ее конституция была уже утверждена русским императором. Если это сделано по собственному его соизволению, то и присяга финляндцев была принесена добровольно. Это было прямо сказано в манифесте 23 марта 1809 г.: «Объявляя о сем, Мы полагаем должным вместе с тем известить наших верных подданных Финляндии, что, основываясь на старинном и чтимом в этом крае обычае, мы взираем на присягу верности, *добровольно и по собственному побуждению* принесенную сословиями вообще и депутатами от крестьян в частности, за себя и за своих доверителей, как на действительную и обязательную для всех жителей Финляндии». Александр намеренно подчеркивал, что Финляндия присоединяется к России не как завоеванный край, а как добровольно отдавшая себя в подданство русскому императору.

Решено было сохранить и военные учреждения края. В изданном по этому поводу манифесте 15 марта 1810 г. сказано: «С тех пор как Провидение вверило нам судьбу Финляндии, Мы решили править этою страню как *народом свободным*, пользующимся теми правами, которые гарантированы ему его конституциею... Все акты, изданные доселе для внутреннего управления края, суть только последствия и приложения этого начала. Сохранение религии и законов, созыв сейма, учреждение Правительствующего Совета внутри нации, ненарушимое сохранение порядка судебного и административного суть тому доказательства, которые должны упрочить финскому народу права его политического существования».

Учрежденный Александром Правительствующий совет был впоследствии переименован в Сенат, дабы поставить его как верховное государственное учреждение наряду с Сенатами Русской империи и Царства Польского. В изданном по этому поводу манифесте 1816 г. сказано: «Быв удостоверены, что конституция и законы, к обычаям, образованию и духу финляндского народа примененные и с давних времен положившие основание гражданской его свободе и устройству, не могли бы быть ограничиваемы и отменяемы без нарушения оных, Мы, при восприятии царствования над сим краем, не только торжественнейше утвердили конституцию и законы сии, с принадлежащими, на основании оных, каждому финляндскому согражданину особенными правами и преимуществами, но, по предварительном рассуждении о сем с собравшимися земскими сего края чинами, и учредили особенное Правительство, под названием Правительствующего Совета, составленного из коренных финляндцев,

который доселе управлял гражданскою частью края сего и решил судебные дела, в качестве последней инстанции, не зависев ни от какой другой власти, кроме власти законов и сообразующейся с оными Монаршей Нашей воли. Таковыми мерами оказав Наше доброе расположение, которое имели и впредь будем иметь к финляндским верноподданным Нашим, надеемся Мы, что довольно утвердили на всегдашние времена данное Нами обещание о святом сохранении особенной конституции края сего под державою Нашею и Наследников Наших».

После всего этого, кажется, не может быть ни малейшего сомнения для всякого человека, который не хочет намеренно закрывать глаза на истину, что Финляндия присоединена к России не как завоеванная область, а как отдельное государство, неразрывно связанное с Россией, но имеющее свою особенную конституцию. В докладе Сперанского⁹⁷ императору Александру по финляндским делам от 11 февраля 1811 г. прямо сказано: «Финляндия есть государство, а не губерния». Поэтому и статья 4 Основных законов Русской империи гласит: «С престолом Российской Империи неразрывно связаны престолы Царства Польского и Великого Княжества Финляндского». Это совершенно ясно и иначе быть не может, ибо хотя монарх один, но власть его в обоих государствах разная, в одном он является монархом неограниченным, в другом он ограничен конституцией и правами чинов. Образ правления, т. е. устройство верховной власти, в соединенных государствах разный. Эта связь есть то, что в государственном праве называется реальным соединением. Все возражения, которые делаются против этого определения на том основании, что в настоящем случае эти государства неравноправны, не имеют силы, ибо реальное соединение, так же как и конституционная монархия, не есть устройство, которое подводится непременно к одному шаблону. Условия могут быть разные; но существо отношений не подлежит сомнению: оно основано на самой букве закона.

Вводя такое устройство в завоеванной русским оружием стране, Александр I руководствовался не одними либеральными убеждениями своей молодости; он имел в виду весьма определенные политические цели: он хотел не только осчастливить покоренный народ, но и соблюсти истинные интересы России. В опубликованном Даниэльсоном секретном рескрипте финляндскому генерал-губернатору по вопросу об отношениях к Швеции сказано: «С присоединением Финляндии к России вся цель наших в сей стране предположений была достигнута. Два главные правила отсюда происходили: 1) чтобы не входить ни под каким видом во внутренние дела Швеции; 2) чтоб внутренним устройством Финляндии предоставить народу сему несравненно более выгод в соединении с Россиею, нежели сколько он имел бы под обладанием Швеции. Из первого правила произошло все поведение, какое в делах Швеции доселе было наблюдаемо. Из второго возникло то устройство, которое теперь в Финляндии действует». И далее: «Намерение Мое при устройстве Финляндии состояло в том, чтобы дать этому народу бытие политическое, чтобы он считался не поработанным Россией, но привязанным к ней собственными его очевидными пользами, для сего: 1) сохранены ему не только гражданские, но и политические его законы...

История оправдала эту гуманную, а вместе и дальновидную политику. В течение девяноста лет Финляндия соединена с Россией и во все это время она не подавала ни малейшего повода к политическим осложнениям. Если бы в двенадцатом году недовольная область стремилась вновь

присоединиться к Швеции и русское правительство принуждено было бы держать там большее или меньшее количество войска, то исход войны мог быть иной. При Николае I Финляндия была вовлечена в Восточную войну во имя интересов, совершенно ей чуждых; она потеряла в ней весь свой торговый флот, уничтоженный англичанами; но это нисколько не поколебало ее верности. Об этом свидетельствовали русские монархи с высоты престола, и это более чем перевешивает расточаемые ныне клеветы, в подкрепление которых не приводится даже и тени доказательства.

Однако Александр I, который, как известно, во вторую половину своего царствования изменил своим либеральным стремлениям, не созывал более сеймов, что производило застой в законодательстве. По финляндской конституции, основанной на шведских уставах, собрание чинов предоставлялось вполне усмотрению государя. То же самое продолжалось и в долготетное царствование Николая I. Возникавшие в жизни потребности разрушались правительственными постановлениями. Всякому, несколько знакомому с государственным правом, известно, что различие между законом и постановлением весьма шатко, вследствие чего сильные правительства нередко дозволяют себе решать путем постановлений то, что по существу дела должно было бы решаться законом. Финляндская же конституция в этом отношении предоставляла монарху значительный простор: вся экономическая и административная область могла регламентироваться путем указов. Тем не менее основания финляндской конституции, утвержденной императором, даже и в это деспотическое царствование оставались неприкосновенными. Финляндские писатели напоминают слова, сказанные в другом случае этим монархом: «Когда божественное Провидение поставило человека во главе шестидесяти миллионов себе подобных, то это делается затем, чтобы подавать свыше пример верности своему слову и добросовестного исполнения своих обещаний». Об этих словах недурно бы поразмыслить в настоящее время. Могучий властитель противостоял даже искушениям тогдашнего финляндского генерал-губернатора Закревского⁹⁸, который убеждал его при вступлении на престол не утверждать финляндской конституции, а заставить финляндцев присягать по русскому закону. Он знал, что такое действие было бы нарушением закона и торжественных обещаний Александра I. Оно было бы равносильно отречению от финляндского престола, и тогда отношения Финляндии к России определялись бы голым правом силы.

Знаменательное для России царствование Александра II было и для Финляндии началом новой жизни. В первый раз после 1809 г. снова был созван сейм. Этим не только подвигалось решение таких важных дел, требовавших содействия чинов, на что было указано в изданном по этому поводу высочайшем повелении, но государь хотел перед лицом всей Европы показать, что если он в то же самое время подавлял польское восстание, то он делал это не как враг свободы народов. Он хотел выказать себя другом конституционных учреждений, когда они являются не как революционное требование, а как законный порядок вещей, согласный с истинными интересами народа. В речи, сказанной при открытии сейма, он обещал даже расширение конституционных прав: *«Сохраняя монархический конституционный принцип, присущий правам финляндского народа, и от которого все его законы и учреждения носят свой отпечаток,— говорил великодушный монарх,— Я намерен допустить и более широкое*

право, нежели то, которое доселе имеют чины относительно податного обложения и законодательного почина, издревле им принадлежавшего... «Вы, представители Великого Княжества,— заключал он,— должны доказать, достоинством, умеренностью и спокойствием ваших совещаний, что в руках разумного народа, решившегося работать, в согласии с государем, в практическом духе над развитием своего благосостояния, либеральные учреждения не только не представляют опасности, но становятся гарантиями порядка и благосостояния». Представители Финляндии вполне оправдали эти надежды.

Важнейшим расширением прав было установление периодичности сеймов. По 2-й статье изданного в 1869 г. Сеймового устава, они должны созываться по крайней мере каждый пятый год. Статьей 71 того же Устава постановлено, что основные законы страны могут быть изменяемы не иначе как по предложению государя и с согласия всех сословий, а в утверждении Устава сказано, что государь сохраняет за собой принадлежащее ему право в том виде, как оно установлено в Форме правления 1772 г. и в Акте соглашения и безопасности 1789 г., чем самым оба эти закона признаны основными законами Финляндии.

При Александре II, в 1878 г., проведен был и новый закон о воинской повинности, заменивший прежнюю устарелую поместную систему. Как водится при переговорах, это было сделано на основании обоюдных уступок. Финляндия обязалась содержать 5000 постоянного местного войска для защиты края. Из 134 статей этого устава 14, по ходатайству чинов, были признаны основными законами Великого Княжества, так как ими отменялся прежний основной закон. Остальное подлежало изменению в обыкновенном законодательном порядке, т. е. не с согласия всех четырех сословий, а большинством трех.

Расширение права законодательного почина, обещанное Александром II, не было, однако, приведено им в исполнение; но это было сделано его преемником, который в этом отношении следовал по стопам отца. Казалось, конституция и права Финляндии, утвержденные всеми следовавшими друг за другом монархами, покоятся на самых твердых основаниях. Если царское слово что-нибудь значит, то в этом случае оно должно было иметь полную силу, ибо не было ни малейшего повода к нарушению торжественных, с высоты престола данных обещаний. Мирная страна, под сенью своих законов, несмотря на свою скудную природу и суровый климат, пользовалась полным внутренним порядком и довольством. При восшествии на престол ныне царствующего государя ее права были вновь подтверждены, так же как и при всех предшественниках, как вдруг произошел неожиданный поворот.

Поход против Финляндии предпринят был еще в царствование Александра III, и, вопреки русским обычаям, он начался с тяжеловесного сочинения. Г-н Ордин", произведенный за это в придворный чин, издал объемистое исследование о завоевании Финляндии и о том положении, которое было дано ей Александром I. По-видимому, оно основывалось на архивных документах; но в действительности это было не только крайне пристрастное, но и прямо лживое изложение, с умалчиванием одних фактов, превратным толкованием других и извращенным представлением третьих. Тем не менее Академия наук признала это сочинение достойным премии, чем взяла на себя тяжелый грех перед отечеством и историей. За г. Ординым последовал г. Еленов и вся ватага рабOLEпствующих журналистов, для

которых весь смысл патриотизма заключается в насилии и притеснении других. Доказывали, что Финляндия вовсе не есть соединенное с Россией государство, имеющее свою особенную конституцию, а просто завоеванная провинция, получившая некоторые права от милости русских монархов, которые всегда могут отнять то, что они дали. Всенародно объявленные этими монархами заверения и обещания ставились ни во что. Самые русские основные законы или вовсе игнорировались, или толковались как неловкая редакция. Уверяли, что под именем коренных законов Финляндии русские государи, их утверждавшие, разумели вовсе не политические учреждения, а лишь законы гражданские, церковные и административные. Только финляндцы лживым толкованием пытались вывести отсюда какие-либо политические права. Когда Александр I и его преемники торжественно утверждали все права сословий, то в это не включалось право участия в законодательстве и в обложении; путем иезуитского умолчания подразумевалось: все права, кроме политических. Пытались установить совершенно нелепое и бессмысленное различие между коренными и основными законами, между конституциями и конституцией. Когда же, наконец, никакие толкования не помогали, ибо текст был совершенно очевидный, тогда прибегали к последней уловке: уверяли, что русские государи были обмануты и сами не знали, что подписывали, хотя для подобных нареканий никогда не представлялось и тени доказательства. И русские цари и их советники, как Сперанский и даже Аракчеев, изображались в виде кукол в руках иноземных интриганов, единственно потому, что у них были более возвышенные понятия о призвании государства и об интересах России, нежели те, которые бродят в головах наших холопствующих публицистов. Те самые люди, которые ложь и клевету сделали главным орудием своих действий, обвиняли во лжи и обмане ни в чем не повинных финляндцев, которые искренно приняли дары русских монархов и свято соблюдали данную им присягу верности.

Как ни бесстыдна была эта кампания, она возымела свое действие: «*Calomniez, calomniez toujours; il en restera quelque chose*»¹⁰⁰. Многие русские государственные люди, иные сознательно, другие бессознательно, усвоили себе эту точку зрения, которая приходилась им совершенно по вкусу, ибо главным предметом их ненависти был конституционный порядок, полагающий предел бюрократическому произволу. Благоустройство Финляндии под охраною закона было живым уроком тому бесконтрольному владычеству чиновничества, которое извратило все лучшие создания Царя-Освободителя. Уже при Александре III назначен был комитет для рассмотрения отношений Финляндии к России. Однако он остался без последствий. Несмотря на свою склонность к реакции, монарх был честный человек. Он понимал, что нарушение торжественно данного обещания будет для него вечным упреком. Притом окружающие несколько его побаивались и не смели приступать к нему с явно лживыми объяснениями. Но по вступлении на престол Николая II они увидели, что неопытного монарха можно подвинуть на что угодно, уверив его, что это необходимо для пользы России и для возвеличения самодержавия. Решительный шаг был сделан.

Как приготовление к замышляемому действию генерал-губернатором Финляндии назначен был генерал Бобриков¹⁰¹, который с первого шага объявил финляндцам, что отечество их вовсе не Финляндия, а Россия. По-видимому, для генерала Бобрикова отечество есть нечто такое, что

меняется по приказанию начальства. Он этим себя обессмертил. Нужды нет, что в Уставе о воинской повинности, в статье 123, сказано, что «военные силы Финляндии имеют целью защищать Престол и Отечество, и тем содействовать также и защите Империи», чем самым признается, что их отечество вовсе не Россия, а Финляндия. Для русского генерала закон имеет столь же мало значения, как и самые святыне человеческие чувства: приказано менять отечество, так слушайся и не рассуждай.

Наконец, как удар грома, последовал манифест 3 февраля 1899 г., которым для общих дел Империи и Великого Княжества устанавливается особый законодательный порядок. Все такого рода дела должны, с заключением Сейма, поступать на рассмотрение русского Государственного совета, и затем мнение, утвержденное государем, публикуется во всеобщее сведение. Этим сразу ниспровергались все торжественно утвержденные права финляндского народа. По финляндской конституции, ни один закон, касающийся Финляндии, не может быть изменен без согласия Сейма. Для изменения основных законов нужно согласие всех четырех сословий. А здесь от них требуется только заключение, которое поступает на дальнейшее обсуждение в русское учреждение с чисто совещательным характером, после чего государь может утвердить все, что ему угодно. Так как притом самое определение дел, общих Империи и Великому Княжеству, совершенно зависит от воли монарха и под эту рубрику можно подвести все отрасли управления, и военные дела, и торговые, и монету и почту, то понятно, что от конституционных гарантий не останется ничего. Ограниченная монархия превращается в неограниченную.

Несчастливая страна застонала. Все ее вековые права, которыми она дорожила, как святыней, которые составляли основу ее благосостояния, ниспроверглись разом. Она мирно покоилась под державою русских царей, полагаясь на самые торжественные, с высоты престола данные обещания, и вдруг все это оказалось призраком. Почва заколебалась под ногами; все залог общественному благоустройству, прочного порядка и мирного развития исчезли. Финляндский Сенат, перевесом одного голоса, решил обнародовать манифест, но сделал представление о его незаконности, а прокурор предъявил протест. Раздались протесты и со стороны чинов. Председатели собраний просили аудиенции у государя, но им было в этом отказано. По всей Финляндии начали собирать адрес, под который подписались 523 000 человек; для поднесения его съехались в Петербург депутаты от всех общин; но и их отправили домой, не допустивши до царя. Как противодействие этой всенародной манифестации нашли в Выборгской губернии общину, состоящую из 1500 человек, в которой надеялись набрать подписи под верноподданнический адрес. Их получили всего 7, но затем, всякими средствами, наверстали еще некоторое число; тем не менее эту подложную бумагу публиковали как выражение мнения целой общины, которой за это изъявлена высочайшая благодарность. Наконец, в Петербург явилась даже международная депутация с адресом в пользу Финляндии; разумеется, и ее отказались принять. Если не хотели слушать подданных, то тем более иностранцев.

Однако петербургское правительство не имело довольно мужества, чтобы сознаться, что оно царское слово ставит ни во что. К насильно присоединилось лицемерие. Людей раздавили, но их хотели уверить, что их вовсе не трогают и что все их жалобы напрасны. Генерал Бобриков разослал циркуляр, в котором он разъяснял населению, что никто не думал

нарушать финляндскую конституцию, что все подобные толкования суть лживые происки злонамеренных людей, которые стараются распространить в народе мнение, будто все законы — гражданские, церковные, административные и самое право собственности подвергаются опасности, между тем как все местные законы Финляндии остаются ненарушаемыми и только для дел общих Финляндии и Империи установлены новые правила. Хорошо это *только*! Кого можно было этим морочить? Конечно, не финляндцев, которые очень хорошо знали, что все эти уверения состоят в явном противоречии с истиной. Тем не менее этот циркуляр получил одобрение свыше. Государя, очевидно, уверили, что манифестом 3 февраля вовсе не нарушается финляндская конституция. Это убеждение выразилось и в высочайшем рескрипте генерал-губернатору, изданном по закрытии сейма. В нем делается строгий выговор ландмаршалу¹⁰² и тальманам¹⁰³, которые дозволили себе неуместные суждения о принятых мерах. Генерал-губернатору поручается объявить во всеобщее сведение, что суждения эти неправильны и не соответствуют положению дел, при коем Финляндия есть составная часть государства российского, с ним нераздельная. «Я желаю также, — сказано далее, — чтобы финскому народу было известно, что, приняв при восшествии на Престол священный долг пеших о благе всех народностей, Российской Державе подвластных, Я признал за благо сохранить за Финляндией особый строй внутреннего законодательства, дарованный ей Моими Государственными Предками. В то же время Я принял на Себя, как наследие прошлого, заботу об определении, силою положительного закона, отношений Великого Княжества к Российской Империи. В этих видах Мною утверждены основные положения 3 февраля сего года, определяющие правила об издании общегосударственных законов, касающихся Финляндии». Этот порядок объявляется непоколебимым и впредь.

Между тем никогда предшествующие государи не присваивали себе права по собственному усмотрению, силою положительного закона определять отношения Финляндии к Империи. Эти отношения были определены императором Александром I за себя и за своих преемников и утверждались затем всеми последующими монархами. Они состоят в том, что Финляндия составляет отдельное государство, соединенное с Русской империей, но имеющее свою особую конституцию и свое особое законодательство. В силу этой конституции ни один закон, касающийся Финляндии, не может быть издан без согласия чинов. Присвоение себе такой власти русским императором есть прямое нарушение с самого начала установленного им самим подтвержденного права. Это совершенно очевидно для всякого, кто не хочет намеренно закрывать глаза на истину. Газета «Тайме», приводя эти объяснения, говорит, что они могут быть пригодны для погруженных в варварство мужиков или для классов, которые не смеют думать из опасения тайной полиции, но в образованных странах они могут вызвать только улыбку презрения.

Финляндская и русская печать, разумеется, не смели поднять голоса. В Финляндии генерал-губернатор объявил, что он будет прилагать самые строгие наказания к тем, кто осмелится толковать меры правительства в их истинном смысле. В этом отношении финляндские законы предоставляют администрации полный простор. Многие газеты закрыты, другие принуждены молчать. О русской печати и говорить нечего. «Вестник Европы» получил задним числом предостережение за статью, напечатанную за не-

сколько месяцев до манифеста, в которой г. Мехелин¹⁰⁴ доказывал, что при ходатайстве о внесении в основные законы Финляндии некоторых статей Устава о воинской повинности 1878 г. никакого обмана не происходило. Предостережение было дано за простое восстановление фактической истины, искаженной нашими финнофобами. Зато последним предоставлена была полная свобода, и они с яростью накинулись в особенности на речи, произнесенные на сейме, объявляя их неслыханной дерзостью, оскорбительною для русского чувства. Действительно, привыкшим к рабопенному жаргону наших официальных адресов благородный язык свободных людей, сознающих свое достоинство и свое право, должен казаться неслыханною дерзостью. Но для русского чувства, не холопского, а здорового, это не оскорбительно, а отраднo. Такой язык может служить нам поучением.

Систематическое рассеивание лжи не могло, однако, успокоить население, которое хорошо знает и понимает истинное положение дел. Чтобы вернее достигнуть цели, старались его разъединить, приманив к русскому правительству беднейшую часть народа. Вдруг оказалось, что в Финляндии есть значительная часть безземельных крестьян, о судьбе которых доселе никто не заботился. Велено было из избытков финляндской кассы ежегодно отчислять два миллиона марок для наделения их землею. Едва ли, однако, эта макиавеллическая мера в состоянии будет привязать финнов к русскому владычеству; они слишком хорошо понимают, чем она вызвана и к чему она клонится. Возбужденного национального чувства она не победит, а скорее заставит богатых и бедных, финнов и шведов теснее сплотиться против притесняющей их власти. Не достигнет цели и организованная генералом Бобриковым обширная система шпионства. Русских шпионов, рассылаемых по всей стране в виде странствующих торговцев, население не хочет принимать, и казна принуждена кормить их на свой счет. Все эти меры, имеющие в виду развратить народ, с тем чтобы вернее его скрутить, падают только на тех, кто их издает. Финляндия, без сомнения, будет сокрушена в неравном споре. Что может маленькая страна против безграничной власти, управляющей ста тридцатью миллионами людей? Условия теперь иные, нежели при борьбе греков с персами и Нидерландов против Испании¹⁰⁵. Цивилизация в этом отношении подвинула человечество не вперед, а назад. При господстве грубой силы в современном мире всюду, на Севере и на Юге, в Трансваале¹⁰⁶, как и в Финляндии, раздается один крик: горе слабым! Тем не менее право носит в себе нравственную силу, которая не нарушается безнаказанно. Единодушную стойкость народа, который дорожит своими правами, нелегко превозмочь. Окончательно победителем выходит тот, кто умеет выдержать до конца.

Спрашивается, для кого и для чего нужна была вся эта система насилия и лжи? Требовалась ли она интересами России? Но интерес России состоит прежде всего в том, чтобы привязать к себе подвластные народности, а не в том, чтобы отталкивать их от себя и делать их себе врагами. Так понимали этот интерес Александр I и все его преемники. Задача состояла в том, чтобы поставить покоренную страну в такое положение, чтобы ей выгодно было оставаться в соединении с Россией, а не стремиться к отторжению. Какие бы сплетни и рассказы ни ходили о нерасположении финляндцев к русским, нерасположении, которое естественно вызывается опасением быть поглощенными русским колоссом

и может только усилиться принимаемыми в этом смысле мерами, дело вовсе не в этих частных отношениях, весьма, впрочем, разнообразного свойства, а в том, чтоб собственный интерес финляндцев побуждать держаться связи с Империей. Если бы в них проявлялись революционные стремления, то насильственное ниспровержение права могло бы найти себе некоторое оправдание. Но ничего подобного нет; самые злые их враги этого не утверждают. Под скипетром русских царей Финляндия благоденствовала и, согласно с характером народа, всегда оставалась верна своему долгу. Об этом неоднократно свидетельствовали сами русские государи. Александр III, который вовсе не благоволил к иноплеменникам и стремился к обрусению окраин, жаловал финляндцев. Он любил ездить в финляндские шхеры, заезжал в Гельсингфорс¹⁰⁷, и студенты делали ему оvation. Единственное желание Финляндии состоит в том, чтобы ее не трогали и позволили ей мирно развиваться под охраною учреждений, дарованных ей русскими царями. Зачем же нужно было всю эту мудрую и с таким постоянством в течение почти целого века поддержанную политику опрокидывать разом, вносить смуту и расстройство в мирную страну, делать себе из финляндцев врагов и заставлять их, волею или неволею, видеть в России притеснителя и обращать свои юры в другую сторону? Этого ли требуют выгоды русского государства? Можно сказать, что такая перемена политики не только не вызывается интересами России, а идет им прямо наперекор. Те, которые подвинули царя на такой способ действия, обнаружили полное отсутствие политического смысла.

У России есть и другой интерес, еще важнейший — интерес нравственный. Счастье подчиненных ее державе народов возвышает ее нравственное достоинство, Финляндия была лучшим перлом в ее венце. Но еще важнее для нее то, чтобы на данные от ее имени обещания можно было положиться, как на твердыню, чтобы царское слово не было пустым звуком, а внушало бы к себе непоколебимое доверие не только посторонних, но прежде всего подвластных. Выше были приведены слова Николая I. Между тем все это в глазах властвующей бюрократии не имеет никакого веса. Для сановников, ныне стоящих во главе управления, играть царским словом, подрывать к нему всякое доверие, подвергать честь России поношению ровно ничего не значит. В деле Девиза это презрение к самым элементарным требованиям нравственного закона выразилось только в притеснении частного лица; здесь оно коснулось престола и отечества. Когда монархи отдают себя в руки людей, для которых правда и неправда, истина и ложь совершенно безразличны, это рано или поздно отражается на них самих.

Но, может быть, военные соображения требуют этой ломки? Для оценки этого аргумента достаточно указать на то, что пятитысячное финляндское войско, в сравнении с русским, представляет каплю в море. Каково бы ни было его устройство, ниспровергать из-за этой безделицы весь существующий порядок есть опять-таки совершенная нелепость. Россия имеет в Финляндии один интерес: это для нее — военная позиция. Этот интерес вполне удовлетворяется тем, что она всегда может занимать важнейшие пункты и в случае войны ввести сколько угодно русского войска. В этом отношении желать больше нечего. Нынешнее устройство финляндского войска основано на Уставе, предложенном Сейму самим русским правительством и утвержденном государем, следовательно, оно приноровлено к потребностям России. Те, которые видят высшую

государственную мудрость в однообразии, могут считать отдельное местное войско такою аномалией, которую следует во что бы ни стало уничтожить; но истинно государственный человек, который знает, что политика состоит прежде всего в умении применяться к разнообразию обстоятельств и в особенности щадить существующие интересы, конечно, не увлечется такого рода соображениями. Указывают на то, что Финляндия несет гораздо меньшие военные тяготы, нежели Россия, но не хотят знать, <что> Финляндия не есть Россия. Она не играет роли великой державы, а потому несправедливо было бы налагать на нее то бремя, которое русский народ несет для поддержания своего исторического значения. Предложенное русским правительством уравнивание повинности, притом с возложением увеличенных расходов на средства бедной страны и с подчинением финских войск полному произволу русского военного министра, есть высшая степень неправды. Если хотят увеличения военной повинности в сносных размерах и вообще, если требуют частные изменения в уставе, то этого можно достигнуть законным путем, без ниспровержения существующих учреждений. Созванный по этому случаю финляндский сейм в своем предложении возвысил количество войска с 5000 до 12<000>, что для бедной страны составляет весьма тяжелое бремя. Слияние же финляндского войска с русским путем насилия и беззакония может повести к результатам, совершенно противоположным тем, которые ожидаются от подобной меры. Если желают иметь в финляндском войске крепкую поддержку против вторжения неприятеля, то надобно, прежде всего, чтобы Финляндия была довольна, а принятые меры направлены к тому, чтобы возбудить всеобщее неудовольствие. Хотят иметь надежное и преданное войско и делают все, чтобы подорвать эту преданность. С какой стороны ни возьми вопрос, кроме полного хаоса мыслей тут ничего не найдешь.

Нет, не государственные потребности и не военные соображения вызвали те странные меры, которые разгромили несчастную страну и внесли печаль в сердца мирных граждан. Корень их лежит в той ненависти, которую бездушные бюрократы, раболепствующие сановники и генералы, ничего не знающие, кроме кулачной расправы, питают ко всякому законному порядку, ко всяким гарантиям права, ко всяким ограничениям произвола. Благоустроенная Финляндия была им нестерпима; надобно было во что ни стало ее раздавить — и ее раздавили. Скорбью и стыдом наполняется сердце русского человека, когда перед его глазами разворачивается эта печальная картина, но еще более оно проникается неизмеримою жалостью к юному венценосцу, опутанному сетью лжи, вовлеченному на такой путь, из которого нет исхода. Чем смоем он то пятно, которое он, по неведению, налагает на себя и на отечество?

С этим пятном Россия вступает в двадцатый век. Что случилось с тем подъемом духа, с теми великими надеждами, с которыми она встретила преобразования Царя-Освободителя? Все это разлетелось в прах. К счастью, крепостного права уже не вернешь; это одно, что подает надежду на лучшее будущее. Но если Россия уже не клеймена игом рабства, то по-прежнему она, как и в дореформенное время,

Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна¹⁰⁸

Бедная Россия! А сколько в ней было хороших сил! Сколько благородных стремлений! И как, в сущности, легко было бы правительству, понимающему свое призвание, править этим добрым, умным, податливым, но вместе энергическим и даровитым народом! Нужно только, чтобы оно покровительствовало не тому, что есть в нем худшего, а тому, что есть лучшего, не рабопелству и угодничеству, а здоровым и независимым элементам. Нынешняя политика есть повторение политики дореформенного времени; она неизбежно приведет к тем же результатам; сперва к умственному и нравственному понижению общественного уровня, что уже наступило, а затем к какой-нибудь катастрофе, которая выбьет Россию из ложной колеи, в которой она застряла, и заставит ее снова вступить на правильный путь закономерного развития.

Но катастрофа, во всяком случае, есть дело случайное. Она может быть близкая или отдаленная; она может быть вызвана внутренними смутами или внешними событиями: все это — тайна истории. Задача мыслящей части русского общества состоит в том, чтобы заранее подготовиться к лучшему порядку вещей. Надобно выяснить себе настоящее положение дел, знать, чего следует желать и к чему идти. В дореформенное время лучшие умы наметили уже всю программу будущих преобразований; поэтому они и совершились легко. Обязанность мыслящих людей в настоящее время состоит в том, чтобы точно так же выяснить себе и обществу назревшие задачи русской жизни.

Эти задачи уже не те, которые предстояли в дореформенное время. То, что тогда намечалось, теперь уже совершенно. Исправить искажения и возвратиться к нормальному порядку вещей не представляло бы большой трудности; но надобно ясно уразуметь, при каких условиях это возможно, а для этого нужно знать, где лежит главная причина зла.

Для всякого мыслящего наблюдателя современной русской жизни очевидно, что главное зло, нас разъедающее, заключается в том безграничном произволе, который царствует всюду, и в той сети лжи, которою сверху донизу опутано русское общество. Корень того и другого лежит в бюрократическом управлении, которое, не встречая сдержки, подавляет все независимые силы и, более и более захватывая власть в свои руки, растлевает всю русскую жизнь. Это — зло стародавнее, но казалось, что мы нашли из него выход. Великое значение преобразований Александра II заключалось именно в том, что, устроая русское государство на новых для него началах свободы и права, они давали общественным силам возможность стать на свои ноги. Эти преобразования обнимали, однако, не все стороны государственной жизни. Между тем как внизу все перестроилось заново, наверху все оставалось по-старому. На первых порах это было полезно, ибо всеобщая ломка могла повести к общему крушению. Только при сохранении твердого центра, который давал нужную точку опоры, преобразования могли совершиться мирно и правильно. Но рано или поздно противоречие между старым и новым должно было сказаться: или бюрократия должна была подавить независимые общественные силы, или последние должны были изменить приемы и привычки бюрократического управления. Нигилистическое движение дало карты в руки бюрократии, и она воспользовалась этим для подавления общественных сил и для искажения созданных реформой учреждений. Очевидно, что возвратиться к нормальному порядку можно только положив предел бюрократическому произволу.

Но ограничить бюрократию невозможно, не коснувшись той власти, которой она служит орудием и которая еще чаще служит ей орудием, т. е. неограниченной власти монарха. Пока последняя существует, безграничный произвол на вершине всегда будет порождать такой же произвол в подчиненных сферах. Законный порядок никогда не может упрочиться там, где все зависит от личной воли и где каждое облеченное властью лицо может поставить себя выше закона, прикрыть себя Высочайшим повелением. Если законный порядок составляет самую насущную потребность русского общества, то эта потребность может быть удовлетворена только переходом от неограниченной монархии к ограниченной. В этом и состоит истинное совершение реформ Александра II. Иного исхода для России нет.

Против такого взгляда, без сомнения, поднимется вопль со стороны всех теоретических и практических поклонников самодержавия, которые видят в нем нечто такое, что неразрывно срослось с самою жизнью русского народа. Нам давно на все лады повторяют, что русский народ в одного царя верит, его одного любит, что для него царь такая же святость, как и самое Божество. Указывают на то, что самодержавие создаю,— устроило и просветило русскую землю, что оно связано со всеми ее преданиями и ее развитием, уверяют, что без него Россия распадется на клочки. Иные возводят даже этот национальный кумир в идеал государственного устройства.

Из всех этих разглагольствований можно принять во внимание весьма немногое. Раблепные толки о мистическом единении царя с народом, которое существует будто бы только у нас и нигде более, тогда как история западноевропейских стран представляет тому самые назидательные примеры, следует предоставить официальным адресам, чиновничьим донесениям и известного разряда газетным статьям. Серьезно обсуждать вопрос можно только с политической точки зрения.

Самодержавие, несомненно, имело великое историческое значение как у западных народов, так и в особенности у нас. Оно собрало и устроило русскую землю, насадило в ней просвещение; наконец, оно освободило народ и поставило на ноги общественные силы. Но этим самым оно совершило свое призвание. Неограниченная монархия есть образ правления, пригодный для младенческих народов, а отнюдь не для зрелых. Как скоро общественные силы начинают расти, так она становится помехою развитию. Она может довести народ до известной, довольно низкой ступени, но никак не далее. Высшее развитие совершается уже в оппозицию неограниченной власти, которая хочет подавить свободное движение жизни, но не в силах это сделать, ибо ребенок вырастает, наконец, из пеленок. Когда же, вынужденная неотразимыми жизненными потребностями, она водворяет наконец либеральные начала, тем самым полагает основание своему упразднению. Провозглашение всеобщей гражданской свободы есть знак, что общество созрело и может стоять на своих ногах; за этим неизбежно должна следовать свобода политическая. Раньше или позднее это совершится, зависит от местных и временных условий; но это непременно должно быть, ибо это в порядке вещей.

Те, которые ссылаются на тесную историческую связь между монархом и народом, не хотят знать законов и условий исторического развития. Воображать, что один и тот же образ правления пригоден для народа, находящегося в крепостном состоянии, и для гражданского быта, основанного на свободе, есть политический абсурд. Крепостное право,

так же как и самодержавие, имеет свое историческое назначение; оно также содействует скреплению государства. Недаром оно, силою вещей, установилось у нас при утверждении государственного порядка. Оно тесно связано и с самым образом правления: крепостное право внизу порождает крепостное право наверху, и обратно. Пока все низшее население находится в рабстве, иного государственного устройства быть не может, кроме аристократии или чистой монархии. Но последняя ведет к единению, а первая к раздорам. Вследствие этого установление неограниченной монархии, при этих условиях, становится требованием государственной жизни и залогом высшего общественного развития. Но как скоро крепостное право отменено внизу, так требуется упразднение его и наверху. Тогда для народной жизни наступают иные задачи, свобода предъявляет свои права. Когда подумаешь, что единая воля иногда вовсе к тому не подготовленного лица, не имеющего ни высоких способностей, всегда составляющих исключение, ни надлежащего опыта в государственных делах, должна, по собственному усмотрению, управлять пятьюдесятью или даже ста миллионами людей, со всеми бесконечно сложными отношениями, вытекающими из свободы, то все безумие подобного порядка вещей представляется с полною ясностью. Тут нечего ссылаться на помощь Божию. Бог помогает не тем, кто себя превозносит и не терпит границ своей воле, а тем, кто смиренно сознает собственную слабость и свой произвол подчиняет закону. Из истории мы знаем, что Бог не вдохновляет хватающихся за свою власть самодержавных монархов: слишком часто они являются недостойными своего положения и делают такие крупные ошибки, которые ведут их к гибели, а государство к разорению.

Для народа действительно большое благо, когда судьба его связана с известною династией, которая умела приобрести любовь подданных. Монархия есть одно из великих начал истории: но надобно, чтобы она способна была принимать различные формы, сообразные с потребностями развития, а не коснела на одной ступени, пригодной только для младенческого общества. С развитием народной жизни неограниченная монархия должна перейти в ограниченную; тогда только она может остаться ее центром. Если же она не умеет приспособиться к новым условиям, если она не понимает своего высокого призвания и упорно стоит за безграничное своевластие, то любовь народа от нее отвертывается, а мыслящая часть общества начинает смотреть на нее как на врага, и тогда, рано или поздно, падение ее неизбежно. История представляет тому поучительные примеры. После того обоготворения, которым пользовался во Франции Людовик XIV и даже недостойный его преемник¹⁰⁹, прошло немного лет, и монархия, не умевшая своевременно преобразоваться и совершить нужные реформы, пала среди неистовых криков парижской черни.

В России мы тоже видели, как в царствование Николая I вся мыслящая часть русского народа смотрела на правительство как на своего врага. Даже великие реформы Царя-Освободителя не могли излечить общество от этого глубокого вкоренившегося недуга, и благодетель своих подданных пал жертвою гнусного заговора. Последовавшая затем реакция всего менее способна была залечить эти раны. Вместо того чтобы опираться на здоровые общественные силы, правительство высказывало им полное недоверие, а недоверие, в свою очередь, вызывает недоверие. Между правительством и обществом образовалась глубокая пропасть, которую не могут прикрыть льстивые заверения в преданности и любви. Всякий

живущий в России знает, что эти заверения — не что иное, как выражение официальной лжи, которая господствует у нас сверху донизу. В действительности никто не доверяет правительству; всякая его мера встречается с опасением. И это недоверие вполне понятно при том нравственном уровне, на котором стоят у нас правящие сферы. Самодержавная власть русских царей превратилась в игральное личное интересов самого низменного свойства.

Выйти из этого положения она может только преобразовавшись сама, после всех тех преобразований, которые она совершила в стране. Установив всеобщую свободу, поставив общество на ноги, она должна довершить свое дело, ограничив сама себя. Это и составляет настоящую ее задачу. Только этим она может вырваться из той растлевающей среды, которою она окружена; только этим путем возможно водворение в России законного порядка и обуздание всюду давящего нас произвола.

Но готово ли русское общество к такой перемене? Не внесет ли она еще большую смуту в без того уже расслабленный организм?

Если бы дело шло о замене неограниченной монархии парламентским правлением, то, конечно, об этом при настоящих условиях не может быть речи. Парламентское правление требует политической опытности, образования, сложившихся партий. Всего этого у нас нет. Но вопрос ставится гораздо проще. Требуется положить предел неограниченной власти и вырвать монарха из развращающего влияния господствующей бюрократии. А для этого достаточно созвать в столицу собрание выборных, например, по два или по три человека от каждого губернского земства, и дать ему обсуждение законов и бюджета. Если, рядом с этим, преобразовать Государственный совет в Верховную палату, очистив его от тех элементов, которые находятся там только по чину, то конституционное устройство готово. Не нужно много ломать себе голову.

Но необходимо, чтобы выборное собрание непременно было облечено правами. Совещательное собрание, мнению которого можно следовать или не следовать, всегда будет в руках правящей бюрократии, а ее-то именно и следует обуздать. Противовесом окружающему престол чиновничеству может служить только вполне независимый орган, с решающим голосом в общественных делах. Только собранием, облеченным правами, может быть ограничена и самая воля монарха, а это и есть первое условие законного порядка. Пока монарх не привыкнет к мысли, что воля его не все может, что есть независимый от него закон, с которым он должен соотноситься, напрасно мечтать о каких-либо гарантиях права и об обуздании чиновничьего произвола. Все пойдет по-старому. Бесправное собрание скоро утомится бесплодной деятельностью и явится лишь бессильною помехою бюрократическому управлению, которое легко сумеет если не совершенно его устранить, то низвести его к нулю.

Не следует опасаться, что облеченное правами собрание окажется слишком притязательным. При настроении русского общества можно скорее ожидать противоположной крайности. Оно явится слишком податливым и не будет стоять в уровень со своим призванием. Составленное из людей, мало сведущих и опытных в государственных делах, оно часто окажется недостаточно подготовленным к их обсуждению. Но это не беда, лишь бы создалась среда, в которой возможно правильное политическое развитие. Опыт и знание приобретаются временем и деятельностью. В собрании будут все-таки заседать здоровые и независимые элементы общества,

а не чиновники, преследующие свои личные цели или угождающие начальству. В нем независимый человек будет иметь возможность возвышать свой голос, и ему нельзя будет зажать рот, как в настоящее время. Нужды и желания народа будут доходить до верховной власти через людей, близко с ними знакомых, а не через искаженную призму чиновничьих донесений. Наконец, что, может быть, всего важнее, русское общество будет призвано к политической жизни, а это одно, что может вывести его из той умственной и нравственной апатии, в которую оно ныне погружено. В нем проявится новый подъем духа, когда оно будет призвано к решению новых, высших задач. Лучшие силы в нем воспрянут, и самые молодые поколения будут готовиться к плодотворной деятельности, вместо того чтобы напрасно губить свои способности в социалистической агитации.

Можно ли, однако, надеяться, что такая перемена совершится в более или менее близком будущем? Надобно признаться, что вероятия на это мало.

Воображать, что монарх по собственному почину в силу великодушного побуждения ограничит свою власть,— значит не знать человеческой природы. Конечно, он может почувствовать всю тяжесть лежащего на нем бремени; но обаяние власти так велико, что оно может вознаградить за все ее невыгоды. К этому присоединяется влияние окружающих, которых личные интересы все связаны с сохранением этой власти, под сенью которой они проводят свои корыстные виды. Благовидных же предлогов к ее сохранению всегда можно найти множество; и народное чувство, и историческое призвание, и мнимая польза отечества, и распадение государства на части, одним словом, все те признаки, которые обыкновенно пускаются в ход, чтобы не допустить ограничения произвола. Как противостоять таким искушениям?

С другой стороны, нельзя ожидать и каких-либо серьезных революционных движений в России. Почвы для революции у нас нет, ибо преобразования Александра II совершили у нас те перемены в гражданском и общественном строе, которые вызывались потребностями жизни. Теперь остается завершить их преобразованиями политическими; но для такого шага в русском обществе нет достаточной внутренней энергии. Волнения юношества и социалистическая пропаганда могут только усилить реакцию. Высшие классы у нас разорены, средние погружены в глубокое невежество. Апатичное и покорное русское общество в настоящем своем состоянии не способно ни к какому энергическому действию, ни к какой инициативе. Оно равнодушно смотрит на все происходящие вокруг него насилия и неправды и не предъявляет ни малейшего против них протеста. Только от медленного развития общественного сознания можно ожидать более ясного понимания вещей и более бескорыстного стремления к общему благу.

Нынешнее положение России во многом напоминает состояние Пруссии в двадцатых и тридцатых годах настоящего столетия. После совершенных Штейном¹¹⁰ великих преобразований и подъема духа, сопровождавшего отечественную войну¹¹¹, там снова водворилось господство бюрократической рутины; в правительстве обнаружилось такое же, как у нас, мелочное недоверие к земским учреждениям; происходили те же волнения в университетах; принимались те же суровые меры против студентов и профессоров; было такое же преследование печати. Читая жизнеописание барона Штейна, можно иногда думать, что речь идет о современной России. Разница состоит в том, что в Пруссии было несравненно более образования, нежели у нас;

было и уважение к законному порядку, о котором в России нет и помину. Но и в Пруссии дальновидные государственные люди предсказывали, что такая политика не приведет к добру. Революция 1848 г., вспыхнувшая вследствие внешнего толчка, шедшего из Франции, оправдала их ожидания. Вся эта бюрократическая лавочка разом была снесена.

И у нас внешняя катастрофа может ускорить процесс общественного сознания. Она может последовать неожиданно-негаданно. Поводов к столкновениям при нынешнем напряженном состоянии Европы слишком много. Державы стоят во всеоружии друг против друга, постоянно увеличивая свои военные силы, и всякая искра может произвести пожар. При самом миролюбивом настроении правительство может быть против воли вовлечено в войну. Если такое столкновение случится, то, очевидно, оно произойдет между Россией и Францией, с одной стороны, и Германией во главе тройственного союза — с другой. Материальными силами обе стороны более или менее равны; но судьба народов решается не одною материальной силой. В исторической борьбе победителем выходит тот, кто носит в себе высшие духовные начала. Что же могут противопоставить Россия и Франция организованной мощи Германии, опирающейся на тот энергетический подъем народного духа, который был последствием победы и объединения Германии, в которой железная дисциплина сочетается с широким развитием свободы? Во Франции мы видим только внутренние неурядицы и разлад, в России произвол и притеснения. Анархия и деспотизм — вот все, что эти две державы могут сулить современному человечеству. Бесспорно, и в нынешней Германии есть многие темные стороны: страшное развитие милитаризма, бездушное подавление подчиненных народностей. Реалистическая политика государственного человека, совершавшего ее объединение¹¹², искоренила в некогда идеалистическом народе чувство гуманности и справедливости. Победа Германии, в свою очередь, едва ли принесет пользу человечеству. Но все же в ней есть культурные начала, которые блекнут в руках волнуемой французской демократии и совершенно отсутствуют в России. А главное, в ней есть подъем народного духа, который во Франции принижен позорным поражением и разрывается на клочки внутренними раздорами партий, а в России совершенно подавлен гнетущим его деспотизмом. Чтобы выйти победительницею из борьбы, Россия должна пробудить в себе этот дух, а это возможно сделать только полной переменой всей внутренней политики. Русский народ должен быть призван к новой жизни утверждением среди него начал свободы и права. Неограниченная власть, составляющая источник всякого произвола, должна уступить место конституционному порядку, основанному на законе. Финляндия должна быть восстановлена в правах, дарованных ей русскими монархами и неотъемлемо ей принадлежащих. Но прежде всего надобно протянуть руку раздавленному Россиею славянскому брату¹¹³ и поднять его из унижения, в котором мы его держим. Только этим путем Россия может стать во главе славянских народов, что придаст ей неизмеримую силу. Не как представительница чисто материального могущества, основанного на притеснении всех подвластных, а как носительница высших человеческих начал может она исполнить свое историческое призвание, выдвинуть славянский вопрос и сокрушить гегемонию Германии.

Пробудится ли в ней сознание этого высокого назначения? Кто знает те могучие силы, которые таятся в глубине русского духа, тот не может в этом сомневаться. Обновление России после Крымской кампании служит тому

ручательством. Но придет ли это сознание путем правильного внутреннего развития или будет оно куплено ценою потоков крови и гибели многих поколений, покажет будущее. Может быть, и у нас появится государственный человек вроде Кавура или Бисмарка, который поймет задачи времени и сумеет двинуть Россию на путь, указанный ей историей. Возможно и то, что появится царь, одушевленный высоким нравственным чувством, который захочет быть благодетелем подвластных ему народов. Во всяком случае оставаться при нынешнем близоруком деспотизме, парализующем все народные силы, нет возможности. Для того чтобы Россия могла идти вперед, необходимо, чтобы произвольная власть заменилась властью, ограниченной законом и обставленной независимыми учреждениями. Здание, воздвигнутое Александром II, должно получить свое завершение; установленная им гражданская свобода должна быть закреплена и упрочена свободой политической. Рано ли или поздно, тем ли или другим путем это совершится, но это непременно будет, ибо это лежит на необходимости вещей. Сила событий неотразимо приведет к этому исходу. В этом состоит задача двадцатого столетия.

Несомненно, что Россия переживает тяжелые времена, и потому долг каждого мыслящего россиянина отдать себе отчет в причинах недуга и в возможных средствах его исцеления.

Всякой рациональной терапии должен предшествовать диагноз, а диагнозу — определение симптомов болезни, причем лишь те явления можно признать болезненными, которые не присущи общечеловеческой природе и не составляют расовой особенности народа. Было бы большой ошибкой принять за признак болезни всякое явление нежелательное: много таких проявлений жизни, которые нам не нравятся, но если они неустранимы, то с ними надо считаться, как с силами природы.

Разделим для удобства и большей наглядности рассмотрение общественных явлений на следующие группы: интеллектуальные, политические, экономические.

Порядок рассмотрения не вполне произвольный, ибо экономическое благосостояние находится в прямой зависимости от общественного и государственного устройства и от интеллектуальных сил народа, которые в свою очередь обуславливают и политические учреждения. С другой стороны, основное условие правильного исторического развития и состоит в соответствии политических учреждений с интеллектуальными потребностями народа и в соблюдении соотношения между задачами государства и его экономическими силами.

I. В интеллектуальном отношении следует признать самым важным, наиболее бросающимся в глаза болезненным явлением — это стремление нашей учащейся молодежи принять активное участие, даже руководство и инициативу в делах политических. Это явление болезненно не потому только, что оно нежелательно, но потому, что оно, кроме того, и ненормально; мы его в России прежде не наблюдали, следовательно, оно не присуще русской нации; в странах же Западной Европы и в Америке мы этого теперь не замечаем, следовательно, это не есть неизбежное следствие европейской культуры.

Но мы видели нечто подобное в Германии во времена меттерниховской реакции¹ и в Италии во времена иноземного ига², и это совпадение не случайное.

В чем же причины этого? Во избежание недоразумений повторяю, что ненормальность следует видеть не в том, что учащаяся молодежь занимается политикой, а в том, что она ею занимается активно. Было бы ошибочно думать, что молодые люди, получающие высшее образование, находящиеся под неустранимым влиянием умственной жизни всех народов, могли бы не интересоваться вопросами социальными, религиозными, политическими.

Это было бы неестественно, невозможно и было бы признаком умственного или нравственного убожества. Напрасно у нас многие думают, что в Западной Европе молодежь политикой не занимается; и там в университетах лучшие умственные силы всеми общественными вопросами горячо интересуются, но не активно, а лишь отвлеченно. Для постороннего наблюдателя виднее занятия спортом английских *undergraduates*³, любовные похождения французских студентов, пиршества да дуэли буршов⁴; при более же близком знакомстве с университетскою жизнью оказывается, что и в *debating clubs*⁵ Оксфорда и Кэмбриджа, и в кофейнях *Quartier latin*⁶, и в пивных немецких студентов горячо обсуждаются все вопросы, занимающие современное человечество, и обсуждаются с необузданным пылом юности.

Но на Западе интеллигентная молодежь в университетах готовится к политической и общественной деятельности — у нас же она вступает в эту деятельность, находясь еще на школьной скамье.

Почему это? Отвечая на этот важный вопрос, следует оставить всякие возгласы по адресу молодежи. Молодежь не сама себя создает, а создается теми условиями, в которых ее воспитывает семья и в которые ставит ее общество; она обладает притом некоторыми свойствами, присущими юному возрасту везде и во все времена: склонностью увлекаться общими идеями, радикализмом воззрений, самоуверенностью и потребностью проявлять свою самостоятельность.

Под радикализмом воззрений я разумею не только мнения так называемых либеральных направлений, но и консервативных: молодежь односторонняя, но она искренна; она не знает и не признает тех компромиссов, которые в зрелом возрасте являются частью результатом жизненной опытности, частью же вызываются в людях пожилых меньшею готовностью жертвовать собою и интересами семьи ради идеи. В зрелом возрасте остывает вера в отвлеченности, но зато сильнее развито чувство долга и сознание важности мелкой, будничной работы, составляющей главное содержание всякой жизни.

С вышеупомянутыми неизменными свойствами юности надо считаться; только те люди могут действовать на молодежь, пользоваться ее доверием, которых она считает искренними, в которых она видит силу убеждения, а не одни проявления разумного расчета. В молодежи слабо развита критика, а потому суждения ее по отношению к людям часто бывают ошибочны, поверхностны; молодые люди склонны принимать громкие фразы за глубокие истины, напускной пафос за глубину чувства; в оценке людей они далеко не так чутки, как принято думать: они не всегда умеют отличить истинное чувство доброжелательства от показного. Но одно несомненно: человек, которого они подозревают в неискренности, на молодых людей влияния иметь не может.

Что же в этом отношении интеллигентная молодежь видит у нас: в высших чиновных слоях общества неискренность составляет основной принцип жизни. Необходимость заставляет всякого россиянина (ввиду быстроты и радикальности административной расправы) либо молчать о вопросах общественных и религиозных, либо лгать, либо говорить иносказательно, ибо в России невелико число образованных лиц, сокровенные взгляды коих таковы, что они могли бы публично высказать свою политическую и религиозную исповедь.

Итак, в так называемых высших руководящих слоях общества молодежь в отцах видит пример постоянной неискренности: сынам остается либо,

подражая отцам, отложить всякие идеалистические пожелания как ведущие к местам более или менее отдаленным и с ранних лет думать о карьере и о средствах удовлетворить своим страстям и вожделениям, либо — если потребность в искренности, если «тлетворные влияния» свободной мысли были достаточно сильны, то порываются связи с семьей и ценные по своим нравственным качествам элементы идут не на созидание и обновление общества и государства, а на его разрушение.

В странах свободных этой дилеммы нет: там открытая борьба мнений и взглядов дает возможность быть всегда искренним, а это усиливает авторитет старших поколений, а главное — молодежь там знает, что ее время действовать придет, что каковы бы ни были ее взгляды и стремления, она, возмужав, может бороться за них, не прерывая для этого связи с обществом, не переходя в разряд отщепенцев, крамольников.

В этом отношении весьма знаменателен ответ, данный одному моему знакомому его сыном — студентом, замешанным в политическое дело. На вопрос отца: почему они, молодые, неопытные люди, берутся за решение труднейших государственных вопросов, не выждав времени своей возмужалости и не подготовив себя к этой задаче умственной работой? — а потому, ответил сын, что мы видим, что отцы наши молчат не по убеждению, а из боязни за себя и за детей, — так мы полагаем, что когда сами станем отцами, то и мы, пожалуй, замолчим и все останется по-старому; вот мы и действуем, пока молоды, — как можем и как умеем. Такой ответ на Западе невозможен — у нас же он открывает психологическую загадку студенческой «политики».

От толстовской школы и «преобразованного» университета молодежь отталкивала опять-таки печать неискренности, лежавшая на них и лишавшая их влияния.

Большой контингент наших студентов-бедняков из среды не культурной — тот исключительно русский тип студента, которого кн. Мещерский⁷ брезгливо окрестил кличкой «кухаркин сын», к которым можно причислить еще и многочисленных даровитых еврейчиков да энергичных деревенских поповичей — находится в ином, но не лучшем положении по отношению к родительскому влиянию, как сын «хорошей» семьи.

При всем личном уважении и привязанности, которые эти сыновья бедняков могут питать к своим родителям, не может быть, однако, речи о влиянии их на религиозные и политические взгляды молодого поколения, о воспитании в смысле передачи определенной группы умственных, нравственных и внешних привычек тут речи быть не может.

Разумно ли было искусственно поощрять приплыв этих элементов к университетам учреждением множества стипендий и другими мерами, вопрос, по моему мнению, теперь уже праздный. Дело сделано, стремление к высшему образованию внесено во все слои русского общества, и переделывать этого уже нельзя; да притом трудно было бы идти иным путем в таком демократическом обществе, как русское.

Вследствие совокупности всех вышеизложенных причин в нашей университетской молодежи наиболее выдающиеся по энергии и по чистоте побуждений элементы редко бывают охранительного направления, что, конечно, часто наблюдается на Западе; у нас они, напротив, в большинстве случаев пламенные сторонники устранения пут, положенных в России на свободную мысль, и сторонники ограждения личности от произвола администрации, т. е. они держатся такого образа мыслей,

который на официальном жаргоне называется «неблагоденственным». Уверенность, что при существующем порядке нет никаких легальных средств бороться за эти, по их мнению, важнейшие, драгоценнейшие права человека, и тот факт, что ход государственной жизни в России за последние десятилетия не приблизил нас к этому идеалу, а напротив, удалил от него, и составляет главнейший источник тех нравственных сил, которые идут на подпольную политическую и социальную агитацию.

А сумма этих сил весьма велика, и отклонение их от производительной работы в разрушительную составляет серьезную опасность для общества и государства. Конечно, оценка размеров потери и степени опасности зависит от личных впечатлений и воззрений, но что явление существует и что устранить его следует, с этим все согласны.

Но как, каким путем, какими средствами? Очевидно, в Петербурге решили, что снисхождением и ласкою почтенного старика Ванновского⁸ ничего путного не достигли, что студенческое движение из университетского перешло в явно политическое русло, что убийство Сипягина, равно как усиленная агитация в фабричном и сельском населении, доказывают, что тут нужна рука более сильная, способная в бараний рог скрутить горсть недоучек, дерзновенно берущих на себя и суд и расправу. В пользу политики «скручивания» указывают также на ничтожное число крамольников, сравнительно с 140-миллионным населением, на их умственное убожество, на нравственный упадок, проявляющийся в безумных злодеяниях и в готовности подчиниться темным личностям, ведущим их на верную гибель, вместо того чтобы слушаться разумных благожелателей, способных вести их по пути истинному на славу Царю и отечеству.

Указывают на кажущееся успокоение умов, достигнутое в прошлое царствование мертвящей рукой графа Д. А. Толстого, опиравшегося на твердую волю царя-самодержца. Указывают также на то, что православный русский народ в громадном, подавляющем большинстве своем ничего общего с этими безумцами не имеет, что это движение не народное, а навеянное извне; есть даже официальные голоса, утверждающие, что зло это возможно только благодаря убежищу, которое находят главы крамолы в Англии и Швейцарии, причем делаются и намеки, что суммы на агитацию доставляются англичанами и что если и не явно, то тайно коварный Альбион поддерживает это движение, дабы внутренними смутами ослабить внешнее могущество своей соперницы — России.

Что касается до внешнего происхождения средств наших агитаторов, то весьма возможно, что есть единичные англичане, сочувствующие целям наших революционеров и снабжающие их средствами, подобно тому как разные армянские, македонские и другие комитеты находят там покровителей и как в свое время наши славянофилы поддерживали противоправительственные стремления одноплеменников в Турции.

Но разве этими английскими грошами, сколько бы их ни было, призываются ежегодно тысячи русских молодых людей в ряды наших революционеров? Деньгами покупаются шпионы, полицейские агенты, но не люди, увлекающиеся идеей, хотя бы и безумной, готовые ради нее жертвовать всем, даже жизнью. Что касается пристанища, которое за границей находят те из наших эмигрантов, которым удалось спастись бегством, то их публицистическая и издательская деятельность, несомненно, весьма значительна и имеет большое влияние на наших революционеров; однако какие же средства могли бы заставить правительство свободной

страны воспретить свободное слово о делах чужого государства, когда о делах страны-убежища там можно говорить и писать что угодно, пока ограничиваются словами и не переходят в противозаконное действие? Единственный вопрос, имеющий реальную почву, — это требование выдачи лиц, причастных к политическому убийству. Но разве это изменило бы что-либо в деле? Разве наши Каракозовы, Перовские⁹ и т.д. предпринимали свои преступные дела в расчете на пристанище в Англии или Швейцарии? Они сознательно идут на верную смерть.

Я бы не остановился на этом второстепенном вопросе о внешней помощи, если бы пущенный правительством в этом направлении толчок не представлял бы большого искушения для нашего общества искать источник своей болезни не в самом себе, а во внешних недоброжелателях. Это тем более опасно, что одна из наших характерных особенностей состоит в склонности жаловаться на то, что нас «иностранцы обижают»; невольно вспоминается самодур из комедии Островского, которому запуганная жена на подобные его жалобы в утешение говорит: «Кто Вас обидит, Кит Китыч,— Вы всякого обидите»¹⁰.

Итак, оставим иностранцев, их денежную и нравственную поддержку как факторы маловажные и во всяком случае такие, на которые мы влиять не можем, и потому не входящие в круг рационального лечения. Обратимся к вопросу о том, действительно ли это движение лишь навейное, не имеющее никакой почвы в многомиллионном коренном населении России.

Конечно, народные массы всегда и везде, а тем более у нас, представляют силу инертную, не имеющую инициативы, но которая может на время (хотя и не надолго) всколыхнуться со стихийною силою, если найдет подходящих руководителей. Наши же агитаторы обладают двумя великими источниками силы: верою в свои идеалы и готовностью жертвовать собою. Да притом за много десятилетий агитаторской деятельности самая техника их подпольной работы сделала громадные успехи, а вместе с тем личный состав революционной армии все более демократизируется, в ней быстро возрастает число людей не барского происхождения, которые легче и с большим успехом действуют на народ и знают его больные места.

А в деле политического радикализма нам учиться не у кого: Бакунин¹¹ — праотец западных террористов, Кропоткин¹² — главный мыслитель государственного анархизма, наконец, сам Толстой, проповедующий вред и безнравственность того насилия, на котором основано государство,— все они хотя во всеоружии европейской культуры, тем не менее чисто русские люди и именно в своем радикализме проявляют одну из особенностей русской народности, не признающей золотой середины.

Итак, не в иностранных интригах надо искать причину нашей болезни; нарождающиеся у нас духовные силы идут в работу скрытую, подпольную потому, что не существует никаких легальных способов высказывать свои желания, взгляды, мечты — хотя бы и несбыточные,— если эти желания и взгляды не нравятся министру, власть имущему.

Между тем потребность высказывать свои мысли не есть какое-то незаконное требование беспокойных людей; для людей искренних, убежденных, живущих мыслью, это есть первейшая из всех потребностей и святейший долг.

У нас до такой степени привыкли к официальной лжи, до такой степени страшатся свободного слова, что совершенно упускают из виду, что существуют страны, где этою свободой пользуется много поколений,

не разрушая общественных и государственных устоев. И не потому, что те народы разумнее или что там менее разрушительных элементов, чем у нас, а потому, что свободно высказанная нелепость или несообразность тотчас вызывает отпор, тогда как против подпольной работы противодействие применяется лишь тогда, когда она свое дело уже сделала и, превратившись в действие, выступает наружу. У нас постоянно приходится слышать фразы: «мы не доросли до свободных учреждений» и «самодержавие (в сущности, неограниченная власть чиновничества) соответствует народному духу русскому и есть та форма правления, которая удовлетворяет его потребностям и идеалам».

Если это так, то нечего бояться, что несбыточные мечты людей иного взгляда пошатнут столь прочное здание. Если же первое положение верно, то спрашивается, какие создаются условия для ускорения этого роста? Не доросли — это может быть понято двояко: или что в нашем обществе еще нет потребности в большей свободе, или что, имея эту потребность, оно не обладает свойствами, чтобы достойно пользоваться ею.

Что касается до потребности, то громадный аппарат, действующий исключительно на подавление всяких попыток и стремлений к развитию большей свободы, опровергает такую официальную ложь.

Относительно умения пользоваться свободой, то, конечно, долгое рабство мысли не служит хорошей к тому подготовкой, но что же из этого следует? То ли, что это рабство должно быть увековечено, или — что должны быть созданы условия для его уничтожения?

Одно, я полагаю, несомненно: в народе даровитом, от природы склонном к исканию истины, к которому приливают тысячами путей идеи всякого рода и направлений, в таком народе заглушить работу мысли нельзя. Всякая работа мысли порождает не однообразие взглядов, а разнообразие; разнообразие же ведет к борьбе мнений. Хотя и можно усомниться в справедливости пословицы *du choc des opinions, jaillit la vérité*¹³, ибо зачастую спор никакой истины не обнаруживает, но можно утверждать: *la vérité ne jaillit que du choc des opinions*¹⁴ — состязание мнений есть единственный способ выяснения истины. Но не в этом главная причина, почему необходимо предоставить большую свободу мыслей, а в том, что если ей не предоставить выхода явного, она от этого не умирает, но, скрываясь, ищет незащищенные части общественного организма, чтобы там производить свою пропагандную работу, к которой стремится всякое искреннее убеждение. Естественное стремление мысли, если нет искусственных преград, — рваться наружу, и тогда с нею можно бороться. Если же закрыты все предохранительные клапаны, через которые мог бы вырваться на волю умственный пар народа, теряя при этом свою скрытую энергию и согревая умственную атмосферу, то он ищет в общественном организме его слабые части и там бесконтрольно производит свою скрытую, подрывающую государство работу, которая становится явной лишь при вулканическом взрыве.

Наши охранители утверждают, что недовольство нашею формою правления существует только среди так называемой «интеллигенции», а не в массе народа, и в этом они правы: громадная масса народа сознает свои ближайшие потребности, она ощущает требования правительства и приемы их осуществления, но о связи между приемами управления и формою правления, конечно, представления не имеет.

Но из этого не следует, чтобы правительство могло бы опираться непосредственно на массу народа. Обыденная, каждодневная работа прави-

тельства совершается посредством его многочисленных органов, которые сами, по необходимости, выходят из среды интеллигенции, а потому только то правительство прочно, которое опирается на самые лучшие в умственном отношении силы народа, т.е. на его «интеллигенцию». Никакое исцеление нашего общественного недуга невозможно, пока будет существовать разлад между правительством и передовыми культурными силами страны.

II. Но, спрашивают многие, куда же стремятся эти «лучшие силы», чего они желают?

На такой вопрос трудно дать точный ответ уже потому, что при наших условиях общественной жизни никакие определенные положительные программы и выработаться не могли. Существует, однако, согласие по отношению к некоторым отрицательным требованиям: на первом месте стоит безусловное уничтожение административной ссылки и вообще расправы. Конечно, для чиновника-министра, желающего устранить признаки, а не причины недовольствия, эта мера крайне соблазнительна; но для царя и его семьи, неразрывно связанных с судьбами народа, ничего, кроме зла, от полного гражданского бесправия его подданных не происходит. Невольно в умах укрепляется совершенно ложное представление, будто самодержавие, т.е. образ правления, где не только исполнительная, но и законодательная власть находятся в руках одного лица, неразрывно связано с бесправием его подданных и с бесконтрольным произволом чиновников.

Пишущий эти строки наравне с многими свободомыслящими россиянами полагает, что парламентский образ правления для нас нежелателен, что наследственный царь, ответственный только перед своей совестью и перед Богом, представляет более гарантий справедливого правления, чем случайное большинство выборных депутатов, но при одном условии: чтобы он перед всяким своим решением был поставлен в возможность и необходимость выслушать по данному вопросу мнение не одного случайного советника-министра, но также и мнения других компетентных, вполне независимых лиц.

На первое время некоторое преобразование Государственного совета и безусловная отмена Высочайших повелений, имеющих силу закона и не обсуждавшихся в совещательном собрании, были бы важным шагом на пути политического оздоровления в связи с правом всякого русского высказывать свои взгляды, желания, недовольство по всем вопросам общественным. Люди должны подвергаться законной ответственности за действия, а не за мысли. За всякую клевету или оскорбление личности, за искажение факта кара должна быть строгая, но вопросы общие, отвлеченные должны подвергаться всестороннему обсуждению наяву у всех.

Нельзя совершенно заглушить работу мысли даровитого народа, находящегося в постоянном общении со всем миром. Это общение также прекратить невозможно, даже если бы это было и желательно; следовательно, с этим надо считаться так же, как с тем фактом, что солнце восходит утром, а вечером заходит, что зимою наши реки замерзают, а весной вскрываются и т. п.

Заглушить работу мысли нельзя; даже такая выдающаяся по силе воли, по твердости убеждений, по ясности ума и по ограниченности взглядов личность, как император Николай I, сделать этого не мог, — так не грех ли подталкивать на ту же неблагоприятную работу симпатичного молодого царя в начале XX века, когда и умственные потребности русских людей, и их сношения с Западом увеличились во сто крат?

Итак, освобождение самодержавия от ига министров и чиновников устранением возможности каких-либо законодательных актов, не обсуждавшихся в преобразованном Государственном совете; невозможность каких-либо денежных трат сметных и сверхмерных или чрезвычайных без предварительного обсуждения в соответственном законном порядке; отмена административной расправы и наказания без надлежащего суда — вот основные требования, которые содействовали бы оздоровлению нашего государственного организма.

Что при даровании свободы слова всплывут на поверхность, между прочим, и нелепые, детские, вредные, грубые, дерзкие, пагубные в своем осуществлении взгляды — это несомненно. Но эти взгляды и теперь существуют, распространяются без критики, без контроля и встречают людей политически неразвитых. Да кроме того, история доказывает, что от слов до действий шаг очень велик. Это наблюдается в странах с полнейшей политической свободой, в государствах, глава которых не пользуется тем особым религиозным почитанием, которое чувствует большинство россиян к своему царю. Правда, и в свободных странах мы видим отвратительные, нелепые политические злодеяния; разница, однако, в том, что там они совершаются часто иностранцами (убийцы Карно, Императрицы Австрийской, Мак-Кинлея¹⁵) и во всяком случае лицами, стоящими на низшей ступени развития. Это презренные выродки, не имеющие в лучших и обширнейших слоях общества никакой нравственной поддержки.

То ли самое можем мы, по совести, сказать про наших политических агитаторов, даже про преступников-террористов? Разве не больно, не обидно, не тяжело до крайней степени видеть столько ума, энергии, самоотвержения, идеализма направленными на такое дурное и вредное дело?

В свободной стране такие личности, какие у нас стоят в первых рядах политических преступников, не занимались бы крамолой, а бросились бы со всем пылом их юного идеализма в открытую борьбу за свои мечты и в этой борьбе неизбежно бы созрели и приняли бы плодотворное участие в обновлении своей родины, вместо того чтобы служить скорее тормозом мирного развития, каким они являются теперь.

Я не касаюсь той формы, в которой общество должно быть призвано к участию в местном управлении, но полагаю во всяком случае, что для успешной деятельности местного самоуправления необходимо создать мелкую всесословную земскую единицу. В странах с развитым самоуправлением вся система построена на церковном приходе, чему у нас могла бы соответствовать волость. Только при мелкой единице выступают все выгоды самоуправления: личное знакомство с местными условиями и постоянные сношения причастных; всесословность восстановила бы прерванную связь между местным населением и образованными элементами.

Впрочем, призывая общество в той или иной форме к участию в управлении, не следует ожидать, что исполнительные органы, выборные или сословные — словом, «земские», окажутся более способными хорошо отправлять функции государственного управления, чем лица, находящиеся на государственной службе. Напротив, вообще говоря, бюрократы, т. е. лица, специально посвятившие себя делу управления, будут, при прочих равных условиях, более умело справляться с этими задачами, чем люди «земские», т. е. имеющие еще и иное свое личное занятие, кроме управления. Большое преимущество призыва земских сил к делам государственным заключается в том, что в них, вообще говоря, больше знания

потребностей жизни, больше самостоятельности во взглядах и больше независимости характера, чем в чиновниках, с ранних лет привыкших исполнять волю начальства, что не способствует развитию умственной инициативы и нравственной независимости, а между тем все дело в людях. Недаром англичане требуют: «Men, not measures»¹⁶.

С часто повторяющейся жалобой на отсутствие якобы у нас честных и преданных делу общественных деятелей вряд ли можно согласиться. Надо создать условия деятельности, и люди найдутся. Нашлись же люди для проведения освобождения крестьян, для судебной реформы.

Впрочем, и в деле организации самоуправления следует отказаться от несчастной, скудоумной бюрократической мании единообразия. Россию неизбежно следует снова разделить на административные области, генерал-губернаторства, в которых однородные по социальным, этнографическим или географическим особенностям губернии находились бы под высшим управлением лица, пользующегося доверием монарха. При такой децентрализации легче справиться и с земствами, которые, конечно, не следует организовывать одинаково во всех губерниях Российской империи. Впрочем, это частности и не в них суть дела, а в обеспеченности личной свободы и свободы мысли. Неужели великое благо свободы, доступное японцам, должно для России заменяться ссылкой и Шлиссельбургом?¹⁷

III. Если политическое положение России может частью служить объяснением прискорбного уклонения нашей молодежи от своей задачи — приготовления к деятельности в возмужалом возрасте, то благодарное поле для своей социалистической пропаганды она находит в промышленных центрах вследствие доступности фабричного населения таким учениям, в основе которых лежит контраст между прибылью капиталиста и рабочего; в земледельческих же областях вследствие неудачного решения аграрного вопроса население обречено на постоянно возрастающую нищету. Голодовки — неизбежное следствие истощения почвы, дурной ее обработки и нерационального хозяйства — повторяются столь часто, что самое терпеливое население может быть доведено до отчаяния и поддаваться агитации против имущих, пользующихся всеми благами земного существования, тогда как культурная их деятельность (если она имеется) не видна местному населению вследствие все возрастающего абсентеизма; замена помещиков-дворян владельцами новейшей формации также подрывает уважение к принципу наследственной земельной собственности; к тому же общинное владение, помимо того, что служит почти непреодолимым препятствием для сельскохозяйственного прогресса, в основном своем принципе противоречит понятию наследственной собственности, и чем дальше, тем труднее будет поддерживать эти два противоречивых принципа одновременно.

Рядом с уменьшением сельскохозяйственного производства на крестьянских землях идет возрастание населенности и увеличение налогов, вызываемое громадными военными расходами в виде сухопутных и морских вооружений, непроизводительных железных дорог (к которым надо даже причислить и Сибирскую дорогу), миллиардные платежи по заграничным займам на те же предметы.

Необходимо привести в некоторое соотношение принимаемые на себя государством обязательства и задачи с платежными силами страны.

Есть ли какая-нибудь надежда достигнуть этого при полномочии министров, с одной стороны прикрываемых Высочайшими повелениями

и полной разрозненностью отдельных управлений — с другой? По византийской фразеологии, у нас все министры исполняют лишь предназначения монарха, но ведь это на деле невозможно, если случайно наследственный государь не обладает исключительными качествами Петра или Фридриха¹⁸. Он может наметить общее направление политики выбором своих советников, но обеспечить единство их деятельности он не может, а потому они и идут кто в лес, кто по дрова, если случайно в среде их не явится человек, который силою своего ума или характера, или благодаря личным связям не займет временно руководящее положение. Но ввиду того, что против положения влиятельного министра подкапываются со всех сторон, девять десятых умственной энергии такого государственного человека уходит на отвлечение интриг, против него направленных.

Согласование политики внешней, внутренней, промышленной с экономическими средствами страны и соразмерность средств, отпускаемых на цели военные и культурные, есть одно из основных условий, дабы находящийся в критическом положении государственный корабль был выведен на чистую воду.

Для этого нужно, чтобы владелец этого корабля избрал энергичного, дальновидного кормчего, пользующегося его доверием, и предоставил бы ему власть брать себе помощников, идущих с ним рука об руку, и намечать курс, которого следует держаться для достижения указанной государем цели.

Тайны ~ Советник

«История политических учений» была издана Чичериным в 5 томах (частях); первые четыре тома выходили в течение 1869-1877 гг., последний пятый том вышел после большого перерыва, в 1902 г., незадолго до смерти автора.

При переиздании орфография и пунктуация оригинала были приведены к современным нормам; исправлены очевидные опечатки и ошибки. Имена западных мыслителей приводятся в основном в современной транскрипции.

В приложении к настоящему тому собраны работы, характеризующие отношение Чичерина к политическим процессам в России в 1861-1902 гг.

ХІХ ВЕК

Идеализм в Германии

г) Индивидуалистический идеализм

¹ Имеется в виду государство, главной функцией которого является охранение установленной системы права; т. е. в современной терминологии «правовое государство».

² *Фриз (Фрис) (Fries) Якоб Фридрих (1773-1843)* — немецкий философ-идеалист. Истолковывал учение Канта в духе психологизма, считая, что априорные элементы познания могут быть установлены эмпирически. Основой философии считал психологическую антропологию. Рассматривал мир как организм, построенный по законам механики и математики.

³ *Якоби (Jacobi) Фридрих Генрих (1743-1819)* — немецкий писатель и философ-иррационалист. В молодости друг Г.Э. Лессинга и И. В. Гете; автор философского романа «Вольдемар». В противовес рационализму развил так называемую философию чувства и веры.

⁴ *Герbart (Хербарт) (Herbart) Иоганн Фридрих (1776-1841)* — немецкий философ, психолог и педагог, основатель школы в немецкой педагогике XIX в. Представитель плюрализма; полагал, что в основе мира лежит множество неизменных «реалов». Попытался построить психологию как систематическую науку, основанную на метафизике, опыте и математике. Выдвинул концепцию 4 ступеней (принципов) обучения (ясность, ассоциация, система, метод). Основоположник так называемой формальной эстетики (источник прекрасного — симметрия, пропорции, ритм и т.п.).

⁵ *Шотландская школа* — философия «здравого смысла» (понимаемого как интуитивная способность ума, совокупность врожденных принципов, заложенных в умах людей Богом); возникла и получила распространение в 60-80-е гг. XVIII в. в шотландских университетах. Основатель — Т. Рид, виднейшие представители — Дж. Освальд, Дж. Битти, Д. Стюарт. Сформировалась в полемике со скептицизмом Д. Юма и французским материализмом. См.: Наст. изд. Т. 2, раздел «Хатчесон и Фергюсон».

⁶ *Гартенштейн (Хартенштейн) (Hartenstein) Густав* (1808-1890) — немецкий философ, последователь И.Ф. Гербарта.

⁷ *Историческая школа права* — направление в юридической науке XIX в. (особенно в Германии). Представители исторической школы права (Г. Гуго, Ф. Савиньи, Г. Пухта и др.) выступали против концепции естественного права. С точки зрения исторической школы право — не произвольный продукт законодательства, а следствие духовного и исторического опыта народа, поэтому оно не может быть изменено с помощью формальных законодательных процедур, но должно реформироваться постепенно и «органически».

⁸ *Гуго (Hugo) Густав* (1764-1844) — немецкий юрист, профессор права в Геттингене, основатель исторической школы права.

⁹ *Савиньи (Savigny) Фридрих Карл* (1779-1861) — немецкий правовед и историк, представитель исторической школы права.

¹⁰ *Тибо (Thibaut) Антон Фридрих Юстус* (1772-1840) — немецкий юрист, профессор в Гейдельберге.

¹¹ *Пухта (Puchta) Георг Фридрих* (1798-1846) — немецкий юрист, представитель исторической школы права. Излагал историю римского права с точки зрения этой школы; пытался свести современное ему гражданское право к чисто римским основам.

¹² *Институции* (от лат. *institutio* — наставление) — название элементарных учебников римских юристов, дающих систематический обзор действующего, в основном частного, права. Наиболее древние — институции римского юриста II века Гая.

¹³ *Ансильон (Ancillon) Жан Пьер Фредерик* (1767-1837) — прусский министр; с 1832 г. возглавлял Министерство иностранных дел, в деятельности на этом посту следовал политике Меттерниха.

¹⁴ *Лен* (нем. *Lehn*) — в средневековой Германии земельное владение, которое жаловал король (или какой-либо другой крупный феодал) в пожизненное пользование вассалу на условии несения военной или административной службы.

Майорат (от лат. *maior* — старший) — в гражданском праве форма наследования недвижимости (прежде всего земельной собственности), при которой она переходит полностью к старшему из наследников. Направлена на сохранение и упрочение крупных земельных владений.

¹⁵ *Круг (Krug) Вильгельм Траугот* (1770-1842) — немецкий философ и писатель, популяризатор критической философии с точки зрения «здравого смысла».

¹⁶ *Избирательная капитуляция* — в Средние века документ, подписываемый кандидатом на выборный государственный пост, в котором он давал согласие на принятие этого поста в случае победы на выборах, а также брал на себя определенные обязательства по удовлетворению интересов

выборщиков или осуществлению иных мероприятий в сфере внутренней или внешней политики. Практика подписания избирательных капитуляций существовала практически во всех западноевропейских выборных монархиях, однако особое значение имели избирательные капитуляции императоров Священной Римской империи, игравшие роль одного из важнейших источников конституционного права этого государства.

¹⁷ *Вильгельм III Оранский* (1650-1702) — штатгальтер (правитель) Нидерландов с 1674 г., английский король с 1689 г. Призван на английский престол в ходе государственного переворота 1688-1689 гг. («Славная революция»), во время которого был свергнут Яков II, пытавшийся восстановить абсолютизм. Призвание имело условием существенное ограничение прав короны. До 1694 г. правил совместно с женой Марией II Стюарт (дочерью свергнутого короля Якова II).

¹⁸ *Бернадотт (Bernadotte) Жан Батист Жюль* (1764-1844) — французский маршал и шведский король, сын адвоката. С 1799 г. военный министр, с 1804 г. маршал; участник наполеоновских походов, отличился при Ульме и Аустерлице. В 1810 г. избран кронпринцем шведским и с тех пор был фактически регентом Швеции. В 1813 г. присоединился к союзникам против Наполеона. С 1818 г. король Швеции и Норвегии под именем Карла XIV.

¹⁹ См.: «Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,— так как истина во Иисусе,— отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф 4, 19-24).

²⁰ В ту эпоху, о которой идет речь в труде Круга (1814-1816 гг.), избирательная система Франции определялась Хартией 1814 г., введенной королем Людовиком XVIII после окончательного низвержения Наполеона и восстановления монархии. 6 апреля 1814 г. сенат, действуя по внушению Талейрана и по желанию союзников, провозгласил восстановление монархии Бурбонов в лице Людовика XVIII, при этом король принес присягу на верность составленной сенатом конституции, гораздо более свободной, чем наполеоновская. Она признавала свободу слова и религии и рядом с назначаемым короной наследственным сенатом ставила избираемый населением законодательный корпус. 4 июня вступила в силу Хартия 1814 г., которая стала развитием конституции 6 апреля; в ней определялись две палаты — пэров и депутатов; был установлен ценз на избирательное право в 300 франков прямых налогов.

²¹ После провозглашения себя императором Наполеон сначала восстановил (в 1806 г.) дворянские титулы, отмененные Французской революцией, а затем сам стал присваивать своим генералам дворянские звания, полагая, что недостатки происхождения компенсируются военной славой.

²² Имеется в виду династия Габсбургов (Habsburger), правившая в Австрии с 1282 г. (сначала носили титул герцогов, затем, с 1453 г., эрцгерцогов, с 1804 г. императоров). Присоединив в 1526 г. Чехию и Венгрию (где титуловались королями) и другие территории, Габсбурги стали монархами обширного многонационального государства (в 1867-1918 гг. Австро-Венгрия). Габсбурги были императорами Священной Римской империи (постоянно в 1438-1806 гг., кроме 1742-1745 гг.), а также королями Испании (1516-1700 гг.).

²³ *Эрцканцлер* (нем. *Erzkanzler*) — одна из высших государственных должностей Священной Римской империи, глава имперской канцелярии и второе лицо в государстве после императора. Приставка «эри-» («архи-», «высший») означала более высокий статус должности, чем канцлеры других государств и правителей. Пост эрцканцлера с позднего средневековья до упразднения империи в 1806 г. принадлежал курфюрсту-архиепископу Майнцскому.

²⁴ Конец наполеоновских войн привел к возникновению объединения самостоятельных немецких государств, основой которого стал Союзный акт 1815 г., принятый на Венском конгрессе державами-победительницами. Возникший Союз оказался достаточно эфемерным, поскольку в нем не предполагалось никаких центральных органов, кроме Союзного сейма, состоящего из представителей всех вошедших в Союз государств. Поскольку его решения могли быть приняты только единогласно всеми представителями, деятельность сейма оказалась неэффективной.

²⁵ Имеется в виду форма правления с неограниченным бесконтрольным полновластием нескольких лиц (а не одного, как в монархии).

²⁶ Имеется в виду форма правления, построенная не на независимости и полновластии одного центра (автократия), а на соединении и согласованном действии нескольких центров власти (от *грек.* *synkretismos* — соединение).

²⁷ *Июльская революция 1830 года* — восстание 27 июля против действовавшей во Франции монархии, приведшее к окончательному низложению старшей линии династии Бурбонов и установлению либерального королевства со значительными властными полномочиями буржуазии. Причиной революции послужила консервативная политика короля Карла X, высшей целью которого было восстановление общественных порядков, царивших до Великой французской революции 1789 г.

²⁸ Имеется в виду новая конституция Саксонии, введенная 4 сентября 1831 г. королем Саксонии Фридрихом Августом II (с 1830 по 1836 г. правил совместно с королем Антоном) для предотвращения революционных волнений, начавшихся в 1830 г. По конституции 1831 г. ландтаг (парламент) Саксонии состоял из двух палат. В верхней палате некоторые члены заседали по праву рождения, другие — по назначению короля, третьи — в силу привилегированного избрания. Нижняя палата состояла из 82 депутатов, избираемых на 6-летний срок населением страны.

²⁹ *Роттек* (*Rotteck*) *Карл Венцеслав фон Роденер* (1775-1840) — историк и политический деятель, профессор истории права и политической экономии во Фрейбурге. В 1819 г. университет Фрейбурга выбрал его своим депутатом в баденскую первую палату, где он выступил за отмену крепостного права. В 1831 г. он был избран во вторую палату, где до самой смерти был одним из вождей либеральной партии.

³⁰ *Система двойных выборов* — избирательная система, в которой граждане выбирают не непосредственно депутатов, а выборщиков, которые затем выбирают самих депутатов.

³¹ *Сисмонди* (*Sismondi*) *Симон де* (*Simond de*) *Жан Шарль Леонар* (1773-1842) — швейцарский экономист и историк. Идеальной экономической системой считал мелкое товарное хозяйство; выступал за активное вмешательство государства в экономику в целях торможения прогресса (поскольку рабочие вытесняются машинами).

³² Велькер (Welcker) Карл-Теодор (1790-1869) — немецкий публицист, профессор государственного права, политический деятель либерального толка. Вместе с Роттеком и Деттингером в 1831 г. основал первое бесцензурное периодическое издание «Der Freisinnige», вскоре запрещенное Союзным сеймом.

³³ Имеется в виду казнь короля Карла I в 1649 г., явившаяся следствием Английской революции и гражданской войны 1642-1648 гг., а также известные случаи убийства тиранов в Древнем Риме (Юлий Цезарь, Нерон, Домициан).

³⁴ Цахариз (Zachariae) Карл Соломон фон Линденталь (1769-1843) — немецкий юрист.

д) Абсолютный идеализм

¹ Термин «диалектика» ввел Сократ, у него он означал искусство диалога, достижение истины путем противоборства мнений. У Платона появляется понимание, более близкое к современному (гегелевскому): диалектика есть метод расчленения и связывания понятий с целью постижения сверхчувственной (идеальной) сущности вещей.

² См.: Наст. изд. Т. 1. С. 401-403.

³ Мишле (Michelet) Карл Лудвиг (1801-1893) — философ-гегельянец, профессор Берлинского университета; ученик Гегеля и представитель левого гегельянства, отличался политическим и церковным либерализмом.

⁴ После смерти Гегеля его философские идеи развивали два направления его преемников — *правые гегельянцы* (Габлер, Гинрихс, Гешель и др.), которые выдвигали на первый план гегелевское учение о праве и государстве и считали необходимым сохранить саму гегелевскую систему; и *левые*, или *младогегельянцы* (Штраус, Бауэр, Штирнер, Фейербах), которые выводили из системы Гегеля атеистические и революционные концепции. Поскольку, по Гегелю, философия есть высшая форма самосознания абсолютного духа по сравнению с религией, то младогегельянцы выступили с критикой религии, видя в ней тормоз развития общества.

⁵ Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809-1865) — французский социалист, теоретик анархизма, экономист. Пропагандировал мирное переустройство общества путем реформы кредита и обращения; выдвинул идею учреждения «Народного банка» с целью предоставления дарового кредита для организации эквивалентного обмена продуктов труда мелких производителей. В период революции 1848 г. Прудон выдвигал проекты экономического сотрудничества классов и анархистскую теорию «ликвидации государства».

Бастия (Bastiat) Фредерик (1801-1850) — французский экономист. Один из авторов теории гармонии интересов труда и капитала.

⁶ Дельфы — древнегреческий город в юго-западной Фокиде (Средняя Греция), общегреческий религиозный центр с храмом и оракулом Аполлона; в Дельфах происходили общегреческие пифийские игры.

⁷ Эрдман (Erdmann) Иоганн Эдуард (1805-1892) — немецкий философ, профессор в Галле; известен своим изданием философских сочинений Лейбница (Берлин, 1840).

⁸ См. примеч. 4.

⁹ Имеется в виду революция 1848-1849 в Германии, буржуазно-демократическая революция, главная задача которой состояла в создании единого германского национального государства и ликвидации феодально-абсолютистских порядков.

¹⁰ В сенат США входят по два представителя от каждого штата, избираемых законодательным собранием штата; в палате представителей каждый штат представлен числом депутатов, пропорциональным численности населения штата, депутаты избираются всенародным голосованием.

Бельгия по форме правления, согласно конституции 7 февраля 1831 г., являлась унитарной конституционной монархией (в 1989 г. был осуществлен переход на федеративную государственную систему), король правит совместно с двумя палатами — сенатом и палатой представителей; при этом для сенаторов установлен возрастной ценз (не младше 40 лет) и высокий имущественный ценз.

¹¹ *Шмиттгеннер (Schmittgenner) Фридрих* (1796-1850) — немецкий правовед, профессор в университете Гессена.

¹² *Штейн (Stein) Лоренц* (1815-1890) — немецкий философ, историк, экономист. Автор оригинального учения о конституционной династической монархии; монархия, по мнению Штейна, является надклассовым и социально ориентированным государством, т. е. монарх призван проводить реформы в пользу трудящихся с целью улучшения их жизни. Благодаря прусскому канцлеру О. Бисмарку, идеальная монархия Штейна получила название «социальная монархия». Эта теории до сих пор популярна в странах, имеющих монархический тип управления.

е) Утопический идеализм

Родбертус-Ягецов (Rodbertus-Jagetzow) Карл Иоганн (1805-1875) — немецкий экономист, автор сочинений по вопросам земельной ренты и прибыли. Выступил с идеей прусского «государственного социализма»; попытался выразить социалистическое учение как стройную научную систему.

² Имеется в виду созданная Платоном теория идеального государства (в диалоге «Государство»).

³ *Вагнер (Wagner) Адольф* (1835-1917) — немецкий экономист. Испытал влияние идей исторической школы права; считал, что правовые отношения играют определяющую роль в хозяйственной жизни.

⁴ *Кирхман (Kirchmann) Юлий* (1802-1884) — немецкий юрист и философ-реалист.

⁵ *Смит (Smith) Адам* (1723-1790) — шотландский экономист и философ, один из крупнейших представителей классической политэкономии. В «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776) обобщил столетнее развитие этого направления экономической мысли, рассмотрел теорию стоимости и распределения доходов, капитал и его накопление, экономическую историю Западной Европы, взгляды на экономическую политику, финансы государства. Подходил к экономике как к системе, в которой действуют объективные законы, поддающиеся познанию. При жизни Смита книга выдержала 5 английских и несколько зарубежных изданий и переводов.

⁶ *Физиократы* (фр. *physiocrates*; от греч. *physis* — природа, и *kratos* — сила, власть, господство) — представители классической школы политической экономии второй половины XVIII в. во Франции (Ф. Кенэ, А. Р. Тюрго и др.). Исследовали сферу производства, положили начало научному анализу воспроизводства и распределения общественного продукта. «Чистый продукт» создается, согласно физиократам, только сельскохозяйственным трудом. Делили буржуазное общество на классы. Выступали против меркантилизма, были сторонниками свободной торговли.

⁷ *Рикардо* (*Ricardo*) *Давид* (1772-1823) — английский экономист, один из крупнейших представителей классической политэкономии. Сторонник трудовой теории стоимости; полагал, что стоимость товаров, единственным источником которой является труд рабочего, лежит в основе доходов различных классов общества. Сформулировал закон обратно пропорциональной зависимости между заработной платой рабочего и прибылью капиталистов.

⁸ *Лессинг* (*Lessing*) *Готхольд Эфраим* (1729-1781) — немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик Просвещения, основоположник немецкой классической литературы. В борьбе за демократическую национальную культуру как средство политического обновления Германии создал жанр немецкой «мещанской» драмы. Отстаивал эстетические принципы просветительского реализма (книга «Лаокоон», 1766; «Гамбургская драматургия», 1767-1769).

⁹ *Лассаль* (*Lassalle*) *Фердинанд* (1825-1864) — немецкий социалист, философ и публицист. Организатор и руководитель Всеобщего германского рабочего союза (1863-1875). Выдвигал идеи о всеобщем избирательном праве как универсальном политическом средстве освобождения труда от эксплуатации, о производительных ассоциациях рабочих, как пути их освобождения от гнета «железного закона» заработной платы и «введения социализма».

¹⁰ «...из чего также затем мнимые голые различия конструкции, которая по видимости придает историческое право этой же естественноправовой мысли, этой же самой категории, выясняются скорее в качестве просто различных и противоположных понятий исторического духа» (нем.).

¹¹ *Шталь* (*Stahl*) *Фридрих-Юлий* (1802-1861) — немецкий философ права, теоретик феодально-монархической реакции, с 1840 г. профессор в Берлине. В прусском сейме был приверженцем дворянской партии и реакционной политики, а также усиления духовенства.

¹² *Фидеикоммиссы* (лат. *fideicommissum*) — приложение к завещанию, содержащее просьбу завещателя к наследнику сделать что-либо в пользу третьих лиц. Как правило, этот текст составлялся заранее (так называемые *codicilli*). Содержание некоторых положений кодициллов могло быть подтверждено в завещании, некоторые же положения могли остаться в виде приложения. Даже если завещание оказывалось недействительным, кодициллы оставались в силе, и все изложенные там просьбы и приказы возлагались на законных наследников. Институт фидеикоммиссии снял практически все ограничения с завещания по его содержанию и предоставил завещателю почти полную волю следовать только собственным желаниям и намерениям в распоряжении наследством как в части связанных с ним имущественных, так и неимущественных прав.

Субституция (позднелат. *substitutio*, от лат. *substituo* — ставлю вместо, назначаю взамен) — в праве назначение в завещании запасного наследника (субститута).

¹³ *Легатарий* (легатар, отказополучатель) — название лица, в пользу которого сделан завещательный отказ — возложение на наследника по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону.

¹⁴ *Пеласги* (греч. Pelasgoi) — согласно античным преданиям, догреческое население Древней Греции, обитавшее на юге Балканского полуострова, островах Эгейского моря, в Эпире, Фессалии, на западном побережье Малой Азии.

¹⁵ *Этрурия* — страна этрусков, древнего племени, населявшего в I тыс. до н.э. северо-запад Апеннинского полуострова (современная Тоскана) и создавшего развитую цивилизацию, предшествовавшую римской и оказавшую на нее большое влияние. Происхождение этрусков не выяснено. В конце VII в. до н.э. они объединились в союз 12 городов-государств, около середины VI в. овладели Кампанией. В V—III в. до н.э. Этрурия покорена Римом.

¹⁶ *Маны* (лат. Manes) — в римской мифологии боги загробного мира, обожествленные души предков. Маны считались добрыми богами, хранителями гробниц.

Лары — в римской религии божества покровители семьи и дома. Их изображения находились у очага или в специальной небольшой комнате. Почитались также лары — покровители дорог, их изображения ставились на перекрестках. В переносном смысле — синоним дома, домашнего очага.

¹⁷ *Претор* (лат. praetor, от praetor — идущий впереди) — в Древнем Риме первоначально высшее должностное лицо, затем, с 367 г. (или 366 г.) до н.э., младший коллега консула. С 242 г. до н.э. избирались два претора: один для ведения судебных дел между римскими гражданами, другой — между гражданами и чужеземцами.

¹⁸ *Преторское право* (лат. ius praetorium) — в Древнем Риме нормы частного права, выработанные преторами и дополнявшие гражданское право, т. е. исконное римское право, основанное на законе. Поскольку гражданское (гражданское) право в силу присущего ему формализма не сумело приспособиться к условиям быстро развивавшихся хозяйственных связей рабовладельческого общества, преторское право к концу республиканского периода превратилось, по существу, в самостоятельную правовую систему. При вступлении в должность претор, стремясь обеспечить более гибкую защиту интересов частных собственников, издавал специальный эдикт (edictum tralaticium), который предусматривал введение новых исков и др. процессуальных средств, фактически прекращая действие устаревших норм. Преторское право существенным образом реформировало такие институты частного права, как владение, договор, наследование. После падения республики нормотворческая деятельность преторов вступила в противоречие с растущим полновластием императоров. После того как во II в. н.э. по указанию императора Адриана римский юрист Сальвий составил окончательный текст преторского эдикта (edictum perpetuum Hadriani), явившийся своего рода кодификацией преторского права, его развитие прекратилось.

¹⁹ *Агнаты* — лица, соединенные воедино под покровом родительской власти или считавшиеся бы членами одного и того же союза, если бы общий родоначальник находился еще в живых. К агнатам принадлежал не только отец семейства (*лат. pater familias*) и дети, прижитые им в законном браке, но и дети сыновей этой семьи, жена отца семейства, невестка его, равно посторонние лица, принятые в семейство через усыновление. По древнему римскому праву на агнатстве основывались все права, вытекавшие из семейного союза, и в частности — право наследства. В том случае, когда сын или дочь известной семьи переходили в чужой дом, первый по усыновлению, а вторая через замужество, они лишались покровительства старого (прежнего) главы семейства и всяких прав на участие в наследстве. Те же последствия влекла за собой потеря римского гражданства и утрата свободы.

²⁰ *Квири́ты* (*лат. quirites*) — в Древнем Риме эпохи республики название граждан, употреблявшееся обычно в официальных обращениях (*Populus Romanus Quiritium*). Термин «квири́ты» считают производным от *coviria* (курия, мужской союз). Отсюда квири́ты — первоначально члены курий, совокупность которых составила в процессе формирования римского государства римское гражданство (исключительных носителей «кви́ритского права» и «кви́ритской собственности»),

²¹ Сделки *per aes et libram* (*лат., букв.* совершаемые через отвешивание меди) — древнеримская форма приобретения власти (мансипация, мансипационные сделки), торжественный договор покупки, состоявший в отвешивании особым лицом, весовщиком (*libripens*), кусков меди (заменявшей в древности монету и представлявшей покупную цену) и в переходе продаваемой вещи в обладание покупателя. Совершался этот договор в присутствии пяти свидетелей — представителей, как думают некоторые историки, пяти классов римского народа. С введением чеканных денег в обряде произошли соответствующие изменения: медь более не взвешивалась, а куском ее лишь ударяли по рукам. С течением времени происходят изменения и в значении самой формы. Из покупного договора мансипация становится общей формой приобретения собственности. С помощью оговорок при акте, получавших юридическую силу, мансипация служила и для заключения других сделок, например залога (фидуции), завещания и т. д. В истории римского права мансипация — одна из самых устойчивых форм.

²² Завещательный отказ, или легат (*legatum*), как особое завещательное распоряжение является традиционным институтом наследственного права и имеет две формы: виндикационный легат (*legatum per vindicationem*) и дамнационный легат (*legatum per damnationem*). С помощью первого передается имущественный объект или право на него, при этом вещное право возникает у легатария непосредственно от завещателя. Это могло быть как право собственности, так и иное вещное право. Поэтому сразу же с момента открытия наследства легатарий может потребовать вещь у любого обладателя отказанного ему имущества, будь то наследник или любое другое лицо, во владении которого находится отказанная вещь. Дамнационный легат отличался от *legatum per vindicationem* тем, что в качестве его предмета выступает совершение определенных действий — что-либо дать (*dare*) или сделать (*facere*). Такое распоряжение порождает у легатария не вещное, а обязательственное право, т. е. право требования в отношении наследников.

²³ Наследственный отказ (легат) *sinendi modo* — легат посредством дозволения, когда наследодатель говорит: «Пусть мой наследник позволит взять и иметь себе». Наследник не должен был совершать активные действия в виде *dare* или *facere*, он должен был лишь терпеть *pati*, т.е. не препятствовать действиям легатария, который отчуждал в свою пользу отказанную ему по завещанию вещь. Эта форма являлась таким видом легата, предметом которого могли быть вещи наследодателя, вещи наследника, но не вещи третьих лиц.

²⁴ «...что опять же есть выражение той фиктивной природы понятия наследства, в силу которой воля хочет существовать после своего угасания и доказать себя в качестве продолжающей существовать» (нем.).

Ж «естественное и истинное продолжение лица» (нем.).

²⁶ «это безусловное и опосредованное тождество *suus* с наследником есть именно лишь правовая фикция, которая может оттеснить ту естественную истину, что это — другое самостоятельно волящее лицо» (нем.; *suus* — ближайшие друзья, родственники, лат.).

²⁷ Имеется в виду договор 911 г., в котором регулировались условия пребывания и торговли русских купцов в Царьграде (Константинополе). Отправлявшиеся в Царьград русские купцы снабжались княжеской грамотой с указанием количества кораблей, имен торговых послов и простых купцов, они должны были находиться в городе не больше 6 месяцев.

²⁸ *Русская Правда* (списки XIII-XVIII вв.) — свод древнерусского права. Включает: отдельные нормы «Закона Русского», Правду Ярослава Мудрого, Правду Ярославичей, Устав Владимира Мономаха и др. Имела целью защиту жизни и имущества княжеских дружинников и слуг, регулировала положение зависимых людей, обязательственное и наследственное право и т. д.

²⁹ *Судебник Ивана III* (1497) — сборник законов Русского государства. Кодифицировал нормы обычного права, уставные грамоты, княжеские указы и т. д. Способствовал централизации Русского государства. *Судебник Ивана IV* (1550) — царский судебник, утвержден первым на Руси Земским собором. Явился важным шагом на пути централизации Русского государства.

³⁰ *Бриссо де Варвиль* (*Brissot de Warville*) Жак Пьер (1754-1793) — парижский адвокат и литератор, представитель радикальной буржуазной интеллигенции во время Французской революции. В Национальной ассамблее был вождем жирондистов, «защитников собственности», за которыми стояли промышленники и финансисты. Сначала выступал против королевской власти, за войну против Австрии, Британии и Голландии, но затем повернулся против якобинцев и парижских масс. Был казнен революционным трибуналом 31 октября 1793 г.

Сизс (*Сийес*, *Сиейс*) (*Sieyes*) Эммануэль Жозеф (1748-1836) — французский политический деятель; аббат. Как депутат конвента в 1793 г. голосовал за казнь короля. Во время якобинского террора не принимал активного участия в политике и смог избежать гильотины. В дальнейшем близкий сотрудник Наполеона, от которого получил графский титул.

³² 24 февраля 1848 г. произошло отречение последнего короля Франции Луи Филиппа I, после чего во Франции установилась Вторая республика.

³³ 23 мая 1863 г. в Лейпциге Лассаль создал Общегерманский рабочий союз, который объединил рабочее движение Германии и позже составил основу Социал-демократической партии Германии.

³⁴ *Шульце-Делиг (Schuhe-Delitzsch) Герман* (1808-1883) — немецкий политический деятель и экономист. Сторонник концепции «кооперативного социализма».

³⁵ *Рогдельские пионеры* — основатели первого рабочего кооперативного потребительского общества, учрежденного в 1844 г. в городе Рочдейле (Англия) группой рабочих-ткачей.

³⁶ Правильное название — «Общегерманский рабочий союз».

³⁷ «Всё в соответствии с законом предложения и спроса, в соответствии с которым я действую ровно так же, как и мои противники» (нем.).

³⁸ *Маркс (Marx) Карл* (1818-1883) — философ и общественный деятель, основоположник марксизма. В период революционных событий в Европе 1848-1849 гг. активно участвовал в работе международной организации «Союз коммунистов» и вместе с Энгельсом написал ее программу «Манифест Коммунистической партии» (1848). Маркс был организатором и лидером I Интернационала (1864-1876). В 1867 г. вышел главный труд Маркса — «Капитал» (т. 1); работу над следующими томами Маркс не завершил, их подготовил к изданию Энгельс (т. 2, 1885; т. 3, 1894). В последние годы жизни Маркс активно участвовал в формировании пролетарских партий. Идеи Маркса оказали значительное влияние на социальную мысль и историю общества в конце XIX — XX вв.

³⁹ *Международное товарищество рабочих* (I Интернационал) — международная организация, основанная в Лондоне 28 сентября 1864 г. Руководители — К. Маркс и Ф. Энгельс. Марксом были составлены «Учредительный манифест Международного товарищества рабочих», устав и большая часть воззваний, циркуляров и решений I Интернационала. В начале 1870 г. в Женеве была основана Русская секция I Интернационала. В 1870-х гг. деятельность I Интернационала в европейских странах прекратилась; формально он был распушен в 1876 г.

⁴⁰ В 1875 г. Общегерманский рабочий союз, созданный Лассалем, объединился с созданной в 1869 г. Социал-демократической рабочей партией Вильгельма Либкнехта и Августа Бебеля.

⁴¹ ...«неприродное свойство» (*Маркс К. Капитал. М., 1953. Т. 1. Кн. 1. С. 67*).

⁴² «Как только он делается товаром, он превращается в чувственно-сверхчувственную вещь» (*Маркс К. Капитал. М., 1953. Т. 1. Кн. 1. С. 81*).

⁴³ «Превращение денег в капитал должно быть раскрыто на основе имманентных законов товарообмена, т.е. исходной точкой должен послужить нам обмен эквивалентов» (*Маркс К. Капитал. М., 1953. Т. 1. Кн. 1. С. 176*).

⁴⁴ *Энгельс (Engels) Фридрих* (1820-1895) — мыслитель и общественный деятель, один из основоположников марксизма. Встреча с Марксом в Париже в 1844 г. положила начало их дружбе. Энгельс активно участвовал в организации (1847) и деятельности «Союза коммунистов», вместе с Марксом написал программу Союза — «Манифест Коммунистической партии» (1848). Энгельс оказывал постоянную материальную помощь Марксу. Вместе с Марксом руководил деятельностью I Интернационала. После его смерти был советником и руководителем европейских социалистов.

⁴⁵ *Английские социалисты 20-30-х гг. XIX века* — последователи Д. Рикардо, развивавшие его теорию трудовой стоимости в сторону социалистических идей; к ним относят Уильяма Томпсона, Джона Грея, Джона Френсиса Брея, Томаса Годскина.

Идеализм во Франции

¹ Революция 1848-1849 гг. привела к отречению последнего французского короля Луи Филиппа I и установлению во Франции Второй республики.

² Наполеон I был императором в 1804-1814 гг. и в марте-июне 1815 г. («Сто дней»).

Реставрация во Франции — период вторичного правления династии Бурбонов в 1814-1815 гг. (1-я Реставрация) и в 1815-1830 гг. (2-я Реставрация). 1-ю и 2-ю Реставрации разделяют «Сто дней». Конец Реставрации положила Июльская революция 1830 г.

Июльская монархия — период в истории Франции от Июльской революции 1830 г., покончившей с режимом Реставрации, до Февральской революции 1848 г., установившей Вторую республику. После падения Бурбонов на трон был возведен Луи Филипп, герцог Орлеанский (30 июля 1830 г. в качестве «наместника королевства», 7 августа в качестве короля).

³ *Бонапартисты* — сторонники восстановления во Франции династии Бонапартов после падения Первой империи (1814) и Второй империи (1870). Способствовали приходу к власти в 1852 г. Луи Бонапарта (Наполеона III).

Легитимисты (от лат. *legitimus* — законный) — после Июльской революции 1830 г. во Франции приверженцы династии Бурбонов; преимущественно крупные землевладельцы аристократического происхождения и представители высшего католического духовенства. В более широком смысле легитимистами называют приверженцев свергнутых династий любого государства.

Орлеанисты — монархическая группировка во Франции, возведшая на престол в 1830 г. Луи Филиппа, в дальнейшем поддерживавшая признание других представителей Орлеанского дома на корону.

⁴ *Местр (Maistre) Жозеф Мари де (1753-1821)* — граф, французский публицист, политический деятель и религиозный философ. В 1802-1817 гг. посланник сардинского короля в России, где написал свои основные сочинения. Один из вдохновителей и идеологов европейского клерикально-монархического движения первой половины XIX в. В философии истории Местр — сторонник религиозного провиденциализма.

⁵ *Хартия 1814 г.* — конституция, принятая королем Людовиком XVIII после восстановления монархии во Франции по настоянию союзников (особенно Александра I) и тех французских политических деятелей, которые понимали невозможность возвращения к феодально-абсолютистским порядкам. Она устанавливала во Франции режим конституционной монархии, но широкие слои населения были отстранены от политической жизни. Избирательное право фактически сохранялось лишь для узкого круга самых богатых людей (число их колебалось от 12 до 15 тыс.). Лю-

довик XVIII вынужден был также признать изменения в землевладении, произведенные за годы революции и империи, и согласиться с упразднением сословных привилегий. Хартия 1814 г. юридически закрепила политический компромисс между дворянством и крупной буржуазией.

⁶ См.: Наст. изд. Т. 1. С. 557-558.

⁷ *Пейн (Пэн) (Paine) Томас (1737-1809)* — просветитель радикального направления (родился в Великобритании; с 1774 г. проживал в Северной Америке), участник Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 гг. и Французской революции. Отстаивал идею суверенитета народа и его право свергать правительство, вышедшее из-под его контроля. Разум, по Пейну, устанавливает вечные принципы нравственности.

⁸ *Бональд (Bonald) Луи Габриэль Амбруаз (1754-1840)* — французский философ и политический деятель; виконт.

⁹ *Балланш (Ballanche) Пьер Симон (1776-1847)* — французский философ.

¹⁰ Имеется в виду хартия 1814 г.; см. примеч. 5.

Палингенезия (грек. от *palin* — опять и *genesis* — рождение) — возрождение, восстановление из старого.

¹² *Ламенне (Lamennais) Фелисите Робер де (1782-1854)* — французский публицист и религиозный философ, аббат, один из родоначальников христианского социализма. В 1830-1832 гг. в сотрудничестве с М. Монталамбером, А. Лакордером и др. издавал журнал «Будущее». Основные сочинения: «Слова верующего» (1834; сразу после выхода осуждено энцикликой Папы Римского), «Эскиз философии» (т. 1-4, 1840-1846).

¹³ *Либеральный протестантизм, или либеральное христианство* — направление в протестантизме, отрицавшее христианскую догматику и видевшее в провозвестии Иисуса Христа непонятый Его современниками призыв к построению на земле Царства Божьего, основанного на заповеди любви. Возникшая в рамках этого направления немецкая либеральная теология стремилась научно обосновать точку зрения либерального протестантизма с помощью исследований новозаветных текстов как исторических источников. Не достигнув этой своей главной цели, она тем не менее внесла вклад в научную библейскую критику XIX в. Крупнейшими представителями либеральной теологии были Г. Ю. Хольцман и А. Гарнак.

¹⁴ Имеется в виду «Декларация французского духовенства», написанная Боссюз и принятая в 1682 г. собором французского духовенства; в ней ограничивалась, в известных пределах, власть папы; дала толчок движению галликанства, сторонники которого добивались большей независимости французской католической церкви от папства.

¹⁵ *Хартия 1830 г.* — новая конституция, принятая королем Луи Филиппом I и закрепившая результаты революции 1830 г.; снизила (по сравнению с Хартией 1814 г.) имущественный и возрастной ценз избирателей; привела к очищению государственного аппарата и командного состава армии от крайних реакционеров; было введено местное и областное самоуправление; власть короля была несколько ограничена.

¹⁶ *Пэры* во Франции — представители высшего дворянства, имевшие особые политические привилегии. При коронационных торжествах они держали знаки королевского достоинства. Они имели постоянно свободный доступ к королю, место и голос в суде пэров, заседавшем обыкновенно в Париже, но иногда разъезжавшем вместе с королем; позднее этот суд пэров

обратился в парижский парламент. С ростом королевской власти самостоятельное политическое значение пэров падало, пока они не превратились окончательно в высший придворный класс, имевший влияние только через посредство короля. Революция 1789 г. отменила дворянство, а следовательно, и пэров, число которых к этому времени равнялось 38 (все с герцогским достоинством). Реставрация оживила институт пэров, создав Хартией 1814 г. наследственную палату пэров, являвшуюся одновременно и верхней палатой парламента и судом, рассматривавшем государственные преступления и должностные преступления депутатов и министров. Король назначил 200 пэров, но потом беспрестанно прибегал к новым назначениям, чтобы влиять на палату. После июльской революции пэры были сделаны пожизненными. Революцией 1848 г. институт пэров отменен.

¹⁷ 15 августа 1832 г. папа Григорий XVI опубликовал энциклику «*Mirari vos*», в которой осудил доктрину либерализма, пропагандировавшуюся во Франции католическим философом-священником Фелисите Ламенне.

¹⁸ *Констан де Ребек (Constant de Rebecque) Бенжамен Анри (1767-1830)* — франко-швейцарский писатель, философ и политический деятель. Поддержал Директорию и Наполеона, после переворота восемнадцатого брюмера стал членом Трибуната (1799-1802 гг.), но затем покинул Францию, последовав в ссылку за мадам де Сталь (1803-1814 гг.). За границей встречался с Гете и Шиллером, был связан с Шлегелями. В 1814 г., после возвращения к власти Бурбонов, вернулся во Францию и написал памфлет «О духе завоевания и узурпации», а в 1816 г. — роман «Адольф», внесший известную лепту в развитие романтизма и современной психологической прозы. В 1819 г. стал членом палаты депутатов и одним из ведущих публицистов. После переворота 1830 г., в котором сыграл значительную роль, стал председателем Государственного совета.

¹⁹ Имеются в виду якобинцы.

²⁰ *Трибуна́т* — один из органов законодательной власти (наряду с Государственным советом, Законодательным корпусом и Сенатом), установленной новой конституцией, введенной в действие после провозглашения Наполеоном режима консульства 9 ноября 1799 г. (фактически режима единоличной власти).

²¹ Имеются в виду идеи Руссо и Мабли о необходимости поддержания в обществе состояния полного равенства всех его членов, что вело к социалистическим и коммунистическим утопиям.

²² Имеется в виду Хартия 1814 г.; см. примеч. 5.

²³ Имеются в виду «Сто дней» Наполеона (в марте-июне 1815 г.), когда, бежав с Эльбы, он снова захватил власть во Франции и стал императором.

²⁴ *Лабу́з (Laboulaye) Эдуард Рене де Лефевр (1811-1883)* — французский ученый, публицист и общественный деятель, наряду с научными трудами писал сказки, в которых прославлял находчивых и смелых бедняков, мудрых и добрых правителей.

²⁵ *Национальный Учредительный конвент* — главный орган Великой французской революции, начал свою деятельность 21 сентября 1792 г. с упразднения королевской власти и провозглашения республики во Франции; в декабре 1792 г. вынес смертный приговор бывшему королю Людовику XVI. Главной целью Конвента признавалась подготовка новой конституции. Первоначально Конвент находился под влиянием жирон-

дистов, однако 2 июня 1793 г. власть в нем захватили якобинцы, которые установили режим диктатуры.

²⁶ *ДестюттДе Траси (Destuttde Tracy) Антуан Луи Клод (1754-1836)* — французский философ, экономист. На основе учения Кондильяка построил естественную историю духа, так называемый идеологизм; во главу угла своей теории познания он ставил переживание сопротивления — понятие, которое позже играло значительную роль в философии.

²⁷ *Сей (Say) Жан Батист (1767-1832)* — французский экономист. Главное сочинение — «Трактат политической экономии...» (1803). Сторонник свободной торговли и невмешательства государства в экономическую жизнь. Один из авторов теории факторов производства. Сформулировал так называемый закон рынка, полагая, что обмен продуктов автоматически ведет к равновесию между куплей и продажей.

²⁸ *Конт (Comte) Шарль (1782-1832)* — французский публицист и ученый; был адвокатом в Париже. Будучи последователем Бентама, Ш. Конт тем не менее не разделял его взгляда на правоведение исключительно как на искусство, а стремился придать ему строго научный характер, однако при этом он смешивал закон в научном смысле с юридическим законом; считал, что законодательство описывает законы, которые существуют сами по себе.

²⁹ *Карл VI Безумный* (официальное прозвище «Возлюбленный») (1368-1422) — король Франции с 1380 г. из династии Валуа. С 1392 г. король испытывал периодические приступы безумия. Итогом 42-летнего царствования Карла VI — сначала малолетнего, потом вялого и не интересующегося государственными делами, затем безумного — стал распад Франции как единого государства.

³⁰ *Директория* (27 октября 1795 г. — 9 ноября 1799 г.) — высший орган исполнительной власти во Франции, образованный в соответствии с Конституцией III года Республики (1795) после падения якобинской диктатуры. Состояла из 5 членов.

³¹ *Гизо (Guizot) Франсуа (1787-1874)* — французский историк, с 1847 г. глава правительства, свергнутого революцией 1848 г. Фактически с 1840 г. руководил всей политикой Июльской монархии. Писал труды преимущественно по истории Франции.

³² *Ройе-Коллар (Royer-Collard) Пьер Поль (1763-1845)* — французский политический деятель умеренно-либеральных взглядов; философ.

³³ Имеется в виду революция 1848 г., приведшая к тому, что 24 февраля 1848 г. произошло отречение последнего короля Франции Луи Филиппа I, после чего во Франции установилась Вторая республика.

³⁴ Имеется в виду Хартия 1814 г.; см. примеч. 5.

³⁵ Палата депутатов Франции в 1815-1816 гг. (первые годы режима Реставрации) получила название «бесподобная палата» («*Chambre introuvable*») за то, что состояла из крайних реакционеров.

³⁶ Политическая карьера Гизо началась в 1814 г. вместе с Реставрацией, когда он был назначен членом Государственного совета и директором департаментской и общинной администрации. К 1819 г. Гизо выдвинулся в число наиболее активных «доктринеров», т.е. конституционалистов-роялистов, сторонников ограниченной монархии, однако в 1820 г. он был усилиями ультрароялистов выведен из состава Государственного совета. С 1820 по 1830 г. Гизо занимался научными исследованиями.

³⁷ Имеется в виду *Орлеанская династия* — ветвь французских Бурбонов, происходящая от Филиппа Орлеанского, младшего брата Людовика XIV. Ее представитель в 1830 г. стал последним королем Франции Луи Филиппом I. Вынужденный отречься от престола в результате революции 1830 г., Карл X назвал своим преемником 10-летнего внука графа Шамбора, а регентом — герцога Орлеанского Луи Филиппа; однако последний распространил прокламацию, в которой ставил под сомнение королевское происхождение графа Шамбора (он родился после смерти своего отца, младшего сына Карл X). В конце концов 9 августа палата депутатов передала, в нарушение порядка престолонаследия, престол Луи Филиппу I, который стал конституционным «королем французов».

³⁸ *Вашингтон (Washington) Джордж (1732-1799)* — первый президент США (1789-1797), главнокомандующий армией колонистов в Войне за независимость в Северной Америке 1775-1783 гг. Председатель Конвента (1787) по выработке Конституции США. Выступал за сохранение Соединенными Штатами нейтралитета в отношении соперничества между европейскими державами. Отказался баллотироваться на президентский пост в третий раз.

³⁹ *Людовик XIV (1638-1715)* — французский король с 1643 г. из династии Бурбонов. Его правление — апогей французского абсолютизма (легенда приписывает Людовику XIV изречение: «Государство — это я»). Многочисленные войны (так называемая «Деволюционная война» 1667-1668 гг., война за Испанское наследство 1701-1714 гг. и др.), большие расходы королевского двора, высокие налоги вызывали народные восстания.

⁴⁰ Имеется в виду правление Луи Филиппа I, пришедшего к власти в результате Июльской революции 1830 г.

⁴¹ Людовик-Филипп (Людовик Филипп) — Луи Филипп I.

⁴² *Росси (Rossi) Пеллегрини Луиджи Одоардо (1787-1848)* — криминалист, политэконом и итальянский государственный деятель; граф. Под влияние Гизо перешел на французскую государственную службу, был близок к папе Пию IX.

⁴³ *Пий IX (1792-1878)* - римский папа с 1846 г. В 1846-1847 гг. провел либеральные реформы в Папской области, что побудило некоторых участников Рисорджименто видеть в нем будущего объединителя Италии. В начале революции 1848-1849 гг. согласился на некоторые либеральные меры, но вскоре бежал из Рима. Автор «Силлабуса» (*лат.* syllabus — перечень) — приложения к энциклике 1864 г., в котором перечислены и осуждены общественно-политические и религиозные движения, научные принципы, противоречащие учению католической церкви, подрывающие авторитет папства. После ликвидации папской власти над Римом (1870) отказался признать объединенное итальянское государство.

⁴⁴ Имеется в виду Великая французская революция и наполеоновские войны, в результате которых указанные республики потеряли независимость.

⁴⁵ В 1831 г. английская палата общин под влиянием событий Июльской революции 1830 г. во Франции приняла Билль о реформе, внесенный правительством Грея, которое контролировалось вигами, но палата лордов отвергла этот Билль. В ответ на это в стране поднялась волна революционных выступлений. В 1832 г. лорды были вынуждены уступить и утвердить Билль о реформе, который сделал избирательную систему страны более либеральной.

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Вступительная лекция по Государственному праву,
читанная в Московском университете 28 октября 1861 года**

Впервые: Московские ведомости. 1861. № 238. Печатается по изданию: *Чигерин Б.Н.* Несколько современных вопросов. М., 1862 (Издание К. Солдатенкова). С. 21-42.

Мировые посредники были учреждены в 1859 г. для устройства поземельных отношений между помещиками и крестьянами и надзора за крестьянскими учреждениями; апелляционной инстанцией для них являлись уездные съезды, кассационной — губернские по крестьянским делам присутствия; назначались губернаторами с утверждением сенатом; в центральных губерниях России просуществовали до 1867 г.; до 1917 г. сохранялись в закавказских и западных губерниях (кроме Витебской, Могилевской и Минской).

² *Магистратура* — в данном случае система судебных ведомств.

³ *Грановский Тимофей Николаевич* (1813-1855) — российский историк, общественный деятель, глава московских западников. С 1839 г. профессор всеобщей истории Московского университета. Заложил основы русской медиевистики. Выступал против деспотизма и крепостничества.

Мера и границы

Впервые: Наше время. 1862. № 11. Печатается по изданию: *Чигерин Б.Н.* Несколько современных вопросов. М., 1862 (Издание К. Солдатенкова). С. 75-84.

¹ *«День»* — еженедельная газета славянофильской направленности, издававшаяся с 15 октября 1861 г. под редакцией И. С. Аксакова.

Что такое охранительные начала?

Впервые: Наше время. 1862. № 39. Печатается по изданию: *Чигерин Б.Н.* Несколько современных вопросов. М., 1862 (Издание К. Солдатенкова). С. 143-181.

Pittm (Pitt) Уильям Младший (1759-1806) — премьер-министр Великобритании в 1783-1801 и 1804-1806 гг., лидер так называемых новых тори; сын Питта Старшего. Один из главных организаторов коалиций европейских государств против революционной, а затем наполеоновской Франции. В 1798 г. правительство Питта подавило ирландское восстание, в 1801 г. ликвидировало автономию Ирландии.

² *Пиль (Peel) Роберт* (1788-1850) — премьер-министр Великобритании в 1834-1835 и 1841-1846 гг.; в 1822-1827 и 1828-1830 гг. министр внутренних дел; в 1846 г. провел отмену хлебных законов.

³ Июльская революция 1830 г.

⁴ Имеется в виду Ф. Гизо.

⁵ *Наполеон III (Жюи Наполеон Бонапарт) (1808-1873) — французский император в 1852-1870 гг.; племянник Наполеона I. Используя недовольство крестьян режимом Второй республики, добился своего избрания президентом (декабрь 1848 г.); при поддержке военных совершил 2 декабря 1851 г. государственный переворот, ровно через год был провозглашен императором. При нем Франция участвовала в Крымской войне 1853-1856 гг., в войне против Австрии в 1859 г., в интервенциях в Индокитай в 1858-1862 гг., в Сирию в 1860-1861 гг., Мексику в 1862-1867 гг. Во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. сдался со 100-тысячной армией в плен под Седаном (1870). Низложен Сентябрьской революцией 1870 г.*

⁶ Под *Восточной войной* имеется в виду *Крымская война 1853-1856 гг.* — война России с коалицией Франции, Османской империи, Великобритании и Сардинии за господство на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе. В ходе боевых действий союзникам удалось, используя техническое отставание российских войск и нерешительность российского командования, произвести успешную высадку в Крыму десантного корпуса, нанести российской армии ряд поражений и после годичной осады захватить Севастополь — главную базу российского Черноморского флота. На кавказском фронте российским войскам удалось нанести ряд поражений турецкой армии и захватить Каре. Однако угроза вступления в войну Австрии вынудила Россию принять навязанные союзниками условия мира. Подписанный в 1856 г. Парижский мирный договор потребовал от России уступки Османской империи южной Бессарабии и устья реки Дунай. Провозглашалась нейтральность Черного моря.

Призвание варягов — призвание племенами словен, кривичей, мери и чуди варяга Рюрика с братьями Синеусом и Трувором на княжение в Новгород в 862 г. Призвание варягов считается большинством исследователей отправной точкой восточнославянской государственности. Согласно «Повести временных лет», в середине IX в. племена словен, кривичей, чуди и мери платили дань варягам, приходившим из-за моря. В 862 г. они изгнали варягов, но после этого между ними начались усобицы. В ряде источников появление варягов, их последующее изгнание и начало межплеменных усобиц связывается со смертью новгородского князя (или посадника) Гостомысла, после смерти которого в конфедерации племен наступил период безвластия. Для прекращения межплеменных конфликтов представители племен решили пригласить князя со стороны.

⁸ 19 февраля (3 марта нового стиля) 1861 г. в Петербурге Александр II подписал «Манифест об отмене крепостного права» и «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», состоявшие из 17 законодательных актов. Основной акт «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» содержал главные условия крестьянской реформы: крестьяне получали личную свободу и право свободно распоряжаться своим имуществом; помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако обязанности были предоставить в пользование крестьянам «усадеб оседлость» и полевой надел. За пользование надельной землей крестьяне должны были отбывать барщину или

платить оброк и не имели права отказа от нее в течение 9 лет. Размеры полевого надела и повинностей должны были фиксироваться в уставных грамотах 1861 г., которые составлялись помещиками на каждое имение и проверялись мировыми посредниками. Крестьянам предоставлялось право выкупа усадьбы и, по соглашению с помещиком, полевого надела, до осуществления этого они именовались временнообязанными крестьянами. Также определялась структура, права и обязанности органов крестьянского общественного управления (сельского и волостного) суда. В четырех «Местных положениях» определялись размеры земельных наделов и повинностей за пользование ими в 44 губерниях европейской России.

⁹ *Фридрих II* (1712-1786) — прусский король с 1740 г. из династии Гогенцоллернов, крупный полководец; в результате его завоевательной политики (Силезские войны 1740-1742 и 1744-1745 гг., участие в Семилетней войне 1756-1763 гг., в первом разделе Польши в 1772 г.) территория Пруссии почти удвоилась.

¹⁰ *Тиун* (тивун) — в Киевской Руси название княжеского или боярского чиновника, управителя.

Кормленщики — должностные лица, которым великие и удельные князья даровали право содержаться за счет местного населения в течение периода службы. В XII-XI вв. кормление сыграло значительную роль в формировании системы местного управления. Князья посылали в города и волости бояр в качестве наместников и волостелей, а других служилых людей — тиунами. Население обязывалось содержать их («кормить») в течение всего периода службы. Наместники, волостели и другие представители местной княжеской администрации получали «корм» обычно 3 раза в году — на Рождество, Пасху и Петров день. При вступлении кормленщика в должность население платило ему «въезжий корм». «Корм» давался натурой: хлебом, мясом, сыром и т.д.; для лошадей кормленщиков поставлялись овес, сено. Кроме того, кормленщики собирали в свою пользу различные пошлыны: судебные, за клеймение («пятнание») и продажу лошадей, «полавочное», мыт и другие. За счет этих сборов они жили и содержали свою челядь. Наибольшего развития система кормлений достигла в XIV-XV веках. Кормления порождали произвол и злоупотребления местных властей, заинтересованных в обогащении в период пребывания в кормленщиках. Поэтому уже с XV в. московские великие князья регламентировали доходы кормленщиков путем выдачи специальных «кормленных» и уставных грамот. В конце XV — начале XVI в. происходил перевод натуральных кормов в денежные. В результате земской реформы 1555-1556 гг. система кормлений была ликвидирована.

Коронный судья (англ. crown judge) — в монархических государствах судья, назначаемый правительством.

Различные виды либерализма

Впервые: Наше время. 1862. № 62. Печатается по изданию: *Чигерин Б. Н.* Несколько современных вопросов. М., 1862 (Издание К. Солдатенкова). С. 183-204.

¹ Скажите ему, что он должен помнить о мечтах своей юности, чтобы стать мужчиной (нем.).

² *Пифия* — в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах.

³ Герой романа Н. В. Гоголя «Мертвые души».

⁴ *Ормузд* (Ахура-Мазда, реже Ормазд) — употребительное в европейской литературе имя высшего божества древних иранцев. В Авесте он носит сложное имя Ахурамазда, переводимое, согласно иранским традициям, «мудрый Бог» или «творец всего существующего». Противоположное Ормузду злостворное начало воплощено в образе злого духа Ангро-майньюса или *Аримана* (позднейшая форма), главы злых божеств. Между этими двумя противоположными началами должен выбирать человек. Ариман является, однако, в более поздних частях Авесты и стоит всегда много ниже Ормузда, всегда побеждается последним и нигде не равносителен ему.

⁵ *Бэкон Ф.* Опыты, или Наставления нравственные и политические // Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 386.

⁶ *Бунзен (Bunsen) Христиан Карл Иозас фон* (1791-1860) — немецкий ученый и государственный деятель.

⁷ *О'Коннел (О'СоппеЦ) Даниэль* (1775-1847) — ирландский государственный деятель, выступавший за расторжение унии между Англией и Ирландией. Был избран лорд-мэром Дублина в 1841 г.

Задачи нового царствования

Впервые: К. П. Победоносцев и его корреспонденты. М.;П.: Novum regnum, 1923. Т.I. 4.1. С. 104-128. Печатается по изданию: Тайный правитель России: К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки: 1866-1895. Статьи. Очерки. Воспоминания / Сост. Т.Ф. Прокопов. М.: Русская книга, 2001.

«Задачи нового царствования» — записка, которую 10 марта 1881 г. (вскоре после убийства Александра II) Чичерин через К. П. Победоносцева направил Александру III.

¹ Имеется в виду убийство Александра II.

² *Чернышевский Николай Гаврилович* (1828-1889) — русский писатель, публицист, литературный критик. В 1856-1862 гг. один из руководителей журнала «Современник»; в области литературной критики развивал традиции В. Г. Белинского. Идейный вдохновитель революционного движения 1860-х гг. В 1862 г. арестован по обвинению в политических связях с А. И. Герценом и составлении прокламаций «Барским крестьянам от доброжелателей поклон», заключен в Петропавловскую крепость. В 1864 г. приговорен к 7 годам каторги (обвинение юридически не доказано, улики сфабрикованы следствием), потом был сослан в Восточную Сибирь. В 1883 г. переведен в Астрахань, затем в Саратов. Один из родоначальников народничества. Социалистические идеалы Чернышевского нашли отражение в его романах «Что делать?» (1863) и «Пролог» (1867-1869).

Добролюбов Николай Александрович (1836-1861) — русский литературный критик, публицист, революционный демократ. С 1857 г. постоянный сотрудник журнала «Современник». Развивая эстетические принципы В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, видя назначение литературы прежде всего в критике существующего строя, разработал метод так называемой «реальной критики» (статьи 1859-1860 гг.).

Писарев Дмитрий Иванович (1840-1868) — русский публицист и литературный критик. С начала 1860-х гг. ведущий сотрудник журнала «Русское слово». В 1862-1866 гг. заключен в Петропавловскую крепость за антиправительственный памфлет. В начале 1860-х гг. выдвинул идею достижения социализма через индустриальное развитие страны («теория реализма»). Пропагандировал развитие естествознания, которое считал средством просвещения и производительной силой.

³ *Геркулес* (Геракл) — герой греческой мифологии, сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Наделенный необычайной силой, Геракл совершил множество подвигов; наиболее известен цикл сказаний о 12 подвигах Геракла; кроме того, Геракл освободил Прометея, победил Антея, сражался с кентаврами и т. д.

⁴ Имеется в виду *Гамбетта (Gambetta) Леон Мишель* (1838-1882) — французский политический и государственный деятель; адвокат. Лидер левых республиканцев, член «Правительства национальной обороны» (сентябрь 1870 г.— февраль 1871 г.). В 70-е гг. выступал против клерикалов и монархистов. В конце жизни сблизился с правыми буржуазными республиканцами. Премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881-1882 гг.

⁵ Имеется в виду *Бисмарк (Bismarck) Отто фон Шенхаузен (Schonhausen)* (1815-1898) — государственный деятель Германии; князь. Первый рейхсканцлер Германской империи в 1871-1890 гг. Осуществил объединение Германии на прусско-милитаристской основе; укреплял господство в стране юнкерско-буржуазного блока, вел борьбу против клерикально-партикулярной оппозиции («Культуркампф»), ввел Исключительный закон против социалистов, провозгласил некоторые социальные реформы. Один из главных организаторов Тройственного союза 1882 г., направленного против Франции и России; при этом считал, что война с Россией была бы крайне опасной для Германии.

⁶ *Александр I* (1777-1825) — российский император с 1801 г.; старший сын Павла I. В начале правления провел умеренно либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М. М. Сперанским. Во внешней политике лавировал между Великобританией и Францией. В 1805-1807 гг. участвовал в антифранцузских коалициях. В 1807-1812 гг. временно сблизился с Францией. Вел успешные войны с Турцией (1806-1812) и Швецией (1808-1809). При Александре I к России присоединены территории Восточной Грузии (1801), Финляндии (1809), Бессарабии (1812), Азербайджана (1813), бывшего герцогства Варшавского (1815). После Отечественной войны 1812 г. возглавил в 1813-1814 гг. антифранцузскую коалицию европейских держав. Был одним из руководителей Венского конгресса 1814-1815 гг. и организаторов Священного союза.

⁷ *Николай I* (1796-1855) — российский император с 1825 г., третий сын императора Павла I. Вступил на престол после внезапной смерти

императора Александра I. Подавил восстание декабристов. При Николае I была усилена централизация бюрократического аппарата, создано Третье отделение, составлен свод законов Российской империи, введены новые цензурные уставы (1826, 1828). Были подавлены Польское восстание 1830-1831 гг., революция в Венгрии 1848-1849 гг. Важной стороной внешней политики России стал возврат к принципам Священного союза. В период царствования Николая I Россия участвовала в Кавказской войне 1817-1864 гг., русско-персидской войне 1826-1828 гг., русско-турецкой войне 1828-1829 гг., Крымской войне 1853-1856 гг.

⁸ Имеется в виду восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

⁹ *Милютин Николай Алексеевич* (1818-1872) — российский государственный деятель. Принадлежал к группе «либеральных бюрократов». В 1859-1861 гг. товарищ министра внутренних дел, фактический руководитель работ по подготовке крестьянской реформы 1861 г. Руководил крестьянской реформой 1864 г. в Польше.

¹⁰ Имеется в виду осуществленное в 1848 г. по распоряжению Николая I (как реакция на революционные события в Европе) усиление цензуры и контроля за печатными изданиями и университетами.

¹¹ *Год/дарственный совет* — высший совещательный орган Российской империи, основанный в 1810 г. Все законы и законодательные акты перед утверждением императором должны были обязательно обсуждаться в Госсовете.

Россия накануне двадцатого столетия

Впервые отдельным изданием: Берлин, 1901 (Издание Гуго Штейни-ца). Печатается по изданию: О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). М., 2000.

¹ *Екатерина II Великая* (1729-1796) — российская императрица (с 1762 г.). Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. В 1745 г. стала женой великого князя Петра Федоровича, будущего императора Петра III, которого свергла с престола (1762), опираясь на гвардию (Г. Г. и А. Г. Орловых и др.). Провела реорганизацию Сената (1763), секуляризацию земель (1763-1764), упразднила гетманство на Украине (1764). Возглавляла Уложенную комиссию 1767-1769 гг. При ней произошла Крестьянская война 1773-1775 гг. Издала Учреждение для управления губернией 1775 г., Жалованную грамоту дворянству 1785 г. и Жалованную грамоту городам 1785 г. При Екатерине II в результате русско-турецких войн 1768-1774, 1787-1791 гг. Россия окончательно закрепилась на Черном море, были присоединены Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье. Приняла под российское подданство Восточную Грузию (1783). В период правления Екатерины II осуществлены разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795). Переписывалась с Вольтером и другими деятелями французского Просвещения. Автор многих беллетристических, драматургических, публицистических, научно-популярных сочинений, «Записок».

² Имеется в виду *Наказ Ее Императорского Величества Екатерины Второй, Самодержицы Всероссийской, данный Комиссии о сочинении проекта*

нового Уложения — концепция просвещенного абсолютизма, изложенная Екатериной II в качестве наставления для кодификационной (Уложенной) комиссии. В «Наказе», первоначально состоявшем из 526 статей, были сформулированы основные принципы политической и правовой системы. «Наказ» является не только важным правовым документом XVIII столетия, но и типичным философским трудом эпохи «просвещенной монархии». Манифестом от 14 декабря 1766 г. Екатерина II объявила созыв депутатов для работы в Уложенной Комиссии. Цель состояла в разработке нового свода законов, который был призван заменить Соборное Уложение 1649 г. Значительная часть текста (около 350 статей) «Наказа» заимствована из трактатов Шарля Монтескье «О духе законов» и Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Остальные статьи являются компиляцией публикаций Дени Дидро и Жана Д'Аламбера из знаменитой «Энциклопедии».

³ Дени (*Diderot*) Дидро (1713-1784) — французский писатель, философ-просветитель и драматург, основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (1751). Вместе с Вольтером, Руссо, Монтескье, Д'Аламбером и др. энциклопедистами Дидро был идеологом третьего сословия и создателем тех идей Просвещения, которые подготовили Французскую революцию.

⁴ Александр!

⁵ Лагарп (*La Harpe*) Фредерик Сезар де (1754-1838) — швейцарский политический деятель, сторонник идей Просвещения. В 1784-1795 гг. — воспитатель будущего императора Александра I.

⁶ «Указ о свободных хлебопашцах», в котором прописан юридический статус отпускаемых на волю крестьян, был подписан Александром I в 1803 г.

⁷ Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834) — российский государственный и военный деятель, граф (1799), генерал от артиллерии (1807). В 1808-1810 гг. военный министр, провел реорганизацию артиллерии; с 1810 г. председатель Департамента военных дел Государственного совета. В 1815-1825 гг. наиболее доверенное лицо императора Александра I, осуществлял его внутреннюю политику; организатор и главный начальник военных поселений.

⁸ Я ввел в моду эти идеи, не мне за них наказывать (фр.).

⁹ Иван VI (Иоанн Антонович) (1740-1764) — российский император с октября 1740 г. по ноябрь 1741 г. из династии Вельфов, правнук Ивана V. Формально царствовал первый год своей жизни при регентстве сперва Бирона, а затем собственной матери Анны Леопольдовны. Император-младенец был свергнут Елизаветой Петровной, провел всю жизнь в заключении в тюрьмах, в одиночных камерах, и был убит в 24-летнем возрасте при попытке бежать. В официальных прижизненных источниках упоминается как Иоанн III, т. е. счет ведется от первого русского царя Иоанна Грозного; в позднейшей историографии установилась традиция именовать его Иваном (Иоанном) VI, считая от Ивана I Калиты.

¹⁰ Елизавета Петровна (1709-1761/62) — российская императрица с 1741 г., дочь Петра I. Возведена на престол гвардией. В ее царствование были достигнуты значительные успехи в развитии хозяйства, культуры России и во внешней политике, чему способствовала деятельность М. В. Ломоносова, П. И. и И. И. Шуваловых, А. П. Бестужева-Рюмина и др.

Петр III (Петр Федорович, урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский) (1728-1762) — российский император в 1761-1762 гг., первый представитель Гольштейн-Готторпской (Ольденбургской) ветви Романовых на русском престоле. С 1745 г. — владетельный герцог Гольштейна. После полугодового царствования свергнут в результате дворцового переворота, возведшего на престол его жену, Екатерину II, и вскоре умер при неясных обстоятельствах. Личность и деятельность Петра III долгое время расценивались историками единодушно отрицательно, однако затем появился и более взвешенный подход, отмечающий ряд государственных заслуг императора. Во времена правления Екатерины за Петра Федоровича выдавали себя многие самозванцы (зафиксировано около сорока случаев), самым известным из которых был Емельян Пугачев.

¹² Николай I правил в 1825-1855 гг.

¹³ Имеются в виду «Записки одного молодого человека» (1841), в которых Герцен изображал картины пошлой жизни провинциальной чиновничье-помещичьей среды и обличал самодержавно-крепостническое устройство России.

Никитенко Александр Васильевых (1804-1877) — русский литературный критик, историк литературы, цензор. Его книга «Записки и дневник» (т. 1-3, 1893) содержит важный исторический материал.

¹⁴ **Валуев Петр Александрович** (1815-1890) — русский государственный деятель, граф. После поражения в Крымской войне написал записку «Дума русского во второй половине 1855 г.», в которой подверг критике систему государственного управления и предлагал царю изменить ее; в качестве первоочередных мер призывал к преобразованию цензуры, поощрению частных предприятий, усилению начала нравственного достоинства в действиях правительственных властей и т. п.

¹⁵ **Константин Николаевич Романов** (1827-1892) — великий князь, Его Императорское Высочество, генерал-адмирал (1831), второй сын российского императора Николая I. С 1855 г. управлял флотом и морским ведомством на правах министра. Придерживался либеральных ценностей, в 1857 г. был избран председателем комитета по освобождению крестьян, разработавшего манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Сыграл большую роль в других крупных реформах своего брата Александра II — судебной реформе и уничтожении телесных наказаний в армии. В 1865-1881 гг. был Председателем Государственного совета.

¹⁶ **Хомяков Алексей Степанович** (1804-1860) — русский религиозный философ, писатель, поэт, публицист, один из основоположников славянофильства, член-корреспондент Петербургской АН (1856). Ориентация на восточную патристику (учение о «соборности» и др.) сочеталась у Хомякова с элементами философского романтизма. Выступал с либеральными позиций за отмену крепостного права, смертной казни, за введение свободы слова, печати и др. Цитируется фрагмент из стихотворения «России» (1854).

¹⁷ «Голоса из России» — сборник статей на общественно-политические темы (Лондон, 1856-1860, 9 номеров). Издатели — А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Статьи корреспондентов, преимущественно либерального лагеря, призывали к ликвидации крепостного права, свободе личности, отмене цензуры и др.

¹⁸ *Йенский погром* — поражение Пруссии в сражении под Йеной 14 октября 1806 г. от армии Наполеона и потеря ею государственной самостоятельности на семь лет.

¹⁹ Александр И.

²⁰ *Фридрих Вильгельм III* (1770-1840) — прусский король с 1797 г. из династии Гогенцоллернов. По Тильзитскому миру 1807 г. уступил Наполеону I половину территории Пруссии. В 1807-1812 гг. в Пруссии был проведен ряд административных, социальных, аграрных и военных реформ, инициаторами и проводниками которых стали министр барон фон Штейн, генерал Г. Шарнхорст, генерал-фельдмаршал Гнейзенау и граф Гарденберг.

²¹ В 1839 г. витебский губернатор Львов в отчете государю о своей губернии указал на чрезвычайное обременение крестьян в польских помещичьих имениях всякого рода повинностями. Император Николай I велел ввести в помещичьих имениях западного края такие же инвентари, какие приняты были к руководству в государственных имениях этого края. Инвентарями назывались утвержденные высшей властью описи имений с точным указанием в них размеров оброка и повинностей крестьян в пользу их помещика.

²² Имеется в виду гражданская война в США 1861-1865 гг. между северными и южными штатами. Южные штаты подняли мятеж (апрель 1861 г.) с целью сохранения рабства и распространения его по всей стране. На первом этапе (1861-1862) война со стороны Севера велась нерешительно, «по-конституционному», что привело к ряду военных поражений северян. Второй этап характеризовался более решительными методами ведения войны. В 1864-1865 гг. были разгромлены основные силы южан и в апреле 1865 г. взят г. Ричмонд, столица рабовладельческих штатов. Рабство было отменено 1 января 1863 г.

²³ *Русско-турецкая война 1877-1878 гг.* была вызвана подъемом национально-освободительного движения на Балканах и обострением международных отношений. Основные события: сражение на Шипке, осада и взятие русскими войсками Плебны и Карса, зимний переход русской армии через Балканский хребет, победы у Шипки-Шейново, Филиппополя, взятие Адрианополя. Завершилась Сан-Стефанским миром 1878 г., решения которого пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 г. Способствовала освобождению народов Балканского полуострова от османского ига.

²⁴ Пожар произошел 28 мая 1862 г., а в течение недели перед этим в Петербурге каждый день происходило по несколько пожаров.

²⁵ *Польское восстание 1863-1864 гг.* (Январское восстание 1863 г.) — восстание в Королевстве Польском, Литве, части Белоруссии, на Правобережной Украине против царской России. Продолжалось с января 1863 г. по май 1864 г. Подготовлено Центральным национальным комитетом. В поддержку восставших выступили А. И. Герцен, Комитет русских офицеров в Польше. Подавив польское восстание, Александр II провел в Королевстве Польском аграрную и другие реформы.

²⁶ Имеется в виду великий князь Константин Николаевич Романов (см. примеч. 15). Он был наместником Польши с июня 1862 г. до октября 1863 г. Вместе со своим заместителем маркизом Александром

Велепольским пытался вести примирительную политику на основе либеральных реформ. Вскоре после приезда Константина Николаевича в Варшаву на него было совершено покушение. Портной-подмастерье Людовик Ярошинский выстрелил в него в упор из пистолета вечером 21 июня (4 июля) 1862 г., когда он выходил из театра, однако он был только легко ранен. По различным причинам, политика его не имела успеха, и в октябре 1863 г., в разгар польского восстания, он был снят с должности наместника.

²⁷ Имеется в виду *Александр Игнаций Велепольский (Wielopolski), маркиз Гонзаго-Мышковский* (1803-1877) — польский государственный деятель. Во время Польского восстания 1830 г. был послан правительством повстанцев в Лондон с целью добиться помощи или посредничества, но не достиг каких-то значительных результатов. В 1861 г. был назначен председателем комиссии духовных дел и народного просвещения. В ноябре 1861 г. посетил Петербург и смог добиться поддержки двора, в результате чего был назначен помощником наместника Константина Николаевича по гражданской части и вице-председателем Государственного совета. 26 июля и 3 августа 1862 г. на Велепольского было совершено два покушения. Таким образом польская радикальная партия стремилась сорвать готовившиеся им реформы. Провел ряд либеральных реформ — замену барщины чиншем (оброком), равноправие евреев, преобразования в школе. С другой стороны, для того чтобы ликвидировать кадры повстанческой организации, он выступил инициатором рекрутского набора в начале января 1863 г., причем в списке было включено 12 тысяч человек, участвовавших в манифестациях и подозреваемых к принадлежности к заговорщикам. Это послужило толчком к началу Польского восстания 1863 года. 4 (16) июля оставил Варшаву, испросив отпуск, и уехал за границу. В конце августа был уволен от всех занимаемых им должностей.

²⁸ *Замойский (Zamoyski) Анджей* (1800-1874) — польский государственный деятель из рода Замойских, граф. В 1857 г. основал сельскохозяйственное общество, которое приобрело не только экономическое, но и большое политическое значение, превратившись в некий заменитель парламента. 6 апреля 1861 г. в связи с возросшим радикализмом общество было распущено, что вызвало демонстрацию протеста 18 апреля 1861 г., в ходе которой было около 200 убитых и несколько сотен раненых.

²⁹ *Катков Михаил Никифорович* (1818-1887) — русский публицист, издатель журнала «Русский вестник» (с 1856 г.) и газеты «Московские ведомости» (1850-1855, 1863-1887). В 30-е гг. примыкал к кружку Н. В. Станкевича. В 50-е гг. умеренный либерал, сторонник английского политического строя. Со времени Польского восстания 1863-1864 гг. один из вдохновителей контрреформ.

³⁰ *Муравьев Михаил Николаевич* (1796-1866) — российский генерал от инфантерии (1863), граф (1865). В 1857-1861 гг. министр государственных имуществ, противник проведения крестьянской реформы. В 1863-1865 гг. генерал-губернатор Северо-Западного края, руководил подавлением Польского восстания 1863-1864 гг., за что был прозван «вешателем».

³¹ В результате восстания Польша потеряла последние атрибуты самостоятельности — была отменена таможенная граница между Российской

империей и Царством Польским, вводились единые с Россией государственные учреждения и валюта, а на польские школы распространились русские школьные программы. Стала активно проводится политика руссификации. Задача координировать действия по руссификации Царства Польского была возложена на Комитет по делам Царства Польского (1864-1881), заседавший в Петербурге. В Варшаве начала работать Правительственная Комиссия внутренних и духовных дел Царства Польского, которая играла роль польского правительства, так как ей была передана полнота исполнительной и судебной власти в Польше.

³² 4 августа 1878 г. среди бела дня на Михайловской площади в Петербурге был заколот кинжалом шеф жандармов генерал-адъютант Н. В. Мезенцов. Он был убит С. М. Кравчинским (литературный псевдоним — С. Степняк) из-за того, что генерал убедил Александра II не смягчать приговор осужденным по «Процессу 193-х» (официальное название «Дело о пропаганде в Империи» — судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в Особом присутствии Правительствующего Сената с 18 (30) октября 1877 г. по 23 января (4 февраля) 1878 г. К суду были привлечены участники «хождения в народ», которые были арестованы за революционную пропаганду с 1873 по 1877 г.).

³³ Участниками николаевского кружка организации «Земля и воля» в 1878 г. готовился взрыв царского поезда. Но за два дня до проезда императора через Николаев террористы были арестованы и впоследствии казнены.

2 апреля 1879 г. член «Земли и воли» А. К. Соловьев стрелял в царя на Дворцовой площади, но ни один из его пяти выстрелов не достиг цели. Террорист был схвачен и вскоре повешен.

19 ноября 1879 г. прогремел взрыв царского поезда под Москвой при возвращении императора из Крыма. Под полотно железной дороги был сделан подкоп из домика железнодорожных служащих супругов Сухоруковых, в роли которых выступили Л. Н. Гартман и С. Л. Перовская. Из-за неточной информации народовольцы пропустили поезд, в котором следовал царь, и взорвали один из вагонов свитского поезда. При взрыве никто не пострадал.

5 февраля 1880 г. С. Н. Халтуриным был осуществлен взрыв в Зимнем дворце. Ему удалось устроиться на работу во дворец столяром и поселиться в одном из подвальных помещений, расположенных под кордегардией и царской столовой. Халтурин сумел в несколько приемов пронести динамит в свою комнату, рассчитывая осуществить взрыв в тот момент, когда царь будет находиться в столовой. Царь в тот день опоздал к обеду, но при взрыве были убиты и ранены несколько десятков солдат охраны.

³⁴ *Лорис-Меликов Михаил Тариелович* (1825-1888) — российский государственный деятель, граф (1878), генерал от кавалерии (1875). Фактический руководитель военных действий на Кавказе в 1877-1878 гг. В 1880 г. председатель Верховной распорядительной комиссии, в 1880-1881 гг. министр внутренних дел. Сочетал репрессии против революционеров с уступками либералам.

³⁵ *Негаев Сергей Геннадиевич* (1847-1882) — участник российского революционного движения. Организатор тайного общества «Народная расправа», автор «Катехизиса революционера». Применял методы

мистификации и провокации. В 1869 г. в Москве убит по подозрению в предательстве студента И. И. Иванова и скрылся за границей. В 1872 г. выдан швейцарскими властями. В 1873 г. приговорен к 20 годам каторги. Умер в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости.

³⁶ Имеется в виду *Шувалов Петр Андреевич* (1827-1889) — государственный деятель, дипломат, генерал от кавалерии (1872), граф. В 1861 г. начальник штаба корпуса жандармов и управляющий Третьим отделением. В 1866-1874 гг. шеф корпуса жандармов и начальник Третьего отделения. Ближайший советник Александра II. В 1874-1879 гг. посол в Лондоне.

³⁷ *Толстой Дмитрий Андреевич* (1823-1889) — граф, государственный деятель и историк, почетный член (1866), президент (с 1882 г.) Петербургской АН. В 1864-1880 гг. обер-прокурор Синода, в 1865-1880 гг. министр народного просвещения, сторонник классической системы и сословных начал обучения. С 1882 г. министр внутренних дел. Один из вдохновителей политики контрреформ. Автор трудов по истории России XVIII в.

³⁸ *Делянов Иван Давыдович* (1818-1897) — государственный деятель, граф (1888), с 1861 г. директор публичной библиотеки, с 1866 г. товарищ министра народного просвещения, с 1882 г. министр народного просвещения. В его управление издан университетский устав 1884 г., заменивший самоуправление университетов системой бюрократической регламентации; был ограничен прием детей низших социальных групп в средние учебные заведения.

³⁹ *Уваров Сергей Семенович* (1786-1855) — российский государственный деятель, почетный член (1811) и президент (1818-1855) Петербургской АН, граф (1846). В 1833-1849 гг. министр народного просвещения. Автор формулы «православие, самодержавие, народность». Инициатор принятия «Университетского устава 1835 г.».

⁴⁰ *Строганов Сергей Григорьевич* (1794-1882) — российский государственный деятель, граф. В 1835-1847 гг. попечитель Московского учебного округа, с 1856 г. член Государственного совета, в 1859-1860 гг. московский генерал-губернатор. Археолог, председатель Московского общества истории и древностей российских (1837-1874), основатель Строгановского училища, Археологической комиссии.

⁴¹ *Путятин Ефимий Васильевич* (1804-1883) — российский государственный деятель, дипломат, адмирал (1858), граф (1855). В 1822-1825 гг. совершил кругосветное путешествие. В 1852-1855 гг. глава экспедиции на фрегате «Паллада», открыл острова Римского-Корсакова. Подписал русско-японский договор 1855 г. и Тяньцзиньский трактат 1858 г. В 1861 г. министр народного просвещения. После студенческих волнений 1861 г. вышел в отставку.

⁴² Имеется в виду принятый в 1804 г. устав Московского университета. Университету предоставлялась значительная автономия, ректор и деканы факультетов избирались из числа профессоров. Совет профессоров решал все вопросы университетской жизни, присуждал ученые звания. Книги, печатаемые с одобрения Совета в университетской типографии, освобождались от общей цензуры. По уставу 1804 г. университет осуществлял общее руководство средними и начальными учебными заведениями центральных губерний России.

⁴³ Имеется в виду «Общий устав Императорских Российских университетов», введенный 28 июля 1835 г. Николаем I и подготовленный Уваровым.

⁴⁴ В 1863 г. был принят новый университетский устав, действовавший до 1884 г. В его основу была положена идея автономии университета как корпорации профессоров. Главным и в значительной степени независимым органом управления университета становился его Совет, в который входили все профессора. Совету принадлежало право выбора ректора, проректора, деканов, а также профессоров на вакантные кафедры. Право утверждения в должности оставалось за министром.

⁴⁵ *Леонтьев Павел Михайлович* (1822-1874) — ученый и публицист, соредактор в 1863-1874 гг. газеты «Московские ведомости». Занимал кафедру римской словесности и древности в Московском университете.

⁴⁶ *Соловьев Сергей Михайлович* (1820-1879) — российский историк, академик Петербургской АН (1872), ректор Московского университета в 1871-1877 гг. Автор трудов по истории Новгорода, эпох Петра I и Александра I, внешней политики России, историографии. Основное сочинение — «История России с древнейших времен» (1851-1879; т. 1-29).

⁴⁷ Имеется в виду новый устав российских университетов, введенный в 1884 г.

⁴⁸ *Победоносцев Константин Петрович* (1827-1907) — российский государственный деятель, ученый-правовед. Преподавал законоведение и право наследникам престола (будущим императорам Александру III и Николаю II). В 1880-1905 гг. обер-прокурор Синода. Играл значительную роль в определении правительственной политики в области просвещения, в национальном вопросе и др. Один из инициаторов политики контрреформ.

⁴⁹ *Котерия* (лат. *coteria*, *первонаг.*, в Средние века — отряд наемников) (*книжн., устар.*) — партия, кружок лиц, преследующих какие-либо тайные цели.

⁵⁰ *Бунге Николай Христианович* (1823-1895) — российский государственный деятель, экономист, академик Петербургской АН (1890). В 1881-1886 гг. министр финансов. В 1887-1895 гг. председатель Кабинета министров. Проводил политику протекционизма, правительственного финансирования промышленности. Инициатор отмены подушной подати.

Николай Леонтий Павлович (1820-1891) — русский генерал, участник Кавказской войны; барон.

⁵¹ *Островский Михаил Николаевич* (1827-1901) — российский государственный деятель; брат известного драматурга А. Н. Островского. С 1878 г. член Государственного совета, с 4 мая 1881 г. министр государственных имуществ, в 1893-1900 гг. председатель Департамента законов Государственного совета.

⁵² *Цехановский Григорий Матвеевич* (1833-1898) — русский экономист, статистик.

⁵³ В 1889 г. выборные мировые суды были упразднены и заменены назначаемыми лицами: в городе — городскими судьями, для сельского населения — членами окружного суда. Для крестьян мировые суды были заменены земскими начальниками.

⁵⁴ *Паша* (тур. *paşa*) — почетный титул высших должностных лиц в Османской империи. До середины XIX в. его носили главным образом везиры и правители провинций, с середины XIX в. до 1934 г. — генералы турецкой армии.

⁵⁵ *Становой пристав* (становой) — полицейская должность в России, учрежденная в 1837 г. в каждом стане (полицейская территориальная единица, на которые с этого времени делились уезды). До 1862 г. назначался и увольнялся губернатором из кандидатов, представленных местным дворянством. Подчинялся уездному исправнику и земскому суду (с 1862 г. — уездному полицейскому управлению). С 1878 г. в распоряжении станowych приставов были полицейские урядники. Должность просуществовала до Февральской революции 1917 г.

⁵⁶ Положение о земских учреждениях 1890 г. установило сословность выборов и усилило дворянский элемент; был усилен административный надзор за деятельностью земства: помимо контроля над законностью земских постановлений, администрации был предоставлен контроль и над их целесообразностью.

⁵⁷ В 1887 г. Александр III, используя родственные связи, напрямую обратился к германскому императору Вильгельму I и удержал его от нападения на Францию. Это сорвало план Бисмарка по полному разгрому последней. Ухудшение отношений нашло отражение в «таможенной войне». В 1887 г. Германия не предоставила России займа и повысила пошлины на русский хлеб, в то же время она создала благоприятные условия для ввоза в Германию американского зерна. В России были повышены пошлины на ввозимые немецкие товары: железо, уголь, аммиак, сталь.

⁵⁸ В голодные 1891-1892 гг. неурожай захватил 26 губерний России.

⁵⁹ *Манассеин Николай Авксентьевич* (1835-1895) — российский государственный деятель; министр юстиции и генерал-прокурор в 1885-1894 гг.

⁶⁰ *Штундисты* — участники движения за обновление духовной жизни, возникшего в середине XIX в. на юге России в реформатских и лютеранских колониях. Название «штундисты» происходит от немецкого слова «*stunde*» — час, так как по воскресным и праздничным дням они в дополнение к богослужениям посвящали время чтению и изучению Библии. В 1894 г. Комитет министров издал положение о признании «секты штунд» (куда произвольно зачислялись представители разных евангельских течений) «вредною».

⁶¹ *Методисты* — приверженцы религиозного направления, возникшего в XVIII в. в Англиканской церкви. Основателями учения были братья Джон Уэсли (1703-1791) и Чарльз Уэсли (1707-1788). Методисты учат об эмоциональном воздействии религии на человека. Помимо взрослых, они допускают к крещению детей. Особое внимание уделяют миссионерской деятельности. Всемирный методистский совет, являющийся основным органом власти методистов, существует с 1881 г. (штаб-квартира располагается в г. Нью-Йорке).

⁶² *Духоборы* (духоборцы) — секта духовных христиан; возникла в России во второй половине XVIII в. Отвергает православные обряды и таинства, священников, монашество. Духоборы обожествляют руководителей своих общин. За неподчинение властям и отказ от военной службы преследо-

вались царским правительством. В конце XIX в. переселились в Канаду. Сохраняют язык и основные традиции.

⁶³ *Меннониты* — последователи христианского движения, основанного Менно Симонсом (1492-1559), выходцы из анабаптистов. Основы вероучения меннонитов были утверждены в 1632 г. на Дартской конференции, единственным источником вероучения является Библия, особое внимание придается текстам Нового Завета. Меннониты верят в существование рая и ада и требуют сознательного крещения взрослых; не участвуют в государственных делах, отказываются от несения воинской службы, проповедуют смирение, ненасилие и нравственное самосовершенствование. Претендуют на исключительность своей веры, по этой причине среди меннонитов запрещены браки с иноверцами.

⁶⁴ *Игнатъев Павел Николаевич* (1797-1879) — государственный деятель, генерал от инфантерии (1859); граф. В 1854-1861 гг. петербургский генерал-губернатор, в 1872-1879 гг. председатель Комитета министров и Кавказского комитета.

⁶⁵ *Долгоруков Владимир Андреевич* (1810-1891) — князь, московский генерал-губернатор в 1865-1891 гг.

⁶⁶ *Романов Сергей Александрович, великий князь* (1857-1905) — сын императора Александра II. В 1891-1905 гг. — генерал-губернатор Москвы. Убит террористом.

⁶⁷ *Лекки (Lesky) Вильям-Эдвард-Гартполь* (1838-1903) — английский историк, автор книги «Демократия и свобода» (1899).

⁶⁸ *Униаты* — представители униатской церкви (греко-католической), христианского объединения, созданного Брестской унией в 1596 г. Униатская церковь подчинялась Папе Римскому, признавала основные догматы католической церкви при сохранении православных обрядов.

⁶⁹ 12 февраля 1839 г. в Полоцке в присутствии епископов Иосифа Литовского, Василия Полоцкого и викарного епископа Брестского Антония было принято соборное постановление о воссоединении униатской церкви с православной и составлен «Соборный акт», подписанный 24 руководителями греко-католиков. 23 марта 1839 г. Святейший Синод принял постановление о присоединении греко-католической церкви в Белоруссии и Литве к православной. Император Николай I утвердил данное постановление.

⁷⁰ *Иосиф* (в миру *Иосиф Иосифович Семашко*) (1798-1868) — епископ Русской православной церкви; с 1840 г. архиепископ (с 1852 г. митрополит) Литовский и Виленский.

⁷¹ *Маркелл-Маркиан* (в миру *Попель Маркелл Онуфриевич*) (1825-1903) — епископ Полоцкий и Витебский. Благодаря его усилиям Холмская греко-униатская епархия была присоединена к православию в 1875 г.

⁷² *Громека Степан Степанович* (1823-1877) — русский публицист; с 1867 г. седлецкий губернатор.

⁷³ *Остзейский край* — название Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерний Российской империи, в XIX в. был населен латышами и эстами (около 85 %), немцами (6 %) и русскими (5 %).

⁷⁴ *Самарин Юрий Федорович* (1819-1876) — российский философ, историк, общественный деятель, публицист. Один из идеологов славянофильства.

Автор либерально-дворянского проекта отмены крепостного права, участник подготовки крестьянской реформы 1861 г., в 1859-1860 гг. член редакционной комиссии. Автор трудов о социально-политических и национальных отношениях в Прибалтике.

⁷⁵ *Дерпт* — официальное название г. Тарту в Эстонии в 1224-1893 гг.

⁷⁶ *Пирогов Николай Иванович* (1810-1881) — российский хирург и анатом, педагог, общественный деятель, основоположник военно-полевой хирургии и анатомо-экспериментального направления в хирургии, член-корреспондент Петербургской АН (1846). Участник Севастопольской обороны (1854-1855), франко-прусской (1870-1871) и русско-турецкой (1877-1878) войн. Впервые произвел операцию под наркозом на поле боя (1847), ввел неподвижную гипсовую повязку, предложил ряд хирургических операций. Вел борьбу с сословными предрассудками в области образования, выступал за автономию университетов, всеобщее начальное образование. Мировую известность получил атлас Пирогова «Топографическая анатомия» (т. 1-4, 1851-1854).

Грубе Вильгельм Федоров и (1827-1898) — профессор и директор хирургической клиники Харьковского университета. Окончил Дерптский университет в 1850 г.

⁷⁷ *Бергман (Bergmann) Эрнст* (1836-1907) — немецкий хирург. Профессор Дерптского (с 1871 г.), Вюрцбургского (с 1878 г.) и Берлинского (с 1882 г.) университетов. Предложил асептический метод борьбы с раневой инфекцией. Автор работ по хирургии черепа; его труды по хирургии головного мозга явились основой для развития нейрохирургии.

⁷⁸ *Кавур (Cavour) Камилло Бенсо* (1810-1861) — лидер либерального течения итальянского Рисорджименто. В 1852-1861 гг. (кроме 1859 г.) премьер-министр Сардинского королевства; провел либеральные и антиклерикальные реформы. Стремился объединить Италию вокруг Сардинского королевства (под главенством Савойской династии) путем династических и дипломатических сделок. В едином Итальянском королевстве стал главой правительства (1861).

⁷⁹ *Аксаков Иван Сергеевич* (1823-1886) — русский публицист и общественный деятель. Один из идеологов славянофильства. Редактор газет «День», «Москва», «Русь», журнала «Русская беседа» и др. В 1840-1850-е гг. выступал за отмену крепостного права. В годы русско-турецкой войны 1877-1878 гг. организатор кампании за освобождение славян от турецкого ига.

⁸⁰ *Дервиз Павел Григорьевых фон* (1826-1881) — действительный статский советник, известный концессионер и строитель железных дорог.

⁸¹ *Абаза Александр Агеевич* (1821-1895) — российский государственный деятель, в 1880-1881 гг. министр финансов.

⁸² *Сыпягин Дмитрий Сергеевич* (1853-1902) — министр внутренних дел России (с 1900 г.). Инициатор карательных мер против рабочего, крестьянского, студенческого движений. Вдохновитель русификаторской политики на национальных окраинах. Убит эсером С. В. Балмашевым.

⁸³ Имеется в виду *Витте Сергей Юльевич* (1849-1915) — российский государственный деятель, граф (1905). Министр путей сообщений в 1892 г., финансов с 1892 г., председатель Кабинета министров с 1903 г., Совета Министров в 1905-1906 гг. Инициатор введения винной монополии (1894), проведения денежной реформы (1897), строительства Сибирской

железной дороги. Подписал Портсмутский мир (1905). Автор Манифеста 17 октября 1905 г. Разработал основные положения столыпинской аграрной реформы. Стремился привлечь предпринимателей к сотрудничеству с правительством.

⁸⁴ *Муравьев Николай Валерианович* (1850-1908) — российский государственный деятель. В 1894-1905 гг. был министром юстиции.

⁸⁵ *Боголепов Николай Павлович* (1846-1901) — российский государственный деятель. В 1883-1887 и 1891-1893 гг. ректор Московского университета. С 1898 г. министр народного просвещения. Ужесточил преследование студентов за революционные выступления, вплоть до отправки в солдаты. Смертельно ранен П. В. Карповичем.

⁸⁶ Описываемые далее события произошли 8 февраля 1899 г.

⁸⁷ Студенческие беспорядки во всех высших учебных заведениях произошли осенью 1861 г. в связи с введением так называемых путятинских правил для университетов.

⁸⁸ *Ванновский Петр Семенович* (1822-1904) — российский государственный деятель, генерал от инфантерии (1883). В 1881-1897 гг. военный министр, в 1901-1902 гг. министр народного просвещения, проводил политику ужесточения дисциплины в вузах.

⁸⁹ *Мицкевич (Mickiewicz) Адам* (1798-1855) — польский поэт, деятель национально-освободительного движения, основоположник польского романтизма. В 1824 г. выслан царскими властями из Литвы; жил в России, где сблизился с декабристами, А. С. Пушкиным. В 1840-1844 гг. читал лекции о славянских литературах в Париже; в 1849 г. редактор демократической газеты «Трибюн де пепль».

⁹⁰ *Густав III* (1746-1792) — король Швеции с 1771 г. из династии Готторпов. В 1772 г. произвел государственный переворот, восстановив сильную королевскую власть. Правил в духе просвещенного абсолютизма.

⁹¹ Имеется в виду русско-шведская война 1741-1743 гг., в которой Швеция пыталась вернуть утраченные после Северной войны территории. Русские войска (командующий П. П. Ласи) и флот одержали ряд побед. Война завершилась Абоским миром 1743 г.

⁹² Имеется в виду русско-шведская война 1788-1790 гг., в которой Швеция вновь попыталась вернуть бывшие владения в Прибалтике. Русский флот одержал победы в Гогландском (1788) и Выборгском (1790) сражениях; шведское наступление в Финляндии закончилось неудачей. Война завершилась Верельским миром 1790 г.

⁹³ *Аньяльский союз* — антиабсолютистский заговор шведских и финляндских офицеров, возникший в августе 1788 г. в связи с объявлением шведским королем Густавом III в июне 1788 г. войны России без санкции сословий. Получил название по деревне Аньяла (Anjala, близ русско-финской границы), где были составлены основные программные документы союза. Участники заговора требовали заключения мира с Россией, созыва риксдага и восстановления порядков, существовавших в Швеции до абсолютистского переворота 1772 г.; часть участников аньяльского союза требовала государственного обособления Финляндии от Швеции (либо под протекторатом России, либо при совместной русско-шведской гарантии). В начале 1789 г. участники союза были арестованы и затем осуждены на казнь, ссылку и каторжные работы.

⁹⁴ *Спренгтпортен Егор Максимовых* (по-шведски *Геран Магнус*, по-фински *Ирье Мауну*) (1741-1819) — финский барон, перешедший в 1786 г. на русскую службу в чине генерал-майора (служил в шведской армии). Был одним из инициаторов Аньяльского союза. При императоре Александре I получил графский титул и звание генерала от инфантерии, стал первым генерал-губернатором присоединенной к России (на особых правах) Финляндии (в 1808-1809 г.).

⁹⁵ Имеется в виду русско-шведская война 1808-1809 гг., которая велась Россией за установление полного контроля над Финским и Ботническим заливами. Русские войска заняли Финляндию, Аландские о-ва, высадили десанты на шведском побережье. Война завершилась Фридрихсгамским миром 1809 г.

⁹⁶ *Румянцев Николай Петрович* (1754-1826) — российский государственный деятель, дипломат, граф. В 1807-1814 гг. министр иностранных дел, в 1810-1812 гг. председатель Государственного совета. Собрал коллекцию книг и рукописей (так называемый Румянцевский музей).

⁹⁷ *Сперанский Михаил Михайлович* (1772-1839) — российский государственный деятель, граф (1839). С 1808 г. ближайший советник императора Александра I, автор плана либеральных преобразований, инициатор создания Государственного совета (1810). В 1812-1816 г. в результате интриг его противников сослан, в 1819-1821 гг. генерал-губернатор Сибири, составил план административной реформы Сибири. С 1826 г. фактический глава Второго отделения, руководил кодификацией Основных государственных законов Российской империи (1832).

⁹⁸ *Закревский Арсений Андреевич* (1783-1865) — российский государственный деятель, граф. В 1823-1828 гг. — финляндский генерал-губернатор, в 1828-1831 гг. — министр внутренних дел, в 1848-1859 гг. — московский генерал-губернатор.

⁹⁹ *Ордин Кесарь Филиппович* (умер в 1892 г.) — писатель; автор статей в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике» против самоуправления Финляндии (отдельное издание: «Конституция Финляндии» (1888) и «Покорение Финляндии» (1889)).

¹⁰⁰ Клевещите, постоянно клевещите: что-нибудь от этого да останется (фр.).

¹⁰¹ *Бобриков Николай Иванович* (1839-1904) — генерал-губернатор Финляндии с 1898 г. В 1898 г. издал манифест, который предусматривал ограничение прав финляндского сейма, введение русского языка в делопроизводстве, расширение прав русских при поступлении на службу в Великом княжестве, установление надзора за университетом и учебными заведениями, упразднение таможни и финской марки, пересмотр Положения 1812 г. о генерал-губернаторе и др. Широкую известность получил изданный Бобриковым закон о воинской повинности, которым ограничивалась самостоятельность финляндской армии. 3 июня 1904 г. Бобриков был убит финским националистом.

¹⁰² *Ландмаршал* — в XIX в. предводитель дворянства в Остзейских губерниях России и в Финляндии.

¹⁰³ *Тальман* — председатель финского сейма.

¹⁰⁴ *Мехелин (Mechelin) Лео* (1839-1914) — финляндский политический деятель и писатель. Глава буржуазной шведоманской партии. В 1872 г. был

избран в сейм, впоследствии стал финляндским сенатором. В своих многочисленных научных работах Мехелин доказывал, что хотя Финляндия соединена с Россией реальным союзом, но это не должно мешать ей пользоваться полной самостоятельностью в области внутреннего самоуправления. Мехелин считал, что свобода Финляндии отнюдь не противоречит интересам России. В годы крайней руссификаторской политики в Финляндии Мехелин был вынужден выйти из состава сената (в 1890 г.), а в 1903 г. даже покинуть Финляндию. После перемены правительственного курса Мехелин вернулся на родину и в период 1905-1907 гг. был президентом хозяйственного департамента сената, но в 1907 г. реакция заставила его выйти в отставку. В реакционных русских кругах имя Мехелина было синонимом финляндского сепаратизма.

¹⁰⁵ *Греко-персидские войны* (500-449 до н.э., с перерывами) — войны между Персией и древнегреческими городами-государствами, отстаивавшими свою независимость. Сопровождались крупными победами греков при Маратоне (490), у о. Саламин (480), при Платеях (479), у мыса Микале (479), у г. Саламин (на Кипре) (449). В результате греко-персидских войн Персия лишалась владений в Эгейском море, на побережьях Геллеспонта и Босфора, признавала политическую независимость полисов Малой Азии.

Нидерландская революция (1566-1609) проходила под знаменем кальвинизма и была направлена на полную ликвидацию испанского господства и феодального произвола. Консервативное бюргерство в союзе с оппозиционным дворянством (во главе с Вильгельмом Оранским) выступало против испанского режима. Революция началась с Иконоборческого восстания 1566 г., завершилась освобождением от испанского господства северных провинций (территория современного государства Нидерланды) и образованием Республики Соединенных провинций (южные провинции к 1585 г. были вновь захвачены Испанией).

¹⁰⁶ *Трансвааль (Transvaal)* — провинция ЮАР. В 1856 г. африканерами (бурами) на этой территории была создана Южно-Африканская Республика (республика Трансвааль). В 1877 г. она была аннексирована Великобританией. В 80-е гг. буры получили внутреннее самоуправление, но в результате англо-бурской войны 1899-1902 гг. вновь аннексирована Великобританией. С 1910 г. провинция Южно-Африканского Союза (с 1961 г. — ЮАР).

¹⁰⁷ *Гельсингфорс (Helsingfors)* — шведское название города Хельсинки, столицы Финляндии.

Ю8 дед стихотворения А. Хомякова «России» (1854).

¹⁰⁹ Имеется в виду *Людовик XV* (1710-1774) — король Франции с 1715 г. (пока король был малолетним, фактически правил регент герцог Орлеанский). С 1723 г. взял на себя управление государством, 1726 г. поставил кардинала Флери во главе всех дел. С 16 августа 1725 г. вступил в брак с Марией Лещинской, в интересах ее отца вел войну за польское наследство 1733-1738 гг. и приобрел для своего тестя Лотарингию. Подпадая все более и более под влияние своих любовниц (Помпадур и Дюбарри), Людовик все более ронял престиж королевской власти в народе. Участие в войне за Австрийское наследство (1741-1748) и в Семилетней войне (1756-1763) ослабило военное могущество Франции, расстроило финансы и причинило большой территориальный ущерб (потеря Канады, большей части Вест-индских островов и владений в Ост-Индии).

¹¹⁰ *Штейн (Stein) Генрих* (1757-1831) — глава прусского правительства в 1807-1808 гг.; провел (вопреки сопротивлению юнкерства) ряд преобразований: провозглашение личной свободы крестьян, выкупа крестьянами повинностей за уступку помещику от 1/3 до 1/2 их надела, фактическое введение всеобщей воинской повинности и др. В 1804-1807 гг. ведал финансами и экономикой.

¹¹¹ Имеется в виду война против наполеоновской Франции в 1813-1814 гг., когда прусские войска под руководством Г. Л. фон Блюхера совместно с русскими войсками разбили французов и вошли в Париж.

¹¹² Имеется в виду Бисмарк.

¹¹³ Имеется в виду Польша.

Мысли о современном положении России

Впервые отдельным изданием (без указания автора): Мысли о современном положении России... Тайного советника. Berlin, 1902 (B. Behr's Verlag; Типография П. Станкевича в Берлине). Печатается по этому изданию.

Меттерних (Metternich-Виннебург) Клеменс (1773-1859) — министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809-1821 гг., канцлер в 1821-1848 гг.; князь. Противник объединения Германии, стремился помешать укреплению позиций России в Европе. Во время Венского конгресса 1814-1815 гг. подписал в январе 1815 г. секретный договор с представителями Великобритании и Франции против России и Пруссии. Меттерних — один из организаторов Священного союза. В Австрийской империи установил систему полицейских репрессий, разжигал национальную вражду. Конец власти Меттерниха положила революция 1848-1849 гг.

² Имеется в виду период 1830-1848 гг., когда в Италии развернулась борьба против австрийского господства. Наиболее известной молодежной организацией в этот период стала «Молодая Италия» — подпольная организация, действовавшая в 1831-1834 и 1840-1848 гг. (основатель Дж. Мадзини) и имевшая целью борьбу за освобождение Италии от иноземного ига и создание единой Итальянской республики. Ее практическая деятельность свелась к организации заговоров, которые, несмотря на героизм участников, терпели поражение.

³ студенты последнего курса, студенты-выпускники (англ.).

⁴ *Бурш* — студент в Германии, принадлежавший к одной из студенческих корпораций, члены которой отличались участием в дуэлях, кутежах и т. п.

⁵ дискуссионные клубы (англ.).

⁶ Латинский квартал (фр.).

Мещерский Владимир Петрович (1839-1914) — российский публицист, князь. Основал и издавал консервативно-монархическую газету-журнал «Гражданин» (с 1872 г.).

⁸ *Ванновский Петр Семенович* (1822-1904) — военный министр с 1881 г., министр народного образования в 1902 г.

⁹ *Каракозов Дмитрий Владимирович* (1840-1866) — российский революционер. В 1865 г. вступил в тайное революционное общество, возглавляемое

его двоюродным братом Н. А. Ишутиным. 4 апреля 1866 г. неудачно покушался на императора Александра II; в сентябре того же года был повешен.

Перовская Софья Львовна (1853-1881) — революционная народница, член кружка «чайковцев», участница «хождения в народ», член «Земли и воли», Исполкома «Народной воли», организатор и участница покушений на Александра II. Повешена в Петербурге 3 апреля 1881 г.

¹⁰ В комедии А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» жена купца-модура Тита Титыча Брускова Настасья Панкратьевна на его вопрос: «Смеет меня кто обидеть?» — отвечает: «Никто, батюшка, Кит Китыч, не смеет вас обидеть. Вы сами всякого обидите» (действие II, явление 5).

¹¹ *Бакунин Михаил Александрович* (1814-1876) — российский революционер, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. В 30-е гг. член кружка Н. С. Станкевича. С 1840 г. за границей, участник революции 1848-1849 гг. (Париж, Дрезден, Прага). В 1851 г. выдан австрийскими властями России, заключен в Петропавловскую, затем в Шлиссельбургскую крепость, с 1857 г. в сибирской ссылке. В 1861 г. бежал за границу, сотрудничал с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. Организатор тайного революционного общества «Интернациональное братство» (1864-1865) и «Альянса социалистической демократии» (1868). С 1868 г. член I Интернационала, выступал против К. Маркса и его сторонников, в 1872 г. исключен решением Гаагского конгресса. Труд Бакунина «Государственность и анархия» (1873) оказал большое влияние на развитие народнического движения в России.

¹² *Кропоткин Петр Алексеевич* (1842-1921) — российский революционер, теоретик анархизма, географ и геолог; князь. В 60-е гг. совершил ряд экспедиций по Восточной Сибири. В начале 70-х гг. обосновал широкое распространение древних материковых льдов в Северной и Средней Европе. В 1872-1874 гг. член кружка «чайковцев», вел революционную пропаганду среди петербургских рабочих. В 1876-1917 гг. в эмиграции, участник анархических организаций, член научных обществ. Автор трудов по этике, социологии, истории Великой французской революции. Воспоминания «Записки революционера» (1-е изд. на русском языке, Лондон, 1902).

¹³ из столкновения мнений рождается истина (фр.).

¹⁴ истина не рождается, иначе как через столкновение мнений (фр.).

¹⁵ *Карно Мари Франсуа Сади* (1837-1894) — французский государственный деятель. С 1857 г. президент Французской республики. Убит анархистом.

Амалия Евгения Елизавета (1837-1898) — жена австрийского императора Франца Иосифа. Убита итальянским террористом.

Мак-Кинли Вильям (1843-1901) — государственный деятель США, президент с 1897 по 1901 г. Смертельно ранен анархистом.

¹⁶ Люди, а не меры (законы) (англ.).

Шлиссельбурге — город, основанный новгородцами как крепость на Ореховом острове в 1323 г.; до 1611 г. — Орешек. В 1611 г. захвачен шведами, до 1702 г. носил название Нотебург. Во время Северной войны 1700-1721 гг. (11 октября 1702 г.) взят штурмом русскими войсками. С 1702 г. называется Шлиссельбургом (в 1944-1992 гг. — Петрокрепость). В черте города находится Шлиссельбургская крепость, которая в XIX в. использовалась как тюрьма для государственных преступников.

¹⁸ Имеется в виду прусский король Фридрих II (1712-1786).

ОГЛАВЛЕНИЕ

;

И. И. Евлампиев.

Главный труд Б. Н. Чичерина: достижения и неудачи.

3

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ XIX век

Идеализм в Германии (продолж ение)

г) Индивидуалистический идеализм.	39
1. Фрис.	39
2. Гербарт.	73
<3. Гартенштейн>.	110
4. Историческая школа.	124
<а) Гуго>.	125
<Р) Савиньи>.	132
<у) Пухта>.	134
5. Ансильон.	141
6. Круг.	150
7. Роттек.	181
<8. Аретин>.	209
9. Велькер.	218
10. Цахариз.	230
д) Абсолютный идеализм.	245
1. Гегель.	245

Идеализм в Германии (продолж ение)

д) Абсолютный идеализм.	274
2. Гегельянцы.	274
<а) Мишле>.	274
<Р) Эрдман>.	282
3. Шмиттгеннер.	291
4. Лоренц Штейн.	295

е) Утопический идеализм. Социалисты.	317
1. Родбертус.	317
2. Лассаль.	343
3. Карл Маркс.	395

Идеализм во Франции

а) Клерикалы.	454
1. Жозефде Местр.	454
2. Бональд.	469
3. Балланш.	487
4. Ламенне.	493
б) Либералы.	507
1. Бенжамен Констан.	507
2. Дестютт де Траси.	529
3. Шарль Конт.	545
4. Сисмонди.	557
в) Доктринеры.	574
1. Гизо.	574
2. Гелло.	601
3. Росси.	615

Приложения

Вступительная лекция по Государственному праву, читанная в Московском университете 28 октября 1861 года.	625
Мера и границы.	635
Что такое охранительные начала?.	639
Различные виды либерализма.	657
Задачи нового царствования.	665
Россия накануне двадцатого столетия.	677
Мысли о современном положении России.	735
Комментарии.	745

Борис Николаевич Чичерин

**ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
УЧЕНИЙ**

Том 3

Издание второе, исправленное

Подготовка текста И. И. Евлампиева

Редактор издательства В. Н. Подгорбунских

Корректор Н.К. Исупова

Художник В. В. Неклюдов, О. Д. Курт а

Верстка Т. О. Прокофьевой

Подписано в печать 18.03.2010.

Формат 60 x 100 У₁₆. Бум. офсетная. Гарнитура OctavaC.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 54,00. Тираж 1000 экз.

Заказ №238

191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15,
Издательство Русской христианской гуманитарной академии.

Тел.: (812) 310-97-91;

Факс: (812) 571-30-75;

e-mail: editor@rchgi.spb.ru.

URL: <http://www.rhga.spb.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО "Литография"

191119 СПб, ул. Днепропетровская д.8